

ХРИСТОС И АНТИХРИСТ

(ТРИЛОГИЯ)

СМЕРТЬ БОГОВ (ЮЛИАН ОТСТУПНИК)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В двадцати стадиях от Цезареи Каппадокийской, на лесистых отрогах Аргейской горы, при большой римской дороге, был источник теплой целебной воды. Каменная плита с грубо высеченными человеческими изваяниями и греческой надписью свидетельствовала, что некогда родник посвящен был братьям Диоскурам — Кастору и Поллуксу. Изображения языческих богов, оставшись неприкосновенными, считались изображениями христианских святых, Косьмы и Дамиана.

На другой стороне дороги, против св.

Дмитрий Сергеевич Мережковский - Христос и Антихрист (трилогия)

Книга первая. ЮЛИАН ОТСТУПНИК

Пленник культуры

(О Д.С Мережковском и его романах)

вступительная статья.

"Я родился 2-го августа 1865 г. в Петербурге, на Елагином острове, в одном из дворцовых зданий, где наша семья проводила лето на даче. До сих поря люблю унылые болотистые рощи и пруды елагинского парка""Помню, как мызабирались в темные подвалы дворца, где на влажных сводах блестили при светеогарка сталактиты, или на плоский зеленый купол того, же дворца, откудавиднo взморьеа зимою мы жили в старом-престаром, еще петровских времен, Вауаровском доме, на углу Невы и Фонтанки, у Прачечного моста, противЛетнего сада: с одной стороны -- Летний дворец Петра 1, с другой -- его жедомик и древнейший в Петербурге деревянный троицкий собор".

Эти строки из "Автобиографической заметки" Мережковского можно было быпоставить эпиграфом к его историческим произведениям из русской жизни: роману "Петр и Алексей" (1906, из трилогии "Христос и Антихрист", драме длячтения "Павел 1" (1909), романам "Александр 1" (1911) и "14 декабря" (1918), составляющим вторую трилогию. Как видно, с детских лет он дышал воздухомстарины, был окружен реалиями прошлого и даже его тенями, мог близконаблюдать быт русского Двора: отец писателя, Сергей Иванович, в течениевсего царствования Александра ii занимал должность столоначальника впридворной конторе.

Идет лакей придворный по пятам Седой и чизной фрейлины-старушки...

Здесь модные духи приезжих дам И запах первых листьев на опушке, И разговор французский пополам С таинственным пророчеством кукушки, И смешанное с дымом папирос Вечернее дыханье бледных роз...

вспоминал писатель о впечатлениях своего детства и отрочества в поэме "Старинные октавы", которую жена Мережковского, поэт и критик З. Н. Гиппиус, недаром назвала впоследствии его лучшей автобиографией.

..Д. Мережковский. Автобиографическая заметка. кн. Русская литература XX в"". Под редакцией проф. С. А.

Венгерова, т. 1. М" IS15, стр. 253.

Впрочем, сами Мережковские не могли похвастаться громкой родословной. Прадед писателя был войсковым старшиной на Украине, в городе Глухове, а дед лишь в царствование императора Павла I приехал в Петербург и поступил "младшим чином"

в Измайловский полк. "Тогда-то, вероятно,- писал Дмитрий Сергеевич,- и переименовал он свою малороссийскую фамилию Мережки на русскую - Мережковский". В жилах бабушки текла древняя кровь Курбских.

И все же происхождение, принадлежность к миру чиновничьей касты (отец закончил службу в чине действительного тайного советника, что соответствовало 2-му классу табели о рангах: выше был только канцлер), воспитание (3-я классическая гимназия, с ее зубрежкой и муштровкой) как будто бы не предполагали появления "бунтаря", разрушителя традиционных нравственных и эстетических канонов, одного из вождей нового направления в литературе - символизма, критика имперских и церковных устоев, книги которого арестовывались цензурой, а самого его едва не отлучили от официальной церкви.

Драма "отцов" и "детей" обозначилась рано. В многодетной, внешне благополучной семье Мережковский чувствовал себя одиноким и несчастным, боялся и не любил отца. "У меня не было школы, как не было семьи",- скажет он позднее. Юному Мережковскому навсегда запомнилось столкновение Сергея Ивановича, потрясенного событиями 1 марта 1881 года - убийством "царя освободителя" народолюбцами, со старшим сыном Константином (будущим известным профессором зоологии и ботаники), который оправдывал "извергов". Эта тяжелая ссора, длившаяся несколько лет, в конечном итоге свела в могилу обожавшую детей мать.

Сумеречные фантазии и мечты, обуревавшие Мережковского ребенка, были как бы дальним предвестием эсхатологических позднейших исканий, тяги к "бездне" и "мгле".

Познал я негу безотчетных грез, Познал и грусть,-чуть вышел из пеленок.

Рождало все мучительный вопрос
В душе моей; запуганный ребенок,
Всегда один, в холодном доме рос
Я без любви, угрюмый как волчонок,
Боясь лица и голоса людей,
Дичился братьев, бегал от гостей...

Но "бездна" и "мгла" заявят о себе позднее. Пробудившееся у Мережковского раннее влечение к литературе, к стихотворчеству прошло под солнечным знаком Пушкина (тринадцати лет написал он свое первое стихотворение в подражание "Бахчисарайскому" фонтану). Детские опыты были откровенно слабы, и в памяти Мережковского на всю жизнь осталась фраза Достоевского, который выслушал их "с нетерпеливою досадой":

- Слабо... плохо... никуда не годится... чтоб хорошо писать, страдать надо, страдать!

Однако книжный груз только накапливался с годами, хотя учителя и менялись. В университетские годы - Мережковский поступил в 1884 году на историко-филологический факультет Петербургского университета - он испытал сильнейшее влияние философов-позитивистов Канта, Милля, Спенсера. (Как вспоминает Гиппиус, Мережковский, познакомившись с ней, восемнадцатилетней девушкой, в 1888 году, в Боржоми, посоветовал ей читать Спенсера.) Правда, учение позитивистов - стремление поставить умственный мир человечества на твердую основу науки через совершенное отрицание всяких теологических и метафизических идей приходило в противоречие с религиозными идеалами, впитанными Мережковским с детства, рождало безысходные сомнения.

Уже с этого момента начинается раздвоение, характерное для личности и творчества писателя. Оно будет порождать антиномии и метафизические противопоставления, метания из одной крайности в

другую, попытки примирить антихристианский нигилизм Фридриха Ницше с исканиями Вселенской церкви Владимира Соловьева.

Как бы то ни было, но литературный путь Мережковский начинает в среде либерально-демократической. Своим первым публичным выступлением (1881 год) он обязан поэту и революционеру-народнику П. Ф. Якубовичу, а близким для него журналом делаются "Отечественные записки" М. Е. Салтыкова-Щедрина и Д. Н. Плещеева. К этой же поре относится дружба Мережковского с С. Я. Надсоном, тогда еще юнкером Павловского военного училища, которого он "полюбил, как брата". Они посвящают друг другу стихи, в которых звучат расхожие гражданские призывы, мотивы скорби и туманного протеста против общественной реакции. Поэма Надсона "Три встречи Будды" навела Мережковского на мысль написать длинное пышное стихотворение "Сакья-Муи" - статуя Царя Царей смиренно склоняется перед нищим.

Оно вошло во все сборники чтецов-декламаторов и принесло автору популярность. Другим ближайшим приятелем Мережковского становится поэт Н. Минский, уже сделавший себе имя на воспевании "больного поколения", которое "стоит на распутьи, не зная пути".

Надо сказать, что поэзия Мережковского не самая сильная часть его огромного наследия, Стихи его часто подражательны, банальны, однообразны. И не случайно Мережковский, в собрание своих сочинений (в 17 томах готовя полное 1911-1913 гг. в издательстве Вольфа и в 1915 гг. у Сытина), поместил там немало критических мелочей, но включил лишь несколько десятков стихотворений. Книжность, впитанная огромная культура мешали Мережковскому-поэту прорваться к первородным впечатлениям.

Под влиянием народнических идей, бесед с тогдашним властителем дум, публицистом и критиком Н. К. Михайловским и Глебом Успенским молодой Мережковский отправляется "познавать жизнь". Он путешествует по Волге и Каме, посещает Уфимскую и Оренбургскую губернии, знакомится с основателем религиозно-нравственного учения, основанного только на Евангелии, крестьянином Тверской губернии В. К. Сютеевым, которого навещал и Лев Толстой. Мережковского привлекают отколовшиеся от официальной церкви течения и секты, начиная с мощного народного

"раскола" и кончая хлыстовством и скопчеством. Он не шутя собирается по окончании университета "уйти в народ" и стать сельским учителем. Но уже иные ориентиры возникают для него.

К началу 90-х годов Мережковский испытал, по собственному признанию, глубокий религиозный переворот.

Это совпадает по времени с появлением в русской литературе нового направления - символизма.

Первым манифестом отечественных символистов можно считать вышедшую в 1890 году книгу Н. Минского "При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни". В ней говорилось о тщетности и тленности всего перед лицом неизбежной смерти и как единственно реальное утверждалось "вечное стремление к несбыточному". Опираясь на труды русской философии и прежде всего В. Соловьева, Мережковский углубил и развил эти постулаты.

В одном и том же 1892 году появился его поэтический сборник многозначительным заглавием "Символы" и ставшая программной для нового направления работа "О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы".

Идеи, носившиеся в воздухе, воплотились в формулы.

"Никогда еще люди так не чувствовали сердцем необходимости верить и так не понимали разумом невозможности верить. В этом болезненном неразрешимом диссонансе, этом трагическом противоречии так же, как в небывалой умственной свободе, в смелости отрицания, заключается наиболее характерная черта мистической потребности XIX века", - писал в своей характерной "антиномической" манере Мережковский, отказываясь от собственных недавних позитивистских устремлений и призывая к "высшей идеальной культуре".

Восстав против "удушающего мертвого позитивизма" и назвав учителями символистов "великую плеяду русских писателей" - Толстого, Тургенева, Достоевского, Гончарова, Мережковский провозгласил "три главных элемента нового искусства: мистическое содержание, символы и расширения художественной впечатлительности".

К тому времени, с появлением поэтических сборников К. Бальмонта "В безбрежности" и "Тишина", стихов Д. Мережковского, Н.

Минского, з. Гиппиус, а позднее трех сборников В. Брюсова "Русские символисты" (1894-1895) в литературе оформилось это новое направление, черты которого были предвосхищены уже в поэзии К. Фофанова, Мирры Лохвицкой и, конечно. Вл. Соловьева:

Милый друг, иль ты не видишь, Что все видимое нами Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь, Что житейский шум
трескучий Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?

Символизм - русский символизм - явление очень широкое и еще нуждающееся в осмыслении. Сами символисты рассматривали свой метод как принципиально новый тип художественного и нравственно-религиозного мышления и с необыкновенной отчетливостью выразили в своем творчестве кризисный характер эпохи, отрицание буржуазного быта и морали, неизбежность великих исторических катаклизмов. В лучших своих произведениях они исполнены трагического величия.

В самом общем плане символизм отражал кризис традиционного гуманизма, разочарованность в идеалах "добра", ужас одиночества перед равнодушием общества и неотвратимостью смерти, трагическую неспособность личности выйти за пределы своего "я":

Д. С. Мережковский. Полн. собр. соч., т. XVIII, М"

1914, стр. 212.

" Там же, стр. 218.

В своей тюрьме,- в себе самом, ты, бедный человек, В любви, и в дружбе, и во всем
Один, один навек?..

Д. Мережковский. "Одиночество"

В то же время символизм представлял собой в определенном смысле и реакцию на голое безверие, позитивизм и натуралистическое бытописание ЖИЗНИ. Поэтому он нередко проявлялся там, где натурализм обнаруживал свою несостоятельность.

Нападая на плоское описательство, символисты предлагали другую крайность: пренебрегая реальностью (или недооценивая ее), они устремлялись "вглубь", к метафизической сущности видимого мира; окружающая их действительность казалась

им ничтожной и недостойной внимания поэта. Это был всего лишь "покров", за которым пряталась возделенная "тайна" - главный, по мнению художника-символиста, объект. Нужно учитывать и то, что поиски, которые велись символистами, были частью широких исканий, какими отмечена русская духовная жизнь той поры.

К непредвзятой, объективной оценке этих исканий мы только приходим.

"До сих пор широко бытует представление о том,- пишет доктор философских наук А. Кулыга,- что в конце прошлого начале нынешнего века в культурной жизни России царил сплошной декаданс, упадок мысли и нравственности. Декаданс был, новозник и своеобразный философско-религиозный ренессанс, вышедший за рамки страны и всколыхнувший духовную жизнь Европы, определивший поворот западной мысли в сторону человека.

Корни таких философских направлений, как феноменология, экзистенциализм, персонализм,- в России. Здесь был услышан великий вопрос Канта: "Что такое человек?" Русские попытки ответа на него эхом прозвучали на Западе, а затем снова пришли к нам как откровения просвещенных европейцев". "Усилиями русских мыслителей - Вл. Соловьева, В. Розанова, П. Флоренского, Н. Бердяева, С. Булгакова, А. Карташова, С. Франка, Н. Лосского, Л. Карсавина, П. Сорокина, В. Успенского и многих других - в России создалась совершенно особая атмосфера, позволявшая личности при внешнем деспотическом, царистском режиме обрести безусловную внутреннюю свободу. Преграды если и ставились, то только в форме механической цензуры, или, говоря словами А. Блока, "на третьем пути поэта: на пути внесения гармонии в мир". Лишь позднее более изощренное государство догадалось, как, впрочем, и предвидел Блок в своей речи "О назначении поэта" (1921), изыскать средство для "замутнения самих источников гармонии". Но до этого было еще далеко...

В атмосфере религиозно-философского ренессанса начала нашего века Мережковский и создавал главные свои произведения.

К слову сказать, сам он не обладал даром первооткрывателя-любомудра, способностью оригинального мыслителя (как, скажем, близкий ему В. В. Розанов): он принимал или контаминировал уже

сложившиеся концепции. Его устремления были направлены на то, чтобы заново рассмотреть основы христианской догматики.

И в этом движении, которое можно определить как попытку соединить русскую культуру с православной или даже шире - Вселенской церковью, огромную роль сыграла жена и единомышленник - Зинаида Николаевна Гиппиус.

Мережковские прожили в браке пятьдесят два года, "не разлучаясь, - по словам Гиппиус, - со дня нашей свадьбы в Тифлисе, ни разу, ни на один день". Однако "идеальный" союз этот состороны казался необычным, даже странным.

Традиционное, от века определение семьи как малого общества людей, произошедшего от одной четы, к ним не применимо: чета была бездетна и могла порождать только книги. (Как и Мережковский, Гиппиус оставила обширное литературное наследие: прежде всего поэтическое, а кроме того - романы, рассказы, пьесы, несколько критических сборников, два тома воспоминаний "Живые лица" и т. д.) Куда ближе, кажется, здесь понятие "семейство", взятое из естествознания, только с поправкой на систематику иного, внутреннего, мировоззренческого родства. Вскоре к этому семейству присоединяется критик и публицист Д. В. Философов, двоюродный брат известного художественного деятеля С. И. Дягилева. "Триумvirат" просуществовал долгие пятнадцать лет и носил характер некоей религиозно-философской ячейки или даже секты: жили "коммуной", сообща намечались генерализующие идеи и писались некоторые книги. Как вспоминал много позднее Н. А. Бердяев: "Мережковские всегда имели тенденцию к образованию своей маленькой церкви и с трудом могли примириться с тем, что тот, на кого они возлагали надежды в этом смысле, отошел от них и критиковал их идеи в литературе. У них было сектантское властолюбие".

Вероятно, этим и объясняется недолговечность и непрочность тех союзнических отношений, которые возникают (и распадаются) у Мережковских - как с печатными органами, так и с отдельными лицами: "Северным Вестником" (где был опубликован не принятый другими журналами первый исторический роман Мережковского "Отверженный" - раннее название "Юлиана Отступника") и его редактором Акимом Волынским; так называемым "дягилевским

кружком" (художники В. А. Серов, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, поэт Н. Минский) и его трибуной "Мир Искусства"

(руководителем литературного отдела которого был Д. В. Filosofov, напечатавший длинное исследование Мережковского "Толстой и Достоевский"); журналом "Новый Путь" (здесь появился роман "Петр и Алексей") и редактором П. П. Перцовым и т. д. Особо следует сказать о сближениях и расхождении или даже разрыве с такими деятелями философии и литературы, как В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, Андрей Белый, наконец, А. А. Блок (посвятивший, кстати, Гиппиус свое знаменитое - "Рожденные в года глухие...").

Мережковские предпочитают в итоге, используя выражение Бердяева, "свою маленькую церковь", стремясь совместить ее с церковью "большой". В 1901 году они добиваются разрешения Синода учредить в Петербурге "Религиозно-философские собрания" (вместе с Розановым и Filosofovым). В собраниях этих участвуют видные богословы, философы, представители духовенства - В. Тернавцев, А. Карташов, В. Успенский, епископ Сергей

(Ставший через много лет, в 1943 году, патриархом Московским и всея Руси) и др.

Собрания из-за резкости и остроты выступлений просуществовали недолго: уже с апреля 1903 года их запретила синодальная власть. "Не могу сказать,- вспоминает Гиппиус,- наверное, к этому времени или более позднему относится свидание Дмитрия Сергеевича со всемогущим обер-прокурором Синода Победоносцевым, когда этот крепкий человек сказал ему знаменитую фразу: "Да знаете ли вы, что такое Россия? Ледяная пустыня, а по ней ходит лихой человек". Кажется, Дмитрий Сергеевич возразил ему тогда, довольно смело, что не он ли, не они ли сами устраивают эту ледяную пустыню из России..."

Идеи "религиозной общественности", своего рода варианты христианского социализма, к которым склонялся "триумвират"

Мережковский - Гиппиус - Filosofov, понятно, никак не укладывались в рамки официального православия. Еще меньше

понимания могла найти мысль, которая (вслед за В. Соловьевым) овладевает Мережковским,- соединить православие с католичеством, восточный образ "богочеловека" и западный "человекобога". После поражения первой русской революции, "ввиду создавшегося атмосферного удушья" (как пишет Гиппиус), "триумвират"-выезжает в 1906 году в Париж, где оседает (с периодическими наездами в Россию) до 1914 года.

В Париже Мережковские увлеченно интересуются католичеством и модернизмом, а также сближаются с деятелями партии эсеров, умеренными и радикальными (знаменитый Борис Савинков даже ищет у них религиозного оправдания политического террора и получает интенсивные литературные консультации в работе над романом "Конь Бледный"). Там же складывается коллективный сборник "Le Tsar et Revolution" ("Царь и революция", 1907), где Мережковскому принадлежит очерк "Революция и религия". Рассматривая русскую монархию и церковь на широком историческом фоне, он приходит к выводу: "В настоящее время едва ли возможно представить себе, какую всепоглощающую силу приобретет в глубинах народной стихии революционный смерч.

В последнем крушении русской церкви с русским царством неждет ли гибель России, если не вечную душу народа, то смертное тело его - государство". Исключение делается только для "избранных" - "всех мучеников революционного и религиозного движения в России". В слиянии этих двух начал и видится Мережковскому то отдаленное, чаемое будущее, совпадающее с евангельским заветом: "Да придет царствие Твое". При всей отвлеченности, книжности таких пророчеств в них ныне прочитывается иная им предугадываемая правда, тогда еще слабо воспринимаемая интеллигенцией. В своих для того времени странных прорицаниях Мережковский (вместе с А. Блоком или В. Розановым) обращается поверх современников в трагическое "завтра",..

Однако в силу своей сугубой отвлеченности подобные пророчества отклика в обществе не находили. И к той поре сам Мережковский, его фигура в отечественной литературе выглядела одинокой и почти оторванной, отрезанной от бурлящей России и ее "горячих" запросов. То, чем он "пугал" современников, для

большинства казалось чистой схоластикой. И с некоторой долей условности можно сказать, что добровольная эмиграция для Мережковского началась задолго до событий 1917 года. Отчасти объяснение этому, кажется, мы находим в нем самом - писателе и человеке.

"Почему все не любят Мережковского?" - таким вопросом задавался А. Блок.

В самом деле, литераторы полярных направлений и групп от М. Горького, с которым Мережковские в 1900-е годы вели яростную полемику, до близкого их исканиям В. Розанова; от "чистого" журнального критика Корнея Чуковского и до философа Н. Бердяева - оставили немало самых резких о нем отзывов и характеристик. Даже обзорная статья А. Долинина в "Русской литературе XX века" (1915), которая должна была предполагать академическую объективность, местами более похожа на памфлет.

Он как будто никого не устраивает.

Особое положение Мережковского отчасти объясняется глубоким личным одиночеством, которое он сам превосходно сознавал, пронеся его с детских лет и до кончины.

Гиппиус вспоминала: "Я сказала раньше, что у него никогда не было "друга",-как это слово понимается вообще. Отчасти (я стараюсь быть точной) это шло от него самого. Он был не то что "скрытен", но как-то естественно закрыт в себе, и даже для меня то, что лежало у него на большой глубине, приоткрывалось лишь в редкие моменты" И то, что подспудно мучило Мережковского, исповедально объяснено им как "бессилие желать и любить, соединенное с неутолимой жаждой свободы и простоты", как "окаменение сердца" - следствие "болезни культуры, проклятия людей, слишком далеко отошедших от природы". Слово сказано. Кажется, только отражение - от книги или созерцания памятника великой культуры прошлого - зажигается в этом человеке живое и сильное чувство.

Не будет преувеличением назвать Мережковского первым у нас на Руси кабинетным писателем-"европейцем".

Впрочем, именно так отзывался о нем проницательнейший Розанов (даже видя Мережковского гуляющим, он всякий раз, по собственному признанию, думал: вот идет

"европеец"); о том же писали А. Блок и Н. Бердяев. Певец культуры и ее пленник, он походил на сложившийся уже в Европе тип художника-эссеиста, который явили нам Анатолий Франс (с ним Мережковский познакомился в Париже), Андре Жид, Стефан Цвейг. Полиглот, знаток античности и итальянского Возрождения, историк культуры, Мережковский особенно плодотворно выразил себя именно в жанре эссе, свободного очерка, сочетавшего элементы философии, художественной критики и ученой публицистики. Это некий перенасыщенный культурный раствор, из которого выпадают кристаллы великолепных образов, рожденных, однако, вторичным знанием, а не цельным инстинктом жизни.

Напряженное внимание к нравственно-религиозной проблематике, каким отмечено все творчество Мережковского, было лишь одним из проявлений той глубокой духовной жизни, что была свойственна русской интеллигенции начала века. Одни и те же

Тайны бытия волновали Мережковского и его современников-опионитов, например, В. В. Розанова, Н. А. Бердяева или предшествовавшего им В. С. Соловьева. В цикле историко-религиозных работ "Больная Россия" ("Зимние радуги", "Иваныч и Глеб", "Аракчеев и Фотий", "Елизавета Алексеевна" и др.), а также в примыкающих к ним очерках "Революция и религия" и "Последний святой" он делает попытку осознать, возможно ли совмещение "Божеского" и "человеческого".

Мережковскому одинаково важны и дороги правда небесная и правда земная, дух и плоть, ареной борьбы которых становится человеческая душа. Вместе с В. В. Розановым он не приемлет многого в официальной церкви и мог бы повторить розановские слова о православии, унаследовавшем старческие заветы падающей Византии: "Дитя-Россия приняла вид сморщенного старичка... и совершила все усилия, гигантские, героические, до мученичества и самораспятий, чтобы отроческое существо свое вдавить в формы старообразной мумии, завещавшей ей свои вздохи... Вся религия русская - по ту сторону гроба".

Вот почему так важен для Мережковского "последний святой" - Серафим Саровский, который предстает под его пером не просто как заживо замуровавший себя в аскезу схимник, но несущий свою

святость "в народ", являющий пример живого благочестия. Современник Павла и Александра I, Серафим Саровский(1760-1833) был, можно сказать, подвижником милосердия - какбы по контрасту с суровым, циничным и зачастую бесчеловечнымвременем.

Так выявляется внутренняя связь духовно-религиозной публицистики Мережковского и его романов о русской истории, в которых столь важное место занимают поиски идеала, будь то богатая духовная жизнь князя Валерьяна Голицына и других декабристов, или искания раскольников, сектантов, выдвигающих изкрестьянских низов религиозных проповедников вроде КондратияСеливАнова, основавшего знаменитый хлыстовский "корабль" (скоторым мы встречаемся на страницах романа "Александр I").

Мережковский, как правило, идет от метафизической схемы: Христос и Антихрист (первая историческая трилогия). БогочеловекиЧеловекобог, Дух и Плоть (так, в исследовании о Толстом и Достоевском первый выступает в качестве "ясновидца плоти", воплощения ветхозаветной, земной правды, в то время как второй Это "ясновидец духа", воплощение правды Христовой, небесной), христианство и язычество (статья о Пушкине), "власть неба" и"власть земли" (статья "Иваныч и Глеб") и т. д. В таком духестроятся многочисленные литературно-критические работы, гдесамое ценное все-таки не в отвлеченных схемах, а в конкретныхнаблюдениях, в характеристике художественной индивидуальности, в свободе эстетического анализа, даже если он осложнен тяжелой авторской тенденцией.

Трудно даже перечислить всех, о ком написал Мережковскийкритик; легчЕ, кажется, сказать, о ком он не писал. Во всякомслучае, один цикл "Вечные спутники" (1897) включает портретыЛонга, автора "Дафниса и Хлои", Марка Аврелия, Плиния Младшего, Кальдерона, Гете, Сервантеса, Флобера, Монтеня, Ибсена, Достоевского, Гончарова, Тургенева, Майкова, Пушкина. Критическое же наследив Мережковского составляет сотни статей иработ (в том числе и книгу о Гоголе), в которых перед нами предстает едва ли не вся панорама литературной жизни и борьбы. Отрецензий 1890-х годов на произведения Чехова и Короленко и

допредреволюционных статей о Белинском, Чаадаеве, Некрасове, Тютчеве, Горьком - таков неправдоподобно широкий диапазон его как критика.

При этом многие злободневные статьи Мережковского (каки выступления З. Гиппиус, избравшей себе недаром псевдоним Антон Крайний) отмечены еще и ультимативностью тона, непререкаемо-пророческим пафосом, воистину "крайностью" оценок и суждений. Упомяну хотя бы такие его программные работы, как "Грядущий Хам", "Чехов и Горький", "В обезьяньих лапах (О Леониде Андрееве)", "Асфodelии и ромашка". Правду Сказать, и в них есть немало такого, что прочитывается сегодня новым, свежим взглядом, дает пищу уму и мыслям, даже в отталкивании, несогласии с автором. И сквозь весь этот пестрый и как будто бы клочковатый материал проступают знакомые нам общие постулаты, занимавшие всю жизнь воображение Мережковского. Недаром он сказал в предисловии к собранию своих сочинений, что это "не ряд книг, а одна, издаваемая для удобства только в нескольких частях. Одна об одном".

Это относится, понятно, и к его историческим романам.

Всероссийскую, шире - европейскую известность принесла Мережковскому уже первая трилогия "Христос и Антихрист": "Смерть Богов (Юлиан Отступник)", 1896; "Воскресшие БОГИ (Леонардо да Винчи)", 1902; "Антихрист (Петр и Алексей)", 1905.

Точнее сказать, известность эта пришла после публикации первого романа, "Отверженный" (раннее название "Юлиана Отступника"), едва ли не сильнейшего в трилогии. Великолепное знание истории, ее красочных реалий и подробностей, драматизм характеров, острота конфликта - столкновение молодого, поднимающегося из социальных низов христианства с пышной, ослабевшей, но еще пленяющей разум и чувство античностью позволило Мережковскому создать повествование незаурядной художественной силы. Трагична фигура императора Юлиана (правил с 361 по 363 г.), который до воцарения тайно исповедовал языческое многобожие, а затем решился повернуть историю вспять, дерзнул возратить обреченную велением времени великую, но умирающую культуру. Сам Мережковский, кажется, сочувствует своему герою, противопоставляя аскетической, умерщвляющей

плоть религии "галилеян" (христиан), устремленной к высоким, но отвлеченным истинам добра и абсолютной правды, светлое эллинское мирозерцание, с его проповедью гедонизма, торжеством земных радостей, волшебной прекрасной философией, искусством, поэзией.

Порою христианство предстает в романе не утверждением высших принципов духовности, а всего лишь победой злой воли слепой и темной в своем опьянении вседозволенностью толпы, низкие инстинкты которой разожжены свирепыми призывами князей церкви: "Святые императоры! Придите на помощь к несчастным язычникам. Лучше спасти их насильно, чем дать погибнуть. Срывайте храмы украшения: пусть сокровища их обогатят вашу казну.

Тот, кто приносит жертву идолам, да будет исторгнут с корнем из земли. Убей его, побей камнями, хотя бы это был твой сын, твой брат, жена, спящая на груди твоей". Но вера в Спасителя - это религия социальных низов, религия бедных. И в восприятии народного Юлиан предстает не просто Отступником, но Антихристом, Анти-Христом, Дьяволом. Сам Оущая свою обреченность, раздираемый противоречиями, он погибает со ставшей знаменитой фразой на устах: "Ты победил. Галилеянин!.."

В следующем романе - "Воскресшие Боги (Леонардо да Винчи)" Мережковский широкими мазками рисует эпоху Возрождения в противоречиях между монашески суровым Средневековьем и новым, гуманистическим мировоззрением, которое вместе с возвращением античных ценностей принесли великие художники и мыслители этой поры. Однако здесь уже проступает некая нарочитость, заданность: вместе с возрождением античного искусства якобы воскресли и боги древности. И все же в романе главным является не отвлеченная концепция, а сам великий герой, гениальный художник и мыслитель. Леонардо, его "страшный лик" и "змеиная мудрость" с особой силой влекли к себе Мережковского - как символ Богочеловека и Богоборца:

Пророк, иль демон, иль Кудесник, Загадку вечную храня, О, Леонардо, ты - предвестник Еще неведомого дня.

Смотрите вы, больные дети Больных и сумрачных веков, Во мраке
будущих столетий Он непонятен и суров,

Ко всем земным страстям бесстрастный, Таким останется навек
Богов презревший, самовластный, Богоподобный человек.

Д. Мережковский. "Леонардо да Винчи"

Работая над первой трилогией, Мережковский ощущал, что идеалы христианства и ценности гуманизма, понятие Царства Небесного и смысл царства земного для Него несовместимы, метафизически разорваны. Позднее он объяснит свои искания: "Когда я начинал трилогию "Христос и Антихрист", мне казалось, что существуют две правды; христианство - правда о небе, и язычество - правда о земле, и в будущем соединении этих двух правд полнота религиозной истины. Но, кончая, я уже знал, что соединение Христа с Антихристом - кощунственная ложь; я знал, что обе правды - о небе и о земле - уже соединены во Христе Иисусе. Но я теперь также знаю, что надо было мне пройти эту ложь до конца, чтобы увидеть истину. От раздвоения к соединению - таков мой путь,- и спутник-читатель, если он мне равен в главном - в свободе исканий,- придет к той же истине".

Все же следы этой раздвоенности не покинут Мережковского до самых последних его работ.

Помимо трилогии "Христос и Антихрист" и трилогии из русской жизни "Павел 1", "Александр 1" и "14 декабря", ему принадлежит еще целый ряд произведений, написанных уже в эмиграции. Жанр их не всегда определим, так как форма традиционного романа смыкается с беллетризованной документальной биографией или даже историко-философским трактатом. В этих позднейших книгах - "Рождение Богов (Тутанкамон на Крите)"

(1925); "Мессия" (1927); "Тайна Запада. Атлантида-Европа"

(1930); "Иисус Неизвестный" (1932); двухтомное исследование "Данте" (1939), книга об испанской святой "Маленькая Тереза", очерки "Реформаторы. Лютер. Кальвин. Паскаль" и т. д. - элементы книжности, музейной архаики нарастают. Как писал о "Рождении Богов" и "Мессии" советский критик Д. Горбов, "это огромные саркофаги, воздвигнутые бесстрастной рукой

историка "гробкопателя", холодные тронные залы все той же идеи господства мира мертвых над миром живых".

Было бы неверно, однако, целиком принять эту жестокую, звучащую как приговор формулу Д. Горбова. Мережковский не был только книжным затворником. Так, занимаясь эпохой Петра 1, он совершил далекие поездки по России, изучая "живьем"

раскол, в котором ему виделся свет религиозной истины, утраченной официальной церковью. Но и тут проявлялся его "европеизм", кабинетность таланта. "Он был очень далек от типа русскописателя, очень часто встречающегося... - замечала З. Гиппиус. Ко всякой задуманной работе он относился с серьезностью, я бы сказала, ученого. Он исследовал предмет, свою тему, со всей возможной широтой, и эрудиция его была довольно замечательна.

Начиная с "Леонардо" - он стремился, кроме книжного собирания источников, еще непременно быть там, где происходило действие, видеть и ощущать тот воздух и ту природу. Не всегда это удавалось: его мечта побывать в Галилее, перед работой об "Иисусе Неизвестном", и в Испании, когда он писал (это уже в последние годы жизни) "Терезу Авильскую" и "Иоанна Креста" - неосуществилась; но наше путешествие "по следам Франциска 1"

(которого сопровождал Леонардо), начавшееся с деревушки Винчи, где родился Леонардо, и до Амбуаза, где он умер, - было первым такого рода; вторым - в глубину России, к раскольникам старообрядцам, ко "Граду Китежу", - когда Дмитрий] Сергеевич собирался писать Петра 1; третьим - почти двухлетнее следование за Данте, по другим городам и местам Италии (уже перед последней войной) перед его большим трудом о Данте. Повторяю, более всестороннего и тщательного исследования темы, будь то роман или не роман, - трудно было у кого-нибудь встретить "...". В работе о Египте ему помогла Германия, где ему, из специальной библиотеки, привозили на тачках (буквально) громадные фолианты, в которых он нуждался".

Однако документ, как и географические и исторические реалии, в итоге как бы сковывал фантазию Мережковского-художника. Писатель использовал его не как отправную точку для показа путешествия души героев, для создания новых, неизвестных ранее в

литературе характеров. Он оставался, можно сказать, "внутри" документа, преобразуя его то в выдуманный дневник одного из персонажей романа, то в форму острого диалога или "изтреянного" потока сознания, который превращался таким образом в поток цитат.

Это было именно тщательное "исследование темы". Для художника, открывающего нам тайны человека, создающего типы времени, оно лишь пролог к собственно творчеству (так документальные изыскания Пушкина явили нам "Историю пугачевского бунта", а роман "Капитанская дочка" волшебным образом преобразил документ в высокое искусство); у Мережковского творчество укладывалось в рамки сбора, систематизации и осмысления материала. Как подсчитал один из критиков, из тысячи страниц его романа о Леонардо да Винчи не менее половины приходится на подробные выписки, материалы и дневники. Отсюда заметная иллюстративность исторических романов Мережковского, герои которых - воистину рупоры идей автора.

Впрочем, в этих ограниченных пределах он остается художником, стремящимся прежде всего к внешним эффектам, ярким и драматическим зарисовкам, идя от фактов и реалий (наподобие многофигурных и явно театральных полотен академика живописи Г.И. Семирадского; так и хочется сопоставить его пышное полотно "Светочи Нерона" с романом "Юлиан Отступник"). Мережковский недаром выбирает для своих романов особенные - смутные, колеблемые раздвоением, вызревающими конфликтами времена. Такова, к примеру, эпоха Юлиана Отступника (христианство уже победило, но язычество еще не изжито; в христианстве укрывается языческий разврат), или Леонардо да Винчи (возрождается язычество, эллинизм, а христианство в лице католицизма вырождается, причем в самых уродливых формах), или Петра I, или религиозной смуты на Крите и в Египте. Кризис гуманизма, кризис веры в конечное торжество добра (приведшие в итоге к появлению символизма) наложили мощный отпечаток на творчество Мережковского. В ряде его романов мы найдем полное смещение нравственных норм, тягу к откровенной эротике, тщательное живописание насилия и жестокости. С Мережковским,

по утверждению Н. Бердяева, "исчезает из русской литературы ее необыкновенное правдолюбие и моральный пафос".

Об этом, можно сказать, ницшеански-демонстративном нежелании считаться с заповедями традиционной, христианской морали размышлял философ и критик И. А. Ильин, подробно, пристрастно и очень последовательно проанализировавший романы Мережковского:

"Ложное истинно. А истинное ложно. Это - диалектика?

Извращенное нормально. Нормальное извращенно. Вот искренноверующая христианка - от христианской доброты она отдается на разврат конюхам. Вот христианский диакон, священнослужитель алтаря - он мажет себе лицо, как публичная женщина, и постоянно имеет грязно-эротические похождения в цирке. Вот распятие - тело Христа, а голова ослиная. Вот святой мученик - с дикой руганью он плюет в глаза своим палачам. Вот христиане, которые только и думают о том, как бы им вырезать всех язычников. Христос тождествен с языческим богом Дионисом. Верить можно только в то, чего нет, но что осуществится в будущем. Преступное изображается как упоительное. Смей быть злым до конца, или не стыдись. От руки найденного идола - совершаются исцеления. В кануны христианских праздников проститутке надо заплатить вдвое - "из почтения к Богородице". Человек имеет две ладони - с мощами св. Христофора и с куском мумии. Папа Римский прикладывает к Распятию, а ВНУТРИ у него ВенерА.

Чистейшая кровь Диониса - Галилеянина. Вот девушку вкладывают в деревянное подобие корозы и отдают в таком виде быку это мистерия на Крите, предшествующая Тайной Вечере христианства. Ведьмовство смахивает на молитву; молитва -- на колдовское заклинание. Христос -- МЕЧТА. Зло есть добро. И все это высший гнозис. А откровение божественное призвано давать людям сомнение".

"Искусство это? - задается в итоге вопросом Ильин. - Ногда это искусство, попирающее все законы художественного.

Религия это? Нет - это скорее безверие и безбожие".

Характерно, однако, что во всех этих рассуждениях речь идет о романах (кроме одного - "Петр и Алексей"), написанных на иноземном историческом материале - Рим, Италия, Крит, Египет. И. А. Ильин совершенно не касается двух крупных произведений Мережковского - "Александр 1" и "14 декабря" (равнокак и пьесы "Павел 1"). Скорее всего, по той простой причине, что здесь его критическое жало не нашло бы жертвы.

Трилогия "Павел 1" - "Александр 1" - "14 декабря" свободна от метафизической догматики, и от красочной эротики, и от смакования жестокостей. Я бы сказал даже, что тут (например, в романе "Александр 1") ощущаешь ту связь с гуманистической традицией русской литературы XIX века, которая оказалась в других произведениях Мережковского утраченной.

Вторая трилогия - только о России

Конечно, Мережковский и в ней остается верен себе. Он вновь выбирает "смутное время": конец царствования Павла, заговор и убийство императора; закат правления Александра 1, брожение и недовольство в обществе, нравственно-религиозные искания, движение дворянских революционеров, их неудача 14 декабря 1825 года. Пробел во времени между событиями, о которых говорится в пьесе и романах, огромен - без малого четверть века.

Выпадают и славные страницы Отечественной войны 1812 года;

однако героический период русской истории Мережковского, видимо, не интересует. В пьесе ему, помимо главной цели - осуждения самодержавия на примере дикого самодурства и деспотизма Павла, - важно еще показать начало опустошающей душу трагедии Александра Павловича, ставшего невольным соучастником дворцового переворота. Отцеубийство. Этот мотив найдет затем развернутое продолжение в романе, в показе раздвоенного, проявляющего себя то в приливах лицемерия, то в приступах больной совести характера Александра 1.

Уже отмечалось, сколь важны были всегда для Мережковского романиста источники; о них следует сказать особо. В пору написания трилогии он имел возможность опираться на капитальные труды, созданные отечественными историками.

Здесь раньше всего нужно назвать серию монографий Н. К. Шильдера, посвященных русским монархам: огромное исследование в четырех томах "Император Александр 1, его жизни царствование" (1897-1898), работы "Император Павел 1" (1901)

и "Император Николай 1" (опубликована в 1903 году). В последнем, незавершенном двухтомном труде (автор покончил с собой в 1902 году, повторив таким образом поступок своего коронованного героя) Шильдер с особенным историческим беспристрастием, необычным для историка его положения, говорит о многих сторонах царствования Николая, в том числе и о характере официального следствия по делу декабристов.

Ослабление цензуры после первой русской революции вызвало появление многочисленных работ, посвященных "темным пятнам" русской истории (например, в серии "Русская быль" "Смерть Павла Первого" немецких ученых Шимана и Брекнара, "Разруха 1825 года. Восшествие на престол императора Николая 1" Г. Василича, его же компилятивный труд "Император Александр 1 и старец Федор Кузьмич" и т. д.). Достоянием читателя становится целая библиотека, посвященная декабристам: издаются сборники документов, воспоминания, исследования. Среди прочих назову сборник донесений, приказов и правительственных сообщений под редакцией богучарского "Государственные преступления в России" (заграничное издание 1903-го и петербургское 1906 года), мемуары Н. Тургенева, братьев Бестужевых, Трубецкого (1907), составленный Семевским, Богучарским и Щеголевым сборник "Общественное движение в России в первую половину XIX века" (1905), работы Довнар-Запольского "Мемуары декабристов" (1906), "Тайное общество декабристов" (1906) и "Идеалы декабристов" (1907), "Галерею шлиссельбургских узников" под редакцией Анненского, Богучарского, Семевского и Якубовича (1907), "Декабристы" Котляревского (1907), "Политические и общественные идеалы декабристов" Семевского (1909) и мн. др.

Особо важным подспорьем для Мережковского оказались исследования замечательного русского историка Великого Князя Николая Михайловича "Император Александр 1" (1912) и трехтомная работа "Императрица Елизавета Алексеевна" (1908-1909).

Ведь для автора (внука Николая 1) были открыты все запретные для других дворцовые архивы. Николай Михайлович опубликовал широкий, недоступный ранее материал (например, пространную интимную переписку жены Александра 1 Елизаветы Алексеовны со своей матерью, маркграфиней Ваденской Амалией), которым воспользовался Мережковский.

Но события времен Павла и Александра 1 не были для писателя седой стариной. О них помнили не только книги, но и люди.

Именно в царствование Павла, как уже говорилось, дед Мережковского начал свою службу в гвардейском Измайловском полку, а затем участвовал в войне 1812 года; судя по всему, он был свидетелем декабрьского восстания в Петербурге 1825 года. Иными словами, благодаря семейным преданиям Мережковский мог получить многое, так сказать, из первых рук. Не потому ли, несмотря на традиционное обилие скрытых и явных цитат, вторая трилогия выглядит все же не энциклопедией чужой мудрости, а серией живых картин русской жизни.

Особый характер придает ей резкая антимонархистская, антицаристская направленность.

И здесь, верный себе, Мережковский находит теологическое обоснование своих взглядов. В результате долгих размышлений, поисков (в которых участвует весь "триумvirат") он находит категорическую формулу: "Да - самодержавие от Антихриста".

Уже в ходе работы над романом "Петр и Алексей" симпатии автора все более склоняются к "непонятому" Алексею, "жертве", олицетворению "патриархальной России", - а также к гонимым раскольникам, несущим, по его мнению, народную правду. Пушкинскую фразу о Петре 1; "Россию поднял на дыбы" Мережковский переиначивает "на дыбу"; бессильная угроза несчастного Евгения Медному Всаднику "Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебе!"

оборачивается зловещим предсказанием: "Петербургу быть пусту!"

Надо сказать, что резко отрицательное отношение к абсолютистскому государству, самодержавно-бюрократическому

строю было характерно для русского символизма в целом. Так, очень близок своим антимонархическим пафосом прозе Мережковского роман Андрея Белого "Петербург" (1913-1916), который был отвергнут редактором журнала "Русская мысль" П. Струве из-за "антигосударственной тенденции", которая здесь "очсати зла и даже скептически". Но, пожалуй, наибольшего накала обличение монархии достигает в пьесе Мережковского "Павел 1".

В фундаментальных трудах отечественных историков правление Павла уже получило к тому времени недвусмысленную оценку. Самодержавие, с его бесконтрольностью и абсолютной полнотой власти, раскрылось во всей вопиющей несправедливости, когда на троне оказался человек с явно расстроенной психикой, навязчивой подозрительностью, у которого самые благие порывы приводили к печальным последствиям и который оставил память себе как о жестоком маньяке. Характеризуя царствование Павла, Н. К. Шильдер писал: "...новая эра является перед нами в виде сплошного, тяжелого кошмара, напоминающего порою, по выражению современника, "зады Грозного". Современником этим был не кто иной, как Н. М. Карамзин, автор "Записки о древней и новой России" (поданной Александру 1 через великую княгиню Екатерину Павловну), где он дал уничтожающую характеристику Павлу и его царствованию. И хотя делались (и делаются поныне) попытки переосмыслить эту оценку, думаю, можно считать ее окончательной.

В своей пьесе Мережковский даже сгущает мрак павловского царствования, вынося за скобки и то небольшое доброе, что было в императоре. Под его пером Павел - это злая кукла, автомат, наделенный неограниченной властью и гибнущий в результате развязанной им фантазмагии. Отсюда, от пьесы Мережковского, идет целая традиция в нашей литературе, например, трактовка Павла 1 и русской монархии у Ю. Тынянова ("Подпоручик Киже"). Влияние Мережковского порой проявлялось в буквальном следовании за ним других авторов (так, исторический роман 1936 года А. Шишко "Беспокойный век" оказался построен на прямых заимствованиях из пьесы).

В один из наездов Мережковских в Петербург, 14 декабря 1908 года, на вечере, устроенном в пользу писателя А. М. Ремизова, были

впервые разыграны два действия драмы "Павел 1"

в костюмах того времени. По случайному совпадению премьерасостоялась в день 83-й годовщины восстания на Сенатской площади. К тому времени Мережковский уже работал над романом "Александр 1" и думал о следующем, который по замыслу должен был носить заглавие "Николай 1".

В центре остросюжетной пьесы - сам император, вокруг которого сжимается кольцо заговора; роман "Александр 1" пред

ставляет собой совершенно иное, многоплановое произведение.

Здесь центр тяжести рассредоточен на нескольких центральных персонажах: сам император; "вольнодумец" и декабрист князь Валерьян Голицын; его любимая, угасающая от чахотки незаконная дочь Александра Софья Нарышкина; несчастная супруга царя елизавета Алексеевна. Все они действуют на широком историческом фоне - петербургский свет, участники дворянского заговора, тайная жизнь масонских лож и религиозных сект (вроде "корабля" Татариновой, который посещает Валерьян Голицын), борьба У трона временщиков - Аракчеева и митрополита Фотия с "конкурентом", Голицыным другом, обер-прокурором Святейшего Синода, и т. д.

Разумеется, фигуре самого Александра 1 в романе отдано некоторое предпочтение. Можно сказать, что здесь Мережковский идет за Пушкиным:

Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда, Нечаянно пригретый славой, Над нами царствовал тогда.

Россия присмирела снова, И пуще царь пошел кутить, Но искра пламени иного Уже издавна, может быть, Расшифрованные потомками строфы из десятой главы "Евгения Онегина", можно сказать, являются ключом к целому периоду нашей истории и к характеру самого Александра. Мережковский реставрирует этот характер, отказываясь от романтических соблазнов вроде версии об уходе императора "в скит" замаливать свои грехи (которая увлекла, помимо множества рядовых перьев, "самого" Льва Толстого). В предпоследней главе из Таганрога, где скончался государь, идет по почтовому тракту похожий на него отставной солдат Федор Кузьмич.

Несмотря на многочисленные "странные" высказывания Александра на протяжении всей его жизни (отречься от престола и уехать в Америку или, во время кампании 1812 года, отрастить себе бороду и питаться картофелем где-то за Уралом, но не соглашаться на переговоры с Наполеоном), писатель оставался в твердом убеждении, что его герой не способен на нравственное подвижничество. Но давняя трещина прошла, раздвоив характер императора. В минуты раскаяния он считал себя отцеубийцей.

И здесь Мережковский шел от свидетельства историков: "Наследник престола знал все подробности заговора, ничего не сделал, чтобы предотвратить его, а, напротив того, дал свое обдуманное согласие на действия злоумышленников, как бы закрывая глаза на несомненную вероятность плачевного исхода, т. е.

насильственную смерть отца".

Вообще говоря, смутный внутренний мир Александра очень близок Мережковскому-художнику: метания между вольнолюбивыми идеями воспитавшего его Лагарпа и желание видеть Россию единой казармой наподобие огромного аракчеевского поселения;

мучения отца, потерявшего одну за другой трех дочерей (двух малолетних, от Елизаветы Алексеевны, и взрослую - Софью, от Марии Антоновны Нарышкиной), и лицемерие, фальшь, каменное бесчувствие при виде страдающего под крепостным гнетом народа. Так угадывается в романе излюбленная Мережковским антиномия, которая тут принимает два полярных начала: "небесное" и "земное".

"Небесное" начало редко посещает государя; оно удел двух женских образов - дочери Софьи и жены Елизаветы Алексеевны.

Нисходит оно, впрочем, и на декабристов, даже посреди подготовки кровавого переворота, когда внезапно в них прочитывается нечто чистое, "детское". Показательно, однако, что здесь в главные герои романа Мережковский вербует не "железного" Пестеля или напоминающего позднейших террористов народолюбцев иступленного Каховского. Его внимание привлекает сомневающийся, рефлектирующий князь Валерьян Голицын.

Он принадлежал к умеренному крылу Северного общества и мог многим импонировать Мережковскому. Учился в иезуитском коллеже, дружил с Чаадаевым, рассуждал о католицизме и православии и "заимствовал свободный образ мыслей от чтения жарких прений в парламентах тех народов, кои имеют конституцию" (показания на следствии). Присужденный к ссылке в Сибирь, Голицын через одиннадцать лет был переведен рядовым на Кавказ, в 1838 году поступил на гражданскую службу в Ставрополе и умер в 1859 году. В ряде его черт (вплоть до сильного, но платонически-отвлеченного чувства к Софье) угадывается нечто отличности самого Мережковского.

С неожиданной для этого писателя поэтичностью и глубоким лиризмом обрисованы в романе его героини.

Характер хрупкой, словно случайно залетевшей на грешную землю и быстро покинувшей ее Софьи целиком домыслен писателем. Облик Елизаветы Алексеевны воссоздан по документам. Правда, как свидетельствует Николай Михайлович, дневник Елизаветы Алексеевны, "который она вела за все время своего пребывания в России до кончины в Белове (в 1826 году. - Он был сожжен императором Николаем I". Иными словами, ее ежедневные записи, приводимые в романе (равно как и дневник Голицына), выдуманы Мережковским. Но документальный материал тут велик (только писем к матери было 1145). Он дает полное основание утверждать, что Елизавета Алексеевна, помимо того, что она была большой совестью Александра и несчастной матерью, обладала еще неподдельным вольнолюбием, возвышенными духовными чертами.

"Я проповедывала революции, как безумная, я хотела одного - видеть несчастную Россию счастливою, какою бы то ни было ценою"; - приводит Мережковский выдержку из ее письма материн в отзыве на первый том книги Великого Князя Николая Михай

ловича "Императрица Елизавета Алексеевна" и размышляет далее: "Николай I хорошо знал, что делает, когда, после кончины Елизаветы, собственноручно сжег ее многолетний дневник. Что думал и чувствовал он в то время, как тлели на огне эти обличительные страницы, вырванные из русской истории? Если бы

вруки его попались и эти письма,- не предал ли бы он их огню вместе с дневником?" .

Если Елизавета Алексеевна - больная совесть Александра, то, по замыслу Мережковского, Софья - больная совесть декабриста Голицына. Полны глубокого смысла слова, сказанные ею князю Валерьяну Михайловичу накануне своей кончины: "Живых убивать можно,--но как же мертвого?" О них Голицын вспоминает, когда, собираясь с Пестелем в Таганрог, где задумано покушение на Александра, они узнают о его смерти. Об этих словах в праве вспомнить и мы, применительно к истории новой. Ибо от века горазды мы льстить живым и убивать мертвых.

Слова эти бросают новый свет и на завершающий трилогию роман "14 декабря", который создавался Мережковским посреди великой революции, охватившей Россию.

Октябрь, Советскую власть Мережковские не приняли; "триумвират" выезжает, а точнее - бежит от большевиков в Варшаву, где Философов остается. Мережковский и Гиппиус обосновываются в Париже.

Несмотря на свою европейскую известность (вместе с Буниним и Шмелевым он был кандидатом на Нобелевскую премию), несмотря на активное участие в литературной жизни (популярными стали учрежденные им и Гиппиус заседания "Зеленая лампа"), наконец, несмотря на свою исключительную плодовитость в эмиграции, Мережковский постепенно становится фигурой архаичной, почти выморочной. Бунин записывает в дневник 7/20 января 1922 года: "Вечер Мережковского и Гиппиус у Цетлиной.

Девять десятых, взявших билеты, не пришли. Чуть не все бесплатные, да и то почти все женщины, еврейки. И опять он им о Египте, о религии! И все сплошь цитаты - плоско и элементарно донельзя" .

В политической ненависти к коммунизму Мережковский последовательно ставил на всех диктаторов: Пилсудского, Муссолини, Гитлера. Когда фашистская Германия напала на нашу страну, он, 76-летний старик, выступил по радио, где сравнил Гитлера... с Жанной д'Арк! Большинство эмигрантов отвернулись

отнего. Между тем этот последний, роковой шаг был сделан Мережковским, как он сам обмолвился как-то, только "из подлости".

"Положа руку ва сердце,- пишет встречавшаяся с ним в товремя Ирина Одоевцева,- утверждаю, что Мережковский до своего последнего дня оставался лютым врагом Гитлера, ненавидяи презируя его по-прежнему "..."

Кстати, меня удивляет это его невероятное презрение к Гитлеру: он считал его гнусным, невежественным ничтожеством, полупомешанным к тому же.

А ведь сам он всю жизнь твердил об Антихристе, и когдаэтот Антихрист, каким можно считать Гитлера, появился передним,- Мережковский не разглядел, проглядел его".

Однако клеймо "коллорациониста" так и не было смыто.

И когда полгода спустя после своей радиопередачи Мережковскийскончался (9 декабря 1941 года), проводить его в последний путьв православной церкви на улице Дарю, в Париже, собралось всегонесколько человек.

Олег Михайлов

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В двадцати стадиях от Цезарей Каппадокийской, на лесистых отрогах Аргейской горы, при большой римской дороге, был источник теплой целебной воды. Каменная плита с грубо высеченными человеческими изваяниями и греческой надписью свидетельствовала, что некогда родникпосвящен был братьям Диоскурам - Кастору и Поллуксу.

Изображения языческих богов, оставшись неприкосновенными, считались изображениями христианских святых, Косьмы и Дамиана.

На другой стороне дороги, против св. Источника, была построена небольшая таверна, крытая соломой лачуга, с грязным скотным двором и навесом для кур и гусей.

В кабачке можно было получить козий сыр, полубелыйхлеб, мед, оливковое масло и довольно терпкое честноевино. Таверну содержал лукавый армянин -* Сиракс.

Перегородка разделяла ее на две части: одна-для простого народа, другая-для более почетных гостей. Подпотолком, почерневшим от едкого дыма, висели копченые окорока и пучки душистых горных трав: жена Сиракса, Фортуната, была добрая хозяйка.

Дом считался подозрительным. Ночью добрые люди в нем не останавливались; ходили слухи о темных делах, совершенных в этой лачуге. Но Сиракс был пронырлив, умел дать взятку, где нужно, и выходил сух из воды.

Перегородка состояла из двух тонких столбиков, на которые натянута была, вместо занавески, старая полинявшая хламида Фортунаты. Столбики эти составляли единственную роскошь кабачка и гордость Сиракса: некогда позолоченные, они давно уже растрескались и облупились; прежде ярко-лиловая, теперь пыльно-голубая ткань хламиды пестрела многими заплатами и следами завтраков, ужинов и обедов, напоминавшими добродетельной Фортунате десять лет семейной жизни.

В чистой половине, отделенной занавеской, на единственном ложе, узеньком и продранном, за столом с оловянным кратером и кубками вина, возлежал римский военный трибун шестнадцатого легиона девятой когорты Марк Скудило. Марк был провинциальный щеголь, с одним из тех лиц, при виде которых бойкие рабыни и дешевые гетеры городских предместий восклицают в простодушном восторге: "какой красивый мужчина!" В ногах его, на той же ленте, в почтительном и неудобном положении тела, сидел краснолицый толстяк, страдавший одышкой, с голым черепом и редкими седыми волосами, зачесанными от затылка на виски,- сотник восьмой центурии Публий Аквила. Поодаль, на полу, двенадцать римских легионеров играли в кости.

- Клянусь Геркулесом,- воскликнул Скудило,- лучше бы я согласился быть последним в Константинополе, чем первым в этой норе! Разве это жизнь, Публий? Ну, по чистой совести отвечай-разве это жизнь? Знать, что кроме учений да казармы, да лагерей ничего впереди.

Сгниешь в вонючем болоте и света не увидишь!

- Да, жизнь здесь, можно сказать, невеселая,- согласился Публий.- Ну, уж зато и спокойно.

Старого центуриона занимали кости; делая вид, что слушает болтовню начальника, поддакивая ему, исподтишка следил он за игрой солдат и думал: "если рыжий ловко метнет - пожалуй, выиграет". Только для приличия Публий спросил трибуна, как будто это занимало его:

- Из-за чего же, говоришь ты, сердит на тебя префект Гельвидий?
- Из-за женщины, Друг мой, все из-за женщины.

И в припадке болтливой откровенности, с таинственным видом, на ухо сообщил Марк центуриону, что префект, "этот старый козел Гельвидий", приревновал его к приезжей гетере лилибеянке; Скудило хочет сразу какойнибудь важной услугой возратить себе милость Гельвидия. Недалеко от Цезарей, в крепости Мацеллуме, заключены Юлиан и Галл, двоюродные братья царствующего императора Констанция, племянники Константина Великого, последние отпрыски несчастного дома Флавиев.

При вступлении на престол, из боязни соперников, Констанций умертвил родного дядю, отца Юлиана и Галла, Юлия Констанция, брата Константина. Пало еще многожертв. Но Юлиана и Галла пощадили, сослав в уединенный замок Мацеллум. Префект Цезарей, Гельвидий, был в большОм затруднении. Зная, что новый император ненавидит двух отроков, напоминавших ему о преступлении, Гельвидий и хотел, и боялся угадать волю Констанция.

Юлиан и Галл жили под вечным страхом смерти. Ловкий трибун Скудило, мечтавший о возможности придворной выслуги, понял из намеков начальника, что он не решается принять на себя ответственность и напуган сплетнями о замышляемом бегстве наследников Константина; тогда Марк решился отправиться с отрядом легионеров в Мацеллум и на свой страх схватить заключенных, чтобы отвести их в Цезарею, полагая, что нечего бояться двух несовершеннолетних, всеми брошенных, сирот, ненавистных императору. Этим подвигом надеялся он возратить себе Милость префекта Гельвидия, утраченную из-за рыжеволосой лилибеянки.

Впрочем, Публию Марк сообщил только часть своих замыслов, и притом осторожно.

- Что же ты хочешь делать, Скудило? Разве получены предписания из Константинополя?

- Никаких предписаний; никто ничего наверное не знает. Но слухи, видишь ли, - тысячи различных слухов и ожиданий, и намеки, и недомолвки, и угрозы, и тайны-о, тайнам нет конца! Всякий дурак сумеет исполнить то, что сказано. А ты угадай безмолвную волю владыки - вот за что благодарят. Посмотрим, попробуем, поищем. Главное - смелее, смелее, осенив себя крестным знаменем. Я на тебя полагаюсь, Публий. Может быть, мы с тобою скоро будем пить при дворе вино послаще этого...

В маленькое решетчатое окошко падал унылый свет ненастного вечера; однообразно шумел дождь.

Рядом, за тонкой глиняной стенкой со многими щелями, был хлев; оттуда пахло навозом, слышалось кудахтанье кур, писк цыплят, хрюканье свиней; молоко цедилось в звонкий сосуд: должно быть, хозяйка доила корову.

Солдаты, поссорившись из-за выигрыша, ругались шепотом. У самого пола, между ивовых прутьев, чуть прикрытых глиной, в щель выглянула нежная и розовая морда поросенка; он попал в западню, не мог вытащить головы назад и жалобно пищал.

Публий подумал:

"Ну, пока что, а мы теперь ближе к скотному, чем царскому двору".

Тревога его прошла. Трибуну, после неумеренной болтовни, тоже сделалось скучно. Он взглянул на серое дождливое небо в окошке, на глупую морду поросенка, на кислый осадок скверного вина в оловянном кубке, на грязных солдат - и злоба овладела им.

Он застучал кулаком по столу, качавшемуся на неровных ногах.

- Эй, ты, мошенник, хриstopродавец, Сиракс! Подика сюда. Что это за вино, негодяй?

Прибежал кабатчик. У него были четные, как смоль, волосы в мелких кудряшках, и борода такая же черная, с синеватым отливом, тоже в бесчисленных мелких завитках; в минуты супружеской нежности Фортуната говорила, что борода Сиракса подобна гроздьям сладкого винограда; глаза черные и необыкновенно

сладкие; сладчайшая улыбка не сходила с румяных губ; он походил на карикатуру Диониса, бога вина: весь казался черным и сладким.

Кабатчик клялся и Моисеем, и Диндименой, и Христом, и Геркулесом, что вино превосходное; но трибунобъявил, что знает, в чьем доме зарезан был памфилийский купец Глабрион, и что выведет когда-нибудь его, Сиракса, на чистую воду. Испуганный армянин бросился со всех ног в погреб и скоро с торжеством вынес бутылку необыкновенного вида - широкую, плоскую внизу, с тонким горлышком, всю покрытую благородною плесенью и мхом, как будто седую от старости. Сквозь плесень коегде виднелось стекло, но не прозрачное, а мутное, слегка радужное; на кипарисовой дощечке, привешенной к горлышку, можно было разобрать начальные буквы: "Anthosmium" и дальше: "annorum centum" - "стоletнее".

Но Сиракс уверял, что уже во времена императора Диоклетиана вина было больше ста лет.

- Черное? - с благоговением спросил Публий.

- Как деготь, и душистое, как амброзия. Эй, Фортуната, для этого вина нужны летние хрустальные чаши.

И дай-ка нам чистого, белого снега из ледника.

Фортуната принесла два кубка. Лицо у нее было здоровое, с приятной желтоватой белизной, как у жирных сливок; казалось, от нее пахнет деревенской свежестью, молоком и навозом.

Кабатчик взглянул на бутылку со вздохом умиления и поцеловал горлышко; потом осторожно снял восковую печать и откупорил. На дно хрустального кубка положили снег. Вино полилось густою черною пахучею струей; снег таял от прикосновения огненного антосмия; хрустальные стенки сосуда помутились и запотели от лилидд. Тогда скудило, получивший образование на медные гроши (он

был способен смешать Гекубу с Гекатой), произнес с гордостью единственный стих Марциала, который помнил:

*Candida nigrescant vetulo crystallae Falerno** Светятся льдинки в бокалах с фалернским (лат.).

- Подожди. Будет еще вкуснее!

Сиракс опустил руку в глубокий карман, достал крошечную бутылочку из цельного оникса и с чувственной улыбкой осторожно

подлил в вино каплю драгоценного аравийского киннамона; капля упала в черную антоسمию, как мутно-белая жемчужина, и растаяла; в комнате повеял сладкий странный запах.

Пока трибун с восторгом медленно пил, Сиракс прищелкивал языком и приговаривал:

- Библосское, Маронейское, Лаценское, Икарийское все перед этим дрянь!

Темнело. Скудило отдал приказ собираться в путь.

Легионеры надели панцири, шлемы, на правую ногу железные поножия, взяли щиты и копья.

Когда они вышли за перегородку, исаврские пастухи, похожие на разбойников, сидевшие у очага, почтительно встали перед римским трибуном. Он имел величественный вид; в голове шумело; в жилах был огонь благородного напитка.

На пороге приступил к нему человек в странном восточном одеянии, в белом плаще с красными поперечными полосами и с высоким головным убором из воловьей шерсти - персидской тиарой, похожей на башню. Скудило остановился. Лицо у перса было тонкое, длинное, исхудалое, желто-оливкового цвета; узкие пронизательные глаза - с глубокою и хитрою мыслью; во всех движениях важное спокойствие. Это был один из тех бродячих астрологов, которые с гордостью называли себя халдеями, магами, пирэтами и математиками. Тотчас объявил он трибуну, что имя его Ногодарес; он остановился у Сиракса проездом; держит путь из далекой Анадиабены к берегам Ионического моря, к знаменитому философу и теургу Максиму Эфесскому. Маг попросил позволения показать свое искусство и погадать на счастье трибуна.

Закрыли ставни. Перс что-то приготавливал на полу;

вдруг раздался легкий треск; все притихли. Красноватое пламя поднялось тонким длинным языком из белого дыма, наполнившего комнату. Ногодарес приложил к бескровным губам двуствольную тростниковую дудочку, заиграл, - и звук был томный, жалобный, напоминавший лидийские похоронные песни. Пламя, как будто от этого жалобного звука, пожелтело, померкло, засветилось грустнонежным, бледно-голубым сиянием. Маг подбросил в огонь сушеной травы; разлился крепкий, приятный запах; запах тоже

казался грустным: так благоухают полузасохшиетравы, в туманные вечера, над мертвыми пустынями Арахозии или Дрангианы. И, послушная жалобному звуку дудочки, огромная змея медленно выползла из черного ящика у ног волшебника, развивая с шелестом упругие кольца, блестевшие зеленоватым блеском. Тогда он запел протяжным, тихим голосом, так что казалось - песнь доноситсяиздалека; и много раз повторял все он одно и то же слово: "Мара, мара, мара". Змея обвилась вокруг его худого стана и, ласкаясь, с нежным шипением, приблизила плоскую, зелено-чешуйчатую голову с глазами, сверкавшимиподобно карбункулам, к самому уху волшебника: длинноераздвоенное жало мелькнуло со свистом, как будто оначто-то сказала ему на ухо. Волшебник бросил на землюдудочку. Пламя опять наполнило комнату мутно-белымдымом, но на этот раз с тяжелым, одуряющим, словно могильным, запахом,- и сразу потухло. Сделалось темной страшно. Все были в смятении. Но, когда открыли ставни, и упал свинцовый свет дождливых сумерек - от змеии от ее черного ящика не было ни следа. Лица казалисьмертвенно-бледными.

Ногодарес подошел к трибуну: - Радуйся! Тебя ожидает великая и скорая милостьблаженного Августа, императора Констанция.

Несколько мгновений он пытливо смотрел на рукуСкудило, на очертания ладони; потом, быстро наклонившись к уху его, так что никто не мог слышать, сказал шепотом:

- Кровь, кровь великого цезаря на этой руке!

Скудило испугался.

- Как ты смеешь, проклятая халдейская собака?

Я верный раб...

Но тот почти насмешливо заглянул ему в лицо хитрыми глазами и прошептал:

- Чего ты боишься?.. Через много лет... И разве безкрови бывает слава?..

Когда солдаты вышли из таверны, гордость и радостьнаполняли сердце Скудило. Он подошел к св. Источнику, набожно перекрестился, выпил целебной воды, призываяс усердною мольбою Косьму и Дамиана. втайне надеясь;

что предсказание Ногодареса не окажется тщетным; потом вскочил на великолепного каппадокийского жеребца и дал знак, чтобы легионеры выступали в путь. Знаменосец, "драконарий", поднял знамя в виде дракона из пурпуровой ткани. Трибуну хотелось похвастать перед толпою, высыпавшей из кабака. Он знал, что это опасно, но не мог удержаться, опьяненный вином и гордостью; протянув меч по направлению к ущелью, покрытому туманом, он громко сказал: - В Мацеллум!

Пронесся шепот удивления; произнесены были имена Юлиана и Галла.

Трубач, стоявший впереди, затрубил в медную "букцину", загнутую кверху в несколько завитков, подобно рогубарана.

Протяжный звук римской трубы разнесся далеко по ущельям, и горное эхо повторило его.

В огромной спальне Мацеллума, бывшего дворца каппадокийских царей, было темно.

Постель десятилетнего Юлиана была жесткая: голое дерево, прикрытое барсовой шкурой; мальчик сам так хотел; недаром старый учитель, Мардоний, воспитывал его в строгих началах стоической мудрости.

Юлиану не спалось. Ветер подымался изредка, порывами, и жалобно, как пойманный зверь, завывал в щелях;

потом вдруг становилось тихо; и в странной тишине слышно было, как нечастые крупные капли дождя падали, должно быть, с большой высоты, на звонкие каменные плиты.

Юлиану казалось иногда, что в черном мраке сводов слышится быстрое шуршание летучей мыши. Он различал сонное дыхание брата, спавшего - то был изнеженный и прихотливый мальчик - на мягком ложе, под старинным запыленным пологом, последним остатком роскоши каппадокийских царей. Из соседнего покоя раздавался тяжелый храп педагога Мардония.

Вдруг маленькая кованая дверца потайной лестницы в стене тихонько скрипнула, отворилась, и луч света ослепил глаза Юлиана. Вошла старая рабыня Лабда; она держала в руке медную лампаду.

- Няня, мне страшно; не уноси огня.

Старуха поставила лампаду в полукруглое каменное углубление над изголовьем Юлиана.

- Не спится? не болит ли головка? Хочешь поесть?

Кормит вас впроголодь старый грешник Мардоний. Медовых лепешек принесла. Вкусные. Отведай.

Кормить Юлиана было любимым занятием Лабды; но днем не позволял ей Мардоний, и она приносила лакомства ночью тайком.

Полуслепая старуха, едва таскавшая ноги, ходила всегда в черном монашеском платье; ее считали ведьмой; но она была набожной христианкой; самые Мрачные, древние и новые, суеверия слились в ее голове в странную религию, похожую на безумие: молитвы смешивала она с заклинаниями, олимпийских богов с христианскими бесами, церковные обряды с волшебством; вся была увешана крестиками, кощунственными амулетами из мертвых костей и ладанками с мощами святых.

Старуха любила Юлиана благоговейной любовью, считая его единственным законным наследником императора Константина, а Констанция - убийцей и вором престола.

Лабда знала, как никто, все родословное древо, все вековые семейные предания дома Флавиев; помнила Юлианова деда, Констанция Хлора; кровавые придворные тайны хранились в ее памяти. По ночам старуха рассказывала все Юлиану без разбора. И перед многим, чего детский ум его еще не мог понять, сердце уже замирало от смутного ужаса. С тусклым взором, равнодушным и однообразным голосом рассказывала она эти страшные бесконечные повести, как рассказывают древние сказки.

Поставив лампаду, Лабда перекрестила Юлиана, посмотрела, цел ли на груди его янтарный амулет, и, проговорив несколько заклинаний, чтобы отогнать злых духов, скрылась.

Юлиан забылся тяжелым полусном; ему было жарко;

редкие, тяжкие капли дождя, падавшие в тишине, с высоты, как будто в звонкий сосуд, мучили его.

И он не мог различить, спит ли он или не спит, ночной ли ветер шумит, или дряхлая Лабда, похожая на парку, лепечет и шепчет ему на ухо страшные семейные предания. То, что он слышал от нее и что сам видел в детстве, смешивалось в один тяжелый бред.

Он видел труп великого императора на погребальном ложе. Мертвец нарумянен и набелен; хитрая многоэтажная прическа из поддельных волос сделана искуснейшими парикмахерами. Маленького Юлиана подводят, чтобы в последний раз поцеловал он руку дяди. Ребенку страшно; он ослеплен пурпуром, диадемой на поддельных кудрях и великолепием драгоценных камней, блестящих при похоронных свечах. Сквозь тяжелые аравийские благовония первый раз в жизни слышит он запах тления. Но придворные, епископы, евнухи, военачальники приветствуют императора, как живого; послы перед ним склоняются, благодарят его, соблюдая пышный чин; сановники провозглашают эдикты, законы, постановления сената; испрашивают соизволения мертвеца, как будто он может слышать; ильстивый шепот проносится над толпой: люди уверяют, будто бы он так велик, что, по особой милости Провидения, один только царствует и после смерти.

Юлиан знает, что Константин убил сына; вся вина молодого героя была в том, что народ слишком любил его;

сын был оклеветан мачехой: она полюбила пасынка грешной любовью и отомстила ему, как Федра Ипполиту; потом оказалось, что жена кесаря в преступной связи с одним из рабов, состоявших при императорской конюшне, и ее задушили в раскаленной бане. Пришла очередь и благородного Лициния. Труп на трупе, жертва за жертвой.

Император, мучимый совестью, молил об очищении иерофантов языческих таинств; ему отказали. Тогда епископ уверил его, что у одной только веры Христовой есть таинства, способные очистить и от таких преступлений. И вот пышный "лабарум", знамя с именем Христа из драгоценных камней, сверкает над похоронным ложем сыноубийцы.

Юлиан хотел проснуться, открыть глаза и не мог.

Звонкие капли по-прежнему падали, как тяжелые, редкие слезы, и ветер шумел; но ему казалось, что не ветер шумит, а Лабда, старая парка, шепчет, лепечет ему на ухом страшные сказки о доме Флавиев.

Юлиану снится, что он - в холодной сырости, рядом с порфировыми гробами, наполненными прахом царей, в подземелье, родовой гробнице Констанция Хлора; Лабда укрывает его, прячет в самый темный угол, между гробами, и укрывает больного Галла,

дрожащего от лихорадки. Вдруг наверху, во дворце, из покоя в покой, под каменными сводами гулких, пустынных палат, раздается предсмертный вопль. Юлиан узнает голос отца, хочет ответить криком, броситься к нему. Но Лабда удерживает мальчика костлявыми руками и шепчет: "Молчи, молчи, ато придут!" - и закрывает его с головой. Потом раздаются торопливые шаги по лестнице - все ближе, ближе. Лабда крестит детей, шепчет заклинания. Стук в дверь, и, при свете факелов, врываются воины кесаря: они переодеты монахами; их ведет епископ Евсевий Никомидийский; панцири сверкают под черными рясами. "Во имя Отца и Сына и Св. Духа! Отвечайте, кто здесь?" Лабда с детьми притаилась в углу. И опять: "Во имя Отца и Сына и Св. Духа, кто здесь?" И еще в третий раз. Потом, с обнаженными мечами, убийцы шарят. Лабда кидается к ногам их, показывает больного Галла, беспомощного Юлиана: "Побойтесь Бога! Что может сделать императору пятилетний мальчик?" И воины всех троих заставляют целовать крест в руках Евсевия, присягнуть новому императору. Юлиан помнит большой кипарисовый крест с эмалью, изображающей Спасителя: внизу, на темном старом деревце, видны следы свежей крови - обагренной руки убийцы, державшего крест; может быть, это кровь отца его или одного из шести двоюродных братьев - Далматия, Аннибалиана, Непотиана, Константина Младшего, или других: через семь трупов перешагнул братоубийца, чтобы вступить на престол, и все совершилось во имя Распятого.

Юлиан проснулся от тишины и ужаса. Звонкие, редкие капли перестали падать. Ветер стих. Лампада, не мерцая, горела в углублении неподвижным, тонким и длинным языком. Он вскочил на постели, прислушиваясь к ударам собственного сердца. Тишина была невыносимая.

Вдруг внизу раздались громкие голоса и шаги, из покоя в покой, под каменными сводами гулких пустынных палат - здесь, в Мацеллуме, как там, в гробнице Флавиев. Юлиан вздрогнул; ему показалось, что он все еще бредит. Но шаги приближались, голоса становились явственней. Тогда он закричал:

- Брат! Брат! Ты спишь? Мардоний? Разве вы не слышите?

Галл проснулся. Мардоний, босой, с растрепанными седыми волосами, в ночной коротенькой тунике - евнухс морщинистым, желтым и одутловатым лицом, похожий на старую бабу,- бросился к потайной двери.

- Солдаты префекта! Одевайтесь скорей!
бежать!

Но было поздно. Послышался лязг железа. Маленькую кованую дверь запирали снаружи. На каменных столбах лестницы мелькнул свет факелов и в нем пурпурное знамя драконария и блестящий крест с монограммой Христа на щите одного из воинов.

- Именем правоверного, блаженного августа, императора Констанция - я, Марк Скудило, трибун легиона Фретензис, беру под стражу Юлиана и Галла, сыновей патриарха!

Мардоний, преграждая путь солдатам, стоял перед закрытой дверью спальни, с воинственной осанкой, с мечом в руках; меч был тупой, никуда не годный: он служил старому педагогу только для того, чтобы во время уроков Илиады показывать ученикам, на живом примере, в условных телодвижениях, как сражался Гектор с Ахиллом; школьный Ахилл едва ли бы сумел зарезать и курицу. Теперь он размахивал этим мечом перед носом Публия по всем правилам военного искусства времен Гомера. Публия, который был пьян, это взбесило:

- Прочь с дороги, пузырь, старая падаль, раздувательный мех! Прочь, если не хочешь, чтобы я проткнул и выпустил из тебя воздух!

Он схватил за горло Мардония и отбросил его далеко, так, что тот ударился о стену и едва не упал. Скудило подбежал к дверям спальни и раскрыл их настежь.

Неподвижное пламя лампы всколыхнулось и побледнело в красном свете факелов. И трибун первый раз в жизни увидел двух последних потомков Констанция Хлора.

Галл казался высоким и крепким; но кожа у него была тонкая, белая и матовая, как у молодой девушки; глаза светло-голубые, ленивые и равнодушные; белокурые, как лен (общий знак Константинова рода), вьющиеся волосы покрывали мелкими кудрями толстую, почти жирную шею. Несмотря на возмужалость тела и на легкий пух начинающейся бороды, восемнадцатилетний Галл

теперь казался мальчиком: такое детское недоумение и ужас были на лице его; губы дрожали, как у маленьких детей, когда они готовы заплакать; он мигал беспомощно веками, розовыми, опухшими от сна, с очень светлыми ресницами, и, торопливо крестясь, шептал: "Господи, помилуй, Господи, помилуй!"

Юлиан был ребенок тощий, худенький, бледный; лицо некрасивое и неправильное; волосы жесткие, гладкие и черные, нос слишком большой; нижняя губа выдающаяся. Но поразительны были глаза его, делавшие лицо одним из тех, которых, раз увидев, нельзя забыть, - большие, странные, изменчивые, с недетским, напряженным и болезненным блеском, который иногда казался сумасшедшим.

Публий, много раз видевший в молодости Константина Великого, подумал;

"Этот мальчик будет похож на дядю".

Страх Юлиана перед солдатами исчез: он чувствовал злобу. Крепко стиснув зубы, перекинув через плечо барсовую шкуру с постели, он смотрел на Скудило пристально, исподлобья, и нижняя выдающаяся губа его дрожала;

в правой руке, под барсовой шкурой, сжимал он рукоятку тонкого персидского кинжала, тайно подаренного Лабдой;

острие было отравлено.

- Волчонок! - молвил один из легионеров, указывая на Юлиана, своему товарищу.

Скудило хотел уже переступить порог спальни, когда Мардония явилась новая мысль. Он отбросил бесполезный меч, уцепился за платье трибуна и вдруг завопил пронзительным, неожиданно тонким бабьим голосом:

- Что вы делаете, негодяи? Как смеете оскорблять посланного императором Констанцием? Мне поручено отвезти ко двору этих царственных отроков. Август возвратил им свою милость. Вот приказ.

- Что он говорит? Какой приказ?

Скудило взглянул на Мардония: морщинистое, старушечье лицо свидетельствовало о том, что он, в самом деле, евнух. Трибун никогда раньше не видел Мардония, но хорошо знал, в какой милости евнухи при дворе императора.

Мардоний поспешно вынул из книгохранилищного ящика, с пергаментными свитками Гесиода и Гомера, свертки подал его трибуну.

Скудило, развернув, побледнел: он прочел только первые слова, увидел имя императора, называвшего себя в эдикте "наша вечность", и не разобрал ни года, ни месяца; когда трибун заметил при свертке огромную, хорошо ему знакомую, государственную печать из темно-зеленого воска на позолоченных тесьмах, - в глазах у него помутилось, колени подогнулись.

- Прости! Это ошибка...

- Ах, вы бездельники! Прочь отсюда! Чтоб духу вашего здесь не было! Еще пьяные! Все будет известно императору!

Мардоний вырвал из дрожащих рук Скудило бумагу.

- Не губи меня! Все мы -- братья, все мы - грешные люди. Умоляю тебя именем Христа!

- Знаю, знаю, что вы делаете именем Христа, негодяи! Прочь отсюда!

Бедный трибун подал знак отступления. Тогда Мардоний снова поднял тупой меч и, размахивая им, сделался похожим на воина из Илиады. Один только пьяный центурион рвался к нему и кричал:

- Пустите, пустите! Я проткну этот старый пузырь и посмотрю, как он лопнет!

Пьяного увели под руки.

Когда шаги умолкли и Мардоний убедился, что опасность миновала, он громко захохотал; все дряблое, женоподобное тело скопца колыхалось от смеха; он забыл важность, приличную педагогу, и подпрыгивал на своих слабых голых ногах, в ночной тунике, крича от восторга:

- Дети мои, дети! Хвала Гермесу! Ловко мы их провели! Эдикт уже три года как отменен. Дураки, дураки!..

Перед солнечным восходом Юлиан уснул крепким, спокойным сном. Он проснулся поздно, бодрый и веселый, когда голубое небо сияло в решетчатом высоком окне спальни.

Утром был урок катехизиса. Богословие преподавал другой учитель, арианский пресвитер, с руками мокрыми, холодными и костлявыми, с уныло-светлыми, лягушачьими глазами, сгорбленный и

высокий как шест, худой как щепка, монах Евтропий. У него была неприятная привычка, тихонько лизнув ладонь руки, быстро приглаживатьею облезлые, седенькие височки и непременно, тотчас жепосле того, вкладывая пальцы в пальцы, слегка пощелкивать суставами. Юлиан знал, что за одним движением неминуемо последует другое, и это раздражало его. Евтропий носил черную рясу, заплатанную, со многими пятнами, уверяя, что носит плохую одежду из смирения; на самом деле он был скряга.

Евсевий Никомидийский, духовный опекун Юлиана, избрал этого наставника.

Монах подозревал в своем питомце "тайную строптивость ума", которая, по мнению учителя, грозила Юлианувечною гибелью, ежели он не исправится. Евтропий неумолимо говорил о тех чувствах, которые ребенок обязанпитать к своему благодетелю, императору Констанцию.

Объяснял ли он Новый Завет, или арианский догмат, или пророческое знамение,- все сводилось к этой цели, к этому "корню святого послушания и сыновней покорности". Казалось, подвиги смирения и любви, мученические жертвы-только ряд ступеней, по которым триумфатор Констанций восходит на престол. Но иногда, в то время, как арианский монах говорил о благодеяниях императора, оказанных ему, Юлиану, мальчик смотрел молчапрямо в глаза учителю глубоким взором; он знал, что в это мгновение думает монах, так же, как тот знал, что думает ученик; и они об этом не говорили.

Но после того, если Юлиан останавливался, забыв перечисление имен ветхозаветных патриархов, или плоховыученную молитву, Евтропий, так же молча, с наслаждением, смотрел на него лягушачьими глазами и тихонькобрал его за ухо двумя пальцами, как будто лаская; ребенок чувствовал, как медленно впивались в ухо его дваострых, жестких ногтя.

Евтропий, несмотря на видимую угрюмость, обладалнасмешливым и по-своему веселым нравом; он давал ученику самые нежные названия: "дражайший мой", "первенец души моей", "возлюбленный сын мой", и посмеивалсянад его царственным происхождением; каждый раз, ущипнув его за ухо, когда Юлиан бледнел не от боли, а отзлости, монах произносил подобострастно:

- Не изволит ли гневаться твое величество на смиренного и худоумного раба Евтропия?

И лизнув ладонь, приглаживал височки, и слегка потрескивал пальцами, прибавляя, что злых и ленивых мальчиков очень бы хорошо поучить иногда лозою, что обэтом упоминается и в Священном Писании: лоза темныйи строптивый ум просвещает. Говорил он это только длятого, чтобы смирить "бесовский дух гордыни" в Юлиане: мальчик знал, что Евтропий не посмеет исполнить угрозу;

да и монах сам был втайне убежден, что ребенок скорееумрет, чем позволит себя высечь; и все-таки учитель почасту и подолгу говорил об этом.

В конце урока, при объяснении какого-то места из Священного Писания, Юлиану случилось заикнуться об антиподах, о которых слышал он от Мардония. Может быть, он сделал это нарочно, чтобы взбесить монаха; но тот залился тонким смехом, закрывая рот ладонью.

- И от кого ты слышал, дражайший, об антиподах?

Ну, насмешил ты меня, грешного, насмешил! Знаю, знаю, у старого глупца Платона кое-что о них говорится. А тыи поверил, что люди вверх ногами ходят?

Евтропий стал обличать безбожную ересь философов: не постыдно ли думать, что люди, созданные по образу иподобию Божию, ходят на головах, издеваясь, так сказать, над твердью небесной? Когда же Юлиан, обиженный за любимых мудрецов, упомянул о круглости земли, Евтропий вдруг перестал смеяться и пришел в такуюярость, что, весь побагровев, затопал ногами.

- От Мардония-язычника наслушался ты этой лжибогопротивной!

Когда он сердился, то говорил, запинаясь, брызгаяслюною; слюна эта казалась Юлиану ядовитой. Монахс ожесточением напал на всех мудрецов Эллады; он забыл, что перед ним ребенок, и произносил уже искренноцелую проповедь, задетый Юлианом за большое место: старика Пифагора, "выжившего из ума", обвинял в бесстыдной дерзости; о бреднях Платона, казалось ему, и говорить не стоит; он просто называл их "омерзительными";

учение Сократа - "безрассудным".

- Почитай-ка о Сократе у Диогена Лаэртца,-сообщал он Юлиану злорадно,- найдешь, что он был ростовщиком; кроме того, запятнал себя гнуснейшими пороками, о коих и говорить непристойно.

Но особенную ненависть возбуждал в нем Эпикур: - Я не считаю сего и стоящим ответа: зверство, с каким погружался он во все роды похотей, и низость, с какою он делался рабом чувственных удовольствий, довольно показывают, что он был не человек, а скот.

Успокоившись немного, принялся объяснять неувольимый оттенок арианского догмата, с такой же яростью нападая на православную церковь, которую называл еретической.

В окно, из сада, веяло свежестью. Юлиан делал вид, что внимательно слушает Евтропия; на сам же деле думал о другом-о своем любимом учителе Мардонии; вспоминал его мудрые беседы, чтения Гомера и Гесиода: какони были непохожи на уроки монаха!

Мардонии не читал, а пел Гомера, по обычаю древних рапсодов; Лабда смеялась, что он "воет, как пес на луну". И в самом деле, непривычным людям было смешно: старый евнух делал ударения на каждой стопе гексаметра, размахивая в лад руками; и важность была на желтом, морщинистом лице его. Но тоненький бабий голосок становился все громче и громче. Юлиан не замечал уродства старика; холод наслаждения пробежал по телу мальчика;

божественные гексаметры переливались и шумели, как волны: он видел прощание Андромахи с Гектором, Одиссея, тоскующего по своей Итаке, на острове Калипсо, пред унылым пустынным морем. И сердце Юлиана щемила сладкая боль, тоска по Элладе - родине богов, родине всех, кто любит красоту. Слезы дрожали в голосе учителя, слезы текли по желтым щекам его.

Иногда Мардоний говорил ему о мудрости, о суровой добродетели, о смерти героев за свободу. О, как и эти речи были не похожи на речи Евтропия! Он рассказывал ему жизнь Сократа; когда доходил до Апологии передафинским народом, то вскакивал и читал наизусть речь философа; лицо его делалось спокойным и немного презрительным: казалось-говорит не подсудимый, а судья народа; Сократ не просит милости; вся власть, все законы государства-ничто перед свободой духа человеческого;

афиняне могут умертвить его, но не отнимут свободы и счастья у бессмертной души его. И когда этот скиф, варвар, купленный раб с берегов Борисфена, восклицал: "свобода!"-Юлиану казалось, что в слове этом такая красота, что перед ней бледнеют образы Гомера. И смотря широко открытыми, почти безумными глазами на учителя, весь дрожал он и холодел от восторга.

Мальчик проснулся от грез, почувствовав прикосновение к уху костлявых холодных пальцев. Урок катехизиса закончился. Став на колени, он прочел благодарственную молитву. Потом, вырвавшись от Евтропия, побежал к себе в келью, взял книгу и направился в любимый уголок сада, чтобы читать на свободе. Книга была запретная, Симпозион. богохульного и нечестивого Платона. На лестнице Юлиан нечаянно столкнулся с уходившим Евтропием.

- Погоди, погоди-ка, дражайший. Что это за книжечка у твоего величества?

Юлиан взглянул на него спокойно и подал книгу.

На пергаментном переплете прочел монах заглавие большими буквами: "Послания Апостола Павла". Он отдал не развернув.

- Ну, то-то же. Помни: я за твою душу отвечаю перед Богом и перед великим государем. Не читай еретических книг, в особенности же тех философов, суетную мудрость коих я довольно обличил сегодня.

Это была обычная хитрость мальчика: он завертывал запрещенные книги в переплеты с невинными заглавиями.

Юлиан научился лицемерить с детства с недетским совершенством. Обманывал с наслаждением, в особенности Евтропия. Иногда притворялся, хитрил и лицемерил безнужды, по привычке, с чувством злобной и мстительной радости; обманывал всех, кроме Мардония.

В Мацеллуме, между бесчисленными праздными слугами и служанками, не было конца проидам, клеветам, сплетням, подозрениям, доносам. Придворная челядь, на

деясь выслужиться, днем и ночью следила за царственными братьями, попавшими в немилость.

С тех пор, как Юлиан себя помнил, он ждал смерти со дня на день, и мало-помалу почти привык к страху, знал, что ни в доме, ни в саду

не может сделать шага, который ускользнул бы от тысячи глаз. Ребенок многое слышал и понимал, но поневоле должен был делать вид, что не слышит и не понимает. Однажды донеслось к нему несколько слов из беседы Евтропия с подосланным от Констанция соглядатаем, в которой монах называл Юлиана и Галла "царственными щенятами". В другой раз, в крытом ходу, под окнами кухни, мальчик нечаянно подслушал, как старый пьяница-повар, раздраженный какойто дерзостью Галла, говорил своей любовнице, рабыне, перемывавшей посуду: "Господь да сохранит мою душу, Присцилла,- удивляюсь я, как это их еще до сей поры не придушили!"

Когда Юлиан, после урока катехизиса, выбежал из дома и увидел зелень деревьев, он вздохнул свободнее.

Вечные снега двуглавой вершины Аргея белели на голубом небе. От близких ледников веяло прохладой. Просеки уходили вдаль непроницаемыми сводами южных дубов, с мелкими блестящими черно-зелеными листьями; коегде прорывался луч и трепетал на зелени платанов. Только с одной стороны сада не было стен: там кончался обрывом. Внизу тянулась пустыня до самого края неба, до Антитавра. Она дышала зноем. А в саду шумели студеные воды, низвергались с грохотом, били фонтанами, лепетали струйками под кущами олеандров. Мацеллум, столетия тому назад, был любимым приютом роскошного и полубезумного царя Каппадокии Ариарафа.

Юлиан, с книгой Платона, направился в уединенную пещеру, недалеко от обрыва. Там стоял козлоногий Пан, игравший на свирели, и маленький жертвенник. В каменную раковину струилась вода из львиной пасти. Вход был заткан желтыми розами; между ними виднелись холмы пустыни, туманно-голубые, волнообразные, как море; запах чайных роз наполнял пещеру. В ней было бы душно, если бы не ледяная струйка. Ветер приносил желто-белые лепестки, усыпал ими землю и воду. Слышно было жужжание пчел в темном теплом воздухе.

Юлиан, лежа на мху, читал "Пир"; многого не понимал; но прелесть книги была в том, что она запретная.

Отложив Платона, он опять завернул его в переплет Посланий Апостола Павла, тихонько подошел к жертвеннику Пана, взглянул на веселого бога как на старого общника и, разрыв грудь сухих

листьев, достал из внутренности жертвенника, проломанного и прикрытого дощечкой, предмет, старательно обвернутый тканью. Осторожно развернув, мальчик поставил его перед собой. Это было его создание, великолепный игрушечный корабль, "либурнская трирема". Он подошел к чаше водомета и опустил корабль в воду. Трирема закачалась на маленьких волнах. Все готово - три мачты, снасти, весла; нос позолочен; паруса-из шелковой тряпочки, подаренной Лабдой. Оставалось приделать руль. И мальчик принялся за работу. Стругая дощечку, изредка посматривал на даль, сквозившую между розами, на волнообразные холмы.

И над игрушечным кораблем своим скоро забыл все обиды, всю свою ненависть и вечный страх смерти. Воображал себя затерянным среди волн, в пустынной пещере, высоко над морем, хитроумным Одиссеем, строящим корабль, чтобы вернуться в милую отчизну. Но там, среди холмов, где белели крыши Цезарей, как пена на морских волнах,- крест, маленький блестящий крест над базиликой, мешал ему. Этот вечный крест! Он старался не видеть его, утешаясь триремой.

- Юлиан! Юлиан! Да где же он? В церковь пора.

Евтропий зовет тебя в церковь!

Мальчик вздрогнул и поспешно спрятал трирему в отверстие жертвенника; потом поправил волосы, одежду; икогда он выходил из пещеры, лицо его приняло снова непроницаемое, недетское выражение глубокого лицемерия словно жизнь от него отлетела.

Держа Юлиана за руку своей холодной костлявой рукой, Евтропий повел его в церковь.

IV

Арианская базилика св. Маврикия построена была почти целиком из камней разрушенного храма Аполлона.

Священный двор, "атриум", окружали с четырех сторон ряды столбов. Посредине журчал фонтан для омовения молящихся. В одном из боковых притворов была древняя гробница из резного потемневшего дуба; в ней покоились чудотворные мощи святого Мамы. Евтропий заставлял Юлиана и Галла строить каменную раку над мощами.

Работа Галла, который считал ее приятным телесным упражнением, подвигалась; но стенка Юлиана то и дело рушилась. Евтропий объяснил это тем, что св. Мама отвергает дар отрока, одержимого духом бесовской гордыни.

Около гробницы толпились больные, ждавшие исцеления. Юлиан знал, зачем они приходят: у одного арианского монаха были в руках весы; богомольцы-многие издалеких селений, отстоявших на несколько парасангов тщательно взвешивали куски льняной, шелковой или шерстяной ткани, и положив их на гроб св. Мамы, молились подолгу - иногда целую ночь до утра; потом ту же ткань снова взвешивали, чтобы сравнить с прежним весом; если ткань была тяжелее, значит, молитва исполнена: благодать святого вошла, подобно ночной росе,- впиталась в шелк, лен или шерсть, и теперь ткань могла исцелять недуги. Но часто молитва оставалась не услышанной, ткань не тяжелела, и богомольцы проводили у гроба дни, недели, месяцы. Здесь была одна бедная женщина, старица Феодула: одни считали ее полоумной, другие святой; уже целые годы не отходила она от гробницы Мамы; больная дочь, для которой старица сначала просила исцеления, давно умерла, а Феодула по-прежнему молилась о кусочке помянутой, истрепанной ткани.

Три двери из атриума вели в арианскую базилику: одна - в мужское отделение, другая - в женское, третья - в отделение для монахов и клира.

Вместе с Галлом и Евтропием, Юлиан вошел в среднюю дверь. Он был анагностом - церковным чтецом у св. Маврикия. Его облакала длинная черная одежда с широкими рукавами; волосы, умащенные елеем, придерживались тонкой тесьмой, для того чтобы при чтении не падали на глаза.

Он прошел среди народа, скромно потупившись. Бледное лицо почти непроизвольно принимало выражение лицемерного, необходимого, давно привычного смирения.

Он взошел на высокий арианский амвон.

Живопись на одной из стен изображала мученический подвиг св. Евфимии: палач схватил голову страдальцы и держал ее откинутой назад, неподвижно; другой, открыв рот щипцами, приближал к

нему чашу, должно быть, с расплавленным свинцом. Рядом изображено было другое мучение: та же Евфимия привешена к дереву за руки, и палач стругает орудием пытки ее окровавленные, девственные, почти детские члены. Внизу была надпись: "Кровью мучеников. Господи, церковь Твоя украшается, как багрянницей и вишнею".

ки, горящие в аду, над ними рай со святыми угодниками;

один из них срывал румяный плод с дерева, другой пел, играя на гуслях, а третий наклонился, облокотившись на облако, и смотрел на адские муки, с тихой усмешкой. Внизу надпись: "там будет плач и скрежет зубов".

Больные от гроба св. Мамы вошли в церковь; это были хромые, слепые, калеки, расслабленные, дети на костылях, похожие на стариков, бесноватые, юродивые, бледные лица с воспаленными веками, с выражением тупой, безнадежной покорности. Когда хор умолкал, в тишине слышались сокрушенные вздохи церковных вдов калугрий, в темных одеждах, или позвякивание вериг старца Памфила: в продолжение многих лет Памфил нис одним человеком не молвил слова и только повторял;

"Господи! Господи! дай мне слезы, дай мне умиление, дай мне память смертную".

Воздух был теплый, душный, как в подземелье-тяжелый, пропитанный ладаном, запахом воска, гарью лампад, дыханием больных.

В тот день Юлиан должен был читать Апокалипсис.

Пронеслись страшные образы Откровения: бледный конь в облаках, имя которому Смерть; племена земные тоскуют, предчувствуя кончину мира; солнце мрачно, как властная, луна сделалась как кровь; люди говорят горами камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? Повторялись пророчества: "Люди будут искать смерти и не найдут ее; пожелают умереть и смерть убежит от них". Раздавался вопль: "блаженны мертвые!"- Это было кровавое избиение народов; виноград брошен в великое точило гнева Божия, и ягоды истоптаны, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий. "И

люди проклинали Бога небесного от страданий своих; и не раскаялись в делах своих. И Ангел возопил: кто поклоняется Зверю и образу его, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере, перед святыми Ангелами и Агнцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющийся Зверю и образу его".

Юлиан умолк; в церкви была тишина; в испуганной толпе слышались только тяжелые вздохи, удары головой о плиты и звяканья цепей юродивого: "Господи! Господи! Дай мне слезы, дай мне умиление, дай мне память смертную!"

Мальчик взглянул вверх, на огромный полукруг мозаики между столбами свода: это был арианский образ Хри

ста - грозный, темный, исхудалый лик в золотом сиянии диадемы, похожей на диадему византийских императоров, почти старческий, с длинным тонким носом и строго сжатыми губами; десницей благословлял он мир; в левой руке держал книгу; в книге было написано: "Мир вам. Я свет мира". Он сидел на великолепном престоле, и римский император - Юлиану казалось, что это Констанций,- целовал Ему ноги.

А между тем, там, внизу, в полумраке, где теплилась одна лишь лампада, виднелся мраморный барельеф на гробнице первых времен христианства. Там были изваяны маленькие нежные Нереиды, пантеры, веселые тритоны;

и рядом - Моисей, Иона с китом, Орфей, укрощающий звуками лиры хищных зверей, ветка оливы, голубь и рыба - простые символы детской веры; среди них Пастырь Добрый, несущий Овцу на плечах, заблудшую и найденную Овцу - душу грешника.. Он был радостен прост, этот босоногий юноша, с лицом безбородым, смиренным и кротким, как лица бедных крестьян; у него была улыбка тихого веселия. Юлиану казалось, что никто уже не знает и не видит Доброго Пастыря; и с этим маленьким изображением иных времен для него связан был какой-то далекий, детский сон, который иногда хотел он вспомнить и не мог. Отрок с овцой на плечах смотрел на него, на него одного, с таинственным вопросом. И Юлиан шептал слово, слышанное от Мардония: "Галилеянин!"

И В это мгновение, упав из окна, косые лучи солнца задрожали столбом в облаке ладана; и тихо колеблясь, как будто подняло оно вспыхнувший золотым сиянием грозный, темный лик Христа. Хор торжественно грянул:

"Да молчит всякая плоть человека и да стоит со страхом и трепетом, и ничто же земное в себе да помышляет.

Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь серным. Предходят же Сему лица Ангельский, со всяким началом и властью, многоочити херувими и шестокрилати серафимизакрывающе и вопиюще песнь: Аллилуиа! Аллилуйи!

Аллилуиа!"

И песнь, как буря, проносилась над склоненными головами молящихся.

Образ босоногого юноши. Доброго Пастыря, уходил в неизмеримую даль, но все еще смотрел на Юлиана с вопросом. И сердце мальчика сжималось не от благоговения, а от ужаса перед этой тайной, которую во всю жизнь не суждено ему было разгадать.

Из базилики вернулся он в Мацеллум, захватил с собой готовую, тщательно завернутую трирему, и никемне замеченный (Евтропий уехал на несколько дней) выскользнул из ворот крепости и побежал мимо церкви св.

Маврикия к соседнему храму Афродиты.

Роща богини соприкасалась с кладбищем христианской церкви. Вражда и споры, даже тяжбы между двумя храмами, никогда не прекращались. Христиане требовали разрушения капища. Жрец Олимпиодор жаловался на церковных сторожей: по ночам они тайно вырубали вековые кипарисы заповедной рощи и рыли могилы для христианских покойников в земле Афродиты.

Юлиан вступил в рощу. Теплый воздух охватил его.

Полуденный зной выжал из серой волокнистой коры кипарисов капли смолы. Юлиану казалось, что в полумраке веет дыхание Афродиты.

Между деревьями белели изваяния. Здесь был Эрос, натягивающий лук; должно быть, церковный сторож, издеваясь над идолом, отбил мраморный лук: вместе с двумя руками бога, оружие

любви покоилось в траве, у подножия статуи; но безрукий мальчик по-прежнему, выставив одну пухлую ножку вперед, целился с резвой улыбкой.

Юлиан вошел в домик жреца Олимпиодора. Комнаты были маленькие, тесные, почти игрушечные, но уютные;

никакой роскоши, скорее бедность; ни ковров, ни серебра;

простые каменные полы, деревянные скамьи и стулья, дешевые амфоры из обожженной глины. Но в каждой мелочи было изящество. Ручка простой кухонной лампы изображала Посейдона с трезубцем: это была древняя искусная работа. Иногда Юлиан подолгу любовался на стройные очертания простой глиняной амфоры с дешевым оливковым маслом. Всюду на стенах виднелась легкая живопись: то Нереида, сидящая верхом на водяном чешуйчатом коне; то пляшущая молодая богиня в длинном пеплуме с выющимися складками.

Все смеялось в домике, облитом солнечным светом: смеялись Нереиды на стенах, пляшущие богини, тритоны, даже морские чешуйчатые кони; смеялся медный Посейдон на ручке лампы; тот же смех был и на лицах обитателей дома; они родились веселыми; им довольно было двух дюжин вкусных олив, белого пшеничного хлеба, кисти винограда, нескольких кубков вина, смешанного с водой, чтобы счесть это за целый пир, и чтобы жена Олимпио-

ра, Диофана, в знак торжества, повесила на двери лавровый венок.

Юлиан вошел в садик атриума. Под открытым небом бил фонтан. Рядом, среди нарциссов, аканфов, тюльпанов и мирт стояло небольшое бронзовое изваяние Гермеса, крылатого, смеющегося, как все в доме, готового вспорхнуть и улететь. Над цветником на солнце вились пчелы и бабочки.

Под легкой тенью портика на дворе Олимпиодор и его семнадцатилетняя дочь Амариллис играли в изящную аттическую игру - коттабу: на столбике, вбитом в землю, поперечная перекладина качалась, подобно коромыслу весов; к обоим концам ее привешены небольшие чашечки;

под каждой подставлен сосуд с водой и с маленьким медным изваянием; надо было, с некоторого расстояния, плеснуть из кубка

вином так, чтобы попасть в одну из чашек, и чтобы, опустившись, ударились она об изваяние.

- Играй, играй же. За тобой очередь! - кричала Амариллис.

- Раз, два, три!

Олимпиодор плеснул и не попал; он смеялся детским смехом; странно было видеть высокого человека с проседью в волосах, увлеченного игрою, подобно ребенку.

Девушка красивым движением голой руки, откинув лиловую тунику, плеснула вином - и чашечка коттабы зазвенела, ударившись.

Амариллис захлопала в ладоши и захохотала.

Вдруг в дверях увидели Юлиана.

Все начали целовать его и обнимать. Амариллис кричала:

- Диофана! Где же ты? Посмотри, какой гость! Скорее! Скорее!

Диофана прибежала из кухни.

- Юлиан, мальчик мой милый! Что ты, будто похудел? Давно мы тебя не видали...

И она прибавила, сияющая от веселья: - Радуйтесь, дети мои. Сегодня будет у нас пир.

Я приготовлю венки из роз, зажарю три окуня и сготовлю сладкие инбирные печенья...

В эту минуту молодая рабыня подошла и шепнула Олимпиодору, что богатая патрицианка из Цезарей желает его видеть, имея дело к жрецу Афродиты. Он вышел.

Юлиан и Амариллис стали играть в коттабу.

Тогда неслышно на пороге появилась десятилетняя тонкая, бледная и белокурая девочка, младшая дочь Олимпиодора, Психея. У нее были голубые, огромные и печальные глаза. Одна во всем доме казалась она не посвященной Афродите, чуждой общему веселью. Она жила отдельной жизнью, оставаясь задумчивой, когда все смеялись, и никто не знал, о чем она скорбит, чему радуется. Отец считал ее жалким существом, неизлечимо больной, испорченной недобрым глазом, чарами вечных врагов своих, галилеян: они из мести отняли у него ребенка; чернокудрая Амариллис была любимой дочерью Олимпиодора; но мать тайком баловала Психею и с ревнивой страстью любила больного ребенка, не понимая внутренней жизни его.

Психея, скрываясь от отца, ходила в базилику св.

Маврикия. Не помогали ни ласки матери, ни мольбы, ни угрозы. Жрец в отчаянии отступился от Психеи. Когда говорили о ней, лицо его омрачалось и принимало недоброе выражение. Он уверил, будто бы за нечестие ребенка виноградарь, прежде благословляемый Афродитой, стал приносить меньше плодов, ибо довольно было маленького золотого крестика, который девочка носила на груди, для того чтобы осквернить храм.

- Зачем ты ходишь в церковь? - спросил ее однажды Юлиан.

- Не знаю. Там хорошо. Ты видел Доброго Пастыря?

- Да, видел. Галилеянин! Откуда ты про Него знаешь?

- Мне старушка Феодула сказывала. С тех пор я хожу в церковь. И отчего это, скажи мне, Юлиан, отчего они все так не любят Его?

Олимпиодор вернулся, торжествующий, и рассказало своей беседе с патрицианкой: это была молодая, знатная девушка; жених разлюбил ее; она думала, что он околдован чарами соперницы; много раз ходила она в христианскую церковь, усердно молилась На гробнице св. Мамы.

Ни посты, ни бдения, ни молитвы не помогли. "Разве христиане могут помочь?" - заключил Олимпиодор с презрением и взглянул исподлобья на Психею, которая внимательно слушала.

- И вот христианка пришла ко мне: Афродита исцелит ее!

Он показал с торжеством двух связанных белых голубков: христианка просила принести их в жертву богине.

Амариллис, взяв голубков в руки, целовала нежные розовые клювы и уверяла, что их жалко убивать.

- Отец, знаешь что? Мы принесем их в жертву, не убивая.

- Как? Разве может быть жертва без крови?

- А вот как. Пустим на свободу. Они улетят прямо в небо, к престолу Афродиты. Не правда ли? Богиня там, в небе. Она примет их. Позволь, пожалуйста, милый!

Амариллис так нежно целовала его, что он не имел духа отказать.

Тогда девушка развязала и пустила голубей. Они затрепетали белыми крыльями с радостным шелестом и полетели в небо - к престолу Афродиты. Заслоня глаза рукой, жрец смотрел, как

исчезает в небе жертва христианки. И Амариллис прыгала от восторга, хлопая в ладоши:

- Афродита! Афродита! Прими бескровную жертву!

Олимпиадор ушел. Юлиан торжественно и робко приступил к Амариллис. Голос его дрогнул, щеки вспыхнули, когда тихо произнес он имя девушки.

- Амариллис! Я принес тебе...

- Да, я уже давно хотела спросить, что это у тебя?

- Трирема...

- Трирема? Какая? Для чего? Что ты говоришь?

- Настоящая, либурнская...

Он стал быстро разворачивать подарок, но вдруг почувствовал неодолимый стыд.

Амариллис смотрела в недоумении.

Он совсем смутился и взглянул на нее с мольбою, опуская игрушечный корабль в маленькие волны фонтана.

- Ты не думай, Амариллис,--трирема настоящая.

С парусами. Видишь, плавает и руль есть...

Но Амариллис громко хохотала над подарком;

- На что мне трирема? Недалеко с ней уплывешь.

Это корабль для мышей или цикад. Подари лучше Психее: она будет рада. Видишь, как смотрит.

Юлиан был оскорблен. Он старался принять равнодушный вид, но чувствовал, что слезы сжимают горло его, концы губ дрожат и спускаются. Он сделал отчаянное усилие, удержался от слез и сказал:

- Я вижу, что ты ничего не понимаешь...

Подумал и прибавил: - Ничего не понимаешь в искусстве!

Но Амариллис еще громче засмеялась.

К довершению обиды позвали ее к жениху. Это был богатый самосский купец. Он слишком сильно душился, одевался безвкусно и в разговоре делал грамматические ошибки. Юлиан его ненавидел. Весь дом омрачился, и радость исчезла, когда он узнал, что пришел самосец.

Из соседней комнаты доносилось радостное щебетание Амариллис и голос жениха.

Юлиан схватил свою дорогую, настоящую, либургскую трирему, стоившую ему столько трудов, сломал мачту, сорвал паруса, перепутал снасти, растоптал, изуродовал корабль, не говоря ни слова, с тихой яростью, к ужасу Психеи.

Амариллис вернулась. На лице ее были следы чужогосчастья - тот избыток жизни, чрезмерная радость любви, когда молодым девушкам все равно, кого обнимать и целовать.

- Юлиан, прости меня; я обидела тебя. Ну, простиже, дорогой мой! Видишь, как я тебя люблю... люблю...

И прежде чем он успел опомниться, Амариллис, откинув тунику, обвила его шею голыми, свежими руками.

Сердце его упало от сладкого страха: он увидел так близко от себя, как никогда еще, большие, влажно-черные глаза; от нее пахло сильно, как от цветов. Голова мальчиказакружилась. Она прижимала тело его к своей груди. Онзакрыл глаза и почувствовал на губах поцелуй.

- Амариллис! Амариллис! Где же ты?

Это был голос самосца. Юлиан изо всей силы оттолкнул девушку. Сердце его сжалось от боли и ненависти.

Он закричал: "Оставь, оставь меня!"-вырвался иубежал.

- Юлиан! Юлиан!

Не слушая, бежал он прочь из дома, через виноградник, через кипарисовую рощу и остановился только у храма Афродиты.

Он слышал, как его звали; слышал веселый голос Диофаны, возвещавшей, что инбирное печенье готово, и не отвечал. Его искали. Он спрятался в лавровых кустах у подножья Эроса и переждал. Подумали, что он убежал в Мацеллум: в доме привыкли к его угрюмым странностям.

Когда все утихло, он вышел из засады и взглянул нахрам богини любви.

Храм стоял на холме, открытый со всех сторон. Белыймрамор ионических колонн, облитый солнцем, с негой купался в лазури; и темная теплая лазурь радовалась, обнимая этот мрамор, холодный и белый, как снег; по обоимуглам фронтона увенчан был двумя акротэрами в виде грифонов: с поднятою когтистой лапою, с открытыми орлиными клювами, с круглыми женскими сосцами

вырезывались они гордыми, строгими очертаниями на голубых небесах.

Юлиан по ступеням вошел в портик, тихонько отворил незапертую медную дверь и вступил во внутренность храма, в священный Хаос.

На него повеяло тишиной и прохладой.

Склонившееся солнце еще озаряло верхний ряд капителей с тонкими завитками, похожими на кудри; а внизу был уже сумрак. С треножника пахло пепелом сожженной мирры.

Юлиан робко поднял глаза, прислонившись к стене, притаив дыхание,- и замер.

Это была она. Под открытым небом стояла посредине храма только что из пены рожденная, холодная, белая Афродита-Анадиомена, во всей своей нестыдящейся наготе. Богиня как будто с улыбкой смотрела на небо и море, удивляясь прелести мира, еще не зная, что это - ее собственная прелесть, отраженная в небе и море, как в вечных зеркалах. Прикосновение одежд не оскверняло ее.

Такой стояла она там, вся целомудренная и вся нагая, как это безоблачное, почти черно-синее небо над ее головой.

Юлиан смотрел ненасытно. Время остановилось. Вдруг он почувствовал, что трепет благоговения пробежал по телу его. И мальчик в темных монашеских одеждах опустился на колени перед Афродитой, подняв лицо, прижав руки к сердцу.

Потом все так же вдали, все так же робко, сел на подножие колонны, не отводя от нее глаз; щека прислонилась к холодному мрамору. Тишина сходила в душу. Он задремал; но и сквозь сон чувствовал ее присутствие: она опускалась к нему ближе и ближе; тонкие, белые руки обвились вокруг его шеи. Ребенок отдавался с бесстрастной улыбкой бесстрастным объятиям. До глубины сердца проникал холод белого мрамора. Эти святые объятия не походили на болезненно страстные, тяжкие, знойные объятия Амариллис. Душа его освобождалась от земной любви.

То был последний покой, подобный амброзийной ночи Гомера, подобный сладкому отдыху смерти...

Когда он проснулся, было темно. В четырехугольнике открытого неба сверкали звезды. Серп луны кидал сияние на голову Афродиты.

Юлиан встал. Должно быть, Олимпиодор приходил, но не заметил или не хотел разбудить мальчика, угадавшего горе. Теперь на бронзовом треножнике рдели угли, и струйки благовонного дыма подымались к лицу богини.

Юлиан подошел, взял из хризолитовой чаши между ногами треножника несколько зерен душистой смолы и бросил на угли алтаря. Дым за клубился обильнее. И розовый отблеск огня вспыхнул, как легкий румянец жизни на лице богини, сливаясь с блеском новорожденного месяца. Чистая Афродита-Урания как будто сходила от звезд на землю.

Юлиан наклонился и поцеловал ноги изваяния.

Он молился ей:

- Афродита! Афродита! Я буду любить тебя вечно.

И слезы падали на мраморные ноги изваяния.

На берегу Средиземного моря, в одном из грязных и бедных предместий Селевки Сирийской, торговой гавани Великой Антиохии, кривые, узкие улицы выходили на площадь у набережной; моря не было видно из-за лесамачт и снастей.

Дома состояли из беспорядочно нагроможденных клетушек, обмазанных глиной. С улицы прикрывались они иногда истрепанным ковром, похожим на грязное лохмотье, или циновкой. Во всех этих углах, клетушках, переулочках, с тяжелым запахом помоев, прачешень и бань для рабочих, копошился пестрый, нищий, голодный сброд.

Солнце, сжигавшее засухой, землю, закатилось. Наступали сумерки. Зной, пыль, мгла еще тягостней повисли над городом. С рынка веял удушливый запах мяса и овощей, пролежавших весь день на жаре. Полуголые рабы с кораблей носили по сходням тюки на плечах; одна сторона головы была у них выбрита; сквозь лохмотья виднелись рубцы от ударов; у многих чернели во все лицо клейма, выжженные каленым железом: две латинские буквы с и F, что значило - Cave Furem, Берегись Вора.

Зажигались огни. Несмотря на приближение ночи, суетня и говор в тесных переулках не утихали. Из соседней кузницы слышались раздражающие уши удары молота по железным листам; вспыхивало зарево горна; клубилась копоть. Рядом рабы-хлебопеки, голые,

покрытые с головы до ног белою мучною пылью, с красными воспаленными от жара веками, сажали хлебы в печи. Сапожник в открытой лавчонке, откуда пахло клеем и кожей, тачал сапоги при свете лампадки, сидя на корточках и во все горло распевая песни на языке варваров. Из клетушки в клетушку, через переулок, две старухи, настоящие ведьмы, с растрепанными седыми волосами, кричали и бранились, протягивая руки, чтобы сцепиться, из-за веревки, на которую вешали сушиться тряпье. А внизу торговец, спеша издалека

по утру на рынок, на костлявой ободранной кляче, в ивовых корзинах вез целую гору несвежей рыбы; прохожие от невыносимого смрада отворачивались и ругались. Толстощекий жиденек с красными кудрями, наслаждаясь оглушительным громом, колотил в огромный медный таз. Другие дети - крохотные, бесчисленные, рождавшиеся и умиравшие каждый день сотнями в этой нищете, - валялись, визжа как поросята, вокруг луж с апельсиновыми корками"

с яичными скорлупами В еще более темных и подозрительных переулках, где жили мелкие воришки, где из кабачков пахло сыростью и кислым вином, корабельщики со всех концов света ходили обнявшись и орали пьяные песни. Над воротами лупанара повешен был фонарь с бесстыдным изображением, посвященным богу Приапу, и когда на дверях приподымали покров - центону, внутри виднелся тесный ряд коморочек, похожих на стойла; над каждой была надпись с ценою; в душной темноте белели голые тела женщин.

И надо всем этим шумом и гамом, надо всей этой человеческой грязью и бедностью, слышались далекие вздохи прибое, ропот невидимого моря.

У самых окон подвальной кухни финикийского купца оборванцы играли в кости и болтали. Из кухни долетали теплыми клубами чад кипящего жира, запах пряностей и жареной дичи. Голодные вдыхали его, закрывая глаза от наслаждения.

Христианин, красильщик пурпура, выгнанный с богатой тирской фабрики за воровство, говорил, с жадностью обсасывая лист мальвы, выброшенный Поваром:

- Что в Антиохии, добрые люди, делается, об этом говорить-то на ночь страшно. Намедни голодный народрастерзал префекта Феофила. А за что. Бог весть. Когда дело сделали, вспомнили, что бедняга был добрый и благочестивый человек. Говорят, цезарь на него указал народу...

Дряхлый старичок, очень искусный карманный воришка, произнес:

- Я видел однажды цезаря. Не знаю. Мне понравился. Молоденький; волоски светлые, как лен; личико сытое, но добренькое. А сколько убийств, Господи, сколькоубийств! Разбой. По улицам ходить страшно.

- Все это - не от цезаря, а от жены его, от Константины. Ведьма?

Странной наружности люди подошли к разговаривавшим и наклонились, как будто желая принять участие в беседе. Если бы свет от кухонной печи был сильнее, можно было бы рассмотреть, что лица их подмалеваны, одежды замараны и изорваны неестественно, как у нищих в театре. Несмотря на лохмотья, руки у самого грязного были белые, тонкие, с розовыми, обточенными ногтями.

Один из них сказал товарищу тихонько на ухо: - Слушай, Агамемнон: здесь тоже говорят о цезаре.

Тот, кого звали Агамемноном, казался пьяным; он пошатывался; борода, неестественно густая и длинная, делала его похожим на сказочного разбойника; но глаза были добрые, ясно-голубые, с детским выражением. Товарищи испуганным шепотом удерживали его: - Осторожнее!

Карманный воришка заговорил жалобным голосом, точно запел:

- Нет, вы только скажите мне, мужи-братья,. разве это хорошо? Хлеб дорожает каждый день; люди мрут, как мухи. И вдруг... нет, вы только рассудите, пристойно ли это? Намедни из Египта приезжает огромный трехмачтовый корабль; обрадовались, думаем - хлеб. Цезарь, говорят, выписал, чтобы накормить народ. И что же, чтобы это было, добрые люди - ну, как вы думаете, что? Пыль из Александрии, особенная, розовая, ливийская, для натирания атлетов, пыль - для собственных придворных гладиаторов цезаря, пыль вместо хлеба? Разве это хорошо?-заклучил он, делая негодующие знаки ловкими воровскими пальцами.

Агамемнон подталкивал товарища: - Спроси имя. Имя!

- Тише... нельзя! Потом...

Чесальщик шерсти заметил:

- У нас, в Селевкии, еще спокойно. А в Антиохии предательства, доносы, розыски...

Красильщик, который в последний раз лизнул мальвуи отбросил ее, убедившись, что она потеряла вкус, проворчал себе под нос мрачно:

- А вот, даст Бог, человеческое мясо и кровь будут скоро дешевле хлеба и вина...

Чесальщик шерсти, горький пьяница и философ, тяжело вздыхал:

- Ох-ох-ох! Бедные мы людишки! Блаженные олимпийцы играют нами, как мячиками - то вправо, то влево, то вверх, то вниз: люди плачут, а боги смеются.

Товарищ Агамемнона успел вмешаться в разговор.

Ловко, как будто небрежно, выпросил имена; подслушал даже то, что странствующий сапожник сообщил на ухо чесальщику о предполагаемом заговоре среди солдат претории. Потом, отойдя, записал имена разговаривавших изящным стилосом на восковые дощечки, гдехранилось много имен.

В это время с рыночной площади донеслись хриплые, глухие, подобные реву какого-то подземного чудовища, нето смеющиеся, не то плачущие звуки водяного органа: слепой раб-христианин за четыре обола в день, у входа в балаган, накачивал воду, производившую в машине этисмешные и плачевные звуки.

Агамемнон потащил спутников в балаган, обтянутый, наподобие палатки, голубою тканью с серебряными звездами.

Фонарь озарял черную доску-объявление о предстоящемзрелище, написанное мелом по-сирийски и по-гречески.

Внутри было душно. Пахло чесноком и копотью масляных плошек. В дополнение органа, пищали две пронзительные флейты, и черный эфиоп, вращая белками, ударял в бубны.

Плясун прыгал и кувыркался на канате, хлопая в ладруками. Он пел модную песенку:

Hue, hue convenite nuncSpatolocinaedi!

Pedem tendite, Cursum addite.

Эй, вы! Соберем мальчиколюбцев изощренных!

Все мчитесь сюда быстрой ногой, пятою легкой...

Этот худой курносый плясун был стар, отвратителени весел. С бритого лба его струились капли пота, смешанного с румянами; морщины, залепленные белилами, походили на трещины стен, у которой известка тает поддождем.

Когда он удалился, орган и флейта умолкли. На подмостки выбежала пятнадцатилетняя девочка, чтобы исполнить знаменитую, до безумия любимую народом, пляску -кордакс. Отцы церкви громили ее, римские законызапрещали- ничто не помогало: кордакс плясали всюду, бедные и богатые, жены сенаторов и уличные плясуньи.

Агамемнон проговорил с восторгом: - Что за девочка!

Благодаря кулакам спутников, он пробился в первыйряд.

Худенькое, смуглое тело нубийнки обвивала, тольковокруг бедер, почти воздушная, бесцветная ткань; волосы подымались над головой мелкими, пушисто-чернымикудрями, как у женщин Эфиопии; лицо чистого египетского облика напоминало лица сфинксов.

Кроталистрия начала плясать, как будто скучая, лениво и небрежно. Над головой, в тонких руках, медные бубны - кроталии чуть слышно бряцали.

Потом движения ускорились. И вдруг, из-под длинныхресниц, сверкнули желтые глаза, прозрачные, веселые, как у хищных зверей. Она выпрямилась, и медные кроталииизазвенели пронзительно, с таким вызовом, что вся толпадрогнула.

Тогда девочка закружилась, быстрая, тонкая, гибкая, как змейка. Ноздри ее расширились. Из горла вырвалсястранный крик. При каждом порывистом движении двемаленькие, темные груди, как два спелых плода под ветром, трепетали, стянутые зеленой шелковой сеткой, и острые, сильно нарумяненные концы их алели, выступаяиз-под сетки.

Толпа ревела от восторга. Агамемнон безумствовал, товарищи держали его за руки.

Вдруг девочка остановилась, как будто в изнеможении.

Легкая дрожь пробежала с головы до ног по смуглым членам. Наступила тишина. Над закинутой головой нубиянки, с почти неуловимым, замирающим звоном, быстро инежно, как два крыла пойманной бабочки, трепетали бубны. Глаза потухли; но в самой глубине их мерцали две искры. Лицо было строгое, грозное. А на слишком толстых, красных губах, на губах сфинкса, дрожала слабая улыбка. И в тишине медные кроталии замерли.

Толпа так закричала, захлопала, что голубая ткань с блестками всколебалась, как парус под бурей, и хозяин думал, что балаган рухнет.

Спутники не могли удержать Агамемнона. Он бросился, приподняв занавес, на сцену, через подмости, в коморку для танцовщиц и мимов.

Товарищи шептали ему на ухо:

- Подожди! Завтра все будет сделано. А теперь могут...

Агамемнон перебил: - Нет, сейчас!

Он подошел к хозяину, хитрому седому греку Мирмексу, и сразу, почти без объяснений, высыпал ему в полу туники пригоршню золотых монет.

- Кроталистрия-твоя?

- Да. Что угодно моему господину?

Мирмекс с изумлением смотрел то на разорванную одежду Агамемнона, то на золото.

- Как тебя зовут, девочка?

- Филлис.

Он и ей дал денег, не считая. Грек что-то шепнул на ухо Филлис. Она высоко подбросила звонкие монеты, поймала их на ладонь, и, засмеявшись, сверкнула на Агамемнона своими желтыми глазами. Он сказал: - Пойдем со мною.

Филлис накинула на голые смуглые плечи темную хламиду и выскользнула вместе с ним на улицу.

Она спросила: - Куда?

- Не знаю.

- К тебе?

- Нельзя. Я живу в Антиохии.

- А я только сегодня на корабле приехала и ничего не знаю.

- Что же делать?

- Подожди, я видела давеча в соседнем переулке незапертый храм Приапа. Пойдем туда.

Филлис потащила его, смеясь. Товарищи хотели следовать. Он сказал: - Не надо! Оставайтесь здесь.

- Берегись! Возьми по крайней мере оружие. В этом предместье ночью опасно.

И вынув из-под одежды короткий меч, вроде кинжала, с драгоценной рукояткой, один из спутников подал его почтительно.

Спотыкаясь во мраке, Агамемнон и Филлис вошли в глубокий темный переулок, недалеко от рынка.

- Здесь, здесь! Не бойся. Входи.

Они вступили в преддверье маленького пустынного храма; лампада на цепочках, готовая потухнуть, слабо освещала грубые, старые столбы.

- Притвори дверь.

И Филлис неслышно сбросила на каменный пол мягкую, темную хламиду. Она беззвучно хохотала. Когда Агамемнон сжал ее в объятьях, ему показалось, что вокруг тела его обвилась страшная, жаркая змея. Желтые хищные глаза сделались огромными.

Но в это мгновение из внутренности храма раздалось пронзительное гоготание и хлопанье белых крыльев, поднявших такой ветер, что лампада едва не потухла.

Агамемнон выпустил из рук Филлис и пролепетал: - Что это?..

В темноте мелькнули белые призраки. Струсивший Агамемнон перекрестился.

Вдруг что-то сильно ущипнуло его за ногу. Он закричал от боли и страха; схватил одного неизвестного врага за горло, другого пронзил мечом. Поднялся оглушительный крик, визг, гоготание и хлопанье. Лампада в последний раз перед тем, чтобы угаснуть, вспыхнула - и Филлис закричала, смеясь:

- Да это гуси, священные гуси Приапа! Что ты наделал!..

Дрожащий и бледный победитель стоял, держа в одной руке окровавленный меч, в другой - убитого гуся.

С улицы слышались громкие голоса, и целая толпа с факелами ворвалась в храм. Впереди была старая жрица Приапа-Скабра. Она

мирно, по своему обыкновению, распивала вино в соседнем кабачке, когда услышала крикисвященных гусей и поспешила на помощь, с толпою бродяг. Крючковатый красный нос, седые растрепанные волосы, глаза с острым блеском, как два стальных клинка, делали ее похожей на фурию. Она вопила:

- Помогите! Помогите! Храм осквернен! Священныегуси Приапа убиты! Видите, это-христиане-безбожники.

Держите их!

Филлис, закрывшись с головой плащом, убежала. Толпа влекла на рыночную площадь Агамемнона, который такрастерялся, что не выпускал из рук мертвого гуся. Скабра звала агораномов - рыночных стражей.

С каждым мгновением толпа увеличивалась.

Товарищи Агамемнона прибежали на помощь. Но было поздно: из притонов, из кабаков, из лавок, из глухихпереулков мчались люди, привлеченные шумом. На лицахбыло то выражение радостного любопытства, котороевсегда является при уличном происшествии. Бежал кузнецс молотом в руках, соседки-старухи, булочник, обмазанныйтестом, сапожник мчался, прихрамывая; и за всеми рыжеволосый крохотный жиденок летел, с визгом и хохотом, ударяя в оглушительный медный таз, как будто звоня в набат.

Скабра вопила, вцепившись когтями в одежду Агамемнона:

- Подожди! Доберусь я до твоей гнусной бороды!

Клочка не оставлю! Ах ты, падаль, снесь воронья! Да тыи веревки не стоишь, на которой тебя повесят!

Явились, наконец, заспанные агораномы, более похожие на воров, чем на блюстителей порядка.

В толпе был такой крик, смех, брань, что никто ничегоне понимал. Кто-то вопил: "убийцы!", другие: "ограбили!", третьи: "пожар!"

И в это мгновение, побеждая все, раздался громopodobный голос полуголого рыжего великана с лицом, покрытым веснушками, по ремеслу - банщика, по призванию - рыночного оратора:

- Граждане! Давно уже слежу я за этим мерзавцами его спутниками. Они записывают имена. Это соглядатаи, соглядатаи цезаря!

Скабра, исполняя давнее намерение, вцепилась одной рукой в бороду, другой - в волосы Агамемнона. Он хотел оттолкнуть ее, но она рванула изо всей силы - и длинная черная борода и густые волосы остались у нее в руках;

старуха грохнулась навзничь. Перед народом, вместо Агамемнона, стоял красивый юноша с вьющимися мягкими светлыми, как лен, волосами и маленькой бородкой.

Толпа умолкла в изумлении. Потом опять загудел голос банщика:

- Видите, граждане, это - переодетые доносчики!

Кто-то крикнул: - Бей! бей!

Толпа всколыхнулась. Полетели камни. Товарищи обступили Агамемнона и обнажили мечи. Чесальщик шерсти брошен был первым ударом; он упал, обливаясь кровью.

Жиденка с медным тазом растоптали. Лица сделались зверскими.

В это мгновение десять огромных рабов-пафлагонцев, с пурпурными носилками на плечах, раскинули толпу.

- Спасены! - воскликнул белокурый юноша и бросился с одним из спутников в носилки.

Пафлагонцы подняли их на плечи и побежали.

Разъяренная толпа остановила бы и растерзала их, если бы не крикнул кто-то:

- Разве вы не видите, граждане? Это цезарь, сам цезарь Галл!

Народ остолбенел от ужаса.

Пурпурные носилки, покачиваясь на спинах рабов, как лодка на волнах, исчезали в глубине неосвещенной улицы.

Шесть лет прошло с того дня, как Юлиан и Галл были заключены в каппадокийскую крепость Мацеллум. Император Констанций возвратил им свою милость. Девятнадцатилетнего Юлиана вызвали в Константинополь и потом позволили ему странствовать по городам Малой Азии;

Галла император сделал своим соправителем, цезарем отдал ему в управление Восток. Впрочем, неожиданная милость не предвещала ничего доброго. Констанций любил поражать врагов, усыпав их ласками.

- Ну, Гликон, как бы теперь ни убеждала меня Константина, не выйду я больше на улицу с поддельными волосами. Кончено!

- Мы предупреждали твое величество...

Но цезарь, лежа на мягких подушках носилок, уже забыл недавний страх. Он смеялся:

- Гликон! Гликон! Видел ты, как проклятая старуха покатила навзничь с бородой в руках? Смотрю - а уж она лежит!

Когда они вошли во дворец, цезарь приказал: - Скорее ванну и ужинать! Проголодался.

Придворный подошел с письмом.

- Что это? Нет, нет, дела до завтрашнего утра...

- Милостивый цезарь, важное письмо - прямо из лагеря императора Констанция.

- От Констанция! Что такое? Подай...

Он распечатал, прочел и побледнел; колени его подкосились; если бы придворные не поддержали Галла, он упал бы.

Император в изысканных, даже льстивых выражениях приглашал своего "нежно любимого" двоюродного брата в Медиолан; вместе с тем повелевал, чтоб два легиона, стоявшие в Антиохии, - единственная защита Галла, немедленно высланы были ему, Констанцию. Он, видимо, хотел обезоружить и заманить врага.

Когда цезарь пришел в себя, он произнес слабым голосом: - Позовите жену...

- Супруга милостивого государя только что изволила уехать в Антиохию.

- Как? И ничего не знает?

- Не знает.

- Господи! Господи! Да что же это такое? Без нее!

Скажите посланному от императора... Да нет, не говорите ничего. Я не знаю. Разве я могу без нее? Пошлите гонца.

Скажите, что цезарь умоляет вернуться... Господи, что же делать?

Он ходил, растерянный, хватаясь за голову, крутил дрожащими пальцами мягкую светлую бородку и повторял беспомощно:

- Нет, нет, ни за что не поеду. Лучше смерть... О, я знаю Констанция!

Подошел другой придворный с бумагой: - От супруги цезаря. Уезжая, просила, чтобы ты подписал.

- Что? Опять смертный приговор? Клемаций Александрийский! Нет, нет, это чересчур. Так нельзя. Потри в день!

- Супруга твоя изволила...

- Ах, все равно! Давайте перо! Теперь все равно...

Только зачем уехала? Разве я могу один...

И подписав приговор, он взглянул своими голубыми детскими и добрыми глазами.

- Ванна готова; ужин сейчас подают.

- Ужин? Не надо... Впрочем, что такое?

- Есть трюфели.

- Свежие?

- Только что с корабля из Африки.

- Не подкрепиться ли? А? Как вы думаете, друзья мои? Я так ослабел... Трюфели? Я еще утром думал...

На растерянном лице его промелькнула беззаботная улыбка.

Перед тем, чтобы войти в прохладную воду, мутно-белую, опаловую от благовоний, цезарь проговорил, махнув рукой: - Не надо думать...

Господи, - Все равно, все равно... Не надо думать"... помилуй нас грешных!.. Может быть, Константина какнибудь и устроит?

Откормленное, розовое лицо его совсем повеселело, когда с привычным наслаждением погрузился он в душистую купальню.

- Скажите повару, чтоб кислый красный соус к трюфелям!

В городах Малой Азии -- Никомидии, Пергаме, Смирне - девятнадцатилетний Юлиан, искавший эллинской мудрости, слышал о знаменитом теурге и софисте, Ямалике из Халкиды, ученике Порфирия неоплатоника, о божественном Ямвлике, как все его называли.

Он поехал к нему в город Эфес.

Ямвлик был старичок, маленький, худенький, сморщенный. Он любил жаловаться на свои недуги - подагру, ломоту, головную боль; бранил врачей, но усердно лечилс наслаждением говорил о припарках, настойках, лекарствах, пластырях; ходил в мягкой и теплой двойной тунике, даже летом, и никак не мог согреться; солнце любил, как ящерица.

С ранней юности Ямвлик отвык от мясной пищи и чувствовал к ней отвращение; не понимал, как люди могут есть живое. Служанка

приготовляла ему особую ячменную кашу, немного теплого вина и меду; даже хлеба старик не мог разжевать беззубыми челюстями.

Множество учеников, почтительных, благоговейных из Рима, Антиохии, Карфагена, Египта, Месопотамии, Персии - теснилось вокруг него; все верили, что Ямвликторит чудеса. Он обращался с ними, как отец, которому надоело, что у него так много маленьких беспомощных детей. Когда они начинали спорить или ссориться, учитель махал руками, сморщив лицо, как будто от боли. Он говорил тихим голосом, и чем громче становился крик спорящих, тем Ямвлик говорил тише; не выносил шума, ненавидел громкие голоса, скрипучие сандалии.

Юлиан смотрел с разочарованием на прихотливого, зябкого, больного старичка, не понимая, какая власть притягивает к нему людей.

Он припоминал рассказ о том, как ученики однажды ночью видели Божественного, поднятого во время молитвы чудесною силою над землею на десять локтей и окруженного золотым сиянием; другой рассказ о том, как Учитель, в сирийском городе Гадара, из двух горячих источников вызвал Эроса и Антэроса - одного радостного светлокудрого, другого скорбного темного гения любви; обаласкались к Ямвлику, как дети, и по его мановению исчезли.

Юлиан прислушивался к тому, что говорил учитель, и не мог найти власти в словах его. Метафизика школы Порфирия показалась Юлиану мертвой, сухой и мучительно сложной. Ямвлик как будто играл, побеждая в спорах диалектические трудности. В его учении о Боге, о мире, об Идеях, о Платиновой Триаде было глубокое книжное знание - но ни искры жизни. Юлиан ждал не того.

И все-таки ждал.

У Ямвлика были странные зеленые глаза, которые еще более резко выделялись на потемневшей сморщенной коже лица: такого зеленоватого цвета бывает иногда вечернее небо, между темными тучами, перед грозой. Юлиану казалось, что в этих глазах, как будто нечеловеческих, но еще менее божественных, сверкает та сокровенная змеиная мудрость, о которой Ямвлик ни слова не говорил ученикам. Но вдруг, усталым тихим голосом.

Божественный спрашивал, почему не готова ячменная каша или припарки, жаловался на ломоту в членах - и обаяние исчезало.

Однажды гулял он с Юлианом за городом, по берегам моря. Был нежный и грустный вечер. Вдали, над гаванью Панормос, белели уступы и лестницы храма Артемиды Эфесской, увенчанные изваяниями. На песчаном берегу Каистра (здесь, по преданию, Латона родила Артемиду и Аполлона) тонкий темный тростник не шевелился. Дым многочисленных жертвенников, из священной рощи Ортигии, подымался к небу прямыми столбами. К югу синели горы Самоса. Прибой был тих, как дыхание спящего ребенка; прозрачные волны набегали на укатанный, черный педок; пахло разогретой дневными лучами соленой водой и морскими травами. Заходящее солнце скрылось за тучи и позлатило их громады.

Ямвлик сел на камень; Юлиан у ног его. Учитель гладил его жесткие черные волосы.

- Грустно тебе?

- Да.

- Знаю. Ты ищешь и не находишь. Не имеешь силы сказать: Он есть, и не смеешь сказать: Его нет.

- Как ты угадал, учитель?..

- Бедный мальчик! Вот уже пятьдесят лет, как я страдаю той же болезнью. И буду страдать до смерти. Развея больше знаю Его, чем ты? Разве я нашел? Это - вечные муки деторождения. Перед ними все остальные муки ничто. Люди думают, что страдают от голода, от жажды, от боли, от бедности: на самом деле, страдают они только от мысли, что, может быть. Его нет. Это - единственная скорбь мира. Кто дерзнет сказать: Его нет, и кто знает, какую надо иметь силу, чтобы сказать: Он есть.

- И ты, даже ты никогда к Нему не приближался?

- Три раза в жизни испытал я восторг - полное слияние с Ним. Плотин четыре раза. Порфирий пять. У меня были три мгновения в жизни, из-за которых стоило жить.

- Я спрашивал об этом твоих учеников: они не знают...

- Разве они смеют знать? С них довольно и шелухи мудрости: ядро почти для всех смертельно.

- Пусть же я умру, учитель, - дай мне его!

- Посмеешь ли ты взять?

- Говори, говори же!

- Что я могу сказать! Я не умею... И хорошо ли говорить об этом?

Прислушайся к вечерней тишине: она лучше всяких слов говорит.

По-прежнему гладил он Юлиана по голове, как ребенка. Ученик подумал: "вот оно-вот, чего я ждал!". Онобнял колени Ямвликаи, подняв к нему глаза с мольбою, произнес:

- Учитель, сжался! Открой мне все. Не покидай меня...

Ямвлик заговорил тихо, про себя, как будто не слыша и не видя его, устремив странно неподвижные зеленые глаза свои на тучи, изнутри позлащенные солнцем:

- Да, да... Мы все забыли Голос Отчий. Как дети, разлученные с Отцом от колыбели, мы и слышим, и не узнаем его. Надо, чтобы все умолкло в душе, все небесные и земные голоса. Тогда мы услышим Его... Пока сияет разум и как полуденное солнце озарят душу, мы остаемся сами в себе, не видим Бога. Но когда разум склоняется к закату, на душу нисходит восторг, как ночная роса...

Злые не могут чувствовать восторга; только мудрый делается лирой, которая вся дрожит и звучит под рукою Бога.

Откуда этот свет, озаряющий душу? - Не знаю. Он приходит внезапно, когда не ждешь; его нельзя искать. Бог недалеко от нас. Надо приготовиться; надо быть спокойным и ждать, как ждут глаза, чтобы солнце взошло устремилось, по выражению поэта, из темного Океана.

Бог не приходит и не уходит. Он только является. Вот Он.

Он отрицание мира, отрицание всего, что есть. Он ничто. Он - все.

Ямвлик встал с камня и медленно протянул исхудалые руки.

- Тише, тише, говорю я, - тише! Внимайте Ему все.

Вот-Он. Да умолкнет земля и море, и воздух, и даже небо. Внимайте! Это Он наполняет мир, проникает дыханием атомы, озаряет материю - Хаос, предмет ужаса для богов, - как вечернее солнце позлащает темную тучу...

Юлиан слушал, и ему казалось, что голос учителя, слабый и тихий, наполняет мир, достигает до самого неба, до последних пределов моря. Но скорбь Юлиана была так велика, что вырвалась из груди его стоном:

- Отец мой, прости, но если так,- зачем жизнь? зачем эта вечная смена рождения и смерти? зачем страдание? зачем зло? зачем тело? зачем сомнение? зачем тоска по невозможному?..

Ямвлик взглянул кротко и опять провел рукой по волосам его:

- Вот где тайна, сын мой. Зла нет, тела нет, миранет, если есть Он. Или Он, или мир. Нам кажется, что есть зло, что есть тело, что есть мир. Это - призрак, обман жизни. Помни: у всех-одна душа, у всех людей

и даже бессловесных тварей. Все мы вместе покоились некогда в лоне Отца, в свете немерцающем. Но взглянули однажды с высоты на темную мертвую материю, и каждый увидел в ней свой собственный образ, как в зеркале.

И душа сказала себе: "Я могу, я хочу быть свободной.

Я - как Он. Неужели я не дерзну отпасть от Него и быть всем?".- Душа, как Нарцисс в ручье, пленилась красотой собственного образа, отраженного в теле. И пала. Хотела Пасть до конца, отделиться от Бога навеки, но не могла: ноги смертного касаются земли, чело - выше горних небес.

и вот, по вечной лестнице рождения и смерти, души всех существ восходят, нисходят к Нему и от Него. Пытаются уйти от Отца и не могут. Каждой душе хочется самой быть Богом, но напрасно: она скорбит по Отчему лону; на земле ей нет покоя; она жаждет вернуться к Единому. Мы должны вернуться к Нему, и тогда все будут Богом, и Бог будет во всех. Разве ты один тоскуешь о нем? Посмотри, какая небесная грусть в молчании природы. Прислушайся: разве ты не чувствуешь, что все грустит о нем?

Солнце закатилось. Золотые, как будто раскаленные края облаков потухали. Море сделалось бледным и воздушным, как небо, небо-глубоким и ясным, как море.

По дороге промчалась колесница. В ней были юноша и женщина, может быть, двое влюбленных. Женский голос запел грустную и знакомую песнь любви. Потом все опять затихло и сделалось еще грустнее. Быстрая южная ночь слетала с небес.

Юлиан прошептал:

- Сколько раз я думал: отчего такая грусть в природе? Чем она прекраснее, тем грустнее...

Ямвлик ответил с улыбкой: - Да, да... Посмотри: она хотела бы сказать, о чем грустит,--и не может. Она немая. Спит и старается вспомнить Бога во сне, сквозь сон, но не может, отягощенная материей. Она созерцает Его смутно и дремотно. Все миры, все звезды, и море, и земля, и животные, и растения, и люди, все это--сны природы о Боге. То, что она созерцает, рождается и умирает. Она создает одним созерцанием, как бывает во сне; создает легко, не зная ни усилия, ни преграды. Вот почему так прекрасны и вольны ее создания, так бесцельны и божественны. Игра сновидений природы - подобна игре облаков. Без начала, без конца.

Кроме созерцания, в мире нет ничего. Чем оно глубже, тем оно тише. Воля, борьба, действие - только ослабленное, недоконченное или помраченное созерцание Бога. Природа, в своем великом бездействии, создает формы, подобно геометру: существует то, что он видит; так и она роняет из своего материнского лоно формы за формами. Но ее безмолвное, смутное созерцание--только образ иного, яснейшего. Природа ищет слова и не находит. Природа спящая мать Кибела, с вечно закрытыми веждами; только человек нашел слово, которого она искала и не нашла: душа человеческая - это природа, открывшая сонные вежды, проснувшаяся и готовая увидеть Бога уже не во сне, а наяву, лицом к лицу...

Первые звезды выступили на потемневшем и углубившемся небе, то совсем потухали, то вспыхивали, словно вращались, как привешенные к тверди крупные алмазы;

затеплились новые и новые, неисчислимы. Ямвлик указал на них.

- Чему уподоблю мир, все эти солнца и звезды?

Сети уподоблю их, закинутой в море. Бог объемлет вселенную, как вода объемлет сеть; сеть движется, но не может остановить воду; мир хочет и не может уловить Бога.

Сеть движется, но Бог спокоен, как вода, в которую закинута сеть. Если бы мир не двигался, Бог не создавал бы ничего, не вышел бы из покоя, ибо зачем и куда ему стремиться? Там, в царстве вечных Матерей, в лоне Мировой Души, таятся семена, Идеи-Формы всего, что есть, и было, и будет: таится Лагос-зародыш и кузнечика, и былинки, и олимпийского бога...

Тогда Юлиан воскликнул громко, и голос его раздался в тишине ночи, подобно крику смертельной боли:

- Кто же Он? Кто Он? Зачем Он не отвечает, когда мы зовем? Как Его имя? Я хочу знать Его, слышать и видеть! Зачем Он бежит от моей мысли? Где Он?

- Дитя, что значит мысль перед Ним? Ему нет имени: Он таков, что мы умеем сказать лишь то, чем Он не должен быть, а то, что Он есть, мы не знаем. Но разветы можешь страдать и не хвалить Его? разве ты можешь любить и не хвалить Его? разве ты можешь проклинать и не хвалить Его? Создавший все, сам Он - ничто из всего, что создал. Когда ты говоришь: Его нет, ты воздаешь Ему не меньшую хвалу, чем если молвишь: Он есть.

О Нем ничего нельзя утверждать, ничего-ни бытия, нисущности, ни жизни, ибо Он выше всякого бытия, выше всякой сущности, выше всякой жизни. Вот почему я сказал, что Он-отрицание мира, отрицание мысли твоей.

Отрекись от сущего, от всего, что есть - и там, в бездне, в глубине несказанного мрака, подобного свету, ты

найдешь Его. Отдай Ему и друзей, и родных, и отчизну, и небо, и землю, и себя самого, и свой разум. Тогда ты уже не увидишь света, ты сам будешь свет. Ты не скажешь: Он и Я; ты почувствуешь, что Он и Ты - одно.

И душа твоя посмеется над собственным телом, как над призраком. Тогда - молчание; тогда не будет слов. И если мир в это мгновение рушится, ты будешь рад, потому что зачем тебе мир, когда ты останешься с Ним? Душа твоя не будет желать, потому что Он не желает, она не будет жить, потому что Он выше жизни, она не будет мыслить, потому что Он выше мысли. Мысль есть искание света, а Он не ищет света, потому что сам Он - Свет. Он проникает всю душу и претворяет ее в Себя. И тогда, бесстрастная, одинокая, покоится она выше разума, выше добродетели, выше царства идей, выше красоты - в бездне, в лоне Отца Светов. Душа становится Богом, или, лучше сказать, только вспоминает, что во веки веков она была, и есть, и будет Богом...

Такова, сын мой, жизнь олимпийцев, такова жизнь людей богоподобных и мудрых: отречение от всего, что есть в мире,

презрение к земным страстям, бегство души к Богу, которого она видит лицом к лицу.

Он умолк, и Юлиан упал к его ногам, не смел прикоснуться к ним, и только целовал землю, которой ноги святого касались. Потом ученик поднял лицо и заглянул в эти странные зеленые глаза, в которых сияла разоблаченная тайна "змеиной" мудрости; они казались спокойнее и глубже неба: как будто изливалась из них святая сила.

Юлиан прошептал:

- Учитель, ты можешь все. Верую! Прикажи горам горы сдвинутся. Будь, как Он! Сделай чудо! Сотвори невозможное! Помилуй меня! Верую, верую!..

- Бедный сын мой, о чем ты просишь? То чудо, которое может совершиться в душе твоей, разве не больше всех чудес, какие я могу сотворить? Дитя мое, разве не страшное и не благодатное чудо - та власть, во имя которой ты смеешь сказать: Он есть, а если нет Его, все равно, - Он будет. И ты говоришь: Да будет Он - я так хочу!

Когда учитель и ученик, возвращаясь с прогулки, проходили Панормос, многолюдную гавань Эфеса, они заметили необычайное волнение.

Многие бежали по улицам, махали пылающими смоляными факелами и кричали: Христиане разрушают храмы! Горе нам! Другие:

- Смерть олимпийским богам! Астарта побеждена Христом!

Ямвлик думал пройти пустынными переулками. Но бегущая толпа увлекла их понабережной Каистра, мимо капища Артемиды Эфесской. Великолепный храм, создание Динократа, стоял, как твердыня, суровый темный и незыблемый, выделяясь на звездном небе. Отблеск факелов дрожал на исполинских столбах смаленькими кариатидами вместо подножий. Не только вся Римская империя, но и все народы земли чтили эту святыню. Кто-то в толпе закричал неуверенно: Велика Артемида Эфесская! Ему ответили сотни голосов:

- Смерть олимпийским богам и твоей Артемиде! Над черным зданием городской оружейной палаты подымалось кровавое зарево.

Юлиан взглянул на божественного учителя и не узнал его. Ямвлик опять превратился в робкого, больного старика. Он жаловался на головную боль, высказывал страх, что ночью начнется ломота, что

служанка забыла приготовить припарки. Юлиан отдал учителю верхний плащ. Но ему было все-таки холодно. С болезненным выражением лица затыкал он уши, чтобы не слышать уличного крика и хохота. Ямвлик больше всего в мире боялся толпы; говорил, что нет глупее и отвратительнее беса, чем дух народа.

Теперь указывал он ученику на лица пробежавших мимо людей:

- Посмотри, какое уродство, какая пошлость и какая уверенность в правоте своей! Разве не стыдно быть человеком-таким же телом, такую же грязью, как эти?..

Старушка-христианка причитала:

- И говорит мне больной внучек: свари мне, бабушка, мясной похлебки.- Хорошо, говорю, милый, вот уж пойдешь на рынок, принесешь мяса.- Сама думаю: мясо теперь, пожалуй, дешевле пшеничного хлеба. Купила на пять обол-лов; сварила похлебку. А соседка-то на дворе кричит: Что ты варишь, или не знаешь, нынче мясо на рынке поганое?-Как, говорю, поганое? Что такое?-А так, говорит, что на поругание добрым христианам, ночью жрецы богини Деметры весь рынок, все лавки мясные жертвенною водою окропили. Никто в городе не ест поганого

мяса. За то жрецов идольских побивают камнями, а бесовское капище Деметры разрушат.-Я и выплеснула похлебку собаке. Шутка сказать - пять обол-лов! В целый день не наработаешь. А все-таки внучка не опоганила.

Другие сообщили, как в прошлом году один скупой христианин наелся жертвенного мяса, и вся утроба у него сгнила, и такой был смрад в доме, что родные убежали.

Пришли на площадь. Здесь был маленький храм Деметры-Изиды-Астарты - Трехликой Гекаты, таинственной богини земного плодородия, могучей и любвеобильной Кибелы, Матери богов. Храм со всех сторон облепили монахи, как большие черные мухи кусок медовых сот; монахи ползли по белым выступам, карабкались по лестницам с пением священных псалмов, разбивали изваяния. Столбы дрожали; летели осколки нежного мрамора; казалось, храм страдает, как живое тело. Пытались поджечь здание, но не могли: храм весь был из мрамора.

Вдруг раздался внутри оглушительный и вместе с тем певучий звон. К небу поднялся торжествующий вопль народа.

- Веревки, веревки! За руки, за ноги!

С пением молитв и радостным хохотом, из дверей храма толпа на веревках повлекла вниз по ступеням звеневшее, серебряное, бледное тело богини, Матери богов творение Скопаса.

- В огонь, в огонь!

И ее потащили по грязной площади.

Монах-законовед провозглашал отрывок из недавнего закона императора Константа, брата Констанция: "Cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania" - "Да прекратится суеверие, да будет уничтожено безумие жертвоприношений".

- Не бойтесь ничего! Бейте, грабьте все в бесовском капище!

Другой, при свете факелов, прочел в пергаментной свитке выдержку из книги Фирмика Матерна "De errore profanarum religionum".

"О заблуждении религиозных невежд" (лат.).

"Святые Императоры! Придите на помощь к несчастным язычникам. Лучше спасти их насильно, чем дать погибнуть. Срывайте с храмов украшения: пусть сокровища их обогатят вашу казну. Тот, кто приносит жертву идолам, да будет исторгнут с корнем из земли. Убей его, побей камнями, хотя бы это был твой сын, твой брат, жена, спящая на груди твоей".

Над толпой проносился крик: - Смерть, смерть олимпийским богам!

Огромный монах с растрепанными черными волосами, прилипшими к потному лбу, занес над богиней медный топор и выбирал место, чтобы ударить.

Кто-то посоветовал: - В чрево, в бесстыжее чрево!

Серебряное тело гнулось, изуродованное. Удары звенели, оставляя рубцы на чреве Матери богов и людей, Деметры-Кормилицы.

Старый язычник закрыл лицо одеждой, чтобы не видеть кошунства; он плакал и думал, что теперь все кончено-мир погиб: Земля-Деметра не захочет родить людям колоса.

Отшельник, пришедший из пустыни Месопотамии, в овечьей шкуре, с посохом и выдолбленной тыквой вместо посуды, в грубых сандалиях, подкованных железными гвоздями, подбежал к богине.

- Сорок лет не мылся я, чтобы не видеть собственной наготы и не соблазниться. А как придешь, братья, в город, так всюду только и видишь голые тела богов окаянных. Долго ли терпеть бесовский соблазн? Всюду поганыя идола: в домах, на улицах, на крышах, в банях, под ногами, над головой. Тьфу, тьфу, тьфу! Не отплюешься!..

И с ненавистью старик ударил сандалией в грудь Кибелы. Он топтал эту голую грудь, и она казалась ему живой; он хотел бы раздавить ее под острыми гвоздями тяжелых сандалий. Он шептал, задыхаясь от злости: - Вот тебе, вот тебе, гнусная, голая! Вот тебе, сука!..

Под ногой его уста богини по-прежнему хранили спокойную улыбку.

Толпа подняла ее на руки, чтобы бросить в костер.

Пьяный ремесленник, с дыханием, пропитанным чесноком, плюнул ей прямо в лицо.

Костер был огромный; в него свалили все деревянные рыночные лавки, оскверненные жертвенной водой. Высоко над толпой тихие звезды мерцали сквозь дым.

Богиню бросили в костер, чтобы расплавить серебряное тело. И опять, с нежным, певучим звоном, ударились она о пылающие головни.

- Слиток в пять талантов. Тридцать тысяч маленьких серебряных монет. Половину пошлем императору на жалование солдатам, другую - голодным. Кибела прине

сет, по крайней мере, пользу народу. Из богини-тридцать тысяч монет для солдат и для нищих.

- Дров! Дров!

Пламя вспыхнуло ярче, и всем стало веселее.

- Посмотрим, вылетит ли бес. Говорят, в каждом идоле по бесу, а в богинях - так по два и по три...

- Как начнет плавиться, сделается лукавому жарко, он и выпорхнет из поганого рта, в виде кровавого или огненного змия...

- Нет, надо было раньше перекрестить, а то, пожалуй, и в землю ужом уползет. В позапрошлом году разбивали капище Афродиты; кто-то и брызнул святой водой.

И что же бы вы думали? Из-под одежды выскочили крохотные бесенята. Как же? Сам видел. Смердные, черные, в белых-то складках, мохнатые. И запищали, как мыши.

А когда Афродите голову отбили, так из шеи главный выскочил, вот с какими рогами, а хвост облезлый, голый, без шерсти, как у паршивого пса...

Кто-то недоверчиво заметил: - Не спорю. Может быть, вы и видели бесов, только, когда разбивали наемники в Газе идола Зевса, то внутри бесов не было, а такая пакость, что стыдно сказать.

С виду-важный, страшный: слоновая кость, золото, в руках молнии. А внутри-паутина, крысы, пыль, ржавые перекладки, рычаги, гвозди, вонючий деготь и еще черт знает, какая дрянь. Вот вам и боги!

Ямвлик, бледный, как полотно, с потухшими глазами, взял за руку Юлиана и отвел его в сторону.

- Посмотри, видишь - двое? Это доносчики Констанция. Твоего брата Галла увезли уже в Константинополь под стражей. Берегись! Сегодня же пошлют донос...

- Что делать, учитель? Я привык. Знаю: они давно следят за мной...

- Давно?.. Зачем же ты мне не сказал?

И рука его дрогнула в руке Юлиана.

- Чего они шепчутся? Смотрите-уж не безбожники ли это? Эй, старикашка, пошевеливайся, дров неси! закричал им оборванец, который чувствовал себя победителем.

Ямвлик шепнул Юлиану:

- Будем презирать и покоримся. Не все ли равно?

Богов не может оскорбить людская глупость.

Божественный взял полено из рук христианина и бросил в костер. Юлиан не верил глазам. Но доносчики смотрели на него с улыбкой, пылливо и пристально.

Тогда слабость, привычка - к лицемерию, презрение к себе и к людям, злорадство овладели душой Юлиана. Чувствуя за спиной своей взоры доносчиков, подошел он к связке дров, выбрал самое

большое полено и после Ямвлика бросил его в костер, на котором уже таяло тело искалеченной богини. Он видел, как расплавленное сереброструилось по лицу ее, подобно каплям предсмертного пота; а на устах по-прежнему была непобедимая, спокойная улыбка.

- Посмотри на людей в черных одеждах, Юлиан. Это вечерние тени, тени смерти. Скоро не будет ни одной белой одежды, ни одного куска мрамора, озаренного солнцем. Кончено!

Так говорил юный софист Антонин, сын египетской пророчицы Созипатры и неоплатоника Эдезия. Он стоял с Юлианом на большой высокой площади перед жертвенником Пергамским, залитой солнцем, окруженной голубым небом. На подножии храма была изваяна Гигантомахия, борьба титанов и богов: боги торжествовали; копыта крылатых коней попирали змеевидные ноги титанов.

Антонин указал Юлиану на изваяния.

- Олимпийцы победили древних богов; теперь олимпийцев победят новые боги. Храмы будут гробницами...

Антонин был стройный юноша; некоторые очертания тела и лица его напоминали Аполлона Пифийского; но уже много лет страдал он неизлечимым недугом;

странно было видеть это чисто эллинское, прекрасное лицо желтым, исхудалым, с выражением тоски, новой болезни, чуждой лицам древних мужей.

- Об одном молю я богов,- продолжал Антонин, чтобы не видеть мне этой варварской ночи, чтобы раньше умереть. Риторы, софисты, ученые, поэты, художники, любители эллинской мудрости, все мы - лишние. Опоздали. Кончено!

- А если не кончено? - проговорил Юлиан тихо, как будто про себя.

- Нет, кончено! Мы больные, слишком слабые...

Лицо девятнадцатилетнего Юлиана казалось почти таким же худым и бледным, как лицо Антонина; выдающаяся нижняя губа придавала ему выражение угрюмой надменности; густые брови хмурились со злобным упрямством; около некрасивого, слишком большого носа выступали ранние морщины; глаза блестели сухим, лихорадочным блеском. Он был одет, как христианские послушники.

Днем, как прежде, посещал церкви, гробницы мучеников, читал с амвона Писание, готовился к пострижению в монахи. Иногда

лицемерие это казалось ему тщетным: он знал, какая судьба постигла Галла; знал, что брату не миновать смерти. И сам, день за днем, месяц за месяцем, жил в постоянном ожидании смерти.

Ночи проводил в книгохранилище Пергамском, где изучал творения знаменитого врага христиан, ритора Либания; посещал уроки греческих софистов - Эдезия Пергамского, Хризанфия Сардийского, Приска из Феспротии, Евсевия из Минда, Проэрезия, Нимфидиана.

Они говорили ему о том, что он уже слышал от Ямвлика: о триединстве неоплатоников, о священном восторге.

- Нет, все это не то,- думал Юлиан,- главное скрывают они от меня.

Приск, подражавший Пифагору, пять лет провел в молчании; не ел ничего, имеющего жизнь; не употреблял ни шерстяной ткани, ни кожаных сандалий; ткань одежды была растительной, так же как пища; он носил пифагорейскую хламиду из чистого белого льна, сандалии из пальмовых ветвей. "В наш век,- говорил он,- главное уметь молчать и думать о том, чтобы погибнуть с достоинством". И Приск с достоинством, презирая всех, ждал того, что считал гибелью,- победы христиан над эллинами.

Хитрый и осторожный Хризанфий, когда речь заходила о богах, подымал глаза к небу, уверяя, что не смеет их говорить, так как ничего не знает, а что прежде знал -- забыл и другим советует забыть; с магии, о чудесах, о видениях и слышать не хотел, утверждая, что все это обманы, воспрещенные законами римской империи.

Юлиан плохо ел, мало спал; кровь его кипела от страстного нетерпения. Каждое утро, просыпаясь, он думал: "не сегодня ли?"

Бедным, запуганным теургам-философам надоело он своими расспросами о таинствах, о чудесах. Некоторые над ним подсмеивались-особенно Хризанфий; у него была хитрая лисья усмешка и привычка соглашаться с теми мнимыми, которые считал он за величайшие нелепости.

Однажды Эдезий, старик умный, боязливый и добрый, сжалившись над Юлианом, сказал:

- Дитя, я хочу умереть спокойно. Ты еще молод. Оставь меня; ступай к моим ученикам; они откроют тебе все.

Да, есть многое, о чем боимся мы говорить... Когда ты будешь посвящен в таинства, то, может быть, устыдишься, что родился только человеком, что до сей поры оставался им.

Евсевий из Минда, ученик Эдезия, был человек желчный и завистливый.

- Чудес больше нет,-объявил он Юлиану.-И нежди. Люди надоели богам. Магия - вздор. Глупы те, кто в нее верит. Но, если тебе наскучила мудрость, и ты непременно хочешь быть обманутым, ступай к Максиму. Он презирает нашу диалектику, а сам... Впрочем, о друзьях не люблю говорить дурно. Лучше послушай, что случилось недавно в одном подземном храме Гекаты, куда наспривел Максим показывать свое искусство. Когда мы вошли и помолились богине, он сказал: "садитесь - вы увидите чудо". Мы сели. Он бросил на алтарь зерно фимиама, что-то пробормотал, должно быть, заклятие. И мы ясно увидели, как изваяние Гекаты улыбнулось. Максим сказал: "не бойтесь, сейчас вы увидите, как обе лампы в руках богини зажгутся. Смотрите!" Не успел он кончить, как лампы зажглись.

- Чудо совершилось! - воскликнул Юлиан.

- Да, да. Мы были в таком смущении, что упали ниц.

Но когда я вышел из храма, то подумал: "Что же это?"

Достойно ли мудрости то, что делает Максим? Читай книги, читай Пифагора, Платона, Порфирия-вот где найдешь мудрость. Не прекраснее ли всяких чудес- очищение сердца божественной диалектикой?"

Юлиан уже не слушал. Он взглянул горящими глазами на бледное желчное лицо Евсевия и сказал, уходя из школы:

- Оставайтесь вы с вашими книгами и диалектикой.

Я хочу жизни и веры. А разве может быть вера без чуда?

Благодарю тебя, Евсевий. Ты указал мне человека, которого я давно искал.

Софист взглянул с ядовитой усмешкой и произнес ему вслед:

- Ну, племянник Константина, недалеко же ты ушел от дяди. Сократу, чтобы верить, не надо было чудес.

Ровно в полночь, в преддверьи большой залы мистерий, Юлиан сложил одежду послушника, и мистагоги жрецы, посвящающие в

таинства, облекли его в хитон иерофантов из волокон чистого египетского папируса;

в руки дали ему пальмовую ветвь; ноги остались босыми.

Он вошел в низкую длинную залу.

Двойной ряд столбов из орихалка - зеленоватой меди - поддерживал своды; каждый столб изображал двухперевившихся змей; от орихалка отделялся запах меди.

У колонн стояли курильницы на тонких высоких ножках; огненные языки трепетали, и клубы белого дыма наполняли залу.

В дальнем конце слабо мерцали два золотых крылатых ассирийских быка; они поддерживали великолепный престол; на нем восседал, подобный богу, в длинном черномодеянии, затканном золотом, облитом потоками смарагдови карбункулов, сам великий иерофант - Максим Эфесский.

Протяжный голос иеродула возвестил начало таинств: - Если есть в этом собрании безбожник, или христианин, или эпикурец,- да изыдет!

Юлиана предупредили об ответах посвящаемого. Он произнес: - Христиане - да изыдут!

Хор иеродулов, скрытый во мраке, подхватил унылым напевом:

- Двери! Двери! Христиане да изыдут! Да изыдут безбожники!

Тогда выступили из мрака двадцать четыре отрока;

они были голы; у каждого в руках блестел серебряный полукруглый ситр, похожий на серп новой луны; только острые концы серпа соединялись в полную окружность, и в них были вставлены тонкие спицы, содрогавшиеся от малейшего прикосновения. Отроки, все сразу, подняли ситры над головою, ударили однообразным движением пальцев в эти продольные палочки,- и ситры зазвенели жалобно, томно.

Максим подал знак.

Кто-то приблизился к Юлиану сзади и, крепко завязав ему глаза платком, произнес:

- Иди! Не бойся ни воды, ни огня, ни духа, ни тела, ни жизни, ни смерти!

Его повели. С железным скрипом отворилась дверь, должно быть, заржавленная; его впустили в нее, спертый воздух пахнул ему в лицо;

под ногами были скользкие крутые ступени.

Он начал спускаться по бесконечной лестнице. Тишина была мертвая. Пахло плесенью. Ему казалось, что он глубоко под землей.

Лестница кончилась. Теперь он шел по узкому ходу.

Руки могли ощупать стены.

Вдруг босыми ногами почувствовал он сырость; зажурчали струйки; вода покрыла ему ступни. Он продолжал идти. С каждым шагом уровень воды подымался, достиг щиколотки, потом колена, наконец бедра. Зубы его стучали от холода. Он продолжал идти. Вода поднялась до груди. Он подумал: "Может быть, это - обман: не хочет ли Максим умертвить меня в угоду Констанцию?" Но он продолжал идти.

Вода уменьшилась.

Вдруг жар, как из кузницы, повеял в лицо; земля стала жечь ноги; казалось - он приближается к раскаленной печи; кровь стучала в виски; иногда становилось так жарко, как будто к самому лицу подносили факел или расплавленное железо. Он продолжал идти.

Жар уменьшился. Но дыхание сперлось от тяжело го зловония; он споткнулся о что-то круглое, потом-еще и еще;

он догадался по запаху, что это мертвые черепа и кости.

Ему казалось, что кто-то идет рядом-беззвучно, скользя, как тень. Холодная рука схватила его руку. Он вскрикнул. Потом уже две руки стали тихонько хватать его, цепляться за одежду. Он заметил, что сухая кожа на них шелушится, и сквозь нее выступают голые кости.

В том, как эти руки цеплялись за одежду, была игривая и отвратительная ласковость, как у развратных женщин.

Юлиан почувствовал на щеке своей дыхание; в нем был запах тления и могильная сырость. И вдруг над самым ухом - быстрый, быстрый, быстрый шепот, подобный шуршанию осенних листьев в полночь:

- Это - я, это - я, я. Разве ты не узнаешь меня?

Это - я.

- Кто ты? - молвил он и вспомнил, что нарушил обет молчания.

- Я, я. Хочешь, я сниму с глаз твоих повязку, и ты узнаешь все, ты увидишь меня?..

Костяные пальцы, с той же мерзкой, веселой торопливостью, закопошились на лице его, чтобы снять повязку.

Холод смерти проник до глубины сердца его, и невольно, привычным движением, перекрестился он трижды, как бывало в детстве, когда видел страшный сон.

Раздался удар грома, земля под ногами всколыхнулась; он почувствовал, что падает куда-то, и потерял сознание.

Когда Юлиан пришел в себя, повязки больше не было на глазах его; он лежал на мягких подушках в огромной, слабо освещенной пещере; ему давали нюхать ткань, пропитанную крепкими духами.

Против ложа Юлиана стоял голый исхудалый человек с темнокоричневой кожей; это был индийский гимнософист, помощник Максима. Он держал неподвижно над

своей головой блестящий медный круг. Кто-то сказал Юлиану: - Смотри!

И он устремил глаза на круг, сверкавший ослепительно, до боли. Он смотрел долго. Очертания предметов слились в тумане. Он чувствовал приятную успокоительную слабость в теле; ему казалось, что светлый круг сияет уже не извне, а в нем; веки опускались, и на губах бродила усталая покорная улыбка; он отдавался обаянию света.

Кто-то несколько раз провел по голове его рукою и спросил: - Спишь?

- Да.

- Смотри мне в глаза.

Юлиан с усилием поднял веки и увидел, что к нему наклоняется Максим.

Это был семидесятилетний старик; белая, как снег, борода падала почти до пояса; волосы до плеч были легким золотистым оттенком сквозь седину; на щеках и на лбу темнели глубокие морщины, полные не страданием, а мудростью и волей; на тонких губах скользила двусмысленная улыбка: такая улыбка бывает у очень умных, лживых и оболъстительных женщин; но больше всего Юлиану понравились глаза Максима: под седыми, нависшими бровями, маленькие, сверкающие, быстрые, они были пронзительны, насмешливы и ласковы. Иерофант спросил:

- Хочешь видеть древнего Титана?

- Хочу,-ответил Юлиан.

- Смотри же.

И волшебник указал ему в глубину пещеры, где стоялорихалковый треножник. С него подымалась клубящейсягромадой туча белого дыма. Раздался голос, подобныйголосу бури,- вся пещера дрогнула.

- Геркулес, Геркулес, освободи меня!

Голубое небо блеснуло между разорванными тучами.

Юлиан лежал с неподвижным, бледным лицом, с полузакрытыми веками, смотрел на быстрые легкие образы, проносившиеся перед ним, и ему казалось, что не сам он ихвидит, а кто-то другой ему приказывает видеть.

Ему снились тучи, снежные горы; где-то внизу, должно быть, в бездне, шумело море. Он увидел огромное тело;

ноги и руки были прикованы обручами к скале; коршунклевал печень Титана; капли черной крови струились победрам; цепи звенели; он метался от боли: - Освободи меня. Геркулес!

И Титан поднял голову; глаза его встретились с глазами Юлиана.

- Кто ты? Кого ты зовешь? - с тяжелым усилиемспросил Юлиан, как человек, говорящий во сне.

- Тебя.

- Я - слабый смертный.

- Ты -мой брат: освободи меня.

- Кто заковал тебя снова?

- Смиренные, кроткие, прощающие врагам из трусости, рабы, рабы! Освободи меня!

- Чем я могу?..

- Будь, как я.

Тучи потемнели, за клубились; гром загудел вдали; сверкнула молния; коршун взвился с криком; капли крови падали с его клюва. Но сильнее грома звучал голосТитана:

- Освободи меня. Геркулес!

Потом все закрыли тучи дыма, поднявшиеся с треножника.

Юлиан на мгновение очнулся. Иерофант спросил: - Хочешь видеть Отверженного?

- Хочу.

- Смотри.

Юлиан опять полужакрыл глаза и предался легкому очарованию сна.

В белом дыме появились слабые очертания головы и двух исполинских крыльев; перья висели поникшие, как ветви плакучей ивы, и голубоватый свет дрожал на них.

Кто-то позвал его далеким, слабым голосом, как умерший Друг:

- Юлиан! Юлиан! Отрекись во имя мое от Христа.

Юлиан молчал. Максим прошептал ему на ухо: "Если хочешь увидеть Великого Ангела, - отрекись".

Тогда Юлиан произнес: - Отрекаюсь.

Над головой видения, сквозь туман, сверкнула утренняя звезда, звезда Денницы. И Ангел повторил: - Юлиан, отрекись во имя мое от Христа.

- Отрекаюсь.

И в третий раз промолвил Ангел уже громким, близким и торжествующим голосом: "Отрекись!" - и в третий раз Юлиан повторил: - Отрекаюсь.

И Ангел сказал;

- Я - Денница. Я - Звезда Утренняя. Приди ко мне.

- Кто ты?

- Я - Светоносный.

- Как ты прекрасен!

- Будь подобен мне.

- Какая печаль в глазах твоих!

- Я страдаю за всех живущих. Не надо рождения, не надо смерти.

Придите ко мне. Я - тень, я - покой, я свобода.

- Как зовут тебя люди?

- Злом.

- Ты - зло!

- Я восстал.

- На кого?

- На Того, Кому я равен. Он хотел быть один, но нас - двое.

- Дай мне быть, как ты.

- Восстань, как я. Я дам тебе силу.

Ангел исчез. Налетевший вихрь всколебал пламя треножника;- оно приникло к земле, расстилаясь по ней.

Потом треножник опрокинут был вихрем, и пламя потухло. Во мраке слышался топот, визг, стенание, как будtoneвидимое, неисчислимое войско, бегущее от врага, летело по воздуху. Юлиан, объятый ужасом, пал лицом на землю, и длинная, черная одежда иерофанта билась над ним по ветру. "Бегите, бегите!"-вопили несметные голоса.-"Вратаадовы разверзаются. Это Он, это Он, это Он-Победитель!"

Ветер свистал в ушах Юлиана. И легионы за легионами мчались над ним. Вдруг, после подземного удара, сразу воцарилась тишина -и небесное дуновение промчалось в ней, как в середине кроткой летней ночи. Тогда чей-то голос произнес:

- Савл! Савл! Зачем ты гонишь Меня?

Юлиану казалось, что он уже слышал голос этот когда то в незапамятном детстве.

Потом снова, но тише, как будто издали: - Савл! Савл! Зачем ты гонишь Меня?

И голос замер так далеко, что пронесся чуть слышным Дуновением:

- Савл! Савл! Зачем ты гонишь Меня?

Когда Юлиан, очнувшись, поднял лицо от земли, он увидел, что один из иеродулов зажигает лампаду. Голова его кружилась; но он помнил все, что было с ним, как помнят сновидения.

Ему опять завязали глаза и дали отведасть пряного вина. Он почувствовал силу и бодрость в членах.

Его повели наверх, по лестнице. Теперь рука его была в руке Максима. Юлиану показалось, что невидимая сила подымает его, как бы на крыльях. Иерофант сказал: - Спрашивай.

- Ты звал Его? - проговорил Юлиан.

- Нет. Но когда на лире дрожит струна - ей отвечает другая: противное отвечает противному.

- Зачем же такая власть в словах Его, если они ложь?

- Они - истина, - Что ты говоришь? Значит слова Титана и Ангела - ложь?

- И они- истина.

- Две истины?

- Две.

- Ты соблазняешь...

- Не я, но полная истина соблазнительна и необычайна. Если боишься - молчи.

- Я не боюсь. Говори все. Галилеяне правы?

- Да.

- Зачем же я отрекся?

- Есть и другая правда.

- Высшая?

- Нет. Равная той, от которой ты отрекся.

- Но во что же верить? Где Бог?

- И там, и здесь. Служи Ариману, служи Ормузду, как хочешь, но помни: оба равны; царство Дьявола равноцарству Бога.

- Куда идти?

- Выбери один из двух путей -- и не останавливайся.

- Какой?

- Если веришь в Него - возьми крест, иди за Ним, как Он велел. Будь смиренным, будь девственным, будь агнцем безгласным в руках палачей; беги в пустыню; отдай Ему плоть и дух; терпи, верь.- Это один из двух путей: великие страстотерпцы-галилеяне достигают такой же свободы, как Прометей и Люцифер.

- Я не хочу!

- Тогда избери другой путь: будь сильным и свободным; не жалея, не люби, не прощай; восстань и победив все; не верь и познай. И мир будет твой, и ты будешь, как Титан и Ангел Денницы.

- Не могу я забыть, что в словах Галилеянина есть тоже правда; не могу я вынести двух истин!..

- Если не можешь--будешь, как все. Лучше погибнуть. Но ты можешь. Дерзай.-Ты будешь кесарем.

- Я - кесарем?

- Ты будешь иметь во власти своей то, чего не имел герой Македонский.

Юлиан почувствовал, что они выходят из подземелья: их обвеял свежий, морской, должно быть утренний ветер; невидя, угадывал он вокруг себя бесконечность моря и неба.

Иерофант снял повязку с глаз его. Они стояли на высокой мраморной башне; то была астрономическая башня, подобие древнехалдейских башен, построенная на громадном отвесном обрыве над самым морем; внизу были роскошные сады и виллы Максима, дворцы, пропилеи, напоминавшие Персепольские колоннады; дальше, в тумане- Артемизион и многоколонный Эфес; еще дальше на востоке- горы; там должно было взойти солнце; на западе, на юге, на севере расстилалось море, необъятное, туманное, темно-голубое, все трепещущее, все смеющееся. В ожидании солнца. Они стояли на такой высоте, что голова у Юлиана закружилась; он должен был опереться на руку Максима.

Вдруг восходящее солнце блеснуло из-за гор; он зажмурил глаза с улыбкой - и солнце тронуло белую священную одежду Юлиана первым, сначала бледно-розовым, потом красным, кровавым лучом.

Иерофант обвел рукою горизонт, указывая на море и землю: - Смотри, это все - твое.

- Разве я могу, учитель?.. Я каждый день жду смерти. Я - слабый и больной...

- Солнце-бог Митра венчает тебя своим пурпуром.

Это пурпур кесаря. Все-твое. Дерзай!

- Зачем мне все, если нет единой правды - Бога, которого ищу?

- Найди Его. Соедини, если можешь, правду Титана с правдой Галилеянина - и ты будешь больше всех рожденных женами на земле.

У Максима Эфесского были огромные книгохранилища, тихие, мраморные покои, уставленные научными приборами, обширные анатомические залы.

В одной из них молодой ученый Орибазий, врач Александрийской школы, держа тонкий стальной нож в руках, производил вместе с теургом анатомическое рассечение редкого животного, присланного Максиму из Индии. Зала была круглая, без окон, с верхним светом, устроенная наподобие таких же зал в Александрийском музее; кругом стояли медные сосуды, жаровни, математические приборы Эолипила и Архимеда, так называемая огненная машина Ктезибия и Герона; в тишине соседнего книгохранилища звонко падали капли водяных часов, изобретенных Аполлоном; там виднелись глобусы, медные географические карты,

изображения звездных сфер Гиппарха и Эратосфена. Друзья производили рассечение живого тела по способу великого анатома Герофила. Под ровным светом, падавшим из круглого отверстия в крыше, Максим, в простой одежде философа, смотрел с любопытством в еще теплые внутренности животного, лежавшие на широком мраморном столе. Маленькие и быстрые глаза его, из-под седых бровей, сверкали обычным проницательным и насмешливым блеском.

Орибазий говорил, наклоняясь над столом и рассматривая только что вынутую печень: - Как может философ Максим верить в чудеса?

- И верю, и не верю,- ответил теург.- Разве природа, которую мы исследуем, не самое чудесное из чудес?

Разве не чудо и не тайна эти тонкие кровяные сосуды, нервы, совершенное устройство внутренних органов, которые мы рассматриваем, как авгуры?

- Ты знаешь, о чем я говорю,- возразил Орибазий.- Зачем ты обманываешь бедного мальчика?

- Юлиана?

- Да.

- Он сам хочет быть обманутым.

Упрямые тонкие брови молодого врача сдвинулись: - Учитель, если ты любишь меня, скажи, кто ты? Как ты можешь терпеть эту ложь? Разве я не знаю, что такое магия? - Вы прикрепляете к потолку в темной комнате светящуюся рыбу чешую - и ученик, посвящаемый в таинства, верит, что это - звездное небо, сходящее к нему по слову иерофанта; вы лепите из кожи и воска мертвую голову, снизу приставляете к ней журавлиную шею, спрятавшись в подполье, произносите в эту костяную трубку ваши пророчества - и ученик думает, что череп возвещает ему тайны смерти; а когда нужно, чтобы мертвая голова исчезла, вы приближаете к ней жаровню с углями - воск тает, и череп распадается; вы из фонаря бросаете отражения сквозь раскрашенные стекла на белый дым ароматов - и ученик воображает, будто бы перед ним видения богов; сквозь водоем, у которого каменные края и стеклянное дно, вы показываете ему живого Аполлона, переодетого раба, живую Афродиту, переодетую блудницу. И вы называете это священными таинствами!..

На тонких губах иерофанта появилась двусмысленная улыбка:

- Таинства наши глубже и прекраснее, чем ты думаешь, Орибазий. Человеку нужен восторг. Для того, кто верит, блудница воистину Афродита, и рыба чешуя воистину звездное небо. Ты говоришь, что люди молятся и плачут от видений, рожденных масляной лампой с раскрашенными стеклами. Орибазий, Орибазий, но разве природа, которой удивляется мудрость твоя, - не такой же призрак, вызванный чувствами, обманчивыми, как фонарь персидского мага? Где истина? Где ложь? Ты веришь и знаешь - я не хочу верить, не могу знать...

- Неужели Юлиан был бы тебе благодарен, если бызнал, что ты его обманываешь?

- Юлиан видел то, что хотел и должен был видеть.

Я дал ему восторг; я дал ему веру и силу жизни. Ты говоришь - я обманул его? Если бы это было нужно, я, может быть, и обманул бы, и соблазнил бы его. - Я люблю его. Я не отойду от него до смерти. Я сделаю его великим и свободным.

И Максим взглянул на Орибазия своими непроницаемыми глазами.

Луч солнца упал на седую бороду и седые нависшие брови старика; они заблестели, как серебро; морщины на лбу стали еще глубже и темнее; а на тонких губах скользила двусмысленная улыбка, обольстительная, как у женщин.

Юлиан посетил несчастного брата своего Галла, когда тот остановился проездом в Константинополе.

Он нашел его окруженным предательской стражей сановников Констанция: здесь был хитрый, вежливый придворный щеголь, квестор Леонтий, который прославился искусством подслушивать у дверей, выпрашивать рабов; и трибун щитоносцев-скутариев, молчаливый варвар Байнобаудес, похожий на переодетого палача; и важный церемониймейстер императора, comes domesticorum, Луциллиан, и наконец тот самый Скудило, который был некогда военным трибуном в Цезарее Каппадокийской, а теперь, благодаря покровительству старых женщин, получил место при дворе.

Галл, здоровый, веселый и легкомысленный, как всегда, угостил Юлиана превосходным ужином; в особенности хвастал он жирным

колхидским фазаном, начиненным фиванскими свежими финиками. Он смеялся, как ребенок, вспоминал Мацеллум.

Вдруг Юлиан нечаянно в разговоре спросил брата о жене его, Константине. Лицо Галла изменилось; он опустил пальцы с белым сочным куском фазана, который подносил ко рту; глаза его наполнились слезами.

- Разве ты не знаешь, Юлиан? - по пути к императору - она поехала к нему, чтобы оправдать меня - Константина умерла от лихорадки в Ценах Галлийских, городке Вифинии. Я проплакал две ночи, когда узнал о ее смерти...

Он тревожно оглянулся на дверь, наклонился к Юлиану и проговорил ему на ухо: - С того дня я на все махнул рукой... Она одна могла бы еще спасти меня. Брат, это была удивительная женщина. Нет, ты не знаешь, Юлиан, что это была за женщина!

Без нее я погиб... Я не могу - я ничего не умею - руки опускаются. Они делают со мной, что хотят.

Он осушил одним глотком кубок цельного вина.

Юлиан вспомнил о Константине, уже немолодой вдове, сестре Констанция, которая была злым гением брата, о бесчисленных глупых преступлениях, которые она заставляла его совершать, иногда из-за дорогой безделушки. из-за обещанного ожерелья - и спросил, желая угадать, какая власть подчиняла его этой женщине: - Она была красива?

- Да разве ты ее никогда не видал? - Нет, некрасива, даже совсем некрасива. Смуглая, рябая, маленького роста; скверные зубы; она, впрочем, избегала смеяться. Говорили, что она мне изменяет - по ночам, будто бы, переодетая, как Мессалина, бежит в конюшню ипподрома молодым конюхам. А мне что за дело? Разве я не изменял ей? Она не мешала мне жить, и я ей не мешал. Говорят, она была жестокой.- Да, она умела царствовать, Юлиан. Она не любила сочинителей уличных стишков, в которых, бывало, мерзавцы упрекали ее за дурное воспитание, сравнивали с переодетой кухонной рабыней. Она умела мстить. Но какой ум, какой ум, Юлиан! Мне было за ней спокойно, как за каменной стеной. Ну, уж мы зато и пошалили, повеселились - всласть!..

Улыбаясь от приятных воспоминаний, он тихонько провел кончиком языка по губам, еще мокрым от вина.

- Да, можно сказать, пошалили¹ - заключил он небез гордости.

Юлиан, когда шел на свидание, думал пробудить в брате раскаяние, приготавливал в уме речь, во вкусе Либания, о добродетелях и доблестях гражданских. Он ожидал увидеть человека, гонимого бичом Немезиды; а перед ним было спокойное лицо молодого атлета. Слова замерли на устах Юлиана. Без отвращения и без злобы смотрел он на этого "доброго зверя"- так мысленно называл он брата - и думал, что читать ему нравоучения так же бессмысленно, как откормленному жеребцу.

Он только спросил шепотом, оглянувшись в свою очередь на дверь:

- Зачем ты едешь в Медиолан? - Или не знаешь?..

- Не говори. Знаю все. Но вернуться нельзя... Поздно...

Он указал на свою белую шею.

- Мертвая петля - понимаешь? Он ее потихоньку стягивает. Он из-под земли меня выкопает, Юлиан. И говорить не стоит. Кончено! Пошалили - и кончено.

- У тебя осталось два легиона в Антиохии?

- Ни одного. Он отнял у меня лучших солдат, малопомалу, исподволь, для моего же, видишь ли, собственного блага - все для моего блага? Как он заботится, как тоскует обо мне, как жаждет моих советов... Юлиан, это Страшный человек! Ты еще не знаешь и не дай тебе Богу знать, что это за человек. Он все видит, видит на пять локтей под землю. Он знает сокровеннейшие мысли мои-те, о которых изголовье постели моей не знает. Он видит и тебя насквозь. Я боюсь его, брат!..

- Бежать нельзя?

- Тише, тише!.. Что ты!..

Страх школьника выразился в ленивых чертах Галла.

- Нет, конечно! Я теперь, как рыба на удочке; он тащит потихоньку, так, чтобы леса не порвалась: ведь цезарь, какой ни на есть, все-таки довольно тяжел. Нознаю-с крючка не сорвись-рано или поздно вытащит!..

Вижу, как не видеть, что западня, и все-таки лезу в нее сам лезу от страха. Все эти шесть лет, да и раньше, с тех пор, как помню себя, я жил в страхе. Довольно! Погулял, пошалил и довольно.-Брат, он зарежет меня, как поваркуренка. Но раньше замучит хитростями, ласками. Ужлучше бы резал скорей!..

Вдруг глаза его вспыхнули.

- А ведь если бы она здесь была, сейчас, со мною, что ты думаешь, брат, ведь она спасла бы меня, наверноспасла бы! Вот почему говорю я - это была удивительная, необыкновенная женщина!..

Трибун Скудило, войдя в триклиний, с подобострастным поклоном объявил, что завтра, в честь прибытия цезаря, в ипподроме Константинополя назначены скачки, в которых будет участвовать знаменитый наездник Коракс.

Галл обрадовался, как ребенок. Велел приготовить лавровый венок, чтобы, в случае победы, собственноручно венчать перед народом любимца своего, Коракса. Начались рассказы о лошадях, о скачках, о ловкости наездников.

Галл много пил; от недавнего страха его не было следа;

он смеялся откровенным и легкомысленным смехом, как смеются здоровые люди, у которых совесть покойна.

Только в последнюю минуту прощания крепко обнял Юлиана и заплакал; голубые глаза его беспомощно заморгали.

- Дай тебе Бог, дай тебе Бог!..- бормотал он, впадая в чрезмерную чувствительность, может быть, от вина.Знаю, ты один меня любил - ты и Константина...

И шепнул Юлиану на ухо:

- Ты будешь счастливее, чем я: ты умеешь притворяться. Я всегда завидовал... Ну, дай тебе Бог!..

Юлиану стало жаль его. Он понимал, что брату уже "не сорваться с удочки" Констанция.

На следующий день, под тою же стражей, Галл выехал из Константинополя.

Недалеко от городских ворот встретился ему вновь назначенный в Армению квестор Тавр. Тавр, придворный выскочка, нагло посмотрел на цезаря и не поклонился.

Между тем от императора приходили письма записками.

С Адрианополя Галлу оставили только десять повозокгосударственной почты: всю поклажу и прислугу, заисключением двух-трех постельных и кравчих, надо былопокинуть.

Стояла глубокая осень. Дороги испортились от дождя, лившего целыми днями. Цезаря торопили; не давали емуни отдохнуть, ни выспаться; уже две недели как он некупался. Одним из величайших страданий было для негоэто непривычное чувство грязи: всю жизнь дорожил онсвоим здоровым, выхоленным телом; теперь с такой жегрустью смотрел на свои невычищенные, неотточенныеногти, как и на царственный пурпур хламиды, запачканной пылью и грязью больших дорог.

Скудило ни на минуту не покидал его. Галл имел причины бояться этого слишком внимательного спутника.

Трибун, только что приехав с поручением от императора к Антиохийскому двору, неосторожным выражениемили намеком оскорбил жену цезаря, Константину; ею овладел неожиданно один из тех припадков слепой, почти сумасшедшей ярости, которым она была подвержена. Говорили, будто бы Константина велела посланного от императора наказать плетьюми и бросить в темницу; иные, впрочем, отказывались верить, чтобы даже вспыльчивая супруга цезаря была способна на такое оскорбление величества в лице римского трибуна. Во всяком случае, Константина скоро одумалась и выпустила Скудило из темницы. Он явился опять ко двору цезаря, как ни в чем не бывало, пользуясь тем, что никто ничего наверное не знал; дажене написал доноса в Медиолан и молча проглотил обиду, по выражению своих завистников. Может быть, трибун боялся, что слухи о постыдном наказании повредят его придворной выслуге.

Во время путешествия Галла из Антиохии в МедиоланСкудило ехал в одной колеснице с цезарем, не отходил отнего ни на шаг, ухаживал раболепно, заигрывал, не оставляя его ни минуты в покое, и обращался, как с упрямым, больным ребенком, которого он, Скудило, так любит, что не имеет силы покинуть.

При опасных переездах через реки, на трясучих гатяхИллирийских болот, с нежною заботливостью крепко обхватывал стан цезаря рукою; и ежели тот делал попытку

освободиться-обхватывал еще крепче, еще нежнее, уверяя, что скорее согласится умереть, чем позволить, чтобы такая драгоценная жизнь подверглась малейшей опасности.

У трибуна был особенный задумчивый взгляд, которым с молчаливой и долгой улыбкой смотрел он сзади на белую, как у молодой девушки, мягкую шею Галла; цезарь чувствовал на себе этот взгляд, ему становилось неловко, и он оборачивался. В эти мгновения хотелось ему дотронуться до щеки ласковым трибуна; но бедный пленник скоро приходил в себя и только жалобным голосом просил остановиться, чтобы хоть немного перекусить; ел он и пил, несмотря ни на что, со своей обыкновенной жадностью.

В Норике встретили их еще два посланных от императора - комес Барбатион и Аподем, с когортой собственных солдат его величества.

Тогда личину сбросили: вокруг дворца Галла поставили стражу на ночь, как вокруг тюрьмы.

Вечером Барбатион, войдя к цезарю и не оказывая никаких знаков почтения, велел ему снять цезарскую хламиду, облечься в простую тунику и палудаментум; Скудило при этом выказал усердие: так поспешно начал снимать Галла хламиду, что разорвал пурпур.

На следующее утро пленника усадили в почтовую деревянную повозку на двух колесах - карпенту, в которой ездили, по служебным надобностям, мелкие чиновники; у карпенты не было верха. Дул пронзительный ветер, падал мокрый снег. Скудило, по своему обыкновению, одной рукой обнял Галла, а другой начал трогать его новую одежду.

- Хорошая одежда, пушистая, теплая. По-моему, куда лучше пурпура. Пурпур не согреет. А у этой - подкладочка мягкая, шерстяная...

И, как будто для того, чтобы ощупать подкладку, запустил руку под одежду цезаря, потом в тунику и вдруг тихим вежливым смехом вытащил лезвие кинжала, который Галлу удалось спрятать в складках.

- Нехорошо, нехорошо,- заговорил Скудило с ласковой строгостью.- Можно как-нибудь порезаться нечаянно. Что за игрушки!

И бросил кинжал на дорогу.

Бесконечная истома и расслабление овладевали телом Галла. Он закрыл глаза и чувствовал, как Скудило обнимает его все с большей нежностью. Цезарю казалось, что он видит отвратительный сон.

Они остановились недалеко от крепости Пола, в Истрии, на берегу Адриатического моря. В этом самом городе, несколько лет назад, совершилось кровавое злодеяние убийство молодого героя, сына Константина Великого, Криспа.

Город, населенный солдатами, казался унылым захолустьем. Бесконечные казармы выстроены были в казенном вкусе времен Диоклитиана. На крышах лежал снег;

ветер завывал в пустых улицах; море шумело.

Галла отвезли в одну из казарм.

Посадили против окна, так что резкий зимний свет падал ему прямо в глаза. Самый опытный из сыщиков императора, Евсевий, маленький, сморщенный и любезный старичок, с тихим, вкрадчивым голосом, как у исповедника, то и дело потирая руки от холода, начал допрос. Галл чувствовал смертельную усталость; он говорил все, что

Евсевию было угодно; но при слове "государственная измена" побледнел и вскочил:

- Не я, не я! - залепетал он глупо и беспомощно. Это Константина, все - Константина... Без нее ничего бы я не сделал. Она требовала казни Феофила, Домитиана, Клематия, Монтия и других. Видит Бог, не я... Она мне ничего не говорила. Я даже не знал...

Евсевий смотрел на него с тихой усмешкой: - Хорошо, - проговорил он, - я так и донесу императору, что его собственная сестра Константина, супруга бывшего цезаря, виновата во всем. Допрос кончен. Уведите его, - приказал он legionерам.

Скоро получен был смертный приговор от императора Констанция, который счел за личную обиду обвинение покойной сестры своей во всех убийствах, совершенных в Антиохии.

Когда цезарю прочли приговор, он лишился чувств и упал на руки солдат. Несчастный до последней минуты надеялся на помилование. И теперь еще думал, что ему дадут, по крайней мере, несколько дней, несколько часов на приготовления к смерти. Но ходили слухи, что

солдаты фиванского легиона волнуются и замышляют освобождение Галла. Его повели тотчас на казнь.

Было раннее утро. Ночью выпал снег и покрыл черную липкую грязь. Холодное, мертвое солнце озаряло снег; ослепительный отблеск падал на ярко-белые штукатуренные стены большой залы в казармах, куда привезли Галла.

Солдатам не доверяли: они почти все любили и жалели его. Палачом выбрали мясника, которому случилось на площади Пола казнить истрийских воров и разбойников.

Варвар не умел обращаться с римским мечом и принес широкий топор, вроде двуострой секиры, которым привыкна бойне резать свиней и баранов. Лицо у мясника было тупое, красивое и заспанное; родом он был славянин. От него скрыли, что осужденный — цезарь, и палач думал, что ему придется казнить вора.

Галл перед смертью сделался кротким и спокойным. Он позволял с собою делать все, что угодно, с бессмысленной улыбкой; ему казалось, что он маленький ребенок: в детстве он тоже плакал и сопротивлялся, когда его насильно сажали в теплую ванну и мыли, а потом, покорившись, находил, что это приятно.

Но, увидев, как мясник, с тихим звоном водит широким лезвием топора, взад и вперед, по мокрому точильному камню, задрожал всеми членами.

Его отвели в соседнюю комнату; там цирюльник тщательно, до самой кожи, обрил его мягкие золотистые кудри, красу и гордость молодого цезаря. Возвращаясь из комнаты цирюльника, он остался на мгновение с глазу на глаз с трибуном Скудило. Цезарь неожиданно упал к ногам своего злейшего врага.

- Спаси меня, Скудило! Я знаю, ты можешь! Сегодня ночью я получил письмо от солдат фиванского легиона.

Дай мне сказать им слово: они освободят меня. В сокровищнице Мизийского храма лежат моих собственных тридцать талантов. Никто не знает. Я тебе дам. И, еще большее дам. Солдаты любят меня... Я сделаю тебя своим Другом, своим братом, соправителем, цезарем!..

Он обнял его колени, обезумев от надежды. И вдруг Скудило, вздрогнув, почувствовал, как цезарь прикасается губами к его руке.

Трибун ни слова не ответил, неторопливо отнял руку и посмотрел ему в лицо с улыбкой.

Галлу велели снять одежду. Он не хотел развязать сандалии: ноги были грязные. Когда он остался почти голым, мясник начал привязывать ему руки веревкой за спину, как он это привык делать ворам. Скудило бросился помогать. Но, когда Галл почувствовал прикосновение пальцев его, им овладело бешенство: он вырвался из рук палача, схватил трибуна за горло обеими руками и стал душить его; голый, высокий, он был похож на молодого, сильного и страшного зверя. К нему подбежали сзади, оттащили его от трибуна, связали ему руки и ноги.

В это время внизу, на дворе казарм, раздались крики солдат фиванского легиона: "Да здравствует цезарь Галл!"

Убийцы торопились. Принесли большой деревянный обрубок или колоду, вроде плахи. Галла поставили на колени. Барбатион, Байнобаудес, Аподем держали его за руки, за ноги, за плечи. Голову пригнул к деревянной колоде Скудило. С улыбкой сладострастия на бледных губах, он сильно, обеими руками упирался в эту беспомощно сопротивлявшуюся голову, чувствовал пальцами, похолодевшими от наслаждения, гладкую, только что выбритую кожу, еще влажную от мыла цирюльника, смотрел с восторгом на белую, как у молодых девушек, жирную, мягкую шею.

Мясник был неискусный палач. Опустив топор, он едва коснулся шеи, но удар был не верен. Тогда он во второй раз поднял секиру, закричав Скудило:

- Не так! Правее! Держи правее голову!

Галл затрясся и завыл от ужаса протяжным, нечеловеческим голосом, как бык на бойне, которого не сумели убить с одного удара.

Все ближе и явственней раздавались крики солдат: - Да здравствует цезарь Галл!

Мясник высоко поднял топор и ударил. Горячая кровь брызнула на руки Скудило. Голова упала и ударилась о каменный пол.

В это мгновение легионеры ворвались.

Барбатион, Аподем и трибун щитоносцев бросились к другому выходу.

Палач остался в недоумении. Но Скудило успел шепнуть ему, чтобы он унес голову казненного цезаря: легионеры не узнают, кому принадлежит обезглавленный труп, а иначе они могут их всех растерзать.

- Так это не вор? - пробормотал удивленный палач.

Не за что было ухватить гладко выбритую голову.

Мясник сначала сунул ее под мышку. Но это показалось неудобным. Тогда воткнул он ей в рот палец, зацепили так понес ту голову, чье мановение заставляло некогда склоняться столько человеческих голов.

Юлиан, узнав о смерти брата, подумал: "Теперь очередь за мною".

В Афинах Юлиан должен был принять ангельский чин - постричься в монахи.

Было весеннее утро. Солнце еще не всходило. Он простоял в церкви заутреню и прямо от службы пошел за несколько стадий, по течению заросшего платанами и диким виноградом Иллиса.

Он любил это уединенное место вблизи Афин, на самом берегу потока, тихо шелестевшего, как шелк, по кремнистому дну. Отсюда видны были сквозь туман красноватые выжженные скалы Акрополя и очертания Парфенона, едва тронутого светом зари.

Юлиан, сняв обувь, босыми ногами вошел в мелкие воды Иллиса. Пахло распускающимися цветами винограда; в этом запахе уже было предвкушение вина - так в первых мечтах детства - предчувствие любви.

Он сел на корни платана, не вынимая ног из воды, открыл Федра и стал читать.

Сократ говорит Федру в диалоге:

"Повернем в ту сторону, пойдем по течению Иллиса.

Мы выберем уединенное место, чтобы сесть. Не кажется ли тебе, Федр, что здесь воздух особенно нежен и душист, и что в самом пении цикад есть что-то сладостное, напоминающее лето. Но что больше всего мне здесь нравится, это высокие травы".

Юлиан оглянулся: все было по-прежнему - как восемь веков назад; цикады начинали свои песни в траве.

"Этой земли касались ноги Сократа",- подумал он и, спрятав голову в густые травы, поцеловал землю.

- Здравствуй, Юлиан! Ты выбрал славное место для чщения. Можно присесть?

- Садись. Я рад. Поэты не нарушают уединения.

Юлиан взглянул на худенького человека в непомерно длинном плаще, стихотворца Публия Оптатиана Порфирия и, невольно улыбнувшись, подумал: он так мал, бескровен и тощ, что можно поверить, будто бы скоро из человека превратится в цикаду, как рассказывается в мифе Платона о поэтах.

Публий умел, подобно цикадам, жить почти без пищи, но не получил от богов способности не чувствовать голода и жажды: лицо его, землистого цвета, давно уже не бритое, и бескровны губы сохраняли отпечаток голодного уныния.

- Отчего это, Публий, у тебя такой длинный плащ? спросил Юлиан.

- Чужой,- ответил поэт с философским равнодушием,- то есть, пожалуй, и мой, да на время. Я, видишь ли, нанимаю комнату пополам с юношей Гефестионом, изучающим в Афинах красноречие: он будет когда-нибудь превосходным адвокатом; пока-беден, как я, беден, как лирический поэт - этим все сказано! Мы заложили платье, посуду, даже чернильницу. Остался один плащ на двоих.

Утром я выхожу, а Гефестион изучает Демосфена; вечером он одевает хламиду, а я дома сочиняю стихи. К сожалению, Гефестион высокого, я низенького роста. Но делать нечего: я хожу "длинноодежный", подобно древним троянкам.

Публий Оптатиан рассмеялся, и землистое лицо его напомнило лицо развеселившегося похоронного плакальщика.

- Видишь ли, Юлиан,- продолжал поэт,- я надеюсь на смерть богатейшей вдовы римского откупщика: счастливые наследники закажут мне эпитафию и щедро заплатят. К сожалению, вдова упрямая и здоровая: несмотря на усилия докторов и наследников, не хочет умирать. А тоя давно купил бы себе плащ.- Послушай, Юлиан, пойдем сейчас со мною.

- Куда?

- Доверься мне. Ты будешь благодарен...

- Что за тайны?

; - Не ленись, не спрашивай, вставай и пойдем. Поэт не делает зла другу поэтов. Увидишь богиню...

- Какую богиню!
- Артемиду Охотницу.
- Картину? Статую?
- Лучше картины и статуи. Если любишь красоту, бери плащ и следуй за мной!

У стихотворца был такой забавно-таинственный вид, что Юлиан почувствовал любопытство, встал, оделся и пошел за ним.

- Условие - ничего не говорить, не удивляться. А то очарование исчезнет. Во имя Каллиопы и Эрато, доверься мне!.. Здесь два шага. Чтобы не было скучно по пути, я прочту начало эпитафии моей откупщице.

Они вышли на пыльную дорогу. В первых лучах солнца медный щит Афины Промахос сверкал над розовевшим Акрополем; конец ее тонкого копья теплился, как зажженная свеча, в небе.

Цикады вдоль каменных оград, за которыми журчали воды под кущами фиговых деревьев, пели пронзительно, как будто соперничая с охрипшим, но вдохновенным голосом поэта, читавшего стихи.

Публий Оптатиан Порфирий был человек, не лишенный дарования; но жизнь его сложилась очень странно.

Несколько лет назад имел он хорошенький домик, "настоящий храм Гермеса", в Константинополе, недалеко от Халкедонского предместья; отец торговал оливковым маслом. Он оставил ему небольшое состояние, которое позволило бы Оптатиану жить безбедно. Но кровь в нем кипела. Поклонник древнего эллинства, он возмущался тем, что называл торжеством христианского рабства. Однажды написал он вольнолюбивое стихотворение, не понравившееся императору Констанцию. Констанций счел бы стихи завздор; но в них был намек на особу императора; этого он простить не мог. Кара обрушилась на сочинителя: домик его и все имущество забрали в казну, самого сослали на далекий островок Архипелага. На островке не было ничего, кроме скал, коз и лихорадок. Оптатиан не вынес испытания, проклял мечты о древней римской свободе и решился во что бы то ни стало загладить грех.

В бессонные ночи, томимый лихорадкой, написал он на своем острове поэму в прославление императора центонами из Вергилия: отдельные стихи древнего поэта соединялись так, что выходило

новое произведение. Этот головоломный фокус понравился при дворе: Опатриан угадал дух века.

Тогда приступил он к еще более удивительным фокусам: написал дифирамб Констанцию стихами различной длины, так что строки образовали целые фигуры, например многоугольную пастушью флейту, водяной орган, жертвенник, причем дым изображен был в виде нескольких неравных коротеньких строчек над алтарем. Чудом ловкости были четырехугольные поэмы, состоявшие из 20 или 40 гекзаметров; некоторые буквы выводились красными чернилами; при соединении, красные буквы, внутри четырехугольников, изображали то монограмму Христа, то цветок, то хитрый узор, причем выходили новые строки, с новыми поздравлениями; наконец, последние четыре гекзаметра в книге могли читаться на 18 различных ладов, с конца, с начала, с середины, сбоку, сверху, снизу и так далее: как ни читай - все выходила похвала императору.

Бедный сочинитель едва не сошел с ума от этой работы. Зато победа была полная. Констанций пришел в восторг; ему казалось, что Опатриан затмил поэтов древности. Император собственноручно написал ему письмо, уверяя, что всегда готов покровительствовать Музам. "В наш век,- заключал он не без пышности,- за всяким, кто пишет стихи, мое благосклонное внимание следует, как тихое веяние зефиров". Впрочем, поэту не возвратили имущества, дали только немного денег, позволив уехать с проклятого острова и поселиться в Афинах.

Здесь он вел невеселую жизнь: помощник младшего конюха в цирке жил в сравнении с ним роскошно. Поэту приходилось сторожить по целым дням в передних тщеславных вельмож, вместе с гробовщиками, торговцами евреями и устроителями свадебных шествий, чтобы получить заказ на эпитафаму, эпитафию или любовное послание. Платили гроши. Но Порфирий не унывал, надеясь, что когда-нибудь поднесет императору такой фокус, что его простят окончательно.

Юлиан чувствовал, что, несмотря на все унижение Порфирия, любовь к Элладе не потухала в нем. Он был тонким ценителем древней поэзии. Юлиан охотно беседовал с ним.

Они свернули с большой дороги и подошли к высокой каменной стене палестры.

Кругом было пустынно. Два черных ягненка щипали траву. У запертых ворот, где из щелей крылечных ступеней росли маки и одуванчики, стояла колесница, запряженная двумя белыми конями; гривы у них были стриженные, как у лошадей на изваяниях.

За ними присматривал раб, старичок с яйцевидной лысой головой, едва подернутой седым пухом. Старичок оказался глухонемым, но любезным. Он узнал Опатиана и ласково закивал ему головой, указывая на запертые ворота палестры.

- Дай кошелек на минуту,- сказал Опатиан спутнику.- Я возьму динарий или два на вино этому старому шуту.

Он бросил монету, и с раболепными ужимками и мычанием немой открыл перед ними дверь.

Они вошли в полутемный длинный перестиль.

Между колоннами виднелись ксисты - крытые ходы, предназначенные для упражнения атлетов; на ксистах не было песка: они поросли травой. Друзья вступили в широкий внутренний двор.

Любопытство Юлиана было возбуждено всей этой таинственностью. Опатиан вел его за руку молча.

Во второй двор выходили двери экаэдр- крытых мраморных покоев, служивших некогда аудиториями для афинских мудрецов и ораторов. Полевые цикады стрекотали там, где раздавались речи славных мужей; над сочными, как будто могильными, травами реяли пчелы; было грустно и тихо. Вдруг откуда-то послышался женский голос, удар, должно быть, медного диска по мрамору, смех.

Подкравшись, как воры, спрятались они в полумраке между колоннами, в отделении элеофезион, где древние борцы, во время состязаний, умащались елеем.

Из-за колонн виднелась продолговатая четырехугольная площадь, под открытым небом, предназначавшаяся для игры в мяч и метания диска; она была усыпана, должно быть недавно, свежим ровным песком.

Юлиан взглянул и отступил.

В двадцати шагах стояла молодая девушка, совершенно голая. Она держала медный диск в руке.

Юлиан сделал быстрое движение, чтобы уйти, но в глазах Оптатиана, в его бледном лице было столько благоговения, что Юлиан понял, зачем поклонник Эллады привел его сюда; почувствовал, что ни одной грешной мысли не могло родиться в душе поэта: восторг его был свят. Оптатиан прошептал на ухо спутнику, крепко схватив его за руку:

- Юлиан, мы теперь в древней Лаконии, девять веков назад. Ты помнишь стихи Пропорция Лудиласонум Спартанские игры (лат.).

И он зашептал ему чуть слышным вдохновенным шепотом:

Multa ttiae, Sparte, miramur jura palestrae.

Sed mage virginei tot bona gymnasii;

Quod non infames exerceret corpore ludos Inter luctantes nuda puella viros.

"Спарта, дивимся мы многим законам твоих гимнастических игр, но более всех - девственной палестре: ибо твои нагие девы, среди мужей-борцов, предаются не бесславным играм".

- Кто это? - спросил Юлиан.

- Не знаю, я не хотел узнавать...

- Хорошо. Молчи.

Теперь он смотрел прямо и жадно на метательницу диска, уже не стыдясь и чувствуя, что не должно, не мудро стыдиться.

Она отступила на несколько шагов, наклонилась и, выставив левую ногу, закинув правую руку с диском, сильным движением размахнулась и так высоко подбросила медный круг, что он засверкал на восходящем солнце и, падая, звонко ударился о подножие дальней колонны, Юлиану казалось, что перед ним - древний Фидиес мрамор.

- Лучший удар! - сказала двенадцатилетняя девочка в блестящей тунике, стоявшая у колонны.

- Мирра, дай диск, - проговорила метательница. Я могу выше, увидишь! Мероэ, отойди, а то я раню тебя, как Аполлон Гиацинта.

Мероэ, старая рабыня-египтянка, судя по пестрой одежде и смуглому лицу, приготавлила в алебастровых амфорах благовония для купальни. Юлиан понял, что не мойраб и колесница с белыми конями принадлежат этим любительницам древних игр.

Кончив метание диска, взяла она от бледной черноокой Мирры изогнутый лук, колчан и вынула длинную оперенную стрелу. Девушка метила в черный круг, служивший целью на противоположном конце вфебэона. Тетива зазвенела; стрела порхнула со свистом и ударилась в цель; потом - вторая, третья.

-- Артемиды-Охотницы! - прошептал Опаттиан.

Вдруг нежный розовый луч восходящего солнца, скользя между колоннами, упал в лицо и на невысокую, почти отроческую грудь девушки.

Отбросив стрелы и лук, ослепленная, закрыла она лицо руками.

- Ласточки с криком проносились над палестрой и тонули в небе.

Она открыла лицо, закинув руки над головой. Волосы ее на концах были бледно-золотые, как желтый мед на солнце, с более темным рыжеватым оттенком у корней;

Губы полуоткрылись с улыбкой детской радости; солнцескользило по голому телу ниже и ниже. Она стояла, чистая, облеченная светом как самую стыдливую из одежд.

- Мирра, задумчиво и медленно проговорила девушка, - посмотри, какое небо! Хотелось бы броситься в него и потонуть в нем с криком, как ласточки. Помнишь, мы говорили, что нельзя быть людям счастливыми, потому что у них нет крыльев? Когда смотришь на птиц, завидно... Надо быть легкой, совсем голой. Мирра, - вот, как я теперь, - и глубоко, глубоко в небе, и чувствовать, что это навсегда, что больше ничего не будет, не может быть, кроме неба и солнца - вокруг легкого, гологотела!..

Вся выпрямившись, протягивая руки к небу, она вздохнула, как вздыхают о том, что навеки утрачено.

Солнце опускалось ниже и ниже; но достигло ее бедер уже пламеневшей лаской. Тогда девушка вздрогнула, и ей сделалось стыдно, словно кто-то живой и страстный увидел ее наготу: она заслонила одной рукой грудь, другой чресла вечным, стыдливым движением, как Афродита Книдская.

- Мероэ, одежду, Мероэ! - вскрикнула она оглядываясь большими испуганными глазами.

Юлиан не помнил, как вышел из палестры; сердце его горело. Лицо у поэта было торжественное и грустное, как у человека, только

что вышедшего из храма.

- Ты не сердишься?- спросил он Юлиана.

- О, нет! За что?

- Может быть, для христианина искушение?.

- Искушения не было.

- Да, да. Я так и думал.

они вышли опять на пыльную, уже знойную дорожку и направились к Афинам.

Оптатиан продолжал тихо, как будто про себя: - О, какие мы теперь- стыдливые и уродливые! Мыбоимся угрюмой и жалкой наготы своей, прячем ее, потому что чувствуем себя нечистыми. А прежде! -Ведь всеэто когда-то было, Юлиан! Спартанские девушки выходилина палестру голые, гордые, перед всем народом. И никтоне боялся искушения. Чистые смотрели на чистых.

Они были, как дети, как боги.- И знать, что этого больше никогда не будет, не повторится на земле ата свобода и чистота, и радость жизни - никогда!

Он опустил голову на грудь и тяжело вздохнул. Они вышли на улицу Треножников. Недалеко от Акрополядрузья расстались молча.

Юлиан вошел в тень Пропилеи. Миновал Стоа Пойкилэ с картинами Парразия, изображавшими битвы Марафона и Саламина; потом мимо маленького храма Бескрылой Победы, приблизился к Парфенону.

Ему стоило только закрыть глаза, чтоб увидеть голоепрекрасное тело Артемиды-Охотницы; а когда он открывалих, мрамор Парфенона под солнцем казался живым и золотистым, как тело богини.

И перед всеми, презирая смерть, хотелось ему обнятьруками этот мрамор, согретый солнцем, и целовать его, как живое тело.

Недалеко от него стояли два молодых человека в темных одеждах, с бледными, строгими лицами,- Григорийиз Назианза и Василий из Цезареи. Эллыны боялись их, как самых сильных врагов; христиане надеялись, что двадруга будут великими учителями церкви. Они смотрелина Юлиана.

- Что с ним сегодня? -сказал Григорий.-Развеэто-монах? Какие движения! Как он закрывает глаза!

Какая улыбка! Неужели ты веришь в его благочестие, Василий?

- Я видел сам: он молился в церкви, плакал...
- Лицемерие!
- Зачем же он ходит к нам, ищет нашей Дружбы, толкует Писание?..
- Смеется или хочет соблазнить. Не верь ему! это Искушитель.
Помни, брат мой. Римская империя питает в сем юноше великое зло.
Это - Враг!

Друзья пошли рядом, опустив глаза. Их не пленяли ни строгие девы-кариатиды Эрехтейона, ни смеющийся в лазури белый храм Никэ Аптеры, ни Пропилеи, ни Парфенон. Лица их были угрюмы. Они желали одного - разрушить все эти капища демонов.

Солнце бросало от монахов - Григория Назианзинина и Василия Цезарейского две длинные черные тени на белый мрамор.

"Я хочу ее видеть,- думал Юлиан,- я должен знать, кто она!"

- Боги для того послали смертных в мир, чтобы они говорили красиво.

- Чудесно! Чудесно сказано, Мамертин! Повтори, пока не забыл: я запишу,- просил модного афинского адвоката Мамертина друг и благоговейный поклонник его, учитель красноречия Лампридий. Он вынул двусторчатые восковые дощечки из кармана и заостренную стальную палочку, приготавливаясь писать.

- Я говорю,- начал опять Мамертин, с жеманной улыбкой оглядывая собеседников, возлежавших за ужином,- я говорю: люди посланы богами.

- Нет, нет, ты не так сказал, Мамертин,- перебил его Лампридий,- ты сказал гораздо лучше: боги послали смертных.

- Ну да, я сказал: боги послали смертных в мир только для того, чтобы они красиво говорили.

- Ты теперь прибавил "только", и вышло еще лучше: - "Только для того..."

И Лампридий с благоговением записал слова адвоката, как изречение оракула.

Это был дружеский ужин, который давал недалеко от Пирея, на вилле своей молодой и богатой воспитанницы Арсиной, римский сенатор Гортензий.

Мамертин в тот самый день произнес знаменитую речь в защиту банкира Варнавы. Никто не сомневался, что жид Варнава - плут. Но, не

говоря уже о красноречии адвоката, он обладал таким голосом, что одна из бесчисленных влюбленных в него поклонниц уверяла: "Я никогда не слушаю слов Мамертина; мне не нужно знать, что и кому он говорит; я упиваюсь только звуком голоса; особенно, когда он замирает на конце слов,- что-то невероятное; не голос человека, а божественный нектар, вздохи эоловой арфы!"

Хотя простые грубые люди называли ростовщика Варнаву "кровопийцей, поедающим имущества вдов и сирот", афинские судьи с восторгом оправдали мамертинова клиента. Адвокат получил от еврея пятьдесят тысяч сестерций и за маленьким праздником, который давался в честь его Гортензией, был в ударе. Но он имел привычку притворяться больным, требуя, чтобы его непрестанно лелеяли.

- Ах, я так устал сегодня, друзья мои,- проговорил он жалобным голосом.- Совсем болен. Где же Арсиноя?

- Сейчас придет. Арсиноя только что получила из музея Александрийского новый физический прибор: она им очень занята. Но я велю позвать,- предложил Гортензий.

- Нет, не надо,- проговорил адвокат небрежно. Не надо. Но какой вздор! Молодая девушка - и физика!

Что может быть общего? Еще Аристофан и Еврипид смеялись над учеными женщинами. И поделом! Прихотница твоя Арсиноя, Гортензий! Если бы она не была так хороша, право, со своим ваянием и математикой, она казалась бы...

Он не закончил и оглянулся на открытое окно.

- Что же делать? - отвечал Гортензий.- Балованный ребенок. Сирота - ни отца, ни матери. Я ведь только опекун и не хочу стеснять ее ни в чем.

- Да, да...

Адвокат уже не слушал.

- Друзья мои, чувствую...

- Что такое? - проговорило несколько голосов озабоченно.

- Чувствую... мне кажется, сквозняк!..

- Хочешь, затворим ставни? - предложил хозяин.

- Нет, не надо. Будет душно. Но я так утомил свое горло. Послезавтра у меня опять защита. Дайте нагрудник и коврик под

ноги. Я боюсь, что охрипну от ночной свежести.

Гефестион, молодой человек, тот самый, который жил с поэтом Опаттианом, ученик Лампридия и сам Лампридий бросились со всех ног, чтобы подать Мамертину нагрудник.

Это был красиво вышитый кусок пушистой белой шерсти, с которым адвокат никогда не разлучался, чтобы, прималейшей опасности простуды, обертывать им свое драгоценное горло.

Мамертин ухаживал за собою, как любовник за избалованной женщиной. Все к этому привыкли. Он любил себя так простодушно и нежно, что и других людей заставлял любить себя.

- Нагрудник этот вышивала мне матрона Фабиола, - сообщил он с улыбкой.

- Жена сенатора? - спросил Гортензий.

- Да. Я расскажу вам про нее анекдот. Однажды написал я небольшое письмецо - правда, довольно изящное, но, конечно, пустяк, пять строк по-гречески-другой даме, тоже моей поклоннице, которая прислала мне корзину

с вишнями: благодарил шутливо, подражая слогу Плиния.

Представьте же себе, друзья мои: Фабиоле так захотелось скорее прочесть мое письмо и переписать в свое собрание знаменитых писем, что она отправила двух рабов на дорожку дорожить моего посланного. И вот нападают на него ночью в диком ущелье: он думает - разбойники, но ему не делают никакого зла, дают денег, отнимают письмо, - и Фабиола прочла таки первая и даже выучила его наизусть!

- Как же, знаю, знаю! О, это - замечательная женщина, - подхватил Лампридий. - Я видел сам, все твои письма лежат у нее в резной шкатулке из лимонного дерева, как настоящие драгоценности. Она учит их наизусть и уверяет, что они лучше всяких стихов. Фабиола рассуждает справедливо: "Если Александр Великий хранил поэмы Гомера в кедровом ящике, почему же я не могу хранить письма Мамертина в лимонной шкатулке?"

- Друзья мои, эта гусяная печенка под шафранным соусом - чудо совершенства! Советую попробовать. Кто ее готовил. Гортензий?

- Старший повар, Дедал.

- Слава Дедалу! Твой повар - истинный поэт.

- Любезный Гаргилиан, можно ли назвать повара поэтом? - усомнился учитель красноречия.- Не оскорбляешь ли ты этим божественных Муз, наших покровительниц?

- Музы должны быть польщены, Лампридий. Я полагаю, что гастрономия такое же искусство, как всякое другое. Пора оставить предрассудки!

Гаргилиан, римский чиновник из канцелярии префекта, был тучный, упитанный человек, с тройным кадыком, тщательно выбритым и надушенным, с коротко стриженными седыми волосами, сквозь которые просвечивали багровые складки жира, с умным лицом. Он считался уже много лет необходимым участником всех изящных собраний в Афинах. Гаргилиан любил в жизни только две вещи: хороший стол и хороший стиль. Гастрономия и поэзия сливались для него в одно наслаждение.

- Положим, я беру устрицу,- говорил он, поднося корту раковину своими жирными пальцами, покрытыми громадными аметистами и рубинами.

- Я беру устрицу и глотаю...

Он проглотил, зажмурив глаза, и слегка прищелкнул верхней губой; у губы этой было особенное, лакомое выражение: выдающаяся вперед, заостренная, изогнутая, казалась она чем-то вроде маленького хоботка; оценивая звучный стих Анакреона или Мосха, шевелил он ею так жесладострастно, как за ужином, когда наслаждался соусом из соловьиных язычков.

- Глотаю и сейчас же чувствую,- продолжал Гаргилиан, не торопясь, глубоко мысленно,- чувствую, устрица с берегов Британии, да, а отнюдь, друзья мои, не остийская и не тарентская. Хотите, я закрою глаза и сразу отличу, из какого именно моря устрица или рыба?

- При чем же тут поэзия? - несколько нетерпеливо перебил его Мамертин, которому не нравилось, когда в его присутствии слушали другого.

- Представьте же себе, друзья мои,- продолжал гастроном невозмутимо,- что я давно уже не был на берегу океана и люблю его, и скучаю по нем. Могу вас уверить, у хорошей устрицы есть такой соленый, свежий запах моря, что достаточно проглотить ее, чтобы

вообразить себя на берегу океана; закрываю глаза и вижу волны, вижу скалы, чувствую веяние моря "туманного", по выражению Гомера. Нет, вы только скажите мне по совести, ну, какой стихиз "Одиссеи" пробудит во мне с такою ясностью воспоминание о море, как запах свежей устрицы? Или, положим, разрежаю персик, пробую благовонный сок. Отчего, скажите мне, запах фиалки и розы лучше вкуса персика? Поэты описывают формы, цвета, звуки. Почему вкус не может быть так же прекрасен, как цвет, звук или форма? Предвзвездок, друзья мои, предвзвездок! Вкус-величайший и еще не понятый дар богов. Соединение вкусов образует высокую и утонченную гармонию, как соединение звуков. Я утверждаю, что есть десятая Муза - Муза Гастрономии.

- Ну, персики, устрицы, куда ни шло,- возразил учитель красноречия.- Но какая может быть красота в гусиной печенке под шафранным соусом?

- А для тебя ведь есть красота, Лампридий, не только в идиллиях Феокрита, но и в комедиях Плавта, в самых грубых площадных шутках его рабов?

- Есть, пожалуй.

- Видишь, друг мой; ну, а для меня есть красота и в гусиной печенке: воистину, готов я венчать за нее повара Дедала лавровым венком так же, как Пиндара за олимпийскую оду!

В дверях появились два новых гостя: то был Юлиани стихотворец Публий. Гортензий уступил Юлиану почетное место. Голодные глаза Публия загорелись при виде множества лакомых блюд. Поэт был в новой хламиде, которая приходилась ему впору. Должно быть, откупщица умерла и он получил деньги за эпитафию.

Беседа продолжалась.

Теперь учитель красноречия, Лампридий, рассказывал, как из любопытства зашел он однажды в Риме послушать христианского проповедника, говорившего "против языческих грамматиков". Грамматики,- уверял христианин,- почитают людей не за добродетель, а за хороший слог. Они думают, что менее преступно убить человека, чем произнести слово homo с неверным придыханием. Лампридий возмущался этими насмешками: он утверждал, что христианские проповедники так ненавидят хороший

слог риторов, потому что знают, что у них самих слог варварский; они губят древнее красноречие,- смешивают невежество с добродетелью; для них подозрителен всякий, кто умеет говорить. По мнению Лампридия, в тот день, когда погибнет красноречие,- погибнет Эллада и Рим, люди превратятся в бессловесных животных. И христианские проповедники сделают все, чтобы довести людей до такого бедствия.

- Кто знает? - заметил Мамертин в раздумьи.- Может быть, хороший слог важнее добродетели. Добродетельными бывают и рабы, и варвары.

Гефестион объяснял соседу своему, Юнию Маврику, что именно значит совет Цицерона: *causam mendaciunculissperger*.

- *Mendaciunculis* значит "маленькие лжи". Цицерон дозволяет и даже советует усеивать речь выдумками, *medaciunculis*. Он допускает ложь, если она украшает слог.

Тогда начался спор о том, как следует оратору начинать свою речь, с анапеста или с дактиля.

Юлиану было скучно.

Все обратились к нему, спрашивая его мнения относительно дактилей и анапестов.

Он откровенно признался, что об этом никогда не думал и полагает, что оратору следует более заботиться о содержании речи, чем о таких мелочах.

Мамертин, Лампридий, Гефестион вознегодовали: по их мнению, содержание речи безразлично; оратору должно быть все равно, говорить за или против; не только смысла имеет мало значения, но даже сочетание слов - второстепенное дело, главное - звуки, музыка речи, новые сладкогласные сочетания букв; надо, чтобы и варвар, который ни слова не понимает по-гречески, чувствовал прелесть речи.

- Вот два стиха Проперция,- сказал Гаргилиан,- вы увидите, что значат звуки в поэзии и как ничтожен смысл.

Слушайте: *Et Veneris dominae volucres, mea turba, columbae Tinguunt gorgoneo punica rostra lacu.*

венеры владычицы голуби, милая стая, Мочат в Горгонском ключе тут же свой пурпурный клюв.

Пропорций. Элегии, 3-я элегия.

Перевод с лат. А. А. Фета.

Какое очарование! Какое пение! Что мне за дело до смысла? Вся красота - в звуках, в подборе гласных и согласных. За эти звуки я отдал бы добродетель Ювенала, мудрость Лукреция. Нет, вы только обратите внимание, какая сладость, какое журчание: *Et Veneris dominae volucres, mea turba, columbae!*

И он причмокнул верхней губой от удовольствия.

Все повторяли два стиха Пропервдя, не могли насытиться их прелестью. Глаза у них загорелись. Они друг друга возбуждали к словесной оргии.

- Вы только послушайте,-шептал Мамертин своим мягким, замирающим голосом, похожим на Эолову арфу: *Tinguunt Gorgoneo*.

- *Tinguunt Gorgoneo!*-повторял чиновник префекта.-Клянусь Палладой, самому небу приятно: точно глотаешь струю густого, теплого вина, смешанного с аттическим медом: *Tinguunt Gorgoneo*

- Заметьте, сколько подряд букв *g*,- это воркование горлицы. И дальше: *punica rostra laci*

- Удивительно, неподражаемо! - шептал Лампридий, закрывая глаза от наслаждения.

Юлиану было совестно и вместе с тем забавно смотреть на это сладострастное опьянение звуками.

- Надо, чтобы слова были слегка бессмысленны,-заклучил Лампридий с важностью,-чтобы они текли, журчали, пели, не задевая ни слуха, ни сердца,- тогда только возможно полное наслаждение звуками.

В дверях, на которые все время смотрел Юлиан, словно ожидая кого-то,- неслышно, никем не замеченный, появился, как тень, белый и стройный человеческий облик.

Ставни были широко открыты; в комнату падал чистый лунный свет и смешивался с красным отблеском светильников на мозаике пола, блестевшего, как зеркало, на стенах живописью, изображавшей сонного Эндимиона под лаской Луны.

Белое видение не двигалось, как изваяние; Древнеафинский пеплум из мягкой серебристой шерсти падал длинными прямыми складками, удержанный под грудью тонким поясом; лунный свет

озарял пеплум; лицо оставалось в полумраке. Вошедшая смотрела на Юлиана; Юлиан смотрел на нее. Они улыбались друг другу, зная, что эта улыбка не замечена никем. Она положила палец на губы и прислушивалась к тому, что говорили за столом.

Вдруг Мамертин, который оживленно рассуждал с Лампридием о грамматических отличиях первого и второго аориста, воскликнул:

- Арсиноя! Наконец-то! Ты решилась для нас покинуть физический прибор и статуи?

Она вошла и с простою улыбкой приветствовала всех.

Это была та самая метательница диска, которую, месяц назад, Юлиан видел в покинутой палестре. Стихотворец Публий Оптатин, знавший все и всех в Афинах, познакомился с Гортенziem и Арсиноей и ввел Юлиана в их дом.

Отец Арсинои, старый римский сенатор Гельвидий Приск умер в последние годы царствования Константина Великого. Двух дочерей от одной германской пленницы, Арсиною и Мирру, Гельвидий, умирая, оставил на попечение старому другу Квинту Гортензию, уважаемому им за любовь к древнему Риму и ненависть к христианству.

Дальний родственник Арсинои, обладатель огромных заводов пурпура в Сидоне, завещал ей несметные богатства.

Ее окружала толпа поклонников. По тому, как она одевалась, причесывалась, держала себя с безукоризненной простотой, можно было принять ее за настоящую гречанку, каких оставалось уже немного. Но в неправильных чертах ее лица видна была новая северная кровь.

Одно время Арсиноя увлекалась науками, работала в Александрийском музее у знаменитых ученых; ее пленяла физика Эпикура, Демокрита, Лукреция; ей нравилось это учение, освобождавшее душу "от страха богов". Потом с такой же почти болезненной и торопливой страстью отдалась она ваянию. В Афины приехала, чтобы изучать лучшие древние образцы Фидия, Скопаса и Праксителя.

- А вы все о грамматике? - с усмешкой обратилась дочка Гельвидия Приска к собеседникам, входя в залу. - Нестесняйтесь, продолжайте. Я не буду спорить - хочу есть.

Целый день работала. Мальчик, налей вина!

- Друзья мои,- продолжала Арсиноя,- вы несчастные люди со всеми вашими цитатами Демосфена, правилами Квинтилиана. Берегитесь: красноречие погубит вас.

Хотелось бы мне увидеть, наконец, человека, которому дела нет до Гомера и Цицерона, который говорит, не думая о придыханиях и аористах. Юлиан, пойдем после ужина к морю: я сегодня не могу слушать споров о дактилях и анапестах...

- Ты угадала мою мысль, Арсиноя,- пробормотал Гаргилиан, злоупотребивший гусиной печенкой под шафранным соусом: почти всегда к самому концу ужина вместе с тяжестью в желудке чувствовал он возмущение против словесности.

- *Litterarum intemperantia laboramus*, как выразился учитель Нерона, хитрый Сенека. Да, да, вот наше горе!

Мы страдаем от словесной невожатности. Мы сами себя отравляем...

И впадая в задумчивость, он вынул зубочистку мастикового дерева. На жирном умном лице его выражались отвращение и скука.

Юлиан и Арсиноя спустились по кипарисовой аллее к морю. Серебряный лунный путь уходил до края неба.

Слышался прибой о меловые глыбы побережья. Здесь была полукруглая скамья. Над нею Артемида-Охотница, в короткой тунике, с полумесяцем в кудрях, с луком и колчаном, с двумя остромордыми псами, казалась живой в лунном сиянии. Они сели.

Она указала ему на холм Акрополя, с едва белевшими столбами Парфенона, и возобновила разговор, который уже не раз бывал у них прежде:

- Посмотри, как хорошо! И ты хотел бы все это разрушить, Юлиан?

Не отвечая, он потупил взор.

- Я много думала о том, что ты мне говорил в прошлый раз,- о нашем смирении,- продолжала Арсиноя тихо, как будто про себя.- Был ли Александр, сын Филиппов, смиренным? А разве в нем нет добродетели?

Юлиан молчал.

- А Брут, Брут, убийца Юлия Цезаря? Если бы Брут представлял левую щеку, когда его ударяли по правой, думаешь ли ты, он был бы

прекраснее? Или считаете выбрута злодеем, галилеяне?-Отчего мне кажется порою, что ты лицемеришь, Юлиан, что эта темная одежда непристала тебе?..

Она вдруг обернула к нему свое лицо, озаренное луною, и посмотрела ему прямо в глаза пристальным взглядом.

- Чего ты хочешь, Арсиноя?-произнес он, бледнея.

- Хочу, чтобы ты был моим врагом! - воскликнула девушка страстно.-Ты не можешь так пройти, не сказав, кто ты. Знаешь, я иногда думаю: уж пусть бы лучше Афины и Рим лежали в развалинах; лучше сжечь труп, чем оставить непогребенным. А все эти друзья наши, грамматик, риторы, стихотворцы, сочинители панегириков императорам - тлеющий труп Эллады и Рима. Страшно с ними, как с мертвыми. О да, вы можете торжествовать, галилеяне! Скоро на земле ничего не останется, кроме мертвых костей и развалин. И ты, Юлиан... Нет, нет! Не может быть.

Я не верю, что ты с ними-против меня, против Эллады!..

Юлиан стоял перед нею, бледный и безмолвный. Он хотел уйти. Она схватила его за руку:

- Скажи, скажи, что ты мне враг! - проговорила она с вызовом и отчаянием в голосе.

- Арсиноя! Зачем?..

- Говори все! Я хочу знать. Разве ты не чувствуешь, как мы близки? Или ты боишься?..

- Через два дня я уезжаю из Афин,- прошептал Юлиан.- Прости...

- Из Афин? Зачем? Куда?

- Письмо от Констанция. Император вызывает меня ко двору, может быть, на смерть. Мне кажется, я вижу тебя в последний раз.

- Юлиан, ты не веришь в Него? - воскликнула Арсиноя, стараясь уловить взгляд монаха.

- Тише, тише! Что ты?..

Он встал со скамьи, отошел, ступая чуть слышно, оглянулся во все стороны, на дорожку, залитую лунным светом, на черные тени кустов, даже на море, как будто вездомогли скрываться доносчики. Потом вернулся и присел, все еще не успокоенный. Опираясь рукой на мрамор, наклонился к самому уху ее, так что она почувствовала его горячее дыхание, и зашептал быстрым шепотом, как в бреду:

- Да, да, еще бы я верил в Него!.. Слушай, девушка, я говорю теперь то, чего и сам не смел сказать себе никогда. Я ненавижу Галилеянина! Но я лгал с тех пор, как помню себя. Ложь проникла в душу мою, прилипла к ней, как эта черная одежда к телу моему: помнишь,- отравленная одежда кентавра Нисса. Геракл срывал ее с кусками кожи и тела, но не сорвал и задохся. Так и я задохнусь во лжи галилейской!..

Он выговаривал каждое слово с усилием. Арсиноя взглянула на него: лицо, искаженное страданием и ненавистью, показалось ей чуждым, почти страшным.

- Успокойся, друг,- молвила она.- Скажи мне все: я пойму тебя, как никто из людей.

- Хочу сказать и не умею,- усмехнулся он злобно. Слишком долго молчал. Видишь ли, Арсиноя, кто раз попался им в лапы-кончено! - так изуродуют смиренных мудрые, так приучат лгать и пресмыкаться, что уже невыпрямиться, не поднять ему головы никогда!..

Кровь бросилась в лицо его; на лбу выступили жилы;

и, стиснув зубы в бессильной ярости, он прошептал:

- Подлость, подлость, воистину галилейская подлость - ненавидеть врага своего, как я ненавижу Констанция,- и прощать, пресмыкаться у ног его по змеиному, по смиренному христианскому обычаю, выпрашивая милости: "еще годок, только один годок жизни худоумному рабу твоему, монаху Юлиану; потом-как тебе и скопцам, твоим советникам, угодно будет, боголюбивейший!" О, подлость!..

- Нет, Юлиан,- воскликнула Арсиноя,- если так, ты победишь!- Ложь-сила твоя. Помнишь, в басне Эзопа, осел в львиной шкуре? Здесь, наоборот, лев в шкуре осла, герой в одежде монаха!..

Она засмеялась:

- И как они испугаются, глупые, когда ты вдруг покажешь им свои львиные когти. Вот будет смех и ужас!..

Скажи, ты хочешь власти, Юлиан?

- Власти,- он всплеснул руками, упиваясь звуком этого слова, полной грудью вдыхая воздух:

- Власти! О, если бы один год, несколько месяцев, несколько дней власти,- научил бы я смиренных, ползучих и ядовитых тварей, именующих себя христианами, что значит мудрое слово их

собственного Учителя: кесарево-кесарю. Да, клянусь богом Солнца, воздали бы они у меня кесарево кесарю!

Он поднял голову; глаза сверкнули злобою; лицо озарилось, точно помолодело. Арсиноя смотрела на него улыбкой.

Но скоро голова Юлиана снова поникла. Пугливо озираясь, опустил он на скамью; невольным движением сложил руки крестообразно на груди, по обычаю монахов, и прошептал:

- Зачем обманывать себя? Никогда этого не будет.

Я погибну. Злоба задушит меня. Слушай: каждую ночь, после дня, проведенного на коленях в церкви, над гробами галилейских мертвецов, я возвращаюсь домой, разбитый, усталый, бросаюсь на постель, лицом в изголовье и рыдаю, рыдаю и грызу его, чтобы не кричать от боли и ярости.

О, ты не знаешь еще, Арсиноя, ужаса и смрада галилейского, в которых, вот уже двадцать лет, как я умираю и все не могу умереть, потому что, видишь ли, мы, христиане, живучи как змеи: рассекут надвое-срастаемся! Прежде я искал утешения в добродетели теургов и мудрецов.

Тщетно! Не добродетелен я и не мудр. Я - зол и хотел бы быть еще злее, быть сильным и страшным, как дьявол, единственный брат мой! - Но зачем, зачем я не могу забыть, что есть иное, что есть красота, зачем я увидел тебя!..

Внезапным движением, закинув прекрасные голые руки свои, Арсиноя обвила его шею, привлекла к себе так сильно, так близко, что он почувствовал сквозь одежды невинную свежесть тела ее, и прошептала:

- А что, если я пришла к тебе, юноша, как вещая сивилла, чтобы напророчить славу? Ты один живой среди мертвых. Ты силен. Какое мне дело, что у тебя не белые, лебединые, а страшные, черные крылья, - кривые, злые когти, как у хищных птиц? Я люблю всех отверженных, слышишь, Юлиан, я люблю одиноких и гордых орлов больше, чем белых лебедей. Только будь еще сильнее, еще злей!

Смей быть злым до конца. Лги, не стыдись: лучше лгать, чем смириться. Не бойся ненависти: это буйная сила крыльев твоих. Хочешь, заключим союз: ты дашь мне силу, я дам тебе красоту? Хочешь, Юлиан?..

Сквозь легкие складки древнего пеплума, теперь снова, как некогда в палестре, видел он стройные очертания голого тела Артемиды-Охотницы, и ему казалось, что все оно просвечивает, нежное и золотистое, сквозь тщедушную ткань.

Голова его закружилась. В лунном сумраке, окутавшем, он заметил, что к его губам приближаются дерзкие, смеющиеся губы.

В последний раз подумал:

- Надо уйти. Она не любит меня и никогда не полюбит, хочет только власти. Это обман...

- Но тотчас же прибавил с бессильной улыбкой: - Пусть, пусть обман!

И холод слишком чистого, неутраченного поцелуя проник до глубины его сердца, как холод смерти.

Ему казалось, что сама девственная Артемида, в прозрачном сумраке месяца, спустилась и лобзает его обманчивым лобзанием, подобным холодному свету луны.

На следующее утро оба друга - Василий из Назианаа, Григорий из Цезареи - встретили Юлиана в одной афинской базилике.

Он стоял на коленях перед иконой и молился. Друзья смотрели с удивлением: никогда еще не видели они в чертах его такого смирения, такой ясности.

- Брат,- шепнул Василий на ухо другу,- мы согрешили: осудили в сердце своем праведного.

Григорий покачал головой.

- Да простит мне Господь, если я ошибся,- произнес он медленно, не спуская пытливого взора с Юлиана, вспомни только, брат Василий, сколь часто в образе светлейших ангелов являлся людям сам сатана, отец лжи.

На подставки лампы, имевшей форму дельфина, положены были щипцы для подвигания волос. Пламя казалось бледным, потому что утренние лучи, ударявшие прямо в занавески, наполняли уборную густым, багрово-фиолетовым отблеском. Шелк занавесок был окрашен самым дорогим из всех родов пурпура - гиацинтовым, тирским, трижды крашенным.

- Ипостаси? Что такое божественные Ипостаси Троицы,- этого постигнуть не может никто из человеков. Я сегодня всю ночь не спал

и думал, ибо имею к тому превеликую страсть. Но ничего не придумал, только голова заболела. Отрок, дай сюда утиральник и мыло.

Это говорил человек важного вида, с митрой на голове, похожий на верховного жреца или азиатского владыку, старший брадобрей священной особы императора Констанция. Бритва в искусных руках его летала с волшебною легкостью. Цирюльник как будто совершал таинственный обряд.

По обеим сторонам, кроме Евсевия, сановника августейшей опочивальни, самого могущественного человека в империи, кроме бесчисленных постельников - кубикуляриев, с различными сосудами, притираниями, полотенцами и умывальниками, стояли два отрока-веероносца; во все время таинства брадобрития обвеивали они императора широкими тонкими опахалами в виде серебряных шестикрылых серафимов, сделанных наподобие тех рипид, кои мидьяконы отгоняют мух от Св. Даров во время литургии.

Цирюльник только что окончил правую щеку императора и принимался за левую, намылив ее тщательно мылом с аравийскими духами, называвшимися Афродитиной пеной. Он шептал, наклоняясь к самому уху Констанция, так, чтобы никто не мог слышать: - О, боголюбивейший государь, твой всеобъемлющий ум один только может решить, что такое три Ипостаси Отца, Сына и Духа Святого. Не слушай епископов. Не как им, а как тебе угодно! Афанасия, патриарха александрийского, должно казнить, как строптивого и богохульного мятежника. Сам Бог и создатель наш откроет твоей святыне, во что и как именно должно веровать рабам твоим.

По моему мнению, Арий верно утверждает, что было время, когда Сына не было. Также и об Единосутии...

Но тут Констанций заглянул в огромное зеркало из отполированного серебра и, ощупав рукою только что выбритую шелковистую поверхность правой щеки, перебил цирюльника.

- Как будто бы не совсем гладко? А? Можно бы еще раз пройтись? Что ты там говорил об Единосутии?

Цирюльник, получивший талант золота от придворных епископов Урзакия и Валента за то, чтобы подготовить кесаря к новому

исповеданию веры, быстро и вкрадчиво зашептал на ухо Констанция, водая бритвой, как будто лаская.

В эту минуту к императору подошел нотариус Павел, по прозвищу Катена, то есть Цепь: называли его Цепью зато, что страшные доносы, как неразрывные звенья, опутывали избранную жертву. Лицо у Павла было женоподобное, безбородое, нежное; судя по наружности, можно было предположить в нем ангельскую кротость; глаза тусклые, черные, с поволокой; поступь неслышная, с кошачьей прелестью в мягких движениях. На верхнем плаще через плечо нотариуса была перекинута широкая темная синяя лента, или перевязь, особый знак императорской милости.

Павел Катена мягким, властным движением отстранил брадобрея и, наклонившись к уху Констанция, шепнул: - Письмо Юлиана. Перехватил сегодня ночью. Угодно распечатать?

Констанций с жадностью вырвал письмо из рук Павла, открыл и стал читать. Но разочаровался.

- Пустяки, - проговорил он, - упражнение в красноречии. Посылает в подарок сто винных ягод ученому софисту, пишет похвалу винным ягодам и числу сто.

- Это хитрость, - заметил Катена.

- Неужели, - спросил Констанций, - неужели никаких доказательств?

- Никаких.

- Или он очень искусен, или же...

- Что хотела сказать твоя вечность?

- Или невинен.

- Как тебе будет угодно, - прошептал Павел.

- Как мне угодно? Я хочу быть справедливым, только справедливым, разве ты не знаешь?.. Мне нужны доказательства.

- Подожди, будут.

Появился другой доносчик, молодой перс, по имени Меркурий, по должности придворный стольник, почтимальчик, желтолицый, черноглазый. Его боялись не менее, чем Павла Катены, и шутя называли "словником сонных видений": если пророческий сон мог иметь дурное значение для священной особы кесаря, Меркурий,

подслушавшего, спешил донести. Уже многие поплатились за то, что имели неосторожность видеть во сне, чего не следовало видеть. Придворные стали уверять, что они страдают неизлечимой бессонницей, и завидовали жителям сказочной Атлантиды, которые спят, по уверению Платона, не видя снов.

Перс, отстранив двух эфиопских скопцов, завязывавших шнурки на вышитых золотыми орлами башмаках императора из ярко-зеленой кожи - цвет, присвоенный только августейшей обуви, обнимал ноги повелителя, целовалих и смотрел в глаза, как собака, ласкаясь и виляя хвостом, смотрит в глаза господину.

- Да простит мне твоя вечность! - шептал маленький Меркурий с детской и простодушной преданностью. Я не мог утерпеть, скорее прибежал к тебе; Гауденций видел нехороший сон. Ты представился ему в разорванной одежде, в венке из пустых колосьев, обращенных долу.

- Что это значит?

- Пустые колосья предвещают голод, а разорванный пурпур... я не смею...

- Болезнь?

- Может быть, хуже. Жена Гауденция призналась мне, что он совещался с гадалками: Бог знает, что они сказали ему...

- Хорошо, потом поговорим. Приходи вечером.

- Нет, сейчас! Дозволь пытку, легкую, без огня.

Еще дело о скатертях...

- О каких скатертях?

- Разве забыл? На одном пиру в Аквитании стол накрыт был двумя скатертями, окаймленными пурпуром так широко, что они образовали как бы царскую хламиду.

- Шире двух пальцев? Я по закону допустил каймы в два пальца!

- О, гораздо шире! Настоящая, говорю, императорская хламида. Подумай, на скатерти такое свято татственное украшение!..

Меркурий не успевал высказать всех накопившихся доносов:

- В Дафне родился урод, - бормотал он, спеша и запинаясь. - Четыре уха, четыре глаза, два клыка, весь в шерсти; прорицатели говорят, дурной знак - к разделению священной империи.

- Посмотрим. Напиши все, по порядку, и представь.

Император кончал утренний наряд. Он глянул еще раз в зеркало и тонкой кисточкой захватил немного румян из серебряного ковчежца филигранной работы, подобия маленькой раки для мощей, с крестиком на крышке: Констанций был набожен; бесчисленные финифтяные крестики и начальные буквы имени Христова виднелись во всех углах, на всех безделушках; особый род драгоценнейших румян, называвшихся "пурпуриссима", приготавливали из розовой пены, которую снимали с кипящего в котлах сока пурпурных раковин; кисточкой с этими румянами Констанций искусно провел по своим смуглым и сухим щекам. Изкомнаты, называемой "порфирия", где, в особом пятибашенном шкафу, "пентапиргионе", хранились царские одежды, евнухи вынесли императорскую далматику, жесткую, почти не гнущуюся, тяжелую от драгоценных камней и золота, с вытканными по аметистовому пурпуру крылатыми львами и змеями.

В тот день в главной зале медиоланского дворца должен был происходить церковный собор.

Туда направился император по сквозному мраморному ходу. Дворцовые стражи - палатины стояли в два ряда, немые, как изваяния, с поднятыми копьями в четырнадцать локтей длины. Предносимая Сановником Августейших Щедрот - Comes Sacrarum Largitionum - золототканая Константинова хоругвь - Лабарум, с монограммой Христа, блистала и шелестела. Стражи - безмолвники, *silentarii*, бежали впереди и мановением рук призывали всех к благоговейной тишине.

В галерее император встретился со своей супругой Евсевией Аврелией. Это была женщина уже не молодая, с бледным и усталым лицом, с тонкими и благородными чертами; иногда злая насмешка вспыхивала в ее пронизательных глазах.

Императрица, сложив руки на омофоре, усыпанном рубинами и сапфирами, ограненными на подобие сердец, склонила голову и произнесла обычное утреннее приветствие: - Я пришла насладиться твоим лицезрением, боголюбнейший супруг мой. Как изволила почивать твоя святость?

Потом, по ее знаку, поддерживавшие ее под руки две придворные матроны, Ефросиния и Феофания, немного отошли, и она тихо сказала

супругу:

- Сегодня должен представиться тебе Юлиан. Будь с ним милостив. Не верь доносчикам. Это несчастный и невинный отрок. Господь тебя наградит, если ты помилуешь его, государь!

- Ты просишь за него?

Жена и муж обменялись быстрыми взглядами.

- Я знаю,- молвила она,- ты веришь мне всегда: поверь и на этот раз. Юлиан-твой верный раб. Не откажи, будь с ним ласков...

И она подарила мужа одной из тех улыбок, которые все еще сохраняли власть над сердцем его.

В портике, отделенном от главной залы коврой завесой, за которой император любил подслушивать то, что происходило на соборе, подошел к нему монах с крестообразным гуменцом на голове, в тунике с куколем, из грубой темной ткани. То был Юлиан.

Он склонил колени перед Констанцией, сотворил земное метание и, поцеловав край императорской далматики, сказал:

- Приветствую благодетеля моего, победоносного, великого, вечного кесаря августа Констанция. Да помилует меня твоя святость!

- Мы рады тебя видеть, сын наш.

Двоюродный брат Юлиана милостиво приблизил свою руку к самым губам его. Юлиан прикоснулся к этой руке, на которой была кровь его отца, брата - всехродных.

Монах встал, бледный, с горящими глазами, устремленными на врага. Он сжимал рукоять кинжала, скрытого под складками одежды.

Маленькие свинцово-серые глазки Констанция светились тщеславием, и только изредка хитрая осторожность вспыхивала в них. Он был невысокого роста, головой ниже Юлиана, широкоплеч, по-видимому, силен и крепок, нос ногами уродливо выгнутыми, как у старых наездников;

смуглая кожа на гладких висках и скулах неприятно лоснилась; тонкие губы были строго сжаты, как у людей, любящих, больше всего в жизни, порядок и точность: такое выражение бывает у старых школьных учителей.

Юлиану все это казалось ненавистным. Он чувствовал, как слепое животное бешенство овладевает им; не в силах произнести слова, потупил глаза и тяжело дышал.

Констанций усмехнулся, подумав, что юноша не вынес царственного взора его - смущен неземным величием римского кесаря. Он произнес напыщенно и милостиво:

- Не бойся, отрок! Иди с миром. Наше добротолюбие не причинит тебе зла и впредь не покинет твоего сиротства благодеяниями.

Юлиан вошел в залу церковного собора, а император стал около самого ковра, приложил к нему ухо и с хитрой усмешкой начал прислушиваться.

Он узнал голос главного начальника государственной почты, Гауденция, того самого, который видел дурной сон:

- Собор за собором! - жаловался Гауденций какому-то вельможе. - То в Сирмии, то в Сардики, то в Антиохии, то в Константинополе. Спорят и не могут согласиться об Единосутии. Но надо же и почтовых лошадей пожалеть! Епископы скачут, сломя голову, с казенными подорожными. То вперед, то назад, то с Востока, то с Запада.

А за ними целые тучи пресвитеров, дьяконов, церковных служителей, писцов. Разорение! На десять почтовых клячедва ли и одна найдется, не замороженная епископами. Еще пять соборов, - и все мои лошади поколеют, а от государственных подвод колеса отвалятся. Право! И заметь, что епископы все-таки не придут к соглашению об Ипостасях Единосутии!

- Зачем же, славнейший Гауденций, не составишь ты об этом донесения кесарю?

- Боюсь, не поверят и обвинят в безбожии, в неуважении к нуждам церкви.

В огромной круглой зале, с круглым сводом и столбами из зеленовато-жильистого фригийского мрамора, было душно. Косые лучи падали в окна, находившиеся под сводом.

Шум голосов напоминал жужжание пчелиного улья.

На возвышении приготовлен был трон императора sella aurea со львиными лапами из слоновой кости, которые перекрещивались, как на складных курульных креслах древнеримских консулов.

Около трона пресвитер Пафнутий, с простодушным лицом, разгоревшимся от спора, утверждал: - Я, Пафнутий, как приял от отцов, так и содержув мыслях! По символу, иже во святых отца нашего Афанасия, патриарха Александрийского, должно воздавать

поклонение Единце в Троице и Троице в Единце. Отец Бог, Сын - Бог, Дух Святой - Бог, впрочем, не три Бога, но един.

И точно сокрушая невидимого врага, со всего размаха ударил он огромным кулаком правой руки в левую ладонь и обвел всех торжествующим взглядом: - Как приял, так и содержу в мыслях!

- А? Что? Что он такое говорят? - спрашивал Озий, столетний старец, современник великого Никейского собора. - Где мой рожок?

Беспомощное недоумение выражалось на лице его. Он был глух, почти слеп, с длинной, седой бородой. Дьякон приставил слуховой рожок к уху старика.

За стихарь Пафнутия с умоляющим видом цеплялся бледный и худенький монах-постник:

- Отче Пафнутий! - старался он перекричать его. Что же это такое? - Из-за одного, все из-за одного слова: подобносущный, или единосущный!

И, хватаясь за одежду Пафнутия, монах рассказал ему об ужасах, которые видел в Александрии и Константинополе.

Ариане тем, кто не хочет принимать св. Таин в еретических церквях, открывают рот деревянными снарядами, состоящими из двух соединенных палок, наподобие рогатины, и насильно вкладывают Причастие; детей пытаются;

женам раздавливают в тисках или выжигают раскаленным железом сосцы; в церкви св. Апостолов произошла такая драка между арианами и православными, что кровь наполнила дождевую цистерну и со ступеней паперти лилась на площадь; в Александрии правитель Себастиан избил колючими пальмовыми ветвями православных девственников, так что многие умерли, и непогребенные, обещенные тела лежали перед городскими воротами. - И все это даже не из-за одного слова, а из-за одной буквы, из-за одной йоты.

отличающей греческое слово единосущный - $\text{o}\text{i}\text{A}\text{O}\text{O}\text{U}\text{O}$, или от подобносущный - $\text{o}^{\wedge}\text{O}\text{I}\text{O}\text{K}\text{C}\text{H}\text{O}\text{g}$.

- Отче Пафнутий, - твердил кроткий бледный монах, - из-за одной йоты! И главное, в Священном-то Писании нет даже слова узия-сущность! Из-за чего же мы спорим и терзаем друг друга? Подумай, отче, как ужасно такое наше злонаравие!..

- Так что же? - перебил его Пафнутий нетерпеливо.- Неужели примириться с окаянными богохульниками, псами, изbleвавшими из еретического сердца, что было время, когда Сына не было?

- Един Пастырь, едино стадо,- робко защищался монах.-Уступим...

Но Пафнутий не слушал его. Он кричал так, что жилы напрягались на шее и висках его, покрытых каплями пота.

- Да умолкнут богоненавистники! Да не будет, да не будет сего! Арианскую гнусную ересь анафематствую! Как приял от отцов, так и содержу в мыслях!

Столетний Озий одобрительно и беспомощно кивал седой головой.

- Что ты как будто притих, авва Дорофей? Мало сегодня споришь. Или прискучило? - спрашивал желчного, юркого старичка высокий, бледный и красивый, с волнистыми, необыкновенно длинными, черными, как смоль, волосами, пресвитер Фива.

- Охрип, брат Фива. И хочу говорить, да голоса нет.

Натрудил себе горло намедни, как низлагали проклятых акакиян: второй день хриплю.

- Ты бы, отче, сырым яйцом горло пополоскал: весьма облегчает.

В другом конце залы спорил Аэтий, дьякон Антиохийский, самый крайний из учеников Ария; его называли безбожным,- афеем, за кощунственное учение о Св. Троице.

Лицо у него было веселое и насмешливое. Жизнь Аэтия отличалась разнообразием: он был поочередно рабом, медником, поденщиком, ритором, лекарем, учеником александрийских философов и, наконец, дьяконом.

- Бог Отец по сущности чужд Богу Сыну - проповедовал Аэтий, наслаждаясь ужасом слушателей.-Есть Троица. Но Ипостаси различествуют в славе. Бог неизречен для Сына, потому что несказанно то, что Он есть сам в Себе. Даже Сын не знает сущности Своей, ибо имеющему начало невозможно представить или объять умом Безначального.

- Не богохульствуй! - в негодовании воскликнул Феойа, епископ Мармарикский.- Доколе же прострется, братья мои, сатанинская дерзость еретиков?

- Сладкоречием своим,-добавил наставительно Софроний, епископ Помпеополиса,- не вводи в заблуждений простодушных.

- Укажите мне на какие-нибудь философские доводы - и я соглашусь. Но крики и ругательства доказывают только бессилие,- возразил Аэтий спокойно.

-В Писании сказано...-Начал было Софроний.

- Какое мне дело до Писания? Бог дал разум людям, чтобы познавать Его. Я верю в диалектику, а не в букву Писания. Рассуждайте со мной, придерживаясь категорий и силлогизмов Аристотеля.

И с презрительной улыбкой завернулся он в свой дьяконский стихарь, как Диоген в цинический плащ.

Некоторые епископы уже начали приходить к общему исповеданию, друг Другу уступая, как вдруг вмешался разговор их арианин, Нарцисс из Нерониады, знаток всех соборных постановлений, символов и канонов, человек, которого не любили, обвиняли в прелюбодеянии, лихоимстве, но все-таки уважали за ученость: - Ересь! - объявил он епископам кратко и невозмутимо.

- Как ересь? Почему ересь? - произнесло несколько голосов.

- Объявлено сие ересью еще на соборе в Ганграх Пафлагонских.

У Нарцисса были маленькие косые глаза, сверкавшие зловещим блеском, такая же злобная и кривая улыбка на тонких губах; волосы, с проседью, жесткие, как щетина;

казалось, все черты лица его перекошились от злобы.

- В Ганграх Пафлагонских!- повторили епископы в отчаянии.-А мы и забыли об этом соборе... Что же делать, братья?

Нарцисс, обводя всех косыми глазами, торжествовал.

- Господи, помилуй нас, грешных!-воскликнул добрый и простодушный епископ Евзой.-Ничего не разумею.

Запутался. Голова кругом идет: о^oowlOg, о^olovalog, единосущный, неединосущный, подобья. Ипостаси - в ушах звенит от греческих слов. Хожу как в тумане и сам не знаю, во что верю, во что не верю, где ересь, где не ересь. Господи Иисусе Христе, помоги нам! Погибаем в сетях дьявольских!

В это мгновение шум и крики умолкли. На амвон взошел один из придворных любимцев императора, епископ Урзакий Сингидонский; в руках держал он длинную пергаментную хартию. Два скорописца

перед раскрытыми книгами приготовились записывать прения собора, очинив тонкие перья из египетского тростника - каламуса. Урзакий читал повеление императора, обращенное к епископам:

"Констанций Победитель Триумфатор, досточтимый и вечный Август- всем собравшимся в Медиолане епископам".

Он требовал от собора низложения Афанасия, патриарха Александрийского, в грубых и непристойных словах;

называл всеми чтимого, святого старца "негоднейшим излюдей, изменником, сообщником буйного и гнусного Максенция".

Придворные льстецы - Валент, Евсевий, Аксентий стали подписывать хартию. Но в толпе послышался ропот:

- Окаянная прелесть, велемудрые ухищрения арианских христорборцев! Не дадим патриарха в обиду!

- Кесарь называет себя вечным. Никто не вечен кроме Бога. Кошунство!

Последние слова явственно услышал Констанций, стоявший за ковром.

Вдруг отдернул он завесу и вступил в залу собора.

Копьеносцы окружали его. Лицо императора было гневно.

Наступило молчание.

- Что это? Что это? - повторял слепой старец Озий;

на лице его были недоумение и тревога.

- Отцы!- начал император, сдерживая гнев.-Позвольте мне, служителю Всеблагого, довести, под Промыслом Его, ревность мою до конца. Афанасий, мятежник, первый нарушитель вселенского мира...

Опять послышался ропот в толпе.

Констанций умолк и с удивлением обвел глазами епископов. Чей-то голос произнес: - Гнусную арианскую ересь анафематствуем!

- Вера, на которую восстаете вы,-возразил император,- наша вера. Если она еретическая,- почему же Господь Вседержитель даровал нам победу над всеми нашими супостатами - Констансом, Ветранионом, Галлом, буйными гнусным Максенцием? Почему сам Бог вложил в нашу священную десницу державу мира?

Отцы безмолвствовали. Тогда придворный льстец, Валент, епископ Мурзийский, наклонился с подобострастным смирением:

- Бог откроет истину мудрости твоей, боголюбезнейший владыка! То, во что ты веруешь, не может быть ересью. Недаром Кирилл Иерусалимский видел чудотворное знамение на небе в день твоей победы над Максенцием, крест, окруженный радугой.

- Я так хочу! - прервал его Констанций, подымаясь. - Афанасий будет низложен властью, данной нам от Бога. Молитесь, дабы прекратились наконец всякие распри и словопрения, уничтожена была злоименная и человекоубийственная ересь сабеллиан, приверженцев негоднейшего Афанасия, воссияла же в сердцах у всех истина...

Вдруг лицо его побледнело; слова замерли на губах.

- Что это? Как пустили?..

Констанций указывал на высокого старика, с лицом суровым и величественным: то был гонимый и низложенный за веру Пиктавийский епископ Иларий, один из злейших врагов императора-арианина. Он самовольно пришел на собор, может быть, думая найти мученическую смерть.

Старик поднял руку к небу, как будто призывая проклятие на голову императора, и громкий голос его раздался в тишине собора:

- Братья, се грядет Христос, ибо Антихрист уже победил. Антихрист-Констанций! Не по хребту ударяет нас, а ласкает по чреву; не в темницы бросает, а прельщает в царских чертогах. Кесарь, слушай: говорю тебе то, что сказал бы Нерону, Декию, Максимиану, явным гонителям церкви: ты - убийца не человеков, а самой Любви Божественной! Нерон, Декий, Максимиан более служили Богу, чем ты: при них мы побеждали дьявола; при них лилась кровь мучеников, очистившая землю, и мертвые кости творили чудеса. А ты, свирепейший, убиваешь, но не даешь нам славы смерти! Господи, пошли нам явного мучителя, нелицемерного врага, подобного Нерону и Декию, дабы благодатное и страшное орудие гнева Твоего воскресило церковь, растленную лобзаниями Иуды-Констанция!..

Император поднял руку в ярости: - Схватить, схватить его и мятежников! - проговорил он, задыхаясь и указывая на Илария.

Палатины и щитоносцы бросились на епископов. Произошло смятение. Сверкнули мечи.

Илария, с грубыми оскорблениями, срывая омофор, епитрахиль и фелонь, потащили воины.

Многие в ужасе, устремляясь к дверям, падали, давили и топтали друг друга.

Один из юношей-скорописцев вскочил на окно, желая выпрыгнуть на двор, но воин уцепился за длинную одежду его и не пускал. Стол с чернильницами опрокинули, и красные чернила разлились по синему яшмовому полу. При виде этой багровой лужи стали кричать: - Кровь! Кровь! Бегите!

Другие вопили:

- Смерть врагам благочестивейшего августа!

Пафнутий громовым голосом возглашал, увлекаемый двумя legionерами:

- Признаю собор Никейский, ересь арианскую анафематствую!

Многие продолжали кричать: - Единосущный!

Другие:

- Да не будет сего! Подобносущный!

Третьи:

- Несходный, сиречь, аномэон, аномэон! - Умолкните, богоненавистники! - Анафема! - Да извергнется! Собор в Никее! - Собор в Сардике! - В Ганграх Пафлагонских! - Анафема!

Слепой Озий сидел неподвижно, всеми забытый, на своем почетном епископском кресле, и шептал чуть слышно:

- Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Что же это, братья?..

Но напрасно протягивал он свои слабые руки к мятущимся и обезумевшим людям; напрасно твердил: "Братья, братья, что же это?" - Никто не видел и не слышал старика. И слезы текли по его столетним морщинам.

Юлиан смотрел на собор с злорадной усмешкой и молча торжествовал.

В тот же день, поздним вечером, в пустынной тишине, среди зеленой равнины, к Востоку от Медиолана шли два монаха-отшельника из Месопотамии, посланные на собор дальними сирийскими епископами.

Едва спаслись они из рук придворной стражи и теперь с радостью направляли путь к Равенне, чтобы поскорее сесть на корабль и

вернуться в пустыню. Усталость и уныние выражались в их лицах. Эфраим, один из них, был старик; другой, Пимен - юноша. Эфраим сказал Пимену:

- Пора в пустыню, брат мой! Лучше слушать вой шакалов и львов, чем то, что сегодня мы слышали в царских чертогах. О, сладкое чадо мое! Блаженны безмолвные.

Блаженны оградившие себя стеною тишины пустынной, закотую не долетят к ним споры учителей церковных. Блаженны понявшие ничтожество слов. Блаженны не спорящие. Блажен, кто не испытывает Божьих тайн, но поет предлицом твоим. Господи, как лира. Блажен, кто постиг, как трудно знать, как сладко любить Тебя, Господи!

Эфраим умолк, и Пимен произнес: "аминь!"

Великая тишина ночи обняла их. И бодро, по звездам, направили они путь свой к Востоку, радуясь молчанию пустыни.

В солнечное утро по всем улицам Медиолана стремились толпы народа на главную площадь.

Раздался гул приветствий - и в триумфальной колеснице, запряженной стаей белых, как лебеди, коней, появился император.

Он стоял на такой высоте, что люди снизу должны были смотреть на него, закинув головы. Одежда, усыпанная драгоценными камнями, горела ослепительно. В правой руке держал он скипетр, в левой - державу, увенчанную крестом.

Неподвижный, как изваяние, сильно нарумяненный и набеленный, он смотрел прямо перед собой, не поворачивая головы, как будто она была сжата в тисках. Во все продолжение пути, даже при толчках и сотрясениях колесницы, не сделал ни одного движения - не шевельнул пальцем, не кашлянул, не моргнул глазом. Эту окаменелую неподвижность приобрел Констанций многолетними усилиями, гордился ею и считал ее необходимым знаком божеского величия римских императоров. В такие минуты скорее согласился бы он умереть, чем, проявляя смертную природу, отереть пот с лица, чихнуть, высморкаться или плюнуть.

Кривоногий, маленького роста, самому себе казался исполином. Когда колесница въезжала под арку триумфальных ворот, недалеко

от терм Максимиана Геркула, наклонил голову, как будто мог ею задеть за ворота, в которые свободно прошел бы Циклоп.

По обеим сторонам пути стояли палатины. У них были золотые шлемы, золотые панцири; на солнце два ряда почетной стражи сверкали, как две молнии.

Вокруг императорской колесницы развевались пышные знамена в виде драконов. Пурпурная ткань, раздутая ветром, врывавшимся в открытые пасти драконов, издавала пронзительный свист, подобный змеиному шипению, и длинные багровые хвосты чудовищ клубились по ветру.

На площади собраны были все легионы, стоявшие в Медиолане.

Гром приветствий встретил императора. Констанций был доволен: самый звук этих приветствий, не слишком слабый, не слишком сильный, установлен был заранее и подчинен строжайшему порядку; солдат и граждан учили искусству умеренно и благоговейно кричать от восторга.

Придавая каждому движению, каждому шагу своему напыщенную торжественность, император спустился с колесницы и взошел на помост, возвышавшийся над площадью, сверху донизу увешанный победоносными лохмотьями древних знамен и медными римскими орлами.

Опять раздался трубный звук, знак того, что полководец желает говорить с войском - и на площади воцарилась тишина.

- Optimi reipublicae defensores! - начал Констанций, превосходнейшие защитники республики!

Речь его была растянута и переполнена цветами школьного красноречия.

Юлиан, в придворной одежде, взошел по ступеням помоста, и братоубийца облек последнего потомка Констанция Хлора священной цезарской порфиroy. Сквозь легкий шелк проникли лучи солнца в то время, когда император подымал пурпур, чтобы возложить его на колено преклоненного Юлиана, - и кровавый отблеск упал на лицо цезаря, покрытое смертной бледностью. Мысленно повторил он стих Илиады, казавшийся ему пророчеством:

"Очи смежила багровая смерть и могучая Мойра".

А между тем Констанций приветствовал его: - *Recepisti primaevus originis tuae splendidum florem, amatissime mihi omnium fater.* - Еще столь юный, ты уже приемлешь блистательный цвет твоего царственного рода, возлюбленный брат мой.

Тогда по всем легионам пролетел крик восторга, Констанций нахмурился: крик превзошел установленную меру: должно быть, лицо Юлиана понравилось воинам.

- Да здравствует цезарь Юлиан! - кричали они всегромче и громче и не хотели умолкнуть.

Новый цезарь ответил им братской улыбкой.

Каждый из легионеров ударял медным щитом по колену, что было знаком радости.

Юлиану казалось, что над ним совершается воля не цезаря, а самих богов.

Каждый вечер Констанций имел обыкновение посвящать четверть часа отделке и обтачиванию ногтей; это была единственная забава, которую позволял он себе, неприхотливый, воздержанный и скорее грубый, чем изнеженный, во всех своих привычках.

Обтачивая ногти тонкими напидочками, глядя их щеточками, с веселым видом, спросил он в тот вечер любимого евнуха, сановника августейшей опочивальни, Евсевия: - Как тебе кажется, скоро победит он галлов?

- Мне кажется,- отвечал Евсевий,- что мы скоро получим известие о поражениях и смерти Юлиана.

- Мне было бы очень жаль,- продолжал Констанций.- Я, впрочем, сделал все, что мог: ему теперь придется обвинять себя самого...

Он улыбнулся и, склонив голову набок, посмотрел на свои отточенные ногти.

- Ты победил Максенция,- прошептал евнух,- победил Ветраниона, Константа, Галла, победишь и Юлиана.

Тогда будет один пастырь, едино стадо. Бог - и ты!

- Да, да... Но кроме Юлиана, есть Афанасий. Я не успокоюсь, пока, живой или мертвый, не будет он в моих руках.

- Юлиан страшнее Афанасия, а ты сегодня облек его пурпуром смерти.- О, мудрость Божеского Промысла!

Как низвергает она путями неисповедимыми всех врагов твоей вечности.- Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков!

- Аминь,- заключил император, покончив с ногтями и бросив последнюю щеточку.

Он подошел к древней Константиновой Хоругви - Лабаруму, всегда стоявшему в опочивальне кесаря, опустился перед ним на колени и, смотря на монограмму Иисуса Христа, составленную из драгоценных камней, блиставшую при свете неугасимой лампы, начал молиться. Прочел уставные молитвы и сотворил назначенное число земных поклонов. К Богу обращался он с невозмутимой верой, как люди, никогда не сомневавшиеся в своей добродетели.

Когда обычные три четверти часа вечерней молитвы кончились, он встал с легким сердцем.

Евнухи раздели его. Он лег на величественное ложе, которое поддерживали серебряные херувимы распростертыми крыльями.

Император заснул с невинной улыбкой на устах.

В Афинах, в одном из многолюдных портиков, выставлено было изваяние Арсинои-Победительницы Октавии с мертвой головою Брута. Афиняне приветствовали дочь сенатора Гельвидия Приска, как возобновительницу Древнего искусства.

Особые чиновники, обязанные тайно следить за настроением умов в империи, получившие откровенное имя испытующих, донесли куда следует, что изваяние это может пробудить в народе вольнолюбивые чувства: в мертвой голове Брута находили сходство с головой Юлиана, и видели в этом преступный намек на недавнюю казнь Галла;

в Октавии старались найти СХОДСТВО с Констанцией.

Дело разрослось в целое следствие об оскорблении величества и едва не попало в руки Павла Катены. К счастью, - из придворной канцелярии, от магистра официй, получен был строжайший приказ не только унести статую из портика, но и уничтожить ее в присутствии императорских чиновников.

Арсиноя хотела ее скрыть. Гортензий был в таком страхе, что грозил выдать воспитанницу доносчикам.

Ею овладело отвращение к человеческой низости: она позволила делать со своим произведением все, что Гортензию было угодно. Статую разбили каменщики.

Арсиния поспешно уехала из Афин. Опекун убедил ее сопровождать его в Рим, где друзья давно обещали ему выгодное место императорского квестора.

Они поселились недалеко от Палатинского холма. Дни проходили с бездействием. Художница поняла, что прежнего великого и свободного искусства уже быть не может.

Арсиния помнила свой разговор с Юлианом в Афинах; это была единственная связь ее с жизнью. Ожидание в бездействии казалось ей невыносимым. В минуты отчаяния хотелось кончить сразу, покинуть все, немедленно ехать в Галлию, к молодому цезарю-с ним достигнуть власти, или погибнуть.

Но в это время она тяжело заболела. В долгие тихие дни выздоровления успокаивал и утешал ее самый изменчивый и верный из поклонников ее, центурион придворных щитоносцев, сын богатого родосского купца, Анатолий.

Он был римским центурионом, как сам выражался, только по недоразумению; на военную службу поступил, удовлетворяя тщеславной прихоти отца, который считал за верх благополучия видеть сына в золотых доспехах придворного щитоносца. Откупаясь от службы взятками, Анатолий проводил жизнь в изящной праздности, среди редких произведений искусства и книг, в пирах, в ленивых роскошных путешествиях. Неглубокой ясности души, как у прежних эпикурейцев, у него уже не было. Он жаловался друзьям: -Я болен смертельной болезнью.

Какой?-спрашивали они с улыбкой недоверия.

Тем, что вы называете моим остроумием, и что мне самому кажется порой плачевным и странным безумием.

В слишком мягких, женоподобных чертах его было выражение усталости и лени.

Иногда как будто просыпался: то предпринимал во время бури бесцельную опасную прогулку в открытом море с рыбаками, то уезжал в леса Калабрии охотиться на кабанов и медведей; мечтал об участии в заговоре на жизнь цезаря, или о военных подвигах; искал

посвящения в таинства Митры и Адонаи. В такие минуты он способен был поразить даже людей, не знавших его обычной жизни, неутомимостью и отвагой.

Но скоро возбуждение проходило, и он возвращался к праздности, еще более вялый и сонный, еще более грустный и насмешливый.

- Ничего с тобой не поделаешь, Анатолий,- говорила ему Арсиноя с ласковой укоризной: - весь ты мягкий, точно без костей.

Но вместе с тем она чувствовала в природе этого последнего эпикурейца эллинскую зрелость; любила в у старых глазах его грустную насмешку над всем в жизни над самим собой, когда он говорил:

- Мудрец умеет находить долю сладости в самых печальных мыслях своих, подобно пчелам Гиметта, которые из самых горьких трав извлекают мед.

Тихие беседы его убаюкивали и утешали Арсиною.

Шутя, называла она его своим врачом.

Арсиноя выздоровела, но уже более не возвращалась в мастерскую; самый вид мрамора вызывал в ней тягостное чувство.

В это время Гортензий устраивал для народа, в честь своего прибытия в Рим, великолепные игры в амфитеатре Флавия. Он был в постоянных разъездах и хлопотах, получал каждый день из различных стран света лошадей, львов, иберийских медведей, шотландских собак, нильских крокодилов, бесстрашных охотников, искусных наездников, мимов, отборных гладиаторов.

Приближался день праздника, а львов еще не привозили из Тарента, куда они прибыли морем. Медведи приехали, исхудалые, заморенные и смирные, как овцы. Гортензий не спал ночей от беспокойства.

За два дня саксонские пленники-гладиаторы, люди гордые и неустрашимые, за которых дал он огромные деньги,

передушили друг друга в тюрьме, ночью, к великому негодованию сенатора, считая позором служить потехой римской черни. Гортензий, при этом неожиданном известии, едва не лишился чувств.

Теперь вся надежда была на крокодилов.

- Пробовал ли ты давать им рубленое поросячье мясо? - спрашивал он раба, приставленного к драгоценным крокодилам.

- Давал. Не едят.

- А сырой телятины?

- И телятины не едят.

- А пшеничного хлеба, моченного в сливках?

- И не нюхают. Отворачивают морды и спят. Должно быть, больные, или очень томные. Мы им уж пасти открывали шестами, насильно всовывали пищу - выплевывают.

- Клянусь Юпитером, уморят себя и меня эти подлые твари! Пустить их в первый же день на арену, а то еще подохнут с голоду, - простонал бедный Гортензий, падая в кресло.

Арсиния смотрела на него с некоторой завистью: ему, по крайней мере, не было скучно.

Она прошла в уединенный покой, выходивший окнами в сад. Здесь, в тихом лунном сиянии, шестнадцатилетняя сестра ее Мирра, худенькая, стройная девочка, перебирала струны на лире. В тишине лунной ночи звуки падали, как слезы. Арсиния, молча, обняла сестру. Мирра ответила ей улыбкой, не переставая играть.

За стеной сада послышался свист.

- Это он! - сказала Мирра, вставая и прислушиваясь. - Пойдем скорее.

Она крепко сжала руку Арсинии своей детской и сильной рукой.

Обе девушки накинули на себя темные плащи и вышли.

Ветер гнал облака; луна то выглядывала, то пряталась за них.

Арсиния отперла небольшую калитку в садовой ограде.

Их встретил юноша, закутанный в шерстяную монашескую казулу.

- Не опоздали, Ювентин? - спросила Мирра. Я так боялась, что ты не придешь...

Они шли долго, сперва по узкому и темному переулку, потом по винограднику, и вышли наконец в голое поле, начало римской Кампании. Шелестел сухой бурьян. Насветлой лунной дали виднелись пролеты кирпичного акведука времен Сервия Туллия.

Ювентин оглянулся и произнес: - Кто-то идет.

Обе девушки также обернулись. Свет луны упал на их лица, и человек, следивший за ними, воскликнул радостно:

- Арсиноя! Мирра! Наконец-то я нашел вас! Куда вы?

- К христианам,- отвечала Арсиноя.- Пойдем с нами, Анатолий. Ты увидишь много любопытного., - К христианам? Не может быть... Ты всегда их так ненавидела? - удивился центурион.

- С летами, друг мой, становишься добрее и равнодушнее ко всему,- возразила девушка.- Это суеверие нелучше и не хуже других. И потом,- чего только не делаешь от скуки? - Я хожу к ним для Мирры. Ей нравится...

- Где же церковь? Мы в пустом поле? - спросил Анатолий, с недоумением оглядываясь.

- Церкви христиан осквернены или разрушены их жесобственными братьями, арианами, которые иначе верят в Христа, чем они. При дворе ты должен был послушаться обединосущии и подобносущии. Теперь противники ариан молятся тайно в тех же самых подземельях, как во времена первых гонений.

Мирра и Ювентин немного отстали, так что Анатолий и Арсиноя могли говорить наедине.

- Кто это? - произнес центурион, указывая на Ювентина.

- Потомок древнего патрицианского рода Фуриев, отвечала Арсиноя.- Мать хочет сделать из него консула, а он мечтает уйти, против ее воли, в пустыню, чтобы молиться Богу... Любит мать и скрывается от нее, как отврага.

- Потомки Фуриев-монахи. О, время!- вздохнул эпикурец.

В это время подошли они к аренариям - древним копиям рассыпчатого туфа, и спустились по узким ступеням на самое дно каменоломни. Луна озаряла глыбы красноватой вулканической земли. Ювентин взял из полукруглого углубления в стене маленькую глиняную лампаду с ручкой, выбил огонь и зажег. Длинное колеблющееся пламя вспыхнуло в остром горлышке, в котором плавала свечильня. Они углубились в один из боковых ходов аренария.

Прорытый еще древними римлянами, очень широкий и просторный, спускался он в глубину по довольно крутому наклону. Его пересекали другие подземные ходы, служившие работникам для перевозки туфа.

Ювентин вел спутниц по лабиринту. Наконец, остановился перед колодцем и снял деревянную крышку. Пахнулось сыростью. Они спустились осторожно по крутым ступеням.

В самой глубине была небольшая дверь. Ювентин постучался.

Дверь отворилась, и седой монах-привратник впустилих в узкий и высокий подземный ход, прорытый уже не в рассыпчатом, а зернистом туфе, достаточно рыхлом для удобного прокапывания галерей.

Обе стены покрыты были от земли до потолка мраморными досками или тонкими плоскими черепицами, которыми заделывались бесчисленные гробницы.

Иногда встречались им люди с лампадами. При мерцающем свете Анатолий, остановившись на минуту, прочел надпись, вырезанную на одной из плит: "Дорофей, сын Феликса, покоится в месте прохладном, в месте светлом, в месте мирном"-*requiescit in loco refrig, luminis, pacis*";

на другой плите: "Братья, не тревожьте сладчайшего сна моего".

Смысл этих надписей был любовный и радостный.

"Софрония,-говорилось в одной,-милая, будь вечно живою в Боге" - "*Sophronia dulcis, semper vivis Deo*",- и немного дальше - "*Sophronia, vivis*" - "Софрония, ты жива",-как будто писавший окончательно постиг, что смерти нет.

Нигде не говорилось: "он погребен", а только "положен сюда-*depositus*". Казалось, что тысячи и тысячи людей, поколения за поколениями, лежат здесь, не умершие, а уснувшие легким сном, полные таинственным ожиданием.

В углублениях стен стояли лампы, горевшие недвижным длинным пламенем в спертom воздухе, и красивые амфоры с благовониями. Только запах гнилых костей из щелей гробов напоминал о смерти.

Подземные ходы шли в несколько ярусов, спускаясь все ниже и ниже. Кое-где в потолке виднелось широкое отверстие отдушины - *луминария*,- выходившей в Кампанию.

Иногда слабый луч месяца, скользя в *луминарий*, озарял мраморную доску с надписью.

В конце одного хода увидели они могильщика за работою. С веселым лицом, напевая, ударял он железной киркой в зернистый туф, который округлялся и принимал вид свода над его головой.

Вокруг главного надзирателя могильщиков - фоссора, человека в роскошной одежде, с хитрым и жирным лицом, стояло несколько христиан. Фоссор, получив в наследство целую галерею катакомб, имел право за деньги уступать места, свободные для погребения, в принадлежавшем ему участке; участок был очень выгоден, потому что здесь покоились мощи св. Лаврентия. Могильщик нажил себе состояние. Теперь торговался он с богатым и скупым кожевником Симоном. Арсиноя на минуту остановилась, прислушиваясь.

- А далеко ли место от св. Лаврентия? - спрашивал Симон недоверчиво, думая об огромных деньгах, которые требовал фоссор.

- Не далеко: шесть локтей.

- Вверху или внизу? - не унимался покупатель.

- Одесную, одесную, так - наискосок. Говорю тебе, место отличное, лишнего не беру. Сколько бы ни нагрешил, все отпустится! Так прямо и войдешь со святыми в царствие небесное.

И фоссор привычной рукой стал снимать с него мерку для могилы, как портной для платья. Кожевник убедительно просил устроить ее попросторнее, чтобы лежать было не тесно.

В это время подошла к могильщику бедно одетая старушка:

- Что тебе, бабушка?

- Деньги принесла, добавочные.

- Какие добавочные?

- За прямую могилу.

- А, помню. Что же в кривой не хочешь?

- Не хочу, отец мой, - и без того уже нуют кости...

В катакомбах, особенно поближе к мощам святых, так дорожили каждым свободным уголком, что приходилось устраивать немного искривленные могилы там, где расположение стен не позволяло другого устройства; кривые могилы покупались только бедными.

- Бог весть, думаю, сколько времени лежать до Воскресения, - объяснила старушка. - В кривую попадешь сначала - то оно, пожалуй, и ничего, а потом, как устанешь, плохо...

Анатолий слушал и восхищался.

- Это гораздо любопытнее, чем таинства Митры, уверял он Арсиною, с легкомысленной улыбкой.- Жаль, что я раньше не знал. Никогда не видывал я более веселого кладбища!

Они вступили в довольно просторную усыпальницу.

Здесь горели бесчисленные лампы. Пресвитер отправлял службу. Алтарем была верхняя плита гробницы мученика, которая находилась под дугообразным сводом.

Было много молящихся в белых длинных одеждах. Вселица казались радостными.

Мирра стала на колени. Она смотрела со слезами детской любви на изображение Пастыря Доброго на потолке усыпальницы.

Здесь, в катакомбах, возобновлен был давно уже оставленный церковью обычай первых времен христианства.

по окончании службы братья и сестры приветствовали друг друга "лобзанием мира". Арсиною, следуя общему примеру, поцеловала Анатолия.

Потом направились они все четверо из нижних ярусов в верхние, откуда был ход в тайное убежище Ювентина, покинутую языческую гробницу, колумбарий, в стороне от Аппиевой дороги.

Здесь, в ожидании корабля, который должен был увезти его в Египет, скрывался он от преследований матери, доносившей на него чиновникам префекта, и жил с богоугодным старцем Дидимом из нижней Фиваиды. Ювентин был в строгом послушании у старца.

Дидим, сидя на корточках в колумбарии, плел из ивовых прутьев корзину. Луч месяца, падая в узкую отдушину, озарял его седые, пушистые кудри и длинную бороду.

Сверху донизу в стенах гробницы были сделаны небольшие углубления, похожие на гнезда в голубятне; в каждом из этих гнезд стояла урна с пеплом усопшего.

Мирра, которую старик очень любил, благоговейно поцеловала его морщинистую руку и попросила, чтобы он рассказал что-нибудь об отцах-пустынниках.

Ничего ей так не нравилось, как эти странные и чудные рассказы. С нежной старческой улыбкой тихонько гладили Мирру по волосам. Все расположились вокруг старца.

Он рассказывал им легенды о великих отшельниках Фиваиды, Нитрии, Месопотамии. Мирра смотрела на него горящими глазами, прижав к груди свои тонкие пальцы.

Улыбка слепого полна была детской нежности, и шелковистые, мягкие седины окружали голову его, как сияние.

Все молчали. Слышался немолчный гул Рима.

Вдруг во внутреннюю дверь колумбария, сообщавшуюся с катакомбами, раздался тихий стук. Ювентин встал, подошел к двери и спросил, не отпирая: - Кто там?

Ему не ответили; но стук повторился еще более слабый, как будто молящий.

Он осторожно приотворил дверь, отступил-и высокая женщина вошла в колумбарий. Длинная, белая одежда окутывала ее с головы до ног и опускалась на лицо. Она двигалась, как больная или очень старая. Все молча смотрели на вошедшую.

Одним движением руки откинула она длинные складки, свесившиеся на лицо - и Ювентин вскрикнул: - Мать!

Женщина бросилась к ногам сына и обняла их.

Пряди седых волос, выбившись, падали на лицо, исхудалое, бледное, жалкое, но все еще гордое.

Ювентин обнял голову матери и целовал ее.

- Ювентин! - позвал старец.

Юноша не ответил.

Мать говорила ему быстрым, радостным шепотом, как будто они были одни:

- Я думала, что никогда не увижу тебя, сын мой! Хотела ехать в Александрию - о, я нашла бы тебя и там, в пустыне, но теперь, не правда ли, кончено? Скажи, что ты не уйдешь. Подожди, пока я умру. Потом, как хочешь...

Старец повторил: - Ювентин, слышишь ли меня?

- Старик,- произнесла женщина, взглянув на слепого,- ты не отнимешь сына у матери! Слушай,- если надо, я отрекусь от веры отцов моих, уверую в Распятого, сделаюсь монахиней...

- Ты не разумеешь закона Христова, женщина! Мать не может быть монахиней, монахиня не может быть матерью.

- Я родила его в муках!..

- Ты любишь не душу, а тело его.

Женщина бросила на Дидима взгляд, полный бесконечной ненависти: - Будьте же вы прокляты, с вашими хитрыми, лживыми словами! - воскликнула она.- Будьте прокляты, отнимающие детей у матери, соблазняющие невинных, людвв черных одеждах, боящиеся света небесного, слуги Распятого, ненавидящие жизнь, разрушители всего, что в мире есть святого и великого!..

Лицо ее исказилось. Еще крепче прижалась она всем телом своим к ногам сына и проговорила, задыхаясь: - Я знаю, дитя мое... ты не уйдешь... ты не можешь...

Старец Дидим с посохом в руках стоял у открытой внутренней двери колумбария, той, которая вела в катакомбы.

- Именем Бога живого, повелеваю тебе, сын мой, идиза мною, оставь ее! - произнес он громко и торжественно.

Тогда женщина сама выпустила сына из объятий своих и пролепетала чуть слышно: - Ну, оставь... иди... если можешь...

Слезы Перестали струиться из глаз ее; руки беспомощно упали на колени.

Она ждала.

- Помоги мне, Господи! - прошептал Ювентин, бледный, подымая глаза к небу.

- "Если кто хочет идти за Мною и не возненавидит отца и мать свою, и жену, и детей, и братьев, и сестер, и самую жизнь свою, тот не может быть учеником Моим",-произнес Дидим и, ощупью войдя в дверь, в последний раз обернулся к послушнику:

- Оставайся в мире, сын мой, и помни: ты отрекся от Христа.

- Отче! Я-с тобой... Господи, вот я!-воскликнулЮвентин и пошел за учителем.

Она не сделала ни одного движения, чтобы остановитьего, ни одна черта в ее лице не дрогнула.

Но, когда шаги их умолкли,- без звука, без стопа, упала, как подкошенная.

- Отворите! Именем благочестивого императора Констанция - отворите!

То были воины, посланные префектом по доносу Ювентиновой матери, чтобы отыскать мятежных сабеллиан, исповедников

Единосушия, врагов императора.

Солдаты ударили железным ломом в двери колумбария.

Здание дрожало. Стекланные и серебряные урны с пепломерших звенели жалобно. Воины уже сорвали половинудверей.

Анатолий, Мирра и Арсиноя бросились во внутренниегалереи катакомб. Христиане бегали по узким подземнымходам, как муравьи в разрытом муравейнике, устремляяськ потайным дверям и лестницам, сообщавшимся с каменоломней.

Арсиноя и Мирра не знали в точности расположения катакомб. Они заблудились и попали в самый нижний ярус, находившийся в глубине пятидесяти локтей под землей.

Здесь трудно было дышать. Под ногами выступала болотная вода. Изнеможенное пламя лампад тускнело. Зловониеотравляло воздух. Голова у Мирры закружилась; она потеряла сознание.

Анатолий взял ее на руки. Каждое мгновение опасалисьони натолкнуться на воинов. Была и другая опасность: выходы могли завалить, и они остались бы под землей заживо погребенными.

Наконец Ювентин окликнул их: - Сюда! Сюда!

Согнувшись, нес он на плечах своих старца Дидима.

Через несколько минут они достигли тайного выходав каменоломню и оттуда - в Кампанию.

Вернувшись домой, Арсиноя поспешно раздела и уложила в постель Мирру, все еще не приходившую в себя.

В слабом мерцании зари, стоя на коленях, старшая сестра долго целовала неподвижные, худые и желтые, каквоск, руки девочки. Странное выражение было на лицеспящей. Никогда еще не дышало оно такую непорочнойпрелестью. Все ее маленькое тело казалось прозрачными хрупким, как слишком тонкие стенки алебастровой амфоры, изнутри озаренной огнем. Этот огонь должен былпотухнуть только с жизнью Мирры.

Поздно вечером, в болотистом дремучем лесу, недалекоот Рейна, между военным укреплением Tres TabernaeТри Таверны (лат.).

и римским городом Аргенторатум, недавно завоеваннымамаманами, пробирались два заблудившихся воина: один неуклюжий исполин с волосами огненного цвета и ребячески

простодушным лицом, сармат на римской службе, Арагарий, другой - худенький, сморщенный, загорелый сириец, Стромбик.

Среди стволов, покрытых мхом и грибными наростами, было темно; в теплом воздухе падал беззвучный дождь;

пахло свежими листьями берез и мокрыми хвойными иглами; где-то вдали куковала кукушка. При каждом шелесте или треске сухих веток Стромбик в ужасе вздрагивали хватался за руку спутника.

- Дядя, а дядя!

Арагария называл он дядей не по родству, а из дружбы: они были взяты в римское войско с двух противоположных концов мира; северный прожорливый и целомудренный варвар презирал сирийца, трусливого, сладострастного и умеренного в пище и питье, но, издеваясь, жалел его, как ребенка.

- Дядя!-захныкал Стромбик еще жалобнее.

- Чего скулишь? Отстань!

- Есть в этом лесу медведи? Как ты думаешь, дядя?

- Есть,- отвечал Арагарий угрюмо.

- А что ежели мы встретим? А?

- Убьем, сдерем кожу, продадим и пропьем.

- Ну, а если не мы - его, а он нас?

- Трусишка! Сейчас видно, что христианин.

- Почему же христианин непременно должен быть трусом? - обиделся Стромбик.

- Да ведь ты сам мне говорил, что в вашей книжке сказано: "ударят тебя в левую щеку - подставь правую".

- Сказано.

- Ну, вот видишь. А ежели так, то и воевать не надо: враг тебя в одну щеку, а ты ему другую. Трусы вы все вот что!

- Цезарь Юлиан - христианин, а не трус,- защищался Стромбик.

- Знаю, племянничек,-продолжал Арагарий,-что вы умеете прощать врагам, когда дело дойдет до сражения.

Эх, мокрые курицы! У тебя и весь живот-то не большего кулака. Луковицу съешь - сыт на целый день. Оттого у тебя кровь, как болотная жижа.

- Ах, дядя, дядя,- промолвил Стромбик укоризненно,- зачем ты напомнил о еде! Опять засосало под ложечкой. Миленький, дай

головку чесноку: я знаю, у тебя осталась в мешке.

- Если я тебе последнее отдам, завтра мы в этом лесуоба с голоду подохнем.

- Ой, тошно, тошно! Если сейчас не дашь, ослабею, упаду и тебе придется меня на плечах нести.

- Ну тебя к черту,-ешь!

- И хлебца, хлебца! - молил Стромбик.

Арагарий отдал другу последний кусок солдатского сухаря с проклятием. Сам он вчера вечером наелся, по крайней мере, на два дня, свиным салом и бобовою квашнею.

- Тише,- проговорил он, останавливаясь.- Труба!

Недалеко от лагеря. Надо держать к северу. Не медведейбоюсь,- продолжал Арагарий, задумчиво, немного помолчав,- а центуриона.

Воины прозвали в шутку этого ненавистного центуриона Cedo Alteram - Давай-Новую, потому что он кричал радостным видом каждый раз, когда в руках его лоза, которою он сек провинившегося солдата, ломалась: CedoAlteram! Эти два слова сделались кличкою.

- Я уверен,-произнес варвар,-Поддай-Новую сделает с моей спиной то же, что дубильщик с бычачьей кожей.

Скверно, племянничек, скверно!

Они отстали от войска, потому что Арагарий, по своемуобыкновению, напился пьян до бесчувствия в ограбленном селении, а Стромбика избили: маленький сириец хотелнасильно добиться благосклонности красивой франкскойдевушки; шестнадцатилетняя красавица, дочь убитого варвара, дала ему такие две пощечины, что он упал навзничь,- и потом истоптала его своими белыми могучиминогами. "Это не девка, а дьявол,- рассказывал Стромбик; - я только ущипнул ее, а она мне едва все ребра непереломала".

Звук трубы становился явственнее.

Арагарий нюхал ветер, как ищейка. Потянуло дымом: должно быть, близко были костры римского лагеря.

Сделалось так темно, что они едва различали дорогу;

тропинка исчезла в болоте; они прыгали с кочки на кочку.

Подымался туман. Вдруг с огромной ели, у которой ветвиувешены были мхом, похожим на пряди длинных седых волос, что-то

вспорхнуло, с криком и шелестом. Стромбик присел от испуга. То был тетерев.

Они совсем заблудились.

Стромбик влез на дерево.

- Костры к северу. Недалеко. Там большая река.

- Рейн! Рейн! - воскликнул Арагарий.- Идем скорее!

Они начали пробираться между вековыми березами и елями.

- Дядя, тону!-захныкал Стромбик.- Кто-то меня за ноги тащит. Где ты?

Арагарий с большим трудом помог ему выйти из болота и, ругаясь, взял себе на плечи. Сармат ощупал ногами старые полусгнившие бревна гати, проложенной римлянами.

Гать привела их к большой дороге, недавно прорубленной в лесу войсками Севера, полководца Юлиана.

Варвары, чтобы пересечь дорогу, завалили ее, по своему обыкновению, срубленными стволами.

Пришлось перелезть через них; эти огромные беспорядочно наваленные деревья, иногда гнилые, только сверху покрытые мхом и рассыпавшиеся от прикосновения ноги, иногда твердые, вымокшие от дождя и скользкие, затрудняли каждый шаг. И по таким дорогам, под вечным страхом нападения, должно было двигаться тринадцатиты-

сячное войско Юлиана, которого все полководцы императора, кроме Севера, изменнически покинули.

Стромбик хныкал, привередничал и проклинал товарища:

- Не пойду дальше, язычник! Лягу в болото и сдохну; по крайней мере лица твоего окаянного не увижу.

У, нехристь! Сейчас видно, что креста на тебе нет. Христианское ли дело, шляться по таким дорогам ночью? И куда лезем? Прямо под розги богопротивному центуриону. Непойду я дальше!..

Арагарий потащил его насильно и, как только дорога стала ровнее, опять ПОНЕС на плечах товарища, который сопротивлялся, ругал и щипал его.

Через некоторое время Стромбик уснул невинным сном на спине "язычника".

В полночь пришли они к воротам римского стана. Всебыло тихо. Подъемный мост через глубокий ров давносняли.

Друзьям пришлось ночевать в лесу, у задних "декуманских" ворот.

На заре прозвучала труба. В туманном лесу, пахнувшем гарью, еще пел соловей; он умолк, испуганный воинственным звуком. Арагарий, проснувшись, почувствовалзапах горячей солдатской похлебки и разбудил Стромбика.

Обоим так хотелось есть, что, несмотря на сучковатую лозу, которой успел вооружиться ненавистный центурион Подай-Новую, вошли они в лагерь и присели к общему котлу.

В главной палатке, у преторианских ворот, цезарь Юлиан бодрствовал.

С того дня, как он в Медиолане наречен был цезарем, благодаря покровительству императрицы Евсевии, с ревностью предавался он военным упражнениям; не толькоизучал, под руководством вождя Севера, военное искусство, но хотел знать в совершенстве и то, что составлялоремесло простых солдат: под звуки медной трубы, в унылых казармах, на марсовом поле, вместе с новобранцами, по целым дням учился ходить в строю правильным шагом, стрелять из лука и пращи, бегать под тяжестью полного вооружения, перепрыгивать плетни и рвы. Преодолевая монашеское лицемерие, пробуждалась в юноше кровьКонстантинова рода-целого ряда поколений суровых, упрямых воинов.

- Увы, божественный Ямвлик и Платон, если бы видели вы, что случилось с вашим питомцем!-воскликнул ониногда, вытирая пот с лица; и, указывая на тяжелые медные доспехи, говорил учителю: - Не правда ли. Север, оружие это так же мало пристало мне, мирному ученику философов, как седло корове?

Север, ничего не отвечая, лукаво усмехался: он знал, что эти вздохи и жалобы - притворство; на самом делецезарь радовался своим быстрым успехам в военной науке.

За несколько месяцев так изменился он, вырос и возмужал, что многие с трудом узнавали в нем прежнего захудалого "маленького грека", как некогда, в насмешку, звали его при дворе Констанция: только глаза Юлиана гореливсе тем же странным, слишком острым,

как будто лихорадочным, огнем, который делал их памятными для всякого, даже после мгновенной встречи.

Он чувствовал себя с каждым днем сильнее, не только телом, но и духом. Первый раз в жизни испытывал счастье простой любви простых людей. Легионерам сначала понравилось то, что настоящий цезарь, двоюродный брат Августа, учится военному ремеслу в казармах, не стыдясь грубой солдатской жизни. Суровые лица старых воинов оживались нежной улыбкой, когда любовались они возрастающей ловкостью цезаря и, вспоминая собственную молодость, удивлялись быстрым успехам Юлиана. Он подходил, заговаривал с ними, выслушивал рассказы о старых походах, советы, как подвязывать панцирь, чтобы не терли ремни, как ставить ногу, чтобы не уставать при больших переходах. Распространялась молва о том, что император Констанций послал неопытного юношу в Галлию к варварам на смерть, "на убой", чтобы освободиться от соперника, - что полководцы, по наущению придворных евнухов, изменяют цезарю. Это еще усилило любовь солдат к Юлиану.

С осторожной вкрадчивостью, с умением заискивать, которым одарило его монашеское воспитание, делал он все, чтоб укрепить в войсках любовь к себе, вражду к императору. Говорил им о своем брате Констанции, с двусмысленным, лукавым смирением потупляя взоры, принимая вид жертвы.

Пленять, влюблять в себя воинов бесстрашием тем легче было цезарю, что смерть в бою казалась ему завидною, сравнительно с той бесславною казнью, которая постигла брата его, - которую, быть может, и ему готовил Август.

Юлиан устроил свою жизнь по образцу древних римских полководцев; стоическая мудрость евнуха Мардония помогла ему с раннего детства отучиться от роскоши.

Он спал меньше простого солдата, и то не на постели, а на жестком ковре с длинной шерстью - субурре. Первую

часть ночи посвящал отдыху; делам военными государственным; третью - музам.

Любимые книги не покидали его в походах, Он вдохновлялся то Марком Аврелием, то Плутархом, то Светонием, то Катон

Цензором. Днем старался исполнить то, о чем мечтал ночью над книгами.

В то памятное утро, перед Аргенторатским сражением, услышав зорю, Юлиан поспешно облекся в полное вооружение и велел привести коня.

Затем удалился в самое скрытое место палатки. Здесь было маленькое изваяние Меркурия с кадуцеем, бога движения, удачи и веселья, - окрыленного, летящего. Юлиан стал перед ним на колени и бросил на жертвенный треножник несколько зерен фимиама. По направлению дыма цезарь, гордившийся познаниями в искусстве прорицателей, старался угадать, счастливый или несчастный день предстоит. Ночью слышал он трижды крик ворона с правой стороны - зловещая примета.

Он был так убежден, что его неожиданные военные удачи в Галлии - дело рук не человеческих, что с каждым днем становился суевернее.

Выходя из шатра, споткнулся о деревянную перекладину, служившую порогом. Лицо его омрачилось. Все предзнаменования были неблагоприятные. Втайне он решил отложить сражение до следующего дня.

Войско выступило. Дорога через лес была трудная; наваленные стволы преграждали ее.

День обещал быть жарким. Римляне сделали только половину пути, и до войска варваров, расположенного на левом берегу Рейна, на большой пустынной равнине близ города Аргенторатума, оставалось еще двадцать одна тысяча шагов, - когда наступил полдень.

Солдаты утомились.

Как только вышли они из лесу, цезарь собрал их и расположил кругами, как зрителей в амфитеатре, так что он сам находился в средоточии кругов, а центурии и когорты расходились от него, как лучи: это был обычный порядок, рассчитанный на то, чтобы наибольшее число людей могло слышать речь полководца.

В простых, кратких словах объяснил он им, что время дня уже позднее, и утомление может помешать успеху, что благоразумнее

расположиться лагерем в том месте, которое они заняли, отдохнуть и на следующее утро, со свежими силами, вступить в сражение.

В войске поднялся ропот. Солдаты ударяли копьями в щиты, что было знаком нетерпения, - и требовали криками, чтобы он вел их немедленно в битву. Цезарь по выражению лиц понял, что не ДОЛЖНО противиться. Он чувствовал в толпе тот, знакомый ему, грозный трепет, который необходим для побед и, при малейшей неосторожности, может превратиться в возмущение.

Он вскочил на коня и подал знак: войско снова выступило.

Когда после полуденное солнце начало склоняться, достигли они равнины Аргенторатума. Между невысокими холмами светлел Рейн. К югу чернели покрытые лесом Вогеzy. Стрижи носились над поверхностью величественной и пустынной германской реки; ивы наклоняли к ней бледные ветви.

Вдруг, на ближнем холме, появились три всадника: то были варвары.

Римляне остановились и начали строиться в боевой порядок. Юлиан, окруженный шестьюстами закованных в железо всадников - клибанариев, предводительствовал конницей на правом крыле; на левом - старый, опытный полководец Север, которого молодой Цезарь слушался во всем, управлял пехотой. Против Юлиана варвары выставили конницу. Во главе был сам аламанский король Хнодомар. Против Севера - молодой Хнодомаров племянник, Атенарик, с пехотой.

Военные рога, медные трубы, загнутые букцины грянули; значки, с именами когорт, пурпурные драконы, римские мерные орлы во главе легионов сдвинулись; впереди, со спокойными и суровыми лицами, выступали мерными тяжелыми шагами, от которых земля дрожала и гудела, привыкшие к победам, секироносцы и примопиларии.

Вдруг пехота Севера на левом крыле остановилась. Варвары, спрятавшиеся во рву, неожиданно выскочили из засады и напали на римлян. Юлиан издали увидел смятение и бросился на помощь. Он старался успокоить солдат и обращался то к одной, то к другой когорте, подражая сжато и сильному слогу Юлия Цезаря. Когда произносил он *"exurgamus, viri fortes"*

"восстанем, храбрые мужи" (лат.).

или "advenit, socii, Iuslum pugnandi;am tempus";настало, соратники, время боев справедливых" (лат.).

ЭТОТ двадцатилетний юноша думал с гордостью: "теперь я похож на такого-то или такого древнего героя!" Он был мысленно, и в самом пылу сражения окружен книгами, радуясь, что все происходит именно так, как описывают Тит Ливий, Плутарх, Саллюстий.

Опытный Север умерял его пыл своим мудрым спокойствием и, давая цезарю некоторую свободу, не выпускал из рук своих главного управления войском.

Засвистели стрелы, варварские копья, бросаемые надлинных арканах, огромные камни из боевых метательных снарядов.

Римляне увидели, наконец, лицом к лицу этих страшных и таинственных людей севера, обитателей дремучих зарейских лесов, о которых ходило столько невероятных слухов. Здесь были чудовищные вооружения; у некоторых громадные голые спины, вместо одежды, покрыты были медвежьими шкурами, а вместо шлема - над косматой головой возвышалась открытая пасть зверя с белыми клыками; у других над касками торчали рога оленей и быков.

Аламань так презирали смерть, что кидались в битву, совершенно голые, только с мечом и копьем; рыжие волосы их связывались узлом на макушке и ниспадали сзади, на шею, огромным чубом или косою, похожей на гриву; белые усы, выделяясь на красных лицах, висели двумя длинными концами. Многие были так дики, что, не ведая употребления железа, сражались копьями с наконечниками из рыбьей кости, смоченными смертоносным ядом, который делали опаснее железа: достаточно было одного укола этих страшных игл, чтобы человек умер медленной смертью в невыразимых муках; вместо лат покрыты они были с головы до ног тонкими роговыми слоями из лошадиных копыт, крепко пришитыми к льняной ткани; в таком уборе казались эти неведомые дикари странными чудовищами, покрытыми птичьими перьями и рыбьей чешуей. Тут был сакс с бледно-голубыми глазами: его не устрашало никакое море, но он боялся земли, по которой ступал; и старый сикамбр: он обстриг себе волосы после поражения в знак горя и теперь снова их отращивал; и герул, с глазами мутно-зелеными, почти такого же цвета, как воды

океана, на отдаленном заливе которого он обитал; и бургунд, и батав, и сармат; и еще-безыменные, полужвери, полулюди: ужасные лица их римляне видели только перед смертью.

Примопиларии, соединив щиты, образовали медную сплошную стену, несокрушимую ни для каких ударов, медленно двигавшуюся. Аламаны бросились на нее, с криками, подобными реву медведей. Начался рукопашный бой грудь с грудью, щит со щитом. Пыль поднялась над равниной, заслоняя солнце.

В это мгновение, на правом крыле войска, железная конница клибанариев дрогнула и обратилась в бегство. Она могла растоптать задние легионы. Там, сквозь тучи стрел и копий, на пыльном солнце сверкала огненная головная повязка исполинского короля Хнодомара.

Юлиан прискакал туда вовремя. Он понял хитрость: пехотинцы варваров, нарочно поставленные между конями всадников, подползали под ноги римских коней и распарывали им животы короткими мечами; кони падали и увлекали за собой железных катафрактов, которые не могли подняться, удрученные тяжестью лат.

Юлиан стал поперек дороги, чтобы или остановить бежавшую конницу, или быть ею растоптанным. С конем цезаря столкнулся конь бежавшего трибуна клибанариев. Он узнал Юлиана и остановился, бледнея от стыда и страха.

Вся кровь бросилась в лицо Юлиану. Вдруг забыл он свои книжные правила, наклонился, схватил беглеца за горло и закричал голосом, который ему самому показался чужим и диким: "Трус!"

И цезарь повернул его лицом к врагам.

Тогда все катафракты остановились, узнали разорванного в сражениях цезарского пурпурного дракона и устыдились. В одно мгновение железная громада с грохотом схлынула и устремилась назад, к варварам.

Все смешалось. Копье ударило Юлиана в грудь; его спас лишь панцирь; стрела просвистела над ухом, так что перьями задела ему щеку.

В это мгновение, на помощь слабеющей коннице, Север послал страшные легионы корнутов и браккатов, полудиких римских

союзников. У них был обычай петь военный гимн - баррит, только в последнем смертном ужасе и опьянении битвы.

Корнуты и браккаты затянули песню глухо и жалобно: первые звуки были тихи, как ночной шелест листьев; но мало-помалу песня становилась громче, торжественнее и грознее; наконец, превратилась в неистовый рев, подобный реву разъяренных волн океана, разбивающихся обутесы. Этой песней они опьянили себя до иступления.

Юлиан перестал видеть и понимать: чувствовал только сильную жажду и боль от усталости в правой руке, державшей меч; время для него исчезло. Но Север, не теряя присутствия духа, управлял сражением с мудростью.

С недоумением и отчаянием заметил цезарь огненно-желтую повязку тучного Хнодомара в самой середине, в сердце войска: варварская конница врезалась в него клином. Юлиан подумал: "Кончено - погубило все!" Вспомнил зловещие предзнаменования утра и обратился с последней молитвой к богам: "помогите, ибо если не я, то кто же восстановит на земле вашу власть, олимпийцы!"

В середине войска были старые воины легиона петулантов - "кипящих", названных так за отвагу; Север рассчитывал на них и не ошибся. Один из петулантов воскликнул: - Viri fortissimi! Мужики храбрейшие! Не выдадим Рима и цезаря. Умрем за Юлиана!

- Да здравствует цезарь Юлиан! За Рим! За Рим!

И старики, поседевшие под знаменами, еще раз пошли на смерть, суровые и спокойные.

Юлиан со слезами восторга бросился к ним, чтобы умереть вместе с ними. И опять почувствовал он, как сила простой любви, сила народа подымает его.

Ужас пронесся над полчищами варваров: они дрогнули и побежали.

И медные орлы легионов с хищными клювами, с распростертыми крыльями, грозно сверкавшими на солнцесквозь пыль, полетели еще раз, возвещая бегущим племенам победу Вечного Города.

Аламаны и франки умирали, сражаясь до последнего вздоха.

Варвар, стоя одним коленом в луже крови, все еще подымал ослабелой рукой притупленный меч или обломок копья; в

потухавших глазах не было ни страха, ни отчаяния, а только жажда мести.

Даже те, которых считали убитыми, вставили с земли, полурастоптанные, хватали зубами ноги врагов и впивались в них с такой силой, что римляне волочили их по земле.

Шесть тысяч северных мужей пало на поле сражения, или потонуло в Рейне.

В тот вечер, когда цезарь Юлиан стоял на холме, окруженный, как ореолом, лучами заходящего солнца, привелик нему пойманного на правом берегу короля Хнодомара; он тяжело дышал, тучный, потный и бледный; руки были связаны за спиной; он стал на колени перед своим победителем - и двадцатилетний римский цезарь положил свою маленькую руку на косматую рыжую гриву короля варвара.

Было время жатвы винограда. Целый день звучали песни богу Вакху по веселому побережью Партенопеи.

В любимом загородном месте римлян, Байях близ Неаполя, знаменитых своими целебными серными ваннами, Байях, о которых еще поэты времен Августа пели: "Nullus in orbe locus Bails praeest atque enis"; "С Байями место любое красой сравниться не может" (лат.).

Праздники людинаслаждались природой, такой же ленивой и сладострастной, как сами они.

Ни одна тень монашеского века не легла еще на залитое солнцем побережье между Везувием и Мизенским мысом; христианства не отрицали здесь, но отделялись от него шуткой; блудницы здесь не каялись, - скорее честные женщины стыдились добродетели своей, как устаревшего обычая. Когда долетали сюда слухи о пророчествах сивилл, грозивших кончиной мира, о ханжестве и злодействах Констанция, о персах, надвигавшихся с Востока, о тучах варваров, растущих с севера, о затворниках, потерявших образ человеческого в пустынях Фиваиды, - счастливые обитатели этих мест, закрыв глаза, вдыхали тонкий аромат фалернских гроздий и утешались эпиграммами, во вкусе Тибулла и Проперция, которые посылали друг другу в подарок: *Calet unda, friget aethra, Sirnue innatet choreis Amathusium renidens, Salis arbitra et vaporis* Напевадается волна,

мерзнут небеса, Как только поплывут хороводы
В лучах Венеры, Моря
и туманов повелительница, Цветок небесный, Диона (лат.).

Что-то старческое и, вместе с тем, ребяческое было на самых веселых лицах этих последних эпикурейцев. Ни свежая соленая вода морских волн, ни кипящие серные струи Байских источников не давали исцеления дряблым, зябким телам этих молодых людей, лысых, беззубых в двадцать лет, состарившихся от разврата своих предков, пресыщенных словесностью, мудростью, женщинами, древними подвигами и новыми пороками, остроумных и бессильных, у которых в жилах была бледная кровь запоздалых поколений.

В одном из самых уютных и цветущих уголков, между Байями и Путеоли, среди плоских черных вершин южных сосен, белели мраморные стены виллы.

У открытого окна, выходившего в море, так что из комнаты не было видно ничего, кроме неба и моря, лежала на постели Мирра.

Врачи не понимали ее болезни. Арсиноя, видя, как день ото дня сестра ее чахнет, увезла ее из Рима на берег моря.

Несмотря на болезнь, Мирра, подражая монахиням, соблюдая строгий пост, сама убирала комнату, носила воду, даже пробовала мыть белье и стирать; долго не соглашалась лечь; проводила ночи в молитвах и бдении. Однажды Арсиноя узнала случайно, что больная носит наголом теле власяницу. Из маленькой спальни своей велела она вынести все, кроме ложа с простым деревянным крестом в изголовьи. Комната с голыми стенами сделалась похожей на келью. Невозможно было бороться с кротким

упорством больной.

Скука исчезла из жизни Арсинои, от надежды переходила она к отчаянию, и хотя любила сестру не больше, чем прежде, но только теперь, казалось ей, под страхом вечной разлуки, поняла всю силу этой любви.

Иногда смотрела подолгу на тонкое, исхудалое лицо Мирры, дышавшее неземной прелестью, на маленькое тело ее, сгоравшее от внутреннего жара. Когда больная упорно отказывалась от лекарств и пищи, предписанных врачами, Арсиноя говорила с досадой: - Разве я не вижу, Мирра? Ты хочешь умереть...

- Не все ли равно, жить или умереть? - отвечала девушка с такой ясностью, что Арсиноя не знала, что ответить, - Ты не любишь меня!- упрекала она сестру, удерживая живая слезы обиды.

Но Мирра ласкалась к ней с бесконечной нежностью: - Ты не знаешь, как я тебя люблю. О, если бы ты только могла!..

Она не договаривала и молча смотрела на нее долгим, пристальным взором, как будто хотела сказать ей что-то не смела. Арсиноя чувствовала в этом взоре непреклонную мольбу и все-таки не говорила с ней о вере, не имела духа открыть ей свои сомнения, отнять у нее, может быть, безумную надежду.

Мирра ослабевала с каждым днем, таяла, как воск горячей свечи, но становилась,-- чем слабее, тем радостнее.

Иногда их посещал Ювентин, который бежал из Рима, боясь преследований матери, и ждал вместе со старцем Дидимом в Неаполе отплытия корабля в Александрию.

Он читал Евангелие, рассказывал легенды об отцах-пустынниках,-- о трех женах, которые много лет, не видя лица человеческого, жили, голые, как в раю, под сенью зеленых ветвей, на дне оврага, на берегу студеного ключа; вечно радостные, днем и ночью славя Бога, питались они плодами, приносимыми птицами; зимой не боялись стужи, летом зноя; Господь покрывал и грел их Своею благодатью.

С детским весельем слушала Мирра сказание о преподобном Герасиме, который жил во львином логове; лев так подружился с ним, что водил осла его на водопой, лизал ему руки, когда он гладил его по гриве; и после смерти Герасима, зверь долго блуждал, тоскуя, испуская жалобный рев; когда же привели его к могиле святого, обнюхал ее, лег и уже не вставал с нее, не принимая пищи, пока не издох.

Мирру трогало сказание и о другом отшельнике, исцелившем от слепоты щенят гиены, которых мать принесла в своей пасти к ногам его.

Как хотелось ей - туда, в темные, безмолвные пещеры, к этим святым людям! Пустыня казалась ей цветущей, как рай.

Иногда, в жару, томимая жаждою пустыни, следила она за белыми парусами, исчезающими в море, и протягивала к ним свои руки.- О,

если бы могла она полететь за ними, надышаться воздухом пустыни! - Иногда она пробовала встать с постели, уверяя, что ей лучше, что теперь она уже скоро выздоровеет, и втайне надеясь, что ее отпустят, вместе с Дидимом и Ювентином, когда придет Александрийский корабль.

В это время центурион Анатолий жил в Байях.

Он устраивал прогулки на вызолоченных лодках из Авернского озера в залив, с веселыми товарищами и красивыми женщинами; наслаждался видом остроконечных пурпурных парусов на зеркале спящего моря, - переливами вечерних красок на скалистой Капрее и туманной Исхии, похожих на прозрачные аметисты; радовался насмешкам Друзей над верою в богов, благоуханию вина, продажными все-таки сладким лобзаниям блудниц.

Но каждый раз, вступая в монашескую келью Мирры, чувствовал, что и другая половина жизни доступна ему: целомудренная прелесть бледного лица ее трогала его;

ему хотелось верить во все, во что она верит; он слушал рассказы Ювентина об отшельниках - и жизнь их казалась ему блаженною.

Однажды вечером уснула Мирра перед открытым окном. Проснувшись, сказала она Ювентину с улыбкой: - Я видела сон.

- Какой?

- Не помню. Только счастливый. - Как ты думаешь, все ли спасутся?

- Все праведные.

- Праведные, грешные!.. Нет, я думаю, - отвечала Мирра все с той же радостной и задумчивой улыбкой, как будто стараясь припомнить сон, - Ювентин, знаешь, я думаю: все, все спасутся, все до единого - и не будет у Бога ни одного погибшего!

- Так учил Ориген: "Salvator meus laetari non potest donec edo in iniquitate permaneo". - "Спаситель мой не возрадуется, пока я пребуду в погибели". Но это - ересь.

- Да, да, так должно быть, - продолжала Мирра, не слушая. - Я теперь поняла: все спасутся, все до единого!

Бог не попустит, чтобы погибла какая-либо тварь.

- И мне иногда хочется думать так, - проговорил Ювентин. - Но я боюсь...

- Не надо бояться: если есть любовь, то нет страха.

Я не боюсь.

- А как же -он?- спросил Ювентин.

- Кто?

- Кого не должно называть-непокорный?

- И он, и он! - воскликнула Мирра с бесстрашной верой.- Пока останется хоть одна душа, не достигшая спасения, никакое создание не будет блаженно. Если нет предела любви, то может ли быть иначе? Когда соединится все в единой любви,-то все будет в Боге и Бог будет во всем. Милый мой, какая радость - жизнь! Мы этого пока еще не знаем. Но надо все благословить, понимаешь ли ты, брат мой, что значит - все благословить?

- А зло?

- Зла нет, если смерти нет.

В окно доносились веселые песни товарищей Анатолия с пиршественных лодок, блиставших пурпуром и остроконечными парусами на потемневшем вечернем заливе.

Мирра указала на них:

- И это хорошо, и это надо благословить,- молвила она тихо, как будто про себя.

- Языческие песни? - спросил Ювентин с робким недоумением.

Мирра наклонила голову: - Да, да. Все. Все благо, все свято. Красота - свет Божий. Чего ты боишься, милый? О, какая нужна свобода, чтобы любить. Люби Его и не бойся! Люби все. Ты еще не знаешь, какое счастье - жизнь.

И глубоко вздохнув, как будто в ожидании великого отдыха, она прибавила: - И какое счастье - смерть.

Это была их последняя беседа. Несколько дней лежала она молча, неподвижно, не открывая глаз; должно быть, очень страдала: тонкие брови иногда трепетно сжимались, но тотчас же выступала прежняя, слабая и кроткая улыбка-и ни один стон, ни одна жалоба не вылетали из уст ее. Раз, в середине ночи, едва слышно позвала она Арсиною, сидевшую рядом. Больная с трудом могла говорить.

- День? -спросила она, не открывая глаз.

- Еще ночь; но скоро утро,-отвечала Арсиноя.

- Я не слышу-кто ты?-проговорила Мирра еще тише.

- Я, Арсиноя.

Больная открыла вдруг глаза и пристально взглянула на сестру.

- А мне показалось,- произнесла она с усилием, что это не ты, что я - одна.

И медленно, с большим трудом, едва двигаясь, сложила Мирра свои тонкие, прозрачно-бледные руки, ладонь к ладони, с робкой мольбой; концы губ ее дрогнули; брови поднялись.

- Не покидай меня, Арсиноя! Когда умру, не думай, что меня нет...

Сестра наклонилась; но больная была слишком слаба, чтобы обнять ее шею,- попробовала и не могла. Тогда Арсиноя приблизила к ее глазам свою щеку, и та тихонько, пушистыми, длинными ресницами, стала прикасаться к ее лицу, опуская, подымая их, как будто гладила ее: это была обычная у них, еще в детстве придуманная Миррой, ласка;

казалось, что на щеке бьется тонкими крыльями бабочка.

Последняя детская ласка эта вдруг напомнила Арсиноевсю их жизнь вместе, всю их любовь. Она упала на колени и в первый раз, после многих лет, зарыдала вольно и сладостно; сердце ее, казалось ей, таяло, изливалось в этих слезах.

- Нет, нет, нет!- рыдала она все не удержимее. - Не покину тебя; буду с тобой - всегда, везде!..

Глаза умирающей блеснули радостью; она прошептала: - Значит-ты?..

- Да, верю!.. Хочу и буду верить!- воскликнула Арсиноя и сама вдруг удивилась этим неожиданным словам: они показались ей чудом, но не обманом, и она уже не хотела взять их назад.

- Пойду в пустыню. Мирра, как ты, вместо тебя! продолжала она с почти безумным порывом. - И если есть Бог, Он должен сделать так, чтобы смерти не было, чтобы мы были вместе- всегда!

Мирра, слушая сестру, с улыбкой бесконечного успокоения закрыла глаза.

- Теперь хорошо. Я усну,- прошептала она.

И с тех пор уже не открывала глаз, не говорила. Лицо ее было спокойно и строго, как у мертвых. Но она еще дышала несколько дней.

Когда к закрытым губам ее подносили чашу с вином, она глотала несколько капель.

Если же дыхание становилось неровным и тяжелым, Ювентин, наклонившись, вполголоса читал молитву или пел церковный гимн; и Мирра опять начинала дышать тише, ровнее, как будто убаюканная.

Однажды, в ясный вечер, когда солнце превратило Иксию и Капрею в прозрачные аметисты,- неподвижное море сливалось с небом, и первая звезда еще не мерцала, а только предчувствовалась в высоте недостижимой, Ювентин запел вечерний гимн над умирающей:

Deus, creator omnium Polique rector vestiens Diem decore lurnitie,
Noctem sopora gratia...

Бог, Творец всего сущего, Царь небес, одевающий Дни лучами прекрасными, Ночи сонною прелестью, Чтоб возвратить утомленные Члены труда, после отдыха, Дух укрепить слабеющий, Скорбь разрешить боязливую...

Под звуки этой песни Мирра испустила последний вздох. Никто не заметил, как она перестала дышать.

Жизнь и смерть были для нее одно и то же: жизнь слилась с вечностью, как теплота вечера - с ночною свежестью.

Арсинья похоронила сестру в катакомбах и собственной рукой вывела на мраморной плите: "Mirra vivis Мирра, ты жива".

Она почти не плакала; в душе ее было бесстрашие, презрение к миру и, подобная отчаянию, решимость, если не поверить в Бога, то, по крайней мере, сделать все, чтобы в Него поверить.

Она хотела, раздав имение, пойти в пустыню.

В тот самый день, как Арсинья, к негодованию опекуна своего, Гортензия, сказала ему об этом,- получила она загадочное и краткое письмо из Галлии от цезаря Юлиана:

"Юлиан благороднейшей Арсинье - радоваться.

Помнишь ли, что говорили мы с тобой в Афинах, перед изваянием Артемиды-Охотницы? Помнишь ли союзнаш? - Сильна моя ненависть, еще сильнее любовь. Может быть, скоро лев сбросит ослиную шкуру. А пока будем чисты, как голуби, мудры, как змеи, по слову Галилеянина".

Придворные сочинители эпиграмм, называвшие некогда Юлиана "victorinus", "победительчик", теперь с удивлением получали известия о победах цезаря в Галлии. Смешное превращалось в страшное.

Многие говорили о магии, о таинственных силах, помогающих другу Максима Эфесского.

Юлиан отвоевал и возвратил Империи - Аргенторатум, Брокомагум, Три Таверны, Сализон, Немэт, Вангион, Могунтиак.

Солдаты боготворили его. С каждым шагом все больше убеждался он, что боги Олимпа ему покровительствуют.

Но продолжал посещать церкви христианские, и в городе Виэнне, на реке Родане, участвовал нарочно в торжественном богослужении.

В середине декабря победоносный цезарь возвращался, после долгого похода, на зимние квартиры в излюбленный им маленький городок паризиев, на реке Сене, Лютецию Париж.

Был вечер. Северное небо удивляло жителей юга странным бледно-зеленым отливом. Только что выпавший снег хрустел под ногами воинов.

Париж-Лютеция, расположенный посередине реки на маленьком острове, со всех сторон окружен был водой.

Два деревянных моста соединяли город с берегами. Дома были особого галло-римского зодчества, со стеклянными обширными сенями, заменявшими открытые портики южных стран. Столбы дыма из множества труб подымались над городом. Деревья были увешены инеем. В садах, у стен, обращенных к полдню, как южные, зябкие дети, жались редкие, привезенные сюда римлянами, фиговые деревья, тщательно обвитые соломой для предохранения от морозов. В тот год зима стояла суровая, несмотря на западные ветры с океана, приносящие оттепель. Огромные белые льдины, сталкиваясь и с треском ломаясь, плыли по Сене. Римские и греческие воины смотрели на них с удивлением. Юлиан, любясь на прозрачные, не то голубые, не то зеленые глыбы, сравнивал их с плитами фригийского белого мрамора, слегка подернутого зелеными жилками.

Что-то было во всей печальной, таинственной прелести севера, что пленяло и трогало сердце его, как воспоминание о далекой родине.

Подъехали ко дворцу - огромному зданию, черневшему тяжелыми кирпичными дугами и башнями на вечернем светлом небе.

Юлиан вошел в книгохранилище. Здесь было сыро и холодно. Развели огонь в огромном очаге.

Ему подали несколько писем, полученных в Лютении, во время его отсутствия; одно-из Малой Азии от Божественного Ямвлика.

Поднялась метель. Ветер выл в трубе очага. Казалось, что в закрытые ставни стучатся. Юлиан прочел письмо Ямвлика. На него пахло югом, Элладой; он закрыл глаза, и ему казалось, что мраморные Пропилеи, объятые пылью, проносятся и тают перед ним, как видения, как золотые облака на небе.

Он вздрогнул и встал. Огонь потух. Мышь грызла пергаментный свиток. Ему захотелось увидеть живое лицо человеческого. Вдруг вспомнил о своей жене, и странная усмешка искривила губы его.

Это была родственница императрицы Евсевии, по имени Елена, которую император насильно выдал замуж за Юлиана, незадолго до его отъезда в Галлию. Он ее не любил; несмотря на то, что со дня их свадьбы прошло более года, почти не видел и не знал ее: она оставалась девственницей. С отроческих лет мечтала Елена сделаться "невестой Христовой"; мысль о браке внушала ей ужас;

выйдя замуж, считала себя погибшей. Но потом, видя, что Юлиан не требует супружеских ласк, успокоилась и стала жить во дворце, как монахиня, всегда одинокая, бледная, тихая, закутанная с головы до ног в черные христианские одежды. В своих тайных молитвах дала она обет целомудрия.

Злое любопытство заставило его в ту ночь направиться по темным, пустынным проходам к башне дворца, где жила Елена.

Он открыл дверь, не постучавшись, и вошел в слабоосвещенную келью. Девушка стояла на коленях, переданалом и большим крестом.

Он подошел к ней, закрывая рукою пламя лампы, и некоторое время смотрел молча. Она так погружена была в молитву, что не заметила его. Он произнес: - Елена!

Она вскрикнула и обернула к нему бледное лицо.

Он устремил долгий, евангельский, аналой:

- Все молишься?

- Да, молюсь - и за тебя, боголюбивейший цезарь...

- И за меня? Вот как. Ты считаешь меня великим

грешником, Елена?

Она потупила глаза, не отвечая. Он опять усмехнулся все той же странною, тихою усмешкою.

- Не бойся. Говори. Не думаешь ли ты, что я в чемнибудь особенно грешен?

Он подошел к ней и заглянул ей прямо в глаза. Она произнесла чуть слышно:

- Особенно? Да. Я думаю - не сердись на меня...

- Скажи, в чем. Я покаюсь.

- Не смейся,- промолвила она еще тише и строже, не подымая глаз.- Я дам ответ за душу твою перед

Богом.

- Ты - за меня?

- Мы навеки связаны.

- Чем?

- Таинством.

- Церковным браком? Но ведь мы пока чужие, Елена?

- Я боюсь за душу твою, Юлиан,-повторила она, смотря прямо в глаза его своими ясными, невинными глазами.

Положив руку на плечо ее, взглянул он с усмешкой набескровное лицо монахини. Девственным холодом веялоот этого лица; только нежно-розовые губы очень красивого, маленького рта, полуоткрытого с выражением детского страха и вопроса, странно выделялись на нем.

Он вдруг наклонился и, прежде чем она успела опомниться, поцеловал ее в губы.

Она вскочила, бросилась в противоположный уголкельи и закрыла лицо руками; потом отвела их медленной, взглянув на него глазами, обезумевшими от страха, вдруг начала торопливо крестить себя и его:

- Прочь, прочь, прочь, Окаянный! Место наше свято! Именем честного Креста заклинаю - сгинь, пропади!

Да воскреснет Бог и расточатся враги Его!..

Злость овладела им. Он подошел к двери, запер ее наключ. Потом снова вернулся к жене:

- Успокойся, Елена. Ты приняла меня за другого, но я такой же человек, как ты. Дух плоти и костей не имеет, как видишь у меня. Я муж твой. Церковь Христова благословила наш союз.

Медленно провела она рукой по глазам.

- Прости... Мне почудилось. Ты вошел так внезапно.

Мне уже были видения. Он бродит здесь по ночам. Я его видела два раза; он говорил мне о тебе. С тех пор я боюсь. Он говорил, что на лице твоём... зачем ты так смотришь, Юлиан?

Как пойманная птица, дрожала она, прижимаясь к стене. Он подошел и обнял ее.

- Что ты, что ты?.. Оставь!..

Она пробовала закричать, позвать служанку: - Елевферия! Елевферия!

- Глупая! Разве я не муж твой?..

Она вдруг тихо и беспомощно заплакала: - Брат мой! этого не должно быть. Я дала обет Богу: я - невеста Христова. Я думала, что ты.

.

- Невеста римского цезаря не может быть невестой Христовой!

- Юлиан, если веришь в Него...

Он засмеялся.

С последним усилием пыталась она оттолкнуть его: - Прочь, дьявол, дьявол!.. Зачем Ты покинул меня, Господи?..

Продолжая смеяться, он покрывал ее белую тонкую шею, там, где начинались волосы, злыми, жадными поцелуями.

Ему казалось, что он совершает убийство. Она так слаба, что едва сопротивлялась ему, но все еще шептала с бесконечной мольбой: "сжался, сжался, брат мой!"

Кошунственными руками срывал он черные христианские одежды. Душа его была объята ужасом, но никогда в жизни не испытывал он такого упоения. Вдруг, сквозь разорванную ткань, сверкнула нагота. Тогда, с усмешкой и вызовом, римский цезарь посмотрел в противоположный угол кельи, где лампада мерцала на молитвенном аналое, перед черным Крестом.

Прошло более года со времени победы при Аргенторатуме. Юлиан освободил Галлию от варваров.

Ранней весной, еще на зимних квартирах, в Лютеции, получил он важное письмо от императора, привезенное трибуном нотариусом, Деценцием.

Каждая победа в Галлии оскорбляла Констанция, была новым ударом его тщеславию: этот мальчишка, эта "болтливая сорока", "обезьяна в пурпуре", смешной "победительчик", к негодованию придворных шутников, превращался в настоящего грозного победителя.

Констанций завидовал Юлиану и в то же время сам терпел поражение за поражением, в азиатских провинциях, от персов.

Он худел, не спал, терял охоту к пище. Два раза делалось у него разлитие желчи. Придворные врачи были в тревоге.

Иногда, в бессонные ночи, с открытыми глазами лежал он на своем великолепном ложе под священной Константиновой Хоругвью, Лабарумом, и думал:

"Евсевия обманула меня. Если бы не она, я исполнил бы совет Павла и Меркурия, придушил бы этого мальчишку, змееныша из дома Флавиев. Глупец! Сам отогрел его на груди своей. И кто знает, может быть, Евсевия была его любовницей!.."

Запоздалая ревность делала зависть его еще более жгучей: отомстить Евсевии он уже не мог — она умерла;

вторая супруга его, Фаустина, была глупенькой красивой девочкой, которую он презирал.

Констанций хватался в темноте за жидкие волосы, так тщательно подвиваемые каждое утро цирюльником, и плакал злыми слезами.

Он ли не защищал Церкви, не заботился об искоренении всех ересей? Он ли не строил и не украшал церквей, не творил каждое утро, каждый вечер установленных молитв и коленопреклонений? И что же? Какая награда?

Первый раз в жизни владыка земной возмущался против Владыки Небесного. Молитва замирала на устах его.

Чтобы утолить хоть немного свою зависть, решил он прибегнуть к чрезвычайному средству. По всем большим городам Империи разосланы были "триумфальные" пись-

ма, обвитые лаврами, возвещавшие о победах, дарованных Божьей милостью императору Констанцию; письма

читались на площадях. Судя по этим письмам, можно было думать, что четыре раза переходил Рейн не Юлиан, а Констанций, который однако, в это же самое время, на другом краю света терпел поражения в бесславных битвах с персами; что не Юлиан был ранен при Аргенторатуме и взял в плен короля Хнодомара, а Констанций; не Юлиан проходил болота и дремучие леса, прорывал дороги, осаждал крепости, терпел голод, жажду, зной, уставал больше простых солдат, спал меньше их, а Констанций.

Не упоминалось даже имени Юлиана в этих лавровенчаных посланиях, как будто никакого цезаря вовсе не было.

Народ приветствовал победителя Галлии - Констанция, и во всех церквах пресвитеры, епископы, патриархи служили молебны, испрашивая долгоденствия и здоровья императору, благодаря Бога за победы над варварами, дарованные Констанцию.

Но зависть, пожиравшая сердце императора, не утолилась.

Тогда задумал он отнять у Юлиана лучший цвет легионов, незаметно, исподволь обессилить его, как некогда Галла, завлечь тихонько в сети свои и потом уже безоружному нанести последний удар.

С этой целью послан был в Лютецию опытный чиновник, трибун нотариус, Деценций, который должен был немедленно извлечь из цезаревых войск лучшие вспомогательные легионы-герулов, батавов, петулантов, кельтов и направить их в Азию, к императору; кроме того, предоставлено ему было выбрать из каждого легиона по триста самых храбрых воинов; а трибун Синтула получил приказание, соединив отборных щитоносцев и гентилей, стать во главе их и также вести к императору.

Юлиан, предостерегая Деценция, указывал на опасность бунта среди легионов, состоявших из варваров, которые скорее согласились бы умереть, чем покинуть родину. Деценций не обратил внимания на эти предостережения, сохраняя невозмутимую чиновничью важность набритом и желтом хитром лице.

Около одного из деревянных мостов, соединявших остров Лютецию с берегом, тянулось длинное здание главных казарм.

Волнение в войске распространялось с утра. Только строгий порядок, введенный Юлианом, еще сдерживал солдат.

Первые когорты петулантов и герулов выступили ночью. Братья их, кельты и батавы, также собирались в путь.

Синтула отдавал приказания уверенным голосом, когда вдруг слышался ропот. Одного непокорного солдата уже засекли розгами до полусмерти. Всюду шнырял Деценцийс пером за ухом, с бумагами в руках.

На дворе и на дороге, под вечерним пасмурным небом, стояли крытые полотнами повозки с огромными колесами, для солдатских жен и детей. Женщины причитали, прощаясь с родиной. Иные протягивали руки к дремучим лесам пустынным равнинам; иные падали на землю и с жалобным воем целовали ее, называли своей матерью, скорбели о том, что кости их сгниют в чужой земле; иные, в покорном и молчаливом горе, завязывали в тряпочку горсть родной земли на память. Тощая сука, с ребрами, выступавшими от худобы, лизала колесную ось, смазанную салом. Вдруг, отойдя в сторону и уткнув морду в пыль, она завывала. Все, обернувшись, вздрогнули. Легионер сердито ударил ее ногой. Поджав хвост, с визгом убежала она в поле, и там, остановившись, завывала еще жалобнее, еще громче. И страшен был в чуткой тишине пасмурного вечера этот протяжный вой.

Сармат Арагарий принадлежал к числу тех, которые должны были покинуть Север. Он прощался со своим верным другом Стромбиком.

- Дядюшка, миленький, на кого ты меня покидаешь!..- хныкал Стромбик, глотая солдатскую похлебку;

ему уступил ее Арагарий, который от горя не мог есть;

у Стромбика лились слезы в похлебку, но все-таки он ел ее с жадностью.

- Ну, ну, молчи, дурак,- утешал его Арагарий, по своему обыкновению, презрительной и в то же время ласковой руганью.- И без тебя довольно бабьего воя!.. Лучше скажи-ка мне толком - ведь ты из тамошних мест что за лес в этих странах, дубовый больше, или березовый?

- Что ты, дядюшка? Бог с тобой! Какой там лес?

Песок да камень!

- Ну? Куда же от солнца прячутся люди?

- Некуда, дядюшка, и спрятаться. Одно слово - пустыня. Жарко - примерно сказать - как над плитой.

И воды нет.

- Как нет воды? Ну, а пиво есть?

- Какое пиво! И не слыхали о пиве.

- Врешь!

- Лопни глаза мои, дядюшка, если во всей Азии, Месопотамии, Сирии найдешь ты хоть один бочонок пива или меда!

- Ну, брат, плохо! Жарко, да еще ни воды, ни пива, ни меда. Гонят нас видно на край света, как быков наубой.

- К черту на рога, дядюшка, прямо к черту на рога.

И Стромбик захныкал еще жалобнее.

В это время послышался далекий шум и гул голосов.

Оба Друга выбежали из казарм.

На остров Лютецию через пловучий мост бежали толпы солдат. Крики приближались. Тревога охватила казармы. Воины выходили на дорогу, собирались и кричали, несмотря на приказания, угрозы, даже удары центурионов.

- Что случилось? - спрашивал ветеран, который нес солдатскую поварню вязанку хвороста.

- Еще, говорят, двадцать человек засекли.

- Какой двадцать - сто!

- Всех по очереди сечь будут-такой приказ!

Вдруг в толпу вбежал солдат в разорванной одежде, с бледным, обезумевшим лицом, и закричал: - Бегите, бегите во дворец! Юлиана зарезали!

Слова эти упали, как искра в сухую солому. Давнотлевшее пламя бунта вспыхнуло неудержимо. Лица сделались зверскими. Никто ничего не понимал, никто никогоне слушал. Все вместе кричали: - Где злодеи?

- Бейте мерзавцев!

- Кого?

- Посланных императора Констанция!

- Долой императора!

- Эх вы, трусы,- такого вождя предали!

Двух первых попавшихся, ни в чем неповинных центурионов повалили на землю, растоптали ногами, хотели разорвать на части. Брызнула кровь, и при виде ее солдатырассвирепели еще больше.

Толпа, хлынувшая через мост, приближалась к зданиюказарм. Вдруг сделался явственным оглушительный крик: - Слава императору Юлиану, слава Августу Юлиану!

- Убили! Убили!

- Молчите, дураки! Август жив-сами только что видели!

- Цезарь жив?

- Не цезарь,- император!

- Кто же сказал, что убили?

- Где же негодяй?

- Хотели убить!

- Кто хотел?

- Констанций!

- Долой Констанция! Долой проклятых евнухов!

Кто-то на коне проскакал в сумерках так быстро, чтоедва успели его узнать.

- Деценций! Деценций! Ловите разбойника!

Канцелярское перо все еще торчало у него за ухом, походная чернильница болталась за поясом. Провожаемыйхохотом и руганью, он исчез.

Толпа росла. В темноте вечера бунтующее войско грозно волновалось и гудело. Ярость сменилась ребяческимвосторгом, когда увидели, что легионы герулов и петулантов, отправленных утром, повернули назад, тоже возмущившись. Многие обнимали земляков, жен и детей, как последолгой разлуки. Иные плакали от радости. Другие, с Криком, ударяли мечами в звонкие щиты. Разложили костры.

Явились ораторы. Стромбик, бывший в молодости балаганным шутом в Антиохии, почувствовал прилив вдохновения. Товарищи подняли его на руки, и, делая театральныедвижения руками, он начал: "Nos quidem ad orbis terrarumextrema ut noxii pellimur et damnati,- нас отсылают на крайсвета, как осужденных, как злодеев;

семьи наши, которые ценою крови мы выкупили из рабства, снова подпадут под иго аламанов".

Не успел он кончить, как из казарм послышались пронзительные вопли, как будто резали поросенка, и вместе с ними хорошо знакомые солдатам удары лозы по голому телу: воины секли ненавистного центуриона Cedo Alteram. Солдат, бывший своего начальника, отбросил кровавленную лозу и, при всеобщем хохоте, закричал, подражая веселому голосу центуриона: "Давай новую!" "Cedo Alteram!"

- Во дворец! Во дворец!- загудела толпа.- Провозгласим Юлиана августом, венчаем диадемой!

Все устремились, бросив на дворе полумертвого центуриона, лежавшего в луже крови.- Редкие звезды мерцали сквозь тучи. Сухой, порывистый ветер подымал пыль.

Ворота, двери, ставни дворца были наглухо заперты: здание казалось необитаемым.

Предчувствуя бунт, Юлиан никуда не выходил, почти не показывался солдатам и был занят гаданиями. Два дня, две ночи ждал чудес и явлений.

В длинной, белой одежде пифагорейцев, с лампадой в руках, он подымался по узкой лестнице на самую высокую башню дворца. Там уже стоял, наблюдая звезды, в остроконечной, войлочной тиаре, персидский маг, помощник Максима Эфесского, посланный им Юлиану, тот самый Ногодарес, который некогда, в кабачке Сиракса, у подошвы Аргейской горы, предсказал трибуну Скудило его судьбу.

- Ну, что?- спросил Юлиан с тревогою, обозревая темный свод неба.

- Не видно,- отвечал Ногодарес,- облака мешают.

Юлиан сделал рукою нетерпеливое движение: - Ни одного знамения! Точно небо и земля сговорились...

Промелькнула летучая мышь.

- Смотри, смотри,- может быть, по ее полету ты что-нибудь предскажешь.

Она почти коснулась лица Юлиана холодным, таинственным крылом и скрылась.

- Душа, тебе родная,- прошептал Ногодарес,- помни: сегодня ночью должно совершиться великое...

Послышались крики войска, неясные,- ветер заглушал их.

- Если что-нибудь узнаешь, приходи,- сказал Юлиани спустился в книгохранилище.

Он начал ходить по огромной зале, из угла в угол, быстрыми неровными шагами. Иногда останавливался, насторожившись. Ему казалось, что кто-то следует за ним, и странный сверхъестественный холод в темноте веял ему в затылок. Он быстро оборачивался - никого не было;

только тяжело и смутно волновавшаяся кровь стучала в виски. Опять начинал ходить - и опять казалось ему, что кто-то быстро, быстро шепчет ему на ухо слова, которые не успевает он разобрать.

Вошел слуга с известием, что старик, приехавший из Афин по очень важному делу, желает видеть его. Юлиан, вскрикнув от радости, бросился навстречу. Он думал, что это Максим, но ошибся: то был великий иерофант Елевсинских таинств, которого он также с нетерпением ждал.

- Отец,- воскликнул цезарь,- спаси меня! Я должен знать волю богов. Пойдем скорее - все готово.

В это мгновение вокруг дворца раздались уже близкие, подобно раскату грома, оглушительные крики войска; старые кирпичные стены дрогнули.

Вбежал трибун придворных щитоносцев, бледный от ужаса:

- Бунт! Солдаты ломают ворота!

Юлиан сделал повелительный знак рукою.

- Не бойтесь! Потом, потом! Не впускать сюда никого!..

И, схватив иерофанта за руку, повлек его по крутой лестнице в темный погреб и запер за собой тяжелую кованую дверь.

В погребе было все: свечки, пламя которых отражалось в серебряном изваянии Гелиоса-Митры, бога Солнца; курильницы, священные сосуды с водою, вином и медом для возлияния, с мукою и солью для посыпания жертв; в клетках - различные птицы для гадания: утки, голуби, куры, гуси, орел; белый ягненок, связанный, жалобно блеявший.

- Скорее! Скорее! Я должен знать волю богов,- торопил Юлиан иерофанта, подавая остро отточенный нож.

Запыхавшийся старик совершил наскоро молитвы и возлияния. Заколол ягненка; часть мяса и жира положил на угли жертвенника и с таинственными заклинаниями начал осматривать внутренности; привычными руками вынимал окровавленную печень, сердце, легкие, исследуя их со всех сторон.

- Сильный будет низвержен,-проговорил иерофант, указывая на сердце ягненка, еще теплое.-Страшная смерть...

- Кто?-спрашивал Юлиан.-Я или он?

- Не знаю.

-И ты не знаешь?..

- Цезарь,- произнес старик,- не торопись. Сегодня ночью не решайся ни на что. Подожди до утра: предзнаменования сомнительны - и даже...

Не договорив, принялся он за другую жертву-за гуся, потом за орла. Сверху доносился шум толпы, подобный шуму наводнения. Раздавались удары лома по железным воротам. Юлиан ничего не слышал и с жадным любопытством рассматривал окровавленные внутренности: в почках зарезанной курицы надеялся увидеть тайны богов.

Старый жрец, качая головой, повторил: - Ни на что не решайся: боги молчат.

- Что это значит? - воскликнул цезарь с негодованием.- Нашли время молчать!..

Вошел Ногодарес, с торжествующим видом: - Юлиан, радуйся! Эта ночь решит судьбу твою. Спешу, дерзай - иначе будет поздно...

Маг взглянул на иерофанта, иерофант на мага.

- Берегись!-проговорил елевсинский жрец, нахмурившись.

- Дерзай! - молвил Ногодарес.

Юлиан, стоя между ними, смотрел то на того, то на другого в недоумении. Лица обоих авгуров были непроницаемы; они ревновали его друг к другу.

- Что же делать? Что же делать?-прошептал Юлиан.

Вдруг о чем-то вспомнил и обрадовался: - Подождите, у меня есть древняя сибиллова книга О противоречии в ауспигиях. Справимся!

Он побежал вверх в книгохранилище. В одном из проходов встретился ему епископ Дорофей в облачении, с крестом и Св.

Дарами.

- Что это? - спросил Юлиан, невольно отступая.

- Св. Тайны умирающей жене твоей, цезарь.

Дорофей пристально взглянул на пифагорейскую одежду Юлиана, на бледное лицо его с горящими глазами и окровавленные руки.

- Твоя супруга,- продолжал епископ,- желала бы видеть тебя перед смертью.

- Хорошо, хорошо - только не сейчас - потом...

О, боги! Еще дурное знамение. И в такую минуту. Все, что делает она,- некстати!..

Он вбежал в книгохранилище, начал шарить в пыльных свитках. Вдруг послышалось ему, что чей-то голос явственно прошелестел ему в ухо: "дерзай! дерзай! дерзай!"

- Максим! Ты?- вскрикнул Юлиан и обернулся.

В темной комнате не было никого. Сердце его так сильно билось, что он приложил к нему руку; холодный пот выступил на лбу.

- Вот чего я ждал,- проговорил Юлиан.- Это был голос его. Теперь иду. Все кончено. Жребий брошен!

Железные ворота рухнули с оглушающим грохотом.

Солдаты ворвались в атриум. Слышался рев толпы, подобный реву зверя, и топот бесчисленных ног. Багровый свет факелов блеснул сквозь щели ставней, как зарево. Нельзя было медлить. Юлиан сбросил белую пифагорейскую одежду, облекся в броню, в цезарский палудаментум, шлем, подвязал меч, побежал по главной лестнице к выходным дверям, открыл их и вдруг явился перед войском с торжественно ясным лицом.

Все сомнения исчезли: в действии воля его окрепла;

никогда еще в жизни не испытывал он такой внутренней силы, ясности духа и трезвости. Толпа это сразу почувствовала. Бледное лицо его казалось царственным и страшным. Он подал знак рукою - все притихли.

Он говорил: убеждал солдат успокоиться, уверял, что не покинет их, не позволит увести на чужбину, умолит своего "достолубезного брата", императора Констанция.

- Долой Констанция!- перебили солдаты дружным криком.- Долой братоубийцу! Ты-император, не хотим Другого. Слава Юлиану-

Августу-Непобедимому!

Он искусно разыграл роль человека, изумленного, даже испуганного: потупил глаза, отвернул лицо в сторону и выставил руки вперед, подняв ладони, как будто отталкивая преступный дар и защищаясь от него. Крики усилились.

- Что вы делаете? - воскликнул Юлиан, с притворным ужасом.- Не губите себя и меня! Неужели думаете, что я могу изменить Благочестивому?..

- Убийца твоего отца, убийца Галла! - кричали солдаты.

- Молчите, молчите! - замахал он руками и вдруг поступеням лестницы бросился в толпу.- Или вы не знаете? Пред лицом самого Бога клялись мы...

Каждое движение Юлиана было хитрым, глубоким притворством. Солдаты окружили его. Он вырвал меч из ножен, поднял его и направил против собственной груди:

- Мужича храбрейшие! Цезарь умрет скорее, чем изменит...

Они схватили его за руки, насильно отняли меч. Многие падали к ногам его, обнимали их со слезами и прикасались к своей груди обнаженным острием меча.

- Умрем,- кричали они,- умрем за тебя!

Другие протягивали к нему руки, с жалобным воплем: - Помилуй нас, помилуй нас, отец!

Седые ветераны становились на колени и, хватая руки, вождя, как будто желая поцеловать их, вкладывали его пальцы в свой рот, заставляли щупать беззубые десны;

они говорили о несказанной усталости, о непосильных трудах, перенесенных за долгую службу; многие снимали платье и показывали ему голое старческое тело, раны, полученные в сражениях, спины с ужасными рубцами от розог.

- Сжался! Сжался! Будь нашим августом!

На глазах Юлиана навернулись искренние слезы: он любил эти грубые лица, этот знакомый казарменный воз

дух, этот необузданный восторг, в котором чувствовал свою силу. Что бунт опасный - заметил он по особому признаку: солдаты не перебивали друг друга, а кричали все сразу, вместе, как будто

сговорившись, и так же сразу умолкали: то раздавался дружный крик, то наступала внезапная тишина.

Наконец, как будто неохотно, побежденный насилием, произнес он тихо:

- Братья возлюбленные! Дети мои! Видите-я ваша жизнь и смерть; не могу ни в чем отказать...

- Венчать его, венчать диадемой!-закричали они, торжествуя.

Но диадемы не было. Находчивый Стромбик предложил: - Пусть август велит принести одно из жемчужных ожерелий супруги своей.

Юлиан возразил, что женское украшение непристойно и было бы дурным знаком для начала нового правления.

Солдаты не унимались: им непременно нужно было видеть блестящее украшение на голове избранника, чтобы поверить, что он - император.

Тогда грубый легионер сорвал с боевого коня нагрудник из медных блях-фалеру, и предложил венчать августа ею.

Это не понравилось: от кожи нагрудника пахло потом лошадиным.

Все стали нетерпеливо искать другого украшения. Знаменосец легиона петулантов, сармат Арагарий, снял с шеи медную чешуйчатую цепь, присвоенную званию его.

Юлиан два раза обернул ее вокруг головы: эта цепь сделала его римским августом.

- На щит, на щит! - кричали солдаты.

Арагарий подставил ему круглый щит, и сотни рук подняли императора. Он увидел море голов в медных шлемах, услышал подобный буре торжественный крик:

- Да здравствует август Юлиан, август Божественный! Divus Augustus!

Ему казалось, что совершается воля рока.

Факелы померкли. На востоке появились бледные полосы. Неуклюжие кирпичные башни дворца чернели угрюмо. Только в одном окне краснел огонь. Юлиан догадался, что это окно тех покоев, где умирала жена его, Елена.

Когда на рассвете утомленное войско утихло, он пошел к ней.

Было поздно. Усопшая лежала на узкой девичьей постели. Все стояли на коленях. Губы ее были строго сжаты.

От высохшего монашеского тела веяло целомудренным холодом. Юлиан, без угрызения, но с тяжелым любопытством, посмотрел на бледное, успокоенное лицо жены своей и подумал: "Зачем желала она видеть меня передсмертью? Что хотела, что могла она сказать мне?"

Император Констанций проводил печальные дни в Антиохии. Все ждали недоброго.

По ночам видел он страшные сны: в опочивальне дозари горели пять или шесть ярких лампад,- и все-таки боялся он мрака. Долгие часы просиживал один, в неподвижной задумчивости, оборачиваясь и вздрагивая от всякого шороха.

Однажды приснился ему отец его, Константин Великий, державший на руках дитя, злое и сильное; Констанций, будто бы, взяв от него ребенка, посадил его на правую руку свою, в левой стараясь удержать огромный стеклянный шар; но злое дитя столкнуло шар-он упал, разбился, и колющие иглы стекла, с невыносимой болью, стали впиваться в тело Констанция - в глаза, в сердце, в мозг-сверкали, звенели, трескались, жгли.

Император проснулся в ужасе, обливаясь холодным потом.

Он стал советоваться с прорицателями, знаменитыми волшебниками, угадчиками снов.

В Антиохию собраны были войска, и делались приготовления к походу против Юлиана. Иногда императором, после долгой неподвижности, овладевала жажда действия. Многие при дворе находили поспешность его неразумной; шепотом поверяли друг другу слухи о новых подозрительных странностях и причудах Кесаря.

Была поздняя осень, когда он выступил из Антиохии.

В полдень, на дороге, в трех тысячах шагах от города, близ деревни, называвшейся Гиппокефаль, увидел император обезглавленный труп неизвестного человека; тело, обращенное к западу, оказалось лежащим по правую руку от Констанция, ехавшего на коне; голова отделена была от туловища. Кесарь побледнел и отвернулся. Никто из приближенных не сказал ни слова, но все подумали, что это дурная примета.

В городе Тарсе Киликийском он почувствовал легкий озноб и слабость, но не обратил на них внимания и даже

с врачами не посоветовался, надеясь, что верховая езда потрудным горным дорогам на солнечном припеке вызовет испарину.

Он направился к небольшому городу, Мопсукренам, расположенному у подножия Тавра,-последней стоянке при выезде из Киликии.

Несколько раз, во время дороги, делалось у него сильное головокружение. Наконец, он должен был сойти с коня и сесть в носилки. Впоследствии евнух Евсевий рассказывал, что, лежа в носилках, император вынимал из-под одежды драгоценный камень с вырезанным на нем изображением покойной императрицы, Евсевий Аврелии, и целовал его с нежностью.

На одном из перекрестков он спросил, куда ведет другой путь; ему отвечали, что это дорога в покинутый дворец каппадокийских царей - Мацеллум.

При этом имени Констанций нахмурился.

В Мопсукрену приехали ввечеру. Он был утомлен и пасмурен.

Только что вошел в приготовленный дом, как один из придворных, по неосторожности, несмотря на запрет Евсевия, сообщил императору, что его ожидают два вестника из западных провинций.

Констанций велел их привести.

Евсевий умолял отложить дело до утра. Но император возразил, что ему лучше,-озноб прошел, и он чувствует теперь только легкую боль в затылке.

Впустили первого вестника, дрожащего и бледного.

- Говори сразу!-воскликнул Констанций, испуганный выражением лица его.

Вестник рассказал о неслыханной дерзости Юлиана: цезарь перед войсками разорвал августейшее письмо; Галлия, Паннония, Аквитания передались ему; изменники выступили против Констанция со всеми легионами, расположенными в этих странах.

Император вскочил, с лицом, искаженным яростью, бросился на вестника, повалил его и схватил за горло:

- Лжешь, лжешь, лжешь, мерзавец! Есть еще Бог, Царь Небесный, покровитель земных царей. Он не допустит,- слышите вы все,

изменники,- не допустит Он...

Вдруг ослабел и закрыл глаза рукою. Вестник, ни живой, ни мертвый, успел юркнуть в дверь.

- Завтра,- бормотал Констанций глухо и растерянно,-завтра в путь... прямо, через горы... ускоренным ходом, в Константинополь!..

Евсевий, подойдя к нему, склонился раболепно: - Блаженный Август, Господь даровал тебе, Своему помазаннику, одоление над всеми врагами и супостатами: ты победил буйного Максенция, Констана, Ветраниона, Галла. Ты победишь и богопротивного...

Но Констанций, не слушая, прошептал, качая головой, с бессмысленной улыбкой:

- Значит, нет Бога. Если только все это правда, значит, Бога нет; я - один. Пусть кто-нибудь осмелится сказать, что Он есть, когда творятся такие дела на земле.

Я уже давно об этом думал...

Вопросительно обвел он всех мутными глазами и прибавил бессвязно: - Позвать другого.

К нему приступил врач, придворный щеголь с бритым розовым наглым лицом, с бегающими рысьими глазками, еврей, притворявшийся римским патрицием. Подобострастно заметил он императору, что чрезмерное волнение может быть ему вредно, что необходим отдых. Констанций только отмахнулся от него, как от надоедливой мухи.

Ввели другого вестника. Это был трибун цезарских конюшен, Синтула, бежавший из Лютеции. Он сообщил еще более страшную весть: ворота города Сирмиум открылись перед Юлианом, и жители приняли его радостно, как спасителя отечества; через два дня он должен выйти на большую римскую дорогу в Константинополь.

Последних слов вестника император как будто не расслышал или не понял. Лицо его сделалось странно неподвижным. Он подал знак, чтобы все удалились. Остался Евсевий, с которым хотел он заняться делами.

Через некоторое время, почувствовав утомление, приказал, чтобы отвели его в спальню, и сделал несколько шагов. Но вдруг тихо простонал, поднес обе руки к затылку, как будто почувствовал

сильную мгновенную боль, и пошатнулся. Придворные едва успели его поддержать.

Он не потерял сознания: по лицу, по всем движениям, по жилам, напрягавшимся на лбу, заметно было, что он делает неимоверные усилия, чтобы говорить; наконец, произнес медленно, выговаривая каждое слово шепотом, как будто сдавили ему горло: - Хочу говорить... и не... могу...

То были последние слова его: он лишился языка; удар поразил всю правую сторону тела; правая рука и нога безжизненно повисли.

Его перенесли на постель.

В глазах была тревога и напряженная, непотухавшая мысль. Он усиливался сказать что-то, отдать, может быть, важное приказание, но из губ вырывались неясные звуки, походившие на слабое непрерывное мычание. Никто не мог понять, что он хочет, и больной поочередно обводил всех ясными глазами. Евнухи, придворные, военачальники, рабы толпились вокруг умирающего, хотели и не знали, чем служить ему в последний раз.

Порою злоба вспыхивала в разумном пристальном взоре; тогда мычание казалось сердитым.

Наконец, Евсевий догадался и принес навощенные дощечки. Радость блеснула в глазах императора. Крепкой неуклюже, как маленькие дети, левою рукой ухватился он за медный стилос. После долгих усилий удалось ему вывести на мягком слое желтого воска несколько каракуль.

Придворные с трудом разобрали слово: "креститься".

Он устремил на Евсевия неподвижный взор. Все удивились, что раньше не поняли: императору угодно было креститься перед смертью, так как, по примеру отца своего Константина Равноапостольного, откладывал он великое таинство до последней минуты, веря, что оно может сразу очистить душу от всех грехов - "обелить ее паче снега".

Бросились отыскивать епископа. Оказалось, что в Мопсукренах епископа нет. Позвали арианского пресвитера бедной городской базилики. Это был робкий, забитый человек, с птичьим лицом, острым красным носом, похожим на клюв, и острой бородкой. Когда

пришли за ним, отец Нимфидиан - так звали его - приступал к десятому кубку дешевого красного вина и казался слишком веселым.

Никак не могли ему втолковать в чем дело; он думал, что над ним смеются. Но когда убедили его, что предстоит крестить императора, он едва не лишился рассудка.

Пресвитер вошел в комнату больного. Император взглянул на бледного, растерянного и дрожащего отца Нимфидиана таким радостным, смиренным взором, каким еще не смотрел ни на одного человека во всю свою жизнь. Поняли, что он боится умереть и торопит совершение таинства.

По городу искали золотой или, по крайней мере, серебряной купели, но не нашли; правда, был роскошный сосуд, с драгоценными камнями, но весьма подозрительного употребления: предполагали, что он служил для вакхических таинств бога Диониса. Предпочли все-таки несомненную христианскую купель, хотя старую, медную, с грубо вдавленными краями.

Купель приставили к ложу; влили теплой воды, причем врач-еврей хотел попробовать ее рукою; император сделал яростное движение и замычал: должно быть, боялся он, что еврей опоганит воду.

С умирающего сняли нижнюю тунику. Сильные молодые щитоносцы легко, как ребенка, подняли его на руки и погрузили в воду.

Теперь он, без всякого умиления, с осунувшимся, безжизненным лицом, смотрел широко открытыми неподвижными глазами на ярко блестящий крест из драгоценных камней над золотой Константиновой хоругвью, Лабарумом; взор был пристальный, бессмысленный, как у грудных детей, когда они смотрят на блестящий предмет и не могут оторвать глаз.

Обряд, по-видимому, не успокоил больного; он как будто забыл о нем. В последний раз воля вспыхнула в глазах его, когда Евсевий опять подал ему дощечку и стилос. Констанций не мог писать - он только вывел первые буквы имени "Юлиан".

Что это значило? Хотел ли он простить врага, или завещал месть?

Он мучился в продолжение трех дней. Придворные шепотом говорили друг другу, что он хочет и не может помереть, что это - особое наказание Божие. Впрочем, все еще, по старой привычке,

называли они умирающего "блаженным Августом", "Святостью", "Вечностью".

Должно быть, он страдал. Мычание превратилось в долгий, ни днем, ни ночью не прекращавшийся, хрип.

Звуки эти были такие ровные, непрерывные, что, казалось, не могли вылетать из человеческой груди.

Придворные приходили и уходили, ожидая конца.

Только евнух Евсевий ни днем, ни ночью не покидал умирающего.

Сановник августейшей опочивальни лицом и нравом походил на старую, сварливую, злую и хитрую бабу; насовести его было много злодейств: все запутанные нити доносов, предательств, церковных распрей и придворных происков сходились в руках его; -но, может быть, он один во всем дворце любил своего повелителя, как верный раб.

По ночам, когда все засыпали или расходились, утомленные видом слишком долгих страданий, Евсевий не отходил от ложа; поправлял подушку, смачивал засыхавшие

губы больного ледяным напитком; порой становился на колени в ногах императора и, должно быть, молился. Когда никто не видел, Евсевий, тихонько отворачивая край пурпурного одеяла, со слезами целовал жалкие, бледные, окоченелые ноги умирающего Кесаря.

Раз показалось ему, что Констанций заметил эту ласку и отвечал на нее взглядом: что-то братское и нежное пронеслось между этими людьми - злыми, несчастными и одинокими.

Евсевий закрыл глаза императору и увидел, как на лице его, на котором столько лет было мнимое величие власти, воцарилось истинное величие смерти.

Над Констанцием должны были прозвучать слова, которые, по обычаю. Церковь возглашала перед опусканием в могилу останков римских императоров:

"Восстань, о, царь земли-гряди на зов Царя царей, да судит Он тебя".

Недалеко от горных теснин Суккос, на границе между Иллирией и Фракией, в буковом лесу, по узкой дороге, ночью, шли два человека. То были император Юлиани волшебник Максим.

Полная луна сияла в ясном небе и странным светомозаряла осеннее золото и пурпур листьев. Изредка, с шелестом, падал желтый лист. Вейло особенной сыростью, запахом поздней осени, невыразимо сладостным, свежими, вместе с тем, унылым, напоминающим с ерть. Мягкиесухие листья шуршали под ногами путников. Кругом в тихом лесу царило пышное похоронное великолепие.

- Учитель,- проговорил Юлиан,- отчего нет у меня божественной легкости жизни - этого веселья, которое делает такими прекрасными мужей Эллады?

- Ты не эллин!

Юлиан вздохнул.

- Увы! Предки наши - дикие варвары, мидийцы.

В жилах моих тяжелая, северная кровь. Я не сын Эллады...

- Друг, Эллады никогда не было,- промолвил Максим, со своей обычной, двусмысленной улыбкой.

- Что это значит?

- Не было той Эллады, которую ты любишь.

- Вера моя тщетна?

- Верить,- отвечал Максим,- можно только в то, чего нет, но что будет. Твоя Эллада будет, будет царство богоподобных людей.

- Учитель, ты обладаешь могучими чарами - освободи мою душу от страха!

- Перед чем?

- Не знаю... Я с детства боюсь, боюсь всего: жизни, смерти, самого себя, тайны, которая везде,- мрака. У меня была старая няня Лабда, похожая на Парку; она мне рассказывала страшные предания о доме Флавиев: она запугала меня. Глупые бабьи сказки все звучат с тех пор в ушах моих по ночам, когда я один; глупые, страшные сказки погубят меня... Я хочу быть радостным, как древние мужи Эллады,- и не могу! Мне кажется иногда, что я трус.- Учитель! Учитель! спаси меня. Освободи меня от этого вечного мрака и ужаса!

- Пойдем. Я знаю, что тебе нужно,- произнес Максим торжественно.- Я очищу тебя от галилейского тлена, от тени Голгофы лучезарным сиянием Митры; я согрею тебя от воды Крещения горячею кровью Бога-Солнца. О, сын мой, радуйся,- я дам тебе

великую свободу и веселье, каких еще ни один человек не имел на земле.

Они вышли из лесу и вступили на узкую каменистую тропинку, высеченную в скале, над пропастью. Внизу шумел поток. Камень иногда срывался из-под ноги и, пробуждая грозное, сонное эхо, падал в бездну. Снега белелина вершине Родопа.

Юлиан и Максим вошли в пещеру. Это был храм Митры, где совершались таинства, воспрещенные римскими законами. Здесь не было роскоши, только в голых каменных стенах изваяны были таинственные знаки Зороастровой мудрости - треугольники, созвездья, крылатые чудовища, переплетающиеся круги. Факелы горели тускло, и жрецы-иерофанты в длинных странных одеждах двигались, как тени.

Юлиана также облекли в олимпийскую одежду с вышитыми индейскими драконами, звездами, солнцами и гиперборейскими грифонами; в правую руку дали ему факел.

Максим предупредил его об установленных обрядных словах, которыми посвящаемый должен отвечать на вопросы иерофанта. Юлиан, приготавливаясь к мистерии, выучил ответы наизусть, хотя значение их должно было открыться ему только во время самого таинства. По ступеням, вырытым в земле, спустились в глубокую и узкую, продолговатую яму; в ней было душно и сыро;

сверху прикрывалась она крепким деревянным помостом, со многими отверстиями, как в решетке.

Раздался стук копыт по дереву: жрецы поставили на помост трех черных, трех белых тельцов и одного огненнорыжего, с позолоченными рогами и копытами. Иерофанты запели гимн. К нему присоединилось жалобное мычание животных, поражаемых двуострыми секирами. Они падали на колени, издыхали, и помост дрожал под их тяжестью.

Своды пещеры гудели от рева огнецветного быка, которого жрецы называли богом Митрой.

Кровь, просачиваясь в скважины деревянного решета, падала на Юлиана алой теплой росой.

Это было величайшее из языческих таинств - Тавроболия, заклятие быков, посвященных Солнцу.

Юлиан сбросил верхнюю одежду и подставил нижнюю белую тунику, голову, руки, лицо, грудь, все члены подструившуюся кровь, под капли живого страшного дождя.

Тогда Максим, верховный жрец, потрясая факелом, произнес:

- Душа твоя омывается искупительной кровью Бога Солнца, чистейшей кровью вечно-радостного сердца Бога Солнца, вечерним и утренним сиянием Бога-Солнца.- Боишься ли ты чего-нибудь, смертный?

- Боюсь жизни,- ответил Юлиан.

- Душа твоя освобождается,- продолжал Максим, от всякой тени, от всякого ужаса, от всякого рабства вином божественных веселий, красным вином буйных веселий Митры-Диониса.- Боишься ли ты чего-нибудь, смертный?

- Боюсь смерти.

- Душа твоя становится частью Бога-Солнца,- воскликнул иерофант.- Митра неизреченный, неуловимый, усыновляет тебя - кровь от крови, плоть от плоти, дух от духа, свет от света.- Боишься ли ты чего-нибудь, смертный?

- Я ничего не боюсь,- отвечал Юлиан, с ног до головы окровавленный.- Я - как Он.

- Прими же радостный венец,- и Максим бросил ему острием меча на голову аканфовый венок.

- Только Солнце-мой венец!

Растоптал его ногами и, в третий раз, подымая руки к небу, воскликнул:

- Отныне и до смерти, только Солнце - мой венец!

Таинство было кончено. Максим обнял посвященного.

На губах старика скользила все та же двусмысленная, неверная улыбка.

Когда они возвращались по лесной дороге, император обратился к волшебнику:

- Максим, мне кажется иногда, что о самом главном ты молчишь...

И он обернул свое лицо, бледное, с красными пятнами таинственной крови, которую, по обычаю, нельзя было стирать.

- Что ты хочешь знать, Юлиан?

- Что будет со мною?
- Ты победишь.
- А Констанций?
- Констанция нет.
- Что ты говоришь?..
- Подожди. Солнце озарит твою славу.

Юлиан не посмел расспрашивать. Они молча вернулись в лагерь.

В палатке Юлиана ожидал вестник из Малой Азии.

То был трибун Синтула.

Он стал на колени и поцеловал край императорского полудамента.

- Слава блаженному августу Юлиану!
- Ты от Констанция, Синтула?
- Констанция нет.
- Как?

Юлиан вздрогнул и взглянул на Максима, сохранявшего невозмутимое спокойствие.

- Изволением Божьего Промысла,- продолжал Синтула,- твой враг скончался в городе Мопсукренах, недалеко от Мацеллума.

На следующий день вечером собраны были войска.

Они уже знали о смерти Констанция.

Август Клавдий Флавий Юлиан взошел на обрыв, так что все войска могли его видеть,- без венца, без меча и брони, облеченный только в пурпур с головы до ног;

чтобы скрыть следы крови, которую не должно было смывать, пурпур натянут был на голову, падал на лицо.

В этой странной одежде походил он скорее на первосвященника, чем на императора.

За ним, по склону Гама, начинаясь с того обрыва, где он стоял, краснел увядающий лес; над самой головой императора пожелтевший клен в голубых небесах шелестели блестел, как золотая хоругвь.

До самого края неба распростиралась равнина Фракийская; по ней шла древняя римская дорога, выложенная

широкими плитами белого мрамора,- ровная, залитая солнцем, как будто триумфальная, бежала она до самых волн Пропонтиды, до

Константинополя, второго Рима.

Юлиан смотрел на войско. Когда легионы двигались, по медным шлемам, броням и орлам, от заходящего солнца, вспыхивали багровые молнии, концы копий над когортами теплились, как свечи.

Рядом с императором стоял Максим. Наклонившись к уху Юлиана, шепнул ему: - Смотри, какая слава! Твой час пришел. Не медли!

Он указал на христианское знамя, Лабарум, Священную хоругвь, сделанную для римского воинства по образутого огненного знамени, с надписью Сим победиши, которое Константин Равноапостольный видел на небе.

Трубы умолкли. Юлиан произнес громким голосом: - Дети мои! Труды наши кончены. Благодарите олимпийцев, даровавших нам победу.

Слова эти расслышали только первые ряды войска, гдебыло много христиан; среди них произошло смятение.

- Слышали? Не Господа благодарит, а богов олимпийских,- говорил один солдат.

- Видишь-старик с белой бородой?-указывалдругой товарищу.

- Кто это?

- Сам дьявол в образе Максима-волхва: он-то и соблазнил императора.

Но отдельные голоса христианских воинов были только шепотом. Из дальних когорт, стоявших сзади, нерасслышавших слов Юлиана, подымался восторженныйкрик:

- Слава божественному августу, слава, слава!

И все громче и громче, с четырех концов равнины, покрытой легионами, подымался крик: - Слава! Слава! Слава!

Горы, земля, воздух, лес дрогнули от голоса толпы.

- Смотрите, смотрите, наклоняют Лабарум,- ужасались христиане.

- Что это? Что это?

Древнюю военную хоругвь, одну из тех, которые былиосвящены Константином Великим,- склонили к ногам императора.

Из лесу вышел солдат-кузнец, с походной жаровней, закоптелыми щипцами и котелком, в котором носилиолово; все это, с неизвестной целью, приготовлено былозаранее.

Император, бледный, несмотря на отблеск пурпураи солнца, сорвал с древка Лабарума золотой крест и монограмму Христа из драгоценных камней. Войско замерло. Жемчужины, изумруды, рубины рассыпались, и тонкий крест, вдавленный в сырую землю, погнулся под сандалией римского Кесаря.

Максим вынул из великолепного ковчежца обернутое шелковые голубые пелены маленькое серебряное изваяние бога Солнца, Митры-Гелиоса.

Кузнец подошел, в несколько мгновений искусно выправил щипцами погнувшиеся крючки на древке Лабарума и припаял оловом изваяние Митры.

Прежде чем войска опомнились от ужаса, Священная хоругвь Константина зашелестела и взвилась над головой императора, увенчанная кумиром Аполлона.

Старый воин, набожный христианин, отвернулся и закрыл глаза рукою, чтобы не видеть этой мерзости.

- Кошунство! - пролепетал он, бледнея.

- Горе! - шепнул третий на ухо товарищу. - Император отступил от церкви Христовой.

Юлиан стал на колени перед знаменем и, простирая руки к серебряному изваянию, воскликнул:

- Слава непобедимому Солнцу, владыке богов! Ныне поклоняется август вечному Гелиосу, Богу света. Богу разума. Богу веселия и красоты олимпийской!

Последние лучи солнца отразились на беспощадном лице Дельфийского идола; голова его окружена была серебряными острыми лучами; он улыбался.

Легионы безмолвствовали. Наступила такая тишина, что слышно было, как в лесу, шелестя, один за другим, падают мертвые листья.

И в кровавом отблеске вечера, и в багрянице последнего жреца, и в пурпуре увядшего леса - во всем была зловещая, похоронная пышность, великолепие смерти.

Кто-то из солдат, в передних рядах, произнес так явственно, что Юлиан услышал и вздрогнул: - Антихрист!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Рядом с конюшнями, в ипподроме Константинополя находилось помещение, вроде уборной, для конюхов, наездниц, мимов и кучеров. Здесь, даже днем, коптели подвешенные к сводам лампы. Удушливый воздух, пропитанный запахом навоза, веял теплотой конюшен.

Когда завеса на дверях откидывалась, врвался ослепительный свет утра. В солнечной дали виднелись пустые скамьи для зрителей, величественная лестница, соединявшая императорскую ложу с внутренними покоями Константинова дворца, каменные стрелы египетских обелисков, посреди желтого, гладкого песка, исполинский жертвенник из трех перевившихся медных змей: плоские головы поддерживали дельфийский треножник великолепной работы.

Иногда с арены доносилось хлопанье бича, крики наездников, фыркание разгоряченных коней и шуршание колес по мягкому песку, подобное шуршанию крыльев.

Это была не скачка, а только подготовительное упражнение к настоящим играм, назначенным на ипподроме через несколько дней.

В одном углу конюшни голый атлет, натертый маслом, покрытый гимнастической пылью, с кожаным поясом победрам, подымал и опускал железные гири; закидывая курчавую голову, он так выгибал спину, что кости в суставах трещали, лицо синело, и бычачьи жилы напрягались на толстой шее.

Сопутствуемая рабынями, подошла к нему молодая женщина в нарядной утренней толе, натянутой на голову, опущенной складками на тонкое родовитое и уже отцветавшее лицо. Это была усердная христианка, любимая всеми клириками и монахами за щедрые вклады в монастыри, за обильные милостыни, - приезжая из Александрии вдова римского сенатора. Сперва скрывала она свои похождения, но скоро увидела, что соединять любовь к церкви с любовью к цирку считается новым светским изысканием. Все знали, что Стратоника ненавидит константинопольских щеголей, завитых и накуманных, изнеженных, прихотливых, как она сама. Такова была ее природа: она соединяла драгоценнейшие аравийские духи раздражающей теплотой конюшни и цирка; после горячих слез раскаяния, после потрясающей исповеди искусных духовников, этой

маленькой женщине, хрупкой, как вешица, выточенная из слоновой кости, нужны были грубые ласки прославленного конюха.

Стратоника смотрела на упражнения атлета с видом тонкой ценительницы. Сохраняя тупоумную важность на бычьем лице, гимнаст не обращал на нее внимания. Она что-то шептала рабыне на ухо и с простодушным удивлением, заглядевшись на могучую голую спину атлета, любовалась тем, как страшные геркулесовские мускулы двигаются под жесткой красно-коричневой кожей на огромных плечах, когда, разгибаясь и медленно вбирая воздух в легкие, как в кузнечные мехи, подымал он железные гири над звероподобной, бессмысленно красивой головой.

Занавеска откинулась, толпа зрителей отхлынула, и две молодые каппадокийские кобылы, белая и черная, в порхнули в конюшню, вместе с молодой наездницей, которая ловко, с особенным гортанным криком, перепрыгивала с одной лошади на другую. В последний раз перевернулась она в воздухе и соскочила на землю - такая же крепкая, гладкая, веселая, как ее кобылицы; на голом теле виднелись маленькие капли пота. К ней подскочил с любезностью молодой щегольски одетый иподиакон из базилики св. Апостолов, Зефирин, большой любитель цирка, знаток лошадей и завсегда тащущий скачек, ставивший огромные заклады за партию "голубых" против "зеленых". У него были сафьянные скрипучие полусапожки на красных каблучках.

С подведенными глазами, набеленный и тщательно завитой, Зефирин более походил на молодую девушку, чем на церковнослужителя. За ним стоял раб, нагруженный всевозможными свертками, узелками, ящиками тканей - покупками из модных лавок.

- Крокала, вот те самые духи, которые ты третьего дня просила.

С вежливым поклоном подал иподиакон наезднице изящную баночку, запечатанную голубым воском.

- Целое утро бегал по лавкам. Едва нашел. Чистейший нард! Вчера привезли из Апамеи.

- А это что за покупки? - полюбопытствовала Крокала.

- Шелк с модным рисунком - разные дамские безделушки.

- Все для твоей?..

- Да, да, все для моей благочестивой сестры, для набожной матроны Блезиллы. Надо же помогать ближним.

Она полагается на мой вкус при выборе тканей. С рассвета бегаю по ее поручениям. Совсем с ног сбился. Но неропщу,- нет, нет, не ропщу. Блезилла такая, право, добрая, такая, можно сказать, святая женщина!..

- Да, но, к сожалению, старая,- засмеялась Крокала.-Эй, мальчик, вытри поскорее пот с вороной кобылысвежими фиговыми листьями.

- И у старости есть свои преимущества,- возразил иподиакон, самодовольно потирая белые холеные руки драгоценными перстнями; 'потом спросил ее шепотом, наухо: - Сегодня вечером?..

- Не знаю, право. Может быть... А ты мне хочешь что-нибудь принести?

- Не бойся, Крокала: не приду с пустыми руками.

Есть кусочек тирского лилового пурпура. Что за узор, если бы ты знала!

Он зажмурился, поднес к губам два пальца, поцеловалих и причмокнул: - Ну, просто загляденье!

- Где взял?

- Конечно, в лавке Сирмика у Констанциевых Бань за кого ты меня принимаешь? -Можно бы сделать изэтого длинный тарантинидион. Ты только представь себе, что вышито на подоле! Ну, как ты думаешь, что?

- Почему я знаю. Цветы, звери?..

- Не цветы и не звери, а золотом с разноцветными шелками - вся история циника Диогена, нищего мудреца, жившего в бочке.

- Ах, должно быть, красиво!-воскликнула наездница.- Приходи, приходи непременно. Буду ждать.

Зефирин взглянул на водяные часы - клепсидру, стоявшую в углублении стены, и заторопился.

- Опоздал! Еще забежать к ростовщику по делу матроны, к ювелиру, к патриарху, в церковь, на службу.Прощай, Крокала!

- Смотри же, не обмани,- закричала она ему вслед и погрозила пальцем:- шалун!

Иподиакон, со своим рабом, нагруженным покупками, исчез, поскрипывая сафьянными полусапожками.

Вбежала толпа конюхов, наездников, танцовщиц, гимнастов, кулачных бойцов, укротителей хищных зверей.

С железной сеткой на лице, гладиатор Мирмиллон накаливал на жаровне толстый железный прут для укрощения только что полученного африканского льва; из-за стены слышалось рыканье зверя.

- Доведешь ты меня до гроба, внука, и себя до вечной гибели.- О-хо-хо, поясница болит! Мочи нет!

- Это ты, дедушка Гнифон? Чего ты все хнычешь? промолвила Крокала с досадою.

Гнифон был старичок, с хитрыми слезящимися глазками, сверкавшими из-под седых бровей, которые шевелились, как две белые мыши,- с носом темно-сизым, как спелая слива; на ногах у него пестрели заплатанные лидийские штаны; на голове болталась фригийская войлочная шапка, в виде колпака, с перегнутой наперед остроконечной верхушкой и двумя лопастями для ушей.

- За деньгами приплелся? - сердилась Крокала. Опять пьян!

- Грех тебе так говорить, внука. Ты за мою душу ответ Богу дашь. Подумай только, до чего ты меня довела! Живу я теперь в предместье Смоковниц, нанимаю подвальчик у делателя идолов. Каждый день вижу, как из мрамора высекает он, прости Господи, образины окаянные. Думаешь, легко это для доброго христианина? А?

Утром глаз не продерешь,- уж слышишь: тук, тук, тук, колотит хозяин молотком по камню - и выходят, одни задругими, гнусные белые черти, проклятые боги - точно смеются надо мной, корчат бесстыдные хари! Как же тут не согрешить, с горя в кабаке не зайти да не вылить?

О-хо-хо! Господи, помилуй нас грешных! Валяюсь я в скверне языческой, как свинья во гноище. И ведь знаю, все с нас взыщется, все до последнего кадрианта. А кто, спрашивается, виноват? Ты! У тебя, внука, куры денег не клюют, а ты для бедного старика...

- Врешь, Гнифон,- возразила девушка,- вовсе ты небеден, скряга! У тебя под кроватью кубышка...

Гнифон в ужасе замахал руками: - Молчи, молчи!

- Знаешь ли, куда я иду?- прибавил он, чтобы переменить разговор.

- Должно быть, опять в кабак...

- А вот и не в кабак, кое-куда похуже,- в капище

самого Диониса! Храм, со времени блаженного Константина, завален мусором. А завтра, по августейшему повелению кесаря Юлиана, открывается вновь. Я и нанялся чистить. Знаю, что душу погублю и ввержен буду в геену.

А все-таки соблазнился. Потому наг семь и нищ, и гладей.

Поддержки от собственной внучки не имею. Вот до чего дожил!

- Отстань, Гнифон, надоел, вот на-и убирайся.

Не смей больше приходить ко мне пьяным!

Она бросила ему несколько мелких монет, потом вскочила на рыжего полудикого иллирийского жеребца и, стоя на спине его, хлопая длинным бичом, снова полетела наипподром.

Гнифон, указывая на нее и прищелкивая языком отудовольствия, воскликнул гордо: - Сам своими руками вспоил и вскормил!

Крепкое голое тело наездницы сверкало на утреннем солнце, и развевающиеся длинные волосы были такого же цвета, как шерсть жеребца.

- Эй, Зотик,- крикнул Гнифон старому рабу, подбиравшему навоз в плетеную корзину,- пойдём-ка со мной чистить храм Диониса. Ты в этом деле мастер. Три оболадам.

- Пожалуй, пойдём,- отвечал Зотик,- только вот сейчас я лампадку богине заправлю.

Это была Гиппона, богиня конюхов, конюшен и навоза.

Грубо высеченная из дерева, закоптелая, безобразная, похожая на обрубок, стояла она в сыром темном углублении стены. Раб Зотик, выросший среди лошадей, чтит ее свято, молился ей со слезами, украшал ее грубые черные ноги свежими фиалками, верил, что она исцеляет все его недуги, сохранит его в жизни и смерти.

Гнифон и Зотик вышли на площадь - Форум Константина, круглый, с двойными рядами столбов и триумфальными воротами. Посреди площади, на мраморном подножии, возвышался исполинский порфировый столб; на вершине его, на высоте более чем сто двадцать локтей, сверкало бронзовое изваяние Аполлона, произведение Фидия, похищенное из одного города Фригии. Голова древнего бога Солнца была отбитая, с варварским безвкусием, к туловищу

эллинического идола приставили голову христианского императора Константина Равноапостольного;

чело его окружал венец из золотых лучей; в правой руке Аполлон-Константин держал скипетр, в левой - державу.

У подножия колосса виднелась маленькая христианская часовня, вроде Палладиума. Еще недавно, при Констанции, совершалось в ней богослужение. Христиане оправдывались тем, что в бронзовом туловище Аполлона, в самой груди солнечного бога, заключен талисман, кусок Честнейшего Креста Господня, привезенного св. Еленой из Иерусалима. Император Юлиан закрыл эту часовню.

Зотик и Гнифон вступили в узкую длинную улицу, которая вела прямо к Халкедонским Лестницам, недалеко от гавани. Многие здания еще строились, другие перестраивались, потому что были воздвигнуты, из угоды Константину, строителю города, с такой поспешностью, что обвалились. Внизу сновали прохожие, толпились у лавок покупатели, рабы, носильщики; гремели колесницы.

А вверху, на деревянных плотничьих лесах, стучали молотки, скрипели блоки, визжали острые пилы по твердому белому камню; рабочие на веревках подымали огромные бревна или четырехугольные глыбы проконезского, блистающего в лазури, мрамора; пахло сыростью новых домов, невысохшей известкой; на головы сыпалась мелкая белая пыль; и кое-где, среди ослепительно ярких, залитых солнцем, только что выбеленных стен, искрились вдали, в глубине переулков, воздушно-голубые смеющиеся волны Пропонтиды, с парусами, подобными крыльям чаек.

Гнифон услышал мимоходом отрывок из разговора двух рабочих, с ног до головы запачканных алебастровой замазкой, которую месили они в большом чане.

- Зачем ты принял веру галилеян? - спрашивал один.

- Сам посуди, - ответил товарищ, - у христиан не вдвое, а в пятеро больше праздников. Никто себе не враг.

И тебе советую. С христианами - куда вольнее!

На перекрестке толпа народа прижала Гнифона и Зотика к стене. Посредине улицы столпились колесницы, и не было ни проезда, ни прохода; слышались брань, крики, хлопанье бичей, понукание погонщиков. Двадцать парсылных волов, сгибая головы под ярмом,

тащили на огромной повозке с тяжелыми каменными колесами, похожими на жернова, яшмовую колонну. От грохота землягудела.

- Куда везете? - спросил Гнифон.

- Из базилики св. Павла во храм богини Геры. Христиане похитили эту колонну; теперь возвращают ее на старое место.

Гнифон оглянулся на грязную стену, у которой стоял;

уличные мальчишки из язычников нарисовали на ней углем кощунственную карикатуру на христиан: человека с ослиной головой, распятого на кресте.

Гнифон с негодованием плюнул.

Близ одного многолюдного рынка заметили они на стене изображение Юлиана, со всеми знаками кесарской власти; из облаков спускался к нему крылатый бог Гермесс кадуцеем; картина была новая - краски еще не высохли.

По римскому закону, каждый, кто проходил мимо священного изображения Августа, должен был почтить его склонением головы.

Рыночный надзиратель, агораном, задержал старушку с корзиной свеклы и капусты.

- Я богам не кланяюсь,- плакала старушка.- Еще отец и мать мои были христианами...

- Ты должна была поклониться не богу, а кесарю, возражал надзиратель.

- Да ведь кесарь вместе с богом. Как же я ему поклонюсь отдельно?

- А мне какое дело! Сказано - кланяйся. И богу поклонись,- голова не отвалится.

Гнифон потащил Зотика скорее прочь.

- Бесовская хитрость!-ворчал старик.- Либо окаянному Гермесу поклоняйся, либо повинным будь в оскорблении величества. Ни туда, ни сюда. О-хо-хо, антихристовы времена! Воздвигает дьявол бурю гонения лютого. Того и гляди, согрешишь... Смотрю я на тебя, Зотик,- и зависть берет: живешь ты со своей навозной богиней Гиппоной, и горя тебе мало.

Они подошли к Дионисову храму. Рядом с капищем находилась обитель христианских монахов, у которой окна и ворота заперты были наглухо замками и железными засовами, как будто перед

нашествием врагов; язычники обвиняли монахов в разграблении и осквернении храма.

Гнифон и Зотик, когда вступили в него,- увидели слесарей, плотников, каменщиков, занятых очисткой и поправкой поврежденных частей здания.

Ломали полусгнившие доски, которыми заколочено было четырехугольное отверстие в крыше. Солнечный луч упал в темный воздух.

- Паутины, смотрите, паутины-то сколько!

Между коринфскими венцами мраморных столбов висели целые сети прозрачной пыльно-серой ткани. Насаживали метлы на длинные шесты и начали сметать паутину.

Потревоженная летучая мышь выпорхнула из щели и заметалась, не зная, куда спрятаться от света, тыкаясь во все углы, шурша голыми крыльями.

Зотик разгребал на полу кучи мусора и выносил его в плетеной корзине.

- Вишь ты, проклятые, какой пакости навалили! ворчал старик себе под нос, браня христиан, осквернителей храма.

Принесли связку тяжелых заржавленных ключей и отперли сокровищницу. Все ценное разграбили монахи; дорогие камни с жертвенных чаш были вынуты; золотые и пурпурные нашивки сорваны с одежд. Когда развернули одну великолепную жреческую ризу, туча золотисто-соломенной моли вылетела из складок. На дне железной курильницы увидел Гнифон горсть пепла - остаток мирры, сожженной, до победы Галилеянина, последним жрецом, во время последнего жертвоприношения. От всей этой священной рухляди - бедных тряпок и сломанных сосудов веяло запахом смерти, вековой плесенью и еще каким-то нежным, грустным благоуханием - фимиамом обесчещенных богов. Сладкое уныние проникло в сердце Гнифона: он что-то вспомнил и улыбнулся; может быть, вспомнил детство, вкусные ячменные лепешки с медом и тмином, белые полевые маргаритки и желтые одуванчики, которые приносил со своей матерью на скромный алтарь деревенской богини; вспомнил лепетание детских молитв не далекому небесному Богу, а маленьким, земным, лоснящимся от прикосновения рук

человеческих, выточенным из простого букового дерева, домашним, родимым Пенатам.

И жаль ему стало умерших богов: он тяжело вздохнул.

Но тотчас опомнился и прошептал крестясь: "наваждениебесовское!"

Рабочие принесли тяжелую мраморную плиту, древний барельеф, похищенный много лет назад и найденный в соседней лачуге еврейского сапожника. Барельеф, вставленный среди кирпичей, послужил сапожнику для поправки полуразвалившейся кухонной печи. Старая Филумена, жена соседнего суконщика, набожная христианка, ненавидела жену сапожника: проклятая жидовка то и дело пускала осла своего в капустный огород суконщицы. Много лет продолжалась война между соседками. Наконец, христианка победила: по ее указанию, рабочие ворвались в дом сапожника и, чтобы вынуть барельеф из кухонного очага, должны были сломать печь. Это был жестокий удар для сапожницы. Бедная стряпуха, потрясая ухватом, призыва

ла мщение Иеговы на нечестивых, рвала себе жидкие седые волосы и жалобно выла над опрокинутыми кастрюлями и разрушенным очагом. Жиденята пищали, как птенцы в разоренном гнезде. Но барельеф перенесли все-таки на прежнее место.

Филумена мыла его; он весь почернел от зловонной копоти; жирные струи еврейских похлебок оскверняли белый пентеликонский мрамор. Суконщица усердно терла мокрой тряпкой нежный камень и мало-помалу, из-под смрадной кухонной сажи, выступали строгие божественные лики древнего изваяния: Дионис, юный, нагой, девственный, полулежа, опустил руку с чашей, как будто утомленный пиршеством; пантера лизала остатки вина; и бог, дарующий всему живому веселье, с благосклонной и мудрой улыбкой, взирал, как силу дикого зверя укрощает святая сила вина.

Каменщики подымали на веревках плиту, чтобы укрепить ее на прежнем месте.

Перед самым кумиром Диониса, на складной деревянной лестнице, стоял золотых дел мастер и в темные глазные впадины на

лице бога вставлял два прозрачно-голубых сапфира: то были глаза Диониса.

- Что это? - спросил Гнифон с робким любопытством.

- Разве не видишь? Глаза.

- Так, так... А откуда же эти камешки?

- Из монастыря.

- Да как же монахи позволили?

- Еще бы не позволить! Сам блаженный Августин повелел. Светлые очи бога служили украшением одежды Распятого. То-то и есть: толкуют о милосердии, о справедливости, а сами же - первые разбойники. Смотри-ка, камешки точь-в-точь пришлись на старое место!

Прозревший бог взглянул на Гнифона блестящими сапфирными очами. Старик отошел и перекрестился, охваченный ужасом. Раскаяние мучило его. Сметая пыль, по старой привычке, разговаривал он сам с собой:

- Гнифон, Гнифон, жалкий ты человечиска, пес непотребный! Ну что ты с собою сделал на старости лет?

За что себя погубил? Попутал Лукавый, соблазнил окаянною модою. И пойдешь ты в огонь вечный, и нет тебе больше спасения. Осквернил ты свое тело и душу, Гнифон, идольскою мерзостью. Лучше бы тебе и света Божьего невидеть!..

- Чего ты ворчишь, дедушка? - спросила его суконщица Филумена.

- Скорбит мое сердце, ох, скорбит!

- Христианин, что ли?

- Какой христианин, хуже всякого жида, - не христианин я, а хриstopродавец!

Но он все-таки продолжал с усердием сметать пыль.

- А хочешь, я с тебя грех сниму, и не будет на тебе никакой скверны? Я ведь и сама христианка, а вот небоюсь. Разве пошла бы на такое дело, если бы не знала, как очиститься?

Гнифон посмотрел на нее с недоверием.

Суконщица оглянулась и, убедившись, что их никто не услышит, прошептала с таинственным видом:

- Есть такое средство! Да. Надо тебе сказать, что некий старец святой подарил мне кусочек египетского дерева, именуемого персис;

растет сие древо в Гермополисе Фиваидском. Когда младенец Иисус с Пресвятою Девеою на ослице въезжали в городские ворота, древо персиссклонилось перед ними до земли, и с тех пор стало оно чудотворным - исцеляет болящих. От одного древа естю меня малая щепочка, и от щепочки той отделию я тебе порошинку. Такая в нем благодать, такая благодать, что как положишь на ночь самый маленький кусочек в большой чан воды, - к утру вся вода освятится, и будет в ней сила чудодейственная. Той водицею вымоешься с ног до головы, и мерзости идольской на тебе как не бывало; во всех суставах почувствуешь легкость и чистоту. - И в Писании сказано: очистишься банею водною и убедишься паче снега.

- Благодетельница! - возопил Гнифон. - Спаси меня, окаянного, дай ты мне этого древа!

- Только оно дорогое. Ну, да уж куда ни шло, уступлю тебе за драхму.

- Что ты, мать моя, помилосердствуй! У меня отроду не водилось драхмы. Хочешь за пять оболлов?

- Эх ты, скряга! - с негодованием плюнула суконщица. - Драхмы пожалел. Неужели душа твоя драхмы не стоит?

- Да полно, очистишься ли? - усумнился Гнифон. Может быть, скверна так прилипла, что уже не отстанет?

- Очистишься! - возразила старуха с несокрушимой уверенностью. - Теперь ты как смрадный пес. А брызнешь на себя святою водицею, - струпья с души твоей спадут, и просияет она чистотою голубиною.

Юлиан устроил в Константинополе вакхическое шествие. Он сидел на колеснице, запряженной белыми конями; в одной руке его был золотой тирс, увенчанный кедровою шишкой, символом плодородия, в другой - чаша, обвитая плющом; солнечные лучи, падая на хрустальноедно, отражались ослепительно, и казалось, что чаша до краев полна, как вином, солнечным светом. Рядом с колесницей шли ручные пантеры, присланные ему с острова Серендиба. Вакханки пели, ударяя в тимпаны, потрясая зажженными факелами; сквозь облако дыма видно было, как юноши с приставленными ко лбу козлиными рогами фавнов наливали в чаши вино из кувшинов; они толкали друг друга, смеясь; и часто алая струя, падая мимо кубка нагое круглое плечо вакханки, разлеталась

брызгами. Наосле ехал толстобрюхий старик, придворный казначей, большой плут и взяточник, изображавший Силена.

Вакханки пели, указывая на молодого императора:

Вакх, ты сидишь окруженный Облаком вечно блестящим.

Тысячи голосов подхватывали песнь хора из "Антигоны":

К нам, о, чадо Зевеса!

к нам, о, бог-предводитель Пламенеющих хоров Полночных светил]

С шумом, песнями, криком И с безумной толпою Дев, объятых восторгом, Вакха славящих пляской, К нам, о радостный бог.

Вдруг Юлиан услышал смех, женский визг и дребезжащий старческий голос.

- Ах ты, цыпочка моя!..

Это жрец, шаловливый старичок, ущипнул хорошенькую вакханку за голый белый локоть. Юлиан нахмурился и подозвал к себе старого шута. Тот подбежал к нему, подплясывая и прихрамывая.

- Друг мой,- шепнул Юлиан ему на ухо,- сохраняй пристойную важность, как возрасту и сану твоему приличествует.

Но жрец посмотрел на него с таким удивленным выражением, что Юлиан невольно умолк.

- Я человек простой, неученый,- осмелюсь доложить твоему величеству, философию мало разумею. Но богов чту. Спроси, кого угодно. Во дни лютых гонений христианских остался я верен богам. Ну, уж зато, хэ, хэ, хэ! какувижу хорошенькую девочку,- не могу, вся кровь взиграет! -Я ведь старый козел...

Видя недовольное лицо императора, он вдруг остановился, принял важный вид и сделался еще глупее.

- Кто эта девушка?-спросил Юлиан.

- Та, что несет корзину со священными сосудами на голове?

- Да.

- Гетера из Халкедонского предместья.

- Как? Ужели допустил ты, чтобы блудница касалась нечистыми руками священнейших сосудов бога?

- Но ведь ты же сам, благочестивый Август, повелел устроить шествие. Кого было взять? Все знатные женщины - галилеянки. И ни одна из них не согласилась бы идти полуголой на такое игрище.

- Так, значит,- все они?..

- Нет, нет, как можно! Здесь есть и плясуньи, и комедиантки, и наездницы из ипподрома. Посмотри, какие веселые,- и не стыдятся! Народ это любит. Уж ты мне поверь, старику! Им только этого и нужно... А воти знатная.

Это была христианка, старая дева, искавшая женихов.

На голове ее возвышался парик, в виде шлема галерион, из знаменитых в то время германских волос, пересыпанных золотой пудрой; вся, как идол, увешанная драгоценными камнями, натягивала она тигровую шкуру на свою иссохшую старушечью грудь, бесстыдно набеленную, и улыбалась жеманно.

Юлиан с отвращением всматривался в лица.

Канатные плясуны, пьяные legionеры, продажные женщины, конюхи из цирка, акробаты, кулачные бойцы, мимы - бесновались вокруг него.

Шествие вступило в переулок. Одна из вакханок забежала по дороге в грязную харчевню; оттуда пахло тяжелым запахом рыбы, жареной на прогорклом масле. Вакханка вынесла из харчевни на три обола жирных лепешки начала их есть с жадностью, облизываясь; потом, окончив, вытерла руки о пурпурный шелк одежды, выданной для праздника из придворной сокровищницы.

Хор Софокла надоел. Хриплые голоса затянули площадную песню.

Юлиану все это казалось гадким и глупым сном.

Пьяный кельт споткнулся и упал; товарищи стали его подымать. В толпе изловили двух карманных воришек, которые отлично разыгрывали роль фавнов; воришки защищались; началась драка. Лучше всех вели себя пантеры, и они были красивее всех.

Наконец шествие приблизилось к храму. Юлиан сошел с колесницы.

"Неужели,- подумал он,- предстану я перед жертвенник бога со всей этой сволочью?"

Холод отвращения пробежал по его телу. Он смотрел на зверские лица, одичалые, истощенные развратом, казавшиеся мертвыми сквозь белила и румяна, на жалкую наготу человеческих тел, обезображенных малокровием, золотухой, постами, ужасом христианского ада; воздух лупанаров и кабаков окружал его; в лицо

ему веяло, сквозь аромат курений, дыхание черни, пропитанное запахом вяленой рыбы и кислого вина. Просители со всех сторон протягивали к нему папирусные свитки.

- Обещали место конюха,- я отрекся от Христа и неполучил!

- Не покидай нас, блаженный кесарь, защити, помилуй! Мы отступили от веры отцов, чтобы тебе угодить.

Если покинешь, куда пойдём?

- Попали к черту в лапы!-завопил кто-то в отчаянии.

- Молчи, дурак, чего глотку дерешь!

А хор снова запел:

С шумом, песнями, криком, И с безумной толпою Дев, объятых восторгом, Вакха славящих пляской, К нам, о радостный бог!

Юлиан вошел в храм и взглянул на мраморное изваяние Диониса: глаза его отдохнули от человеческого уродства на чистом облике божественного тела.

Он уже не замечал толпы; ему казалось, что он один, как человек, попавший в стадо зверей.

Император приступил к жертвоприношению. Народ смотрел с удивлением, как римский кесарь. Великий Первосвященник, Pontifex Maximus, из усердия делал то, что должны делать слуги и рабы: колот дрова, носил вязанки хвороста на плечах, черпал воду в роднике, чистил жертвенник, выгребал золу, раздувал огонь.

Канатный плясун заметил шепотом на ухо соседу: - Смотри, как суетится. Любит своих богов!

- Еще бы,- заметил кулачный боец, переодетый в сатира, поправляя козлиные рога на лбу,- иной отца с матерью так не любит, как он - богов.

- Видите, раздувает огонь, щеки надул,- тихонько смеялся другой.- Дуй, дуй, голубчик, ничего не выйдет.

Поздно: твой дядюшка Константин потушил!

Пламя вспыхнуло и озарило лицо императора. Обмакнув священное кропило из конских волос в серебряную плоскую чашу, брызнул он в толпу жертвенной водою.

Многие поморщились, иные вздрогнули, почувствовав на лице холодные капли.

Когда все обряды были кончены, он вспомнил, что приготовил для народа философскую проповедь.

- Люди!-начал он.-Бог Дионис-великое начало свободы в наших сердцах. Дионис расторгает все цепи земные, смеется над сильными, освобождает рабов.

Но он увидел на лицах такое недоумение, такую скуку, что слова замерли на губах его; в сердце подымалась смертельная тошнота и отвращение.

Он подал знак, чтобы копьеносцы окружили его. Толпа расходилась, недовольная.

- Пойду прямо в церковь и покаюсь! Может быть, простят,- говорил один из фавнов, срывая со злостью приклеенную бороду и рога.

- Не за что было и душу губить!-заметила блудница с негодованием.

- Кому-то душа твоя нужна,- трех оболов за нее не дадут.

-Обманули!-завопил какой-то пьяница.-Только по губам помазали. У, черти окающие!

В сокровищнице храма император умыл лицо, руки, сбросил великолепный наряд Диониса и оделся в простую свежую белую, как снег, тунику пифагорейцев.

Солнце заходило. Он ожидал, когда стемнеет, чтобы незамеченным вернуться во дворец.

Из задних дверей храма Юлиан вошел в заповедную рощу Диониса. Здесь царствовала тишина; жужжали только пчелы, звенела тонкая струйка ключа.

Послышались шаги. Юлиан обернулся. То был Другого, один из любимых учеников Максима, молодой александрийский врач Орибазий. Они пошли вместе по заросшей тропинке. Солнце пронизывало широкие золотистые листья винограда.

- Посмотри,- сказал Юлиан с улыбкой,- здесь еще жив великий Пан. Потом он прибавил тише, опуская голову: - Орибазий, ты видел?..

- Да,- ответил врач,- но, может быть, ты сам виноват, Юлиан? Чего ты хотел?

Император молчал.

Они подошли к обвитой плющом развалине: это был маленький, разрушенный христианами, храм Силена. Обломки валялись в густой траве. Уцелела лишь одна непрокинутая колонна, с нежной капителью, похожей на белую лилию. Отблеск заходящего солнца потухал на ней.

Они сели на плиты. Благоухали мята, полынь и тмин.

Юлиан раздвинул травы и указал на древний сломанный барельеф:

- Орибазий, вот чего я хотел!..

На барельефе была изображена древняя эллинская феория - священное праздничное шествие афинян.

- Вот чего я хотел-этой красоты! Почему, день ото дня, люди становятся все безобразнее? Где они, где эти богоподобные старцы, суровые мужи, гордые отроки, чистые жены в белых развевающихся одеяниях? Где эта сила и радость? Галилеяне! Галилеяне! Что вы сделали?..

Глазами, полными бесконечной грусти и любви, он смотрел на барельеф, раздвинув густые травы.

- Юлиан,- спросил Орибазий тихо,- ты веришь Максиму?

- Верю.

- Во всем?

- Что ты хочешь сказать?

Юлиан поднял на него удивленные глаза.

- Я всегда думал, Юлиан, что ты страдаешь той же самой болезнью, как и враги твои, христиане.

- Какою?

- Верю в чудеса.

Юлиан покачал головой:

- Если нет ни чудес, ни богов, вся моя жизнь безумие.- Но не будем говорить об этом. А за мою любовь к обрядам и гаданиям древности не суди меня слишком строго. Как тебе это объяснить, не знаю. Старые, глупые песни трогают меня до слез. Я люблю вечер больше утра, осень - больше весны. Я люблю все уходящее. Я люблю благоухание умирающих цветов. Что же делать, друг мой?

Таким меня создали боги. Мне нужна эта сладкая грусть, этот золотистый и волшебный сумрак. Там, в далекой древности, есть что-

то несказанно прекрасное и милое, чего я больше нигде не нахожу. Там-сияние вечернегосолнца на пожелтевшем от старости мраморе. Не отнимай у меня этой безумной любви к тому, чего нет! То, что было, прекраснее всего, что есть. Над моею душою воспоминание имеет большую власть, чем надежда.

Он умолк и задумчиво, с нежной улыбкой, смотрел в даль, опираясь головой на уцелевшую колонну с нежной капителью, похожей на сломанную белую лилию; на ней уже потух последний луч.

- Ты говоришь, как художник,- ответил Орибазий. Но грезы поэта опасны, когда судьбы мира в руках его.

Тот, кто царствует над людьми, не должен ли быть больше, чем поэт?

- Что может быть больше?

- Создатель новой жизни.

- Новое, новое! - воскликнул Юлиан.- Право, я иногда боюсь вашего нового! Оно кажется мне холодным'

и жестоким, как смерть. Я говорю тебе, в старом - мое сердце! Галилеяне тоже ищут нового, попирая древние святыни. Верь мне - новое только в старом, но не стареющем, в умершем, но бессмертном, в поруганном в прекрасном!

Он поднялся во весь рост, с бледным и гордым лицом, с горящими глазами:

- Они думают-Эллада умерла! Вот, со всех концов света, черные монахи, как вороны, слетаются на белое мраморное тело Эллады и жадно клюют его, как падаль, и веселятся, и каркают:-"Эллада умерла!"-Но Эллада не может умереть. Эллада - здесь, в наших сердцах. Эллада - богоподобная красота человека на земле. Она проснется-и горе тогда галилейским воронам!

- Юлиан,- проговорил Орибазий,- мне страшно затебя: ты хочешь совершить невозможное. Живого тела вороны не клюют, а мертвые не воскресают. Кесарь, что, если чудо не совершится?

- Я ничего не боюсь: гибель моя будет торжеством моим,- воскликнул император с такою радостью, что Орибазий невольно содрогнулся, как будто чудо готово было совершиться.- Слава отверженным, слава побежденным!

- Но перед тем, чтобы погибнуть,- прибавил он с высокомерной улыбкой,-мы еще поборемся! Я хотелбы, чтобы враги мои были достойны моей ненависти, а презрения. Воистину люблю я врагов моих за то, что могу побеждать их. В сердце моем Дионисова радость. Ныне восстает древний титан и разрывает цепи, и еще раз Прометеев огонь зажигается на земле. Титан - против Галилеянина. Вот я иду, чтобы дать людям такую свободу, такое веселие, о каких они и мечтать не дерзали. Галилеянин, царство твое исчезает, как тень. Радуйтесь, племена и народы земные. Я-вестник жизни, я-освободитель, я - Антихрист!

В соседнем монастыре, с наглухо запертыми ставнями и воротами, раздавались моления иноков; издали доносился гул вакхического веселья: чтобы заглушить его, монахи соединяли голоса в жалобный вопль.

"Векую, Боже, отринул еси до конца, разгневался ярость Твоя на овцы пажити Твоея".

"Положил еси нас в пререkanie и поношение соседом нашим, в притчу во языцех, в поругание всем человеком".

Новый, неожиданный смысл принимали древние слова пророка Даниила: "Предал еси нас Господь царю отступнику, лукавейшему паче всех земли".

Поздно ночью, когда на улице все утихло, иноки разошлись по кельям.

Брат Парфений не мог уснуть. У него было бледное, ласковое лицо; когда он говорил с людьми,- в больших чистых, как у молодой девушки, глазах его выражалось печальное недоумение; он, впрочем, говорил мало, невнятно, как будто с тяжелым усилием, и притом почти всегда такое детское, неожиданное, что его не могли слушать без улыбки; порой беспричинно смеялся, и когда суровые монахи спрашивали: - "чего зубы скалишь, дьявола тешишь?"-объяснял им робко, что смеется "собственными мыслями";-это еще более убеждало всех, что он юродивый.

Но брат Парфений обладал великим искусством расписывать заглавные буквы книг хитрыми узорами. Искусство его доставляло не только деньги, но почет и славу монастырю, даже в отдаленных

землях. Сам он этого не знал, и если бы даже мог понять, что значит людская слава, то скорее испугался бы, чем обрадовался.

Живопись, которая иногда стоила ему тяжелого труда, так как мельчайшие подробности доводил он до последних пределов совершенства, считал не работой, а отдыхом;

Не говорил: - "я пойду работать",- а всегда просил настоятеля Памфила, старика, нежно его любившего: "отче, благослови отдохнуть".

Окончив какую-нибудь подробность, тончайший завиток рисунка, хлопал в ладоши и хвалил себя. Так любил уединение и тишину ночи, что научился работать даже приогне; краски выходили странные, но это не вредило сказочным узорам. В маленькой келейке с нависшими сводами Парфений зажег глиняную лампадку и поставил ее на полку, рядом с баночками, тонкими кистями, ящиками для красок, для киновари, для жидкого серебра и золота. Перекрестился, осторожно обмакнул кисть и начал выводить хвосты двух павлинов на челе заглавного листа; золотые павлины на изумрудном поле пили из бирюзового ключа; они подняли клювы и вытянули шеи, как делают птицы, когда пьют.

Кругом лежали другие пергаментные свитки с недоконченными узорами.

Это был целый мир сверхъестественный: вокруг исписанных страниц обвивались воздушные, волшебные строения, деревья, лозы, животные. Парфений ни о чем не думал, когда создавал их, но ясность и веселие сходили на бледное лицо его. Эллада, Ассирия, Персия, Индия и Византия, и смутные веяния будущих миров - все народы века простодушно соединялись в монашеском раю, блиставшем переливами драгоценных камней вокруг заглавных букв Священного Писания.

Иоанн Креститель лил воду на голову Христа; а рядом языческий бог Иордан, с наклоненной амфорой, струящей воду, любезно, как древний хозяин этих мест, держал полотенце наготове, дабы предложить его Спасителю после крещения.

Брат Парфений, в простоте сердца, не боялся древних богов; они увеселяли его, казались давно обращенными в христианство. На вершине холмов помещал он горного бога в виде нагого юноши;

когда же писал переход иудеев через Черное море, женщина с веслом в руке изображала Море, а голый мужчина Ρ^Λογ - мужского рода по гречески - должен был означать Бездну, поглощающую Фараона; на берегу сидела Пустыня, в виде печальной женщины в тунике желто-песочного цвета.

Кое-где - в изогнутой шее коня, в складке длинной одежды, в том, как простодушный горный бог, лежа, опирался на локоть, или бог Иордан подавал Христу полотенце,- сквозило эллинское изящество, красота обнаженного тела.

В ту ночь "игра" не забавляла художника.

Всегда неугомонные пальцы дрожали; на губах не было обычной улыбки.- Он прислушался, открыл ящик в кипарисовом поставце, вынул острое шило для переплетных работ, перекрестился и, заслоняя рукою пламя лампы, тихонько вышел из кельи.

В проходе было тихо и душно; слышалось жужжание мухи, попавшей в паутину.

Парфений спустился в церковь. Единственная лампада мерцала, перед старинным двусторонним образом из слоновой кости. Два крупных продолговатых сапфира в ореоле младенца Иисуса на руках Божьей Матери вынуты были язычниками и возвращены на прежнее место в храм Диониса.

Черные безобразные впадины в слоновой кости, которая от древности слегка тронута была желтизной, казались Парфению язвами в живом теле, и эти кощунственные язвы возмущали сердце художника.- "Господи, помоги!"- прошептал он, касаясь руки младенца Иисуса.

В углу церкви отыскал веревочную лестницу: иноки употребляли ее для зажигания лампад в куполе храма. Он взял эту лестницу и направился в узкий темный проход, кончавшийся наружной дверью. На соломе храпел краснощекий толстый брат-келарь, Хориций.- - - Парфений проскользнул мимо него, как тень. Замок на двери отомкнулся с певучим звоном. Хориций приподнялся, хлопнул глазами и опять повалился на солому.

Парфений перелез через невысокую ограду. Улица глухого предместья была пустынной. На небе сиял полный месяц. Море шумело.

Он подошел к той стороне храма Диониса, где был атен, и закинул вверх веревочную лестницу так, чтобы один конец зацепился за медную акротеру на углу храма.

Лестница повисла на поднятой когтистой лапе сфинкса.

Монах взлез на крышу.

Где-то очень далеко запели ранние петухи, залаяла собака. Потом опять настала тишина; только море шумело. Он перекинул лестницу и спустился во внутренность храма.

Здесь царствовало безмолвие. Зрачки бога, два прозрачно голубых продолговатых сапфира, сияли страшною жизнью при месячном блеске, прямо устремленные на монаха.

Парфений вздрогнул и перекрестился.

Он взлез на жертвенник. Недавно верховный жрец, Юлиан, раздувал на нем огонь. Ступни Парфения почувствовали теплоту непростывшего пепла. Он вынул из-за пазухи шило. Очи бога сверкали близко, у самого лица его. Художник увидел беспечную улыбку Диониса, все его мраморное тело, облитое лунным сиянием, и залюбовался на древнего бога.

Потом начал работу, стараясь острием шила вынуть сапфиры. Часто рука его, против воли, щадила нежный мрамор.

Наконец, работа была кончена. Ослепленный Дионис грозно и жалобно взглянул на него черными впадинами глаз. Ужас охватил Парфения: ему показалось, что кто-то подсматривает. Он соскочил с жертвенника, пробежал по веревочной лестнице, вскарабкался, свесил ее на другую сторону, даже не закрепив, как следует, так что, слезая с нижних ступенек, сорвался и упал. Бледный, растрепанный, в запачканной одежде, но все-таки крепко сжимая сапфиры в руке, бросился он, как вор, через улицу к монастырю.

Привратник не просыпался. Парфений, приотворив дверь, проскользнул и вошел в церковь. Взглянув на образ, он успокоился. Попробовал вложить сапфировые очи Диониса в темные впадины: они прилипли как нельзя лучше на старое место и опять затеплились кротко в сиянии младенца Иисуса.

Парфений вернулся в келью, потушил огонь и лег в постель. Вдруг, в темноте, весь съежившись и закрывая лицо руками, засмеялся беззвучным смехом, как напугавшиеся дети, которые и

радуются шалости, и боятся, чтобы старшие не узнали. Он заснул с этим смехом в душе.

Утренние волны Пропонтиды сверкали сквозь решетку маленького окна, когда Парфений проснулся. Голуби на подоконнике, воркуя, хлопали сизыми крыльями. Смех еще оставался в душе его.

Он подошел к рабочему столу и с радостью взглянул на недооконченную маленькую картину в заглавной букве.

Это был Рай Божий: Адам и Ева сидели на лугу.

Луч восходящего солнца упал сквозь окно прямо на картину, и она заблестела райской славой - золотом, пурпуром, лазурью.

Парфений, работая, не замечал, что он придает голомутелу Адама древнюю олимпийскую прелесть бога Диониса.

Знаменитый софист, придворный учитель красноречия, Гэкеболий начал с низких ступеней восхождение свое по лестнице государственных чинов. Он был служакой при Гиеропольском храме Астарты. Шестнадцати лет, украв несколько драгоценных вещей, бежал из храма в Константинополь, прошел через все мытарства, шлялся по большим дорогам, и с благочестивыми странниками, и с разбойничьей шайкой оскотенных жрецов Диндимены, многогрудой богини, любимицы черни, развозимой по деревням на осле.

Наконец, попал в школу ритора Проэрезия и скоро сам сделался учителем красноречия.

В последние годы Константина Великого, когда христианская вера стала придворной модой, Гэкеболий принял христианство. Люди духовного звания питали к нему особенную склонность; он платил им тем же.

Часто, и всегда вовремя, менял Гэкеболий исповедание веры, смотря по тому, откуда дует ветер: то из арианства переходил в православие, то опять из православия в арианство; и каждый раз такой переход был новой ступенью в лестнице чинов государственных. Лица духовного звания тихонько подталкивали его, и он в свою очередь помогал им карабкаться.

Голова его умащалась сединой; дородность делалась все более приятной; умные речи - все более вкрадчивыми и уветливыми, а щеки

украшались старческой свежестью.

Глаза были ласковые; но изредка вспыхивала в них злая, пронзительная насмешливость, ум дерзкий и холодный;

тогда поспешно опускал он ресницы - и вспыхнувшая искра потухала. Вся наружность знаменитого софиста приобрела оттенок церковного благолепия.

Он был строгим постником и вместе с тем тонким гастрономом: лакомые постные блюда стола его были изысканнее самых роскошных скоромных, так же как монашеские шутки Гэкеболия были острее самых откровенных языческих. На стол подавали у него прохладительное питье из свекловичного сока с пряностями: многие уверяли, что оно вкуснее вина; вместо обыкновенного пшеничного хлеба изобрел он особые постные лепешки из пустынных семян, которыми, по преданию, Св. Пахомий питался в Египте.

Злые языки утверждали, что Гэкеболий - женолюбец.

Рассказывали, будто бы однажды молодая женщина призналась на исповеди, что изменила мужу.- "Великий грех! А с кем же, дочь моя?"-спросил ее духовник."С Гэкеболием, отец". Лицо священника просветлело: "С Гэкеболием! Ну, это-муж святой и к церкви усердный. Покайся, дочь моя. Господь тебя простит".

При императоре Констанции получил он место придворного ритора с прекрасным жалованьем, сенаторский латиклав и почетную голубую перевязь через плечо - отличие высших чиновников.

Но как раз в то мгновение, когда приготовлялся он сделать последний шаг, разразился неожиданный удар: Констанций умер; на престол вступил Юлиан, ненавистник церкви. Гэкеболий не потерял присутствия духа; он сделал то, что делали другие, но умнее других и главное вовремя - не слишком поздно, не слишком рано.

Однажды Юлиан, еще в первые дни власти, устроил богословское состязание во дворце. Молодой философи врач, человек, всеми чтимый за свою прямоту и благородство, Цезарий Каппадокийский, брат знаменитого учителя церкви, Василия Великого, выступил защитником христианской веры против императора. Юлиан допускал в таких ученых спорах свободу, любил, чтобы ему самому возражали, забывая придворную чинность.

Спор был жаркий; собрание софистов, риторов, священников, церковных учителей - многолюдное.

Спорящий поддавался, обыкновенно, если не доводам эллинского философа, то величию римского кесаря, Юлиана,- и уступал.

На этот раз дело произошло иначе: Цезарий не уступал. Это был юноша с девичьей прелестью в движениях, с шелковистыми кудрями, с невозмутимой ясностью Невинных глаз. Философию Платона называл "хитросплетенною мудростью Змия" и противопоставлял ей небесную мудрость Евангелия. Юлиан хмурил брови, отворачивался, кусал губы и едва сдерживался.

Спор, как все искренние споры, кончился ничем.

Император вышел из собрания, с философскою шуткою, приняв ласковый вид, как бы с легким оттенком всепрощающей грусти,- на самом деле, с жалом в сердце.

В это мгновение подошел к нему придворный ритор, Гэкеболий; Юлиан считал его врагом.

Гэкеболий упал на колени и начал покаянную исповедь: давно уже колебался он, но доводы императора убедили его окончательно; он проклял мрачное галилейское суеверие; сердце его вернулось к воспоминаниям детства, к светлым олимпийским богам.

Император поднял старика, не мог от волнения говорить, только изо всей силы прижал его к своей груди и поцеловал в бритые мягкие щеки, в сочные красные губы.

Он искал глазами Цезаря, чтобы насладиться победой.

В продолжение нескольких дней Юлиан не отпускал от себя Гэкеболия, рассказывал кстати и некстати о чудесном обращении, гордился им, как жрец праздничной жертвой, как дитя новой игрушкой.

Он хотел дать ему почетное место при дворе, но Гэкеболий отказался, считая себя недостойным такой почести и намереваясь приготовить душу свою к эллинским добродетелям долгим искусом и покаянием, очистить сердце от нечестия галилейского служением кому-нибудь из древних богов. Юлиан назначил его верховным жрецом Вифинии и Пафлагонии. Лица, носившие этот сан, назывались язычников "архиереями".

Архиерей Гэкеболий управлял двумя многолюдными азиатскими провинциями и шел по новому пути с таким же успехом, как по старому. Содействовал обращению многих галилеян в эллинскую веру.

Он сделался главным жрецом знаменитого храма финикийской богини Астарты-Атагартис, той самой, которой служил в детстве. Храм был расположен на половине пути между Халкедоном и Никомедией, на высоком уступе, вдающемся в волны Пропонтиды; место называлось Гаргария. Сюда стекались богомольцы со всех концов света, почитатели Афродиты-Астарты, богини смерти и сладострастия.

В одной из обширных зал Константинопольского дворца Юлиан занимался государственными делами.

Между порфировых столбов крытого хода сияло бледно-голубое море. Он сидел перед круглым мраморным столом, заваленным папирусными и пергаментными свитками.

Скоространные, наклонив головы, поскрипывали египетскими тростниками - перьями. Лица у чиновников были заспанные; они не привыкли вставать так рано. Немного поодаль, новый архиерей Гэкеболий и чиновник Юний Маврик, придворный щеголь с желчным, сухим и умным лицом, с брезгливыми складками вокруг тонких губ, - разговаривали шепотом.

Юний Маврик, среди всеобщего суеверия, был одним из последних поклонников Лукиана, великого насмешника Самозатского, творца язвительных диалогов, который издевался надо всеми святынями Олимпа и Голгофы, над всеми преданиями Эллады и Рима.

Ровным голосом диктовал Юлиан послание верховному жрецу Галатии, Арказию:

"Не позволяй жрецам посещать зрелища, пить в кабаках, заниматься унижительными промыслами; послушных награждай, непослушных наказывай. В каждом городе учреди странноприимные дома, где пользовались бы нашими щедротами не только эллины, но и христиане, и иудеи, и варвары. Для ежегодной раздачи бедным в Галатии назначаем тридцать тысяч мер пшеницы, шестьдесят тысяч мер сусов вина; пятую часть раздавай бедным, живущим

прихрамах, остальное-странникам и нищим: стыдно лишать эллинов пособий, когда у иудеев нет вовсе нищих, а безбожные галилеяне кормят и своих, и наших, хотя поступают, как люди, обманывающие детей лакомствами: начинают с гостеприимства, с милосердия, с приглашений на вечера любви, называемые у них Тайнами, и, мало-помалу, вовлекая верующих в богопротивное нечестие, кончают постами, бичеваниями, истязаниями плоти, ужасом ада, безумием и лютой см'ертью; таков обычный путь этих человеконенавистников, именующих себя братолюбцами.

Победи их милосердием во имя вечных богов. Объяви повсем городам и селам, что такова моя воля; объясни гражданам, что я готов прийти к ним на помощь во всяком деле, во всякий час. Но если хотят они стяжать особую милость мою,- да преклонят умы и сердца единодушно перед Матерью богов, Диндименою Пессинунтскою,- да воздадут ей честь и славу во веки веков".

Последние слова приписал он собственной рукой.

Между тем подали завтрак - простой пшеничный хлеб, свежие оливки, легкое белое вино. Юлиан пил и ел, неотрываясь от работы; он вдруг обернулся и, указывая на золотую тарелку с оливками, спросил старого любимого раба своего, привезенного из Галлии, который всегда прислуживал ему за столом:

- Зачем золото? Где прежняя, глиняная?

- Прости, государь,- разбилась...

- Вдребезги?

- Нет, только самый край.

- Принеси же.

Раб побежал и принес глиняную тарелку с отбитым краем.

- Ничего, еще долго прослужит,- сказал Юлиан и улыбнулся доброй улыбкой.

- Я заметил, друзья мои, что сломанные вещи служат дольше и лучше новых. Признаюсь, это слабость моя: я привыкаю к старым вещам, в них есть для меня особая прелесть, как в старых друзьях. Я боюсь новизны, ненавижу перемены; старого всегда жаль, даже плохого; старое - уютно и любезно...

Он рассмеялся собственным словам:

- Видите, какие размышления приходят иногда по поводу разбитой глиняной посуды!

Юний Маврик дернул Гэкеболия за край одежды: - Слышал? Тут вся природа его: одинаково бережети свои разбитые тарелки, и своих полумертвых богов. Вот что решает судьбы мира!..

Юлиан увлекся; от эдиктов и законов перешел он к замыслам будущего: во всех городах Империи предполагал завести училища, кафедры, чтения, толкования эллинских догматов, установленные образцы молитв, эпитимьи, философские проповеди, убежища для любителей целомудрия, для посвятивших себя размышлениям.

- Каково? - прошептал Маврик на ухо Гэкеболию: - монастыри в честь Афродиты и Аполлона. Час от часу не легче!..

- Да, все это, друзья мои, исполним мы с помощью богов, - заключил император. - Галилеяне желают уверить мир, что им одним принадлежит милосердие; но милосердие принадлежит всем философам, каких бы богов ничтили они. Я пришел, чтобы проповедовать миру новую любовь, не рабскую и суеверную, а вольную и радостную, как небо олимпийцев!..

Он обвел всех испытующим взглядом. На лицах чиновников не было того, чего он искал.

В залу вошли выборные от христианских учителей риторики и философии. Недавно был объявлен эдикт, воспрещавший галилейским учителям преподавание эллинского красноречия; христианские риторы должны были или отречься от Христа, или покинуть школы.

Со свитком в руках подошел к Августу один из выборных - худенький, растерянный человек, похожий на старого облезлого попугая, в сопровождении двух неуклюжих краснощеких школьников.

- Помилосердствуй, боголюбивейший!

- Как тебя зовут?

- Папириан, римский гражданин.

- Ну вот, видишь ли, Папириан любезный, я не желаю вам зла. Напротив. Оставайтесь галилеянами.

Старик упал на колени и обнял ноги императора: - Сорок лет учу грамматике. Не хуже других знаю Гомера и Гесиода...

- О чем ты просишь? - произнес Август, нахмурившись.

- Шесть человек детей, государь,- мал-мала меньше.

Не отнимай последнего куска. Ученики любят меня. Расспроси их... Разве я чему-нибудь дурному?..

Папириан не мог продолжать от волнения; он указывал на двух учеников, которые не знали, куда спрятать руки, и стояли, выпучив глаза, сильно и густо краснея.

- Нет, друзья мои! - перебил император тихо и твердо.- Закон справедлив. Я считаю нелепым, чтобы христианские учителя риторики, объясняя Гомера, отвергали тех самых богов, которых чтит Гомер. Если думаете, что наши мудрецы сплетали только басни - ступайте лучше в церкви объяснять Матфея и Луку! Заметьте, галилеяне,- я делаю это для вашего же собственного блага...

В толпе раторов кто-то проворчал себе под нос: - Для собственного блага поколеем с голоду!

- Вы боитесь осквернить себя жертвенным мясом или жертвенною водою, учителя христианские,- продолжал император невозмутимо,- как же не боитесь вы осквернить себя тем, что опаснее всякого мяса и воды,- ложной мудростью? Вы говорите: "блаженны нищие духом". Будьте же нищими духом. Или вы думаете, я не знаю вашего учения? О, знаю лучше, чем кто-либо из вас! Я вижу в галилейских заповедях такие глубины, какие вам не снились. Но каждому свое: оставьте нам нашу суетную мудрость, нашу бедную эллинскую ученость. На что вам эти зараженные источники? У вас есть мудрость высшая.

У нас царство земное, у вас - небесное. Подумайте: царство небесное - это не мало для таких смиренных и нестяжательных людей, как вы. Диалектика возбуждает только охоту к вольнодумным ересям. Право!.. Будьте просты, как дети. Не выше ли всех платоновых диалогов благодатное невежество капернаумских рыбаков? Вся мудрость галилеян состоит в одном: веруй! Если бы вы были настоящими христианами, то благословили бы мой закон.

Ныне же возмущается в вас не дух, а плоть, для коей грех сладок. Вот все, что я имел вам сказать, и надеюсь, вы извините меня и согласитесь, что римский император больше заботится о спасении ваших душ, чем вы сами.

Он прошел через толпу риторов, спокойный и довольный своею речью.

Папириан по-прежнему, стоя на коленях, рвал свои жидкие седые кудри.

- За что? Мать Небесная, за что такое пощечение?

Оба ученика, видя горе наставника, вытирали выпученные глаза неуклюжими красными кулаками.

Кесарь помнил бесконечные распри православных иариан, которые происходили на Миланском соборе при Констанции. Он задумал воспользоваться этой враждою для своих целей и решил созвать, подобно своим христианским предшественникам, Константину Великому и Констанцию, церковный собор.

Однажды, в откровенной беседе, объявил удивленным друзьям, что, вместо всяких насилий и гонений, хочет дать галилеянам свободу исповедания, возвратить из ссылки донатистов, семириан, маркионитов, монтанистов, цецилиан и других еретиков, изгнанных постановлениями соборов при Константине и Констанции. Он был уверен, что нет лучшего средства погубить христиан. "Увидите, друзья мои,- говорил император,- когда все они вернутся на свои места,- такая распря возгорится между братолюбцами, что они растерзают друг друга, как хищные звери, и предадут бесславию имя Учителя своего скорее, чем я мог бы этого достигнуть самыми лютыми казнями!"

Во все концы Римской империи разослал он указы и письма, разрешая изгнанным клирикам возвратиться безбоязненно, Объявлялась свобода вероисповедания. Вместе с тем мудрейшие учителя галилейские приглашались ко двору в Константинополь для некоторого совещания по делам церковным. Большая часть приглашенных не ведала в точности ни цели, ни состава, ни полномочий собрания, так как все это было означено в письмах с преднамеренной неясностью. Многие, угадывая хитрость Богоотступника, под предлогом болезни или дальнего расстояния, вовсе не явились на зов.

Утреннее голубое небо казалось темным по сравнению с ослепительно белым мрамором двойного ряда столбов, окружавшего большой двор - Константинов атриум. Белые голуби, с

радостным шелковым шелестом крыльев, исчезали в небе, как хлопья снега. Посередине двора, в светлых брызгах фонтана, виднелась Афродита Каллипига;

влажный мрамор серебрился, как живое тело. Монахи, проходя мимо нее, отвертывались и старались не видеть;

но она была среди них, лукавая и нежная.

Не без тайного намерения выбрал Юлиан такое странное место для церковного собора. Темные одежды иноковказались здесь еще темнее, истощенные лишениями, озлобленные лица еретиков-изгнанников - еще более скорбными; как черные безобразные тени, скользили они по солнечному мрамору.

Всем было неловко; каждый старался принять вид равнодушный, даже самонадеянный, притворяясь, что не узнает соседа - врага, которому он, или который ему испортил жизнь, а между тем украдкой кидали они друг надруга злые, пытливые взоры.

- Пречистая Мать Божия¹ Что же это такое? Кудамы попали? - волновался престарелый дородный епископсебастийский, Евстафий.-Пустите, пустите меня!..

- Тише, друг мой,- уговаривал его начальник придворных копьеносцев, варвар Дагалаиф, вежливо отстраняя от двери.

- Не участник я в соборе еретическом. Пустите!

- По воле всемилостивейшего кесаря, все пришедшиена собор...- возражал Дагалаиф, удерживая епископас непреклонною лаской.

- Не собор, а вертеп разбойничий!-негодовал Евстафий.

Среди христиан нашлись веселые люди, которые подсмеивались над провинциальной наружностью, одышкойи сильным армянским выговором Евстафия. Он совсеморобел, притих и забился в угол, только повторяя с отчаянием:

- Господи! И за что мне сие?..

Евандр Никомедийский тоже раскаивался, что пришелсюда и привел Дидимова послушника, только что приехавшего в Константинополь, брата Ювентина.

Евандр был великий догматик, человек ума проницательного и глубокого; над книгами потерял здоровье, преждевременно состарился; зрение его ослабело; в близоруких добрых глазах было постоянное выражение усталости. Бесчисленные ереси осаждали ум

его, не давали ему покоя, мучили наяву, грезились во сне, но, вместе с тем, привлекали соблазнительными тонкостями и ухищрениями. Он собирал их, в продолжение многих лет, в громадную рукопись под заглавием Против еретиков так же усердно, как некоторые любители собирают чудовищные редкости. Отыскивал с жадностью новые, изобретал несуществующие, и, чем яростнее опровергал, тем более путался в них. Иногда с отчаянием молил у Бога простой веры, но Бог не давал ему простоты. В повседневной жизни был он жалок, доверчив и беспомощен, как дитя. Злым людям ничего не стоило обмануть Евандра: об его рассеянности ходило множество смешных рассказов.

По рассеянности пришел он и в это нелепое собрание, привлекаемый отчасти и надеждою узнать новую ересь.

Теперь епископ Евандр все время с досадой морщился и заслонял ладонью слабые глаза от слишком яркого солнца и мрамора. Ему было не по себе; скорее хотелось назад, в полутемную келью, к своим книгам и рукописям.

Ювентина не отпускал он от себя и, осмеивая различные ереси, предостерегал от соблазна.

Посередине залы проходил коренастый старик, с широкими скулами, с венцом седых пушистых волос, семидесятилетний епископ Пурпурий, африканец-донатист, возвращенный Юлианом из ссылки.

Ни Константину, ни Констанцию не удалось подавить ересь донатистов. Реки крови проливались из-за того, что пятьдесят лет назад, в Африке рукоположен был неправильно Донат вместо Цецилиана или, наоборот, Цецилиан вместо Доната,- этого хорошенько разобрать никто не мог; но донатисты и цецилиане избивали друг друга, и непредвиделось конца братоубийственной войне, возникшей даже не из-за двух мнений, а из-за двух имен.

Ювентин заметил, как, проходя мимо Пурпурия, один цецилианский епископ задел краем фелони одежду донатиста. Тот отшатнулся и, подняв брезгливо, двумя пальцами, так, чтобы все видели, несколько раз отряхнул в воздухе ткань, оскверненную прикосновением еретика.

Евандр рассказал Ювентину, что когда случайно цецилианин заходит в церковь донатистов, они выгоняют его и потом тщательно

соленой водой обмывают плиты, на которых он стоял.

За Пурпурием следовал по пятам, как пес, верный телохранитель, полудикий, огромного роста африканец, черный, страшный, с расплуснутым носом, толстыми губами, с дубиной в жилистых руках, дьякон Леона, принадлежавший к секте самоистязателей. Это были жители гетулийских селений; их называли циркумцеллионами. Бегая с оружием в руках, предлагали они деньги встречным набольших дорогах и грозили: "Убейте нас, или мы васубьем!" Циркумцеллионы резали, жгли себя, бросались в воду, во имя Христа; но не вешались, потому что ИудаИскарriot повесился. Порой целые толпы их с пениемпсалмов кидались в пропасти; они утверждали, что самоубийство, во славу Божью, очищает душу от всех грехов.

Народ чтит их, как мучеников. Перед смертью предавались наслаждениям - ели, пили, насиловали женщин. Многие не употребляли меча, потому что Христос запретилупотреблять меч, зато огромными дубинами, со спокойноюсовестью, "по Писанию", избивали еретиков и язычников; проливая кровь, возглашали: "Господу хвала!" Этогосвященного крика мирные жители африканских городови сел боялись больше, чем трубы врагов и рыканья львиного.

Донатисты считали циркумцеллионов своими воинамии стражами; а так как поселяне гетулийские плохо разумели церковные споры, то богословы-донатисты указывалиим, кого именно следует избивать "по Писанию".

Евандр обратил внимание Ювентина на красивогоюношу, с лицом неясным и невинным, как у молодой девушки: это был каинит.

"Благословенны, -- проповедовали каиниты, - гордые, непокорившиеся братья наши: Каин, Хам, жители Содомаи Гоморры - семья Верховной Софии, Сокровенной Мудрости! Придите к нам, все гонимые, все восставшие, всепобежденные! Благословен Иуда! Он один из апостоловбыл причастен Высшему Знанию - Гнозису. Он предалХриста, дабы Христос умер и воскрес, потому что Иудазнал, что смерть Христа спасет мир. Посвященный в нашу мудрость должен преступить все пределы, на все дерзнуть, должен презреть вещество, поправ самый страх нему, и, отдавшись всем грехам, всем

наслаждениям плоти, достигнуть благодатного отвращения к плоти - последней чистоты духовной".

- Смотри, Ювентин, вот человек, который считает себя несравненно выше серафимов и архангелов,--указалЕвандр на стройного молодого египтянина, стоявшего в стороне от всех, одетого по последней византийской моде, со множеством драгоценных перстней на холеных, белых руках, с лукавой улыбкой на тонких губах, подкрашенных, как у блудницы; это был Кассиодор валентинианин.

- У православных,- утверждал Кассиодор,-- есть душа как у прочих животных, но духа нет. Одни мы, посвященные в тайны Плэрона и Гнозиса, достойны называться людьми; все остальные - свиньи и псы.

Кассиодор внушал ученикам своим: - Вы должны знать всех, вас не должен знать никто.

Перед непосвященными отрекайтесь от Гнозиса, молчите, презирайте доказательства, презирайте исповедание веры и мученичество. Любите безмолвие и тайну. Будьте неуловимы и невидимы для врагов, как силы бесплотные. Обыкновенным христианам нужны добрые дела для спасения.

Тем, у кого есть высшее Знание Бога - Гнозис, добрых дел не нужно. Мы сыны света. Они сыны мрака. Мы уже не боимся греха, ибо знаем: телу-телесное, духу-духовное. Мы на такой высоте, что не можем пасть, как бы ни грешили: сердце наше остается чистым во грехе, как золото в грязи.

Подозрительный, косоглазый старичок, с лицом сладострастного фавна, адамит Продик, утверждал, будто бы учение его возрождает в людях первобытную невинность Адама: голые адамиты совершали таинства в церквах, жарко натопленных, как бани, называвшихся Эдемами; подобно прародителям до грехопадения, не стыдились они наготы своей, уверяя, что все мужчины и женщины отличаются у них высшим целомудрием; но чистота этих райских собраний была сомнительна.

На полу, рядом с адамитом Предиком, сидела бледная седовласая женщина, в епископском одеянии, с прекрасным суровым лицом, с веками, полузакрытыми от усталости, пророчица монтанистов. Желтолицые, изнуренные скопцы благоговейно ухаживали за ней,

смотрели на нее томными, влюбленными глазами и называли ее Небесною Голубицею. Изнывая долгие годы от восторгов неосуществимой любви, проповедовали они, что род человеческий должен быть прекращен целомудренным воздержанием. На сожженных равнинах Фригии, близ разрушенного города Пепузы, сидели эти бескровные мечтатели, целыми толпами, неподвижно устремив глаза на черту горизонта, где должен был явиться Спаситель; в туманные вечера, над серой равниной, между тучами, в полосах раскаленного золота, видели славу Господню, Новый Сион, сходящий на землю;

годы проходили за годами, и они умирали с надеждою, что Царствие Божие сойдет, наконец, на сожженные развалины Пепузы.

Иногда, приподымая усталые веки, устремляя мутные взоры вдаль, пророчица бормотала по-сирийски:

- Маран ата. Маран ата!-Господь идет. Господь идет!

И бледные скопцы наклонялись к ней, внимая.

Ювентин слушал объяснения Евандра и думал, что все это похоже на бред; сердце его сжималось от горькой жалости.

Наступила тишина. Взоры устремились по одному направлению. На другом конце атриума, на мраморное возвышение взошел кесарь Юлиан. Простая белая хламида древних философов облекала его; лицо было самоуверенно; он хотел придать ему выражение бесстрастное, но в глазах невольно вспыхивала искра злого веселья.

- Старцы и учителя!-обратился он к собранию, за благо сочли мы оказывать подданным нашим, исповедующим учение Галилеянина Распятого, всевозможное снисхождение и милосердие: должно питать более сострадания, чем ненависти к заблуждающимся, увещаниями приводить к истине упрямых, а отнюдь не ударами, обидами и язвами телесными. Итак, желая восстановить мир всего мира, столь долго нарушаемый распрями церковными, призвал я вас, мудрецы галилейские. Под нашим покровительством и защитой вы явите, надеемся, пример тех высоких добродетелей, кои приличествуют вашему духовному сану, вашей вере и мудрости...

Он говорил заранее приготовленную речь, с плавными движениями, как опытный ритор перед народным

собранием. Но в словах, полных благоволения, скрыты былиядовитые жала: между прочим, указал он на то, что ещене забыл о нелепых и унижительных распрях галилеян, которые произошли на знаменитом соборе Миланском, приКонстанции; упомянул также с недоброй усмешкой о некоторых дерзких бунтовщиках, которые, жалея, что нельзя более преследовать, мучить и умерщвлять братьев повере, возмущают народ глупыми баснями, подливают масло в огонь вражды и братоубийственную яростью наполняют мир: сии суть враги рода человеческого, виновникихудшего из бедствий - безначалия. И кесарь кончил вдругсвою речь почти явною насмешкою.

- Братьев ваших, изгнанных соборами при Константине и Констанции, возвратили мы из ссылки, желая даровать свободу всем гражданам Римской империи. Живите в мире, галилеяне, по завету вашего Учителя. Для полногоже прекращения раздоров поручаем вам, мудрейшие наставники, забыв всякую вражду и воссоединившись в братской любви, прийти к некоторому церковному соглашению, дабы уставить единое и общее для всех исповедание веры.

С тем и призвали мы вас сюда, в наш дом, по примерупредшественников наших, Константина и Констанция;

судите и решайте властью, данною вам от церкви. Мы жеудаляемся, предоставив вам свободу и ожидая вашегорешения.

И прежде чем в собрании кто-нибудь успел опомнитьсяили возразить, Юлиан, окруженный друзьями-философами, вышел из атриума.

Все безмолвствовали; кто-то тяжело вздохнул; в тишине слышен был только радостный шелковый шелест голубиных крыльев в небе и плеск фонтана о мрамор.

Вдруг, на высоких плитах, служивших кесарю трибуной, появился тот самый добродушный старик с провинциальною наружностью, с армянским говором, над которым все недавно смеялись; лицо его было красно; глазагорели. Речь императора оскорбила старого себастиевскогоепископа. пылая духовной ревностью, выступил Евстафийперед собранием.

- Отцы и братья!-воскликнул он, и в голосе его была такая сила, что никто уже не думал смеяться.- Разойдемся в мире. Кто призвал нас сюда для поругания и соблазна, тот не ведает ни церковных канонов, ни постановлений соборных,- ненавидит самое имя Христово. Не будем же веселить врагов наших, воздержимся от гневного слова.

Заклинаю именем Бога Всевышнего, разойдемся, братья, в безмолвии!

Он говорил громким голосом, подняв глаза к хорам, защищенным от солнца алыми завесами: там, в глубине, между колоннами, появился император со своими друзьями-философами. Шепот удивления и ужаса послышался в толпе. Юлиан смотрел прямо в лицо Евстафию. Старик выдержал взор его и не потупился. Император побледнел.

В то же мгновение донатист Пурпурий грубо оттолкнул епископа и занял его место на трибуне.

- Не слушайте! - закричал Пурпурий.- Не расходитесь, да не преступите воли кесаревой. Цецилиане злобствуют за то, что он, избавитель наш...

- Нет, братья!..-порывался Евстафий с мольбою.

- Не братья мы вам,- отыдите, окаянные! Мы - чистая пшеница Божья, вы - сухая солома, назначенная Господом в огонь!

И, указывая на императора-богоотступника, продолжал Пурпурий торжественным певучим голосом, как будто возглашая ему славословие церковное:

- Слава, слава преблагому, премудрому Августу! На аспиду и василиска наступиши и попереши льва и змия, яко ангелам своим заповесть ранили ты во всех путях твоих. Слава!

Собрание заволновалось; одни утверждали, что должно последовать совету Евстафия и разойтись, другие требовали слова, не желая потерять единственного в жизни случая высказать свои мысли перед каким бы то ни было собранием. Лица разгорались, голоса становились оглушительными.

- Пусть заглянет теперь в церкви наши кто-нибудь из цецилианских епископов-торжествовал Пурпурий, возложим мы ему руки на голову, но не для того, чтобы избрать пастырем, а чтобы раздробить череп!

Многие совсем забыли цель собрания, вступая в тонкиебогословские споры; зазывали к себе, отбивали другу друга слушателей, старались обольстить неопытных.

Базилидианин Трифон, приехавший из Египта, окруженный толпою любопытных, показывал амулет из прозрачного хризолита с таинственной надписью: Абракса.

- Тот, кто понимает слово Абракса,- соблазнял Трифон,- получит высшую свободу, сделается бессмертными, вкушая от всех сладостей греха, будет безгрешен. Абракса выражает буквами число горных небес - 365. Надтремястами шестьюдесятью пятью сферами, над иерархиями вонов, ангелов и архангелов, есть некий Мрак Безыменный, прекраснее всякого света, неподвижный, нерождаемый...

- Мрак безыменный в скудоумной голове твоей! - крикнул арианский епископ, сжимая кулаки и подступаяк Трифону.

Гностик тотчас умолк, сложив губы в презрительнуюусмешку, полузакрыв глаза и подняв указательныйпалец:

- Премудрость! Премудрость! - произнес он чутьслышно и отошел, точно выскользнул из рук арианина.

Пророчица Пепузская, поддерживаемая влюбленнымископцами, поднявшись во весь рост, страшная, бледная, с растрепанными волосами, с мутными, полоумными взорами, вдохновенно завывала, ничего не видя и не слыша:

- Маран ата! Маран ата!-Господь идет! Господьидет!

Ученики отрока Епифания, не то языческого полубога, не то христианского мученика, обоготворяемого в молельнях Кефалонии, возглашали:

- Братство и равенство! Других законов нет. Разрушайте, разрушайте все! Да будут общими у людейимущество и жены, как трава, как вода, как воздух исолнце!

Офиты, змеепоклонники, подымали медный крест, обвитый прирученной нильскою змейкою:

- Мудрость Змия,-говорили они,-дает людям знание добра и зла. Вот - Спаситель, Офиоморфос - Змеевидный. Не бойтесь,-послушайте его: он не солгал;

вкусите от плода запретного - и станете, как боги!

С проворной ловкостью фокусника, высоко подымая прозрачную стеклянную чашу, наполненную водой, маркозианин, надушенный и подвитой щеголь, соблазнитель женщин, приглашал любопытных.

- Смотрите, смотрите! Чудо! Вода закипит и сделается кровью.

Коларбазиане быстро считали по пальцам и доказывали, что все пифагорейские числа, все тайны неба и земли, заключаются в буквах греческого алфавита:

-- Альфа, Омега, начало и конец. А между ними Троица, - бета, гамма, дельта, - Сын, Отец, Дух. Видите, как просто.

Фабиониты, карпократиане-обжоры, барбелониты-развратники проповедовали такие мерзости, что благочестивые люди только отплевывались и затыкали уши. Многие действовали на своих слушателей тою непонятною притягательною силою, которою обладает над умами людей чудовищное и безумное.

Каждый был убежден в своей правоте. И все были против всех.

Даже ничтожная церковь, затерянная в отдаленнейших пустынях Африки, - рогациане, и те уверяли, будто бы Христос, придя на землю, найдет истинное, понимание Евангелия только у них, в нескольких селениях Мавритании Кесарийской, - и более нигде в мире.

Евандр Никомедийский, забыв Ювентина, едва успевал записывать в свои восковые дощечки новые незамеченные ереси, увлекаясь, как собиратель редкостей.

А между тем, с верхней мраморной галереи, глазами, полными жадной и утоленной ненависти, смотрел вниз на этих обезумевших людей молодой император, окруженный мудрецами в древних белых одеждах. Здесь были все друзья его: пифагореец Прокл, Нимфидиан, Евгений Приск, Эдезий, престарелый учитель Ямвлик Божественный, благообразный Гэкеболий, архиерей Диндимены; они не смеялись, не шутили и сохраняли совершенное спокойствие, как пристойно мудрецам; лишь изредка на строго сжатых губах выступала улыбка тихой жалости. Это был пир эллинской мудрости. Они смотрели вниз на собор, как смотрят боги на враждующих людей, любители цирка - на арену, где звери пожирают друг друга. В тени пурпурных завес им было свежо и отрадно.

А внизу галилеяне, обливаясь потом, анафематствовали и проповедовали.

Среди смятения, юный женоподобный каинит, с прекрасным, нежным лицом, с печальными, детски-ясными глазами, успел вскочить на трибуну и воскликнуть таким вдохновенным голосом, что все обернулись и онемели:

- Благословенны непокорившиеся Богу! Благословенны Каин, Хам и Иуда, жители Содомы и Гоморры! Благословен отец их, Ангел Бездны и Мрака!

Неистовый африканец Пурпурий, которому уже целый час не давали сказать слова, желая облегчить свое сердце, ринулся на каинита и поднял волосатую жилистую руку, чтобы "заградить уста нечестивому".

Его удержали, стараясь образумить: - Отче, непристойно!

- Пустите! Пустите!- кричал Пурпурий, вырываясь из рук державших его.- Не потерплю сей мерзости! Вот же тебе. Каиново отродье!

И донатист плюнул в лицо каиниту.

Все смешалось. Началась бы драка, если бы не прибежали копьеносцы. Разнимая христиан, римские воины увещевали их:

- Тише, тише! Во дворце не место. Или мало вам церквей, чтобы драться?

Пурпурия подняли на руки и хотели увлечь.

Он вопил: - Леона! Дьякон Леона!

Телохранитель растолкал воинов, двух повалил на землю, освободил Пурпурия, и в воздухе, над головами ересиархов, закрутилась и засвистела страшная дубина циркумцеллиона.

- Господу хвала! - ревел африканец, избирая жертву глазами.

Вдруг, в ослабевших руках его, беспомощно опустилась дубина. Все окаменели. В тишине раздался пронзительный крик одного из полоумных скопцов пророчицы Пепузской.

Он упал на колени и, с лицом, искаженным ужасом, указывал на трибуну:

- Дьявол, дьявол, дьявол!

На мраморном возвышении, над толпой галилеян, скрестив руки на груди, спокойно и величественно, в древней белой одежде

философа, стоял император Юлиан; гла

за его горели грозным веселием. Многим в эту минуту казался он подобным дьяволу.

- Вот как исполняете вы закон любви, галилеяне! произнес он среди собрания, пораженного ужасом.-Видите теперь, что значит ваша любовь. Воистину, хищные звери милосерднее, чем вы, братолюбцы. Скажу словами вашего Учителя: "горе вам, законники, что взяли вы ключ разумения: сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Горе вам, книжники и фарисеи!"

Насладившись их томительным молчанием, прибавил он спокойно и медленно:

- Ежели не умеете вы сами управлять собою - то вот я говорю вам, остерегая от худших зол: слушайтесь меня, галилеяне, и покоряйтесь!

Когда Юлиан спускался из Константинова атриума поступая широкой лестницы, направляясь для жертвоприношения в маленький, находившийся по соседству с дворцом, храм богини Счастья, Тихо подошел к нему седовласый, сгорбленный халкедонский епископ, Марис. Глаза Мариса вытекли от старости; мальчик-поводырь вел слепца за руку.

Лестница выходила на площадь Августейон; внизу собралась толпа. Властным движением руки остановив императора, заговорил епископ старческим голосом, твердыми ясным:

- Внимайте, народы, племена, языки, люди всякого возраста, все, сколько есть теперь и сколько будет на земле! Внимайте мне. Высшие Силы, ангелы, которыми скоро совершено будет истребление Мучителя! Не царь Аммонейский низложится, не Ог, царь Вавилонский, но Змей, Отступник, Великий Ум, мятежный Ассириянин, общий враг и противник, на земле творивший много неистовств, и в высоту говоривший. Слыши небо и внуши земле!

И ты внимай пророчеству моему, кесарь, ибо сам Бог говорит тебе ныне устами моими. Слово Господне сжигает сердце мое - и не могу молчать. Дни твои сочтены. Вотще немного - и погибнешь, исчезнешь, как прах, взметаемый вихрем, как роса, как свист пущенной стрелы, как удар грома, как быстролетная молния. Источник Каппадокийский умолкнет навеки,- пройдут и посмеются над ним.

Аполлон станет опять безгласным идолом, Дафной - деревом, оплакиваемым в басне,- и порастут могильною травой низвергнутые храмы. О, мерзость Сеннахеримова! Так вещаем мы, галилеяне, люди презренные, поклоняющиеся Распятому, ученики рыбаков капернаумских и сами невежды; мы, изнуренные постами, полумертвые, напраснободрствующие и пустословящие .во время всеночных бдений, и однако же, низлагающие вас: "Где суть книжники, где суть совопросники века сего?" Заимствую сию победную песнь от одного из наших немудрых. Подай сюда свои царские и софистические речи, свои неотразимые силлогизмы и энтимемы! Посмотрим, как и у нас говорят неученые рыбаки. Да воспоем со дерзновением Давид, который таинственными камнями низложил надменного Голиафа, победил многих кротостью и духовным сладкозвучием исцелял Саула, мучимого злым духом. Благодарим тебя. Господи! Ныне очищается церковь Твоя гонением.

Се, грядет Жених! Мудрые девы, возжгите светильники!

Иерея облеките в великий и нескверный хитон,- за Христа, наше одеяние брачное!

Последние слова он произнес нараспев, как слова богослужения. Потрясенная толпа ответила ему гулом одобрения. Кто-то воскликнул.

- Аминь!

Император выслушал до конца длинную речь с невозмутимым хладнокровием, как будто дело шло вовсе не о нем; только в углах губ выступала иногда усмешка.

- Ты кончил, старик?-спросил он спокойно.

- Вот мои руки, мучители! Вяжите! Ведите на смерть!

Господи! приемлю венец!

Епископ поднял тусклые слепые глаза к небу.

- Не думаешь ли ты, добрый человек, что я поведу тебя на смерть?- произнес Юлиан.- Ошибаешься. Я отпущу тебя с миром. В душе моей нет злобы против тебя.

- Что это? Что это? О чем он говорит? -спрашивали в толпе.

- Не соблазняй! Не отступлю от Христа! Отыди, враг человеческий!-Палачи, ведите на смерть! Вот я!

- Здесь нет палачей, друг мой. Здесь все такие жедобрые люди, как ты. Успокойся! Жизнь скучнее и обыкновеннее, чем ты думаешь. Я слушал тебя с любопытством, как поклонник всякого красноречия, даже галилейского. И чего тут только не было - мерзость Сеннахеримова, и царь Амморейский, и камни Давида, и Голиаф!

Нет у вас простоты в речах. Почитайте нашего Демосфена, Платона и в особенности Гомера. Они, в самом деле, просты, как дети, мудры, как боги. Да, поучитесь у них ве

ликому спокойствию, галилеяне! Бог-не в бурях, а в тишине. Вот и весь мой урок, вот и вся моя месть - таккак ты сам требовал мести.

- Да поразит тебя Господь, богохульник!..-начал было опять Марис.

- Господь не сделает меня слепым во гневе, а тебязрячим,- возразил Август.

- Благодарю Бога моего за слепоту,- воскликнул старик; - не дает она очам моим видеть окаянное лицо Отступника!

- Сколько злобы, сколько злобы в таком дряхломтеле! Говорите вы все о смирении, о любви, галилеяне,а какая ненависть в каждом вашем слове! - Я только чтовышел из собрания, где братья, во имя Бога, готовы были растерзать друг друга, как звери, и вот теперь ты со своею необузданной речью. За что такая ненависть?

Разве и я не брат ваш? О, если бы ты знал, как в этомгновение безмятежно и благосклонно мое сердце! Я желаю тебе всего доброго и молю олимпийцев, да смягчатони твою жестокую, темную и страдающую душу, слепец.

Иди же с миром и помни, что не одни галилеяне умеютпрощать.

- Не верьте ему, братья! Это хитрость, обольщениеЗмия! Видел еси. Господи, как Отступник поносит Тебя, Бога Израилева,- да не премолчиши!

Не обращая более внимания на проклятия старика, Юлиан прошел среди народа в своей простой белой одежде, озаренной солнцем, спокойный- и мудрый, как один издревних мужей.

Была бурная ночь. Изредка сияние луны проникалосквозь быстро несущиеся тучи и странно смешивалосьс мерцанием молнии. Теплый ветер, пропитанный соленымзапахом гнилых водорослей, хлестал иглами косого дождя.

К одинокой развалине на берегу Босфора подъехал всадник. Во времена незапамятные, когда жили здесь троянцы, это укрепление служило сторожевою башнею; теперь остались от нее только груды камней, поросших бурьяном, и полуразрушенные стены. Внизу была маленькая хижина, убежище от ненастья для заблудившихся пастухов и бродяг.

Привязав коня под защитой полуобвалившегося свода и раздвинув колючий репейник, всадник постучался в низенькую дверь: - Это - я. мэроэ, отопри!

Египтянка отворила дверь ипустила его во внутренность башни.

Всадник подошел к тускло горевшему факелу. Свет упал ему в лицо. То был император Юлиан.

Они вышли. Старуха, хорошо знавшая это место, вела его за руку.

Раздвигая жесткие стебли мертвого чертополоха, отыскала низкий вход в расщелине, между скалами. Они спустились по ступеням. Море было близко; грохот прибоя потрясал землю; но каменные стены защищали от ветра.

Египтянка выбила огонь.

- Вот, господин мой, лампаду и ключ. Поверни его в замке два раза. Дверь в монастырь открыта. Если встретишь привратника - не бойся, Я подкупила. Только смотри, не ошибись: в верхнем проходе тринадцатая келья налево.

Юлиан отпер дверь и долго спускался по крутому наклону с широкими ступенями из древнего плитняка. Скоро подземелье превратилось в такую узкую щель, что два человека, встретившись, не могли бы разойтись. Потайной ход соединял некогда сторожевую башню с укреплением на противоположном берегу залива, а теперь покинутую развалину с новым христианским монастырем.

Юлиан вышел из подземелья высоко над kloкочущим морем, между острыми скалами, изъеденными прибоем, и начал взбираться по узким ступеням, высеченным в скале. Дойдя до самого верха, увидел кирпичную ограду.

Она была сложена неровно - многие кирпичи выдавались.

Опираясь на них ногой, хватаясь руками, можно было перелезть в крошечный монастырский садик.

Он вступил в опрятный двор. Здесь все дышало спокойствием. Стены были затканы чайными розами. В бурном теплом воздухе цветы пахли сильно и тревожно.

Ставни на одном из нижних окон изнутри не были заперты. Юлиан тихонько отворил их и влез в окно.

В лицо ему дохнул спертый воздух монастыря. Пахлосыростью, ладаном, мышами, лекарственными травами и свежими яблоками, которые запасливые монахини хранили в кладовых.

Император ступил в длинный проход; по обеим сторонам был ряд дверей.

Он сосчитал тринадцатую налево и открыл тихонько.

Келья была тускло освещена алебастровым ночником. Повеяло сонной теплотой. Он притаил дыхание.

На низком ложе, с белоснежными покрывалами, лежала девушка в монашеской темной тунике. Она, должно быть, уснула во время молитвы, не успев раздеться; тень ресниц падала на бледные щеки; брови сжаты были сурово и величественно, как у мертвых.

Он узнал Арсиною.

Она очень изменилась. Только волосы остались те же: у корней темно-золотистые, на концах - бледно-желтые, как медь в луче солнца.

Ресницы ее дрогнули. Она вздохнула.

Перед глазами его сверкнуло гордое тело амазонки, облитое солнечным светом, ослепительное, как золотистый мрамор Парфенона. И протягивая руки к монахине, спавшей под сенью черного креста, Юлиан прошептал: - Арсиноя!

Девушка открыла глаза, взглянула на него спокойно, без удивления и страха, как будто знала, что он придет.

Но опомнившись, вздрогнула и провела рукой по лицу.

Он подошел к ней: - Не бойся. Скажи слово - я уйду.

- Зачем ты пришел?

- Я хотел знать, правда ли...

- Юлиан, все равно... Мы не пойдем друг друга.

- Правда ли, что ты веришь в Него, Арсиноя?

Она не ответила.

- Помнишь ту ночь в Афинах,-продолжал император,- помнишь, как ты искушала меня, галилейского монаха, так же, как я теперь искушаю тебя? Прежняя гордости сила в лице твоём, Арсиноя, а не рабское смирение галилеян! Зачем ты лжешь? Сердце так не изменяется. Скажи мне правду.

- Я хочу власти,- проговорила она тихо.

- Власти? Ты еще помнишь союз наш!-воскликнул он радостно.

Она с грустной улыбкой покачала головой: - О, нет!.. Над людьми не стоит. Ты сам это знаешь. Я хочу власти над собою.

- И для этого идешь в пустыню?

- Да. И еще - для свободы...

- Арсиноя, ты по-прежнему любишь себя, только себя!

- Я хотела бы любить себя и других, как Он велел.

Но не могу: я ненавижу и себя, и других.

- Лучше совсем не жить!-воскликнул Юлиан.

- Надо преодолеть себя,- проговорила она медленно,- надо победить в себе не только отвращение к смерти, но и отвращение к жизни - это гораздо труднее, потому что жизнь страшнее смерти. Но зато, если победишь себя до конца, жизнь и смерть будут равны - и тогда свобода!

Тонкие брови ее сжимались с упрямством неодолимой воли.

Юлиан смотрел на нее с отчаянием.

- Что они сделали с тобой! - произнес он тихо. Все вы - мучители или мученики. Зачем вы терзаете себя? Разве ты не видишь-в душе твоей нет ничего, кроме злобы и отчаяния...

Она взглянула на него с ненавистью: - Зачем ты пришел сюда? Я не звала тебя. Уйди.

Какое мне дело до того, что ты думаешь? Довольно мне моих собственных мыслей и мук!.. Между нами бездна, которой живые не переступают. Ты говоришь: я не верю.

Да, не верю, но хочу верить, слышишь?-хочу и буду.

Истерзаю плоть свою, иссушу ее голодом и жаждой, сделаю бесчувственнее мертвых камней. Но главное - разум!

Надо умертвить его, потому что он - дьявол. Он соблазнительнее всех желаний: я укрошу его. Это будет последняя победа,

величайшая! И тогда свобода. Тогда посмотрим, возмутится ли что-нибудь во мне, скажет ли: не верю.

Она сложила ладони рук и протянула их к небу с безнадежной мольбой:

- Господи, помилуй меня! Где же ты. Господи! Услышь меня и помилуй!

Юлиан бросился перед ней на колени, обвил стан ее руками, насильно привлек к себе на грудь, и глаза его сверкнули победой:

- О, девушка, теперь я вижу - ты не могла уйти от нас, хотела и не могла! Пойдем сейчас, пойдем со мною и завтра ты будешь супругой римского императора, владычицей мира. Я вошел сюда, как вор, выйду, как царь, со своею добычей. Какая победа над галилеянами!

Лицо Арсинои сделалось печальным и спокойным. Она взглянула на Юлиана с жалостью, не отталкивая его:

- Бедный, бедный, такой же, как я! Сам не знаешь, куда зовешь. И на кого надеешься? Боги твои-мертвецы.

От этой заразы, от страшного запаха тлена бегу я в пустыню. Оставь меня. Я не могу тебе ничем помочь. Уйди!

Глаза его вспыхнули гневом и страстью.

Но она произнесла еще спокойнее, с еще большей жалостью, так что сердце его дрогнуло и похолодело, как от смертельной обиды: - И зачем Ты обманываешь себя? Разве ты не такой

же неверующий-, погибающий, как все мы? Подумай, что значит твое милосердие, странноприимные дома, проповеди эллинских жрецов. Все это - подражание галилеянам, все это-новое, неизвестное древним мужам, героям Эллады.

Юлиан, Юлиан, разве боги твои - прежние олимпийцы, лучезарные, беспощадные - страшные дети небесной лазури, веселящиеся кровью жертв и страданиями смертных?

Кровь и страдания людей - нектар и амброзия богов.

А твои - соблазненные верой капернаумских рыбаков, слабые, кроткие, больные, умирающие от жалости к людям,- потому что, видишь ли, жалость к людям для богов смертельна!..

Буря утихла. В окно было видно, как между разорванных туч бездонно-глубокое небо сияло зеленой печальною зарею, в которой умирала звезда Афродиты. Император чувствовал тяжелое

утомление. Лицо его покрылось мертвенной бледностью. Он делал страшные усилия, чтобы казаться спокойным, но каждое слово Арсиной проникало досамо́й глубины его сердца и ранило.

- Да,- продолжала она неумолимо,- вы больные, вы слишком слабые для собственной мудрости. Вот ваше проклятие, запоздалые эллины! Нет у вас силы ни в добре, ни во зле. Вы - ни день, ни ночь, ни жизнь, ни смерть. Сердце ваше - и здесь, и там; отплыли от одного берега, не пристали к другому. Верите и не верите, вечно изменяете, вечно колеблетесь, хотите и не можете, потому что не умеете желать. Сильны только те, кто, видя одну истину, слепы для другой. Они вас победят - двойственных, мудрых и слабых...

Юлиан поднял голову с усилием, как будто преодолевая неимоверную тяжесть, и произнес:

- Ты неправа, Арсиноя. Душа моя не знает страха, воля моя непреклонна. Силы рока ведут меня. Если суждено мне умереть слишком рано, я знаю, смерть моя предлицом богов будет прекрасной. Прощай! Видишь - я ухожу без гнева, печальный и спокойный, потому что теперь ты для меня, как мертвая.

Над воротами главного здания больницы Аполлона Дальномечущего, для нищих, странников и калек, на мраморном челе ворот вырезана была надпись по-гречески, стих из Гомера:

Все мы от Зевса

Странники бедные. Мало даю, но с любовью даю тебе.

Юлиан вступил во внутренние портики; ряд стройных ионических столбов окружал двор; здание было некогда палестрой.

Вечер стоял тихий, безмятежно радостный. Солнце еще не заходило. Но из больничных портиков, из внутренних покоев веяло тяжелым смрадом.

Здесь, в одной куче, валялись дети и старики, христиане и язычники, больные и здоровые, калеки, уроды, расслабленные, хромоногие, покрытые гнойными струпьями.

распухшие от водянки, исхудалые от сухотки,- люди с печатью всех пороков и всех страданий на лицах.

Полуголая старуха, в отрепьях, с темным цветом кожи, подобным цвету сухих листьев, чесала себе спину, покрытую язвами, о нежный

мрамор ионической колонны.

Посредине двора возвышалось изваяние Аполлона Пифийского с луком в руках и колчаном за спиной.

У самого подножья кумира сидел сморщенный урод, нето дитя, не то старик; обняв колени руками, положив на них подбородок, медленно раскачивался он из стороны в сторону и с тупоумным выражением лица напевал жалобную песенку:

- Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас окаянных!

Явился главный смотритель больницы, Марк Авзоний, бледный и дрожащий.

- Мудрейший и милостивый кесарь, не угодно ли тебе будет пожаловать в мой дом?-Здесь воздух нехороший. И зараза недалеко: отделение прокаженных.

- Ты главный смотритель?

Авзоний, стараясь не дышать, чтобы не заразиться, низко поклонился.

- Раздается ли ежедневно хлеб и вино?

- Все, как повелел блаженный Август.

- Какая грязь!

- Это-галилеяне. Мыться считают грехом: никакими силами не загонишь в баню...

- Вели принести счетные книги,- проговорил Юлиан.

Смотритель упал на колени и пролепетал: - Государь, все в исправности, но случилось несчастье: книги сгорели...

Император нахмурился.

В это мгновение раздались крики в толпе больных: - Чудо, чудо! Расслабленный встает!

Юлиан обернулся и увидел, как человек высокого роста, с обезумевшим от радости лицом, с протянутыми к нему руками, с детской верою в глазах, вставал с гнилой соломенной подстилки.

- Верую, верую,- проговорил расслабленный.- Тыбог, сошедший на землю!' Вот лицо твое, как лицо бога!

Прикоснись ко мне, исцели меня, кесарь!

- Чудо, чудо! - торжествовали больные.- Слава императору, слава Аполлону-Исцелителю!

- И ко мне, и ко мне!-взывали другие.-Скажи слово - исцелюсь!

Заходящее солнце проникло в открытые ворота и нежным светом озарило мраморное лицо Аполлона Дальномечущего. Император взглянул на него, и вдруг все, что делалось в больнице, показалось ему кощунством: очи бога не должны были видеть такого уродства. И Юлиану захотелось очистить древнюю палестру, где некогда упражнялись эллины в вольных играх,- от всей этой галилейской и языческой сволочи, от всего этого смрадного человеческого тлена. О, если бы древний бог воскрес,- как засверкали бы очи его, как засвистели бы стрелы, разящих калек и расслабленных, очищая душный воздух!

Поспешно и молча вышел он из больницы Аполлона, забыв о счетных книгах Авзония. Догадался, что доношен, что главный смотритель - взяточник, но такая усталость и отвращение овладели сердцем его, что не хватило духу исследовать обман и проверять.

Когда вернулся во дворец, было поздно. Велел никогоне принимать и удалился на свое любимое место, высокую площадку между колоннами, над заливом Босфора.

Весь день прошел в скучных мелких делах, в чиновничьих дрязгах, в проверке счетов. Открывалось множество взяток. Император видел, что лучшие друзья обманывают его. Все эти эллинские ученые, поэты, риторы, которым он отдал управление миром, не меньше грабили казну, чем христианские евнухи и епископы во времена Констанция. Странноприимные дома, убежища философов, вроде монастырей, больницы Аполлона и Афродиты были предлогом для наживы ловких людей, тем более что не одним галилеянам, но и язычникам казались они смешной и кощунственной прихотью кесаря.

Он чувствовал, что все тело его ноет от тяжелой, бесплодной усталости. Потушив лампаду, прилег на походное ложе.

- Надо обдумать в тишине, в спокойствии,- говорил он себе, смотря на вечернее небо.

Но думать не хотелось.

Огромная звезда сияла в темнеющем бездонно-глубоком эфире. Юлиан смежил веки, и сквозь ресницы лучше мерцал, проникая в сердце, как холодная ласка.

Он очнулся и вздрогнул, почувствовав, что кто-то вошел в комнату. Лунный свет падал между колоннами. Высокий старик с длинной, белой, как лунь, бородой, с глубокими темными морщинами, в которых выражалось нестрадание, а усилие воли и мысли, стоял над ложем его.

Юлиан приподнялся и прошептал: - Учитель! Это ты?..

- Да, Юлиан, я пришел говорить с тобой наедине.

- Я слушаю.

- Сын мой, ты погибнешь, потому что изменил себе.

- И ты, Максим, и ты против меня!..

- Помни, Юлиан: плоды золотых Гесперид вечно зелены и жестки. Милосердие-мягкость и сладость перезрелых, гниющих плодов. Ты постник, ты целомудрен, ты скорбен, ты милосерд, ты называешь себя врагом христиан, но ты сам - христианин. Скажи мне, чем ты хочешь победить Распятого?

- Силой богов - красотой и весельем.

- Есть ли у тебя сила?

- Есть.

- Такая, чтобы вынести полную истину?

- Да.

- Так знай же - их нет.

Юлиан в ужасе заглянул в спокойные, мудрые глаза учителя.

- Про кого ты говоришь: "их нет"? - спросил он дрогнувшим голосом, бледнея.

-- Я говорю: нет богов. Ты - один.

Ученик Максима ничего не ответил и опустил голову на грудь.

Глубокая нежность затеплилась в глазах учителя. Он положил руку свою на плечо Юлиану:

- Утешься. Или ты не понял? Я хотел испытать тебя. Боги есть. Видишь, как ты слаб. Ты не можешь быть один. Боги есть - они любят тебя. Только помни: не ты соединишь правду Скованного Титана с правдой Галилеянина Распятого. Хочешь, я скажу тебе, каков будет Он, не пришедший, Неведомый, Примиритель двух миров.

Юлиан молчал, все еще испуганный и бледный.

- Вот Он явится,- продолжал Максим,- как молния из тучи, смертоносный и всеозаряющий. Он будет страшен

и бесстрашен. В нем сольются добро и зло, смирениеи гордость, как свет и тень сливаются в утренних сумерках.

И люди благословят его не только за милосердие, но и забеспощадность: в ней будет сила и красота богоподобная.

- Учитель,-- воскликнул император,- вот, я вижу всеэто в глазах твоих. Скажи, что ты - Неведомый, и я благословлю тебя и пойду за тобой.

- Нет, сын мой! Я свет от света его, дух от духа его.

Но я еще не он. Я надежда, я предвестник.

- Зачем же скрываешься ты от людей? Явись им, чтобы они узнали тебя...

- Время мое не настало,- ответил Максим.- Уже нераз приходил я в мир и еще приду не раз. Люди боятсяменя, называют то великим мудрецом, то соблазнителем, то волшебником - Орфеем, Пифагором, Максимом Эфесским. Но я-Безыменный. Я прохожу мимо толпы с немymi устами, с закрытым лицом. Ибо что могу я сказатьтолпе? Не поймут они и первого слова моего. Тайна любви и свободы моей для них страшнее смерти. Они так далеки от меня, что даже не распинают меня и не побиваюткаменьями, как своих пророков, а только не узнают.

Я живу в гробах и беседую с мертвыми, ухожу на горныевершины и беседую со звездами, ухожу в пустыни и прислушиваюсь, как трава растет, как стонут волны моря, какбьется сердце земли,- подстерегаю, не пришло ли время.

Но время еще не пришло,- и я опять ухожу, как тень, с немymi устами и закрытым лицом.

- Не уходи, учитель, не покидай меня!

- Не бойся, Юлиан: я не покину тебя до конца.

Я люблю тебя, потому что ты должен погибнуть из-за меня, возлюбленный сын мой,-и нет тебе спасения.-Прежде чем приду я в мир и откроюсь людям, много еще погибнет великих, отверженных, возмущившихся против Бога, с глубоким и двойственным сердцем, соблазненных мудростью моею, отступников, подобных тебе. Люди проклянут тебя, но никогда не забудут, потому что на тебе мояпечать, ты создание мое, ты дитя моей мудрости. Людипоздних грядущих

веков узнают в тебе меня, в твоём отчаянии мои надежды, и сквозь позор твой мое величие, как солнце сквозь туман.

- О, божественный,- воскликнул Юлиан,- если слова твои ложь, дай мне умереть за эту ложь, потому что она прекраснее истины!

- Некогда я благословил тебя на жизнь и на царство, император Юлиан; ныне благословляю тебя на смерти бессмертие. Иди, погибни за Неведомого, за Грядущего, за Антихриста.

С торжественной и тихой улыбкой, как отец, благословляющий сына, старик возложил руки на голову Юлиана, поцеловал его в лоб и сказал:

- Вот опять скрываюсь я в подземный мрак, и никто не узнает меня. Да будет дух мой на тебе!

В Великой Антиохии, столице Сирии, в переулке, недалеко от главной улицы Сингон, находились термы, теплые бани. Бани были модные, дорогие. Многие приходили сюда, чтобы услышать последние городские новости.

Между раздевальной и холодильней роскошная зала, вымощенная цветными мраморами и мозаикой, назначена была для потения.

Из соседних зал слышалось непрерывное журчание струй в звонкие купальни, в огромные водоемы, плески смех купающихся. Смуглые рабы, голые банщики бегали, суетились, откупоривали сосуды с благовониями. В Антиохии баня была главной радостью жизни - высокими разнообразным искусством: недаром славилась столица Сирии обилием, вкусом и чистотой воды, такой прозрачной, что наполненная купальня или ведро казались пустыми.

Сквозь млечно-белые пары, подымавшиеся из мраморных отдушин, в зале для потения виднелись красные голые тела. Иные полулежали, другие сидели; некоторых банщики натирали маслом. Все разговаривали и потели, с важным видом. Красота древних изваяний, расставленных по стенам в углублениях, Антиноев и Адонисов, усиливала новое уродство живых человеческих тел.

Из горячей купальни вышел жирный старик, величественной и безобразной наружности, купец Бузирис, державший в руках своих всю торговлю антиохийского хлебного рынка. Стройный молодой

человек почтительно поддерживал его под руку. Хотя оба они были голы, но можно было тотчас видеть, кто господин, кто клиент.

- Поддай жару! -проговорил Бузирис повелительным, хрипким голосом: по густоте этого звука легко было заключить, какими миллионами ворочает хлебник.

Открыли два медных крана: горячий пар с шипениемвырвался из отдушины и окружил старика белым облаком. Как чудовищный бог в апофеозе, стоял он в этомОблаке, СОПел. кряхтел от наслаждения и похлопывал жирными ладонями по красному мясистому брюху, звучавшему как барабан.

Бывший смотритель странноприимных домов и больницАполлона, чиновник квестуры Марк Авзоний, сидел накорточках; крохотный, худенький, рядом с жирной громадой купца, казался он ощипанным и замороженным цыпленком.

Насмешник Юний Маврик никак не мог вызвать потана своим жилистом, сухом как палка, костлявом теле, пропитанном желчью.

Гаргилиан лежал, растянувшись на мозаичном полу, дебелый, дряблый, мягкий как студень, огромный кактуша борова: пафлагонский раб, задыхаясь от натуги, терему пухлую спину мокрой суконкой.

Разбогатевший стихотворец Публий Порфирий Оптатиан с грустной задумчивостью смотрел на свои ноги, изуродованные подагрой.

- Знаете ли, друзья мои, письмо белых быков римскому императору? -спросил поэт.

- Не знаем. Говори.

- Всего одна строчка: "Если ты победишь персов,мы погибли".

- И все?

- Чего же больше?

Белая туша Гаргилиана затряслась от хохота: - Клянусь Палладой, коротко, но верно! Если толькоон вернется победителем из Персии, то принесет в жертвубогам такое множество белых быков, что эти животныесделаются большею редкостью, чем египетский Апис. Раб, поясницу! Сильнее!

И туша, медленно перевернувшись на другой бок, шлепнулась с таким звуком, как будто бросили на пол кучумокрого белья.

- Хэ-хэ-хэ! - засмеялся Юний тоненьким, желчным смехом.-Из Индии, с острова Тапробана, привезли, говорят, несметное множество белых редкостных птиц. А откуда-то из ледяной Скифии - огромных диких лебедей. Вседля богов. Откармливает олимпийцев. Отощали, бедненькие, со времен Константина!

- Боги объедаются, а мы постимся. Вот уже три дня, как на рынке ни одного колхидского фазана, ни одной порядочной рыбы,- воскликнул Гаргилиан.

- Молокосос!-заметил хлебный купец отрывисто.

Все обернулись, почтительно умолкнув.

- Молокосос!-повторил Бузирис еще более важными сиплым голосом.- Если бы вашему римскому кесарю, говорю я, прищемить губки или носик, молоко из них потекло бы, как у сосунка двухнедельного. Хотел сбить цену на хлеб, запретил продавать по той, которую сами назначили, 400 000 мер египетской пшеницы выписал...

- И что же? Сбил?

- А вот, слушайте. Подговорил я купцов; заперли житницы; лучше, думаем, пшеницу сгноим, а не покоримся. Египетский хлеб съели, нашего не даем. Сам заварил, сам расхлебывай!

Бузирис с торжеством хлопнул себя по брюху ладонями.

- Довольно пару. Лей! - приказал купец, и молодой красивый раб, с длинными кудрями, похожий на Антиноя, откупорил над его головой тонкую амфору с драгоценной аравийской кассией. Ароматы полились обильными струями по красному потному телу, и Бузирис растирал густые капли с наслаждением. Потом, умастившись, с важностью вытер толстые пальцы, как о полотенце, о золотистые кудри раба, наклонившего голову.

- Совершенно верно изволила заметить твоя милость,- вставил с поклоном угодливый прихлебатель клиент,- император Юлиан не что иное, как молокосос.

Недавно выпустил он пасквиль на граждан Антиохии под названием Ненавистник бороды, в коем на ругань черни отвечает еще более наглой руганью, прямо объявляя: "вы смеетесь над моею грубостью, над моею бородой?"

Смейтесь сколько угодно! Сам я буду смеяться над собою.

Не надо мне ни суда, ни доносов, ни тюрем, ни казней".- Но, спрашивается, достойно ли сие римского кесаря?

- Блаженной памяти император Констанций,- наставительно заметил Бузирис,- не чета был Юлиану: сразу, по одежде, по осанке видно было - кесарь. А этот, прости Господи, выкидыш богов, коротконогая обезьяна, медведь косолапый, шляется по улицам, неумытый, небритый, нечесаный, с чернильными пятнами на пальцах. Смотреть тошно. Книжки, ученость, философия!- Подожди, проучим мы тебя за вольнодумство. С этим шутить нельзя.

Народ надо держать вот как! Распустишь,- не соберешь.

Марк Авзоний, до тех пор молчавший, проговорил задумчиво:

- Все можно бы простить, но зачем отнимает он у нас последнюю радость жизни - цирк, сражения гла

диаторов? Друзья мои, вид крови дает людям блаженство.

Это святая радость. Без крови нет веселья, нет величия на земле. Запах крови - запах Рима...

На лице последнего потомка Авзониев вспыхнуло слабое странное чувство. Он вопросительно обвел слушателей простодушными, не то старческими, не то детскими глазами.

Огромная туша Гаргилиана зашевелилась на полу; подняв голову, он уставился на Авзония.

- А ведь хорошо сказано: запах крови - запах Рима! Продолжай, продолжай, Марк, ты сегодня в ударе.

- Я говорю, что чувствую, друзья. Кровь так сладостна людям, что даже христиане не могли без нее обойтись: кровью думают они очистить мир. Юлиан делает ошибку: отнимая у народа цирк, отнимает он веселие крови. Чернь простила бы все, но этого не простит...

Последние слова Марк произнес вдохновенным голосом.

Вдруг провел рукой по телу, и лицо его просияло.

- Потеешь?- спросил Гаргилиан с глубоким участием.

- Кажется, потею,- отвечал Авзоний с тихой, восторженной улыбкой.- Три, три скорее спину, пока не простыл,- три!

Он лег. Банщик начал растирать жалкие, бескровные члены его, подернутые синеватой бледностью, как у мертвеца.

Из порфировых углублений, сквозь млечное облако пара, древние эллинские изваяния смотрели на безобразныетела новых людей.

А между тем, в переулке, у входа в термы, собираласьтолпа.

Ночью Антиохия блистала огнями, особенно главнаяулица Сингон, прямая, пересекавшая город, на протяжении 36 стадий, с портиками и двойными колоннадами всю длину, с роскошными лавками. Перед лестницей бань, озаряя пеструю толпу, пылали уличные светильники, раздуваемые ветром. Смолистая копоть расстилалась клубами с железных подсвечников.

В толпе слышались насмешки над императором. Уличные мальчишки шныряли, выкрикивая насмешливые песенки. Старая поденщица, схватив одного из них и задравему рубашонку на голову, ударяла по голому задку звонкой подошвой сандалии, приговаривая:

- Вот тебе, вот тебе! Будешь, чертенок, петь срамныепесни!

Смуглолицый мальчик кричал пронзительно.

Другой, вскарабкавшись на спину товарищу, углем чертил карикатуру на белой стене - длиннобородого козлав императорской диадеме. Мальчик постарше, должнобыть, школьник, с милым, бойким и плутоватым лицом, выводил под рисунком надпись крупными буквами: "сенечестивый Юлиан".

Стараясь сделать свой голос грубым и страшным, переваливаясь с ноги на ногу, как медведь, он рычал:

Мясник идет, Мясник идет, Острый нож несет, Бородой трясет, С шерстью черною, С шерстью длинною,Бородой своей козлиною.

Прохожий, старый человек, в темных одеждах, должнобыть, церковник, остановился, послушал мальчика, покачал головой, поднял глаза к небу и обратился к рабу-носильщику:

- Из уст младенца правда исходит. Не лучше ли нам жилось при Каппе и Хи?

- Что это значит: Каппа и Хи?

- Не разумеешь? Греческой буквой Каппа начинаетсяимя Констанций, а Хи первая буква в слове Христос. НиКонстанций, ни Христос, говорю я, не сделали жителямАнтиохии никакого зла - не то, что разные проходимцыфилософы.

- Что верно, то верно, при Каппе и Хи нам лучшежилось!

Пьяный оборванец, подслушав эту остроту, с торжествующим видом помчался разносить ее по улицам.

- При Каппе и Хи недурно жилось!-кричал он.Да здравствуют Каппа и Хи!

Шутка облетела всю Антиохию, понравившись чернибессмысленной неопровержимостью.

Еще большее веселье царствовало в кабаке, противбать, принадлежавшем каппадокийскому армянину Сираксу: давно уже перенес он торговлю из окрестностей Цезареи близ Мацеллума в Антиохию.

Из козьих мехов, из огромных глиняных амфор щедро цедилось вино в оловянные кубки. Говорили, каки везде, об императоре. Особенным красноречием отличался маленький сириец-солдат, Стромбик, тот самый, который участвовал в походе цезаря Юлиана против север

дых варваров Галлии. Рядом с ним был его неизменныйспутник и Друг, исполинского роста сармат Арагарий.

Стромбик чувствовал себя, как рыба в воде. Большевсего в мире любил он всевозможные бунты и возмущения.

Он собирался произнести речь.

Старуха тряпичница сообщила новость: - Погибли, погибли мы все до единого. Покарал Господь! Соседка такое сказывала, что сперва не поверили.

- Что же, старушка?.. Расскажи!..

- В Газе, милые, в городе Газе случилось. Напалиязычники на женскую обитель. Выволокли монахинь, раздели, привязали к столбам на площади, рассекли тела их, и, обсыпав ячменем трепещущие внутренности, кинулисвиньям!

- Я сам видел,- добавил молодой прядильщик с бледным упрямым лицом,- в Гелиополисе Лаванском язычникпожирал сырую печень убитого дьякона.

- Мерзость! -проговорил медник, нахмурившись.

Многие перекрестились.

При помощи Арагария Стромбик вскарабкался налипкий стол с лужей вина и, подражая ораторам, с величественным видом

обратился к толпе. Арагарий одобрительно кивал головой и указывал на него с гордостью.

- Граждане! - начал Стромбик,- доколе будем терпеть? Знаете ли вы, что Юлиан поклялся, вернувшись из Персии победителем, собрать святых мужей и бросить их на съедение зверям? Притворы базилик обратит в сеновалы, алтари в конюшни...

В двери кабака вкатился кубарем горбатый старичок, бледный от страха, муж тряпичницы, стекольщик. Он остановился, в отчаянии ударил себя обеими руками по щекам, обвел всех глазами и пролепетал:

- Слышали? Вот так штука! Двести мертвых тел в колодцах и водосточных трубах!

- Когда? Где? Каких мертвых тел? Что такое?

- Тише, тише! - замахал руками стекольщик и продолжал таинственным шепотом:- Говорят, Отступник давно уже гадает по внутренностям живых людей о войне с персами...

И он прибавил, задыхаясь от наслаждения: - В подвалах антиохийского дворца отыскивали ящики с костями. Кости-то человеческие! А в городе Каррах, недалеко от Эдессы, нашли в подземном капище труп беременной женщины, повешенной за волосы - живот распорот, младенец вынут из чрева! Юлиан гадал по печени неродившегося о будущем - все о проклятой войне с персами, о победе над христианами...

- Эй, Глутурин, правда ли, что в выгребных ямах находят человеческие кости? Ты должен знать,- спросил сапожник.

Глутурин, чистильщик клоак, стоял у дверей, не смея войти, потому что от него дурно пахло. Когда ему предложили вопрос, он, по обыкновению, начал застенчиво улыбаться и моргать воспаленными веками:

- Нет, почтенные,- отвечал он кротко.- Младенцев находили. Еще ослиные и верблюжьи остовы. А человеческих как будто не видать...

Когда Стромбик снова заговорил, чистильщик клоак смотрел на оратора благоговейно и, почесывая голую ногу косяк двери, слушал с неизъяснимым наслаждением.

- Мужья-братья, отомстим!- восклицал оратор пламенно.- Умрем за свободу, как древние римляне!..

- Чего глотку дерешь?-рассердился вдруг сапожник.- Как до дела, небось, первый улизнешь, а другихна смерть посылаешь...

- Трусы вы, трусы!-вмешалась в разговор наруганная и набеленная женщина в пестром бедном наряде, уличная блудница, называемая поклонниками попростуВолчихой.

- Знаете ли вы,- продолжала она с негодованием,что сказали палачам святые мученики Македоний, Феодули Татиан?

- Не знаем. Говори, Волчиха!

- Сама слышала. В Мирре Фригийской три юноши, Македоний, Феодул и Татиан, ночью вошли в эллинскийхрам и сокрушили идолов во славу Божью. ПроконсулАмахий схватил исповедников и, положив на железныесковороды, велел развести огонь. Они же говорили: "Еслиты, Амахий, хочешь испробовать жареного мяса, повороти нас на другой бок, чтобы мы на твой вкус не показалисьнедопеченными". И все трое засмеялись и плюнули ему в лицо. И многие видели, как ангел слетел с тремя венцами.-Небось, вы бы так не ответили? Только за своюшкуру трястись умеете. Смотреть тошно!

Волчиха отвернулась с презрением.

С улицы долетели крики.

- Уж не идолов ли бьют? -обрадовался стекольщик.

- Граждане, за мною!-размахивал руками Стромбик. Он хотел соскочить со стола, но, поскользнувшись, грохнулся бы на пол, если бы верный Арагарий не принятого с нежностью в свои объятья.

Все кинулись к дверям. С главной улицы Сингон двигалась огромная толпа и, запрудив тесный переулок, остановилась перед банями.

- Старец Памва, старец Памва! -сообщали друг другу с радостью.- Из пустыни пришел народ обличить, великих низвергнуть, малых спасти!

У старца было грубое, широкоскулое лицо; весь он оброс волосами; вместо туники, облекал его холщовый заплатанный мешок, вместо хламиды - пыльный бараний мех, с куколем для головы; на ходу позвякивал он длиннойпалкой с острым наконечником. Двадцать лет не мылсяПамва, потому что считал опрятность тела греховной, веря, что есть особый дьявол чистоты телесной. В страшнойпустыне, Берее Халибонской, на восток от Антиохии,

гдезмеи и скорпионы гнездились на дне выжженных колодцев, жил он в одном из таких колодцев, питаюсь в день пятью стеблями особого тростника, мучнистого и сладкого. Едва не умер от изнурения. Тогда ученики стали ему спускать пищу. Он разрешил себе в день половину секстария чечевицы, смоченной водою. Зрение его ослабело, кожа покрылась шелудьями. Он прибавил немного масла, но стал обвинять себя в чревоугодии.

Памва узнал от учеников, что овец Христовых гонит лютей волк-Антихрист, император Юлиан, покинул пустыню и пришел в Антиохию укрепить ослабевших в вере.

- Слушайте, слушайте,- старец говорит!

Памва взошел на лестницу перед банями, остановился на мраморной площадке, у подножия светильников, и обвел вокруг себя рукою, указывая народу на языческие храмы, термы, лавки, дворцы, судилища, памятники.

- Не останется камня на камне! Все пройдет, все погибнет. Вспыхнет огонь и пожрет мир. Небеса с шумом сокрушатся, как обугленный свиток. Се-страшный суд Христов, необъятное зрелище! Куда обращаю мои взоры?

Чем люблюсь? Не тем ли, как Афродита, богиня любви, с маленьким сыном Эросом, трепещет в наготу своей перед лицом Распятых? Как Зевс, с потухшими громами, и все олимпийские боги бегут от громов Всевышнего?

Торжествуйте, мученики! Веселитесь, гонимые! Где ваши судьи - римские начальники, проконсулы? Вот охвачены они пламенем сильнее того, на котором жгли христиан.

Философы, гордившиеся суетной мудростью, покраснеют от стыда перед учениками своими, пылая в геенне, и уже не помогут им ни силлогизмы Аристотеля, ни доказательства Платона! Завоют трагические актеры, как не вопили в одной трагедии Софокла и Эсхила! Запрыгают канатные плясуны на адском огне, с проворством невиданным! Тогда мы, люди грубые и невежественные, содрогнемся от радости и скажем сильным, разумным и гордым: вот, смотрите. Осмеянный, вот Распятый, Сын плотника и поденщицы, вот Царь Иудеи, покрытый багрянницей, венчанный тернием! Вот Нарушители

Субботы, Самаритянин, Одержимый бесом! Вот Кого связали вы в претории. Кому плевали в лицо. Кого напоили желчью и уксусом!

И услышим мы в ответ вопль и скрежет зубовой, и посмеемся, и насытим сердце наше веселием. Ей, гряди, Господи Иисусе!

Глутурин, чистильщик клоак, упал на колени и, моргая воспаленными веками, как бы видя Христа грядущего, простира к нему руки. Медник, крепко сжав кулаки, замер, как бык, готовый сделать страшный прыжок. Бледнолицый долговязый прядильщик, дрожа всеми членами, бессмысленно улыбался и бормотал: "Господи, Господи, помилуй!" На грубых лицах бродяг и чернорабочих выражалось злорадное торжество слабых над сильными, рабов надгосподами. Блудница Волчиха, оскалив зубы, тихонькосмеялась, и неукротимая жажда мести сверкала в ее глазах, пьяных и грозных.

Вдруг послышалось бряцание оружия, стройный, тяжкий топот. Из-за угла появились римские воины - ночная стража. Впереди шел префект Востока, Саллюстий Секунд.

У него была чиновничья римская голова, четырехугольная, с горбатым орлиным носом, с широким голым черепом, с умным, спокойным и добрым взглядом; простая сенаторская латиклава облекла его; в осанке не было никакой важности, но простота и благородство древнего патриция.

Из-за круглой далекой крыши Пантеона, воздвигнутого Антиохом Селевком, медленно выплывала громадная тускло-багровая луна; зловещие отблески задрожали на медных римских щитах, шлемах и панцирях.

- Разойдитесь, граждане,- обратился Саллюстий к толпе.- Повелением блаженного августа воспрещены ночные собрания на улицах.

Чернь загудела и заволновалась. Ребяшки подняли свист; визгливый дерзкий голосок затянул песенку:

Ку-ку-ре-ку!

Горе бедным петушкам, Горе беленьким бычкам, Перебьет их император в жертву мерзостным богам!

Раздался быстрый грозный лязг железа: римские legionеры, все сразу, вынули мечи из ножен, готовые кинуться в толпу.

Старец Памва застучал железным острием клюкио мраморные плиты и закричал:

- Здравствуй, храброе сатанинское воинство, здравствуй, премудрый начальник римский! Вспомнили, должнобыть, старину, когда вы нас жгли, древней философииучили, а мы за вас Богу молились. Ну, что же - добропожаловать!..

Легионеры подняли мечи. Префект остановил их движением руки.

Он видел, что толпа в его власти.

- Чем вы грозите нам, глупые? - продолжал Памва, обращаясь к Саллюстию.- Что вы можете? Довольно намодной темной ночи и двух-трех факелов, чтобы отомстить.

Вы боитесь аламанов и персов; мы-страшнее аламанови персов! Мы-всюду, мы-среди вас, бесчисленные, неуловимые! Нет у нас границ, нет отечества; мы признаемодну республику-вселенную! Мы-вчерашие, и уженаполняем мир - наши города, крепости, острова, муниципии, советы, лагеря, трибы, декурии, дворцы, сенат, форум,- только храмы еще оставляем вам. О, как истребилибы мы вас, если бы только не наше смирение, не нашемилосердие, если бы не хотели мы лучше быть убиваемы, чем убивать! Не надо нам ни меча, ни огня: так многонас, что стоит лишь всем сразу удалиться - и вы погибли, города ваши опустеют, вы ужаснетесь своему одиночеству-молчанию мира; остановится всякая жизнь, пораженная смертью. Помните же: Римская империя сохраняется только нашим христианским терпением!

Все взоры обращены были на Памву: никто не заметил, как человек, в грубой старой хламиде странствующего философа, с желтым исхудалым лицом, с косматыми волосами и длинной черной бородой, окруженный несколькими спутниками, быстро прошел среди римских воинов, почтительно перед ним расступившихся. Он наклонилссяк префекту Саллюстию и шепнул ему на ухо: - Зачем медлишь?

- Если подождать,- отвечал Саллюстий,- сами разойдутся. И без того у галилеян слишком много мучеников, чтобы делать новых: они летят на смерть, как пчелына мед.

Человек в одежде философа, выступив вперед, произнес громким, твердым голосом, как военачальник, привыкший повелевать:

- Разогнать толпу! Схватить мятежников!

Все сразу обернулись. Раздался крик ужаса: - Август, август Юлиан!

Воины бросились в толпу с обнаженными мечами; повалили старушку тряпичницу. В ногах легионеров барахталась она и визжала. Некоторые, бежали. Прежде всехскрылся маленький Стромбик. Произошла свалка. Полетели камни. Медник, защищая Памву, бросил камень в легионера, но попал в стоявшую рядом Волчиху. Она слабовскрикнула и упала, обливаясь кровью, думая, что умирает мученицей.

Воин схватил Глутурина. Но чистильщик клоак отдался с такой готовностью-доля страдальца, всеми почитаемого, казалась ему раем в сравнении с его обыкновенной жизнью впроголодь,- и от его отрепьев так дурнопахло, что легионер тотчас же с отвращением выпустил пленника.

В середину толпы, с ослом, нагруженным свежей капустой, нечаянно затесался погонщик. Все время, с разинутым ртом, слушал он старца. Заметив опасность, хотел убежать, но осел заупрямился. Напрасно погонщик сзади колотил его палкой и понукал; упершись в землю передними ногами, пригнув уши и подняв хвост, животное издавало оглушительный рев.

И долго этот ослиный рев звучал над толпой, заглушая стоны умирающих, брань солдат, молитвы христиан.

Врач Орибазий, бывший среди спутников Юлиана, подошел к нему:

- Юлиан, что ты делаешь? Достойно ли твоей мудрости?..

Август посмотрел на него так, что он запнулся и умолк.

Юлиан не только изменился, но и постарел в последнее время: на осунувшемся лице его было то жалкое, страшное выражение, которое бывает у людей, одержимых медленной, неисцелимой болезнью или одной всепоглощающей мыслью, близкой к сумасшествию.

В сильных руках он рвал и комкал, сам того не замечая, случайно попавший в них папирусный свиток - свой

собственный указ. Наконец, заглянув прямо в глаза Орибазию, произнес глухим сдавленным шепотом:

- Поди прочь от меня, и все вы подите прочь с вашими советами, глупцы! Я знаю, что делаю. С негодяями, не верующими в богов, нельзя говорить, как с людьми, надо истреблять их, как хищных зверей... И, наконец, что за беда, если десяток-другой галилеян будут убиты рукой одного эллина?

У Орибазия мелькнула мысль: "Как он похож теперь на своего двоюродного брата Констанция в минуты ярости".

Юлиан закричал толпе голосом, который ему самому казался чужим и страшным:

- Пока еще, милостью богов, я - император, слушайте меня, галилеяне! Вы можете смеяться над бородой и одеждой моей, но не над римским законом. Помните: я казню вас не за веру, а за бунт.- В цепи негодя!

Он указал на Памву дрожащей рукой. Старца схватили два белокурых голубоглазых варвара.

- Лжешь, богохульник! - вопил торжествующий Памва.- За веру Христову казнишь! Зачем же ты не милуешь меня, как некогда Мариса, слепца халкедонского? Зачем, по обычаю своему, не прикрываешь насилие ласкою, удуприманкою? Где твоя философия? Или времена уж не те?

Слишком далеко зашел? Братья, убоимся не кесаря римского, а Бога Небесного!..

Теперь никто уж не думал бежать. Страдальцы заражали друг друга бесстрашием. Батавы и кельты ужасались этой готовности умереть, смеющимся, кротким и безумным лицам. Под удары мечей и копий кидались даже дети.

Юлиан хотел остановить побоище, но было поздно: "пчелы летели на мед". Он мог только воскликнуть, с отчаянием и презрением:

- Несчастные! Если жизнь вам надоела, разве трудно найти веревки и пропасти!..

А Памва, связанный, поднятый на воздух, кричал еще радостнее:

- Избивайте, избивайте нас, римляне,- да преумножимся! Цепи - наша свобода, слабость - наша сила, победа наша - смерть!

Вниз по течению Оронта, в сорока стадиях от Антиохии, была знаменитая роща Дафны, посвященная богу Аполлону.

Однажды девственная нимфа,- рассказывали поэты, бежала от преследований Аполлона с берегов Пинейи остановилась на берегах Оронта, изнеможенная, настигаемая богом. Она обратилась с мольбою к матери своей, Латоне, и та, чтобы избавить ее от объятий Солнца, превратила в лавровое дерево - Дафну. С тех пор Аполлон больше всех деревьев любит Дафну, и гордой зеленью лавра, непроницаемой для лучей солнца и все-таки вечноими ласкаемой, обвивает лиру и кудри свои; Феб посещает место превращения Дафны, густую рощу лавров в долине Оронта, и грустит и вдыхает благовоние темной листвы, согретой, но не побежденной солнцем, таинственной и печальной даже в самый яркий день. Здесь люди воздвигли ему храм и ежегодно празднуют священные торжества панегии, в честь бога Солнца.

Юлиан выехал из Антиохии рано поутру, нарочно никого не предупредив: ему хотелось узнать, помнят ли антиохийцы священное празднество Аполлона. По дороге мечтал он о празднестве, ожидая увидеть толпы богомольцев, хоры в честь бога Солнца, возлияния, дым курений, отроков и дев, восходящих по ступеням храма, в белой одежде - символе непорочной юности.

Дорога была трудная. С каменистых равнин Бореи Халибенской дул порывами знойный ветер. Воздух пропитан был едкой гарью лесного пожара, синеватой мглой, расстилавшейся из дремучих теснин горы Казия. Пыль раздражала глаза и горло, хрустела на зубах. Сквозь дымную воспаленную мглу солнечный свет казался мутно-красным, болезненным.

Но только что император вступил в заповедную рощу Аполлона Дафнийского, благоуханная свежесть охватила его. Трудно было поверить, что этот рай находится в нескольких шагах от знойной дороги. Роща имела в окружности восемьдесят стадий. Здесь, под непроницаемыми сводами исполинских лавров, разраставшихся в течение многих столетий, царили вечные сумерки.

Император удивлен был пустынною: ни богомольцев, ни жертв, ни фимиама - никаких приготовлений к празднику. Он подумал, что народ близ храма, и пошел дальше.

Но с каждым шагом роща становилась пустыннее.

Странная тишина не нарушалась ни одним звуком, как напокинутых кладбищах. Даже птицы не пели; они залетали сюда редко; тень лавров была слишком мрачной. Цикада сначала было стрекотать в траве, но тотчас умолкла, как

будто испугавшись своего голоса. Только в узкой солнечной полоске полуденные насекомые жужжали слабо и сонно, не смея вылететь из луча в окрестную тень.

Юлиан выходил иногда на более широкие аллеи, между двумя бархатистыми титаническими стенами вековых кипарисов, кидавших черную как уголь, почти ночную тень.

Сладким и зловещим ароматом веяло от них.

Кое-где скрытые подземные воды питали мягкий мох.

Всюду струились ключи, холодные, как только что растаявший снег, но беззвучные, онемевшие от грусти, как все в этом очарованном лесу.

В одном месте из щели камня, обросшего мхом, медленно сочились светлые капли и падали одна за другой. Но глубокие мхи заглушали их падение. Капли были безмолвны, как слезы немой любви.

Попадались целые луга дикорастущих нарциссов, маргариток, лилий. Здесь было много бабочек, но не пестрых, а черных. Луч полуденного солнца с трудом пронизывал лавровую и кипарисовую чащу, делался бледным, почтунным, траурным и нежным, как будто проникал сквозь черную ткань или дым похоронного факела.

Казалось, Феб навеки побледнел от неутешной скорби о Дафне, которая под самыми жгучими лобзаниями бога, оставалась все такою же темною и непроницаемою, все также хранила под ветвями своими ночную прохладу и тень.

И всюду в роще царили запустение, тишина, сладкая грусть влюбленного бога.

Уже мраморные, величавые ступени и столпы Дафнийского храма, воздвигнутого во времен Диодохов, сверкнули, ослепительно

белые среди кипарисов,- а Юлиан всееще не встречал никого.

Наконец, увидел он мальчика лет десяти, который шел по дорожке, густо заросшей гиацинтами. Это было слабое, должно быть, больное, дитя; странно выделялись черные глаза, с голубым сиянием, на бледном лице древней, чистоэллинской прелести; золотые волосы падали мягкими кольцами на тонкую шею, и на висках виднелись голубоватые жилки, как на слишком прозрачных лепестках, выросших в темноте цветов.

- Не знаешь ли, дитя мое, где жрецы и народ? спросил Юлиан.

Ребенок ничего не ответил, как будто не слышал.

- Послушай, мальчик, не можешь ли провести меня к верховному жрецу Аполлона?

Он тихо покачал головой и улыбнулся.

- Что с тобою? Отчего не отвечаешь?

Тогда маленький красавец указал на свои губы, потом на оба уха и еще раз, уже не улыбаясь, покачал головой.

Юлиан подумал: "Должно быть, глухонемой от рождения".

Мальчик, приложив палец к бледным губам, смотрел на императора исподлобья

- Дурное предзнаменование! - прошептал Юлиан.

И ему сделалось почти страшно, в тишине, запустении и сумраке Аполлоновой рощи, с этим глухонемым ребенком, пристально и загадочно смотревшим ему в глаза, прекрасным, как маленький бог.

Наконец, мальчик указал императору на старичка, выходившего из-за деревьев, в заплатанной и запачканной одежде, по которой Юлиан узнал жреца. Сгорбленный, дряхлые, слегка пошатываясь, как человек, сильно выпивший, старичок смеялся и что-то бормотал на ходу. У него был красный нос и гладкая круглая плешь во всю голову, обрамленная мелкими седыми кудерками, такими легкими и пушистыми, что они, почти стоя, окружали его лысину;

в подслеповатых, слезящихся глазах светилось лукавство и добродушие. Он нес довольно большую лозниковую корзину.

- Жрец Аполлона? - спросил Юлиан.

- Я самый и есть! Имя мое Горгий. А чего тебе здесь нужно, добрый человек?

- Не можешь ли мне указать, где верховный жрец храма и богомольцы?

Горгий сперва ничего не ответил, только поставил корзину на землю; потом начал усердно растирать себе ладонью голую маковку; наконец, подпер бока обеими руками, склонил голову набок и не без плутовства прищурил левый глаз.

- А почему бы мне самому не быть верховным жрецом Аполлона? - произнес он с расстановкой. - И о каких-то богомольцах говоришь ты, сын мой, - да помилуют тебя олимпийцы!

От него разило вином. Юлиан, которому этот верховный жрец казался непристойным, уже собирался сделать строгий выговор.

- Ты, должно быть, пьян, старик!..

Горгий ничуть не смутился, только начал еще усерднее растирать голую маковку и с еще большим плутовством прищурил глаз.

- Пьян - не пьян. Ну, а кубков пять хватил для праздника!.. И то сказать, не с радости, а с горя пьешь.

Так-то, сын мой, - да помилуют тебя олимпийцы!.. Ну, а кто же ты сам? Судя по одежде, странствующий философ, или школьный учитель из Антиохии?

Император улыбнулся и кивнул головой. Ему хотелось выспросить жреца.

- Ты угадал. Я учитель.

- Христианин?

- Нет, эллин.

- Ну то-то же, а то много их здесь шляется, безбожников...

- Ты все еще не сказал мне, старик, где народ? Много ли прислано жертв из Антиохии? Готовы ли хоры?

- Жертв? вон чего захотел! - засмеялся старичок так, что клюнул носом, что едва не упал. - Ну, брат, этого мы давно уже не видали - со времен Константина!..

Горгий с безнадежностью махнул рукой и свистнул: - Конечно! Люди забыли богов... Не то что жертв, иногда не бывает у нас и горсти жертвенной муки - лепешку богу испечь - ни зернышка ладана, ни капли масла для лампад: ложись да помирай! - Вот что, сын мой, - да помилуют тебя олимпийцы! Все монахи оттягали. А еще дерутся, с жиру бесятся... Песенка наша спета! Плохи времена... А ты говоришь -

не пей. Нельзя с горя не выпить, почтенный. Если бы я не пил, так уж давно бы повесился!..

- Неужели никто из эллинов не пришел к великому празднику? - спросил Юлиан.

- Никто, кроме тебя, сын мой! Я-жрец, ты-народ.

Вот и принесем вместе жертву.

- Ты только что сказал, что у тебя нет жертвы.

Горгий с удовольствием поласкал себя по голой маковке.

- Нет чужой, есть своя. Сам позаботился! Три днямы с Эвфорионом,- он указал на глухонемого мальчика, голодали, чтобы скопить деньги на жертву Аполлону.

Гляди!

Он приподнял лозниковую крышку корзины; связанный гусь высунул голову и загоготал, стараясь вырваться.

- Хэ-хэ-хэ! Чем не жертвочка?-усмехнулся старик с гордостью.- Гусь, хотя не молодой и не жирный, а все-таки птица добрая, священная. Дымок от жареного будет вкусный. Бог и этому должен быть рад, по нынешним временам!.. До гусей боги лакомы,-прибавил он, сощутив глаз, с лукавым и проницательным видом.

- Давно ли ты жрецом? - спросил Юлиан.

- Давненько. Лет сорок,- может быть, и больше.

- Твой сын?-указал император на Эвфориона, который смотрел все время пристально и задумчиво, как будто желая угадать, о чем они говорят.

- Нет, не сын. Я один - ни детей, ни родных. Эвфорион помощник мой при богослужении.

- Кто же родители?

- Отца не знаю, да и едва ли кто-нибудь знает.

А мать - великая сивилла Диотима, много лет жившая при этом храме. Она не говорила ни с кем, не поднимала покрова с лица перед мужами и была целомудренна, как весталка. Когда у нее родился ребенок, мы удивились и не знали, что подумать. Но один мудрый столетний иерофант сказал нам...

При этом Горгий с таинственным видом заслонил ладонью рот и прошептал на ухо Юлиану, как будто мальчик мог слышать:

- Иерофант сказал, что ребенок не сын человека, а бога, сошедшего тайно ночью в объятия сивиллы, когда она спала внутри храма.- Видишь, как он прекрасен?

- Глухонемой-сын бога?-проговорил император с удивлением.

- Что же? - возразил Горгий.- Если бы в такие времена, как наши, сын бога и пророчицы не был глухонемым, он должен бы умереть от скорби. И то видишь, как он худ и бледен...

- Кто знает? - прошептал Юлиан с грустной улыбкой,- может быть, ты прав, старик: в наши дни пророку лучше быть глухонемым...

Вдруг мальчик подошел к Юлиану, быстро схватил его руку и, заглянув ему в глаза глубоким, странным взглядом, поцеловал ее.

Юлиан вздрогнул.

- Сын мой!-произнес старичок с торжественной и радостной улыбкой,-да помилуют тебя олимпийцы!ты, должно быть, добрый человек. Мальчик мой никогда не ласкается к злым и нечестивым. От монахов же бегают, как от чумы. Мне кажется, он видит и слышит больше нас с тобой, только не может сказать. Случалось, что я заставлял его одного в храме; сидит по целым часам перед изваянием Аполлона и смотрит, как будто беседует с богом...

Лицо Эвфориона омрачилось; он тихонько отошел от них.

Горгий ударил себя по голой маковке с досадой, встряхнулся и проговорил:

- Что это, как я с тобой заболтался! Солнце высоко.

Пора жертву приносить. Пойдем.

- Подожди, старик,- молвил император,- я хотел спросить тебя еще об одном: слышал ли ты, что август Юлиан задумал восстановить почитание древних богов?

- Как не слышать! -жрец покачал головой и махнул рукой.- Куда ему, бедняжке!.. Ничего не выйдет. Пустое.

Я говорю тебе: кончено!

- Ты веришь в богов,- возразил Юлиан: - разве могут олимпийцы покинуть людей навсегда?

Старик тяжело вздохнул и опустил голову.

- Сын мой,-проговорил он, наконец,-ты молод, хотя уже ранняя седина сверкает в волосах твоих и на лбу морщины; но в те дни, когда мои белые волосы были черными и молодые девушки

засматривались на меня, помню, однажды плыли мы на корабле недалеко от Фессалоники увидели с моря гору Олимп; подошва и середина горы были в тумане, а снежные вершины висели в воздухе иреяли, во славе неба и моря, недостижимые, лучезарные.

И я подумал: вот где живут боги! - и умилился душою.

Но на том же корабле был некий старец, злой шутник, который называл себя эпикурейцем. Он указал на гору и молвил: "Друзья, много лет прошло с тех пор, как путешественники взошли на вершину Олимпа. Они увидели, что это самая обыкновенная гора, точь-в-точь такая же, как другие: там нет ничего, кроме снега, льда и камня".

Так он молвил, и слово его глубоко запало мне в сердце, и я вспоминаю его всю жизнь...

Император улыбнулся:

- Старик, вера твоя детская. Если нет богов на Олимпе, почему бы не быть им выше, в царстве вечных Идей, в царстве духовного Света?

Горгий еще ниже опустил голову и безнадежно почесал себе маковку.

- Так-то оно так... А все же-кончено. Опустел Олимп!

Юлиан посмотрел на него молча, с удивлением.

- Видишь ли,- продолжал Горгий,- ныне земля рождает людей столь же слабых, как и жестоких; боги, даже гневаясь, могут только смеяться над ними,- истреблять их не стоит: сами погибнут от болезней, пороков и печалей. Богам стало скучно с людьми-и боги ушли...

- Ты думаешь, Горгий, что род человеческий должен погибнуть?

Жрец покачал головой:

- О-хо-хо, сын мой,- да спасут тебя олимпийцы! все пошло на убыль, все - на ущерб. Земля стареет. Реки текут медленнее. Цветы весной уже не так благоухают.

Недавно рассказывал мне старый корабельщик, что, подъезжая к Сицилии, теперь нельзя уже видеть Этно с моря на таком расстоянии, как прежде: воздух сделался гуще, темнее; солнце потускнело... Кончина мира приближается...

- Скажи мне, Горгий, на твоей памяти были лучшие времена?

Старик оживился, и глаза его загорелись огнем воспоминаний:

- Как приехал я сюда, в первые годы Константина кесаря,- проговорил он радостно,-еще великие панегирии совершались ежегодно в честь Аполлона. Сколько влюбленных юношей и дев собиралось в эту рощу! И как луна сияла, как пахли кипарисы, как пели соловьи! Когда их песни замирали, воздух трепетал от ночных поцелуев и вздохов любви, как от шелеста невидимых крыльев...

Вот какие это были времена!

Он умолк в печальном раздумьи.

В это мгновение из-за деревьев явственно донеслись унылые звуки церковного пения.

- Что это? - произнес Юлиан.

- Монахи: каждый день молятся над костями мертвого галилеянина...

- Как, мертвый галилеянин-здесь, в заповедной роще Аполлона?

- Да. Они называют его мучеником Вавилою. Тому уже лет десять, брат императора Юлиана, цезарь Галл, перенес из Антиохии мертвые кости Вавилы в Дафнийскую рощу и построил пышную гробницу. С тех пор умолкли пророчества: храм осквернен, и бог удалился...

- Кошунство! - воскликнул император.

- В этот самый год,- продолжал старик,- у девственной сивиллы Диотимы родился глухонемой сын, чтобы было недобрым знамением. Воды Кастальского источника, заваленные камнем, оскудели и потеряли силу пророческую. Не иссякает один лишь священный родник, называется он Слезы Солнца, видишь там, где теперь сидит мой мальчик. Капля за каплей струится из мшистого камня.

Говорят, что Гелиос плачет о нимфе, превращенной в лавр... Эвфорион проводит здесь целые дни.

Юлиан оглянулся. Перед мшистым камнем мальчик сидел неподвижно и, подставив ладонь, собирал в нее падавшие капли. Луч солнца проник сквозь лавры, и медленные слезы сверкали в нем, чистые, тихие. Тени странно шевелились; и Юлиану вдруг почудилось, что два прозрачных крыла трепещут за спиной мальчика, прекрасного, как бог; он был так бледен, так печален и прекрасен, что император подумал: "это - сам Эрос, маленький, древний бог любви, больной и умирающий в наш век галилейского уныния. Он собирает последние слезы любви, слезы бога Дафне, погибшей красоте".

Глухонемой сидел неподвижно; большая черная бабочка, нежная и погребальная, опустилась ему на голову. Онее не почувствовал, не шевельнулся. Зловещей тенью трепетала она над его склоненной головой. А золотые СлезыСолнца, одна за другой, медленно падали в ладонь Эвфориона, и над ним кружились звуки церковного пения, похоронные, безнадежные, раздаваясь все громче и громче.

Вдруг из-за кипарисов слышались другие голоса, вблизи: - Август здесь!..

- Зачем пойдет он один в Дафну?

- Как же? сегодня великие панегирии Аполлона.Смотрите, вот он! Юлиан, мы ищем тебя с раннегоутра!

Это были греческие софисты, ученые, риторы - обычные спутники Юлиана: и постник неопифагореец Прискиз Эпира, и желчный скептик Юний Маврик, и мудрыйСаллюстий Секунд, и тщеславнейший из людей, знаменитый антиохийский ритор Либани.

Август не обратил на них внимания и даже не поздоровался.

- Что с ним? -- шепнул Юний на ухо Приску.

- Должно быть, сердится, что к празднику не сделано приготовлений. Забыли мы! Ни одной жертвы...

Юлиан обратился к бывшему христианскому ритору, ныне верховному жрецу Астарты, Гекэболию:

- Пойди в соседнюю часовню и скажи галилеянам, совершающим служение над мертвыми костями, чтобы пришли сюда.

Гекэболий направился к часовне, скрытой деревьями, откуда доносилось пение.

Горгий, держа в руках корзину с гусем, стоял, не двигаясь, с раскрытым ртом, с выпученными глазами. Иногда, в отчаянной решимости, принимался он растирать своюплешь. Ему казалось, что он выпил много вина и все этовидит во сне. Холодный пот выступил у него на лбу, когда он вспомнил, что наговорил этому "учителю" об августе Юлиане и о богах. Ноги подкосились от ужаса. Онупал на колени.

- Помилуй, кесарь! Забудь мои дерзкие речи: я не знал...

Один из услужливых философов хотел оттолкнутьстарика: - Убирайся, дурак! Чего лезешь?

Юлиан запретил ему:

- Не оскорбляй жреца! Встань, Горгий! Вот рука моя. Не бойся. Пока я жив, никто ни тебе, ни твоему мальчику не сделает зла. Оба мы пришли на панегирии, обалюбим старых богов - будем же друзьями и встретим праздник Солнца радостным сердцем!

Церковное пение умолкло. В кипарисовой аллее показались бледные, испуганные монахи, дьяконы и сам иерей, неуспевший снять облачения. Их вел Гекэболий. Пресвитер - толстый человек, с лоснящимся медно-красным лицом, переваливался, пыхтел, отдувался и вытирал пот солба. Остановившись перед августом, поклонился низко, достав рукою до земли, и сказал, точно пропел, густым приятным голосом, за который его особенно любили прихожане:

- Да помилует человеколюбивейший август недостойных рабов своих!

Поклонился еще ниже, и когда, кряхтя, подымался, два молодых проворных послушника, очень похожих друг на друга, долговязых, с желтыми, как воск, вытянутыми лицами, подсобляли ему с обеих сторон, поддерживая за руки.

Один из них забыл положить кадило, и тонкая струйка дыма подымалась с углей. Эвфорион, увидев издали монахов, бросился стремительно бежать. Юлиан сказал:

- Галилеяне! Повелеваю вам очистить священную рощу Аполлона от костей мертвеца - до завтрашней ночи.

Насилия делать мы не желаем, но если воля наша не будет исполнена, то мы сами позаботимся о том, чтобы Гелиос избавлен был от кощунственной близости галилейского праха: я пришлю сюда моих воинов, они вырвут кости, сожгут и развеют пепел по ветру. Такова наша воля, граждане!

Пресвитер кашлянул тихонько, закрыв рукою рот, и, наконец, смиреннейшим голосом пропел:

- Всемиловитивейший кесарь, сие для нас прискорбно, ибо давно уже св. Мощи покоятся здесь по воле цезаря Галла. Но да будет воля твоя: доложу епископу.

В толпе послышался ропот. Мальчишка, спрятавшись в лавровую чащу, затянул было песенку:

Мясник идет, Мясник идет, Острый нож несет, Бородой трясет, С шерстью черною, С шерстью длинною, Бородой своей козлиною, Из нее веревки вей!

Но шалуну дали такого подзатыльника, что он убежал с ревом.

Пресвитер, полагая, что следует для благопристойности заступиться за Мощи, опять смиренно кашлянул в руку и начал:

- Ежели мудрости твоей благоугодно утвердить сие по причине идола...

Он поскорее поправился: - Эллинского бога Гелиоса...

Глаза императора сверкнули: - Идола! - вот ваше слово. Какими глупцами считаете вы нас, утверждая, что мы боготворим самое вещество кумиров-медь, камень, дерево! Все ваши проповедники желают в этом и других, и нас, и самих себя уверить. Но это-ложь! Мы чтим не мертвый камень, медь или дерево, а дух, живой дух красоты в наших кумирах, образцах чистейшей божеской прелести. Не мы идолопоклонники, авы, грызущиеся, как звери, из-за "омоузиос" и "омойузиос", из-за одной йоты,- вы, лобызające гнилые кости преступников, казненных за нарушение римских законов, вы, именующие братоубийцу Констанция "вечностью", "святостью"!

Обоготворять прекрасное изваяние Фидия не разумнее ли, чем преклоняться перед двумя деревянными перекладинами, положенными крест-накрест,- позорным орудием пытки? Краснеть ли за вас, или жалеть вас, или ненавидеть? Это - предел безумия и бесславия, что потомки эллинов, читавшие Платона и Гомера, стремятся... куда же? - о мерзость! - к отверженному племени, почти истребленному Веспасианом и Титом,- чтобы обожествить мертвого Иудея!.. И вы еще смее обвинять нас в идолопоклонстве!

Невозмутимо, то расправляя всей пятерней черно-серебристую мягкую бороду, то вытирая крупные капли пота с широкого лоснящегося лба, пресвитер посматривал на Юлиана искоса, с утомлением и скукой.

Тогда император сказал философу Приску: - Друг мой, ты знаешь древние обряды эллинов: соверши Делосские таинства, необходимые для очищения храма от кощунственной близости

мертвых костей. Велитакже поднять камень с Кастальского источника, да возвратится бог в свое жилище, да возобновятся древние пророчества.

Пресвитер заключил беседу низайшим поклоном, со смирением, в котором чувствовалось неодолимое упрямство.

- Да будет воля твоя, могущественный август! Мы дети, ты - отец. В Писании сказано: всякая душа властепредержащим да повинуется: несть бо власть, аще не от Бога...

- Лицемеры!-воскликнул император.-Знаю, знаюваше смирение и послушание. Восстаньте же на меня и боритесь, как люди! Ваше смирение-ваше змеиное жало. Вы уязвляете им тех, перед кем пресмыкаетесь. Хорошо сказал про вас собственный Учитель ваш. Галилеянин: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь выбеленным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты.- Воистину наполнили вы мир гробами выбеленными и нечистотой! Вы припадаете к мертвым костям и ждете от них спасения;

как черви гробовые, питаетесь тленом. Тому ли учил Иисус?

Повелел ли ненавидеть братьев, которых называете вы еретиками за то, что они верят не так, как вы? -Да обратится же на вас из уст моих слово Распятого: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Змии, порождения ехидны, как убежите вы от осуждения в геенну?

Он повернулся, чтобы уйти, как вдруг из толпы вышли старичок со старушкой и повалились ему в ноги. Оба в просятых бедных одеждах, благообразные, удивительно похожие друг на друга, с хорошенькими свежими лицами, в которых было что-то детски-жалобное, с лучистыми добрыми морщинками вокруг подслеповатых глаз, напоминали они Филемона и Бавкиду.

- Защити, кесарь праведный!-заторопился, зашамкал старичок.- Домик есть у нас в предместьи у подошвы Ставрины. Жили мы в нем двадцать лет, людей не обижали. Бога чтили. Вдруг наемники приходят декурионы...

Старичок всплеснул руками в отчаянии, и старушка всплеснула: она подражала ему невольно каждым движением.

- Декурионы приходят и говорят: домик не ваш. Как не наш? Господь с вами! Двадцать лет живем.-Живете, да не по закону: земля

принадлежит богу Эскулапу, и основание дома сложено из камней храма. Землю вашу отберут и возвратят богу.-Что же это? Смилуйся, отец!..

Старички стояли перед ним на коленях, чистые, кроткие, милые, как дети, и целовали ноги его со слезами.

Юлиан заметил на шее старушки янтарный крестик.

- Христиане?

- Да.

- Мне хотелось бы исполнить просьбу вашу. Но что же делать? Земля принадлежит богу. Я, впрочем, велю заплатить вам цену имения.

- Не надо, не надо!-взмолились старички.-Мы не о деньгах: мы к месту привыкли. Там все наше, каждую травку знаем!..

- Там все наше,- как эхо, вторила старушка, свой виноградник, свои маслины, курочки и коровка, и свинка,- все свое. Там и приступочка, на которой двадцать лет сидим по вечерам, старые кости греем на солнце...

Император, не слушая, обратился к стоявшей поодаль испуганной толпе:

- В последнее время осаждают меня галилеяне просьбами о возвращении церковных земель. Так, валантине изгорода Эдессы Озроэнской жалуются на ариан, которые будто бы отняли у них церковные владения. Чтобы прекратить раздор, отдали мы одну часть спорного имущества нашим галльским ветеранам, другую казне. Так поступать намерены и впредь. Вы спросите: по какому праву? Но не говорите ли вы сами, что легче верблюду войти в игольное ушко, чем богатому в царствие Божие. Вот видите ли, а решил помочь вам исполнить столь трудную заповедь. Как всему миру известно, превозносите вы бедность, галилеяне.

За что же ропщете на меня? Отнимая имущество, похищенное вами у собственных братьев, еретиков, или у эллинских святилищ, я только возвращаю вас на путь спасительной бедности, прямо ведущий в царствие небесное...

Недобрая усмешка искривила губы его.

- Беззаконно терпим обиду! - вопили старички.

- Ну, что же, и потерпите! - отвечал Юлиан.- Выдолжны радоваться обидам и гонениям, как тому учил Иисус.

Что значат эти временные страдания в сравнении с вечным блаженством?..

Старичок не приготовлен был к такому доводу; он растерялся и пролепетал с последней надеждой:

- Мы верные рабы твои, август! Сын мой служит помощником стратега в дальней крепости на римской границе, и начальники довольны им...

- Тоже галилеянин? - перебил Юлиан.

- Да.

- Ну вот, хорошо, что ты сам предупредил: отныне галилеяне, явные враги наши, не должны занимать высших должностей в Империи, особенно военных. Опять и в этом, как во многом другом, более согласен я с вашим Учителем, чем сами вы. Справедливо ли, чтобы суд римским законам творили ученики Того, Кто сказал: "не судите, да не судимы будете", или, чтобы христиане принимали от нас меч для охраны Империи, когда Учитель предостерегает: "взявший меч - от меча погибнет", а в другом месте столь же ясно: "не противься злему насилею!" Вот почему, заботясь о спасении душ галилейских, отнимаеммы у них и римский суд, и римский меч, да вступят они, с тем большею легкостью, беззащитные и безоружные, чуждые всего земного, в царствие небесное!..

С немим внутренним смехом, который теперь один только утолял его ненависть, повернулся он и быстрыми шагами пошел к Аполлонову храму.

Старички всхлипывали, протягивая руки: - Кесарь, помилуй! Мы не знали... Возьми наш домик, землю, все, что есть у нас, - только сына помилуй!..

Философы хотели войти вместе с императором в двери храма; но он отстранил их движением руки:

- Я пришел на праздник один: один и жертву богу принесу.

- Войдем, - обратился он к жрецу. - Запри двери, чтобы не вошел никто. Procul este profani! Да изыдут неверные!

Перед самым носом друзей-философов двери захлопнулись.

- Неверные! Как вам это нравится?-проговорилГаргилиан, озадаченный.

Либаний молча пожал плечами и надулся.

Юний Маврик, с таинственным видом, отвел собеседников в угол портика и что-то прошептал, указывая на лоб: - Понимаете?..

Все удивились.

- Неужели?

Он стал считать по пальцам:

- Бледное лицо, горящие глаза, растрепанные волосы, неровные шаги, бессвязная речь. Далее - чрезмерная раздражительность, жестокосердие. И наконец, эта нелепая война с персами,- клянусь Палладой, да ведь это уже явное безумие!..

Друзья сошлись еще теснее и зашептали, заплетничали радостно.

Саллюстий, стоя поодаль, смотрел на них с брезгливой усмешкой.

Юлиан нашел Эвфориона внутри храма. Мальчик обрадовался ему и часто, во время богослужения, заглядывая императору в глаза, улыбался доверчиво, как будто у них была общая тайна.

Озаренное солнцем, исполинское изваяние Аполлона Дафнийского возвышалось посередине храма: тело-слоновая кость, одежда - золото, как у Фидиева в Олимпии.

Бог, слегка наклоняясь, творил из чаши возлияние Матери Земле с мольбой о том, чтобы она возвратила ему Дафну.

Налетела легкая тучка, тени задрожали на золотистой от старости слоновой кости, и Юлиану показалось, что бог наклоняется к ним с благосклонной улыбкой, принимая последнюю жертву последних поклонников - дряхлого жреца, императора-бogoотступника и глухонемого сына пророчицы.

- Вот моя награда,- молился Юлиан, с детской радостью,- и не хочу я иной, Аполлон! Благодарю тебя зато, что я проклят и отвержен, как ты; за то, что один я живу и один умираю, как ты. Там, где молится чернь, бога нет. Ты - здесь, в поруганном храме. О, бог, осмеянный людьми, теперь ты прекраснее чем в те времена, когда люди поклонялись тебе! В день, и мне назначенный Паркою, дай соединиться с тобою, о, радостный, дай умереть в тебе, о, Солнце.- как на алтаре огонь последней жертвы умирает в сиянии твоём.

Так молился император, и тихие слезы струились щекам его, тихие капли жертвенной крови падали, как слезы, на потухающие угли алтаря.

В Дафнийской роще было темно. Знойный ветер гнал тучи. Ни одной капли дождя не падало на землю, сожженную засухой. Лавры трепетали судорожно черными ветками, протянутыми к небу, как молящие руки. Титанические стены кипарисов шумели, и шум этот был похож на говор гневных стариков.

Два человека осторожно пробирались в темноте, вблизи Аполлонова храма. Низенький, - глаза у него были кошачьи зеленоватые, видевшие ночью, - вел за руку высокого.

- Ой, ой, ой, племянничек! Сломим мы себе шею где-нибудь в овраге...

- Да тут и оврагов нет. Чего трусишь? Совсем бабой стал с тех пор, как крестился!

- Бабой! Сердце мое билось ровно, когда в Гирканийском лесу хаживал я на медведя с рогатиной. Здесь не то!

Болтаться нам с тобой бок о бок на одной виселице, племянничек!..

- Ну, ну, молчи, дурак!

Низенький снова потащил высокого, у которого была огромная вязанка соломы за плечами и заступ в руке.

Они подкрались к задней стороне храма.

- Вот здесь! Сначала заступом. А внутреннюю деревянную обшивку руби топором, - прошептал низенький, ощупывая в кустах пролом стены, небрежно заделанный кирпичами.

Удары заступа заглушались шумом ветра в деревьях.

Вдруг раздался крик, подобный плачу больного ребенка.

Высокий вздрогнул и остановился.

- Что это?

- Сила нечистая! - воскликнул низенький, выпучив от ужаса зеленые кошачьи глаза и вцепившись в одежду товарища. - Ой, ой, не покидай меня, дядюшка!..

- Да это филин. Эк перетрусил!

Огромная ночная птица вспорхнула, шурша крыльями, и понеслась вдаль с долгим плачем.

- Бросим,- сказал высокий.- Все равно не загорится, - Как может не загореться? Дерево гнилое, сухое, - с червоточиной; тронь- рассыплется. От одной искры вспыхнет. Ну, ну, почтенный, руби-не зевай!

И с нетерпением низенький подталкивал высокого.

- Теперь солому в дыру. Вот так, еще, еще! Во славу Отца и Сына и Духа Святого!..

- Да чего ты юлишь, вьешься, как угорь? Чего зубы скалишь? -огрызнулся высокий.

- Хэ, хэ, хэ,-как же не смеяться, дяденька? Теперь и ангелы ликуют в небесах. Только помни, брат: ежели попадемся,-не отрекаться! Мое дело сторона... Веселенький запалим огонечек. Вот огниво - выбивай.

- Убирайся ты к дьяволу! - попробовал оттолкнуть его высокий.- Не обольстишь меня, окаянный змееныш, тьфу! Поджигай сам...

- Эге, на попятный двор?.. Шалишь, брат!

Низенький затрясся от бешенства и вцепился в рыжую бороду гиганта.

- Я первый на тебя донесу! Мне поверят...

- Ну, ну, отстань, чертенок!.. Давай огниво! Делать нечего, надо кончать.

Посыпались искры. Низенький для удобства лег на живот и сделался еще более похожим на змееныша. Огненные струйки побежали по соломе, облитой дегтем. Дым за клубился. Затрещала смола. Вспыхнуло пламя и озарило багровым блеском испуганное лицо исполина Арагария и хитрую обезьянью рожицу маленького Стромбика. Он похожбыл на уродливого бесенка; хлопал в ладоши, подпрыгивал, смеялся, как пьяный или сумасшедший.

- Все разрушим, все разрушим, во славу Отца и Сына и Духа Святого! Хэ, хэ, хэ! Змейки, змейки-то, как бегают! А?.. Веселенький огонек, дядюшка?

В сладострастном смехе его было вечное зверство людей - восторг разрушения.

Арагарий, указывая в темноту, произнес: - Слышишь?..

Роща была по-прежнему безлюдной; но в завывании ветра, в шелесте листьев чудился им человеческий шепот и говор. Арагарий вдруг вскочил и бросился бежать.

Стромбик уцепился за край его туники и завизжал пронзительно:

- Дяденька! Дяденька! Возьми меня к себе на плечи.

У тебя ноги длинные. А не то, если попадусь - донесуна тебя!..

Арагарий остановился на мгновение.

Стромбик вспрыгнул, как белка, на плечи сармата, и они помчались. Маленький сириец крепко стискивал ему бокадрожащими коленями, обвивал шею руками, чтобы не свалиться. Несмотря на ужас, неудержимо смеялся он безумным смехом, тихонько взвизгивая от шаловливой резвости.

Поджигатели миновали рощу и выбежали в поле, где пыльные тощие колосья приникли к сожженной земле. Между тучами, на краю черного неба, светлела полоса заходящей луны. Ветер свистал пронзительно. Скорчившись на плечах гиганта, маленький Стромбик со своими кошачьими зеленоватыми зрачками походил на злого духа или оборотня, оседлавшего жертву. Суеверный ужас овладел Арагарием: ему вдруг почудилось, что не Стромбик, а сам дьявол, в образе огромной кошки, сидит у него за плечами и царапает ему лицо, и визжит, и хохочет, и гонит его в бездну.

Гигант делал отчаянные прыжки, отбиваясь от цепкой ноши; волосы встали у него дыбом, и он завыл от ужаса.

Чернея двойною огромною тенью на бледной полосе горизонта, мчались они так, по мертвому полю, с пыльными колосьями, приникшими к сожженной и окаменелой земле.

В это время, в опочивальне антиохийского дворца, Юлиан вел тайную беседу с префектом Востока, Саллюстием Секундом.

- Откуда же, милостивый кесарь, достанем мы хлеба для такого войска?

- Я разослал триремы в Сицилию, Египет, Апулию всюду, где урожай,- ответил император.- Говорю тебе, хлеб будет.

- А деньги?- продолжал Саллюстий.- Не благоразумнее ли отложить до будущего года, подождать?..

Юлиан все время ходил по комнате большими шагами; вдруг остановился перед стариком.

- Подождать! - гневно воскликнул он.- Все вы точно говорились. Подождать! Как будто я могу теперь ждать, и взвешивать, и колебаться. Разве галилеяне ждут? Пойми же, старик; я должен

совершить невозможное, я должен вернуться из Персии страшным и великим, или совсем не возвращаться. Примиренья больше нет. Середины нет.

Что вы говорите мне о благоразумии? Или ты думаешь, Александр Македонский благоразумием победил мир? Разве таким умеренным людям, как ты, не казался сумасшедшим этот безбородый юноша, выступивший с горстью македонцев против владыки Азии? Кто же даровал ему победу?..

- Не знаю,- отвечал префект уклончиво, с легкой усмешкой.- Мне кажется, сам герой...

- Не сам, а боги!- воскликнул Юлиан.- Слышишь, Саллюстий, боги могут и мне даровать победу, еще большую, чем Александру! Я начал в Галлии, кончу в Индии, Я пройду весь мир от заката до восхода солнечного, как великий Македонец, как бог Дионис. Посмотрим, что скажут тогда галилеяне; посмотрим, как ныне издевающиеся над простой одеждой мудреца посмеются над мечом римского кесаря, когда вернется он победителем Азии!..

Глаза его загорелись лихорадочным блеском. Саллюстий хотел что-то сказать, но промолчал. Когда же Юлиан снова принялся ходить по комнате большими беспокойными шагами, префект покачал головой, и жалость засветилась в мудрых глазах старика.

- Войско должно быть готово к походу,- продолжал Юлиан.- Я так хочу, слышишь? Никаких отговорок, никаких промедлений. Тридцать тысяч человек. Армянский царь Арзакий обещал нам союз. Хлеб есть. Чего же больше? Мне нужно знать, что каждое мгновение могу я выступить против персов. От этого зависит не только моя слава, спасение Римской империи, но и победа вечных богов над Галилеянином!..

Широкое окно было открыто. Пыльный жаркий ветер, врываясь в комнату, колебал три тонких огненных языка лампы с тремя светильнями. Прорезая мрак неба, падучая звезда сверкнула и потухла. Юлиан вздрогнул: это было зловещее предзнаменование.

Постучали в дверь; слышались голоса.

- Кто там? Войдите,- сказал император.

То были друзья-философы. Впереди шел Либаний; он оказался более напыщенным и надутым, чем когда-либо.

- Зачем пришли? - спросил Юлиан холодно.

Либаний стал на колени, сохраняя надменный вид.

- Отпусти меня, август! Долее не могу жить при дворе. Каждый день терплю обиды...

Он долго говорил о каких-то подарках, денежных наградах, которыми его обошли, о неблагодарности, о своих заслугах, о великолепных панегириках, которыми он прославил римского кесаря.

Юлиан, не слушая, смотрел с безглаголивой скукой на знаменитого оратора и думал: "Неужели это тот самый Либаний, речами которого я так зачитывался в юности? Какая мелочность! Какое тщеславие!"

Потом все они заговорили сразу: спорили, кричали, обвиняли Друг Друга в безбожии, в лихоимстве, в разврате.

пускали в ход глупейшие сплетни;-это была постыдная домашняя война не мудрецов, а прихлебателей, взбесившихся от жиру, готовых растерзать друг друга от тщеславия, злобы и скуки.

Наконец, император произнес тихим голосом слово, которое заставило их опомниться: - Учители!

Все сразу умолкли, как испуганное стадо болтливых сорок.

- Учители,-повторил он с горькой усмешкой,-я слушал вас довольно; позвольте и мне рассказать басню. У одного египетского царя были ручные обезьяны, умевшие плясать военную пиррийскую пляску; их наряжали в шлемы, маски, прятали хвосты под царственный пурпур, и когда они плясали, трудно было поверить, что это нелюди. Зрелище нравилось долго. Но однажды кто-то из зрителей бросил на сцену пригоршню орехов. И что же?

Актеры разодрали пурпур и маски, обнажили хвосты, стали на четвереньки, завизжали и начали грызться из-за орехов.-- Так некоторые люди с важностью исполняют пиррийскую пляску мудрости - до первой подачи. Ностойт бросить пригоршню орехов- и мудрецы превращаются в обезьян: обнажают хвосты, визжат и грызутся. Как вам нравится эта басенка, учителя?

Все безмолвствовали.

Вдруг Саллюстий тихонько взял императора за руку и указал в открытое окно.

По черным складкам туч медленно расползлось колеблемое сильным ветром багровое зарево.

- Пожар! Пожар! -заговорили все.

- За рекой,-соображали одни.

- Не за рекой, а в предместье Гарандама!-поправляли другие.

- Нет, нет,-в Гезире, у жидов!

- Не в Гезире и не в Гарандама,- воскликнул кто-тос тем неудержимым весельем, которое овладевает толпоюпри виде пожара,-а в роще Дафнийской!

- Храм Аполлона!-прошептал император, и вдругвся кровь прихлынула к сердцу его.

- ГалИлеяне! - закричал он страшным голосом и кинулся к двери, потом на лестницу.

- Рабы! Скорее! Коня и пятьдесят легионеров!

Через несколько мгновений все было готово. На дворвывели черного жеребца, дрожавшего всем телом, опасного, сердито косившего зрачок, налитый кровью.

Юлиан помчался по улицам Антиохии, в сопровождении пятидесяти легионеров. Толпа в ужасе рассыпаласьперед ними. Кого-то сшибли с ног, кого-то задавили. Крики были заглушены громом копыт, бряцанием оружия.

Выехали за город. Больше двух часов длилась скачка.

Трое легионеров отстали: кони подошли.

Зарево становилось все ярче. Пахло дымом. Поляс пыльными колосьями озарялись багровым отсветом. Любопытные стремились отовсюду, как ночные бабочки на

огонь; то были жители окрестных деревень и антиохийскихпредместий. Юлиан заметил радость в голосах и лицах, словно люди эти бежали на праздник.

Огненные языки засверкали, наконец, в клубах густогодыма над черными зубчатыми вершинами Дафнийскойрощи.

Император въехал в священную ограду. Здесь бушевала толпа. Многие перекидывались шутками и смеялись. Тихие аллеи, столько лет покинутые всеми, кишели народом.

Чернь оскверняла рощу, ломала ветви древних лавров, мutilа родники, топтала нежные, сонные цветы. Нарциссыи лилии, умирая,

тщетно боролись последней свежестью с удушливым зноем пожара, с дыханием черни.

- Божье чудо! Божье чудо!..-носился над толпою радостный говор.

- Я видел собственными глазами, как молния ударила и зажгла крышу!..

- А вот и не молния,- врешь: утроба земная разверзлась, изрыгнув пламя, внутри капища, под самым миром!..

- Еще бы! Какую учинили мерзость! Мощи потревожили! Думали, даром пройдет. Как бы не так! -Вот тебе и храм Аполлона, вот тебе и прорицания вод Кастальских! - Поделом, поделом!..

Юлиан увидел в толпе женщину, полуодетую, растрепанную, должно быть, только что вскочившую с постели.

Она тоже любовалась огнем, с радостной и бессмысленной улыбкой, баюкая грудного младенца; слезинки сверкали на его ресницах; он плакал, но затих и с жадностью сосал смуглую, толстую грудь, причмокивая, упершись в нее одной ручкой, протянув другую, пухленькую, с ямочками, когню, как будто желая достать блестящую, веселую игрушку.

Император остановил коня: дальше нельзя было сделать ни шагу; в лицо веял жар, как из печи. Легионеры ждали приказаний. Но приказывать было нечего: он понял, что храм погиб.

Это было великолепное зрелище. Здание пылало сверху донизу. Внутренняя обшивка, гнилые стены, высохшие балки, сваи, бревна, стропила - все превратилось в раскаленные головни; с треском падали они, и огненными вихрями искры взлетали до неба, которое опускалось все ниже и ниже, зловещее, кровавое; пламя лизало тучи длинными языками, билось по ветру и грохотало, как тяжелая завеса.

Листья лавров корчились от жара, как от боли, и свертывались. Верхушки кипарисов загорались ярким смоляным огнем, как исполинские факелы; белый дым их казался дымом жертвенных курений; капли смолы струились обильно, словно вековые деревья, современники храма, плакали о боге золотыми слезами.

Юлиан смотрел неподвижным взором на огонь. Он хотел что-то приказать легионерам, но только вырвал меч из ножен, вздернул коня на дыбы и прошептал, стиснув зубы в бессильной ярости: - Мерзавцы, мерзавцы!..

Вдали послышался рев толпы. Он вспомнил, что позади храма - сокровищница с богослужебной утварью, и у него мелькнула мысль, что галилеяне грабят святыню. Он сделал знак и бросился с воинами в ту сторону. На пути их остановило печальное шествие.

Несколько римских стражей, должно быть, только что подоспевших из ближайшего селения Дафнэ, несли на руках носилки.

- Что это? - спросил Юлиан.

- Галилеяне побили камнями жреца Горгия, - отвечали римляне.

- А сокровищница?

- Цела. Жрец заслонил дверь, стоя на пороге, и не дал оквернить святыню. Не сдвинулся с места, пока не свалился, пораженный в голову камнем. Потом убили мальчика. Галилейская чернь, растоптав их, вломилась бы в дверь, но мы пришли и разогнали толпу.

- Жив? - спросил Юлиан.

- Едва дышит.

Император соскочил с коня. Носилки тихонько опустили. Он подошел, наклонился и осторожно откинул край знакомой, запачканной хламиды жреца, покрывавшей обателя.

На подстилке из свежих лавровых ветвей лежал старик: глаза были закрыты; грудь подымалась медленно. В сердце Юлиана проникла жалость, когда он взглянул на этот красный нос пьяницы, который казался ему недавно таким непристойным, - когда вспомнил тощего гуся в лозниковой корзине, последнюю жертву Аполлону. На пушистых, белых как снег, волосах выступили капли крови, и острые черные листья лавра сплелись венцом над головой жреца.

Рядом, на тех же носилках, покоилось маленькое тело Эвфориона. Лицо, покрытое мертвенной бледностью, было еще прекраснее, чем живое; на спутанных золотистых волосах алели кровавые капли; прислонившись щекою к руке, он как будто дремал легким сном. Юлиан подумал:

"Таким и должен быть Эрос, сын богини любви, побитый камнями галилеян".

И римский император благоговейно опустился на колени перед мучеником олимпийских богов. Несмотря на гибель храма, несмотря на бессмысленное торжество черни, Юлиан чувствовал присутствие

Бога в той смерти. Сердце его смягчилось, даже ненависть исчезла. Со слезами умиления наклонился он и поцеловал руку святого старика.

Умиравший открыл глаза: - Где мальчик? - спросил он тихо.

Юлиан осторожно положил руку его на золотые кудри Эвфориона.

- Здесь - рядом с тобою.

- Жив? - спрашивал Горгий, прикасаясь к волосам ребенка с последнею лаской.

Он был так слаб, что не мог повернуть к нему голову.

Юлиан не имел духа открыть истину умирающему. Жрец обратился к императору взор, полный мольбы.

- Кесарь - тебе поручаю его. Не покидай...

- Будь спокоен, я сделаю все, что могу, для твоего мальчика.

Так принял Юлиан на свое попечение того, кому и римский кесарь не мог больше сделать ни добра, ни зла.

Горгий не подымал своей коченеющей руки с кудрей Эвфориона. Вдруг лицо его оживилось, он хотел что-то сказать, но пролепетал бессвязно: - Вот они! вот они... Я так и знал... Радуйтесь!..

Он взглянул перед собой широко открытыми глазами, вздохнул, остановился на половине вдоха - и взор его померк.

Юлиан закрыл лицо усопшему.

Вдруг торжественные звуки церковного пения грянули.

Император оглянулся и увидел: по главной кипарисовой аллее тянулось шествие, несметная толпа - старцы-иереи в золототканых облачениях, усыпанных дорогими камнями, важные дьяконы, с бряцающими кадилами, черные монахи, с восковыми свечами, девы и отроки в одеждах, дети с пальмовыми ветвями; в высоте, над толпою, на великолепной колеснице, сияла рака св. Вавилы; пламя пожара дробилось в ее бледном серебре. Это были Мощи, изгоняемые повелением кесаря из Дафнэ в Антиохию. Изгнание превратилось в победоносное шествие.

"Облако и мрак окрест Его",- заглушая свист ветра, гул пожара, летела торжествующая песнь галилеян к небу, освещенному заревом.- "Облако и мрак окрест Его".

"Пред Ним идет огонь и вокруг попаляет врагов Его".

"Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли".

И Юлиан побледнел, услышав, какая дерзость и ликование звучали в последнем возгласе:

"Да постыдятся служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним все боги!"

Он вскочил на коня, обнажил меч и воскликнул: - Солдаты, за мной!

Хотел броситься в середину толпы, разогнать чернь, опрокинуть раку с мощами и разметать мертвые кости. Ночь-то рука схватила коня его за повод.

- Прочь!-закричал он в ярости и уже поднял меч, чтобы ударить, но в то же мгновение рука его опустилась: пред ним был мудрый старик, с печальным и спокойнымлицом, Саллюстий Секунд, вовремя подоспевший из Антиохии.

- Кесарь] Не нападай на безоружных. Опомнись!..

Юлиан вложил меч в ножны.

Медный шлем давил и жег ему голову, как раскаленный. Сорвав его и бросив на землю, он вытер крупные капли пота. Потом один, без воинов, с обнаженной головой, подъехал к толпе и остановил шествие мановением рук.

Все узнали его. Пение умолкло.

- Антиохийцы! - произнес Юлиан почти спокойно, сдерживая себя страшным усилием воли.-Знайте: мятежники и поджигатели Аполлонова храма будут наказаны безпощады. Вы смеетесь над моим милосердием - посмотрим, как посмеетесь вы над моим гневом. Римский август могбы стереть с лица земли город ваш так, чтобы люди забыли о Великой Антиохии. Но вот, я только ухожу от вас.

Я выступаю в поход против персов. Если боги судили мневернуться победителем,- горе вам, мятежники! Горе Тебе, плотников Сын, Назареянин!..

Он простер меч над толпой.

Вдруг показалось ему, что странный, как будто нечеловеческий, голос проговорил за ним явственно: - Гроб тебе готовит Назареянин, плотников Сын.

Юлиан вздрогнул, обернулся, но никого не увидел. Онпровел рукой по лицу.

- Что это? Или мне почудилось?-сказал он чуть слышно и рассеянно.

В это мгновение, внутри пылавшего храма, раздался оглушительный треск - часть деревянной крыши рухнула прямо на исполинское изваяние Аполлона. Кумир упал сподножья; золотая чаша, которой он творил вечное возлияние Матери-Земле, жалобно зазвенела. Искры огненным снопом взлетели к тучам. Стройная колонна в портике пошатнулась, и коринфская капитель, с нежною прелестью в самом разрушении, как белая лилия с надломленного стебля, склонилась и упала на землю. Юлиану казалось, что весь пылающий храм, обрушившись, задавит его.

А древний псалом Давида, во славу Бога Израилева, возносился к ночному небу торжественно, заглушая рев пожара и падение кумира:

"Да постыдятся служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним все боги"!

Юлиан провел зиму в поспешных приготовлениях к походу. В начале весны, 5 марта, выступил он из Антиохии с войском в 65 тысяч человек.

Снег на горах таял. В садах миндальные деревья, голые, лишенные листьев, уже покрылись сквозившим на солнце белым и розовым цветом. Солдаты шли на войну весело, как на праздник.

На Самозатских верфях построен был из громадных Кедров, сосен и дубов, срубленных в ущельях Тавра, флот в 1200 кораблей и спущен по Евфрату до города Каллиникэ.

Юлиан быстрыми переходами направился через Гиерополь в Карры и дальше на юг, по самому берегу Евфрата, к персидской границе. На север отправлено было другое, тридцатитысячное войско, под начальством комесов, Прокопия и Себастиана. Соединившись с армянским царем Арзакием, они должны были опустошить Анадиабену, Хилиоком и, пройдя Кордуену, встретиться с главным войском на берегах Тигра, под стенами Ктезифона.

Все до последней мелочи было предусмотрено, взвешено и обдумано императором с любовью. Те, кто понимали этот военный замысел, удивлялись мудрости, величии и простоте его.

В самом начале апреля пришли в Цирцезиум, последнюю римскую крепость, построенную Диоклетианом на границе

Месопотамии, при слиянии реки Абора с Евфратом. Навели плавучий мост из барок. Юлиан отдал повеление переступить границу на следующее утро.

Поздно вечером, когда все уже было готово, вернулся в шатер, усталый и веселый, зажег лампаду и хотел приняться за любимую работу, которой ежедневно уделял часть ночного отдыха-обширное философское сочинение: Против христиан. Он писал его урывками, под звуки военных труб, лагерных песен и сторожевых переключек. Юлиан радовала мысль, что он борется с Галилеянином всем, чем только можно бороться: на поле битвы и в книге, римским мечом и эллинской мудростью. Никогда не разлучался он с творениями Святых Отцов, с церковными канонами и символами соборов. На полях очень старых истрепанных свитков Нового Завета, который изучал он с не меньшим усердием, чем Платона и Гомера, рукой императора начертаны были язвительные заметки.

император снял пыльные доспехи, умылся, сел за походный столик и обмакнул остроконечный тростник в чернильницу, приготовляясь писать. Но уединение его было нарушено: два вестника прибыли в лагерь - один из Италии, другой из Иерусалима. Юлиан выслушал обоих.

Вести были не радостные: землетрясение только что разрушило великолепный город Малой Азии, Никомидию;

подземные удары привели в ужас население Константинополя; книги сибилл запрещали переступать римскую границу в течение года.

Вестник из Иерусалима привез письмо от сановника Алипия Антиохийского, которому Юлиан поручил восстановление храма Соломонова. По старинному противоречию, поклонник многобожного Олимпа решил возобновить уничтоженный римлянами храм единому Богу Израиля, дабы пред лицом всех народов и всех веков опровергнуть истину евангельского пророчества: "не останется здесь камня на камне; все будет разрушено". Иудеи с восторгом откликнулись на призыв Юлиана. Отовсюду стекались жертвоприношения. Замысел постройки был величественный. Заработы принялись с поспешностью. Общий

надзор поручил Юлиан другу своему, комесу Алипию Антиохийскому, бывшему наместнику Британии.

- Что случилось?-спросил император с тревогой, глядя исподлобья на мрачное лицо вестника и не распечатывая письма.

- Великое несчастье. Август блаженный!

- Говори. Не бойся.

- Пока строители расчищали мусор и сносило древние развалины стен Соломонова храма,- все шло хорошо; нотолько что приступили к закладке нового здания,- пламя, в виде летающих огненных шаров, вырвалось из подвалов, разбросало камни и опалило рабочих. На следующий день, по повелению благородного Алипия, опять приступили к работам. Чудо повторилось. И еще в третий раз. Христиане торжествуют, эллины в страхе, и ни один рабочий не соглашается сойти в подземелье. От постройки не осталось камня на камне,- все разрушено...

- Лжешь, негодяй! Ты сам, должно быть, галилеянин!--воскликнул император в ярости, заноса руку, чтобы ударить коленопреклоненного вестника.- Глупые бабьи сплетни! Неужели комес Алипий не мог выбрать более разумного вестника?

Поспешно сорвал он печать, развернул и прочел письмо.

Вестник был прав: Алипий подтверждал его слова. Юлиан не верил глазам своим: внимательно перечел, приблизил письмо к лампаде. Вдруг лицо его покраснело. Закусив губы до крови, скомкал он и бросил папирус стоявшему рядом врачу Орибасию:

- Прочти,- ты ведь не веришь в чудеса. Или комес Алипий сошел с ума, или... нет-этого быть не может!..

Молодой александрийский ученый поднял и прочел письмо с той спокойной, как будто безучастной, неторопливостью, с которой делал все.

- Никакого чуда нет,-молвил он и обратил на Юлиана ясный взгляд.- Давно уже ученые описали это явление: в подвалах древних зданий, темных и лишенных притока воздуха в продолжение многих столетий, собираются иногда густые, легко воспламеняющиеся испарения.

Довольно спуститься в такое подземелье с горящим факелом, чтобы произошел взрыв; внезапно вспыхнувший огонь убивает

неосторожных. Людям невежественным это кажется чудом; но и здесь, как везде, свет знания рассеивает суеверия и дает разуму человеческому свободу. Все прекрасно, потому что все естественно и согласно волей природы.

Он спокойно положил письмо на стол, и на тонких, упрямых губах его промелькнула самодовольная улыбка.

- Да, да, конечно,- произнес Юлиан с горькой усмешкой,- надо же чем-нибудь утешаться! Все понятно, все естественно: и землетрясение в Никомидии, и землетрясение в Константинополе, и пророчества книг сибилловых, и засуха в Антиохии, и пожары в Риме, и наводнения в Египте. Все естественно, только странно, что все против меня,- и земля, и небо, и вода, и огонь, и, кажется, сами боги!..

В палатку вошел Саллюстий Секунд.

- Великий август, этрусские гадатели, которых ты велел опросить о воле богов, умоляют тебя помедлить, непереступать границы завтра: вещие куры аруописцев, несмотря ни на какие молитвы, отворачиваются от пищи, сидят нахохлившись и не клюют ячменных зерен - зловещая примета!

Юлиан сдвинул брови гневно. Но вдруг глаза его сверкнули веселостью, и он засмеялся таким неожиданным смехом, что все молча, с удивлением, обратили на него взоры:

- Так вот как! Не клюют? А? Что же нам делать с этими глупыми птицами? Уж не послушать ли их, не вернуться ли назад в Антиохию, на радость и потеху галилеянам? - Знаешь ли что, друг мой, ступай к этрусским гадателям и объяви им волю нашу: бросить в реку всех священных кур, - пусть сперва напьются, может быть, потом и есть захотят!..

- Милостивый август, так ли я понял тебя: неизменно ли твое решение переступить границу завтра утром?

- Да! - и клянусь будущими победами нашими, клянусь величием нашей Империи,- никакие вещие птицы не испугают меня,- ни вода, ни огонь, ни земля, ни небо, ни боги! Поздно. Жребий брошен. Друзья мои, во всей природе есть ли что-нибудь божественнее воли человеческой? Во всех книгах сибилловых есть ли что-нибудь сильнее этих трех слов: я так хочу? Больше, чем когда-либо, чувствую тайну судьбы моей. Прежде знамения опутывали меня, как сети, и

порабощали; теперь -мне больше нечего терять. Если боги покинут меня, то и я...

Он вдруг оборвал и умолк со странной усмешкой. Потом, когда приближенные удалились, подошел к маленькому серебряному изваянию Меркурия с походным алтарем, намереваясь, по обыкновению, сотворить вечернюю молитву и бросить несколько зерен фимиама; но вдруг отвернулся, все с той же странной усмешкой, отошел, лег нальвиную шкуру, которая служила ему постелью, и, погасив лампаду, заснул спокойным, крепким сном, каким людиспят иногда перед большими несчастьями.

Заря чуть брезжила, когда проснулся он, радостный.

В лагере слышался шум пробуждения, звучали трубы.

Юлиан сел на коня и помчался к берегу Абора.

Раннее апрельское утро было свежо и почти бездыханно.

Сонный ветерок приносил ночную прохладу с великоазиатской реки. По всему широкому весеннему разливу Евфрата, от башен Цирцезиума до римского лагеря, на десять стадий тянулись ряды военных кораблей. Со времен Ксеркса не видано было такого грозного флота.

Солнце первыми лучами брызнуло из-за надгробной пирамиды кесаря Гордиана, победителя персов, умерщвленного некогда на этом самом берегу Филиппом Аравитянином. Край солнца зарделся над тихой пустыней, как раскаленный уголь, и сразу все верхушки корабельных мачт сквозь утреннюю мглу порозовели.

Император подал знак, и восемь пятитысячных человеческих громад мерным шагом, от которого земля дрожала и гудела, сдвинулись. Римское войско стало переходить через мост - границу Персии.

Конь вынес Юлиана на противоположный берег, на высокий песчаный холм - землю врагов.

Во главе Палатинской когорты ехал центурион щитоносцев, Анатолий, поклонник Арсинои.

Анатолий взглянул на императора. В наружности Юлиана произошла перемена: месяц, проведенный на свежем воздухе, в лагерных трудах, был ему полезен: в мужественном воине, с загорелыми щеками, с молодым взором, блиставшим веселостью,

трудно было узнать школьного философа с осунувшимся, желтым лицом, с ученой угрюмостью в глазах, с растрепанными волосами и бородой, с растерянной торопливостью в движениях, с чернильными пятнами на пальцах и на цинической тоге,- ритор Юлиана, над которым издевались уличные мальчишки Антиохии.

- Слушайте, слушайте: кесарь говорит.

Все стихло; раздавалось только слабое бряца"ие оружия, шелест воды под кораблями и шуршание шелковых знамен.

- Воины храбрейшие!-начал Юлиан громким голосом.- Вижу на лицах ваших такую отвагу и мужество, что не могу удержаться от радостного приветствия. Помните, товарищи: судьбы мира в наших руках, мы восстанавливаем древнее величие Римской империи. Закалите же сердца ваши, будьте готовы на все: нам нет возврата!

Я буду во главе, в рядах ваших, конный, пеший, участвуя во всех трудах и опасностях, наравне с последним из вас, потому что с этого дня вы уже не солдаты, не рабы, а друзья мои, дети мои! Если же изменчивый рок судил мне пасть в борьбе, я счастлив буду тем, что умру за Рим, подобно великим мужам - Сцеволам, Курциями светлейшим отпрыскам Дециев. Мужайтесь же, товарищи, и помните: побеждают сильные!

Он вынул из ножен и протянул меч, указывая войска на далекий край пустыни.

Солдаты, подняв и сдвинув щиты, воскликнули: - Слава кесарю победителю!

Боевые корабли рассекали волны реки, римские орлы полетели над когортами, и белый конь понес императора навстречу восходящему солнцу.

Но холодная, синяя тень от пирамиды Гордиана падала на золотистый гладкий песок; скоро Юлиан должен был въехать из утреннего солнца в эту длинную зловещую тень одинокой гробницы.

Войско шло по левому берегу Евфрата.

Равнина широкая, гладкая, как море, была покрыта серебристой полынью. Деревьев не было видно. Кусты и травы имели ароматический запах. Изредка стадо диких ослов, вздымая пыль, появлялось на краю неба. Пробегали страусы. Жирное, лакомое мясо степной дрофы дымилось за ужином на солдатских кострах. Шутки и

песни не умолкали до поздней ночи. Поход казался прогулкой. С воздушной легкостью, почти не касаясь земли, проносились тонконогие газели. у них были грустные, нежные глаза, как у красивых женщин. Воинов, искавших славы, добычи крови, пустыня встречала безмолвной лаской, звездными ночами, тихими зорями, благовонной мглой, пропитанной запахом горькой полыни.

Они шли все дальше и дальше, не находя врагов.

Но только что проходили,- тишина опять смыкалась над равниной, как вода над утонувшим кораблем, и стебли трав, притоптанные ногами воинов, тихо подымались.

Вдруг пустыня сделалась грозной. Тучи покрыли небо.

Хлынул дождь. Молния убила солдата, водившего коней на водопой.

В конце апреля начались жаркие дни. Товарищи завидовали тому из воинов, кто шел в тени, падавшей от верблюда или от натруженной телеги с полотняным навесом.

Люди далекого севера, галлы и скифы, замирали от солнечных ударов. Равнина становилась печальной, голой, кое где покрытой только бледными пучками выжженной травы.

Ноги утопали в песке.

Налетали внезапные вихри с такой силой, что срывали знамена, палатки; люди и кони валялись с ног. Потом опять наступала мертвая тишина, которая напуганному солдату казалась страшнее всякой бури. Шутки и песни умолкли. Но воины шли все дальше и дальше, не находя врагов.

В начале мая вступили в пальмовые рощи Ассирии.

У Мацепракта, где сохранились развалины огромной стены, построенной древнеассирийскими царями, в первый раз увидели врага. Но персы отступили с неожиданной легкостью.

Под тучей стрел римляне перешли через глубокий канал, выложенный вавилонскими кирпичами, называвшийся Нагар-Малка, Река Царей, соединявший Тигр с Евфратом и прорезывавший всю Месопотамию поперек с геометрической правильностью.

Вдруг персы исчезли. Уровень Нагар-Малки начал повышаться; потом, выступив из берегов, вода хлынула на окрестные поля: персы

устроили наводнение, отперев запруды и плотины каналов, орошавших сложной сетью рыхлую землю ассирийских полей.

Пехотинцы шли по колено в воде; ноги вязли в липкой глине; целые отряды проваливались в невидимые канавы и ямы; исчезали даже всадники и нагруженные верблюды;

надо было ощупывать дорогу шестами.

Поля превратились в озера, пальмовые рощи в острова.

- Куда идем?-роптали малодушные,-на что глядя? Какого еще рожна! Отчего бы сейчас не вернуться к реке, не сесть на корабли? Мы не лягушки, чтобы плавать в лужах.

Юлиан шел пешком, даже в самых трудных местах;

собственными руками помогал вытаскивать тяжелые телеги, увязшие в тине, и шутил, показывая солдатам свой императорский пурпур, мокрый, запачканный темно-зеленым илом.

Из пальмовых стволов устроили гати; перекинули плавучие мосты на пузырях.

С наступлением ночи удалось выбраться на сухое место.

Измученные солдаты уснули тревожным сном.

Утром увидели крепость Перизабор. Персы издевались над врагами с высоты неприступных башен и стен, увешанных толстыми шершавыми покрывалами из козьего меха для защиты от ударов осадных машин. Целый день обменивались метательными снарядами и ругательствами.

В темноте безлунной ночи римляне, сохраняя глубокую тишину, сняли с кораблей и придвинули к стенам катапульты. Рвы наполнили землей.

посредством одной маллеолы - огненной стрелы, громадной, веретенообразной, начиненной горючим составом из дегтя, серы, масла и горной смолы, удалось поджечь один из этих волосяных щитов на стене крепости. Персы бросились гасить пожар. Пользуясь минутой смятения, император велел подкатить осадную машину - таран: это был ствол сосны, подвешенный на железных цепях к бревенчатой пирамиде; ствол кончался медной бараньей головой. Сотни воинов, с дружным, певучим криком - "раз, два, три", напрягая мускулы на голых смуглых плечах, тянули за толстые веревки из туго скрученных воловьих жил медленно раскачивали громадную сосну.

Раздался первый удар, подобный удару грома; земля загудела, стены содрогнулись; потом еще и еще; бревна раскачивались, удары сыпались все чаще; баран как будто свирепел и с упрямою злостью колотил медным лбом об стену. Вдруг послышался треск: целый угол стены обвалился.

Персы бежали с криком.

Юлиан, сверкая шлемом, в облаке пыли, веселый и страшный, как бог войны, устремился в завоеванный город.

Войско пошло дальше. Два дня отдохнуло в тенистых свежих рощах, наслаждаясь кислым прохладительным напитком, вроде вина - из пальмового сока, и ароматными вавилонскими финиками, желтыми и прозрачными, как янтарь.

Потом вышли опять на голую, только уже не песчаную, а каменистую равнину; зной становился все тягостнее;

животные и люди умирали; воздух в полдень трепетали струился над скалами волнообразными раскаленными слоями; по серой пепельной пустыне Тигр извивался лениво, сверкая чешуйчатым серебром, как змея, которая нежится на солнечном припеке.

Наконец, увидели громадную скалу над Тигром, отвесную, розовую, голую, с изломанными колючими остриями: это была вторая крепость, охранявшая Ктезифон, южную столицу Персии, - Маогамалки, еще более неприступная, чем Перизабор, настоящее орлиное гнездо под облаками;

шестнадцать башен и двойная стена Маогамалки, как все древние ассирийские постройки, не боящиеся тысячелетий, сложены были из знаменитых вавилонских кирпичей, высушенных на солнце, скрепленных горной смолой.

Началась осада. Опять утомительно закрипели деревянные неуклюжие члены баллист, завизжали колеса, рычаги и блоки скорпионов, засвистели огненные маллеолы.

Был час, когда ящерицы спят в расщелинах скал; луч солнца падал на спины и головы солдат, как подавляющая тяжесть: их блеск был страшен; воины в отчаянии, не слушая начальников, несмотря на опасность, срывали с себя накалившиеся латы и шлемы, предпочитая раны зною.

Над темно-бурыми кирпичными башнями и бойницами Маогамалки, из которых сыпались ядовитые стрелы, копья, камни, свинцовые и глиняные ядра, пылающие персидские фаларики, отравлявшие воздух зловонием серы и нефти,- повисло пыльное небо с едва уловимым оттенком лазури, ослепительное, неумолимое, ужасное, как смерть.

И небо победило, наконец, вражду людей: осаждающие и осажденные, изнемогая от усталости, прекратили битву.

Наступила тишина, странная в этот яркий полдень, более мертвая, чем в самую глухую ночь.

Римляне не пали духом: после взятия Перизабора они поверили в непобедимость императора Юлиана; сравнивали его с Александром Великим и ждали чудес. В продолжение нескольких дней, к восточной стороне Маогамалки, где скалы спускались более отлого к равнине, солдаты рыли подкоп; проходя под стенами крепости, оканчивался он внутри города; ширина подземелья в три локтя позволяла двум воинам идти рядом; толстые деревянные подпорки, расставленные на некотором расстоянии одна от другой, поддерживали свод. Землекопы работали весело: после солнца им приятна была подземная сырость и темнота.

- Были мы лягушками, стали кротами,- смеялись они.

Три когорты -маттиарии, лацпинарии, викторы тысяча пятьсот храбрейших воинов, соблюдая тишину, вступили в подземный ход и нетерпеливо ожидали приказа полководцев, чтобы ворваться в город.

На рассвете приступ направлен был нарочно с двух противоположных сторон, дабы рассеять внимание персов.

Юлиан вел солдат по узкой тропинке над крутизной, под градом стрел и камней. "Посмотрим,- думал он, наслаждаясь опасностью,- охранят ли меня боги, будет ли чудо, спасусь ли я и теперь от смерти?"

Неудержимое любопытство, жажда сверхъестественного заставляла его подвергать жизнь опасности,- с вызывающей улыбкой искушать судьбу; и не смерти боялся он, а только проигрыша в этой игре с судьбой.

Солдаты шли за ним, как очарованные, зараженные его безумием.

Персы, смеясь над усилиями осаждающих и воспевая хвалу Сыну Солнца, царю Сапору, кричали римлянам с подоблачных твердынь Маотамалки:

- Юлиан проникнет скорее в чертоги Ормузда, чем в нашу крепость].

В разгаре приступа император шепотом передал приказание полководцам.

Солдаты, притаившиеся в подкопе, вышли внутри города, в подвале одного дома, где старая персиянка булочница месила тесто. Она закричала пронзительно, увидев римских легионеров. Ее убили.

Подкравшись незаметно, кинулись на осажденных с тыла. Персы побросали оружие и рассыпались по улицам Маотамалки. Римляне изнутри отперли ворота, и город был захвачен с двух сторон.

Теперь уже никто не сомневался, что Юлиан, подобно Александру Македонскому, завоюет всю персидскую монархию до Инда.

Войско приближалось к южной столице Персии, Ктезифону. Корабли оставались на Евфрате. Все с той же лихорадочной, почти волшебной, быстротой, которая не давала врагам опомниться, Юлиан возобновил древнее римское сооружение - соединительный канал, прорытый Траяном и Септимием Севером, из предосторожности заваленный персами. Через этот канал флот переведен был в Тигр, немного выше стен Ктезифона. Победитель проник в самое сердце азиатской монархии.

На следующий день вечером Юлиан, собрав военный совет, объявил, что ночью переправит войска на тот берег, к стенам Ктезифона. Дагалаиф, Гормизда, Секундин, Виктор, Саллюстий - все опытные военачальники - пришли в ужас и долго возражали императору, умоляя отказаться от слишком смелого предприятия; указывали на усталость войска, на широту реки, на быстроту течения, на крутизну противоположного берега, на близость Ктезифона и несметного войска царя Сапора, на неизбежность вылазки персов во время переправы. Юлиан ничего не слушал.

- Сколько бы мы ни ждали, - воскликнул он, наконец, с нетерпением, - река не сделается менее широкой, берега менее крутыми; а войско персов с каждым днем увеличивается новыми

подкреплениями. Если бы я слушался ваших советов, до сих пор мы сидели бы в Антиохии!

Полководцы вышли от него в смятении.

- Не выдержит,- со вздохом проговорил опытный и хитрый Дагалаиф, варвар, поседевший на римской службе,-помяните мое слово, не выдержит!.. Весел-то-весел, и все-таки в лице у него что-то неладное. Такое выражение видал я у людей, близких к отчаянию, уставших досмерти...

Туманные знойные сумерки слетали на гладь великой реки. Подан был знак; пять военных галер с четырьмястами воинов отчалили; долго слышались взмахи весел;

потом все утихло; мгла сделалась непроницаемой. Юлианс берега смотрел пристально. Он скрывал свое волнение улыбкой. Полководцы перешептывались. Вдруг в темноте блеснул огонь. Все притаили дыхание и обратили взоры на императора. Он понял, что значит этот огонь. Персамудалось поджечь римские корабли огненными снарядами, ловко пущенными с крутого берега.

Он побледнел, но тотчас же оправился и, не давая солдатам времени опомниться, кинулся на первый попавшийся корабль, стоявший у самого берега, и громко закричал, с торжествующим видом обращаясь к войску:

- Победа, победа! Видите-огонь. Они причалили, овладели берегом. Я велел посланной когорте зажечь костры в знак победы. За мной, товарищи!

- Что ты делаешь?-шепнул ему на ухо осторожный Саллюстий.-Мы погибли: ведь это-пожар!..

- Кесарь с ума сошел! - в ужасе молвил на ухо Дагалаифу Гормизда.

Хитрый варвар пожимал плечами в недоумении.

Войско неудержимо стремилось к реке. С восторженным криком: "Победа! победа!", толкая друг друга, обгоняя, падая в воду и вылезая с веселой руганью, все кинулись на корабли. Несколько мелких барок едва не утопили. Недоставало места на галерах.

Многие всадники кинулись вплавь, разрезая грудью коней быстрое течение. Кельты и батавы, на своих огромных кожаных щитах, вогнутых наподобие маленьких челноков, устремились в темную реку; бесстрашные, плыли они в тумане, и щиты их быстро

крутились в водоворотах; но, не замечая опасности, солдаты радостно кричали: "Победа! победа!"

Сила течения была укрощена кораблями, запрудившими реку. Пожар на пяти передовых галерах потушили безтруда.

Тогда только поняли отважную, почти безумную хитрость императора. Но солдатам сделалось еще веселее: теперь, когда такую опасность преодолели шутя,- все казалось возможным.

Незадолго перед рассветом овладели римляне высотами противоположного берега, едва успели освежиться кратким сном, не снимая оружия, как на заре увидели огромное войско, выступившее из стен Ктезифона на равнину перед городом.

Двенадцать часов длилось сражение. Персы дрались с яростью. Войско Юлиана впервые увидело громадных боевых слонов, которые могли растоптать целую когорту, как поле с колосьями.

Победа была такая, какой римляне не одерживали современ великих императоров - Траяна, Веспасиана, Тита.

Юлиан приносил на солнечном восходе благодарственную жертву богу войны Арею, состоявшую из десяти белых быков совершенной красоты, напоминавших изображения священных тельцов на древних эллинских мраморах.

Все были веселы. Только этрусские авгуры, как всегда, сохраняли упрямую и зловещую угрюмость; с каждой победой Юлиана становились они все мрачнее, все безмолвнее.- Подвели первого быка к пылавшему жертвеннику, обвитому лаврами. Бык шел лениво и покорно;

вдруг оступился, упал на колени, с жалобным мычанием, похожим на человеческий голос, от которого у всех мороз пробежал по телу, уткнул морду в пыль и, прежде чем двуострая секира виктимария коснулась его широкого лба,- затрепетал, издыхая. Подвели другого. Он тоже пал мертвым. Потом третий, четвертый. Все подходили к жертвеннику, вялые, слабые, едва державшиеся на ногах, как будто пораженные смертельной болезнью, и с унылым мычанием издыхали. Ропот ужаса слышался в войске. Это было страшное знамение, Некоторые уверяли, будто бы этрусские жрецы нарочно отравили жертвенных быков, чтобы отомстить императору за его презрение к их пророчествам.

Девять быков пало. Десятый вырвался, разорвал путы с ревом помчался, распространяя смятение в лагере. Онвыбежал из ворот, и его не могли поймать.

Жертвоприношение прекратилось. Авгуры злорадствовали.

Когда же попробовали рассечь мертвых быков, Юлианопытным глазом гадателя увидел во внутренностях несомненные и ужасающие предзнаменования. Он отвернулся.

Лицо его покрылось бледностью. Хотел улыбнуться и немог. Вдруг подошел к пылавшему алтарю и изо всей силы толкнул его ногой. Жертовенник покачнулся, но не упал.

Толпа тяжело вздохнула, как один человек. Префект Саллюстий кинулся к императору и шепнул ему наухо:

- Солдаты смотрят... Лучше прекратить богослужение...

Юлиан отстранил его и еще сильнее ударил ногою алтарь; жертовенник опрокинулся; угли рассыпались; огоньпотух, но благовонный дым еще обильнее за клубился.

- Горе, горе! Жертовенник оскверняют! - раздался голос в толпе.

- Говорю тебе, он с ума сошел! - в ужасе пролепетал Гормизда, хватая за руку Дагалаифа.

Этрусские авгуры стояли, по-прежнему тихие, важные, с бесстрастными, точно каменными лицами.

Юлиан поднял руки к небу и воскликнул громким голосом:

- Клянусь вечной радостью, заключенной здесь, в моем сердце, я отрекаюсь от вас, как вы от меня отреклись, покидаю вас, как вы меня покинули, блаженные, бессильные! Я один против вас, олимпийские призраки!..

Сгорбленный, девяностолетний авгур, с длинной белойбородой, с жреческим загнутым посохом, подошел к императору и положил еще твердую сильную руку на плечо его.

- Тише, дитя мое, тише! Если ты постиг тайну,- радуйся молча. Не соблазняй толпы. Тебя слушают те, кому недолжно слышать...

Ропот негодования усиливался.

- Он болен,- шептал Гормизда Дагалаифу.- Надоувести его в палатку. А то может кончиться бедою...

К Юлиану подошел врач Орибазий, со своим обычнымзаботливым видом, осторожно взял его за руку и началуговаривать:

- Тебе нужен отдых, милостивый август. Ты две ночи не спал. В этих краях - опасные лихорадки. Пойдем в палатку: солнце вредно...

Смятение в войске становилось опасным. Ропот и возгласы сливались в негодующий смутный гул. Никто ничего ясно не понимал, но все чуяли, что происходит недоброе. Одни кричали в суеверном страхе:

- Кошунство! Кошунство! Подымите жертвенник!

Чего смотрят жрецы-?

Другие отвечали:

- Жрецы отравили кесаря за то, что он не слушал их советов. Бейте жрецов! Они погубят нас!..

Галилеяне, пользуясь удобным случаем, шныряли, суежились со смиреннейшим видом, пересмеивались и перешептывались, выдумывая сплетни, и, как змеи, проснувшись от зимней спячки, только что отогретые солнцем, шипели:

- Разве вы не видите? Это Бог его карает. Страшно впасть в руки Бога живого. Бесы им овладели, бесы помutilи ему разум: вот он и восстал на тех самых богов, ради коих отрекся от Единого.

Император, как будто пробуждаясь от сна, обвел всех медленным взором и наконец спросил Орибазия рассеянно:

- Что такое? О чем кричат?.. Да, да, опрокинутый жертвенник...

Он с грустной усмешкой взглянул на угли фимиама, потухавшие в пыли:

- Знаешь ли, друг мой, ничем нельзя так оскорбить людей, как истиною. Бедные, глупые дети! - Ну что же, пусть покричат, поплачут, утешатся... Пойдем, Орибазий, пойдем скорее в тень. Ты прав, должно быть, солнце мне вредно. Глазам больно. Я устал...

Он подошел к своей бедной и жесткой походной постели - львиной шкуре, и упал на нее в изнеможении. Долго лежал так, ничком, стиснув голову ладонями, как бывало в детстве, после тяжелой обиды или горя.

- Тише, тише: кесарь болен, - старались полководцы успокоить солдат.

И солдаты умолкли и замерли.

В лагере, как в комнате больного, наступила тишина, полная ожидания.

Только галилеяне не ждали - суетились, скользили неслышно, всюду проникали, распространяя мрачные слухи и шипели, как змеи, проснувшиеся от зимней спячки, только что отогретые солнцем:

- Разве вы не видите? Это Бог его карает: страшновпасть в руки Бога живого!

Несколько раз в шатер осторожно заглядывал Орибазий, предлагая больному освежающий напиток. Юлианотказывался и просил оставить его в покое. Он боялся человеческих лиц, звуков и света. По-прежнему, закрыв глаза, сжимая голову руками, старался ни о чем не думать, забыть, где он и что с ним.

Неестественное напряжение воли, в котором провел он последние три месяца, изменило его, оставив слабым разбитым, как после долгой болезни.

Он не знал, спит или бодрствует. Картины, повторяясь, цепляясь одна за другую, плыли перед глазами с неудержимой быстротой и мучительной яркостью.

То казалось ему, что он лежит в холодной огромной спальне Мацеллума; дряхлая няня Лабда перекрестила его на ночь,- и фыркание боевых коней, привязанных вблизи палатки, делалось смешным отрывистым храпом старого педагога Мардония; с радостью чувствовал он себя очень маленьким мальчиком, никому неизвестным, далеким от людей, покинутым в горах Каппадокии.

То чудился ему знакомый, тонкий и свежий запах гиацинтов, нежно пригретых мартовским солнцем, в уютном дворике жреца Олимпиодора, милый смех Амариллис под журчание фонтана, звуки медных чашечек игры котабы и предобеденный крик Диофаны из кухни: "Дети мои, Инбирное печенье готово".

Но все исчезало.

И он только слышал, как первые январские мухи, ужерадуясь полуденному припеку, жужжат по-весеннему, в углу, защищенном от ветра, на белой солнечной стене у моря; у ног его умирают светло-зеленые волны без пены;

с улыбкой смотрит он на паруса, утопающие в бесконечной нежности моря и зимнего солнца; он знает, что в этой блаженной пустыне он один, никто не придет, и, как эти черные веселые мухи на

белой стене,- чувствует только невинную радость жизни, солнце и тишину.

Вдруг, очнувшись, вспомнил Юлиан, что он - в глубине Персии, что он - римский император, что на руках его - шестьдесят тысяч солдат, что богов нет, что он опрокинул жертвенник, кощунствуя. Он вздрагивал; озноб пробегал по телу; ему казалось, что он сорвался, падает в бездну, и не за что ухватиться.

Он не мог бы сказать, пролежал ли он в этой полудремоте час или целые сутки.

Но ясно, уже не во сне, а наяву, раздался голос старого верного слуги, осторожно просунувшего голову в дверь:

- Кесарь! Боюсь потревожить, но ослушаться не смею.

Ты велел доложить, не медля. В лагерь только что приехал полководец Аринфей...

- Аринфей! - воскликнул Юлиан и вскочил на ноги, пробужденный как ударом грома.- Аринфей! Зови, зовисюда!

Это был один из храбрейших полководцев, посланный с небольшим отрядом разведчиком на север, чтобы узнать, не приближается ли тридцатитысячное вспомогательное войско комесов Прокопия и Себастиана, которым приказано было, с войсками римского союзника, Арзакия, царя армянского, присоединиться к императору под стенами Ктезифона. Юлиан давно ожидал этой помощи: от нее зависела участь главного войска.

- Приведи,- воскликнул император,- приведи его!

Скорей! Или нет... Я сам...

Но слабость еще не прошла, несмотря на мгновенное возбуждение; голова закружилась; он закрыл глаза и должен был опереться о полотняную стенку шатра.

- Дай вина, крепкого... с холодной водой.

Старый слуга засуетился, проворно нацедил кубок и подал императору.

Тот выпил медленными глотками все, до последней капли, и вздохнул с облегчением. Потом вышел из палатки.

Был поздний вечер. Далеко, за Евфратом, прошла гроза. Бурный ветер приносил свежую сырость - запах дождя.

Среди черных туч редкие крупные звезды сильно дрожали, как лампадные огни, задуваемые ветром. Из пустыни слышался лай шакалов. Юлиан обнажил грудь, подставил лицо ветру и с наслаждением почувствовал в волосах своих мужественную ласку уходящей бури.

Он улыбнулся, вспомнив свое малодушие; слабость исчезла. Возвращалось приятное напряжение сил душевных, подобное опьянению. Хотелось приказывать, действовать, не спать всю ночь, идти в сражение, играть жизнью и смертью, побеждая опасность. Только изредка легкий озноб пробежал по телу.

Пришел Аринфей.

Вести были плачевные: не было больше надежды на помощь Прокопия и Себастиана; император покинут был союзниками в неведомой глубине Азии. Носились тревожные слухи об измене, о предательстве хитрого Арзакия.

В это время доложили императору о персидском перебежчике из лагеря Сапора.

Его привели. Перс распростерся перед Юлианом и поцеловал землю; это был урод: бритая голова с отрезанными ушами, с вырванными ноздрями, напоминала мертвый череп; но глаза сверкали умом и решимостью. Он был в драгоценной одежде из огненного согдианского шелка и говорил на ломаном греческом языке; двое рабов сопровождали его.

Перс назвал себя Артабаном, рассказал, что он сатрап, оклеветанный перед Сапором, изуродованный пыткой и бежавший к римлянам, чтобы отомстить царю.

- О, владыка вселенной! - говорил Артабан напыщенно и льстиво, - я отдам тебе Сапора, связанного порукам и ногам, как жертвенную овцу. Я приведу тебя ночью к лагерю, и ты тихонько, тихонько накроешь царя рукою, возьмешь его, как маленькие дети берут птенцов в ладонь. Только слушай Артабана; Артабан может все;

Артабан знает тайны царя...

- Чего хочешь от меня? - спросил Юлиан.

- Великого мщенья. Пойдем со мною!

- Куда?

- На север, через пустыню - триста двадцать пять парасангов; потом через горы, на восток, прямо к Сузам и Экбатане.

Перс указывал на горизонт.

- Туда, туда! - повторял он, не сводя глаз с Юлиана.

- Кесарь,- шептал Гормизда на ухо императору, берегись. У этого человека дурной глаз. Он - колдун, мошенник или - не на ночь будь сказано - что-нибудь еще того похуже. Иногда в здешних краях по ночам творится недоброе... Прогони его, не слушай!..

Император не обратил внимания на слова Гормизды.

Он испытывал странное обаяние молящих, пристальных глаз перса.

- Ты точно знаешь путь к Экбатане?

- О, да, да, да! - залепетал тот, смеясь восторженно. - Знаю, еще бы не знать! Каждую былинку в степи, каждый колодец. Артабан знает, о чем поют птицы, слышит, как растет ковыль, как подземные родники текут.

Древняя Заратустрова мудрость в сердце Артабана, Он побежит, побежит перед твоим войском, нюхая след, указывая путь. Верь мне, через двадцать дней вся Персия в руках твоих - до самой Индии, до знойного океана!..

Сердце императора сильно билось.

"Неужели,- думал он,- это и есть то чудо, которого ждал? Через двадцать дней Персия в моих руках!.."

У него захватывало дух от радости.

- Не гони меня,- шептал урод;- я буду лежать, как собака, у ног твоих. Только что увидел я лицо твое, я полюбил, полюбил тебя, владыка вселенной, больше, чем душу свою, потому что ты - прекрасен! Я хочу, чтобы ты прошел по телу моему и растоптал меня ногами своими, и я буду лизать пыль ног твоих и петь: слава, слава, слава Сыну Солнца, царю Востока и Запада - Юлиану!

Он целовал его ноги; оба раба также упали лицом на землю, повторяя: - Слава, слава, слава!

- Что же делать с кораблями?- сказал Юлиан задумчиво, как будто про себя. - Покинуть без войска в добычу врагам или остаться при них?..

- Сожги! - шепнул Артабан.

Юлиан вздрогнул и посмотрел ему в лицо пытливо.

- Сжечь? Что ты говоришь?..

Артабан поднял голову и впился глазами в глаза императора:

- Ты боишься-ты?.. Нет, нет, люди боятся, небоги! Сожги, и ты будешь свободен, как ветер: кораблю достанутся в руки врагам, а войско твоё увеличится солдатами, приставленными к флоту. Будь велик и бесстрашен до конца! Сожги,-и через десять дней ты у стен Экбатаны, через двадцать - Персия в руках твоих!

Ты будешь больше, чем сын Филиппа, победитель Дария.

Только сожги корабли и следуй за мной! Или несмеешь?

- А если ты лжешь? Если я читаю в сердце твоём, что ты лжешь?- воскликнул император, одной рукой схватив перса за горло, другой заноса над ним короткий меч.

Гормизда вздохнул с облегчением.

Несколько мгновений молча смотрели они друг другу в глаза. Артабан выдержал взгляд императора. Юлиан почувствовал себя ещё раз побеждённым обаянием этих глаз, умных, дерзких и смиренных.

- Дай мне умереть, дай мне умереть от руки твоей, если не веришь! - повторял перс.

Юлиан вложил меч в ножны.

- Страшно и сладко смотреть в очи твои,- продолжал Артабан.- Вот лицо твоё, как лицо бога. Никто ещё этого не знает. Я, я один знаю, кто ты... Не отвергай раба твоего, господи!..

- Посмотрим,-проговорил Юлиан задумчиво. Я ведь и сам давно уже хотел идти в глубину пустыни, искать битвы с царём. Но корабли?..

-О, да,-корабли!-встреппенулся Артабан.-Надоскорее выступить, в эту же ночь, до рассвета, пока темно, чтобы враги из Ктезифона не увидели... Сожжешь?

Юлиан ничего не ответил.

- Уведите и не спускайте глаз с него,-приказал император, указывая воинам на перебежчика.

Возвращаясь в палатку, Юлиан на мгновение остановился у двери и поднял глаза:

- Неужели?.. Так просто, так скоро? Воля моя, как воля богов: не успею подумать - и уже исполняется...

Веселье в душе его росло и подымалось, как буря.

С улыбкой приложил он руку к сердцу, так сильно оно билось. Озноб все еще пробежал по спине, и голова немного болела, как будто он весь день провел на слишком жарком солнце.

Призвав к себе в шатер полководца Виктора, старика, слепо преданного, вручил он ему золотой перстень с императорской печатью.

- К начальникам флота, комесам Константину и Люциллиану,- приказал Юлиан.- До рассвета сжечь корабли, кроме пяти больших с хлебом и двенадцати малых для переправочных мостов. Малые взять на подводы. Остальные сжечь. Кто будет противиться, ответит головой.

Сохранить все в тайне. Ступай.

Он дал ему клочок папируса, быстро написав на нем несколько слов - лаконичский приказ начальникам флота.

Виктор, по своему обыкновению, ничему не удивляясь не возражая, молча, с видом бесстрастного послушания, поцеловал край императорской одежды и пошел исполнять приказание.

Юлиан созвал военный совет, несмотря на поздний час.

Полководцы собрались в шатер, мрачные, втайне раздраженные и подозрительные. В кратких словах сообщил он свой план - идти на север, в глубину Персии, по направлению к Экбатане и Сузам, чтобы захватить царя врасплох.

Все восстали, заговорили сразу, почти не скрывая, что замысел этот кажется им безумным. На суровых лицах старых умных вождей, закаленных в опасностях, выражались утомление, досада, недоверие. Многие возражали резкостью:

- Куда идем? Зачем?- говорил Саллюстий Секунд. Подумай, милостивый кесарь: мы завоевали половину Персии; Сапор предлагает тебе такие условия мира, каких цари Азии не предлагали ни одному из римских победителей - ни Помпею Великому, ни Септимию Северу, ни Траяну. Заключим же славный мир, пока не поздно, и вернемся в отечество...

- Солдаты ропщут,- заметил Дагалаиф,- не доводи их до отчаяния. Они устали. Много раненых, много больных. Если ты поведешь их дальше в неведомую пустыню, нельзя отвечать ни за что.- Сжался!

Да и тебе самому пора отдохнуть: ты устал, может быть, больше всех нас...

- Вернемся!-заключили все.-Далее идти-безумие!

В это мгновение послышался глухой, грозный гул застеною палатки, подобный рокоту далекого прибоя. Юлиан прислушался и тотчас понял, что это - возмущение...

- Вы знаете волю нашу,- проговорил он холодно, указывая полководцам на выход,-она неизменна. Через два часа мы выступаем. Смотрите, чтобы все было готово.

- Блаженный август,-произнес Саллюстий спокойно и почтительно, но слегка дрогнувшим голосом,- я не уйду, не сказав тебе того, что должен сказать. Ты говорилс нами, равными тебе не по власти, но по доблести, не какученик Сократа и Платона. Мы можем извинить словатвои только минутным раздражением, которое омрачаеттвой божественный ум...

- Ну, что ж,- воскликнул Юлиан, усмехаясь и бледнея от сдержанной злобы,- тем хуже для вас, друзья мои: значит, вы-в руках безумца! Только что приказала сжечь корабли - и повеление мое исполняется. Я предвидел ваше благоразумие и отрезал последний путь к отступлению. Да, теперь жизнь ваша - в руках моих, и я заставлю вас поверить в чудо!..

Все онемели: только Саллюстий бросился к Юлиануи схватил его за руку.

- Этого не будет, кесарь, ты не мог!.. Или в самомделе?..

Он не закончил и выпустил руку императора. Все вскочили, прислушиваясь.

Крики воинов за полотняною стеною палатки становились все громче и громче; мятежный гул их приближался, как будто летела буря по верхушкам леса.

- Пусть покричат,-произнес Юлиан спокойно.Бедные, глупые дети! Куда они хотят уйти от меня? Слышите? Вот зачем я сжег корабли - надежду трусов, убежище ленивых. Теперь нам уже нет возврата. Свершилось.

Нам нечего ждать, кроме чуда! Теперь вы связаны сомной на жизнь и смерть. Через двадцать дней Азия в руках моих. Я окружил

вас ужасом и гибелью для того, чтобы вы победили все и сделались подобными мне.

Радуйтесь! Я поведу вас, как бог Дионис, через весь мир,- вы победите людей и богов, и сами будете, как боги!..

Едва он произнес последние слова, как по всему войску раздался крик ужаса: - Горят! Горят!

Полководцы бросились вон из шатра. За ними Юлиан. Они увидели зарево. Виктор в точности исполнил приказание владыки. Флот охвачен был пламенем. Император любовался им с тихой и странной улыбкой.

- Кесарь! Да помилуют нас боги,-он убежал!..

С этими словами один из центурионов бросился к ногам Юлиана, бледный и дрожащий.

- Убежал? Кто? Что ты говоришь?..

- Артабан, Артабан! Горе нам!.. Он обманул тебя, кесарь!..

- Не может быть!.. А слуги его? - пролепетал император чуть слышно.

- Только что в пытках признались, что Артабан не сапожник, а сборщик податей в Ктезифоне,- продолжал центурион.- Он придумал эту хитрость, чтобы спасти городи предать тебя в руки персов, заманив в пустыню; он знал, что ты сожжешь корабли. И еще сказали они, что Сапор идет с несметным войском...

Император бросился к берегу реки навстречу полководцу Виктору: - Гасите, гасите, гасите! Скорее!

Но голос его замер, и, взглянув на пылающий флот, он понял, что уже никакие человеческие силы не могут остановить огня, раздуваемого сильным ветром.

В ужасе схватился он за голову и, хотя ни веры, ни молитвы уже не было в сердце, поднял глаза к небу, как будто все искал в нем чего-то.

Там бледные звезды мерцали сквозь зарево.

Войско все грознее волновалось и гудело.

- Персы подожгли) - вопили одни, простирая руки к пылающим кораблям в своей последней надежде.

- Не персы, а сами полководцы, чтобы заманить нас в пустыню и покинуть! - безумствовали другие.

- Бейте, бейте жрецов!-повторяли трети.-Жрецыпоили кесаря и лишили его разума!

- Слава августу Юлиану Победителю! - восклицаливерные галлы и кельты.- Молчите, изменники! Пока онжив, нам нечего бояться!

Малодушные плакали:

- На родину, на родину! Мй не хотим идти дальше, не хотим в пустыню. Мы не сделаем больше ни шагу, упадем на дороге. Лучше убейте нас!

- Не видать вам родины, как ушей своих! Погиблимы, попали к персам в ловушку!

- Да разве вы не видите? - торжествовали галилеяне.-Бесы им овладели! Нечестивый Юлиан продал имдушу свою, и они влекут его на гибель. Куда можетпривести нас безумец, одержимый бесами?..

А в это время кесарь, ничего не видя и не слыша, какв бреду, шептал про себя с бледной, блуждающей и рассеянной улыбкой:

- Все равно, все равно... Чудо совершится! Не теперь, так потом.- Я верю в чудо!..

Это был первый ночлег отступления на шестнадцатыекаленды июня.

Войско отказалось идти дальше. Ни мольбы, ни увещания, ни угрозы императора не помогали. Кельты, скифы, римляне, христиане и язычники, трусливые и храбрые все отвечали одним криком: "Назад, назад!"

Военачальники тайно злорадствовали; этрусские авгуры явно торжествовали. После сожжения кораблей восстали все. Теперь не только галилеяне, но и поклонникиолимпийцев были уверены, что над головой императоратяготее проклятие, что Евмениды преследуют его. Когдаон проходил по лагерю, разговоры умолкали - все боязливо сторонились.

Книги сибилл и Апокалипсис, этрусские авгуры и христианские прозорливцы, боги и ангелы соединились, чтобыпогубить Отступника.

. Тогда император объявил, что он поведет их на родинучерез провинцию Кордуэну, по направлению к плодородному Хилиокому. При таком отступлении сохранялась, покрайней мере, надежда соединиться с войсками Прокопияи Себастиана. Юлиан утешал себя

мыслью, что он еще невыходит из пределов Персии и, следовательно, может встретиться с главными силами царя Сапора и одержать такую победу, которая все поправит.

Персы более не появлялись. Желая перед решительным нападением истощить римское войско, они подожгли богатые нивы с желтевшим, спелым ячменем и пшеницей, все житницы и сеновалы в селениях.

Солдаты шли по мертвой пустыне, дымившейся от недавнего пожара. Начался голод.

Чтобы увеличить бедствие, персы разрушили плотины каналов и затопили выжженные поля. Им помогали потоки и ручьи, выходявшие из берегов вследствие краткого, но сильного летнего таяния снегов на горных вершинах Армении.

Вода быстро высыхала под знойным июньским солнцем.

На земле, не простывшей от пожара, оставались лужи с теплою и липкою черною грязью. По вечерам от мокрого угля отделялись удушливые испарения, слащавый запах гнилой гари, который пропитывал все - воздух, воду, даже платье и пищу солдат. Из тлеющих болот подымались тучи насекомых - москитов, ядовитых шершней, оводов и мух. Они носились над вьючными животными, прилипали к пыльной потной коже легионеров. Днем и ночью раздавалось усыпительное жужжание. Лошади бесились, быки вырывались из-под ярма и опрокидывали повозки. После трудного перехода солдаты не могли отдыхать: спасения от насекомых не было даже в палатках; они проникали сквозь щели; надо было закутаться в душное одеяло с головой, чтобы уснуть. От укуса крошечных прозрачных мух навозного грязно-желтого цвета делались опухоли, волдыри, которые сперва чесались, потом болели и, наконец, превращались в страшные гнойные язвы.

В последние дни солнце не выглядывало. Небо покрыто было ровной пеленой белых знойных облаков; но для глаз их неподвижный свет был еще томительнее солнца;

небо казалось низким, плотным, удушливым, как в жаркой бане нависший потолок.

Так шли они, исхудалые, слабые, вялым шагом, понуря головы, между небом, беспощадно низким, белым, как известь, - и обугленной

черной землей, Им казалось, что сам Антихрист, человек отверженный Богом, завел их нарочно в это проклятое место, чтобы погубить. Иные роптали, поносили вождей, но бессвязно, точно в бреду. Другие тихонько молились и плакали, как больные дети, прося товарищей о куске хлеба, о глотке вина. Некоторые падали на дороге от слабости.

Император велел раздать голодным последние съестные припасы, которые сберегали для него и для его приближенных.

Сам он довольствовался жидкой мучной похлебкой с маленьким куском сала - такой пищей, от которой отвернулся бы неприхотливый солдат.

Благодаря крайнему воздержанию, чувствовал он все время возбуждение и, вместе с тем, странную легкость в теле, как бы окрыленность: она поддерживала и удешевляла силы. Старался не думать о том, что будет. Возвратиться в Антиохию или в Таре побежденным, на позори насмешки галилеян - одна мысль об этом казалась ему невыносимой.

В ту ночь солдаты отдыхали. Северный ветер разогнал насекомых. Масло, мука и вино, выданные из последних запасов императора, немного утолили голод. Пробуждалась надежда на возвращение. Лагерь уснул глубоким сном.

Юлиан удалился в палатку.

В последнее время он спал как можно меньше, забываясь только перед утром легкой дремотой; если же засыпал совсем, то пробуждался с ужасом в душе, с холодным потом на теле: ему нужна была вся власть сознания, чтобы подавлять этот ужас.

Войдя в шатер, снял он железными щипцами нагар с осветительной медной лампы, подвешенной посередине палатки. Кругом были разбросаны пергаментные свитки из походной библиотеки - среди них Евангелие. Он приготовился писать: это была его любимая ночная работа, философское сочинение Против галилеян, начатое два с половиной месяца назад, при выступлении в поход.

Он перечитывал рукопись, сидя спиной к двери палатки, - как вдруг услышал шелест. Обернулся, вскрикнул и вскочил на ноги: ему казалось, что он увидел призрака.

В дверях стоял отрок в темной бедной тунике из верблюжьего волоса, с пыльным овечьим мехом, перекинутым через плечо, - милостью египетских отшельников, с босыми нежными ногами в пальмовых сандалиях.

Император смотрел и ждал, не в силах произнести ни одного слова. Царствовала тишина, какая бывает только в самый глухой час после полуночи.

- Помнишь, - произнес знакомый голос, - помнишь, Юлиан, как ты приходил ко мне в монастырь? Тогда тебя оттолкнула, но не могла забыть, потому что мы с тобой навеки близки...

Отрок откинул темный монашеский покров с головы.

Юлиан увидел золотые кудри и узнал Арсиною.

- Откуда? Как ты пришла сюда? Почему так одета?..

Он все еще боялся - не призрак ли это, не исчезнет ли она так же внезапно, как явилась.

Арсиноя рассказала ему в немногих словах, что с нею происходило во время их разлуки. -- Покинув опекуна Гортензия и раздав почти все имение бедным, жила она долгое время среди галилейских отшельников, к югу от озера Марэотида, между бесплодных гор Ливийских, в страшных пустынях Нитрии и Скети. Ее сопровождал отрок Ювентин, ученик слепого старца Дидима. Они посетили великих подвижников.

- И что же? - спросил Юлиан, не без тайной боязни, - что же, девушка? Нашла ты у них, чего искала?..

Она покачала головой и молвила с грустью: - Нет. Только - проблески, только намеки и предзнаменования...

- Говори, говори все! - торопил ее император, и глаза его загорелись надеждою.

- Сумею ли сказать? - начала она медленно. - Видишь ли, друг мой: я искала у них свободы, но и там ее нет...

- Да, да! Не правда ли? - все больше торжествовал Юлиан. - Ведь я же тебе говорил, Арсиноя. Помнишь?..

Она опустилась на походный стул, покрытый леопардовой кожей, и продолжала спокойно, с прежней грустной улыбкой. Он ловил каждое ее слово с восторгом и жадностью.

- Скажи, как ты ушла от этих несчастных? - спросил Юлиан.

- У меня тоже было искушение,- ответила она. Однажды в пустыне, среди камней, я нашла осколок белого, чистого мрамора; подняла его и долго любовалась, как он искрится на солнце, и вдруг вспомнила Афины, свою молодость, искусство, тебя, как будто проснулась - и тогда же решила вернуться в мир, чтобы жить и умереть тем, чем Бог меня создал-художником, о это время старцу Дидиму приснился вещий сон, будто бы я примирила тебя с Галилеянином...

- С Галилеянином?- тихо повторил Юлиан и его лицо сразу омрачилось, глаза потухли, смех замер на губах.

- Я хотела увидеть тебя,- продолжала Арсиноя, хотела знать, достиг ли ты истины на пути своем, и куда пришел. Я облеклась в мужскую одежду иноков; мы спустились с братом Ювентином до Александрии по Нилу, на корабле в Селевкию Антиохийскую, с большим сирийским караваном, через Апамею, Эпифанию, Эдессу - до границы: среди многих трудов и опасностей прошли через пустыни Месопотамии, покинутые персами; недалеко от поселения Абузата, после победы при Ктезифоне, увидели мы твой лагерь. И вот я здесь.- Ну, а как же ты, Юлиан?..

Он вздохнул, опустил голову на грудь и ничего не ответил.

Потом, взглянув на нее исподлобья быстрым, умоляющим и подозрительным взглядом, спросил: - Теперь и ты ненавидишь Его, Арсиноя?..

- Нет. За что?- ответила она тихо и просто.- Разве мудрецы Эллады не приближались к тому, о чем говорит Он? Те, кто в пустыне терзают плоть и душу свою, те далеки от кроткого Сына Марии. Он любил детей, и свободу, и веселие пиршеств, и белые лилии. Он любил жизнь, Юлиан. Только мы ушли от Него, запутались, омрачились духом. Все они называют тебя Отступником.

Но сами они - отступники...

Император стоял перед ней на коленях, подняв глаза, полные мольбою; слезы блеснули в них и медленно текли по щекам:

- Не надо, не надо,- шептал он,- не говори... Зачем?.. Оставь мне то, что было... Не будь же врагом моим снова!..

- Нет! - воскликнула она с неудержимой силой. Я должна сказать тебе все. Слушай. Я знаю, ты любишь Его. Молчи,- это так, в этом

проклятье твое. На кого ты восстал? Какой ты враг Ему? Когда уста твои проклинают Распятого, сердце твое жаждет Его. Когда ты борешься против имени Его,- ты ближе к духу Его, чем те, кто мертвыми устами повторяет: Господи, Господи! Вот кто враги твои, а не Он. Зачем же ты терзаешь себя больше, чем монахи галилейские?..

Юлиан вскочил- бледный; лицо его исказилось, глаза загорелись злобою; он прошептал, задыхаясь:

- Поди прочь, поди прочь от меня! Знаю все ваши хитрости галилейские!..

Арсинья посмотрела на него с ужасом, как на безумного.

- Юлиан, Юлиан! Что с тобой? Неужели из-за одного имени?..

Но он уже овладел собой; глаза померкли, лицо сделалось равнодушным, почти презрительным.

- Уйди, Арсинья. Забудь все, что я сказал. Ты видишь, мы чужие. Тень Распятого - между нами. Ты неотрелась от него. Кто не враг Ему, не может быть другом моим.

Она упала перед ним на колени:

- Зачем? Зачем? Что ты делаешь? Сжался над собой, пока не поздно! Вернись,- или ты...

Она не кончила, но он договорил за нее с высокомерной улыбкой:

- Или погибну? Пусть. Я дойду по пути моему до конца,- куда бы ни привел он меня. Если же, как ты говоришь, я был несправедлив к учению галилеян,- вспомни, что я вынес от них!- как бесчисленны, как презренны были враги мои. Однажды воины римские нашли при мне в болотах Месопотамии льва, которого преследовали ядовитые мухи; они лезли ему в пасть, в уши, в ноздри, не давали дышать, облепили очи, и медленно побеждали уколами жал своих львиную силу. Такова моя гибель; такова победа галилеян над римским кесарем!

Девушка все еще протягивала к нему руки, без слов, без надежды, как друг к умершему другу. Но между ними была бездна, которую живые не переступают...

В двадцатых числах июля римское войско, после долгого перехода по выжженной степи, нашло в глубокой долине речки Дурус немного травы, уцелевшей от пожара.

Легионеры несказанно обрадовались ей, ложились на землю, вдыхали пахучую сырость и к пыльным лицам, к воспаленным векам прижимали влажные стебли трав.

Рядом было поле спелой пшеницы. Воины собрали хлеб. Три дня продолжался отдых в уютной долине. Наутро четвертого, с окрестных холмов, римские стражи заметили облако не то дыма, не то пыли. Одни думали, что это дикие ослы, имеющие обыкновение собираться в стада, чтобы предохранить себя от нападения львов; другие, что это сарацины, привлеченные слухами об осаде Ктезифона, третьи выражали опасение, не есть ли это главное войско самого царя Сапора.

Император велел трубить сбор.

Когорты в оборонительном порядке, наподобие большого правильного круга, под охраной щитов, сдвинутых и образовавших как бы ряд медных стен, расположились лагерем на берегу ручья.

Завеса дыма или пыли оставалась на краю неба до вечера, и никто не догадывался, что она за собой скрывает.

Ночь была темная, тихая; ни одна звезда не сияла на небе.

Римляне не спали; они стояли вокруг пылающих костров и с молчаливой тревогой ждали утра.

На восходе солнца увидели персов. Враги приближались медленно. По словам опытных воинов, их было не менее двухсот тысяч; из-за холмов появлялись непрерывные и новые отряды.

Сверканье лат так ослепляло, что даже сквозь густую пыль глаза с трудом выдерживали.

Римляне молча выходили из долины и строились в боевой порядок. Лица были суровы, но не печальны. Опасность заглушила вражду. Взоры обратились опять на императора. Галилеяне и язычники одинаково по выражению лица его угадывали, можно ли надеяться. Лицо кесаря сияло радостью. Он ждал встречи с персами, как чуда, зная, что победа поправит все, даст ему такую славу и силу, что галилеяне признают себя пораженными.

Душное, пыльное утро 22 июля предвещало знойный день. Император не хотел облечься в медную броню. Он остался в легкой шелковой тунике. Полководец Виктор подошел к нему, держа в руках панцирь:

- Кесарь, я видел дурной сон. Не искушай судьбы, одень латы...

Юлиан молча отстранил их рукою.

Старик опустил на колени, подымая легкую броню.

- Одень! Сжался над рабом твоим! Битва будет опасной.

Юлиан взял круглый щит, перекинул выющийся пурпурхламиды через плечо и вскочил на коня: - Оставь меня, старик! Не надо.

И помчался, ссеркая на солнце сеотииским шлемом с высоким золоченым гребнем.

Виктор, тревожно качая головой, посмотрел ему вслед.

Персы приближались. Надо было спешить.

Юлиан расположил войско в особом порядке, в виде изогнутого лунного серпа. Громадный полукруг должен был врезаться двумя остриями в персидское полчище изхватить его с обеих сторон. На правом крыле начальствовал Дагалаиф, на левом Гормизда, в середине Юлиан и Виктор.

Трубы грянули.

Земля заколебалась, загудела под мягкими тяжкими ступнями бегущих персидских слонов; страусовые перья колебались у них на широких лбах; ременными подпругами привязаны были к спинам кожаные башни; из каждой четыре стрелка метали фаларики - снаряды с горячей смолой и паклей.

Римская конница не выдержала первого натиска. С оглушительным ревом, вздернув хоботы, слоны разевали мясистые влажно-розовые пасти, так что воины чувствовали на лицах дыхание чудовищ, расвирепевших от смеси чистого вина, перца и ладана - особого напитка, которым варвары опьяняли их перед битвами; клыки, выкрашенные киноварью, удлиненные стальными наконечниками, распарывали брюхо коням; хоботы, обвив всадников, подымали их на воздух и ударяли о землю.

В полдневном зное от этих серых колеблющихся туш, с шлепающими складками кожи, отделялся пронзительно едкий запах пота. Лошади трепетали, бились и хрипели, почуяв запах слонов.

Уже одна когорта обратилась в бег. То были христиане. Юлиан кинулся остановить бегущих и, ударив главного декуриона рукой по лицу, закричал в ярости: - Труссы! Умеете только молиться!..

Фракийские легковооруженные стрелки и пафлагонские пращники выступили против слонов. За ними шли искусные иллирийские метатели дротиков, налитых свинцом, мартии барбулы.

Юлиан приказал направить в ноги чудовищ стрелы, камни из пращей, свинцовые дротики. Одна стрела попала в глаз огромному индийскому слону. Он завыл и поднялся на дыбы; подпруги лопнули; седло с кожаной башней сползло, опрокинулось; персидские стрелки выпали, как птенцы из гнезда. Во всем отряде слонов произошло смятение. Раненые в ноги валились, и скоро вокруг них образовалась целая подвижная гора из нагроможденных туш.

Поднятые вверх ступни, окровавленные хоботы, сломанные клыки, опрокинутые башни, полураздавленные кони, раненые, мертвые, персы, римляне - все смешалось.

Наконец, слоны обратились в бегство, ринулись на персов и начали их топтать.

Эта опасность предусмотрена была военной наукой варваров: пример сражения при Низибе показал, что войско может быть истреблено отрядом собственных слонов.

Тогда вожатые длинными серповидными ножами, привязанными к правой руке, изо всей силы стали ударять чудовищ между двумя позвонками спинного хребта, ближайшими к черепу; довольно было одного такого удара, чтобы самое большое и сильное из них пало мертвым.

Когорты мартии барбулов кинулись вперед, перелезая через туши раненых, преследуя бегущих.

В это время император уже летел на помощь к левому крылу. Здесь наступали персидские клибанарии - знаменитый отряд всадников, связанных, спаянных друг с другом звеньями громадной цепи, покрытых с головы до ног гибкой стальной чешуей, неуязвимых, почти бессмертных в бою, подобных изваяниям, вылитым из металла; ранить их можно было только сквозь узкие щели в забралах, оставленные для рта и глаз.

Против клибанариев направил он когорты старых верных друзей своих, батавов и кельтов: они умирали за одну улыбку кесаря, глядя на него восторженными детскими глазами.

На правом крыле в римские когорты врезались колесницы персов, запряженные полосатыми тонконогими зебрами; остроотточенные косы, прикрепленные к осями к спицам колес, вращались с ужасающей быстротой, одним взмахом отсекая ноги лошадям, головы солдатам, разрезая тела с такой же легкостью, как серп жнеца тонкие стебли колосьев.

После полудня клибанарии ослабели: латы накалились жгли.

Юлиан направил на них все силы.

Они дрогнули и пришли в смятение. У императора вырвался крик торжества. Он кинулся вперед, преследуя бегущих, и не заметил, как войско отстало. Кесаря сопровождали немногие телохранители, в том числе полководец Виктор. Старик, раненный в руку, не чувствовал боли; нина мгновение не покидал он императора и спасал его от смертельной опасности, заслоняя длинным, книзу заостренным, щитом своим. Опытный полководец знал, что приближаться к бегущему войску так же неблагоприятно, как подходить к падающему зданию.

- Что ты делаешь, кесарь,- кричал он Юлиану. Берегись! Возьми мои латы...

Юлиан, не слушая летел вперед, с поднятыми руками, с открытой грудью,- как будто один, без войска, ужасом лица своего и мановением рук гнал несметных врагов.

На губах его играла улыбка веселья, сквозь тучу пыли, поднятую вихрем, сверкал беотийский шлем, и складки хламиды, развевавшейся по ветру, походили на два исполинских красивых крыла, которые уносили его все дальше и дальше.

Впереди мчался отряд сарацин. Один из наездников обернулся, узнал Юлиана по одежде и указал товарищам с отрывистым гортанным криком, подобным орлиному клекоту:

- Малэк! Малэк!- что по-арабски значит: Царь!

Царь!

Все обернулись и, не останавливая коней, вскочили на ноги, в своих белых, длинных одеждах, с поднятыми над головами копьями.

Император увидел разбойничье смуглое лицо. Это был почти мальчик. Он скакал во весь опор, на горбу громадного бактрианского

верблюда с комками сухой прилипшей грязи, болтавшимися на косматой шерсти под брюхом.

Виктор щитом отразил два сарацинских копья, направленных на императора.

Тогда мальчик на верблюде прицелился и, сверкая хищным взором, от резвости оскалил белые зубы, с радостным криком: - Малэк! Малэк!

- Как весело ему,- подумал Юлиан,- а мне еще...

Он не успел кончить мысли.

Копье свистнуло, задело ему правую руку, слегка оцарапало кожу, скользнуло по ребрам и вонзилось ниже печени.

Он подумал, что рана не тяжелая и, ухватился за двуострый наконечник, чтобы вырвать его, но порезал пальцы. Хлынула кровь.

Юлиан громко вскрикнул, закинув голову, взглянул широко открытыми глазами в бледное, пылающее небо и упал с коня на руки телохранителей.

Виктор поддерживал его. Губы старика дрожали, и помутившимися глазами смотрел он на закрытые очи кесаря.

Отставшие когорты собирались.

Юлиана перенесли в шатер и положили на походную постель. Он не приходил в себя, только изредка стонал.

Врач Орибазий извлек острие копья из глубокой раны, осмотрел, обмыл ее и сделал перевязку. Виктор взглядом спросил, есть ли надежда. Орибазий грустно покачал головой.

После перевязки Юлиан глубоко вздохнул и открыл глаза.

- Где я?..-с удивлением посмотрел он кругом, как будто пробуждаясь от крепкого сна.

Издалека доносился шум битвы. Вдруг вспомнил он все и с усилием привстал на постели.

- Где конь? Скорее, Виктор!..

Лицо его исказилось от боли. Все кинулись, чтобы поддержать кесаря. Он оттолкнул Виктора и Орибазия.

- Оставьте!.. Я должен быть там, с ними до конца!..

И он медленно встал на ноги. На бледных губах была улыбка, глаза горели:

- Видите-я еще могу... Скорее щит, меч! Коня!..

Душа его боролась с кончиной. Виктор подал ему щити меч.

Юлиан взял их и, шатаясь, как дети, не научившиеся ходить, сделал два шага.

Рана открылась. Он уронил оружие, упал на руки Орибазия и Виктора и, подняв глаза к небу, воскликнул: - Кончено... Ты победил. Галилеянин!

И, не сопротивляясь больше, отдался в руки приближенным; его уложили в постель.

- Да, конечно, друзья мои,- повторил он тихо, умираю...

Орибазий наклонился, стараясь утешить его, уверяя, что такие раны вылечивают.

- Не обманывай,- возразил Юлиан кротко,- зачем?

Я не боюсь...

И прибавил торжественно: - Я умру смертью мудрых.

К вечеру впал в забытие. Часы проходили за часами.

Солнце зашло. Сражение утихло. В палатке зажгли лампаду. Наступала ночь. Он не приходил в себя. Дыхание ослабело. Думали, что он умирает. Наконец, глаза медленно открылись. Пристальный неподвижный взгляд устремлен был в угол палатки; из губ вырывался быстрый, слабый шепот; он бредил;

- Ты?.. Здесь?.. Зачем?.. Все равно - кончено. Поди прочь! Ты ненавидел! Вот чего мы не простим...

Потом пришел в себя ненадолго и спросил Орибазия: - Который час? Увижу ли солнце?..

И подумав, прибавил, с грустной улыбкой: - Орибазий, ужели разум так бессильен?.. Знаю-это слабость тела. Кровь, переполняющая мозг, порождает видения. Надо, чтобы разум...

Мысли снова путались, взгляд становился неподвижным.

- Я не хочу!.. Слышишь? Уйди, Соблазнитель! Неверю... Сократ умер, как бог... Надо, чтобы разум... Виктор! О, Виктор... Что тебе до меня. Галилеянин? Любовь твоя - страшнее смерти. Бремя твоё - тяжчайшее бремя...

Зачем Ты так смотришь?.. Как я любил Тебя, Пастырь Добрый, Тебя одного... Нет, нет! Пронзенные руки и ноги? Кровь? Тьма? Я хочу солнца, солнца!.. Зачем Ты застилаешь солнце?..

Наступил самый тихий и темный час ночи.

Легионы вернулись в лагерь. Победа не радовала их.

Несмотря на усталость, почти никто не спал. Ждали известий из императорской палатки. Многие, стоя у потухающих костров и опираясь одной рукой на длинные копья, дремали в изнеможении. Слышно было, как стреноженные лошади, тяжело вздыхая, жуют овес.

Между темными шатрами выступили на краю неба беловатые полосы. Звезды сделались дальше и холоднее.

Повеяло сыростью. Сталь копий и медь щитов потускнели от серого, как паутина, налета росы. Пропели петухи этрусских гадателей, вещие птицы, которых жрецы не утопили, несмотря на повеление августа. Тихая грусть была на земле и на небе. Все казалось призрачным - близкое далеким, далекое близким.

У входа в палатку кесаря толпились друзья, военачальники, приближенные; в сумерках казались они друг другу бледными тенями.

В шатре царствовало еще более торжественное безмолвие. С однообразным звоном врач Орибазий толк в медной ступе лекарственные травы для освежающего напитка.

Больной успокоился; бред затих.

На рассвете в последний раз пришел он в себя и спросил с нетерпением: - Когда же солнце?..

- Через час,- ответил Орибазий, взглянув на уровень воды в стеклянных стенках водяных часов.

- Позовите военачальников,- приказал Юлиан. Я должен говорить.

- Милостивый кесарь, тебе нужен покой,- заметил врач.

- Все равно. До восхода не умру.- Виктор, выше голову... Так. Хорошо.

Ему рассказали о победе над персами, о бегстве предводителя вражеской конницы, Мерана, с двумя сыновьями царя, о гибели пятидесяти сатрапов. Он не удивился, не обрадовался; лицо его осталось безучастным.

Вошли приближенные: Дагалаиф, Гормизда, Невитта, Аринфей, Люциллиан, префект Востока-Саллюстий;

впереди шел комес Иовиан. Многие, делая предположения о будущем, высказывали желание видеть на престоле этого слабого боязливого человека, никому не опасного. Приним надеялись

отдохнуть от тревог слишком бурного царствования. Иовиан обладал искусством угождать всем. Он был высок и благообразен, с лицом незначительным, исчезающим в толпе. Он имел сердце добродетельное и ничтожное.

Здесь же, среди приближенных, находился молодой центурион придворных щитоносцев, будущий историк Аммиан Марцеллин. Все знали, что он ведет дневник похода.

Войдя в палатку, Аммиан вынул навощенные дощечки и медный стилос. Он приготовился записывать предсмертную речь императора.

- Подымите завесу,- приказал Юлиан.

Покров на дверях откинули. Все расступились. Утренний холод повеял в лицо умирающему. Дверь выходила на восток. Недалеко был обрыв; ничто не заслоняло неба.

Юлиан увидел светлые облака, еще холодные, прозрачные, как лед. Он вздохнул и сказал: - Так. Хорошо. Погасите лампаду...

Огонь потушили; палатку наполнил сумрак.

Все ждали молча.

- Слушайте, друзья мои,- начал кесарь предсмертную речь; он говорил тихо, но внятно; лицо было спокойно.

Аммиан Марцеллин записывал.

- Слушайте, друзья,- мой час пришел, быть может, слишком ранний: но видите,- я радуюсь, как верный должник, возвращая природе жизнь,- и нет в душе моей ни скорби, ни страха; в ней только тихое веселие мудрых, предчувствие вечного отдыха. Я исполнил долг и, вспоминая прошлое, не раскаиваюсь. В те дни, когда, всеми гонимый, ожидал я смерти в пустыне Каппадокии, в Мацеллуме, и потом, на вершине величия, под пул римского кесаря,- сохранил я душу мою незапятнанной, стремясь к высоким целям. Если же не исполнил всего, что хотел,- не забывайте, люди, что делами земными управляют силы рока.- Ныне благословляю Вечного за то, что дал Он мне умереть не от медленной болезни, не от руки палача или злодея, а на поле битвы, в цвете юности, среди недоконченных подвигов...

Расскажите, возлюбленные, врагам и друзьям моим, как умирают эллины, укрепляемые древнею мудростью.

Он умолк. Все опустили на колени. Многие плакали.

- О чем вы, бедные? - спросил Юлиан с улыбкой. Непристойно плакать о том, кто возвращается на родину...

Виктор, утешься!..

Старик хотел ответить, но не мог, закрыл лицо руками и зарыдал еще сильнее.

- Тише, тише,- произнес Юлиан, обращая взор на далекое небо.- Вот оно!..

Облака загорелись. Сумрак в палатке сделался янтарным, теплым. Блеснул первый луч солнца. Умиравший обратил к нему лицо свое.

Тогда префект Востока, Саллюстий Секунд, приблизившись, поцеловал руку Юлиана:

- Блаженный август, кого назначаешь наследником?

- Все равно,- отвечал император.- Судьба решит.

Не должно противиться. Пусть галилеяне торжествуют.

Мы победим - потом, и - с нами солнце! - Смотрите, вот оно, вот оно!..

Слабый трепет пробежал по всему телу его, и с последним усилием поднял он руки, как будто хотел устремиться навстречу солнцу. Черная кровь хлынула из раны; жилы, напрягаясь, выступили на висках и на шее.

- Пить, пить! - прошептал он, задыхаясь.

Виктор поднес к его губам глубокую чашу, золотую, сиявшую, наполненную до краев чистой родниковой водой.

Юлиан смотрел на солнце и медленно, жадными глотками пил воду, прозрачную, холодную, как лед.

Потом голова его откинулась. Из полуоткрытых губ вырвался последний вздох, последний шепот:

- Радуйтесь!.. Смерть-солнце... Я-как ты, о, Гелиос!..

Взор его потух. Виктор закрыл ему глаза.

Лицо императора, в сиянии солнца, было похоже на, Лицо уснувшего бога.

Прошло три месяца после заключения императором Иовианом мира с персами.

В начале октября римское войско, истощенное голодом и бесконечными переходами по знойной Месопотамии, вернулось в Антиохию.

Во время пути, трибун щитоносцев, Анатолий подружился с молодым историком Аммианом Марцеллином.

Друзья решили ехать в Италию, в уединенную виллу около Бай, куда приглашала их Арсиноя, чтобы отдохнуть от трудного похода и полечиться от ран в серных источниках.

Проездом остановились они на несколько дней в Антиохии.

Ожидались великолепные торжества в честь вступления на престол Иовиана и возвращения войска. Мир, заключенный с царем Сапором, был позорным для Империи: пять богатых римских провинций по ту сторону Тигра, в том числе Кордуэна и Регимэна, пятнадцать пограничных крепостей, города Сингара, Кастра-Маурорум и неприступная древняя твердыня Низиб, выдержавшая три осады, переходили в руки Сапора.

Но галилеяне мало думали о поражении Рима. Когда в Антиохию пришло известие о смерти Юлиана Отступника, запуганные граждане сперва не поверили, боясь, что это сатанинская хитрость, новая сеть для уловления праведных; но поверив, обезумели от радости.

Ранним утром шум праздника, крики народа ворвались сквозь плотно закрытые ставни в полутемную спальню Анатолия. Он решил целый день просидеть дома. Ликование черни было ему противно. Старался опять уснуть, но не мог. Странное любопытство овладело им. Он быстро оделся, ничего не сказал Аммиану и вышел на улицу.

Был свежий, но не холодный, солнечный осенний день.

Большие круглые облака на темно-голубом небе сливались с белым мрамором бесконечных антиохийских колоннад и портиков. На углах, рынках и форумах шумели фонтаны.

В солнечно-пыльной дали улиц видно было, как широкие струи городских водопроводов скрещиваются подвижными хрустальными нитями. Голуби, воркуя, клевали рассыпанный ячмень. Пахло цветами, ладаном из открытых настежь церквей, мокрой пылью. Смуглые девушки, пересмеиваясь, окропляли из прозрачных водоемов корзины бледных октябрьских роз и потом, с радостным пением псалмов, обвивали гирляндами столбы христианских базилик.

Толпа с немолчным гулом и говором наполняла улицы;

медленным рядом двигались по великолепной антиохийской мостовой - гордости городского совета декурионов колесницы и носилки.

Слышались восторженные крики:

- Да здравствует Иовиан август, блаженный, великий!

Иные прибавляли: "победитель", но неуверенно, потому что слово "победитель" слишком отзывалось насмешкой.

Тот самый уличный мальчик, который некогда маралуглем на стенах карикатуры Юлиана, хлопал в ладоши, свистел, подпрыгивал, валялся в пыли, как воробей, и выкрикивал пронзительно:

- Погиб, погиб сей дикий вебрь, опустошитель вертограда Божьего!

Он повторял эти слова за старшими.

Сгорбленная старуха в отрепьях, ютившаяся в грязном предместьи, в сырой щели, как мокрица, тоже выползла на солнце, радуясь празднику. Она махала и вопила дребезжащим голосом: - Погиб Юлиан, погиб злодей!

Веселие праздника отражалось и в широко открытых удивленных глазах грудного ребенка, которого держала наруках смуглая исхудалая поденщица с фабрики пурпура;

мать дала ему медовый пирожок; видя пестрые одежды на солнце, он махал с восторгом ручками и вдруг, быстроотвертывая свое пухлое грязное личико, обмазанное медом, плутовато посмеивался, как будто все отлично понимал, только не хотел сказать. А мать думала с гордостью, что умный мальчик разделяет веселие праведных о смерти Отверженного.

Бесконечная грусть была в сердце Анатолия.

Но он шел дальше, увлекаемый все тем же странным любопытством.

По улице Сингон приблизился он к соборной базилике.

На паперти, залитой ярким солнцем, была еще большая давка. Он увидел знакомое лицо чиновника квестуры, Марка Авзония, выходившего из базилики в сопровождении двух рабов, которые локтями прочищали путь в толпе, "Что это?-удивился Анатолий.-Как попал в церковь этот ненавистник галилеян?"

Кресты, шитые золотом, виднелись на лиловой хламиде Авзония и даже на передках кожаных пунцовых туфель.

Юний Маврик, другой знакомый Анатолия, подошел к Авзонию:

- Как поживаешь, достопочтенный? - спросил Маврик, с притворным насмешливым удивлением, осматривая новый христианский наряд чиновника.

Юний был человек свободный, довольно богатый, и переход в христианство не представлял для него особенной выгоды. Внезапному обращению своих друзей-чиновников ничуть не удивлялся он, но ему нравилось при каждой встрече дразнить их расспросами, принимая вид человека оскорбленного, скрывающего свое негодование под личиной насмешки.

Толпа входила в двери церкви. Паперть опустела.

Друзья могли беседовать свободно. Анатолий, стоя за колонной, слышал разговор.

- Зачем же не достоял ты до конца службы? - спросил Маврик.

- Сердцебиение. Душно. Что же делать,- не привык...

И прибавил задумчиво:

- Странный слог у этого нового проповедника: гиперболы слишком действуют на меня - точно железом проводит по стеклу... странный слог!

- Это, право, трогательно,- злорадствовал Маврик. Все му изменил, ото всего отрекся, а хороший слог...

- Нет, нет, я, может быть, еще просто во вкус не вошел - перебил его, спохватившись, Авзоний.- Ты не думай, пожалуйста, Маврик, я ведь искренне...

Из глубоких носилок медленно вылезла, кряхтя и охая, жирная туша квестора Гаргилиана:

- Кажется, опоздал?... Ничего,- в притворе постою.

Бог есть Дух, обитающий...

- Чудеса!- смеялся Маврик.- Св. Писание в устах Гаргилиана!..

- Христос да помилует тебя, сын мой! - обратился к нему Гаргилиан невозмутимо,- чего это ты все язвишь, все ехидничаешь?

- Опомнись не могу. Столько обращений, столько превращений! Я, например, всегда полагал, что уж твои верования...

- Какой вздор, милый мой! У меня одно верование, что галилейские повара нисколько не хуже эллинских.

А постные блюда - объедение. Приходи ужинать, философ! Я тебя СКОРО обращаю в свою веру. Пальчики оближешь.-Не все ли равно, друзья мои, съесть хороший обед в честь бога Меркурия или в честь святого Меркурия.

Предрассудки! Чем, спрашивается, мешает вот эта хорошенькая вещица?

И он указал на скромный янтарный крестик, болтавшийся среди надушенных складок драгоценного аметистового пурпура на его величественном брюхе.

- Смотрите, смотрите: Гекеболий, великий жрец богини Астарты Диндимены - кающийся иерофант в темных галилейских одеждах. О, зачем тебя здесь нет, певец метаморфоз?!-торжествовал Маврик, указывая на благообразного старика, умщенного сединами, с тихой важностью на приятном розовом лице, сидевшего в полузакрытых носилках.

- Что он читает?

- Уж конечно не правила Пессинунтской Богини!

- Смирение-то, святость! Похудел от поста. Смотрите, возводит очи, вздыхает.

-А слышали, как обратился?-спросил квестор с веселой улыбкой.

- Должно быть, пошел к императору Иовиану, как некогда к Юлиану, и покался?

- О, нет, все было сделано по-новому. Неожиданно.

Покаяние всенародное. Лег на землю в дверях одной базилики, из которой выходил Иовиан, среди толпы народа и закричал громким голосом: "топчите меня, гнусного, топчите соль непотребную!" И со слезами целовал ноги проходящим.

- Да, это по-новому! Ну, и что же, понравилось?

- Еще бы! Говорят, было свидание с императором наедине. О, такие люди не горят, не тонут. Все им в пользу. Скинет старую шкуру - помолодеет. Учитесь, дети мои!

- Ну, а что бы такое он мог сказать императору?

- Мало ли что! - вздохнул Гаргилиан, не без тайной зависти.-Он мог шепнуть: крепче держись христианства, да не останется в мире ни

одного язычника: правая вера есть утверждение престола твоего. Теперь перед ним дорога прямая. Куда лучше, чем при Юлиане. Не угонишься.

Премудрость!

- Ой, ой, ой, благодетели, заступитесь, помилуйте!

Исторгните смиреннейшего раба Цикумбрика из пастильвиной!

- Что с тобой? - спросил Гаргилиан кривоногого чахоточного сапожника с добрым, растерянным лицом, с неуклюже торчавшими клоками седых волос. Его вели дватюремных римских копьеносца.

- В темницу влекут!

- За что?

- За разграбление церкви.

- Как? Неужели ты?..

- Нет, нет, я только в толпе, может быть, раза два крикнул: бей! Это было еще при августе Юлиане. Тогда говорили: кесарю угодно, чтобы мы разрушали галилейские церкви. Мы и разрушали. А теперь донесли, будто серебряную рипиду из алтаря под полою унес.

Я и в церкви-то не был; только с улицы два раза крикнул; бей! Я человек смирный. Лавчонка у меня дрянная, да на людном месте, - если драка, непременно затащат.

Разве я для себя? Мне что?.. Я думал, приказано. Ой, защитите, отцы, помилуйте!..

- Да ты кто, христианин или язычник? - спросил Юний.

- Не знаю, благодетели, сам не знаю! До императора Константина приносил я жертвы богам. Потом крестили.

При Констанции сделался арианином. Потом эллины вошли в силу. Я - к эллинам. А теперь опять, видно, постарому. Хочу покаяться, в церковь арианскую вернуться.

Да боюсь, как бы не промахнуться. Разрушал я капища идольские, потом восстанавливал и вновь разрушал. Все перепуталось! Сам не разберу, что я и что со мной. Покорен властям, а ведь вот никак в истинную веру попасть не могу. Все мимо! Либо рано, либо поздно. Только вижу, нет мне покоя, - или так уж на роду написано? Бьют за Христа, бьют за богов. Деток жаль!.. Ой, защитите, благодетели, освободите Цикумбрика, раба смиреннейшего!

- Не бойся, любезный,- произнес Гаргилиан с улыбкой,-мы тебя освободим. Похлопочем. Ты еще мне такие славные полусапожки сшил, со скрипом.

Цикумбрик упал на колени, простирая с надеждой руки, отягченные цепями.

Немного успокоившись, он взглянул на покровителей робко, исподлобья, и спросил:

- Ну, а как же теперь насчет веры, благодетели?..

Покаяться и уж твердо стоять до конца? Значит, перемены не будет? А то боюсь, что снова...

- Нет, нет, успокойся,- засмеялся Гаргилиан,- теперь уж кончено: перемены не будет!

Анатолий, не замеченный друзьями, вошел в церковь.

Ему хотелось послушать знаменитого молодого проповедника Феодорита.

На колеблющихся волнах фиамы голубоватыми снопами дрожали косые лучи солнца, проникая сквозь узкие верхние окна огромного купола, подобного золотому небу, символу миродержавной Церкви Вселенной.

Один луч упал на огненную рыжую бороду проповедника, стоявшего на высоком амвоне. Он поднял исхудалые бледные руки, почти сквозившие, как воск, на солнце; глаза горели радостью; голос гремел.

- Я хочу начертать на позорном столбе повесть Юлиане злодее, богоотступнике! Да прочтут мою надпись все века и все народы, да ужаснутся справедливости гнева Господня! Поди сюда, поди, мучитель, змий великомудрый! Ныне надругаемся мы над тобою! Соединимся духом, братья, и возликуем, и ударим в тимпаны воспоем победную песнь Мариам во Израиле о потоплении египтян в Черном море! Да веселится пустыня и да цветет, яко крин, да веселится Церковь, которая вчераи за день, по-видимому, вдовствовала и сиротствовала!..

Видите: от удовольствия делаюсь, как пьяный, как безумный!.. Какой голос, какой дар слова будет соразмерен чудусему?.. Где твои жертвы, обряды и таинства, император?

Где заклинания и знамения чревовещателей? Где искусство гадать по рассеченным внутренностям живых людей?

Где слава Вавилона? Где персы и мидяне? Где боги, тебясопровождающие, тобой сопровождаемые, твои защитники, Юлиан? Все исчезло, обмануло, рассеялось!

- Ах, душечка, какая борода! - заметила шепотом на ухо подруге престарелая нарумяненная матрона, стоявшаярядом с Анатолием.- Смотри, смотри, золотом отливает!..

- Да, но зубы?..- усомнилась подруга.

- Ну, что же, зубы? При такой бороде...

- Ах, нет, нет. Вероника, как можно, не говори этого!

Зубы тоже что-нибудь да значат. Можно ли сравнитьбрата Феофания?..

Феодорит гремел:

- Сокрушил Господь мышцы беззаконного! ВотщеЮлиан возрастил в себе нечестие, 'подобно тому, как самые злые из пресмыкающихся и зверей собирают ядв своем теле. Бог ожидал, пока выйдет наружу вся злобаего, подобно некоему злокачественному вереду...

- Как бы в цирк не опоздать,-- шептал другой соседАнатолия, ремесленник, на ухо товарищу.- Говорят медведицы. Из Британии.

- Ну, что ты? Неужели - медведицы?

- Как же! Одну зовут Золотая Искорка, другуюНевинность. Человечьим мясом кормят. И еще ведьгладиаторы!..

- Господи Иисусе! Еще гладиаторы! Только бы непрозевать. Все равно, не дождемся конца. Улизнем, брат, поскорее, а то места займут.

Теперь Феодорит прославлял Юлианова предшественника, Констанция, за христианские добродетели, за чистоту нравов, за любовь к родным.

Анатолию сделалось душно в толпе. Он вышел изцеркви и с удовольствием вдохнул свежий воздух, не пахнувший ладаном и гарью лампад, взглянул на чистоенебо, не заслоненное золоченым куполом.

В притворах разговаривали громко, не стесняясь.

В толпе распространилась важная весть: сейчас повезут по улицам в железной клетке двух медведиц в амфитеатр.

Услышавшие новость выбегали из церкви стремительно, с озабоченными лицами.

- Что? Как? Не опоздали? Неужели правда-Золотая Искорка больна?

- Вздор! Это у Невинности было ночью расстройство желудка. Объялась. Теперь прошло. Здоровехоньки обе.

- Слава богу, слава богу!

Как ни сладостно было красноречие Феодорита, оно немогло победить соблазна гладиаторских игр и британских медведиц.

Церковь пуста. Анатолий увидел, как со всех концов города, из всех покинутых базилик, по улицам, переулкам и площадям бежали запыхавшиеся люди по направлению к цирку; сшибали друг друга с ног, ругались, давили детей, перескакивали через упавших женщин, роняли сандалии и неслись дальше; на потных красных лицах была такой страх опоздать, как будто дело шло о спасении жизни.

И два нежных имени порхали из уст в уста, как сладкие обещания неведомых радостей: -- Золотая Искорка! Невинность! Анатолий вошел за толпой в амфитеатр. По римскому обычаю, велариум, окропленный духами, защищал народ от солнца, распространяя свежие алые сумерки. Многоголовая толпа уже волновалась по нисходящим круглым ступеням.

Перед началом игр в императорскую ложу высшие антиохийские сановники внесли бронзовую статую Иовиана, чтобы народ мог насладиться лицезрением нового кесаря. В правой руке держал он шар земной, увенчанный крестом.

Ослепительный луч солнца проник между пурпурными полотнищами велариума и упал на чело императора; оно засверкало, и толпа увидела на бронзовом плоском лице самодовольную улыбку. Чиновники целовали ноги кумира. Чернь редела от восторга: -- Слава, слава спасителю отечества, Августу Иовиану! Погиб Юлиан, наказан дикий вепрь, опустошитель вертограда Божьего!

Бесчисленные руки махали в воздухе разноцветными платками и поясами.

Чернь приветствовала в Иовиане свое отражение, свой дух, свой образ, воцарившийся в мире.

Издеваясь над усопшим императором, толпа обращалась к нему, как будто он присутствовал в амфитеатре и мог слышать: -- Ну, что, философ? Не помогла тебе мудрость Платона и Хризиппа, незащитили тебя ни Громовержец, ни Феб Дальномечущий! Попал дьяволам вкогти,--да растерзают они богохульника! Где твои предсказания, глупый Максим? -- Победил Христос и Бог его! Победили мы, смиренные!

Все были уверены, что Юлиан пал от руки христианина, благодарили Бога за "спасительный удар" и прославляли цареубийцу.

Когда же увидели смуглое тело гладиаторов под когтями Золотой Искорки и Невинности,-- толпой овладела ярость. Глаза расширились и не могли насытиться видом крови. На рев звериный народ ответил еще более диким человеческим ревом. Христиане пели хвалу Богу, как будто теперь только увидели торжество своей веры: -- Слава императору, благочестивому Иовиану! Христос победил, Христос победил!..

Анатолий с отвращением чувствовал зловонное дыхание черни -- запах людского стада. Зажмурив глаза, стараясь не дышать, выбежал на улицу, вернулся домой, запер двери, плотно закрыл ставни, бросился на постель и так пролежал, не двигаясь, до позднего вечера. Но от черни не было спасения.

Только что стемнело, вся Антиохия озарилась огнями. На углах базилик и высоких крышах государственных зданий дымились громадные светочи, раздуваемые ветром; на улицах коптели плошки. И в комнату Анатолия сквозь щели ставен проникло зарево огня, зловоние горящего дегтя и сала. Из соседних кабаков слышались пьяные песни и солдат и матросов, хохот, визг, брань уличных блудниц, и надо всем, подобно шуму вод, носилось немолчное славословие Иовиану Спасителю, анафема Юлиану Отступнику.

Анатолий, с горькой усмешкой, подымая руки к небу, воскликнул: -Воистину, Ты победил. Галилеянин!

Это была большая торговая трирема с азиатскими коврами и амфорами оливкового масла, совершавшая плавание от Селевкии Антиохийской к берегам Италии. Между островами Эгейского

архипелага направлялась она к острову Криту, где должна была взять груз шерсти и высадить нескольких монахов в уединенную обитель на морском берегу. Старцы, находившиеся на передней части палубы, проводили дни в благочестивых беседах, молитвах и обычной монастырской работе -- плетении корзин из пальмовых ветвей.

На противоположной стороне, у кормы, украшенной дубовым изваянием Афины Тритониды, под легким навесом из фиолетовой ткани для защиты от солнца, приютились другие путешественники, с которыми монахи не имели общения, как с язычниками: то были Анатолий, Аммиан Марцеллин и Арсиноя.

Был тихий вечер. Гребцы, александрийские невольники, с бритыми головами, мерно опускали и подымали длинные гибкие весла, распевая унылую песню. Солнце заходило за тучи.

Анатолий смотрел на волны и припоминал слова Эсхила о "многосмеющем море". После суеты, пыли и зноя антиохийских улиц, после зловонного дыхания черни и копоти праздничных площадей, отдыхал он, повторяя: -- Многосмеющееся, прими и очисти душу мою!.. Калигнос, Аморгос, Астифалея, Фера -- как видения, один за другим, выплывали перед ними острова, то подымаясь над морем, то вновь исчезая, как будто вокруг горизонта сестры-океаниды плясали свою вечную пляску. Анатолию казалось, что здесь еще не прошли времена Одиссеи.

Спутники не нарушали молчаливых грез его. Каждый был погружен в свое дело. Аммиан приводил в порядок записки о персидском походе, о жизни императора Юлиана, а по вечерам, для отдыха, читал знаменитое творение афистианского учителя, Климента Александрийского, -- Стромата, Пестрый ковер.

Арсиноя лепила из воска маленькие изваяния, подготовительные опыты для большого, мраморного.

Это было обнаженное тело олимпийского бога, с лицом, полным неземной печали; Анатолий хотел и все не решался спросить ее: кто это, Дионис или Христос?

Арсиноя давно покинула монашеские одежды. Благочестивые люди отворачивались от нее с презрением, называли Отступницей. Но от преследований избавляло ее славное имя предков и память о

щедрых вкладах, которыми некогда почтила она многие христианские обители. Из прежнего богатства ее оставалась небольшая часть, но и этого было довольно, чтобы жить безбедно.

На берегу Неаполитанского залива, недалеко от Бай, сохранилось у неемаленькое поместье с той самой виллой, в которой Мирра провела последние дни свои. Здесь Арсиноя, Анатолий и Марцеллин согласились отдохнуть от последних тревожных годов своей жизни, в сельской тишине и в служении музам.

Бывшая монахиня носила теперь почти такую же одежду, как и до пострижения: простые складки пеплума делали ее снова похожей на древнюю афинскую девушку; но цвет ткани был темный, и бледное золото кудрей только слабо мерцало сквозь такую же темную дымку, накинутую на голову; в тускло-черных, никогда не смеявшихся глазах было строгое, почти суровое спокойствие; только руки, обнаженные по самые плечи, из-под складок пеплума сверкали белизной, когда художница работала, нетерпеливо, точно со злобою, мяла и комкала воск. Анатолий чувствовал смелость и силу в этих белых, как будто злых, руках.

В тот тихий вечер корабль проходил мимо маленького острова.

Никто не знал его имени; издали казался он голым утесом. Чтобы избежать подводных камней, корабль должен был пройти очень близко от берега. Здесь, вокруг обрывистого мыса, море было так прозрачно, что можно было видеть на дне серебристо-белый песок с черными пятнами мхов.

Из-за темных скал выступили тихие зеленые лужайки. Там паслись козы и овцы. Посередине мыса рос платан. Анатолий заметил на мокрых корнях его отрока и девушку; то были, должно быть, дети бедных пастухов. За ними, в кирарксовой роще, белел мраморный Пан с девятиствольною флейтою.

Анатолий обернулся к Арсиное, указывая на этот мирный уголок Эллады. Но слова замерли на губах его: пристально, с улыбкой странного веселья, смотрела художница на вылепленное ею из воска маленькое изваяние - двусмысленный и соблазнительный образ, с прекрасным олимпийским телом, снежной грустью в лице.

Сердце Анатолия сжалось. Он спросил ее отрывисто, почти злобно, указывая на изваяние: -- Кто это? 1 Медленно, как будто с

усилием, подняла она глаза свои -"такие глаза должны быть у Сибиллы",-- подумал он.

-- Ты надеешься, Арсиноя,-- продолжал Анатолий,-- что люди поймут тебя?

-- Не все ли равно? -- проговорила она тихо, с печальной улыбкой.

И помолчав,-- еще тише, как будто про себя: -- Он должен быть неумолими страшен, как МитраДионис в славе и силе своей, милосерд и кроток как ИисусГалилеянин...

-- Что ты говоришь? Разве это может быть вместе? Солнце опускалось всениже. Под ним, на краю неба лежала туча. Последние лучи, с грустью инежностью, озаряли остров. Теперь отрок с девушкой подошли к жертвенникуПана, чтобы совершить возлияние вечернее.

-- Ты думаешь, Арсиноя,-- сказал Анатолий,-- неведомые братья сноваподымут упавшую нить нашей жизни и пойдут по ней дальше? Ты думаешь, не всепогибнет в этой варварской тьме, сходящей на Рим и Элладу? О, если бы так, если бы знать, что будущее...

-- Да,-- воскликнула Арсиноя, и суровые темные глаза ее загорелисьвещим огнем.-- Будущее в нас -- в нашей скорби! Юлиан был прав: в бесславии, в безмолвии, чуждые всем, одинокие, должны мы терпеть до конца; должныспрятать в пепел последнюю искру, чтобы грядущим поколениям было чем зажечьновые светочи. С того, чем мы кончаем, начнут они. Когда-нибудь людиоткопают святые кости Эллады, обломки божественного мрамора и снова будутмолиться и плакать над ними; отыщут в могилах истлевшие страницы наших книг, и снова будут, как дети, разбирать по складам древние сказания Гомера, мудрость Платона. Тогда воскреснет Эллада -- и с нею мы!

-- И вместе с нами -- наша скорбь! -- воскликнул Анатолий.--Зачем? Ктопобедит в этой борьбе? Когда она кончится? Отвечай, сивилла, если можешь!

Арсиноя молчала, потупив глаза; наконец, взглянула на Аммиана и указалана него Анатолию: -- Вот кто лучше меня ответит тебе. Он так же страдает, как мы. А междутем не утратил ясности духа. Видишь, как спокойно и разумно он слушает.

Аммиан Марцеллин, отложив творения Климента, прислушивался к разговору их молча.

-- В самом деле,-- обратился к нему Анатолий, со своей обычной, немногословной улыбкой,-- вот уже более четырех месяцев, как мы с тобой друзья, а между тем я до сих пор не знаю, кто ты -- христианин или эллин?

-- Я и сам не знаю,-- ответил Аммиан просто. -- Но как же хочешь ты писать свою Летопись Римской Империи?--допрашивал Анатолий.-
-Какая-нибудь чаша весов -- христианская или эллинская -- должна перевесить. Или оставишь ты потомков в недоумении о твоих верованиях?

-- Им этого не нужно знать, -- ОТВЕТИЛ ИСТОРИК. Быть справедливым к тем другим -- вот моя цель. Я любил императора Юлиана; но не опустится и для него в руках моих чаша весов. Пусть в грядущем никто не решит, кем я был,--как я сам не решаю.

Анатолий имел уже случай видеть изящную вежливость Аммиана, его нетщеславную и неподдельную храбрость на войне, спокойную верность в дружбе;

теперь он любовался в нем новой чертой -- глубокой ясностью ума.

-- Да, ты рожден историком, Аммиан, бесстрастным судьей нашего страстного века. Ты примиришь две враждующих мудрости,--проговорила Арсиноя. -- Не я первый,-- возразил Аммиан.

Он встал, указывая на пергаментные свитки великого христианского учителя: -- Здесь все это есть, и еще многое, лучшее,--чего я не сумею сказать;

это Стромата Климента Александрийского. Он доказывает, что вся сила Рима, вся мудрость Эллады только путь к учению Христа; только предзнаменования, предчувствия, намеки; широкие ступени. Пропилеи, ведущие к Царствию Божие, Платон -- предтеча Иисуса Галилеянина.

Эти последние слова об учении Климента, сказанные Аммианом так просто, поразили Анатолия: как будто вдруг вспомнил он, что все это уже когда-то было, все до последней мелочи: и остров, озаренный вечерним солнцем, и крепкий, приятный запах корабельной смолы, и неожиданные простые слова о Платоне -- предтече Иисуса. Ему

почудилась широкая лестница, мраморная, белая, залитая солнцем, многоколонная, как Пропилеи в Афинах, ведущая прямое голубое небо.

Между тем трирема медленно огибала мыс. Кипарисовая роща почти скрылась за утесами. Анатолий кинул последний взгляд на юношу, стоявшего рядом с девушкой перед изваянием Пана; она склонилась над жертвенником простую деревянную чашу, принося вечерний дар богу -- козье молоко, смешанное с медом; пастух приготовился играть на флейте. Трирема въезжала в открытое море. Все исчезло за выступом берега. Только струйки жертвенного дыма подымались прямо над рощей. На небе, на земле и на море наступила тишина. И в тишине вдруг слышались медленные звуки церковного пения: это старцы-отшельники, на передней части корабля, пели хором вечернюю молитву.

В это же мгновение по недвижной поверхности моря пронеслись иные звуки: мальчик-пастух играл на флейте вечерний гимн богу Пану. Сердце Анатолия дрогнуло от изумления и радости.

-- Да будет воля Твоя на земле, как на небе, -- пели монахи.

И высоко под самое небо возносились чистые звуки пастушьей свирели, смешиваясь со словами молитвы Господней.

Последний луч солнца потух на камнях блаженного острова. Теперь снова казался он мертвой скалой среди моря. Оба гимна умолкли вместе.

Ветер шумел в снастях. Подымались волны. Гальциона жалобно стонала.

Побежали тени от Запада, и море потемнело. Туча росла. Доносились глухо первые раскаты грома. Надвигались ночь и буря.

Но в сердце Анатолия, Аммиана и Арсинои, как незаходящее солнце, уже было великое веселие Возрождения.

Дмитрий Сергеевич Мережковский

КНИГА ВТОРАЯ

Петр и Алексей

КНИГА ПЕРВАЯ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕНЕРА

- АНТИХРИСТ хочет быть. Сам он, последний черт, не бывал еще, а щенят его народилось - полна поднебесная.

Дети отцу своему подстилают путь. Все на лицо антихристово строят. А как устроят, да вычистят гладко везде, так самон в свое время и явится. При дверях уже - скоро будет!

Это говорил старик лет пятидесяти в оборванном подьяческом кафтане молодому человеку в китайчатом шлафроке и туфлях на босую ногу, сидевшему за столом.

- И откуда вы все это знаете?- произнес молодой человек.- Писано: ни Сын, ни ангелы не ведают. А узнаете...

Он помолчал, зевнул и спросил: - Из раскольников, что ли?

- Православный.

- В Петербург зачем приехал?

- С Москвы взял из домишку своего с приходными и расходными книгами, по доношению фискальному вовзятках.

- Брал?

- Брал. Не из неволи или от какого воровства, а полюбви и по совести, сколько кто даст за труды наши приказные.

Он говорил так просто, что, видно было, в самом делене считал взятки грехом.

- И ко обличению вины моей он, фискал, ничего недонес. А только по запискам подрядчиков, которые во многие годы по-небольшому давали, насчитано оных дач наменя 215 рублей, а мне платить нечем. Нищ семь, стар, скорбен, и убог, и увечен, и мизерен, и приказных делности не могу - бью челом об отставке. Ваше премилосердное высочество, призри благоутробием щедрот своих, заступись за старца беззаступного, да освободи от оногo платежа несправедного. Смилуйся, пожалуй, государь-царевич Алексей Петрович!

Царевич Алексей встретил этого старика несколько месяцев назад в Петербурге, в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, что близ речки Фонтанной и Шереметевского двора на Литейной. Заметив его по необычной для приказных, давно не бритой седой бороде и по истовому чтению Псалтыри на клиросе, царевич спросил, кто он, откуда и какого чина. Старик назвал себя подьячим

Московского Артиллерийского приказа, Ларионом Докукиным; приехал он из Москвы и остановился в доме просвирни той же Симеоновской церкви; упомянул о нищете своей, о фискальном доношении; а также, едва не с первых слов - об Антихристе. Старик показался царевичу жалким. Он велел ему придти к себе на дом, чтобы помочь советом и деньгами.

Теперь Докукин стоял перед ним, в своем оборванном кафтанишке, похожий на нищего. Это был самый обыкновенный подьячий из тех, которых зовут чернильными душами, приказными строками. Жесткие, точно окаменелые, морщины, жесткий, холодный взгляд маленьких тусклых глаз, жесткая запущенная седая борода, лицо серое, скучное, как те бумаги, которые он переписывал; корпел, корпел над ними, должно быть, лет тридцать в своем приказе, брал взятки с подрядчиков по любви да по совести, а может быть, и кляузничал, - и вот до чего вдруг додумался: Антихрист хочет быть.

"Уж не плут ли?" - усумнился царевич, вглядываясь в него пристальнее. Но ничего плутовского или хитрого, а скорее что-то простодушное и беспомощное, угрюмое и упрямое было в этом лице, как у людей, одержимых одною неподвижною мыслью.

- Я еще и по другому делу из Москвы приехал, добавил старик и как будто замялся. Неподвижная мысль с медленным усилием проступала в жестких чертах его.

Он потупил глаза, пошарил рукою за пазухой, вытащил оттуда завалившиеся за подкладку сквозь карманную прореху бумаги и подал их царевичу.

Это были две тоненькие засаленные тетрадки в четвертую долю, исписанные крупно и четко подьяческим почерком.

Алексей начал их читать рассеяннo, но потом все с большим и большим вниманием.

Сперва шли выписки из святых отцов, пророков и Апокалипсиса об Антихристе, о кончине мира. Затем воззвание к "архипастырям великой России и всей вселенной", с мольбою простить его, Докукина, "дерзость и грубость, что мимо их отеческого благословения написал сие от многой скорби своей и жалости, и

ревности к церкви", а также заступиться за него перед царем и прилежно упросить, чтоб он его помиловал и выслушал.

Далее следовала, видимо, главная мысль Докукина: "Поведено человеку от Бога самовластну быть".

И наконец - обличие государя Петра Алексеевича: "Ныне же все мы от онаго божественного дарасамовластной и свободной жизни отрезаемы, а также домов и торгов, землевладельства и рукодельства, и всехсвоих прежних промыслов и древле установленных законов, паче же и всякого благочестия христианского лишаемы. Из дома в дом, из места в место, из града в градгонимы, оскорбляемы и озлобляемы. Весь обычай свой иязык, и платье изменили, головы и бороды обрили, персоны свои ругательски обесчестили. Нет уже в нас ни доброты, ни вида, ни различия с иноверными; но до конца смешились с ними, делам их навыкли, а свои христианскиеобеты опровергли и святые церкви опустошили. ОтВостока очи смежили: на Запад ноги в бегство обратили, странным и неведомым путем пошли и в земле забвенияпогибли. Чужих установили, всеми благами угобзили, а своих, природных голодом поморили и, бьючи на правежах, несносными податями до основания разорили. Иное жеи сказать неудобно, удобнее устам своим ограду положить. Но весьма сердце болит, видя опустошение НовогоИерусалима и люд в бедах язвлен нестерпимыми язвами!".

"Все же сие,- говорилось в заключение,- творят намза имя Господа нашего Иисуса Христа. О, таинственнымученики, не ужасайтесь и не отчаивайтесь, станьте доб

ре и оружием Креста вооружитесь на силу антихристову! Потерпите Господа ради, мало еще потерпите! Неоставит нас Христос, Ему же слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь!".

- Для чего ты это писал?- спросил царевич, дочитавтетрадки.

- Одно письмо такое же намедни подкинул у Симеоновской церкви на паперти,- отвечал Докукин.- Да тописьмо, найдя, сожгли и государю не донесли и розыскуне делали. А эту молитву прибить хочу у Троицы, возледворца государева, чтоб все, кто бы ни читал, что в нейнаписано, знали о том и донесли бы его царскому

величеству. А написал сие во исправление, дабы некогда, пришед в себя, его царское величество исправился.

"Плут!- опять промелькнуло в голове Алексея.А, может быть, и доносчик! И догадал меня черт связаться с ним!"

- А знаешь ли, Ларион,- сказал он, глядя ему прямо в глаза,- знаешь ли, что о сем твоём возмутительном ибунтовском писании я, по должности моей гражданской сыновней, государю батюшке донести имею? Воинского же Устава по артикулу двадцатому: кто против его величества хулительными словами погрешит, тот живота лишени отсечением головы казнен будет.

- Воля твоя, царевич. Я и сам думал было с тем явиться, чтобы пострадать за слово Христово.

Он сказал это так же просто, как только что говорило взяток. Еще пристальнее взгляделся в него царевич.

Перед ним был все тот же обыкновенный подьячий, приказная строка; все тот же холодный тусклый взгляд, скучное лицо. Только в самой глубине глаз опять зашевелилось что-то медленным усилием.

- В уме ли ты, старик? Подумай, что ты делаешь?

Попадешь в гарнизонный застенок - там с тобой шутить не будут: за ребро повесят, да еще прокоптят, как вашего Гришку Талицкого.

Талицкий был один из проповедников конца мира и второго пришествия, утверждавший, что государь Петр Алексеевич - Антихрист, и несколько лет тому назад казненный страшною казнью копчения на медленном огне.

- За помощью Божией готов и дух свой предать, ответил старик.- Когда не ныне, умрем же всячески.

Надобно бы что доброе сделать, с чем бы предстать перед Господом, а то без смерти и мы не будем.

Он говорил все так же просто; но что-то было в спокойном лице его, в тихом голосе, что внушало уверенность, что этот отставной артиллерийский подьячий, обвиняемый во взятках, действительно пойдет на смерть, не ужасаясь, как один из тех таинственных мучеников, о которых он упоминал в своей молитве.

"Нет,- решил вдруг царевич,- не плут и не доносчик, а либо помешанный, либо в самом деле мученик!"

Старик опустил голову и прибавил еще тише, как будто про себя, забыв о собеседнике: - Поведено от Бога человеку самовластно быть.

Алексей молча встал, вырвал листок из тетрадки, зажег его о горевшую в углу перед образами лампадку, вы

нул отдушник, открыл дверцу печки, сунул туда бумаги, подождал, мешая кочергой, чтоб они сгорели дотла, и когда остался лишь пепел, подошел к Докукину, который, стоя на месте, только глазами следил за ним, положил руку на плечо его и сказал:

- Слушай, старик. Никому я на тебя не донесу. Вижу, что ты человек правдивый. Верю тебе. Скажи: хочешь мне добра?

Докукин не ответил, но посмотрел на него так, что не нужно было ответа.

- А коли хочешь, выкинь дурь из головы! О бунтовских письмах и думать не смей - не такое нынче время.

Ежели попадешься, да узнают, что ты был у меня, так мне худо будет. Ступай с Богом и больше не приходи никогда. Ни с кем не говори обо мне. Коли спрашивать будут, молчи. Да уезжай-ка поскорей из Петербурга.

Смотри же. Ларион, будешь помнить волю мою?

- Куда нам из воли твоей выступить? - проговорил Докукин. - Видит Бог, я тебе верный слуга до смерти.

- О доносе фискальном не хлопочи, - продолжал Алексей. - Я слово замолвлю, где надо. Будь покоен, тебя освободят от всего. Ну, ступай... или нет, постой, давай платок.

Докукин подал ему большой синий клетчатый, полинялый и дырявый, такой же "мизерный", как сам его владелец, носовой платок. Царевич выдвинул ящик маленькой ореховой конторки, стоявшей рядом со столом, вынул оттуда, не считая, серебром и медью рублей двадцать - для нищего Докукина целое сокровище - завернул деньги в платок и отдал с ласковой улыбкою.

- Возьми на дорогу. Как вернешься в Москву, закажи молебен в Архангельском и частицу вынь за здравие раба Божия Алексея. Только смотри, не проговоришься, что за царевича.

Старик взял деньги, но не благодарил и не уходил.

Он стоял по-прежнему, опустив голову. Наконец, поднял глаза и начал было торжественно, должно быть, заранее приготовленную

речь:

- Как древле Самсону утолил Бог жажду черезослиную челюсть, так и ныне тот же Бог не учинит личерез мое неразумение тебе, государь, нечто подобное ипрохладительное?

Но вдруг не выдержал, голос его пресекся, торжественная речь оборвалась, губы задрожали, весь он затрясся иповалился в ноги царевичу.

- Смилуйся, батюшка! Послушай нас бедных, вопиющих, последних рабов твоих! Порадей за веру христианскую, воздвигни и досмотри, даруй церкви мир и единомыслие. Ей, государь царевич, дитячко красное, церковное, солнышко ты наше, надежда Российская! Тобой хочет весьмир просветиться, о тебе люди Божий расточенные радуются! Если не ты по Господе Боге, кто нам поможет?

Пропали, пропали мы все без тебя, родимый. Смилуйся!

Он обнимал и целовал ноги его с рыданием. Царевичслушал, и ему казалось, что в этой отчаянной мольбедоносится к нему мольба всех погибающих, "оскорбляемыхи озлобляемых"- вопль всего народа о помощи.

- Полно-ка, полно, старик,- проговорил он, наклонившись к нему и стараясь поднять его.- Разве я не знаю, не вижу? Разве не болит мое сердце за вас? Одно у нас горе.

Где вы, там и я. Коли даст Бог, на царстве буду - все сделаю, чтоб облегчить народ. Тогда и тебя не забуду: мнeverные слуги нужны. А пока терпите да молитесь, чтобыскорее дал Бог совершение - буде же воля Его святая во всем!

Он помог ему встать. Теперь старик казался оченьдряхлым, слабым и жалким. Только глаза его сияли такоюрадостью, как будто он уже видел спасение России.

Алексей обнял и поцеловал его в лоб.

- Прощай, Ларион. Даст Бог свидимся, Христос стобой!

Когда Докукин ушел, царевич сел опять в свое кожаное кресло, старое, прорванное, с волосяною обивкою, торчавшею из дыр, но очень спокойное, мягкое, и погрузился не то в дремоту, не то в оцепенение.

Ему было двадцать пять лет. Он был высокого роста, худ и узок в плечах, со впалою грудью; лицо тоже узкое, до странности длинное,

точно вытянутое и заостренное книзу, старообразное и болезненное, со смугло-желтым цветом кожи, как у людей, страдающих печенью; рот очень маленький и жалобный, детский; непомерно большой, точно лысый, крутой и круглый лоб, обрамленный жидкими косицами длинных, прямых черных волос. Такие лица бывают у монастырских служек и сельских дьячков. Но когда он улыбался, глаза его сияли умом и добротой. Лицо сразу молодело и хорошело, как будто освещалось тихим внутренним светом. В эти минуты напоминал он деда своего, Тишайшего царя Алексея Михайловича в молодости.

Теперь, в грязном шлафроке, в стоптанных туфлях набосу ногу, заспанный, небритый, с пухом на волосах, он мало походил на сына Петра. С похмелья после вчерашней попойки проспал весь день и встал недавно, только перед самым вечером. Через дверь, отворенную в соседнюю комнату, видна была неубранная постель со смятыми огромными пуховиками и несвежим бельем.

На рабочем столе, за которым он сидел, валялись в беспорядке заржавевшие и запыленные математические инструменты, старинная сломанная кадиленка с ладаном, табачная терка, пеньковые пипки, коробочка из-под пудры для волос, служившая пепельницей; вороха бумаг и груды книг в таком же беспорядке: рукописные заметки ко всемирной Летописи Барония покрывала куча картузного табаку; на странице раскрытой, растерзанной, с оборванным корешком, Книги, именуемой Геометрия или Землемерие радикалом и циркулем к научению мудролюбивых тщателей, лежал недоеденный соленый огурец; на оловянной тарелке - обглоданная кость и липкая от померанцевой настойки рюмка, в которой билась и жужжала муха.

И по стенам с ободранными, замаранными шпалерами из темно-зеленой травчатой клеенки, и по закоптелому потолку, и по тусклым стеклам окон, не выставленных, несмотря на жаркий конец июня, - всюду густыми черными роями жужжали, кишели и ползали мухи.

Мухи жужжали над ним. Он вспомнил драку, которой кончилась вчерашняя попойка. Жибанда ударил Засыпку, Засыпка - Захлюстку, и отец Ад и Грач с Молохом свалились под стол; это были прозвища, данные царевичем его собутыльникам, "за домовнюю издевку". И сам он, Алексей Грешный - тоже прозвище - кого-то бил и драл за волосы,

но кого именно, не помнил. Тогда было смешно, а теперь гадко и стыдно.

Голова разбалчивалась. Выпить бы еще померанцевой, опохмелиться. Да лень встать, позвать слугу, лень двинуться. А сейчас надо одеваться, натягивать узкий мундирный кафтан, надевать шпагу, тяжелый парик, от которого еще сильнее болит голова, и ехать в Летний сад на маскарадное сборище, где велено быть всем "под жестоким штрафом".

Со двора доносились голоса детей, игравших в веревочку и в стрякотки-блякотки. Большой взъерошенный чирик в клетке под окном изредка чирикал жалобно.

Маятник высоких, стоячих, с курантным боем, английских часов - давнишний подарок отца - тикал однообразно.

Из комнат верхнего жилья слышались унылые бесконечные гаммы, которые разыгрывала на дребезжащем, ста

реньком немецком клавесине жена Алексея, кронпринцесса София, Шарлотта, дочь Вольфенбюттельского герцога. Он вдруг вспомнил, как вчера, пьяный, ругал ее Жибанде и Захлюстке: "Вот жену мне на шею чертовку навязали: как-де к ней ни приду; все сердитует и не хочет сомною говорить. Этакая фря немецкая!" - "Не хорошо, подумал он. - Много я пьяный лишних слов говорю, а потом себя очень зазираю"... И чем она виновата, что ее почти ребенком насильно выдали за него? И какая она фря? Больная, одинокая, покинутая всеми на чужой стороне, такая же несчастная, как он. И она его любит - может быть, она одна только и любит его. Он вспомнил, как они намеренно поссорились. Она закричала: "Последний сапожник в Германии лучше обращается со своею женою, чем вы!" Он злобно пожал плечами: "Возвращайтесь же с Богом в Германию!" - "Да, если бы я не была..." и не кончила, заплакала, указывая на свой живот - она была беременна. Как сейчас, видит он эти припухшие, бледно-голубые глаза и слезы, которые, смывая пудру только что бедняжка нарочно для него припудрилась, струятся по некрасивому, со следами оспы, чопорному, еще более подурневшему и похudevшему от беременности такому жалкому, детски-беспомощному лицу. Ведь он и сам любит ее, или, по крайней мере, жалеет по временам внезапною и безнадежною, острою до

боли, нестерпимую жалостью. Зачем же он мучит ее? Как не грешно ему, не стыдно? Даст он за нее ответ Богу.

Мухи одолели его. Косой, горячий, красный луч заходящего солнца, ударяя прямо в окно, резал глаза.

Он передвинул, наконец, кресло, повернулся спиной к окну и устался глазами в печку. Это была огромная, с резными столбиками, узорчатыми впадинками и уступчиками, голландская печь из русских кафельных изразцов, скованных по углам медными гвоздиками. Густыми красно-зелеными и темно-фиолетовыми красками по белому полю выведены были разные затейливые звери, птицы, люди, растения - и под каждой фигуркой славянскими буквами надпись. В багровом луче краски горели с волшебною яркостью. И в тысячный раз с тупым любопытством царевич разглядывал эти фигурки и перечитывал надписи. Мужик с балалайкой: музыку умножаю-, человек в кресле с книгой: пользую себя-, тюльпан расцветающий: дух его сладок, старик на коленях перед красавицей: не хочу старого любить; чета, сидящая под кустами: совет наш благ с тобою, и березинская баба, и французские комедианты, и попы, китайский с японским, и Диана, и сказочная птица Малкофея.

А мухи все жужжат, жужжат; и маятник тикает; ичижик уныло пищит; и гаммы доносятся сверху, и крики детей со двора. И острый, красный луч солнца тупеет, темнеет. И разноцветные фигурки движутся. Французские комедианты играют в чехарду с березинскою бабою; японский поп подмигивает птице Малкофее. И все путается, глаза слипаются. И если бы не эта огромная липкая черная муха, которая уже не в рюмке, а в голове его жужжит и щекочет, то все было бы хорошо, спокойно, и ничего бы не было, кроме тихой, темной, красной мглы.

Вдруг он вздрогнул весь и очнулся. "Смилуйся, батюшка, надежда Российская!" - прозвучало в нем с потрясающей силою. Он оглянул неряшливую комнату, себя самого - и, как режущий глаза, багровый луч солнца, залил ему лицо, обжег его стыд. Хороша "надежда Российская!" Водка, сон, лень, ложь, грязь и этот вечный подлый страх перед батюшкой.

Неужели поздно? Неужели кончено? Стряхнуть бы все это, уйти, бежать! "Пострадать за слово Христово, прозвучали в нем опять слова

Докукина.-: Человеку повелено от Бога самовластну быть". О да, скорее к ним, пока еще не поздно! Они зовут и ждут его, "таинственные мученики".

Он вскочил, как будто в самом деле хотел куда-то бежать, что-то решить, что-то сделать безвозвратное и замер весь в ожидании, прислушиваясь.

В тишине загудели медным, медленным, певучимгулом курантного боя часы. Пробило девять, и когда последний удар затих, дверь тихонько скрипнула, и в нее просунулась голова камердинера, старика Ивана Афанасьича Большого.

- Ехать пора. Одеваться прикажете?-проворчал он, по своему обыкновению, с такою злобною угрюмостью, точно обругал его.

- Не надо. Не поеду,- сказал Алексей.

- Как угодно. А только всем велено быть. Опять станут батюшка гневаться.

- Ну, ступай, ступай,- хотел было прогнать его царевич, но, взглянув на эту взъерошенную голову с пухом в волосах, с таким же небритым, измятым, заспанным лицом, как у него самого, вдруг вспомнил, что это ведь его-то. Афанасьича, он и драл вчера за волосы.

Долго царевич смотрел на старика с тупым недоумением, словно только теперь проснулся окончательно.

Последний красный отблеск потух в окне, и все сразу посерело, как будто паутина, спустившись из всех закоптелых углов, наполнила и заткала комнату серою сеткою.

А голова в дверях все еще торчала, как прилепленная, не подаваясь ни назад, ни вперед.

- Так прикажете одеваться, что ли?- повторил Афанасьич с еще большею угрюмостью.

Алексей безнадежно махнул рукою.

- Ну, все равно, давай!

И видя, что голова не исчезает, как будто ожидая чего-то, прибавил:

- Еще бы померанцевой, опохмелиться? Дюже голова трещит со вчерашнего...

Старик не ответил, но посмотрел на него так, как будто хотел сказать: "Не твоей бы голове трещать со вчерашнего!"

Оставшись один, царевич медленно заломил руки, так что все суставы пальцев хрустнули, потянулся и зевнул.

Стыд, страх, скорбь, жажда раскаяния, жажда великого действия, мгновенного подвига - все разрешилось этою медленною, неудержимою до боли, до судороги в челюстях, более страшною, чем вопль и рыдание, безнадежною зевотою.

Через час, вымытый, выбритый, опохмелившийся, тугозатянутый в узкий, зеленого немецкого сукна с красными отворотами и золотыми галунами мундир Преображенской гвардии сержанта, он ехал на своей шестивесельной верейке вниз по Неве к Летнему саду.

В тот день, 26 июня 1715 года, назначен был в Летнем саду праздник Венеры в честь древней статуи, которую только что привезли из Рима и должны были поставить в галерею над Невею.

"Буду иметь сад лучше, чем в Версале у французского короля",- хвастал Петр. Когда он бывал в походах, на море или в чужих краях, государыня посылала ему вести о любимом детище: "Огород наш раскинулся изрядно лучше прошлогоднего: дорога, что от палат, кленом идубом едва не вся закрылась, и когда ни выйду, частосожалею, друг мой сердешненькой, что не вместе с вами гуляю".- "Огород наш зелененек стал; уже почало смолою пахнуть"- то есть, смолистым запахом почек.

Действительно, в Летнем саду устроено было все "регулярно по плану", как в "славном огороде Версальском".

Гладко, точно под гребенку, остриженные деревья, геометрически-правильные фигуры цветников, прямые каналы, четырехугольные пруды с лебедями, островками и беседками, затейливые фонтаны, бесконечные аллеи - "перспективы", высокие лиственные изгороди, шпалеры, подобные стенам торжественных приемных зал,- "людей убеждали, чтобы гулять, а когда утрудится кто, тотчас найдет довольно лавок, феатров, лабиринтов и тапеты зеленой травы, дабы удалиться как бы в некое все сладостное уединение".

Но царскому огороду было все-таки далеко до Версальских садов.

Бледное петербургское солнце выгоняло тощие тюльпаны из жирных роттердамских луковиц. Только скромные северные цветы - любимый Петром пахучий калуфер, махровые пионы и уныло-яркие

георгины - росли здесьпривольнее. Молодые деревца, привозимые с неимоверными трудами на кораблях, на подводах из-за тысячверст - из Польши, Пруссии, Померании, Дании, Голландии - тоже хирели. Скучно питала их слабые корничужая земля. Зато, "подобно как в Версалии", расставленыбыли вдоль главных аллей мраморные бюсты - "грудные штуки"- и статуи. Римские императоры, греческиефилософы, олимпийские боги и богини, казалось, переглядывались, недоумевая, как попали они в эту дикуюстрану гиперборейских варваров. То были, впрочем, недревние подлинники, а лишь новые подражания плохихитальянских и немецких мастеров. Боги. как будто толькочто сняв парики да шитые кафтаны, богини - кружевныефонтанжи да роброны и, точно сами удивляясь не совсемприличной наготе своей, походили на жеманных кавалерови дам, наученных "поступи французских учтивств" придворе Людовика XIV или герцога Орлеанского.

По одной из боковых аллей сада, по направлению отбольшого пруда к Неве, шел царевич Алексей. Рядом сним ковыляла смешная фигурка на кривых ножках, в потертom немецком кафтане, в огромном парике, с выражением лица растерянным, ошеломленным, как у человека, внезапно разбуженного. Это был цейхдиректор оружейной канцелярии и новой типографии, первый в Петербурге городке печатного дела мастер, Михаиле ПетровичАврамов.

Сын дьячка, семнадцатилетним школьником, прямоот Часослова и Псалтыри, он попал на торговую шняву, отправляемую из Кроншлота в Амстердам, с грузом дегтя, юфти, кожи и десятка "российских младенцев", выбранных из ребят, которые поострее", в науку за море, по указу Петра. Научившись в Голландии отчасти геометрии, но больше мифологии, Аврамов "был тамошними жителями похвален и печатными курантами опубликован". Отприроды не глупый, даже "острый" малый, но, как быраз навсегда изумленный, сбитый с толку слишком внезапным переходом от Псалтыри и Часослова к баснямОвидия и Вергилия, он уже не мог прийти в себя. С чувствами и мыслями его произошло нечто, подобное родимчику, который делается у перепуганных со сна маленькихдетей. С той поры так и осталось на лице его это выражениевечной растерянности, ошеломленности.

- Государь царевич, ваше высочество, я тебе как самому Богу исповедуюсь,- говорил Аврамов однообразным плачущим голосом, точно комар жужжал.- Зазирает меня совесть, что поклоняемся, будучи христианами, идолам языческим...

- Каким идолам?- удивился царевич.

Аврамов указал на стоявшие, по обеим сторонам аллеи, мраморные статуи.

- Отцы и деды ставили в домах своих и при путях иконы святые; мы же стыдимся того, но бесстыдные поставляем кумиры. Иконы Божьи имеют на себе силу Божью; подобно тому и в идолах, иконах бесовых, пребывает сила бесовская. Служили мы доднесь единому пьянственному богу Бахусу, нареченному Ивашке Хмельницкому, во всешутейшем соборе с князем-папою; ныне же и всескверной Венус, блудной богине, служить собираемся.

Называют служения те машкерадами, и не мнят греха, понеже, говорят, самих тех богов отнюдь в натуре нет, болваны же их бездушные в домах и огородах не для чего-де иного, как для украшения, поставляются. И в том весьма, с конечной пагубой души своей, заблуждаются, ибо натуральное и сущее бытие сии ветхие боги имеют...

- Ты веришь в богов?-еще больше удивился царевич.

- Верю, ваше высочество, свидетельству святых отцов, что боги суть бесы, кои, изгнаны именем Христа Распятого из капищ своих, побежали в места пустые, темные, пропастные и угнездились там, и притворили себя мертвыми и как бы не сущими - до времени. Когда же оскудело древнее христианство, и новое прозябло нечестие, то и боги сии ожили, повыползли из нор своих: точь-в-точь как всякое непотребное червие и жужелица и прочая ядовитая гадина, излезая из яиц своих, людей жалит, так бесы изветхих сих идолов - личин своих исходя, христианские души уязвляют и погубляют. Помнишь ли, царевич, видение иже во святых отца Исаакия? Благолепные девы и отроки, их же лица были аки солнца, ухватя преподобного за руки, начали с ним скакать и плясать под сладчайшие гласы мусикийские и, утрудив его, оставили еле жива и, так поругавшись, исчезли. И познал святой авва, что быти ветхие боги эллино-римские-Иовиш, Меркуриуш, Аполло и Венус, и Бахус. Ныне и нам, грешным, являются

бесы в подобных же видах. А мы любезно приемлем их и в гнусных машкерах, смесившись с ними, скачем и пляшем да все вкупе в преглубокий тартар вринемся, как стадо свиное в пучину морскую, не помышляя того, невежды, сколь страшнейшие суть самых скаредных и черных эфиопских рож сии новые, лепообразные, солнцеподобные, белые черти!

В саду, несмотря на июньскую ночь, было почти темно.

Небо заволакивали низкие, черные, душные, грозовые тучи. Иллюминации еще не зажигали, праздник не начинался. Воздух был тих, как в комнате. Зарницы или очень далекие безгромные молнии вспыхивали, и с каждою вспышкой в голубоватом блеске вдруг выделялись почти ослепительно, режущей глаз белизною мраморные статуи на черной зелени шпалер по обеим сторонам аллеи, точно вдруг белые призраки выступали и потом опять исчезали.

Царевич, после того, что слышал от Аврамова, смотрел на них уже с новым чувством. "А ведь и в самом деле, думал он, - точно белые черти!"

Послышались голоса. По звуку одного из них, негромкому, сиповатому, а также по красной точке угля, горевшего, должно быть, в глиняной голландской трубке, высота этой точки отличала исполинский рост курильщика - царевич узнал отца.

Быстро повернул он за угол аллеи в боковую дорожку лабиринта из кустов сирени и букса. "Будто заяц вкусты шмыгнул!" - подумал тотчас со злобою об этом движении своем, почти произвольном, но все же унизительно трусливом.

- Черт знает, что ты такое говоришь, Абрамка! продолжал он с притворною досадою, чтобы скрыть свой стыд. - В уме ты, видно, от многого чтения зашелся;

- Сущую истину говорю, ваше высочество, - возразил Аврамов, не обижаясь. - Сам я на себе познал тунечистую силу богов. Подустил меня сатана у батюшки твоего, государя, Овидиевых и Вергилиевых книжиц просить для печатания. Одну из оных, с абрисами скверных богов и прочего их сумасбродного действия, я уж в печать издал. И с той поры обезумился и впал в ненасытный блуд, и отступила от меня сила Господня, и стали мне являться в сонных видениях всякие боги, особливо же Бахус и Венус...

- Каким подобием?-спросил Царевич не без любопытства.

- Бахус - подобием тем, как персона еретика Мартына Лютера пишется - немец краснорожий, брюхо, что пивная бочка. Венус же сначала девкою гулящею прикинулась, с коей, живучи в Амстердаме, сваялся я блудно: тело голое, белое, как кипень, уста червлёные, очипохабные. А потом, как очнулся я в предбаннике, где иприключилась мне та пакость - обернулась лукавая ведьма отца-протопопа дворовою девкою Акулькою и, ругаячи, что мешаю-де ей в бане париться, нагло меня по лицумокрым веником съездила и, выскочив во двор, в сугробснега - дело было зимою - повалилась и тут же по ветру порошею развеялась.

- Да это, может быть, Акулька и была!..- рассмеялся царевич.

Аврамов хотел что-то возразить, но вдруг замолчал.

Опять послышались голоса, опять зарделась в темнотекрасная, точно кровавая, точка. Узкая тропа темного лабиринта опять свела сына с отцом в месте, слишком узком, чтобы разойтись. У царевича и тут еще мелькнула былоотчаянная мысль - спрятаться, проскользнуть или опятьшмыгнуть зайцем в кусты. Но было поздно. Петр увиделего издали и крикнул: - Зоон!

По-голландски зоон значит сын. Так называл он его только в редкие минуты милости. Царевич удивился темболее, что в последнее время отец перестал говорить с нимвовсе, не только по-голландски, но и по-русски.

Он подошел к отцу, снял шляпу, низко поклонился ипоцеловал сначала полу его кафтана,- на Петре был сильно поношенный темно-зеленый Преображенский полковничий мундир с красными отворотами и медными пуговицами,- потом жесткую мозолистую руку.

- Спасибо, Алеша!-сказал Петр, и от этого давно не слыханного "Алеша" сердце Алексея дрогнуло.Спасибо за гостинец. В самую нужную пору пришелся.

Мой-то ведь дуб, что плотами с Казани плавили, бурейна Ладоге разбило. Так, ежели б не твой подарок, с новым-то фрегатом и к осени бы, чай, не управились. Да илес-от- самый добрый, крепкий что твое железо. Давноя этакого изрядного дуба не видывал!

Царевич знал, что нельзя ничем угодить отцу так, как хорошим корабельным лесом. В своей наследственной вотчине, в Порецкой волости Нижегородского края, давно уж тайно ото всех берег он и лелеял прекрасную рощу, на тот случай, когда ему особенно понадобится милость батюшки. Проведав, что в Адмиралтействе скоро будет нужда в дубе, срубил рощу, сплавил ее плотами на Неву, как раз вовремя, и подарил отцу. Это была одна из тех маленьких, робких, иногда неумелых, услуг, которые он оказывал ему прежде часто, теперь все реже и реже. Он, впрочем, не обманывал себя - знал, что и эта услуга, также как все прежние, будет скоро забыта, что и эту случайную, мгновенную ласку отец выместит на нем же впоследствии еще большею суровостью.

И все-таки лицо его вспыхнуло от стыдливой радости, сердце забилося от безумной надежды. Он пролепетал что-то бессвязное, чуть слышное, вроде того, что "всегда для батюшки рад стараться", и хотел еще раз поцеловать руку его. Но Петр обеими руками взял его за голову. На одно мгновение царевич увидел знакомое, страшное и милое лицо, с полными, почти пухлыми щеками, со вздернутыми и распушенными усами, "как у кота Котабырса", говорили шутники, - с прелестною улыбкою на извилистых, почти женственно-нежных губах; увидел большие темные, ясные глаза, тоже такие страшные, такие милые, что когда-то они снились ему, как снятся влюбленному отроку глаза прекрасной женщины; почувствовал с детства знакомый запах - смесь крепкого коньяка, водки, пота и еще какого-то другого не противного, но грубого солдатского казарменного запаха, которым пахло всегда в рабочей комнате - "конторке" отца; почувствовал тоже с детства знакомое, жесткое прикосновение не совсем гладко выбритого подбородка с маленькой ямочкой посередине, такую странную, почти забавную на этом грозном лице; ему казалось, а может быть, снилось только, что ребенком, когда отец брал его к себе на колени, он целовал эту смешную ямочку и говорил с восхищением: "совсем, как у бабушки!"

Петр, целуя сына в лоб, сказал на своем ломанном голландском языке:

- Good beware Да хранит вас Бог!

И это немного чопорное голландское "вы" вместо "ты"

показалось Алексею обаятельно любезным.

Все это увидел он, почувствовал, как в блеске зарницы.

Зарница потухла - и все исчезло. Уж Петр уходил от него,- как всегда, подергивая судорожно плечом, закидывая голову, сильно, по-солдатски размахивал на ходу правую руку, своим обыкновенным шагом, таким быстрым, что спутники, чтобы поспеть за ним, должны были почти бежать.

Алексей пошел в другую сторону все по той же узкой тропе темного лабиринта. Аврамов не отставал от него.

Он опять заговорил, теперь об архимандрите Александро-Невской Лавры, царском духовнике Феодосии Яновском, которого Петр, назначив "администратором духовных дел", поставил выше первого сановника церкви, престарелого наместника патриаршего престола, Стефана Яворского, и которого многие подозревали в "люторстве", в тайном замысле упразднить почитание икон, мощей, соблюдение постов, монашеский чин. патриаршество и прочие уставы православной церкви. Иные полагали, что Феодосии, или попросту Федоска, мечтает сделаться сам патриархом.

- Сей Федоска, сущий афеист, к тому ж и дерзкий поганец,- говорил Аврамов,- вкрадшись в многоутружденную святую душу монарха и обольстя его, смело разоряет предания и законы христианские, славлюбное и сластолюбное вводит эпикурское, паче же свинское, житие. Он же, беснующийся ересиарх, с чудотворной иконы Богородицы Казанской венец ободрал: "ризничий, дай нож!" кричал и резал проволоку, и золотую цату рвал чеканной работы, и клал себе в карман при всех нагло.

И с плачем все зрящие дивились такому похабству его.

Он же, злой сосуд и самый пакостник, от Бога отвергся, рукописание бесам дал и Спасов образ и Животворящий Крест потоптать, шаленый козел, и поплевать хотел...

Царевич не слушал Аврамова. Он думал о своей радости и старался заглушить разумом эту неразумную, как теперь ему казалось, ребяческую радость.. Чего он ждет, На что надеется? Примирения с отцом? Возможно ли оно, да и хочет ли он сам примирения? Не произошло ли между ними то, чего нельзя забыть, нельзя про

стит? Он вспомнил, как только что прятался с подлойзаячьей трусливостью; вспомнил Докукина, его обличительную молитву против Петра и множество других, ещеболее страшных, неотразимых обличений. Не за себя одного он восстал на отца. И вот, однако, достаточно былонескольких ласковых слов, одной улыбки - и сердце его снова размягчилось, растаяло - и он уже готов упасть кногам отца, все забыть, все простить, молить сам о прощении, как будто он виноват; готов за одну еще такуюласку, за одну улыбку отдать ему снова душу свою. "Данеужели же,-подумал Алексей почти с ужасом,- неужели я его так люблю?"

Аврамов все еще говорил, точно бессонный комар жужжал в ухо. Царевич вслушался в последние слова его:

- Когда преподобный Митрофаний Воронежский увидел на кровле дворца царева Бахуса, Венус и прочихбогов кумиры: "пока-де, сказал, государь не прикажетсвергнуть идолов, народ соблазняющих, не могу войти вдом его". И царь почтил святителя, велел убрать идолов.

Так прежде было. А ныне кто скажет правду царю? НеФедоска ли пренечестивый, иконы нарицающий идолами, идолов творящий иконами? Увы, увy нам! До того дошло, что в самый сей день, в сей час, ниспровергнув образ Богородицы, на место его воздвигает он бесоугодную иблудотворную икону Венус. И государь, твой батюшка...

- Отвяжись ты от меня, дурак!- вдруг злобно крикнул царевич.- Отвяжитесь вы все от меня! Чего хнычете, чего лезете ко мне? Ну вас совсем...

Он выругался непристойно.

- Какое мне дело до вас? Ничего я не знаю, да и знатьне хочу! Ступайте к батюшке жаловаться: он вас рассудит!..

Они подходили к шкиперской площадке, у фонтана вСредней аллее. Здесь было много народу. На них уже смотрели и прислушивались.

Аврамов побледнел, как будто присел и съежился, глядя на него своим растерянным взглядом - взглядомперепуганного со сна ребенка, у которого вот-вот сделается родимчик.

Алексею стало жаль его.

- Ну, небось, Петрович,- сказал он с доброю улыбкою, которая похожа была на улыбку не отца, а деда, Тишайшего Алексея Михайловича,-небось, не выдам!

Я знаю, ты любишь меня... и батюшку. Только впредне болтай-ка лишнего...

И с внезапною тенью, пробежавшей по лицу его, прибавил тихо:

- Коли ты и прав, что толку в том? Кому ныне правда нужна? Плетью обуха не перешибешь. Тебя... да и меня никто не послушает.

Между деревьями блеснули первые огни иллюминации: разноцветные фонарики, плошки, пирамиды сальных свечей в окнах и между точеными столбиками сквозной крытой галереи над Невою.

Там уже, как значилось в реляции празднества, "убрано было зело церемониально, с превеликим довольством во всем".

Галерея состояла из трех узких и длинных беседок.

В главной, средней - под стеклянным куполом, нарочустроенным французским архитектором Леблонем, готово было почетное место - мраморное подножие для Петербургской Венеры.

"Венус купил,- писал Беклемишев Петру из Италии.- В Риме ставят ее за-велико. Ничем не разнится от Флорентийской (Медической) славной, но еще лучше.

У незнаемых людей попалась. Нашли, как рыли фундамент для нового дома. 2000 лет в земле пролежала. Долго стояла у папы в саду Ватиканском. Хоронюсь от охотников. Опасаюсь, о выпуске. Однако она - уже вашего величества".

Петр через своего поверенного, Савву Рагузинского, и кардинала Оттобани вел переговоры с папою Климентом XI, добиваясь разрешения вывезти купленную статую в Россию. Папа долго не соглашался. Царь готов был похитить Венеру. Наконец, после многих дипломатических обходов и происков, разрешение было получено.

"Господин капитан,- писал Петр Ягужинскому, лучшую статую Венус отправить из Ливорны сухим путем до Инзбрука, а оттоль Дунаем водою до Вены, с нарочным провожатым, и в Вене адресовать оную вам. А понеже сия статуя, как сам знаешь, и там славится, того для сделай в Вене каретный станок на пружинах, на котором

былучше можно было ее отправить до Кракова, чтобы не повредить чем, а от Кракова можно отправить паки водою".

По морям и рекам, через горы и равнины, города и ауслы, и, наконец, через русские бедные селенья, дремуче леса и болота, всюду бережно хранимая волей царя, то качаясь на волнах, то на мягких пружинах, в своем темном ящике, как в колыбели или в гробу, совершала богиня далекое странствие из Вечного Города в новорожденный городок Петербург.

Когда она благополучно прибыла, царь, как ни хотелось ему поскорее взглянуть на статую, которой он так долго ждал и о которой так много слышал,-- все же победил свое нетерпение и решился не откупоривать ящика до первого торжественного явления Венус на празднике в Летнем саду.

Шлюпки, верейки, боты, эверсы и прочие "новоманерные суда" подъезжали к деревянной лесенке, спускавшейся прямо к воде, и причаливали к вбитым у берега сваям с железными кольцами. Приехавшие, выйдя из ОДОК, подымались по лесенке в среднюю галерею, где в огнях иллюминации уже густела, шумела и двигалась нарядная толпа: кавалеры - в цветных шелковых и бархатных кафтанах, треугольниках, при шпагах, в чулках и башмаках с пряжками, с высокими каблуками, в пышных пирамидальных, с неестественно роскошными буклями, Манерных, белокурых, реже пудренных париках; дамы в широчайших круглых юбках на китовом усе-робронах, "на самый последний Версальский манер", с длинными "шелепами"- шлейфами, с румянами и мушкamina на лице, с кружевными фантажами, перьями и жемчугами на волосах. Но в блестящей толпе попадались и простые, грубого солдатского сукна, военные мундиры, даже матросские и шкиперские куртки, и пахнущие дегтем, смазчивые сапоги, и кожаные треухи голландских корабельщиков.

Толпа расступилась перед странным шествием: дюки царские гайдуки и гренадеры несли на плечах с трудом, сгибаясь под тяжестью, длинный узкий черный ящик, похожий на гроб. Судя по величине гроба, покойник был нечеловеческого роста. Ящик поставили на пол.

Государь, один, без чужой помощи, принялся его откупоривать. Плотничьи и столярные инструменты так имелькали в привычных руках Петра. Он торопился и выдергивал гвозди с таким нетерпением, что оцарапал себеруку до крови.

Все толпились, теснясь, приподымаясь на цыпочки, заглядывая с любопытством друг другу через плечи иголовы.

Тайный советник Петр Андреич Толстой, долго живший в Италии, человек ученый, к тому же и сочинитель он первый в России начал переводить "Метаморфозы"

Овидия - рассказывал окружавшим его дамам и девицам развалинах древнего храма Венеры.

- Проездом будучи в Каштель ди Байя близ Неаполя, видел и божницу во имя сей богини Венус. Город весь развалился, и место, где был тогда город, поросло лесом. Божница сделана из плинфов, архитектурой изрядною, со столпами великими. На сводах множествонапечатано поганских богов. Видел там и другие божницы - Дианы, Меркурия, Бахуса, коим в местах тех проклятый мучитель Нерон приносил жертвы и за тусвою к ним любовь купно с ними есть в пекле...

Петр Андреич открыл перламутровую табакерку на крышке изображены были три овечки и пастушок, который развязывает пояс спящей пастушке - поднестабакерку хорошенькой княгине Черкасской, сам понюхали прибавил с томным вздохом:

- В ту свою бытность в Неаполе я, как сейчас помню, инаморат был в некую славную хорошеством читадинку Франческу. Более 2000 червонных мне стоила. Ажно идо сей поры из сердца моего тот амор выйти не может...

Он так хорошо говорил по-итальянски, что пересыпали русскую речь итальянскими словами: инаморат - вместо влюблен, читадинка - вместо гражданин.

Толстому было семьдесят лет, но казалось не больше пятидесяти, так как он был крепок, бодр и свеж. Любезностью с дамами мог бы "заткнуть за пояс и молодых охотников до Венус", по выражению царя. Бархатная мягкость движений, тихий бархатный голос, бархатная нежная улыбка, бархатные, удивительно густые, черные, едва ли, впрочем, не крашенные брови: "бархатный весь, а жальце

есть", говорили о нем. И сам Петр, не слишком осторожный со своими "птенцами", полагал, что "когда имеешь дело с Толстым, надо держать камень за пазухой". На совести этого "изящного и превосходительного господина" было не одно темное, злое и даже кровавое дело.

Но он умел хоронить концы в воду.

Последние гвозди погнулись, дерево затрещало, крышка поднялась, и ящик открылся. Сначала увидели что-то серое, желтое, похожее на пыль истлевших в гробе костей.

То были сосновые стружки, опилки, войлок, шерстяные очески, положенные для мягкости.

Петр разгребал их, рылся обеими руками и, наконец, нащупав мраморное тело, воскликнул радостно: - Вот она, вот!

Уже плавили олово для спайки железных скреп, которые должны были соединить подножие с основанием статуи. Архитектор Леблон суеился, приготавливая что-то вроде подъемной машины с лесенками, веревками и блоками. Но сперва надо было на руках вынуть из ящика статую.

Денщики помогали Петру. Когда один из них с нескромною шуткою схватил было "голую девку" там, где не следовало, царь наградил его такой пощечиной, что сразу внушил всем уважение к богине.

Хлопья шерсти, как серые глыбы земли, спадали с гладкого мрамора. И опять, точно так же, как двести лет назад, во Флоренции, выходила из гроба воскресшая богиня.

Веревки натягивались, блоки скрипели. Она подымалась, вставала все выше и выше. Петр, стоя на лесенке и укрепляя на подножии статую, охватил ее обеими руками, точно обнял.

- Венера в объятиях Марса! - не утерпел-таки умилившись классик Леблон.

- Так хороши они оба, - воскликнула молоденькая фрейлина кронпринцессы Шарлотты, - что я бы, на месте Царицы, приревновала!

Петр был почти такого же нечеловеческого роста, как статуя. И человеческое лицо его оставалось благородным равно с божеским: человек был достоин богини.

Еще в последний раз качнулась она, дрогнула - и стала вдруг неподвижно, прямо, утвердившись на подножии.

То было изваяние Праксителя: Афродита Анадиомена - Пенорожденная, и Урания - Небесная, древняя финикийская Астарта, вавилонская Милитта, Праматерь Пишущего, великая Кормилица - та, что наполнила небо звездами, как семенами, и разлила, как молоко из груди своей. Млечный Путь.

Она была и здесь все такая же, как на холмах Флоренции, где смотрел на нее ученик Леонардо да Винчи в суеверном ужасе; и как еще раньше, в глубине Каппадокии, близ древнего замка Мацеллума, в опустевшем храме, где молился ей последний поклонник ее, бледный худенький мальчик в темных одеждах, будущий император Юлиан Отступник. Все такая же невинная и сладострастная, нагая и не стыдящаяся наготы своей. С того самого дня, как вышла из тысячелетней могилы своей, там, во Флоренции, шла она все дальше и дальше, из века в век, из народа в народ, нигде не останавливаясь, пока, наконец, в победоносном шествии, не достигла последних пределов земли - Гиперборейской Скифии, за которой уже нет ничего, кроме ночи и хаоса. И утвердившись на подножии, впервые взглянула как будто удивленными и любопытными очами на эту чуждую, новую землю, на эти плоские мшистые топи, на этот странный город, подобный селениям кочующих варваров, на это не дневное, не ночное небо, на эти черные, сонные, страшные волны.

подобные волнам подземного Стикса. Страна эта не похожа была на ее олимпийскую светлую родину, безнадежна, как страна забвения, как темный Аид. И все-таки богиня улыбнулась вечною улыбкою, как улыбнулось бысолнце, если бы проникло в темный Аид.

Петр Андреич Толстой, по просьбе дам, прочел собственного сочинения вирши "О Купиде", древний анакреонов гимн Эросу: Некогда в розах Любовь, Спящую не усмотрев Пчелку, ею ужаленный В палец руки, зарыдал, И побежав, и взлетев К Венус красавице: Гину я, мати, сказал, Гину, умираю я?

Змей меня малый кольнул С крыльями, коего пахари Пчелкой зовут.

Венус же сыну в ответ: Если жало пчельное Столь тебе болезненно,
Сколь же, чай, больнее тем, Коих ты, дитя, язвишь!

Дамам, которые никаких русских стихов еще не знали, кроме церковных кантов и псалмов, показалась песенка очаровательной.

Она и кстати пришлась, потому что в это самое мгновение Петр собственноручно зажег и пустил вместо первой ракеты фейерверка, летучую машину в виде Купидона с горящим факелом. Скользя по невидимой проволоке, Купидон полетел от галереи к парому на Неве, где стояли щиты "для огненной потехи по плану фитильному", и факелом своим зажег первую аллегория - жертвенник из бриллиантовых огней с двумя пылающими рубиновыми сердцами. На одном из них изумрудным огнем выведено было латинское р, на другом - С: Petrus, Catharina. Сердца слились в одно, и появилась надпись: Из двух едино сочиняю. Это означало, что богиня Венуси Купидо благословляют брачный союз Петра с Екатериною.

Появилась другая фигура - прозрачная, светящаяся картина-транспарант с двумя изображениями: на одной стороне - бог Нептун смотрит на только что построенную среди моря крепость Кроншлот - с надписью: Videt stupescit. Видит и удивляется. На другой - Петербург, новый город среди болот и лесов - с надписью: Urbs ubi silva fuit. Град, где был лес.

Петр, большой любитель фейерверков, всегда самоуправлявший всем, объяснял аллегории зрителям.

С грохочущим свистом, снопами огненных колосьев, взвились под самое небо бесчисленные ракеты и в темной вышине рассыпались дождем медленно падавших, таявших, красных, голубых, зеленых, фиолетовых звезд. Нева отразила их и удвоила в своем черном зеркале. Завертелись огненные колеса, забили огненные фонтаны, зашипели, запрыгали швермеры; и водяные, и воздушные шары, лопаясь как бомбы, затрещали оглушительным треском.

Открылись пламенные чертоги с горящими столбами, сводами, лестницами - и в ослепительной, как солнце, глубине вспыхнула последняя картина: ваятель, похожий на титана Прометея - перед недоконченною статуей, Которую высекает он резцом и молотом из мраморной глыбы; вверху Всевидящее Око в лучах с надписью Deo iuvante. - С помощью Божией. Каменная глыба означала древнюю

Русь; статуя, недоконченная, но уже похожая на богиню Венус - новую Россию; ваятель был Петр.

Картина не совсем удалась: статуя слишком скородогорела, свалилась к ногам ваятеля, разрушилась. Казалось, он ударял в пустоту. И молот рассыпался, рукапоникла. Всевидящее Око померкло, как будто подозрительно прищурилось, зловеще подмигивая.

На это, впрочем, никто не обратил внимания, так как все были заняты новым зрелищем. В клубах дыма, освещенных радугой бенгальских огней, появилось огромное Чудовище, не то конь, не то змей, с чешуйчатым хвостом, колючими плавниками и крыльями. Оно плыло по Неве от крепости к Летнему саду. Множество лодок, наполненных гребцами, тащили его на канате. В исполинской раковине на спине чудовища сидел Нептун с длинной белой бородой и трезубцем; у ног его - сирены и тритоны, трубившие в трубы: "тритоны северного Нептуна в трубы свои, по морям шествуя, царя Российского фамуразносят", Славу (лат. fama).

объяснил один из зрителей, иеромонах флота Гавриил Бужинский. Чудовище влекло за собою шесть пар пустых, плотно закупоренных бочек с кардиналами Всепутейшего Собора, сидевшими верхом и крепко привязанными, чтобы не упасть в воду, по одному на каждой бочке. Так они плыли гуськом, пара за парой, и звонко дудели в коровьи рога. Далее следовал целый плот из таких же бочек с огромным чаном пива, в котором плавал в деревянном ковше, как в лодке, князь-папа, архиерей бога Бахуса. Сам Бахус тут же сидел на плоском краю чана.

Под звуки торжественной музыки вся эта водяная машина медленно приблизилась к Летнему саду, причалила у средней галереи, и боги вошли в нее.

Нептун оказался царским шутом, старым боярином Семеном Тургеневым; сирены, с длинными рыбьими хвостами, которые волочились, как шлейфы, так что ног почти не видно было, - дворовыми девками; тритоны - конюхами генерал-адмирала Апраксина; сатир или пан, сопровождавший Бахуса, - французским танцмейстером князя Меншикова. Ловкий француз проделывал такие прыжки, что можно было подумать - ноги у него козлиные, как

унастоящего фавна. Бахус в тигровой шкуре, в венке из стеклянного винограда, с колбасой в одной руке и штофом в другой, был регент придворных певчих, Конон Карпов, необыкновенно жирный малый с красною рожею. Для большей естественности поили его нещадно три дня, так что, по выражению своих собутыльников, Конон налился как клюква и стал живой Ивашка Хмельницкий.

Боги окружили статую Венеры. Бахус, благоговейно поддерживаемый под руки кардиналами и князем-папою, стал на колени перед статуей, поклонился ей до земли и возгласил громopodobным басом, достойным протодьякона:

- Всечестнейшая мати Венус, смиренный холопья Ивашка-Бахус, от сожженной Семелы рожденный, изжатель виноградного веселья, на сынишку твоего Еремку челом бьет. Не вели ему, Еремке шальному, нас, людей твоих обижать, сердца уязвлять, души погублять. Ей, государыня, смилуйся, пожалуй!

Кардиналы грянули хором: Амины!

Карпов затащил было с пьяных глаз Достойно естьяко воистину, но его остановили вовремя.

Князь-папа, дряхлый государев дядька, боярин и стольник царя Алексея, Никита Моисеич Зотов, в шутовской мантии из алого бархата с горностаями, в трехвенечной жестяной тиаре, украшенной непристойным изображением голого Еремки-Эроса, поставил перед подножием Венусна треножник из кухонных вертелов круглый медный таз в котором варили обыкновенно жженку, налил в него водки и зажег. На длинных, гнувшихся от тяжести шестах царские гренадеры принесли огромный ушат перцовки. Кромелиц духовных, которые здесь так же присутствовали, как на других подобных шутовских собраниях, все гости, не только кавалеры, но и дамы, даже девицы, должны были по очереди подходить к ушату, принимать от князя-папы большую деревянную ложку с перцовкою и, выпив почти все, несколько оставшихся капель вылить на жертвенник; потом кавалеры целовали Венус, смотря по возрасту, молодые в ручку, старые в ножку; а дамы, кланяясь ей, приседали чинно, с "церемониальным куплиентом. Все это, до последней мелочи заранее обдуманное и назначенное самим государем, исполнялось с точностью, под угрозой "жестокоего штрафа" и даже плетей.

Старая царица Прасковья Федоровна, невестка Петра, вдова брата его, царя Иоанна Алексеевича, тоже пила водку из ушата и кланялась Венере. Она вообще угождала Петру, покоряясь всем новшествам: против ветра, мол, не пойди". Но на этот раз у почтенной старушки в темном, вдовьем шушуне - Петр позволял ей одеваться по-старинному,- когда она приседала "на немецкий манер" перед бесстыжею голою девкою", заскребли-таки на сердцекошки. "В землю бы легла, только бы этого всего не видеть."- думала она. Царевич тоже с покорностью поцеловал ручку Венус. Михаиле Петрович Аврамов хотел спрятаться; но его отыскивали, притащили насильно;

в испуге он дрожал, бледнел, корчился, обливался потом чуть в обморок не упал, когда, прикладываясь к бесовойне, почувствовал на губах своих прикосновение холодного мрамора, но исполнил обряд в точности, под строгим взором царя, которого боялся еще больше, чем белых грудей.

Богиня, казалось, безгневно смотрела на эти кощунственные маски богов, на эти шалости варваров. Они служили ей невольно и в самом кощунстве., Шутовской треножник превратился в истинный жертвенник, где в подвижном тонком, как жало змеи, голубоватом пламени горела душа Диониса, родного ей бога. И озаренная этим пламенем, богиня улыбалась мудрою улыбкою.

Начался пир. На верхнем конце стола, под навесом из хмеля и брусничника с кочек родимых - болот, заменявшего классические мирты, сидел Бахус верхом набочке, из которой князь-папа цедил вино в стаканы. Толстой, обратившись к Бахусу, прочел другие вирши, тоже собственного сочинения - перевод Анакреоновой песенки: Бахус, Зевсово дитя, Мыслей гонитель Лией!

Когда в голову мою Войдет, винодавец, он Заставит меня плясать: И нечто приятное Бываю, когда напьюсь;

Бью в ладоши и пою, И тешусь Венерою, И непрестанно пляшу.

Лией (Lyaeus - лат.- "отгоняющий заботы"

- поэтическое наименование Бахуса. "приносящий утешение") -

Из оных виршей должно признать,- заметил Петр,- что сей Анакреон изрядный был пьяница и прохладного жития человек.

После обычных заздравных чар за процветание российского флота, за государя и государыню, поднялся архимандрит Феодосий Яновский с торжественным видом и стаканом в руках.

Несмотря на выражение польского гонора в лице - он был родом из мелкой польской шляхты, - несмотря на голубую орденскую ленту и алмазную панагию с государевой персоною на одной стороне, с Распятием на другой - напервой было больше алмазов, и они были крупнее, чем на второй, - несмотря на все это, Феодосий, по выражению Аврамова, собою был видом аки изумор, то есть, заморышили недоносок. Маленький, худенький, востренький, в высочайшем клобуке с длинными складками черного крепа, в широчайшей бейберовской рясе с развевающимися черными воскрыльями, напоминал он огромную летучую мышь.

Но когда шутил и, в особенности, когда кощунствовал, что постоянно с ним случалось "на подпитках", хитренькие глазки искрились таким язвительным умом, такою дерзкою веселостью, что жалобная мордочка летучей мыши или недоноска становилась почти привлекательной.

- Не ласкательное слово сие, - обратился Феодосий к царю, - но сущее из самого сердца говорю: через вашего царского величества дела мы из тьмы неведения на феатр славы, из небытия в бытие произведены и уже в общеполитических народов присовокуплены. Ты во всем обновил, государь, или паче вновь родил своих подданных.

Что была Россия прежде и что есть ныне? Посмотрим ли здания? На место хижин грубых явились палаты светлые, на место хвороста сухого - вертограды цветущие.

Посмотрим ли на градские крепости? Имеем такие вещи, каковых и фигур на хартиях прежде не видывали...

Долго еще говорил он о книгах судейских, свободных учениях, искусствах, о флоте - "оруженосных сих ковчегах" - об исправлении и обновлении церкви.

- А ты, - воскликнул он в заключение, в риторском жаре взмахнув широкими рукавами рясы, как черными крыльями, и сделавшись еще более похожим на летучую мышь, - а ты. новый, новоявленный град Петров, невысокая ли слава еси фундатора твоего? Ибо, где и

помысла никому не было о жительстве человеческом, вскореустроилось место, достойное престола царского. Urbs ubi& silva fuit. Град, идеже был лес. И кто расположение града сего не похвалит? Не только всю Россию красотою превосходит место, но и в иных европейских странах подобноеобрестись не может! На веселом месте создан есть! Воистину, ваше величество, сочинил ты из России самуюметаморфозис или претворение!

Алексей слушал и смотрел на Федоску внимательно.

Когда тот говорил о "веселом расположении" Петербурга, глаза его встретились на одно мгновение, как будто нечаянно, с глазами царевича, которому вдруг показалось, или только почудилось, что в глубине этих глаз промелькнула какая-то насмешливая искорка. И вспомнилось ему, как часто при нем, конечно, в отсутствие батюшки, ругаяэто веселое место, Федоска называл его чертовым болотом и чертовой сторонешкой. Впрочем, давно уже царевичу казалось, что Федоска смеется над батюшкой почтительно, в лицо ему, но так ловко и тонко, что этого никтоне замечает, кроме него, Алексея, с которым каждый разв подобных случаях менялся Федоска быстрым, лукавым, как будто сообщническим, взглядом.

Петр, как всегда на церемониальные речи, ответилкратко:

- зело желаю, чтобы весь народ прямо узнал, чтоГосподь нам сделал. Не надлежит и впредь ослабевать, но трудиться о пользе, о прибытке общем, который Богнам пред очами кладет.

И, вступив опять в обычный разговор, изложил поголландски,- чтобы иностранцы также могли понять,мысль, которую слышал недавно от философа Лейбницаи которая ему очень понравилась -"о коловращении наук":

науки и художества родились на Востоке и в Греции;

оттуда перешли в Италию, потом во Францию, Германию и, наконец, через Польшу в Россию. Теперь пришла и нашачереда. Через нас вернутся они вновь в Грецию и на Восток, в первоначальную родину, совершив в своем течении полный круг.

- Сия Венус,- заключил Петр уже по-русски, особою, свойственной ему, простодушною витиеватостью, указывая на статую,- сия Венус пришла к нам оттоле, из Греции. Уже Марсовым плугом все у нас испахано инасеяно. И ныне ожидаем доброго рождения, в чем.

Господи. помози! Да не укуснеет сей плод наш. яко фиников, которого насаждающие не получают видеть. Ныне же и Венус, богиня всякого любезного приятства, согласия, домашнего и политического мира, да сочетается с Марсом на славу имени РОССИЙСКОГО.

- Виват! Виват! Виват Петр Великий, Отец отечества, Император Всероссийский!- закричали все, подымая стаканы с венгерским.

Императорский титул, еще не объявленный ни в Европе, ни даже в России,- здесь, в кругу птенцов Петровых, уже был принят.

В левом дамском крыле галереи раздвинули столы и начали танцы. Военные трубы, гобои, литавры семеновцев и преображенцев, доносясь из-за деревьев Летнего сада, смягченные далью, а, может быть, и очарованием богини - здесь, у ее подножия, звучали, как нежные флейты и виолядамуры в царстве Купидо, где пасутся овечки на мягких лугах, и пастушки развязывают пояса пастушкам. Петр Андреич Толстой, который шел в менюэте с княгиней Черкасскою, напевал ей на ухо своим бархатным голосом под звуки музыки.

Покинь, Купидо, стрелы: Уже мы все не целы.

Но сладко уязвленны Любовною стрелою Твоею золотою, Любви все покоренны.

И жеманно приседая перед кавалерами, как того требовал чин менюэта, хорошенькая княгиня отвечала томной улыбкой пастушки Хлои семидесятилетнему юноше Дафнису.

А в темных аллеях, беседках, во всех укромных уголках Летнего сада, слышались шепоты, шорохи, шелесты, поцелуи и вздохи любви. Богиня Венус уже царила в Гиперборейской Скифии.

Как настоящие скифы и варвары, рассуждали о любовных проказах своих кумушек, фрейлин, придворных мамзелей или даже попросту "девок", государевы денщики и камер-пажи в дубовой рощице у Летнего дворца, сидя вдали от всех, особою кучкою, так что их никто не слышал.

В присутствии женщин они были скромны и застенчивы; но между собою говорили о "бабах" и "девках" звериным бесстыдством.

- Девка-то Гаментова с Хозяином ночь переспала, равнодушно объявил один.

Гаментова была Марья Вилимовна Гамильтон, фрейлина государыни.

- Хозяин - галант, не может без метресок жить, Заметил другой.
- Ей не с первым,- возразил камер-паж, мальчонка лет пятнадцати, с важностью сплевывая и снова затягиваясь трубкою, от которой его тошнило.- Еще до Хозяина-то с Васюхой Машка брюхо сделала.
- И куда только они ребят девают?- удивился первый.
- А муж не знает, где жена гуляет!- ухмыльнулся мальчонка.- Я, братцы, давеча сам из-за кустов видел, как Вилька Монсов с хозяйкой амурился...

Вилим Монс был камер-юнкер государыни - "немецкой породы", но очень ловкий и красивый.

И подсев ближе друг к другу, шепотом на ухо принялись они сообщать еще более любопытные слухи о том, что недавно, тут же в царском огороде, при чистке засоренных труб одного из фонтанов, найдено мертвое тело младенца, обернутое в дворцовую салфетку.

В Летнем саду был неизбежный по плану для всех французских садов так называемый грот: небольшое четырехугольное здание на берегу речки Фонтанной, снаружи довольно нелепое, напоминавшее голландскую кирку, внутри действительно похожее на подводную пещеру, убранное большими раковинами, перламутром, кораллами, ноздреватыми камнями, со множеством фонтанов и водяных струек, бивших в мраморные чаши, с тем чрезмерным для петербургской сырости обилием Воды, которое любил Петр.

Здесь почтенные старички, сенаторы и сановники беседовали тоже о любви и о женщинах.

- В старину-то было доброе супружество по схименье, а ныне прелюбодеяние за некую галантеристию почитается, и сие от самых мужей, которые спокойным серд

цем зрят, как жены их с прочими любятя, да еще глупцами называют нас, честь поставляющих в месте столь слабом. Дали бабам волю - погодите, уж всем нам сядутна шею!- ворчал самый древний из старичков.

Старичок помоложе заметил, что "приятно молодыми незаматерелым в древних обычаях людям вольное обхождение с женским полом"; что "ныне страсть любовная, почти в грубых нравах незнаемая, начала чувствительными сердцами овладевать"; что "брак

пожинает в одиндень все цветы, кои амур производил многие лета", и что "ревнование есть лихоманка амура".

- Всегда были красные жены блудливы,- решил старичок из средних.- А у нынешних верченых бабенок в ребрах бесы дома, конечно, построили. Такая уж у них политика, что и слышать не хотят ни о чем кроме амуров.

На них глядя, и маленькие девочки думают, как поамуриться, да не смыслят, бедные: того ради младенчески мины употребляют. О, коль желание быть приятной действует над чувствами жен!

В грот вошла государыня Екатерина Алексеевна, в сопровождении камер-юнкера Монса и фрейлины Гамильтон, гордой шотландки с лицом Дианы.

Старичок помоложе, видя, что государыня прислушивается к беседе, любезно принял дам под свою защиту.

- Самая истина доказывает нам почтительное свойство рода женского тем, что Бог в заключение всего, в последний день сотворил жену Адамову, точно без того исвету быть несовершенным. Уверяют, что в едином составе тела женского все то собрано, что лучшего и прелестного целый свет в себе имеет. Прибавляя к толиким авантажам красоту разума, можно ли нам их добротам не дивиться, и чем может кавалер извиниться, если должное почтение им не будет оказывать? А ежели и суть со стороных некоторые нежные слабости, то надлежит помнить, что и нежна есть материя, от которой они взяты...

Старый старичок только головой покачивал. По лицу его видно было, что он по-прежнему думает: "рак не рыба, а баба не человек; баба да бес - один в них вес".

В просвете между разорванных туч, на бездонно-ясном и грустном, золотисто-зеленом небе тонкий серебряный серп новорожденного месяца блеснул и кинул нежный луч в глубину пустынной аллеи, где у фонтана, в полукруге высоких шпалер из подстриженной зелени, под мраморной Помоной, на дерновой скамье сидела одинокая девушка лет семнадцати, в роброне на фижмах из розовой тафты с желтенькими китайскими цветочками, с перетянутой в рюмочку талией, с модною прическою. Расцветающая Приятность, но с таким русским, простым лицом, что видно было -

она еще недавно приехала из деревенского затишья, где росла среди мамушек и нянюшек подсоломенной кровлею старинной усадьбы.

Робко оглядываясь, расстегнула она две-три пуговицы платья и проворно вынула спрятанную на груди, свернутую в трубочку, теплую от прикосновения тела, бумажку.

То была любовная цидулка от девятнадцатилетнего двоюродного брата, которого по указу царскому забрали из того же деревенского затишья прямо в Петербург, в навигацкую школу при Адмиралтействе, и на днях отправили на военном фрегате, вместе с другими гардемаринами, не то в Кадикс, не то в Лиссабон - как он сам выражался, - к черту на кулички.

При свете белой ночи и месяца девушка прочла цидулку, нацарапанную по линейкам, крупными и круглыми детскими буквами:

- "Сокровище мое сердешное и ангел Настенька!

Я желал бы знать, почему не прислала ты мне последнего поцелуя. Купидон, вор проклятый, пробил стрелой сердце. Тоска великая - сердце кровавое рудою запеклося".

Здесь между строк нарисовано было кровью вмести чернил сердце, пронзенное двумя стрелами; красные точки обозначали капли крови.

Далее следовали, должно быть, откуда-нибудь списанные вирши:

Вспомни, радость прелюбезна, как мы веселились.

И приятных разговоров с тобой насладились.

Уже ныне сколько время не зрю мою радость: Прилети, моя голубка, сердечная сладость!

Если вас сподоблюсь видеть, закричу: ах, светик мой!

Ты ли, радость, предо мной?..

Прочитав цидулку, Настенька снова так же тщательно свернула ее в трубочку, спрятала под платье на груди, опустила голову и закрыла лицо платочком, надушенным Вздохами Амура.

Когда же отняла его и взглянула на небо, то похожая на чудовище с разинутой пастью, черная туча почти съела тонкий месяц. Последний луч его блеснул в слезинке, повисшей на реснице девушки. Она смотрела, как месяц исчезал, и напевала чуть слышно

единственную знакомую, Бог весть откуда долетевшую к ней, любовную песенку:

Хоть пойду в сады и винограды, Не имею в сердце никакой отрады.

О, коль тягостно голубою без перья летати, Столь мне без друга мила тошно пребывати.

И теперь я, младенька, в слезах унываю, Что я друга сердечна давно не выдаю.

Вокруг нее и на ней все было чужое, искусственное "на Версальский манер"- и фонтан, и Помона, и шпалеры, и фижмы, и роброн из розовой тафтицы с желтенькими китайскими цветочками, и прическа Расцветающая Приятность, и духи Вздохи Амура. Только сама она, со своим тихим горем и тихою песней, была простая, русская, точно такая же, как под соломенную кровлю дедовской усадьбы.

А рядом, в темных аллеях и беседках, во всех укромных уголках Летнего сада, по-прежнему слышались шепоты, поцелуи и вздохи любви. И звуки менуэта доносились, как пастушеские флейты и виольдамуры из царства Венус, томным напевом:

Покинь, Купидо, стрелы: Уже мы все не целы, Но сладко уязвлены Любовною стрелою Твоею золотою, Любви все покоренны.

В галерее, за царским столом, продолжалась беседа.

Петр говорил с монахами о происхождении эллинского многобожия, недоумевая, как древние греки, "довольное имея понятие об уставах природы и о принципах математических, идолов своих бездушных богами называть и верить в них могли".

Михаиле Петрович Аврамов не вытерпел, сел на своего конька и пустился доказывать, что боги существуют, и что мнимые боги суть подлинные бесы.

- Ты говоришь о них так,- удивился Петр,- как будто сам их видел.

- Не я, а другие, точно, их видели, ваше величество, собственными глазами видели!- воскликнул Аврамов.

Он вынул из кармана толстый кожаный бумажник, порылся в нем, достал две пожелтевшие вырезки из голландских курантов и стал читать, переводя на русский язык: "Из Гишпании уведомляют:

некоторый иностранный человек привез с собою в Барселону-град Сатира, мужика в шерсти, как в еловой коре, с козьими рогами и копытами. Ест хлеб и молоко и ничего не говорит, а только блеет по-козлиному. Которая уродливая фигура привлекает много зрителей".

Во второй реляции было сказано:

"В Ютландии рыбаки поймали Сирену, или морскую женщину. Оное морское чудовище походит сверху на человека, а снизу на рыбу; цвет на теле желто-бледный; глаза затворены; на голове волосы черные, а руки заросли между пальцами кожей так, как гусиные лапы. Рыбаки вытащили сеть на берег с великим трудом, причем всю изорвали. И сделали тутошние жители чрезвычайную бочку и налили соленую водою, и морскую женщину туда посадили: таким образом надеются беречь от согнития. Сие в ведомость внесено потому, что, хотя о чудесах морских многие фабулы бывали, а сие за истину уверить можно, что оное морское чудовище, так удивительное, поймано.

Из Роттер-дама, 27 апреля 1714 года".

Печатаному верили, а в особенности иностранным ведомостям, ибо, если и за морем врут, то где ж правдуискать? Многие из присутствующих верили в русалок, водяных, леших, домовых, кикимор, оборотней и не только верили, но и видели их, тоже собственными глазами. А ежели есть лешие, то почему бы не быть и сатирам? Ежели есть русалки, почему бы не быть морским женщинам с рыбьими хвостами? Но тогда, ведь, и прочие и даже эта самая Венус, может быть, действительно существуют?

Все умолкли, притихли - и в этой тишине пронеслось что-то жуткое - как будто все вдруг смутно почувствовали, что делают то, чего не должно делать.

Все ниже, все чернее опускалось небо, покрытое тучами. Все ярче вспыхивали голубые зарницы, или безгромные молнии. И казалось, что в этих " пышках на темном небе отражаются точно такие же вспышки голубоватого пламени на жертвеннике, все еще горевшем перед подножием статуи; или - что в самом этом темном небе, как в опрокинутой чаше исполинского жертвенника, скрыто за тучами, как за черными углями, голубое пламя и, порой вырываясь оттуда, вспыхивает молниями. И пламя небес, И пламя жертвенника, отвечая

друг другу, как будто велиразговор о грозной, неведомой людям, но уже на земле и на небе совершающейся тайне.

Царевич, сидевший недалеко от статуи, в первый раз взглянул на нее пристально, после чтения курантных выдержек. И белое голое тело богини показалось ему таким знакомым, как будто он уже где-то видел его и даже больше, чем видел: как будто этот девственный изгиб спины и эти ямочки у плеч снились ему в самых грешных страстных, тайных снах, которых он перед самым собой

стыдился. Вдруг вспомнил, что точно такой же изгиб спины, точно такие же ямочки плеч он видел на теле своей любовницы, дворовой девки Евфросиньи. Голова у него кружилась, должно быть, от вина, от жары, от духоты и от всего этого чудовищного праздника, похожего на бред. Он еще раз взглянул на статую, и это белое голое тело в двойном освещении - от красных дымных площаек люминации и от голубого пламени на треножнике показалось ему таким живым, страшным и соблазнительным, что он потупил глаза. Неужели и ему, как Аврамову, богиня Венус когда-нибудь явится ужасающим и отвратительным оборотнем, дворовою девкою Афроською? Он сотворил мысленно крестное знамение.

- Не диво, что эллины, закона христианского не знавшие, поклонялись идолам бездушным,- возобновил Федоска прерванную чтением беседу,- а диво то, что мы, христиане, истинного иконопочитания не разумея, поклоняемся иконам суще как идолам!

Начался один из тех разговоров, которые так любил Петр - о всяких ложных чудесах и знамениях, о плутовстве монахов, кликуш, бесноватых, юродивых, о "бабьих баснях и мужичьих забобонах длинных бород", то есть, о суевериях русских попов. Еще раз должен был прослушать Алексей все эти давно известные и опостылевшие рассказы: о привезенной монахами из Иерусалима в дар Екатерине Алексеевне нетленной, будто бы, и на огне не горевшей срачице. Пресвятой Богородицы, которая по исследовании оказалась сотканной из волокон' особой несгораемой ткани - аммианта; о натуральных мощах Лифляндской девицы фон-Грот: кожа этих мощей "была подобна выделанной, натянутой свиной, и будучи пальцем вдавлена, расправлялась весьма упруго"; о других-поддельных, из слоновой кости, мощах, которые Петр белел

отправить новоучрежденную петербургскую Кунсткамеру, как памятник "суперстиции, ныне уже духовных тщанием избегаемой".

- Да много в церкви российской о чудесах напутано- как будто сокрушенно, на самом деле злорадно заметил Федора и упомянул о последнем ложном чуде: в одной бедной церкви на Петербургской стороне объявилась икона Божией Матери, которая источала слезы, Предрекая, будто бы, великие бедствия и даже конечное разорение новому городу. Петр, услышав об этом от Федоски, немедленно поехал в ту церковь, осмотрел икону и обнаружил обман. Это случилось недавно: в Кунсткамеру не успели еще отправить икону, и она пока хранилась у государя в Летнем дворце, небольшом голландском домике, тут же в саду, в двух шагах от галереи, на углу Невы и Фонтанной. Царь, желая показать ее собеседникам, велел одному из денщиков принести икону.

Когда посланный вернулся, Петр встал из-за стола, вышел на небольшую площадку перед статуей Венус, где было просторнее, прислонился спиной к мраморному подножию и, держа в руках образ, начал подробно и тщательно объяснять "плутовскую механику". Все окружили его, точно так же теснясь, приподымаясь на цыпочки, с любопытством заглядывая друг другу через плечи иголовы как давеча, когда откупоривали ящик со статуей.

Федоска держал свечу.

Икона была древняя. Лик темный, почти черный; только большие, скорбные, будто немного припухшие от слез глаза, смотрели как живые. Царевич с детства любил и читал этот образ - Божией Матери Всех Скорбящих Радости.

Петр снял серебряную, усыпанную драгоценными камнями ризу, которая едва держалась, потому что была уже оторвана при первом осмотре. Потом отвинтил новые медные винтики, которыми прикреплялась к исподней стороне иконы тоже новая липовая дощечка; посередине вставлена была в нее другая, меньшая; она свободно ходила на пружинке, уступая и вдавливаясь под самым легким нажимом руки. Сняв обе дощечки, он показал две лунки или ямочки, выдолбленные в дереве против глаз Богоматери. Грецкие губочки, налитые водою, клались в эти лунки, и вода

просачивалась сквозь едва заметные просверленные в глазах дырочки, образуя капли, похожи на слезы.

Для большей ясности Петр тут же сделал опыт: он помочил водою губочки, вложил их в лунки, надавил дощечку - и слезы потекли.

- Вот источник чудотворных слез,- сказал Петр. Нехитрая механика!

Лицо его было спокойно, как будто объяснил он любопытную "игру натуры", или другую диковинку в Кунсткамере.

- Да, много наплутано!..- повторил Федоска с тихой усмешкой.

Все молчали. Кто-то глухо простонал, должно быть пьяный, во сне; кто-то хихикнул так странно и неожиданно, что на него оглянулись почти с испугом.

Алексей давно порывался уйти. Но оцепенение нашло на него, как в бреду, когда человек порывается бежать, и ноги не двигаются, хочет крикнуть, и голоса нет. В этом оцепенении стоял он и смотрел, как Федоска держит свечу, как по дереву иконы проворно копошатся, шевелятся ловкие руки Петра, как слезы текут по скорбному Лику, а над всем белеет голое страшное и соблазнительное тело Венус. Он смотрел - и тоска, подобная смертельной тошноте, подступала к сердцу его, сжимала горло. И ему казалось, что это никогда не кончится, что это все было, есть и будет в вечности.

Вдруг ослепляющая молния сверкнула, как будто разверзлась над головой их огненная бездна. И сквозь стеклянный купол облил мраморную статую нестерпимый, белый, белее солнца, пламенеющий свет. Почти в то же мгновение раздался короткий, но такой оглушительный треск, как будто свод неба распался и рушился.

Наступила тьма, после блеска молнии непроницаемо черная, как тьма подземелья. И тотчас в этой черноте завывала, засвистела, загрохотала буря, с вихрем, подобным урагану, с хлещущим дождем и градом.

В галерее все смешалось. Слышались пронзительные визги женщин. Одна из них в припадке кликала и плакала, точно смеялась. Обезумевшие люди бежали, сами не зная куда, сталкивались, падали, давили друг друга. Кто-то вопил отчаянным воплем: "Никола Чудотворец!.. Пресвятая Матерь Богородица!.. Помилуй!.."

Петр, выронив икону из рук, бросился отыскивать царицу.

Пламя опрокинутого треножника, потухая, вспыхнуло последний раз огромным, раздвоенным, как жало змеи, голубым языком и озарило лицо богини. Среди бури, мрака и ужаса оно одно было спокойно.

Кто-то наступил на икону. Алексей, наклонившийся, чтобы поднять ее, услышал, как дерево хрустнуло. Икона раскололась пополам.

КНИГА ВТОРАЯ АНТИХРИСТ

Древян гроб сосновен Ради меня строен.

Буду в нем лежати, Трубна гласа ждати.

То была песня раскольников - гробополагателей.

"Через семь тысяч лет от создания мира, говорили они, второе пришествие Христова будет, а ежели не будет, томы и самое Евангелие сожжем, прочим же книгам и верить нечего". И покидали дома, земли, скот, имущество, каждую ночь уходили в поля и леса, одевались в чистые белые рубахи-саваны, ложились в долбленные из цельного дерева гробы и, сами себя отпевая, с минуты на минуту ожидали трубного гласа - "встречали Христа".

Против мыса, образуемого Новою и Малою Невкою, в самом широком месте реки, у Гагаринских пеньковыхбуянов, среди других плотов, барок, стругов и карбусов, стояли дубовые плоты царевича Алексея, сплавленные из Нижегородского края в Петербург для Адмиралтейской верфи. В ночь праздника Венеры в Летнем саду, сидел на одном из этих плотов у руля старый лодочник бурлак, в драном овчинном тулупе, несмотря на жаркую пору, и в лаптях. Звали его Иванушкой-дурачком, считали блаженным или помешанным. Уже тридцать лет, изодня в день, из месяца в месяц, из года в год, каждую ночь до "петелева глашения" - крика петуха, он бодрствовал, встречая Христа, и пел все одну и ту же песню гробополагателей. Сидя над самою водою на скользких бревнах, согнувшись, подняв колени, охватив их руками, смотрел он с ожиданием на зиявшие меж черных разорванных туч просветы золотисто-зеленого неба. Неподвижный взор его из-под спутанных седых волос, неподвижное лицо полны были ужасом и надеждою. Медленно пока

чиваясь из стороны в сторону, он пел протяжным, заунывным голосом:

Древян гроб сосновен
Ради меня строен.

Буду в нем лежати,
Трубна гласа ждати.

Ангелы вострубят,
Из гробов возбудят,
Пойду к Богу на суд.

К Богу две дороги,
Широки и долги.

Одна-то дорога Во царство небесно,
Другая дорога Во тьму
кромешну.

- Иванушка, ступай ужинать!- крикнули ему с другого конца плота, где горел костер на сложенных камнях, подобии очага, с подвешенным на трех палках чугуном котелком, в котором варилась уха. Иванушка не слышали продолжал петь.

У огня сидели кругом, беседуя, кроме бурлаков и лодочников, раскольничий старец Корнилий, проповедник самосожжения, шедший с Поморья в леса Керженские за Волгой; ученик его, беглый московский школяр Тихон Запольский; беглый астраханский пушкар Алексей Семисаженный; беглый матрос адмиралтейского ведомства, конопатчик Иван Иванов сын Будлов; подьячий Ларион Докукин; старица Виталия из толка бегунов, которая, по собственному выражению, житие птичье имела, вечностранствовала - оттого, будто бы, и прозывалась Виталией, что "привитала" всюду, нигде не останавливаясь;

ее неразлучная спутница Киликея Босая, кликуша, у которой было "дьявольское наваждение в утробе", и другие, всякого чина и звания, "утаенные люди", бежавшие от несправедливых податей, солдатской рекрутчины, шпицрутенов, каторги, рваньи ноздрей, брадобритья, двуперстного сложения и прочего "страха антихристового".

- Тоска на меня напала великая!- говорила Виталия, старушка еще бодрая и бойкая, вся сморщенная, норумяная, как осеннее яблочко, в темном платке в роспуск. А о чем тоска - и сама не знаю. Дни такие сумрачные, и солнце будто не по-прежнему светит.

- Последнее время, плачевное: антихристов страх возвел на мир, оттого и тоска,- объяснил Корнилий, худенький старичок с обыкновенным мужичьим лицом, рябой и как будто подслеповатый, а в самом деле - с пронзительно-острыми, точно сверлящими, глазками; на нем был раскольничий каптырь вроде монашеского

куколя, черный порыжелый подрясник, кожаный пояс с ременной лестовкою; при каждом движении тихо звякали вериги, въевшиеся в тело - трехпудовая цепь из чугуновых крестов.

- Я и то смекаю, отче Корнилий,- продолжала странница,- никак-де ныне остаточные веки. Немного светужить, говорят: в пол-полосьмой тысяче конец будет?

- Нет,- возразил старец с уверенностью,- и того не достанет...

- Господи помилуй!- тяжело вздохнул кто-то. Бог знает, а мы только знаем, что Господи помилуй!

И все умолкли. Тучи закрыли просвет, небо и Нева потемнели. Ярче стали вспыхивать зарницы, и каждый раз в их бледно-голубом сиянии бледно-золотая, тонкая игла Петропавловской крепости сверкала, отражаясь в Неве. Чернели каменные бастионы и плоские, точно вдавленные, берега с тоже плоскими, мазанковыми зданиями товарных складов, пеньковых амбаров и гарнизонных цейхаузов. Вдали, на другом берегу, сквозь деревья Летнего сада, мелькали огоньки иллюминации. С острова Кейвусари. Березового, веяло последним дыханием поздней весны, запахом ели, берез и осин. Маленькая кучка людей на плоском, едва черневшем плоту, озаренная красным пламенем, между черными грозowymi тучами и черною гладью реки, казалась одинокою и потерянною, висящею в воздухе между двумя небесами, двумя безднами.

Когда все умолкли, сделалось так тихо, что слышно было сонное журчание струй под бревнами и с другого конца явственно по воде доносившаяся, все одна и та же, унылая песня Иванушки:

Древян гроб сосновен
Ради меня строен.

Буду в нем лежати,
Трубна гласа ждати.

- А что, соколики,- начала Киликея-кликуша, еще молодая женщина с нежно прозрачным, точно восковым, лицом и с отмороженными - она ходила всегда босая, даже в самую лютую стужу - черными, страшными ногами, похожими на корни старого дерева,- а что, правда ли, слыхала я давеча, здесь же, в Питербурхе, на Обжорном рынке: государя-де ныне на Руси нет, а который и есть государь - и тот не прямой, природы не русской и не царской крови, а либо немец, немцев сын, либо швед обменный?

- Не швед, не немец, а жид проклятый из колена Данова,-объявил старец Корнилий.

- О, Господи, Господи!- опять тяжело вздохнул кто-то,- видишь, роды-де- их царские пошли неистовые.

Заспорили, кто Петр - немец, швед или жид?

- А черт: его знает, кто он такой! Ведьма ли его в ступе высидела, от банной ли мокроты завелся, а только знатно, что оборотень,- решил беглый матрос Будлов, парень лет тридцати, с трезвым и деловитым выражением умного лица, должно быть, когда-то красивого, но обезображенного черным каторжным клеймом на лбу и рваными ноздрями.

- Я, батюшки, знаю, все про государя доподлинно знаю,- подхватила Виталия.- Слыхала я о том на Керженце от старицы бродящей нищей, да крылошанки Вознесенского монастыря в Москве о том же сказывали точно: как-де был наш царь благочестивый Петр Алексеевич за морем в немцах и ходил по немецким землям, и был в Стекольном, а в немецкой земле стекольное царство держит девица, и та девица, над государем ругаясь, ставила его на горячую сковороду, а потом в бочку с гвоздями заковала, да в море пустила.

- Нет, не в бочку,- поправил кто-то,- а в столп закладен.

- Ну, в столп ли, в бочку ли, только пропал без вести - ни слуху, ни духу. А на место его явился оттуда же, из-за моря, некий жидовин проклятый из колена Данова, от нечистой девицы рожденный. И в те поры никто его не познал. А как скоро на Москву наехал,- и все стал творить по-жидовски: у патриарха благословения не принял; к мощам московских чудотворцев не пошел, потому что знал - сила Господня не допустит его, окаянного, до места свята; и гробам прежних благочестивых царей не поклонился, для того что они ему чужие и весьма ненавистны. Никого из царского рода, ни царицы, ни царевича, ни царевен не видал, боясь, что они обличат его, скажут ему, окаянному: "ты не наш, ты не царь, а жид проклятый". Народу в день новолетия не показался, чая себе обличения, как и Гришке Расстриге обличение народное было, и во всем по-расстригиному поступает: святых постов не содержит, в церковь не ходит, в бане каждую субботу не моется, живет блудно с погаными

немцамиизаедино, и ныне на Московском государстве немец сталвелик человек: самый ледащий немец теперь выше боярина и самого патриарха. Да он же, проклятый жидовин, с блудницами немками всенародно пляшет; пьет вино нево славу Божию, а некаконепо и безобразно, какпропойцы кабацкие, валяясь и глумясь в пьянстве: своихже пьяниц одного святейшим патриархом, иных же митрополитами и архиереями называет, а себя самого протодиаконом, всякую срамоту со священными глаголами смешивая,велегласно вопия на потеху своим немецким людям, паче же на поругание всей святыни христианской.

- И се, прореченная Даниилом пророком, стала мерзость запустения на месте святе!- закончил старец Корнилий.

Послышались разные голоса в толпе: - И царица-де Авдотья Федоровна, в Суздале заточенная, рассказывает: крепитесь, мол, держите веру христианскую - это-де не мой царь, иной вышел.

- Он и царевича приводит в свое состояние, да тотего не слушает. И царь-де его за то извести хочет, чтобыему не царствовать.

- О, Господи, Господи! Видишь, какую планидубог насрал, что отец на сына, а сын на отца.

- Какой он ему отец! Сам царевич говорит, что сейне батюшка мне и не царь.

- Государь немцев любит, а царевич немцев не любит: дай мне, говорит, сроку, я-де их подберу. Приходил к нему немчин, рассказывал неведомо какие слова, ицаревич на нем платье сжег и его опалил. Немчин жаловался государю, и тот сказал: для чего вы к нему ходите? Покамест я жив, покамест и вы.

- Это так! Все в народе говорят: как-де будет на царстве наш государь царевич Алексей Петрович, тогда-дегосударь наш Петр Алексеевич убирайся и прочие с ним!

- Истинно, истинно так!-подтверждали радостныеголоса.- Он, царевич, душой о старине горит.

Человек богоискательный!

- Надежда российская!..

- Много басен бабьих нынче ходит в народе: всемуверить нельзя,- заговорил Иван Будлов, и все невольно прислушались к его спокойной деловитой речи.А я опять скажу: швед ли, немец ли, жид,-

черт егознает, кто он таков, а только и впрямь, как его Бог на царство послал, так мы и светлых дней не видали, тягота намир, отдыху нет. Хоть бы нашего брата служивого взять: пятнадцать лет, как со шведом воюем, нигде худо не сделали и кровь свою, не жалеючи, проливали, а и понынесебе не видим покою; через меру лето и осень ходим по морю, на камнях зимуем, с голоду и холоду помираем.

А государство свое все разорил, что в иных местах насыщешь и овцы у мужика. Говорят: умная голова, умнаяголова! Коли б умная голова,- мог бы такую человеческуюнужду рассудить. Где мы мудрость его видим? Выдалштуку в гражданских правах, учинил Сенат. Что прибыли?

Только жалованья берут много. А спросил бы у челобитчиков, решили ль хоть одному безволочитно, прямо.

Да что говорить!.. Всему народу чинится наглость. Так приводит, чтобы из наших душ не было ни малого христианства, последние животы выматывает. Как Бог терпит за такое немилосердие? Ну, да это дело даром не пройдет, бытьобороту: в долге ль, в коротко ль, отольется кровь на главных!

Вдруг одна из слушательниц, доселе безмолвная, бабаАлена Ефимова, с очень простым, добрым лицом, заступилась за царя.

- Мы как и сказать не знаем,- проговорила она тихо, точно про себя,- а только молим: обрати Господи царяв нашу христианскую веру!

Но раздались негодующие голоса;

- Какой он царь? Царишка! Измотался весь. Ходитбез памяти.

- Ожидовел, и жить без того не может, чтобы кровине пить. В который день крови изопьет, в тот день и весел, а в который не изопьет, то и хлеб ему не естся!

- Мироед! Весь мир переел, только на него, кутилку, переводу нет.

-Чтоб ему сквозь землю провалиться!

- Дураки вы, собачьи дети!- крикнул вдруг с яростью пушкарь Алексей Семисаженный, огромного ростарыжий детина, не то со зверским, не то с детским лицом.- Дураки вы, что за свои головы не умеете стоять!

Ведь вы все пропали душою и телом: порубят вас что червей капустных. Взял бы я его, да в мелкие части изрезали тело его

истерзал!

Алена Ефимова только слабо охнула и перекрестилась;
от этих слов, признавалась она впоследствии, ее в огонь бросило.
И прочие оглянулись на Семисаженого со страхом. А он уставился в одну точку глазами, налитымикровью, крепко сжал кулаки, и прибавил тихо, как будто задумчиво, но в этой тишине было что-то еще более страшное, чем ярость:

- Дивлюсь я тому, как его по ся мест не уходят. Ездит рано и поздно по ночам малолетством. Можно бы его изрезать ножом в пять.

Алена вся побледнела, хотела что-то сказать, но только беззвучно пошевелила губами.

- Царя трижды хотели убить,- покачал головою старец Корнилий,- да не убьют: ходят за ним бесы и его берегут.

Крошечный белобрысый солдатик с придурковатым, испитым и болезненным личиком, совсем еще молоденький мальчик, беглый даточный рекрут Петька Жизла, заговорил, торопясь, заикаясь, путаясь и жалобно, поребячьи всхлипывая: "Ох, братики, братики!" Он сообщил, что привезены из-за моря на трех кораблях клейма, чем людей клеймить, никому их не показывают, за крепким караулом держат на Котлине острове, и солдаты стоят при них бессменно.

То были введенные по указу Петра особые рекрутские знаки, о которых в 1712 году писал царь генералу пленипотенциарию князю Якову Долгорукову: "А для знаку рекрутам значит - на левой руке накалывать иглою кресты и натирать порошком".

- Кого припечатают, тому и хлеба дадут, а на компечатей нет, тому хлеба давать не будут, помирай с голоду. Ох, братики, братики, страшное дело!..

- Все тесноты ради пищной приидут к сыну погибелии поклонятся ему,- подтвердил старец Корнилий.

- А иных уже заклеямили,- продолжал Петька. И меня, ведь, ох, братики, братики, и меня, окаянного...

Он с трудом поднял правою рукою бессильно, как плетвь висевшую, левую, поднес ее к свету и показал на ней сверху, между большим и указательным пальцем, рекрутское клеймо, выбитое железными иглами казенного штампа.

- Как припечатали, рука сохнуть стала. И высохла.

Сперва левая, а потом и правая: хочу крест положить не подымается...

Все со страхом разглядывали на желто-бледной коже высохшей, как будто мертвой, руки небольшое, точно изоспелых язвенок, темное пятно. Это было человецъ клеймо, казенный черный крест.

- Она самая и есть,- решил старец Корнилий, печать антихристов! Сказано: даст им знамение на руке, и кто примет печать его, тот власти не имеет осенять туды свои крестным знаменем, но связана рука его будет не узами, а клятвою - и таковым нет покаяния.

- Ох, братики, братики! Что они со мной сделали!..

Когда б я знал, не дался бы им в руки живой. Человека испортили, как скотину тавром заклеямили, припечата

ли!..- судорожно всхлипывал Петька, и крупные слезы текли по ребячьему, жалобному личику.

- Батюшки родимые!- всплеснула руками Киликея кликуша, как будто пораженная внезапною мыслью, ведь все, все к одному выходит: царь-то Петр и есть...

Она не кончила, на губах ее замерло страшное слово.

- А ты что думала? - посмотрел на нее острыми, точно сверлящими, глазками старец Корнилий.- Он самый и есть...

- Нет, не бойтесь. Самого еще не бывало. Разве предтеча его...- пытался было возразить Докукин.

Но Корнилий встал во весь рост, цепь из чугунных крестов на нем звякнула, поднял руку, сложил ее в двуперстное знамение и воскликнул торжественно:

- Внимайте, православные, кто царствует, кто обладает вами с лета 1666, числа звериного. Вначале царь Алексей Михайлович с патриархом Никоном от веры отступил и был предтечею Зверю, а по ним царь Петр благочестие до конца искоренил, патриарху быть не велели всю церковную и Божью власть восхитил на себя и возвысился против Господа нашего, Иисуса Христа, сам единою безглавною главою церкви учинился, самовластным пастырем. И первенству Христа ревнуя, о коем сказано: Аз есмь первый и последний, именовал себя: Петр Первый. И в 1700 году, Января в первый день, новолетие ветох-римского бога Януса в огненной

потехе на щитеобъявил: се, ныне время мое пришло. И в кануне церковного пения о Полтавской над Шведами победе Христомсебя именует. И на встречах своих, в прибытиях в Москву, в триумфальных воротах и шествиях, отрочат малых вбелые подстихари наряжал и прославлял себя и петь повелевал: Благословен грядый во имя Господне! Осанна ввышних! Бог Господь явился нам\— как изволением Божиимдети еврейские на вход в Иерусалим хвалу Господу нашему, Исусу Христу, Сыну Божию пели. И так титлами своимипревознесся паче всякого глаголемого Бога. По предреченному: во имя Симана Петра имеет в Риме быть гордыйкнязь мира сего. Антихрист, в России, сиречь в ТретьемРиме, и явился оный Петр, сын погибели, хульник и противник Божий, еже есть Антихрист. И как писано: во всем хочет льстец уподобиться Сыну Божию, так и оныйльстец, сам о себе хвалясь, говорит: я сирым отец, я странствующим пристанище, я бедствующим помощник, я обидимым избавитель; для недужных и престарелых учредил гошпитали, для малолетних — училища; неполитичный народ Российский в краткое время сделал политичным и во всех знаниях равным народам Европейским;

государство распространил, восхищенное возвратил, рассыпанное восставил, униженное прославил, ветхое обновил, спящих в неведении возбудил, не сущее создал. Я — благ, я — кроток, я — милостив. Придите все и поклонитесь мне, Богу живому и сильному, ибо я — Бог, иного же Боганет, кроме меня! Так возлицемерствовал благостыню сейЗверь, о коем сказано: Зверь тот страшен и ни единомуподобен; так под шкурою овчею скрылся лютый волк, да всех уловит и пожрет. Внимайте же, православные, слову пророческому: изыдите, изыдите, люди мои из Вавилона! Спасайтесь, ибо нет во градах живущим спасения, бегите, гонимые, верные, настоящего града не имеющие, грядущего взыскающие, бегите в леса и пустыни, скройте главы ваши под перст, в горы и вертепы, и пропасти земные, ибо сами вы видите, братия, что на громадевсей злобы стоим — сам точный Антихрист наступил, ина нем век сей кончается. Аминь!

Он умолк. Ослепляющая зарница или молния вдругосветила его с ног до головы; и тем, кто смотрел на него, в этом блеске маленький старичок показался великаном;

и отзвук глухого, точно подземного, грома - отзвуком слов его, наполнивших небо и землю. Он умолк, и все молчали. Сделалось опять так тихо, что слышно было только сонное журчание струй под бревнами и с другого конца плота протяжная, заунывная песня Иванушки:

Гробы вы, гробы, колоды дубовые, Всем есте, гробы, домовища вечные.

День к вечеру приближается, Секира лежит при корени, Приходят времена последние.

И от этой песни еще глубже и грознее становилась тишина.

Вдруг с грохочущим свистом взвилась ракета и в темной вышине рассыпалась дождем радужных звезд; Нева, отразив их, удвоила в своем черном зеркале - и запылал фейерверк. Загорелись щиты с прозрачными картинками, завертелись огненные колеса, забили огненные фонтаны, и открылись чертоги, подобные храму, из белого, как солнце пламени. С галереи над Невою, где уже стояла Венус, Явственно по чуткой глади воды донесся крик пирующих: "Виват! Виват! Виват Петр Великий, Отец отечества, Император Всероссийский!" - и загремела музыка.

- Се, братья, последнее совершается знаменье! воскликнул старец Корнилий, указывая протянутою рукою на фейерверк. - Как св. Ипполит свидетельствует:

восхвалят его. Антихриста, неисповедимыми песнями и гласами многими и воплем крепким. И свет, паче всякого света, облистает его, тьмы начальника. День во тьму претворит и ночь в день, и луну и солнце в кровь, и сведет огонь с небеси...

Внутри пылающих чертогов появился облик Петра, ваятеля России, подобного титану Прометею.

- И поклонятся ему все, - заключил старец, - и воскликнут: Виват! Виват! Виват! Кто подобен Зверю сему?

И кто может сразиться с ним? Он дал нам огонь с небеси!

Все смотрели на фейерверк в оцепенении ужаса. Когда же появилось в клубах дыма, освещенных разноцветными бенгальскими огнями, плывшее по Неве от Петропавловской крепости к Летнему саду, морское чудовище с чешуйчатым хвостом, колючими плавниками и крыльями, - им почудилось, что это и есть

предреченный в Откровении Зверь, выходящий из бездны. С минуты на минуту ждали они, что увидят идущего к ним по воде "немокрыми стопами", или по воздуху в громах и молниях на огненных крыльях, с несметною ратью бесовскою, летящего Антихриста.

- Ох, братики, братики!- всхлипывал Петька, дрожа, как лист, и стуча зубами.- Страшно... говорим о нем, а нет ли его самого здесь, поблизости? Видите, какое смятение и между нами...

- Я не знаю, откуда на вас такой страх бабий. Осинový кол ему в горло и делу конец!..- начал было храбриться Семисаженный, но тоже побледнел и задрожал, когда сидевшая с ним рядом Киликея-кликуша вдруг пронзительно взвизгнула, упала навзничь, забилась в корчах и начала кликать.

Киликею испортили в детстве. Однажды, она рассказывала, мачеха налила ей щей в ставец, подала есть и притом избранила: трескай-де, черт с тобою!- и послетого времени в третью неделю она, Киликея, занемогла и услышала, что в утробе у нее стало ворчать явственно, как щенком; и то ворчанье все слышали; и подлинно-де у нее в утробе - дьявольское наваждение, и человеческим языком и звериными голосами вслух говорит. Ее сажали за караул, по указу царя о кликушах, судили, допрашивали, били батогами, плетью. Она давала обещания с порукою и распискою, что "впредь кликать не будет, под страхом жестокого штрафования кнутом и ссылки нарядильный двор в работу вечно". Но плети не могли изгнать беса, и она продолжала кликать.

Киликея приговаривала: "ох, тошно, тошно!.." исмеялась, и плакала, и лаяла собакою, бляла овцою, квакала лягушкою, хрюкала свиньею и разными другими голосами кликала.

Жившая на плоту сторожевая собака, разбуженная всеми этими необычайными звуками, вылезла из конуры.

Это была голодная тощая сука с ввалившимися боками и торчавшими ребрами. Она остановилась над водою, рядом с Иванушкою, который продолжал петь, как будничного не видя и не слыша,- и с поднятою кверху мордою, с поджатым между ногами хвостом, жалобно завывала огонь фейерверка. Вой суки сливался с воем кликуши в один страшный звук.

Киликею отливали водою. Старец, наклонившись наднею, читал заклятия на изгнание бесов, дуя, плюя и ударяя ее по лицу ременной лестовкою. Наконец она затихла и заснула мертвым сном, подобным обмороку.

Фейерверк потух. Угли костра на плоту едва тлели.

Наступила тьма. Ничего не случилось. Антихрист не пришел. Ужаса не было. Но тоска напала на них, ужаснее всех ужасов. По-прежнему сидели они на плоском плоту, едва черневшем между черным небом и черною водою, Маленькою кучкою, одинокою, потерянною, как будто повисшею в воздухе между двумя небесами. Все было спокойно. Плот неподвижен. Но им казалось, что они стремглав летят, проваливаются в эту тьму, как в черную бездну - в пасть самого Зверя, к неизбежному концу всего.

И в этой черной, жаркой тьме, под голубым трепетаньем зарниц, доносились из Летнего сада нежные звуки медузы, как томные вздохи любви из царства Венус, где Пастушонок Дафнис развязывает пояс пастушке Хлое:

Покинь, Купидо, стрелы: Уже мы все не целы, Но сладко уязвлены Любовною стрелою Твоею золотою.

На Неве, рядом с плотами царевича, стояла большая, пригнанная из Архангельска, с холмогорскою глиняною посудой, барка. Хозяин ее, богатый купец Пушников из раскольников-поморцев, укрывал у себя беглых, потаенных людей старого благочестия. В корме под палубой были крошечные досчатые каморки, вроде чуланов.

В одной из них приютилась баба Алена Ефимова.

Алена была крестьянкою, женою московского денежного мастера Максима Еремеева, тайного иконоборца. Когда сожгли Фомку-цирюльника, главного учителя иконоборцев, Еремеев бежал в Низовые города, покинув жену.

Сама она была не то раскольница, не то православная;

крестилась двуперстным сложением, по внушению некоего старца, который являлся к ней и говаривал: "трехперстным сложением не умолишь Бога"; но ходила в православные церкви и у православных духовников исповедовалась. Несмотря на страшные слухи о Петре, верила, что он подлинно русский царь, и любила его. Просила у Бога, чтоб ей видеть его царского величества очи. И в

Петербург приехала, чтобы видеть государя. Ее преследовала мысль: умолить Бога за царя Петра Алексеевича, чтобы он покаялся, вернулся к вере отцов своих, прекратил гонения на людей старого благочестия, чтобы и те, в свою очередь, соединились с православною церковью. Алена сочинила особую молитву, дабы различие вер соединено было, и хотела ту молитву объявить отцу духовному, но не посмела, "затем что написано плохо". Она ходила по монастырям; нанимала в Вознесенском, в церкви Казанской Божьей Матери, старицу на шесть недель читать акафист за царя; сама клала за него в день по две, по три тысячи поклонов. Но всего этого казалось ей мало, и она придумала последнее отчаянное средство: велела своему племяннику, четырнадцатилетнему мальчику Васе написать сочиненную ею молитву о царе Петре Алексеевиче о соединении вер, устроила пелену под образ, зашила молитву в подкладку и отдала в Успенский собор попу, не объявляя о скрытом письме.

После разговора на плоту Алена вернулась в келью свою на барке Пушникова, и когда вспомнила все, что слышала в ту ночь о государе, первый раз в жизни напала на нее сомнение: не истинно ли то, что говорят о царе, и можно ли умолить Бога за такого царя?

Долго лежала она в душной темноте чулана, с широко открытыми глазами, обливаясь холодным потом, неподвижная. Наконец встала, засветила маленький огарок желтого воска, поставила его в углу каморки перед висевшею на досчатой перегородке иконою Божьей Матери Всех Скорбящих, такую же, как та, которую показывал царь Петр у подножия Венус, опустилась на колени, положил триста поклонов и начала молиться со слезами, с воздыханиями, отчаянною молитвою, тою самою, что была зашита в пелене под образом Успенского собора:

- Услышь, святая соборная церковь, со всем херувимским и серафимским престолом, с пророками и праотцами, угодниками и мучениками, и с Евангелием, и скольков том Евангелии слов святых - все вспомните о нашем царе Петре Алексеевиче! Услышь, святая соборная апостольская церковь, со всеми местными иконами и честными мелкими образами, со всеми апостольскими книгами и с лампадами, и с паникадилами, и с местными свечами, и со святыми

пеленами, и с черными ризами, с каменными стенами и железными плитами, со всякими плодоносными деревьями и цветами! О, молю и прекрасное солнце: возмолись Царю Небесному о царе Петре Алексеевиче! О, млад светел месяц со звездами! О, небо с облаками! О, грозные тучи с буйными ветрами и вихрями!

О, птицы небесные! О, синее море с великими реками и с мелкими ключами, и малыми озерами! Возмолитесь Царю Небесному о царе Петре Алексеевиче! И рыбы морские, и скоты полевые, и звери дубровные, и поля, и леса, и горы, и все земнородное, возмолитесь к Царю Небесному о царе Петре Алексеевиче!

Чулан бабы Алены отделяла досчатая перегородка от более просторной кельи, в которой жил старец Корнилий с учеником своим Тихоном. Ни слова не произнес Тихон во время разговора на плоту, но слушал с большим волнением, чем кто-либо. Когда все разошлись, старец поехал на челноке на берег для свидания и беседы с другими раскольниками о предстоявшем великом самосожжении целых тысяч гонимых людей старой веры в лесах Керженских за Волгою. Тихон вернулся в свою плавучую келью один, лег, но так же, как в соседнем чулане баба Алена, не мог заснуть и думал о том, что слышал в ту ночь. Он чувствовал, что от этих мыслей зависит все его будущее, что наступает мгновение, которое, как нож, разделит жизнь его пополам. "Я теперь, как на ножевом острие,- говорил он сам себе,- в которую сторону свалюсь, в ту и пойду".

Вместе с будущим вставало перед ним и прошлое.

Тихон был единственный сын, последний отпрыск некогда знатного, но давно уже опального и захудалого рода князей Запольских. Мать его умерла от родов. Отец, стрелецкий голова, участвовал в бунте, стал за Милославских, за старую Русь и старую веру против Петра. Во время розыска 1698 года был осужден, пытан в застенках Преображенского и казнен в Кремле на Красной площади.

Всех родных и друзей его также казнили или сослали.

Восьмилетний Тихон остался круглым сиротою на попечении старого дядьки Емельяна Пахомыча. Ребенок был слаб и хил; страдал припадками, похожими на черную немочь;

отца любил со страстной нежностью. Опасаясь за здоровье мальчика, дядька скрывал от него смерть отца, сказывал Тихону,

будто бы отец уехал по делам в далекую Саратовскую вотчину. Но ребенок плакал, тосковал, бродил кактень в огромном опустелом доме и сердцем чуял беду. Наконец, не выдержал. Однажды, после долгих тщетных расспросов, убежал из дому один, чтобы пробраться в Кремль, где жил дядя, и разузнать у него об отце. Дяди в то времяне было в живых, его казнили вместе с отцом Тихона.

У Спасских ворот мальчик встретил большие телеги, нагруженные доверху трупами казненных стрельцов, коекак набросанными, полунагими. Подобно зарезанному скоту, которого тащат с бойни, везли их к общей могиле, к живодерной яме, куда сваливали вместе со всякою поганью и падалью: таков был указ царя. Из бойниц Кремлевских стен торчали бревна; бесчисленные трупы виселина них "как полти" - соленая астраханская рыба, которую вешали пучками сушиться на солнце.

Безмолвный народ целыми днями толпился на Краснойплощади, не смея подходить близко к месту казней, глядяиздали. Протеснившись сквозь толпу, Тихон увидел возлеЛобного места, в лужах крови, длинные, толстые бревна, служившие плахами. Осужденные, теснясь друг к другу, иногда по тридцати человек сразу, клали на них головыв ряд. В то время как царь пировал в хоромах, выходивших окнами на площадь, ближние бояре, шуты и любимцырубил головы. Недовольный их работою - руки неумелых палачей дрожали - царь велел привести к столу, закоторым пировал, двадцать осужденных и тут же казнилиих собственноручно под заздравные клики, под звуки музыки: выпивал стакан и отрубал голову; стакан за стаканом, удар за ударом; вино и кровь лились вместе, виносмешивалось с кровью.

Тихон увидал также виселицу, устроенную наподобиекреста, для мятежных стрелецких попов, которых вешалсам всешутейший патриарх Никита Зотов; множество пыточных колес с привязанными к ним раздробленнымичленами колесованных; железные спицы и колья, на которых торчали полуистлевшие головы: их нельзя было снимать, по указу царя, пока они совсем не истлеют. В воздухе стоял смрад. Вороны носились над площадью стаями.

Мальчик вгляделся пристальнее в одну из голов. Оначернела явственно на голубом прозрачном небе с нежнозолотистыми и

розовыми облаками: вдали - главы Кремлевских соборов горели как жар; слышался вечерний благовест. Вдруг показалось Тихону, будто бы все - и небо, и главы соборов, и земля под ним шатается, что он сампроваливается. В торчавшей на спице мертвой голове счерными дырами вместо вытекших глаз узнал он головуотца. Затрещала барабанная дробь. Из-за угла выступиларота преображенцев, сопровождавшая телеги с новыми жертвами. Осужденные сидели в белых рубахах, с горящими свечами в руках, со спокойными лицами. Впереди ехал на коневсадник высокого роста. Лицо его было тоже спокойно, нострашно. Это был Петр. Тихон раньше никогда не видел его, но теперь тотчас узнал. И ребенку показалось, что мертваяголова отца своими пустыми глазницами смотрит прямо вглаза царю. В то же мгновение он лишился чувств. Отхлынувшая в ужасе толпа раздавила бы мальчика, если бы незаметил его старик, давнишний приятель Пахомыча, нектоГригорий Талицкий. Он поднял его и отнес домой. В ту ночьу Тихона сделался такой припадок падучей, какого ещеникогда не было. Он едва остался жив.

Григорий Талицкий, человек неизвестный и бедный, живший перепискою старинных книг и рукописей, один изпервых начал доказывать, что царь Петр есть Антихрист.

Как обвиняли его впоследствии во время розыска, "от великой своей ревности против Антихриста и сумнительного страха стал он кричать в народ злые слова в хулуи поношение государя". Сочинив тетрадки О пришествииАнтихриста и о скончании света, он задумал напечатать их и "бросать листы в народ безденежно" длявозмущения против царя. Григорий часто бывал у Пахомыча и беседовал с ним о царе - Антихристе, о последнем времени. Старец Корнилий, тогда живший в Моектакже участвовал в этих беседах. Маленький Тихонслушал трех стариков, которые, как три зловещие ворона, в сумерки, в запустелом доме собирались и каркали: "Приближается конец века, пришли времена лютые, пришлигода тяжкие: не стало веры истинной, не стало стеныкаменной, не стало столпов крепких - погибла вера христианская. А в последнее время будет антихристово пришествие: загорится вся земля и выгорит в глубину нашестьдесят локтей за наше великое беззаконие". Они рассказывали о видении "некоего мерзкого и престрашногоЧерного Змия, который в

никонианских церквах, во время богослужения, на плечах архиереев, вместо святого амофора висит, ползая и стрегочуще; или ночью, обогнувшись около стен царских палат, голову и хобот имея внутри палаты, шепчет на ухо царю". И унылые беседы переходили в еще более унылые песни: Говорит Христос, Царь Небесный: Ох, вы, люди мои, люди, Вы бегите-ка в пустыни, В леса темные, в вертели.

Засыпайтесь, мои светы, Рудожелтыми песками, Вы песками, пеплами, Умирайте, мои светы, Не умрете - оживете, Божья царства не минете!

С особенною жадностью слушал он рассказы о сокровенных обителях среди дремучих лесов и топей за Волгою, о невидимом Китеже-граде на озере Светлояре. То место кажется пустынным лесом. Но там есть и церкви, и дома, и монастыри, и множество людей. Летними ночами на озере слышится звон колоколов и в ясной воде отражаются золотые маковки церквей. Там поистине царство земное: и покой, и тишина, и веселие вечное; святые отцы процветали там, как лилии, как кипарисы и финики, как многоцветный бисер и звезды небесные; от уст их исходит непрестанная молитва к Богу, как фимиам благоуханный и кадило избранное; а когда наступит ночь, молитва их видима бывает, как столпы пламенные с искрами; и так силен тот свет, что можно читать и писать без свечи.

Их возлюбил Господь и хранит, как зеницу ока, покрывая невидимо дланью Своею до скончания века. И не узрят они скорби и печали от зверя-антихриста, только о нас, грешных, день и ночь печалуют - об отступлении нашими всего царства Русского, что Антихрист в нем царствует. В невидимый град ведет сквозь чащи и дебри одна только узкая, окруженная всякими дивами и страхами, тропа Батыева, которой никто не может найти, кроме тех, кого сам Бог управит в то благоутишное пристанище.

Слушая эти рассказы, Тихон стремился туда, в дремучие леса и пустыни. С невыразимой грустью и сладостью повторял он вслед за Пахомычем древний стих о юном пустыннике. Иосафе царевиче: Прекрасная мати пустыня!

Пойду по лесам, по болотам, Пойду по горам, по вертепам, Поставлю я малую хижу.

Разгуляюсь я. млад юнош, Иосафий царевич, Во зеленой во дуброве.

Кукушка в ней воркукует Умильный глас испускает И та меня поучает.

В тебе, мать-пустыня, Гнилые колоды Мне райская пища, Сахарное яство;

Холодные воды Медвяное пойло.

С раннего детства у Тихона бывало иногда, особенно перед припадками, странное чувство, ни на что не похожее, нестерпимо жуткое и вместе с тем сладкое, всегдановое, всегда знакомое. В чувстве этом был страх и удивление, и воспоминание, точно из какого-то иного мира, но больше всего - любопытство, желание, чтобы скорее случилось то, что должно случиться. Никогда ни с кем не говорил он об этом, да и не сумел бы этого выразить никакими словами. Впоследствии, как уже начал он думать и сознавать, чувство это стало в нем сливаться с мыслью о кончине мира, о втором пришествии.

Порою самые зловещие каркания трех стариков оставляли его равнодушным, а что-нибудь случайное, мгновенное - цвет, звук, запах - пробуждало в нем это чувство со внезапною силою. Дом его стоял в Замоскворечье на склоне Воробьевых гор; сад кончался обрывом, откуда была видна вся Москва - груды черных изб, бревенчатых срубов, напоминавших деревню, над ними белокаменные стены Кремля и бесчисленные золотые главы церквей. С этого обрыва мальчик подолгу смотрел на те великолепные и страшные закаты, которые бывают иногда поздною бурною осенью. В мертвенно-синих, лиловых, черных, или воспаленно-красных, точно окровавленных тучах, чудились ему то исполинский Змий, обвившийся вокруг Москвы, то семиглавый Зверь, на котором сидит блудница с чашею мерзостей, то воинства ангелов, которые гонят бесов, разя их огненными стрелами, так что реки крови льются по небу, то лучезарный Сион, невидимый Град, сходящий с неба на землю во славе грядущего Господа. Как будто там, на небе, уже совершалось в таинственных знамениях то, что и на земле должно было когда-то совершиться. И знакомое чувство конца охватывало мальчика. Это же самое чувство рождали в нем некоторые будничные мелочи

жизни: запах табака; вид первой, попавшейся ему на глаза, русской книги, отпечатанной в Амстердаме, по указу Петра, новоизобретенными "гражданскими литерами"; вид некоторых вывесок над новыми лавками Немецкой слободы; особая форма париков со смешными буклями, длинными, как жидовские пейсы или собачьи уши: особое выражение на старых

русских, недавно бородатых и только что выбритых лицах. Однажды восьмидесятилетнего деда Еремеича, жившего у них в саду пасечника, царские пристава схватили на городской заставе, насильно обрили ему бороду и обрезали, окургузили по установленной мерке, до колен, полы кафтана. Дед, вернувшись домой, плакал как ребенок, потом скоро заболел и умер с горя. Тихон любил жалел старика. Но, при виде плачущего, куцего и бритого деда, не мог удержаться от смеха, такого странного, неестественного, что Пахомыч испугался, как бы у него не сделался припадок. И в этом смехе был ужас конца.

Однажды зимою появилась комета - звезда с хвостом, как называл ее Пахомыч. Мальчик давно хотел, но не смел взглянуть на нее; нарочно отвертывался, жмурил глаза, - чтобы не видеть. Но увидел нечаянно, когда развечером дядька нес его на руках в баню через глухой переулок, замеченный снежными сугробами. В конце переулочка, меж черных изб над белым снегом, внизу, на самом краю черно-синего неба сверкала огромная, прозрачная, нежная звезда, немного склоненная, как будто убегающая в неизмеримые пространства. Она была не страшная, а точнородная, и такая желанная, милая, что он глядел на нее и не мог наглядеться. Знакомое чувство сильнее, чем когда-либо, сжало сердце его нестерпимым восторгом и ужасом. Он весь потянулся к ней, как будто просыпаясь, с нежною сонною улыбкою. И в то же мгновение Пахомыч почувствовал в теле его страшную судорогу. Крик вырвался из груди мальчика. С ним сделался второй припадок падучей.

Когда ему исполнилось шестнадцать лет, забрали его, так же, как и других шляхетных детей, в "школу математических и навигацких, то есть мореходных хитростных искусств". Школа помещалась в Сухаревой башне, где занимался астрономическими наблюдениями генерал Яков Брюс, которого считали колдуном и чернокнижником:

кривая баба, торговавшая на Второй Мещанской мочеными яблоками, видела, как однажды зимнею ночью Брюсполетел со своей вышки прямо к месяцу верхом на подзорной трубе. Пахомыч ни за что не отдал бы дитя в такое проклятое место, если бы ребят не забирали силою.

Укрывавшиеся дворянские недоросли, привезенные из своих поместий под конвоем, иногда женатые, тридцатилетние и даже сорокалетние младенцы, сидели рядом с настоящими детьми на одной парте и зубрили по одной книжке, с картинкою, изображавшею учителя, который огромным пучком розог сечет разложенного на скамейке школьника - с подписью: всяк человек в тиши поучайся.

Все буквари обильно украшались розочными виршами:

Благослови, Боже, оные леса, где розги родят на долгие времена.

Малым розга березова ко умилению, А старым жезл дубовый ко подкреплению.

И царским указом предписывалось: "выбрать из гвардии отставных добрых солдат и быть им по человеку! Во всякой каморе во время учения и иметь хлыст в руках; и буде кто из учеников будет бесчинствовать, оным бить, несмотря какой бы виновный фамилии не был".

Но как ни вбивали в головы науку малым - хлыстом и розгою, большим - плетями и батогами, все одинаково плохо учились. Иногда в минуты отчаяния певали они "песнь вавилонскую". Начинали старшие хриплыми с перепою басами:

Житье в школе не по нас, В один день секут пять раз.

Малыши подтягивали визгливыми дискантами:

Ох, горе, беда!

Секут завсегда.

И дисканты и басы сливались в дружный хор:

И лозами по бедрам, И палями по рукам, Ни с другого слова в рожу, Со спины дерут всю кожу.

Геометрию смекай, А пустые щи хлебай.

Ох, горе, беда!

Секут завсегда.

О, проклятое чернило!

Сердце наше иссушило.

И бумага, и перо
Сокрушают нас зело, Хоть какого молодца
Сгубит школа до конца.

Ох, горе, беда!

Секут завсегда.

Немногому научился бы Тихон в школе, если бы не обратил на него внимания один из учителей, кенигсбергский немец, пастор Глюк. Выучившись русскому языку с грехом пополам у беглого польского монаха, Глюк приехал в Россию обучать "московских юношей, аки мягкую и ко всякому изображению угодную глину". Он разочаровался скоро не столько в самих юношах, сколько в русском способе "муштровать их, как цыганских лошадей", вбивать им в голову науку плетью. Глюк был человеком умный и добрый, хотя пьяница. Пил же с горя, потому что не только русские, но и немцы считали его сумасшедшим. Он писал головоломное сочинение, комментарии к комментариям Ньютона к Апокалипсису, где все христианские откровения о кончине мира доказывались тончайшими астрономическими выкладками на основании законов тяготения, изложенных в недавно вышедших ньютоновых *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*.

В ученике своем, Тихоне, он открыл необыкновенные способности к математике и полюбил его как родного.

Старый Глюк сам в душе был ребенком. С Тихоном говорил он, особенно будучи навеселе, как со взрослыми единственным другом. Рассказывал ему о новых философских учениях и гипотезах, о *Magna Instauratio* Бэкона, о геометрической этике Спинозы, о вихрях Декарта, о монадах Лейбница, но всего вдохновеннее о великих астрономических открытиях Коперника, Кеплера, Ньютона.

Мальчик многого не понимал, но слушал эти сказания о чудесах науки с таким же любопытством, как беседы трех стариков о невидимом Китеже-граде.

Пахомыч считал всю вообще науку немцев, в особенности же "звездочетие", "остроумие", безбожною.

- Проклятый Коперник,- говорил он,- Богу соперник: тягостную землю поднял от центра земного и звезды стоят, а земля оборачивается, противно священным писаниям. Смеются над ним богословы!

- Истинная философия,- говорил пастор Глюк, вере не только полезна, но и нужна. Многие святые отцы в науках философских преизяществовали. Знание натуры христианскому закону не противно; и кто натуру исследовать тщится, Бога знает и почитает; физические рассуждения о твари служат к прославлению Творца, как и в Писании сказано: Небеса поведают славу Господню.

Но Тихон угадывал смутным чутьем, что в этом согласии науки с верою не все так просто и ясно для самого Глюка, как он думает, или только старается думать. Недаром иногда, в конце ученого спора с самим собою о множестве миров, о неподвижности космических пространств, сильно выпивший старик, забывая присутствие ученика, опускал, как будто в изнеможении, на край стола свою лысую, со съехавшим на сторону париком, голову, отяжелевшую не столько от вина, сколько от головокружительных метафизических мыслей, и глухо стонал, повторяя знаменитое восклицание Ньютона: - О, физика, спаси меня от метафизики!

Однажды Тихон - ему было тогда уже девятнадцать лет, он кончал школу и хорошо читал по-латински случайно открыл валявшийся на рабочем столе учителя привезенный им из Голландии рукописный сборник писем Спинозы и прочел первые на глаза попавшиеся строки: Между свойствами человека и Бога так же мало общего, как между созвездием Пса и псом, лающим животным.

Если бы треугольник имел дар слова, то и он сказал бы, Бог есть не что иное, как совершенный треугольник, круг - что природа Бога в высшей степени круга".

В другом письме - об Евхаристии: "О, безумный юноша! Кто же так околдовал вас, что вы вообразили, будто нужно проглатывать святое и вечное, будто святое и вечное может находиться во внутренностях ваших? Ужасны таинства вашей церкви: они противоречат здравому смыслу". Тихон закрыл книгу и больше не читал. Первый раз в жизни испытал он от мысли то чувство, которое прежде испытывал только от внешних впечатлений - ужас конца.

В Сухаревой башне у генерала Якова Вилимовича Брюса была обширная библиотека и "кабинет математических, механических и других инструментов, также натуры - зверей, инсект, кореньев, всяких руд и минералов, антиквитетов, древних монет, медалей,

резных камней, личин и вообще как иностранных, так и внутренних курьезностей". Брюс поручил пастору Глюку составить ведомость, или опись, всем предметам и книгам. Тихон помогал ему и целые дни проводил в библиотеке.

Однажды, ясным летним вечером, он сидел на самом верху складной, двигавшейся на колесиках библиотечной лесенки перед стеной, сверху донизу уставленной книгами, наклеивая номера на корешки и сравнивая новую рукопись со старого, безграмотную, в которой заглавия иностранных книг списаны были русскими буквами. Сквозь высокие окна с мелкими круглыми стеклами в свинцовом переплете, как в старинных голландских домах, падали лучи солнца косыми пыльными снопами на сверкающие медные машины - небесные сферы, астролябии, компасы, треугольники, циркули, масштабы, ватерпасы, подзорные трубы, "микроскопиумы", на чучела разных диких животных и птиц, на огромную кость мамонтовой головы, на чудовищных китайских идолов и мраморные личины прекрасных эллинских богов, на бесконечные полки книг в однообразных кожаных и пергаментных переплетах. Тихону нравилась эта работа. Здесь, в царстве книг, была такая уютная тишина, как в лесу или на старом, людьми покинутом, солнцем излюбленном кладбище. Доносился только с улицы вечерний благовест, напоминавший звон китежских колоколов, да сквозь отворенные в соседнюю комнату двери слышались голоса пастора Глюка и Брюса. Отужинав, сидели они за столом, курили и пили, беседуя.

Тихон только наклеил новые номера на инкварто и октаво, обозначенные в старой описи под номером 473: "Философия Франциско Бакона на английском языке в трех томах"; под номером 308: "Медитацион де прима философии чрез Декартеса на голландском языке"; под номером 532: "Математика элеманс натураль философии чрез Исаака Невтона". Ставя книги на полку, в глубине ее ощупал он и вытащил завалившееся, очень ветхое, изъеденное мышами октаво под номером 461: "Лионардо Давинчи, трактат о живописном письме на немецком языке". Это был первый, изданный в Амстердаме, в 1582 году, немецкий перевод *Trattato della pittura*. В книгу отдельных листов вложен был гравированный на дереве

портрет Леонардо. Тихон вглядывался в странное, чуждое и, вместе с тем, как будто знакомое, в незапамятном сне виденное, лицо и думал, что, верно, у Симона Мага, летавшего по воздуху, было такое же точно лицо.

Голоса в соседней комнате стали раздаваться громче.

Брюс о чем-то спорил с Глюком. Они говорили по-немецки. Тихон выучился этому языку у пастора. Несколько отдельных слов поразили его; и он с любопытством прислушался, все еще держа в руках книгу Леонардо.

- Как же вы не видите, достопочтенный, что Ньютон был не в здравом уме, когда писал свои комментарии к Апокалипсису? - говорил Брюс.- Он, впрочем, в этом и сам признается в письме к Бентлею от 13 сентября 1693 года: "я потерял связь своих мыслей и не чувствую прежней твердости рассудка"- попросту, значит, рехнулся.

- Ваше превосходительство, я желал бы лучше быть сумасшедшим с Ньютоном, чем здравомыслящим со всей остальной двуногой тварью! - воскликнул Глюк и залпом выпил стакан.

- О вкусах не спорят, любезный пастор,- продолжал Яков Вилимович, засмеявшись сухим, резким, точно деревянным смехом,- но вот что всего любопытнее: в то самое время, как сэр Исаак Ньютон сочинял свои Комментарии,- на другом конце мира, именно здесь, у нас, в Московии, дикие изуверы, которых называют раскольниками, сочинили тоже свои комментарии к Апокалипсису и пришли почти к таким же выводам, как Ньютон. Ожидая со дня на день кончины мира и второго пришествия, одни из них ложатся в гробы и сами себя отпевают, другие сжигаются. Их за то гонят и преследуют; а я сказал бы об этих несчастных словами философа Лейбница: "я не люблю трагических событий и желал бы, чтобы всем на свете жилось хорошо; что же касается заблуждения тех, которые спокойно ждут кончины мира, то оно мне кажется совсем невинным". Так вот что, говорю я, всего любопытнее: в этих апокалипсических бреднях крайний Запад сходится с крайним Востоком и величайшее просвещение - с величайшим невежеством, что действительно могло бы, пожалуй, внушить мысль, что конец мира приближается и что все мы скоро отправимся к черту!..

Он опять засмеялся своим резким, деревянным смехом или прибавил что-то, чего не расслышал Тихон, должно быть очень вольнодумное, потому что Глюк, у которого, как всегда в конце ужина, парик съехал на сторону, и в голове шумело, вдруг яростно вскочил, отодвинул стул и хотел выбежать из комнаты. Но Яков Вилимович удержали, успокоил его несколькими добрыми словами. Брюс был единственным покровителем Глюка. Он уважал и любил его за бескорыстную любовь к науке. Но, будучи скептиком, и даже, как утверждали многие, совершенным атеистом, не мог видеть бедного пастора, этого "Донкишота астрономии", чтобы не подразнить его и не посмеяться над злополучными комментариями к Апокалипсису, над примирением науки с верою. Брюс полагал, что надо выбрать одно из двух - или веру без науки, или науку без веры.

Яков Вилимович наполнил стакан Глюка и, чтобы утешить его, начал расспрашивать о подробностях ньютонова Апокалипсиса. Старик отвечал сперва т 'охотно, но потом опять увлекся и сообщил разговор Ньютона с друзьями о комете 1680 года. Когда его однажды спросили о ней, вместо ответа он открыл свои Начала и указал место, где указано: *Stellae fixae refici possunt*. Неподвижные звезды могут восстанавливаться от падения на них комет. - "Почему же вы не писали о солнце так же откровенно, как о звездах?" - "Потому, что солнце ближе нас касается", отвечал Ньютон и потом прибавил, смеясь: "я, впрочем, сказал достаточно для тех, кто желает понять!"

Как мотылек, летящий на огонь, комета упадет на солнце, - воскликнул Глюк, - и от этого падения солнечный жар возрастет до того, что все на земле истребится огнем! В Писании сказано: небеса с шумом пройдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Тогда исполнятся оба пророчества - того, кто верил, и того, кто знал.

- "Hypotheses pop fingo! Я не сочиняю гипотез!" - заключил он вдохновенно, повторяя великое слово Ньютона.

Тихон слушал - и давнее, вещее карканье трех стариков, трех воронов соединялось для него с точнейшими выводами знания. Закрыв глаза, увидел он глухой переулочек, занесенный снежными сугробами, и в конце его, внизу, над белым снегом, меж черных изб, на краю черносинего неба огромную, прозрачную, нежную звезду. И

также, как в детстве, знакомое чувство сжало сердце его нестерпимым восторгом и ужасом. Он уронил книгу Леонардо, которая задела, падая, трубку астролябии и повалила ее на пол с грохотом. Прибежал Глюк. Он знал, что Тихон страдает припадками. Увидев его вверху лестницы, дрожащего, бледного, он бросился к нему, обнял, поддержал и помог сойти. На этот раз припадок миновал. Пришел также Брюс. Они расспрашивали Тихона с участием. Но он молчал: чувствовал, что нельзя ни с кем говорить об этом.

- Бедный мальчик! - сказал Яков Вилимович Глюку, отводя его в сторону. - Наш разговор напугал его.

Здесь они все таковы - только и думают о кончине мира.

Я заметил, что в последнее время какое-то безумие распространяется среди них, как зараза. Бог знает, чем кончит этот несчастный народ!

По выходе из школы, Тихон должен был поступить, как все шляхетные дети, в военную службу. Пахомыч умер. Глюк собирался в Швецию и Англию, по поручению Брюса, для закупки новых математических инструментов. Он приглашал с собою Тихона, который, забыв свои детские страхи и предостережение Пахомыча, все с большей любовью предавался изучению математики.

Здоровье окрепло, припадки не повторялись. Давнее любопытство влекло его в другие края, в "царство Стекольное", почти столько же для него таинственное, как невидимый Китеж-град. По ходатайству Якова Вилимовича, навигацкий ученик Запольский, в числе других "младенцев Российских", послан был царским указом для окончания наук за море. Они приехали с Глюком в Петербург в начале июня 1715 года. Тихону исполнилось 25 лет: он был ровесником царевича Алексея, но по виду все еще казался мальчиком. Через несколько дней из Кроншлота отходил купеческий корабль, на котором они должны были плыть в Стокгольм - Стекольный.

Вдруг все изменилось. Петербург видом своим, стольне похожим на Москву, поразил Тихона. Целыми днями он бродил по улицам, смотрел и удивлялся: бесконечные каналы, перспективы, дома на сваях, вбитых в зыбкую пучину болот, построенные в ряд "линейно", по указу, "так чтобы никакое строение за линию или из линии не

строилось", бедные мазанки среди лесов и пустырей, крытые по-чухонски дерном и берестой, дворцы затейливой архитектуры "на прусский манер", унылые гарнизонные магазейны, цейхаузы, амбары, церкви с голландскими шпильцами и курантным боем - все было плоско, пошло, буднично и в то же время похоже на сон. Порою, в пасмурные утра, в дымке грязно-желтого тумана, чудилось ему, что весь этот город подымется вместе с туманом и разлетится, как сон. В Китеже-граде то, что есть - невидимо, а здесь в Петербурге, наоборот, видимо то, чего нет;

оба города одинаково призрачны. И снова рождалось нем жуткое чувство, которого он уже давно не испытывал - чувство конца. Но оно не разрешалось, как прежде, восторгом и ужасом, а давило тупо бесконечною тоскою. Однажды на Троицкой площади, у "кофейного дома"

Четырех Фрегатов, встретил он человека высокого роста в кожаной куртке голландского шкипера. И точно также, как и в Москве, на Красной площади, у Лобного места, где торчавшая на коле мертвая голова отца его смотрела пустыми глазницами прямо в глаза этому самому человеку,- Тихон тотчас узнал его: это был Петр. Страшное лицо как будто сразу объяснило ему страшный город: У них обоих была одна печать.

В тот же день встретил он старца Корнилия, обрадовался ему, как родному, и уже не покидал его. Ночевал у старца в келье, дни проводил на плотках, на барках с утаенными, беглыми людьми. Слушал рассказы о жизни великих пустынных отцов на далеком севере, в лесах Поморских. Онежских и Олонецких, где Корнилий, уйдя из Москвы, провел много лет, о тамошних страшных горях многотысячных самосожжениях. Оттуда шел он теперь за Волгу на Керженец проповедовать "красную смерть".

Тихон учился недаром. Многому, чему верили эти люди, он уже не верил; думал иначе, но чувствовал также, как они. Самое главное - чувство конца - у них было общее с ним. То, о чем он никогда ни с кем не говорил, чего никто из ученых людей и не понял бы, они понимали - этим только и жили. Все, что с раннего детства он слышал от Пахомыча, теперь вдруг ожило в душе его с новой силою. Опять

потянуло его в леса, в пустыни, в сокровенные обители, в "благоутишное пристанище".

Как будто при свете белых ночей над простором Невы, сквозь бой голландских курантов, опять ему слышался звон китежских колоколов. И опять, с томительной грустью и сладостью, повторял он стих об Иосафе царевиче:

Прекрасная мати пустыня!

Пойду по лесам, по болотам, Пойду по горам, по вертепам...

Надо было решить, надо было выбрать одно из двух: или навсегда вернуться в мир, чтобы жить, как все живут, служить человеку, который погубил отца его и, может быть, погубит Россию; или навсегда уйти из мира, сделаться нищим, бродягой, одним из утаенных, беглых людей, "настоящего града не имеющих, грядущего - взыскивающих"; на запад с пастором Глюком - в город Стекольный, или на Восток со старцем Корнилием - в невидимый Китеж-град. Что он выберет, куда пойдет? Он сам еще не знал, колебался, медлил последним решением, как будто ждал чего-то. Но в эту ночь, после разговора наплоту о Петре-антихристе, почувствовал, что медлить нельзя. Завтра отправляется корабль в Стокгольм и завтра же старец Корнилий, которому грозил донос, должен бежать из Петербурга. Он звал с собою Тихона.

"Я теперь как на ножевом острие,- опять подумал он.- В которую сторону свалюсь, в ту и пойду. Одна жизнь, одна смерть. Раз ошибешься, второй не поправишь".

Но в то же время он чувствовал, что не имеет силы решить, и что две судьбы, как два конца мертвой петли, соединяясь, стягиваясь, давят и душат его. Он встал, взял полки рукописную книгу - "Слово св. Ипполита о втором пришествии" и, чтобы отдохнуть от мыслей, начал рассматривать, при свете лампы, горевшей перед образом, заставные картинки. На одной из них, слева, сидел на престоле Антихрист, в зеленом, с красными отворотами и медными пуговицами, Преображенском мундире, в треуголке, со шпагой, похожий лицом на царя Петра Алексеевича, и указывал рукою вперед. Перед ним, вправо, Преображенской и семеновской гвардии отряд направлялся к скиту среди темного леса. Вверху на горах среди пещер молились иноки. Солдаты, руководимые синими

бесами, взбирались вверх по горному склону. Внизу подпись: "тогда пошлет в горы и вертепы, и пропасти земные полки свои бесовские, дабы искать укрывшихся от глаз его и тех привести на поклонение себе". На другой картинке солдаты расстреливали связанных старцев: "оружием от дьявола падут".

За дощатой перегородкой в соседнем чулане все еще плакала баба Алена, молясь Царю Небесному о царе Петре Алексеевиче. Тихон положил книгу, опустился на колени перед образом. Но молиться не мог.

Тоска напала на него, какой он еще никогда не испытывал. Пламя догоревшей лампы, последний раз вспыхнув, потухло. Наступила тьма. И что-то подползало, подкрадывалось в этой тьме, хватало его за горло темною, теплою, МЯГКОЮ, словно косматою, лапою. Он задыхался. Холодный пот выступал на теле. И опять ему казалось, что он летит стремглав, проваливается в черную тьму, как зияющую бездну - пасть самого Зверя. "Все равно",- подумал он, и вдруг нестерпимым светом загорелась в сознании мысль: все равно, какой из двух путей он выберет, куда пойдет - на Восток или Запад; и здесь, и там, на последних пределах Востока и Запада - одна мысль, одно чувство: скоро конец. Ибо, как молния исходит от Востока и видна бывает даже до Запада, так будет пришествие сына Человеческого. И в нем как будто сверкнула эта последняя соединяющая молния. "Ей, гряди. Господи Иисусе - воскликнул он, и в то же мгновение в конце кельи вспыхнул белый, страшный свет. Раздался оглушительный треск, как будто небо распалось и рушилось. Это была та самая молния, которая так напугала Петра, что он выронил икону из рук у подножия Венус. Баба Алена услышала сквозь вой, свист и грохот бури ужасный нечеловеческий крик: у Тихона сделался припадок падучей.

Он очнулся на корме барки, куда, во время припадка, вынесли его из душной кельи. Было раннее утро. Вверху голубое небо, внизу белый туман. Звезда блестела на востоке сквозь туман, звезда Венеры. И на острове Кейвусаре, Петербургской стороне, на Большой Дворянской, над куполом дома, где жил Бутурлин, "митрополит всепьянейший", позолоченная статуя Вакха, под первым лучом солнца, вспыхнула огненно-красной, кровавой звездой в тумане, как

будто земная звезда обменялась таинственнымвзглядом с небесною. Туман порозовел, точно в тело бледных призраков влилась живая кровь. И мраморное телобогини Венус в средней галерее над Невою сделалось теплым и розовым, словно живым. Она улыбнулась вечноюУлыбкой солнцу, как будто радуясь, что солнце восходитИ здесь, в гиперборейской полночи. Тело богини быловоздушным и розовым, как облако тумана; туман - жиВым и теплым, как тело богини. Туман был телом ее все было в ней, и она во всем.

Тихон вспомнил свои ночные мысли и почувствовалв душе спокойную решимость: не возвращаться к пасторуГлюку и бежать со старцем Корнилием.

Барка, на которой он лежал, сдвинутая бурей, уперласькормою в тот самый плот, где ночью шел разговор об Антихристе. Иванушка, успевший выспаться, сидел на том же месте, как ночью, и пел ту же песенку. И музыка, или толькопризрак музыки - заглушенные туманом звуки менуэта:

Покинь, Купидо, стрелы, Уже мы все не целы
сливались с унылой, протяжною песнью Иванушки, который, глядя на Восток - начало дня, пел вечному Западу - концу всех дней:

Гробы вы, гробы, колоды дубовые, Всем есте, гробы, домовища вечные!

День к вечеру приближается, Солнце идет к Западу, Секира лежит при корени.

Приходят времена последние!

На берегу Невы, у церкви Всех Скорбящих, рядомс домом царевича Алексея, находился дом царицы МарфыМатвеевны, вдовы сводного брата Петрова, царя ФеодораАлексеевича. Феодор умер, когда Петру было десять лет.

Восемнадцатилетняя царица прожила с ним в супружестве всего четыре недели. После его смерти она помешаласьв уме от горя и тридцать три года проявила в заключении. Никуда не выходила из своих покоев, никого не узнавала. При чужеземных дворах считали ее давно умершею.

Петербург, который она мельком видела из окон своей комнаты - мазанковые здания, построенные "голландскою и прусскою манирою", церкви шпицом, Нева с верейками и барками, каналы,- все

это представлялось ей как страшный нелепый сон. А сновидения казались действительностью. Она воображала, что живет в Московском Кремле, в старых теремах, и что, выглянув в окно, увидит Ивана Великого. Но никогда не выглядывала, боялась света дневного. У нее в хоромах была вечная темнота, окна завешены. Она жила при свечах.. Вековые запаны и завесы скрывали от взоров людских последнюю московскую царицу. Торжественный и пышный царский чин соблюдался на Верху. Служители далее сеней не смели входить без "обсылки". Здесь время остановилось, и все навеки было

неподвижно - так, как во времена Тишайшего царя Алексея Михайловича. Безумная сказка сложилась в ее больном уме, будто бы муж ее, царь Феодор Алексеевич жив и живет в Иерусалиме, у Гроба Господня, молится за Русскую землю, на которую идет Антихрист с несметными полчищами ляхов и немцев; на Руси нет царя, а тот царь, который и есть, не истинный; он - самозванец, оборотень, Гришка Отрепьев, беглый пушкарь, немец с Кукуевской Слободы; но Господь не до конца прогневался на православных; когда исполнятся времена и сроки, единый благоверный царь всея Руси, Феодор, солнышко красное, вернется в свою землю с грозною ратью, в силе и славе, и побегут перед ним басурманские полчища, как ночь перед солнцем, и сядет он вместе с царицею на дедовский престол, и восстановит суд и правду в земле своей; весь народ придет к нему и поклонится; и низринут будет Антихрист со всеми своими немцами. Тогда скоро и миру конец и второе страшное пришествие Христово. Все это близко, при дверях.

Недели через две после праздника Венеры в Летнем саду, царевна Мария пригласила Алексея в дом царицы Марфы. Здесь уже не раз бывали у них тайные свидания. Тетка передавала ему вести и письма от матери, опальной царицы Евдокии Феодоровны, во иночестве Елены, первой жены Петра, насильно постриженной им и заключенной в Суздальско-Покровском девичьем монастыре.

Алексей, войдя в дом царицы Марфы, долго пробирался по темным брусным переходам, сеням, клетям, подклетям и лестницам. Всюду пахло деревянным маслом, рухлядью, ветошью, как будто пылью и гнилью веков.

Всюду были кельйки, горенки, тайнички, боковушки, чуланчики. В них ютились старые-престарые верховые боярыни и боярышни, комнатные бабы, мамы, казначеи, нортмои, меховницы, постельницы, юродивые, нищие, странницы, государевы богомольцы, дураки и дурки, девочки-сиротинки, столетние сказочники-бахари и игрецыдомрачеи, которые воспевали былины под звуки заунывных домр. Дряхлые слуги в полинялых мухояровыхкафтанах, седые, шершавые, точно мохом обросшие, хватали царевича за полы, целовали его в ручку, в плечико.

Слепые, немые, хромые, седые, сивые от старости, безликие, следуя за ним, скользили по стенам, как призраки, кишели, копошились, ползали в темноте переходов, как в сырых щелях мокрицы. Навстречу ему попался дуракLUAmbIpa, вечно хихикавший и щипавшийся с дуркою Манькою. Самая древняя из верховых боярынь, любимая ца

рицею, так же, как и она, выжившая из ума, толстая, вся заплывшая желтым жиром, трясущаяся, как студень, Сундулея Вахрамеевна повалилась ему в ноги и почему-тозавыла, причитая над ним, как над покойником. Царевичу стало жутко. Вспомнилось слово отца: "оный дворцаревны Марфы от набожности есть гошпиталь на уродов, юродов, ханжей и шалунов".

Он с облегчением вздохнул, вступив в более светлуюи свежую угловую горницу, где ожидала его тетка, царица Мария Алексеевна. Окна выходили на голубой и солнечный простор Невы с кораблями и барками. Голыебременчатые стены, как в избе. только в красном углукиот с образами и тускло теплившеюся лампадкою. Постенам лавки. Сидевшая за столом тетка привстала и обняла царевича с нежностью. Мария Алексеевна одета была постаринному, в повойнике, в шерстяном шушуне смиренного, то есть темного, вдовьего цвета, с коричневыми крапинками. Лицо у нее было некрасивое, бледное и одутловатое, как у старых монахинь. Но в злых тонких губах, в умных, острых, точно колючих, глазах было что-то властное и твердое, напоминавшее царицу Софью - "злое семя Милославских". Так же, как Софья, ненавидела она брата и вседела его, "душою о старине горела". Петр щадил ее, но называл старою вороною за то, что она ему вечно каркала.

Царевна подала Алексею письмо от матери из Суздаля.

То был ответ на недавнюю, слишком сухую и краткую записочку сына: "Матушка, здравствуй! Пожалуй, не забывай меня в своих молитвах". Сердце Алексея забилося, когда он стал разбирать безграмотные строки с неуклюже нацарапанными, детскими буквами знакомого почерка.

"Царевич Алексей Петрович, здравствуй. А я, бедная, в печалях своих еле жива, что ты, мой батюшка, меня покинул, что в печалях таких оставил, что забыл рождение мое. А я за тобою ходила рабски. А ты меня скоро забыл. А я тебя ради по сие число жива. А если бы не ради тебя, то бы на свете не было меня в таких напастях и вбедах, и в нищете. Горькое, горькое мое житие! Лучше бы я на свет не родилась. Не ведаю, за что мучаюсь. А я же тебя не забыла, всегда молюсь за здоровье твоё Пресвятой Богородице, чтобы она сохранила тебя и во всякой бычистоте соблюла. Образ здесь есть Казанской Пресвятой Богородицы, по явлению построена церковь. А я за твоё здоровье обещалась и подымала образ в дом свой, да саманочью проводила, на раменах своих несла. А было мне

На плечах (церковнослав.).

видение месяца Майя двадцать третье число. Явилась пресветлая и пречистая Царица Небесная и обещалась у Господа Бога, своего Сына, упросить, да печаль мою на радость претворить. И слышала я, недостойная, от пресветлой Жены - рекла она такое слово: "предпочла-де ты Мой образ и проводила до храма Моего, и Я-де тебя возвеличу и сына-де твоего сохраню". А ты, радость моя, чадо мое, имей страх Божий в сердце своем. Отпиши, друг мой, Олешенька, хоть едину строчку, утоли мое рыдание слезное, дай хоть мало мне отдохнуть от печали, помилуй мать свою и рабу, пожалуй, отпиши! Рабски тебе кланяюсь".

Когда Алексей дочитал письмо, царевна Марья отдала ему монастырские гостинцы - образок, платочек, вышитый шелками собственною рукою смиренной инокини Елены, да две липовые чашечки, "чем водку пьют". Эти жалобные подарки больше тронули его, нежели письмо.

- Забыл ты ее,- произнесла Марья, глядя ему прямо в глаза.- Не пишешь и не посылаешь ей ничего.

- Опасаюсь,- молвил царевич.

- А что? - возразила она с живостью, и острые глаза точно укололи его.-Хотя бы тебе и пострадать? Ничего! Ведь за мать, не за кого иного...

Он молчал. Тогда она начала ему рассказывать шепотом на ухо, что слышала от пришедшего из обители Суздальской юрода Михаила Босого: тамошняя радость обвеселила, там не прекращаются видения, знамения, пророчества, гласы от образов; архиерей Новгородский Иов сказывает: "тебе в Питербурхе худо готовится; только Богтебя избавит, чаю; увидишь, что у вас будет". И старцу Виссариону, что живет в Ярославской стене замурован, было откровение, что скоро перемене быть: "либо государь умрет, либо Питербурх разорится". И епископу Досифею Ростовскому явился св. Дмитрий царевич и предрек, что некоторое смятение будет и скоро совершится.

- Скоро! Скоро! - заключила царица.- Много вопиющих: Господи мсти и дай совершение и делу конец!

Алексей знал, что совершение значит смерть отца.

- Попомни меня! - воскликнула Мария пророчески. Питербурх не долго за нами будет. Быть ему пусту!

И взглянув в окно на Неву, на белые домики среди зеленых болотистых топей, повторила злорадно:

- Быть пусту, быть пусту! К черту в болото провалится! Как вырос, так и сгинет, гриб поганый. И местеего не найдут, окаянного!

Старая ворона раскаркалась.

- Бабы сказки,- безнадежно махнул рукой Алексей.- Мало ли пророчеств мы слышали? Все вздор!

Она хотела что-то возразить, но вдруг опять взглянула на него своим острым, колючим взором.

-Что это, царевич, лицо у тебя такое? Не можется, что ли? Аль пьешь?

- Пью. Насильно поят. Третьего дня на спуске корабельном замертво вынесли. Лучше бы я на каторге былили лихорадкою лежал, чем там был!

- А ты пил бы лекарства, болезнь бы себе притворял, чтобы тебе на тех спусках не быть, коли ведаешь такой отца своего обычай.

Алексей помолчал, потом тяжело вздохнул.

- Ох, Марьюшка, Марьюшка, горько мне!.. Уже ячуть знаю себя от горести. Если бы не помогала сила Божья, едва можно человеку в уме быть... Я бы рад хотькуды скрыться... Уйти бы прочь от всего!

- Куда тебе от отца уйти? У него рука долга. Везденайдет.

- Жаль мне,- продолжал Алексей,- что не сделал так, как приговаривал Кикин, чтобы уехать во Францию или к кесарю. Там бы я покойнее здешнего жил, пока Бог изволит. Много ведь нашей братии-то бегством спасалось. Да нет такого образа, чтобы уехать. Уж и не знаю, что со мною будет, тетенька, голубушка!.. Я ничему не рад, только дай мне свободу и не трогай никуда. Либо отпусти в монастырь. И от наследства бы отрекся, жил бы, отдалясь от всего, в покое, ушел бы в свои деревнишки, где бы живот скончать!

- Полно-ка ты, полно, Петрович! Государь ведь человек не бессмертен: воля Божья придет - умрет. Вот, говорят, болезнь у него падучая, а такие люди недолго живут. Даст Бог совершение.... Чаю, что не умедлится... погоди, говорю, доведется и нам свою песенку спеть. Тебя в народе любят и пьют про твое здоровье, называя надеждою Российскою. Наследство тебя не минует!

- Что наследство, Марьюшка! Быть мне пострижену, и не то, что ныне от отца, а и после него мне на себя ждать того же: что Василья, Шуйского, постригши, отдадут куда в полон. Мое житье худое...

Василий Шуйский, русский царь в 1606-1610 гг., умер в польском плену (1616).

- Как же быть, соколик? Час терпеть, век жить. Потерпи, Алешенька!

- Долго я терпел, больше не могу! - воскликнул он с неудержимым порывом, и лицо его побледнело.- Хотьбы уж один конец! Истома пуще смерти...

Он хотел что-то прибавить, но голос его пресекся. Он глухо простонал: "О, Господи, Господи!" - уронил руки на стол, прижал к ладоням лицо, стиснул голову пальцами и незаплакал, а только весь, как от нестерпимой боли, съежился. Судорога бесслезного рыдания сотрясла все его тело.

Царевна Марья склонилась над ним, положила на плечо его свою маленькую, твердую и властную руку; точно такие же руки были у

царевны Софьи.

- Не малодушествуй, царевич,- проговорила она медленно, с тихою и ласковою строгостью.- Не гневи Бога, не ропщи. Помни Иова: благо есть надеяться на Господа, понеже весь живот наш и движение в руке Божией. МожетОн и противными полезно нам устроить. Аще Бог с кем, что сотворит тому человек? Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Господь воздаст за мя! Положисьвесь на Христа, Алешенька, друг мой сердешненькой: выше силы не попустит он быть искушению.

Она умолкла. И под эти родные, с детства знакомыезвуки молитвенных слов, под эту ласковою, твердою рукою, он тоже затих.

Постучались в дверь. То Сундуля Вахрамеевна пришла за ним от царицы Марфы.

Алексей поднял голову. Лицо его все еще было бледно, но уже почти спокойно. Он взглянул на образ с тусклотеплившеюся лампадкою, перекрестился и сказал:

- Твоя правда, Марьюшка! Буди воля Божья во всем.

Он за молитвами Богоматери и всех святых, как хочет, совершит или разрешит о нас, в чем надежду мою имели иметь буду.

- Аминь! - произнесла царевна.

Они встали и пошли в постельные хоромы царицы Марфы.

Несмотря на солнечный день, в комнате было темно, как ночью, и горели свечи. Ни один луч не проникалсквозь плотно забитые войлоками, завешенные коврамиокна. В спертom воздухе пахло росным ладаном и гуляфноюводкою - розовою водою - куреньями, которые клали впечные топли для духу. Комнату загромождали казенки, поставцы, шкафы, скрыни, шкатуни, коробьи, ларцы, кованые сундуки, обитые полосами луженого железа подголовки, кипарисовые укладки, со всеми мехами, платьями

и белою казною - бельем. Посередине комнаты возвышалось царицыно ложе под шатровую сенью - пологом изалтабаса пунцового, с травами бледно-зеленого золота, содеялом из кизылбашской золотной камки на соболяхс горностаевой опушкой. Все было пышное, но ветхое, истертое, истлевшее, так что, казалось, должно было рассыпаться, как прах могильный, от прикосновения

свежего воздуха. Сквозь открытую дверь видна была соседняя комната - крестовая, вся залитая сиянием лампад перед иконами в золотых и серебряных ризах, усыпанных драгоценными камнями. Там хранилась всякая святыня: кресты, панагии, складни, крабицы, коробочки, ставики с мощами;

смирна, ливан, чудотворные меды, святая вода в вощанках; на блюдечках кассия, в сосуде свинцовом миро, освященное патриархами; свечи, зажженные от огня небесного; песок Иорданский; частицы Купины Неопалимой, дуба Мамврийского; млеко Пречистой Богородицы; камень лазоревый - небеса, "где стоял Христос на воздухе"; камень во влагалище суконном - "от него благоухание, а какой камень, про то неведомо"; онучки Пафнутия Боровского;

зуб Антипия Великого, от зубной скорби исцеляющий, отобранный на себя Иваном Грозным из казны убиенного сына.

У ложа в золоченых креслах, похожих на "царское место", с резным двуглавым орлом и "коруною" на спинке, сидела царица Марфа Матвеевна. Хотя зеленая муравленая печка с узорчатыми городками и гзымзами была жарко натоплена, зябкая больная старуха куталась в телогрею киндячную на песцовом меху. Жемчужная ряса и поднизы свешивались на лоб ее из-под золотого кокошника. Лицо было не старое, но точно мертвое, каменное; густо набеленное и нарумяненное, по древнему чину Московских цариц, казалось оно еще мертвеннее. Живы были только глаза, прозрачно-светлые, но с неподвижным, как будто невидящим, взором; так смотрят днем ночные птицы. У ног ее сидел на полу монашек и что-то рассказывал.

Когда вошел царевич с теткою, Марфа Матвеевна поздоровалась с ними ласково и пригласила послушать странничка Божья. Это был маленький старичок с личиком совсем детским, очень веселым; голосок у него был тоже веселый, певучий и приятный. Он рассказывал о своих странствиях, о скитском житии на Афоне и Соловках. Сравнивая их, отдавал предпочтение обители греческой перед русской.

- Называется обитель та Афонская Сад Пресвятой Богородицы, на него же всегда зрит с небес Мать Пречистая, снабдевает и хранит

его нерушимо. И помощью еестоит он и цветет, и плод приносит, внешний и внутренний, вне - красный, внутрь - душеспасительный.

И всяк проникнувший в тот сад, как бы в преддвериерайское, и узревший доброту и красоту его, не захочетвспять возвратиться. Воздух там легкий, и высота холмови гор, и теплота, и свет солнечный, и различие древеси плодов, и близость прежеланного края, Иерусалима, творят веселие вечное. Соловецкий же остров имеет уныние и страх, ожесточение и тьму, и мраз, тартару подобный. Обретается же на острове том и нечто душе вредящее: живут множество птиц белых - чайки. Все лето плодятся, детей выводят, гнезда вьют на земле при путях, где ходят монахи в церковь. И великая от птиц сих тщета творится инокам. Первое, лишаются благоутишия. Второе, как видят их бьющихся да играющих, да сходящихся, то мыслью пленяются и в страсти приходят. Третье, чтои жены, и девицы, и монашки часто бывают в обителитой. В Афонской же горе сего соблазна нет: ни чайкине прилетают, ни жены не приходят. Единая Жена, двумякрылами орлицы парящая - Церковь святая,- привитааетв пустыне той сладостной, доколе не исполнится воляГосподня и времена, кои положил Он во власти своей.

Ему же слава вовеки. Аминь.

Когда он кончил рассказ, царица попросила выйти изкомнат всех, даже Марью, и осталась наедине с царевичем.

Она его почти не знала, не помнила, кто он и как ей родством доводится, даже имя его все забывала, а звала простовнучком, но любила, жалела какою-то странною вещью жалостью, точно знала о судьбе его то, чего он сам еще не знал.

Она долго смотрела на него молча своим светлымнеподвижным взором, словно застланным пленкою, каквзор ночных птиц. Потом вдруг печально улыбнуласьи стала тихо гладить ему рукою щеку и волосы:

- Сиротинка ты мой бедненький! Ни отца, ни матери. И заступиться некому. Загрызут овечку волки лютые, заклюют голубчика белого вороны черные. Ох, жаль мнетебя, жаль, родненький! Не жилец ты на свете...

От этого безумного бреда последней царицы, казавшейся здесь, в Петербурге, жалобным призраком старой Москвы, от этой тлеющей

роскоши, от этой тихой теплой комнаты, в которой как будто остановилось время, веяло нацаревича холодом смерти и ласкою самого дальнего детства. Сердце его грустно и сладко заныло. Он поцеловал мертвенно-бледную, исхудалую руку, с тонкими пальцами, с которой спадали тяжелые древние царские перстни.

Она опустила голову, как будто задумалась, перебирая круглые кральковые четки: от тех кральков - кораллов дух нечистый бежит, "понеже кралек крестообразно растет".

- Все мятется, все мятется, очень худо деется!- заговорила она опять, точно в бреду, с возрастающей тревогою.- Читал ли ты, внучек, в Писании: Дети, последняя година. Слышали вы, что грядет, и ныне в мире естуже. Это о нем, о Сыне Погибели сказано: Уже пришел к вратам двора. Скоро, скоро будет. Уж и не знаю, дождусь ли, увижу ли друга сердешненького, солнышковое красное, благоверного царя феодора Алексеевича?

Хоть бы одним глазком взглянуть на него, как придет он в силе и славе, с неверными брань сотворит, и победит, и воссядет на престоле величества, и поклонятся, и воскликнут ему все народы: Осанна! Благословен грядый во имя Господне!

Глаза ее загорелись было, но тотчас вновь, как угли пеплом, подернулись прежнею мутною пленкою.

- Да нет, не дождусь, не увижу! Прогневила я, грешная, Господа... Чует, ох, чует сердце беду. Тошно мне, внучек, тошнехонько... И сны-то нынче снятся все таки недобрые, вещие...

Она оглянулась боязливо, приблизила губы к самому уху его и прошептала:

- Знаешь ли, внучек, что мне наведни приснилось?

Он сам, во сне ли, в видении ли, не ведаю, а только он сам приходил ко мне, никто другой, как он!

- Кто, царица?

- Не разумеешь? Слушай же, как тот сон мне приснился - может, тогда и поймешь. Лежу я, будто бы на этой самой постели и словно жду чего-то. Вдруг настает дверь, и входит он. Я его сразу узнала. Рослый такой, да рыжий, а кафтанишка куций, немецкий; во рту пипка, табачище тянет; рожа бритая, ус кошачий. Подошел ко мне, смотрит и молчит. И я молчу, что-то, думаю, будет. И тошно мне стало,

скучно, так скучно - смертью... Перекреститься хочу - рука не подымается, молитву прочесть - язык не шевелится. Лежу как мертвая.

А он за руку меня берет, щупает. Огонь и мороз по спине. Взглянула я на образ, а и образ-то представляется мне разными видами; будто бы не Спасов лик пречистый, а немчин поганый, рожа пухлая, синяя, точно утопленник... А он все ко мне: - Больна-де ты, говорит, МарфаМатвеевна, гораздо больна. Хочешь, я тебе моего дохтурапришлю? Да что ты на меня так воззрилась? Аль не узнала? - Как, говорю, мне тебя не узнать? Знаю. Малоли мы таких, как ты, видывали! - Кто же-де я, говорит, скажи, коли знаешь? - Известно, говорю, кто. Немец ты, немцев сын, солдат барабанщик.- Осклабился во всюрожу, порскнул на меня, как кот шальной.- Рехнулась же ты, видно, старуха, совсем рехнулась! Не немец я, небарабанщик, а боговенчанный царь всея Руси, твоего жепокойного мужа царя Феодора сводный брат.- Тут уезлость меня взяла. Так бы ему в морду и плюнула, такбы и крикнула: пес ты, собачий сын, самозванец, ГришкаОтрепьев, анафема - вот ты кто! - Да ну его, думаю, к шуту. Что мне с ним браниться? И плюнуть-то на негоне стоит. Ведь это мне только сон, греза нечистая попущением Божиим мерещится. Дуну, и сгинет, рассыплется.- Петр, говорит, имя мое.- Как сказал он: "Петр",

так меня ровно что и осенило. Э, думаю, так вот ты кто!

Ну, погоди же. Да не будь дура, языком не могу, такхоть в уме творю заклятие святое: "Враг сатана! отгонисьот меня в места пустые, в леса густые, в пропасти земные, в моря бездонные, на горы дикие, бездомные, безлюдные, иде же не пресекает свет лица Господня! Рожа окаянная! изыде от меня в тартарар, в ад кромешный, в пеклопреисподнее. Аминь! Аминь! Аминь! Рассыпсья! Дую натебя и плюю". Как прочитала заклятье, так он и сгинул, точно сквозь землю провалился - нет от него и следа, только табачищем смердит. Проснулась я, вскрикнула, прибежала Вахрамеевна, окропила меня "пятой водою, окурила ладаном. Встала я, пошла в молельную, пала передобразом Владычицы Пречистой Влахернская Божией Матери, да как вспомнила и вздумала обо всем, тут толькои уразумела, кто это был.

Царевич давно уже понял, что приходил к ней отец нево сне, а наяву. И вместе с тем чувствовал, как бредсумасшедшей передается ему, заражает его.

- Кто ж это был, царица? - повторил он с жадными жутким любопытством.

- Не разумеешь? Аль забыл, что у Ефрема-то в книге о втором пришествии сказано: "во имя Симона Петраимеет быть гордый князь мира сего - Антихрист". Слышишь? Имя его - Петр. Он самый и есть!

Она уставила на него глаза свои, расширенные ужасом, и повторила задыхающимся шепотом: Он самый и есть. Петр-Антихрист... Антихрист!

КНИГА ТРЕТЬЯ

ДНЕВНИК ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ

ДНЕВНИК ФРЕЙЛИНЫ АРНГЕЙМ

1 мая 1714

Проклятая страна, проклятый народ! Водка, кровь и грязь. Трудно решить, чего больше. Кажется, грязи. Хорошо сказал датский король: "ежели московские послыснава будут ко мне, построю для них свиной хлев, ибо где они постоят, там полгода жить никто не может отсмрада". По определению одного француза: "Московит человек Платона, животное без перьев, у которого есть все, что свойственно природе человека, кроме чистоты и разума".

И эти смрадные дикари, крещенные медведи, которые становятся из страшных жалкими, превращаясь в европейских обезьян, себя одних считают людьми, а всех остальных скотами. В особенности же к нам, немцам, ненависть у них врожденная, непобедимая. Они полагают себя оскверненными нашим прикосновением. Лютеране для них немногим лучше дьявола.

Ни минуты не осталась бы я в России, если бы недолг любви и верности к ее высочеству моей милостивой госпоже и сердечному другу, кронпринцессе Софии, Шарлотте. Что бы ни случилось, я ее не покину!

Буду писать этот дневник так же, как обыкновенно говорю, по-немецки, отчасти по-французски. Но некоторые шутки, пословицы, песни, слова указов, отрывки разговоров, рядом с переводом, буду сохранять и по-русски.

Отец мой - чистый немец из древнего рода саксонских рыцарей, мать - полька. За первым мужем, польским шляхтичем, долго жила она в России, недалеко от Смоленска, и хорошо изучила русский язык. Я воспитывалась в городе Торгау, при дворе польской королевы, где

также было много москвитов. С детства слышала русскую речь. Говорю плохо, не люблю этого языка, но хорошо понимаю.

Чтобы хоть чем-нибудь облегчить сердце, когда бывает слишком тяжело, я решила вести записки, подражая болтуну из древней басни, который, не смея вверить тайны своей людям, нашептал ее болотным тростникам. Я не желала бы, чтобы строки эти когда-либо увидели свет; но мне отрадно думать, что они попадутся на глаза единственному из людей, чье мнение для меня всего дороже в мире, - моему великому учителю, Готфриду Лейбницу.

* * *

В то самое время, когда думала о нем, получила от него письмо. Просит разузнать о жалованье, которое следует ему в качестве состоящего на русской службе, тайного юстиц-рата.

Юстиц-рат (Justizrat)-советник юстиции.

Боюсь, что никогда не увидит он этого жалованья.

Чуть не плакала от грусти и радости, когда читала письмо его. Вспоминала наши тихие прогулки, и беседы в галереях Зальцдаленского замка, в липовых аллеях Герренгаузена, где нежные зефиры в листьях и шелест фонтанов как бы вечно напевают нашу любимую песенку из *Mercure Galant*: *Mercure Galant* (франц.)-Любезный Меркурий [посланец

Chantons, dancons, tout est tranquille Dans cet agreable sejour.

Ah, ce charmant asil-!

N'y parlens que de jeux, de plaisirs et d'amours.

Будем петь, танцевать, все безмятежно В этом чудесном месте.

Ах, прелестный приют!

Будем говорить здесь только об играх, о наслаждениях и о любви (франц.).

Вспоминала слова учителя, которым я тогда почти верила: "Я славянин, как и вы. Мы с вами должны радоваться, что в жилах наших течет славянская кровь. Этому племени принадлежит великая

будущность. Россия соединит Европу с Азией, примирит Запад с Востоком. Эта страна - как новый горшок, еще не принявший чужого вкуса: как лист белой бумаги, на котором можно написать все, что угодно; как новая земля, которая будет вспахана для нового сева. Россия впоследствии могла бы про

богов - миф. осветить и самую Европу, благодаря тому, что избежала бы тех ошибок, которые у нас уж слишком вкоренились".

И он заключил с вдохновенной улыбкой: "Я, кажется, призван судьбою быть русским Соленом, законодателем нового мира. Овладеть умом одного человека, такого как царь, и устремить его к благу людей - значит больше, чем выиграть сотню сражений!"

Увы, мой бедный, великий мечтатель, если бы признали и видели все, что я узнала и увидела в России!

Вот и сейчас, пока я пишу, печальная действительность напоминает мне, что я не в сладостном приюте Герренгаузена, этой немецкой Версали, а в глубине Московской Тартарии.

От лат. Tartarus - подземное царство, ад.

Под окнами слышатся крики, вопли, ругательства: это дворцовые люди соседки нашей, царевны Натальи Алексеевны, дерутся с нашими людьми. Русские бьют немцев.

Вижу, увы, на деле соединение Азии с Европой, Востока с Западом!

Прибежал наш секретарь, бледный, дрожащий, в разорванном платье, с окровавленным лицом. Увидев его, кронпринцесса едва не упала в обморок. Послали за царевичем. Но он болен своей обычной болезнью - пьян.

Мы живем во дворце кронпринца Алексея, мазанковом домике в два жилья с черепичною кровлею, на самом берегу Невы. Помещение так тесно, что почти весь придворный штат ее высочества расположился в трех соседних домах, нанятых Сенатом. В одном из них - ни дверей, ни окон, ни печей и никакой мебели. Ее высочеству пришлось отделать его на свой счет и пристроить конюшню.

Вчера вернулся владелец дома, некто Гидеонов, служащий у царевны Натальи, приказал выгнать наших людей и выбросил вещи

во двор. Потом стал выводить из конюшни лошадей ее высочества и ставить туда своих.

Кронпринцесса велела сломать конюшню, дабы перенести ее на другое место. Но когда шталмейстер привел рабочих, Гидеонов послал туда своих людей, которые жестоко избили и прогнали наших. Шталмейстер грозил пожаловаться царю. Гидеонов отвечал, смеясь: "Жалуйтесь на здоровье, а я и раньше вас пожалуюсь!"

Хуже всего то, что он уверяет, будто бы делает все по приказанию царевны. Эта царевна - старая дева, самое злое существо в мире. В глаза любезничает, а за спиной, всякий раз, как произносит имя ее высочества, плюет, приговаривая: "Эдакая немка! Фря! Что она себе воображает? А придется таки ей хвост поджать!"

Итак, наши бедные конюхи живут под открытым небом. Во всем городе не нашлось бы для них помещения за сто червонцев: такая здесь теснота. Когда об этом говорят царю, он отвечает, что через год будет довольно домов. Но тогда они уже не будут нужны, по крайней мере нашим людям, ибо, вероятно, большая часть их отправится на тот свет.

* * *

В Европе не поверили бы, если бы узнали о бедности, в которой мы живем. Деньги, назначенные на содержание кронпринцессы, выдаются так неправильно и скудно, что их никогда не хватает. А между тем тут страшная дороговизна. За что в Германии платят грош, за то здесь четыре. Мы задолжали всем купцам, и они нам скоро перестанут верить. Не говоря уже о людях наших, мы иногда сами нуждаемся в свечах, дровах, в съестных припасах.

У царя ничего нельзя добиться, потому что ему все некогда. А царевич пьян.

- Свет исполнен горечи,- сказала мне сегодня ее высочество.- Начиная с самого детства, то есть с шестилетнего возраста, я не знаю, что такое радость, и не сомневаюсь, что судьба готовит мне еще большие несчастья в будущем...

Глядя вдаль, как будто уже видя это будущее, она повторяла: "мне не миновать беды!"- с таким безнадежным спокойствием, что я не находила слов для утешения, только молча целовала ей руки.

Раздался пушечный выстрел, и мы должны были спешить собираться на увеселительную прогулку по Неве водяную ассамблею.

Здесь так заведено, что по выстрелу и флагам, вывешенным в разных концах города, все барки, верейки, яхты, торншхоуты и буеры должны собираться у крепости.

За неявку штраф.

Мы тотчас отправились на нашем буере с десятиюгребцами и долго разъезжали с прочими лодками взад и вперед по Неве, постоянно следуя за адмиралом, не смеяни отставать, ни обгонять, тоже под штрафом - здесь штрафы на все.

Играла музыка - трубы и валторны. Звуки повторяло эхо крепостных бастионов.

Нам и без того было грустно. А холодная, бледно-голубая река с плоскими берегами, бледно-голубое, каклед, прозрачное небо, сверкание золотого шпица на церкви Петра и Павла, деревянной, выкрашенной в желтую краску, под мрамор, унылый бой курантов - все наводило еще большую грусть, особенную, какой никогда нигде я не испытывала, кроме этого города.

Между тем вид его довольно красив. Вдоль низкойнабережной, убитой черными смолеными сваями,- бледно-розовые кирпичные дома затейливой архитектуры, похожие на голландские кирпичи, с острыми шпицами, слуховыми окнами на высоких крышах и огромными решетчатымикрыльцами. Подумаешь, настоящий город. Но тут жерядом - бедные лачужки, крытые дерном и берестою;

далее - топь да лес, где еще водятся олени и волки.

На самом взморье - ветряные мельницы, точно в Голландии. Все светло-светло, ослепительно и бледно, и грустно. Как будто нарисованное, или нарочно сделанное.

Кажется, спишь и видишь небывалый город во сне.

Царь, со всем своим семейством в особом буере, стоялу руля и правил. Царицы и принцессы в канифасныхкофточках, красных юбках и круглых клеенчатых шляпах - все "на голландский манер" - настоящие саардамские корабельщицы. "Я приучаю семейство мое кводе,- говорит царь,- кто хочет жить со мною, тот должен бывать часто на море".

Он почти всегда берет их с собою в плавание, особенно в свежую погоду, запирает наглухо в каюту и вселавирует против ветра, пока хорошенько не укачает их и, *salvo honore*, не вырвет - тут только он доволен!

Мы боялись, как бы не решили ехать в Кроншлот.

Участники одной из подобных прогулок в прошлом году не могут ее вспомнить без ужаса: застигнутые бурей, они едва не утонули, попали на мель, просидели несколько часов по пояс в воде, наконец, добрались до какого-то острова, развели огонь и совершенно голые - мокрое платье должны были снять - покрылись добытыми у крестьян, суровыми санными одеялами и так провели всю ночь, греясь у костра, без питья, без пищи, новые Робинзоны.

На этот раз судьба нас помиловала; на адмиральском буере спущен был красный флаг, что означало конец прогулки.

Мы возвращались каналами, осматривая город.

Каналов здесь множество. "Если Бог продлит мне жизнь и здоровье, Петербург будет другой Амстердам!"

хвастает царь. "Управлять все, как в Голландии водится" обычные слова указов о строении города.

У царя страсть к прямым линиям. Все прямое, правильное кажется ему прекрасным. Если бы возможно было, он построил бы весь город по линейке и циркулю. Жителям указано "строиться линейно, чтобы никакое строение не за линию или из линии не строилось, но чтобы улицы и переулки были ровны и изрядны". Дома, выходящие за прямую линию, ломают безжалостно.

Гордость царя - бесконечно длинная, прямая, пересекающая весь город "Невская перспектива". Она совсем пустынная среди пустынных болот, но уже обсажена тощими липками в три, четыре ряда, и похожа на аллею.

Содержится в большой чистоте. Каждую субботу подметают ее пленные шведы.

Многие из этих геометрически правильных линий воображаемых улиц - почти без домов. Торчат только вежи. На других, уже обстроенных, видны следы плугов, борозды недавних пашен.

Дома возводятся, хотя из кирпичей, приготовленных "по Витрувию наставлению", но так поспешно и непрочны, что грозят

падением. Когда проезжают по улице, они трясутся: болотистая почва - слишком зыбкая. Враги царя предсказывают, что когда-нибудь весь город провалится.

Один из наших спутников, старый барон Левенвольд, генеральный комиссар Лифляндии, человек любезный и умный, рассказывал много любопытного об основании города.

Для возведения первых земляных валов Петропавловской крепости нужна была сухая земля, а ее поблизости не было - все болотная тина да мох. Тогда придумали тащить к бастионам землю из дальних мест в старых кулях, рогожах и даже просто в полах платья. При этой Сизифовой работе две трети несчастных погибли, в особенности, вследствие безбожного воровства и мошенничества тех, кому поручено было содержать их. По целым месяцам не видали они хлеба, которого, впрочем, иногда за деньги трудно достать в этом пустынном краю; питались капустой да репой, страдали поносом, цингой, пухли от голода, мерзли в землянках, подобных звериным норами, умирали как мухи. Сооружение одной лишь крепости на острове Веселом - Lust-Eiland (хорошо название!) стоило жизни сотне тысяч переселенцев, которых гоняли сюда силою, как скот, со всех концов России.

Воистину, этот противоестественный город, страшный

Парадиз, как называет его царь, основан на костях человеческих!

Здесь ни с живыми, ни с мертвыми не церемонятся.

Мне собственными глазами случалось видеть на Съестном рынке, или у Гостиного двора, как мертвое тело рабочего, завернутое в рогожу, привязанное веревками к шесту, несут два человека, а много что везут на дровнях, совсем голые, на кладбище, где зарывают в землю, без всякого обряда. Бедняков умирает каждый день столько, что хоронить их по-христиански некогда.

Однажды, проезжая в лодке по Неве, в жаркий летний день, заметили мы на голубой воде серые пятна: то были кучи комариных трупов - в здешних болотах их множество. Они плыли из Ладожского озера. Один из наших гребцов зачерпнул их полную шляпу.

Слушая рассказы Левенвольда о строении Петербурга, я закрыла глаза, и мне представилось, что трупы людей, серых-серых,

маленьких, бесчисленных, как эти кучи комариных трупов, плывут по Неве без конца - и никто их не знает, не помнит.

Вернувшись домой, села писать дневник в моей крошечной комнатке, настоящей птичьей клетке, в мезонине, под самую крышею.

Было душно. Я открыла окно. Запахло весенней водою, дегтем, сосновыми стружками. На самом берегу Невы двое плотников, молодой и старый, чинили лодку. Слышался стук молотков и протяжная, грустная песня, которую пел молодой очень медленно, повторяя все одно и то же. Вот несколько слов этой песни, насколько я могла их расслышать:

Как в городе, во Санктпитеере, Как на матушке, на Неве реке, На Васильевском славном острове, Молодой матрос корабли снастил.

Глядя на вечернее, бледно-зеленое, как лед, прозрачное и холодное небо Парадиза, я слушала грустную песню, подобную плачу, и мне самой хотелось плакать.

3 мая

Сегодня ее высочество была у царицы, жаловалась на Гидеонова, просила также о более правильной выдаче денег. Я присутствовала при свидании.

Царица как всегда любезна.

- Czaarische Majestat Euch sehr lieb,--сказала она, между прочим, кронпринцессе на своем ломаном немецком языке.

- Ей, ей, царское величество вас очень любит. Истинно, говорит, Катерина, твоя невестка зело пригожа, как станом, так и нравом.- Ваше величество, говорю, ты любишь свою дочь больше меня.- Нет, говорит, асам смеется, не больше, но скоро буду так же любить. Сынмой, говорит, право, не стоит такой доброй жены.

Из этих слов мы могли понять, что царь не очень-то любит царевича.

Когда ее высочество, чуть не со слезами, стала просить за муж", царица обещала быть его заступницей, все с тою же любезностью, уверяя, что "любит ее, как свое родное дитя, и что если бы носила ее под сердцем, то не могла бы сильнее любить".

Не нравится мне эта русская приторность; боюсь, как бы тут не оказался мед на острие ножа.

Кажется, впрочем, и ее высочество себя не обманывает. Однажды при мне выразилась она, что царица "хуже всех"-pire que tout le reste.

Сегодня, возвращаясь домой со свидания, заметила: Она никогда не простит мне, если у меня родится сын.

Одна старая женщина из простого народа, когда зашла у нас речь о царице, шепнула мне на ухо: "Не подобает ей на царстве быть - ведь она не природная и не русская;

и ведаем мы, как она в полон взята: приведена под знамя, в одной рубахе, и отдана под уараул; караульный, наш же офицер, надел на нее кафтан. Бог знает, какого она чина. Мыла, говорят, сорочки с чухонками".

Я вспомнила об этом сегодня, когда ее высочество, здороваясь с царицею, по придворному этикету, хотела поцеловать у нее платье. Правда, та не допустила этого сама обняла и поцеловала ее. Но какая все-таки насмешка судьбы, что принцесса Вольфенбюттельская, наследница великих Вельфов, которые оспаривали корону у германских императоров еще в те дни, когда о Гогенцоллернах и Габсбургах никто не слыхал,- целует платье у этой женщины, мывшей белье с чухонками!

4 мая

После теплых, как будто летних, дней, вдруг опять зима. Холод, ветер, мокрый снег с дождем. По Неве идет ладожский лед. Говорят, впрочем, что здесь выпадает снег и в июне.

Наш "дворец" доведен до такого запущения, что крыша оказалась дырявою, и сегодня ночью, во время сильного дождя, в спальне ее высочества текло с потолка, хорошо еще, что мимо постели. На полу образовалась лужа.

Потолок украшен аллегорической живописью: пылающий жертвенник, увитый розами; по бокам купидоны с двумя гербами - русским орлом и брауншвейгским конем;

между ними две соединенные руки с надписью: "Non unquam junxit nobiliora tides. Никогда более благородных не соединяла верность". Как раз на жертвеннике выступило черное пятно от сырости, и с пламени Гименя капала грязная, холодная вода.

Припомнилась мне свадебная речь археолога Экгарта, в которой доказывалось, что жених и невеста происходят от Византийского

императора Константина Порфирородного. Хороша страна, где каплет едва не на брачное ложе Порфирородной наследницы!

7 Мая

Явился, наконец, кронпринц с другой половины дома, где живет отдельно от нас, так что мы не видим его иногда по целым неделям. Произошло объяснение. Я слышала все из соседней комнаты, где должна была остаться пожеланию ее высочества.

На все ее просьбы и жалобы по Гидеоновскому делу, по невыдаче денег, он отвечал, пожимая плечами:

- Mich nichts angehen. Bekummere mich nicht an Sie.

Это меня не касается. Мне до вас дела нет!

Потом разразился упреками за то, что она, будто бы, наговаривает на него отцу.

- Как вам не стыдно? - заплакала ее высочество. Пощадите хоть собственную честь! В Германии нет такого сапожника или портного, который позволил бы так обращаться со своею женою...

- Вы в России, не в Германии.

- Я это слишком чувствую. Но если бы исполнено было все, что обещано...

- Кто обещал?

- Не вы ли сами, вместе с царем, подписывали брачный договор?

- Halten Maul! Ich Sie nichts versprochen. Заткните глотку! Ничего я вам не обещал. Вы отлично знаете, что мне навязали вас на шею!

Он вскочил и опрокинул стул, на котором сидел.

Я готова была броситься на помощь к ее высочеству.

Мне казалось, что он ее ударит. Я его так ненавидела эту минуту, что, кажется, убила бы.

- Das danke Ihnen der Henker! Да наградит вас запалач! - воскликнула кронпринцесса, вне себя от гнева и горя.

С непристойным ругательством он вышел, хлопнув дверью.

Кажется, в этом человеке воплотилось все дикое и подлое, что только есть в этой дикой и подлой стране.

Одного не могу решить, кто он в большей мере - дураки или негодяй?

Бедная, Шарлотта! - ее высочество, которая с каждым днем оказывает мне все большую дружбу не по заслугам, сама просила,

чтобы я ее называла так,- бедная , Шарлотта! Когда я подошла к ней, она кинулась в мои объятия долго не могла произнести ни слова, только вся дрожала.

наконец, сказала, рыдая: - Если бы я не была беременна и могла добрым путем возвратиться в Германию, я согласилась бы с радостью питаться там черствым хлебом и водою! Я почти с ума схожу от горя, не знаю, что говорю и делаю. Молю Бога, чтобы Он меня укрепил, и чтобы отчаянье не довело меня до чего-нибудь ужасного!

Потом прибавила уже с тихими слезами и с обычною покорностью, которая иногда меня пугает в ней больше всякого отчаянья:

- Я несчастная жертва семьи, которой не принесла я ни малейшей пользы, а сама умираю от горя медленной смертью...

* * *

Мы еще обе плакали, когда пришли сказать, что пора ехать на маскарад. Глотая слезы, мы стали наряжаться в маски. Таков здесь обычай: хочешь, не хочешь, а веселись, когда приказано.

Маскарад был на Троицкой площади, у кофейного дома, "австории", под открытым небом. Так как это место-низкое, болотистое, с никогда не просыхающей грязью, то часть площади устлали бревнами и сверху досками; образовался помост, на котором и толпились маски. К счастью, погода опять внезапно изменилась:

вечер был тихий и теплый. Но к ночи с реки поднялся туман, густой-густой, белый, как молоко, и окутал всю площадь. Многие, особенно дамы, в слишком легких нарядах, простуживались от сырости, чихали и кашляли. Вместо лекарства поили их водкою. Гренадеры, по обыкновению, разносили ее в ушатах. В белом облаке тумана, освещен

него зеленоватым светом долгой зари - позже, в июне здесь заря во всю ночь - все эти маски - арлекины, скарамуши, паяцы, пастушки, нимфы, китайцы, арабы, медведи, журавли, драконы - казались смешными и страшными призраками.

Тут же, рядом с помостом, где мы танцевали, виднелись черные кольца с железными спицами, на которых торчали мертвые, почти истлевшие головы казненных.

В смолистом запахе весенней хвои, березовых почек, которым теперь наполнен весь город, чудился мне смрадэтих голов. И опять казалось, как постоянно здесь кажется,- что все это сон. ч

6 мая

Неожиданное примирение. Подойдя к полуоткрытой двери в комнату ее высочества, я увидела нечаянно в зеркале, что она сидит в кресле, а кронпринц, наклонившись к ней и держа голову ее обеими руками, целует в лоб почтительной нежностью. Я хотела было скрыться, но она, заметив меня тоже в зеркале, сделала мне знак рукою.

Я поняла, что она приказывает мне остаться в соседней комнате. Бедняжке хотелось, должно быть, похвастаться своим счастьем.

- Der Mensch, der sagen, ich Sie nicht liebe habe, lugt wie Teuffel! Кто говорит, что я вас не люблю, лжет, как дьявол!- говорил царевич, как я догадалась, об одной из тех презренных сплетен насчет ее высочества, которых здесь ходит множество (ее обвиняют даже в измене мужу).- Я вам верю, знаю, что вы добрая, а те, кто говорит о вас дурно, не стоят вашего мизинца...

Он расспрашивал ее о делах, неприятностях, об ее здоровье, беременности, с таким участием, и слова, и черты его лица полны были таким умом и добротою, что, казалось, предо мною совсем другой человек. Я глазам и ушам своим не верила, вспоминая то, что вчера еще происходило в этой самой комнате.

Когда он ушел и мы остались одни, Шарлотта сказала мне:

- Удивительный человек! Он вовсе не то, чем кажется.

Никто его не знает. Как он любит меня! Ах, милая Юльяна, только бы любовь - и все хорошо, все можно вынести... Когда у меня родится ребенок - молю Бога, чтоб сын - я буду совсем счастлива!

Я не возражала; у меня не хватило бы духу разуверять ее; она была уже и теперь так счастлива. Надолго ли? Бедная, бедная!

может быть, я несправедлива к царевичу? Может быть, действительно, "не то, чем кажется?"

Это самый скрытный из людей. Когда не пьян, сидит, запершись со своими старыми книгами и рукописями;

изучает, говорят, всемирную историю, теологию, не только русскую, но и католическую и протестантскую; раз восемь,

будто бы, прочел немецкую Библию; или беседует с монахами, странниками, старцами, людьми самого низкого звания.

Один из его служителей, Федор Эварлаков, молодой человек, не глупый и тоже большой любитель чтения берет у меня всякие книги, даже латинские - сказал мне однажды о кронпринце слова, которые я тогда же написала по-русски, в памятную книжку, подарок Лейбница, которую всегда ношу с собою:

- Царевич имеет великое горячество к попам, и попык нему, и почитает их, как Бога; а они его все святым называют, и в народе ж ими всегда блажим.

Помню, Лейбниц мне рассказывал, что, представившись царевичу, летом 1711 года в Вольфенбюттеле, в герцогском замке, долго беседовал с ним о своем любимом предмете - соединении Востока с Западом, Китая и России с Европою - и затем прислал ему, через его воспитателя, барона Гюйсена, извлечение из писем о китайских делах. Лейбниц утверждал, что, наперекор всему, что говорят о царевиче, он очень умен; но ум у него совсем иной, чем у отца. "Должно быть, в деда",- заметил Лейбниц.

Ее высочество показывала мне копию с письма Королевской Берлинской Академии Наук к герцогу Людвигу Рудольфу Вольфенбюттельскому, отцу Шарлотты.

В письме этом говорится о предстоящей возможности распространить истинное христианское просвещение в России, "благодаря особой и чрезвычайной склонности наследного принца к наукам и книгам".

Видела я также отчет о заседании той же Берлинской Академии в 1711 году, где один из членов ее, конректор Фриш, заявил: наследник царя еще больше любит науки, чем сам царь, и будет им в свое время не меньше покровительствовать.

Странно! Когда я сегодня смотрела на них обоих в зеркале,- точно в волшебном "зеркале гаданий",- мне почудилось в этих двух лицах, таких различных, одна черта сходства - тень какой-то предчувственной грусти, как будто оба они жертвы, и обоим предстоит великое страдание. Или это мне только так показалось в темном зеркале?

8 мая

Присутствовали в Адмиралтействе при спуске большого семидесятипушечного корабля. Царь, одетый, как простой плотник, в красной вязаной фуфайке, запачканной дегтем, с топором в руках, лазил между подпорками под самый киль, осматривая, все ли в порядке, не обращая внимания на опасность - недавно, при спуске, два человека были убиты. "Тружусь, как Ной, над ковчегом России",- припомнились мне слова царя. Сняв шляпу перед великим адмиралом, как подчиненный перед начальником, он спросил, пора ли начинать, и получив приказание, сделал первый удар топором. Сотни других топоров начали рубить подпорки; в то же время снизу отдернули балки, державшие корабль со всех сторон на штапеле. Он скользил с намазанных жиром полозьев, сначала медленно, потом полетел, как стрела, так что полозья сломались вдребезги, и поплыл по воде, качаясь и впервые рассекая волны, при громе музыки, пушечной пальбы и кликах народа.

Мы сели на шлюпки и поехали на новый корабль. Царь был уже там. Переодевшись в мундир морского шаутбенахта - чин, в котором он теперь состоит - со звездою и голубою орденскою лентою через плечо, принимал он гостей. Стоя на палубе, окрестили новорожденного первым кубком вина. Царь произнес речь. Вот отдельные слова, которые мне припоминаются:

- Наш народ, как дети, которые за азбуку не примутся, пока приневолены не будут, и которым сперва досадно кажется, а как выучатся, то благодарят,- что ясно из всех нынешних дел: не все ли невольно сделано?

и уже благодарение слышится за многое, от чего и плод произошел. Не приняв горького, не видать и сладкого...

- Не корми калачом, да не бей в спину кирпичом! заметил один из шутов, старых бояр, должно быть, уже пьяный, своему соседу на ухо, шепотом, как раз у меня за спиной.

- Имеем,- продолжал царь,- образцы других просвещенных в Европе народов, которые также начинали с малого. Пора и нам за свое приниматься, сперва за малое, а потом будут люди, кои не оставят и великих дел. Ведаю, что сам не совершу и не увижу сего, ибо долгота дней ненадежна.- однако начну, да будет другим после

меня легче сделать. А с нас довольно ныне и сей единой славы, что мы начинаем...

Я любовалась царем. Он был прекрасен.

Спустились в каюты. Дамы сели отдельно от кавалеров, в смежной зале, куда во время пира не смел входить НИКТО из мужчин, кроме царя. В перегородке, разделявшей обе залы, было небольшое, круглое, задернутое красною тафтою, оконце, вроде люка. Я села рядом с ним;

Приподымая занавеску, я могла видеть и отчасти слышать то, что происходило в мужском отделении. Кое-что пообыкновению записывала тут же в памятную книжку.

Длинные узкие столы, расположенные в виде подковы, уставлены были холодными закусками, острыми соленьями и копченьями, возбуждающими жажду. Еда дешевая, вина дорогие. На подобные празднества царь выдает из собственной казны Адмиралтейству тысячу рублей по-здешнему, деньги огромные. Садись, как попало, безсоблюдения чинов, простые корабельщики рядом с первыми сановниками. На одном конце стола восседал шутовской князь-папа, окруженный кардиналами. Он возгласил торжественно:

- Мир и благословение всей честной кумпании! Во имя Отца Бахуса, и Сына Ивашки Хмельницкого, и Духа Винного причащайтесь! Пьянство Бахусово да будет с вами!

- Аминь!- ответил царь, исполнявший при папе должность протодьякона.

Все по очереди подходили к его святейшеству, кланялись ему в ноги, целовали руку, принимали и выпивали большую ложку перцовки: это чистый спирт, настоянный на красном индийском перце. Кажется, чтобы вынудить у злодеев признание, достаточно пригрозить им этой ужасной перцовкой. А здесь ее должны пить все, даже дамы.

Пили за здоровье всех членов царской семьи, кроме царевича с супругою, хотя они тут же присутствовали.

Каждый тост сопровождался пушечным залпом. Палилитак, что стекла на одном окне разбились.

Пьянели тем скорее, что в вино тайком подливали водку. В низких каютах, набитых народом, стало душно.

Скидывали камзолы, срывали друг с друга парики насильно. Одни обнимались и целовались, другие ссорились, в особенности, первые министры и сенаторы, которые уличали друг друга во взятках, плутовствах и мошенничествах.

- Ты имеешь метреску, которая тебе* вдвое коштует против жалованья!- кричал один.

Коштует - стоит (от нем. kosten - стоить).

- А рыжечки маленькие в сулеечке забыл?-возражал другой.

Рыжечки были червонцы, преподнесенные ловким просителем в бочонке, под видом соленых грибов.

- А с пенькового постава в Адмиралтейство сколько хапнул?

- Эх, братцы, что друг друга корить? Всяка живадуша калачика хочет. Грешный честен, грешный плут, яко все грехом живут! .

- Взятки не что иное, как акциденция - Ничего не брать с просителей есть дело сверхъестественное.

Акциденция (лат. accidentia - случай) - Однако, по закону...

- Что закон?- дышло. Куда хочешь, туда и воротишь..

Царь слушал внимательно. Таков у него обычай: когда уже все пьяно, ставится двойная стража у дверей с приказом не выпускать никого; в то же время царь, который сам, сколько бы ни пил, никогда не пьянел, нарочно ссорити дразнит своих приближенных; из пьяных перебранок часто узнает то, чего никогда иначе не узнал бы. По пословице: когда воры бранятся, крестьянин получает краденый товар. Пир становится розыском.

Светлейший князь Меншиков поругался с вице-канцлером Шафировым. Князь назвал его жидом.

- Я жид, а ты пирожник - "пироги подовые"!возразил Шафиров.- Отец твой лаптем щи хлебал. Изпод бочки тебя тащили. Недорогой ты князь - взят из грязи да посажен в князи!..

- Ах ты, жид пархатый! Я тебя на ноготок да щелкну, только мокренько будет...

Долго ругались. Русские вообще большие мастера наругань. Кажется, такого сквернословия, как здесь, нигде не услышишь. Им заражен воздух. В одном из ругательств, и самом позорном, которое, однако, употребляют все от мала до велика, слово мать соединяется с

гнуснейшими словами. Оно так и называется матерным словом. И этот народ считает себя христианнейшим!

Истошив ругательства, вельможи стали плевать друг другу в лицо. Все стояли кругом, смотрели и смеялись.

Здесь подобные схватки - обычное дело и кончаются без всяких последствий.

Князь Яков Долгорукий подрался с князем-кесарем ромодановским. Эти два почтенные, убеленные сединами, старца, ругаясь тоже по-матерному, вцепились друг другу в волосы, начали душить и бить друг друга кулаками. Когда стали разнимать их, они выхватили шпаги.

- Ei, dat ist nitt parmittet! '- крикнул по-голландски царь, подходя и становясь между ними.

Протодьякон Петр Михайлов имеет от папы указ: "вовремя шумства унимать словесно и ручно".

- Сатисфакции требую!- вопил князь Яков.- Учinen мне великий афронт...

- Камрат,- возразил царь,- на князя-кесаря где сыскать управы, кроме Бога? Я ведь и сам человек подневольный, у его величества в команде состою. Да и какой афронт? Ныне вся кумпаня от Бахуса не оскорблена.

auffen - rauffen, напьемся - подеремся, проспимся помиримся.

Врагов заставили выпить штраф перцовкою, и скоро они вместе свалились под стол.

Шуты галдели, гоготали, блевали, плевали в лицо не только друг другу, но и порядочным людям. Особый хор, так называемая весна, изображал пение птиц в лесу, отсоловья до малиновки, разными свистами, такими громкими, что звук отражался от стены оглушающим эхом.

Раздавалась дикая плясовая песня с почти бессмысленными словами, напоминавшими крики на шабаше ведьм.

Ой, жги, ой, жги, Шинь-пень, шиваргань Бей трепака, Не жалея каблука!

В нашем дамском отделении, пьяная старая баба-шутиха, князь-игуменья Ржевская, настоящая ведьма, тоже пустилась в пляс, задрав

подол и напевая хриплым сперепомя голосом: Заиграй, моя дубинка, Заваляй, моя волынка!

Свекор с печки свалился, За колоду завалился.

Кабы знала, возвестила, Я повыше б подмостила, Я повыше б подмостила, Свекру голову сломила.

Глядя на нее, царица, со сбившейся набок прическою, Вся потная, красная, пьяная, прихлопывала, притоптывала: "ой, жги! ой, жги!" и хохотала, как безумная. В начале попойки приставала она к ее высочеству, убеждаяпить довольно странными пословицами, которых на этотсчет у русских множество: "Чарка на чарку - не палкана палку. Без поливки и капуста сохнет. И курица пьет", Но, видя, что кронпринцессе почти дурно, сжалилась, оставила ее в покое и даже потихоньку сама подливалаей, а кстати и нам, фрейлинам, воды в вино, что на подобных пирах считается великим преступлением.

В конце ночи - мы просидели за столом от шестичасов вечера до четырех утра - несколько раз подходилацарица к дверям, вызывая царя и спрашивая: - Не пора ли домой, батюшка?

- Ничего, Катенька! Завтра день гулящий,- отвечал царь.

Приподымая занавеску и заглядывая в мужское отделение, я видела каждый раз что-нибудь новое.

Кто-то, шагая прямо через стол, попал сапогом в блюдо с рыбным студнем. Этот самый студень царь толькочто совал насильно в рот государственному канцлеру Головкину, который терпеть не мог рыбы; денщики держалиего за руки и за ноги; он бился, задыхался и весь побагровел. Бросив Головкина, царь принялся за ганноверского резидента Вебера; ласкал его, целовал, одною рукоюобнимал ему голову, другою - держал стакан у рта, умоляя выпить. Потом, сняв с него парик, целовал то в затылок, то в маковку; подымал ему губы и целовал в десны.

Говорят, причиной всех этих нежностей было желание царявыпытать у резидента какую-то дипломатическую тайну.

Мусин-Пушкин, которого щекотали под шеей - он оченьбоится щекотки, а царь приучает его к ней - визжал, какпоросенок под ножом. Великий адмирал Апраксин плакал навзрыд. Тайный советник Толстой ползал на четвереньках; он, впрочем, как оказалось

впоследствии, небыл слишком пьян и притворялся, чтобы больше не пить.

Вице-адмиралу Крюйсу раскроили голову бутылкою. Князь Меншиков упал замертво со страшно посиневшим лицом: его растирали и приводили в чувство, чтобы он не умер: натаких попойках часто умирают. Царского духовника, архимандрита Федоса, рвало. "Ох смерть моя! Матерь Пресвятая Богородица!" - жалобно стонал он. Князь-папа храпел, навалившись всем телом на стол. лицом в луже вина.

Свист, рев, звон разбитой посуды, матерная брань оплеухи, на которые уже никто не обращал внимания стояли в воздухе. Смрад, как в самом грязном кабаке.

Кажется, если бы прямо со свежего воздуха привели когонибудь сюда, его сразу стошнило бы.

У меня в глазах темнело; иногда я почти теряла сознание. Человеческие лица казались какими-то звериными мордами, и страшнее всех было лицо царя - широкое, Окружное, с немного косым разрезом больших, выпуклых, точно выпученных, глаз, с торчащими кверху острыми усиками - лицо огромной хищной кошки или тигра. Оно было спокойно и насмешливо. Взор ясен и пронизателен.

Он один был трезв и с любопытством заглядывал в самые гнусные тайны, обнаженные внутренности человеческих душ, которые выворачивались перед ним наизнанку в этом застенке, где орудием пытки было вино.

Князя-папу разбудили и подняли со стола. Под столом князь-кесарь тоже успел выспаться. Их заставили вдвоем друг против друга плясать, поддерживая под руки, так как оба едва стояли на ногах. Папа в шутовской тиаре, венчанный голым Вакхом, имел в руке крест из Чубуков. Кесарь - в шутовской короне, со скипетром в руке. Царевич лежал на полу, совершенно пьяный, как мертвый, между этими двумя шутами, двумя призраками Древнего величия - русским царем и русским патриархом.

Что было потом, не помню, да и вспоминать не хочу слишком гадко.

На соседних кораблях пробили зорю. И у нас послышался звук барабана: сам царь - он отличный барабанщик - бил отбой. Это

значило: "с Ивашкой Хмельницким (русским Вакхом) была великая баталия, и он всехпобедил. Гренадеры выносили на руках пьяных вельмож, как тела убитых с поля сражения.

Когда мы увидели небо, нам показалось, что мы выходим, говоря высоким слогом, из ада, а низким - из помойной ямы.

9 мая

Сегодня царь с большим флотом выехал из Петербурга для военных действий против шведов.

20 мая

Давно не писала дневника. Ее высочество была больна после попойки. Я от нее не отходила. Да и что писать?

Все так печально, что говорить и думать не хочется. Будь что будет.

25 мая

Я не ошиблась. Мир оказался недолгим. Опять пробежала черная кошка между царевичем и ее высочеством;

опять по целым неделям не видятся. Он тоже болен. Доктора говорят, чахотка. Я думаю, просто водка.

4 июня

Пришел царевич, одетый по-дорожному, в сером немецком рейзероке, поговорил о чем-то постороннем и вдруг объявил: - Adieu. Ich gehe nach Karlsbad.

Прощайте. Я еду в Карлсбад (нем.).

Кронпринцесса так растерялась, что не нашла, что сказать, даже не спросила, надолго ли. Я думала, он шутит. Но оказалось, почти тотчас, выйдя от нас, царевичсел в почтовую карету - и был таков. Говорят, в самом деле, едет на воды лечиться.

И вот мы одни, без царя и царевича.

Родители ее высочества, должно быть, поверив глупым здешним сплетням, рассердились на нее и тоже перестали ей писать. Мы покинуты всеми.

7 июля

Письмо царя к ее высочеству: "Я бы не хотел вас трудить також против совести моейдумать; но отлучение супруга вашего, моего сына, принуждает меня к тому, дабы предварить лаятельство необузданных языков, которые обыкли истину превращать в ложь.

И понеже уже везде прошел слух о чреватстве вашем вящегоа, того ради, когда благоволит Бог вам приспеть к рождению, дабы о том заранее некоторый анштальт учинить, о чем вам донесет г. канцлер гр. Головкин, по которомуизвольте неотменно учинить, дабы тем всем, ложь любящим, уста заграждены были".

Учинили анштальт: приставили к ее высочеству трехпочти незнакомых ей женщин, канцлершу Головкину, генеральшу Брюс да старую бабу-шутиху, князь-игуменьюРжевскую, ту самую, что плясала во время попойки. Этитри мегеры не спускают с нее глаз, "охраняют" или попросту шпионят.

Что все это значит? Чего бояться? Какого обмана?

Неужели подмены ребенка, девочки мальчиком, по проискам тех, кто желает утвердить наследство за родом царевича? Или это чрезмерная любезность царицы?

Теперь мы только поняли, как подозревают и ненавидят нас. Вся вина Шарлотты в том, что она - женамужа своего. Отец против сына, а мы между них, как междудвух огней.

"Послушно исполню волю-вашего величества о назначении трех женщин для моей охраны,- ответила Шарлотта царю,- тем более, что мне и на ум никогда не приходило намерение обмануть ваше величество и кронпринца;

по сему столь странное и мною незаслуженное распоряжение мне весьма огорчительно. Казалось бы, многократнообещанные милость и любовь вашего величества должныбыли служить мне залогом, что никто не обидит меняклеветою, и что виновные будут наказаны, как преступники. Прискорбно, что мои завистники и преследователиимеют довольно силы к подобной интриге. Бог моя надежда на чужбине. И как всеми я покинута. Он услышитмои сердечные вздохи и сократит мои страдания!"

12 июля.

В 7 часов утра ее высочество благополучно разрешилась от бремени дочерью.

О царевиче ни слуху, ни духу.

1 августа

Получено известие о победе русских над шведами 27

июля при Гангуте; взята, будто бы, в плен целая эскадра шаутбенахтом Эрншильдом. Весь день трезвон в колокола и пальба из пушек. Здесь, впрочем, не жалеют пороха, и по поводу самых ничтожных побед, захватив три, четыре гнилые галеры, так палят, как будто мир побежден.

9 сентября

Царь вернулся в Петербург. Опять пальба, точно восажденном городе. Мы почти оглохли. Бесконечные триумфальные шествия, фейерверки с хвастливыми аллегориями: царь прославляется, как завоеватель вселенной, Цезарь и Александр. Была попойка, на которой, славаБогу, нас не было. Опять, говорят, напились, как свиньи.

13 сентября

Дождь, слякоть. В окнах - низкое, темное, точно каменное, небо. На голых сучьях мокрые вороны каркают.

Тоска, тоска!

19 сентября

Застала кронпринцессу плачущей над старыми письмами царевича, которые он писал женихом. Кривые бессвязные буквы на протянутых карандашом линейках.

Пустые комплименты, дипломатические любезности. Иона над ними плачет, бедняжка!

Мы узнали стороной, что царевич живет в Карлсбадеincognito; сюда вернется не раньше зимы.

20 сентября

Чтобы забыться, не думать о наших делах, решилазаписывать все, что вижу и слышу о царе.

Прав Лейбниц: "Quanto magis hujus Principis indolemprospicio, tanto earn magis admiror.4eМ больше наблюдаюнрав этого государя, тем больше ему удивляюсь".

1 октября

Видела, как царь в адмиралтейской кузнице ковалжелезо. Придворные служили ему, разводили огонь, раздували меха, носили уголья, марая шелк и бархат шитыхзолотом кафтанов.

- Вот оно - царь так царь! Даром хлеба не ест. Лучше бурлака работает! - сказал один из стоявших тут простых рабочих.

Царь был в кожаном переднике, волосы подвязаны бечевкою, рукава засучены на голых, с выпуклыми мышцами, руках, лицо запачкано сажею. Исполинского роста кузнец, освещенный красным заревом горна, похож был на подземного титана. Он ударял молотом по раскаленному добела железу так, что искры сыпались дождем, наковальня дрожала, гудела, как будто готовая разлететься вдребезги.

- Ты хочешь, государь, сковать из Марсова железановую Россию; да тяжело молоту, тяжело и наковальне! вспомнились мне слова одного старого боярина.

"Время подобно железу горячему, которое, ежели остынет, не удобно кованию будет",- говорит царь.

И, кузнец России, он кует ее, пока железо горячо. Не знает отдыха, словно всю жизнь спешит куда-то. Кажется, если бы и хотел, то не мог бы отдохнуть, остановиться. Убивает себя лихорадочною деятельностью, невероятным напряжением сил, подобным вечной судороге. Врачи говорят, что силы его надорваны, и что он проживет недолго. Постоянно лечится железными Олонецкими водами, но при этом пьет водку, так что лечение только во вред.

Первое впечатление при взгляде на него - стремительность. Он весь - движение. Не ходит, а бежит. Цесарский посол ' граф Кинский, довольно толстый мужчина, уверяет, что согласился бы лучше выдержать несколько сражений, нежели пробыть у царя два часа на аудиенции, ибо должен, при тучности своей, бегать за ним во все это время, так что весь обливается потом, даже в русский мороз. "Время яко смерть,- повторяет царь.- Пропущение времени смерти невозвратной подобно".

* * *

Его стихии - огонь и вода. Он их любит, как существо, рожденное в них: воду - как рыба, огонь - как саламандра. Страсть к пушечной пальбе, ко всяким опытам с огнем, к фейерверкам. Всегда сам их зажигает, лезет в огонь; однажды при мне спалил себе волосы. Говорит, что приучает подданных к огню сражений. Но это только предлог: он просто любит огонь.

Такая же страсть к воде. Потомок московских царей, которые никогда не видели моря, он затосковал о нем еще ребенком в душных

теремах Кремлевского дворца, как дикий гусеныш в курятнике. Плавал в игрушечных лодочках по водовзводным потешным прудам. А как достиг до моря, то уже не расставался с ним. Большую часть жизни проводит на воде. Каждый день после обеда стоит на фрегате. Когда болен, совсем туда переселяется, морской воздух его почти всегда исцеляет. Летом встергофе, в огромных садах ему душно; Устроил себе мыльню в Монплезире, домике, одна сторона которого омывается волнами Финского залива; окна спальни прямо на море. В Петербурге Подзорный дворец построен весь в воде, на песчаной отмели Невского устья. Дворец в Летнем саду также окружен водою с двух сторон: ступени крыльца спускаются в воду, как в Амстердаме и Венеции.

Однажды зимою, когда Нева уже стала и только перед дворцом оставалась еще полынья окружностью не больше сотни шагов, он и по ней плавал взад и вперед на крошечной гичке, как утка в луже. Когда же вся река покрылась крепким льдом, велел расчистить вдоль набережной пространство, шагов сто в длину, тридцать в ширину, каждый день сметать с него снег, и я сама видела, как он катался по этой площадке на маленьких красивых шлюпках или буерах, поставленных на стальные коньки и полозья. "Мы, говорит, плаваем по льду, чтоб и зимою не забыть морских экзерциций". Даже в Москве, на Святках, катался раз по улицам на огромных санях, подобии настоящих кораблей с парусами. Любит пускать на воду молодых диких уток и гусей, подаренных ему царицею. И как радуется их радости! Точно сам он водяная птица.

* * *

Говорит, что начал впервые думать о море, когда прочел сказание летописца Нестора о морском походе киевского князя Олега под Царьград. Если так, то он воскрешает в новом древнее, в чужом родное. От моря через сушу к морю - таков путь России.

Иногда кажется, что в нем слились противоречия двух родных ему стихий - воды и огня - в одно существо, странное, чуждое - не знаю, доброе или злое, божеское или бесовское - но не человеческое.

* * *

Дикая застенчивость. Я видела сама, как на пышном приеме послов, сидя на троне, он смущался, краснел, потел, часто для

бодрости нюхал табак, не знал, куда девать глаза, избегал даже взоров царицы; когда же церемония кончилась, и можно было сойти с трона, рад был, как школьник. Маркграфиня Бранденбургская рассказывала мне, будто бы при первом свидании с нею царь - правда тогда совсем еще юный - отвернулся, закрыл лицо руками, как красная девушка, и только повторял одно: "J'en sais pas m'exprimer. Я не умею говорить..." Скоро, впрочем, оправился и сделался даже слишком развязным;

пожелал убедиться собственноручно, что не от природной костлявости немцев зависит жесткость их талий, удивлявшая русских, а от рыбьего уса в корсетах. "Il pourrait être un peu plus poli! Он бы мог быть повежливее!" - заметила маркграфиня. Барон Мантейфель передавал мне свидание царя с королевой прусской: "Он был настолько любезен, что подал ей руку, надев предварительно довольно грязную перчатку. За ужином превзошел себя: не ковырял в зубах, не рыгал и не производил других неприличных звуков (il n'a ni rote ni pete)".

Путешествуя по Европе, требовал, чтоб никто не смеял смотреть на него, чтоб дороги и улицы, когда он проезжал по ним, были пусты. Входил и выходил из домов потайными ходами. Посещал музеи ночью. Однажды в Голландии, когда ему нужно было пройти через залу, где заседали члены Генеральных Штатов, - просил, чтобы президент велел им повернуться спиною; а когда те, из уважения к царю, отказались, - стащил себе на нос парик, быстро прошел через залу, прихожую и сбежал по лестнице. Катаясь в Амстердаме по каналу и видя, что лодка любопытными хочет приблизиться, - пришел в такое бешенство, что бросил в голову кормчего две пустые бутылки и едва не раскроил ему череп. Настоящий дикарь-каннибал. В просвещенном европейце - русский леший.

Дикарь и дитя. Впрочем, все вообще русские - дети.

Царь среди них только притворяется взрослым. Никогда не забуду, как на сельской ярмарке близ Вольфенбюттеля герой Полтавы ездил верхом на деревянных лошадках дрянной карусели, ловил медные кольца палочкой и забавлялся, как маленький мальчик.

Дети жестоки. Любимая забава царя - принуждать людей к противоестественному: кто не терпит вина, масла, сыра, устриц, уксуса, тому он, при всяком удобном случае, наполняет этим рот насильно. Щекочет боящихся щекочки. Многие, чтоб угодить ему, нарочно притворяются, что не выносят того, чем он любит дразнить.

Иногда эти шутки ужасны, особенно во время святочных попоек, так называемого славения. "Сия потеха Святых,- говорил мне один старый боярин,- так происходит трудная, что многие к тем дням приуготовляются, Как бы к смерти". Таскают людей на канате из прорубив прорубь. Сажает голым задом на лед. Спаивают до смерти.

Так, играя с людьми, существо иной породы, фавн или кентавр, калечит их и убивает нечаянно.

В Лейдене, в анатомическом театре, наблюдая, как пропитывают терпентином обнаженные мускулы трупа изметив крайнее отвращение в одном из своих русских спутников, царь схватил его за шиворот, пригнул к столу и заставил оторвать зубами мускул от трупа.

Иногда почти невозможно решить, где в этих шутках кончается детская резвость и начинается зверская лютость.

Вместе с дикою застенчивостью - дикое бесстыдство, особенно с женщинами.

"Il faut que Sa Majeste ait dans ie corps une legion de demons de luxure. Мне кажется, что в теле его величества целый легион демонов похоти",- говорит лейб-медик Блюментрост. Он полагает, что "скорбутика" царя происходит от другой застарелой болезни, которую получил он в ранней молодости.

По выражению одного русской) из новых, у царя "политическое снисхождение к плотским грехам". Чем больше грехов, тем больше рекрут - а они ему нужны.

Для него самого любовь - "только побуждение природы".

Однажды в Англии, по поводу жалобы одной куртизанки, недовольной подарком в пятьсот гиней, он сказал Меншикову: "Ты думаешь, что и я такой же мот, как ты? За пятьсот гиней у меня служат старики с усердием и умом; а эта художка служила - сам знаешь чем!"

Царица совсем не ревнива. Он рассказывает ей все свои похождения, но всегда кончает с любезностью: "ты все-таки лучше всех, Катенька!"

О денщиках царя ходят странные слухи. Один из них, генерал Ягужинский, угодил, будто бы, царю такими средствами, о которых неудобно говорить. Красавец Лефорт, по слову одного здешнего старичка-любезника, находился у царя "в столь крайней конфиденции интриг амурных", что они имели общую любовницу. Говорят, и царица, прежде чем сойтись с царем, была любовницей Меншикова, который заменил Лефорта. Меншиков, этот "муж из подлости происшедший", который, по изречению самого царя, "в беззаконии зачат, во грехах рожден матерью и в плутовстве скончает живот свой",- имеет над ним почти непонятную власть. Царь, бывало, бьет его, как собаку, повалит и топчет ногами; кажется, всему конец; а глядишь - опять помирились и целуются. Я собственными ушами слышала, как царь называл его своим "Алексашеем миленьким", "дитятком сердешненьким"

(sein Herzenkind), и тот отвечал ему тем же. Этот бывший уличный пирожник дошел до такой наглости, что однажды, правда, во хмелю, сказал царевичу: "Не видать тебе короны, как ушей своих. Она моя!"

8 октября

Сегодня хоронили одну голландскую купчиху, страдавшую водянкою. Царь собственноручно сделал ей операцию, выпустил воду. Она, говорят, умерла не столько от болезни, сколько от операции. Царь был на похоронах на поминках. Пил и веселился. Считает себя великим хирургом. Всегда носит готовальню с ланцетами. Все, у кого какой-нибудь нарыв или опухоль, скрывают их, чтоб царь не начал их резать. Какое-то болезненное анатомическое любопытство. Не может видеть трупа без вскрытия. Ближайших родных своих после смерти анатомирует.

Любит также рвать зубы. Выучился в Голландии уплощадных зубодеров. В здешней кунсткамере целый мешок вырванных им гнилых зубов.

Циничное любопытство к страданиям и циническое милосердие. Своему пажу арапчонку собственноручно вытянул глисту.

Во всем существе - сочетание силы и слабости. Это и в лице: страшные глаза, от одного взора которых люди падают в обморок, глаза слишком правдивые; и губы тонкие, нежные, с лукавой

усмешкой, почти женские. Подбородок мягкий, пухлый, круглый, с ямочкой.

О простреленной при Полтаве шляпе нам прожужжали уши. Я не сомневаюсь, что он может быть храбрым, особенно в победе. Впрочем, все победители храбры. Но так ли он всегда был храбр, как это кажется?

Саксонский инженер Галларт, участвовавший в Нарвском походе 1700 года, рассказывал мне, что царь, узнав о приближении Карла XII, передал все управление войсками герцогу де-Круи, с инструкцией, наскоро написанной, без числа, без печати, совершенно будто бы нелепою (*nicht gehauen, nicht gestochen*), а сам удалился в "сильном расстройстве".

У пленного шведа, графа Пиппера я видела медаль, выбитую шведами: на одной стороне царь, греющийся при огне своих пушек, из коих летят бомбы на осажденную Нарву; надпись: Петр стоял у огня и грелся - с намеком на апостола Петра во дворе Каиафы; на другой русские, бегущие от Нарвы и впереди Петр; царская корона валится с головы, шпага брошена; он утирает слезы платком; надпись гласит: вышел вон, плакал горько.

Пусть все это ложь; но почему об Александре или Цезаре так и солгать никто не посмел бы?

И в Прутском походе случилось нечто странное: в самую опасную минуту перед сражением царь готов был покинуть войско, с тою целью, чтобы вернуться со свежими силами. А если не покинул, то только потому, что отступление было отрезано. "Никогда,- писал он Сенату, как я начал служить, в такой дисперсии не были". Это ведь тоже почти значит: "вышел вон, плакал горько".

Блюментрост говорит - а врачи знают о героях то, чего не узнают потомки - будто бы царь не выносит никакой телесной боли. Во время тяжелой болезни, которую считали смертельною, он вовсе не был похож на героя.

"И не можно думать,- воскликнул при мне один русский, прославлявший царя,- чтобы великий и неустрашимый герой сей боялся такой малой гадины - тараканов!" Когда царь путешествует по России, то для его ночлегов строят новые избы, потому что трудно в русских деревнях отыскать жилье без тараканов. Он боится

также пауков и всяких насекомых. Я сама однажды наблюдала, как, при виде таракана, он весь побледнел, задрожал, лицо исказилось - точно призрак или сверхъестественное чудовище увидел; кажется, еще немного, и с ним сделался бы обморок или припадок, как с трусливою женщиною.

Если бы пошутили с ним так, как он шутит с другими пустили бы ему на голое тело с полдюжины пауков или тараканов - он, пожалуй, умер бы на месте, и уж, конечно, историки не поверили бы, что победитель Карла XII умер от прикосновения тараканьих лапок.

Есть что-то поразительное в этом страхе царя исполина, которого все трепещут, перед крошечной безвредной тварью. Мне вспомнилось учение Лейбница о монадах: как будто не физическая, а метафизическая, первозданная природа насекомых враждебна природе царя. Мне был не только смешон, но и страшен страх его: точно я вдруг заглянула в какую-то древнюю-древнюю тайну.

* * *

Когда однажды в здешней кунсткамере ученый немец показывал царице опыты с воздушным насосом, и под хрустальный колокол была посажена ласточка, царь, видя, что задохнувшаяся птичка шатается и бьется крыльями, сказал: - Полно, не отнимай жизни у твари невинной; она не разбойник.

- Я думаю, детки по ней в гнезде плачут! - прибавила царица; потом, взяв ласточку, поднесла ее к окну и пустила на волю.

Чувствительный Петр! Как это странно звучит. А между тем, в тонких, нежных, почти женственных губах его, в пухлом подбородке с ямочкой, что-то похожее на чувствительность так и чудилось мне в ту минуту, когда царица говорила своим сладким голоском с жеманно-приторной усмешечкой: "детки по ней в гнезде плачут!"

Не в этот ли самый день издан был страшный указ: "Его Царское Величество усмотреть соизволил, что у каторжных невольников, которые присланы в вечную работу, ноздри выняты малознатны; того ради Его Царское Величество указал вынимать ноздри до кости, дабы, когда случится таким каторжным бежать, - везде таиться было не можно, и для лучшей поимки были знатны".

Или другой указ в Адмиралтейском Регламенте: "Ежели кто сам себя убьет, тот и мертвый за ноги повешен быть имеет".

* * *

Жесток ли он? Это вопрос.

"Кто жесток, тот не герой"- вот одно из тех изречений царя, которым я не очень верю: они слишком для потомства. А ведь потомство узнает, что, жалея ласточек, он замучил сестру, Царевну Софью.

мучает жену и, кажется, замучает сына.

Первую жену - Евдокию Лопухину.

* * *

Так ли он прост, как это кажется? Тоже вопрос. Знаю, сколько нынче ходит анекдотов о саардамском царе-плотнике. Никогда, признаюсь, не могла я их слушать безскуки: уж слишком все они нравоучительны, похожи на картинки к прописям.

"Verstellte Einfalt. Притворная простота",- сказал о нем один умный немец. Есть и у русских пословица: простота хуже воровства.

В грядущих веках узнают, конечно, все педанты ишкольники, что царь Петр сам себе штопал чулки, чинил башмаки из бережливости. А того, пожалуй, не узнают, что намеренно рассказывал мне один русский купец, подрядчик строевого леса.

- Великое брусье дубовое лежит у Ладоги, пескомзасыпано, гниет. А людей за порубку дуба бьют плетьюмида вешают. Кровь и плоть человечья дешевле дубового леса!

Я могла бы прибавить: дешевле дырявых чулков.

"C'est un grand poseur! Это большой актер!"- сказала нем кто-то. Надо видеть, как, провинившись в нарушении какого-нибудь шутовского правила, целует он руку князю-кесарю:

- Прости, государь, пожалуй! Наша братия, корабельщики, в чинах неискусны.

Смотришь и глазам не веришь: не различишь, где царь, где шут.

Он окружил себя масками. И "царь-плотник" не естли тоже маска - "машкерад на голландский манер?"

И не дальше ли от простого народа этот новый царь в мнимой простоте своей, в плотничьем наряде, чем старие московские цари в своих златотканых одеждах?

- Ныне-де стало не по-прежнему жестоко,- жаловался мне тот же купец,- никто ни о чем доложить несмеет, не доводят правды до царя.

В старину-то было попроще!

Царский духовник, архимандрит Феодос, однажды, примне хвалил царя в лицо за "диссимуляцию", Притворство (лат. dissimulatio).

которую будто бы "учителя политичные в первых царствования полагают регулах".

Правило, принцип (лат. regula).

* * *

Я не сужу его. Говорю только то, что вижу и слышу.

Героя видят все, человека - немногие. А если и сосплетничаю - мне простится: я ведь женщина. "Это человек и очень хороший, и очень дурной",- сказал о нем кто-то.

А я повторяю еще раз: лучше ли он, хуже ли людей, не знаю, но мне иногда кажется, что он - не совсем человек.

* * *

Царь набожен. Сам читает Апостол на клиросе, Апостол- часть Нового Завета, включающая Деяния св.

Апостолов, Послания св. Апостолов и Апокалипсис (Откровение).

поет так же уверенно, как попы, ибо все часы и службы знаетнаизусть. Сам сочиняет молитвы для солдат.

Иногда, во время бесед о делах военных и государственных, вдруг подымает глаза к небу, осеняет себя крестным знаменiem и произносит с благоговением из глубины сердца краткую молитву: "Боже, не отними милостьСвою от нас впредь!" или: "О, буди. Господи, милостьТвоя на нас, яко же уповахом на Тя!"

Это не лицемерие. Он, конечно, верит в Бога, как самговорит, "уповает на крепкого в бранях Господа". Ноиногда кажется, что Бог его - вовсе не христианский Бог, а древний языческий Марс или сам рок - Немезида. Еслибыл когда-нибудь человек, менее всего-похожий на христианина, то это Петр. Какое ему дело до Христа? Какоесоединение между Марсовым железом и Евангельскимилилиями?

Рядом с набожностью кощунство.

У князя-папы, шутовского патриарха, панагию заменяют глиняные фляги с колокольчиками. Евангелие - книга-погребец со склянками водки; крест - из чубуков.

Во время устроенной царем, лет пять тому назад, шутовской свадьбы карликов, венчание происходило при всеобщем хохоте в церкви; сам священник от душившего его смеха едва мог выговаривать слова. Таинство напоминало балаганную комедию.

Это кощунство, впрочем, - бессознательное, детское идиотское, так же, как и все его остальные шалости.

Прочла весьма любопытную новую книжку, изданную в Германии под заглавием:

"Curieuse Nachricht von der itzigen Religion I.K.M.

in Russland Petri Alexieviz und seines grossen Reiches, dass dieselbe itzo fast nach Evangelische-Lutherischen Grundsätzen eingerichtet sei".

"Курьезное Известие о религии царя Петра Алексеевича о том, что она в России ныне почти по Евангелически-Лютеранскому закону установлена".

Вот несколько выписок:

"Мы не ошибемся, если скажем, что Его Величество представляет себе истинную религию в образе лютеранства.

Царь отменил патриаршество и, по примеру протестантских князей, объявил себя Верховным Епископом, то есть, Патриархом церкви Российской. Возвратясь из путешествия в чужие земли, он тотчас вступил в диспуты со своими попами, убедился, что они в делах веры ничего не смыслят, и учредил для них школы, чтоб они прилежнее учились, так как прежде едва умели читать.

И ныне, когда руссы разумно обучаются и воспитываются в школах, все их суеверные мнения и обычаи должны исчезнуть сами собою, ибо подобным вещам не может верить никто, кроме самых простых и темных людей. Система обучения в этих школах совершенно лютеранская, юношество воспитывается в правилах истинной евангелической религии. Монастыри сильно ограничены, так что не могут уже служить, как прежде, притоном для множества праздных людей, которые представляют для государства тяжелое бремя и опасность бунта. Теперь все монахи обязаны учиться чему-нибудь полезному, и все устроено похвальным образом. Чудеса и мощи также не пользуются прежним уважением: в России, как и в Германии, стали уже верить, что в этих делах много наплутано".

Я знаю, что царевич читал эту книжку. С каким чувством он должен был ее читать?

* * *

Однажды при мне, за стаканом вина, в дубовой рощице в Летнем саду у дворца, где царь любит беседовать с духовенством, администратор духовных дел, архимандрит Феодос рассуждал о том, "коих ради вин и в каком разуме были и нарицались императоры римские, каковыческие, так и христианские, понтифексами, архиереямимногобожного закона". Выходило так, что царь есть верховный архиерей, первосвященник и патриарх. Очень искусно и ловко этот русский монах доказывал, по Левиафану английского атеиста "Гоббсиза" (Гоббса), *civitatemet ecclesiam eandem rem esse*, что "государство и церковь есть одно и то же", разумеется, не с тем, чтобы преобразить государство в церковь, а наоборот, церковь в государство. Чудовищный зверь-машина. Левиафан проглатывал Церковь Божию, так что от нее и следа не оставалось.

Рассуждения эти могли бы послужить любопытным памятником подобию страсти и лести монашеской изволению государеву.

* * *

Говорят, будто бы еще в конце прошлого 1714 года, царь, созвав духовных и светских сановников, торжественно объявил, что "хочет быть один начальником Российской Церкви и представляет учредить духовное собрание под именем Святейшего Синода".

* * *

Царь замышляет поход на Индию по стопам Александра Великого. Подражание Александру и Цезарю, соединение Востока и Запада, основание новой всемирной монархии - есть глубочайшая и сокровеннейшая мысль русского царя.

Феодос говорит в лицо государю: "Ты бог земной".

Это ведь и значит: *Divus Caesar*, Кесарь божественный, Кесарь - Бог.

В Полтавском триумфе русский царь представлен был на одной аллегорической картине в образе древнего богасолнца, Аполлона.

* * *

Я узнала, что мертвые головы, которые торчат на кольях у Троицкой церкви против Сената, головы раскольников, казненных за

то, что они называли царя Антихристом.

20 октября

На кухню к нам заходит старенький инвалид-каптенармус. Жалобное, точно изъеденное молью, существо, с трясущейся головой, красным носом и деревянной ногою. Сам себя называет "магазинною крысою". Я его угощаю табаком и водкою. Беседуем о русских военных делах.

Он все смеется, говорит веселыми прибаутками "служил солдат сто лет, не выслужил ста реп; сыт крупницей, пьян водицей; шилом бреется, дымом греется; три у него доктора: Водка, Чеснок да Смерть".

Поступив почти ребенком в "барабанную науку", участвовал во всех походах от Азова до Полтавы, а в награду получил от царя горсть орехов, да поцелуй в голову.

Когда говорит о царе, то как будто весь преображается.

Сегодня рассказывал о битве у Красной Мызы.

- Стояли мы храбро за дом Пресвятой Богородицы, за его, государево пресветлое величество и за веру христианскую, друг за друга умирали. Возопили все великим гласом: "Господи Боже, помогай!" И молитвами московских чудотворцев шведские полки, конные и пешие, порубили.

Старался также передать мне речь царя к войскам: "- Ребятюшки, родил я вас потом трудов моих. Государству без вас, как телу без души, быть нельзя. Вылюбовь имели к Богу, ко мне и к отечеству - не щадили живота своего..."

Вдруг вскочил на своей деревянной ноге; нос покраснел еще больше; слезинка повисла на кончике, как на спелой сливе роса; и махая старою шляпенкой, он воскликнул:

- Виват! Виват! Петр Великий, Император Всероссийский!

При мне еще никто не называл царя императором. Ноя не удивилась. В мутных глазах магазинной крысы заблестел такой огонь, что странный холод пробежал потелу моему - как будто пронеслось предо мной видение Древнего Рима: шелест победных знамен, топот медных когорт и крик солдат, приветствие "Кесарю божественному": Divus Caesar Imperator!

23 октября

Ездили в Гостиный двор на Троицкой площади, мазанковый длинный двор, построенный итальянским архитектором Трезина, с черепичною кровлею и крытым ходом под арками, как где-нибудь в Вероне или Падуе.

Заходили в книжную лавку, первую и единственную в Петербурге, открытую по указу царя. Заведует ею тередорщик Василий Евдокимов.

Типографский рабочий (одна из специальностей).

Здесь, кроме славянских и переводных книг, продаются календари, указы, реляции, азбуки, планы сражений, "царские персоны", то есть портреты, триумфальные входы. Книги идут плохо. Из целых изданий в два, три года ни одного экземпляра не продано.

Лучше всего расходятся календари и указы о взятках.

Случившийся в лавке цейхдиректор первой петербургской типографии, некий Аврамов, очень странный, но глупый малый, рассказывает нам, с какими трудами переводятся иностранные книги на русский язык. Царь постоянно торопит и требует, под угрозой великого штрафа, то есть плетей, чтобы "книга не по Конец рук переведена была, но дабы внятным и хорошим штилем". А переводчики жалуются: "от зело спутанного немецкого штиля невозможно поспешить; вещь отнюдь невразуменная, стропотная и жестокая, случалось иногда, что десять строк в день не мог внятно перевести". Борис Волков, переводчик иностранной коллегии, придя в отчаяние над переводом *Le jardinage de Quintiny* (Огородная книга) и боясь царского гнева, перерезал себе жилы.

Нелегко дается русским наука.

Большая часть этих переводов, которые стоят невероятных трудов, пота и, можно сказать, крови-никому не нужна и никем не читается. Недавно множество книг, не проданных и не помещавшихся в лавке, сложили в амбар на оружейном дворе. Во время наводнения залило их водою. Одна часть подмочена, другая испорчена конопляным маслом, которое оказалось вместе с книгами, а третью съели мыши.

14 ноября

Были в театре. Большое деревянное здание, "комедиальный амбар", недалеко от Литейного двора. Начало представления в 6

часов вечера. "Ярлыки", входные билеты, на толстой бумаге, продаются в особом чулане. За самое последнее место 40 копеек. Зрителей мало. Если бы неДвор, актеры умерли бы с голоду. В зале, хотя стены обиты войлоками, холодно, сыро, дует со всех сторон. Сальные свечи коптят. Дрянная музыка фальшивит. В партере все время грызут орехи, громко щелкая, и ругаются. Играли Комедию о Дон Педре и Дон Яне, русский перевод немецкой переделки французского Дон Жуана. После каждого явления, занавес, "шпалер", опускался, оставляя нас в темноте, что означало перемену места действия. Это очень сердило моего соседа, камергера Бранденштейна. Он говорил мне на ухо: "Какая же это, черт, комедия; eich Hund von Komodie ist dasi" Я едва удерживалась от смеха. Дон Жуан в саду говорит соблазненной им женщине:

"Приди, любовь моя! Вспомни удовольствия полное время, когда мы веселость весны без препятия и оwoщьЛюбви без зазрения употреблять могли. Позволь чрезсмотрение цветов наши очи и чрез изрядную оных вонючувствования наши наполнить".

Мне понравилась песенка:

Кто любви не знает, Тот не знает обманства.

Называют любовь богом, Однако ж, пуще мучит, нежели смерть.

После каждого действия следовала интермедия, которая оканчивалась потасовкою.

У Биберштейна, успевшего заснуть, вытащили из кармана платок, а у молодого Левенвольда серебряную табакерку.

Представлена была также Дафнис, гонением любовного Аполлона в древо лавровое превращенная.

Аполлон грозит нимфе: ц

Склоню невольно ты под мои руки, Да не буду так страдати сей муки.

Та отвечает:

Аще ты так нагло поступаешь, То имети мя отнюдь да не чаешь.

В это время у входа в театр подрались пьяные конюхи.

Их побежали усмирять; тут же высекли. Слова боганимфы заглушались воплями и непристойной бранью.

В эпилоге появились "машины и летания".

Наконец, утренняя звезда, Фосфорус, объявила:

Такое сие действие будет скончати: Покорно благодарим, пора почивати.

Нам дали рукописную афишу о предстоящем в другом балагане зрелище: "С платежом по полтине с персоны, итальянские марионеты или куклы, длиною в два аршина, по театру свободно ходить и так искусно представлять будут, как почти живые. Комедию о Докторе Фавсте.

Також и ученая лошадь будет по-прежнему действовать".

Признаюсь, не ожидала я встретить Фауста в Петербурге, да еще рядом с ученою лошадью!

Недавно, в этом же самом театре, давались "Драгические смехи", или "Дражайшее потешение", *Presieuses ridicules* Мольера.

В современном переводе "Смехотворные жеманницы".

Я достала и прочла. Перевод сделан, по приказанию царя, одним из шутов его, "Самоедским Королем", должно быть, с пьяных глаз, потому что ничего понять нельзя. Бедный Мольер! В чудовищных самоедских "галантериях" - грация пляшущего белого медведя.

23 ноября

Лютый мороз с пронзительным ветром - настоящая ледяная буря. Прохожие не успевают заметить, как отмораживают носы и уши. Говорят, в одну ночь между Петербургом и Кроншлотом замерзло 700 человек рабочих.

I..., На улицах, даже в середине города, появились волки.

На днях, ночью, где только что играли Дафниса и Аполлона, волки напали на часового и свалили его с ног, другой солдат прибежал на помощь, но тотчас же был растерзан и съеден. Также на Васильевском острове, близ дворца князя Меншикова, среди белого дня, волки загрызли женщину с ребенком.

Не менее волков страшны разбойники. Будки, шлагбаумы, рогатки, часовые с "большими грановитыми дубинами" и ночные караулы наподобие Гамбургских, повидимому, ничуть не стесняют мазуриков. Каждую ночь либо кража со взломом, либо грабеж с убийством.

30 ноября

Подул гнилой ветер - и все растаяло. Непроходимая грязь. Вонь болотом, навозною жижей, тухлою рыбою.

повальные болезни - горловые нарывы, сыпные и брюшные горячки.

4 декабря

Опять мороз. Гололедица. Так скользко, что шагу ступить нельзя, не опасаясь сломить шею.

И такие перемены всю зиму.

Не только свирепая, но и как будто сумасшедшая природа.

Противоестественный город. Где уж тут искусствам и наукам процветать! По здешней пословице - не до жиру, быть бы живу.

10 декабря

Ассамблея у Толстого.

Зеркала, хрустали, пудра, мушки, приседанья и шарканья - совсем как в Париже или в Лондоне. фижмы и фантанжи, как в Европе, где-нибудь

Сам хозяин - человек любезный и ученый. Переводит "Метаморфозы", то есть Промение Овидиево" и "Николы Макиавелля, мужа благородного, флорентийского, увещания политические". Танцевал со мной менуэт. Говорил "комплименты" из Овидия - сравнивал меня с Галатеей за белизну кожи, "как мрамора", и за черные волосы, "как цвет гиацинта". Забавный старик. Умница, но в высшей степени плут. Вот некоторые изречения этого нового Макиавелли:

"Надобно, когда счастье идет, не только руками, но и ртом хватать, и в себя глотать".

"В высокой фортуне жить, как по стеклянному полу ходить".

"Без меры много давленный лимон вместо вкуса, дает горечь".

"Ведать разум и нрав человеческий - великая философия; и труднее людей знать, нежели многие книги наизусть помнить".

Слушая умные речи Толстого - он говорил со мной то по-русски, то по-итальянски - под нежную музыку французского менуэта, глядя на изящное собрание кавалеров и дам, где все было почти совсем как в Париже или в Лондоне, я не могла забыть того, что видела только что подороже: перед сенатом, на Троицкой площади те же самые колья с теми же самыми головами казненных, которые торчали там еще в мае, во время маскарада. Они сохли, мокли, мерзли, оттаивали, опять замерзали и все-таки еще совсем истлели. Огромная луна вставала

из-за Троицкой церкви, и на красном зареве головы чернели явственно. Ворона, сидя на одной из них, клевала лохмотья кожи и каркала. Это видение носилось предо мной во время бала. Азия заслоняла Европу.

Приехал царь. Он был не в духе. Так тряс головою и подергивал плечом, что наводил на всех ужас. Войдя в залу, где танцевали, нашел, что жарко, и захотел открыть окно. Но окна забиты были снаружи гвоздями. Царь велел принести топор и вместе с двумя денщиками принялся за работу. Выбегал на улицу, чтобы видеть, как и чем окно заколочено. Наконец-таки добился своего, вынул раму. Окно оставалось открытым недолго, и на дворе опять начиналась оттепель, ветер дул прямо с запада. Новсе-таки по комнатам пошли такие сквозняки, что легкоодетые дамы и зябкие старички не знали, куда деваться.

Царь устал, вспотел от работы, но был доволен, даже повеселел.

- Ваше Высочество,- сказал австрийский резидент Плейер, большой любезник,- вы прорубили окно в Европу.

* * *

На сургучной печати, которою скреплялись письма царя России во время его первого путешествия по Европе, представлен молодой плотник, окруженный корабельными инструментами и военными орудиями с надписью: "Аз бо семь в чину учимых и учащих мя требую".

* * *

Другая эмблема царя: Прометей, возвращающийся к ЛЮДЯМ от богов, с зажженным факелом.

* * *

Царь говорит: "Я создам новую породу людей".

- Из рассказов "магазинной крысы": царь, желая, чтобы везде разводим был дуб, сажал однажды сам дубовые желуди близ Петербурга, по Петергофской дороге. Заметив, что один из стоявших тут сановников трудам его усмехнулся,- царь гневно промолвил:

- Понимаю. Ты мнишь, не доживу я матерых дубов.

Правда. Но ты - дурак. Я оставляю пример прочим, дабы, делая то же, потомки со временем строили из них корабли. Не для себя тружусь, польза государству впредь.

* * *

Из тех же рассказов:

"По указу его величества ведено дворянских детей записывать в Москве и определять на Сухареву башню для учения навигации. И оное дворянство записало детей своих в Спасский монастырь, что за Иконным рядом, в Москве, учиться по-латыни. И услыша то, государь жестоко прогневался, повелел всех дворянских детей Московскому управителю Ромодановскому из Спасского монастыря взять в Петербург, свай бить по Мойке-реке, для строения пеньковых амбаров. И об оных дворянских детях генерал-адмирал граф Федор Матвеевич Апраксин, светлейший князь Меншиков, князь Яков Долгорукий и прочие сенаторы, не смея утруждать его величества, милостивейшую помощницу, государыню Екатерину Алексеевну просили слезно, стоя на коленях; токмо упросить от

гнева его величества невозможно. И оный граф и генерал-адмирал Апраксин взял меры собою представить: велел присматривать, как его величество поедет к пеньковым амбарам мимо оных трудившихся дворянских детей, и, по объявлении, что государь поехал к тем амбарам, Апраксин пошел к трудившимся малолетним, скинул с себя кавалерию и кафтан и повесил на шест, а сам с детьми бил свай. И как государь возвратно ехал и увидел адмирала, что он с малолетними в том же труде, в битии свай употребил себя, - остановясь, говорил графу:

- Федор Матвеевич, - ты генерал-адмирал и кавалер, для чего ты бьешь свай?

И на оное ему, государю, адмирал отвечал: - Бьют свай мои племянники и внучата. А я что за человек? Какое имею, в родстве, преимущество? А пожалованная от вашего величества кавалерия висит на древе - я ей бесчестия не принес.

И слыша то, государь поехал во дворец, и чрез сутки учиня указ об освобождении малолетних дворян, определил их в чужестранные государства для учения разным художествам, - так разгневан, что и после биения свай не миновали в разные художества употреблены быть".

* * *

Один из немногих русских, сочувствующих новым порядкам, сказал мне о царе:

- На что в России ни взгляни, все его имеет началом, и что бы впредь ни делалось, от сего источника черпать будут. Сей во всем обновил, или паче вновь родил Россию.

28 декабря

Вернулся царевич так же внезапно, как уехал.

* * *

6 января 1715.

У нас были гости: барон Левенвольд, австрийский резидент Плейер, ганноверский секретарь Вебер, царский лейб-медик Блюментрост. После ужина, за стаканами рейнского, зашла речь о вводимых царем новых порядках.

Так как не было никого постороннего и никого из русских, говорили свободно.

- Московиты,- сказал Плейер,- делают все по принуждению, а умри царь - и прощай наука! Россия страна, где все начинают и ничего не оканчивают. На нее действует царь, как крепкая водка на железо. Науку в подданных своих вбивает батогами и палками, по русской пословице: палка не ма, да даст ума; нет того споре, что кулаком по шее. Правду сказал Пуффендорф об этом народе: "рабский народ рабски смиряется и жестокостью в страсти воздерживаться в повиновении любит". Можно было им сказать и то, что говорит Аристотель о всех вообще варварах: "Quod in libertate mali, in servitute boni sunt."

в свободе - злы, в рабстве - добры". Истинное просвещение внушает ненависть к рабству. А русский царь, по самой природе власти своей - деспот, и ему нужны рабы.

Вот почему усердно вводит он в народ цифирь, навигацию, фортификацию и прочие низшие прикладные знания, но никогда не допустит своих подданных до истинного просвещения, которое требует свободы. Да он и сам не понимает и не любит его. В науке ищет только пользы. Perpetuum mobile, эту нелепую выдумку шарлатана Орфиреуса, предпочитает всей философии Лейбница. Эзопа считает величайшим философом. Запретил перевод Ювенала. Объявил, что "за составление сатиры сочинитель будет

подвергнут злейшим истязаниям". Просвещение для власти русских царей все равно, что солнце для снега: когда оно слабо, снег блестит, играет; когда сильно - тает.

- Как знать,- заметил Вебер с тонкой усмешкой, может быть, русские более сделали чести Европе, приняв ее за образец, нежели она была того достойна? Подражание всегда опасно: добродетели не столь к нему удобны, как пороки. Хорошо сказал один русский: "Заразительная гнилость чужеземная сдает древнее здравие душ и тел российских; грубость нравов уменьшится, но оставленное ею место лезвием и хамством наполнилось; из старого ума выжили, нового не нажили-дураками умрем!"

- Царь,- возразил барон Левенвольд,- вовсе не такой смиренный ученик Европы, как о нем думают. Однажды, когда восхищались при нем французскими нравами и обычаями, он сказал: "Добро перенимать у французов художества и науки; а в прочем Париж воняет". И прибавил с пророческим видом: "Жалею, что город сей от смрада вымрет". Я сам не слышал, но мне передавали и другие слова его, которые не мешало бы помнить всем друзьям русских в Европе: "L'Europe nous est necessaire pour quelques dizaines d'annees; apres' cela nous lui tournerons le dos. Европа нам еще нужна на несколько десятков лет; после того мы повернемся к ней спиной".

Граф Шиппер привел выдержки из недавно вышедшей книжки *La crise du Nord* о войне России со Швецией, Северный кризис (франц.).

где доказывается, что "победы русских предвещают светопреставление", и что "ничтожество России есть условие для благополучия Европы". Граф напомнил также слова Лейбница, сказанные до Полтавы, когда Лейбниц был еще другом Швеции: "Москва будет второй Турцией и откроет путь новому варварству, которое уничтожит все европейское просвещение".

Блюментрост успокоил нас тем, что водка и венерическая проказа (*venerische Seuche*), которая в последние годы с изумительной быстротой распространилась от границ Польши до Белого моря, опустошат Россию меньше чем в одно столетие. Водка и сифилис - это, будто бы, два бича, посланные самим Промыслом Божиим для избавления Европы от нового нашествия варваров.

- Россия,- заключил Плейер,- железный колосс наглиняных ногах. Рухнет, разобьется - и ничего не останется!

Я не слишком люблю русских; но все-таки я не ожидала, что мои соотечественники так ненавидят Россию.

Кажется иногда, что в этой ненависти-тайный страх; как будто мы, немцы, предчувствуем, что кто-то кого-то непременно съест: или мы - их, или они - нас.

17 января

- Так как же вы полагаете, фрейлин Юлиана, ктоя такой, дурак или негодяй? - спросил меня царевич, встретившись со мной сегодня поутру на лестнице.

Я сначала не поняла, подумала, он пьян, и хотелапройти молча. Но он загородил дорогу и продолжал, глядя мне прямо в глаза:

- Любопытно было бы также знать, кто кого съест мы вас, или вы нас?

Тут только я догадалась, что он читал мой дневник.

Ее высочество брала его у меня ненадолго, тоже хотелапрочсть; царевич, должно быть, заходил к ней в комнату, когда ее не было там, увидел дневник и прочел.

Я так смутилась, что готова была провалиться сквозьземлю. Краснела, краснела до корня волос, чуть не плакала, как пойманная на месте преступления школьница.

А он все смотрел, да молчал, как будто любовался моимсмущением. Наконец, сделав отчаянное усилие, я сновапопыталась убежать. Но он схватил меня за руку. Я таки обмерла от страха.

- А что, попались-таки, фрейлен,- рассмеялся он веселым, добрым смехом.- Будьте впредь осторожнее. Хорошо еще, что прочел я. а не кто другой. Ну и острый жеязычок у вашей милости - бритва! Всем досталось. А ведь, что греха таить, много правды в том, что вы говоритео нас, ей, ей, много правды! И хоть не по шерстке гладите, а за правду спасибо.

Он перестал смеяться, и с ясной улыбкой, как товарищтоварищу, крепко пожал мне руку, точно в самом делеблагодарил за правду.

Станный человек. Станные люди вообще эти русские. Никогда нельзя предвидеть, что они скажут илисделают.

Чем больше думаю, тем больше кажется мне, что есть в них что-то, чего мы, европейцы, не понимаем и никогда не поймем: они для нас как жители другой планеты.

2 февраля

Когда я проходила сегодня вечером по нижней галерее, царевич, должно быть, услышав шаги мои, окликнул меня, попросил зайти в столовую, где сидел у камелька, один, в сумерках, усадил в кресло против себя и заговорил со мной по-немецки, а потом по-русски, так ласково, как будто мы были старыми друзьями. Я услышала от него много любопытного.

Но всего не буду записывать: небезопасно и для меня и для него, пока я в России. Вот лишь несколько отдельных мыслей.

Больше всего удивило меня то, что он вовсе не такой защитник старого, враг нового, каким его считают все.

- Всякая старина свою плешь хвалит,- сказал он мне русской пословицей.- А неправда у нас, на Руси, весьма застарела, так что, хоромины ветхой всей не разобрать и всякого бревна не рассмотреть,- не очистить древней гнилости...

Ошибка царя, будто бы, в том, что он слишком торопится.

- Батюшке все бы на скорую руку: тят-ляп и корабль.

А того не рассудит, что где скоро, там не споро. Сбил, сколотил, вот колесо, сел да поехал, ах, хорошо; оглянулся назад - одни спицы лежат.

18 февраля

У царевича есть тетрадь, в которую он выписывает из Церковно-Гражданской Летописи Барония статьи, как сам выражается, "приличные на себя, на отца и на других - в такой образ, что прежде бывало не так, как ныне".

Он дал мне эту тетрадь на просмотр. В заметках виден ум пыливый и свободный. По поводу некоторых слишком чудесных легенд, правда, католических,- примечание в скобках: "справиться с греческим"; "вещь сумнительная";

"сие не весьма правда".

Но всего любопытнее показалось мне заметки, в которых сравнивается прошлое чужое с настоящим русским.

"Лето 395.- Аркадий цесарь повелел еретиками звать всех, которые хоть малым знаком от православия отличаются". Намек на православие русского царя.

"Лето 455.- Валентин цесарь убит за повреждение уставов церковных и за прелюбодеяние". Намек на уничтожение в России патриаршества, на брак царя с Екатериною при жизни первой жены, Авдотьи Лопухиной.

"Лето 514.- Во Франции носили долгое платье, а короткое Карлус Великий запрещал; похвала долгому, а короткому супротивное". Намек на перемену русского платья.

"Лето 814.- Цесаря Льва монах прельстил на иконоборство. Также и у нас". Намек на царского духовника, монаха Федоса, который, говорят, советует царю отменить почитание икон.

"Лето 854.- Михаил цесарь церковными Тайнами играл". Намек на учреждение Всепьянейшего Собора, свадьбу шутовского патриарха и многие другие забавы царя.

Вот еще некоторые мысли.

О папской власти: "Христос святителей всех уравниал.

А что говорят, без решения Церкви спастись не можно и то ложь явная, понеже Христос сам сказал: веруй в Мя жив буди вовеки; - а не в церковь Римскую, которой в то время не было, и покамест проповедь Апостольская в Рим не дошла, много людей спаслося".

"Магометанские злочестия чрез баб расширились. Охота баб к пророкам лживым".

В целых ученых исследованиях о Магомете сказано меньше, чем в этих четырех словах, достойных великого скептика Бейля!

Намедни Толстой, говоря о царевиче, сказал мне со своею лисьей усмешкой: - К приведению себя в любовь - сей наилучший способ: в нужных случаях уметь прикрыться кожей простейшего в скотах.

Я не поняла тогда; теперь только начинаю понимать.

В сочинении одного старинного английского писателя - имя забыла - под заглавием Трагедия о Гамлете, принце Датском, этот несчастный принц, гонимый врагами, притворяется не то глупцом, не то помешанным.

Примеру Гамлета не следует ли русский принц? Неприкрывается ли "кожею простейшего в скотах"?

* * *

Говорят, царевич осмелился однажды быть откровенным, доложил отцу о нестерпимых бедствиях народа. С той поры и впал в немилость.

23 февраля

Он любит свою дочку Наташу с нежностью.

Сегодня целое утро, сидя с нею на полу, строил будки и домики из деревянных чурок; ползал на четвереньках, представлял собаку, лошадь, волка. Кидал мячик, и когда он закатывался под кровать или шкаф, лазил туда за ним, пачкался в пыли и паутине. Уносил ее в свою комнату, нянчил на руках, показывал всем и спрашивал:

- Хороша, небось, девочка? Где такой другой сыскать?

Похож был сам на маленького мальчика.

Наташа умна не по возрасту. Если тянется к чему-нибудь, и пригрозят, что скажут маме - сейчас присмирееет; если же просто велют перестать - начинает смеяться и шалить еще больше. Когда видит, что царевичне в духе, затихает, только смотрит на него пристально;

а когда он к ней обернется - громко хохочет и машет ручонками. Ласкает его, совсем как взрослая.

У меня странное чувство, когда смотрю на эти ласки: кажется, что малютка не только любит, но и жалеет царевича, словно что-то видит, знает о нем, чего никтoе еще не знает. Странное, жуткое чувство - как тогда, когда я смотрела на отца и мать в темное-темное, словно пророческое, зеркало.

- Что она меня любит, я знаю: она ведь для меня все покинула,- сказал он мне однажды о своей супруге.

Теперь, когда я лучше поняла царевича, я не могу винить его одного за то, что им так трудно вместе. Оба невинны, оба виновны. Слишком различны и несчастны, каждый по-своему. Малое, среднее горе сближает, слишком большое - разделяет людей.

Они, как два тяжело больные или раненые в одной постели. Не могут друг другу помочь; всякое движение одного причиняет боль другому.

Есть люди, которые так привыкли страдать, что, кажется, душа их в слезах - как рыба в воде, без слез как рыба на суше. Их мысли и

чувства, раз поникнув долу, уже никогда не подымутся, как ветви плакучей ивы.

Ее высочество из таких людей.

У царевича и своего горя много; а каждый раз, как приходит к ней,- видит и чужое горе, которому нельзя помочь. Он жалеет ее. Но любовь и жалость не одно и то же. Кто хочет быть любимым, бойся жалости. Ах, знаю, по собственному опыту знаю, какая мука жалеть, когда нельзя помочь! Начинаешь, наконец, бояться того, кого слишком жалел.

Да, оба невинны, оба несчастны, и никто им не может помочь, кроме Бога. Бедные, бедные! Страшно подумать, чем это кончится, страшно - и все-таки уж лучше бы скорей конец.

7 марта

Ее высочество опять беременна.

Мы в Рождествено, мызе царевича, в Копорском уезде, в семидесяти верстах от Петербурга.

Я была долго больна. Думали, умру. Страшнее смерти была мысль умереть в России. Ее высочество увезла меня с собою сюда, в Рождествено, чтобы дать мне отдохнуть и окрепнуть на чистом воздухе.

Кругом лес. Тихо. Только деревья шумят, да птицы щебечут. Быстрая, словно горная, речка Оредежь журчит внизу под крутыми обрывами из красной глины, на которой первая зелень берез сквозит, как дым, зелень елок чернеет, как уголь.

Деревянные срубы усадьбы похожи на простые избы.

Главные хоромы в два жилья с высоким теремом, как устарых московских дворцов, еще не достроены. Рядом часовенка с колокольнею и двумя маленькими колоколами, в которые царевич любит сам звонить. У ворот - старая шведская пушка и горка чугунных ядер, заржавевших, проросших зеленой травой и весенними цветами. Все вместе - настоящий монастырь в лесу.

Внутри хором стены еще голые бревенчатые. Пахнет смолою; всюду янтарные капли струятся, как слезы. Обрза с лампадками. Светло, свежо, чисто и невинно-молодо.

Царевич любит это место. Говорит, жил бы здесь всегда, и ничего ему больше не надо, только бы оставили его в покое.

Читает, пишет в библиотеке, молится в часовне, работает в саду, в огороде, удит рыбу, бродит по лесам.

Вот и сейчас вижу его из окна моей комнаты. Только что копался в грядках, сажая луковицы гарлемских тюльпанов. Отдыхает, стоит, опершись на лопату, и весь точно замер, к чему-то прислушиваясь. Тишина бесконечная.

Только топор дровосека стучит где-то далеко, далеко в лесу да кукушка кукует. И лицо у него тихое, радостное.

Что-то шепчет, напевает, должно быть, одну из любимых молитв - акафист своему святому, Алексею человеку Божьему, или псалом: "Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе жив".

Нигде я не видела таких вечерних зорь, как здесь.

- Сегодня был особенно странный закат. Все небо в крови.

Обагранные тучи разбросаны, как клочья окровавленных одежд, точно совершилось на небе убийство, или какая-то страшная жертва. И на землю с неба сочилась кровь. Среди черной, как уголь, острой щетины елового леса пятна красной глины казались пятнами крови.

Пока я смотрела и дивилась, откуда-то сверху, как будто из этого страшного неба, послышался голос:

- Фрейлейн Юлиана! Фрейлейн Юлиана!

То звал меня царевич, стоя на голубятне, с длинным шестом в руках, которым здесь гоняют голубей. Он доних большой охотник.

Я поднялась по шаткой лесенке и, когда вступила на площадку, белые голуби взвились, как снежные хлопья, на зарепорозовевшие, обдавая нас ветром и шелестом крыльев.

Мы сели на скамью и, слово за слово, начали спорить, как часто в последнее время - о вере.

- Ваш Мартин Лютер все свои законы издал по умствованиям мира сего и по лакомству своему, а не по духовной твердости. А вы, бедные, обрадовались легкому житию, что тот прелестник сказал легонько, тому и поверили, а узкий и трудный путь, от самого Христа заветный, оставили. И он, Мартин, явился самый всесветный дурак, и в законе его сокрыт великий яд адского аспида...

Я привыкла к русским любезностям и пропускаю их мимо ушей. Спорить с ним доводами разума все равно, что выступать со шпагой против дубины. Но на этот раз почему-то рассердилась и вдруг высказала все, что у меня давно уже накопилось на сердце.

Я доказывала, что русские, считая себя лучше всех народов христианских, на самом деле живут хуже язычников; исповедуют закон любви и творят такие жестокости, каких нигде на свете не увидишь; постятся и вовремя поста скотски пьянствуют; ходят в церковь и в церкви ругаются по-матерному. Так невежественны, что у нас, немцев, пятилетний ребенок знает больше о вере, чем у них взрослые и даже священники. Из полдюжины русских едва ли один сумеет прочесть Отче наш. На мой вопрос, кто третье лицо святой Троицы, одна благочестивая старушка назвала Николу Чудотворца. И действительно, этот Никола - настоящий русский Бог, так что можно подумать, что у них вовсе нет другого Бога. Недаром, в 1620 году, шведский богослов Иоанн Ботвид защищал в Упсальской академии диссертацию: Христиане ли москвиты?

Не знаю, до чего бы я дошла, если бы не остановил меня царевич, который слушал все время спокойно - это спокойствие меня и бесило.

- А что, фрейлейн, давно я вас хотел спросить, во Христа-то вы сами веруете?

- Как, во Христа! Да разве неизвестно вашему высочеству, что все мы - лютеране?..

- Я не о всех, а только о вашей милости. Говорила как-то с вашим уже учителем, Лейбницем, так тот вилял, вилял, водил меня за нос, а я тогда же подумал, что он по-настоящему во Христа не верует. Ну, а вы - как?

Он смотрел на меня пристально. Я опустила глаза и почему-то вдруг вспомнила все свои сомнения, споры с Лейбницем, неразрешимые противоречия метафизики и теологии.

- Я думаю, - начала я тоже вилять, - что Христос самый праведный и мудрый из людей...

- А не Сын Божий?

- Мы все сыны Божии...

- И Он,, как все?

Мне не хотелось лгать - я молчала.

- Ну вот то-то и есть! - проговорил он с таким выражением в лице, какого я еще никогда у него не видела. Мудры вы, сильны, честны, славны. Все у вас есть. А Христа нет. Да и на что вам? Сами себя спасаете. Мы же глупы, нищи, наги, пьяны, смрадны, хуже варваров, хуже КОТОВ и всегда погибаем. А Христос Батюшка с нами есть и будет во веки веков. Им, Светом, спасаемся!

Он говорил о Христе так, как, я заметила, здесь говорят о Нем самые простые люди-мужики: точно Он у них свой собственный, домашний, такой же, как они, Мужик. Я не знаю, что это - величайшая гордость и кощунство, или величайшее смирение и святость.

Мы оба молчали. Голуби опять слетались, и междунами, соединяя нас, трепетали их белые крылья.

От ее высочества пришли за мною.

Сойдя с вышки, я оглянулась на царевича в последний раз. Он кормил голубей. Они окружили его. Садись ему на руки, на плечи, на голову. Он стоял в вышине, над черным, словно обугленным, лесом, в красном, словно окровавленном, небе, весь покрытый, точно одетый, белыми крыльями.

31 октября 1715

Теперь, когда кончено все, кончаю и этот дневник.

В середине августа (мы вернулись в Петербург из Рождествена в конце мая), недель за десят до разрешения отбремения, ее высочество упала на лестнице и ударила левым боком о верхнюю ступень. Говорят, споткнулась оттого, что на туфле сломался каблук. На самом деле, лишилась чувств, увидев, как внизу царевич, пьяный, обнимал и целовал дворовую девку Афросинью, свою любовницу.

Он живет с нею давно, почти на глазах у всех. Вернувшись из Карлсбада, взял ее к себе в дом, на свою половину. Я не писала об этом в дневнике, боясь, чтоб не прочла ее высочество.

Знала ли она? Если и знала, то не хотела знать, не верила, пока не увидела. Холопка-соперница герцогини Вольфенбюттельской, невестки императора! "В России и небываемое бывает", как сказал мне один русский. Отец с портмонею. сын - с холопкою.

Одни говорят, что она чухонка, взятая в плен солдатами, подобно царице; другие - что дворовая девка царевичева дядьки, Никифора

Вяземского. Кажется, последнее вернее.

Довольно красива, но сразу видна, как здесь говорят, "подлая порода". Высокая, рыжая, белая; нос немноговздёрнутый; глаза большие, светлые, с косым и длинным калмыцким разрезом, с каким-то диким, козым взором;

и вообще в ней что-то козье, как у самки сатира в Вакханалии Рубенса. Одно из тех лиц, которые нас, женщин, возмущают, а мужчинам почти всегда нравятся.

Царевич от нее, говорят, без ума. При первой встрече с ним, она, будто бы, была невинна и долго ему сопротивлялась. Он ей вовсе не нравился. Ни обещания, ни угрозы не помогали. Но раз, после попойки, пьяный, он бросился на нее, в одном из тех припадков бешенства, которые бывают у него, так же как у отца, избил ее, чуть не убил, грозил ножом и овладел силою. Русское зверство, русская грязь!

И это тот самый человек, который так похож был на святого, когда там, в лесах Рождествена, пел акафист Алексею человеку Божьему и, окруженный голубями, говорило "Христе-Батюшке"! Впрочем, соединять подобные крайности - особенный русский талант - то, чего нам, глупым немцам, слава Богу, понять не дано.

- Мы, русские, -- сказал мне однажды сам царевич, меры держать не умеем ни в чем, но всегда по краям пропасть блудим.

Ее высочество, после падения на лестнице, чувствовала боль в левом боку. "Меня по всему телу точно булавами колет", говорила она. Но вообще была спокойна, словно что-то решила и знала, что ее решения уже ничто не изменит. О царевиче больше никогда со мной не говорила и на судьбу не жаловалась. Раз только сказала:

- Я считаю гибель мою неизбежною. Надеюсь, что страдания мои скоро прекратятся. Ничего на свете так не желаю, как смерти. Это - мое единственное спасение.

12 октября благополучно разрешилась от бремени мальчиком, будущим наследником престола, Петром Алексеевичем. В первые дни после родов чувствовала себя хорошо. Но когда ее поздравляли, желали доброго здоровья, сердилась и просила всех молиться, чтобы Бог послал ей смерть.

- Я хочу умереть и умру,- говорила она все с тою же страшною спокойною решимостью, которая уже непокидала ее до конца. Врачей и бабки не слушалась, как будто нарочно делала все, что ей запрещали. На четвертый день села в кресло, велела вынести себя в другую комнату, сама кормила ребенка. В ту же ночь ей стало хуже; началась лихорадка, рвота, судороги и такие боли в животе, что она кричала сильнее, чем во время родов.

Узнав об этом, царь, который сам был болен, прислал КНЯЗЯ Меншикова с четырьмя лейб-медиками, Арескиным, Поликолою и двумя Блюментростами, чтобы составить консилиум. Они нашли ее при смерти - *in mortis limine*.

Когда убеждали ее принять лекарство, она бросала пол стакана и говорила:

- Не мучьте меня. Дайте мне спокойно умереть. Я не хочу жить.

За день до смерти призвала барона Левенвольда и сообщила ему свою последнюю волю: чтоб никто из приближенных, ни здесь, ни в Германии, не смел дурно говорить о царевице; она умирает рано, прежде, чем думала, но довольна судьбой своей и никого ни в чем не винит.

Потом простилась со всеми. Меня благословила, как мать.

В последний день царевич не отходил от нее. У него было такое лицо, что страшно было смотреть. Три раза падал в обморок. Она не говорила с ним, как будто не узнавала его. Только перед самым концом, когда он припал к ее руке, посмотрела на него долгим взором и что-то тихо сказала; я только расслышала: - Скоро... скоро... увидимся...

Отошла, точно уснула. У мертвой лицо было такое счастливое, как никогда у живой.

По приказанию царя анатомировали тело. Он при этом сам присутствовал.

Похороны 27 октября. Долго спорили, полагается ли, по придворному чину, стрелять из пушек при погребении кронпринцесс, и если полагается, то сколько раз. Расспрашивали всех иностранных послов. Царь беспокоился об этой стрельбе больше, чем о всей судьбе ее высочества. Решили не стрелять.

Гроб вынесли по нарочно устроенным деревянным подмосткам из дверей дома прямо к Неве. За гробом шлицарь и царевич. Царицы не было. Она ждала с часу начас разрешения от бремени. На Неве стоял траурный фрегат, весь обитый черным, с черными флагами.

Медленно, под звуки похоронной музыки, поплыли к Петропавловскому собору, еще недостроенному, где могила кронпринцессы Должна была оставаться до окончания свода под открытым небом. На живую шел дождь - будет иди и на мертвую.

Вечер был серый, тихий. Небо, как могильный свод;

Нева, как темное-темное зеркало; весь город в тумане точно призрак или сновидение. И все, что я испытала, видела и слышала в этом страшном городе,- теперь более чем когда-либо казалось мне сном.

Из собора ночью вернулись к дом царевича для поминальной трапезы. Здесь царь отдал сыну письмо, в котором, как я узнала впоследствии, грозил, в случае ежели царевич не исправится, лишением наследства и отцовским проклятием.

На следующий день царица разрешилась от бремени сыном.

Между этими двумя детьми - сыном и внуком царя колеблются судьбы России.

1 ноября

Вчера перед вечером заходила к царевичу, чтобы переговорить о моем отъезде в Германию. Он сидел у топившейся печки и жег в ней бумаги, письма, рукописи. Должно быть, боится обыска.

Держал в руке и уже хотел бросить в огонь маленькую книжку в кожаном потертом переплете, когда с внезапною нескромностью, которой теперь сама удивляюсь,- я спросила, что это. Он подал мне книжку. Я заглянула в нее и увидела, что это записки или дневник царевича. Сильнейшая страсть женщин вообще и моя в частности, любопытство, внушила мне еще большую нескромность попросить у него этот дневник для прочтения.

Он подумал с минуту, посмотрел на меня пристально и вдруг улыбнулся своею милою, детскою улыбкою, которую я так люблю.

- Долг платежом красен. Я читал ваш дневник читайте мой.

Но взял с меня слово, что я ни с кем никогда не буду говорить об этих записках и возвращу их ему завтра утром для сожжения.

Просидела над ним всю ночь. Это собственно старинный русский календарь, святцы киевской печати. Их подарил царевичу в 1708 году покойный митрополит Дмитрий Ростовский, которого считают в народе святым. Отчасти на полях и в пробелах на страницах самой книги, отчасти на отдельных, вложенных и вклеенных листках, царевич записывал свои мысли и события своей жизни.

Я решила списать этот дневник.

Не нарушу слова: пока я жива и жив царевич, никтоне узнает об этих записках. Но они не должны погибнутьбесследно.

Сына с отцом судить будет Бог. Но людьми царевичоклеветан. Пусть же этот дневник, если суждено ему дойтидо потомства, обличит или оправдает его, но, во всякомслучае, обнаружит истину.

ДНЕВНИК ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ

Благослобиши венец лета благости Твоя, Господи!

* * *

В Померании будучи, для сбора провианту, по указуродшего мя (Примечание Арнгейм: так называл царевичотца своего), слышал, что на Москве, в Успенском соборе митрополит Рязанский Стефан, обличая указ о фискалах, сиречь, доносителях по гражданским и духовнымделам, и прочие законы, церкви противные, в народкричал:

"Не удивляйтесь, что многомятежная Россия наша доселе в кровавых бурях волнуется. Законы человеческиесколь великое имеют расстояние от закона Божия".

И господа Сенат, придя к митрополиту, укоряли егои претили за то, что на бунт и мятеж народ возмущает, царской чести касается. И царю о том доносили.

И я говорил Рязанскому, чтоб примириться ему с батюшкой, как возможно; что-де в том прибыли, что межних несогласие? и чтоб весьма сего искал для того, чтокогда его бросят, то такого не будет.

Раньше той предикиПроповедь (от лат. praedicatio).

писывал он мне и я к нему, хотя не часто, кроме важных дел. А как о той предикеуслышал, то оную корреспонденцию пресек и к нему неезжу, и к себе не пускаю, понеже у родшего мя он естьв ненавидении великом, и того ради мне писать к немуопасно. А говорят, ему быть отлучену от сего управления, в нем же есть.

И оную предику кончал Рязанский молитвою косв. Алексею человеку Божью обо мне, рабе грешном:

"О, угодниче Божий! не забудь и тезоименника твоего, особенного заповедей Божиих хранителя и твоего преисправного последователя, царевича Алексея Петровича. Ты оставил дом свой: он также по чужим домам скитается;

ты лишен рабов и подданных, друзей и сродников: он также; ты человек Божий; он также истинный раб Христов. Ей, молим, святче Божий, покрой своего тезоименника, нашу единую надежду, укрой его под покровом крыл твоих, яко любимого птенца, яко зеницу, от всякого зла соблюди невредимо!"

* * *

Будучи в чужих краях, по указу же родшего мя, для учения навигации, фортификации, геометрии и прочих наук, имел страх великий, дабы не умереть без покаяния. Писал о сем на Москву отцу нашему духовному Иакову так:

"Священника мы при себе не имеем и взять негде.

Молю вашу святыню, приищи какого попа на Москве, чтоб он поехал ко мне тайно, сложа священнические признаки, то есть, усы и бороду сбрав, также и гуменцо зарастив, или всю голову обрив и волосы накладные надеви немецкое платье. И сказался бы моим денщиком. Пожалуй, пожалуй, отче! Яви милосердие к душе моей, не дай умереть без покаяния! Не для чего иного он мне, только для смертного случая, также и здоровому для исповедной тайны. А хорошо б, чтоб он под видом таким с Москвы от знакомых утаился. будто без вести пропал. А бритье бороды - не сомневался бы, ибо в нужде и закону пременение бывает: лучше малое преступить, нежели душу погубить без покаяния. Сочини сие безленостно, а буде неблаговолишь сего сочинить, души нашей взыщет на вас Бог".

* * *

Когда приехал из чужих краев к родшему мя в Санктпетербурх, принял он меня милостиво и спрашивал: не забыл ли я, чему учился? На что я сказал, будто не забыл, и он мне приказал к себе принести моего труда чертежи. Но я, опасаясь, чтобы меня не заставил чертить при себе, понеже бы не умел, - умыслил испортить себе правую руку, чтоб невозможно было оною ничего

делать, и набив пистоль, взяв ее в левую руку, стрелил по правой ладони, чтоб пробить пулькою, и хотя пулька миновала руки, однако ж порохом больно опалило, а пулька пробила стену в моей каморе, где и ныне видимо. И родший мя видел тогда руку мою опаленную и спрашивал о причине, как учинилось? Я ему тогда сказал иное, но не истину.

* * *

Устава Воинского глава VII, артикул 63: "Кто себя больным учинит или суставы свои преломает и к службе непотребными сочинит, оному надлежит ноздри распороть и потом его на каторгу сослать".

* * *

Уложение царя Алексея Михайловича, глава XXII, статья 6:

"А буде, который сын учует бить челом на отца, ему на отца ни в чем суда не давать, да его же, за такое челобитье, бив кнутом, отдать отцу".

И сие не весьма справедливо, понеже, хотя чада воле родительской подлежат, но не как скоты бессловесные.

Не едино естество - токмо еже родить - но добродетелью творит.

Слышал, что родшему мя не угодно, кто на Москведомы строит, понеже воля его есть жить в Питербурхе.

* * *

Над собою всенародного обычая переменить невозможно.

Которая земля переставляет обычаи - и та земля недолго стоит.

Забыли русские люди воду своих сосудов и начали лакомо напоеваться от чужих возмущенных вод.

* * *

Иов, архиерей Новгородский, мне сказал: "Тебе в Питербурхе худо готовится, только Бог тебя избавит, чаю. Увидишь, что у вас будет".

* * *

Бог сделал над нами, грешными, так, что только на головах наших не ездят иноземцы.

Мы болеем чужебесием. Сия смертоносная немочь бешеная любовь чужих вещей и народов заразила весь наш народ. Право скажет пророк Варух: припусти к себе чужеземца и разорит тя.

Немцы хвастают и за притчу говорят: кто-де хочет хлеб бездельно есть, да придет на Русь. Зовут нас барбарами и паче в скотском, нежели в человеческом числе поставляют. Тщатся учинить для всех народов хуже дохлых собак.

Иные их немецкие затейки можно бы приостановить.

А то, хоть притыка, хоть с боку-припеку - а мы тут.

С немецкой стати на дурацкую стать. Сами унижаем себя, свой язык и свой народ, выставляемся на посмех всех.

* * *

Чистота славянская от чужестранных языков засыпалась в пепел. Не знаю, на что б нужно нам чужие слова употреблять? Разве хвастая? Только в том чести мало.

Иногда так говорят, что ни сами, ни другие понять немогут.

* * *

Не садись под чужой забор, а хоть на крапивку, да под свой. Чужой ум до порога. Нам надлежит свой ум держать. Славны бубны за горами, а как ближе, так лукошко.

* * *

Много немцы умнее нас науками; а наши острою, по благодати Божьей, не хуже их, а они ругают нас напрасно. Чувствую, что Бог создал нас не хуже их людьми.

* * *

Мне сумнительно, чтоб подлинно все благополучие человека в одной науке состояло. Почто в древние времена меньше учились, но более, нежели ныне, со многими науками, благополучия видели? С великим просвещением мож

но быть великому скареду. Наука в развращенном сердце есть лютое оружие делать зло.

У нас людей не берегут. Тирански собирают с бедного подданства слезные и кровавые подати. Вымыслили сборы поземельные, подушные, холутейные, бородовые, мостовые, пчельные, банные, кожные и прочие, им же несть числа. С одного вола по две, по три шкуры дерут, а немогут и единой целой содрать, и, сколько ни нудятся, только лоскутье сдирают. Того ради никакие сборы и не споры, люди все тонют. Мужики, говорят, не давай обрасти, но стриги его догола. И так творя, все царство пустошат.

Оскудение крестьянское - оскудение царственное. ПраМИТСАН наши за кроху умирают, а где тысячи рублевпропадают, ни за что ставят.

На пиру Иродовом едят людей, а пьют кровь их даСлезы. Господам и до пресыщения всего много, а крестьянам бедным и укруха хлеба худого не стаёт. Сии объедаются, а те алчут.

Русские люди в последнюю скудость пришли. И никтоне доводит правды до царя. Пропащее наше государство.

* * *

Нам, русским, не надобен хлеб: мы друг друга едим и сыты бываем.

* * *

Бояре - отпадшее зяблое дерево. Боярская толща царюзастит народ.

Куда батюшка - умный человек, а Меншиков его всегда обманивает.

* * *

В правителях все от мала до велика стали быть поползновенны. Древние уставы обветшали, и новые ни во что обращаются. Сколько их издано, а много ль в них действия?

И того ради все по-старому. Да и впредь не чаю ж прокубыть.

Когда, по указу родшего мя, в Новгородском уезде леса на скампа веи Военные гребные быстроходные суда.

рубил, говорил с крестьянином селаПокровского, Ивашкою Посошковым о земском соборе и о народосоветии: подобает-де выбрать всякого звания людей и крестьян, в разуме смысленных, дабы сочинить новую книгу законов, всем народам освидетельствовав самым вольным голосом. Понеже разделил Бог разум в людях на дробинки малые и каждому по силе дал. И маломысленными часто вещает волю и правду Свою. Унижать их душевредно есть. Того ради без многосоветия и вольного голоса быть царю невозможно.

О должности царской.

Не на свое высокоумие полагаться, но о земле и народе, о странах и селах печаловаться; и любовь, и всякое попечение, и рассмотрение, и заступление иметь о меньшей братии Христовой, понеже суд

великий бывает на великихи сильных. Меньший прощен будет;
крепких же крепкоеждет истязание.

Сие весьма помнить, ежели дает Бог на царстве быть.

На день великомученика Евстафия праздновали кумпанию и
гораздо подпияхом. Лики со тимпанами были.

Жибанде глаз подбили, да Захлюстке вышибли зуб. А яничего не
помню, едва ушел. Зело был удовольствованБахусовым даром.

* * *

На Рождествене оставался один дома. Прошли дни, как воды
протекли. Ничего, кроме тихости.

* * *

Время проходит, к смерти доводит - ближе конец днейнаших.

Тленность века моего ныне познаваю, Не желаю, не боюсь, смерти
ожидая.

* * *

Подпияхом отчасти.

Еремка, Еремка, поганый бог! От юности моя мнозиборют мя
страсти. В окаянстве других обличаю, а сам окаяннее всех.

Афросинья. Беззаконья мои познах и греха моего непокрых.
Отяготе на мне рука Твоя, Господи! Когда приидуи явлюся лицу
Божью? Быша слезы моя хлеб мне деньи ночь, желает и
скончается душа моя во двory Господни.

С Благовещенским протопресвитером, духовным отцомнашим
Яковом, куликали до ночи. Пили не по-немецки, а по-русски.
Поджарились изрядно.

Афроська! Афроська! (Примечание Арнгейм.:
следуетНепристойное ругательство).

* * *

Из Полтавской службы стих на литии: Враг крестаГосподня - пели
явно при всех, на подпитках, к лицу Феодосия, архимандрита
Невского.

* * *

Дивлюся батюшке: за что любит Федоску? Разве зато, что вносит в
народ люторские обычаи и разрешает нався? Сущий есть аферист,
воистину враг креста Господня!

* * *

Экого плута тонкого мало я видал! Политик, зла явное сотворит;
только надобно с ним обхождение иметь опасное и жить не явно в
противность, но лицемерно, когда же так учинилось, что у него под
командою быть.

* * *

Жалость дому Твоего сдает мя. Боже! Убоялся и вострепетал, да
не погибнет до конца на Руси христианство!

* * *

Сопряженная мне (Примечание Арнгейм: так царевич называет
свою супругу, крон принцессу, Шарлотту) имеетво чреве.

Федоска ересиарх и ему подобные начали явно всю церковь
бороть, посты разорять, покаяние и умерщвление плоти в некое
баснословие вменять, безженство и самовольное убожество в смех
обращать и прочие стропотные и узкие пути жестокого
христианского жития в стези гладкие и пространные изменять.
Всякое развратное и слабое житие иметь учат смело, и сим лаяньем
любителей мирасего в такое бесстрашие и сластолюбие приводят,
что многие и в эпикурские мнения впали: ешь, пей, веселись - по
смерти же никакого воздаяния нет.

Иконы святые идолами называют, пение церковное бычьим
рыком. Часовни разоряют, а где стены остались - табаком торговать,
бороды брить попустили. Чудотворные иконы на гнойных телегах,
под скверными рогожами, нагло во весь народ ругаячись, увозят. На
всеблагочестие и веру православную наступили, но таким образом и
претекстом, будто не веру, а непотребное и весьма вредительное
христианству суеверие искореняют. О, сколь многое множество под
сим притвором людей духовных истреблено, поразстрижено и
перемучено! Спроси ж, за что?

Больше ответа не услышишь, кроме сего: суевер, ханжа, пустосвят
негодный. Кто посты хранит - ханжа, кто молится - пустосвят, кто
иконам кланяется - лицемер.

Сие же все делают такую хитростью и умыслом, дабы все
истребить в России священство православное и завести свою
новомышленную люторскую да кальвинскую беспоповщину.

Ей, нечувствен, кто не обоняет в них духа афейского!

* * *

Когда малый недуг сей люторства расширится и от многих размножится и растлит все тело - тогда что будет, разумевай!

Было бы суслице, доживем и до бражки.

* * *

Звоны церковные переменили. Звонят дрянью, как напожар гонят или всполох бьют. И во всем прочем пременение. Иконы не на досках, а на холстах, с немецких персон пишут неистово. Зри Спасов образ Иммануила"т. е. Христа.

весь, яко немчин, брюхат и толст, учинен по плотскомуумыслу. Возлюбили толстоту плотскую, опровергли долгорнее. И церкви не по старому обычаю, но шпичем наподобие кирок строить и во образ лютерских органов наколокольнях играть приказали.

Ох, ох, бедная Русь! Что-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев?

* * *

Монашество искоренить желают. Готовят указ, дабы отдне впредь никого не постригать, а на убылые местамонастыри определять отставных солдат.

А в Евангелии сказано: грядущего ко Мне не изжену.

Но им Св. Писание - ничто.

* * *

Вера стала духовным артикулом, как есть Артикулвоинский.

Да какова та молитва будет, что по указу, под штрафомПролиться?

* * *

"Нищих брать за караул, бить батожем нещадно иссылать на каторгу, чтоб хлеб не даром ели".

Таков указ царев, а Христов - на Страшном Судилище: Взалкался бо, и не даете Ми ясти; возжаждахся, и не напоисте Мене; странен бых, и не введосте Мене;

и не одеясте Мене. Аминь, глаголю вам: понеже неотворите единому сих меньших, ни Мне сотворите.

Так-то, под наилучшим полицейским распорядком, учатругать самого Христа, Царя Небесного - в образе нищихбьют батожем и ссылают на каторгу.

Весь народ Российский голодом духовным тает.

Сеятель не сеет, а земля не принимает; иереи не брешут, а люди заблуждаются. Сельские попы ничем от пахотных мужиков неотменны: мужик за соху, и поп за соху.

А христиане помирают как скот. Попы пьяные в алтаресквернословят, бранятся матерно. Риза на плечах златотканая, а на ногах лапти грязные; просфоры пекут ржанные; страшные Тайны Господни хранят в сосудах зелогнусных, с клопами, сверчками и тараканами.

Чернецы спились и заворовались.

Все монашество и священство великого требует исправления, понеже истинного монашества и священства едва след ныне обретается.

Мы носим на себе зазор, что ни веры своей, какова она есть, ни благочиния духовного не разумеем, но живем. Чуть не подобны бессловесным. Я мню, что и на Москверазве сотый человек знает, что есть православная христианская вера, или кто Бог, и как Ему молиться, и как волю Его творить.

Не обретается в нас ни знака христианского, кроме того, что только именем слышем христиане.

* * *

Все объюродели. В благочестии аки лист древесный колеблемся. В учения странные и различные уклонились, одни - в римскую, другие - в люторскую веру, на обаколена хромаем, крещенные идолопоклонники. Оставили сосцы матери нашей Церкви, ищем сосцов египетских, иноземческих, еретических. Как слепые щенята поверженные, все розно бредем, а куда, того никто не ведает.

* * *

В Чудове монастыре Фомка цырульник, иконоборец, образ Чудотворца Алексия Митрополита железным косарем изрубил для того, что святых икон и животворящего Креста, и мощей угодников Божиих, он. Фомка, непочитает; святые-де иконы и животворящий Крест-деларук человеческих, а мощи, его. Фомку, не милуют; и догматы, и предания церковные не приемлет; и во Евхаристии не верует быть истинное Тело и Кровь Христовы, но просвира и вино церковное просто.

И Стефан митрополит Рязанский Фомку анафеме церковной и казни гражданской предал - сжег в срубе на Красной площади.

А господа Сенат митрополита к ответу за то в Питербурх призывали и еретикам поноровку чинили: Фомкина учителя, иконоборца Митьку Тверетинова лекаря оправдали, а святителя с великим стыдом из палаты судебной вон изгнали; и, плача, шел и говорил:

- Христе Боже, Спаситель наш! Ты Сам сказал: Аще Мене изгнаша, и вас изженут. Вот меня выгоняют вон, но не меня. Самого Тебя изгоняют. Сам ты, Всевидче, зришь, что сей суд их несправедлив,- Сам их исуди!

И как вышел митрополит из Сената на площадь, весь народ сжалился над ним и плакал.

А родший мя на Рязанского в пущем гневѣ.

* * *

Церковь больше царства земного. Ныне же царство возобладало над церковью.

Древле цари патриархам земно кланялись. Ныне же местоблюститель патриаршего престола грамотки свои царю подписывает: "Вашего Величества раб и подножие, смиренный Стефан, пастушок рязанский".

Глава церкви стала подножием ног государевых, вся церковь - холопскою.

На что Дмитрий, митрополит Ростовский, святой был человек, а как родший мя напоил его венгерским, да стало делах духовной политики спрашивать, ничего святой старец не отвечал, а только все крестил да крестил царя, молча. Так и открестился!

* * *

Против речного-де стремления, говорят отцы, нельзя плавать, плетью обуха не перешибешь.

А как же святые мученики кровей своих за церковь не щадили?

* * *

У царя архиереи на хлебах - а чей хлеб ем, того и вем.

* * *

Прежние святители печальники были всей земли русской, а нынешние архиереи не печалуются пред государем, но паче

потаковники бывают и благочестивый сан царский растлевают.

* * *

Народ согрешит, царь умолит; царь согрешит, народне умолит. За государево прегрешение Бог всю землю казнит.

* * *

Намедни, на подпитках, пастушок рязанский родшемуя говорил: "Вы, цари, земные боги, уподобляетесь самому Царю Небесному".

А князь-папа, пьяный шут, над святителем ругался: - Я, говорит, хоть и в шутах патриарх, а такого бы слова царю не сказал! Божие больше царева.

И царь шута похвалил.

* * *

На тех же подпитках, как заговорили архиереи о вдовстве церкви и о нужде патриаршества, родший мя в великом гневе выхватил из ножен кортик, так что все затряслись, думали, рубить начнет, ударил лезвием плашмя по столу, да закричал: - Вот вам патриарх! Оба вместе - патриарх и царь!

* * *

Федоска родшему мя приговаривает, дабы российским царям отныне титул принять императорскую, сиречь, древних римских кесарей.

* * *

В Москве, на Красной площади, в 1709 году, в триумфованьи на Полтавскую викторию людьми чина духовного воздвигнуто некое подобие ветхо-римского храма с жертвенником - добродетелям Российского бога Аполлои Марса - сиесть, родшего мя. И на оном ветхоэллинском капище подписано:

"Basis et fundamentum rei publicae religio. Утверждение и основание государства есть вера".

Какая вера? В коего Бога или в коих богов?

В оном же триумфованьи представлена Политиколепная Апофеозиз Всероссийского Геркулеса - сиесть, родшегомя, избивающего многих людей и зверей и, по совершении сих подвигов, возлетающего в небо на колеснице бога Иовиша, везомой орлами по Млечному пути - с подписью: "Viamque effectat Olympo".

"Пути желает в Олимп".

А в книжице, сочиненной от иеромонаха Иосифа, префекта академии, об оной Апофеозиз сказано:

"Ведати же подобает, яко сия не суть храм или церковь, во имя некоего от святых созданная, но политичная, сиесть, гражданская похвала".

* * *

Федоска родшему мя приговаривал, дабы в указе долженствующей быть коллегии духовной. Св. Синода, а то и в самой присяге российской объявить во весь народ симисловами:

"Имя Самодержца своего имели бы, яко главы своя, и отца отечества, и Христа Господня".

* * *

Хотят люди восхитить Божескую славу и честь Христа, вечного и единого Царя царей. Именно в сборнике Римских Законов читаются нечестивые и богохульные слова: Самодержец Римский есть всему свету Господь.

* * *

Исповедуем и веруем, что Христос един есть Царь царей и Господь господей, и что нет человека, всего мира господа.

* *

Камень нерукосечный от несекомой горы, Иисус Христос, ударил и разорил Римское царство и разбил в прах глиняные ноги. Мы же паки созидаем и строим то, что Бог разорил. Несть ли то - бороться с Богом?

* *

Смотри историю Римскую. Говорил цесарь Калигула: "Императору все позволено. Omnia licet".

Да не единым цесарям римским, а и всяким плутами хамам, и четвероногим скотам все позволено.

* *

Навуходоносор, царь Вавилонский, рече: Бог есмь аз.

Да не богом, а скотом стал.

* * *

На Васильевском острове, в доме царицы Прасковьи Матвеевны живет старец Тимофей Архипыч, прибежище отчаянных, надежда

ненадежных, юродь миру, а не себе.

Совести человеческие знает.

Намедни ночью ездил к нему, беседовал. Архипычсказывает, что Антихрист-де есть ложный царь, истинныйхам. И сей Хам грядет.

* * *

Читал митрополита Рязанского Знаменья ПришествияАнтихристова и сего Хама Грядущего вострепетал.

На Москве Григория Талицкого сожгли за то, что внарод кричал об антихристовом пришествии. Талицкийбыл большого ума человек. И драгунского полка капитан, Василий Левин, что был со мною на пути из Львова вКиев в 1711 году, да светлейшего князя Меншиковадуховник, поп Лебедка, да подьячий Ларивон Докукин идругие многие по сему же мыслят об Антихристе.

По лесам и пустыням сами себя сожигают люди, страхаради антихристова.

Вне членов--брани, внутри членов--страхи, Вижу, что отовсюду погибаем, а помощи и спасения ниоткуда не знаем. Молимся и боимся. Столько беззаконий, столькообид вопиют на небо и возбуждают гнев и отмщение божье-!

* * *

Тайна беззакония деется. Время приблизилось. Насамой громаде злобы стоим все, а отнюдь веры не имеем.

* * *

Некий раскольщик тайну Христову всю пролил подноги и ногами потоптал.

* * *

У Любеча пролет саранчи с полудня на полночь, а накрылах надпись: Гнев Божий.

* * *,f

Дни, кратки и пасмурны. Старые люди говорят: непо-прежнему и солнце светит.

* * *

Подпияхом, водковали зело. Видит Бог, со страха пьем, дабы себя не помнить.

* * *

Страх смерти напал на меня.

Конец при дверях, секира при корени, коса смертная над главою.

* * *

Спаси, Господи, русскую землю! Заступись, помилуй, Матерь Пречистая!

* * *

Добре преподобный Семеон, Христа ради юродивый, другу своему, Иоанну диакону пред кончиною сказывал: "Между простыми людьми и земледельцами, которые в незлобии и простоте сердца живут, никого не обижают, но от труда рук своих в поте лица едят хлеб свой,- междутакими многие суть великие святые, ибо видел я их, приходящих в город и причащающихся, и были они, как золото чистое".

* * *

О, человеки, последних сих времен мученики, в вас Христос ныне, яко в членах Своих, обитает. Любит Господь плачущих; а вы всегда в слезах. Любит Господь алчущих и жаждущих; а у вас есть и пить мало чего иному и половинного нестает хлеба. Любит страждущих невинно; а в вас страдания того не исчислишь - уже в ком едва душа в теле держится. Не изнемогайте в терпении, но благодарите Христа своего, а Он к вам по воскресении Своем будет в гости - не в гости только, но в неразлучное с вами пребывание. В вас Христос есть и будет, а вы скажите: аминь!

ДНЕВНИК ФРЕЙЛИНЫ АРНГЕИМ

Этими словами кончался дневник царевича Алексея.

Он при мне бросил его в огонь.

31 декабря 1715

Сегодня скончалась последняя русская царица Марфа Матвеевна, вдова брата Петрова, царя Феодора Алексеевича. При иностранных дворах ее считали давно умершею: Со смерти мужа, в течение тридцати двух лет, она была помешанной, жила, как затворница, в своих покоях и никогда никому не показывалась.

Ее хоронили в вечерние сумерки с большим великолепием. Погребальное шествие совершалось между двумя рядами факелов, расставленных по всему пути от дома усопшей - она жила рядом с нами, у церкви Всех Скорбящих - к Петропавловскому собору, через Неву, по льду.

тот же самый путь, по которому, два месяца с лишнимназад, везли на траурном фрегате тело ее высочества.

хоронили первую чужеземную царевну; теперь последнюю русскую царицу.

Впереди шло духовенство в пышНых ризах, со свечами и кадилами, с похоронным пением. Гроб везли на санях.

за ним тайный советник Толстой нес корону, всю усыпанную драгоценными камнями.

Царь впервые на этих похоронах отменил древнийрусский обычай надгробных воплей и причитаний: строго приказано было, чтобы никто не смел громко плакать.

Все шли молча. Ночь была тихая. Слышался лишьтреск горячей смолы, скрип шагов по снегу, да похоронноепение. Это безмолвное шествие навевало тихий ужас. Казалось, мы скользим по льду вслед за умершею, сами, какмертвые, в черную вечную тьму. Казалось также, что впоследней русской царице Россия новая хоронит старую, Петербург - Москву.

Царевич, любивший покойную, как родную мать, потрясен этой смертью. Он считает ее для себя, для всей

судьбы своей дурным предзнаменованием. Несколько раз, во время похорон, говорил мне на ухо: - Теперь всему конец!

1 января 1716

Завтра утром, вместе с баронами Левенвольдами, мывыезжаем из Петербурга прямо на Ригу и через Данцигв Германию. Навсегда покидаю Россию. Это моя последняя ночь в доме царевича.

Вечером заходила к нему проститься. По тому, как мырасстались, я почувствовала, что полюбила его и никогдане забуду.

- Кто знает,- сказал он,- может быть, еще увидимся. Хотелось бы мне снова в гости к вам, в Европу.

Мне тамошние места полюбились. Хорошо у вас, вольнои весело.

- За чем же дело стало, ваше высочество?

Он тяжело вздохнул: - Рад бы в рай, да грехи не пускают.

И прибавил со своею доброю улыбкою: - Ну, Господь с вами, фрейлейн Юлиана! Не поминайте лихом, поклонитесь от меня Европским краям и старику вашему, Лейбницу. Может быть, он и прав: дастБог, мы друг друга не съедим, а послужим друг другу!

Он обнял меня и поцеловал с братскою нежностью.

Я заплакала. Уходя, еще раз обернувшись к нему, посмотрела на него последним прощальным взором, и опять сердце мое сжалось предчувствием, как в тот день, когда я увидела в темном-темном, пророческом зеркале соединенные лица, Шарлотты и Алексея и мне показалось, что оба они - жертвы, обреченные на какое-то великое страдание. Она погибла. Очередь за ним.

И еще мне вспомнилось, как в последний вечер в Рождестве он стоял на голубятне, в вышине, над черным, точно обугленным, лесом, в красном, точно окровавленном, небе, весь покрытый, словно одетый, белыми голубиными крыльями. Таким он и останется навеки в моей памяти.

Я слышала, что узники, выпущенные на волю, иногда жалеют о тюрьме, Я теперь чувствую нечто подобное России.

Я начала этот дневник проклятиями, Но кончу благословениями. Скажу лишь то, что может быть, многие в Европе сказали бы. если бы лучше знали Россию: таинственная страна? таинственный народ.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

НАВОДНЕНИЕ

Царя предупреждали, при основании Петербурга, что место необитаемо, по причине наводнений, что за двенадцать лет перед тем вся страна до Ниеншанца была потоплена, и подобные бедствия повторяются почти каждые пять лет; первобытные жители Невского устья не строили прочных домов, а только малые хижины; и когда по приметам ожидалось наводнение, ломали их, бревна и доски связывали в плоты, прикрепляли к деревьям, сами же спасались на Дудерову гору. Но Петру новый город казался "Парадизом", именно вследствие обилия вод. Сам он любил их, как водяная птица, и подданных своих надеялся здесь скорее, чем где-либо, приучить к воде.

В конце октября 1715 года начался ледоход, выпал снег, поехали на санях, ожидали ранней и дружной зимы.

Но сделалась оттепель. В одну ночь все растаяло. Ветер с моря нагнал туман - гнилую и душную желтую мглу, от которой люди болели.

"Молю Бога вывести меня из сего пропастного места, писал один старый боярин в Москву.- Истинно опасаясь, чтоб не занемочь; как началась оттепель, такой стал бальзамовый дух и такая мгла, что из избы выйти невозможно, и многие во всем Парадизе от воздуху помирают".

Юго-западный ветер дул в продолжение девяти дней.

Вода в Неве поднялась. Несколько раз начиналось наводнение.

Петр издавал указы, которыми повелевалось жителям выносить из подвалов имущество, держать лодки наготове, сгонять скот на высокие места. Но каждый раз вода убывала. Царь, заметив, что указы тревожат народ, и, заключив по особым, ему одному известным приметам, что большого наводнения не будет, решил не обращать внимания на подъемы воды.

6 ноября назначена была первая зимняя ассамблея в доме президента адмиралтейской коллегии, Федора Матвеевича Апраксина, на Набережной, против Адмиралтейства, рядом с Зимним дворцом.

Накануне вода опять поднялась. Сведущие люди предсказывали, что на этот раз не миновать беды. Сообщались приметы: тараканы во дворце ползли из погребов на чердак; мыши бежали из мучных амбаров; государыне приснился Петербург, объятый пламенем, а пожар снитися к потопу. Не совсем оправившись после родов, не могла она сопровождать мужа на ассамблею и умоляла его не ездить.

Петр во всех взорах читал тот древний страх воды, с которым тщетно боролся всю жизнь: "жди горя с моря, беды от воды; где вода, там и беда; и царь воды не уймет".

Со всех сторон предупреждали его, приставали и наконец так надоели, что он запретил говорить о наводнении.

Обер-полицеймейстера Девьера едва не отколотил дубинкою. Какой-то мужичок напугал весь город предсказаниями, будто бы вода покроет высокую ольху, стоявшую на берегу Невы, у Троицы. Петр велел срубить ольху и на том самом месте наказать мужичка плетьюми, с барабанным боем и "убедительным увещанием" к народу.

Перед ассамблеей приехал к царю Апраксин и просил позволения устроить ее в большом доме, а не во флигеле, где она раньше бывала, стоявшем на дворе и соединенным с главным зданием узкою

стеклянную галерею, небезопасную в случае внезапного подъема воды: гости могли быть отрезаны от лестницы, ведущей в верхние покои. Петр задумался, но решил поставить на своем и назначил собрание в обычном ассамблейском домике.

"Ассамблея,- объяснялось в указе,- есть вольное собрание или съезд, не для только забавы, но и для дела.

Хозяин не повинен гостей ни встречать, ни провожать, ни потчевать.

Во время бытия в ассамблее вольно сидеть, ходить, играть, и в том никто другому прешкодить, или унимать, также церемонии делать вставаньем, провожаньем и прочим да не дерзает, под штрафом великого Орла".

Обе комнаты - в одной ели и пили, в другой танцевали - были просторные, но с чрезвычайно низкими потолками. В первой стены выложены, как в голландских кухнях, голубыми изразцами; на полках расставлена оловянная посуда; кирпичный пол усыпан песком; огромная кафельная печь жарко натоплена. На одном из трех длинных столов - закуски,- любимые Петром фленсбургские устрицы, соленые лимоны, салакуша; на другом - шашки и шахматы; на третьем - картузы табаку, корзины глиняных трубок, груды лучинок для раскуривания. Сальные свечи тускло мерцали в клубах дыма. Низенькая комната, набитая людьми, напоминала шкиперский погреб где-нибудь в Плимуте или Роттердаме. Сходство довершалось множеством английских и голландских корабельных мастеров. Жены их, румяные, толстые, гладкие, точно глянцевиные, уткнув ноги в грелки, вязали чулки, болтали и, видимо, чувствовали себя как дома.

Петр, покуривая кнастер из глиняной короткой носогрейки, попивая флип - гретое пиво с коньяком, леденцом и лимонным соком, играл в шашки с архимандритом Федосом.

Боязливо ежась и крадучись, как виноватая собака, подошел к царю обер-полициймейстер Антон Мануйлович Девьер, не то португалец, не то жид, с женоподобным лицом, с тем выражением сладости и слабости, которое иногда свойственно южным лицам.

- Вода поднимается, ваше величество.

- Сколько?

- Два фута пять вершков.
- А ветер?
- Вест-зюйд-вест.
- Врешь! Давеча я мерил сам: зюйд-вест-зюйд.
- Переменился,- возразил Девьер с таким видом, как будто виноват был в направлении ветра.

- Ничего,- решил Петр,- скоро на убыль пойдет.
Барометр кажет к облегчению воздушному. Небось, необманет!
Он верил в непогрешимость барометра так же, как вовсякую механику.

- Ваше величество! Не будет ли какого указа? жалобно взмолился Девьер.- А то уж как и быть незнаю. Зело опасаются. Сведущие люди сказывают...

Царь посмотрел на него пристально.

- Одного из оных сведущих я уже у Троицы выпорол, и тебе по сему же будет, если не уймешься. Ступай прочь, дурак!

Девьер, еще более съезжившись, как ласковая сучка Лизетта под палкой, мгновенно исчез.

- Как же ты, отче, о сем необычайном звоне полагаешь? - обратился Петр к Федосу, возобновляя беседу ополученном недавно донесении, будто бы по ночам в городских церквах каким-то чудом гудят колокола: молвагласила, что гудение это предвещает великие бедствия.

Федоска погладил жиденькую бородку, поиграл двойной панагией с распятием и портретом государя, взглянул искоса на царевича Алексея, который сидел тут жерядом, сощурил один глаз, как будто прицеливаясь, и вдруг все его крошечное личико, мордочка летучей мыши, озарилось тончайшим лукавством:

- Чему бы оное бессловесное гудение человеков учило, может всяк имеющий ум рассудить: явно - от Противника; рыдает бес, что прелесть его изгоняется от народов российских - из кликуш, раскольщиков и старцевпустосвятов, об исправлении коих тщание имеет ваше величество.

И Федоска свел речь на свой любимый предмет, на рассуждение о вреде монашества.

- Монахи тунеядцы суть. От податей бегут, чтобы даром хлеб есть. Что ж прибыли обществу от сего? Звание свое гражданское ни во что вменяют, суете сего мира приписуют - что и пословица есть: кто пострижется, говорят,- работал земному царю, а ныне пошел работать Небесному. В пустынях скотское житие проводят. А то гоне рассудят, что пустыням прямым в России, студеного ради климата, быть невозможно.

Алексей понимал, что речь о пустосвятах - камень в его огород.

Он встал. Петр посмотрел на него и сказал: - Сиди.

Царевич покорно сел, потупив глаза,- как сам он чувствовал, с "гипокритским" видом.

Лицемерным (франц. hypocrite).

Федоска был в ударе; поощряемый вниманием царя, который вынул записную книжку и делал в ней отметки для будущих указов,- предлагал он все новые и новые меры, будто бы для исправления, а в сущности, казалось царевичу, для окончательного истребления в России монашества.

- В мужских монастырях учредить гошпитали по регламенту для отставных драгун, также училища арифметики и геометрии; в женских - воспитательные дома для зазорных младенцев; монахиням питаться пряжею на мануфактурные дворы...

Царевич старался не слушать; но отдельные слова доносились до него, как властные окрики: - Продажу меда и масла в церквях весьма пресечь.

Пред иконами, вне церкви стоящими, свещевозжжения весьма возбранить. Часовни ломать. Мощей не являть. Чудес не вымышлять. Нищих брать за караул и бить батожем нещадно...

Ставни на окнах задрожали от напора ветра. По комнате пронеслось дуновение, всколыхнувшее пламя свечей.

Как будто несметная вражья сила шла на приступ и ломилась в дом. И Алексею чудилась в словах Федоски та же злая сила, тот же натиск бури с Запада.

Во второй комнате, для танцев, по стенам были гарусные тканые шпалеры; зеркала в простенках; в шандалах восковые свечи. На небольшом помосте музыканты с оглушительными духовыми инструментами. Потолок, с аллегорической картиной Езда на остров

любви - такой низкий, что голые амур с пухлыми икрами и ляжками почти касались париков.

Дамы, когда не было танцев, сидели, как немые, скучали и млели; танцуя, прыгали как заведенные куклы;

на вопросы отвечали "да" и "нет", на комплименты озирались дико. Дочки словно пришиты к маменькиным юбкам; а на лицах маменек написано: "лучше б мы девиц своих в воду пересажали, чем на ассамблеи привозили!"

Вилим Иванович Монс говорил переведенный из немецкой книжки комплимент той самой Настеньке, которая влюблена была в гардемарина и в Летнем саду на празднике Венус плакала над нежною цыдулкою:

- Чрез частое усмотрение вас, яко изрядного ангела, такое желание к знаемости вашей получил, что я того доле скрыть не могу, но принужден оное вам с достойным почтением представить. Я бы желал усердно, дабы вы, моя госпожа, столь искусную особу во мне обрели, чтоб я своими обычаями и приятными разговорами вас, мою госпожу, совершенно удовлетворить удобен был; но, понеже натура мне в сем удовольствии мало склонна есть, то благоволите только моею вам преданною верностью и услужением довольствоваться...

Настенька не слушала - звук однообразно жужжащих слов клонил ее ко сну. Впоследствии жаловалась она тетке на своего кавалера: "Иное говорит он, кажется, и по-русски, а я, хоть умереть, ни слова не разумею".

Секретарь французского посланника, сын московского подьячего, Юшка Проскуров, долго живший в Париже и превратившийся там в monsieur George'a, совершенно петиметра и галанта, Петиметр (франц. petit-maitre)-молодой щеголь; галантом (франц. galant homme)-галантный человек.

пел дамам модную песенку опарикмахере Фризоне и уличной девке Додене:

La Dodun dit a Frison: Coiffez moi avec adresse.

Je pretends avec raison Inspirer de la tendresse.

Tignonnez, tignonnez, bichonnez moi!

Додена сказала. Фризону: Хорошенько меня причеши.

Я хочу с полным на то правом Внушать любовь.

Завивай, завивай, наряжай меня! (франц.)

Прочел и русские вирши о прелестях парижской жизни!

Красное место, драгой берег Сенской, де быть не смеет манир деревенской, Ибо все держит в себе благородно Богам и богиням ты -
- место природно.

А я не могу никогда позабыти, Пока имею на земле быти!

Старые московские бояре, враги новых обычаев, сидели поодаль, греясь у печки, и вели беседу полунамеками, полузагадками:

- Как тебе, государь мой, питербурхская жизнь кажется?

- Прах бы вас побрал и с жизнью вашею! Финтифанты, немецкие куранты! От великих здешних кумплиментов и приседаний хвоста и заморских яств глаза смутились.

- Что делать, брат! На небо не вскочишь, в земле не закопаешься.

- Тяни лямку, пока не выкопают ямку.

- Трещи, не трещи, да гнишь.

- Ой-ой-ошеньки, болят боченьки, бока болят, а лежать не велят.

Монс шептал на ухо Настеньке только что сочиненную песенку:
Без любви и без Страсти, Все дни суть неприятны: Вздыхать надо, чтоб сласти Любовны были златны.

На что и жить, Коль не любить?

Вдруг почудилось ей, что потолок шатается, как вовремя землетрясения, и голые амуры падают прямо ей наголову. Она вскрикнула. Вилим Иванович успокоил ее: - Это ветер; шаталось полотно с картиной, прибитое к потолку и раздуваемое, как парус. Опять ставни задрожали, на этот раз так, что все оглянулись со страхом.

Но заиграл полонез, пары закружились-и бурю заглушила музыка. Только зябкие старички, греясь у печки, слышали, как ветер воет в трубе, и шептались, и вздыхали, и качали головами; в звуках бури, еще более зловещих сквозь звуки музыки, им слышалось: "жди горя с моря, беды от воды".

Петр, продолжая беседу с Федоскою, расспрашивал об ереси московских иконоборцев, Фомки цирюльника и Митьки лекаря.

Оба ересиарха, проповедуя свое учение, ссылались на недавние указы царя: "Ныне-де у нас на Москве, говорили они, слава Богу,

вольно всякому,- кто какую верусебе изберет, в такую и верует".

- По-ихнему, Фомки да Митьки, учению,- говорил Федос с такой двусмысленной усмешкой, что нельзя было понять, осуждает ли он ересь, или сочувствует,- правая вера от святых писаний и добрых дел познается, а не от чудес и преданий человеческих. Можно-де спастись во всех верах, по слову апостола: делающий правду во всяком народе Богу угоден.

- Весьма разумно,- заметил Петр, и усмешка монаха отразилась в такой же точно усмешке царя: они понимали друг друга без слов.

- А иконы-де, учат, дела рук человеческих, суть идолы,- продолжал Федос.- Крашеные доски как могут чудеса творить? Брось ее в огонь - сгорит, как и всякое дерево. Не иконам в землю, а Богу в небо подобает кланяться. И кто-де им, угодникам Божиим, дал такие уши длинные, чтоб с неба слышать моления земных? И если, говорят, сына у кого убьют ножом или палкою, то отец того убитого как может ту палку или нож любить? Таки Бог как может любить древо, на коем распят Сын его?

И Богородицу, вопрошают, чего ради весьма почитаете?

Она-де подобна мешку простому, наполненному драгоценных камней и бисеров, а когда из мешка оные драгоценные камни и бисеры высыпаны, то какой он цены и чести достоин? И от таинства Евхаристии мудрствуют: как может Христос повсюду раздробляем и раздаваем, и с нами быть в службах, коих бывает в свете множество в один час? Да как может хлеб перемещаться в Тело Господне молитвами поповскими? А попы-де всякие бывают - и пьяницы, и блудники, и сущие злодеи. Отнюдь сего статься не может; и

усмехался все наглее, все зло

в том-де мы весьма усомневаемся: понюхаем - хлебом пахнет; также и Кровь, по свидетельству данных нам чувств, является красное вино просто...

- Сих непотребств еретических нам, православным, и слушать зазорно! - остановил Федос царя.

Тот замолчал, но усмехался все наглее, радостнее.

Царевич поднял глаза и посмотрел на отца украдкой.

Ему показалось, что Петр смутился: он уже не усмехался;

лицо его было строго, почти гневно, но, вместе с тем, беспомощно, растерянно. Не сам ли он только что признал осознание ереси разумным? Приняв основание, как не принять и выводов? Легко запретить, но как возразить?

Умен царь; но не умнее ли монах и не ведет ли он царя, как злой поводырь - слепого в яму?

Так думал Алексей, и лукавая усмешка Федоски отразилась в точно такой же усмешке, уже не отца, а сына: царевич и Федоска теперь тоже понимали друг друга без слов.

- На Фомку да Митьку дивить нечего,- проговорил вдруг, среди общего неловкого молчания, Михаил Петрович Аврамов.- Какова погудка, такова и пляска; куда пастух, туда и овцы...

И посмотрел в упор на Федоску. Тот понял намеки весь пришипился от злости.

В это мгновение что-то ударило в ставни - словно застучали в них тысячи рук - потом завизжало, завыло, заплакало и где-то в отдалении замерло. Вражья сила все грознее шла на приступ и ломилась в дом.

Девьер каждые четверть часа выбегал во двор узнавать о подъеме воды. Вести были недобрые. Речки Мья и Фонтанная выступали из берегов. Весь город был в ужасе.

Антон Мануйлович потерял голову. Несколько раз подходил к царю, заглядывал в глаза его, старался быть замеченным, но Петр, занятый беседой, не обращал на него внимания. Наконец, не выдержав, с отчаянной решимостью, наклонился Девьер к самому уху царя и пролепетал:

- Ваше величество! Вода...

Петр молча обернулся к нему и быстрым, как будто невольным, движением, ударил его по щеке. Девьер ничего не почувствовал, кроме сильной боли - дело привычное.

"Лестно,- говаривали птенцы Петровы,- быть битому от такого государя, который в одну минуту побьет и пожалует".

И Петр, со спокойным лицом, как ни в чем не бывало, обратившись к Аврамову, спросил, почему до сей поры не напечатано сочинение астронома Гюйгенса "Мировоззрение или мнение о небесноземных глубинах".

Михайло Петрович смутился было, но, тотчас оправившись и смотря прямо в глаза царю, ответил с твердостью: - Она книжица самая богопротивная, не чернилом, углем адским писанная и единому только скоромусоужжению в срубе угодная...

- Какая ж в ней противность?

- Земли вращение около солнца полагается и множественность миров, и все оные миры такие же, будто, суть земли, как и наша, и люди на них, и поля, и луга, и леса, и звери, и все прочее, как на нашей земле. И так вкрадчив, хитрит везде прославить и утвердить натуру, что есть жизнь самобытную. А Творца и Бога в небытие изводит...

Начался спор. Царь доказывал, что "Коперников чертёж света все явления планет легко и способно изъясняет".

Под защитой царя и Коперника высказывались мысли все более смелые.

- Ныне уже вся философия механична стала! - объявил вдруг адмиралтейц-советник Александр Васильевич Сикин. - Верят ныне, что весь мир таков есть в своем вечестве, как часы в своей малости, и что все в нем делается чрез движение некое установленное, которое зависит от порядочного учреждения атомов. Единая всюду механика...

- Безумное атейское мудрование - Гнилое и нетвердое основание разума! - ужасался Абрамов, но его не слушали.

Все старались перещеголять друг друга вольнымыслием.

- Весьма древний философ Дицearch писал, что человека существо есть тело, а душа только приключение и одно пустое звание, ничего не значащее, - сообщил вице-канцлер Шафиров.

- Через микроскопиум усмотрели в семени мужском животных, подобных лягушкам, или головашкам, - ухмыльнулся Юшка Проскуров так злорадно, что вывод был ясен: никакой души нет. По примеру всех парижских Щеголей, была и у него своя "маленькая философия", "une petite philosophic", которую излагал он с такою жегалантною легкостью, с какою напевал парикмахерскую песенку: "tignonnez, tignonnez, bichonnez moi".

- По Лейбницеvu мнению, мы только гидравлически мыслиющие машины. Устерц нас глупее...

- Врешь, не глупее тебя! - заметил кто-то, но Юшка продолжал невозмутимо:

- Устерц глупее нас, душу имея прилипшую к раковине, и по сему пять чувств ему ненадобны. А может быть, в иных мирах суть твари о десяти и более чувствах, столь совершеннее нас, что они так же дивятся Невтону и Лейбницу, как мы обезьяньим и пауковым действиям...

Царевич слушал, и ему казалось, что в этой беседе происходит с мыслями то же, что со снегом во время петербургской оттепели: все расплывается, тает, тлеет, превращается в слякоть и грязь, под веянием гнилого западного ветра. Сомнение во всем, отрицание всего, безоглядки, без удержу, росло, как вода в Неве, прегражденной ветром и грозящей наводнением.

- Ну, будет врать! - заключил Петр вставая. - Кто Бога не верует, тот сумасшедший, либо с природы дурак. Зрячий Творца по творениям должен познать. А безбожники наносят стыд государству и никак не должны быть в оном терпимы, поелику основание законов, на кои утверждается клятва и присяга властям, подрывают.

- Беззаконий причина, - не утерпел-таки, вставил Федоска, - не есть ли в гиппокритской ревности, паче нежели в безбожии, ибо и самые афеисты учат, дабы в народе Бог проповедан был: иначе, говорят, вознерадит народ о властях...

Теперь уже весь дом дрожал непрерывною дрожью от натиска бури. Но к звукам этим так привыкли, что не замечали их. Лицо царя было спокойно, и видом своим он успокаивал всех.

Кем-то пущен был слух, что направление ветра изменилось, и есть надежда на скорую убыль воды.

- Видите? - сказал Петр, повеселев. - Нечего было и трусить. Небось, барометр не обманет!

Он перешел в соседнюю залу и принял участие в танцах.

Когда царь бывал весел, то увлекал и заражал всех своею веселостью. Танцуя, подпрыгивал, притопывал, выделял коленца - "каприоли", с таким одушевлением, что и самых ленивых разбирала охота пуститься в пляс.

В английском контрдансе дама каждой первой пары придумывала новую фигуру. Княгиня Черкасская поцеловала кавалера своего,

Петра Андреевича Толстого, истащила ему на нос парик, что должны были повторить за нею все пары, а кавалер стоял при этом неподвижно как столб. Начались возни, хохот, шалости. Резвились как школьники. И веселее всех был Петр.

Только старички по-прежнему сидели в углу своем, слушая завывание ветра, и шептались, и вздыхали, и качали головами.

- Многовертимое плясанье женское,- вспоминал один из них обличение пляски в древних святоотеческих книгах,- людей от Бога отлучает и во дно ада во влечет.

Смехотворцы отыдут в плач неутешный, плясуны повешены за пуп...

Царь подошел к старичкам и пригласил их участвовать в танцах. Напрасно отказывались они, извиняясь неумением и разными немощами - ломотою, одышкою, подагрой - царь стоял на своем и никаких отговорок не слушал.

Заиграли важный и смешной гротеск. Старички дали нарочно самых бойких молоденьких дам - сначала еле двигались, спотыкались, путались и путали других; но, когда царь пригрозил им штрафным стаканом ужасной перцовки, запрыгали не хуже молодых. Зато, по окончании танца, повалились на стулья, полумертвые от усталости, кряхтя, стона и охая.

Не успели отдохнуть, как царь начал новый, еще более трудный, цепной танец. Тридцать пар, связанных носовыми платками, следовали за музыкантом - маленьким горбуном, который прыгал впереди со скрипкою.

Обошли сначала обе залы флигеля. Потом через галерею вступили в главное здание, и по всему дому, из комнат в комнату, с лестницы на лестницу, из жилья в жилье, мчалась пляска, с криком, гиком, свистом и хохотом. Горбун, пиля на скрипке и прыгая неистово, корчил такие рожи, как будто бес обуял его. За ним, в первой паре, следовал царь, за царем остальные, так что, казалось, он ведет их, как связанных пленников, а его самого, царя-великана, водит и кружит маленький бес.

Возвращаясь во флигель, увидели в галерее бегущих навстречу людей. Они махали руками и кричали в ужасе: - Вода! Вода! Вода!

Передние пары остановились, задние с разбега налетели и смяли передних. Все смешалось. Сталкивались, падали, тянули и рвали платки, которыми были связаны.

Мужчины ругались, дамы визжали. Цепь разорвалась.

Большая часть, вместе с царем, кинулась назад к выходу из галереи в главное здание. Другая, меньшая, находившаяся впереди, ближе к противоположному выходу во флигель, устремилась было туда же, куда и прочие, ноне успела добежать до середины галереи, как ставня на одном из окон затрещала, зашаталась, рухнула, посыпались осколки стекол, и вода бушующим потоком хлынула в окно. В то же время, напором сдавленного воздуха снизу, из погреба, с гулами и тресками, подобными пушечным выстрелам, стало подымать, ломать и вспучивать пол.

Петр с другого конца галереи кричал отставшим: - Назад, назад, во флигель! Небось, лодки пришлю!

Слов не слышали, но поняли знаки и остановились.

Только два человека все еще бежали по наводненному полу. Один из них - Федоска. Он почти добежал до выхода, где ждал его Петр, как вдруг сломанная половица осела, Федоска провалился и начал тонуть. Толстая баба, жена голландского шкипера, задрав подол, перепрыгнула через голову монаха; над черным клобуком мелькнули толстые икры в красных чулках. Царь бросился к нему на помощь, схватил его за плечи, вытащил, поднял и понес, как маленького ребенка, на руках, трепещущего, машущего черными крыльями рясы, с которых струилась вода, похожего на огромную мокрую летучую мышь.

Горбун со скрипкою, добежав до середины галереи, тоже провалился, исчез в воде, потом вынырнул, поплыл.

Но в это мгновение рухнула средняя часть потолка издавила его под развалинами.

Тогда кучка отставших - их было человек десять видя, что уже окончательно отрезана водою от главного здания, бросилась назад во флигель, как в последнее убежище.

Но и здесь вода настигала. Слышно было, как плещутся волны под самыми окнами. Ставни скрипели, трещали, готовые сорваться с петель. Сквозь разбитые стекла вода проникала в щели, сочилась,

брызгала, журчала, текла по стенам, разливалась лужами, затопляла пол.

Почти все потерялись. Только Петр Андреевич Толстой да Вилим Иванович Монс сохранили присутствие духа. Они нашли маленькую, скрытую в стене за шпалерами дверь. За нею была лесенка, которая вела на чердак.

Все побежали туда. Кавалеры, даже самые любезные, теперь, когда в глаза глядела смерть, не заботились о дамах; ругали, толкали их; каждый думал о себе.

На чердаке было темно. Пробравшись ощупью среди бревен, досок, пустых бочек и ящиков, забились в самый дальний угол, несколько защищенный от ветра выступом печной трубы, еще теплой, прижавшись к ней, и некоторое время сидели так в темноте, ошеломленные, оглупелые от страха. Дамы, в легких бальных платьях, стучали зубами от холода. Наконец, Монс решил сойти вниз, не идет ли помощи.

Внизу конюхи, ступая в воде по колено, вводили в залу хозяйских лошадей, которые едва не утонули в стойлах. Ассамблейная зала превратилась в конюшню.

Лошадиные морды отражались в зеркалах. С потолка летели и трепались клочья сорванного полотна с Ездой на остров любви. Голые амурчики метались, как будто в Тиноу ужасе. Монс дал конюхам денег. Они достали фонарь, штоф сивухи и несколько овечьих тулупов. Он узнал от них, что из флигеля выхода нет: галерея разрушена; двор залит водою; им самим придется спастись на чердак; ждут лодок, да, видно, не дождутся. Впоследствии оказалось, что посланные царем шлюпки не могли подъехать к флигелю: двор окружен был высоким забором, а единственные ворота завалены обломками рухнувшего здания.

Монс вернулся к сидевшим на чердаке. Свет фонаря немного ободрил. Мужчины выпили водки. Женщины укутались в тулупы.

Ночь тянулась бесконечно. Под ними весь дом сотрясся от напора волн, как утлое судно перед крушением.

Над ними ураган, пролетая то с бешеным ревом и топотом, как стадо зверей, то с пронзительным свистом и шелестом, как стая исполинских птиц, срывал черепицу с крыш. И порой казалось, что

вот-вот сорвет он и самую крышу и все унесет. В голосах бури слышались им вопли утопающих. С минуты на минуту ждали они, что весь дом провалится.

У одной из дам, жены датского резидента, сделались отиспуга такие боли в животе,- она была беременна,- что бедняжка кричала, как под ножом. Боялись, что выкидет.

Юшка Проскуров молился: "Батюшка, Никола Чудотворец! Сергей Преподобный! помилуйте!" И нельзя было поверить, что это тот самый вольнодумец, который давеча доказывал, что никакой души нет.

Михаиле Петрович Аврамов тоже трусил. Но злорадствовал.

- С Богом li поспоришь! 11 рав"-ден унев Его.

сбился город сей с ляпа земли, как Содом и Гоморра.

извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог: конец всякой плоти пришел пред лице Мое. Я наведу на землю потоп водный и истреблю все сущее с лица земли...

И слушая эти пророчества, люди испытывали новый неведомый ужас, как будто наступал конец мира, светопреставление.

В слуховом окне вспыхнуло зарево на черном небе.

Сквозь шум урагана слышался колокол. То били в набат. Пришедшие снизу конюхи сказали, что горят избы рабочих и канатные склады в соседней Адмиралтейской слободке. Несмотря на близость воды, пожар был особенно страшен при такой силе ветра: пылающие головни разносились по городу, который мог вспыхнуть каждую минуту со всех концов. Он погасал между двумя стихиями - горел и тонул вместе. Исполнялось пророчество: "Питербурху быть пусту".

К рассвету буря утихла. В прозрачной серости тусклого дня кавалеры в париках, покрытых пылью и паутиною, дамы в робронах и фижмах "на версальский манер", под овечьими тулупами, с посиневшими от холода лицами, казались друг другу привидениями.

Монс выглянул в слуховое окно и увидел там, где был город, безбрежное озеро. Оно волновалось - как будто не только на поверхности, но до самого дна кипело, бурлило, и клокотало, как вода в котле над сильным огнем. Это озеро была Нева - пестрая, как шкура на брюхе змеи, желтая, бурая, черная, с белыми барашками,

усталая, но все еще буйная, страшная под страшным, серым как земля и низким небом.

По волнам носились разбитые барки, опрокинутые лодки, доски, бревна, крыши, остовы целых домов, вырванные с корнем деревья, трупы животных.

И жалки были, среди торжествующей стихии, следы человеческой жизни - кое-где над водою торчавшие башни, шпицы, купола, кровли потопленных зданий.

Монс увидел вдали на Неве, против Петропавловской крепости, несколько гребных галер и буеров. Поднял валявшийся на полу чердака длинный шест из тех, которыми гоняют голубей, привязал к нему красную шелковую косынку Настеньки, высунул шест в окно и начал махать, делая знаки, призывая на помощь. Одна из лодок отделилась от прочих и, пересекая Неву, стала приближаться к ассамблейному домику.

Лодки сопровождали царский буер.

Всю ночь работал Петр без отдыха, спасая людей от воды и огня. Как простой пожарный, лазил на горящие здания; огнем опалило ему волосы; едва не задавило рухнувшей балкою. Помогая вытаскивать убогие пожитки бедняков из подвальных жилищ, стоял по пояс в воде и продрог до костей. Страдал со всеми, ободрял всех. Всюду, где являлся царь, работа кипела так дружно, что ей уступали вода и огонь.

Царевич был с отцом в одной лодке, но всякий раз, как пытался чем-либо помочь, Петр отклонял эту помощь, как будто с брезгливостью.

Когда потушили пожар и вода начала убывать, царь вспомнил, что пора домой, к жене, которая всю ночь провела в смертельной тревоге за мужа.

На возвратном пути захотелось ему подъехать к Летнему саду, взглянуть, какие опустошения сделала вода.

Галерея над Невою была полуразрушена, но Венера Цела. Подножие статуи - под водою, так что казалось, богиня стоит на воде, и, Пенорожденная, выходит из волн, но не синих и ласковых, как некогда, а грозных, темных, тяжких, точно железных, Стиксовых волн.

У самых ног на мраморе что-то чернело. Петр посмотрел в подзорную трубу и увидел, что это человек. По указу царя, солдат днем и ночью стоял на часах у драгоценной статуи. Настигнутый водою и не смея бежать, он залез на подножие Венеры, прижался к ногам ее, обнял их, и так просидел, должно быть, всю ночь, окоченевший от холода, полумертвый от усталости.

Царь спешил к нему на помощь. Стоя у руля, правил буер наперерез волнам и ветру. Вдруг налетел огромный вал, хлестнул через борт, обдал брызгами и накренил судно так, что, казалось, оно опрокинется. Но Петр был опытный кормчий. Упираясь ногами в корму, налегая всею тяжестью тела на руль, побеждал он ярость волн и правил твердою рукою прямо к цели.

Царевич взглянул на отца и вдруг почему-то вспомнил то, что слышал однажды в беседе "на подпитках" от своего учителя Вяземского:

- Федос, бывало, с певчими при батюшке твоём поют: Где хочет Бог, там чин естества побеждается -- и тому подобные стихи; и то-де поют, льстя отцу своему: любому, что его с Богом равняют; а того не рассудит, что не только от Бога, -- но и от бесов чин естества побеждается: бывают и чуда бесовские!

В простой шкиперской куртке, в кожаных высоких сапогах, с развевающимися волосами, -- шляпу только что

сорвало ветром -- исполинский Кормчий глядел на потопленный город -- и ни смущения, ни страха, ни жалости не было в лице его, спокойном, твердом, точно из камня изваянном -- как будто, в самом деле, в этом человеке было что-то нечеловеческое, над людьми и стихиями властное, сильное, как рок. Люди смирялись, ветры утихнут, волны отхлынут -- и город будет там, где он велел быть городу, ибо чин естества побеждается, где хочет...

"Кто хочет?" -- не смея кончить, спросил себя царевич: "Бог или бес?"

Несколько дней спустя, когда обычный вид Петербурга уже почти скрыл следы наводнения, Петр писал в шутовском послании к одному из птенцов своих:

"На прошлой неделе ветром вест-зюйд-вестом такую воду нагнало, какой, сказывают, не бывало. У меня в хоромашках было сверху пола 21

дуюм; а по огороду и подругой стороне улицы свободно ездили в лодках. И зелобыло утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям, будто во время потопа сидели, не только мужики, но и бабы. Вода, хотя и зело велика была, а беды большойне сделала".

Письмо было помечено: Из Парадиза.

II

Петр заболел. Простудился во время наводнения, когда, вытаскивая из подвалов имущество бедных, стоял по пояс в воде. Сперва не обращал внимания на болезнь, перемогался на ногах; но 15 ноября слег, и лейб-медик Блюментрост объявил, что жизнь царя в опасности.

В эти дни судьба Алексея решалась. В самый день похорон кронпринцессы, 28 октября, возвратясь из Петропавловского собора в дом сына для поминальной трапезы, Петр отдал ему письмо, "объявление сыну моему".

в котором требовал его немедленного исправления, под угрозой жестокого гнева и лишения наследства.

- Не знаю, что делать,- говорил царевич приближенным.- нищету ли принять, да с нищими скрыться до времени, отойти ли куда в монастырь, да быть с дьячками.

или отъехать в такое царство, где приходящих принимают и никому не выдают-'

- Иди в монахи,- убеждал адмиралтейц-советник Александр Кикин, давний сообщник и поверенный Алексея.- Клобук не прибит к голове гвоздем: можного и снять. Тебе покой будет, как ты от всего отстанешь...

- Я тебя у отца с плахи снял,- говорил князь Василий Долгорукий.- Теперь ты радуйся, дела тебе ни дочего не будет. Давай писем отрицательных хоть тысячу.

ежели когда что будет; старая пословица: улита едет, колито будет. Это не запись с неустойкою...

- Хорошо, что ты наследства не хочешь,- утешал князь Юрий Трубецкой.- Рассуди, чрез золото слезы нетекут ли?..

С Кикиным у царевича были многие разговоры о бегстве в чужие края, "чтоб остаться там где-нибудь, ни для чего иного, только бы прожить, отдалясь от всего, в покое".

- Коли случай будет,- советовал Кикин,- поезжай в Вену к цесарю. Там не выдадут. Цесарь сказал, что примет тебя как сына. А не то к папе, либо ко двору французскому. Там и королей под своею протекцией держат, тебя бы им было не великое дело...

Царевич слушал советы, но ни на что не решался и жил изо дня в день, "до воли Божьей".

Вдруг все изменилось. Смерть Петра грозила переворотом в судьбах не только России, но и всего мира.

Тот, кто вчера хотел скрыться с нищими, мог завтра вступить на престол.

Внезапные друзья окружили царевича, сходились, шептались, шушукались.

- Ждем подождем, а что-то будет.
- Вынется - сбудется,- а сбудется - не минуется.
- Доведется и нам свою песенку спеть.
- И мыши на погост кота волокут.

В ночь с 1 на 2 декабря царь почувствовал себя так плохо, что велел позвать духовника, архимандрита Федора. исповедался и приобщился. Екатерина и Меншиковне выходили из комнаты больного. Резиденты иностранных дворов, русские министры и сенаторы ночевали в покоях Зимнего дворца. Когда поутру приехал царевич узнать о здоровье государя, тот не принял его, но, повнезапному безмолвию расступившейся толпы, по раболепным поклонам, по ищущим взорам, по бледным лицам, Особенно мачехи и светлейшего, Алексей понял, как близко то, что всегда казалось ему далеким, почти невозможным. Сердце у него упало, дух захватило, он сам не знал от чего - от радости или ужаса.

В тот же день вечером посетил Кикина и долго беседовал с ним наедине. Кикин жил на конце города, прямо против Охтенских слобод, недалеко от Смольного двора.

Оттуда поехал домой.

Сани быстро неслись по пустынному бору и столь жепустынным, широким улицам, похожим на лесные просеки, с едва заметным рядом темных бревенчатых изб, занесенных снежными сугробами. Луны не было видно, новоздух пропитан был яркими лунными искрами, иглами.

Снег не падал сверху, а снизу клубился по ветру столбами, курился как дым. И светлая лунная вьюга играла, точно пенилась, в голубовато-мутном небе, как вино в чаше.

Он вдыхал морозный воздух с наслаждением. Ему было весело, словно в душе его тоже играла светлая вьюга, буйная, пьяная и опьяняющая. И как за вьюгой луна, так за его весельем была мысль, которой он сам еще не видел, боялся увидеть, но чувствовал, что это ему от нее так пьяно, страшно и весело.

В заиндевелых окнах изб, под нависшими с кровель сосульками, как пьяные глаза под седыми бровями, тусклордели огоньки в голубоватой лунной мгле. "Может быть, подумал он, глядя на них, - там теперь пьют за меня, за надежду Российскую!" И ему стало еще веселее.

Вернувшись домой, сел у камелька с тлеющими углями и велел камердинеру Афанасьичу приготовить жженку. В комнате было темно; свечей не приносили; Алексей любил сумерничать. В розовом отсвете углей забилося вдруг синее сердце спиртового пламени. Лунная вьюга заглядывала в окна голубыми глазами сквозь прозрачные цветы мороза, и казалось, что там, за ними, тоже бьется живое огромное синее пьяное пламя.

Алексей рассказывал Афанасьичу свою беседу с Кикиным: то был план целого заговора, на случай если бы пришлось бежать и, по смерти отца, которой он чаял быть вскоре - у царя-де болезнь эпилепсия, а такие люди долго живут - вернуться в Россию из чужих краев: министры, сенаторы-Толстой, Головкин,, Шафиров, Апраксин, Стрешнев, Долгорукие - все ему друзья, все к нему пристали бы - Боур в Польше, архимандрит Печерский на Украине,, Шереметев в главной армии: - Вся от Европы граница была бы моя!

Афанасьич слушал со своим обычным, упрямым и угрюмым видом: хорошо поешь, где-то сядешь?

- А Меншиков?-спросил он, когда Алексей кончил.

- А Меншикова на кол!

Старик покачал головою: - Для чего, государь-царевич, так продерзливо говоришь? А ну, кто прислушает, да пронесут? В совеститвоей не кляни князя и в клети ложницы твоей не кляни богатого, яко птица небесная донесет...

- Ну, пошел брюзжать! - махнул рукою царевич сдосадою и все-таки с неудержимою веселостью.

Афанасьич рассердился:

- Не брюзжу, а дело говорю! Хвали сон, когда сбудется. Изволишь, ваше высочество, строить гишпанские Паамки. Нашего мизерства не слушаешь. Иным веришь, а они тебя обманывают. Иуда Толстой, да Кикин безбожник - предатели! Берегись, государь: им тебя не первого кушать...

- Плюну я на всех: здорова бы мне чернь была! воскликнул царевич.- Когда будет время без батюшки шепну архиереям, архиереи приходским священникам, а священники прихожанам. Тогда учинят меня царем и нехотя!

Старик молчал, все с тем же упрямым и угрюмым видом: хорошо поешь, где-то сядешь?

- Что молчишь? -спросил Алексей.

- Что мне говорить, царевич? Воля твоя, а чтоб от батюшки бежать, я не советчик.

- Для чего?

- Того ради: когда удастся, хорошо; а если не удастся, ты же на меня будешь гневаться. Уж и так от тебя принимали всячину. Мы люди темненькие, шкурки на нас тоненькие...

- Однако же, ты смотри, Афанасьич, никому проту не сказывай. Только у меня про это ты знаешь, да Кикин. Буде скажешь, тебе не поверят' я запрუსя, а тебя станут пытаться...

О пытке царевич прибавил в шутку, чтобы подразнить старика.

- А что, государь, когда царем будешь, да так говорить и делать- изволишь-верных слуг пыткой стращать?

- Небось, Афанасьич! Коли будем царем, честию вас всех удовольствую... Только мне царем не быть,- прибавил он тихо.

- Будешь, будешь! - возразил старик с такою уверенностью, что у Алексея опять, как давеча, дух захватило от радости.

Бубенчики, скрип саней по снегу, лошадиное фырканье и голоса слышались под окнами. Алексей переглянулся с Афанасьичем: кто мог быть в такой поздний час? Уж не из дворца ли, от батюшки?

Иван побежал в сени. Это был архимандрит Федос.

Царевич, увидев его, подумал, что отец умер - и так побледнел, что, несмотря на темноту, монах заметил это, благословляя его, и чуть-чуть усмехнулся.

Когда они остались с глазу на глаз, Федоска селу камелька против царевича и, молча поглядывая на него, все с тою же, едва заметною усмешкою, начал греть озябшие руки над углями, то разгибая, то сгибая кривые пальцы, похожие на птичьи когти.

- Ну, что, как батюшка? - проговорил, наконец, Алексей, собравшись с духом.

- Плохо,- тяжело вздохнул монах,- так плохо, что и в живых быть не чаем...

Царевич перекрестился: - Воля Господня.

- Видех человека, яко кедры Ливанские,- заговорил Федоска нараспев, по-церковному,- мимо идох -и се не бе.

Изыдет дух его и возвратится в землю свою; в той же день погибнут все помышления его...

Но вдруг оборвал, приблизил крошечное сморщенное личико свое к самому лицу Алексея и зашептал быстрым быстрым, вкрадчивым шепотом:

- Бог долго ждет, да больно бьет. Болезнь государю пришла смертельная от безмерного пьянства, женоневеждства и от Божиего отмщения за посяжку на духовный и монашеский чин, который хотел истребить. Доколе тиранство будет над церковью, доколе добра ждать нечего. Какое тут христианство! Нешто турецкая хочет быть вера, но и в турках того не делается. Пропащее наше государство!..

Царевич слушал и не верил ушам своим. Всего ожидал он от Федоскиной наглости, только не этого.

- Да вы-то сами, архиереи, церкви Российской правители, чего смотрите? Кому бы и стоять за церковь, как не вам? - произнес он, глядя в упор на Федоску.

- И, полно, царевич! Какие мы правители? Архиереи наши так взнузданы, что куда хошь поведи. Что земские рыжки, наставлены. От кого чают, того и величают.

И так, и сяк готовы в один час перевернуться. Не архиереи, а шушера...

И, опустив голову, прибавил он тихо, как будто просебя - Алексею послышался голос веков в этом тихом слове монаха: - Были мы орлы, а стали ночные нетопыри!

В черном клобуке, с черными крыльями рясы, с безобразным востреньким личиком, озаренный снизу красным отсветом потухающих углей, он, в самом деле, походил на огромного нетопыря. Только в умных глазах тусклотлел огонь, достойный орлиного взора.

- Не тебе бы говорить, не мне бы слушать, ваше преподобие!-не выдержав, наконец, воскликнул царевич. Кто церковь царству покори́л? Кто люторские обычаи в народ вводить, часовни ломать, иконы ругать, монашеский чинразорять царю приговаривал? Кто ему разрешает на вся?..

Вдруг остановился. Монах глядел на царевича таким пристальным, пронзающим взором, что ему стало жутко.

Уж не хитрость ли, не ловушка ли все это? Не подослали к нему Федос шпионом от Меншикова, или от самого батюшки?

- А знаешь ли, ваше высочество,- начал Федоска, прищулив один глаз, с бесконечно лукавой усмешкой, знаешь ли фигуру, в логике именуемую *reducto ad absurdum*, сведение к нелепому? Вот это самое я и делаю. Царь на церковь наступил, да явно бороться не смеет, исподтишка разоряет, гноит, да гношит. А по мне, ломать-так ломай! Что делаешь, делай скорее. Лучше прямое люторство, нежели кривое православие; лучше прямое атейство, нежели кривое люторство. Чем хуже, тем лучше! К тому веду. Что царь начинает, то я кончаю; что на ухо шепчет, то я во весь народ кричу. Им же самим его обличаю: пусть ведают все, как церковь Божия поругана. Слюбится - стерпится, а не слубится - дождемся поры, так имы из норы. Отольются кошке мышкены слезки!..

- Ловко! - рассмеялся царевич, почти любясь Федоскою и не веря ни единому его слову.-Ну и хитер же ты, отче, как бес...

- А ты, государь, не гнушайся и бесами. Нехотя черт Богу служит...

: - С чертом, ваше преподобие, себя равняешь?

- Политик я,- скромно возразил монах.- С волками жить, по-волчьи выть. Диссимуляцию не только учителя политичные в первых царствования полагают регулах, но и сам Бог политике нас учит: яко

рыбарь облагает удильный крюк червем, так обложил Господь Дух Свой Плотью Сына и впустил уду в пучину мира и прехитрил, и уловил врага-диавола. Богопремудрое коварство! Небесная политика!

- А что, отче святой, в Бога ты веруешь? - опять посмотрел на него царевич в упор.

- Какая же, государь, политика без церкви, а церковь без Бога? Несть, бо власть, аще не от Бога...

И странно, не то дерзко, не то робко, хихикнув, прибавил:

- А ведь и ты умен, Алексей Петрович! Умнее батюшки. Батюшка, хотя и умен, да людей не знает - моего, бывало, частехонько за нос поваживаем. А ты умных людей знать будешь лучше... Миленский!..

И вдруг, наклонившись, поцеловал руку царевича так быстро и ловко, что тот не успел ее отдернуть, только весь вздрогнул.

Но, хотя он и почувствовал, что лезть монаха-мед на нож, все же сладок был этот мед. Он покраснел и, чтобы скрыть смущение, заговорил с притворною суровостью:

- Смотри-ка ты, брат Федос, не сплошай! Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сложить. Ты-де царя батюшку, словно кошка медведя, задираешь лапою, а как медведь тот, обратясь, да давнет тебя - и дух твой не попахнет!..

Личико Федоски болезненно сморщилось, глаза расширились, и, оглядываясь, точно кто-то стоял у него за спиной, зашептал он, как давеча, быстрым, бессвязным, словно горячечным шепотом:

- Ох, миленький, ох, страшно, и то! Всегда я думал, что мне от его руки смерть будет. Как еще в младых летах приехал на Москву с прочею шляхтою, и приведены в палату и пожалованы к ручке, кланялся я дяде твоему, царю Иоанну Алексеевичу; а как пришел до руки царя Петра Алексеевича - такой на меня страх напал, такой страх, что колена потряслися, едва стою, и от сего времени всегда рассуждал, что мне от той же руки смерть будет!..

Он и теперь весь дрожал от страха. Но ненависть была сильнее страха. Он заговорил о Петре так, что Алексею почудилось, будто Федоска не лжет, или не совсем лжет. В мыслях его узнавал он свои собственные самые тайные, злые мысли об отце:

- Великий, говорят, великий государь! А в чем его величество? Тиранским обычаем царствует. Топором дакнутом просвещает. На кнуте далеко не уедешь. И топор инструмент железный - не велика диковинка: дать двегривны! Все-то заговоров, бунтов ищет. А того не видит, что весь бунт от него. Сам он первый бунтовщик и есть.

Ломают, валит, рубит с плеча, а все без толку. Сколькoлюдей переказнено, сколько крови пролито! А воровстве не убывает. Совесть в людях незавязанная. И кровь невода - вопиет о мщении. Скоро, скоро снидет гнев Божий на Россию, и как станет междоусобие, тут-то и увидят все, от первых до последних; такая раскачка пойдет, такое глaв посечение, что только - швык - швык - швык...

Он проводил рукою по горлу и "швыкал", подражая звуку топора.

- И тогда-то, из великих кровей тех, выйдет церковь Божия, омытая, паче снега убеленная, яко Жена, солнцем одеянная, над всеми царящая...

Алексей глядел на лицо его, искаженное яростью, на глаза, горевшие диким огнем, - и ему казалось, что перед ним сумасшедший. Он вспомнил рассказ одного из келейников Лаврских: "бывает над ним, отцом Феодосием, меленколия, и мучим бесом, падает на землю, и что делает, сам не помнит".

- Сего я чаял, к сему и вел, - заключил монах. Да сжалился, видно. Бог над Россией: царя казнил, народ помиловал. Тебя нам послал, тебя, избавитель ты наш, радость наша, дитячко светлое, церковное, благочестивый государь Алексей Петрович, самодержец всероссийский, ваше величество!..

Царевич вскочил в ужасе. Федоска тоже встал, повалился ему в ноги, обнял их и возопил с неистовою и неприклонною, точно грозящею, мольбою:

- Призри, помилуй раба твоего! Все, все, все тебе отдам! Отцу твоему не давал, сам хотел для себя, сам думал патриархом быть; а теперь не хочу, не надо мне, не надоничего!.. Все - тебе, миленький, радость моя, друг сердечный, свет-Алешенька! Полюбил я тебя!.. Будешь царем и патриархом вместе! Соединишь земное и небесное, венец Константинов, Белый Клобук с венцом Мономаховым! Будешь больше всех царей на земле! Ты - первый, ты-один! Ты, да Бог!.. А я-

раб твой, пес твой, червь у ног Твоих,- Федоска мизерный! Ей, ваше величество, яко самого Христа ножки твои объемля, кланяюсь!

Он поклонился ему до земли, и черные крылья рясыраспростерлись, как исполинские крылья нетопыря, и алмазная панагия с портретом царя и распятием, ударившись об пол, звякнула. Омерзение наполнило душу царевича, холод пробежал по телу его, как от прикосновениягадины. Он хотел оттолкнуть его, ударить, плюнуть в лицо;

но не мог пошевелиться, как будто в оцепенении страшного сна. И ему казалось, что уже не плут "Федоска мизерный", а кто-то сильный, грозный, царственный лежит у ног его - тот, кто был орлом и стал ночным нетопырем - не сама ли Церковь, Царству покоренная, обещенная? И сквозь омерзение, сквозь ужас безумный восторг, упоение властью кружили ему голову. Словно кто-то подымал его на черных исполинских крыльях ввысь, показывал все царства мира и всю славу их и говорил: Все это дам тебе, если падши поклонишься мне.

Угли в камельке едва рдели под пеплом. Синее сердце спиртного пламени едва трепетало. И синее пламя лунной вьюги померкло за окнами. Кто-то бледными очамиизаглядывал в окна. И цветы Мороза на стеклах белели, как призраки мертвых цветов.

Когда царевич опомнился, никого уже не было в комнате. Федоска исчез, точно сквозь землю провалился, или рассеялся в воздухе.

"Что он тут врал? что он бредил? - подумал Алексей, как будто просыпаясь от сна.- Белый Клобук... Венец Мономахов... Сумасшествие, меленколия!.. И почемуон знает, почему знает, что отец умрет? Откуда взял?

Сколько раз в живых быть не чаяли, а Бог миловал"...

Вдруг вспомнил слова Кикина из давешней беседы: - Отец твой не болен тяжело. Исповедывается и причащается нарочно, являя людям, что гораздо болен, а всепритвор; тебя и других испытывает, каковы-то будете, когда его не станет. Знаешь басню: собрались мыши котаторонить, скачут, пляшут, а он как прыгнет, да цапнет и пляска стала... Что же причащается, то у него законна своя статья, не на мышиную...

Тогда от этих слов что-то стыдное и гадкое кольнуло царевичу сердце. Но он пропустил их мимо ушей нарочно: уж очень ему было весело, ни о чем не хотелось думать.

"Прав Кикин! - решил он теперь, и словно чья-то мертвая рука сжала сердце.- Да, все - притвор, обман, диссимуляция, чертова политика, игра кошки с мышкою.

Как прыгнет, да цапнет... Ничего нет, ничего не было.

Все надежды, восторги, мечты о свободе, о власти только сон, бред, безумие"...

Синее пламя в последний раз вспыхнуло и потухло.

Наступил мрак. Один только рдеющий под пеплом уголь выглядывал, точно подмигивал, смеясь, как лукаво прищуренный глаз. Царевичу стало страшно; почудилось, что Федоска не уходил, что он все еще тут, где-то в углу притаился, пришипился и вот-вот закружит, зашуршит, зашелестит над ним черными крыльями, как нетопырь, и зашепчет ему на ухо: Тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она передана мне, и я, кому хочу, даю ее...

- Афанасьич!-крикнул царевич.-Огня! Огня скорее!

Старик сердито закашлял и заворчал, слезая с теплой лежанки.

"И чему обрадовался? - спросил себя царевич в первый раз за все эти дни с полным сознанием.- Неужели?.."

Афанасьич, шлепая босыми ногами, внес нагоревшую сальную свечку. Прямо в глаза Алексею ударил свет, после темноты, ослепительный, режущий.

И в душе его как будто блеснул свет: вдруг увидел он то, чего не хотел, не смел видеть - от чего ему было так весело - надежду, что отец умрет.

Помнишь, государь, как в селе Преображенском, в спальне твоей, перед святым Евангелием, спросил я тебя: будешь ли меня, отца своего духовного, почитать за ангела Божия и за апостола, и за судию дел своих, и веруешь ли, что и я, грешный, такую же имею власть священства, коей вязать и разрешать могу, какую даровал Христос апостолам? И ты отвечал: верую.

Это говорил царевичу духовник его, протопоп собора Спаса-на-Верху в Кремле, отец Яков Игнатьев, приехавший в Петербург из

Москвы, три недели спустя послесвидания Алексея с Федосом.

Лет десять назад, он, Яков для царевича был тем же, что для деда его, Тишайшего царя Алексея Михайловича, патриарх Никон. Внук исполнил завет деда: "Священство имейте выше главы своей, со всяким покорением, безвсякого прекословия; священство выше царства". Средив всеобщего поругания и порабощения церкви, сладко было царевичу кланяться в ноги смиренному попу Якову. В лицепастыря видел он лицо самого Господа и верил, что Господь - Глава над всеми главами. Царь над всеми царями.

Чем самовластнее был о. Яков, тем смиреннее царевич, и тем слаще ему было это смирение. Он отдавал отцу духовному всю ту любовь, которую не мог отдать отцу по плоти. То была дружба ревнивая, нежная, страстная, как бывлюбленная. "Самим истинным Богом свидетельствуюсь, не имею во всем Российском государстве такого друга, кроме вашей святыни,- писал он о. Якову из чужих краев. Не хотел бы говорить сего, да так и быть, скажу: дай Боже вам долговременно жить; но если бы вам переселение от здешнего века к будущему случилось, то уже мне весьма в Российское государство не желательно возвращение".

Вдруг все изменилось.

У о. Якова был зять, подьячий Петр Анфимов. По просьбе духовника, царевич принял к себе на службу Анфимова и поручил ему управление своей Порецкою вотчиною в Алаторской волости Нижегородского края. Подьячий разорил мужиков самоуправством и едва не довел их до бунта. Много раз били они челом царевичу, жаловались на Петьку-вора. Но тот выходил сух из воды, потому что о. Яков покрывал и выгораживал зятя. Наконец, мужики догадались послать ходока в Петербург к своему земляку и старому приятелю, царевичеву камердинеру, Ивану Афанасьевичу. Иван ездил сам в Порецкую вотчину, расследовал дело и, вернувшись, донес о нем так, что не могло быть сомнения в Петькиных плутнях и даже злодействах, а главное, в том, что о. Яков знал о них.

Это был жестокий удар для Алексея. Не за себя и не за крестьян своих, а за церковь Божию, поруганную, казалось ему, в лице недостойного пастыря, восстал царевич.

Долго не хотел видеть о. Якова, скрывал свою обиду, молчал, но наконец не выдержал.

Под кличкою о. Ада, вместе с Жибандою, Засыпкою, Захлюсткою и прочими собутыльниками, участвовал протопоп в "кумпании", "всепьянейшем соборе" царевича, малом подобии большого батюшкина собора. На одной изпопоек Алексей стал обличать русских иереев, называя их "Иудами предателями", "хриstopродавцами".

- Когда-то восстанет новый Илья пророк, дабы сокрушить вам хребет, жрецы Вааловы! - воскликнул он, глядя прямо в глаза о. Якову.

- Непотребное изволишь говорить, царевич,- начал было тот со строгостью.- Не довлеет тебе так укорять и озлоблять нас, ничтожных своих богомольцев...

- Знаем ваши молитвы,- оборвал его Алексей,"Господи, прости да и в клеть пусти, помоги нагрести, да и вынести". Хорошо сделал батюшка, царь Петр Алексеевич - пошли ему Господь здоровья - что поубавил вампуху, длинные бороды! Не так бы вас еще надо, фарисеи, лицемеры, порождения ехиднины, гробы повапленные!..

Отец Яков встал из-за стола, подошел к царевичу и спросил торжественно:

- Кого разумеешь, государь? Не наше ли смирение?..

В эту минуту "велелепнейший отец протопресвитер Верхоспасский" похож был на патриарха Никона; но сын Петрауже не был похож на Тишайшего царя Алексея Михайловича.

- И тебя,- ответил царевич, тоже вставая и по-прежнему глядя в упор на о. Якова,- и тебя, батька, из дюжины не выкинешь! И ты черту душу продал, искал Иисуса не для Иисуса, а для хлеба куса. Чего гордынею дуешься? В патриархи, небось, захотелось? Так не та, брат, вера. Далеко кулику до Петрова дня! Погоди, уже низринет тебя Господь от Златой Решетки, что у Спаса-наВерху, пятами вверх, да рожей вниз - прямо в грязь, в грязь, в грязь!..

Он прибавил непристойное ругательство. Все расхохотались. У о. Якова в глазах потемнело; он был тожеПьян, но не столько от вина, сколько от гнева.

- Молчи, Алешка! - крикнул он.- Молчи, щенок!..

О. Яков весь побагровел, затрясся, поднял обе руки над головой царевича и тем самым голосом, которым некогда, в Благовещенском соборе, будучи протодиаконом, возглашал с амвона анафему еретикам и отступникам, крикнул:

- Проклянута! Проклянута! Властью, данною нам от самого Господа через Петра Апостола...

- Чего, поп, глотку дерешь?-возразил царевич злобною усмешкою.- Не Петра Апостола, а Петра Анфимова, подьячего, вора, зятюшку своего родного помилуй!

Он в тебе и сидит, он из тебя и вопит - Петька хам, Петька бес!..

О. Яков опустил руку и ударил Алексея по щеке "заградил уста нечестивому".

Царевич бросился на него, одною рукою схватил за бороду, другою уже искал ножа на столе. Искривленное судорогою, бледное, с горящими глазами, лицо Алексея вдруг стало похоже мгновенным, страшным и точно нездешним, Призрачным сходством на лицо Петра. Это был один из тех припадков ярости, которые иногда овладевали царевичем, и во время которых он способен был на злодейство.

Собутельники вскочили, кинулись к дерущимся, схватили их за руки, за ноги и, после многих усилий, оттащили, розняли.

Ссора эта, как и все подобные ссоры, кончилась ничем: кто, мол, пьян не живет; дело привычное, напьются, подерутся, проспятся - помирятся. И они помирились. Но прежней любви уже не было. Никон пал при внуке, точно так же, как при деде.

О. Яков был посредником между царевичем и целым тайным союзом, почти заговором врагов Петра и Петербурга, окружавших "пустынницу", опальную царицу Авдотью, заточенную в Суздале. Когда пришла весть о смертельной, будто бы, болезни царя, О. Яков поспешил в Петербург, по поручению из Суздаля, где ожидали великих событий со вступлением Алексея на престол.

Но к приезду протопопа все изменилось. Царь выздоравливал, и так быстро, что исцеление казалось чудесным, или болезнь мнимой. Исполнилось предсказание Кикина: кот Котабыс вскочил - и стала мышьяная пляска, бросились все в рассыпную, попрятались опять в

подполье. Петр достиг цели, узнал, какова будет сила царевича, если он, государь, действительно умрет.

До Алексея доходили слухи, что отец на него в жестоком гневе. Кто-то из шпионов-не сам ли Федос?-шепнул, будто бы, отцу, что царевич изволил веселиться о смерти батюшки, лицом-де был светел и радостен, точно именинник.

Опять вдруг все его покинули, отшатнулись от него, как от зачумленного. Опять с престола на плаху. И он знал, что теперь ему уже не будет пощады. Со дня надень ждал страшного свидания с отцом.

Но страх заглушали ненависть и возмущение. Гнусным казался ему весь этот обман, "диссимуляция", коварная хитрость, кощунственная игра со смертью. Припоминалась другая "диссимуляция" батюшки: письмо с угрозой лишения наследства, "объявление сыну моему", переданное в самый день смерти кронпринцессы Шарлотты, 22 октября 1715 года, подписано было 11 того же октября, то есть как раз накануне рождения у царевича сына, Петра Алексеевича. Тогда не обратил он внимания на эту подмену чисел. Но теперь понял, какая тут хитрость: после того, как родился у него сын, нельзя было батюшке не упомянуть о нем в Объявлении, нельзя было грозить безусловным лишением наследства, когда явился новый наследник. Подлогом чисел дан вид законный беззаконию.

Царевич усмехнулся горькой усмешкой, когда вспомнил, как батюшка любил казаться человеком правдивым.

Все простил бы он отцу - все великие неправды и злодеяния - только не эту маленькую хитрость.

В этих мыслях и застал царевича о. Яков. Алексей обрадовался ему в своем одиночестве, как и всякой живой душе. Но в протопопе силен был дух Никона: чувствуя, что царевич теперь более, чем когда-либо, нуждается в помощи его, он решил напомнить ему старую обиду.

- Ныне же, государь-царевич,- продолжал о. Яков, то обещание свое, данное нам в Преображенском, предсвятим Евангелием, уничтожил ты, в игру или в глумление вменил. Имеешь меня не за ангела Божия и не за Апостола Христова и за судию дел твоих, но сам судишь нас, уязвляешь словами ругательными. И по делу зятя нашего Петра Анфимова с мужиками порецкими, плачмогий в домишко наш

водворил, и меня, отца своегодуховного, за бороду драл, чего милости твоей чинить ненадлежало, за страх Бога живого. Хотя грешен и скверен семь - но служитель пречистому Телу и Крови Господней. Имеем же о том судиться, с тобою, чадо, пред Царем царствующих, в день второго пришествия, где нет лицепрятия. Когда земная власть изнеможет, там и царькак един от убогих предстанет...

Царевич поднял на него глаза молча, но с таким выражением не скорби, не отчаяния, а бесчувственной, точномертвой, пустоты, что о. Яков вдруг замолчал. Понял, чтотеперь сводить старые счета не время. Он был человекдобрый и Алексея любил как родного.

- Ну, Бог простит, Бог простит,- договорил он.И ты, дружок, прости меня, грешного...

Потом прибавил, заглядывая в лицо его, с нежноутревоною:

- Да что ты такой скучный, Алешенька?..

Царевич опустил голову и ничего не ответил.

- А я тебе гостинец привез,-усмехнулся с веселым итаинственным видом о. Яков,-письмецо от матушки. Ездилнынче к пустынным. Тамошняя радость весьма обвеселила;

были паки видения, гласы-скоро-де, скоро совершится...

Он полез в карман за письмом.

- Не надо,- остановил его царевич,-- не надо, Игнатийч! Лучше не показывай. Что пользы? И без тоготяжко. Еще пронесут - отец узнает. Смотрельщиков занами много. Не ездь ты к пустынным и писем ко мневпредь не вози. Не надо...

О. Яков посмотрел на него опять долго и пристально.

- Вот до чего довели,- подумал,- сын от матери, кровьот крови отрекается!"

- Аль плохо у батюшки? - спросил он шепотом.

Алексей махнул рукою и еще ниже опустил голову.

О. Яков понял все. Слезы навернулись на глазах старика. Он склонился к царевичу и положил одну руку на руку его, другою начал ему гладить волосы, с тихоюласкою, как больному ребенку, приговаривая:

- Что ты, светик мой? Что ты, родненький? Господьс тобою! Коли есть на сердце что, скажи, не таись - легчебудет, вместе рассудим. Я

ведь батька твой. Хоть и грешен, а может, умудрит Господь...

Царевич все еще молчал, отвертывался. Но вдруг лицо его сморщилось, губы задрожали. С глухим бесслезным рыданием упал он к ногам отца Якова:

- Тяжко мне, батюшка, тяжело!.. Не знаю, что и делать... Сил больше нет... Я ведь отцу моему...

И не кончил, как будто сам испугался того, что хотел сказать.

- Пойдем в крестовую! Пойдем скорее! Там все скажу. Исповедаться хочу. Рассуди меня, отче, с отцом перед Господом!..

В крестовой, маленькой комнатке рядом со спальней, стены уставлены были сплошь старинными иконами в золотых и серебряных, усыпанных дорогими камнями, окладах - наследием царя Алексея Михайловича. Ни один луч дневного света не проникал сюда; в вечном сумраке теплились неугасимые лампы.

Царевич стал на колени перед аналоем, на котором лежало Евангелие. О. Яков, облаченный в ризы, торжественный, как будто весь преобразившийся - лицо у него было вблизи самое простое, мужицкое, несколько отяжелевшее, обрюзгшее от старости, но издали все еще благообразное, напоминавшее елика Христа на древних иконах, - держал крест и говорил:

- Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое; не усями, ниже убойся и да не скроеши что от мене, но не обвиняйся рцы вся, елика содслал еси, да приемлещи оставление от Господа нашего Иисуса Христа.

И по мере того, как, называя грехи, один за другим, по чину исповеди, духовный отец спрашивал, и кающийся отвечал, - ему становилось все легче и легче, словно кто-то сильный снимал с души его бремя за бременем, кто-то легкий легкими перстами прикасался к язвам совести - и они исцелялись. Сладко ему было и страшно; сердце горело, как будто не о. Яков стоял перед ним, а сам Христос.

- РЦЫ ми, чадо, не убил ли еси человека волею или неволею?

Это был тот вопрос, которого ждал и боялся царевич.

- Грешен, отче, - пролепетал он чуть слышно, - делом, не словом, но помышлением. Я отцу моему...

И опять, как давеча, остановился, словно сам испугавшись того, что хотел сказать. Но всевидящий взор проникал в самую тайную

глубину его сердца. От этого взора нельзя было скрыть ничего.

С усилием, дрожа и бледнея, обливаясь холодным потом, он кончил:

- Когда батюшка был болен, я ему смерти желал.

И весь сжался, съежился, опустил голову, закрыл глаза, чтобы не видеть Того, Кто стоял перед ним, замерот ужаса, как будто ждал, что раздастся слово, подобное грому небесному - последнее осуждение или оправдание, как на Страшном суде.

И вдруг знакомый, обыкновенный, человеческий голос. Якова произнес:

- Бог тебя простит, чадо. Мы и все ему желаем смерти.

Царевич поднял голову, открыл глаза и увидел то жезнакомое, обыкновенное, человеческое, совсем не страшное лицо - тонкие морщинки около добрых и немного хитрых карих глаз, бородавку с тремя волосками на круглой пухлой щеке, рыжеватую с проседью бороду-ту самую, за которую некогда он таскал батьку, пьяный, во время драки.

Поп как поп-ничего и никого не было за ним. Но если бы, в самом деле, разразился над царевичем гром, он бы, кажется, был меньше поражен, чем этими простыми словами; "Бог тебя простит. Мы и все ему желаем смерти".

А священник продолжал, как ни в чем не бывало, спрашивать по чину Требника:

- Рцы ми, чадо: не ял ли еси мертвечины, или крове, или удушенное, или волкохитное, или птицею пораженное? Не осквернился ли еси от иного чесоже, яже заповедана суть в священных правилах? Или во святую четыредесятницу, или в среду, или в пяток - от масла или сыра?

- Отче! - воскликнул царевич. - Велик мой грех, видит Бог, велик...

- Оскоромился? - спросил о. Яков с тревогою.

- Не о том я, отче! Я о государе батюшке. Как жетак? Ведь родной я ему, родной сын, кровь от крови.

Смерти сын отцу пожелал. А кто кому смерти желает, тот того убийца. Мысленный семь отцеубийца. Страшно, Игнатийч, страшно. Ей, отче, яко самому Христу, тебе исповедуюсь. Рассуди, помоги, помилуй. Господи!..

Отец Яков посмотрел на него сначала с удивлением, потом с гневом.

- Что на отца по плоти восстал - каешься, а что наотца по духу - о том и не вспомнишь? Колико же духпаче плоти, толико отец духовный паче отца плотского...

И опять заговорил длинно, книжно, пусто, все об одних том же: "священство имети выше главы своей".

- Ты же, чадо, освоёвился. Яко исступленный, илияко блекотливый козел, вопил на меня. Да не вменит тебе сего Господь, ибо не от тебя сие, но дьявол пакостует мне через тебя, - взнуздая тебя, яко худую клячу, и ездит на тебе, величаясь, как на свинию, по видению святых отец, куда хочет, пока в совершенную погибель не вринет...

И слово за слово, свел так речь на дело о мужиках порецких и о зяте своем, Петре Алфимове.

Что-то серое-серое, сонное, липкое, как паутина, застилало глаза царевичу - и расплывалось, двоилось, как в тумане, лицо того, кто стоял перед ним, как будто выступало из-за этого лица другое, тоже знакомое - с красным востреньким носиком, вечно нюхающим воздух, с подслеповатыми, слезящимися хитрыми хищными глазками - лицо Петьки подьячего; как будто в лице "его превосходительства, велелепнейшего отца протопресвитера Верхоспасского", благообразном, напоминавшем лик Христа на древних иконах, соединялась, смешивалась в страшном и кощунственном смешении с ликом Господним гнусная рожица Петьки-вора, Петьки-хама.

- Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия, да простит ти, чадо Алексие, вся согрешения твоя, - произнес о. Яков, покрывая голову царевичу епитрахилью, - и аз, недостойный иерей, властию Его, мне данную, прощаю и разрешаю ты от всех грехов твоих, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Пустота была в сердце Алексея, и слова эти звучали для него - пустые, без власти, без тайны, без ужаса.

Он чувствовал, что прощалось здесь, но не простилось там; разрешалось на земле, но не разрешалось на небе.

В тот же день перед вечером пошел о. Яков париться в баню. Вернувшись, сел у камелька против царевича пить горячий сбитень,

дымившийся в котле из яркойкрасной меди, в которой отражалось красное как медьлицо протопопы. Пил, не торопясь, кружку за кружкой ивытирал пот большим клетчатым платком. Он и в банепарился, и сбитьпил, точно обряд совершал. В том, как прихлебывал и причмокивал, и закусывал хрустящим сдобным бубликом, была такая же благолепная чинность и важность, как в церковнослужении; виден былхранитель дедовских обычаев, слышен завет всей стари

ны православной: буди неподвижен, яко мраморный столп, не склоняйся ни на шую, ни на десно.

Царевич слушал рассуждения о том, какими вениками мягче париться; от какой травы, мяты или калуферабывает слаще в бане дух; и повествование, как матушкапротопопица на Николу Зимнего едва до смерти не запарилась. А также, к слову - поучения и назидания от святых отцов: "червь смирен зело, и худ, ты же славени горд; но аще разумен еси, то сам уничижи гордость свою, помышляя, яко крепость и сила твоя снедь червям будет.

Высокоумия хранися, гневодержания удаляйся..."

И опять, опять - о деле мужиков порецких, о неизбежном Петьке Анфимове.

Царевичу хотелось спать, и порой казалось ему, чтоэто не человек перед ним говорит, а вол жует и отрыгает, и снова жует бесконечную сонную жвачку.

Надвигались унылые сумерки. На дворе была оттепель с желтым, грязным туманом. На окнах бледныецветы мороза таяли, плакали. И в окна глядело небо, грязное, подслеповатое, слезящееся, как хитрые, подлыеглазки Петьки подьячего.

О. Яков сидел против царевича на том же месте, гдетри недели назад сидел архимандрит Федос. И Алексейневольно сравнивал обоих пастырей церкви старой и новой.

"Не архиереи, а шушера! Были мы орлы, а стали ночные нетопыри",- говорил поп Федос. "Были мы орлы, а стали волы подъяремные",- мог бы сказать поп Яков.

За Федоской был вечный Политик, древний князьмира сего; и за о. Яковом был тот же Политик, новыйкнязь мира сего-Петька-хам. Один стоил другого; древнее стоило нового. И неужели за этим'

двумя лицами, прошлым и будущим - единое третье - лицо всей Церкви?

Он смотрел то на грязное небо, то на красное лицопротопопа. И здесь, и там было что-то плоское-плоское, пошлое, вечное в пошлости, то, что всегда есть и что всетаки призрачнее самого дикого бреда. И пустота была в сердце его и скука, страшная, как смерть.

И опять, как тогда, зазвенел колокольчик, сперва глухо, вдали, потом все громче, ближе.

Царевич прислушался и вдруг весь насторожился.

- Едет кто-то,-сказал о. Яков.-Не сюда ли?

Послышалось шлепанье лошадиных копыт в лужах талого снега, визг полозьев по голым камням, голоса накрыльце, шаги в передней. Дверь открылась и вошел великан с красивым глупым лицом, странную смесь римского легионера с русским Иванушкой-дурачком. То былденщик царя, Преображенской гвардии капитан Александр Иванович Румянцев.

Он подал письмо царевичу. Тот распечатал и прочел: "Сын. Изволь быть к нам завтра на Зимний двор.- Петр".

Алексей не испугался, не удивился; как будто заранеезнал об этом свидании - и ему было все равно.

В ту ночь приснился царевичу сон, который частоснился ему, всегда одинаковый.

Сон этот связан был с рассказом, который слышалон в детстве.

Во время стрелецкого розыска царь Петр велел вырыть погребенное в трапезе церкви Николы-на-Столпахипролежавшее семнадцать лет в могиле тело врага своего, друга Софьи, главного мятежника, боярина Ивана Милославского; открытый гроб везти на свиньях в Преображенское и там, в застенке, поставить под плахую, где рубилиголовы изменникам, так, чтобы кровь лилась в гроб на покойника; потом разрубить труп на части и зарыть их тутже, в застенке, под дыбами и плахами-"дабы, гласил указ, оные скаредные части вора Милославского умножаемоюворовскою кровью обливались вечно, по слову Псаломскому: Мужа кровей и лъсти гнушается Господь".

В этом сне своем Алексей сначала как будто ничегоне видел, только слышал тихую-тихую, страшную песенкуиз сказки о сестрице

Аленушке и братце Иванушке, которую часто в детстве ему сказывала бабушка, старая царица Наталья Кирилловна Нарышкина, мать Петра. Братец Иванушка, превращенный в козлика, зовет сестрицу Аленушку; но во сне, вместо "Аленушка", звучало "Алешенька"- грозным и вещим казалось это созвучье имен:

Алешенька, Алешенька!

Огни горят горючие, Котлы кипят кипучие, Ножи точат булатные, Хотят тебя зарезати.

Потом видел он глухую пустынную улицу, рыхлый талый снег, ряд черных бревенчатых срубов, свинцовые маковки старенькой церкви Николы-на-Столпах. Раннее, темное, как будто вечернее, утро. На краю неба огромная "звезда с хвостом", комета, красная, как кровь. Чудские свиньи, жирные, голые, черные, с розовыми пятнами, тащат шутовские сани. На санях открытый гроб. В гробу что-то черное, склизкое, как прелые листья в гнилом рупле, В луче кометы бледные маковки отливают кровью.

Под санями тонкий лед весенних луж хрустит, и черная грязь брызжет, как кровь. Такая тишина - как перед кончиной мира, перед трубой архангела. Только свиньи хрюкают. И чей-то голос, похожий на голос седенького старичка в зеленой полинялой ряске, св. Дмитрия Ростовского, которого видел Алеша в детстве, шепчет ему на ухо: Мужа кровей и льсти гнушается Господь. И царевич знает, что муж кровей - сам Петр.

Он проснулся, как всегда от этого сна, в ужасе. В окно глядело раннее, темное, словно вечернее, утро. Была такая тишина - как перед кончиною мира.

Вдруг послышался стук в дверь и заспанный, сердитый голос Афанасьича:

- Вставай, вставай, царевич! К отцу пора!

Алексей хотел крикнуть, вскочить и не мог. Все члены точно отнялись. Он чувствовал тело свое на себе, как чужое. Лежал, как мертвый, и ему казалось, что сон продолжается, что он во сне проснулся. И в то же время слышал стук в дверь и голос Афанасьича: - Пора, пора к отцу!

А голос бабушки, дряхлый, дребезжащий, как бляньё козлика, пел над ним тихую-тихую, страшную песенку:

Алешенька, Алешенька!

Огни горят горючие, Котлы кипят кипучие, Ножи точат булатные,
Хотят тебя зарезати.

Петр говорил Алексею:

- Когда война со шведом началась, о, коль великоегонение, ради нашего неискusstва, претерпели; с какою горестью и терпением сию школу прошли, доколе сподобились видеть, что оный неприятель, от коего трепетали, едва не вяще от нас ныне трепещет! Что все моими бедными и прочих истинных сынов Российских трудами достигнуто. И доселе вкушаем хлеб в поте лица своего, поприказу Божию к прадеду нашему, Адаму. Сколько могли, потрудились, яко Ной, над ковчегом России, имея всегда одно в помышлении: на весь свет славна бы Русь была. Когда же сию радость, Богом данную отечеству нашему, рассмотрев, обзрюсь на линию наследства, едва не равная радости горесть меня снедает, видя тебя весьма на правление дел государственных непотребна...

Подымаясь по лестнице Зимнего дворца и проходя мимо гренадера, стоявшего на часах у двери в конторку - рабочую комнату царя, Алексей испытывал, как всегда перед свиданием с отцом, бессмысленный животный страх. В глазах темнело, зубы стучали, ноги подкашивались; он боялся, что упадет.

Но, по мере того, как отец говорил спокойным ровным голосом длинную, видимо, заранее обдуманную и, как будто, наизусть заученную речь, Алексей успокаивался. Все застывало, каменело в нем - и опять было ему все равно - точно не о нем и не с ним говорил отец.

Царевич стоял, как солдат, навтыжку, руки по швам, слушал и не слышал, украдкой оглядывая комнату, с рассеянным и равнодушным любопытством.

Токарные станки, плотничьи инструменты, астролябии, ватерпасы, компасы, глобусы и другие математические, артиллерийские, фортификационные приборы загромождали тесную конторку, придавая ей сходство с каютой.

По стенам, обитым темным дубом, висели морские виды любимого Петром голландского мастера Адама Сило, "полезные для познания корабельного искусства". Все - предметы, с детства знакомые

царевичу, рождавшие в нем целые рои воспоминаний: на газетном листке, голландских курантах - большие круглые железные очки, обмотанные синей шелковинкой, чтобы не терли переносицы;

рядом - ночной колпак из белого дорожчатого канифасас шелковой зеленой кисточкой, которую Алеша, играя, однажды оборвал нечаянно, но отец тогда не рассердился, а, бросив писать указ, тут же пришел ее собственноручно.

За столом, заваленным бумагами, Петр сидел в старых кожаных креслах с высокою спинкою, у жарко натопленной печи. На нем был голубой, полинялый и заношенный халат, который царевич помнил еще до Полтавского сражения, с тою же заплатою более яркого цветана месте, прожженном трубкою; шерстяная красная фуфайка с белыми костяными пуговицами; от одной из них, сломанной, оставалась только половинка; он узнал ее и сосчитал, как почему-то всегда это делал, во время длинных укоризненных речей отца - она была шестая снизу; исподнее платье из грубого синего стамеда; серые гарусные штопанные чулки, старые, стоптанные туфли. Царевич рассматривал все эти мелочи, такие привычные, родные, чуждые. Только лица батюшки почти не видел. Из окна, за которым белела снежная скатерть Невы, косой луч желтого зимнего солнца падал между ними, тонкий, длинный и острый, как меч. Он разделял их и заслонял друг от друга. В солнечном четырехугольнике оконной рамы на полу, у самых ног царя, спала, свернувшись в клубочек, его любимица, рыжая сучка Лизетта.

И ровным, однозвучным, немного сиповатым от кашля голосом царь говорил, точно писанный указ читал: - Бог не есть виновен в твоём непотребстве, ибо разума тебя не лишил, ниже крепость телесную отнял: хотя не весьма крепкой природы, однако и не слабой; паче же всего, о воинском деле и слышать не хочешь, чем отъемы к свету мы вышли, и за что нас, которых не зная свету, ныне почитают. Я не научаю, чтоб охоч был воевать без законной причины, но любить сие дело и всею возможностью снабдевать и учить; ибо сие есть единое из двух необходимых дел к правлению, еже распорядок и оборона. От презрения к войне общая гибель следовать будет, как то в падении Греческой монархии явный пример имеем: не от сего ли пропали, что оружие оставили единым

миролюбием побеждены, желая жить в покое, всегда уступали неприятелю, который их покой в нескончаемое рабство тиранам отдал? Если же кладешь в уме своем, что могут то генералы по повелению управлять, то сие воистину не есть резон, ибо всяк смотрит начальника, дабы его охоте последовать: до чего охотник начальствующий, до того и все; а от чего отвращаешься, о том не радят и прочие. К тому же не имея охоты, ни в чем необучаешься и так не знаешь дел воинских. А не зная, как повелевать оными можешь и как доброму доброе воздать и нерадивого наказать, не разумея силы в их деле?

Но принужден будешь, как птица молодая, в рот смотреть.

Слабостью ли здоровья отговариваясь, что воинских трудов понести не можешь? Но и сие не резон. Ибо нетрудов, но охоты желаю, которую никакая болезнь отлучить не может. Думаешь ли, что многие не хотят самина войну, а дела правятся? Правда, хотя не ходят, но охоту имеют, как и умерший король Французский, Людвиг, который немного на войне сам был, но какую охоту великую имел к тому и какие славные дела показал, что его войну театром и школою света называли,- и не только к одной войне, но и к прочим делам и мануфактурам, чем свое государство паче всех прославил! Сие все представя, обращуся паки на первое, о тебе рассуждая. Ибо я семь человек и смерти подлежу...

Разделявший их солнечный луч отодвинулся, и Алексей взглянул на лицо Петра. Оно так изменилось, как будто не месяц, а годы прошли с тех пор, как он видел отца в последний раз; тогда Петр был в цвете сил и мужества, теперь - почти старик. И царевич понял, что болезнь отца была не притворною, что, может быть, действительно он ближе был к смерти, чем думал сам, чем думали все. В оголенном черепе, - волосы спереди вылезли - в мешках под глазами, в выступавшей вперед нижней челюсти, во всем бледно-желтом, одутловатом, точно налитом и опухшем лице было что-то тяжелое, грузное, застывшее, как в маске, снятой с мертвого. Только в слишком ярком, словно воспаленном блеске огромных расширенных, как у пойманной хищной птицы, выпуклых, словно выпученных, глаз, было прежнее, юное, но теперь уже бесконечно усталое, слабое, почти жалкое.

И Алексей понял также, что хотя много думал о смерти отца и ждал, и желал этой смерти, но никогда не понимал ее, как будто не верил, что отец действительно умрет. Только теперь в первый раз вдруг поверил. И недоумение было в этом чувстве и новый, никогда не испытанный страх, уже не за себя, а за него: чем должна быть для такого человека смерть? как он будет умирать?

- Ибо я семь человек и смерти подлежу,- продолжал Петр,- то кому сие начатое с помощью Вышнегонасаждение и уже некоторое возвращенное оставляю? Тому, кто уподобился ленивому рабу евангельскому, вкопавшему талант свой в землю, сиречь, все, что Бог дал, бросил! Еще же и сие вспомяну, какого злого нрава и упрямого ты исполнен. Ибо сколь много за сие тебя бранивал, и не только бранил, но и бивал; к тому же сколько лет, почитай, не говорю с тобою. Но ничто сие успело, ничто пользует; все даром, все на сторону, и ничего делатне хочешь, только б дома в прохладе жить и всегда веселиться, хоть от другой половины и все противно идет!

Ибо с единой стороны имеешь царскую кровь высокогорода, с другой же - мерзкие рассуждения, как бы наинизший из низких холопов, всегда обращаясь с людьми непотребными, от коих ничему научиться не мог, oprичь злыхи пакостных дел. И чем воздаешь за рождение отцу своему? Помогает ли в таких моих несносных печалях и трудах, достигши столь совершенного возраста? Ей, николи! Что всем известно есть. Но паче ненавидишь делмоих, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья, делаю и, конечно, по мне разорителем оных будешь!

Что все размышляя с горестью и видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо изобрел сей последний testament тебе объявить и еще мало пождать, аще нелцемерно обратишься. Если же нет, то известен будь...

На этом слове закашлялся он долгим, мучительным кашлем, который остался после болезни. Лицо побагровело, глаза вытаращились, пот выступил на лбу, жилы вздулись. Он задыхался и от яростных тщетных усилий отхаркнуть еще больше давился, как неумеющие кашлять маленькие дети.

В этом детском, старческом было смешное и страшное.

Лизетта проснулась, подняла мордочку и уставилась на господина умным, как будто жалеющим, взором. Царевич тоже взглянул на отца - и вдруг что-то острое-острое пронзило ему сердце, точно ужалило: "И пес жалеет, а я..."

Петр наконец отхаркнул, выплюнул, выругался своим обычным, непристойным ругательством и, вытирая платком пот и слезы с лица, тотчас же продолжал с того места, где остановился, хотя еще более хриплым, но по-прежнему бесстрастным, ровным голосом, точно писанный указ читал: - Паки подтверждаю, дабы ты известен был...

Платок нечаянно выпал из рук его; он хотел наклониться, чтобы поднять, но Алексей предупредил его, бросился, поднял, подал. И эта маленькая услуга вдруг напомнила ему то робкое, нежное, почти влюбленное, что он когда-то чувствовал к отцу.

- Батюшка! - воскликнул он с таким выражением в лице и в голосе, что Петр посмотрел на него пристально и тотчас опустил глаза. - Видит Бог, ничего лукавого посоветовать не учинил я перед тобою. А лишения наследства и сам для слабости моей желаю, понеже что на себя брать, чего не снести. Куда уж мне! И разве я, батюшка...

для тебя, для тебя... о. Господи!

Голос его оборвался. Он отчаянно судорожно поднял руки, точно хотел схватиться за голову, и замер так, состранною, растерянной усмешкой на губах, весь бледный, Дрожащий. Он сам не знал, что это, - только чувствовал, как росло, подымалось что-то, рвалось из груди с потрясающей силой. Одно слово, один взор, один знак отца и сын упал бы к ногам его, обнял бы их, зарыдал бы такими слезами, что распалась бы, растаяла, как лед от солнца, страшная стена между ними. Все объяснилось бы, нашел бы такие слова, что отец простил бы, понял бы, как он любил его всю жизнь, его одного, и теперь еще любит, сильнее, чем прежде - и ничего не нужно ему - только бы он позволил любить его, умереть за него, только бы хоть раз пожалел и сказал, как было говаривал в детстве, прижимая к сердцу своему: "Алеша, мальчик мой милый!"

- Младенчество свое изволь оставить! - раздался грубый, но как будто нарочно грубый, а, на самом деле, смущенный и старающийся скрыть смущение, голос Петра. - Не чини отговорок ничем. Покажи

нам веру от дел своих, а словам верить нечего. И в Писании сказано: не может древо злое плодов добрых приносить...

Избегая глаз Алексея, Петр глядел в сторону; а между тем в лице его что-то мелькало, дрожало, словно сквозь мертвую маску сквозило живое лицо, царевичу слишком знакомое, милое. Но Петр уже овладел своим смущением.

По мере того, как он говорил, лицо становилось все мертвенней, голос все тверже и беспощаднее:

- Ныне тунеядцы не в высшей степени суть. Кто хлеб ест, а прибытку не делает Богу, царю и отечеству, подобен есть червию, которое токмо в тлю все претворяет, а пользы людям не чинит ни малой, кроме пакости. А Апостол глаголет: праздный да не яст, и проклят есть тунеядец. Ты же явился, яко бездельник...

Алексей почти не слышал слов. Но каждый звук ранил душу его и врезался в нее с нестерпимою болью, как нож врезается в живое тело. Это было подобно убийству.

Он хотел закричать, остановить его, но чувствовал, что отец ничего не поймет, не услышит. Опять между ними вставала стена, зияла пропасть. И отец уходил от него с каждым словом все дальше и дальше, все невозвратнее, как мертвые уходят от живых.

Наконец, и боль затихла. Все опять окаменело в нем. Опять ему было все равно. Томила лишь сонная скука от этого мертвого голоса, который даже не ранил, а пилил, как тупая пила.

Чтобы кончить, уйти поскорее, он выбрал минуту молчания и произнес давно обдуманый ответ, с таким же, как у батюшки, мертвым лицом и таким же мертвым голосом:

- Милостивый государь батюшка! Иного донести не имею, только, буде изволишь за мою непотребность меня короны Российской наследия лишить, - буди по воле вашей. О чем я вас, государя, всенижайше прошу, видя себя к делу о сем неудобна и непотребна, понеже памятивесьма лишен, без коей ничего не можно делать, и все мисилами умными и телесными от различных болезней ослабел и негоден стал к толикаго народа правлению, где надобно человека не столь гнилого, как я. Того ради, наследия Российского по вас - хотя бы и брата у меня не было, а ныне, слава Богу, брат есть, которому дай Божее здравие, - не претендую и впредь претендовать не буду, в чем

Бога свидетеля полагаю на душу мою и, ради истинного свидетельства, написать сию клятву готов рукою своею. Детей вручаю в волю вашу, себе же прошу пропитания до смерти.

Наступило молчание. В тишине зимнего полдня слышно было лишь мерное, медное тиканье маятника на стенных часах.

- Отречение твое токмо протяжка времени, а не истина! - произнес, наконец, Петр.- Ибо, когда ныне не боишься и не зело смотришь на отцово прощение, то какпо мне станешь завет хранить? Что же приносишь клятву, тому верить нельзя, жестокосердия ради твоего. К томуи Давидово слово: всяк человек ложь. Также, хотяи подлинно хотел хранить, то возмогут тебя склонить и принудить длинные бороды, попы, да старцы, которые, ради тунеядства своего, не в авантаже ныне обретаются,- к ним же ты склонен зело. Того для, так ослабься. как желаешь, ни рыбою, ни мясом, невозможно.

о, или отмени свой нрав и нелицемерно удостой себя наследником, ибо дух наш без сего спокоен быть не может, аособливо ныне, что мало здоров стал,-или будь монах...

Алексей молчал, опустив глаза. Лицо его казалосьтеперь такую же мертвою маской, как лицо Петра. Маскапротив маски - и в обеих внезапное, странное, как будтопризрачное, сходство - в противоположностях подобье.

Как будто широкое, круглое, пухлое лицо Петра, отражаясь в длинном и тощем лице Алексея, точно во вогнутом зеркале, чудовищно сузилось, вытянулось.

Молчал и Петр. Но в правой щеке, в углу рта и глаза, во всей правой стороне лица его началось быстроедрожаение, подергивание; постепенно усиливаясь, перешлооно в судорогу, которая сводила лицо, шею, плечо, рукии ногу. Многие считали его одержимым падучею, илидаже бесноватым за эти судорожные корчи, которые предвещали припадки бешенства. Алексей не мог смотреть наотца в такие минуты без ужаса. Но теперь он был спокоен, точно окружен невидимой, непроницаемой броней. Чтоеще мог ему сделать батюшка? Убить? Пусть. Разве то, что он уже сделал только что, не хуже убийства?

- Что молчишь? - крикнул вдруг Петр, ударяя кулаком по столу в одном из судорожных движений, сотрясшем все его тело.-Берегись,

Алешка! Думаешь, не знаютебя? Знаю, брат, вижу насквозь! На кровь свою восстал, щенок, отцу смерти желаешь!.. У, тихоня, святоша проклятый! От попов да старцев, небось, научился оной политике? Недаром Спаситель ничего апостолам бояться не велел, а сего весьма велел: берегитесь, сказал, закваски фарисейской, что есть лицемерие монашеское - диссимуляция!..

Тонкая злая усмешка сверкнула в потупленном взоре царевича. Он едва удержался, чтобы не спросить отца: что значит подлог чисел в Объявлении сыну моему октября 11 вместо 22? У кого-де сам батюшка научился этой диссимуляции, плутовству, достойному Петьки подьячего, Петьки-хама, или Федоски, "князя мира", с его "богопремудрым коварством", "небесной политикой"?

- Последнее напоминание еще,- заговорил Петропять прежним, ровным, почти бесстрастным голосом, неимоверным усилием воли сдерживая судорогу.- Подумай обо всем гораздо и, взяв резолюцию, дай о том ответ немедленно. А ежели нет, то известен будь, что я весьма тебя наследства лишу. Ибо, когда гангрена сделалась в пальце моем, не должен ли я отсесть оный, хотя и часть тела моего? Так и тебя, яко уд гангренный, отсеку! И немни, что сие только в утрастку тебе говорю: воистину, Богу извольшу, исполню. Ибо за народ мой и отечество живота своего не жалел и не жалею - то как могу тебя, непотребного, пожалеть? Лучше будь чужой добрый, нежели свой непотребный. О чем паки подтверждаем, дабы учинено было, конечно, одно из сих двух - либо нравотменить, либо постричься. А буде того не учинишь...

Петр поднялся во весь свой исполинский рост. Опять одолевала его судорога; тряслась голова, дергались руки и ноги.

Кривлявшаяся, как будто шутовские рожи корчившая, мертвая маска лица с неподвижным воспаленным взором была ужасна. Глухое рычание зверя слышалось в голосе.

- А буде того не учинишь, то я с тобою, как с злодеем, поступлю!..

- Желая монашеского чина и прошу о сем милостивого соизволения,- произнес царевич тихим, твердым голосом.

Он лгал. Петр знал, что он лжет. И Алексей знал, что отец его знает. Злая радость мщенья наполняла душу царевича. В его бесконечной

покорности было бесконечное упрямство. Теперь сын был сильнее отца, слабый сильнее сильного. Что пользы царю в пострижении сына?

"Клобук не гвоздем к голове прибит, можно-де и снять".

Вчера - монах, завтра - царь. Повернутся в земле костибатюшки, когда над ним надругается сын - все расточит, разорит, не оставит камня на камне, погубит Россию. Непостричь, а убить бы его, истребить, стереть с лица земли.

- Вон! - простонал Петр в бессильном бешенстве.

Царевич поднял глаза и посмотрел на отца в упор, исподлобья: так волчонок смотрит на старого волка, оскалив зубы, оцетинившись. Взоры их скрестились, как шпаги в поединке - и взор отца потупился, точно сломался, как нож о твердый камень.

И опять зарычал он, как раненый зверь, и с матерным ругательством вдруг поднял кулаки над головою сына, готовый броситься, избить, убить его.

Вдруг маленькая, нежная и сильная ручка опустилась на плечо Петра.

Государыня Екатерина Алексеевна давно уже подслушивала у дверей комнаты и пыталась подглядеть в замочную скважину. Катенька была любопытна. Как всегда, Явилась она в самую опасную минуту на выручку мужа.

притворила дверь неслышно и подкралась к нему сзади на цыпочках.

- Петенька! Батюшка!- заговорила она с видом смиренным и немного шутливым, притворным, как добрыняни говорят с упрямыми детьми, или сиделки с больными.-- Не замай себя, Петенька, не круши, светик, сердцеего. А то паче меры утрудишься, да и сляжешь опять, расхвораешься... А ты ступай-ка, царевич, ступай, родной, с Богом! Видишь, государю неможется...

Петр обернулся, увидел спокойное, почти веселое лицо Катеньки и сразу опомнился. Поднятые руки упали, повисли как плети, и все громадное, грузное тело опустилось в креслу, точно рухнуло, как мертвое, в корне подрубленное дерево.

Алексей, глядя на отца по-прежнему в упор, исподлобья, сгорбившись, точно оцетинившись, как зверь назверя, медленно

пятился к выходу и только на самом пороге вдруг быстро повернулся, открыл дверь и вышел.

А Катенька присела сбоку на ручку кресла, обняла голову Петра и прижала ее к своей груди, толстой, мягкой как подушка, настоящей груди кормилицы. Рядом с желтым, больным, почти старым лицом его, совсем еще молодым казалось румяное лицо Катеньки, все в маленьких пушистых родинках, похожих на мушки, в милостивых шишечках и ямочках, с высокими соболиными бровями, с тщательно завитыми колечками крашеных черных волос на низком лбу, с большими глазами навыкате, неизменною, как на царских портретах, улыбкою. Вся она, впрочем, похожа была не столько на царицу, сколько на немецкую трактирную служанку, или на русскую бабусолдатку - портовою, как называл ее сам царь, - которая сопровождала "старика" своего во всех походах, собственноручно "обмывала", "обшивала" его, а когда "припадалему рез", грела припарки, терла живот Блюментростовой мазью и давала "проносное".

Никто, кроме Катеньки, не умел укрощать тех припадков безумного царского гнева, которых так боялись приближенные. Обнимая голову его одной рукой, она другою - гладила ему волосы, приговаривая все одни и те же слова: "Петенька, батюшка, свет мой, дружочек сердешненькой!.." Она была как мать, которая баюкает больного ребенка, и как ласкающая зверя укротительница львов. Под эту ровную тихую ласку царь успокаивался, точно засыпал. Судорога в теле слабела. Только мертвая маска лица, теперь уже совсем окаменевшая, с закрытыми глазами, все еще порою дергалась, как будто корчила шутовские рожи.

За Катенькой вошла в комнату обезьянка, привезенная в подарок Лизаньке, младшей царевне, одним голландским шкипером. Шалуныя мартышка, следуя как паж за царицей, ловила подол ее платья, точно хотела приподнять его с дерзким бесстыдством. Но, увидев Лизетту, испугалась, вскочила на стол, со стола на сферу, изображавшую ход небесных светил по системе Коперника, тонкие медные дуги погнулись под маленьким зверьком, шар вселенной тихо зазвенел, - потом еще выше, на самый верх стоячих английских часов в стеклянном ящике красного дерева. Последний луч солнца

падал на них, и, качаясь, маятник блестел, как молния. Мартышка давноуж не видела солнца. Точно стараясь что-то припомнить, глядела она с грустным удивлением на чужое бледноезимнее солнце и щурилась, и корчила смешные рожицы, как будто передразнивая судорогу в лице Петра. И страшно было сходство шутовских кривляний в этих двух лицах - маленькой зверушки и великого царя.

Алексей возвращался домой.

С ним было то, что бывает с людьми, у которых отрезали ногу или руку: очнувшись, стараются они ощупатьместо, где был член, и видят, что его уже нет. Так царевич чувствовал в душе своей место где была любовь к отцу, и видел, что ее уже нет. "Яко уд гангренный, отсеку",вспоминалось ему слово батюшки. Как будто, вместе с любовью, из него вынули все. Пусто - ни надежды, ни страха. ни скорби, ни радости - пусто, легко и страшно.

И он удивлялся, как быстро, как просто исполнилосьего желание: умер отец.

КНИГА ПЯТАЯ

МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ

Как ездил царь в Воронеж корабли строить в1701 году,-волею Божией пожар на Москве учинился великий. Весь государев дом на Кремле погорел, деревянныеелороМби, и в каменных нутры, и святые церкви, и кресты, кровли, и внутри иконостасы, и образа горели. И наИване Великом колокол большой в 8.000 пуд подгорели упал, и раскололся, также Успенский разбился, и другие колокола падали. И так было, что земля горела...

Это говорил царевичу Алексею Московского Благоценского собора ключарь, о. Иван, семидесятилетнийстарик.

Петр уехал в чужие края тотчас после болезни, 27 января 1716 года. Царевич остался один в Петербурге. Неполучая от отца известий, последнее решение - либо исправить себя к наследству, либо постричься - он "отложил вдаль" и по-прежнему жил изо д"(я в день, до волиБожьей. Зиму провел в Петербурге, весну и лето в Рождествене. Осенью поехал в Москву повидаться с родными.

10 сентября, вечером, накануне отъезда, навестил своего старого друга, мужа кормилицы, ключаря Благовещенского, и вместе с ним

пошел осматривать опустошенный пожаром старый Кремлевский дворец.

Долго ходили они из палаты в палату, из терема в терем, по бесконечным развалинам.. Что пощадило пламя, то разрушалось временем. Многие палаты стояли без дверей, без окон, без полов, так что нельзя было войти в них. Трещины зияли на стенах. Своды и крыши обвалились. Алексей не находил или не узнавал покоев, в которых провел детство.

Без слов угадывал он мысль о. Ивана о том, что пожар, случившийся в тот самый год, как Царь начал старину ломать, был знаменьем гнева Господня.

Они вошли в маленькую ветхую домовую церковь, где еще царь Грозный молился о сыне, которого убил.

Сквозь трещину свода глядело небо, такое глубокое, синее, какое бывает только на развалинах. Паутина между краями трещины отливала радугой, и, готовый упасть, едва висел на порванных цепях сломанный бурей крест.

Оконницы слюдяные ветром все выбило. В дыры налетали галки, вили гнезда под сводами и пакостили иконостас. Одна половина царских врат была сорвана. В алтаре перед престолом стояла грязная лужа.

О. Иван рассказал царевичу, как священник этой церкви, почти столетний старик, долго жаловался во все приказы, коллегии и даже самому государю, моля о починке храма, ибо "за ветхостью сводов так умножилась теча, что опасно - святейшей Евхаристии не учинилось бы повреждения". Но никто его не слушал. Он умер с горя, и церковь разрушилась.

Потревоженные галки взвились со зловещими криками. Сквозной ветер ворвался в окно, застонал и заплакал.

Паук забегал в паутине. Из алтаря что-то выпорхнуло, должно быть, летучая мышь, и закружилось над самой головой царевича. Ему стало жутко. Жалко поруганной церкви. Вспомнилось слово пророка о мерзости запустения на месте святом.

Пройдя мимо Золотой Решетки, по передним переходам Красного крыльца, они спустились в Грановитую палату, которая лучше других уцелела. Но, вместо прежних посольских приемов и царских выходов,

здесь теперь давались новые комедии, диалоги; праздновались свадьбышутов. А чтобы старое не мешало новому, бытейскоеписьмо по стенам забелили известью, замазали вохрою свеселеньким узорцем на новый "немецкий манир".

В одном из чуланов подклетной кладовой о. Иванпоказал царевичу два львиные чучела. Он тотчас узналих, потому что видел часто в детстве. Поставленные вовремена царя Алексея Михайловича в Коломенском дворце подле престола царского, они, как живые, рыкали, двигали глазами, зияли устами. Медные туловища оклеены были под львиную стать бараньими кожами. Механика, издававшая "львово рыканье" и приводившая в движение их пасти и очи, помещалась рядом, в особом чулане, где устроен был стан с мехами и пружинами. Должнобыть, для починки перевезли их в Кремлевский дворец здесь в кладовой, среди хлама, забыли. Пружины сломались, меха продырявились, шкуры облезли, из брюха висела гнилая мочала - и жалкими казались теперь грозныенекогда львы российских самодержцев. Морды их полны

были овечьей глупостью.

В запустелых, но уцелевших палатах помещались новые коллегии. Так, в набережных, ответной и панихидной,- камер-коллегия, под теремами - сенатские департаменты, в кормовом и хлебном дворце - соляная контора, военная коллегия, мундирная и походная канцелярии, в конюшенном дворце - склады сукон и амуниции. Каждая коллегия переехала не только со своими архивами, чиновниками, сторожами, просителями, но и с колодниками, которые проживали по целым годам в дворцовыхподклетах. Все эти новые люди кишели, копошились в старом дворце, как черви в трупе, и была от них нечистотавеликая.

- Всякий пометный и непотребный сор от нужникови от постою лошадей, и от колодников,- говорил царевичу о. Иван,- подвергают царскую казну и драгоценные утвари, кои во дворце от древних лет хранятся, немалой опасности. Ибо от сего является дух смрадный.

И золотой, и серебряной посуде, и всей казне царскойможно ожидать от оногo духу опасной вреды - отчего б не почернело. Очистить бы сор, а подколодниковсвести в иные места. Много мы о

том просили, жаловались, да никто нас не слушает...-заклучил старикуныло.

День был воскресный, в коллегиях пусто. Но в воздухе стоял тяжелый дух. Всюду видны были сальные следы от спин посетителей, которые терлись о стены, чернильные пятна, похабные рисунки и надписи. А из тусклой позолоты древней стенописи все еще глядели строги елики пророков, праотцев и русских святителей.

В самом Кремле, вблизи дворцов и соборов, у Тайницких ворот, был питейный дом приказных и подьячих, называвшийся Каток, по крутизне сходов с Кремлевской горы. Он вырос, как поганый гриб, и процветал многолет втихомолку, несмотря на указы: "из Кремля вывезь оный кабак немедленно вон, а для сохранения питейного сбора толикой же суммы вместо того одного кабака, хотя, по усмотрению, прибавить несколько кабаков, в месте удобном, где приличествует".

В одной из канцелярских палат была такая духота и вонь, что царевич поскорей открыл окно. Снизу из Катка, набитого народом, донесся дикий, точно звериный, рев, плясовой топот, треньканье балалайки и пьяная песня: Меня матушка плясамши родила, А крестили во царевом кабаке, А купали во зеленым вине,

знакомая песня, которую певала князь-игуменья Ржевская на батюшкиных пиршествах.

И царевичу казалось, что из Катка, как из темной зияющей пасти, с этою песнью и матерным ругательством, и запахом сивухи подымается к царским чертогам и наполняет их удушающий смрад, от которого тошнило, в глазах темнело, и сердце сжималось тоскою смертною.

Он поднял глаза к своду палаты. Там изображены были "беги небесные", лунный и солнечный круг, ангелы, служащие звездам, и всякие иные "утвари Божьи";

и Христос Еммануил, сидящий на Небесных радугах с колесами многоочитыми; в левой руке Его златой потир, в правой - палица; на главе седмичный венец; по золотому и празеленому полю надпись: Предвечное Слово Отчее, иже во образе Божиим сый и составляй тварь от небытия в бытие, даруй мир церквам Твоим, победы верному царю.

А снизу песня заливалась:

Меня матушка плясамши родила, А крестили во царевом кабаке.

Царевич прочел надпись в солнечном кругу: Солнце позна запад свой, и бысть ночь.

И слова эти отозвались в душе его пророчеством: древнее солнце московского царства познало запад свой в темном чухонском болоте, в гнилой осенней слякоти и бысть ночь - не черная, а белая страшная петербургская ночь. Древнее солнце померкло. Древнее золото, венец и бармы Мономаха почернели от нового смрадного духа. И стала мерзость запустения на месте святом.

Как будто спасаясь от невидимой погони, он бежал из дворца, без оглядки, по ходам, переходам и лестницам, так что о. Иван на своих старых ногах едва поспевал за ним. Только на площади, под открытым небом, царевич остановился и вздохнул свободнее. Здесь осенний воздух был чист и холоден. И чистыми, и новыми казались древние белые камни соборов.

В углу, у самой стены Благовещения, при церкви придела св. великомученика Георгия, под кельями, где жило. Иван, была низенькая лавочка, вроде завалинки; на ней он часто сживал, грея старые кости на солнце.

Царевич опустил в изнеможении на эту лавочку.

Старик пошел домой, чтоб позаботиться о ночлеге. Царевич остался один.

Он чувствовал себя усталым, как будто прошел тысячи верст. Хотелось плакать, но не было слез; сердце горело, и слезы сохли на нем, как вода на раскаленном камне.

Тихий свет вечерний теплился, как свет лампы, на белых стенах. Золотые соборные главы рдели как жар.

Небо лиловело, темнело; цвет его подобен был цвету увядающей фиалки. И белые башни казались исполинскими цветами с огненными венчиками.

Раздался бой часов, сначала на Спасских, Тайницких, Ризположенских воротах, потом на разных других, близких и далеких башнях. В чутком воздухе дрожали медленные волны протяжного гула и звона, как будто часы перекликались, переговаривались о

тайнах прошлого и будущего. Старинные - били "перечасным боем" множества малых колоколов, подзванивавших "в подголос"

большому боевому колоколу, с охрипшею, но все еще торжественною, церковною музыкой; а новые голландские отвечали им болтливыми курантами и модными танцами, "против манира, каковы в Амстердаме". И все эти древние и новые звуки напоминали царевичу дальнее-дальнее детство.

Он смежил глаза, и душа его погрузилась в полузабытье, в ту темную область между сном и явью, где обитают тени прошлого. Как пестрые тени проходят по белой стене, как солнечный луч проникает сквозь щель в темную комнату, проходили перед ним воспоминания - виденья.

И над всеми царил один ужасающий образ - отец. И как путник, озираясь ночью с высоты, при блеске молнии, вдруг видит весь пройденный путь, так он, при страшном блеске этого образа, видел всю свою жизнь.

Ему шесть лет. В старинной царской колымаге "нарыдванную статью", раззолоченной, но неуклюжей и тряской, как простая телега, внутри обитой гвоздишным бархатом, со слюдяными затворами и тафтяными завесами, он сидит на руках бабушки, среди пуховых подушки пухлых, как подушки, постельниц и мам. Тут же матею, царица Авдотья. В подбруснике с жемчужными рясами - у нее круглое, белое, всегда удивленное лицо, совсем как у маленькой девочки.

Он глядит сквозь занавеску в открытое оконце колымаги на триумфальное шествие войск по случаю Азовского похода. Ему нравится однообразная стройность полков, блестящие на солнце медные пушки и грубо намалеванные на щитах аллегории: два скованные турка и надпись:

Ах! Азов мы потеряли И тем бедств себе достали.

И в море синем, как синька, красный голый человек, "слывущий бог морской Нептунус" - на чешуйчатом зеленом звере Китоврасе, с острой в руках: Се, и аз поздравляю взятием Азова и вим покоряюсь. Великолепным кажется ему в наряде римского воина ученый немец Винуус, гласящий российские вирши с высоты триумфальных ворот в полуторасаженную трубу.

В строю, рядом с простыми солдатами, идет Преображенской роты бомбардир, в темно-зеленом кафтане скрасными отворотами и в треугольной шляпе. Он ростом выше всех, так что виден издали. Алеша знает, что это отец. Но лицо у него такое юное, почти детское, что он кажется Алеше не отцом, а старшим братом, милым товарищем, таким же маленьким мальчиком, как он. Душно в старой колымаге, среди пуховых подушек и пухлых, как подушки, нянюшек-мамушек. Хочется на волю и солнце, к этому веселому кудрявому быстроглазому мальчику.

Отец увидел сына. Они улыбались друг другу, и сердце Алеши забилося от радости. Царь подходит к дверям колымаги, открывает их, почти насильно берет сына из рук бабушки - мамы так и взяхались - нежно, нежнее матери, обнимает, целует его; потом, высоко подняв на руках, показывает войску, народу, и, посадив к себе на плечо, несет над полками. Сначала вблизи, потом все дальше и дальше, над морем голов, раздается, подобный веселому грому, тысячеголосый крик:

- Виват! Виват! Виват! Здравствуй, царь с царевичем!

Алеша чувствует, что все на него смотрят и любят его. Ему страшно и весело. Он крепко держится за шею отца, прижимается к нему доверчиво, и тот несет его бережно - небось, не уронит. И кажется ему, что все движения отца - его собственные движения, вся сила отца - его собственная сила, что он и отец - одно. Ему хочется смеяться и плакать - так радостны крики народа и грохот пушек, и звон колоколов, и золотые главы

соборов, и голубое небо, и вольный ветер, и солнце. Голова кружится, захватывает дух - и он летит, летит прямо в небо, к солнцу.

А из окна колымаги высовывается голова бабушки.

Смешно и мило Алеше ее старенькое и добренькое сморщенное личико. Она машет рукою и кричит, и молит, чуть не плачет:

- Петенька, Петенька, батюшка! Не замай Олешеньку!

И опять его укладывают нянюшки и мамышки в пуховую постельку, под мягкое одеяльце из кизылбашской золотой камки на собольих пупках, и баюкают, и нежат, чешут пяточки, чтобы слаще спалось, и укутывают, и укручивают, чтобы ветром на него не венуло, берегут, как зеницу ока, царское дитяtko. Прячут, как красную девушку за вековыми запанами и завесами. Когда идет он в

церковь, то со всех сторон несут полы суконные, чтоб никто не мог видеть царевича, пока его не "объявят", по старому обычаю; а как объявят, то из дальних мест люди будут ездить нарочно смотреть на него, как на "дивовище".

В низеньких теремных покойцах душно. Двери, ставни, окна, втулки тщательно обиты войлоком, чтоб ниоткуда недунуло. На полу - также войлоки, "для тепла и мягкогохождения". Муравленные печки жарко натоплены. Пахнетгуляфною водкою и росным ладаном, которые подкладывают в печные топли "для духу". Свет дневной, проникая сквозь слюду косячатых оконниц, становится янтарно-желтым. Всюду теплятся лампы. Алеше темно, нопокойно и уютно. Он как будто вечно дремлет и не может проснуться. Дремлет, слушая однообразные беседы о том, как "дом свой по Богу строить - все было бы упрятано, и причищено, и приметено, убережено от всякойпакости - не заплесневело бы, не загноилось - и всегдазамкнуто, и не раскрадено, и не распрокужено, добромубыла бы честь, а худому гроза"; и как "обрезки бережнобережи"; как рыбу прудовую в рогожку вертеть; рыжечки, грузди моченые в кадушках держать - и теплою верою в неразделимую Троицу веровать. Дремлет, под унылые звуки домры слепых играцов домрачеев, которые воспевают древние былины, и под сказки столетних старцев бахарей, которые забавляли еще деда его. Тишайшего царя Алексея Михайловича. Дремлет и грезит наяву, под рассказы верховых богомольцев, нищих странничково горе Афоне, острой-преострой, как еловая шишка - насамом верху ее, выше облаков, стоит Матерь ПресвятаяБогородица и покровом ризы своей гору осеняет; о Симеоне столпнике, который, сам тело свое гноя, весь червямикишел; о месте рая земного, которое видел издали с корабля своего Моислав-новгородец; и о всяких иных чудесахБожиих и наваждениях бесовских. Когда же Алешенькестанет скучно, то, по приказу бабушки, всякие дуракии дурки-шутихи, юродивые, девочки-сиротинки, валяютсяна полу, таскают друг друга за волосы и царапаютсядо крови. Или старушка сажает его к себе на колени и начинает перебирать у него пальчики, один за другим, отбольшого к мизинцу, приговаривая: "Сорока-ворона кашуварила, на порог

скакала, гостей созывала; этому дала, этому дала, а этому не досталось - шиш на головку!"

И бабушка щекочет его, а он смеется, отмахивается. Она обкармливает его жирными караваями и блинцами, и луковниками, и левашниками, и оладийками в ореховом масле, кисленькими, и драченою в маковом молоке, и белью можайскою, и грушею, и дулею в патоке.

- Кушай, Олешенька, кушай на здоровье, светик мой!

А когда у Алеши заболит животик, является баба знахарка, которая пользует малых детей шепотами, лечит травами от нутряных и кликотных болезней, горшки набрюха наметывает, наговаривает на громовую стрелку, дана медвежий ноготь, и от того людям бывает легкость.

Едва чихнет, или кашляет-поют малиною, натирают винным духом с камфарою, или проскурняком в корыте парят.

Только в самые Жаркие дни водят гулять в Красный Верхний сад, на взрубке береговой Кремлевской горы. Это подобие висячих садов - продолжение терема. Тут все искусственно: тепличные цветы в ящиках, крошечные пруды в ларях, ученые птицы в клетках. Он смотрит на расстилающуюся у ног его Москву, на улицы, в которых никогда не бывал, на крыши, башни, колокольни, на далекое Замоскворечье, на синеющие Воробьевы горы, на легкие золотистые облака. И ему скучно. Хочется прочь из терема и этого игрушечного сада в настоящий лес, на поле, на реку, в неизвестную даль; хочется убежать, улететь - он завидует ласточкам. Душно, парит. Тепличные цветы и лекарственные травы - маерам, темьян, чабер, пижма, иссоп - пахнутпряно и приторно. Ползет синяя-синяя туча. Побежали вдруг тени, пахнуло свежестью, и брызнул дождь. Он подставляет под него лицо и руки, жадно ловит холодные капли. А нянюшки и мамушки уже ищут, кличут его:

- Олешенька! Олешенька! Пойдем домой, дитяtko!

Ножки промочишь.

Но Алеша не слушает, прячется в кусты сереборинника. Запахло мятой, укропом, сырым черноземом, и влажная зелень стала темно-яркою, махровые пионы загорелись алым пламенем. Последний луч прорезал тучу - и солнцесмешалось с дождем в одну золотую

дрожащую сетку. У негоуже промокли ноги и платье. Но любуясь, как в лужахкрупные капли дробятся алмазною пылью, он скачет, пляшет, бьет в ладоши и напевает веселую песенку под шумдождя, повторяемый гулким сводом водовзводной башни.

Дождик, дождик, перестань!

Мы поедем на Иордань, Богу молиться, Христу поклониться.

Вдруг, над самой головой его, словно раскололасьтуча - сверкнула ослепляющая молния, грянул гром, и закрутился вихрь. Он замер весь от ужаса и радости, кактогда, на плече у батюшки, в триумфованьи Азовскойвиктории. Вспомнился ему веселый кудрявый быстроглазый мальчик - и он почувствовал, что любит его так же, как эту страшную молнию. Голова закружилась, дух захватило. Он упал на колени и протянул руки к черномунебу, боясь и желая, чтоб опять сверкнула молния ещегрознее, еще ослепительнее.

Но трепетные старческие руки уже подхватывают его, несут, раздевают, укладывают в постельку, натирают винным духом с камфарою, дают внутрь водки-апоплектикии поят липовым цветом до седьмого пота, и укутывают, и укручивают. И опять он дремлет. И снится ему Аспид-зверь, живущий в каменных горах, лицо имеющийдевичье, хобот змеиный, ноги василиска, коими железо рассекает; ловят его трубным гласом, не стерпя которого, он прокалывает себе уши и умирает, обливаякамни синею кровью. Снится ему также Сирин птицарайская, что поет песни царские, на востоке, в Эдемскихсадах пребывает, праведным радость возвещает, которуюГосподь им обещает; всяк человек, во плоти живя, неможет слышать гласа ее, а ежели услышит, то весь пленяется мыслью и, шествуя вслед, и слушая пение, умирает. И кажется Алеше, что идет он за поющим Сириноми, слушая сладкую песню, умирает, засыпает вечным сном.

Вдруг точно буря влетела в комнату, распахнула двери, завесы, пологи, сорвала с Алеши одеяло и обдалаего холодом. Он открыл глаза и увидел лицо батюшки.

Но не испугался, даже не удивился, как будто знал и ждал, что он придет. С еще звеневшею в ушах райскою песнею

Сирина, с нежною сонною улыбкой, протянул он руки, вскрикнул: "Батя! Батя! Родненький!"-вскочил и бросился к отцу на шею. Тот

обнял его крепко, до боли, и прижал к себе, целуя лицо и шейку, и голые ножки, и все его теплое под ночную рубашечкой сонное тельце.

Отец привез ему из-за моря хитрую игрушку: в ящике деревянном под стеклом три немки воцаренные, да ребенок, а за ними зеркальце; внизу костяная ручка; ежели вертеть ее, то и немки с ребенком вертятся, пляшут под музыку. Игрушка нравится Алеше. Но он едва взглянул на нее - и уже опять глядит, не наглядится на батюшку.

Лицо у него похудело, осунулось, он возмужал, как будто еще вырос. Но Алеше кажется, что, хотя он и большой-большой, а все-таки маленький, все такой же, как прежде, веселый кудрявый быстроглазый мальчик. От него пахнет вином и свежим воздухом.

- А у бати усики выросли. Да какие махонькие!

Чуть видать...

И с любопытством проводит он пальчиком над верхней губой отца по мягкому темному пуху.

- А на бороде ямочка. Точь-в-точь, как у бабушки!

Он целует его в ямочку.

- А отчего у бати на руках мозоли?

- От топора, Алешенька: корабли за морем строил. Погоди, уж вырастешь, и тебя возьму с собою. Хочешь за море?

- Хочу. Куда батя, туда и я. Хочу всегда с батей...

- А бабушки не жаль?

Алеша вдруг заметил в полуотворенных дверях перепуганное лицо старушки и бледное-бледное, точно мертвое, лицо матери. Обе смотрят на него издали, не смея подойти, и крестят его, и сами крестятся.

- Жаль бабушки!..-проговорил Алеша и удивился, почему отец не спрашивает его также о матери.

- А кого любишь больше, меня или бабушку?

Алеша молчит, ему трудно решить. Но вдруг еще крепче прижимается к отцу и, весь дрожа, замирая от стыдливой нежности, шепчет ему на ухо: - Люблю батю. больше всех люблю!..

...И сразу все исчезло - и теремные покойчики, и пуховая постелька, и мать, и бабушка, и нянюшки. Он точно провалился в

какую-то черную яму, выпал, как птенец из гнезда, прямо на мерзлую жесткую землю.

Большая холодная комната с голыми серыми стенами, с железными решетками в окнах. Он теперь уже не спит, а только всегда хочет спать и не может выспаться - будят

слишком рано. Сквозь туман, который ест глаза, видны длинные казармы, желтые цейхгаузы, полосатые будки, земляные валы с пирамидами ядер, с жерлами пушек, и Сокольничье поле, покрытое талым серым снегом, под серым небом, с мокрыми воронами и галками. Слышна барабанная дробь, окрики военных экзерциций: Во фронт!

Мушкет на плечо! Мушкет на караул! Направо кругом! и сухой треск ружейной пальбы, и опять барабанная дробь.

С ним - тетка, царевна Наталья Алексеевна, старая дева с желтым лицом, костлявыми пальцами, которые пребольно щиплют, и злыми колючими глазами, которые смотрят на него так, как будто хотят съесть: "У, паршивый, Авдотькин щенок!"...

Лишь долгое время спустя узнал он, что случилось.

Царь, вернувшись из Голландии, сослал жену, царицу Авдотью, в Суздальский монастырь, где насильно постригли ее под именем Елены, а сына взял из Кремлевских теремов в село Преображенское, в новый Потешный дворец. Рядом с дворцом - застенки Тайной Канцелярии, где производится розыск о стрелецком бунте. Там каждый день пылает более тридцати костров, на которых пытаются мучить мятежников.

Наяву, или во сне было то, что ему вспоминалось потом, он и сам не знал. Крадется, будто бы, ночью вдоль острых бревен забора, которым окружен тюремный двор.

Оттуда слышатся стоны. Свет блеснул в щель между бревнами. Он приложил к ней глаз и увидел подобие ада.

Огни горят горючие, Котлы кипят кипучие, Ножи точат булатные, Хотят тебя зарезать.

Людей жарят на огне; поднимают на дыбу и растягивают, так что суставы трещат; раскаленными докрасна железными клещами ломают ребра, - "подчищают ногти", колют под них разожженными

иглами. Среди палачей - царь. Лицо его так страшно, что Алеша не узнает отца: это он и не он - как будто двойник его, оборотень.

Он собственноручно пытается одного из главных мятежников. Тот терпит все и молчит. Уже тело его - как окровавленная туша, с которой мясники содрали кожу. Но он все молчит, только смотрит прямо в глаза царю, как будто смеется над ним.

Умиравший вдруг поднял голову и плюнул в глаза царю.

- Вот тебе, собачий сын. Антихрист!..

Царь выхватил кортик из ножен и вонзил ему в горло.

Кровь брызнула царю в лицо.

Алеша упал без чувств. Утром нашли его солдаты подзабором, на краю канавы. Он долго пролежал больным, без памяти.

Едва оправившись, присутствовал, по воле батюшки, на торжественном посвящении дворца Лефорта богу Бахусу. Алеша - в новом немецком кафтане с жесткими фалдами на проволоках, в огромном парике, который давит голову. Тетка - в пышном роброне. Они в особой комнате, смежной с той, где пируют гости. Тафтяные занавесы, последний остаток теремного затвора, скрывают их от гостей. Но Алеше видно все: члены всепьянейшего собора, несущие, вместо священных сосудов, кружки с вином, фляги с медом и пивом; вместо Евангелия - открывающийся в виде книги погребец со склянками различных водок; курящийся в жаровнях табак - вместо ладана. Верховный жрец, князь-папа, в шутовском подобье патриаршей ризы, с нашитыми игральными костями и картами, в жестяной митре, увенчанной голым Вакхом, и с посохом, украшенным голою Венерой, благословляет гостей двумя чубуками, сложенными крест-накрест. Начинается попойка. Шуты ругают старых бояр, бьют их, плюют им в лицо, обливают вином, таскают за волосы, режут насильно бороды, выщипывают их с кровью и мясом. Пиршество становится застенком. Алеше кажется, что он все это видит вбреду. И опять не узнает отца: это двойник его, оборотень.

"Светлопорфирный великий государь царевич Алексей Петрович, сотворив о Безначальном альфы начало, и в немного ж времени, совершив литер и слогов учение, пообычаю аз-буки, учит Часослов", - доносил царю "последнейший раб", Никишка Вяземский, царевичев дядька. Онучил Алешу по Домострою, "как всякой святыни касаться:

чудотворные образа и многоцелебные мощи целоватьс опасением и губами не плескать, и дух в себе удерживать, ибо мерзко Господу наш смрад и обоняние; просвиру святую вкушать бережно, крохи наземь не уронить, зубами не откусывать, как прочие хлебы, но, уламываячikusочками, класть в рот и есть с верою и со страхом".

Слушая эти наставления, Алеша вспоминал, как во дворцеЛефорта перед бесстыжею немкою Монсихой пьяный Никишка, вместе с князем-папою и прочими шутами, отплясывал вприсядку под свист "весны" и кабацкую песенку:

На поповском лугу, их! вох!

Потерял я дуду, их! вох!

Ученый немец, барон Гюйссен представил царю Methodus instructionis, "Наказ, по коему тот, ему же учениеего высочества государя царевича поверено будет, постурать имеет".

"В чувстве и сердце любовь к добродетелям всегданасаждасть и утверждать, також о том трудиться, дабыему отвращение' и мерзость ко всему, еже пред Богом злодеяние именуется, внушено, и из того происходящие тяжкие последствия основательно представлены и прикладамииз Божественного Писания и светских гисторий освидетельствованы были. Французскому языку учить, которыйни чрез что иное лучше, как чрез повседневное обходительство, изучен быть может. Расцвеченные маппы географические показывать. К употреблению цыркуля помалуприучать, изрядство и пользу геометрии представлять.

Начало к военным экзерцициям, штурмованью, танцованью и конской езде учинить. К доброму русскому штилю, то есть слогу приводить. Во все почтовые дни французские куранты с Меркурием гисторическим прилежночитать, и купно о том политические и нравоучительныенапоминания представлять. Телемака к наставлению еговысочества, яко зеркало и правило предбудущего его правительства, во всю жизнь употреблять. А дабы непрестанным учением и трудами чувств не наскучить, к забавеигру труктафель в умеренное употребление привести. Всетруды сии возможно в два года удобно отправить и потомего высочество в науках к совершенству приводить, без потеряния времени, дабы он к основательному известию приступить мог: о всех делах

политических в свете; о истинной пользе сего государства; о всех потребных искусстваах, якоже фортификации, артиллерии, архитектуре гражданской, навигации и прочее, и прочее - к наивящей его величества радости и к собственной его высочеств, бессмертной славе".

Для исполнения Наказа выбрали первого попавшегося немца. Мартына Мартыновича Нейбауера. Он учил Алешу правилам "европейских кумплиментов и учтивств", по книжке "Юности честное зеркало".

"Наипаче всего должны дети отца в великой честности содержать. И когда от родителей что им приказано, всегда шляпу в руках держать и не с ним в ряд, но немного уступя, позади оных, к стороне стоять, подобно яко паж некоторый, или слуга. Также встретившего, на три шага не дошед и шляпу приятным образом сняв, поздравлять. Ибо лучше, когда про кого говорят: он есть вежлив, смиренный кавалер и молодец, нежели когда скажут: он есть спесивый болван. На стол, на скамью, или на что иное не опираться, и не быть подобным деревенскому мужику,

который на солнце валяется. Младые отроки не должны носом храпеть и глазами моргать. И сия есть не малая гнусность, когда кто часто сморкает, яко бы в трубу трубит, или громко чихает, и тем других людей, или в церквидетей малых устрашает. Обрежь ногти, да не явятся, якобы оные бархатом обшиты. Сиди за столом благочинно, прямо, зубов ножом не чисти, но зубочисткою, и одною рукою прикрой рот, когда зубы чистишь. Над ествою не чавкай, как свинья, и головы не чеши, ибо так делают крестьяне. Младые отроки должны всегда между собою иностранными языками говорить, дабы тем навыкнуть могли, иможно бы их от других незнающих болванов распознать".

Так пел в одно ухо царевичу немец, а в другое - русский: "Не плюй, Олешенька, направо - там ангел хранитель; плюй налево - там бес. Не обувай, дитячко, левую ножку наперед правой - грешно. Собирай в бумажку и храни ноготки свои стриженные, было бы чем на гору Сионскую, в царство небесное лезть". Немец смеялся над русским, русский над немцем - и Алеша не знал, кому верить. "Горделивый студент, мещанский сын из Гданска"

ненавидел Россию. "Что это за язык? - говаривал он. Риторика и грамматика на этом языке быть не может.

Сами русские попы не в силах объяснить, что они в церкви читают. От русского языка одно непросвещение и невежество!" Он всегда был пьян и, пьяный, еще пуще ругался: - Вы-де ничего не знаете, у вас все варвары! Собаки, собаки! Гундсфоты!..

Сукины дети, подлецы (нем. Hundsfoth).

Русские дразнили немца "Мартынушкой - мартышкой" и доносили царю, что "вместо обучения государя-царевича, он, Мартын, подает ему злые приклады, сочиняет противность к наукам и к обхождению с иностранными". Алеше казалось, что оба дядьки - и русский, и немец - одинаковые хамы.

Так надоест, ему, бывало, Мартын Мартынович задень, что ночью снится в виде ученой мартышки, которая, по правилам европейских комплиментов и учтивств, кривляется перед Юности честным зеркалом. Кругом стоят, как на стенах Золотой палаты с иконописными ликами, древние московские цари, патриархи, святители.

А Мартышка смеется над ними, ругается: "Собаки, собаки! Гундсфоты! Вы все ничего не знаете, у вас все варвары!" И чудится Алеше сходство этой обезьяньей морды с искаженным судорогой, лицом не царя, не батюшки, а того, другого, страшного двойника его, оборотня. И мохнатая лапа тянется к Алеше и хватает его за руку, и тащит.

И опять он проваливается, теперь уже на самый край света, на плоское взморье со мшистыми кочками ржавых болот, с бледным, точно мертвым, солнцем, с низким, точно подземным, небом. Здесь все туманно, похоже на призрак. И он сам себе кажется призраком, как будто умер давно и сошел в страну теней.

Тринадцати лет записан царевич в солдаты бомбардирской роты и взят в поход под Нотебург. Из Нотебурга в Ладугу, из Ладуги в Ямбург, в Копорье, в Нарву, всюду таскают его за войском в обозе, чтоб приучить к военным упражнениям. Почти ребенок, терпит он со взрослыми опасности, лишения, холод, голод, бесконечную усталость. Видит кровь и грязь, все ужасы и мерзостивойны. Видит отца, но мельком, издали. И каждый раз, как увидит - сердце замрет от

безумной надежды: вот подойдет, подзовет, приласкает. Одно бы слово, один взор - и Алеша ожил бы, понял, чего хотят от него. Но отцу все некогда: то шпага, то перо, то циркуль, то топор в руке его. Он воюет со Шведом и вбивает первые сваи, строит первые домики Санкт-Петербурга.

"Милостивый мой Государь Батюшка, прошу у тебя, Государя, милости, прикажи о своем здравии писанием посетить, мне во обрадование, чего всегда слышать усердно желаю.

Сынишко твой Алешка благословения твоего прошу и поклонение приношу.

Из Петербурга. 25 августа 1703".

И в письмах, которые пишет под диктовку учителя, не смеет прибавить сердечного слова - ласки или жалобы.

Одиноким, одичавшим, запуганным, растет, как под забором полковых цейхгаузов или в канаве сорная трава.

Нарва взята приступом. Царь, празднуя победу, делает смотр войскам, при пушечной пальбе и музыке. Царевич стоит перед фронтом и видит издали, как подходит к нему юный великан с веселым и грозным лицом.

Это он, он сам - не двойник, не оборотень, а настоящий прежний родной батюшка. Сердце у мальчика бьется, замирает опять от безумной надежды. Глаза их встретились - и точно молния ослепила Алешу. Подбежать бы к отцу, броситься на шею, обнять и целовать, и плакать от радости.

Но резко и отчетливо, как барабанная дробь, раздаются слова, подобные словам указов и артикулов:

- Сын! Для того я взял тебя в поход, чтобы ты видел, что я не боюсь ни трудов, ни опасностей. Понеже я, как смертный человек, сегодня или завтра могу умереть, то помни, что радости мало получишь, ежели не будешь моему примеру следовать. Никаких трудов не щади для блага общего. Но если разнесет мои советы ветер, и не захочешь делать то, что я желаю, то не признаю тебя своим сыном и буду молить Бога, чтоб Он тебя наказал и в сей, и в будущей жизни...

Отец берет Алешу за подбородок двумя пальцами и смотрит ему в глаза пристально. Тень пробегает по лицу Петра. Как будто в первый раз увидел он сына: этот слабенький мальчик, с узкими плечами,

впалою грудью, упрямым и угрюмым взором - его единственный сын, наследник престола, завершитель всех его трудов и подвигов.

Полно, так ли? Откуда взялся этот жалкий заморыш, галчонок в орлином гнезде? Как мог он родить такого сына?

Алеша весь сжался, съежился, как будто угадывал все, что думал отец, и был виноват перед ним неизвестною, но бесконечною виною. Так стыдно и страшно ему, что он готов разреваться, как маленький мальчик, в виду всего войска. Но, сделав над собой усилие, дрожащим голосом лепечет заученное приветствие:

- Всемиловитейший государь батюшка! Я еще слишком молод и делаю, что могу; но уверяю ваше величество, что, как покорный сын, я буду всеми силами стараться подражать вашим деяниям и примеру. Боже сохрани вас на многие годы в постоянном здравии, дабы еще долго я мог радоваться столь знаменитым родителем...

По наставлению Мартына Мартыновича, шляпу сняв "приятным образом, как смиренный кавалер", он делает немецкий "кумплимент":

- Meines gnädigsten Papas gehorsamster Diener und Sohn
Моего досточтимого батюшки покорнейший слуга и сын (нем.).

И чувствует себя перед этим исполином, прекрасным, как юный бог, маленьким уродцем, глупою мартышкою.

Отец сунул ему руку. Он поцеловал ее. Слезы брызнули из глаз Алеши, и ему показалось, что отец с отвращением, почувствовав теплоту этих слез, отдернул руку.

Во время триумфального входа войск в Москву, 17 декабря 1704 года, По случаю Нарвской победы, царевич шел в строевом Преображенском платье, с ружьем, как простой солдат. Была стужа. Озяб, чуть не замерз. Водворце, за обычной попойкой, первый раз в жизни выпил стакан водки, чтобы согреться, и сразу охмелел. Голова закружилась, в глазах потемнело. Сквозь эту тьму, смутно зелеными и красными, быстро вертящимися, переплетающимися кругами, видел ясно только лицо батюшки, который смотрел на него с презрительной усмешкою.

Алеша почувствовал боль нестерпимой обиды, Шатаясь, встал он, подошел к отцу, посмотрел на него исподлобья, как затравленный волчонок, хотел что-то сказать, что-то сделать, но вдруг побледнел, слабо вскрикнул, покачнулся и упал к ногам отца, как мертвый.

Уже временная жизнь моя старостью кончается, безгласием, и глухотою, и слепотою. Того ради милости прошу уволить меня от ключарства, отпустить на покой во святую обитель...

Погруженный в воспоминания, царевич не слышалоднообразно журчащих слов о. Ивана, который, выйдя из кельи, сел снова рядом с ним на лавочку.

- Еще и домишко мой, и домовые пожиточки, и рухлядишко излишний продал бы, и двух сироток, у меня живущих, племянниц моих безродных, управить бы в какой монастырь. А что приданого соберется, то принести бы вкладу в обитель, дабы мне, грешному, не туне ясти монастырские хлеба, и дабы то от меня приято было, как от вдовицы Евангельской две лепты. И пожить бы мне еще малое время в безмолвии и в покаянии, доколе Божьим повелением не взят буду от здешней в грядущую жизнь.

А лета мои мною быть при смерти моей, понеже и родительмой, в сих летах быв, преставился...

Очнувшись, как от глубокого сна, царевич увидел, что давно уже ночь. Белые башни соборов сделались воздушно голубыми, еще более похожими на исполинские цветы, райские лилии. Золотые главы тускло серебрились в черносинем звездном небе. Млечный путь слабо мерцал. И в дуновении горней свежести, ровном, как дыхание спящего, сходило на землю предчувствие вечного сна - тишина бесконечная.

И с тишиной сливались медленно журчавшие слова о. Ивана: - Отпустили б меня на покой во святую обитель, пожить бы в безмолвии, доколе не взят буду от здешней в грядущую жизнь...

Он говорил еще долго, умолкал, опять говорил; уходил, возвращался, звал царевича ужинать. Но тот ничего не видел и не слышал. Опять смежил глаза и погрузился в забвенье, в ту темную область между явью и сном, где обитают тени прошлого. Опять проходили перед ним воспоминанья - видения, образ за образом, как длинная цепь звено за звеном; и над всеми царил один ужасающий образ - отец. И как путник, озираясь ночью с высоты при блеске молнии, вдруг видит весь пройденный путь, так он, при страшном блеске этого образа, видел всю свою жизнь.

Ему семнадцать лет - те годы, когда на прежних московских царевичей, только что "объявленных", людисъезжались смотреть, как на "дивовище". А на Алешууже взвален труд непосильный: ездит из города в город, закупает провиант для войска, рубит и сплавляет лес для флота, строит фортеции, печатает книги, льет пушки, пишет указы, набирает полки, отыскивает кроющихся недорослей под страхом смертной казни, почти ребенок, над такими же ребятами, как он, "без всякого пардона, чинит экзекуцию", сам накрепко смотрит за всем, "дабы фальшиво не было", и посылает батюшке точнейшие реляции.

От немецких склонений к болверкам, Крепостным валам, бастионам.

от болверковк попойкам, от попок к сыску беглых - голова кругомидет. Чем больше старается, тем больше требуют. Нисроку, ни отдыху. Кажется, издохнет от усталости, какзагнанная лошадь. И знает, что напрасно все - "на батюшку не угодит никто ничем".

В то же время учится, как школьник. "Недели двебудем твердить одного немецкого языка, чтоб склонениямв твердость было, а потом будем учить французского иарифметики. А учение бывает по вся дни".

Наконец, надорвался. В январе 1709 года, в великиеморозы, когда отводил из Москвы к отцу в Украину, вгород Сумы, пять полков, которые сам набрал, и которыедолжны были участвовать в Полтавском бою, по дороге простудился, заболел и несколько недель пролежалбез памяти - "отчаян был в смерть".

Очнулся в солнечный день ранней весны. Вся комнатазалита косыми лучами желтого света. За окнами еще снежные сугробы. Но с ледяных сосуллек уже падают капли.

Журчат весенние воды, и в небесах звенит, как колокольчик, песня жаворонка. Алеша видит над собой склоненное лицо батюшки, прежнее, милое, полное нежностью.

- Светик мой родненький, легче ли?..

Не имея сил ответить, Алеша только улыбается.

- Ну, слава Богу, слава Богу!- крестится отец благоговейно.- Помиловал Господь, услышал молитвы мои.

Теперь, небось, поправишься!

Царевич узнал впоследствии, что батюшка не отходил от него во время болезни, забросил все свои дела, ночей не спал. Когда становилось ему хуже, назначал молебствия и дал обет построить церковь во имя св. Алексия Человека Божия.

Наступили радостные медленные дни выздоровления.

Алеше казалось, что ласки отца, как солнечный свет и тепло, исцеляют его. В блаженной истоме, со сладостной слабостью в теле, целыми днями лежал неподвижно, смотрел и не мог насмотреться на простое величавое лицо батюшки, на светлые страшные милые очи, на прелестную, как будто немного лукавую, улыбку женственно-тонких, извилистых губ. Отец не знал, как приласкать Алешу, как угодить ему. Однажды подарил собственного изделия, точеную из слоновой кости табакерку, с надписью: Малое, только от доброго сердца. Царевич хранил ее долгие годы, и каждый раз, бывало, как взглянет на нее, - что-то острое, жгучее, подобное безмерной жалости к отцу, пронзает ему сердце.

В другой раз, тихонько глядя сыну волосы, Петр проговорил смущенно и робко, точно извиняясь: - Ежели сказал я тебе, или сделал что огорчительное, то для Бога, не имей о том печали. Прости, Алеша.

В трудном житии и малая противность приводит в сердце.

А житие мое истинно трудно: не с кем ни о чем подумать!

Ни единого помощника!..

Алеша, как бывало в детстве, обвил отцу шею руками, и весь дрожа, замирая от стыдливой нежности, шепнул ему на ухо:

- Батя милый, родненький, люблю, люблю!..

Но по мере того, как возвращался он к жизни, отец уходил от него. Словно положен был на них беспощадный зарок: быть вечно друг другу родными и чуждыми, тайно друг друга любить, явно ненавидеть.

И все пошло опять по-старому: сбор провианта, сыск беглых, литье пушек, рубка лесов, строенье болверков, скитанье из города в город. Опять работает, как каторжный. А батюшка все недоволен, все ему кажется, сын ленится - "дела оставив, ходит за бездельем". Иногда Алеше хочется напомнить ему о том, что было в Сумах. Но язык не поворачивается.

"Зоон! Объявляем вам ехать в Дрезден. Между тем приказываем, чтобы вы, будучи там, честно жили и прилежали больше учению, а именно языкам, геометрии и фортификации, также отчасти и политических дел. А когда геометрию и фортификацию окончишь, отпиши к нам".

В чужих краях жил покинутый всеми изгнанником.

Отец опять забыл о нем. Вспомнил, чтобы женить. Невеста, дочь Вольфенбюттельского герцога Шарлотта, не нравилась царевичу. Ему не хотелось жениться на иноземке. "Вот жену мне на шею чертовку навязали!" - ругался он, пьяный.

Перед свадьбою должен был вести унижительный торг приданом. Царь старался оттягать у немцев каждый грош.

Прожив с женою полгода, покинул ее для новой "волокиты": из Штетина в Мекленбург, из Мекленбурга в Або, из Або в Новгород, из Новгорода в Ладогу - опять бесконечная усталость, бесконечный страх.

Этот страх перед каждым свиданием с отцом возрастал до безумного ужаса. Подходя к дверям батюшкиной комнаты, царевич шептал, крестясь: "Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его"; бессмысленно твердил уроки навигации, не в силах запомнить варварских слов: круп-камеры, балк-вегерсы, гайген-блоки, анкар-штоки, и щупал на груди ладанку, подарок няни, с наговоренною травкою, вмятою в воск, и бумажкою, на которой написан был древний заговор - для умягчения сердца родительского:

"На велик день я родился, тыном железным оградился и пошел я к своему родимому батюшке. Загневался мой родимый родушка, ломал мои кости, щипал мое тело, топтал меня в ногах, пил мою кровь. Солнце ясное, звезды светлые, море тихое, поля желтые - все вы стойте смирно и тихо; так был бы тих и смирен мой родимый батюшка, по вся дни, по вся часы, в ночи и полунощи".

- Ну, брат, нечего сказать, изрядная фортеция! разглядывая поданный сыном чертеж, пожимал плечами отец. - Многому ты, видно, в чужих краях научился.

Алеша окончательно терялся, пугался, как провинившийся школьник перед розгою.

Чтоб избавиться от этой пытки, принимал лекарства, "притворял себе больным".

Ужас превращался в ненависть.

Перед Прутским походом царь тяжело заболел - "нечаял живота себе". Когда царевич узнал об этом, у него впервые промелькнула мысль о возможной смерти отца, вместе с радостью. Он испугался этой радости, отогнал ее, но истребить не мог. Она притаилась где-то в самой глубине души его, как зверь в засаде.

Однажды, во время попойки, когда царь, по обыкновению, ссорил пьяных, чтоб узнать из перебранки тайные мысли своих приближенных, царевич, тоже пьяный, заговорил о делах государственных, об угнетении народа.

И все притихли, даже шуты перестали галдеть. Царь слушал внимательно. У Алеши сердце замирало от надежды: что, если поймет, послушает?

- Ну, полно врать!- вдруг остановил его царь, с тою усмешкою, которая была так знакома и ненавистна Алексею.- Вижу, брат, что ты политические и гражданские дела столь остро знаешь, сколь медведь играть на органах...

И, отвернувшись, сделал знак шутам. Они опять загалдели. Князь Меншиков, пьяный, с другими вельможами пустился в пляс.

Царевич все еще что-то говорил, кричал срывающимся голосом. Но отец, не обращая на него внимания, притопывал, прихлопывал, подсвистывал пляшущим:

Тары-бары, растобары, Белы снеги выпадали, Серы зайцы выбегали.

Ой, жги! Ой, жги!

И лицо у него было солдатское, грубое - лицо того, кто писал: "неприятелю от нас добрый трактамент был, что и младенцев немного оставили".

Запыхавшийся от пляски Меншиков остановился вдруг перед царевичем, руки в боки, с наглою усмешкою, в которой отразилась усмешка царя.

- Эй, царевич!-крикнул светлейший, произнося "царевич", по своему обыкновению, так, что выходило "псаревич".

- Эй, царевич Федул, что ты губы надул? Ну-ка, с нами попляши!

Алеша побледнел, схватился за шпагу, но тотчас вспомнился и, не глядя на него, проговорил сквозь зубы: - Смерд!..

- Что? Что ты сказал, щенок?..

Царевич обернулся, посмотрел ему прямо в глаза и произнес громко:

- Я говорю: смерд! Смерда взгляд хуже брани...

В то же мгновение мелькнуло перед Алешей искаженное судорогой лицо батюшки. Он ударил сына по лицу так, что кровь полилась изо рта, из носу; потом схватил его за горло, повалил на пол и начал душить. Старые сановники, Ромодановский, Шереметев, Долгорукие, которым царь сам поручил удерживать его в припадках бешенства, бросились к нему, ухватили за руки, оттащили от сына - боялись, что убьет.

Дабы "учинить сатисфакцию" светлейшему, царевича выгнали из дома и поставили на караул у дверей, как ставят в угол школьника. Была зимняя ночь, мороз и вьюга.

Он - в одном кафтане, без шубы. На лице слезы и кровь замерзали. Вьюга выла, кружилась, точно пела и плясала, пьяная. И за освещенными окнами дома, тоже плясала и пела пьяная старая шутиха, князь-игуменья Ржевская. С диким воем вьюги сливалось дикая песня:

Меня матушка плясамши родила, А крестили во царевом кабаке, А купали во зеленым вине.

Такая тоска напала на Алешу, что он готов был разmozжить себе голову о стену.

Вдруг, в темноте, кто-то сзади подкрался к нему, накинул на плечи шубу, потом опустился перед ним на колени и начал целовать ему руки - точно лизал их ласковый пес.

То был старый солдат Преображенской гвардии, случайный товарищ Алеши по караулу, тайный раскольник.

Старик смотрел ему в глаза с такою любовью, что, видно, готов был за него отдать душу свою, и плакал, ишептал, словно молился за него.

- Государь царевич, свет ты наш батюшка, солнышко красное! Сиротка бедненький - ни отца, ни матери. Сохрани тебя Отец Небесный, Матерь Пречистая!..

Отец бивал Алешу не раз, и без чинов кулаками, и по чину дубинкою. Царь делал все по-новому, а сына бил по-старому, по Домострою о. Сильвестра, советника царя Грозного, сыноубийцы:

"Не дай сыну власти в юности, но сокруши ребро, донележе растет; аще бо жезлом его биеша, то не умрет, но здравее будет".

Алеша чувствовал животный страх побоев - "убьет, искалечит" - но к душевной боли и стыду привык. Порой загоралась в нем злобная радость. "Ну, что ж, бей!

Не меня, себя срамишь"- как будто говорил он отцу, глядя на него бесконечно-покорным и бесконечно-дерзким взглядом.

Но, должно быть, отец догадался об этом; он прекратил побои и придумал злейшее: перестал говорить с ним вовсе. Когда Алеша сам заговаривал,- молчал, точно не слышал, и глядел на него, как на пустое место. Молчание длилось недели, месяцы, годы. Он чувствовал его всегда, везде, и с каждым днем оно становилось все нестерпимее. Оскорбительнее всякой брани, страшнее всяких побоев. Оно казалось ему медленным убийством такою жестокостью, которой не простят ни люди, ни Бог.

Это молчание было конец всего. Дальше - ничего, кроме мрака, и во мраке - мертвое, неподвижное, точно каменная маска, лицо батюшки, каким видел он его в последний раз. И мертвые слова из мертвых уст: "Яко уд гангреновый отсеку, как со злодеем поступлю!"

Нить воспоминаний оборвалась. Он очнулся и открыл глаза. Ночь все так же тиха; так же синют белые башни соборов; золотые главы тускло серебрятся в черном звездном небе; млечный путь слабо мерцает. И в дуновении горней свежести, ровном, как дыхание спящего, с неба на землю сходило предчувствие вечного сна - тишина бесконечная.

Царевич испытывал в это мгновение как будто усталость всей своей жизни; спину, руки, ноги, все члены ломало; кости ныли от усталости.

Хотел встать, но не было сил, только руки поднял к небу и простонал, точно позвал Того, Кто мог ответить: - Боже мой! Боже мой!..

Но никто не ответил. Молчанье было на земле и на небе, как будто и Отец Небесный покинул его, так же, как земной.

Он закрыл лицо руками, склонился головой на каменную лавку и заплакал, сначала тихо, жалобно, как плачут брошенные дети; потом - все громче и громче, всебезумнее. Рыдал и бился головой о камни и кричал отобиды, от возмущения, от ужаса. Плакал о том, что нетотца - и в этом плаче был вопль Голгофы, вечный вопль Сына к Отцу:

Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?

Вдруг услышал, как тогда, зимнею ночью, на карауле, что кто-то в темноте подошел к нему, склонился и обнял.

То был о. Иван, старый ключарь Благовещенский.

- Что ты, родимый? Господь с тобой! Кто обидел тебя, светик мой?..

- Отец!.. Отец!.. - мог только простонать Алеша.

Старик понял все. Тяжело вздохнул, помолчал, потом зашептал с такою безнадежною покорностью, что, казалось, устами его говорит сама дряхлая мудрость веков.

- Что делать, Алешенька? Смирись, смирись, дитятко! Плетью обуха не перешибешь. С царем не поспоришь. Бог на небе, царь на земле. Несудима воля царская. Одному Богу государь ответ держит. А он тебе нетолько царь, но и отец богоданный...

- Не отец, а злодей, мучитель, убийца! - крикнул Алеша. - Будь он проклят, будь он проклят, изверг!..

- Государь царевич, ваше высочество, не гневи Бога, не говори слов неистовых! Велика власть отчая. И в Писании сказано: чти отца своего...

Царевич перестал вдруг плакать, быстро обернулся и посмотрел на старика долго, пристально.

- А ведь и другое тоже, батька, в Писании сказано: не приидох вложить мир, но рать и нож - приидох разлучити человека сына от отца. Слышишь, старик? Господь разлучил меня от отца моего! От Господа я - рать и нож в сердце родшаго мя, я - суд и казньему от Господа! Не за себя я восстал, а за церковь, за царство, за весь народ христианский! Ревнуя, поревновало Господе! И не смирюсь, не покорюсь ему - даже досмерти! Тесно нам обоим в мире! Или он, или я!..

С лицом, искаженным судорогой, с трясущейся нижнею челюстью, с глазами, горящими грозным огнем, он стал похож на отца внезапным, точно призрачным, сходством.

Старик смотрел на него в ужасе, как на одержимого, и крестил его, и сам крестился, и качал головою, и шамкал дряхлыми устами слова дряхлой мудрости: - Смирись, смирись, дитяtko! Покорись отцу!..

И казалось, древние стены Кремля, и дворцы, и соборы, и самая земля с гробами отцов - здесь все повторяло: "Смирись, смирись!"

Когда царевич вошел в дом ключаря Благовещенского, сестра его, Алешина кормилица, старушка Марфа Афанасьевна, взглянув на лицо его, подумала, что он болен.

Она еще больше перепугалась, когда он отказался от ужина и прошел прямо в спальню. Старушка хотела было напоить его липовым цветом и натереть камфарою с винным духом. Чтоб успокоить ее, он должен был принять водки-апоплектики. Собственными руками она уложила его в постель, мягкую-премягкую, с целою горою пуховиков и подушек, в такой он уже давно не спал. Так мирно теплилась лампада перед образом; веяло таким знакомым запахом сушеных лекарственных трав, кипариса и ладана; так усыпителен был шепот старушки, которая рассказывала старые детские сказки об Иване царевиче и сером волке, о петушке-золотом-гребешке, о лапте, пузыре да соломинке, что хотели вместе реку перейти, соломинка сломалась, лапоть потонул, а пузырь дулся, дулся и лопнул; - что Алеше казалось сквозь дремоту, будто бы он, маленький мальчик, лежит в своей постельке, у бабушки в тереме, и всего, что было, не было, и не Марфа Афанасьевна, а бабушка склоняется над ним, укрывает его, укутывает, укручивает, и крестит, и шепчет: "Спи, свет Олешенька, спи с Богом, дитяtko". И тихо, тихо. И Сирин, птица райская, поет песни царские. И слушая сладкое пение, он, точно умирает, засыпает вечным сном без сновидений.

Но перед утром приснилось ему, будто бы идет он в Кремле, по Красной площади, среди народа, совершая Шествие на Осяти в Неделю Ваий - Воскресение Вербное.

В большом царском наряде, в золотой порфире, златом венце и бармах Мономаха, ведет за повод Ося, на котором сидит патриарх, старенький-старенький, седенький, весь белый, светлый от седины. Но вглядевшись пристальнее, Алеша видит, что это не старик, а юноша в одежде белой, как снег, с лицом, как солнце,- Сам Христос.

Народ не видит или не узнает Его. У всех лица страшные, серые, землистые, как у покойников. И все молчат - такая тишина, что Алеша слышит, как бьется его собственное сердце. И небо тоже страшное, полное трупною серостью, как перед затмением солнца. А под ногами у него все вертится горбун, в треуголке, с глиняной трубкою взубах, и дымит ему прямо в нос вонючим голландским канастером, и что-то лопочет, и нагло ухмыляется, указывая пальцем туда, откуда доносится растущий, приближающийся гул, подобный гулу урагана. И видит Алеша, что это - встречное шествие: протодиакон всепьянейшего собора, царь Петр Алексеевич, ведет за повод, вместо ослати, невиданного зверя; на звере сидит некто с темным ликом; Алеша рассмотреть его не может, но кажется, что он похож на плута Федоску и на Петьку-вора, Петьку-хама, только страшнее, гнуснее обоих; а перед ними - бесстыжая голая девка, не то Афроська, не то петербургская Венус.

Встречное шествие, звонят во все колокола и в самый большой, на Иване Великом, называемый Ревутом. И народ кричит, как на бывшей свадьбе князя-папы, Никиты Зотова.

- Патриарх женился! Патриарх женился! Да здравствует патриарх с патриаршею!

И падая ниц, поклоняется Зверю, Блуднице и Хаму Грядущему: - Осанна! Осанна! Благословен Грядый!

Покинутый всеми, Алеша - один со Христом, среди обезумевшей черни. И дикое шествие мчится прямо на них, с криком и гиком, с мраком и смрадом, от которого чернеет золото царских одежд и самое солнце Лица Христова. Вот налетят, раздавят, растопчут, все сметут и станет на месте святом мерзость запустения.

Вдруг все исчезло. Он на берегу широкой пустынной реки, как будто на большой дороге из Польши в Украину.

Поздний вечер поздней осени. Мокрый снег, черная грязь.

Ветер срывает последние листья с дрожащих осин. Нищий в лохмотьях, озябший, посиневший, просит жалобно: "Христа ради, копеечку!" - "Вишь, клейменный,- думает Алеша, глядя на руки и ноги его с кровавыми язвами,- должно быть, беглый из рекрут". И так жалеет "малаго озяблага", что хочет дать ему не копеечку, а семьгульденов. Вспоминает во сне, что записал в путевом дневнике,

среди прочих расходов: "22 ноября - За перевозчерез реку 3 гульдена; за постой в жидовской корчме 5

гульденов; малому озяблему 7 гульденов". Уже протягивает руку нищему - вдруг чья-то грубая рука ложится на плечо Алеши, и грубый голос, должно быть, караульного солдата при шлагбауме, говорит:

- За подаянье милостыни штрафа пять рублей, а нищих, бив батожем, и ноздри рвав, ссылать на Рогервик.

- Смилуйся.- молит Алеша.- Лисицы имеют норы, и птицы - гнезда, а Сей не имеет, где приклонить голову...

И вглядываясь в малого озяблого, видит, что лицоЕго, как солнце, что это - Сам Христос.

"Мой сын!

Понеже, когда прощался я с тобою и спрашивал тебя резолюции твоей на известное дело, на что ты всегдаодно говорил, что к наследству быть не можешь за слабостью своею и что в монастырь удобнее желаешь; но ятогда тебе говорил, чтобы еще ты подумал о том гораздой писал ко мне, какую возьмешь резолюцию, чего я ждалсемь месяцев; но по ся поры ничего о том не пишешь. Тогодля, ныне (понеже время довольное на размышлениеимел), по получении сего письма, немедленно резолюциювозьми - или первое, или другое. И буде первое возьмешь, то более недели не мешкай, приезжай сюда, ибоееще можешь к действиям поспеть. Буде же другое возьмешь, то отпиши, куды и в которое время, и день (дабыя покой имел в своей совести, чего от тебя ожидать могу).

А сего доносителя пришли с окончанием: буде по первому, то когда выедешь из Питербурха; буде же другое, то когда совершишь. О чем паки подтверждаем, чтобысие конечно учинено было, ибо я вижу, что только времяпроводишь в обыкновенном своем неплотии".

Курьер Сафонов привез письмо из Копенгагена намызу Рождествено, куда царевич вернулся из Москвы.

Он ответил отцу, что едет к нему тотчас. Но никакойрезолюции не взял. Ему казалось, что тут не выбор одногоиз двух - или постричься или исправить себя к наследству - а только двойная ловушка: постричься с мыслью, что клобук-де не гвоздем к голове прибит, значило датьБогу лживую клятву - погубить душу; а для того,

чтобы исправить себя к наследству, как требовал батюшка, нужно было снова войти в утробу матери и снова родиться.

Письмо не огорчило и не испугало царевича. На него нашло то бесчувственное и бессмысленное оцепенение, которое в последнее время все чаще находило на него.

В таком состоянии он говорил и делал все, как во сне, сам не зная, что скажет и сделает в следующую минуту. Страшная легкость и пустота были в сердце - не то отчаянная трусость, не то отчаянная дерзость.

Он поехал в Петербург, остановился в доме своей церкви Всех Скорбящих и велел камердинеру Ивану Афанасьеву Большому "убрать, что надобно в путь против прежнего, как в немецких краях с ним было".

- К батюшке изволишь ехать?

- Еду, Бог знает, к нему или в сторону,- проговорил Алексей вяло.

- Государь царевич, куда в сторону?- испугался или притворился Афанасьич испуганным.

- Хочу посмотреть Венецию...- усмехнулся было царевич, но тотчас прибавил уныло и тихо, как будто про себя:

- Я не ради чего иного, только бы мне себя спасти...

Однако ж, ты молчи. Только у меня про это ты знаешь, да Кикин..

- Я тайну твою хранить готов,- ответил старик со своей обычной угрюмостью, под которой, однако, светилась теперь в глазах его бесконечная преданность.- Только нам беда будет, когда ты уедешь. Осмотрись, что делаешь...

- Я от батюшки не чаял к себе присылки быть, продолжал царевич все так же сонно и вяло.- И в уме моем того не было. А теперь вижу, что мне путь правит Бог. А се, и сон я ныне видел, будто церкви строю, а то значит - путь достроить...

И зевнул.

- Многие, ваша братья,- заметил Афанасьич, спасались бегством. Однако в России того не бывало, и никто не запомнит...

Прямо из дому царевич поехал к Меншикову и сообщил ему, что едет к отцу. Князь говорил с ним ласково.

Под конец спросил:

- А где же ты Афросинью оставишь?

- Возьму до Риги, а потом отпущу в Питербурх, ответил царевич наугад, почти не думая о том, что говорит; он потом сам удивился этой безотчетной хитрости.

- Зачем отпускать? - молвил князь, заглянув ему прямо в глаза. - Лучше возьми с собою...

Если бы царевич был внимательнее, он удивился бы: не мог не знать Меншиков, что сыну, который желал "исправить себя к наследству", нельзя было явиться к батюшке в лагерь "для обучения воинских действий" с непотребною девкою Афроською. Что же значили эти слова? Когда впоследствии узнал о них Кикин, то внушил царевичу благодарить князя письмом за совет; "может-де быть, что отец найдет письмо твое у князя и будет иметь о нем суспект. в твоём побеге".

На прощание Меншиков велел ему зайти в Сенат, чтобы получить паспорт и деньги на дорогу.

В Сенате все старались наперерыв услужить царевичу, как будто желали тайно выразить сочувствие, в котором нельзя было признаться. Меншиков дал ему на дорогу

1.000 червонных. Господа Сенат назначили от себя другую тысячу и тут же устроили заем пяти тысяч золотом двух мелкими деньгами у обер-комиссара в Риге. Никто не спрашивал, все точно сговорились молчать о том, на что царевичу может понадобиться такая куча денег.

После заседания князь Василий Долгорукий отвел его в сторону.

- Едешь к батюшке?

- А как же быть, князь?

Долгорукий осторожно оглянулся, приблизил свои толстые, мягкие, старушечьи губы к самому уху Алексея и шепнул:

- Как? А вот как: взявши шлык да в подворотню шмыг, поминай как звали - был не был. а и след простыл, по пусту месту хоть обухом бей!..

И помолчав, прибавил, все так же на ухо шепотом: - Кабы не государев жестокий нрав да не царица, я бы ве Нтетин первый изменил, лытка бы задал!

Он пожал руку царевичу, и слезы навернулись на хитрых и добрых глазах старика.

- Ежели в чем могу впредь служить, то рад хотя быи живот за тебя положить...

- Пожалуй, не оставь, князенька!- проговорил Алексей, без всякого чувства и мысли, только по старой привычке.

Вечером он узнал, что вернейший из царских слуг, князь Яков Долгорукий посылал ему сказать стороной, чтоб он к отцу не ездил: "худо-де ему там готовится".

На следующее утро, 26 сентября 1716 года, царевич выехал из Петербурга в почтовой карете, с Афросиньей и братом ее, бывшим крепостным человеком, Иваном Федоровым.

Он так и не решил, куда едет. Из Риги, однако, взял с собою Афросинью дальше, сказав, что "ведено ему ехать тайно в Вену, для делания алианцу против Турка, и чтобы там жить тайно, дабы не сведал Турок".

В Либаве встретил его Кикин, возвращавшийся из Вены.

- Нашел ты мне место какое?- спросил его царевич.

- Нашел: поезжай к цесарю, там не выдадут. Сам цесарь сказал вице-канцлеру Шенборну, что примет тебя, как сына.

Царевич спросил:

- Когда ко мне будут присланные в Данциг от батюшки, что делать?

- Уйди ночью,- ответил Кикин,- или возьми детину одного; а багаж и людей брось. А ежели два присланы будут, то притвори себе болезнь, и из тех одного пошли наперед, а от другого уйди.

Заметив его нерешительность, Кикин сказал: - Попомни, царевич: отец не пострижет тебя ныне, хотя б ты и хотел. Ему друзья твои, сенаторы приговорили, чтоб тебя ему при себе держать неотступно и с собою возить всюду, чтоб ты от волокиты умер, понеже-детруда не понесешь. И отец сказал: хорошо-де так. И рассуждал ему князь Меншиков, что в чернечестве тебе покой будет и можешь долго жить. И по сему слову, я дивлюсь. что давно тебя не взяли. А может быть, и так сделают: как будешь в Дацкой земле, и отец, под протекстом обучения, посадя на один воинский свой корабль, даст указ капитану вступить в бой со шведским кораблем, который будет в близости, чтобы тебя убить, о чем из Копенгагена есть ведомость. Для того тебя ныне и зовут, и, кроме побегу, тебе спастись ничем нельзя. А самому

лезть в петлю - сие было бы глупее всякого скота!заклучил Кикин и посмотрел на царевича пристально;

- Да что ты такой сонный, ваше высочество, словноне в себе? Аль не можетсся?

- Устал я очень,- ответил царевич просто.

Когда они уже простились и разошлись, Кикин вдругвернулся, догнал его, остановил и, глядя ему прямо в глаза, проговорил медленно, упирая на каждое слово - итакая уверенность была в этих словах, что у царевича, несмотря на все его равнодушие, мороз пробежал по телу:

- Буде отец к тебе пришлет кого тебя уговаривать, чтоб ты вернулся, и простить обещает, то не ездй: он тебеголову отсечет публично.

При отъезде из Либавы Алексей точно так же ничегоне решил, как при отъезде из Петербурга. Он, впрочем, надеялся, что и решать не придется, потому что в Данциге ждут посланные от батюшки. С Данцига дорога разделялась на две: одна на Копенгаген, другая через Бреславль на Вену. Посланных не оказалось. Нельзя быломедлить решением. Когда хозяин вирцгауза, Здесь: гостиница, постоялый двор (нем. Wirtshaus).

где царевичостановился на ночь, пришел вечером спросить, куда емуугодно заказать лошадей на завтра, он посмотрел на негос минуту рассеянно, как будто думал о другом, потомпроизнес, почти не сознавая, что говорит: - В Бреславль.

И тотчас же сам испугался этого слова, которое решалосудьбу его. Но подумал, что можно перерешить утром.

Утром лошади были поданы, оставалось сесть и ехать.

Он отложил решение до следующей станции; на следующей станции - до Франкфурта-на-Одере, во Франкфуртедо Цибингена, в Цибингене до Гросена - и так без конца.

Ехал все дальше и уже не мог остановиться, точно сорвался и катился вниз по скользкой круче. Та же силастраха, которая прежде его удерживала, теперь гнала вперед. И по мере того, как он ехал, страх возрастал. Онпонимал, что бояться нечего - отец еще не мог знать опобеге. Но страх был слепой, бессмысленный. Кикин снабдил его ложными пасами. Царевич выдавал себя то запольского кавалера

Кременецкого, то за полковника Коханского, то за поручика Балка, то за купца из русской армии. Но ему казалось, что хозяева вирцаузов, ландкучера, фурманы, почтмейстеры - все знают, что он русский царевич и бежит от отца. На ночевках просыпался и вскакивал в ужасе от каждого шороха, скрипашагов и треска половицы. Когда однажды в полутемную столовую, где он ужинал, вошел человек в сером кафтане, похожем на дорожное платье отца, и почти такого же роста, как батюшка, царевичу едва не сделалось дурно. Всюду мерещились ему шпионы. Щедрость, с которою он сыпал деньгами, действительно, внушала подозрение бережливым немцам, что они имеют дело с особою царственной крови.

На экстрапочтах давали ему лучших лошадей, и кучера гнали их во весь опор. Раз в сумерки, когда он увидел ехавшую сзади карету, ему представилось, что это погоня. Он пообещал фурману на водку десять гульденов. Тот поскакал сломя голову. На повороте ось зацепила за камень, колесо отскочило. Должны были остановиться и вылезти. Ехавшие сзади настигали. Царевич так перепугался, что хотел бросить все и уйти с Афросиньей пешком в лес, чтобы спрятаться. Он уже тащил ее за руку. Она едва его удержала.

Проехав Бреславль, он уже почти нигде не останавливался. Скакал днем и ночью, без отдыха. Не спал, не ел.

Горло сжимала судорога, когда он старался проглотить кусок. Стоило ему задремать, чтобы тотчас проснуться, вздрогнув всем телом и обливаясь холодным потом. Хотелось умереть, или сразу быть пойманным, только бы избавиться от этой пытки.

Наконец, после пяти бессонных ночей, заснул мертвым сном.

Проснулся в карете ранним, еще темным утром. Соно свежил его. Он чувствовал себя почти бодрым.

Рядом с ним спала Афросинья. Было холодно. Он укутал ее теплее и поцеловал спящую. Они проезжали неизвестный маленький город с высокими узкими домами и тесными улицами, в которых отдавался гулко грохот колес.

Ставни были заперты; должно быть, все спали. Посередине рыночной площади, перед ратушей, журчали струи фонтана, стекая с краев зелено-мшистой каменной раковины, которую поддерживали

плечи сгорбленных тритонов. Лампада теплилась в углублении стены перед Мадонною.

Проехав город, поднялись на холм. С холма дорога спускалась на широкую, слегка отлогую равнину. Карета, запряженная шестеркою цугом, мчалась, как стрела. Колеса мягко шуршали по влажной пыли. Внизу еще лежал ночной туман. Но вверху уже светлело, и туман, оставляя на сухих былинках цепкие нити паутины, унизанные каплями росы, точно бисером, подымался, как занавес. Открылось голубое небо. Там осенняя станица журавлей, озаренная первым лучом на земле еще не взошедшего солнца, летела с призывными криками. На краю равнины синели горы; то были горы Богемии. Вдруг сверкнул из

за них ослепляющий луч прямо в глаза царевичу. Солнце встало - и радость подымалась в душе его, ослепляющая, как солнце. Бог спас его, никто, как Бог!

Он смеялся и плакал от радости, как будто в первый раз видел землю, и небо, и солнце, и горы. Смотрел на журавлей - и ему казалось, что у него тоже крылья, и что он летит.

Свобода! Свобода!

Курьер Сафонов, посланный из Петербурга вперед, донес государю, что вслед за ним едет царевич. Но прошло два месяца, а он не являлся. Царь долго не верил, что сын бежал - "куда ему, не посмеет"! - но, наконец, поверил, разослал по всем городам сыщиков и дал резиденту в Вене, Авраму Веселовскому, собственноручный указ: "Надлежит тебе проводить в Вене, в Риме, в Неаполе, Милане, Сардинии, а также в Швейцарской земле.

Где проводишь сына нашего пребывания, то, разведав отом подлинно, ехать и последовать за ним во все места, и тотчас о том, чрез нарочные стафеты и курьеров, писать к нам; а себя содержать весьма тайно".

Веселовский, после долгих поисков, напал на след.

"След идет до сего места,- писал он царю из Вены. Известный подполковник Коханский стоял в вирцгаузе Черного орла, за городом. Кельнер рассказывает, что он признал его, за некоторого знатного человека, понеже платил деньги с великою женозитою Щедрость (франц. *generosite*).

и показался-де подобен царю московскому, яко бы его сын, которого царя видел здесь, в Вене".

Петр удивился. Что-то странное, как будто жуткое, было для него в этих словах: "показался подобен царю". Никогда не думал он о том, что Алексей похож на него лицом.

"Только постояв одни сутки в том месте,- продолжал Веселовский,- вещи свои перевез на наемном фурмане; а сам на другой день, заплатя иждивение, пешком отошел от них, так что они неизвестны, не отъехал ликуды. А будучи в том вирцгаузе, купил готовое мужское платье кофейного цвету своей жене, и оделась она в мужской убор". Далее след исчезал. "Во всех здешних вирцгаузах и почтовых дворах, и в партикулярных и публичных домах спрашивал, но нигде еще допроситься не мог;

также через шпионов искал; ездил по двум почтовым дорогам, ведущим отсюда к Италии, по тирольской да каринтийской: никто не мог дать мне известия".

Царь, догадываясь, что царевича принял и скрыл в своих владениях цесарь, послал ему из Амстердама письмо:

"Пресветлейший, державнейший Цесарь!

Я принужден вашему цесарскому величеству с сердечною печалью своею о некотором мне нечаянно случившемся случае в дружески-братской конфиденции объявить, а именно о сыне своем Алексее, как оный, яко же чаю вашему величеству, по имеющемуся ближайшему свойству не безызвестно есть, к высшему нашему неудовольствию, всегда в противном нашему отеческому наставлению являлся, також и в супружестве с вашею сродницею не порядочно жил. Пред несколькими временами, получа от нас повеление, дабы ехал к нам, чтобы тем отвлечь его от не потребного жития и обхождения с непотребными людьми,- не взяв с собой никого из служителей своих, от насему определенных, но прибрав несколько молодых людей, с пути того съехав, незнамо куды скрылся, что мы по севрею не могли уведомить, где обретается. И понеже мычаем, что он к тому превратному намерению, от некоторых людей совет приняв, заведен, и отечески о нем сожалеем, чтоб тем своим бесчинным поступком не нанес себе невозвратной пагубы, а наипаче не впал бы каким случаем в руки неприятелей наших, того ради, дали комиссию

резиденту нашему при дворе вашего величества пребывающему, Веселовскому, онаго сыскивать и к нам привезть.

Того ради, просим вашего величества. Что ежели он в вашихобластях обретается тайно или явно, повелеть его с симнашим резидентом, придав для безопасного проезду несколько человек ваших офицеров, к нам прислать, дабымы его отечески исправить для его благосостояния могли, чем обяжете нас вечно к своим услугам и приязни. Мыпребываем при сем

вашего цесарского величества верный братПетр"

В то же время доведено стороною до сведения цесаря, что, ежели не выдаст он царевича по доброй воле, царьбудет искать его, как изменника, "вооруженною рукою".

Каждое известие о сыне было оскорблением для царя.

Под лицемерным сочувствием сквозило тайное злорадствоЕвропы.

"Некий генерал-майор, возвратившийся сюда из Ганновера,- доносил Веселовский,- будучи при дворе, говорил мне явно, в присутствии мекленбургского посланника сожалея о болезни, приключившейся вашему величествуот печалей, из коих знатнейшая та, что-де ваш кронпринц "невидим учинился", а по-французски в сих терминах: Il est eclipse. Я спросил, от кого такую фальшивую ведомость имеет. Отвечал, что ведомость правдиваяи подлинная; я слышал ее от ганноверских министров. Я возражал, что это клевета по злобе ганноверского двора".

"Цесарь имеет не малый резон кронпринца секундовать,Помочь (франц. seconder).

сообщал Веселовский мнение, открыто высказываемое при чужеземных дворах,- понеже-де оный кронпринц прав перед отцом своим и имел резон спастись изземель отцовых. Вначале, будто, даше величество, вскоре после рождения царевича Петра Петровича, принудилиего силою дать себе реверс, по силе коего он отрекся откороны и обещал ретироваться во всю свою жизнь в пустыню. И как ваше величество в Померанию отлучились, и видя, что он, по своему реверсу, в пустыню не пошел, тогда, будто, вы вымыслили иной способ, а именно призвать его к себе в Дацкую землю и под претекстомПредлог (франц. pretexte).

обучения, посадя на один воинский свой корабль, дать указкапитану вступить в бой со шведским кораблем, которыйбудет в близости, чтоб его, царевича, убить. Чего радипринужден был от такой беды уйти".

Царю доносили также о тайных переговорах цесаря скоролем английским, Георгом 1: "Цесарь, который, породству, по участию к страданиям царевича и по великодушию цесарского дома к невинно гонимым, дал сыну царяпокровительство и защиту", спрашивал английского короля, не намерен ли и он, "как курфирст и родственник брауншвейгского дома, защищать принца", причемуказывалось на "бедственное положение - *miseranda conditio* - доброго царевича", и на "явное и непрерывноетиранство отца - *clara et continua paterna tyrannidis*, небез подозрения яда и подобных русских *galanterien*".

Иронич. "учтивостей, галантностей" (нем.).

Сын становился судьей отца.

А что еще будет? Царевич может сделаться оружиемв руках неприятельских, зажечь мятеж внутри России, поднять войною всю Европу - и Бог весть, чем это кончится.

"Убить, убить его мало!"-думал царь в ярости.

Но ярость заглушалась другим, доселе неведомым чувством: сын был страшен отцу.

КНИГА ШЕСТАЯ

ЦАРЕВИЧ В БЕГАХ

Царевич с Евфросиньей катались в лодке лунноюночью по Неаполитанскому заливу.

Он испытывал чувство, подобное тому, которое рождает музыка: музыка - в трепете лунного золота, чтопротянулось, как огненный путь, по воде, от Позилипподо края небес; музыка-в ропоте моря и в чуть слышном дыхании ветра, приносившего, вместе с морской соленою свежестью, благоухание апельсинных и лимонныхрощ от берегов Сорренто; и в серебристо-лазурных, замесячной мглою, очертаниях Везувия, который курилсябелым дымом и вспыхивал красным огнем, как потухающий жертвенник умерших, воскресших и вновь умерших богов.

- Маменька, друг мой сердешный, хорошо-то как!прошептал царевич.

Евфросинья смотрела на все с таким же равнодушным видом, как, бывало, на Неву и Петропавловскую крепость.

- Да, тепло; на воде, а не сыро,- ответила она, подавляя зевоту.

Он закрыл глаза, и ему представилась горница в доме Вяземских на Малой Охте; косые лучи весеннего вечернего солнца; дворовая девка Афроська в высоко подоткнутой юбке, с голыми ногами, низко нагнувшись, моет мочалкою пол. Самая обыкновенная деревенская девка из тех, о которых парни говорят: вишь, ядреная, кругла, бела, как мытая репка. Но иногда, глядя на нее, вспоминал он о виденной им в Петергофе у батюшки старинной голландской картине -: Искушение св. Антония: перед отшельником стоит голая рыжая дьяволица с раздвоенными козьими копытами на покрытых шерстью ногах, как у самки фавна. В лице Евфросиньи - в слиш

ком полных губах, в немного вздернутом носе, в больших светлых глазах с поволокою и слегка скошенным, удлинненным разрезом - было что-то козье, дикое, невинно-бесстыдное. Вспоминал он также изречения старых книжников о бесовской прелести жен: от жены начало греху, итою мы все умираем; в огонь и в жену впасть едино есть.

Как это случилось, он и сам не знал, но почти сразу полюбил ее грубою, нежною, сильною, как смерть, любовью.

Она была и здесь, на Неаполитанском заливе, все та же Афроська, как в домике на Малой Охте; и здесь точно так же, как, бывало, сидя по праздникам на завалинке с дворнею,- грызла, за неимением подсолнухов, кедровые орешки, выплевывая скорлупу в лунно-золотые волны: только, наряженная по французской моде, в мушках, фижмах и роброне, казалась еще более непристойно соблазнительной, невинно-бесстыдною. Не даром пялила на нее глаза два цесарских драбанта и сам изящный молоденький граф Эстергази, который сопровождал царевича во всех его выездах из крепости Сант-Эльмо. Алексею были противны эти мужские взоры, которые вечно льнули к ней, как мухи к меду.

- Так как же, Езопка, надоело тебе здешнее житье, хочется, небось, домой?- проговорила она ленивым певучим голосом, обращаясь к

сидевшему рядом с нею влодке, маленькому, плюгавенькому человеку, корабельному ученику, Алешке Юрову; Езопкою звали его зашутовство.

- Ей, матушка, Евфросинья Федоровна, житие намздесь пришло самое бедственное. Наука определена такая премудрая, что, хотя нам все дни жизни на той науке трудить, а не принять будет, для того - не знамо, учиться языка, не знамо - науки. А в Венеции ребята наши помирают, почитай, с голоду - дают всего по три копейкина день, и воистину уже пришли так, что пить, есть нечего, и одежишки нет, ходят срамно и наго. Оставляют нас бедных помирать, как скотину. А паче всего в том тягость моя, что на море мне быть невозможно, тогоради, что весьма болен. Я человек не морской! Моя смерть будет, ежели не покажут надо мною милосердия божеского. В Петербург рад и готов пешком идти, только чтоб морем не ехать. Милостыню буду просить на дороге, аморем не поеду-воля его величества!..

- Ну, брат, смотри, попадешь из кулька в рогожку: в Петербурге-то тебя плетью выпорют за то, что сбежал от учения,- заметил царевич.

Плохо твое дело, Езопка! Что же с тобой, сиротой, будет? Куда денешься? - сказала Евфросинья.

- А куда мне, матушка, деваться? Либо удавлюсь, либо на Афон уйду, постригусь...

Алексей посмотрел на него с жалостью и невольно сравнил судьбу беглого навигатора с судьбою беглого царевича.

- Ничего, брат, даст Бог, счастливо вместе вернемся в отечество! - молвил он с доброю усмешкою.

Выехав из лунного золота, возвращались они к темному берегу. Здесь, у подошвы горы, была запустевшая вилла, построенная во времена Возрождения, на развалинах древнего храма Венеры.

По обеим сторонам полуразрушенной лестницы к морю, теснились, как факельщики похоронного шествия, Исполинские кипарисы; их растрепанные острые верхушки, вечно нагибаемые ветром с моря, так и оставались навсегда склоненными, точно грустно поникшие головы. В черной тени изваяния богов белели, как призраки. И струя фонтана казалась тоже бледным призраком. Светляки под лавровою кущею - горели, как погребальные свечи. Тяжелый запах магнолий напоминал благовоние, которым умащают

мертвых. Один из павлинов, Оживших на вилле, пробужденный голосами и шумом весел, выйдя на лестницу, распустил хвост, заигравший в лунном сиянии, как опахало из драгоценных камней, тусклою радугой. И жалобные крики пав похожи были на пронзительные вопли плакальщиц. Воды фонтана, стекая с нависшей скалы по длинным и тонким, как волосы, травам, падали в море, капля за каплей; как тихие слезы, - словно там, в пещере, плакала нимфа о своих погибших сестрах. И вся эта грустная вилла напоминала темный Элизиум, подземную рощу теней, кладбище умерших, воскресших и вновь умерших богов.

- Веришь ли, государыня милостивая, - в бане вот уж третий год не парился! - продолжал Езопка свои жалобы.

- Ох, веничков бы свеженьких березовых да после баньки медку вишневого! - вздохнула Евфросинья.

- Как здешнюю кислятину пьешь да вспомнишь оводке, индо заплачешь! - простонал Езопка.

- Икорки бы паюсной! - подхватила Евфросинья.

- Балычка бы солененького!

- Снеточков белозерских!

Так они перекликались, растравляя друг другу сердечные раны.

Царевич слушал их, глядел на виллу и невольно усмехался: странно было противоречие этих будничных грез призрачной действительности.

По огненной дороге в море двигалась другая лодка, оставляя черный след в дрожащем золоте. Послышался звук мандолины и песня, которую пел молодой женский голос.

Quant e bella giovinezza,
Che si fugge tuttavia.

Chi vuol' esser' lieto, sia
Di doman non c'è certezza.

Эту песню любви сложил Лоренцо Медичи Великолепный для триумфального шествия Вакха и Ариадны на флорентийских праздниках. В ней было краткое веселье Возрождения и вечная грусть о нем.

Царевич слушал, не понимая слов; но музыка наполняла душу его сладкою грустью.

О, как молодость прекрасна.

Но мгновенна! Пой же, смейся, Счастлив будь, кто счастья хочет, И на завтра не надейся.

- А ну-ка, матушка, русскую!- взмолился Езопка, хотел даже стать на колени, но покачнулся и едва не упал в воду: он был не тверд на ногах, потому что все время тянул "кислятину" из плетеной фляжки, которую стыдливо прятал под полый кафтан. Один из гребцов, полуголый смуглый красавец, понял, улыбнулся Евфросинье, подмигнул Езопке и подал ему гитару. Он забренчал на ней, как на трехструнной балалайке.

Евфросинья усмехнулась, поглядела на царевича и вдруг запела громким, немного крикливым, бабьим голосом, точно так же, как пела в хороводах на вечерней заре весною у березовой рощи над речкою. И берега Неаполя, древней Партенопеи, огласились неслыханными звуками:

Ах, вы сени мои, сени, сени новые мои, Сени новые, кленовые, решетчатые!

Бесконечная грусть о прошлом была в песне чужой:

Chi vuol esser' lieto, sia Di doman non c'è certezza.

Бесконечная грусть о будущем была в песне родной:

Полети ты, мой сокол, высоко и далеко, И высоко, и далеко, на родимую сторону!

На родимой, на сторонке грозен батюшка живет;

Он грозен, сударь, грозен, да немилостивый.

Обе песни, своя и чужая, сливались в одну.

Царевич едва удерживал слезы. Никогда еще, казалось, он так не любил Россию, как теперь. Но он любил еще новую всемирную любовь, вместе с Европою; любил чужую землю, как свою. И любовь к родной и любовь к чужой земле сливались, как эти две песни, в одну.

Цесарь, приняв под свое покровительство царевича, поселил его, чтобы вернее укрыть от отца, под видом некоторого Венгерского графа, или, как сам царевич выражался, под невольничьим лицом, в уединенном неприступном замке Эренберг, настоящем орлином гнезде, на вершине высокой скалы, в горах Верхнего Тироля, подороже от Фюссена к Инсбруку.

"Немедленно, по получении сего,- сказано было вцесарской инструкции коменданту крепости,- прикажиизготовить для главной особы две комнаты, с крепкимидверями и железными в окнах решетками. Как солдатам, так и женам их, не позволять выходить из крепости подОпасением жестокой казни, даже смерти. Если главныйарестант захочет говорить с тобою, ты можешь исполнить его желание, как в сем случае, так и в других: если, например, он потребует книг, или чего-либо иного к своему развлечению, даже если пригласит тебя к обеду иликакой-нибудь игре. Можешь, сверх того, позволить емупрогулку в комнатах, или во дворе крепости, для чистоговоздуха, но всегда с предосторожностью, чтоб не ушел".

В Эренберге прожил Алексей пять месяцев - отдекабря до апреля.

Несмотря на все предосторожности, царские шпионы, гвардии капитан Румянцев с тремя офицерами, имевшиетайное повеление схватить "известную персону" во чтобы то ни стало и отвезти ее в Мекленбургию, узналио пребывании царевича в Эренберге, прибыли в Верхний Тироль и поселились тайно в деревушке Рейте, усамой подошвы Эренбергской скалы.

Резидент Веселовский объявил, что государю его "будет зело чувственно слышать ответ министров именемцесаря, будто известной персоны в землях цесарских необретается, между тем, как посланный курьер видел людей ее в Эренберге, и она находится на цесарском коште.

Не только капитан Румянцев, но и вся, почитай, Европаведает, что царевич в области цесаря. Если бы эрцгерцог, отлучась отца своего, искал убежища в землях Российского государя, и оно было бы дано тайно, скольболезненно было бы это цесарю!"

"Ваше величество,- писал Петр императору,- можете сами рассудить, коль чувственно то нам, яко отцу, быть иметь, что наш первородный сын, показав нам такое непослушание и уехав без воли нашей, содержитсяпод другою протекциею или арестом, чего подлинно неможем признать и желаем на то от вашего величестваизъяснения".

Царевичу объявили, что император предоставляетему возвратиться в Россию, или остаться под его защитою, но в последнем случае признает необходимым перевести его в другое,

отдаленнейшее место, именно в Неаполь. Вместе с тем, дали ему почувствовать желание цесаря, чтобы он оставил в Эренберге, или вовсе удалил от себя своих людей, о которых с неудовольствием отзывался отец его в письме, дабы тем отнять у царя всякий повод к нареканию, будто император принимает под свою защиту людей непотребных. То был намек на Евфросинью. Казалось, в самом деле, непристойным, что, умоляя цесаря о покровительстве именем покойной, Шарлотты, сестры императрицы, царевич держит у себя "ззорную девку", с коей вступил в связь, как молва гласила, еще при жизни супруги.

Он объявил, что готов ехать, куда цесарь прикажет, и жить, как велит,- только бы не выдавали его отцу.

15-го апреля, в 3 часа ночи, царевич, не взирая на шпионов, выехал из Эренберга под именем императорского офицера. При нем был только один служитель Евфросинья, переодетая пажем.

"Наши неаполитанские пилигримы благополучно прибыли,- доносил граф Шенборн.- При первой возможности пришлю секретаря моего с подробным донесением об этом путешествии, столь забавном, как только можно себе представить. Между прочим, наш маленький паж, наконец, признан женщиною, но без брака, по видимому, также и без девства, так как объявлен любовницею инеобходимой для здоровья".- "Я употребляю все возможные средства, чтобы удержать наше общество от частого и безмерного пьянства, но тщетно",- доносил секретарь, Шенборн, сопровождавший царевича.

Он ехал через Инсбрук, Мантую, Флоренцию, Рим.

В полночь 6-го мая 1717 года прибыл в Неаполь и остановился в гостинице Трех Королей. Вечером на следующий день вывезен в наемной карете из города к морю, затем тайным ходом введен в королевский дворец, и оттуда, через два дня, по изготовлении особых покоев, в крепость Сант-Эльмо, стоявшую на высокой горе над Неаполем.

Хотя и здесь он жил под "невольничьим лицом", но не скучал и не чувствовал себя в тюрьме; чем выше были стены и глубже рвы крепости, тем надежнее они защищали его от отца.

В покоях окна с крытым ходом перед ними выходили прямо на море. Здесь проводил он целые дни; кормил, также, как, бывало, в Рождестве, отовсюду слетавшихся к нему и быстро прирученных им голубей, читал исторические и философские книги, пел псалмы и акафисты, глядел на Неаполь, на Везувий, на горевшие голубым огнем, точно сапфирные, Исихю, Прочиду, Капри, но больше всего на море - глядел и не мог наглядеться. Ему казалось, что он видит его в первый раз. Северное, серое, торговое, военное море Корабельного Регламента и петербургского Адмиралтейства, то, которое любил отец, непохоже было на это южное, синее, вольное.

С ним была Евфросинья. Когда он забывал об отце, то был почти счастлив.

Ему удалось, хотя с большим трудом, выхлопотать для Алексея Юрова пропуск в Сант-Эльмо, несмотря на строжайшие караулы. Езопка сумел сделаться необходимым человеком: потешал Евфросинью, которая скучала, играл с нею в карты и шашки, забавлял ее шутками, сказками и баснями, как настоящий Эзоп.

Охотнее всего рассказывал он о своих путешествиях по Италии. Царевич слушал его с любопытством, снова переживая свои собственные впечатления. Как ни стремился Езопка в Россию, как ни тосковал о русской бане и водке, видно было, что и он, подобно царевичу, полюбил чужую землю, как родную, полюбил и Россию, вместе с Европою, новою всемирною любовью.

- Альпенскими горами путь зело прискорбен и труден,- описывал он перевал через Альпы.- Дорога самая тесная. С одной стороны - горы, облакам высокостью подобные, а по другую сторону - пропасти зело глубокие, в которых от течения быстрых вод шум непрерывный, как на мельнице. И от видения той глубокости приходит человеку великое ужасание. И на тех горах всегда лежит много снегов, потому что солнце промеж ними никогда лучами своими не осеняет...

А как съехали с гор, на горах еще зима, а внизу уже лето красное. По обе стороны дороги виноградов и дерев плодовых, лимонов, померанцев и всяких иных множество, и лозное плетение около дерев изрядными фигурами. Вся, почитай, Италия - единый сад, подобье рая Божьего! Марта в седьмой день видели плоды лимоны и

померанцы зрелые и мало недозрелые, и гораздо зеленые, и завязь, и цвет - все на одном дереве...

- Там, у самых гор, на месте красовитом, построеннекий дом, именуемый виллою, зело господственный, изрядною архитектурою. И вокруг того дома - предивные сады и огороды: ходят в них гулять для прохлады.

И в тех садах деревья учинены, по пропорции, и листьяна них обрываются по пропорции ж. И цветы и травысажены в горшках и ставлены архитектурально. Першпектива зело изрядная! И в тех же садах поделано фонтан преславных множество, из коих воды истекают зелочистые всякими хитрыми штуками. И вместо столпов, подорогам ставлены мужики и девки мраморные: Иовиш, Бахус, Венус и иные всякие боги поганские работы изрядной, как живые. А те подобья древних лет из земливырыты...

О Венеции он сказывал такие чудеса, что Евфросиньядолго не верила и смешивала Венецию с Леденцом-городом, о котором говорится в русских сказках.

- Врешь ты все, Езопка!- смеялась она, но слушалас жадностью.

- Венеция вся стоит на море, и по всем улицам ипереулкам - вода морская, и ездят в лодках. А лошадейи никакого скота нет; также карет, колясок, телег никаких нет, а саней и не знают. Воздух летом тягостен, и бывает дух зело грубый от гнилой воды, как и у нас, в Петербурге, от канавы Фонтанной, где засорено. И по всемугороду есть много извозчичьих лодок, которые называются гундалами, а сделаны особою модою: длинны даузки, как бывают одnodеревые лодки; нос и корма острые, на носу железный гребень, а на середине чердак с окончинами хрустальными и завесами камчатными; и те гундалы все черные, покрыты черными сукнами, похожи нагробы; а гребцы - один человек на носу, другой на корме гребет, стоя, тем же веслом и правит; а руля нет, однакож, и без него управляют изрядно...

- В Венеции оперы и комедии предивные, которыхв совершенство описать никто не может, и нигде во всемсвете таких предивных опер и комедий нет и не бывает.

И те палаты, в которых те оперы действуют,- великие, округлые, и называют их итальяне театрум. И в техпалатах поделаны чуланы многие, в пять рядов вверх, прехитрыми золочеными работами. А

играют на тех операх во образ древних гишторий о преславных мужах ибогах эллинских да римских: кто которую гишторию излюбит, тот в своем театруме и сделает. И приходит в те оперы множество людей в машкерах, по-славянски в харях, чтоб никто никого не познал. Также и все время карнавала, сиречь, масляной, ходят в машкерах и в странном платье; и гуляют все невозбранно, кто где хочет, и ездят в гундалах с музыкою, и танцуют, и едят сахара, и пьют всякие изрядные лимонаты и чекулаты. И так всегда в Венеции увеселяются и не хотят быть никогда безувеселения, в которых своих веселостях и грешат много, понеже, когда сойдутся в машкерах, то многие жены и девицы берут за руки иноземцев и гуляют с ними, избавляются без стыда. А народ женский в Венеции зело благообразен, высок и строен, и политичен, убирается зело чисто, а к ручному делу не охочь, больше заживают в прохладах, всегда любят гулять и быть в забавах, и ко греху телесному слабы, ни для чего иного, токмо для богатства, что тем богатятся, а иного никакого промыслу не имеют. И многие девки живут особыми домами и в грех и в стыд себе того не вменяют, ставят себесто вместо торгового промыслу; а другие, у которых своих домов нет, те живут в особых улицах, в поземных малых палатах; из каждой палаты поделаны на улицу двери, и когда увидят человека приходящего к ним, того с великим прилежанием каждая к себе зазывает; и на который день у которой будет приходящи' больше, и та себесто тот день вменяет за великое счастье; и от того сами страдают францоватыми болезнями, также и приходящих теми своим богатством наделяют довольно и скоро. А духовные особы им в том возбраняют поучением, а не принуждением. А болезней францоватых в Венеции лечить зело горазды...

С таким же сочувствием, как венецианские увеселения, описывал он и всякие церковные святыни, чудеса и мощи.

- Сподобился видеть крест: в оном кресте под стеклом устроено и положено: часть Пупа Христова и часть Обрезания. А в ином кресте - часть малая от святого Крестителя носа. В городе Баре видел мироточивые мощи св. Николы Чудотворца: видна кость ноги его; истоит над оною костью миро святое, видом подобное чистому маслу, и никогда не оскудевает; множественное число того святого

мира молебщики приезжие на всякий день разбирают; однакож, никогда не умаляется, как вода из родника течет; и весь мир тем святым миром преизобилует и освящается. Видел также кипение крови св. Януария и кость св. мученика Лаврентия - положена такость в хрусталь, а как поцелуешь, то сквозь хрусталь является тепло, чему есть немалое удивление...

С неменьшим удивлением описывал он и чудеса науки: - В Падве, в академии дохтурской, бальзамные младенцы, которые бывают выкидыши, а другие выпороты из мертвых матерей, в спиртусах плавают, в склянницах стеклянных, и стоят так, хотя тысячу лет, не испортятся. Там же, в библиотеке, видел зело великие глобусы, земные и небесные, изрядным математицким мастерством устроенные...

Езопка был классик. Средневековое казалось ему варварским. Восхищало подражание древнему зодчеству - всякая правильность, прямолинейность, "пропорция" - то, к чему глаз его привык уже и в юном Петербурге.

Флоренция ему не понравилась.

- Домов самых изрядных, которые были бы нарочитой пропорции, мало; все дома Флоренские древнего здания; палаты есть и высокие, в три, четыре жилья, дастроены просто, не по архитектуре...

Больше всего поразил его Рим. Он рассказывал о нем с тем благоговейным, почти суеверным чувством, которое Вечный город всегда внушал варварам.

- Рим есть место великое. Ныне еще значитя старого Риму околичность - и знатно, что был Рим неудобьсказуемого величества; которые места были древле в середине города, на тех местах ныне великие поля и пашни, где сеют пшеницы и винограды заведены многие, и буйволов, и быков, и всякой иной животины пасутся стада;

и на тех же полях есть много древнего строения каменного, безмерно великого, которое от многих лет развалилось, преславным мастерством построенного, по самой изрядной пропорции, как ныне уже никто строить не может. И от гор до самого Риму видны древнего строения столбы каменные с перемычками, а вверху тех столбов

колоды каменные, по которым из гор текла ключевая вода, зело чистая. И те столбы - акведуки именуются, а поля-Кампанья ди Рома...

Царевич только мельком видел Рим; но теперь, когда он слушал и вспоминал,- словно какая-то грозная тень "неудобь-сказуемого величества" проносилась над ним.

- И на тех полях меж разваленного зданья римского есть вход в пещеры. В пещерах тех скрывались христиане во время гонений, и были мучены; и доныне там обретаются многие кости тех святых мучеников. Которые пещеры, именуемые катакумбы, так велики, что под землею, сказывают, проход к самому морю; и другие есть проходы неисповедимые. И близ тех катакумбов, в единой малой церковке, стоит Гроб Бахусов, из камня порфира высечен, зело великий, и в том гробу нет никого - стоит пуст. А в древние лета, сказывают, было в нем тело нетленное, лепоты неописуемой, наваждением дьявольским богу нечистому Бахусу видом подобилось. И святыи мужи ту погань извергли, и место освятили, и церковь построили...

- Потом приехал я в иное место, именуемое Кулизей, где, при древних цесарях римских, которые были гонители на христианскую веру и мучители за имя Христово, святых мучеников отдавали на съедение зверям.

То место сделано округло - великая махина - вверх будет сажень пятнадцать; стены каменные, по которымные древние мучители ходили и смотрели, как святых мучеников звери терзали. И при тех стенах в земле поделаны печуры каменные, в коих жили звери. И в одном Кулизее съеден от зверей св. Игнатий Богоносец; и земля в том месте вся обагрена есть кровью мучеников...

Царевич помнил, как твердили ему с детства, что одна на свете Русь - земля святая, а все остальные народы - поганые. Помнил и то, что сам говорил однажды фрейлине Арнгейм на голубятне в Рождестве: "только с нами Христос". Полно, так ли? - думал он теперь. Что, если у них тоже Христос, и не только Россия, но и вся Европа - святая земля? Земля в том месте вся обагрена кровью мучеников. Может ли быть такая земля поганою?

Что третьему Риму, как называли Москву старики, далеко до первого настоящего Рима, так же, как и Петербурской Европе до

настоящей,- в этом он убедился воочию.

- Как Москвы еще початку не слыхивано,- утверждал Езопка,- на западе много было иных государств, которые старше и честнее Москвы...

Описание венецианского карнавала заключил он словами, которые запомнились царевичу: - Так всегда веселятся и ни в чем друг друга не зазирают, и ни от кого ни в чем никакого страха никто не имеет: всякий делает по своей воле, кто что хочет. И та вольность в Венеции бывает, и живут венециане всегда в всяком покое, без страха и без обиды, и без тягостных податей...

Недосказанная мысль была ясна: не то-де, что у насна Руси, где никто ни о какой вольности пикнуть не смеет.

- Особливо же тот порядок у всех европейских народов хвален есть,- заметил однажды Езопка,- что дети их никакой косности, ни ожесточения от своих родителей, ни от учителей не имеют, но от доброго и старого наказания словесного, паче нежели от побоев, в прямой воле и смелости воспитываются. И ведая то, в старину люди московские для науки в чужие земли детей своих не посылали вовсе, страшась того: узнав тамошних земель веры и обычаи, и вольность благую, начали бы своему веру отменять и приставать к иным, и о возвращении к домам своим никакого бы попечения не имели и не мыслили. А ныне, хотя и посылают, да все толку мало, понеже, как птице без воздуха, так наукам без воли быть не можно; а у нас-де и новому учат по-старому: палка не ма, да даст ума; нет того спорее, чем кулаком по шею...

Так оба они, и беглый навигатор, и беглый царевич, смутно чувствовали, что та Европа, которую вводил Петр в Россию - цифирь, навигация, фортификация - еще не вся Европа и даже не самое главное в ней; что у настоящей Европы есть высшая правда, которой царь не знает.

А без этой правды, со всеми науками - вместо старомосковского варварства, будет лишь новое петербургское хамство. Не обращался ли к ней, к этой вольности благой, и сам царевич, призывая Европу рассудить его сотцом?

Однажды Езопка рассказал историю о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне Ираклии

Флоренской земли.

Слушателям, может быть, так же, как самому рассказчику, темен и все же таинственно-внятен был смысл этой сказки: венчание Российского матроса с королевной Флоренции, весенней земли Возрождения - прекраснейшим цветом европейской вольности - как прообразе неизвестного, грядущего соединения России с Европой.

Царевич, выслушав Гисторию, вспомнил об одной картине, привезенной отцом из Голландии: царь, в матросском платье, обнимающий здоровенную голландскую девку. Алексей невольно усмехнулся, подумав, что этой краснощекой девке так же далеко до "сияющей, акисолнце не одеянное", королевны Флоренской, как и всей Российской Европе - до настоящей.

- А небось, в Россию-то матрос твой не вернулся? спросил он Езопку.

- Чего он там не видел? - проворчал тот, с внезапным равнодушием к той самой России, в которую еще недавно так стремился. - В Питербурхе-то его, пожалуй, по указу о беглых, кошками бы выдрали, да на Рогервик сослали, а королевну Флоренскую - на прядильный двор, яко девку зазорную!..

Но Евфросинья заключила неожиданно: - Ну, вот видишь, Езопка - наукою каких чинов матрос твой достиг; а если б от учения бегал, как ты, не видать бы ему королевны Флоренской, как ушей своих.

Что же здешнюю вольность хвалишь, так не вороньем уклюву рябину клевать. Дай вам волю - совсем измотаетесь. Как же вас, дураков, не учить палкою, коли добром не хотите? Спасибо царю-батюшке. Так вас и надо!

Тихий Дон-река, Родной батюшка, Ты обмой меня, Сыра земля, Мать родимая, Ты прикрой меня.

Евфросинья пела, сидя у окна за столом в покоях царевича в крепости Сант-Эльмо и спарывая красную тафтяную подкладку с песочного камзола своего мужского наряда; она объявила, что ни за что больше не будетрядиться шутлом гороховым.

На ней был шелковый, грязный, с оторванными пуговицами шлафор, серебряные, стоптанные, на босую ногу туфли. В стоящей перед ней жестяной скрыне рабочей шкатулке, валялись в

беспорядке пестрые лоскутки и ленточки, "махальце женское" - веер, "рукавицы" лайковые - перчатки, любовные письма царевича, бумажки с курительным порошком, ладан от святогостарца и пудра Марешаль от знаменитого парикмахера Фризона с улицы Сент-Оноре, афонские четки и париж

ские мушки и баночки с "поматом". Целые часы проводила она в притираниях и подкрашиваниях, вовсе ненужных, потому что цвет лица у нее был прекрасный.

Царевич за тем же столом писал письма, которые предназначались для того, чтобы их "в Петербурхе подметывать", а также подавать архиереям и сенаторам.

"Превосходительнейшие господа сенаторы.

Как вашей милости, так, чаю, и всему народу не безсумления мое от Российских краев отлучение и пребывание безвестное, на что меня принудило ничто иное, только всегдашнее мне безвинное озлобление и непорядок, а паче же, что было в начале предидого года - едва было и в черную одежду не облекли меня силою, без всякой, как вам всем известно, моей вины. Но всемилостивый Господь, молитвами всех оскорбляемых Утешительницы, пресвятой Богородицы и всех святых, избавил меня от сего и дал мне случай сохранить себя отлучением от любезного отечества, которого, если бы не сей случай, никогда бы не хотел оставить. И ныне обретаюсь благополучно и здорово под хранением некоторого великого государя, до времени, когда сохранивший меня Господь повелит явиться мне паки в Россию, при котором случае прошу, не оставьте меня забвенна. Будс же есть какие ведомости обо мне, дабы память обо мне в народе изгладить, что меня в живых нет, или иное что зло, не извольте верить и народ утвердите, чтобы не имели веры.

Богу хранящу мя, жив семь и пребываю всегда, как вашей милости, так и всему отечеству доброжелательный до гроба моего Алексей".

Он взглянул сквозь открытую дверь галереи на море.

Под свежим северным ветром оно было синее, мглистое, точно дымящееся, бурное, с белыми барашками и белыми парусами, надутыми ветром, крутогрудыми, как лебеди.

Царевичу казалось, что это то самое синее море, о котором поется в русских песнях, и по которому вещий Олег со своею дружиной ходил на Царьград.

Он достал несколько сложенных вместе листков, исписанных его рукою по-немецки крупным, словно детским, почерком. На полях была приписка: "Nehmen sienicht Uebel, das ich so schlecht geschrieben, weil ich kannnicht besser. Не посетуйте, что я так плохо написал, потому что не могу лучше". Это было длинное письмо к цесарю, целая обвинительная речь против отца. Ондавно уже начал его, постоянно поправляя, перечеркивая, снова писал и никак не мог кончить: то, что казалось верным в мыслях, оказывалось неверным в словах; между словом и мыслью была неодолимая преграда - и самого главного нельзя было сказать никакими словами.

"Император должен спасти меня,- перечитывал он отдельные места.- Я не виноват перед отцом; я былему всегда послушен, любил и чтил его, по заповеди Божьей. Знаю, что я человек слабый. Но так воспитал меня Меншиков: ничему не учил, всегда удалял от отца, обходился, как с холопом или собакой. Меня нарочно спаивали. Я ослабел духом от смертельного пьянства и от гонений. Впрочем, отец в прежнее время был ко мне добр. Он поручил мне управление государством, и все шло хорошо - он был мною доволен. Но с тех пор, как у жены моей пошли дети, а новая царица также родила сына, с кронпринцессой стали обращаться дурно, заставляли ее служить, как девку, и она умерла от горя. Царица и Меншиков вооружили против меня отца. Оба они исполнены злобы, не знают ни Бога, ни совести. Сердцеу царя доброе и справедливое, ежели оставить его самому себе; но он окружен злыми людьми, к тому же невероятно вспыльчив и во гневе жесток, думает, что, как Бог, имеет право на жизнь и смерть людей. Много пролил крови невинной и даже часто собственными руками пытал и казнил осужденных. Если император выдаст меня отцу, то все равно, что убьет. Если бы отец и пощадил, то мачеха и Меншиков не успокоятся, пока не запоят, или не отравят меня. Отречение от престола вынудили у меня силою; я не хочу в монастырь; у меня довольно ума, чтобы царствовать. Но свидетельствуюсь Богом, что никогда не думал я о возмущении народа, хотя это не трудно было сделать, потому что народ меня

любит, а отца ненавидит за его недостойную царицу, за злых и развратных любимцев, за поругание церкви и старых добрых обычаев, а также за то, что, не щадя ни денег, ни крови, он есть тиран и враг своего народа"...

"Враг своего народа?"- повторил царевич, подумали вычеркнул эти слова: они показались ему лживыми.

Он ведь знал, что отец любит народ, хотя любовь его иногда беспощаднее всякой вражды: кого люблю, того ибью. Уж лучше бы, кажется, меньше любил. И его, сына, тоже любит. Если бы не любил, то не мучил бы так. И теперь, как всегда, перечитывая это письмо, он смутно чувствовал, что прав перед отцом, но не совсем прав; одна черта, один волосок отделял это "не совсем прав" от "совсем не прав", и он постоянно, хотя и невольно, в своих обвинениях переступал за эту черту. Как будто у каждого из них была своя правда, и эти две правды были навеки противоположны, навеки непримиримы. И одна должна была уничтожить другую. Но, кто бы ни победил, виноват будет победитель, побежденный - прав.

Все это не мог бы он сказать словами даже самому себе, не то что другим. Да и кто бы поверил бы, кто поверил бы?

Кому, кроме Бога, быть судьей между сыном и отцом?

Он отложил письмо с тягостным чувством, с тайным желанием его уничтожить, и прислушался к песне Евфросиньи, которая, кончив пороть, примеряла перед зеркалом новые французские мушки. Это вечное тихое пение в тюремной скуке у нее было невольно, как пение птиц в клетке: она пела, как дышала, почти сама не сознавая того, что поет. Но царевичу странным казалось противоречие между вознею с французскими мушками и родною унылою песней:

Сырая земля, Мать родимая, Ты прикрой меня, Соловей в бору,
Милый братец мой, Ты запой по мне.

Кукушечка в лесу, Во дубровушке, Сестрица моя, Покукуй по мне.

Белая березушка, Молода жена, Пошуми по мне.

По гулким переходам крепости слышались шаги, перекликанье часовых, звон отпираемых замков и засовов.

Караульный офицер постучал в дверь и доложил о Вейнгарте, кригс-фельдконциписте, секретаре вице-короля по русскому произношению, вице-роя, цесарского наместника в Неаполе.

В комнату вошел, низко кланяясь, толстяк с одышкой, с лицом красным, как сырое мясо, с отвислою нижнею губою и заплывшими свинными глазками. Как многие плуты, он имел вид простодушный. "Этот претолстый немец - претонкая бестия",- говорил о нем Езопка.

Вейнгарт принес ящик старого фалернского и мозельвейна в подарок царевичу, которого называл, соблюдая инкогнито при посторонних, высокородным графом; а Евфросинье, у которой поцеловал ручку - он был большой дамский угодник - корзину плодов и цветов.

Передал также письма из России и на словах поручения из Вены.

- В Вене охотно слышали, что высокородный граф в добром здравии и благополучии обретается. Ныне надобно еще терпение, и более, нежели до сих пор. Сообщить имею, как новую ведомость, что уже в свете начинают говорить: царевич пропал. Одни полагают, что он от свирепости отца ушел; по мнению других, лишен жизни его волею; иные думают, что он умерщвлен в пути убийцами. Но никто не знает подлинно, где он. Вот копия с донесения цесарского резидента Плейера на тот случай, ежели любопытно будет высокорожденному графу узнать, что пишут о том из Петербурга. Его величества цесаря слова подлинные: милому царевичу к пользе советуется держать себя весьма скрытно, потому что, по возвращении государя, отца его, в Петербург, будет великий розыск.

И наклонившись к уху царевича, прибавил шепотом: - Будьте покойны, ваше высочество! Я имею самые точные сведения: император ни за что вас не покинет, а ежели будет случай, после смерти отца, то и вооруженною рукою хочет вам помогать на престол...

- Ах, нет, что вы, что вы! Не надо...- остановил его царевич с тем же тягостным чувством, с которым только что отложил письмо к цесарю.- Да"т Бог, до того не дойдет, войны из-за меня не будет. Я вас не о том прошу только чтоб содержать меня в своей протекции! А этого я не желаю... Я, впрочем, благодарен. Да наградит Господь цесаря за всю его милость ко мне!

Он велел откупорить бутылку мозельвейна из подаренного ящика, чтобы выпить за здоровье цесаря.

Выйдя на минуту в соседнюю комнату за какими-то нужными письмами и вернувшись, застал Вейнгарта объясняющим mademoiselle Eufrosyne с галантною любезностью, не столько впрочем словами, сколько знаками, что напрасно не носит она больше мужского платья оно ей очень к лицу:

- L'Amour тете ne saurait se presenter avec plus de graces!

Сам Амур не мог бы явиться с большим изяществом (франц.) заключил он по-французски, глядя на нее в упор свинными глазками тем особенным взором, который так противен был царевичу.

Евфросинья, при входе Вейнгарта, успела накинуть на грязный шлафор новый щегольский кунтыш тафты двуличневой, на нечесанные волосы - чепец дорогого брабантского кружева, припудрилась и даже налепила мушку над левою бровью, точно так, как видела на Корсов в Риме у одной приезжей из Парижа девки. Выражение скуки исчезло с лица ее, она вся оживилась, и, хотя ни слова не понимала ни по-немецки, ни по-французски, поняла и без слов то, что говорил немец о мужском наряде, и лукаво смеялась, и притворно краснела, и закрывалась рукавом, как деревенская девка.

"Этакая туша свиная! Тьфу, прости Господи! Нашла с кем любезничать,- посмотрел на них царевич с досадою. Ну, да ей все равно кто, только бы новенький. Ох, евины дочки, евины дочки! Баба да бес. один в них вес"...

По уходе Вейнгарта, он стал читать письма.

Всего важнее было донесение Плейера.

"Гвардейские полки, составленные большею частью из дворян, вместе с прочею армией, учинили заговор в Мекленбургии, дабы царя убить, царицу привезти сюда с младшим царевичем и обеими царевнами, заточить в тот самый монастырь, где ныне старая царица, а ее освободив, сыну ее, законному наследнику, правление вручить".

Царевич выпил залпом два стакана мозельвейна, встал и начал ходить быстро по комнате, что-то бормоча и размахивая руками.

Евфросинья молча, пристально, но равнодушно следила за ним глазами. Лицо ее, по уходе Вейнгарта, приняло обычное выражение скуки.

Наконец, остановившись перед ней, он воскликнул: - Ну, маменька, снеточков Белозерских скоро кушать будешь! Вести

добрые. Авось, Бог даст нам случай возвратиться с радостью...

И он рассказал ей подробно все донесение Плейера;

последние слова прочел по-немецки, видимо, не нарадуясь на них:

- "Alles zum Aufstand allhier sehr geneiget ist. Вседе в Питербурхе к бунту зело склонны. Все жалуются, что знатных с незнатными в равенстве держат, всех равно в матросы и солдаты пишут, а деревни от строения городов и кораблей разорились".

Евфросинья слушала молча, все с той же равнодушной скукой на лице, и только когда он кончил, спросила своим протяжным, ленивым голосом:

- А что, Алексей Петрович, ежели убьют царя и затобой пришлют, к бунтовщикам пристанешь?

И посмотрела на него сбоку так, что, если бы он меньше был занят своими мыслями, то удивился бы, может быть, даже почувствовал бы в этом вопросе тайное жало.

Но он ничего не заметил.

- Не знаю,- ответил, подумав немного.- Ежели присылка будет по смерти батюшки, то, может быть, и пристану... Ну да что вперед загадывать. Буди воля Господня!- как будто спохватился он.- А только вот говорю я, видишь, Афросьюшка, что Бог делает: батюшка делает свое, а Бог свое!

И усталый от радости, опустил на стул и опять заговорил, не глядя на Евфросинью, как будто про себя:

- Есть ведомость печатная, что шведский флот пошел к берегу лифляндскому транспортировать людей на берег.

Велико то худо будет, ежели правда: у нас в Питербурхе не согласится у князя Меншикова с сенаторами.

А войско наше главное далеко. Они друг на друга сердятся, помогать не станут - великую беду шведы починить могут. Питербурх-то под боком! Когда зашли далеко в Копенгаген, то не потерять бы и Питербурха, как Азова- Недолго ему быть за нами: либо шведы возьмут, либо разорится. Быть ему пусто, быть пусто!- повторял он, как заклинание, пророчество тетушки, царевны Марфы Алексеевны.

- А что ныне там тихо - и та тишина не даром. Вот дядя Аврам Лопухин пишет: всех чинов люди говорят обо мне, - спрашивают и

жалеют всегда, и стоять за меня готовы, а кругом-де Москвы уже заворачиваются. И нанизу, на Волге, не без замешанья б^лхет в народе. Чемудивить? Как и по ею пору еще терять? А не пройдет даром. и, чай, не стерпя что-нибудь да сделают. А тут ив Мекленбургии бунт, и шведы, и цесарь, и я! Со всехсторон беда! Все мятется, мятется, шатается. Как затрещит, да ухнет - только пыль столбом. Такая раскачкапойдет, что ай, ай! Не сдобровать и батюшке!..

Первый раз в жизни он чувствовал себя сильным истрашным отцу. Как тогда, в ту памятную ночь, во времяболезни Петра, когда за морозным окном играла луннаявьюга, синяя, точно горящая синим огнем, пьяная - унего захватило дух от радости. Радость опьяняла сильнее вина, которое он продолжал пить, почти сам того не замечая, стакан за стаканом, глядя на море, тоже синее, точно горящее синим огнем, тоже пьяное и опьяняющее.

- В немецких курантах пишут: Куранты - газеты, ведомости (устар.).

младшего-то брата моего, Петиньку, нынешним летом в Петергофе чуть громом не убило; мама на руках его держала, так едва живаосталась; а солдата караульного зашибло до смерти. С тойпоры младенец все хиреет, да хиреет - видно, не жилецна свете. А уж ведь как берегли, как холили! ЖальПетиньки. Младенческая душенька, пред Богом неповинная. За чужие грехи терпит, за родительские, бедненький. Спаси его Господь и помилуй! А только вот, говорю, воля-то Божья, чудо-то, знаменье! И как батюшка не вразумится? Страшно, страшно впасть в руки Бога живого!..

- А кто из сенаторов станет за тебя?- спросилавдруг Евфросинья, и опять та же странная искра промелькнула в глазах ее и тотчас потухла - словно пронесли свечу за темным пологом.

- А тебе для чего?- посмотрел на нее царевич судивлением, как будто совсем забыл о ней и теперь тольковспомнил, что она его слушает.

Евфросинья больше не спрашивала. Но едва уловимая чуждая тень прошла между ними.

- Хоть и не все мне враги, а все злодействуют, в угоду батюшке, потому что трусы,- продолжал царевич.- Да мне никого и не нужно. Плюну я на всех здорова бы мне чернь была!- повторил он свое любимое слово.- Как буду царем, старых всех выведу, а изберу новых,

по своей воле. Облегчу народ от тягостей пусть отдохнет. Боярскую толщу поубавлю, будет имжиру нагуливать - о крестьянстве порадею, о слабых исирых, о меньшей братье Христовой. И церковный и земский собор учиню, от всего народа выборных: пусть вседоводят правду до царя, без страха, самым вольным голосом, дабы царство и церковь исправить многосоветиемобщим и Духа Святого нашествием на веки вечные!..

Он грезил вслух, и грезы становились все туманнее, все сказочнее.

Вдруг злая острая мысль ужалила сердце, как овод: ничему не бывать; все врешь; славу пустила синица, аморя не зажгла.

И представилось ему, что рядом с отцом - исполином, кующим из железа новую Россию - сам он со своими грезами - маленький мальчик, пускающий мыльныепузыри. Ну куда ему тягаться с батюшкой?

Но он тотчас прогнал эту мысль, отмахнулся от нее, какот назойливой мухи: буди воля Божья во всем; пусть батюшка кует железо на здоровье, он делает свое, а Бог - свое;

захочет Бог - и лопнет железо, как мыльный пузырь.

И он еще слаще отдался мечтам. Чувствуя себя уже не сильным, а слабым - но это была приятная слабость с улыбкой, все более кроткой и пьяной, слушал, как морешумит, и чудилось ему в этом шуме что-то знакомое, давнеее-давнее-то ли бабушка баюкает, то ли Сирин, птицарайская, поет песни царские.

- А потом, как землю устрою и народ облегчус великим войском и флотом пойду на Царьград. Турокповыбью, славян из-под ига неверных освобожу, на Св.

Софии крест водружу. И соберу вселенский собор длявоссоединения церквей. И дарую мир всему миру, да притекут народы с четырех концов земли под сень СофииПремудрости Божией, в царство священное, вечное, восретение Христу Грядущему!..

Евфросинья давно уже не слушала,- все время зевала и крестила рот; наконец, встала, потягиваясь и почесываясь.

- Разморило меня что-то. С обеда, чай, немца-тождавши, не выпалась. Пойду-ка-сь я, Петрович, лягу, что ль?

- Ступай, маменька, спи с Богом. Может и я приду, погода - только вот голубков покормлю.

Она вышла в соседнюю комнату - спальню, а царевич - на галерею, куда уже слетались голуби, ожидая обычного корма.

Он разбрасывал им крошки и зерна с тихим ласковым зовом: - Гуль, гуль, гуль.

И так же, как, бывало, в Рождестве, голуби, воркуя, толпились у ног его, летали над головой, садились на плечи и руки, покрывали его, точно одевали, крыльями. Он глядел с высоты на море, и в трепетном веянии крыльев казалось ему, что он сам летит на крыльях туда, в бесконечную даль, через синее море, к светлой, как солнце, Софии Премудрости Божией.

Ощущение полета было так сильно, что сердце замирало, голова кружилась. Ему стало страшно. Он зажмурил глаза и судорожно схватился рукою за выступ ограды: почудилось, что он уже не летит, а падает.

Нетвердыми шагами вернулся он в комнату. Туда же из спальни торопливо вышла Евфросинья уже совсем раздетая, в одной сорочке, с босыми ногами влезла на стул и стала заправлять лампадку перед образом. Это была старинная любимая царевичева икона Всех Скорбящих Матери; всюду возил он ее за собою и никогда не расставался с нею.

- Грех-то какой? Завтра Успение Владычицы, а я забыла. Так бы и осталась без лампадки Матушка.

Часы-то, Петрович, будешь читать? Налой готовить ли?

Перед каждым большим праздником, за неимением попа, он сам справлял службы, читал часы и пел стихеры.

- Нет, маменька, разве к ночи. Устал я что-то, голова болит.

- Вина бы меньше пил, батюшка.

- Не от вина, чай - от мыслей: вести-то больно радостные?..

Засветив лампадку и возвращаясь в спальню, она остановилась у стола, чтобы выбрать в подаренной немцем корзине самый спелый персик: в постели перед сном любила есть что-нибудь сладкое.

Царевич подошел к ней и обнял ее.

- Афросьюшка, друг мой сердешненький, аль не рада? Ведь будешь царицею, а Селебенький...

"Серебряный" или, нежнее, как выговаривают маленькие дети -- "Селебеный" было прозвище ребенка, непременно, думал он, сына, который должен был родиться у Евфросиньи: она была третий месяц беременна. "Ты у меня золотая, а сынок будет серебряный", говорил оней в минуты нежности.

- Будешь царицею, а Селебеный наследником? продолжал царевич.- Назовем его Ваничкой - благочестивейший, самодержавнейший царь всея России, Иоанн Алексеевич?..

Она освободилась тихонько из его объятий, оглянулась через плечо, хорошо ли лампадка горит, закусила персик и, наконец, ответила ему спокойно:

- Шутить изволишь, батюшка. Где мне, холопке, царицею быть?

- а женюсь, так будешь. Ведь и батюшка таковым же образом учинил. Мачеха-то, Катерина Алексеевна тоже не знамо какого роду была - сорочки мыла с чухонками, в одной рубахе в полон взята, а ведь вот же царствует. Будешь и ты, Евфросинья Федоровна, царицею, небось не хуже других?..

Он хотел и не умел сказать ей все, что чувствовал: за то, может быть, и полюбил он ее, что она простая холопка; ведь и он, хотя царской крови - тоже простой, спеси боярской не любит, а любит чернь; от черни-то и царство примет; добро за добро: чернь сделает его царем, а он ее, Евфросинью, холопку из черни - царицею.

Она молчала, потупив глаза, и по лицу ее видно было только, что ей хочется спать. Но он обнимал ее все крепче и крепче, ощущая сквозь тонкую ткань упругость исвежесть голого тела. Она сопротивлялась, отталкивая руки его. Вдруг нечаянным движением потянул он вниз полу расстегнутую, едва державшуюся на одном плече сорочку. Она совсем расстегнулась, соскользнула и упала к ее ногам.

Вся обнаженная, в тусклом золоте рыжих волос, как в сиянии, стояла она перед ним. И странною и соблазнительною казалась черная мушка над левою бровью.

И в скошенном, удивленном разрезе глаз было что-то козье, чуждое и дикое.

- Пусти, пусти же, Алешенька. Стыдно?

Но если она стыдилась, то не очень: только немного отвернулась со своей обычной, ленивою, как будто презрительной усмешкою, оставаясь, как всегда, под ласками его, холодною, невинною, почти девственной, несмотря на чуть заметную округлость живота, которая предвещала полноту беременности. В такие минуты казалось ему, что тело ее ускользает из рук его, тает, воздушное, как призрак.

- Афрося? Афрося?- шептал он, стараясь поймать, удержать этот призрак, и вдруг опустился перед ней на колени.

- Стыдно,- повторила она.- Перед праздником.

Вон и лампада горит... Грех, грех?

Но тотчас опять равнодушно, беспечно поднесла закушенный персик ко рту, полураскрытому, алому и свежему, как плод.

"Да, грех,- мелькнуло в уме его,- от жены начало греху, и тою мы все умираем"...

И он тоже невольно оглянулся на образ, и вдруг вспомнил, как точно такой же образ в Летнем саду, ночью, во время грозы, упал из рук -батюшки и разбился у подножия Петербургской Венус - Белой Дьяволицы.

В четырехугольнике дверей, открытых на синее море, тело ее выступало, словно выходило, из горячей синевы морской, золотисто-белое, как пена волн. В одной руке держала она плод, другую опустила, целомудренным движением закрывая наготу свою, как Пеннорожденная.

А за нею играло, кипело синее море, как чаша амброзии, и шум его подобен был вечному смеху богов.

Это была та самая дворовая девка Афросья, которая однажды весенним вечером в домике Вяземских на Малой Охте, наклонившись низко в подоткнутой юбке, мыла пол шваброю. Это была девка Афросья и богиня Афродита - вместе.

"Венус, Венус, Белая Дьяволица!" - подумал царевич в суеверном ужасе и готов был вскочить, убежать. Но от грешного и все-таки невинного тела, как из раскрытого цветка, пахло на него знакомым упоительным страшным запахом, и, сам не понимая, что делает - он еще ниже склонился перед ней и поцеловал ее ноги, и заглянул ей в глаза, и прошептал, как молящийся: - Царица! Царица моя!..

А тусклый огонек лампадки мерцал перед святым искорбным Ликом.

Наместник цесаря в Неаполе, граф Даун пригласил царевича на свидание к себе в Королевский дворец вечером 26-го сентября.

В последние дни в воздухе чувствовалось приближение сирокко, африканского ветра, приносящего из глубин Сахары тучи раскаленного песка. Должно быть, ураган уже разразился и бушевал в высочайших воздушных слоях, но внизу была бездыханная тишь. Листья пальми ветви мимоз висели, недвижные. Только море волновалось громадными беспенными валами мертвой зыби, которые разбивались о берег с потрясающим грохотом.

Даль была застлана мутною мглою, и на безоблачном небе солнце казалось тусклым, как сквозь дымчатый опал. Воздух пронизан тончайшею пылью. Она проникала всюду, даже в плотно запертые комнаты, покрывала серым слоем белый лист бумаги и страницы книг;

хрустела на зубах; воспаляла глаза и горло. Было душно, и с каждым часом становилось все душнее. В природе чувствовалось то же, что в теле, когда нарывает нарыв.

Люди и животные, не находя себе места, метались в тоске. Народ ожидал бедствий - войны, чумы, или извержения Везувия.

И действительно, в ночь с 23-го на 24-е сентября жители Торре дель Греко, Резины и Портичи почувствовали первые подземные удары. Появилась лава. Огненный поток уже приближался к самым верхним, расположенным по склону горы, виноградникам. Для умиловления гнева Господня совершались покаянные шествия зажженными свечами, тихим пением и громкими воплями самобичующихся. Но гнев Божий не утолялся. Из Везувия днем валил черный дым, как из плавильной печи, расстилаясь длинным облаком от Кастелламаредо Позиллиппо, а ночью вздымалось красное пламя, как зарево подземного пожара. Мирный жертвенник богов превращался в грозный факел Евменид. Наконец, в самом Неаполе слышались, точно подземные громы, первые гулы землетрясения, как будто снова пробуждались древние Титаны. Город был в ужасе. Вспоминались дни Содома и Гоморры. А по ночам, среди мертвой тишины, где-нибудь в щелях окна, под дверью или в

трубеочага раздавался тонкий-тонкий, ущемленный визг, точнопойманный комар жужжал: то сирокко заводило свои песни. Звук разрастался, усиливался, и казалось, вотвот разразится неистовым воем,- но вдруг замирал, обрывался - и опять наступала тишина, еще более мертвая.

Как будто злые духи, и внизу, и вверху, перекликались, совещались о страшном дне Господнем, которым должен кончиться мир.

Все эти дни царевич чувствовал себя больным. Новрач успокоил его, сказав, что это с непривычки от сирокко, и прописал освежающую кислую микстуру, от которой ему действительно сделалось легче. В назначенный деньи час поехал он во дворец на свидание с наместником.

Встретивший его в передней караульный офицер передал ему почтительнейшее извинение графа Дауна, что его высочеству придется несколько минут подождать в приемной зале, так как наместник принужден был отлучиться по важному и неотложному делу.

Царевич вошел в огромную и пустынную приемную залу, убранную с мрачною, почти зловещею, испанскою роскошью: кроваво-красный шелк обоев, обилие тяжелой позолоты, резные шкафы из черного дерева, подобные гробницам, зеркала, такие тусклые, что в них, казалось, отражались только лица призраков. По стенам - большие, темные полотна - благочестивые картины старинных мастеров: римские солдаты, похожие на мясников, жгли, секли, резали, пилили и всякими иными способами терзали христианских мучеников; это напоминало бойню, или застенки, Святейшей Инквизиции. А вверху, на потолке, среди раззолоченных завитков и раковин - Триумф Олимпийских богов: в этом жалком ублюдке Тициана и Рубенса виден был конец Возрождения - в утонченной изнеженности варварское одичание и огрубение искусства; груды голого тела, голого мяса - жирные спины,

пухлые, в складках, животы, раскоряченные ноги, чудовищно-отвислые женские груди. Казалось, что все эти боги и богини, откормленные, как свиные туши, и маленькие амурчики, похожие на розовых поросят,- весь этот скотоподобный Олимп предназначался

для христианской бойни, для пыточных орудий Святейшей Инквизиции.

Царевич долго ходил по зале, наконец, устал и сел.

В окна вползали сумерки, и серые тени, как пауки, ткали паутину по углам. Кое-где лишь выступала, светлея, позолоченная львиная лапа и острогрудый гриф, которые поддерживали яшмовую или малахитовую доску круглого стола, да закутанные кисеею люстры тускло поблескивали хрустальными подвесками, как исполинские коконы в каплях росы. Царевичу казалось, что удушье сирокко увеличивается от этого множества голого тела, голого мяса, упитанного, языческого - вверху, и страдальческого, христианского - внизу. Рассеянный взгляд его, блуждая по стенам, остановился на одной картине, непохожей на другие, выступавшей среди них, как светлое пятно: обнаженная до пояса девушка с рыжими волосами, с почти детскою, невинною грудью, с прозрачно-желтыми глазами и бессмысленной улыбкою: в приподнятых углах губ и в слегка скошенном, удлинённом разрезе глаз было что-то козье, дикое и странное, почти жуткое, напугавшее девушку Афроську. Ему вдруг смутно почуялась какая-то связь между этою усмешкою и нарывающим удушением сирокко. Картина была плохая, снимок со старинного произведения ломбардской школы, ученика учеников Леонардо. В этой обесмысленной, новсе еще загадочной усмешке отразилась последняя тень благородной гражданки Неаполя, моны Лизы Джоконды.

Мона Лиза была жительницей Флоренции.

Царевич удивлялся, что наместник, всегда изысканно.

вежливый заставляет его ждать так долго; и куда запропастился Вейнгарт, и почему такая тишина - весь дворец точно вымер?

Хотел встать, позвать кого-нибудь, велеть принести свечи. Но на него напало странное оцепенение, как будто он был заткан, облеплен тою серою паутиною, которую тени, как пауки, ткали по углам. Лень было двинуться.

Глаза слипались. Он открывал их с усилием, чтобы незаснуть. И все-таки заснул на несколько мгновений. Но когда проснулся, ему показалось, что прошло много времени.

Он видел во сне что-то страшное, но не мог вспомнить что. Только в душе осталось ощущение несказанной тяжести, и опять почудилась ему связь между этим страшным сном, бессмысленной усмешкой рыжей девушки и нарывающим удушьем сирокко. Когда он открыл глаза, то увидел прямо перед собою лицо бледное-бледное, подобное призраку. Долго не мог понять, что это. Наконец понял, что это его же собственное лицо, отраженное в тусклом простеночном зеркале, перед которым, сидя в кресле, он заснул. В том же зеркале, как раз у него за спиной, видна была закрытая дверь. И ему казалось, что сон продолжается, что дверь сейчас откроется, и в нее войдет то страшное, что он только что видел во сне и чего не мог вспомнить.

Дверь отворилась беззвучно. В ней появился свет восковых свечей и лица. Глядя по-прежнему в зеркало, необорачиваясь, он узнал одно лицо, другое, третье. Вскочил, обернулся, выставив руки вперед, с отчаянною надеждою, что это ему только почудилось в зеркале, но увидел в действительности то же, что в зеркале - и из груди его вырвался крик беспредельного ужаса: - Он! Он! Он!

Царевич упал бы навзничь, если бы не поддержал его сзади секретарь Вейнгарт.

- Воды! Воды! Царевичу дурно!

Вейнгарт бережно усадил его в кресло, и Алексей увидел над собою склоненное доброе лицо старого графа Дауна. Он гладил его по плечу и давал ему нюхать спирт.

- Успокойтесь, ваше высочество! Ради Бога, успокойтесь! Ничего дурного не случилось. Вести самые добрые...

Царевич пил воду, стуча зубами о края стакана. Не отводя глаз от двери, он дрожал всем телом непрерывною мелкою дрожью, как в сильном ознобе.

- Сколько их? - спросил он графа Дауна шепотом.

- Двое, ваше высочество, всего двое.

- А третий? Я видел третьего...

- Вам, должно быть, почудилось.

- Нет, я видел его! Где же он?

- Кто он?

- Отец!..

Старик посмотрел на него с удивлением.

- Это от сирокко,-объяснил Вейнгарт.- Маленький прилив крови в голове.. Часто бывает. Вот и у меняс утра нынче все какие-то синие зайчики в глазах прыгают. Пустить кровь - и как рукой снимет.

- Я видел его!- повторял царевич.- Клянусь Богом, это был не сон! Я видел его, граф, вот как вас теперьвижу...

- Ах, Боже мой. Боже мой!- воскликнул старик сискренным огорчением.- Если бы только знал, что вашевысочество не совсем хорошо себя чувствует, я ни за чтоне допустил бы... Можно, впрочем, и теперь еще отложитьсвидание?..

- Нет, не надо - все равно. Я хочу знать,- проговорил царевич.- Пусть подойдет ко мне один старик, А того, другого, не допускайте...

Он судорожно схватил его за руку:

- Ради Бога, граф, не допускайте того!.. Он - убийца!.. Видите, как он смотрит... Я знаю: он послан царем, чтобы зарезать меня!..

Такой ужас был в лице его, что наместник подумал: "А кто их знает, этих варваров, может быть, и в самомделе?.."-И вспомнились ему слова императора из подлинной инструкции:

"Свидание должно быть устроено так, чтобы никто измосквитян (отчаянные люди и на все способные!) не напал на царевича и не возложил на него рук, хотя я тогоне ожидаю".

- Будьте покойны, ваше высочество: жизнью и честью моей отвечаю, что они не сделают вам никакогозла.

И наместник шепнул Вейнгарту, чтобы он велел усилить стражу.

А в это время уже подходил к царевичу неслышнымискользящими шагами, выгнув спину с почтительнейшимвидом и низжайшими поклонами, Петр Андреевич Толстой.

Спутник его, капитан гвардии, царский денщик исполинского роста с добродушным и красивым лицом не торимского legionера, не то русского Иванушки-дурачка, Александр Иванович Румянцев, по знаку наместникаостановился в отдалении у дверей.

- Всемиловейший государь царевич, ваше высочество! Письмо от батюшки,- проговорил Толстой и, склонившись еще ниже, так что левою рукою почти коснулся пола, правою передал ему письмо.

Царевич узнал в написанном на обертке одном толькослове Сыну почерк отца, дрожащими руками распечаталписьмо и прочел:

"Мой сын!

Понеже всем есть известно, какое ты непослушаниеи презрение воли моей делал, и ни от слов, ни от наказания не последовал наставлению моему; но, наконец, обольстя меня и заклинаясь Богом при прощании со мною, потом что учинил? Ушел и отдался, яко изменник, под чужую протекцию! Что не слыхано не точию между нашихдетей, но ниже между нарочитых подданных. Чем какуюобиду и досаду отцу своему, и стыд отечеству своемуучинил! Того ради, посылаю ныне сие последнее к тебе, дабы ты по воле моей сделал, о чем тебе господин Толстой и Румянцев будут говорить и предлагать. Буде жепобоишься меня, то я тебя обнадеживаю и обещаю Господом и судом Его, что никакого наказания тебе не будет;

но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься. Буде же сего не учинишь, тояко отец, данною мне от Бога властью, проклиная тебянавечно; а яко государь твой, за изменника объявляю ине оставляю всех способов тебе, яко изменнику и ругателюотцову, учинить, в чем Бог мне поможет в моей истине.

К тому помяни, что я все не насильством тебе делал; акогда б захотел, то почто на твою волю полагаться? Чтоб хотел, то б сделал.

Петр"

Прочитав письмо, царевич взглянул опять на Румянцева. Тот поклонился и хотел подойти. Но царевич побледнел, задрожал, привстал в кресле и проговорил: - Петр Андреич... Петр Андреич... не вели ему подходить!.. А то уйду... уйду сейчас... Вот и граф говорит, чтоб не смел...

По знаку Толстого, Румянцев опять остановился, с недоумением на своем красивом и неумном лице.

Вейнгарт подал стул. Толстой придвинул его к царевичу, сел почтительно на самый кончик, наклонился, заглянул ему прямо в глаза простодушным доверчивымвзором и заговорил так, как будто ничего особенного неслучилось, и они сошлись для приятной беседы.

Это был все тот же изящный и превосходительныйгосподин тайный советник и кавалер, Петр АндреевичТолстой: черные бархатные брови, мягкий бархатныйвзгляд, ласковая бархатная

улыбка, вкрадчивый бархатный голос - бархатный весь, а жалъце есть.

И хотя царевич помнил изречение батюшки: "Толстой - умный человек; но когда с ним говоришь, следует держать камень за пазухой" - он все-таки слушал его судовольствием. Умная, деловитая речь успокаивала его, пробуждала от страшных видений, возвращала к действительности. В этой речи все умягчалось, углаживалось.

Казалось, можно было устроить так, что и волки будут сыты, и овцы целы. Он говорил, как опытный старый хирург, который убеждает больного в почти приятной легкости труднейшей операции.

"Употреблять ласку и угрозы, приводя, впрочем, удобовымышленные рации и аргументы",- сказано было в царской инструкции,- и если бы царь его слышал, то остался бы доволен.

Толстой подтвердил на словах то, что было в письме совершенную милость и прощение в том случае, ежели царевич вернется.

Затем привел подлинные слова царя из данной ему, Толстому, инструкции о переговорах с цесарем, причем в голосе его сквозь прежнюю уветливую ласковость звучала твердость.

- "Буде цесарь станет говорить, что сын наш отдался под его протекцию, что он не может против воли его выдать, и иные отговорки и затейные опасения будет объявлять,- представить, что нам не может то иначе, как чувственно быть, что он хочет меня с сыном судить, понеже, по натуральным правам, особливо же нашего государства, никто и меж партикулярными подданными особами отца с сыном судить не может: сын должен повиноваться воле отцовой. А мы, самодержавный государь, ничем цесарю не подчинены, и вступаться ему не следует, а надлежит к нам отослать; мы же,- как отец и государь, по должности родительской, его милостиво паки примем и тот его проступок простим, и будем его наставлять, чтобы, оставив прежние непотребные дела, поступал в пути добродетели, последовал нашим намерениям; таким образом может привратить к себе паки наше отеческое сердце;

чем его царское величество покажет и над ним милости заслужит себе от Бога воздаяние, а от нас благодарение;

да и от сына нашего более будет за вечно возблагодарен, нежели за то, что ныне содержится, как невольник или злодей, за крепким караулом, под именем некоторого бунтовщика, графа венгерского, к предосуждению чести нашей и имени. Но буде, паче чаяния, цесарь в том весьма откажет,- объявить, что мы сие примем за явный разрыв и будем пред всем светом на цесаря чинить жалобы и искать неслыханную и несласную нам и чести нашей обиду отомстить".

- Пустое!- перебил царевич.- Николи из-за меня батюшка с цесарем войны не начнет.

- Я чаю, войны не будет,- согласился Толстой. цесарь и без войны тебя выдаст. Никакой ему пользы нет, но больше есть трудность, что ты в его области пребываешь. А свое обещание тебе он уже исполнил, протектовал, доколе батюшка изволил простить, а ныне, как простил, то уже повинности цесаревой нет, чтобы против всех прав удерживать тебя и войну с цесарем чинить будучи и кроме того в войне с двух сторон, с турками да гишпанцами: и тебе, чай, ведомо, что флот гишпанский стоит ныне между Неаполем и Сардинией и намерен атаковать Неаполь, понеже тутошняя шляхта сделала комплот (франц. complot).

и желает быть лучше под властью гишпанскою, нежели цесарскою. Не веришь мне, так спроси вице-роя:

получил от цесаря письмо саморучное, дабы всеми верами склонил тебя ехать к батюшке, а по последней вере, куды ни есть, только бы из его области выехал. А когда добром не выдадут, то государь намерен тебя доставать и оружием; конечно, для сего и войска свои в Польше держит, чтобы их вскоре поставить на квартиры зимовые в Слезии: а оттуда недалеко и до владений цесарских...

Толстой заглянул ему в глаза еще ласковее и тихонько дотронулся до руки его:

- Государь-царевич батюшка, послушай-ка увещания родительского, возвратись к отцу! "А мы, говорит царь, слова его величества подлинны, - простим и примем его паки в милость нашу, и обещаем содержать отечески во всякой свободе и довольстве, без всякого гнева и принуждения".

Царевич молчал.

- "Буде же, говорит, к тому весьма не склонится, продолжал Толстой с тяжелым вздохом, - объявить ему именем нашим, что мы, за такое прослушание, предав его клятве отеческой и церковной, объявим во все государство наше изменником; пусть-де рассудит, какой ему будет живот? Не думал бы, что может быть безопасен; разве вечно в заключении и за крепким караулом. И так душе своей в будущем, а телу и в сем еще веке мучение заслужит. Мы же искать не оставим, всех способов к наказанию непокорства его; даже вооруженною рукою цесаря к выдаче его принудим. Пусть рассудит, что из того последует".

Толстой умолк, ожидая ответа, но царевич тоже молчал. Наконец поднял глаза и посмотрел на Толстого пристально.

- А сколько тебе лет, Петр Андреич?

- Не при дамах будь сказано, за семьдесят перевалило, - ответил старик с любезною улыбкою.

- А кажись, по Писанию-то, семьдесят - предел жизни человеческой. Как же ты, Петр Андреич, одной ногой во гробе стоя, за такое дело взялся? А я-то еще думал, что ты любишь меня...

- И люблю, родимый, видит Бог, люблю! Ей, до последнего издыхания, служить тебе рад. Одно только вмыслях имею - помирить тебя с батюшкой. Дело святое: блаженны-де, сказано, миротворцы...

- Полно-ка врать, старик! Аль думаешь, не знаю, зачем вы сюда с Румянцевым присланы? На него, разбойника, дивить нечего. А ты, ты, Андреич... На будущего царя и самодержца руку поднял! Убийцы, убийцы вы оба! Зарезать меня батюшкой присланы!..

Толстой в ужасе всплеснул руками.

- Бог тебе судья, царевич!..

Такая искренность была в лице его и в голосе, что, как ни знал его царевич, все-таки подумал: не ошибся ли, не обидел ли старика напрасно? Но тотчас рассмеялся - даже злоба прошла: в этой лжи было что-то простодушное, невинное, почти пленительное, как в лукавстве женщин и в игре великих актеров.

- Ну, и хитер же ты, Петр Андреич! А только никакою, брат, хитростью в волчью пасть овцу не заманишь.

- Это отца-то волком разумеешь?

- Волк не волк, а попадись я ему - и костей моих не останется! Да что мы друг друга морочим? Ты и сам, чай, знаешь...

- Алексей Петрович, ах, Алексей Петрович, батюшка!

Когда моим словам не веришь, так ведь вот же в письме собственноручной его величества рукой написано: обещаю Богом и судом Его. Слышишь, Богом заклиняется! Ужли же царь клятву преступит перед всею Европою?..

- Что ему клятвы? - перебил царевич. - Коли самне разрешит, так Федоска. За архиереями дело не станет. Разрешат соборно. На то самодержец российский!

Два человека на свете, как боги - царь Московский да папа Римский: что хотят, то и делают... Нет, Андреич, даром слов не трать. Живым не дамся!

Толстой вынул из кармана золотую табакерку с пастушком, который развязывает пояс у спящей пастушки, не торопясь, привычным движением пальцев размял понюшку, склонил голову на грудь и произнес, как будто про себя, в глубоком раздумьи:

- Ну, видно, быть так. Делай как знаешь. Меня, старика, не послушал - может быть, отца послушаешь.

Он и сам, чай, скоро будет здесь...

- Где здесь?.. Что ты врешь, старик? - произнес царевич, бледнея, и оглянулся на страшную дверь.

Толстой, по-прежнему не торопясь, засунул понюшку сначала в одну ноздрю, потом в другую - затянулся, стряхнул платком табачную пыль с кружева на груди и произнес:

- Хотя объявлять не велено, да уж, видно, все равно, проговорился. Получил я наместники от царского величества письмо саморучное, что изволят немедленно ехать в Италию. А когда приедет сам, кто может возбранить отцу с тобою видеться? Не мысли, что сему нельзя сделаться, понеже ни малой в том трудности. Трудность, затруднение (франц. *difficulté*).

нет, кроме токмо изволения царского величества. А то тебе и самому известно, что государь давно в Италию ехать намерен, ныне же наипаче для сего случая всемерно поедет.

Еще ниже опустил он голову, и все лицо его вдруг сморщилось, сделалось старым-престарым, казалось, он готов был заплакать -

даже как будто слезинку смахнул.

И еще раз услышал царевич слова, которые так часто слышал.

- Куда тебе от отца уйти? Разве в землю, а то везденайдет. У царя рука долга. Жаль мне тебя, Алексей Петрович, жаль, родимый...

Царевич встал, опять, как в первые минуты свидания, дрожа всем телом.

- Подожди, Петр Андреич. Мне надобно графу два слова сказать.

Он подошел к наместнику и взял его за руку.

Они вышли в соседнюю комнату. Убедившись, что двери заперты, царевич рассказал ему все, что говорил Толстой, и в заключение, схватив руки старика похолодевшими руками, спросил:

- Ежели отец будет требовать меня вооруженною рукою, могу ли я положиться на протекцию цесаря?

- Будьте покойны, ваше высочество! Император довольно силен, чтобы защищать принимаемых им под свою протекцию, во всяком случае...

- Знаю, граф. Но говорю вам теперь не как наместнику императора, а как благородному кавалеру, как доброму человеку. Вы были ко мне так добры всегда. Скажите же всю правду, не скрывайте от меня ничего, ради Бога, граф! Не надо политики! Скажите правду!.. О, Господи!.. Видите, как мне тяжело!..

Он заплакал и посмотрел на него так, как смотрят затравленные звери. Старик невольно потупил глаза.

Высокий, худощавый, с бледным, тонким лицом, несколько похожим на лицо Дон Кихота, человек добрый, но слабый и нерешительный, с двоящимися мыслями, рыцарь и политик граф Даун вечно колебался между старым неполитичным рыцарством и новою нерыцарскою политикой. Он чувствовал жалость к царевичу, но, вместе с тем, страх, как бы не впутаться в ответственное дело страх пловца, за которого хватается утопающий.

Царевич опустил перед ним на колени.

- Умоляю императора именем Бога и всех святых не покидать меня! Страшно подумать, что будет, если я попадусь в руки отцу. Никто не знает, что это за человек... я знаю... Страшно, страшно!

Старик наклонился к нему, со слезами на глазах.

- Встаньте, встаньте же, ваше высочество! Богом клянусь, что говорю вам всю правду, без всякой политики: насколько я знаю цесаря, ни за что не выдаст он вас отцу;

это было бы унизительно для чести его величества и противно всесветным правам - знаком варварства!

Он обнял царевича и поцеловал его в лоб с отеческою нежностью.

Когда они вернулись в приемную, лицо царевича было бледно, но спокойно и решительно. Он подошел к Толстому и, не садясь и его не приглашая сесть, видимо, давая понять, что свидание кончено, сказал:

- Возвратиться к отцу опасно и пред разгневанною елицо явиться не бесстрашно; а почему не смею возвратиться, о том донесу письменно протектору моему, цесарскому величеству. Отцу, может быть, буду писать, ответствуя на его письмо, и тогда уже дам конечный ответ. А сегочасу не могу ничего сказать, понеже надобно мыслить о том гораздо.

- Ежели, ваше высочество,- начал опять Толстой вкрадчиво,- какие предложить имеешь кондиции, можешь и мне объявить. Я чай, батюшка на все согласится.

И на Евфросинье жениться позволит. Подумай, подумай, родной. Утро вечера мудрее. Ну, да мы еще поговорить успеем. Не в последний раз видимся...

- Говорить нам, Петр Андреич, больше не о чем и видеться незачем. Да ты долго ли здесь пробудешь?

- Имею повеление,- возразил Толстой тихо и посмотрел на царевича так, что ему показалось, будто из глаз его глянули глаза батюшки,- имею повеление не удаляться отсюда, прежде чем возьму тебя, и если бы перевезли тебя в другое место,- и туда буду за тобою следовать.

Потом прибавил еще тише:

- Отец не оставит тебя, пока не получит, живым или мертвым.

Из-под бархатной лапки высунулись когти, но тотчас же спрятались. Он поклонился, как при входе, глубочайшим поклоном, хотел даже поцеловать руку царевича, но тот ее отдернул.

- Всемиловейшей особы вашего высочества всепокорный слуга!

И вышел с Румянцевым в ту же дверь, в которую вошел.

Царевич проводил их глазами и долго смотрел на эту дверь неподвижным взором, словно промелькнуло перед ним опять ужасное видение.

Наконец опустился в кресло, закрыл лицо руками и согнулся, съежился весь, как будто под страшною тяжестью.

Граф Даун положил руку на плечо его, хотел сказать что-нибудь в утешение, но почувствовал, что сказать нечего, и молча отошел к Вейнгарту.

- Император настаивает,- шепнул он ему,- чтоб царевич удалил от себя ту женщину, с которой живет.

У меня не хватило духу сказать ему об этом сегодня. Когда нибудь, при случае скажите вы.

"Мои дела в великом находятся затруднении,- писал Толстой резиденту Веселовскому в Вену.- Ежели не отчаются наше дитя протекции, под которою живет, никогда не помыслит ехать. Того ради, надлежит вашей милости во всех местах трудиться, чтобы ему явно показали, что его оружием защищать не будут; а он в том все Твое упование полагает. Мы должны благодарствовать усердие здешнего вице-роя в нашу пользу; да не можем преломить замерзлого упрямства. Сего часу не могу больше писать, понеже еду к нашему зверю, а почта отходит".

Толстому случалось не раз бывать в великих затруднениях, и всегда выходил он сух из воды. В молодости участвовал в стрелецком бунте - все погибли - он спасся.

Сидя на Устюжском воеводстве, пятидесяти лет от роду, имея жену и детей, вызвался ехать, вместе с прочими "российскими младенцами", в чужие края для изучения навигации - и выучился. Будучи послом в Константинополе, трижды попадал в подземные тюрьмы Семибашенного замка и трижды выходил оттуда, заслужив особую милость царя. Однажды собственный секретарь его написал на него донос в растрате казенных денег, но не успев отослать, умер скоропостижно; а Толстой объяснил: "Вздумал подьячий Тимошка обусурманиться, познакомившись стурками; Бог мне помог об этом сведать; я призвал его тайно и начал говорить, и запер в своей спальне до ночи, а ночью выпил он рюмку вина и скоро умер: так его Бог сохранил от беды".

Недаром он изучал и переводил на русский язык "Никола Макиавеля, мужа благородного флорентийского, Увещания Политические". Сам Толстой слыл Макиавелем Российским. "Голова, голова, кабы не так умна ты была, давно б я отрубить тебя велел!" - говорил о нем царь.

И вот теперь боялся Толстой, как бы в деле царевича эта умная голова не оказалась глупою, Макиавель Российский - в дураках. А между тем он сделал все, что можно было сделать; опутал царевича тонкою и крепкою сетью: внушил каждому порознь, что все остальные тайно желают выдачи его, но сами, стыдясь нарушить слово, поручают это сделать другим: цесарева - цесарю, цесарьканцлеру, канцлер - наместнику, наместник - секретарю.

Последнему Толстой дал взятку в 160 червонных и пообещал прибавить, ежели он уверит царевича, что цесарь протектовать его больше не будет. Но все усилия разбивались о "замерзлое упрямство".

Хуже всего было то, что он сам напросился на эту поездку. "Должно знать свою планету", - говаривал он. И ему казалось, что его планета есть поимка царевича, и что ею увенчает он все свое служебное поприще, получит андреевскую ленту и графство, сделается родоначальником нового дома графов Толстых, о чем всю жизнь мечтал.

Что-то скажет царь, когда он вернется ни с чем?

Но теперь он думал не о потере царской милости, андреевской ленты, графского титула; как истинный охотник, все на свете забыв, думал он только о том, что зверь уйдет.

Через несколько дней после первого свидания с царевичем, Толстой сидел за чашкой утреннего шоколада на балконе своих роскошных покоев, в гостинице Трех Королей на самой бойкой улице Неаполя, Виа-Тоledo. В полночь, в темноте, без парика, с голым черепом, с остатками седых волос только на затылке, он казался очень старым, почти дряхлым. Молодость его - вместе с книгой "Метаморфозы Овидия", или "Применение Овидиево", которую он переводил на русский язык - его собственная метаморфоза, баночки, кисточки и великолепный алоновый парик с юношескими черными как смоль кудрями лежали в уборной на столике перед зеркалом.

На сердце кошки скребли. Но, как всегда, в минуты глубоких раздумий о делах политики, имел он вид беспечный, почти легкомысленный; переглядывался с хорошенькою соседкою, тоже сидевшею на балконе в домечерез улицу, смуглолицою черноглазою испанкою из тех, которые, по слову Езопки, "к ручному труду не охочи, а заживают больше в прохладах"; улыбался ей с галантною любезностью, хотя улыбка эта напоминала улыбку мертвого черепа, и напевал своего собственного сочинения любовную песенку "К девице", подражание Анакреону:

Не бегай ты от меня, Видя седую голову;

Не затем, что красота блистает в тебе весна, Презирай мою любовь.

Посмотри хотя в венцах Сколь красивы, с белыми Ландышами смешанны, Розы нам являются!

Капитан Румянцев рассказывал ему о своих любовных приключениях в Неаполе.

По определению Толстого, Румянцев "был человек сложения веселого, жизнь оказывал приятную к людям паче касающееся до компании; но более был счастлив, нежели к высоким делам способен - только имел смелство доброго солдата" - попросту, значит, дурак. Но он его не презирал за это, напротив, всегда слушал и порою слушался: "Дураками-де свет стоит,- замечал Петр Андреич.- Катон, советник римский, говаривал, что дураки умным нужнее, нежели умные дуракам".

Румянцев бранил какую-то девку Камилку, которая вытянула у него за одну неделю больше сотни ефимок.

- Тутотские девки к нашему брату зело грабительницы!

Петр Андреевич вспомнил, как сам был влюблен много лет назад, здесь же, в Неаполе; про эту любовь рассказывал он всегда одними и теми же словами:

- Был я инаморат в синьору Франческу, и оную имел за метресу во всю ту свою бытность. И так была инаморат, что не мог ни часу без нее быть, которая коштowała мне в два месяца 1.000 червонных. И расстался с великою печалью, аж до сих пор из сердца моего тотamor не может выйти...

Он томно вздохнул и улыбнулся хорошенькой соседке.

- А что наш зверь?- спросил вдруг с видом небрежным, как будто это было для него последнее дело.

Румянцев рассказал ему о своей вчерашней беседе с навигатором Алешкой Юровым, Езопкою.

Напуганный угрозой Толстого схватить его и отправить в Петербург, как беглого. Юров, несмотря на свою преданность царевичу, согласился быть шпионом, доносить обо всем, что видел и слышал у него в доме.

Румянцев узнал от Езопки много любопытного и важного для соображений Толстого о чрезмерной любви царевича к Евфросинье.

- Она девка весьма в амурах профитует и, в большой конфиденции плезирует ночных, такую над ним силу взяла, что он перед ней пикнуть не смеет. Под башмаком держит.. Что она скажет, то он и делает. Жениться хочет, только попа не найдет, а то б уж давно повенчались.

Рассказал также о своем свидании с Евфросиньей, устроенном, благодаря Езопке и Вейнгарту, тайно от царевича, во время его отсутствия.

- Персона знатная, во всех статьях - только волосом рыжая. По виду тиха, воды, кажись, не замутит, должно быть, бедовая,- в тихом омуте черти водятся.

- А как тебе показалось,- спросил Толстой, у которого мелькнула внезапная мысль,- к амуру инклинацию ' имеет?

Склонность (франц. inclination).

- То есть, чтобы нашего-то зверя с рогами сделать? усмехнулся Румянцев.- Как и все бабы, чай, рада. Даведь не с кем...

- А хотя бы с тобой, Александр Иванович. Небось, с таким-то молодцом всякой лестно!- лукаво подмигнул Толстой.

Капитан рассмеялся и самодовольно погладил свои тонкие, вздернутые кверху, так же, как у царя кошачьи усики.

- С меня и Камилки будет! Куда мне двух?

- А знаешь, господин капитан, как в песенке поется: Перестань противляться сугубому жару: Две девы в твоём сердце вместятся без свару.

Не печалься, что будешь столько любви иметь, Ибо можно с услугой к той и другой поспеть;

Уволив первую, уволь и вторую!

А хотя б и десяток - немного сказую.

Вишь ты какой, ваше превосходительство, бедовый!- захохотал Румянцев, как истый денщик, показывая все свои белые ровные зубы.- Седина в бороду, а бес в ребро!

Толстой возразил ему другою песенкой:

Говорят мне женщины: "Анакреон, ты уж стар.

Взяв зеркало, посмотришь, Волосов уж нет над лбом".

Я не знаю, волосы На голове ль, иль сошли;

Одно только знаю - то, Что наипаче старику Должно веселиться, Ибо к смерти ближе он.

- Послушай-ка, Александр Иванович,- продолжал он, уже без шуток,- заместо того, чтоб с Камилкой-то без толку хороводиться, лучше бы ты с оною знатною персоной поамурился. Большая из того польза для дела была б. Дитя наше так жалузией Ревностью (франц. *jalousie*).

опутали бы, что никуда не ушел бы, сам в руки дался. На нашего брата, кавалера, нет лучше приманки, как баба!

- Что ты, что ты, Петр Андреич? Помилуй! Я думал, шутить изволишь, а ты и впрямь. Это дело щекотное. А ну, как он царем будет, да про тот амур узнает так ведь на моей шее места не хватит, где топоров ставить...

- Э, пустое! Будет ли Алексей Петрович царем, это, брат, вилами на воде писано, а что Петр Алексеевич тебя наградит, то верно. Да еще как наградит-то! Александр Иванович, батюшка, пожалуй, учини дружбу, родной, ввек не забуду!..

- Да я, право, не знаю, ваше превосходительство, как за это дело и взяться?..

- Вместе возьмемся! Дело не мудреное. Я тебя научу, ты только слушайся...

Румянцев еще долго отнекивался, но, наконец, согласился, и Толстой рассказал ему план действий.

Когда он ушел, Петр Андреевич погрузился в раздумье, достойное Макиавеля Российского.

Он давно уже смутно чувствовал, что одна только Евфросинья могла бы, если бы захотела, убедить царевича вернуться - ночная-де кукушка дневную перекукует - и что, во всяком случае, на нее - последняя надежда. Он и царю писал: "невозможно описать, как царевич оную девку любит и какое об ней попечение имеет".

Вспомнил также слова Вейнгарта: "больше всего боится он ехать к отцу, чтоб не отлучил от него той девки. А я-де намерен его ныне постращать, будто отнимут ее немедленно, ежели к отцу не поедет; хотя и неможно мне сего без указа учинить, однако ж, увидим, что из того будет".

Толстой решил ехать тотчас к вицерою и требовать, чтобы он велел царевичу, согласно с волей цесаря, удалить от себя Евфросинью. "А тут-де еще и Румянцев со своим амуром - подумал он с такою надеждою, что сердцу его забилося.- Помоги, матушка Венус! Авось-де, чего умные с политикой не сделали, то сделает дурак самуром".

Он совсем развеселился и, поглядывая на соседку, напевал уже с непритворною резвостью:

Посмотри хотя в венцах Сколь красивы, с белыми Ландышами смешанны, Розы нам являются!

А плутовка, закрываясь веером, выставив из-под черного кружева юбки хорошенькую ножку в серебряной туфельке, в розовом чулочке с золотыми стрелками, делала глазки и лукаво смеялась,- как будто в образе этой девочки сама богиня Фортуна, опять, как уже столько раз в жизни, улыбалась ему, суля успех, андреевскую ленту и графский титул.

Вставая, чтобы идти одеваться, он послал ей через улицу воздушный поцелуй, с галантнейшей улыбкой: казалось, Фортуне-блуднице улыбается бесстыдною улыбкой мертвый череп.

Царевич подозревал Езопку в шпионстве, в тайных сношениях с Толстым и Румянцевым. Он прогнал его и запретил приходить. Но однажды, вернувшись домой неожиданно, столкнулся с ним на лестнице. Езопка, увидев его, побледнел, задрожал, как пойманный вор. Царевич понял, что он пробирался к Евфросинье с каким-то тайным поручением, схватил его за шиворот и столкнул с лестницы.

Во время встряски выпала у него из кармана круглая жестянка, которую он тщательно прятал. Царевич поднял ее. Это была коробка "с французским чекуладом лепешечками" и вложенною в крышку запискою, которая начиналась так: "Милостивая моя Государыня, Евфросинья Феодоровна!

Поелику сердце во мне не топорной работы, но рождено уже с нежнейшими чувствованиями..."

А кончалась виршами:

Я не в своей мочи огонь утушить, Сердцем я болею, да чем пособить?

Что всегда разлучно - без тебя скучно;

Легче б ты не злати, не жаль так страдати.

отвергнешь, то в Везувий ввергнешь.

Вместо подписи - две буквы: А. Р. "Александр Румянцев",- догадался царевич.

У него хватило духу не говорить Евфросинье об этой находке.

В тот же день Вейнгарт сообщил ему полученный, будто бы, от цесаря указ - в случае, ежели царевич желает дальнейшей протекции, немедленно удалить от себя Евфросинью.

На самом деле указа не было; Вейнгарт только исполнял свое обещание Толстому: "я-де намерен его пострадать, и хотя мне и невозможно сего без указа чинить, однакож, увидим, что из того будет".

В ночь с 1 на 2 октября разразилось, наконец, сирокко.

С особенной яростью выла буря на высоте Сант-Эльмо.

Внутри замка, даже в плотно запертых покоях, шум ветра был так силен, как в каютах кораблей под самым сильным штормом. Сквозь голоса урагана - то волчий вой, то детский плач, то бешеный топот, как от бегущего стада, то скрежет и свист, как от исполинских птиц с железными крыльями - гул морского прибоя похож был на далекие раскаты пушечной пальбы. Казалось, там, за стенами, рушилось все, наступил конец мира, и бушует беспредельный хаос.

В покоях царевича было сыро и холодно. Но развести огонь в очаге нельзя было, потому что дым из трубы выбивало ветром. Ветер пронизывал стены, так что сквозняки ходили по комнате, пламя свечей колебалось, и капли воска на них застывали висячими длинными иглами.

Царевич ходил быстрыми шагами взад и вперед покомнате. Угловатая черная тень его мелькала по белым стенам, то сокращалась, то вытягивалась, упираясь в потолок, переламывалась.

Евфросинья, сидя с ногами в кресле и кутаясь в шубку, следила за ним глазами, молча. Лицо ее казалось равнодушным. Только в углу рта что-то дрожало едва уловимой дрожью, да пальцы однообразным движением то расплетали, то скручивали оторванный от застёжки на шубе золотой шнурок.

Все было так же, как полтора месяца назад, в тот день, когда получил он радостные вести.

Царевич, наконец, остановился перед ней и произнес глухо:

- Делать нечего, маменька! Собирайся-ка в путь.

Завтра к папе в Рим поедem. Кардинал мне тутошний сказывал, папа-де примет под свою протекцию...

Евфросинья пожала плечами.

- Пустое, царевич! Когда и цесарь держать не хочет девку зазорную, так где уж папе. Ему, чай, нельзя, и почину духовному. И войска нет, чтоб защищать, коли батюшка тебя с оружием будет требовать.

- Как же быть, как же быть, Афросьюшка?.. всплеснул он руками в отчаяньи. - Указ получен от цесаря, чтоб отлучить тебя немедленно. До утра едва ждать согласились. Того гляди, силой отнимут. Бежать, бежать надо скорее!..

- Куда бежать-то? Везде поймают. Все равно один конец - поезжай к отцу.

- И ты, и ты, Афрося! Напели тебе, видно. Толстой да Румянцев, а ты и уши развесила.

- Петр Андреич добра тебе хочет.

- Добра!.. Что ты смыслишь? Молчи уж, бабаволос долог, ум короток! Аль думаешь, не попытают и тебя? Не мысли того. И на брюхо не посмотрят: у нас же то не диво, что девки на дыбах раживали...

- Да ведь батюшка милость обещал.

- Знаю, знаю батюшкины милости. Вот они мне где! - показал он себе на затылок. - Папа не примет так во Францию, в Англию, к Шведу, к Турку, к черту на рога, только не к батюшке! Не смей ты мне и говорить об этом никогда, Евфросинья, слышишь, не смей!..

- Воля твоя, царевич. А только я с тобой к папе непоеду,- произнесла она тихо.

- Как не поедешь? Это ты что еще вздумала?

- Не поеду,- повторила она все так же спокойно, глядя ему в глаза пристально.- Я уж и Петру Андреи

чу сказывала: не поеду-де с царевичем никуда, кроме батюшки; пусть едет один, куда знает, а я не поеду.

- Что ты, что ты, Афросьюшка?- заговорил он, бледнея, вдруг изменившимся голосом.- Христос с тобою, маменька! Да разве... о. Господи!... разве я могу без тебя?..

- Как знаешь, царевич. А только я не поеду. И не проси.

Она оторвала от петли и бросила шнурок на пол.

- Одурела ты, девка, что ль?- крикнул он, сжимая кулаки, с внезапною злобою.- Возьму, так поедешь!

Много ты на себя воли берешь! Аль забыла, кем была?

- Кем была, тем и осталась: его царского величества, государя моего, Петра Алексеича раба верная. Куда царь велит, туда и поеду. Из воли его не выйду. С тобой против отца не пойду.

- Вот ты как, вот ты как заговорила!.. С Толстым да с Румянцевым снюхалась, со злодеями моими, с убийцами!.. За все, за все добро мое, за всю любовь!.. Змея подколотная! Хамка, отродие хамово...

- Вольно тебе, царевич, лаяться! Да что же толку?

Как сказала, так и сделаю.

Ему стало страшно. Даже злоба прошла. Он весь ослабел, изнемог, опустился в кресло рядом с нею, взял ее заруку и старался заглянуть ей в глаза:

- Афросьюшка, маменька, друг мой сердешненький, что же, что же это такое? Господи! Время ли ссориться?

Зачем так говоришь? Знаю, что того не сделаешь - одного в такой беде не покинешь - не меня, так Селебеного, чай, пожалеешь?..

Она не отвечала, не смотрела, не двигалась - точно мертвая.

- Аль не любишь?- продолжал он с безумно молящею ласкою, с жалобной хитростью любящих.- Нучто ж? Уходи, коли так. Бог с тобой. Держать силой небуду. Только скажи, что не любишь?..

Она вдруг встала и посмотрела, усмехаясь так, что сердце у него замерло от ужаса.

- А ты думал, люблю? Когда над глупой девкой ругался, насильничал, ножом грозил,- тогда б и спрашивал, люблю, аль нет!..

- Афрося, Афрося, что ты? Аль слову моему не веришь? Ведь женюсь на тебе, венцом тот грех покрою.

Да и теперь ты мне все равно что жена!..

- Челом бью, государь, на милости! Еще бы не милость! На холопке царевич изволит жениться! А ведь вот, поди ж ты, дура какая - этакой чести не рада! Терпела, терпела-мочи моей больше нет! Что в петлю, аль в прорубь, то за тебя постылого! Лучше б ты и впрямь убил меня тогда, зарезал! Царицей-де будешь - вишь, чем вздумал манить. Да, может, мне девичий-то стыди воля дороже царства твоего? Насмотрелась я на ваши роды царские - срамники вы, паскудники! У вас во дворе, что в волчьей норе: друг за дружкой так и смотрите, кто кому горло перервет. Батюшка - зверь большой, а ты малый: зверь зверушку и съест. Куда тебе с ним спорить?

Хорошо государь сделал, что у тебя наследство отнял.

Где этакому царствовать? В дьячки ступай грехи замаливать, святоша! Жену уморил, детей бросил, с девкой приبلудной связался, отстать не может! Ослаб, совсемослаб, измотался, испаскудился! Вот и сейчас баба ругает в глаза, а ты молчишь, пикнуть не смеешь. У, бесстыдник! Избей я тебя, как собаку, а потом помани только, свистни - опять за мной побежишь, язык высуня, что кобель за сукою! А туда же, любви захотел! Да разве таких-то любят?..

Он смотрел на нее и не узнавал. В сиянии огненных волос, бледное, точно нестерпимым блеском озаренное, лицо ее было страшно, но так прекрасно, как еще никогда. "Ведьма!" - подумал он, и вдруг ему почудилось, что от нее - вся эта буря за стенами, и что дикие вопли урагана повторяют дикие слова:

- Погоди, уж узнаешь, как тебя люблю! За все, за все. заплачу! Сама на плаху пойду, а тебя не покрою!

Все расскажу батюшке - как ты оружия просил у цесаря, чтобы войной идти на царя, возмущению в войсках радовался, к бунтовщикам пристать хотел, отцу смерти желал, злодей! Все, все донесу, не отвертись! Запытает тебя царь, плетью засечет, а я стану смотреть, да спрашивать: что, мол, свет Алешенька, друг мой

сердешненький, будешь помнить, как Афрося любила?.. А щенкатвоего, Селебеного, как родится - я своими руками...

Он закрыл глаза, заткнул уши, чтобы не видеть, не слышать. Ему казалось, что рушится все, и сам он проваливается. Так ясно, как еще никогда, понял вдруг, что нет спасения - и как бы ни боролся, что бы ни делал - всеравно погиб.

Когда царевич открыл глаза, Евфросиньи уже не было в комнате. Но виден был свет сквозь щель неплотно притворенной двери в спальню. Он понял, что она там, подошел и заглянул.

Она торопливо укладывалась, связывала вещи в узел, как будто собиралась уходить от него тотчас. Узел был маленький: немного белья, два-три простых платья, которые она сама себе сшила, да слишком ему памятная старенькая девичья шкатулка, со сломанным замком и облезлою птицей, клюющей кисть винограда, на крышке та самая, в которой, еще дворовою девкою в доме Вяземских, она копила приданое. Дорогие платья и другие вещи, подаренные им, тщательно откладывала, должно быть, не хотела брать его подарков. Это оскорбило его больше, чем все ее злые слова.

Кончив укладку, присела к ночному столику, очинила перо и принялась писать медленно, с трудом, выводя, точно рисуя, букву за буквою. Он подошел к ней сзади нацыпочках, нагнулся, заглянул ей через плечо и прочитал первые строки: "Александр Иванович.

Понеже царевич хочит ехать к папе а я отгаваривала штопне ездил токмо не слушаит зело сердитуит то исволь вашамилость прислати за мной наискарян а лучшеп сам приехалне увесбы мне силой а чай без меня никуды не поедит".

Половица скрипнула. Евфросинья быстро обернулась, вскрикнула и вскочила. Они стояли, молча, не двигаясь, лицом к лицу, и смотрели друг другу в глаза долгим взглядом, точно так же, как тогда, когда он бросился на нее, грозя ножом.

- Так ты и впрямь к нему? - прошептал он хриплым шепотом.

Чуть-чуть побледневшие губы ее искривились тихою усмешкою.

- Хочу - к нему, хочу - к другому. Тебя не спрошусь.

Лицо его исказилось судорогою. Одной рукой схватил он ее за горло, другою за волосы, повалил и начал бить, таскать, топтать ногами.

- Тварь! Тварь! Тварь!

Тонкое лезвие кортика-грифа, который носила она, одеваясь пажем, и которым только что, вместо ножа, отрезалаот большого листа бумаги четвертушку для письма,сверкало на столе. Царевич схватил его, замахнулся. Ониспытывал безумный восторг, как тогда, когда овладевалею силою; вдруг понял, что она его всегда обманывала, не принадлежала ему ни разу, даже в самых страстныхласках, и только теперь, убив ее, овладеет он ею до конца, утолит свое неимоверное желание.

Она не кричала, не звала на помощь и боролась молча, ловкая, гибкая, как кошка. Во время борьбы он толкнулстол, на котором стояла свеча. Стол опрокинулся. Свечаупала и потухла. Наступил мрак. В глазах его, быстро, точно колеса, завертелись огненные круги. Голоса ураганазавыли где-то совсем близко от него, как будто над самымухом, и разразились неистовым хохотом.

Он вздрогнул, словно очнулся от глубокого сна, и в тоже мгновение почувствовал, что она повисла на руке его, не двигаясь, как мертвая. Разжал руку, которою все ещедержал ее за волосы. Тело упало на пол с коротким безжизненным стуком, Его обуял такой ужас, что волосы на голове зашевелились. Он далеко отшвырнул от себя кортик, выбежалв Соседнюю комнату, схватил шандал с нагоревшими свечами, вернулся в спальню и увидел, что она лежит на полураспростертая, бледная, с кровью на лбу и закрытымиглазами. Хотел было снова бежать, кричать, звать напомощь. Но ему показалось, что она еще дышит. Он упална колени, наклонился к ней, обнял, бережно поднял иположил на постель.

Потом заметался по комнате, сам не помня, что делает: то давал ей нюхать спирт, то искал пера, вспомнив, чтожженным пером пробуждают от обморока, то мочил ейголову водою. То опять склонялся над нею, рыдая, целовал ей руки, ноги, платье и звал ее, и бился головой обугол кровати, и рвал на себе волосы.

- Убил, убил, убил, окаянный!..

То молился.

- Господи Иисусе, Матерь Пречистая, возьми душумою за нее!..

И сердце его сжималось с такою болью, что ему казалось, он сейчас умрет.

Вдруг заметил, что она открыла глаза и смотрит на него со странною улыбкою.

- Афрося, Афрося... что с тобою, маменька?.. Непослать ли за дохтуром?..

Она продолжала смотреть на него молча, все с тою женепонятною улыбкою.

Сделал усилие, чтобы приподняться. Он ей помощи вдруг почувствовал, что она обвила его шею руками и прижалась щекой к щеке его с такою тихою детски-доверчивой ласкою, как еще никогда:

- Что, испугался небось? Думал, до смерти убил?

Пустое! Не так-то легко бабу убить. Мы, что кошки, живучи. Милый ударит - тела прибавит!

- Прости, прости, маменька, родненькая!..

Она смотрела в глаза его, улыбалась и гладила ему волосы с материнскою нежностью.

- Ах, мальчик ты мой, мальчик глупенький. Посмотрю на тебя - совсем дитяtko малое. Ничего не смыслишь, не знаешь ты нашего норова бабьего. Ах, глупенький, так, ведь, и поверил, что не люблю? Поди-ка, я тебе на ушко словечко скажу.

Она приблизила губы к самому уху его и шепнула страстным шепотом:

- Люблю, люблю, как душу свою, душа моя, радость моя! Как мне на свете быть без тебя, как живой быть?

Лучше бы мне - душа моя с телом рассталась. Аль не веришь?

- Верю, верю!..- плакал он и смеялся от счастья.

Она прижималась к нему все крепче и крепче.

- Ох, свет мой, батюшка мой, Алешенька, и за что ты мне таков мил?.. Где твой разум, тут и мой, где твоё слово, тут и мое - где твоё слово, тут и моя голова! Вся всегда в воле твоей... Да вот горе мое: и все-то мы, бабы глупые, злые, а я пуще всех.. Что же мне делать, коли такову меня Бог несчастную родил? Дал мне сердце несытое, жадное. И вижу, что любишь меня, а мне все мало, чего хочу, сама не знаю.. Что-то, думаю, что-то мальчик мой такой тихонький да смирененький, никогда поперек словане молвит, не рассердится, не поучит меня, глупую? Рученьки его я над собою не слышу, грозы не чую. Не мимоде молвится: кого люблю, того и бью. Аль не любит? А

нука рассержу его, попытаю, что из того будет... А ты вот ты каков! Едва не убил! Совсем в батюшку. Аж духиз меня вон от страху-то. Ну, да впредь наука, помнитьбуду и любить буду, вот как!..

Он как будто в первый раз видел эти глаза, горящиегрозным тусклым огнем, эти полураскрытые, жаркие губы;

чувствовал это скользящее, Как змея, трепещущее тело.

"Вот она какая!"-думал он с блаженным удивлением.

- А ты думал, ласкать не умею?- как будто угадывая мысль его, засмеялась она тихим смехом, которыйзажег в нем всю кровь.- Погоди, уж так ли еще приласкаю... Только утоли ты, утоли мое сердце глупое, сделай, о чем попрошу, чтоб знала я, что любишь ты меня, как я тебя - до смерти!.. Ох, жизнь моя, любонька, лапушка!.. Сделаешь? Сделаешь?..

- Все сделай"! Видит Бог, нет того на свете, чего быне сделал. На смерть пойду - только скажи...

Она не шепнула, а как будто вздохнула чуть слышнымвздохом: - Вернись к отцу!

И опять, как давеча, сердце у него замерло от ужаса.

Почудилось, что из-под нежной руки тянется и хватаетего за сердце железная рука батюшки. "Лжет!"- блеснуло в нем, как молния. "Пусть лжет, только бы любила!"прибавил он с беспечностью.

- Тошно мне,- продолжала она,- ох, смерть моя, тошнехонько - во грехе с тобой да в беззаконьи жить!

Не хочу быть девкой зазорною, хочу быть женою честноюпред людьми и пред Богом! Говоришь: и ныне-де я тебе все равно что жена. Да полно, какая жена? Венчаливокруг ели, а черти пели. И мальчик-то наш, Селебеньый, приبلудным родится. А как вернешься к отцу, так и женишься. И Толстой говорит: пусть-де царевич предложитбатюшке, что вернется, когда позволят жениться; а батюшка, говорит, еще и рад сему будет, только б-де он, царевич, от царства отрекся да жил в деревнях на покое.

Что-де на рабе жениться, что клобук одеть - едино не бывать ему же царем. А мне-то, светик мой, Алешенька, только того и надобно. Боюсь я, ох, родненький, царства-тоя пуще всего и боюсь! Как станешь царем - не до меня тебе будет. Голова кругом пойдет. Царям любить некогда.

Не хочу быть царицей постылою, хочу быть любонькойтвоею вечною! Любовь моя - царство мое! Уедем в деревни, либо в Порецкое, либо в Рождествено, будем втишине да в покое жить, я да ты, да Селебенький - ни дочего нам дела не будет... Ох, сердце мое, жизнь моя, радость моя!.. Аль не хочешь? Не сделаешь... Аль царстважалъ?..

- Что спрашиваешь, маменька? Сама знаешь-сделаю...

- Вернешься к отцу?

- Вернусь.

Ему казалось, что теперь происходит обратное тому, что произошло между ними когда-то: уже не он - ею, аона овладевала им силою; ее поцелуи подобны были ранам, ее ласки - убийству.

Вдруг она вся замерла, тихонько его отстраняя, отталкивая и вздохнула опять чуть слышным вздохом: - Клянись!

Он колебался, как самоубийца в последнюю минуту, когда уже занес над собою нож. Но все-таки сказал: - Богом клянусь!

Она потушила свечу и обняла его всего одной бесконечною ласкою, глубокою и страшною как смерть.

Ему казалось, что он летит с нею, ведьмою, белоюдьявилицей, в бездонную тьму на крыльях урагана.

Он знал, что это - погибель, конец всему, и рад былконцу.

На следующий день, 3 октября. Толстой писал царюв Петербург:

"Всемилоостивейший Государь!

Сим нашим всеподданнейшим доносим, что сын вашеговеличества, его высочество государь царевич АлексейПетрович изволил нам сего числа объявить свое намерение: оставя все прежние противления, повинуется указувавшего величества и к вам в С.-Питербурх едет беспрекословно с нами, о чем изволил к вашему величеству саморучно писать и оное письмо изволил нам отдать незапечатанное, чтобы его к вашему величеству под своим кувертом послали, с которого при сем копия приложена, а оригинальное мы оставили у себя, опасаясь при сем случае отпустить. Изволит предлагать токмо две кондиции: первая: дабы ему жить в его деревнях, которые близ С.-Питербурха; а другая: чтоб ему жениться на той девке, которая ныне при нем. И когда мы его сначала склоняли, чтобык вашему величеству поехал, он без того и мыслить

нехотел, ежели вышеписанные кондиции ему позволены небудут. Зело, государь, стужает, чтобы мы ему исходатайствовали от вашего величества позволения обвенчаться стою девкою, не доезжая до С.-Питербурха. И хотя сиигосударственные кондиции паче меры тягостны, однакож, я и без указу осмелился на них позволить словесно. О семя вашему величеству мое слабое мнение доношу: ежелинет в том какой противности,- чтоб ему на то позволить, для того, что он тем весьма покажет себя во весь свет, какого он состояния, еже не от какой обиды ушел, токмо для той девки; другое, что цесаря весьма огорчит, и онуже никогда ему ни в чем верить не будет; третье, чтоуже отнимется опасность о его пристойной женитьбе кдоброму свойству, от чего еще и здесь не безопасно. И ежели на то позволишь, государь,- изволил бы ко мне вписьме своем, при других делах, о том написать, чтоб яему мог показать, а не отдать. А ежели ваше величествоизволит рассудить, что непристойно тому быть, то не благоволишь ли его токмо ныне милостиво обнадежить, чтоможет то сделаться не в чужом, но в нашем государстве, чтоб он, будучи тем обнадежен, не мыслил чего иного иехал к вам без всякого сомнения. И благоволи, государь, о возвращении к вам сына вашего содержать нескольковремени секретно для того: когда сие разгласится, то небезопасно, дабы кто-либо, кому то есть противно, не написал к нему какого соблазна, от чего (сохрани Боже!) может, устрасясь, переменить свое намерение. Также, государь, благоволи прислать ко мне указ к командирам войсксвоих, ежели которые обретаются на том пути, которымпоедем, буде понадобится конвой, чтоб дали.

Мы уповаем выехать из Неаполя сего октября в 6, или конечно в 7 день. Однакож, царевич изволит преждесъездить в Бар, видеть мощи св. Николая, куда и мы с нимпоедем. К тому же дороги в горах безмерно злые, и хотяб, нигде не медля, ехать, но поспешить невозможно. А онаядевка ныне брюхата уже четвертый, аль пятый месяц, и сия причина путь наш продолжить может, понеже ондля нее скоро не поедет: ибо невозможно описать, как еелюбит и какое об ней попечение имеет.

И так, с рабскою покорностью и высоким решпектомвсепоподданнейше пребываемПетр Толстой

Р. С. А когда, государь, благоволит Бог мне быть в С.-Петербург, уже безопасно буду хвалить Италию и штрафу за то пить не буду, понеже не токмо действительный поход, но и одно намерение быть в Италии добрый эффект вашему величеству и всему Российскому государству принесло".

Он писал также резиденту Веселовскому в Вену:

"Содержите все в высшем секрете, из опасения чтобы какой дьявол не написал к царевичу и не устрасил бы его от поездки. Какие в сем деле чинились трудности, одному Богу известно!

О наших чудесах истинно описать не могу".

Петр Андреевич сидел ночью один в своих покоях в гостинице Трех Королей за письменным столом перед свечкою.

Окончив письмо государю и сняв копию с письма царевича, он взял сургуч, чтобы запечатать их вместе в один

конверт. Но отложил его, еще раз перечел подлинное письмо царевича, глубоко, отрадно вздохнул, открыл золотую табакерку, вынул понюшку и, растирая табак междупальцами, с тихой улыбкой задумался. Он едва верил своему счастью. Ведь еще сегодня утром он был в таком отчаянии, что, получив записку от царевича: "самую нужду имею с тобою говорить, что не без пользы будет",- не хотел к нему ехать: "только-де разговорами время продолжает".

И вот вдруг "замерзела гоупрямства" как не бывало он согласен на все. "Чудеса, истинно чудеса! Никто, как Бог, да св. Никола!.." Недаром Петр Андреевич всегда особенно чтил Николу и уповал на "святую протекцию"

Чудотворца. Рад был и ныне ехать с царевичем в Бар.

"Есть-де за что угоднику свечку поставить!" Ну, конечно, кроме св. Николы, помогла и богиня Венус, которую он тоже чтил усердно: не постыдила-таки, вывезла матушка!

Сегодня на прощанье поцеловал он ручку девке Афроське.

Да что ручку - он бы и в ножки поклонился ей, как самой богине Венус. Молодец девка! Как оплела царевича!

Ведь, не такой он дурак, чтоб не видеть, на что идет. В томто и дело, что слишком умен. "Сия генеральная регула, вспомнил Толстой одно из своих изречений,- что мудрых легко обмануть, понеже они, хотя и много чрезвычайного знают, однако ж, ординарного в жизни не

ведать, в чемнаибольшая нужда; ведать разум и нрав человеческий великая философия, и труднее людей знать, нежели многие книги наизусть помнить".

С какую беспечную легкостью, с каким веселым лицом объявил сегодня царевич, что едет к отцу. Он былточно сонный или пьяный; все время смеялся каким-тожутким, жалким смехом.

"Ах, бедненький, бедненький!- сокрушенно покачалПетр Андреевич головою и, затаившись понюшкою, смахнул слезинку, которая выступила на глазах, не то оттабаку, не то от жалости.- Яко агнец безгласный ведомна заклятие. Помоги ему, Господь!"

Петр Андреевич имел сердце доброе и даже чувствительное.

"Да, жаль, а делать нечего,- утешился он тотчас, на то и шука в море, чтоб карась не дремал! Дружба дружбою, а служба службою". Заслужил-таки он, Толстой, царю и отечеству, не ударил лицом в грязь, оказался достойным учеником Николы Макиавеля, увенчал свое поприще: теперь уже сама планета счастья сойдет к нему нагрудь андреевской звездою - будут, будут графамиТолстые и ежели в веках грядущих прославятся, достигнут чинов высочайших, то вспомнят и Петра Андреевича!

"Ныне отпускаеши раба Твоего, Господи!"

Мысли эти наполнили сердце его почти шаловливоюрезвостью. Он вдруг почувствовал себя молодым, какбудто лет сорок с плеч долой. Кажется, так бы и пустилсяв пляс, точно на руках и ногах выросли крылышки, как убога Меркурия.

Он держал сургуч над пламенем свечи. Пламя дрожало, и огромная тень голого черепа - он снял на ночьпарик - прыгала на стене, словно плясала и корчила шутовские рожи, и смеялась, как мертвый череп. Закипели, закапали красные, как кровь, густые капли сургуча. И онтихонько напевал свою любимую песенку:

Покинь, Купидо, стрелы: Уже мы все не целы, Но сладко уязвленыЛюбовною стрелоюТвоею золотою, Любви все покорены.

В письме, которое Толстой отправлял государю, царевич писал:

"Всемиловитейший Государь-батюшка!

Письмо твое, государь, милостивейшее через господТолстого и Румянцева получил, из которого - также изустного мне от них милостивое от тебя, государя, мне, всякой милости недостойному, в

сем моем своевольномотъезде, буде я возвращуся, прощение принял; о чем сослезамии благодаря и припадая к ногам милосердия вашего, слезно прошу о оставлении преступлений моих мне, всяких казней достойному. И надеясь на милостивое обещание ваше, полагаю себя в волю вашу и с присланнымиот тебя, государя, поеду из Неаполя на сих днях к тебе, государю, в Санкт-Питербурх.

Всенижайший и непотребный раб и недостойный назватися сыномАлексей"

КНИГА СЕДЬМАЯ

ПЕТР ВЕЛИКИЙ

Петр встал рано. "Еще черти в кулачки не били",- ворчал сонный денщик, затоплявший печи. Ноябрьское черное утро глядело в окна. При свете сального огарка, в ночном колпаке, халате и кожаном переднике, царь сиделза токарным станком и точил из кости паникадило в соборПетра и Павла, за полученное от Марциальных вод облегчение болезни; потом из карельской березы - маленькогоВакха с виноградною гроздью - на крышку бокала. Работал с таким усердием, как будто добывал этим хлеб насущный.

В половине пятого пришел кабинет-секретарь, АлексейВасильевич Макаров. Царь стал к налою - ореховой конторке, очень высокой, человеку среднего роста по шею, иначал диктовать указы о коллегиях, учреждаемых в России по совету Лейбница, "по образцу и прикладу другихполитизованных государств".

"Как в часах одно колесо приводится в движение другим,- говорил философ царю,- так в великой государственной машине одна коллегия должна приводить в движение другую, и если все устроено с точною соразмерностью и гармонией, то стрелка жизни непременно будетпоказывать стране счастливые часы".

Петр любил механику, и его пленяла мысль превратить государство в машину. Но то, что казалось легким вмыслях, оказывалось трудным на деле.

Русские люди не понимали и не любили коллегий, называли их презрительно калегами и даже калеками.

Царь пригласил иностранных ученых и "в правостях искусных людей". Они отправляли дела через толмачей.

Это было неудобно. Тогда посланы были в Кенигсбергрусские молодые подьячие "для научения немецкому языку, дабы удобнее в коллегии были, а за ними надзиратели, чтоб не гуляли". Но надзиратели гуляли вместе с надзираемыми. Царь дал указ: "Всем коллегиям надлежит ныне на основании шведского устава сочинить во всех делах и порядках регламент по пунктам; а которые пункты в шведском регламенте не удобны, или с ситуациею здешнего государства несходны, оные ставить по своему рассуждению". Но своего рассуждения не было, и царь предчувствовал, что в новых коллегиях дела пойдут так же, как в старых приказах. "Все тщетно, - думал он, пока у нас не познают прямую пользу короны, чего и востолет неуповательно быть".

Денщик доложил о переводчике чужестранной коллегии, Василии Козловском. Вышел молодой человек, бледный, чахоточный. Петр отыскал в бумагах и отдалему перечеркнутую, со многими отметками карандашом на полях, рукопись - трактат о механике.

- Переведено плохо, исправь.

- Ваше величество! - залепетал Козловский, робея изаикаясь. - Сам творец той книги такой стилус положил, что зело трудно разуместь, понеже писал сокращенно и прикрито, не столько зря на пользу людскую, сколько насубтильность своего философского письма. А мне за краткостью ума моего невозможно понять.

Царь терпеливо учил его.

- Не надлежит речь от речи хранить, но самый смысл вырази, на свой язык уже так писать, как внятнее, только храня то, чтоб дела не проронить, а за штилем их не гнаться.. Чтоб не праздною ради красоты, но для пользы было, без излишних рассказов, которые время тратят и учащихся охоту отнимают. Да не высоким славянским штилем, а простым русским языком пиши, высоких слов класть ненадобно, по польскому приказу употреби слова.

Как говоришь, так и пиши, просто. Понял?

- Точно так, ваше величество! - ответил переводчик, как солдат по команде, и понурил голову с унылым видом, как будто вспомнил своего предшественника, тоже переводчика иностранной коллегии, Бориса Волкова, который, отчаявшись над французскою Огородною

книгою, Le jardinage de Quintiny и убоясь царского гнева, перерезал себе жилы.

- Ну, ступай с Богом. Явись же со всем усердием.

Да скажи Аврамову: печать в новых книгах перед прежней толста и нечиста. Литеры буки и покой переправить почерком толсты. И переплет дурен, а паче оттого, что вкорне гораздо узко вяжет - книги таращатся. Надлежитслабко и просторно в корне вязать.

Когда Козловский ушел, Петр вспомнил мечты Лейбица о всеобщей русской Энциклопедии, "квинтэссенции наук, какой еще никогда не бывало", о Петербургской Академии, верховной коллегии ученых правителей с царем во главе, о будущей России, которая, опередив Европу в науках, поведет ее за собою.

"Далеко кулику до Петрова дня!" - усмехнулся царь горькою усмешкою. Прежде чем просвещать Европу, надоса мим научиться говорить по-русски, писать, печатать, переплетать, делать бумагу.

Он продиктовал указ:

- В городах и уездах по улицам пометный негодный всякий холст и лоскутья собирая, присылать в Санктпетербургскую канцелярию, а тем людям, кто что одного собрав объявит, платить по осьми денег за пуд.

Эти лоскутья должны были идти на бумажные фабрики.

Потом указы - о сальном топлении, об изрядном плетении лаптей, о выделке юфти для обуви: "понеже юфть, которая употребляется на обуви, весьма негодна к ношению, ибо делается с дегтем, и когда мокроты хватит, распалывается и вода проходит, того ради оную надлежит делать с ворваньим салом".

Заглянул в аспидную доску, которую вешал с грифелем на ночь у изголовья постели, чтобы записывать, просыпаясь, приходившие ему в голову мысли о будущих указах. В ту ночь было записано:

"Где класть навоз? - Не забывать о Персии. - О рогожах."

Велел Макарову прочесть вслух письмо посланника Волынского о Персии.

"Здесь такая ныне глава, что, чаю, редко такого дурачка можно сыскать и между простых, не только из коронованных. Бог ведет к падению сию корону. Хотя настоящая война наша шведская нам и возбраняла б, однако, как я здешнюю слабость вижу, нам не только целою армиею, но и малым корпусом великую часть Персии

присовокупить без труда можно, к чему удобнее нынешнего времени будет".

Отвечая Волынскому, приказал отпустить купчину по Амударье реке, дабы до Индии путь водяной сыскать, и все описывая, делать карту; заготовить также грамоту к Моголу - Далай-Ламе Тибетскому.

Путь в Индию, соединение Европы с Азией было давней мечтой Петра.

Еще двадцать лет тому назад в Пекине основана была православная церковь во имя Св. Софии Премудрости Божьей. "Le czar peut unir la Chine avec l'Europe. Царь может соединить Китай с Европой",- предсказывал Лейбниц. "Завоеваниями царя в Персии основано будет государство сильнее Римского",- предостерегали своих государей иностранные дипломаты. "Царь, как другой Александр, старается всем светом завладеть",- говорил султан. Петр достал и развернул карту земного шара, которую сам начертил однажды, размышляя о будущих судьбах России; надпись Европа - к западу, надпись Азия - к югу, а на пространстве от Чукотского мыса до Немана и от Архангельского до Арарата - надпись Россия - такими же крупными буквами, как Европа, Азия. "Все ошибаются",- говорил он,- называя Россию государством, она часть света".

Но тотчас, привычным усилием воли, от мечты вернулся к делу, от великого к малому.

Начал диктовать указы о "месте, приличном для навозных складов"; о замене рогожных мешков для сухарей на галеры - волосяными; для круп и соли - бочками, или мешками холщовыми; "а рогож отнюдь бы не было", о сбережении свинцовых пулек при учении солдат стрельбе;

о сохранении лесов; о неделании выдолбленных гробов "делать только из досок сшивные"; о выписке в Россию образца английского гроба.

Перелистывал записную книжку, проверяя, не забыли чего-нибудь нужного. На первой странице была надпись: In Gottes Namen - Во имя Господне. Следовали разнообразные заметки; иногда в двух, трех словах обозначался долгий ход мысли:

"О некотором вымышлении, через которое многие разные таинства природы можно открывать.

Пробовательная хитрость. Как тушить нефть купоросом. Как варить пеньку в селитренной воде. Купить секрет, чтоб кишки заливные делать.

Чтоб мужикам учинить какой маленький регул о законе Божиим и читать по церквам для вразумления.

О подкидных младенцах, чтоб воспитывать.

О заведении китовой ловли.

Падение греческой монархии от презрения войны.

Чтобы присылали французские ведомости.

О приискании в Немецкой земле комедиантов за большую плату.

О русских пословицах. О лексиконе русском.

О химических секретах, как руду пробовать.

Буде мнят законы естества смышленные, то для чего животные одно другое едят, и мы на что им такое бедство чиним?

О нынешних и старых делах, против афеистов.

Сочинить самому молитву для солдат: "Боже великий, вечный и святой, и проч."

Дневник Петра напоминал дневники Леонардо да Винчи.

В шесть часов утра стал одеваться. Натягивая чулки, заметил дыру. Присел, достал иголку с клубком шерсти и принялся чинить. Размышляя о пути в Индию, по следам Александра Македонского, штопал чулки.

Потом выкушал анисовой водки с кренделем, закурил трубку, вышел из дворца, сел в одноколку с фонарем, потому что было еще темно, и поехал в Адмиралтейство.

Игла Адмиралтейства в тумане тускло рдела от пламени пятнадцати горнов. Недостроенный корабль чернел голыми ребрами, как остов чудовища. Якорные канаты тянулись, как исполинские змеи. Визжали блоки, гудели молоты, грохотало железо, кипела смола. В багровом отблеске люди сновали, как тени. Адмиралтейство похоже было на кузницу ада.

Петр обходил и осматривал все.

Проверял в оружейной палате, точно ли записан калибр чугунных ядер и гранат, сложенных пирамидами под кровлями, "дабы ржа не брала"; налиты ли внутри салом флинт и мушкеты; исполнен ли указ о пушках: "надлежит зеркалом высмотреть, гладко ль проверчено, и

нет ликаких раковин, или зацепок от ушей к дулу; ежели явятся раковины, надлежит освидетельствовать трещоткою, сколь глубоки".

По запаху различал достоинство моржового сала, наощупь - легкость парусных полотен - от тонкости линиток или от редкости тканья эта легкость. Говорил смастерами, как мастер.

- Доски притесывать плотно. Выбирать хотя и двух годовые, а что более, то лучше, понеже когда не высохнут и выконопачены будут, то не токмо рассохнутся, но еще от воды разбухнут и конопать сдавят...

- Вегерсы сшивать нагелями сквозь борт. По концам класть букбанды, крепить в баркгоуты и внутри расклепывать...

- Дуб надлежит в дело самый добрый зеленец, видом бы просинь, а не красен был. Из такого дуба кораблю подобится железному, ибо и пуля фузейная не весьма его возьмет, полувершка не проест...

В пеньковых амбарах брал из бунтов горсти пенькимежду колен, тщательно рассматривал, встряхивал и разнимал по-мастерски.

- Канаты корабельные становые дело великое и страшное: делать надлежит из самой доброй и здоровой пеньки.

Ежели канат надежен, кораблю спасение, а ежели худ, кораблю и людям гибель.

Всюду слышались гневные окрики царя на поставщиков и подрядчиков:

- Вижу я, в мой отъезд все дело раковым ходом пошло!

- Принужден буду вас великим трудом и непощадным штрафом живота паки в порядок привести!

- Погодите, задам я вам памятку, до новых венков не забудете!

Длинные разговоры не терпел. Важному иностранцу, который говорил долго о пустяках, плюнул в лицо, выругал его матерным словом и отошел.

Плутоватому подьячему заметил:

- Чего не допишешь на бумаге, то я тебе допишу на спине!

На ходатайство об увеличении годовых окладов господам адмиралтейцам-советникам положил резолюцию:

- Сего не надлежит, понеже более клонится к лакомству и карману, нежели к службе.

Узнав, что на нескольких судах галерного флота "солонина явилась гнилая, пять недель одних снятков ржавыхи воду солдаты употребляли, отчего 1.000 человек заболелои службы лишились",- разгневался не на шутку. Старого, почтенного капитана, отличившегося в битве приГангуте, едва не ударил по лицу:

- Ежели впредь так станешь глупо делать, то непеняй, что на старости лет обесчещен будешь! Для чегос таким небрежением делается главное дело, которое тысячи раз головы твоей дороже? Знать, что устав воинскийредко чтешь! Повешены будут офицеры оных галер, и тыза слабую команду едва не тому ж последовать будешь!

Но опустил поднятую руку и сдержал гнев.

- Никогда б я от тебя того не чаял,- прибавилуже тихо, с таким упреком, что виновному было бы легче, если бы царь его ударил.

- Смотри же,- сказал Петр,- дабы отныне такогодисмилосердия не было, ибо сие пред Богом паче всех грехов. Слышал я намерении, что и здесь, в Питербурхе, пригаванной работе, летошний год так без призрения людибыли, особливо больные, что по улицам мертвые валялись, что противно совести и виду не только христиан, но и варваров. Как у вас жалости нет? Ведь не скоты, а души христианские. Бог за них спросит!

В своей одноколке Петр ехал по набережной в Летний дворец, где в тот год зажился до поздней осени, потому что в Зимнем шли перестройки.

Думал о том, почему прежде возвращаться домой кобеду и свиданию с Катенькой было радостно, а теперьПочти в тягость. Вспомнил подметные письма с намеками на жену и молоденького смазливового немчика, камер-юнкера Монса.

Катенька всегда была царю верною женою, доброюпомощницей. Делила с ним все труды и опасности. Следовала с ним в походах, как простая солдатка.. В Прутском походе, "поступая по-мужски, а не по-женски", спаславсю армию. Он звал ее своею "маткою". Оставаясь безнее, чувствовал себя беспомощным, жаловался, как ребенок: "Матка! обшить, обмыть некому".

Они ревновали друг друга, шутя. "Письмо твое прочитав, гораздо я задумался. Пишешь, чтоб я не скоро к тебеприезжал, якобы для

лекарства, а делом знатно, сыскалакого-нибудь моложе меня: пожалуй, отпиши, из наших или из немцев? Так-то вы, Евины дочери, делаете над нами, стариками!" - "Стариком не признаваю,- возражала она,- и напрасно затеяно, что старик, а надеюсь, что и вновь к такому дорогому старику с охотой сыщутся. Такого-то мне от вас! Да и я имею ведомость, будто королевашведская желает с вами в амуре быть: и мне в том не безсумнения".

Во время разлуки обменивались, как жених и невеста, подарками. Катенька посылала ему за тысячи верст венгерского, водки-"крепыша", свежепросольных огурцов, "цытронов", "аплицынов",- "ибо наши вам приятнее будут. Даруй Боже во здравие кушать".

Но самые дорогие подарки были дети. Кроме двух старших, Лизаньки и Аннушки, рождались они хилыми и скоро умирали. Больше всех любил он самого последнего, Петиньку, "Шисечку", "Хозяина Питербурхского", объявленного, вместо Алексея, наследником престола. Петинька родился тоже слабым, вечно болел и жил одними лекарствами. Царь дрожал над ним, боялся, что умрет. Катенька утешала царя, "я чаю, что ежели б наш дорогой старик был здесь, то и другая шисечка на будущий год поспела".

В этой супружеской нежности была некоторая слащавость - неожиданная для грозного царя, галантная чувствительность. "Я здесь остригся, и хотя неприятно будет, однако ж, обрезанные свои волосища посылаю тебе". "Дорогие волосочки ваши я исправно получила и о здоровьи вашем довольно уведомила". - "Посылаю тебе, друг мой сердешненькой, цветок да мяты той, что ты сама садила. Слава Богу, все весело здесь, только когда на загородный двор придешь, а тебя нет, очень скушно", писал он из Ревеля, из ее любимого сада Катериненталя.

В письме были засохший голубенький цветок, мята и выписка из английских курантов: "В прошлом году, октября 11 дня, прибыли в Англию из провинции Моумут два человека, которые по женитьбе своей жили 110 лет.

а от рождения мужского полу - 126 лет, женского 125 лет". Это значило: Дай Боже и нам с тобою прожить так же долго в счастливом супружестве.

И вот теперь, на склоне лет, в это унылое осеннее утро, вспоминая прожитую вместе жизнь и думая о том, что Катенька может ему изменить, променять своего "старика"

на первого смазливого мальчишку, немца подлой породы, он испытывал не ревность, не злобу, не возмущение, а беззащитность ребенка, покинутого "маткою".

Отдал вожжи денщику, согнулся, сгорбился, опустил голову, и от толчков одноколки по неровным камням голова его качалась, как будто от старческой слабости. И весь он оказался очень старым, слабым.

Куранты за Невою пробили одиннадцать. Но свет утра похож был на взгляд умирающего. Казалось, дня совсем не будет.. Шел снег с дождем. Лошадиные копыта шлепали по лужам. Колеса брызгали грязью. Сырые тучи, медленно ползущие, пухлые, как пауки брюха, такие низкие, что застилали шпиц Петропавловской крепости, серые воды, серые дома, деревья, люди - все, расплываясь в тумане, подобно было призракам.

Когда въехали на деревянный подъемный мостик Лебяжьей канавы, из Летнего сада пахло земляною, точно могильною, сыростью и гнилыми листьями - садовники в аллеях сметали их метлами в кучи. На голых липах каркали вороны. Слышался стук молотков; то мраморные статуи на зиму, чтоб сохранить от снега и стужи, заколачивали в узкие длинные ящики. Казалось, воскресших богов опять хоронили, заколачивали в гробы.

Меж лилово-черных мокрых стволов мелькнули светложелтые стены голландского домика с железною крышею шашечками, жестяным флюгером в виде Георгия Победоносца, белыми лепными барельефами, изображавшими басни о чудесах морских, тритонах и nereидах, с частыми окнами и стеклянными дверями прямо в сад. Это был Летний дворец.

Во дворце пахло кислыми щами. Щи готовились к обеду. Петр любил их так же, как другие простые солдатские кушанья.

В столовую через окно прямо из кухни, очень опрятной, выложенной изразцами, с блестящей медной посудой по стенам, как в старинных голландских домах, подавались блюда быстро, одно за другим - царь не охотник был долго сидеть за столом - кроме щей и

каши, фленСбургские устрицы, студень, салакуша, жареная говядина с огурцами и солеными лимонами, утиные ножки в кислом соусе. Он вообще любил кислое и соленое; сладкого нетерпел. После обеда - орехи, яблоки, лимбургский сыр.

Для питья квас и красное французское вино - Эрмитаж.

Прислуживал один только денщик.

К обеду, как всегда, приглашены были гости: Яков Брюс, лейб-медик Блюментрост, какой-то английский шкипер, камер-юнкер Монс и фрейлина Гамильтон. Монс пригласил Петр неожиданно для Катеньки. Но, когда она узнала об этом, то пригласила в свою очередь фрейлину Гамильтон, может быть, для того, чтобы дать понять мужу, что и ей кое-что известно об его "метресишках".

Это была та самая Гамильтон "девка Гаментова", шотландка, по виду, гордая, чистая и холодная, как мраморная Диана, о которой шептались, когда нашли в водопроводе фонтана в Летнем саду труп младенца, завернутый в дворцовую салфетку.

За столом сидела она, бледная, ни кровинки в лице, и все время молчала.

Разговор не клеился, несмотря на усилия Катеньки.

Она рассказала свой сегодняшний сон: сердитый зверь, с белой шерстью, с короной на голове и тремя зажженными свечами в короне, часто кричал: салдореф! салдореф!

Петр любил сны и сам нередко ночью записывал их грифелем на аспидной доске. Он тоже рассказал свой сон: все - вода, морские экзерциции, корабли, галиоты;

заметил во сне, что "паруса да мачты не по пропорции".

- Ах, батюшка! - умилилась Катенька. - И во сне тебе нет покою: о делах корабельных печешься!

И когда он опять угрюмо замолчал, завела речь о новых кораблях.

- "Нептун" зело изрядный корабль и так ходок, что, почитай, лучший во флоте. "Гангут" также хорошо ходит, послушен рулю, только для своей высоты не гораздоштейф - от легкого ветру более других нагибается; что будет на нарочитой погоде? А большой шлюпс-бот, что делал бас Фон-Рен, я до вашего прибытия не спускала и на берегу, чтобы не рассохся, велела покрыть досками.

Она говорила о кораблях, как о родных детях: - "Гангут", да "Лесной" - два родные братца, им друг без друга тошно; ныне же, как вместе стоят, воистину радостно на них смотреть. А покупные против наших подлинно достойны звания - приемыши, ибо столь отстоят от наших, как отцу приемыш от родного сына!..

Петр отвечал неохотно, как будто думал о другом.

Поглядывал украдкой то на нее, то на Монса. С твердыми гладким, точно из розового камня выточенным, лицом, с голубыми, точно бирюзовыми, глазами, изящный камерюнкер напоминал фарфоровую куклу.

Катенька чувствовала, что "старик" наблюдает за ними.

Но владело собой в совершенстве. Если и знала о доносе, то не обнаружила ничем своей тревоги. Только разве в глазах, когда глядела на мужа, была более вкрадчивая ласковость, чем всегда; да говорила, может быть, чересчур много,- быстро переходя от одного к другому, как будто искала, чем бы занять мужа,- "заговаривает зубы", мог бы он подумать.

Не успела кончить о кораблях, как начала о детях, Лизаньке и Аннушке, которые летом "едва оспой личик своих не повредили", о, Шишечке, который "в здоровьи своем к последним зубкам слабеньк стал".

- Однако же, ныне, при помощи Божьей, в свое состояние приходит. Уж пятый зубок благополучно вырезался - дай Боже, чтоб и все так! Только вот глазок правый болит.

Петр опять на минуту оживился, начал расспрашивать лейб-медика о здоровьи, Шишечки.

- Глазку его высочества есть легче,- сообщил Блюментрост.- Также и зубок на другой стороне внизу оказался. Изволит ныне далее пальчиками щупать - знатно, что и коренные хотят выходить.

- Храбрый будет генерал!- вмешалась Катенька. Все бы ему играть в солдатики, непрестанно веселиться муштрованьем рекрут да пушечною стрельбою. Речи же его: папа, мама, солдат! Да прошу, батюшка мой, обороны, понеже немалую имеет со мною ссору за вас, когда уезжаете. Как помяну, что папа уехал, то не любит той речи, но более любит и радуется, как молвишь, что здесь папа, протянула она певучим голосом и заглянула в глаза мужус приторною улыбкой.

Петр ничего не ответил, но вдруг посмотрел на нее и на Монса так, что всем стало жутко. Катенька потупилась и чуть-чуть побледнела. Гамильтон подняла глаза и усмехнулась тихой усмешкой. Наступило молчание. Всем стало страшно.

Но Петр, как ни в чем не бывало, обратился к Якову Брюсу и заговорил об астрономии, о системе Ньютона, опятнах на солнце, которые видны в зрительную трубу, ежели покоптить ближайшее к глазу стекло, и о предстоящем солнечном затмении. Так увлекся разговором, что не обращал ни на что внимания до конца обеда. Тут же, за столом, вынув из кармана памятную книжку, записал: "Объявлять в народе о затмениях солнечных, дабы чудо не ставили, понеже, когда люди про то ведают прежде, то не есть уже чудо. Чтоб никто ложных чудес вымышлять и к народному соблазну оглашать не дерзал".

Все облегченно вздохнули, когда встал Петр из-за стола и вышел в соседнюю комнату.

Он сел в кресло у топившегося камина, надел круглые железные очки, закурил трубку и начал просматривать новые голландские куранты, отмечая карандашом на полях, что надо переводить на русские ведомости.

Опять вынул книжку и записал:

"О счастья и несчастья все печатать, что делается и не утаивать ничего".

Бледный луч солнца блеснул из-за туч, робкий, слабый, как улыбка смертельно больного. Светлый четырехугольник от оконной рамы протянулся на полу до камина, и красное пламя сделалось жиже, прозрачнее. За окном на расплавленно-серебряном небе вырезались тонкие сучья, как жилки. Апельсиновое деревцо в кадке, которое садовники переносили из одной оранжереи в другую, нежное, зябкое, обрадовалось солнцу, и плоды зардели в темной подстриженной зелени, как золотые шарики. Меж черных стволов забелели мраморные боги и богини, последние, еще не заколоченные в гробы - тоже зябкие, голые как будто торопясь погреться на солнце.

В комнату вбежали две девочки. Старшая, девятилетняя Аннушка - с черными глазами, с очень белым лицом и ярким румянцем, тихая,

важная, полная, немноготяжелая на подъем - "дочка-бочка", как звал ее Петр.

Младшая, семилетняя Лизанька - золотокудрая, голубоглазая, легкая, как птичка, резвая шалунья, ленивая кученью, любивддая только игры, танцы, да песенки, оченьхорошенькая и уже кокетка.

- А, разбойницы!- воскликнул Петр и, отложив куранты, протянул к ним руки с нежною улыбкою. Обнял их, поцеловал и усадил одну на одно, другую на другое колено.

Лизанька стащила с него очки. Они ей не нравились, потому что старили его - он казался в них дедушкой.

Потом зашептала ему на ухо, поверяя свою давнюю мечту:

- Сказывал голландский шкипер Исай Кониг, естъв Амстердаме мартышечка зеленого цвета, махоньякаямахоньякая, что входит в индийский орех. Вот бы мне этумартышечку, папа, папочка миленький!

Петр усумнился, чтобы мартышки могли быть зеленогоцвета, но обещал торжественно - трижды должен былповторить: ей Богу!- со следующей почтой написать вАмстердам. И Лизанька в восторге занялась игрой: старалась просунуть ручку, как в ожерелья, в голубые кольца табачного дыма, которые вылетали из трубки Петра.

Аннушка рассказывала чудеса об уме и кротости любимца своего Мишки, ручного тюленя в среднем фонтанеЛетнего сада.

- Отчего бы, папочка, не сделать Мишке седло и неездить на нем по воде, как на лошади?

- А ну, как нырнет, ведь утонешь?- возражал Петр.

Он болтал и смеялся с детьми, как дитя.

Вдруг увидел в простеночном зеркале Монса и Катеньку. Они стояли рядом в соседней комнате перед баловнем царицы, зеленым гвинейским попугаем и кормилиего сахаром.

"Ваше Величество... дурак!" пронзительно хрипел попугай. Его научили кричать "здравия желаю, ваше величество!" и "попка дурак!" но он соединил то и другое вместе.

Монс наклонился к царице и говорил ей почти на ухо.

Катенька опустила глаза, чуть-чуть зарумянилась и слушалас жеманною сладенькой улыбочкой пастушки из "Ездына остров любви".

Лицо Петра внезапно омрачилось. Но он все-таки поцеловал детей и отпустил их ласково:

- Ну, ступайте, ступайте с Богом, разбойницы! Мишке от меня поклонись, Аннушка.

Луч солнца померк. В комнате стало мрачно, сыро и холодно. Над самым окном закаркала ворона. Застучал молоток. То заколачивали в гробы, хоронили воскресших богов.

Петр сел играть в шахматы с Брюсом. Играл всегда хорошо, но сегодня был рассеян. С четвертого хода потерял ферзя.

- Шах королеве! - сказал Брюс.

"Ваше Величество дурак!" - кричал попугай.

Петр, нечаянно подняв глаза, опять увидел в том же зеркале Монса с Катенькой. Они так увлеклись беседой, что не заметили, как маленькая, похожая на бесенка, мартышка подкралась к ним сзади и, протянув лапку, скорчив плутовскую рожицу, приподняла подол платья у Катеньки.

Петр вскочил и опрокинул ногою шахматную доску, все фигуры полетели на пол. Лицо его передернуло судорога.

Трубка выпала изо рта, разбилась, и горящий пепел рассыпался. Брюс тоже вскочил в ужасе. Царица и Монс обернулись на шум.

В то же время в комнату вошла Гамильтон. Она двигалась, как сонная, словно ничего не видя и не слыша.

Но, проходя мимо царя, чуть-чуть склонила голову и посмотрела на него пристально. От прекрасного, бледного, точно мертвого, лица ее веяло таким холодом, что, казалось, то была одна из мраморных богинь, которых заколачивали в гробы.

Царь проводил ее глазами до двери. Потом оглянулся на Брюса, на опрокинутую шахматную доску, с виноватой улыбкой:

- Прости, Яков Вилимович... нечаянно!

Вышел из дворца, сел в шлюпку и поехал отдыхать на яхту.

Сон Петра был болезненно чуток. Ночью запрещено было ездить и даже ходить мимо дворца. Днем, так как нельзя в жилом доме избежать шума, он спал на яхте.

Когда лег, почувствовал сильную усталость: должно быть, слишком рано встал и замучился в Адмиралтействе. Сладко зевнул, потягиваясь, закрыл глаза и уже начал засыпать, но вдруг весь

вздрагнул, как от внезапной боли. Эта боль была мысль о сыне, царевице Алексее.

Она всегда в нем тупо ныла. Но порою, в тишине, в уединении, начинала болеть с новою силою, как разбереженная рана.

Старался заснуть, но сна уже не было. Мысли самисобой лезли в голову.

На днях получил он письмо, которым Толстой извещал, что Алексей ни за что не вернется. Неужели придется самому ехать в Италию, начинать войну с цесарем Англией, может быть, со всей Европою, теперь, когданадо бы думать только об окончании войны с шведами ио мире? За что наказал его Бог таким сыном?

- Сердце Авессаломле, сердце Авессаломле, Авессалом, сын царя Давида, поднял мятеж против отца.

все дела отеческие возненавидевшее и самому отцу смерти желающее!..- глухо простонал он, сжимая голову руками.

Вспомнил, как сын перед цесарем, перед всем светомназывал его злодеем, тираном, безбожником; как друзьяАлексея, "длинные бороды", старцы да монахи, ругалиего, Петра, "антихристом".

"Глупцы!"- подумал со спокойным презрением. Даразве мог бы он сделать то, что сделал, без помощи Божьей?

И как ему не верить в Бога, когда Бог - вот Он - всегдас ним, от младенческих лет до сего часа.

И пытая совесть свою, как бы сам себя исповедуя, припоминал всю свою жизнь.

Не Бог ли вложил ему в сердце желанье учиться?

Шестнадцати лет едва умел писать, знал с грехом пополам сложение и вычитание. Но тогда уже смутно чуял то, что потом ясно понял: "Спасение России - в науке; всепрочие народы политику имеют, чтоб Россию в неведенииисодержать и до света разума, во всех делах, а наипачев воинском, не допускать, чтобы не познала силы своей".

Решил ехать сам в чужие края за наукою. Когда узналио том на Москве,- патриарх и бояре, и царицы и царевныпришли к нему, положили к ногам его сына Алешенькуи плакали, били челом, чтоб не ездил к немцам - от начала Руси того не бывало. И народ плача провожал его, как на смерть. Но он все-таки уехал - и

неслыханное дело свершилось: царь, вместо скипетра взял в руки топор, сделался простым работником. "Аз семь в чину учимыхи учащих мя требую. Того никакою ценою не купишь, что сделал сам". И Бог благословил труды его: из потешных, которых Софья с презрением называла "озорниками конюхами", вышло грозное войско; из маленьких игрушечных стружков, в которых плавал он по водовзводным прудам Красного сада,- победоносный флот.

Первый бой со шведом, поражение при Нарве. "Всето дело яко младенческое играение было, а искусства ниже вида. И ныне, как о том подумаю, за милость Божию почитаю, ибо, когда сие несчастье получили, тогда неволяленость отогнала и к трудолюбию и к искусству день и ночь принудила". Поражение казалось отчаянным. "Русскую каналью,- хвастал Карл,- мы могли бы не шпагой, а плетью из всего света,- не то что из собственной земли их выгнать!" Если бы Господь не помог Петру тогда, он бы погиб.

Не было меди для пушек; велел переливать колоколана пушки. Старцы грозили - Бог-де накажет. А он знал, что Бог с ним. Не было коней; люди, впрягаясь, тащилина себе орудия новой артиллерии, "слезами омоченной".

Все дела "идут, как молодая брага". Извне - война, внутри - мятеж. Астраханский, булавинский бунт. Карл перешел Вислу, Неман, вступил в Гродно, два часа спустя после того, как Петр оттуда выехал. Он ждал со дня надень, что шведы двинутся на Петербург, или Москву, укреплял оба города, готовил к осаде. И в это же время был болен, так что "весьма отчаялся жизни". Но опять чудо Божие. Карл, наперекор всем ожиданиям и вероятиям, остановился, повернул и пошел на юго-восток, в Малороссию. Бунт сам собою потух "Господь чудным образом огонь огнем затушить изволил, дабы могли мы видеть, что вся не в человеческой, но в Его суть воле".

Первые победы над шведами. В битве при Лесном, поставив позади фронта казаков и калмыков с пиками, дал повеление колоть беглецов нещадно, не исключая и его самого, царя. Весь день стояли в огне, шеренг не помешали, пядени места не уступили; четыре раза от стрельбы ружья разгорались, четыре раза сумы и карманы патронами наполняли. "Я, как стал служить, такой игрушки не видал; однако, сей

танец в очах горячего Карлуса изрядно станцевали!" Отныне "шведская шея мягче гнуться стала".

Полтава. Никогда во всю свою жизнь не чувствовал он так помогающей руки Господней, как в этот день.

Опять - чуду подобное счастье. Карл накануне ночью ранен шальной казацкой пулей. В самом начале боя ударило ядро в носилки короля; шведы подумали, что он убит - ряды их смешались. Петр глядел на бегущих шведов, и ему казалось, что его несут невидимые крылья;

знал, что день Полтавы - "день русского воскресения", и лучезарное солнце этого дня - солнце всей новой России.

"Ныне уже совершенно камень во основание Санкт-Петербурга положен. Отселе в Петербурге спать будет покойно". Этот город, созданный, наперекор стихиям, среди болот и лесов - "яко дитя в красоте растущее, святая земля. Парадиз, рай Божий" - не есть ли тоже великое чудо Божие, знамение милости Божией к нему - уже не престанное, явное, пред лицом грядущих веков?

И вот теперь, когда почти все сделано, - рушится все. Бог отступил, покинул его, Дав победы над врагами внешними, поразил внутри сердца, в собственной крови и плоти его - в сыне.

Самые страшные союзники сына - не полки чужеземные, а кишачи внутри государства полчища, плутов, тунеядцев, взяточников и всяких иных непотребных людишек. По тому, как шли дела в последний отъезд его из России, Петр видел, как они пойдут, когда его не станет: за эти несколько месяцев все заскрипело, зашаталось, как в старой гнилой барке, севшей на мель, под штормом.

"Явилось воровство превеликое". О взяточниках следовали указы за указами, один жестче другого. Почти каждый начинался словами: "ежели кто презрит сей наш последний указ", но за этим последним следовали Другие с теми же угрозами и прибавлением, что последний.

Иногда опускались у него руки в отчаянии. Он чувствовал страшное бессилие. Один против всех. Как большой зверь, заеденный насмерть комарами да мошками.

Видя, что ничего не возьмешь силою, прибегал к хитростям. Поощрял доносы. Учредил особую должность фискалов. Тогда началась по всей стране кляуза и ябеда.

"Фискалы ничего не смотрят, живут, как сушие тунеядцы, и покрывают друг друга, потому что у них общая компания". Плуты доносят на плутов, доносчики - на доносчиков, фискалы - на фискалов, и сам архифискал, кажется - архиплут.

Гнусная пропасть, бездонная помойная яма. Авгиевы конюшни, которых никакой Геркулес не вычистит. Всетечет грязью, расплзается, как в оттепель. Выходит наружу "древняя гнилость". Такой смрад по всей России как после сражения под Полтавою, откуда армия должна была уйти, потому что люди задохлись от смрада бесчисленных трупов.

Тьма в сердцах, потому что тьма в умах. Добра не хотят, потому что добра не знают. Шляхта и простой народ, как Ерема да Фома в присловьи: Ерема не учит, Фома не умеет. Ничего никакими указами и тут не поделаешь.

- Разумы наши тупы, и руки неуметельны; людинашего народа суть косного разума,- говорили ему старики.

Однажды слышал он от голландского шкипера старинное предание: корабельщики видели среди океана неведомый остров, причалили, высадились и развели костер, чтобы сварить пищу; вдруг земля заколебалась, опустилась в воду, и они едва не утонули: то, что казалось им островом, было спиною спящего кита. Все новое просвещение России не есть ли огонь, разведенный на спине Левиафана, на косной громаде спящего народа?

Проклятая, Сизифова работа, подобная работе каторжных на Рогервике, где строят мол; не успеет подняться буря, как в один час разрушит все, что годами воздвигнуто; опять строят, опять рушится - и так без конца.

- Видим мы все,- говорил ему однажды умный мужик,- как ты, великий государь, трудишь себя; да ничего не успеешь, потому что пособников мало: ты на гору аще и сам-десять тянешь, а под гору миллионы,- то какое дело споро будет?

- Бремя, бремя несносное!..- лежа на койке без сна, стонал Петр в такой тоске, как будто вправду навалилась на него одного вся тяжесть

России.

- Для чего ты мучишь раба Твоего?- повторял слова Моисея к Богу.- И почему я не нашел милости пред очами Твоими, и Ты возложил и на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей и развея родил его, что Ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, к земле, которую Ты обещал?

Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда Ты так поступаешь со мною, толучше умертви меня, если я и не нашел милости пред очами Твоими, чтоб мне не видеть бедствия моего.

Вдруг опять вспомнил сына и почувствовал, что вся эта страшная тяжесть, мертвая косность России - в нем, в нем одном - в сыне!

Наконец, невероятным усилием воли овладел собою, позвал денщика, оделся, сел в шлюпку и вернулся водворец, где ожидали его вызванные по делу о плутовстве и взятках сенаторы.

Князь Меншиков, князя Яков и Василий Долгорукие, Шереметев, Шафиров, Ягужинский, Головкин, Апраксин и прочие теснились в маленькой приемной рядом с токарною.

Все были в страхе. Помнили, как года два назад двухвзяточников, князя Волконского и Опухтина, публично секли кнутом, жгли им языки раскаленным железом. Передавались шепотом странные слухи: будто бы офицеры гвардии и другие военные чины назначены судьями сенаторов.

Но за страхом была надежда, что минует гроза, и все пойдет по старому. Успокаивали изречения древней мудрости: "кто пред Богом не грешен, кто пред царем не виноват? Неужто всех станут вешать? У всякого Ермишки свои делишки. Всяка жива душа калачика хочет. Грешный честен, грешный плут, яко все грехом живут".

Вошел Петр. Лицо его было сурово и неподвижно; только глаза блестели, да в левом углу рта была легкая судорога.

Ни с кем не здороваясь, не приглашая сесть, обратился он к сенаторам с речью, видимо заранее обдуманной:

- Господа Сенат! Понеже я писал и говорил вам сколько крат о нерадении вашем и лакомстве, и презрении законов гражданских; но ничего слова не пользуют, и все указы в ничто обращаются; того ради, ныне паки и в последний подтверждаю: всеу законы писать, когда их

нехранить, или ими играть, как в карты, прибирая масть кмасти, чего нигде в свете так нет, как у нас. Что же из сегопоследует? Видя воровство ненаказанное, редкий кто непрельстится - и так мало-помалу все в бесстрашие придут, людей разорят. Божий гнев подвигнут, и сие пачепартикулярной измены может быть всему государству нетокмо бедство, но и конечное падение. Того ради, надлежит взяточников так наказывать, яко бы кто в самый бойдолжность свою преступил, или как самого государственногоизменника...

Он говорил, не глядя им в глаза. Опять чувствовалсвое бессилие. Все слова, как об стену горох. В этих покорных, испуганных лицах, смиренно опущенных глазах-все та же мысль: "Грешный честен, грешный плут, яко все грехом живут".

- Отныне чтоб никто не надеялся ни на какие своизаслуги!- заключил Петр, и голос его задрожал гневом.Сим объявляю: вор, в каком бы звании ни был, хотя б исенатор, судим быть имеет военным судом...

- Нельзя тому статься!-заговорил князь ЯковДолгорукий, грузный старик, с длинными белыми усамина одутловатом, сизо-багровом лице, с детски-яснымиглазами, которые смотрели прямо в глаза царю.- Нельзятому статься, государь, чтоб солдаты судили сенаторов.

Не токмо чести нашей, но и всему государству Российскому сим афронт учинишь неслыханный!

- Прав князь Яков!-вступился Борис, Шереметев, рыцарь Мальтийского ордена.- Ныне вся Европа российских людей за добрых кавалеров почитает. Для чего же тыбесчестишь нас, государь, кавалерского звания лишаешь?

Не все же воры...

- Кто не вор.- изменник! - крикнул Петр, с лицом, искаженным яростью.- Аль думаешь, не знаю вас? Знаю, брат, вижу насквозь! Умри я сейчас - ты первый станешь за сына моего, злодея! Все вы с ним заодно!..

Но опять неимоверным усилием воли победил свойгнев. Отыскал глазами в толпе князя Меншикова и проговорил глухим, сдавленным, но уже спокойным голосом: - Александра, ступай за мною!

Они вместе вышли в токарную. Князь, маленький, сухонький, с виду хрупкий, на самом деле, крепкий как железо, подвижный как ртуть, с худощавым, приятным лицом, с необыкновенно живыми, быстрыми и умными глазами, напоминавшими того уличного мальчишку-разносчика, который некогда кричал: "Пироги подовы!" юркнул в дверь за царем, весь съежившись, как собачонка, которую сейчас будут бить.

Низенький, толстый Шафиров отдувался и вытирал пот с лица. Длинный, как шест, тощий Головкин весь трясся, крестился и шептал молитву. Ягужинский упал в кресло и стонал; у него подвело живот от страху.

Но, по мере того, как из-за дверей слышался гневный голос царя и однообразно-жалобный голос Меншикова слов нельзя было разобрать - все успокаивались. Иные даже злорадствовали: светлейшему-де не впервой: кости у него крепкие - с малых лет к царской дубинке привык.

Ништо ему! Изловчится, вывернется!

Вдруг за дверью послышался шум, крики, вопли. Обе половинки двери распахнулись, и вылетел Меншиков.

Шитый золотом кафтан его был разодран; голубая андреевская лента в клочьях, ордена и звезды на груди болтались, полуоторванные; парик из царских волос некогда Петр в знак дружбы дарил ему свои волосы, каждый раз, когда стригся - сбит на сторону; лицо окровавлено. За ним гнался царь с обнаженным кортиком и с неистовым криком:

- Я тебя, сукин сын!..

- Петинька! Петинька! - раздался голос царицы, которая, как всегда, в самую нужную минуту точно из-под земли выросла.

Она удержала его на пороге, заперла дверь токарной, и оставшись наедине с ним, прижалась к нему всем телом и уцепилась, повисла у него на шее.

- Пусти, пусти! Убью... - кричал он в бешенстве.

Но она обнимала его все крепче и крепче, повторяя: - Петинька! Петинька! Господь с тобою, друг мой сердешненький! Брось ножик, ножик-то брось, беды наделаешь...

Наконец, кортик выпал из рук его. Сам он повалился в кресло. Страшная судорога сводила ему члены.

Точно так же, как тогда, во время последнего свидания отца с сыном, Катенька присела на ручку кресел, обняла ему голову, прижала к своей груди, и начала тихонько гладить волосы, лаская, баюкая, как мать - больногоребенка. И мало-помалу, под эту тихую ласкою, он успокаивался. Судорога слабела. Иногда еще вздрагивал всем телом, но все реже и реже. Не кричал, а только стонал, точно всхлипывал, плакал без слез:

- Трудно, ох, трудно, Катенька! Мочи нет!.. Не с кем подумать ни о чем. Никакого помощника. Все одинда один!.. Возможно ли одному человеку? Не только человеку, ниже ангелу!.. Бремя несносное!..

Стоны становились все тише и тише, наконец, совсем затихли - он уснул.

Она прислушалась к его дыханию. Оно было ровно.

Всегда после таких припадков он спал очень крепко, так что ничем не разбудишь, только бы от него не отходила Катенька.

Продолжая обнимать его голову одной рукой, Другою, как будто тоже лаская, она шарила, щупала на груди его под кафтаном быстрым воровским движением пальцев.

Нащупав пачку писем в боковом кармане, вытащила, пересмотрела, увидела большое, запачканное, должно быть, подметное, в синей обертке, за печатью красного воска, нераспечатанное, догадалась, что это то самое, которого она ищет: второй донос на нее и Монса, более страшный, чем первый. Монс предупреждал ее об этом синем письме; сам он узнал о нем из разговора пьяных денщиков.

Катенька удивилась, что муж не распечатал письма.

Или боялся узнать истину?

Чуть-чуть побледнев, крепко стиснув зубы, но не теряя присутствия духа, заглянула в лицо его. Он спал сладко - как маленькие дети, наплакавшись. Она тихонько положила голову его на спинку кресла, расстегнула на груди своей несколько пуговиц, скомкала письмо, сунула в углубление груди, наклонилась, подняла кортик, надпорол карман, где лежали письма, и снизу полукафтана по самому шву так, что можно было принять эти надрезы за

случайные дыры, и положила остальную пачку на прежнее место в карман. Если бы он заметил пропажусинего письма, то подумал бы, что оно завалилось за подкладку и оттуда сквозь нижнюю прореху выпало и потерялось. Дыры случались нередко в заношенном платье царя.

Мигом кончила все это Катенька. Потом опять взяла голову Петиньки, положила ее к себе на грудь и начал тихонько гладить, лаская, баюкая, глядя на спящего исполина, как мать на больного ребенка, или укротительница львов на страшного зверя.

Через час проснулся он бодрым и свежим, как ни в чем не бывало.

Недавно умер царский карлик. В тот день назначены были похороны - одно из тех шутовских маскарадных шествий, которые так любил Петр. Катенька убеждала его отложить на завтра похороны, и сегодня больше никуда не ездить, отдохнуть. Но Петр не послушался, велел бить в барабаны, выкинуть флаги для сбора, поспешно, как будто для самого важного дела, собрался, нарядился в полутраурное, полумаскарадное платье и поехал.

"О монстрах или уродах.

Понеже известно есть, что как в человеческой породе, так в зверской и птичьей, случается, что родятся монстры, то есть, уроды, которые всегда во всех государствах собираются для диковинки, чего для, пред несколькими летами уже указ сказан, чтобы оных приносили; но таят невежды, чая, что такие уроды родятся от действия диавольского, через ведовство и порчу, чему быть невозможно, ибо един Творец всея твари Бог, а не диавол, которому ни над каким созданием власти нет,- но от повреждения внутреннего, также от страха и мнения матерного во время бремени, как тому многие есть примеры,- чего испугается мать, такие знаки на дитяти бывают; того ради, паки сей указ подновляется, дабы, конечно, такие, как человеческие, так скотские, звериные и птичьи уроды, приносили в каждом городе к комендантам своим, и им за то будет давана плата, а именно: за человеческую - по десяти рублев, за скотскую и звериную - по пяти, а за птичью по три рубли, за мертвых. А за живые, за человеческую по сту рублев, за скотскую и звериную - по пятнадцати рублев, за птичью - по семи рублев. А ежели гораздохудное, то дадут и более. А кто против сего указу будет таить,

на таких возвещать; а кто обличен будет, на том штрафу брать в десятую против платежа за оные, и теденьги отдавать изветчикам. Вышереченные уроды, какчеловечьи, так и животных, когда умрут, класть в спирты, буде же того нет, то в двойное, а по нужде в простое виной закрыть крепко, дабы не испортилось, за которое вино заплачено будет из аптеки особливо".

Петр любил своего карлика - "нарочитую монстру" и устроил ему великолепные похороны.

Впереди шло попарно тридцать певчих - все маленькие мальчики. За ними - в полном облачении, с кадилом в руках, крошечный поп, которого из всех петербургских священников выбрали за малый рост, Шесть маленьких вороных лошадок, в черных до земли пополах, везли маленький, точно детский, гробик на маленьких, точно игрушечных, дрогах. Потом выступали торжественно, взявшись за руки, под предводительством крошечного маршала с большим жезлом, двенадцать пар карликов в длинных траурных мантиях, обшитых белым флером, и столько же карлиц - все по росту, меньшие впереди, большие позади, наподобие органных дудок - горбатые, толстобрюхие, косолапые, криворожие, кривоногие, как собаки барсучьей породы, и множество других, не столько смешных, сколько страшных уродов. По обеим сторонам шествия, рядом с карликами, шли великаны-гренадеры и царские гайдуки, с горящими факелами и погребальными свечами в руках. Одного из этих великанов, наряженного в детскую распашонку, вели на помочах два самых крошечных карлика с длинными седыми бородами; другого, спеленатого, как грудной младенец, везли в тележке шесть ручных медведей.

Шествие заключал царь со всеми своими генералами и сенаторами. В наряде голландского корабельного барабанщика, шел он все время пешком и, с таким видом как будто делал самое нужное дело, бил в барабан.

Невской перспективой, от деревянного моста на речке Фонтанной к Ямской Слободе, где было кладбище, двигалось шествие и за ним толпа. Люди выглядывали из окон, выбегали из домов, и в суеверном страхе не знали православные - креститься или

отплевываться. А немцы говорили: "такого-де шествия едва ли где придется увидеть, кроме России!"

Был пятый час вечера. Быстро темнело., Шел мокрый снег хлопьями. По обеим сторонам перспективы два ряда голых липок и крыши низеньких домиков белели от снега.

Густел туман. И в мутно-желтом тумане, и в мутно-красном свете факелов это шествие казалось бредом, наваждением дьявольским.

Но толпа, хотя и в страхе, бежала, не отставая, шлепая по грязи и рассказывая шепотом страшные, тоже подобные бреду, слухи о нечистой силе, которая будто бы завелась в Петербурге.

Намедни ночью караульный у Троицы слышал в трапезе церковной стук, подобием бегания; и в колокольне кто-то бежал по деревянной лестнице, так что ступени тряслись; а утром псаломщик, когда пошел благовестить, увидел, что стремянка-лестница оторвана, и веревка, спущенная для благовесту, обернута в четверо.

- Никто другой, как черт,- догадывались одни.

- Не черт, а кикимора,- возражали другие.

Старушка селедочница с Охты собственными глазами видела кикимору, как она пряжу прядет:

- Вся голая, тонешенька, чернешенька, а головенка махонькая, с наперсточек, а туловища не опознать с соломинкой.

- Не домовый ли?-спросил кто-то.

- Домовых в церкви не водится,- отвечали ему.

- А может, какой заблудящий? На них-де бывает чума, что на коров и собак - оттого и проказят.

- То к весне: по веснам домовые линяют, старая шкура сползает-тогда и бесятся.

- Домовой ли, черт ли, кикимора,- а только знатно, сила нечистая!- решили все.

В мутно-желтом тумане, в мутно-красном свете факелов, от которого бежали чудовищные тени гигантов и карликов, само это шествие казалось нечистой силою, петербургскою нежитью.

Сообщались еще более страшные вести.

На Финляндской стороне какой-то поп "для соделания некоего неистовства" нарядился в козью шкуру с рогами, которая тотчас к нему приросла, и в сем виде повезут его ночью на казнь. Драгунский

сын Зварыкин продал душу дьяволу, объявившемуся у Литейного двора, в образе

немца, и договор подписал кровью. В Аптекарском саду, на кладбище разрыли вору могилу, разбили заступами гроб, принялись тащить покойника за ноги, но не вытащили, испугались и убежали; утром увидел кто-то ноги, торчавшие из могилы,- и прошел слух о воскресении мертвых. В Татарской слободе, за крепостным Кронверком, родился младенец с коровьим рогом вместо носа; ана Мытном дворе - поросенок с человеческим лицом. "Незнаменуется благое в городах, где такое рождается!" Где то явился пастух о пяти ногах. На Ладоге выпал кровавый дождь; земля тряслась и ревела, как вол; на небе было три солнца.

- Быть худу, быть худу,- повторяли все.

- Питербурху пустеть будет!

- Не одному Питербурху - всему миру конец! Светопреставление! Антихрист!

Наслушавшись этих рассказов, маленький мальчик, которого мать тащила за руку в толпе, вдруг заплакал, закричал от страха. Женщина в отрепьях, с полоумным лицом, должно быть, юродивая, нечеловеческим голосом закричала. Ее поскорее увели в соседний двор. Царь не любил шутить с кликушами: выгонял из них бесов кнутом.

"Хвост кнута длиннее хвоста бесовского!"- говорил он, когда ему докладывали о "суеверных шалостях".

Среди вельмож и сенаторов было тоже много испуганных лиц. Перед самым выступлением шествия, Шафиров поднес государю только что полученные с курьером письма из Неаполя от Толстого и царевича. Государь спрятал их в карман, не распечатав,- должно быть, не хотел читать при свидетелях., Шафиров, однако, из полученной им коротенькой записки Толстого уже знал страшную весть.

Она тотчас облетела всех: - Царевич едет сюда!

- Иуда, Петр Толстой выманил - ему-де не первого кушать.

- Батюшка, слышь, посулил его на Афросинье женить.

- Женить? Как бы не так. Держи карман. Жолвему, а не женитьба!

- А ну, как даст Бог свадьбу?

- Венчали ту свадьбу на Козьем болоте, а дружкада свашка - топорик да плашка!

- Дурак, дурак! Погубит он себя напрасно.

- Быть бычку на обрывочке!

- Не сносить ему головы своей!

- Под обух идет!

- А может и помилуют? Не чужой ведь,- родной: и змея своих черев не ест. Поучат и помилуют!

- Учить поздно, распашонка на нем не сойдется.

- Не учили, покуда поперек лавки укладывался, а во всю вытянулся, не научишь!

- Поди ко мне- в ступу, я тя пестом приглажу - вотвся и наука!

- Унянчат дитятку, что не пикнет,- упестуют!

- Да и нам, чай, всем такая будет баня, что небо совчинку покажется.

- Беда, братцы, беда - тут и о двух головах пропадешь!

И в толпе вельмож все повторяли, так же, как в толпенарода:

- Быть худу! быть худу!

А царь все шагал да шагал по грязи и бил в барабан, заглушая унылое пение: Со святыми упокой. Вечнаяпамять!

Туман густел. Все расплывалось в нем, таяло, делалось призрачным - и вот-вот, казалось, весь город, всеми своими людьми и домами, и улицами, подыметя, вместе с туманом, и разлетится, как сон.

Вернувшись с похорон в Летний дворец, Петр селв маленькую верейку, переехал через темную ночную Неву, один, без гребцов, сам работая веслами, и причалилу небольшой деревянной пристани на противоположномберегу.

Здесь, почти у самой реки, недалеко от Троицкогособора, стоял маленький низенький домик, один из первых домов, построенных голландскими плотниками, присамои основании Петербурга - первый дворец Петра, похожий на бедные хижины саардамских корабельщиков.

Он был срублен из соснового леса, который рос тутже, на диком болоте Кейвусари, Березового острова;

выкрашен масляною краскою под кирпич и крыт дощечками под черепицу.

Комнаты низенькие, тесные - всего три: направо от сеней конторка, налево столовая и за нею спальня самая крошечная из трех, четыре аршина в длину, три в ширину - едва повернуться. Убранство, хотя очень простое, но уютное и опрятное, на голландский образец.

Потолок и стены обиты выбеленным холстом; окна широкие, низкие, с переплетом из свинцовых желобков и мелкими стеклами, с дубовыми ставнями на железных болтах. Двери не по росту Петра-он должен был наклоняться, чтобы не удариться головой о притолку.

После постройки Летнего и Зимнего дворца, стоял этот домик пустой. Только изредка царь ночевал в нем, когда ему хотелось остаться совсем одному, даже без Катеньки.

Войдя в сени, растолкал храпевшего на войлоке денщика, велел дать огня, прошел в конторку, запер дверь на ключ, поставил свечу на стол, сел в кресло, вынул из кармана письма Толстого, Румянцева и царевича, но перед тем, чтоб их распечатать, остановился, как будто в нерешимости, прислушиваясь к мерному гулкому бою часов на колокольне у Троицы. Пробило девять. Последний звук замер, и наступала тишина, такая же, как в те дни, когда Петербурга еще не было, и кругом этого бедного домика были только бесконечные леса да непроходимые топи.

Наконец, распечатал. Пока читал, лицо чуть-чуть побледнело, руки задрожали. Когда же прочел последние слова в письме царевича: "поеду из Неаполя на сих днях к тебе, государю, в Санкт-Петербурх" - дух захватило от радости. Дальше не мог читать. Перекрестился.

Это ли еще не знамение, не чудо Божие? Только что изнемогал, отчаивался, думал, что Бог забыл его, отступил навсегда - и вот опять рука Господня поддерживает.

Почувствовал себя вновь сильным и бодрым, как будто помолодевшим, готовым ко всякому труду и подвигу.

Потом опустил голову и, глядя на пламя свечи, глубоко задумался.

Когда сын вернется, что с ним делать? "Убить!" в ярости думал он прежде, когда не надеялся на возвращение. Но теперь, когда знал,

что вернется,- ярость потухла, и он спрашивал себя впервые, спокойно, разумно: что делать?

Вдруг вспомнил слова свои в первом письме, отправленном в Неаполь с Толстым и Румянцевым: "обещаюсь Богом и судом Его, что никакого наказания не будет, но лучшую любовь покажу тебе,, ежели возвратишься".

Теперь, когда сын поверил этой клятве, она приобретала страшную силу.

Но как исполнить ее?

Простить сына не значит ли простить и всех остальных, таких же, как он, изменников, злодеев царю и отечеству?

Все людишки негодные, взяточники, воры, тунеядцы, ханжи, лицемеры, длинные бороды соединятся с ним и в такое бесстрашие придут, что никакой грозы на них не будет. Учинят всему государству падение конечное. И ежели сын над отцом надругается так, при жизни его, то что же будет после смерти? Все разорит, расточит, не оставит камня на камне, погубит Россию!

Нет, хотя б и клятву нарушить, а нельзя простить.

Значит, опять - розыск, опять - пытки, костры, топоры, плахи и кровь?

Вспомнилось ему, как однажды, во время стрелецких казней, когда он ехал верхом на Красную площадь, где в тот же день должно было пасть более трехсот голов,- вышел к нему навстречу патриарх с чудотворной иконой Божией Матери просить о пощаде стрельцов.

Царь поклонился иконе, но патриарх отстранил рукою гневно и сказал: "Зачем пришел сюда? Я Мать Божия чужда не меньше твоего. Но долг велит мне добрых миловать, а злых казнить. Ступай же прочь, старик! Я знаю, что сделаю".

Патриарху сумел ответить, но как-то ответит Богу?

И представился ему, как в видении, бесконечный ряд голов, лежащих у Лобного места, на длинном бревне, вместо плахи, затылками вверх, лицами вниз - русые, рыжие, черные, седые, лысые, кудрявые. Навеселе, только что с попойки, вместе с Данилычем и прочими гостями, он ходит с топором в руках, засучив рукава, как палач, и рубит одну за другой эти головы. А когда устает, гости берут

него топор, по очереди, и тоже рубят. Все пьяны открови. Платье обрызгано кровью; на земле лужи крови;

ноги скользят в крови. Вдруг одна из этих голов, когда он уже занес над нею топор, тихонько приподымается, оборачивается и глядит ему прямо в глаза. Это он, Алеша!

"Алешенька, мальчик мой родненький!" - представилось ему другое видение - как, вернувшись из чужих краев, пробрался он тайком ночью в спальню царевича, наклонился над его постелькой, взял на руки сонного, и обнимал, и целовал, чувствуя сквозь рубашку теплоту его голого тельца.

"Убить сына" - только теперь понял он, что это значит.

Почувствовал, что это самое страшное, самое важное во всей его жизни - важнее, чем Софья, стрельцы, Европа, наука, армия, флот, Петербург, Полтава; что тут решается вечное: на одну чашу весов положится все, что он сделал великого, доброго, на другую - кровь сына и как знать, что перевесит? Не померкнет ли вся его слава от этого кровавого пятна? Что скажет Европа, что скажет потомство о клятвопреступнике, сыноубийце?

Труден разбор его невинности тому, кто не знает всего.

А кто знает все?

И перед Богом может ли человек, хотя бы и за благоотечества, взять на душу такой грех, как пролитие крови от крови своей?

Но что же, что делать? Простить сына - погубить Россию; казнить его - погубить себя. Он чувствовал, что этого никогда не решит.

Да и нельзя решить одному, но кто поможет? Церковь? Что на земле свяжете, то связано будет на небе, и что разрешите на земле, то разрешено будет на небе.

Так было прежде. А теперь - где церковь? Патриарх?

Его уже нет. Он сам отменил патриаршество. Или митрополит, "Степка холопка", который, пав до земли, челомбьет государю? Или администратор дел духовных, плут Федоска, с прочими архиереями, которые "так взнузданы, что куда хошь поведи?" Что он им скажет, то они и сделают. Он сам - патриарх, сам - церковь. Он один перед Богом.

И чему, безумец, радовался только что? Да, рука Господня простерлась к нему и отяготела на нем страшною тяжестью. Страшно, страшно впасть в руки Бога живого!

Точно пропасть разверзлась у ног его, и повеяло оттуда ужасом, от которого на голове его зашевелились волосы.

Он закрыл лицо руками.

- "Отступи от меня, Господи! Избавь душу мою откровей. Боже, Боже спасения моего!"

Потом встал и пошел в спальню, где в углу, над изголовьем постели неугасимая лампада теплилась перед чудотворною иконою Спаса Нерукотворенного, писанной в поднос царю Алексею Михайловичу жалованным царским иконописцем, Симоном Ушаковым и хранившейся некогда вверху, в сенях Кремлевских палат. То был русский перевод с незапамятно древнего, византийского образа: по преданию, когда Господь восходил на Голгофу, то, изнемогая под ношею крестной, вытер пот с лица полотенцем - убрусом, и на нем отпечатался Лик.

С тех пор, как мать Петра, царица Наталья Кирилловна, благословила сына этим образом, он уже никогда не расставался с ним. Во всех походах и путешествиях, на кораблях и в палатках, при основании Петербурга и на полях Полтавы - везде образ был с ним.

Войдя в спальню, прибавил в лампадку масла и поправил светильню. Пламя затеплилось ярче, и в золотом окладе, вокруг темного Лица в терновом венце, заблестели алмазы, как слезы, рубины, как кровь.

Стал на колени и начал молиться.

Икона была такая привычная, что он уже почти не видел ее, и сам того не сознавая, всегда обращался молитвой к Отцу, а не к Сыну - не к Богу, умирающему, изливающему кровь Свою на Голгофу, а к Богу живому, крепкому и сильному во брани, Воителю грозному, Победодавцу праведному - Тому, Кто говорит о Себе устами пророка: "Я топтал народы во гневе Моем и попираю их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое".

Но теперь, когда поднял взор на икону и хотел, как всегда, обратиться с молитвою мимо Сына к Отцу, не мог. Как будто в первый раз увидел скорбный Лик в терновом венце, и Лик этот ожил и заглянул ему в душу кротким взором; как будто в первый раз понял то, о чем слышал с детства и чего никогда не понимал: что значит - Сын и Отец.

И вдруг вспомнил страшную древнюю повесть, тоже об отце и сыне:

"Бог искушал Авраама и сказал ему: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака и принеси его во всесожжение. И устроил Авраам жертвенник и, связав сына своего, положил его на жертвенник. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего".

Это лишь земной прообраз еще более страшной жертвы небесной. Бог так возлюбил мир, что не пожалел для него Сына Своего, Единственного своего, и вечно изливаемую Кровью Агнца, Кровью Сына Отчий гнев утоляется.

Тут чувствовал он какую-то самую близкую, самую нужную тайну, но такую страшную, что не смел думать о ней. Мысль его изнемогала, как в безумии.

Хочет или не хочет Бог, чтоб он казнил сына? Простится или взыщется на нем эта кровь? И что, если не только - на нем, но и на детях его и внуках, и правнуках - на всей России?

Он упал лицом на пол и долго лежал так, распростертый, недвижимый, как мертвый.

Наконец, опять поднял взор на икону, но уже с отчаянной, неистовой молитвой мимо Сына к Отцу:

- Да падет сия кровь на меня, на меня одного! Казни меня. Боже, помилуй Россию!

КНИГА ВОСЬМАЯ ОБОРОТЕНЬ

Царевич смотрел на дверь, в которую должен был войти Петр.

Маленькую приемную Преображенского дворца, почтитакого же бедного, как петербургский домик царя, заливало февральское солнце. В окнах был вид, знакомый царевичу с детства - снежное поле с черными галками, серые стены казарм, тюремный острог, земляной вал с пирамидами ядер, караульную будку и неподвижным часовым на прозрачно-зеленом небе. Воробьи на подоконниках чирикали уже по-весеннему. С ледяных сосулек падали светлые капли, как слезы. Был предобеденный час. Пахло пирогами с капустой. В тишине маятник стенных часов однообразно тикал.

На пути из Италии в Россию царевич был спокоен, даже весел, но точно в полусне, или забыты. Не совсем понимал, что с ним происходит, куда и для чего везут его.

Но теперь, сидя с Толстым в приемной и так же, как тогда ночью в королевском дворце, в Неаполе, во время бреда, глядя на страшную дверь, - как будто пробуждался, начинал понимать. И так же, как тогда, весь дрожал непрерывною мелкою дрожью, точно в сильном ознобе. То крестился и шептал молитвы, то хватал за руку Толстого:

- Петр Андреич, ох, Петр Андреич, что-то будет, родимый? Страшно! Страшно!..

Толстой успокаивал его своим бархатным голосом: - Будьте благонадежны, ваше высочество! Повинную голову меч не сечет. Даст Бог, потихоньку да полегоньку, ладком да мирком...

Царевич не слушал и твердил, чтобы не забыть, приготовленную речь:

"Батюшка, я ни в чем оправдаться не могу, но слезно прошу милостивого прощения и отеческого рассуждения, понеже, кроме Бога и твоей ко мне милости, иного никакого надеяния не имею и отдаюсь во всем в волю твою".

За дверью слышались знакомые шаги. Дверь отворилась. Вошел Петр.

Алексей вскочил, пошатнулся и упал бы навзничь, если бы Толстой не поддержал его.

Перед ним, как бы в мгновенном превращении оборотня, промелькнули два лица: чуждое, страшное, как мертвая маска, и родное, милое, каким он помнил отца только в самом раннем детстве.

Царевич подошел к нему и хотел упасть к его ногам, но Петр протянул к нему руки, обнял и прижал к своей груди.

- Алеша, здравствуй! Ну, слава Богу, слава Богу!

Наконец-то, свиделись.

Алексей почувствовал знакомое прикосновение пухлых бритых щек и запах отца - крепкого табаку с потом; увидел большие темные ясные глаза, такие страшные, такие милые, прелестную, немного лукавую улыбку на извилистых, почти женственно-тонких губах. И, забыв свою длинную речь, пролепетал только: - Прости, батюшка...

И вдруг зарыдал неудержимым рыданием, все повторяя: - Прости! Прости!..

Сердце его растаяло мгновенно, как лед в огне.

- Что ты, что ты, Алешенька!..

Отец гладил ему волосы, целовал его в лоб, в губы, в глаза, с материнскою нежностью.

А Толстой, глядя на эти ласки, думал: "Зацелует ястреб курочку до последнего перышка!"

По знаку царя он исчез. Петр повел сына в столовую.

Сучка Лизетта сперва зарычала, но потом, узнав царевича, смущенно завиляла хвостом и лизнула ему руку. Стол накрыт был на два прибора. Денщик принес все блюдасразу и вышел. Они остались одни. Петр налил две чарки анисовой.

- За твое здоровье, Алеша!

Чокнулись. У царевича так дрожали руки, что он пролил половину чарки.

Петр приготовил для него свою любимую закуску ломоть черного хлеба с маслом, рубленным луком и чесноком. Разрезал хлеб пополам, одну половину для себя, другую - для сына.

- Вишь, ты как отощал на чужих-то хлебах,- молвил он, вглядываясь в сына.- Погоди, живо откормим станешь гладкий! Сытнее-де русский хлеб немецкого.

Угощал с прибаутками.

- Чарка на чарку - не палка на палку. Без троицыдом не строится. Учетверить - гостей развеселить.

Царевич ел мало, но много пил и быстро пьянел, не столько, впрочем, от вина, сколько от радости.

Все еще робел, не мог прийти в себя, не верил глазами ушам своим. Но отец говорил с ним так просто и весело, что нельзя было не верить. Расспрашивал обо всем, что он видел и слышал в Италии, о войске и флоте, о папеи цесаре, Шутил, как товарищ с товарищем.

- А у тебя губа не дура;- подмигнул смеясь. Афрося - девка хоть куда! Годов бы мне десять с плеч, так пришлось бы, чего доброго, сынку батки беречься, чтоб с рогами не быть. Недалеко, видно, яблочко от яблони падает. Батка - с портомоей, сынок - с поломоей;

полы-де, говорят, Афрося мыла у Вяземских. Ну, да ведь Катенька белье стирала... А жениться охота?

- Ежели позволишь, батюшка.

- Да что мне с тобой делать? Обещал, небось, так позволю.

Петр налил красного вина в хрустальные кубки.

Подняли, сдвинули. Хрусталь зазвенел. Вино в луче солнца зардело, как кровь.

- За мир, за дружбу вечную! - сказал Петр.

Оба выпили сразу до дна.

У царевича голова кружилась. Он точно летел. Сердце то замирало, то билось так, что казалось, вот-вот разорвется, и он сейчас умрет от радости. Настоящее, прошлое, будущее - все исчезло. Он помнил, видел, чувствовал только одно: отец любит его. Пусть на мгновение. Если бы надо было снова принять муку всей жизни за одно такое мгновение, он принял бы.

И ему захотелось сказать все, признаться во всем.

Петр, как будто угадывая мысль его, положил свою руку на руку сына, с тихой лаской.

- Расскажи-ка, Алеша, как ты бежал.

Царевич почувствовал, что судьба его решается. И вдруг ясно понял то, о чем все время, с той самой минуты, как решил ехать к отцу, старался не думать. Одно из двух: или сказать все, выдать сообщников и сделаться предателем; или запереться во всем и допустить, чтобы снова вырылась бездна, встала глухая стена между ним и отцом.

Он молчал, потупив глаза, боясь увидеть опять, в чуждом лице, то другое, чуждое, страшное, как мертвая маска. Наконец, встал, подошел к отцу и упал передним на колени. Лизетта, спавшая в ногах Петра на подушке, проснулась, поднялась и отошла, уступив царевичу место. Он опустился на подушку. Лежать бы так вечно у ноготца, как собака, смотреть ему в глаза и ждать ласки.

- Все скажу, батюшка, только прости всех, как меня прости! - поднял он взор с бесконечной мольбой.

Отец наклонился к нему и положил ему руки на плечи, все с той же тихой лаской.

- Слушай. Алеша. Как прощу, когда вины не знаю, ниже виновных? За себя могу простить, не за отечество.

Бог сие взыщет. Кто злым попускает, сам зло творит.

Одно обещаю: кого назовешь, помилую, а чью вину скроешь, тем лютая казнь. Итак, не доносчик, но паче заступник будешь друзей своих. Говори же все, не бойся. Никогоне обижу. Вместе рассудим...

Алексей молчал. Петр обнял, прижал к себе его голову, тяжело вздохнув, прибавил:

- Ах, Алеша, Алеша, если бы видел ты сердцемое, знал скорбь мою! Тяжко мне, тяжело, сынок!.. Никогоне имею помощника. Все один да один. Все враги, все злодеи. Пожалей хоть ты отца. Будь другом. Аль не хочешь, не любишь?..

- Люблю, люблю, батенька родненький!..- прошептал царевич, с тою же стыдливою нежностью, как, бывало, в детстве, когда отец приходил к нему ночью тайком брал его на руки, сонного.- Все, все скажу, спрашивай!..

И рассказал все, назвал всех.

Но, когда кончил, Петр ждал еще главного. Искал дела, а никакого дела не было; были только слова, слухи, сплетни - неуловимые призраки, за которые и ухватиться нельзя было для настоящего розыска.

Царевич принимал всю вину на себя и оправдывал всех.

- Я, пьяный, всегда вирал всякие слова и рот имел незатворенный в компаниях, не мог быть без противных разговоров и такие слова с надежи на людей бреживал.

- Кроме слов, не было ль умысла к делу, возмущенью народному, или чтоб силой учинить тебя наследником?

- Не было, батюшка, видит Бог, не было! Все пустое.

- Знала ли мать о побеге твоём?

- Не знала, чай...

И подумав, прибавил: - Подлинно о том не ведаю.

Вдруг замолчал, потупив глаза. Вспомнились ему видения, пророчества епископа ростовского Досифея и прочих старцев, которым верила и радовалась мать,- о гибели Петербурга, о смерти Петра, о воцарении сына.

Скажет ли он о том? Предаст ли мать? Сердце его сжалось тоскою смертною. Он почувствовал, что нельзя обэтом говорить. Да ведь батюшка и не спрашивает. Что емуза дело? Такому ли, как он, бояться бабьих бреден?

- Все ли? Или еще что есть в тебе? - спросилПетр.

- Есть еще одно. Да как сказать, не знаю. Страшно...

Он весь прижался к отцу, спрятал лицо на груди его.

- Говори. Легче будет. Объяви и очисти себя, как насущей исповеди.

- Когда ты был болен,- шепнул ему царевич на ухо,думал я, что умрешь, и радовался. Желал тебе смерти...

Петр тихонько отстранил его, посмотрел ему прямо вглаза и увидел в них то, чего никогда не видел в глазахчеловеческих.

- Думал ли с кем о смерти моей?

- Нет, нет, нет! -- воскликнул царевич с таким ужасом в лице и в голосе, что отец поверил.

Они молча смотрели друг другу в глаза одинаковымвзором. И в этих лицах, столь разных, было сходство.

Они отражали и углубляли друг друга, как зеркала, добесконечности.

Вдруг царевич усмехнулся слабою усмешкою и сказалпросто, но таким странным, чуждым голосом, что казалось, что не он сам, а кто-то другой, далекий, из него говорит.

- Я ведь знаю, батюшка: может быть, и нельзя тебепростить меня. Так не надо. Казни, убей. Сам я умруза тебя. Только люби, люби всегда! И пусть о том никтоне ведает. Только ты да я. Ты да я.

Отец ничего не ответил и закрыл лицо руками.

Царевич смотрел на него, как бы ждал чего-то.

Наконец, Петр отнял руки от лица, опять наклонилсся сыну, обнял голову его обеими руками, поцеловал молча в голову, и царевичу показалось, что первый раз в жизни он видит на глазах отца слезы. Алексей хотел еще что-тосказать. Но Петр быстро встал и вышел.

В тот же день вечером явился к царевичу новый духовник его, о. Варлаам.

По приезде в Москву, Алексей просил, чтобы допустили к нему прежнего духовника его, о. Якова Игнатьева.

Но ему отказали и назначили о. Варлаама. Это был старичок, по виду "самый немудреный - сушая курочка", как шутил о нем Толстой. Но царевич и ему был рад, только бы поскорей исповедаться. На исповеди повторил все, что давеча сказал отцу. Прибавил и то, что скрыл от него - о матери царице Авдотье, о тетке царевне Марье и дяде Аврааме Лопухине - об их общем желании "скорого совершения", смерти батюшки.

- Надо бы отцу правду сказать,- заметил о. Варлаама как-то вдруг заспешил, засуетился.

Что-то промелькнуло между ними странное, жуткое, но такое мгновенное, что царевич не мог дать себе отчета, было ли что-нибудь действительно, или ему только померещилось.

Через день после первого свидания Петра с Алексеем, утром в понедельник 3 февраля 1718 г., велено было министрам, сенаторам, генералам, архиереям и прочим гражданским и духовным чинам собираться в Столовую Палату, Аудиенц-залу старого Кремлевского дворца, для выслушания манифеста об отрешении царевича от престола и для присяги новому наследнику Петру Петровичу.

Внутри Кремля, по всем площадям, дворцовым переходам и лестницам стояли батальоны Преображенской лейбгвардии. Опасались бунта.

В Аудиенц-зале от старой Палаты оставалась только живопись на потолке - "звездотечное движение, двенадцать месяцев и прочие боги небесные". Все остальное убранство было новое: голландские тканые шпалеры, хрустальные шандалы, прямоспинные стулья, узкие зеркала в простенках. Посередине палаты, под красным шелковым пологом, на возвышении с тремя ступенями - царское место - золоченое кресло с вышитым по алому бархату золотым двуглавым орлом и ключами св. Петра.

Из окон косые лучи солнца падали на белые парики сенаторов и черные клобуки архиереев. На всех лицах был страх и то жадное любопытство, которое бывает в толпе во время казней. Застучал барабан. Толпа всколыхнулась, раздвинулась. Вошел царь и сел на трон.

Двое рослых преображенцев, со шпагами наголо, ввели царевича, как арестанта.

Без парика и без шпаги, в простом черном платье, бледный, но спокойный и как будто задумчивый, он шел, не спеша, опустив голову. Подойдя к трону и увидев отца, улыбнулся тихой улыбкою, напоминавшею деда, царя Алексея Тишайшего.

Длинный, узкий в плечах, с узким лицом, обрамленным жидкими косицами прямых, гладких волос, похожий не то на сельского дьячка, не то на иконописного Алексея человека Божьего, среди всех этих новых петербургских лиц казался он далеким, чуждым всему, как бы выходцем иного мира, призраком старой Москвы. И сквозь любопытство, сквозь страх во многих лицах промелькнула жалость к этому призраку.

Остановился у трона, не зная, что делать.

- На коленки, на коленки и говори, как заучено, шепнул ему на ухо подбежавший сзади Толстой.

Царевич опустился на колени и произнес громким спокойным голосом:

- Всемиловейший государь, батюшка! Понеже узнав свое согрешение перед вами, яко родителем и государем своим, писал повинную и прислал из Неаполя, - так и ныне новую приношу, что я, забыв должность сыновства и подданства, ушел и поддался под протекцию цесарскую и просил его о своем защищении. В чем прошу милостивого прощения и помилования.

И не по чину церемонии, а от всего сердца поклонился в ноги отцу.

По знаку царя, вице-канцлер, Шафиров начал читать манифест, который в тот же день должны были прочесть на Красной площади народу:

"Мы уповаем, что большей части верных подданных наших ведомо, с каким прилежанием и попечением мы сына своего перворожденного Алексея воспитать тщились. Но все сие радование ничто пользовало, и семя учения на камени пало, понеже не токмо одному оному не следовало, но и ненавидел, и ни к воинским, ни к гражданским делам никакой склонности не являл, упражняясь непрестанно в обхождении с непотребными и подлыми людьми, которые грубые и замерзлые обыкности имели".

Алексей почти не слушал. Он искал глазами глаз отца.

Но тот смотрел мимо него неподвижным, непроницаемым взором.

"Притворство, диссимуляция! - успокаивал себя царевич.- Теперь, хоть ругай, хоть бей - знаю, что любишь!"

"И видя мы его упорность в тех непотребных поступках,- продолжал читать Шафиров,- объявили ему, что ежели он впредь следовать воле нашей не будет, то его лишим наследства. И дали ему время на исправление.

Но он, забыв страх и заповеди Божий, которые повелевают послушно быть и простым родителям, а не то что властелинам, заплатил нам за столь многие вышеобъявленные наши родительские о нем попечения и радения неслыханным неблагодарением. Ибо, когда по отъезде нашем для воинских действий в Дацкую землю оставили его в Санктпетербурге и потом писали к нему, чтоб он был к нам в Копенгаген для присутствия в компании военной и лучшего обучения, то он, сын наш, вместо того, чтоб к нам ехать,- забрав с собою деньги и некую жонку, с коей беззаконно сваялся, уехал и отдался под протекцию цесарскую. И объявляя многие на нас, яко родителя своего и государя, несправедливые клеветы, просил цесаря, дабы его не токмо от нас скрыл, но и оборону свою вооруженною рукою дал против нас, аки некакого ему неприятеля и мучителя, от которого будто он чает пострадать смертью. И как тем своим поступком стыд и бесчестие пред всем светом нам и всему государству нашему учинил, то всяк может рассудить, ибо такого приклада и в историях сыскать трудно! И хотя он, сын наш, за все свои преступления достоин смерти, но мы, отеческим сердцем о нем соболезнуя, прощаем его и от всякого наказания освобождаем... Однакож..."

Прерывая чтение, раздался глухой, сиповатый и грозный голос Петра, полный таким гневом и скорбью, что вся церемония как будто исчезла, и все вдруг поняли ужас того, что совершается:

- Не могу такого наследника оставить, который бы растерял то, что чрез помощь Божию отец получил, и ниспроверг бы славу и честь народа Российского - к тому же и боясь Суда Божия - вручить такое правление, знав непотребного к тому! А ты...

Он посмотрел на царевича так, что у него сердце упало: ему показалось, что это уже не притворство.

- А ты помни: хотя и прощаю тебя, но ежели всейвины не объявишь и что укроешь, а потом явно будет, то на меня не пеняй: за сие пардон не в пардон. Казненбудешь смертью!

Алексей поднял было руки и весь потянулся к отцу, хотел что-то сказать, крикнуть,- но тот уже опять смотрел мимо него неподвижным непроницаемым взором. По знаку царя, Шафиров продолжал чтение:

"И тако мы, сожалея о государстве своем и верных подданных, властью отеческою и яко самодержавный государь, лишаем его, сына своего Алексея, за те вины и преступления, наследства по нас престола Всероссийского, хотя б ни единой персоны нашей фамилии по нас не осталось. И определяем и объявляем помянутого престола наследником другого сына нашего, Петра, хотя еще и малолетна суща, ибо иного возрастного наследника не имеем.

И закликаем сына нашего родительскою нашею клятвою, дабы того наследства не искал. Желаем же от всех верных наших подданных и всего народа Российского, дабы по сему нашему изволению и определению, сего от нас назначенного наследство наше сына нашего Петра за законного наследника признавали и почитали, и на сем обещанием предсвятим алтарем, над святым Евангелием и целованием Креста утвердили. Всех же тех, кто сему нашему изволению в которое-нибудь время противны будут и сына нашего Алексея отныне за наследника почитать и ему в том вспомогать станут, изменниками нам и отечеству объявляем".

Царь встал, сошел с трона и велел присутствующим, не дожидаясь его, идти в Успенский собор для целования креста.

Когда все, кроме Толстого, Шафирова и нескольких других ближайших сановников, двинулись к выходу и зала опустела, Петр сказал ему: - Ступай!

Они вместе прошли через сени столовой в Тайник Ответной палаты, откуда в старину московские цари, скрытые за тафтяными пологам, слушали совещания посольские.

Это была маленькая комната, вроде кельи, с голыми стенами, со слюдяным оконцем, пропускавшим янтарно-желтый, как бы вечно-вечерний, свет. В углу, перед образом Спасителя с темным ликом в терновом венце и кротким скорбным взором, теплилась неугасимая лампада. Петр запер дверь и подошел к сыну.

Опять, как тогда в Неаполе, во время бреда, и намереваясь Преображенском,- царевич весь дрожал непрерывною мелкою дрожью, точно в сильном ознобе. Но все еще надеялся: вот сейчас обнимет, приласкает, скажет, что любит - и все эти страхи кончатся уже навсегда.

"Знаю, что любишь! Знаю, что любишь!" -- твердил про себя, как заклятие. Но все-таки сердце билось от ужаса.

Он опустил глаза и не смел их поднять, чувствуя на себе тяжелый, пристальный взор отца. Оба молчали.

Было очень тихо.

- Слышал ли,- произнес наконец Петр,- что давеча перед всем народом объявлено - ежели что укроешь, то смерть?

- Слышал, батюшка.

- И ничего донести не имеешь к тому, что третьего дня объявил?

Царевич вспомнил о матери и опять почувствовал, что не предостает ей, хотя бы ему грозила смерть сейчас же.

- Ничего,- как будто не сам он, а кто-то за него проговорил чуть слышно.

- Так ничего? - повторил Петр.

Алексей молчал.

- Говори!..

У царевича в глазах темнело, ноги подкашивались.

Но опять, как будто не сам он, а кто-то за него ответил: - Ничего.

- Лжешь! - крикнул Петр, схватив его за плечо и сжав так, что казалось, раздробятся кости.- Лжешь! Утаил о матери, о тетках, о дяде, о Досифее Ростовском, обо всем гнезде их проклятом-корне злодейского бунта!..

- Кто тебе сказал, батюшка? - пролепетал царевичи взглянул на него в первый раз.

- Аль не правда? - посмотрел ему отец прямо в глаза.

Рука его все тяжелела, тяжелела. Вдруг царевич зашатался, как тростинка, под этой тяжестью и упал к ногам отца.

- Прости! Прости! Ведь матушка! Родная мне!..

Петр склонился к нему и занес кулаки над головой его с матерной бранью.

Алексей протянул руки, как будто защищаясь от смертельного удара, поднял взор и увидел над собой в таком же быстром, как намерении, но теперь уже обратном превращении оборотня, вместо родного лица, то, другое, чуждое, страшное, как мертвая маска - лицо зверя.

Он слабо вскрикнул и закрыл глаза руками.

Петр повернулся, чтобы уйти. Но царевич, услышав это движение отца, бросился к нему на коленках, ползком, как собака, которую бьют, и которая все-таки молит прощения, - припал к ногам его, обнял их, ухватился за них.

- Не уходи! Не уходи! Лучше убей!..

Петр хотел оттолкнуть его, освободиться. Но Алексей держал его, не пускал, цеплялся все крепче и крепче.

И от этих судорожно хватающих, цепляющихся рук пробегала по телу Петра леденящая дрожь того омерзения, которое он чувствовал всю жизнь к паукам, тараканам и всяким иным копошащимся гадам.

- Прочь, прочь, прочь! Убью! - кричал он в ярости, смешанной с ужасом.

Наконец, с отчаянным усилием, стряхнул его, отшвырнул, ударил ногой по лицу.

Царевич, с глухим стоном, упал ничком на пол, как мертвый.

Петр выбежал из комнаты, точно спасаясь от какого-то страшилища.

Когда он проходил мимо сановников, ожидавших его в Столовой палате, они поняли по лицу его, что случилось недоброе.

Он только крикнул: - В собор.

И вышел.

Одни побежали за ним, другие - в том числе Толстой и Шафиров - в Тайник Ответной, к царевичу.

Он лежал по-прежнему ничком на полу, как мертвый.

Стали поднимать его, приводить в чувство.. Члены не разгибались, как будто околели, сведенные судорогой.

Но это не был обморок. Он дышал часто, глаза были открыты.

Наконец, подняли его, поставили на ноги. Хотели провести в соседнюю комнату, чтоб уложить на лавку.

Он оглядывался мутным, словно невидящим, взором и бормотал, как будто старался припомнить: - Что такое?.. Что такое?..

- Небось, небось, родимый! - успокаивал Толстой. Дурно тебе стало. Упал, должно быть, ушибся. До свадьбы заживет. Испей водицы. Сейчас дохтур придет.

- Что такое?.. Что такое?-повторял царевич бессмысленно.

- Не доложить ли государю? - шепнул Толстой Шафирову.

Царевич услышал, обернулся, и вдруг бледное лицо его побагровело. Он весь затрясся и начал рвать себе воротник рубашки, как будто задыхался.

- Какому государю? - в одно и то же время заплакал и засмеялся он таким диким плачем и смехом, что всем стало жутко.

- Какому государю? Дураки, дураки! Да разве не видите?.. Это не он! Не государь и не батюшка мне, а барабанщик, жид проклятый, Тришка Отрепьев, самозванец, оборотень! Осинový кол ему в горло-и делу конец!..

Прибежал лейб-медик Арескин.

Толстой, за спиной царевича, указал сперва на него, потом на свой лоб: в уме-де царевич мешается.

Арескин усадил больного в кресло, пощупал ему пульс, дал понюхать спирта, заставил выпить успокоительных капель и хотел пустить кровь, но в это время пришел посланный и объявил, что царь ждет в соборе и требует к себе царевича немедленно.

- Доложи, что его высочеству неможется,- начал было Толстой.

- Не надо,- остановил его царевич, как будто очнувшись от глубокого сна.- Не надо. Я сейчас. Только отдохнуть минутку, и вина бы...

Подали венгерского. Он выпил с жадностью. Арескин положил ему на голову полотенце, смоченное холодной водой с уксусом.

Его оставили в покое. Все отошли в сторону, совещаясь, что делать.

Через несколько минут он сказал: - Ну, теперь ничего. Прошло. Пойдем.

Ему помогли встать и повели под руки.

На свежем воздухе, при переходе из дворца в собор, он почти совсем оправился.

Но все же, когда проходил через толпу, все заметили его бледность.

На амвоне, перед открытыми царскими вратами, ожидал новопоставленный архиерей Псковский, Феофан Прокопович, в полном облачении, с крестом и Евангелием.

Рядом стоял царь.

Алексей взошел на амвон, взял поданный, Шафировым лист и стал читать слабым, чуть внятным голосом,- нобыло так тихо в толпе, что слышалось каждое слово:

"Я, нижеименованный, обещаю пред святым Евангелием, что, понеже я за преступление мое пред родителем моими государем лишен наследства престола Российского, то ради признаваю то за праведно и клянусь всемогущим, в Троице славимым Богом и судом Его той волиродительской во всем повиноваться и наследства того никогда не искать и не желать, и не принимать ни под каким предлогом. И признаваю за истинного наследникабрата моего, царевича Петра Петровича. И на том целую святой крест и подписуюсь собственною моеюрукою".

Он поцеловал крест и подписал отречение.

В это же самое время читали манифест народу.

Петр через Толстого передал сыну "вопросные пункты".

Царевич должен был ответить на них письменно. Толстой советовал ему не скрывать ничего, так как царь, будто бы, уже знает все и требует от него только подтверждения.

- От кого батюшка знает? - спрашивал царевич.

Толстой долго не хотел говорить. Но, наконец, прочелему указ, пока еще тайный, но впоследствии, при учреждении Духовной Коллегии - Святейшего Синода, объявленный:

"Ежели кто на исповеди духовному отцу своему некоезлое и нераскаянное умышленно на честь и здоровье государево, наипаче же измену или бунт объявит, то должендуховник донести вскоре о том, где надлежит, в Преображенский приказ, или Тайную канцелярию. Ибо сим объявлением не порокуется исповедь и духовник не преступает правил евангельских, но еще исполняет учение Христово: обличи брата, аще же не послушает, повеждь церкви. Когда уже так о

братнем согрешении Господь повелевает, токольными паче о злодейственном на государя умышлении".

Выслушав указ, царевич встал из-за стола - они разговаривали с Толстым наедине за ужином - и, точно также, как намереди во время припадка в тайнике Ответнойпалаты, бледное лицо его вдруг побагровело. Он посмотрелна Толстого так, что тот испугался и подумал, что с нимопять припадок. Но на этот раз кончилось благополучно.

Царевич успокоился и как будто задумался.

В течение нескольких дней не выходил он из этой задумчивости. Когда с ним заговаривали, глядел рассеяннo, как будто не совсем понимал, о чем говорят, и весь как-товнезапно осунулся - стал как не живой, по слову Толстого.

Написал, однако, точный ответ на вопросные пункты и подтвердил все, что сказал на исповеди, хотя предчувствовал, что это бесполезно, и что отец ничему не поверит.

Алексей понял, что о. Варлаам нарушил тайну исповеди,- и вспомнил слова св. Дмитрия Ростовского:

"Если бы какой государь или суд гражданский повелели силой понуждал иерея открыть грех духовного сынаи если бы мукой и смертью грозил, иерей должен умереть, паче и мученическим венцом венчаться, нежели печать исповеди отрешить".

Вспомнились ему также слова одного раскольниковьегостарца, с которым он беседовал однажды в глуши новго

родских лесов, где рубил сосну на скампаеи, по указу батюшки:

"Благодати Божией нет ныне ни в церквах, ни в полах, ни в таинствах, ни в чтении, ни в пении, ни в иконах ни в какой вещи,- все взято на небо. Кто Бога боится, тот в церковь не ходит. Знаешь ли, чему подобен агнецвашего причастия? Разумей, что говорю: подобен псу мертву, поверженну на стогнах града. Как причастился,только и житья тому человеку - умер бедный! Таково-топричастие ваше емко, что мышьяк аль сулема - во всякости и мозги пробежит скоро, до самой души лукавойпромчит - отдыхай-ка после в геене огненной да в пеклегорящем стони, яко Каин, необратный грешник!"

Слова эти, которые тогда казались царевичу пустыми, теперь приобрели вдруг страшную силу. Что, в самом деле, если мерзость

запустения стала на месте святом - церковьот Христа отступила, и Антихрист в ней царствует?

Но кто же Антихрист?

Тут начинался бред.

Образ отца двоился: как бы в мгновенном превращенииоборотня, царевич видел два лица - одно доброе, милое, лицо родимого батюшки, другое - чуждое, страшное, какмертвая маска - лицо зверя. И всего страшнее было то, чтоне знал он, какое из этих двух лиц настоящее - отца илизверя? Отец ли становится зверем или зверь отцом? И такой ужас овладел им, что ему казалось, он сходит с ума.

В это время в застенках Преображенского приказашел розыск.

На следующий день после объявления манифеста, 4-го февраля, поскакали курьеры в Петербург и Суздаль, с повелением привезти в Москву всех, на кого донесцаревич.

В Петербурге схватили Александра Кикина, царевичевакамердинера Ивана Афанасьева, учителя Никифора Вяземского и многих других.

Кикин, по дороге в Москву, пытался задушить себякандалами, но ему помешали.

На допросе под пытку он показал на князя ВасилияДолгорукого, как на главного советника Алексея.

"Взят я из С.-Питербурха нечаянно,- рассказывалвпоследствии сам князь Василий,- и повезен в Москвуокован, от чего был в великой десперацииОтчаяние (лат. desperatio).

и беспамятстве, и привезен в Преображенское, и отдан под крепкийарест, и потом приведен на Генеральный двор пред царское величество, и был в том же страхе, видя, что слова, написанные на меня царевичем, приняты за великую противность".

За князя Василия заступился родственник его, князьЯков Долгорукий.

"Помилуй, государь,- писал он царю.- Да не снидемв старости нашей во гроб с именем рода злодеев, котороеможет не токмо отнять доброе имя, но и безвременновервь живота пресечь. И паки вопию: помилуй, помилуй, премилосердый!"

Тень подозрения пала и на самого князя Якова. Кикинпоказал, что Долгорукий советовал царевичу не ездитьк отцу в Копенгаген.

Петр не тронул старика, но пригрозил ему так, что князь Яков счел нужным напомнить царю свою прежнюю верную службу: "за что мне ныне в воздаяние обещана, какая слышу, лютая на коле смерть", заключал он с горечью.

Еще раз почувствовал Петр свое одиночество. Ежели и праведный князь Яков - изменник, то кому же верить?

Капитан-поручик Григорий Скорняков-Писарев привез в Москву из Суздаля бывшую царицу Авдотью, инокиню Елену. Она писала с дороги царю:

"Всемиловитейший государь!

В прошлых годах, а в котором, не помню, по обещанию своему, пострижена я в Суздальском Покровском монастыре в старицы, и наречено мне имя Елена. И попострижении, в иноческом платье ходила с полгода; и не восхотя быть инокою, оставя монашество и скинув платье, жила в том монастыре скрытно, под видом иночества, миряною. И то мое скрытие объявилось чрез Григорья Писарева. И ныне я надеюсь на человеколюбные вашего величества щедроты. Припадая к ногам вашим, прошу милосердия, того моего преступления о прощении, чтоб мне безгодною смертью не умереть. А я обещаюсь по-прежнему быть инокою и пребыть во иночестве до смерти своей и буду молить Бога за тебя, государя.

Вашего величества нижайшая раба бывшая жена ваша Авдотья".

Того же монастыря старица-казначей Маремьяна показала:

- Мы не смели говорить царице, для чего платье сняла? Она многожды говаривала: "все-де наше, государево;

и государь за мать свою что воздал стрельцам, ведь вы знаете; а и сын мой из пеленок вывалился!" Да как был в Суздале для набора солдат майор Степан Глебов, царица егок себе в келью пускала: запершись говаривали между собою, а меня отсылали телогрей кроить в свою келью, и дав гривну, велят идтить молебны петь. И как являл себя Глебов дерзновенно, то я ему говаривала: "что ты ломаешься? народы знают!" И царица меня за то бранила: "черт тебя спрашивает? Уж ты и за мною примечать стала".

И другие мне говорили: "что ты царицу прогневала?"

Да он же, Степан, хаживал к ней по ночам, о чем сказывали мне дневальный слуга, да карлица Агафья: "мимо нас Глебов проходит, а

мы не смеем и тронуться".

Старица Каптелина призналась:

- К ней, царице-старице Елене, езживал по вечерам Глебов и с нею целовался и обнимался. Я тогда выхаживала вон. Письма любовные от Глебова я принимала.

Сам Глебов показал кратко:

- Сшелся я с нею, бывшею царицею, в любовь и жил с нею блудно.

Во всем остальном заперся. Его пытали страшно: секли, жгли, морозили, ломали ребра, рвали тело клещами, сажали на доску, убитую гвоздями, водили босого по деревянным кольям, так что ноги начали гнить. Но он перенес все муки и никого не выдал, ни в чем не признался.

Бывшая царица показала: "Февраля в 21 день я, старица Елена, привожена на Генеральный двор и со Степаном Глебовым на очной ставке сказала, что я с ним блудножила, и в том я виновата. Писала своею рукою - Елена".

Это признание царь намерен был впоследствии объявить в манифесте народу.

Царица показала также:

- Монашеское платье скинула потому, что епископ Досифей пророчествовал, говорил о гласах от образов и о многих видениях, что будет гнев Божий и смущение в народе, и государь скоро умрет, и она-де, царица, впредь царствовать будет, вместе с царевичем.

Схватили Досифея, обнажили от архиерейского сана соборно и назвали расстригою Демидом.

- Только я один в сем деле попался,- говорил Досифей на соборе.- Посмотрите и у всех что на сердцах?

Извольте пустить уши в народ-что говорят!

Расстрига Демид в застенке подыман и спрашиван: "для чего желал царскому величеству смерти?" - "Желал для того, чтоб царевичу Алексею Петровичу на царстве быть, и было бы народу легче, и строение С.-Петербурга упростилось бы и престало",- отвечал Демид.

Он донес на брата царицы, дядю царевича, Авраама Лопухина. Его тоже схватили и пытали на очной ставке с Демидом. Лопухину дано 15 ударов, Демиду 19. Оба признались, что желали смерти государю и воцарения царевичу.

Показал Демид и на царевну Марью, сестру государя.

Царевна говорила: "Когда государя не будет, я-де царевичу рада о народе помогать, сколько силы будет, и управлять государством". Да она же говорила: "Для чего вы, архиереи, за то не стоите, что государь от живой жены надругой женился? Или бы-де взял бывшую царицу и с неюжил, или бы умер!" И когда, на присяге Петру Петровичу, он, расстрига Демид, приехал из собора к ней, царевне Марье, она говорила: "Напрасно-де государь так учинил, что большего сына оставил, а меньшего произвел; он только двух лет, а тот уже в возрасте".

Царевна заперлась; но когда ее привели в застенки, она очную ставку с Демидом, созналась во всем.

Розыск длился более месяца. Почти каждый день присутствовал Петр в застенках, следил за пытками, иногда сам пытал. Но, несмотря на все усилия, не находил главного, чего искал, - настоящего дела, "корня злодейского бунта". Как в показаниях царевича, так и всех прочих свидетелей, никакого дела не было, а были только слова, слухи, сплетни, бред кликуш, юродивых, шушуканье полоумных стариков и старух по монастырским углам.

Иногда он смутно чувствовал, что лучше бы все это бросить, плюнуть на все, презреть - простить. Но уже не мог остановиться и предвидел, что один конец всему смерть сына.

Все это время царевич жил под караулом во дворце Преображенском, рядом с Генеральным двором и застенками. Днем и ночью слышались или чудились ему вопли пытаемых. Постоянно водили его на очные ставки. Ужаснее всего была встреча с матерью. До царевича дошли слухи, будто бы отец собственноручно сек ее кнутом.

Почти каждый день к вечеру Алексей бывал пьян и бесчувствен. Лейб-медик Арескин предсказывал ему белую горячку. Но, когда переставал он пить, на него нападала такая тоска, что нельзя было вынести, и он опять спешил напиться. Арескин предупреждал и государя о болезни, грозящей царевичу. Но Петр ответил:

- Сопьется, околеет - туда ему и дорога. Собаке собачья смерть!

Впрочем, в последнее время и водка уже не давала царевичу забвения, а лишь заменяла страшную действительность еще более

страшными снами. Не только ночью во сне, но и наяву, среди белого дня, мучили видения. Он жил двумя жизнями - действительной и призрачной; и они перемежались, перепутывались, так что не умел он отличить одну от другой, не знал, что было во сне, что наяву.

То снилось ему, будто бы в застенке отец сечет мать;

он слышит свист кнута в воздухе и гнусное, как будто мокрое шлепанье ударов по голому телу; видит, как ложатся, одна за другой, темно-багровые полосы на это бледноебледное тело, и, отвечая на страшный крик матери еще более страшным криком, падает мертвый.

То, будто бы, решив отомстить отцу за мать, за себяи за всех, просыпается ночью в постели, достает из-под подушки бритву, встает в одной рубахе, крадется по темным переходам дворца; перешагнув через спящего на пороге денщика, входит в спальню отца, наклоняется над ним, нащупывает горло и режет, и чувствует, что кровь у него холодная, как сукровица мертвых тел; в ужасе бросает недорезанного и бежит без оглядки.

То, будто бы, вспомнив слова Писания об Иуде Предателе: пошел и удавился,- пробирается в чулан под лестницей, где свален всякий хлам. становится на сломанный трехногий стул, подперев его опрокинутым ящиком, снимаетс крюка на потолке веревку, на которой висит фонарь, делает петлю, накидывает ее на шею и перед тем, чтобы оттолкнуть ногою стул, хочет перекреститься, но не может, рука не подымается-и вдруг," откуда ни возьмись, большой черный кот прыгает ему под ноги. ластится, трется, мурлычет, выгибает спину; и, став на задние лапы, передние кладет ему на плечи - и это уже не кот, а исполинский зверь. И царевич узнает в звериной морде лицо человежье - широкоскулое, пучеглазое, с усами торчком, каку "Кота-котабрыса". И хочет вырваться из лап его. Но зверь, повалив его, играет с ним, как кошка с мышью, то схватит, то выпустит и ласкает, и царапает. И вдруг впивается когтями в сердце. И он узнает того, о ком сказано: "Поклонились Зверю, говоря: кто подобен Зверю сему икто может сразиться с ним?"

В Воскресение Православия, 2 марта, совершал богослужение в Успенском соборе новопоставленный архиерей Псковский, Феофан Прокопович.

В собор пускали только знатных и чиновных лиц.

У одного из четырех исполинских столбов, поддерживавших свод, покрытых иконописными темными ликами потусклому золоту, под шатровой синью, где молились Древние московские цари, стоял Петр. Рядом с ним Алексей.

Глядя на Феофана, царевич вспомнил то, что слышало нем.

Феофан заменил Федоску, главного администратора дел духовных, который устарел и в последнее время все чаще впадал в "меланколию". Это он, Феофан, сочинил указ, повелевавший доносить о преступлениях государственных, открытых на исповеди. Он же составлял Духовный Регламент, по коему имел учрежден быть Святейший Синод.

Царевич с любопытством вглядывался в нового архиерея.

Родом черкас - малоросс, лет тридцати восьми, полнокровный, с лоснящимся лицом, лоснящейся черной бородой и большими лоснящимися черными усами, он походил на огромного жука. Усмехаясь, шевелил усами, как жук.

По одной этой усмешке видно было, что он любит скромные латинские шуточки - фацетии Поджо не менее, чем жирные галушки, и острую диалектику не менее, чем добрую горилку. Несмотря на святительскую важность, в каждой черточке лица его так и дрожало, так и бегало, как живчик, что-то слишком веселое, точно пьяное: он был пьянсобственным умом своим, этот румянорожий Силен в архиерейской рясе. "О, главо, главо, разума упившись, куда сяпреклонишь?" говаривал в минуты откровенности.

И царевич дивился удивлением великим, как сказанов Апокалипсисе, думая о том, что этот бродяга, беглый униат, римского костела присягатель, ученик сперва иезуитов, а потом протестантов и безбожных философов, может быть и сам безбожник, сочиняет Духовный Регламент, от которого зависят судьбы русской церкви.

По возглашении соборным протодиаконом обычной Воскресение Православия анафемы всем еретикам и отступникам, от Ария до Гришки Отрепьева и Мазепы, архиерей взошел на амвон и сказал слово О власти и чести царской.

В слове этом доказывалось то, что должно было сделаться краеугольным камнем Святейшего Синода: государь глава церкви.

Вопиет учитель народов, апостол Павел: месть бо властаще не от Бога; сущия же власти от Бога учинены суть.

Тем же противляйся власти, Божию повелению противляется. Дивная воистину вещь! Сказал бы, что от самих государей послан был Павел на проповедь, так прилежно увещевает, как бы молотом толчет, тоже паки и паки повторяет: от Бога, от Бога власть. Молю всякого рассудить: что бы мог сказать больше самый верный министр царский? Приложим же еще учению сему, как бывенец, имена и титулы властям высоким приличные, которые паче украшают царей, нежели порфиры и диадимы.

Какие же титулы? какие имена? Богами и Христами самодержцы нарицаются. За власть от Бога данную богами, сиесть наместниками Божиими на земле наречены. Другое же имя - Христос, сиесть. Помазанный, - глаголется от древней оной церемонии, когда елеем помазаны были цари.

И апостол Павел говорит: раби, послушайте господий своих, якоже и Христа. Се, господ со Христом равняет апостол. Но что весьма удивляет нас и как бы адамантовою бронею истину сию утверждает, - того преминуть не можем: не только добрым, но и злым и неверным, и нечестивым властям повиноваться велит Писание. Ведомо всякому апостола Петра слово: Бога бойтесь. Царя чтите. Равно повинуйтесь во всяком страхе владыкам, не точию благими кротким, но и строптивым. И Давид пророк, сам царь, царя Саула, от Бога отверженного, нечестивого, Христом Господним нарицает. Яко, рече, Христос Господень есть.

Но, скажешь: каков бы ни был Саул, однако, явным повелением Божиим на царство помазан, и того ради той чести сподобился. Добро! Но скажи, кто был Кир Персидский, кто Навуходоносор Вавилонский? Однако же, нарицает их сам Бог у пророков помазанниками Своими, сиречь, по слову Давидову, Христами Господними. Кто Нерон, римский кесарь? Однако же, учит апостол Петр повиноваться и ему, лютому христиан мучителю, яко Помазаннику, Христу Господню. Остается единое сумнительство: что не все-де люди сею должностью повиновения царям обязаны суть, но некие выключаются, именно священство и монашество. Се терн, или паче жало, жало змеино!

Папешский се дух! Ибо священство иной чин есть в народе, а не иное царство. И как одно дело-воинству, другое-гражданству, и врачам, и купцам, и мастерам различным, так и пастыри, и все духовные имеют собственное дело свое - быть служителями Божиими, однако же, покорены суть властям державным. В церкви ветхозаветной левиты царям израильским подчинены были во всем.

Если же так в Ветхом, почто и не в Новом завете? Ибо закон о властях непременный и вечный, с пребыванием мира сего пребывающий.

И, наконец, вывод:

- Все люди Российского царства, не только мирские, но и духовные, да имеют имя самодержца своего, благочестивейшего государя Петра Алексеевича, яко главы своей и отца отечества, и Христа Господня!

Последние слова произнес он громким голосом, глядя прямо в лицо государю и подняв правую руку к своду собора, где на тусклом золоте темнел Лик Христа.

И опять царевич дивился удивлением великим.

Ежели, думал он, все цари, даже отступники от Бога, суть Христы Господни, то кто же последний и величайший из них, грядущий царь земли - Антихрист?

Кошунство это произносилось архиереем православной церкви в древнейшем соборе Москвы, перед царем народом. Казалось бы, земля должна, раскрывшись, поглотить богохульника, или попалить его огонь небесный.

Но все было спокойно. За косыми снопами лучей, за голубыми волнами дыма кадильного, в глубине свода, исполинский Лик Христов как будто возносился от земли, недостижимый.

Царевич взглянул на отца. Он был тоже спокоен и слушал с благоговейным вниманием.

Поощренный этим вниманием, Феофан заключил торжественно:

- Благодумствуй, Россия! Величься, хвались! Давыграют все пределы- и грады твои: се бо на твоём горизонте, аки светозарное солнце, восходит пресветлейшего сына царева, трехлетнего младенца. Богом избранного наследника, Петра Петровича, слава! Да

здравствует всерадостно, да царствует благополучно Петр Второй, Петр Благословенный! Аминь.

Когда Феофан умолк,, из толпы раздался голос, не громкий, но внятный:

- Боже, спаси, сохрани и помилуй единого истинного наследника престола всероссийского, благочестивейшего государя царевича Алексея Петровича!

Толпа, как один человек, дрогнула и замерла от ужаса.

Потом зашумела, заволновалась: - Кто это? Кто это?

- Полоумный, что ль?

- Кликуша, чай, бесноватый.

- Чего караульные смотрят? Как впустили?

- Схватить бы скорей, а то уйдет - в толпе не сыщешь...

В дальних концах собора, где ничего не было видно и слышно, распространялись нелепые слухи: - Бунт! Бунт!

- Пожар! В алтаре загорелось!

- С ножом человека поймали: царя убить хотел!

И тревога все увеличивалась.

Не обращая на нее внимания, Петр подошел к архиерею, приложился ко кресту и, вернувшись на прежнее место, велел привести к себе человека, кричавшего "слова неистовые".

Капитан Скорняков-Писарев и два караульные сержанта подвели к царю маленького худенького старичка.

Старичок подал царю бумагу - печатный лист присяги новому наследнику. Внизу, на месте, оставленном для подписи, что-то было написано тесным крючковатым приказным почерком.

Петр взглянул на бумагу, потом опять на старичка и спросил: - Ты кто?

- Артиллерийского приказа бывший подьячий Ларивон Докукин.

Стоявший рядом царевич посмотрел на него и узнал тотчас: это был тот самый Докукин, которого весной 1715 года встретил он в Петербурге, в Симеоновской церкви, и который потом в день праздника Венус в Летнем саду приходил к нему на дом.

Он был все тот же: обыкновенный подьячий из тех, которых зовут чернильными душами, приказными строками - весь жесткий, точно окаменелый, тусклый, серый, как те бумаги, над которыми корпел он

в своем приказе леттридцать, пока не выгнали его по фискальному доношению взяток. Только в самой глубине глаз светилась, так жекак тогда, три года назад, неподвижная мысль.

Докукин тоже взглянул на царевича украдкою, и что-то промелькнуло в жестких чертах старика, что вдруг напомнило Алексею, как Докукин молил его порадеть за верухристианскую, и плакал, и обнимал ему ноги, и называл его надеждою российскою.

- Присягать не хочешь? -проговорил Петр спокойно, как будто с удивлением.

Докукин, глядя царю прямо в глаза, тем же, как давеча, голосом, не громким, но внятным, так что слышно было по всему собору, повторил наизусть то, что написано было его рукой на печатном листе: - "За неповинное отлучение и изгнание от престолавсероссийского единого истинного наследника, Богом хранимого государя Алексея Петровича не присягаю и на том пресвятым Евангелием не клянусь, и животворящего Креста не целую, и наследника царевича Петра Петровича за истинного не признаваю. Хотя за то и царский гнев на меня прозлится, буди в том воля Господа Бога моего, Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь".

Петр посмотрел на него еще с большим удивлением.

- А знаешь ли, что за такую противность воле нашей - смерть?

- Знаю, государь. С тем и пришел, чтобы пострадать за слово Христово,-ответил Докукин просто.

- Ну, храбрый же ты, старик. Да погоди, то ли уж запоешь, как вздерну на дыбу!..

Докукин молча поднял руку и перекрестился широким крестом.

- Слышал ли,- продолжал царь,- что архиерей говорил о повиновении властям предержащим? Несть бовласть еще не от Бога...

- Слышал, государь. От Бога всякая власть, а что не от Бога, то и не власть. Называть же царей нечестивейших. Антихристов Христами Господними не подобает, и за такое слово язык бы вырвать изрекшему!

- Да ты и меня, что ль, считаешь Антихристом? спросил Петр, с едва уловимою, печальною и почти доброю усмешкою.- Говори правду!

Старик потупился было, но тотчас же поднял взор и опять посмотрел царю прямо в глаза.

- Благочестивейшим православным царем и самодержцем всероссийским, помазанником Божиим тебя почитаю,- произнес он твердо.

- А коли так, слушался бы воли нашей да молчал бы.

- Царь-государь, ваше величество! Ин и хотел бы молчать, да невозможное дело - горит во утробе моей, яко пламя палит, понеже совесть нудит - претерпеть не могу...

Ежели нам умолчать, то камни возопиют!

Он упал к ногам царя.

- Государь, Петр Алексеевич, батюшка, послушай нас, бедных, вопиющих к тебе! Преложить или пременитьничего мы не смеем, но как родители твои и прародители, и святейшие патриархи спасались, так и мы хотим спастися и горняго Иерусалима достигнуть. Бога ради истинного, взыщи истины. Крови ради Христовой, взыщи истины! Своего ради спасения, взыщи истины! Умири церковь святую, мать твою. Рассуди нас без гнева и ярости. Помилуй народ свой, помилуй царевича!..

Петр слушал сперва со вниманием и даже с любопытством, как будто стараясь понять. Но потом отвернулся, пожимая плечами со скукой.

- Ну, будет. Не переслушаешь тебя, старик. Мало я, видно, вас, дураков, казнил да вешал. И чего вы лезете?

Какого вам рожна? Аль думаете, меньше вашего я церковь Божию чту и во Христа, Спасителя моего, верую? И кто поставил вас, рабов, судить между царем и Богом? Как дерзаете?

Докукин встал и поднял взор к темному Лику в сводесобора. Упавший оттуда луч солнца окружил сияющим венцом седую голову.

- Как дерзаем, царь? - воскликнул он громким голосом.- Слушай, ваше величество! Божественное писание глаголет: что есть человек, что помнишь его. Господи, или сын человеческий, что посещаешь его? Умалил его малым чем от ангелов, славою и честью венчал его, поставил над делами рук Твоих, все покорил ему под ноги его. И самовластну поведено человеку быть!..

Медленно, как будто с усилием, Петр отвел глаза отглаз Докукина,- уходя, повернулся к стоявшему рядом Толстому и произнес:

- Взять в приказ, держать за крепким караулом дорозыску.

Старика схватили. Он отбивался и кричал, все еще порываясь что-то сказать. Его связали, подняли на руки и понесли.

- О, таинственные мученики, не ужасайтесь и не отчаивайтесь! - продолжал он кричать, глядя на царевича. Потерпите, мало еще потерпите. Господи Иисусе! Аминь!

Царевич смотрел и слушал, весь бледный, дрожащий.

"Вот как нужно, вот как нужно!"-думал он, словно только теперь вдруг понял всю свою жизнь, и точно все перевернулось, опрокинулось в душе его: то, что было тяжестью, сделалось крыльями. Он знал, что опять впадет в слабость, уныние, отчаяние; но также знал, что не забудет того, что понял.

И он, как Докукин, поднял взор к темному Лику в своде собора. И почудилось ему, что в косых лучах солнца, в голубых волнах дыма кадильного этот исполинский Лик движется, но уже не уходит прочь от земли, как давеча, а спускается, сходит с неба на землю, и что это сам Господь грядет.

И с радостью, подобной ужасу, повторял он: - Ей, гряди. Господи Иисусе.! Аминь.

Московский розыск окончен был к 15 марта. Приговором царя и министров на Генеральном дворе в Преображенском решена участь обвиняемых.

Царицу-инокиню Елену отправить в Старую Ладугу в девичий монастырь, а царевну Марью в Шлиссельбург; держать обеих под крепким караулом. Авраама Лопухина - в С.-Петербург, в Петропавловскую крепость до нового розыска. Прочих казнить.

В тот же день утром на Красной площади, у Лобного места, начались казни. Накануне железные спицы, на которых торчали в течение двадцати лет головы стрельцов, обезглавленных в 1698 году, очистили, для того, чтобы воткнуть новые головы.

Степана Глебова посадили на кол. Железный кол через затылок вышел наружу. Внизу была дощечка для сиденья.

Чтоб не замерз и мучился долее, на него надели меховое платье и шапку. Три духовника сторожили по очереди днем и ночью, не откроет ли он чего-нибудь перед смертью. "И с того времени, доносил один из них, как посажен Степка на кол, никакого покаяния им, учителям, не принес; только просил в ночи тайно через иеромонаха Маркелла, чтобы он сподобил его св. Тайн, как бы он мог принести к нему каким образом тайно; и в том душу свою испроверг, марта против 16 числа, по полунощив 8 часу, во второй четверти".

Архиерея Ростовского, расстригу Демида колесовали.

Рассказывали, будто бы секретарь, которому поручена была казнь, ошибся: вместо того, чтобы отрубить голову, а труп сжечь, колесовал архиерея.

Кикина также колесовали. Мучения его были медленны, с промежутками: ломали руки и ноги, одну за другою;

пытка длилась более суток. Жесточайшее страдание было оттого, что туго привязанный к колесу, не мог пошевелиться ни одним членом, только стонал и охал, умоляя смерти. Рассказывали также, будто бы на другой день царь, проезжая мимо Кикина, наклонился к нему и сказал: "Александр, ты человек умный. Как же дерзнул на такое дело?" - "Ум любит простор; а от тебя ему тесно", ответил, будто бы, Кикин.

Третьим колесован духовник царицы, ключарь Федор Пустынный, за то, что свел ее с Глебовым.

Кого не казнили смертью, тем резали носы, языки, рвали ноздри. Многих, которые только слышали о пострижении царицы и видели ее в мирском платье, велено "бить батоги нещадно".

На площади поставлен четырехугольный столп из белого камня, вышиною в шесть локтей, с железными по бокам спицами; на них воткнуты головы казненных; на вершине столпа - широкий плоский камень; на нем трупы; между ними - Глебов, как бы сидящий в кругу сообщников.

Царевич должен был присутствовать при всех этих казнях.

Последним колесован Ларион Докукин. На колесе объявил, что имеет нечто открыть государю; снят с колеса и привезен в Преображенское. Когда царь подошел к нему, он был уже в предсмертном бреде, лепетал что-то невнятное о Христе Грядущем.

Потом как будто пришел в себя на мгновение, посмотрел в глаза царю пристально и сказал:

- Ежели, государь, казнишь сына, то падет сия кровья весь твой род, от главы на главу, до последних царей. Помилуй царевича, помилуй Россию!

Петр молча отошел от него и велел отрубить ему голову.

На другой день после казней, накануне отъезда царя в Петербург, назначено было в Преображенском "нощеденствие" всепьянейшего собора.

В эти кровавые дни, так же, как во время стрелецких казней и как вообще в самые черные дни своей жизни, Петр усерднее, чем когда-либо, занимался шутовским собором. Как будто нарочно оглушал себя смехом.

Недавно был избран на место покойного Никиты Зотова новый князь-папа, Петр Иванович Бутурлин, бывший "Санкт-Петербургский митрополит". Избрание "Бахусоподражательного отца" совершилось в Петербурге, рукоположение в Москве, перед самым приездом царевича.

Теперь, в Преображенском, предстояло облачение новоизбранного папы в ризы и митру - шутовское подобие облачения патриаршего.

Царь нашел время среди Московского розыска сам сочинить и расписать весь чин церемонии.

"Нощеденствие" происходило в обширной бревенчатой, обитой алыми сукнами, освещенной восковыми свечами палате, рядом с Генеральным двором и пыточным застенком. Узкие длинные столы расположены были подковою;

среди них - возвышение со ступенями, на которых сидели жрецы - кардиналы и другие члены собора; под бархатным пологом - трон из бочек, уставленный сверху донизу стеклянными шкаликами и бутылками.

Когда все собрались, ключарь и кардинал-протодиакон - сам царь - ввели торжественно под руки новоизбранного папу. Перед ним несли две фляги с "вином пьянственнейшим", одну-позолоченную, другую-посеребренную, и два блюда, одно - с огурцами, другое с капустою, а также непристойные иконы голого Бахуса.

Князь-папа, трижды кланяясь князю-кесарю и кардиналам, поднес его величеству дары - фляги и блюда.

Архиерец спросил папу:

- Зачем, брате, пришел и чего от нашей немерности просишь?

- Еже облеченным быть в ризы отца нашего Бахуса, отвечал папа.

- Как содержишь закон Бахусов и во оном подвизаешься?

- Ей, всепьянейший отче! Возставь поутру, еще тьмесеющей и свету едва являющуюся, а иногда и о полунощи, слив две-три чарки, испиваю и остальное время дня нетуне, но сим же образом препровождаю, разными питиями чрево свое, яко бочку, добре наполняю, так что иногда и яства мимо рта моего ношу от дрожания десницы и предстоящей в очах моих мглы; и так всегда творю и учить мне врученных обещаюсь, инако же мудрствующих отвергаю и яко чуждых, анафематствую всех пьяноборцев.

Аминь.

Архиерец возгласил:

- Пьянство Бахусово да будет с тобою, затмевающее и дрожащее, и валяющее, и безумствующее, во все дни жизни твоей!

Кардиналы возвели папу на амвон и облачили его в ризы - шутовское подобие саккоса, омофора, эпитрахили, набедренника с вышитыми изображениями игральные кости, карт, бутылок, табачных трубок, голый Венус и голого Еремки - Эроса. На шею надели ему, вместо пангии, глиняные фляги с колокольчиками. Вручили книгу-погребец со склянками различных водок, и крест из чубуков.

Помазали крепким вином голову и около очей "образом круга":

- Так да будет кружиться ум твой, и такие круги разными видами да предстанут очам твоим от сего дня во все дни живота твоего!

Помазали также обе руки и четыре пальца, которыми чарка приемлется:

- Так да будут дрожать руки твои во все дни жизни твоей!

В заключение архиерец возложил ему на голову жестяную митру:

- Венец мглы Бахусовой да будет на главе твоей!

Венчаю аз пьяный сего нетрезвого Во имя всех пьяниц, Во имя всех стекляниц, Во имя всех дураков, Во имя всех шутов, Во имя всех вин, Во имя всех пив, Во имя всех бочек, Во имя всех ведер, Во имя всех табаков, Во имя всех кабаков Яко жилища отца нашего Бахуса.

Аминь!

Возгласили: - Аксиос! Достоин!

Потом усадили папу на трон из бочек. Над самой головой его висел маленький серебряный Вакх верхом на бочке. Наклонив ее, папа мог цедить водку в стаканы или даже прямо в рот.

Не только члены собора, но и все прочие гости подходили к его святейшеству по очереди, кланялись ему в ноги, принимали, вместо благословения, удар по голове свиным пузырем, обмоченным в водке, и причащались из огромной деревянной ложки перцовкою.

Жрецы пели хором:

- О, честнейший отче Бахус, от сожженной Семелы рожденный, в Юпитеровом недре взрожденный, изжатель виноградного веселия! Просим тя со всем сим пьянейшим собором: умножи и настави стопы князя - папы вселенского, во еже тещи вслед тебе. И ты, всеславнейшая Венус...

Следовали непристойные слова.

Наконец, сели за стол. Против князя-папы Феофан Прокопович, рядом с ним Петр, тут же Федоска, против Петра царевич.

Царь заговорил с Феофаном про только что полученные вести о многотысячных самосожжениях раскольников в лесах Керженских и Чернораменских за Волгою. Пьяные песни и крики шутов мешали беседе.

Тогда, по знаку царя, жрецы прервали песнь Бахусу, все притихли и в этой внезапно наступившей тишине раздался голос Феофана:

- О, окаянные сумасброды, неистовые страдальцы!

Ненасытную похоть жаждут мучения, волей себя передают сожжению, мужественно в пропасть адскую летят и другим путь показывают. Мало таких называть бешеными: есть некое зло, равного себе не имеющее имени! Да отвержет их всяк и поплюет на них...

- Что же делать? - спросил Петр.

- Объяснить надлежит увещанием, ваше величество, что не всякое страдание, но только законно бываемое богоугодно есть. Ибо не просто глаголет Господь: блаженны изгнанные, но: блаженны изгнанные правды ради.

Такового же, правды ради, гонения никогда в Российском, яко православном, государстве опасаться не подобает, понеже то и быть

не может...

- Увещения! - злобно ухмыльнулся опальный Федоска.- Проймешь их, небось, увещаниями! Сокрушить бычелюсти отступникам! Ибо, ежели в церкви ветхозаветной повелено убивать непокорных, тем паче в новой благодати - понеже там образы, здесь же истина. Сам имеретикам полезно умереть, и благодеянье им есть, когда их убивают: чем более живут, тем более согрешают, множайшие прелести изобретают, множайших развращают.

А руками убить грешника, или молитвою - едино есть.

- Не подобает сего,- возразил Феофан спокойно, не глядя на Федоску.- Таковыми лютостями более раздражается, нежели преклоняется сердце мучимых. Обращать должно к церкви святой не страхом и принуждением, но прямой евангельской любви проповеданием.

- Истинно так,- согласился Петр.- Совести человеческой приневоливать не желаем и охотно оставляем каждому пещись о блаженстве души своей. По мне, пусть веруют, чему хотят, и если уж нельзя обратит их рассудком, то, конечно, не пособят ни меч, ни огонь. А за глупость мучениками быть - ни они той чести, ни государство пользы не будет иметь.

- Потихоньку да полегоньку - глядишь, все и уладится,- подхватил Феофан.

- Однако же,- прибавил он вполголоса, наклонившись к царю,- постановить бы двойной оклад с раскольщиков, дабы под тесноту штрафов удобнее к церкви святой присоединить заблудших. Также и при наказании оных, буде возможно, явную вину сыскать, кроме раскола,- таковых, бив кнутом и ноздри рвав, ссылать на галеры, по закону, а буде нет причины явной, поступать по указу словесному...

Петр молча кивнул головой. Царь и архиерей понимали друг друга.

Федоска хотел что-то сказать, но промолчал, только ехидная усмешка скривила его маленькое личико - мордочку летучей мыши - и весь он съежился, пришипился, позеленел, точно ядом налился, от злости. Он понимал, что значит "поступать по указу словесному". Питирим епископ, посланный на Керженец для увещения раскольников, доносил недавно царю: "зело жестоко пытаны и

рваны, даже внутренностям их являться". И царь в указах своих запрещал возбранять о. Питириму "в сем его равноапостольном подвиге". Любовь - на словах, а на деле, как жаловались раскольники, "немые учителя в застенках у дыб стоят; вместо Евангелия, кнутом просвещают; вместо апостола, огнем учат". Это, впрочем, и была та "духовная политика - диссимуляция", которую проповедовал сам Федоска. Но Феофан перехитрил его, и он чувствовал, что песенка его спета.

- Да не диво то,- продолжал архиерей опять громко, во всеуслышание,- что мужики грубые, невежды крайние, так заблуждая, беснуются. Воистину же диво есть, что и в высоком звании шляхетском, среди самих слуг царских, мудрецы обретаются некие, смиренники мрачные, что злее раскольщиков. До того пришло, что уже самые бездельные в дело, да в дело мерзкое и дерзкое! Уже и дрожжи народа, души дешевые, люди, ни к чему иному, токмо к появлению чужих трудов рожденные - и те на царя своего, и те на Христа Господня! Да вам, когда хлеб ядите, подобало бы удивляться и говорить: откуда нам сие?

Возобновилась повесть о царе Давиде, на кого слепые и хромые бунт подняли. Монарх наш благоверный, сколько Россию пользовавший, коего промыслом славу и беспечалие все получили, сам имя хульное и житие многобедное имеет. И когда трудами тяжкими сам себе безвременную старость привлекает, когда за целость отечества, вознерадев о здравии своем, как бы скороходным бегом, сам спешит к смерти,- тогда возмнилось неким - долго живет!

О, скорбь, о, стыд России! Остережемся, дабы не выросла в мире сия притча о нас: достоин-де царь такого царства, да не стоит народ такого царя.

Когда Феофан умолк, заговорил Петр: - Богу известны сердце и совесть моя, сколько блага желаю отечеству. Но враги демонские пакости деют.

Едва ли кто из государей сносил столько бед и напастей, как я. Говорят чужестранцы, что я управляю рабами.

Но английская вольность здесь не у места - что к стене горох. Надлежит знать народ, как оным управлять. Труден разбор невинности моей тому, кто всего дела не знает.

Един Бог зрит правду. Он мой Судия...

Никто не слушал царя.- Все были пьяны.

Он умолк, не кончив, сделал знак - и жрецы снова затянули песнь Бахусову; шуты загалдели; хор - весна засвистел разными птичьими высвистами, от соловья домалиновки, так пронзительно, что стены отражали звук.

Все было, как всегда. Также опивались, обжирались добесчувствия. Почтенные сановники дрались, таскали друг друга за волосы и потом, помилившись, сваливались вместе под стол. Князь, Шаховской, кавалер потешного ордена Иуды, принимал за деньги пощечины. Старому боярину, который отказался пить, вливали водку в рот воронкою.

Князя-папу рвало с высоты престола на парики и кафтаны сидевших внизу. Пьяная баба-шутиха, князь-игуменья Ржевская плясала, бесстыдно задравши подол, и пела хриплым голосом:

Шпнь-пень, шиваргань!

Эх, раз, по два-раз, Расподмахивать горазд!

Ей присвистывали, притопывали так, что пыль стояла столбом:

Ой, жги! Ой, жги!

Все было, как всегда. Но Петр чувствовал скуку.

Нарочно пил как можно больше самой крепкой английской водки - perper and brandy, чтобы поскорей опьянеть, но хмель не брал его. Чем больше пил, тем становилось скучнее. Вставал, садился, опять вставал, бродил между телами пьяных, лежавших на полу, как тела убитых на поле сражения, и не находил себе места. Что-то подступало к сердцу тошнотою смертною. Убежать бы или разогнать всю эту сволочь!

Когда же со смрадною мглою и тусклым светом догоревших свечей смешался холодный свет зимнего утра, человеческие лица сделались еще страшнее, еще более похожи на звериные морды или чудовищные призраки.

Взор Петра остановился на лице сына.

Царевич был пьян. Лицо мертвенно бледно; длинные жидкие пряди волос прилипли к потному лбу; глаза осоловели; нижняя губа отвисла; пальцы, которыми держал он полную рюмку, стараясь не расплескать вина, тряслись, как у пропойцы.

- Винцо не пшеничка - прольешь, не подключаешь! бормотал он, поднося рюмку ко рту.

Проглотил, поморщился, крикнул и, желая закусить моченым рыжиком, долго и тщательно тыкал вилок в скользкий гриб - так и не поймал его, бросил, сунул в рот мякиш черного хлеба и начал жевать медленно.

- Друг ты мой сердешный, пьян я? Скажи мне правду, пьян я? - приставал он к сидевшему рядом Толстому.

- Пьян, пьян! - согласился Толстой.

- Ну, вот то-то и есть,-заплетающимся языком продолжал царевич.- Мне ведь что? Покуда чарки не выпил, так его и хоть бы и век не было. А как выпил одну, то и пропал. Сколько ни подноси, не откажусь. Хорошо еще, что я во хмелю-то угодж...

Он захихикал пьяным смешком и вдруг посмотрел на отца.

- Батя, а, батя!. Что ты такой скучный? Поди-ка сюда, выпьем вместе. Я тебе спою песенку. Веселее будет, право!

Улыбнулся отцу, и в этой улыбке было прежнее, милое, детское.

"Совсем дурачок, блаженненький! Ну, как такого казнить?" - подумал Петр, и вдруг дикая, страшная, люта жалость вгрызлась ему в сердце, как зверь.

Он отвернулся и сделал вид, что слушает Феофана, который говорил ему об учреждении Св. Синода. Но ничего не слышал. Наконец, подозвал денщика, велел подавать лошадей, чтобы тотчас ехать в Петербург, и в ожидании опять пошел бродить, скучный, трезвый между пьяными. Сам того не замечая - словно какая-то сила влекла их друг к другу - подошел к царевичу, присел рядом за стол и снова отвернулся от него, притворился, что занят беседой с князем Яковом Долгоруким.

- Батя, а, батя! - тихонько до ронул царевич дурью отца.- Да что ты такой скучный? Аль он тебя обижает? Осинный кол ему в горло - и делу конец!..

- Кто он? - обернулся Петр к сыну.

- А я почему знаю, кто?- усмехнулся царевич такой странной усмешкой, что Петру стало жутко.- Знаю только, что вот теперь ты настоящий, а тот, черт его знает кто, самозванец, что ли, зверь проклятый, оборотень?..

- Что ты?-посмотрел на него отец пристально.Ты бы, Алексей, поменьше пил...

- И пить - помрешь, и не пить - помрешь; уж лучшеже умереть да пить! И тебе лучше: помру, казнитьне надо!..- захихикал он опять, совсем как дурачок, и вдруг запел тихим-тихим, чуть слышным голосом, доносившимся будто издали:

Пойду, млада, тишком-лужком, Тишком-лужком, бережочком, Нарву, млада, синь цветочек, Синь цветочек василечек.

Совью, млада, я веночек, Пойду, млада, я на речку, Брошу веночек вдоль по речке, Задумаю про милого...

- Снилось мне, батя, намердни: сидит, будто бы, ночьюв поле на снегу Афрося, голая да страшная, точномертвая, качает, баюкает ребеночка, тоже, будто бы, мертвого, и поет, словно плачет, эту самую песенку.

Мой веночек тонет-тонет, Мое сердце ноет-ноет.

Мой веночек потонет, Меня милый покидает.

Петр слушал - и жалость, дикая, страшная, лютаягрызла ему сердце, как зверь.

А царевич пел и плакал. Потом склонил голову настол, опрокинув стакан с вином,- по скатерти разлиласькрасная, точно кровавая, лужа,- подложил руку под голову, закрыл глаза и заснул.

Петр долго смотрел на это бледное, как будто мертвое, лицо рядом с красною, словно кровавою, лужею.

Денщик подошел к царю и доложил, что лошади поданы.

Петр встал, последний раз взглянул на сына, наклонился к нему и поцеловал его в лоб.

Царевич, не открывая глаз, улыбнулся отцу во сне такоюнежною улыбкою, как бывало в детстве, когда он брал егок себе на руки, сонного.

Царь вышел из палаты, где продолжалась попойка, никем не замеченный, сел в кибитку и поехал в Петербург.

КНИГА ДЕВЯТАЯ

КРАСНАЯ СМЕРТЬ

В лесах Ветлужских был скит раскольничий ДолгиеМхи. Непроходимые топи залили все дороги в тот скит.

Летом едва пробирались в него по узеньким кладкам сквозь такие чащи, что и днем в них было почти так же темно, как ночью; зимой - на лыжах.

Предание гласило, будто бы трое старцев из лесов Олонецких, с озера Толвуя, по разорении тамошних скитов никонианами, следуя за чудотворной иконой Божией Матери, шедшей по воздуху, пришли в те места, поставили малую хижину там, где икона опустилась на землю, и начали жить пустынным житием, пахать пашню копорюгою и, сожигая лес по кряжам, сеять под гарью. Братия сходилась к ним. Старцы завещали ей, умирая, всетрое в тот же день и в тот же час: "Живите тут, где мы благословили, детушки, хотя и много ходите даищете, такого места не найдете - тут сорока-ворона кашу варила, и быть скиту большому".

Пророчество исполнилось: выросла в дебрях лесных обитель и расцвела, как лилия райская, под святым покровом Богородицы.

"Чудо великое!- говорилось в скитском житии. Светлая Россия потемнела, а мрачная Ветлуга воссияла, преподобными пустыня наполнилась - налетели, яко шестокрылые".

Здесь, после долгих странствий по лесам Керженскими Чернораменским, поселился проповедник самосожжения, старец Корнилий с учеником своим, беглым школяром, стрелецким сыном, Тихоном Запольским.

Однажды июньскою ночью, вблизи Долгомшинской обители, на крутом обрыве над Ветлугою, пылал костер.

Пламя освещало снизу ветви старой сосны с прибитой к стволу меднолитой поморской иконой. У огня сидели двое - молодая скитница Софья и послушник Тихон.

Она ходила в лес за пропавшею телкою. Он возвращался от схимника из дальней пустыни, куда носил от старца грамоту. Встретились на перекрестке двух тропинок, ночью поздно, когда ворота обители были уже заперты, и решили вместе у огня дожидаться утра.

Софья, глядя на огонь, пела вполголоса:

Как возговорит сам Христос, Царь Небесный: Не сдавайтесь вы. Мои светы, Тому Змию седмглаву.

Вы бегите в горы, вертепы, Вы поставьте там костры большие, Положите в них серы горючей, Свои тела вы сожгите.

Пострадайте за Меня, Мои светы, За Мою веру Христову, Я за то вам, Мои светы, Отворю райские светлицы И введу вас в царство небесно, И Сам буду с вами жить вековечно.

- Так-то, братец,- заключила девушка, посмотрев на Тихона долгим взором.- Кто сожжется, тот и спасется. Добро всем погореть за любовь Сына Божьего!

Он молчал и, глядя на ночных мотыльков, кружившихся над пламенем, падавших в него и сгоравших, вспоминал слова старца Корнилия: "яко комары или мошки, чем больше их давят, тем больше пищат и в глаза лезут, так и русачки миленькие рады мучиться - полками дерзают в огонь!"

- Что думаешь, братец?- опять заговорила девушка.- Аль боишься печи той? Дерзай, плюнь на нее, небось! В огне здесь мало потерпеть - аки оком мигнуть так душа из тела и выступит! До печи страх-от, а какв нее вошел, то и забыл все. Загорится, а ты и видишь Христа и ангельские лики с Ним - вынимают душу из тела, а Христос-надежда Сам благословляет и силу ейдает божественную. И не тяжка тогда уже бывает, но яковосперенна, туда же летает со ангелами, ровно птичка попархивает - рада, из темницы той, из тела вылетела.

Вот пела до того, плакала: изведи из темницы душу мою изведатися имени Твоему. Ну, а то выплакала. Темницата горит в печи, а душа, яко бисер и яко злато чисто, возносится к Господу!..

В глазах ее была такая радость, как будто она уже видела то, о чем говорила.

- Тиша, Тишенька миленький, аль тебе красной смерти не хочется? Аль боишься?- повторила вкрадчивым шепотом.

- Боюсь греха, Софьюшка! Есть ли воля Господня, чтоб жечься? Божье ли то в нас, полно, не вражье ли?

- Где же деться? Нужда стала!- заломила она свои бледные, худенькие, совсем еще детские, руки.

- Не уйти, не укрыться от Змия ни в горах, ни в вертепах, ни в пропастях земных. Отравил он своим богоборным ядом и землю, и воду, и воздух. Все скверно, все проклято!

Ночь была тиха. Звезды невинны, как детские очи.

Опрокинутый ущербный месяц лежал на черных верхушках елового леса. Внизу, в болотном тумане, коростели скрипели усыпительно. Сосновый бор дышал сухим теплом смолистой хвои. У самого костра лиловый колокольчик, освещенный красным пламенем, склонялся на стебель, как будто кивал своей нежной и сонной головкою.

А мотыльки все летели, летели на огонь и падали, исгорали.

Тихон смежил глаза, утомленные пламенем. Вспомнился ему летний полдень, запах елей, в котором свежесть яблок смешана с ладаном, лесная прогалина, солнце, пчелы над кашкой, медуницей и розовой липкой дремой; среди поляны ветхий полусгнивший голубец-крест, должно быть, над могилою святого отшельника. "Прекрасная мати пустыня!" - повторял он свой любимый стих.

Исполнил, наконец. Господь его желание давнее - привел в "благоутишное пристанище". Он стал на колени, раздвинул высокие травы, припал к земле и целовал, и плакал, и молился:

Чудная Царица Богородица, Земля, земля, Мати сырая!

И глядя на небо, твердил: С небес сойдет Мати Всепетая, Госпожа Владычица Богородица!

И земля, и небо были одно. В лике небесном, подобном солнцу. Лик Жены огнезрачной, огнекрылой. Святой Софии Премудрости Божией он видел лик земной, который хотел и боялся узнать. Потом встал, пошел дальше в лес. Куда и сколько времени шел, не помнит. Наконец, увидел озеро, малое, круглое, как чаша, в крутых берегах, поросших ельником и отражавшихся в воде, как в зеркале сплошными зелеными стенами. Вода, густая, как смола, зеленая, как хвоя, была так тиха, что ее почти невидно было, и она казалась провалом в подземное небо.

На камне у самой воды сидела скитница Софья. Он узнал не узнал ее. Венок из белых купав на распущенных косах, черная скитская ряса приподнята, голые белые ноги в воде, глаза, как у пьяной. И покачиваясь мерно, глядя на подземное небо, пела она тихую песню, подобную тем, что певали в хороводах среди купальных огней.

в Иванову ночь, на древних игрищах:

Солнышко, солнышко красное!

Ой, дид Ладó, ой, дид Ладó!

Цветки, цветики, милые!

Ой, дид Ладó, ой, дид Ладó!

Земля, земля, мати сырая!

И древнее, дикое было в этой песне, похожей на грустную жалобу иволги в мертвом затишье полдня перед грозой. "Точно русалка!" - подумал он, не смея шевельнуться, притаив дыхание. Под ногой его хрустнул сучок.

Девушка обернулась, вскрикнула, спрыгнула с камня и убежала в лес. Только от венка, упавшего в озеро, медленные круги расходились по воде. И жутко ему стало, как будто в самом деле увидел он чудо лесное, наваждение небесовское. И вспомнив лик земной в Лике Небесном, он узнал сестру Софью - и кощунственной показалась молитва сырой Земле Матери.

Никогда ни с кем не говорил он о том, что видел там, на Круглом озере, но часто думал об этом и, сколько ни боролся с искушением, не мог победить его. Порой, в самых чистых молитвах, узнавал земной лик в Лике Небесном.

Софья, по-прежнему глядя на пламя костра неотступно-жадным взором, пела стих о св. Кирике, младенце-мученике, которого неверный царь Максимиан бросил в печь раскаленную:

Кирик-свет в печи стоит, Стихи поет херувимские.

В печи растет трава-мурава, Цветут цветочки лазоревы.

Во цветах младенец играет.

На нем риза солнцем сияет.

Тихон тоже глядел на огонь, и ему казалось, что в прозрачно-синем сердце огня видит он райские цветы, о которых говорилось в песне. Синева их, подобная чистому небу, сулила блаженство нездешнее; но надо было пройти через красное пламя - красную смерть, чтобы достигнуть этого неба.

Вдруг Софья обернулась к нему, положила руку на руку его, приблизила лицо к лицу его, так что он почувствовал ее дыхание, жаркое, страстное, как поцелуй, и зашептала вкрадчивым шепотом:

- Вместе, вместе сгорим, братец мой, светик мой, родненький! Одной страшно, сладко с тобой! Вместе пойдем ко Христу на вечерю брачную!..

И она повторяла, как бесконечную ласку: - Сгорим! Сгорим!..

В бледном лице ее, в черных глазах, отражавших блеск пламени, опять промелькнуло то древнее, дикое, что и там, на Круглом озере - в песне купальных огней.

- Сгорим, сгорим, Софьюшка!- прошептал он сужасом, который тянул его к ней, как мотыльков тянет огонь.

Внизу на тропинке, которая шла по обрыву, слышались шаги.

- Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных!- произнес чей-то голос.

- Аминь!- ответили Тихон и Софья.

То были странники. Они заблудились в лесу, едва не увязли в болоте; наконец увидели пламя костра и коекак выбрались.

Все уселись кругом, у огня.

- До скита, родимые, далече ли?

- Тут под горою сейчас,- молвил Тихон и, взглядевшись в лицо говорившей, узнал Виталию, ту самую, которая "птичье житие имела", всюду "привитала", странствовала, и которую видел он два года назад на плотах царевича Алексея в Петербурге, на Неве, в ночь праздника Венус. Она также узнала Тихона и обрадовалась.

С нею была ее неразлучная спутница Киликея-кликуша, беглый рекрут Петька Жизла с высохшею рукою, клейменной казенным клеймом, печатью Антихриста, и старый лодочник Иванушка-дурачок, который каждую ночь, встречая Христа, пел песню гробополагателей.

- Откуда, православные?- спросила Софья.

- Мы люди странные,- ответила Виталия,- странствуем по миру, скитаемся, гонимы от веры еретической, настоящего града не имеем, грядущего взыскуем.

А ныне с Керженца идем. Там гонение лютное. Питирим, великий хищный, церковный кровоедец, семьдесят семь скитов разорил и спасительное житие в киновиях все испроверг.

Начались рассказы о гонениях.

Одного святого старца в трех застенках били, клещами ломали ребра, пуп тянули; потом в "зимнее время, в жестокий мороз, обнажили и студеную воду со льдом на голову лили, пока от бороды

до земли соски не смерзли, аки поросшие; наконец, огнем сожгли, и так скончался".

Иных томили в хомутах железных; "хомуты те стягивают голову, руки и ноги в одно место, от коего злейшегомучительства кости хребта по суставам сокрушают, и кровьюизо рта, из ноздрей, из глаз, из ушей брызжет".

Иных насильно причащали, вкладывая в рот кляп.

Одного отрока приволокли солдаты в церковь, положилина лавку, поп да диакон пришли с чашею, а дьячки растянули его, раскрыли рот и насилью влили причастие. Онвыплюнул. Тогда диакон ударил его кулаком по скуламтак, что отскочила нижняя челюсть. От этой раны страдалец умер.

Одна женщина, чтобы уйти от гонителей, пробила вольду прорубь и сначала семерых малолетних детей своихопустила под лед, а потом сама утопилась.

Некий муж благочестивый перекрестил жену беременную с тремя детьми и в ту же ночь сонных зарезал. А поутру пришел в приказ и объявил: "Я мучитель был своим, а вы будете мне; и так, они - от меня, а я от вас пострадаю; и будем вкупе за старую веру в царстве небесноммученики".

Многие, убегая от Антихриста, сами сжигаются.

- И добро делают. Блажен извол сей о Господе!

Понеже впадшим в руки Антихриста и Бог не помогает, нельзя стерпеть мучения, никто не устаевает. Лучше вогонь здешний, нежели в вечный!- заключила Виталия.

- В огонь да в воду только и уходу!- подтвердилаСофья.

Звезды меркли. По краю неба меж туч тянулись бледные полосы. Тусклою сталью в тумане блестели извивыреки среди бесконечных лесов. Внизу, под обрывами, у самой Ветлуги, выступала из мрака обитель, огороженнаяостроверхим тыном из бревен, похожая на древнее лесноегородище. С реки - большие врата рубленые, над нимиобраз Деисуса. Внутри ограды -"стая" бревенчатых избна высоких подклетях, с крыльцами, сенями, переходами, тайниками, светелками, летниками, вышками, смотрильнями с узкими оконцами, наподобие крепостных бойниц, с крутыми тесовыми двускатными кровлями; кроме братских келий - разные хозяйственные службы -

кузня, швальня, кожевня, чеботная, больница, громотная, иконная, гостиная; часовня во имя Божьей Матери Толвуйской - тоже простой бревенчатый сруб, но больше всехпрочих, с деревянным крестом и тесовой чешуйчатой маковкой, рядом колокольня-звонница, черневшая на бледном небе.

Послышался тонкий, жалобно-певучий звон: то ударили к заутрене в била - служившие колоколами дубовые доски, подвешенные на веревках из крученых воловьихструн; ударяли в них большим гвоздем троетесным; попреданию. Ной таким благовестом созывал животных вковчег. В чутком безмолвии лесов был сладостно грустени нежен этот деревянный звон.

Странники крестились, глядя на святую обитель последнее убежище гонимых.

- Святися, святися. Новый Иерусалиме, слава боГосподня на тебе возсыя! - запела Киликея с умиленноюрадостью на прозрачно-бледном, точно восковом, лице.

- Все скиты разорили, а этого не тронули!-заметила Виталия.- Покрывает, видно, сама Царица Небесная дом свой покровом святым. В Откровении-де писано: дано Жене два крыла орлия, да парит в пустыню...

- У царя рука долга, а сюда не хватит,- проговорил один из странников.

- Последняя Русь здесь!- заключил другой.

Звон умолк, и все притихли. То был час великого безмолвия, когда, по преданию - воды покоятся, и ангелыслужат, и серафимы ударяют крыльями в священном ужасе перед престолом Всевышнего.

Иванушка-дурачок, сидя на корточках, обняв коленируками, глядел недвижным взором на светлеющий востоки пел свою вечную песенку:

Древян гроб сосновенРади меня строен: Буду в нем лежати, Трубна гласа ждати.

И опять, как тогда, на плотях в Петербурге, в ночьпраздника Венус - заговорили о последних временах, обАнтихристе.

- Скоро, скоро, при дверях есть!- начала Виталия.-Ныне еще кое-как перебиваемся; а тогда, приАнтихристе, и пошевелить губами нельзя будет, развесердцем держаться Бога...

- Тошно! тошно!- стонала Киликея кликуша.

- Сказывал намереди Авилка, беглый казак с Дону,Продолжала Виталия,- было-де ему в степи видение: подошли к хате три старца, все трое образом равны, а

говорят по-русски, только на греческую речь походит.

Откуда, говорит, идете и куда?- Из Иерусалима, говорят, от Гроба Господня в Санкт-Питербурх смотреть Антихриста.- А какой, говорит, там Антихрист?- Которого, говорят, называете царь Петр Алексеевич - тот Антихрист. Он-де Царьград возьмет и соберет жидов, и пойдет во Иерусалим, и там станет царствовать. И жида-де познают, что он - Антихрист подлинный. И на нем век сей кончается...

Все опять смолкли, как будто ждали чего-то. Вдруг из леса, еще темного, раздался протяжный крик, похожий на плач ребенка - должно быть, крик ночной птицы. Все вздрогнули, - Ох, братики, братики!-залепетал Петька Жизла, заикаясь и всхлипывая.- Страшно... Называем его Антихристом, а нет ли его здесь, в лесу?.. Видите, какое смятение и между нами...

- Дураки вы, дураки, бараньи головы!- произнес вдруг чей-то голос, похожий на сердитое, медвежье ворчанье.

Оглянулись и увидели странника, которого не замечали раньше. За разговором, должно быть, вышел он прямо из леса, сел поодаль, в тени, и все время молчал.

Это был высокий старик, сутулый, сгорбленный, обросший волосами рыжими с проседью. Лица почти не видно было в утренних сумерках.

- Куда ему, царю Петру, в Антихристы, такому пьянице, блудяге, бабоблудишке! - продолжал старик.- Так, разве - шиш Антихристов. Последний-то черт не на тех санях поедет, да будет у него догадок не с Петрове, ни!..

- Авва отче,- взмолилась Виталия, вся трясась от страха и любопытства,- научи ты нас, глупых, просвети светом истины, поведай все по подробну: как быть имеет пришествие Сына Погибели?

Старик закричал, завозился и, наконец, с трудом поднялся на ноги. Было что-то грузное, медвежье, косолапое во всем его огромном облике.- Мальчик подал ему руки и подвел к огню. Под заскорузлым овчинным тулупом, видимо, никогда не снимавшимся,

висели каменные вериги на железных цепях, одна плита спереди, другая сзади;

на голове - железный колпак; на поясице - железный пояс, вроде обруча с петлею. Тихон вспомнил про житие древнего подвижника Муромского Капитона Великого: петля была ему пояс, а крюк - в потолке, и то постеля;

процепя крюк в петлю, да так повиснув, спал.

Старик присел на корневище сосны и обернул лицо к Заре. Она осветила его бледным светом. Вместо глаз были черные впадины - язвы с кровавыми бельмами. Острия гвоздей, которыми подбит был железный колпак спереди, впивались в кости черепа, и оттого глаза вытекли, и он ослеп. Все лицо страшное, а улыбка нежная, детская.

Он заговорил так, как будто слепыми глазами видел то, о чем говорил.

- Ох, батюшки, батюшки бедненькие! Чего испугались? Самого-то нет еще, не видим и не слышим. Предтечи были многие и ныне есть, и по сих еще будут. Путюему гладок творят. А как выгладят, да вычистят все, тутсам он и явится. От нечистой девы родится, и войдет в него сатана. И во всем уподобится льстец Сыну Божию: Чистоту соблюдет; будет постен и кроток, и милостив;

больных исцелит, голодных накормит, бездомных приютит, успокоит страждущих. И придут к нему званные и незванные, и поставят царем над всеми народами. И соберет он всю силу свою, от восхода солнца до запада; убелит морепарусами, очернит поле щитами. И скажет: обойму вселенную горстью моею, яко гнездо, и яко оставленные яйца, восхищу! И чудеса сотворит и великие знаменья: Переставит горы, пойдет по водам стопами немокрыми, Сведет огонь с неба и бесов покажет, яко ангелов света, и воинства бесплотных, им же нет числа; и с трубами и гласами, и воплем крепким, и неимоверными песнями, возблистает, яко солнце, тьмы начальник, и на небо взлетит, и на землю сойдет, со славою многою. И сядет во храме Бога Всевышнего и скажет: Бог семь аз. И поклонятся ему все, говоря: Ты Бог, и нет иного Бога, кроме тебя. И станет мерзость запустения на месте святом. И тогда восплачетя земля, и возрыдает море; небо не даст росы своей, тучи - дождя; море исполнится смрада и гнуса;

реки иссохнут, студенцы оскудеют. Люди будут умирать от голода и жажды. И придут к Сыну Погибели, и скажут: дай нам есть и пить. И посмеется над ними и поругается.

И познают, яко Зверь есть. И побегут от лица его, но нигде не укроются. И тьма на них будет - плач на плач, горе на горе. И будут видом человеки, как мертвые, и лепоты увянут женские, и у мужей не станет похоти. Повергнут злато и серебро на торжищах - и никто не подымет.

И будут издыхать от скорби своей, и кусать языки свои, И хулить Бога Живого. И тогда силы небесные поколеблются, и явится знамение Сына Человеческого на небе.

Се грядет. Ей, гряди. Господи! Аминь. Аминь. Аминь.

Он умолк и вперил слепые глаза на восток, как будто уже видел то, чего еще никто не видел, там, на краю небес, в громадах темных туч, залитых кровью и золотом.

Огненные полосы ширились по небу, как огненные крылья серафимов, павших ниц, во славе грядущего Господа. Над черною стеною леса появился раскаленный уголь, ослепительный. Лучи его, дробясь об острые верхушки черных елей, заиграли многоцветной радугой. И огонь костра померк в огне солнца. И земля, и небо, и воды, и листья, и птицы - вся тварь - и сердца человеческие восклицали с великою радостью: ей, гряди, Господи!

Тихон испытывал знакомый ему с детства ужас и радость конца, Софья, крестясь на солнце, призывала крещение огненное, вечное солнце - красную смерть.

А Иванушка-дурачок, по-прежнему сидя на корточках, обняв колени руками, тихонько покачиваясь и глядя на Восток - начало дня, пел вечному Западу - концу всех дней:

Гробы вы, гробы, колоды дубовые, Всем есте, гробы, домовища вечные!

День к вечеру приближается, Солнце идет к Западу, Секира лежит при корени, Приходят времена последние.

В скиту был братский сход для совещания о спорных письмах Аввакумовых.

Многострадаальный протопоп послал на Керженецдругу своему, старцу Сергию письма о св. Троице снадписью: "прими, Сергей, вечное сие Евангелие, немною, но перстом Божиим писанное".

В письмах утверждалось: "Существо св. Троицы секомо на три равных и раздельных естества. Отец, Сын и ДухСвятый имеют каждый особое сидение на трех престолах, как три ЦаРЯ Небесные. Христос сидит на четвертомпрестоле, особом, соцарствуя св. Троице. Сын Божийвоплотился во утробу Девы, кроме существа, только благодатью, а не Ипостасью".

Диакон Федор обличал Аввакума в ереси. СтарецОнуфрий, ученик Аввакума обличал в том же диаконаФедора. Последователи Федора, единосущники, обзывали онуфриян трисущниками, а те в свою очередь поносили единосущников кривотолками. И учинилось великоерассечение, "и вместо горящей прежней любви, вселиласяв братию ненависть и оболгание, и всякая злоба".

Дабы утолить раздор церковный, собран был сход вДолгие Мхи, и призван для ответа ученик старца Онуфрия, по кончине его, единый глава и учитель онуфриеватолка, о. Иерофей.

Сошлись у матери Голиндухи в келье, стоявшей наполяне среди леса, вне скитской ограды. Онуфрияне отказалИСь вести спор в самом скиту, опасаясь обычной рукопашной схватки, которая могла для них кончиться плохо, так как единосущников было больше, чем трисущников.

Тихон присутствовал на сходе. А старец Корнилий непошел: "Чего болтать попусту,- говорил он,- горетьнадо; в огне и познаешь истину".

Келья, просторная изба, разделялась на две половины: малую боковушку - жилую светлицу - и большуюмоленную. Кругом, вдоль бревенчатых стен, стояли напольках образа. Перед ними теплились лампы и свечи.

На подсвечниках висели тетеревиные хвосты для гашения свечей. По стенам лавки. На них толстые книги вкожанных и деревянных переплетах с медными застежками и рукописные тетрадки; самые древние писания великих пустынных отцов - на бересте.

Было душно и темно, несмотря на полдень: ставнина окнах с паюсными окончинами из мутного рыбьего пузыря закрыты от солнца. Лишь кое-где из щелей протянулись иглы света, от которых

огни лампад и свечей краснели тускло. Пахло воском, кожей, потом и ладаном. Дверь на крыльцо была открыта, сквозь нее видна залитая солнцем поляна и темный лес.

Старцы в черных рясах и куколях-кафтырях теснились, окружая стоявшего посредине Моленной, перед наемом, о. Иерофея. У него был вид степенный, лицо белое, как просвирка, сытое, глаза голубые, немного раскосые и с разным выражением: в одном - христианское смирение, в другом - "философское кичение". Голос имел онуветливый, "яко сладковещательная ластовица". Одет щеголем; ряса тонкого сукна, кафтырь бархатный, наперсный крест с ладами. От золотистых сединок его веяло благоуханием розового масла. Среди убогих старцев, лесных мужей и иноков - настоящий боярин, или архиерей никонианский.

О. Иерофей был муж ученый; "книжную мудрость и разум, яко губа воду, в себя почерпал". Но враги утверждали, что мудрость его не от Бога; имел он, будто бы, два учения: одно явное, православное - для всех; другое тайное, еретическое - для избранных, большею частью знатных и богатых людей. Простых же и бедных прельщал милостыней.

С раннего утра до полудня прелись едносущники и трисущниками, но ни к чему не пришли. О. Иерофей все увиливал - "глагола сего и вамо". Как ни заседали на него старцы, не могли обличить.

Наконец, в жару спора, ученик о. Иерофея, брат Спиридон, востроглазый, черномазый, с кудерками, похожими на пейсы жидовские, вдруг выскочил вперед и крикнул во весь голос:

- Троица рядом сидит. Сын одесную, а Дух ошуюю Отца. На разных престолах, не спрятався, сидят три Царя Небесные, а Христос на четвертом престоле особном!

- Четверишь Троицу! - закричали отцы в ужасе.

- А по-вашему кучею надобно, едино Лицо? Врешь, не едино, а три, три, три! - махал о. Спиридон рукою, как будто рубил топором. - Веруй в Трисущную, Несекомую секи, небось, едино не трое, а Естество Христа - четвертое!..

И он пустился толковать различие существа от естества: Существо - де Сына внутри, а Естество подле ног Отца сидит.

- Не существом, а естеством единым Бог вочеловечился. Аще бы существом сошел на землю, всю бы вселенную попалило, и пречистой Богоматери чрево не могло бы понести всего Божества - так бы и сожгло ей чрево-то!

- О, заблудший и страстный, вниди в совесть свою, познай Господа, исторгни от себя корень ереси, престани, покайся, миленький!- увещевали старцы.- Кто тебе сказал, или когда видел: особно и не спрятався, сидят три Царя Небесные? Его же бо ангелы и архангелы не могут зрети, а ты сказал: не спрятався, сидят! И как не опалился язык сказавшаго такое?..

Но Спиридон продолжал вопить, надседаясь: - Три, три, три! Умру за три! У меня-де и огнем издуши не выжжешь!..

Видя, что с ним ничего не поделаешь, приступили опять к самому о. Иерофею.

- Чего мотаться? Говори прямо: как веруешь, в Единосущную, аль Трисущную?

О. Иерофей молчал и только брезгливо усмехнулся в бороду. Видно было, что он презирает с высоты своей учености всех этих простецов, как смердов.

Но отцы приставали к нему все яростнее - "яко козлы, на него пырסקали".

- Чего молчишь? Аль оглох? Затыкаешь уши свои, яко аспид глухий!

- Зашибся и вознесся, яко гордый Фараон!

- Не захотел с отцами в совете быть, всех возгнушался, рассек любовь отеческую!

- Мятежник и смутитель христианский!

- Чего лезете?-не выдержав, наконец, огрызнулся Иерофей, отступая незаметно к дверям боковуши. не находите! Не вам за меня отвечать. Спасусь ли, аль не спасусь, вам какое дело? Вы себе живите, а мы себе.

Нам с вами не сообщно. Пожалуйте, не находите!

О. Пров, седой, как лунь, но еще крепкий и кряжистый старик, махал перед самым носом о. Иерофея вязовой дубиной.

- Еретицище безумный! Как такою дубиною судия радской да станет ты по бокам похаживать, так ты скажешь едину у себя веру,

трисущную, либо единосущную.

Что стало тебе на воле, так и бредишь, что хошь...

- Мир вам, братья о Христе!- раздался голос тихий, такой не похожий на другие голоса, что его слышали.

то говорил схимник о. Мисаил, пришедший из дальнейпустыни, великий подвижник - "летами млад, но ум столений".-Что се будет, родимые батюшки? Не диавол ли воюет вас и распаляет мятежом братоубийственным ? И никтоне ищет воды живой, дабы пламень сатанинский угасить, Но всяк ищет смолы, изгребия и тростия сухого на распаление горшее. Ей, отцы, не слыхал я и в никонианах такогобратоненавидения! И ежели они про то уведают и начнутна спаки мучить и убивать, то уже неповинны будут предБогом, и нам те муки начало болезням будут вечных мук.

Все замолчали, как будто вдруг опомнились.

О. Мисаил стал на колени и поклонился в ноги сперва всему сходу, потом отдельно о. Иерофею.

- Простите, отцы! Прости, Иерофеюшка, братец миленький! Велика премудрость твоя, огненный в тебе ум. Помилуй же нас, убогих, отложи письма спорные, сотвори любовь!

Он встал и хотел обнять Иерофея. Но тот не позволил, сам опустился на колени и поклонился в ноги о. Мисаилу.

- Прости, отче! Я-кто? Мертвый пес. И как могуразуметь выше собора вашего священного? Ты говоришь, Евгиенный во мне ум. Ей, тщету наводишь душе моей! Я-человек, равный роду, живущему в тинах кальных, ихже лягушками зовут. Яко свиния от рожец, наполняючрево свое. Аще бы не Господь помогал мне, вмае не воад вселилась бы душа моя. Еле-еле отдыхаю от похотей, задавляющих мя. Ох, мне, грешнику! А тебя, Мисаилушка, спаси Бог, на поученьи твоём...

О. Мисаил с кроткой улыбкой опять протянул былоруки, что бы обнять о. Иерофея. Но тот поднялся на ноги '

и оттолкнул его, с лицом, искаженным такою гордынейи злобою, что всем стало жутко.

- Спаси Бог на поучении твоём,- продолжал онвдруг изменившимся, дрожащим от ярости голосом,что нас, неразумных, поучаешь и наказуешь! А хорошо бы, друг, и меру свою знать! Высоко

летаешь, да лишь бы свисоты той не свалиться вниз! Рт кого ты учительской-отсан восприял, и кто тебя в учителя поставил? Все нынеучители стали, а послушать некому! Горе нам и временисему, и живущим в нем! Дитя ты молоденькое, а дерзаешь высоко. Нам, право, и слушать-то тебя не хочется.

Учи себе, кто твоему разуму последует, а от нас поотступи, пожалуй. Хороши учителя! Иной дубиной грозит, а иной любовью льстит. Да что в любви той, когда наразрушение истины любимся. И сатана любит верныхсвоих. Мы же, яко сытости не имеем любить Христа, так иврагов Его ненавидеть! Аще и умереть мне Бог изволит, несоединюсь с отступниками! Чист семь аз и прах прилипшийот ног своих отрясаю пред вами, по писанному: лучшеодин творящий волю Божию, нежели тьмы беззаконных!

И среди всеобщего смятения, о. Иерофей, прикрываемый своими подручными, шмыгнул в дверь боковуши.

О. Мисаил отошел в сторону и начал тихонько молиться, повторяя все одно и то же:

- Беда идет, беда идет. Помилуй, Матерь Пречистая!

А старцы опять закричали, заспорили, пуще прежнего.

- Спирка, а, Спирка, поганец, слушай: Сын одеснуюОтца на престоле сидит. Да и ладно так, дитятка бешеное, не замай Его, не пихай поганым своим языком с престола того царского к ногам Отца!..

- Проклят, проклят, проклят! Анафема! Аще бы иангел возвестил что паче Писания, анафема!

- Невежды вы! Не умеете рассуждать Писания. Чтос вами, деревенскими олухами, речи терять!

- Затворил тя Бог в противление истине! Погибайсо своими, окаянный!

- Да не буди нам с вами общения ни в сем веке, нив будущем!

Все говорили вместе, и никто никого не слушал.

Теперь уже не только единосущники трисущникам, но и братья братьям в обоих толках готовы были перервать горло из-за всякой малости: крестообразного илитроекратного каждения, ядения чесноку в день Благовещенья и Сорока мучеников, воздержания попов от лукуза день до литургии, правила не сидеть в говении,

возложивши ноги на ногу, чтения вовеки веком, или вовеки веков - из-за каждой буквы, запятой и точки в старых книгах.

- И малая-де опись содевает великую ересь!

- Умрем за один аз!

- Тверди, как в старых книгах писано, да молитву Иисусову грызи - и все тут!

- Разумей, Федька, враг Божий, собака, блядин сын, адов пес - Христос и Петров крест: у Христова чебышок над колодкою, а у Петрова нет чебышка,- доказывал осипшим голосом брат Улиан, долгомшинский начетчик. всегда тихий и кроткий, а теперь точно исступленный.

с пеною у рта, со вздувшимися на висках жилами и налитыми кровью глазами.

- Чебышок, чебышок над колодкою!-надрывался Федоська.

- Нет чебышка! Нет чебышка!- вопил Улиан.

А на поддачу ему, о. Трифилий, другой начетчик выскочил, рассказывали впоследствии, "яко ерш из воды, выя колом, глава копылом, весь дрожа и трясыйся, от великой ревности; кости сжимахуся, члены щепетаху, брадаубо плясаша, а зубы щелкаху, глас его бяша, яко верблюда в мести, непростим, и неукротим, и ужасен от дикости".

Он уже ничего не доказывал, а только ругался по-матерному. Ему отвечали тем же. Начали богословием, кончили сквернословием.

- Сатана за кожу тебе залез!..

- Чернечишка плут, за стекляницу вина душу продал!..

- О, дерзости, о, мерзости! Свинья сый, окаянный и земли недостойный, ниже света сего зрети! Заблудящий скот!..

- Обретаются некоторые гады, из чрева своего гадят, будто бы св. Троица...

- Слушайте, слушайте о Троице!..

- Есть чего слушать? Не мощно твоего плетения расковырять: яко лапоть сковырял, да и концы потерял...

- Я небесныя тайны вещаю, мне дано!

- Полно молоть! Заткни хайло онучей!

- Прокляты! Прокляты! Анафема!

На мужичьем соборе в Ветлужских лесах спорили почти так же, как четырнадцать веков назад, во времена Юлиана Отступника, на церковных соборах при дворе византийских императоров.

Тихон глядел, слушал - ему казалось, что не людиспорят о Боге, а звери грызутся, и что тишина его прекрасной матери - пустыни навеки поругана этими кощунственными спорами.

Под окнами кельи слышались крики. Мать Голиндуха, мать Меропия и мать Улея старая выглянули в окна и увидели, что целая толпа выходит на поляну из лесу, со стороны обители. Тогда вспомнили, как однажды, вовремя такого же братского схода на Керженце в Ларионовом починке, подкупленные белыцы, трудники и бортники пришли к избе, где был сход, с пищалями, рогатинами, дреколием и напали на старцев.

Опасаясь, как бы и теперь не случилось того же, матери бросились в моленную и задвинули наружную дверь толстыми дубовыми засовами в то самое мгновение, когда толпа уже ломилась и стучалась: - Отворите! Отворите!

Кричали и еще что-то. Но мать Голиндуха, которая всем распоряжалась, тугая на ухо, не расслышала. А прочие матери только без толку метались и кудахтали, как перепуганные курицы. Оглушали их и крики внутри моленной, где отцы, не обращая ни на что внимания, продолжали спорить.

О. Спиридон объявил, что "ухом-де Христос вниде в Деву и неизреченно боком изыде".

О. Трифилий плюнул ему в лицо. О. Спиридон схватил о. Трифилия за бороду, сорвал с него кафтырь и хотел ударить по плечи медным крестом. Но старец Провязовою дубиною вышиб у о. Спиридона крест из руки.

Онуфрианский начетчик, здоровенный детина Архипка.

ринулся на о. Прова и так хватил его кулаком по виску, что старик упал замертво. Началась драка. Точно бесыобуяли старцев. В душной тьме, едва озаренной тусклым светом лампад и тонкими иглами солнца, мелькали страшные лица, сжатые кулаки, ременные четки, которыми хлестали по глазам друг друга, разорванные книги, оловянные подсвечники, горящие свечи, которыми тоже дрались.

В воздухе стояла матерная брань, стон, рев, вой, визг.

Снаружи продолжали стучать и кричать: - Отворите! Отворите!

Вся изба тряслась от ударов: то рубили топором ставню.

Мать Улия, рыхлая, бледная, как мучная опара, опустилась на пол и закликала таким пронзительным икающим кликом, что все ужаснулись.

Ставня затрещала, рухнула, и в лопнувший рыбийпузырь просунулась голова скитского шорника о. Миныс вытаращенными глазами и разинутым кричащим ртом: - Команда, команда идет! Чего, дураки, заперлись?

Выходи скорее!

Все онемели. Кто как стоял с поднятыми кулаками, или пальцами, вцепившимися в волосы противника, так изамер на месте, окаменев, подобно изваянию.

Наступила тишина мертвая. Только о. Мисаил плакал и молился:

- Беда пришла, беда пришла. Помилуй, Матерь Пречистая!

Очнувшись, бросились к дверям, отперли их и выбежали вон.

На поляне от собравшейся толпы узнали страшную весть: воинская команда, с попами, понятыми и подьячими, пробирается по лесу, уже разорила соседний Морошкин скит на реке Унже и не сегодня, завтра будет в Долгих Мхах.

Тихон увидел старца Корнилия, окруженного толпою скитников, мужиков, баб и ребят из окрестных селений.

- Всяк верный не развешивай ушей и не задумывайся,- проповедовал старец,- гряди в огонь с дерзновением, Господа ради, постражди! Так размахав, да и впламя! На вось, диавол, еже мое тело: до души моей делатебе нет! Ныне нам от мучителей - огонь и дрова, земляи топор, нож и виселица; там же - ангельские песни и славословие, и хвала, и радование. Когда оживотворятся мертвые тела наши Духом Святым - что ребенок из брюха, вылезем паки из земли-матери. Пророки и праотцыне уйдут от искуса, всех святых лики пройдут реку огненную - только мы свободны: то-де нам искус, что ныне сгорели; то нам река огненная, что сами - в огонь. Загоримся, яко свечи, в жертву Господу! Испечемся, яко хлеб сладок. Св. Троице! Умрем за любовь Сына Божьего! Краше солнца красная смерть!

- Сгорим! Сгорим! Не дадимся Антихристу!- заревела толпа неистовым ревом.

Бабы и дети громче мужиков кричали: - Беги, беги в полымя! Зажигайся! Уходи от мучителей!

- Ныне скиты горят,- продолжал старец,- а потом и деревни, и села, и города зажгутся! Сам взял быя огонь и запалил бы Нижний, возвеселился бы, дабыиз конца в конец сгорел! Ревнуня же нам Россия и всяпогорит!..

Глаза его пылали страшным огнем; казалось, что этоогонь того последнего пожара, которым истребится мир.

Когда он кончил, толпа разбрелась по поляне и поопушке леса.

Тихон долго ходил по рядам, прислушиваясь к тому, что говорили в отдельных кучках. Ему казалось, что всесходят с ума.

Мужик говорил мужику:

- Само царство небесное в рот валится, а ты откладываешь: ребятки-де малые, жена молода, разориться нехочется. А ты, душа, много ли имеешь при них? Развемешок да горшок, а третье - лапти на ногах. Баба, и та вогонь просится. А ты - мужик, да глупее бабы. Ну, детейпереженишь и жену утешишь. А потом что? Не гроб ли?

Гореть не гореть, все одно умереть!

Инок убеждал инок:

- Какое-де покаянье - десять лет эпитимья! Где-топоститься да молиться? А то, как в огонь, так и покаяниевсе - ни трудись, ни постись, да часом в рай вселись: все-то грехи очистит огонь. Как уж сгорел, ото всего ушел!

Дед звал деда:

- Полно уже, голубок, жить. Репа-де брюхо проела.

Пора на тот свет, хоть бы в малые мученики!

Парнишки играли с девчонками:

- Пойдем в огонь! На том свете рубахи будут золотые, сапоги красные, орехов и меду, и яблоч довольно.

- Добро и младенцы сгорят,- благословляли старцы,- да не согрешат, выросши, да не брачатся и не рождаются, но лучше чистота да не растлится!

Рассказывали о прежних великих горях.

В скиту Палеостровском, где со старцем Игнатием сожглось 2.700 человек, было видение: когда загорелась церковь - после большого дыму, из самой главы церковной, изшел о. Игнатий со крестом, а за ним прочие старцыи народа множество, все в белых одеждах, в великой славеи светлости, рядами шли на небо и, прошедши небесныедвери, сокрылись.

А на Пудожском погосте, где сгорело душ 1.920, ночьюкараульные солдаты видели спустившийся с неба столпсветлый, цветами разными цветущий, подобно радуге; и

с высоты столпа сошли три мужа в ризах, сиявших каксолнце, и ходили около огнища по-солонь; один благословлял крестом, другой кропил водой, третий кадил фимиамом, и все трое пели тихим гласом; и так обойдя трикраты, опять вошли в столп и поднялись на небо. После того многие видели в кануны Вселенских суббот в ночи на том жеместе горящие свечи и слышали пение неизреченное.

А мужику в Поморье было иное видение. Огневицейлежал он без памяти и увидел колесо вертящееся, огненное, и в том колесе человекoв мучимых и вопиющих: семесто не хотевших самосгореть, но во ослабе живущих иАнтихристу работающих; иди и проповеждь во всю землю, да все погорят!- Уканула же ему капля на губу отколеса. Мужик проснулся, а губа сгнила. И проповедаллюдям: добро-де гореть, а се-де мне знаменье на губе покойники сделали, кои не хотели гореть.

Кликeя кликуша, сидя на траве, пела стих о жене Аллилуевой.

Когда жидаы, посланные Иродом, искали убить младенца Христа, жена Аллилуева укрыла Его, а свое собственное дитя бросила в печь.

Как возговорит ей Христос, Царь Небесный: Ох ты гой еси, Аллилуева жена милосерда, Ты скажи Мою волю всем Моим людям, Всем православным христианам, Чтобы ради Меня они в огонь кидалисьИ кидали бы туда младенцев безгрешных.

Но кое-где уже слышались голоса против самосожжения: - Батюшки миленькие,- умолял о. Мисаил,- доброревновать по Боге, да знать меру! Самовольно-мученичество не угодно Богу. Един путь Христов: не взятымутекать, взятым же терпеть, а самим не насакивать. Отдохните от ужаса, бедные!

И неистовый о. Трифилий соглашался с кротким о. Мисаилом.

- Не полено есть, чтоб ни за что гореть! Ужли же, собравшись, яко свиньи в хлеве, запалитесь?

- Бессловесие глубокое!- брезгливо пожимал плечами о. Иерофей.

Мать Голендуха, которая уже горела раз, да не сгорела - вытащили и водой отлили,- устрашала всех рассказами о том, как тела в огне пряжятся и корчатся, голова с ногами аки вервью скручиваются, а кровь кипит и пенится,, точно в горшке варево. Как, после гари, телалезжат, в толстоту велику раздувшись и огнем упекшись, мясом жареным пахнут; иныя же целы, а за что ни потянешь, то и оторвется. Псы ходят, рыла зачернивши, печеных тех мяс жрут, окаянные. На пожарище смрад тяжкий исходит долгое время, так что невозможно никому пройти, не заткнувши носа. А во время самой гари, вверху пламени, видели однажды двух бесов черных, наподобие эфиопов, с нетопырьими крыльями, ликующих и плещущих руками, и вопиющих; наши, наши есте! И многиегоды на месте том каждую ночь слышались гласы плачевные: ох, погибли! ох, погибли!

Наконец, противники самосожжения приступили к старцу Корнилию:

- Почто сам не сгорел? Когда это добро, вам бы, учителям, наперед! А то послушников бедных в огонь пихаете, животишек ради отморных себе на разживу. Все-то вытаковы, саможжения учителя; хорошо, хорошо, да иным, а не вам. Бога побойтесь, довольно прижгли, хоть останки помилуйте!

Тогда, по знаку старца, выступил парень Кирюха, лютый зажигатель. Помахивая топором, крикнул он зычным голосом:

- Кто гореть не хочет добром, выходи с топором будем биться. Кто кого зарубит, тот и прав будет. Меня убьет - неугодно-де Богу сожжение, а я убью - зажигайся!

Никто не принял вызова, и за Кирюхой осталась победа.

Старец Корнилий вышел вперед и сказал: - Хотящие гореть-стань одесную, не хотящие-ошую!

Толпа разделилась. Одна половина окружила старца; другая отошла в сторону. Самосожженцев оказалось душвосемьдесят, не желавших гореть - около ста.

Старец осенил насмертников крестным знаменем и, подняв глаза к небу, произнес торжественно:

- Тебя ради. Господи, и за веру Твою, и за любовь Сына Божия Единородного умираем. Не щадим себя сами, души за Тя полагаем, да не нарушим своего крещения, принимаем второе крещение огненное, сожигаемся. Антихриста ненавидя. Умираем за любовь Твою пречистую!

- Гори, гори! Зажигайся!- опять заревела толпа неистовым ревом.

Тихону казалось, что, если он останется дольше в этой безумной толпе, то сам сойдет с ума.

Он убежал в лес. Бежал до тех пор, пока не смолкли крики. Узкая тропинка привела его к знакомой лужайке, поросшей высокими травами и окруженной дремучими

елями, где некогда молился он сырой земле-матери. Над темными верхушками гасло вечернее солнце. По небу плыли золотые тучки. Чаща дышала смолистою свежестью. Тишина была бесконечная.

Он лег ничком на землю, зарылся в траву и опять, как тогда, у Круглого озера, целовал землю, молился земле, как будто знал, что только земля может спасти его от огненного бреда красной смерти:

Чудная Царица Богородица, Земля, земля, Мати сырая!

Вдруг почувствовал, что кто-то положил ему руку на плечо - обернулся и увидел Софью.

Она склонилась над ним и смотрела в лицо его молча, пристально.

Он тоже молчал, глядя на нее снизу, так что лицо девушки, под черным скитским платком в распуск, выделялось четко на золотистой лазури неба, как лик святой на золоте иконы. Бледною ровною матовой бледностью, с губами алыми и свежими, как полураскрытый цветок, с глазами детскими и темными, как омут-лицо это было так прекрасно, что дух у него захватило, точно от внезапного испуга.

- Вот ты где, братец!- проговорила, наконец, Софья.- А старец-то ищет везде, ума не приложит, куда пропал. Ну, вставай же, пойдем, пойдем скорее!

Она была вся торопливая и радостная, словно праздничная.

- Нет, Софья,- произнес он спокойно и твердо. Не пойду я больше туда. Полно, будет с меня. Насмотрелся, наслушался. Уйду, совсем уйду из обители...

- И гореть не будешь?

- Не буду.

- Без меня уйдешь?

Он взглянул на нее с мольбою.

- Софьюшка, голубушка! Не слушай безумных.

Не надо гореть,- нет на то воли Господней! Грех великий, искушение бесовское! Уйдем вместе, родная!..

Она склонилась к нему еще ниже, с лукавой и нежной улыбкою, приблизила к его лицу лицо свое, уста кустам, так что он почувствовал ее горячее дыхание.

- Не уйдешь никуда! - прошептала страстным шепотом.- Не пущу тебя, миленький!..

И вдруг охватила голову его обеими руками, и губы их слились.

- Что ты, что ты, сестрица? Разве можно? Увидят...

- Пусть видят! Все можно, все очистит огонь. Только скажи, что хочешь гореть... Хочешь?- спросила она чуть слышным вздохом, прижимаясь к нему все крепче и крепче.

Без мысли, без силы, без воли, ответил он таким же вздохом: - Хочу!

На темных елях последний луч солнца погас, и золотые тучки посерели, как пепел. Воздух дохнул благовонною влажностью. Лес приосенил их дремучею тенью.

Земля укрыла высокими травами.

А ему казалось, что лес и трава, и земля, и воздух, и небо - все горит огнем последнего пожара, которым должен истребиться мир - огнем красной смерти. Но он уже не боялся и верил, что краше Солнца Красная Смерть.

Скит опустел. Иноки разбежались из него, как муравьи из разоренного муравейника.

Самосожженцы собрались в часовню, стоявшую в стороне от скита, на высоком холме, так что приближение команды не могли не заметить издали.

Это был сруб из очень ветхого сухого леса, построенный так, чтоб из него нельзя было во время гари "выкинуться". Окна - как щели. Двери - такие узкие, что едва мог войти в них один человек. Крыльцо и лестницу сломали. К дверям прикрепили щиты для запора. На окна опустили слезы и запоры - все из толстых бревен. Потом стали

поджогу прилаживать: набросали кудель, солому, пеньку, смолье, бересту; стены обмазали дегтем; в особыхдеревянных желобах, обнимавших строение, насыпалипороху, а несколько фунтов оставили про запас, чтобы впоследнюю минуту рассыпать по полу дорожками. Накрышу поставили двух караульных, которые должныбыли, сменяясь, днем и ночью сторожить, не идут ли гонители.

Работали радостно, словно готовились к празднику.

Дети помогали взрослым. Взрослые становились, как дети.

И все были веселы, точно пьяны. Веселее всех ПетькаЖизла. Он работал за пятерых. Высохшая рука его, сказанным клеймом, печатью Зверя, исцелялась, начиналадвигаться.

Старец Корнилий бегал, сновал, как паук в паутине.

В глазах его, таких светлых, что, казалось, они должныв темноте светиться, как зрачки у кошки - с тяжелым иласковым взглядом, были странные чары: на кого этиглаза смотрели, тот становился без воли и творил волюстарца во всем.

- Ну-ка, дружнее, ребятушки!- шутил он с насмертниками. Я старик кряжик, а вы детки подгнедки: въедемпрямо на небо, что Илья пророк на колеснице огненной!

Когда все было готово, стали запираься. Окна, кромеодного, самого узкого, и входные двери заби́ли наглухо.

Все слушали в молчании удары молотка: казалось, что надними, живыми, заколачивают крышку гроба.

Только Иванушка-дурачок пел свою вечную песенку:

Древян гроб сосновенРади меня строен.

Буду в нем лежати, Трубна гласа ждати.

Желавшим исповедаться старец говорил: - Полно-ка, детушки!. Чего-де вам каяться? Вы теперь, как ангелы Божьи, и паче ангелов - по слову Давидову-аз рече: вы вози есте. Победили всю силу вражью.

Нет над вами власти греха. Уже согрешить не можете.

И еще бы кто из вас отца родного убил да соблудил с матерью - свят есть и праведен. Все очистит огонь!

Старец приказал Тихону читать Откровение Иоанново, которое никогда ни на каких церковных службах не читается.

- И видех небо ново и землю нову: первое бо небо иземля первая приидоша. И рече Седяй на престоле: сенова вся творю. И глагола ми: напиши, яко сии слова истинна и верна суть. И рече ми: совершишася.

Тихон, читая, испытывал знакомое чувство конца, такою силою, как еще ни разу в жизни. Ему казалось, что стены сруба отделяют их от мира, от жизни, от времени, как стены корабля от воды: там, извне, еще продолжается время, а здесь оно уже остановилось, и наступил конец - совершилось.

- Вижу... вижу... вижу... ох, батюшки миленькие! прерывая чтение, закричала Киликее кликуша, вся бледная, с искаженным лицом и неподвижным взором широкооткрытых глаз.

- Что видишь, мать? - спросил старец.

- Вижу град великий, святой Иерусалим, нисходящий небеси от Бога, подобен камени драгому, яко каменья снису кристалловидну, и смарагду, и сапфиру, и топазию.

И двенадцать врат-двенадцать бисеров. И стогны града - злато чисто, яко стекло пресветло. А солнца нет, но слава Божия просвещает все. Ох, страшно, страшно, батюшки!.. Вижу Лицо Его светлее света солнечного...

Вот Он, вот Он!.. К нам идет!..

И слушавшим ее казалось, что они видят все, о чем она говорит.

Когда наступила ночь, зажгли свечи и, стоя на коленях, запели тропарь:

- Се Жених грядет во полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяща. Блюда убо, душе моя, да не сном отяготися, да не смерти предана будеши и Царствия вне затворишися;

но воспряни, - зовущи: свят, свят, свят. Боже, Богородицею помилуй нас. День он страшный помышляюще, душе моя, побди, вжигающе свещу твою, елеем просвещающе; не веси бо, когда приидет к тебе глас глаголящий: се Жених!

Софья, стоя рядом с Тихоном, держала его за руку.

Он чувствовал пожатие трепетной руки ее, видел на лице ее улыбку застенчивой радости: так улыбается невеста жениху под брачным венцом. И ответная радость наполнила душу его. Ему казалось теперь, что прежний страх его - искушение бесовское, а воля

Господня - красная смерть: ибо, кто хочет душу свою спасти, погубит ее, а кто погубит душу свою. Меня ради и Евангелия, тот спасет ее.

Ждали в ту же ночь прихода команды. Но она не пришла. Настало утро и, вместе с ним - усталость, подобная тяжелому похмелью.

Старец зорко следил за всеми. Кто унывал и робел, тем давал катыши, вроде ягод, из пахучего темного теста, должно быть, с одуряющим зельем. Съевший такую ягоду приходил в исступление, переставал бояться огня и бредил им, как райским блаженством.

Чтоб ободрить себя, рассказывали о несравненно, будто бы, более страшной, чем самосожжение, голодной смерти в морильнях.

Запощеванцев, посхимив, сажали в пустую избу, бездверей, без окон, только с полатями. Чтоб не умертвили себя, снимали с них всю одежду, пояс и крест. Спускали визбу потолком и потолок закрепляли, чтоб кто не "выдрался". Ставили караульных с дубинами. Насмертники мучились по три, по четыре, по шести дней. Плакали, молили: "дайте нам есть!" Собственное тело грызли и проклинали Бога.

Однажды двадцать человек, посаженных в ригу, что стояла в лесу для молотбы хлеба - как стало им тошно, взявши камень, выбили доску и поползли вон; а сторожа дубинами по голове их били и двоих убили, и загородивши дверь, донесли о том старцу: что с ними делать велит?

И велел соломой ригу окласть и сжечь.

- Куда-де легче красная смерть: сгоришь - не почувствуешь! - заключали рассказчики.

Семилетняя девочка Акулька, все время сидевшая смирно на лавке и слушавшая внимательно, вдруг вся затряслась, вскочила, бросилась к матери, ухватила ее заподол и заплакала, закричала пронзительно: - Мамка, а, мамка! Пойдем, пойдем вон! Не хочу гореть!..

Мать унимала ее, но она кричала все громче, все неистовее:

- Не хочу гореть! Не хочу гореть!

И такой животный страх был в этом крике, что все содрогнулись, как будто вдруг поняли ужас того, что совершалось.

Девочку ласкали, грозили, били, но она продолжала кричать и, наконец, вся посиневшая, задохшаяся от крика, упала на пол и

забилась в судорогах.

Старец Корнилий, склонившись над ней, крестил ее, ударял четками и читал молитвы на изгнание беса.

- Изыде, изыде, душе окаянный!

Ничто не помогало. Тогда он взял ее на руки, открыл рот насильно и заставил проглотить ягоду из темного теста. Потом начал тихонько гладить ей волосы и что-то шептал на ухо. Девочка мало-помалу затихла, как будто заснула, но глаза были открыты, зрачки расширены, и взор неподвижен, как в бреду. Тихон прислушался к шепоту старца. Он рассказывал ей о царствии небесном, о райских садах.

- А малина, дяденька, будет? - спросила Акулька.

- Будет, родимая, будет, во какая большущая каждая ягодка с яблоко - и душистая да сладкая, пресладкая.

Девочка улыбалась. Видно было, что у нее слюна текет от предвкушения райской малины. А старец продолжал ее ласкать и баюкать с материнскою нежностью. Но Тихону чудилось в светлых глазах его что-то безумное, жалкое и страшное, паучье. "Словно к мухе паук присосался!" - подумал он.

Наступила вторая ночь, а команда все еще не приходила.

Ночью одна старица выкинулась. Когда все заснули, даже сторожа, она взлезла к ним на вышку, хотела спуститься на связанных платках, но оборвалась, упала, расшиблась и долго стонала, охала под окнами. Наконец, замолкла, должно быть, отползла, или прохожие подобрали и унесли.

В часовне было тесно. Спали на полу вповалку, братья на правой, сестры на левой стороне. Но греза ли сонная, или наваждение бесовское - только в середине ночи стали шнырять в темноте осторожные тени, справа налево и слева направо.

Тихон проснулся и прислушался. За окном пел соловей, и в этой песне слышалась лунная ночь, свежесть росистого луга, запах елового леса, и воля, и нега, и счастье земли. И точно в ответ соловью, слышались в часовне странные шепоты, шелесты, шорохи, звуки, подобные вздохами поцелуям любви. Силен, видно, враг человеческий: неугасал и страх смерти, а распалял уголь грешной плоти.

Старец не спал. Он молился и ничего не видел, неслышал, а если и видел, то, верно, прощал своих "бедненьких детушек":

"Един Бог оез греха, а человек немощен-падает, якоглина, и восстает, яко ангел. Не то блуд, еже с девицею, или вдовицею, не то блуд, еже в вере блудить: не мы блудим, егда телом дерзаем, но церковь, когда ересь держит".

Тихону вспомнился рассказ о том, как два старца увели одну девушку в лес, верст за двадцать, и среди лесаначали нудить: "Сотвори с нами, сестра. Христову любовь".-"Какую, говорит, любовь Христову имею с вамитворить?"-"Буди, говорят, с нами совокуплением плотским - то есть любовь Христова". Плачет девица: "Богапобойтесь!" А старцы утешают: "Огонь-де нас очистит".

Еще бедная упрямится, а они запрещают: "Аще не послушаешь, венца не получишь!"

Вдруг Тихон почувствовал, что кто-то обнимает его иприжимается к нему. Это была Софья. Ему стало страшно.

Но он подумал: все очистит огонь. И ощущая сквозьчерную скитскую ряску теплоту и свежесть невинноготела, припал к ее устам устами с жадностью.

И ласки этих двух детей в темном срубе, в общем гробу, были так же безгрешны, как некогда ласки пастушка Дафниса и пастушки Хлои на солнечном Лесбосе.

А Иванушка-дурачок, сидя в углу на корточках, сосвечою в руках и мерно покачиваясь, ожидая "петелеваглашения", пел свою вечную песенку:

Гробы вы, гробы, колоды дубовые, Всем есте, гробы, домовища вечные!

И соловей тоже пел, заливался о воле, о неге, о счастьеземли. И в этом соловьином рокоте слышался как будтонежный и лукавый смех над гробовою песнью дурачкаИванушки.

И вспомнилась Тихону белая ночь, кучка людей наплоту над гладью Невы, между двумя небесами - двумябезднами - и тихая, томная музыка, которая доносиласьпо воде из Летнего сада, как поцелуи и вздохи любвииз царства Венус:

Покинь, Купидо, стрелы: Уже мм все не целы, Но сладко уязвленыЛюбовною стрелоюТвоею золотою, Любви все покоренны.

Перед рассветом восьмидесятилетний старик Минейхотел тоже выкинуться. Его поймал Кирюха. Они подрались, и Миней едва не зарубил Кирюху топором. Старика связали, заперли в чулане. Он кричал оттуда и бранил старца Корнилия непристойною бранью.

Когда на заре Тихон выглянул в окошко, чтобы узнать, не пришла ли команда, то увидел лишь пустынную, залитую солнцем поляну, ласково-хмурые, сонные ели и лучезарную радугу в каплях росы. На него пахло такой благовонною свежестью хвои, таким нежным теплом восходящего солнца, таким кротким затишьем голубого неба, что опять показалось ему все, что делалось в срубе, сумасшедшим бредом, или злодейством.

Опять потянулся долгий летний день, и напала навсех тоска ожидания.

Грозил голод. Воды и хлеба было мало - только кульржаных сухарей, да корзины две просфор. Зато вина много, церковного красного. Его пили с жадностью. Кто-то, напившись, затащил вдруг веселую кабацкую песню. Она была ужаснее самого дикого вопля.

Начинался ропот. Сходились по углам, перешептывались и смотрели на старца недобрыми глазами. А что, если команда не придет? Умирать, что ли, с голоду? Одни требовали, чтобы выломали дверь и послали за хлебом;

но в глазах у них видна была тайная мысль: убежать. Другие хотели зажечься тотчас, не дожидаясь гонителей. Иные молились, но с таким выражением в лице, точно богохульствовали. Иные, наевшись ягод с дурманом, которые старец раздавал все чаще, бредили - то смеялись, то плакали.

Один парень, придя в исступление, бросился, схватил свечу, горевшую перед образом, и начал зажигать поджогу.

Едва потушили. Иные целыми часами сидели в молчанье, в оцепенении, не смея смотреть друг другу в глаза.

Софья сидя рядом с Тихоном, который лежал на полу, ослабев от бессонных ночей и от голода, напевала унылую песенку, которую пели хлысты на радениях - о великом.

сиротстве души человеческой, покинутой в жизни, как в темном лесу. Господом Батюшкой и Богородицей Матушкой:

Тошным было мне, тошнехонько, Грустным было мне, грустнехонько.

Мое сердце растоскуется, Мне к Батюшке в гости хочется.

Я пойду, млада, ко Батюшке, Что текут ли реки быстрые, Как мосты все размостились.

Перевозчики отлучились.

Мне пришло, молодой, хоть вброд брести.

Как вброд брести, обмочиться, У Батюшки обсушиться.

Мое сердце растоскуйся, Сердечный ключ подымается;

Мне к Матушке в гости хочется, Со любезною повидеться, Со любезною побеседовать.

И песня кончалась рыданием:

Пресвятая Богородица, Упроси, мой Свет, об нас!

Без Тебя, мой Свет, много грешных на земле, На сырой земле, на матушке, На сударыне кормилице!

Никто их не видел. Софья склонила голову на плечо Тихона, прислонилась щекой к щеке его, и он почувствовал, что она плачет.

- Ох, жаль мне тебя, жаль, Тишенька родненький! шептала ему на ухо.- Загубила я твою душеньку, окаянная!.. Хочешь бежать? Веревку достану. Аль старцу скажу: подземный ход есть в лес - он тебя выведет...

Тихон молчал в бесконечной усталости и только улыбался ей сонною детской улыбкою.

В уме его проносились далекие воспоминания, подобные бреду: самые отвлеченные математические выводы: почему-то теперь он особенно чувствовал их стройное истрогое изящество, их ледяную прозрачность и правильность, за которую, бывало, старый Глюк сравнивал математику с музыкой -- с хрустальной музыкой сфер. Припомнился также спор Глюка с Яковом Брюсом о Комментариях Ньютона к Апокалипсису и сухой, резкий, точнодеревянный, смех Брюса, и слова его, которые отзывались тогда в душе Тихона таким предчувственным ужасом: "В то самое время, когда Ньютон сочинял свои Комментарии,- на другом конце мира, именно здесь, у нас, вМосковии, дикие изуверы, которых называют раскольниками, сочиняли тоже свои комментарии к Апокалипсису и пришли почти к таким же выводам, как Ньютон.

Ожидая со дня на день кончины мира и второго пришествия, одни из них ложатся в гробы и сами себя отпевают, другие сжигаются. Так вот что, говорю я, всего любопытнее: в этих апокалипсических бреднях крайний Западсходится с крайним Востоком и величайшее просвещение - с величайшим невежеством, что действительно, могло бы, пожалуй, внушить мысль, что конец мира приближается, и что все мы скоро отправимся к черту!" Иновый, грозный смысл приобретало пророчество Ньютона: "Hypotheses non fungo! Я не сочиняю гипотез! Как мотылек, летящий на огонь, комета упадет на солнце - и от этого падения солнечный жар возрастет до того, что все на земле истребится огнем. В Писании сказано: небесас шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Тогда исполнятся оба пророчества - того, кто верил, и того, кто знал". Припомнилось ветхое, изъеденное мышами октаво из библиотеки Брюса, под номером 461, с безграмотной русскою надписью: "Лионардо Давинчи трактат о живописном письме на немецком языке", и вложенный в книгу портрет Леонардо - лицо Прометея, или Симона Мага. И вместе с этим лицом - другое, такое же страшное - лицо исполина в кожаной куртке голландского шкипера, которого однажды встретил он в Петербурге на Троицкой площади у кофейного дома. Четырех Фрегатов - лицо Петра, некогда столь ненавистное, а теперь вдруг желанное. В обоих лицах было что-то общее, как бы противоположно-подобное: в одном - великое созерцание, в другом - великое действие разума. И от обоих лиц веяло на Тихона таким же благодатным холодом, как от горных снегов на путника, изможденного зноем долин. "О физика, спаси меня от метафизики!" - вспоминалось ему слово Ньютона, которое утвердил, бывало, пьяный Глюк. В обоих лицах было единое спасение от огненного неба Красной Смерти - "земля, земля, Мати сырая".

Потом все смешалось, и он заснул. Ему приснилось, будто бы он летит над каким-то сказочным городом, нето над Китежем-градом, или Новым Иерусалимом, не то Стекольным, подобным "стклу чисту и камени и аспису кристалловидну"; и математика - музыка была в этом сияющем Граде.

Вдруг проснулся. Все суетились, бегали и кричали срадостными лицами.

- Команда, команда пришла!

Тихон выглянул в окно и увидел вдали, на опушкелеса, в вечернем сумраке, вокруг пылавшего костра, людей в треуголках, в зеленых кафтанах с красными отворотами и медными пуговицами: это были солдаты.

- Команда, команда пришла! Зажигайся, ребята!

С нами Бог!

Капитан Пырский имел предписание нижегородской архиерейской канцелярии:

"До раскольничьего жительства дойти секретно, такчтобы не зажглись. А буде в скииту своем, или часовнезапрутся, то команде стоять около того их пристанища денно и ночью, со всяким остерегательством, неоплошно ратным строем, и смотреть, и беречь их накрепко, и жечься им отнюдь не давать, и уговаривать, чтобсдались и принесли вину свою, весьма обнадеживая, чтобудут прощены без всякого озлобления. И буде сдадутся, то всех переписать и положи им на ноги колодки, или что может благоприобретено быть, чтоб в дороге утечки не учинили и со всеми их пожитками, при конвое, отправить в Нижний. А буде, по многому увещанию, повиновения не принесут и учнут сидеть в заборе упорно, то потеснить их и добывать, как возможно, чтоб конечнотех воров переимать, а распространению воровства их недопустить и взять бы их взяьем, или голодом выморить без кровопролития. А буде они свои воровскиепристанища или часовню зажгут, то вам бы те пристанища заливать водою и, вырубя или выломав двери и окна, выволакивать их живыми".

Капитан Пырский, храбрый старый солдат, раненыйпри Полтаве, считал разорение скитов "кляузной выдумкой долгогривой поповской команды" и лучше пошел быв самый жестокий огонь под шведа и турку, чем возитьсяс раскольниками. Они сжигались, а он был в ответе и получал выговоры: "Оному капитану и прочим светским командирам такие непорядочные поступки воспретить, ибо повсему видно, что предали себя сожжению, видя от него, капитана, страх". Он объяснил, что "раскольники не от страха, а от

замерзлости своей умирают, понеже надуты страшною злобою и весьма нас имеют отпад ших от благочестия, и объявляют, что стоят даже до смерти и переменять себя к нынешнему обыкновению не будут - стольнадуты и утверждены в такой безделице". Но объяснений этих не слушали, и архиерейская канцелярия требовала: "Понеже раскольники чинят самосожжения притворные, чтобы не платить двойного оклада, на самом же деле в глухих местах поселяются и, скрывшись там, свободно предаются своему мерзкому злочестию, то светским командирам надлежит по требухам сгоревших сосчитывать и, сосчитав, в реестр записывать, того для, что требуха в пожаре, хотяи в каком великом строении, в пепел сгореть не может".

Но капитан, полагая это для военного звания своего унижительным, требуху считать не ездил и получил за тоновый выговор.

В Долгих Мхах решил он быть осторожнее и сделать все, что возможно, чтоб не давать раскольникам жечься.

Перед наступлением ночи, приказав команде отойти подальше от сруба и не трогаться с места, подошел к часовне, один, без оружия, оглядел ее тщательно и постучался под окном, творя молитву по-раскольничьи: - Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

Никто не ответил. В срубe было тихо и темно, как в гробу. Кругом пустыня. Верхушки деревьев глухо шумели. Подымался ночной свежий ветер. "Если зажгутся, - подумал капитан, постучал и повторил: - Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

Опять молчание: только коростели на болоте скрипели, да где-то далеко завyla собака. Падучая звезда сверкнула огненной дугою по темному небу и рассыпались искрами. Ему стало вдруг жутко, как будто, в самом деле, стучался он в гроб к мертвецам.

- Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! - произнес он в третий раз.

Ставня на окне зашевелилась. Сквозь узкую щель блеснул огонек. Наконец, окно открылось медленно, и голова старца Корнилия высунулась.

- Чего надобно? Что вы за люди и зачем пришли?

- По указу его величества, государя Петра Алексеевича, пришли мы вас увещевать: объявили бы вы о себе, какого вы звания, чину и

роду, давно ли сюда в лес пришли с какими отпусками из домов своих вышли, и по каким указам и позволениям жительствуете? И ежели на святую восточную церковь и тайны ее какое сумнительство имеете, О том показали бы письменно и наставников своих выдали бы для разглагольствия с духовным начальством без всякого страха и озлобления...

- Мы, крестьяне и разночинцы, собрались здесь всево имя Иисуса Христосика, и жен, и детей своих уберем и упокоим,- ответил старец тихо и торжественно.- Хотим умереть огнесожжением за старую веру, а вам, гонителям, в руки не дадимся, понеже-де у вас вера новая. А ежели кто хочет спастись, тот бы с нами шел сюда гореть: мы ныне к самому Христу отходим.

- Полно, братец! - возразил капитан ласково.- Господь с вами, бросьте вы свое мерзкое намерение сжигаться, разойдитесь-ка по домам, никто на вас не подымет руки своей. Заживите по-старому в деревнях своих припеваючи. Будете лишь дань платить, двойной оклад...

- Ну, капитан, ты сказывай это малым зубочным ребятам, а мы таковые обманы уже давно знаем: по усам текло, да в рот не попало.

- Честью клянусь, всех отпущу, пальцем не трону! воскликнул Пырский.

Он говорил искренно: он, в самом деле, решил отпустить их, вопреки указу, на свой собственный страх, ежели они сдадутся.

- Да чего нам с тобою глотку-то драть, охрипнем! прибавил с доброй улыбкой.- Вишь, высоко до окна, неслышно. А ты вот что, старик; вели-ка выкинуть ремень, я подвяжусь, а вы меня к себе подымайте в окошко, только не в это, в другое, пошире, а то не пролезу.

Я один, а вас много, чего вам бояться? Потолкуем, даст Бог, и поладим...

- Что с вами говорить? Куда же нам, нищим и убогим, с такими тягаться? - усмехнулся старец, наслаждаясь, видимо, своей властью и силой.- Пропасть великая между нами и вами утвердилась,- заключил он опять торжественно,- яко да хотящие прийти отсюда к вам не возмогут, ниже оттуда к нам приходят... А ты ступай-ка прочь, капитан, а то, смотри, сейчас загоримся!

Окошко захлопнулось. Опять наступило молчание.

Только ветер шумел в верхушках деревьев, да коростелина болоте скрипели.

Пырский вернулся к солдатам, велел им дать по чарке вина и сказал:

- Драться мы с ними не станем. Мало-де, слышь, у них мужиков, а все бабы да дети. Выломаем двери без оружия голыми руками всех переловим.

Солдаты приготовили веревки, топоры, лестницы, ведра, бочки с водою, чтобы заливать пожар, и особые длинные ешесты с железными крючьями - кокоты, чтобы выволачивать горящих из пламени. Наконец, когда совсем стемнело, двинулись к часовне, сперва обходом, по опушкелеса, потом по полянке, крадучись ползком в высоких травах и кустах, словно охотники на облаву зверя.

Подойдя вплотную к срубам, начали приставлять лестницы. В срубам все было темно и тихо, как в гробу.

Вдруг окошко открылось и старец крикнул: - Отойдите! Как начнет селитра и порох рвать, тогда вас побьет бревнами!

- Сдавайтесь! - кричал капитан. - Все равно с боювозьмем! Видите, у нас мушкеты да пистолы...

- У кого пистолы, а у нас дубинки Христовы! ответил чей-то голос из часовни.

В задних рядах команды появился поп с крестом и стал читать увещание пастырское от архиерея: - "Аще кто беззаконно постраждет, окаяннейший есть всех человек: и временное свое житие мучением погубит, и муки вечной не избегнет"...

Из окошка высунулось дуло ветхой дедовской пищали, и грянул выстрел холостым зарядом: стреляли не для убийства, а только для устрашения гонителей.

Поп спрятался за солдатские спины. А вдогонку ему старец, грозя кулаком, закричал с неистовой яростью: - Адские преисподние головни! Содомского пламени встанки! Разоренного вавилонского столпотворения семя!

Дайте только срок, собаки, не уйдете от меня - я вам, и лучшим, наступлю на горло о Христе Иисусе, Господе нашем! Се, придет скоро и брань сотворит с вами мечом Своих, и двигнет престолы, и кости

ваши предастпсам на съядение, якож Иезавелины! Мы горим здешнимогнем, вы же огнем вечным и ныне горите и там горетьбудете! Куйте же мечи множайшие, уготовляйте муки лютейшие, изобретайте смерти страшнейшие, да и радостьнаша будет сладчайшая!.. Зажигайся, ребята! С нами Бог!

В окно полетели порты, сарафаны, гулупы, рубахи ичуйки:

- Берите их себе, гонители! Метайте жеребий! Намничего не нужно. Нагими родились и предстанем нагимипред Господом!..

- Да пощадите же хоть детей своих, окаянные! воскликнул капитан с отчаяньем.

Из часовни слышалось тихое, как бы надгробное, пение.

- Взлезай, руби, ребята!- скомандовал Пырский.

Внутри сруба все было готово. Поджога прилажена. Кудель, пенька, смолье, солома и береста навалены грудями.

Восковые свечи перед образами прикреплены к паникадилам так слабо, что от малейшего сотрясения должны былипопадать в желоба с порохом: это всегда делали нарочнодля того, чтобы самосожжение походило как можно меньше на самоубийство. Ребят-подростков усадили на лавки; одежду их прибили гвоздями так, чтобы они не могли оторваться; скрутили им руки и ноги веревками, чтобы не метались;

рты завязали платками, чтоб не кричали. На полу в череповой посуде зажгли ладан фунта с три, чтоб дети задохлись раньше взрослых и не видели самого ужаса гари.

Одна беременная баба только что родила девочку. Ееположили тут же на лавке, чтобы крестить крещениемогненным.

Потом, раздевшись донага, надели новые белые рубахисаваны, а на головы - бумажные венцы с писанными красным чернилом, осьмиконечными крестами и стали на коленирядами, держа в руках свечи, дабы встретить Женихас горящими светильниками.

Старец, воздев руки, молился громким голосом: - Господи Боже, призри на нас, недостойных рабовТвоих! Мы слабы и немощны, того ради не смеем в рукигонителям вдатися. Призри на сие собранное стадо. Тебе, Доброму Пастырю последующее, волка же лютаго. Антихриста убегающее. Спаси и помилуй, ими же веси судьбамиСвоими, укрепи и утверди на страдание огненное. Помилуй

нас. Господи, помилуй нас! Всякого бо ответа недоумевающе, сию Ти молитву, яко Владыце, грешные приносим: помилуй нас! Умираем за любовь Твою пречистую!

Все повторили за ним в один голос - и жалок, и страшен был этот вопль человеческий к Богу: - Умираем за любовь Твою пречистую!

В то же время, по команде Пырского, солдаты, окружив со всех сторон часовню и взлезая на лестницы, рубили толстые бревенчатые стены сруба, запуски и слегина окнах, щиты на дверях.

Стены дрожали. Свечи падали, но все мимо желоба с порохом. Тогда, по знаку старца, Кирюха схватил пуксвечей, горевших перед иконой Божьей Матери, бросил прямо в порох и отскочил. Порох взорвало. Поджога вспыхнула. Огненные волны разлились по стенам и стропилам.

Густой, сперва белый, потом черный, дым наполнил часовню. Пламя задыхалось, гасло в нем; только длинные красные языки выбивались из дыма, свистя и шипя, как змеиные жала - то тянулись к людям и лизали их, то отпрядывали, словно играя.

Послышались неистовые вопли. И сквозь вопли горящих, сквозь грохот огня звучала песнь торжествующей радости: - Се, Жених грядет во полунощи.

С того мгновения, как вспыхнул огонь и до того, как Тихон потерял сознание, прошли две, три минуты, но он увидел и навеки запомнил все, что делалось в часовне.

Старец схватил новорожденную, перекрестил: "Во имя Отца, Сына и Духа Святаго!" - и бросил в огонь первую жертву.

Иванушка-дурачок протянул руки к огню, как будто встречая грядущего Господа, которого ждал всю жизнь.

На Киликее кликуше рубаха затлела и волосы вспыхнули, окружая голову ей огненным венцом; а она, не чувствуя боли, окаменела, с широко-раскрытыми глазами, как будто видела в огне великий Град, святой Иерусалим, входящий с неба.

Петька Жизла кинулся в огонь вниз головой, как веселый купальщик в воду.

Тихону тоже чудилось что-то веселое, пьяное в страшном блеске огня. Ему вспомнилась песня: В печи растет трава-мурава, Цветут цветочки лазоревы.

И, Казалось, что в прозрачно-синем сердце огня он видит райские цветы. Синева их, подобная чистому небу, сулила блаженство нездешнее; но надо было пройти через красное пламя - красную смерть, чтобы достигнуть этого неба.

Осаждавшие выбили два, три бревна. Дым хлынул в полое место. Солдаты, просунув кокоты, стали выволакивать горевших и отливать водой. Столетнюю мать Феодулию вытащили за ноги, обнажив ее девичий срам.

Старица Виталия уцепилась за нее и тоже вылезла, но тотчас испустила дух: все тело ее от ожогов было как один сплошной пузырь. О. Спиридон, когда его вытащили, схватил спрятанный за пазухой нож и зарезался.

Он был еще жив четыре часа, непрестанно на себедвоеперстный крест изображал, ругал никониан и радовался, как сказано было в донесении капитана, "что так над собою учинить ему удалось смертную язву".

Иные, после первых ожогов, сами кидались к пробоине, падали, давили друг друга, лезли вверх по груде свалившихся тел, как по лестнице, и кричали солдатам: - Горим, горим! Помогите, ребяташки!..

На лицах ангельский восторг сменялся зверским ужасом.

Бегущих старались удержать оставшиеся. Дедушка Михей ухватился обеими руками за край отверстия, чтобы выскочить, но семнадцатилетний внук ударил его бердышом по рукам, и дед упал в огонь. Баба урвалась из пламени, сынишка - за нею, но отец ухватил его за ноги, раскачал и ударил головой о бревно. Тучный скитский келейник, упавший навзничь в лужу горячей смолы, корчился и прыгал, точно плясал: "Как карась на сковороде!" - подумал Тихон с ужасным смехом и закрыл глаза, чтобы не видеть.

Он задыхался от жара и дыма. Темно-лиловые колокольчики на кроваво-красном поле закивали ему, зазвенели жалобно. Он почувствовал, что Софья обнимает его, прижимается к нему. И сквозь полотно ее рубахи-савана свежесть невинного тела, как бы ночного цветка, была последнею свежестью в палящем зное.

А голоса живых раздавались все еще сквозь вопли умирающих: - Се, Жених грядет...

- Жених мой, Христос мой возлюбленный! - шептала Софья на ухо Тихону. И ему казалось, что огонь, горящий во теле его - сильнее огня Красной Смерти. Они поникли вместе, как будто обнявшись легли, жених и невеста, на брачное ложе. Жена огнезrachная, огнекрылая, уносила его в пламенную бездну.

Жар был так силен, что солдаты должны были отступить. Двух спалило. Один упал в сруб и сгорел.

Капитан ругался:

- Ах, дурачки, дурачки окаянные! Легче со шведами с туркой, чем с этой сволочью!

Но лицо старика было бледнее, чем когда лежал он раненый на поле Полтавского боя.

Раздуваемое бурным ветром, пламя вздымалось всевыше, и шум его подобен был грому. Головки летели поветру, как огненные птицы. Вся часовня была как одна раскаленная печь, и в этой печи, как в адском огне, копошилась гора сваленных, скорченных, скрюченных тел.

Кожа на них лопалась, кровь клокотала, жир кипел. Слышался смрад паленого мяса.

Вдруг балки обвалились, крыша рухнула. Огненный столб взвился под самое небо, как исполинский светоч.

И землю, и небо залило красное зарево, точно это был, в самом деле, последний пожар, которым должен истребиться мир.

Тихон очнулся в лесу, на свежей росистой траве.

Потом он узнал, что в последнее мгновение, когда лишился он чувств, старец с Кирюхою подхватили его вдвоем на руки, бросились в алтарь часовни, где под престолом была дверца, вроде люка, в подполье, спустились в этот никому неведомый тайник и подземным ходом вышли в лес, в самую густую чащу, где не могли отыскать их гонители.

Так поступали почти все учителя самосожжения: других сжигали, а себя и ближайших учеников своих спасали до новой проповеди.

Тихон долго не приходил в себя; долго старец с Кирюхою отливали его водою; думали, что он умрет. Обжары, впрочем, на нем были не тяжкие.

Наконец, очнувшись, он спросил: - Где Софья?

Старец посмотрел на него своим светлым и ласковымВЗГЛЯДОМ:

- Не замай себя, дитятко, не горюй о сестрицелисвестушке! В царствии небесном душенька пречистая, купно с прочими святыми страдальцами.

И подняв глаза к небу, перекрестился с умиленноюрадостью:

- Рабам Божиим, самовольно сгоревшим вечная память! Почиваете, миленькие, до общего воскресения и о насмолитесь, да и мы ту же чашу испием о Господе, егда часНаш приидет. А ныне еще не пришел, поработать еще надохристу... Прошел и ты, чадо, искус огненный,- обратился он к Тихону,- умер для мира, воскрес для Христа. Потщися же сию вторую жизнь не себе пожить, но Господу.

Облекись в оружие света, стань добре, будь воин о ХристеИсусе, в красной смерти проповедник, яко же и мы, грешные!

И прибавил с почти резвой веселостью: - На Океан гулять пойдем, в пределы Поморские.

Запалим и там огоньки! Да учиним похрабрее, прижжембатюшек миленьких поболее. Ревнуя же нам, даст Бог, Россия и вся погорит, а за Россией - вселенная.

Тихон молчал, закрыв глаза. Старец, подумав, что оно опять впал в забытие, прошел в землянку, чтобы приготовить травы, которыми лечил обжоги.

А Тихон, оставшись один, отвернулся от неба, всееще пылавшего кровавым заревом, и припал лицом к земле-.

Сырость земли утоляла боль обжогов, и ему казалось, что земля услышала мольбу его, спасла от огненногонеба Красной Смерти, и что снова выходит он из чреваземли, как младенец рождающийся, мертвец воскресающий.

И он обнимал, целовал ее, как живую, и плакал, и молился:

Чудная Царица Богородица, Земля, земля, Мати сырая!

Через несколько дней, когда старец уже собирался в путь, Тихон от него бежал.

Он понял, что церковь старая не лучше новой, и решилвернуться в мир, чтоб искать истинной церкви, пока не найдет.

КНИГА ДЕСЯТАЯ

СЫН И ОТЕЦ

Церковь перестала быть церковью для царевича с тех пор, как узнал он о царском указе, которым нарушалась тайна исповеди. Ежели Господь допустил такое поругание церкви, значит. Он отступил от нее,- думал царевич.

По окончании московского розыска, в канун Благовещения, 24 марта, Петр вернулся в Петербург. Он занялся своим Парадизом, постройкою флота, учреждением коллегий и другими делами так усердно, что многим казалось, будто розыск совсем кончен, и дело предано забвению. Царевича, однако, привезли из Москвы под караулом, вместе с прочими колодниками, и поместили в особом доме, рядом с Зимним дворцом. Здесь держали его, как арестанта: никуда не пускали, никому не показывали. Ходили слухи, что он помешался в уме от безмерного пьянства.

Наступила Страстная.

Первый раз в жизни царевич не говел. К нему подсылали священников уговаривать его, но он отказывался слушать их: все они казались ему сыщиками.

13 апреля была Пасха. Светлую Заутреню служили в Троицком соборе, заложенном при основании Петербурга, маленьком, темном, бревенчатом, похожем на сельскую церковь. Государь, государыня, все министры и сенаторы присутствовали. Царевич не хотел было идти, но, по приказу царя, повели его насильно.

В полутемной церкви, над Плащаницею, канон Великой Субботы звучал, как надгробное пение:

Содержай вся на кресте, вознесся, и рыдает вся тварь, Того видяща нага, висяща на древе, солнце лучи сокры, и звезды отложиша свет.

Священнослужители вышли из алтаря еще в черных, великопостных ризах, подняли Плащаницу, внесли в алтари, затворили царские врата - погребли Господа.

Пропели последний тропарь полунощницы: Егда снисшел еси к смерти. Животе Бессмертный.

И наступила тишина.

Вдруг толпа зашевелилась, задвигалась, будто спешно готовясь к чему-то. Стали затепливать свечи одна о другую. Церковь вся

озарилась ярким тихим светом. И в этой светлой тишине было ожидание великой радости.

Алексей зажег свечу о свечу соседа, Петра Андреевича Толстого, своего "Иуды Предателя". Нежное пламя напомнило царевичу все, что он когда-то чувствовал во время Светлой Заутрени. Но теперь заглушал он в себе это чувство, не хотел и боялся его, бессмысленно глядя на спину стоявшего впереди князя Меншикова, старался думать только о том, как бы не закапать воском золотого шитья на этой спине.

Из-за царских врат слышался возглас диакона: Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесах.

Врата открылись, и оба клира запели: И нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славить.

Священнослужители, уже в светлых, пасхальных ризах, вышли из алтаря, и крестный ход двинулся.

Загудел соборный колокол, ему ответили колокола других церквей; начался трезвон, и грохот пушечной пальбы с Петропавловской крепости.

Крестный ход вышел из церкви. Наружные двери закрылись, храм опустел, и опять затихло все.

Царевич стоял неподвижно, опустив голову, глядя перед собою все так же бессмысленно, стараясь ничего не видеть, не слышать, не чувствовать.

Снаружи раздался старчески слабый голос митрополита Стефана:

Слава святей и единосущней, и животворящей, и неразделимой Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков.

И сначала глухо, тихо, точно издали, слышалось: Христос воскрес из мертвых.

Потом все громче, громче, все ближе и радостней.

Наконец, двери церкви раскрылись настежь и, вместе с шумом входящей толпы, грянула песнь, как победный вопль, потрясающий небо и землю:

Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправил, сущим во гробех живот даровав.

И такая радость была в этой песне, что ничто не могло устоять перед ней. Казалось, вот-вот исполнится все, чего ждет мир от начала

своего - совершится чудо.

Царевич побледнел; руки его задрожали; свеча едва не выпала из них. Он все еще противился. Но уже подымалась, рвалась из груди нестерпимая радость. Вся жизнь, все муки и самая смерть перед ней казались ничтожными.

Он заплакал неудержимо и, чтобы скрыть свои слезы, вышел из церкви на паперть.

Апрельская ночь была тиха и ясна. Пахло талым снегом, влажною корою деревьев и нераспустившимися почками. Церковь окружал народ, и внизу, на темной площади, теплились свечи, как звезды, и звезды мерцали как свечи вверху, на темном небе. Пролетали тучки, легкие, как крылья ангелов. На Неве шел лед. Радостный гул и треск ломающихся льдин сливался с гулом колоколов. Казалось, что земля и небо поют: Христос воскрес.

После обедни царь, выйдя на паперть, христосовался всеми, не только с министрами, сенаторами, но и с придворными служителями, до последнего истопника и поваренка.

Царевич смотрел на отца издали, не смея подойти. Петру видел сына и сам подошел к нему.

- Христос воскрес, Алеша! - сказал отец с доброю, милою, прежней улыбкой.

- Воистину воскрес, батюшка!

И они поцеловались трижды.

Алексей почувствовал знакомое прикосновение бритых пухлых щек и мягких губ, знакомый запах отца. И вдруг опять, как бывало в детстве, сердце забилося, дух захватило от безумной надежды: "что, если простит, помилует!"

Петр был так высок ростом, что, целуясь, должен был, почти для всех, нагибаться. Спина и шея у него заболели. Он спрятался в алтарь от осаждавшей толпы.

В шесть часов утра, когда уже рассвело, перешли из собора в сенат, мазанковое, низенькое, длинное здание, вроде казармы, тут же рядом, на площади. В тесных присутственных палатах приготовлены были столы с куличами, пасхами, яйцами, винами и водками для разговенья.

На крыльце сената князь Яков Долгорукий догнал царевича, шепнул ему на ухо, что Ефросинья на днях будет в Петербург и, слава Богу, здорова, только на последних сносях, не сегодня, завтра должна родить.

В сенях встретился царевич с государыней. В голубой андreeвской ленте через плечо, с бриллиантовой звездой, в пышном роброне из белой парчи, с унизанным жемчугом и алмазами двуглавым орлом, слегка нарумяненная и набеленная, казалась Катенька молодой и хорошенькой. Встречая гостей, как добрая хозяйка, улыбалась всем своей однообразною, жеманною улыбкою. Улыбнулась и царевичу. Он поцеловал у нее руку. Она похристосовалась в губы, обменялась яичком и хотела уже отойти, как вдруг он упал на колени так внезапно, посмотрел на нее так дико, что она попятилась.

- Государыня матушка, смилуйся! Упроси батюшку, чтоб дозволил на Евфросинье жениться... Ничего мне больше не надо, видит Бог, ничего! И жить-то, чай, недолго...

Только бы уйти от всего, умереть в покое... Смилуйся, матушка, ради светлого праздника!..

И опять посмотрел на нее так, что ей стало жутко. Вдруг лицо ее сморщилось. Она заплакала. Катенька любила и умела плакать: недаром говорили русские, что глаза у нее на мокром месте, а иностранцы, что, когда она плачет, то, хотя и знаешь, в чем дело, - все-таки чувствуешь себя растроганным, "как на представлении Андромахи". Но на этот раз она плакала искренно: ей, в самом деле, было жаль царевича.

Она склонилась к нему и поцеловала в голову. Сквозь вырез платья увидел он пышную белую грудь с двумя темными прелестными родинками, или мушками. И по этим родинкам понял, что ничего не выйдет.

- Ох, бедный, бедный ты мой! Я ли за тебя не рада, Алешенька!.. Да что пользы? Разве он послушает? Как бы еще хуже не вышло...

И, быстро оглянувшись - не подслушал бы кто и приблизив губы к самому уху его, прошептала торопливым шепотом:

- Плохо твое дело, сынок, так плохо, что, коли можешь бежать, брось все и беги.

Вошел Толстой. Государыня, отойдя от царевича, незаметно смахнула слезинки кружевным платком, обернулась к Толстому с прежним веселым лицом и спросила, не видал ли он, где государь, почему не идет разговляться.

Из дверей соседней палаты появилась высокая, костлявая, празднично и безвкусно одетая немка, с длинныммузким лошадиным стародевическим лицом, принцесса ОстФрисландская, гофмейстерина покойной, Шарлотты, воспитательница двух ее сирот. Она шла с таким решительным, вызывающим видом, что все невольно расступалисьперед ней. Маленького Петю несла на руках, четырехлетнюю Наташу вела за руку.

Царевич едва узнал детей своих-так давно их не видел.

- Mais saluez done monsieur votre pere, mademoiselle! Поздоровайтесь же с вашим батюшкой, мадмуазель! (франц.) подталкивала немка Наташу, которая остановилась, видимо, тоже не узнавая отца. Петя сперва уставился нанего с любопытством, потом отвернулся, замахал ручонками и разревелся.

- Наташа, Наташа, деточка! - протянул к ней руки царевич.

Она подняла на него большие грустные, совсем как уматери, бледно-голубые глаза, вдруг улыбнулась и бросилась к нему на шею.

Вошел Петр. Он взглянул на детей и сказал принцессе гневно по-немецки:

- Зачем их сюда привели? Им здесь не место. Ступайте прочь!

Немка посмотрела на царя, и в добрых глазах ее блеснуло негодование. Она хотела что-то сказать, но увидев, что царевич покорно выпустил Наташу из рук, пожалaplечами, яростно встряхнула все еще ревеvшего Петю, яростно схватила девочку за руку и молча направиласьк выходу, с таким же вызывающим видом, как вошла.

Наташа, уходя, обернулась к отцу и посмотрела нанего взглядом, который напомнил ему, Шарлотту: в этомвзгляде ребенка было такое же, как у матери, тихоеотчаяние. Сердце царевича сжалось. Он почувствовал, чтоне увидит больше детей своих никогда.

Сели за стол. Царь - между Феофаном Прокоповичеми Стефаном Яворским. Против них князь-папа со всешутейшим собором. Там уже успели разговеться и начинали буяннить.

Для царя был праздник двойной: Пасха и вскрытие Невы. Думая о спуске новых кораблей, он весело поглядывал в окно на плывущие, как лебеди, по голубому простору, в утреннем солнце, белые льдины.

Зашла речь о делах духовных.

- А скоро ли, отче, патриарх наш поспеет?

спросил Петр Феофана.

- Скоро, государь: уж рясу дошиваю,- ответил тот.

- А у меня шапка готова! - усмехнулся царь.

Патриарх был Св. Синод; ряса - Духовный Регламент, который сочинял Прокопович; шапка - указ об учреждении Синода.

Когда Феофан заговорил о пользе новой коллегии, в каждой черточке лица его заиграло, забегало, как живчик, что-то слишком веселое: казалось иногда, что он сам смеется над тем, что говорит.

- Коллегиум свободнейший дух в себе имеет, нежели правитель единоличный. Велико и сие, что от соборного правления - не опасаться отечеству бунтов. Ибо простой народ не ведает, как разнствует власть духовная от самодержавной, но великого высочайшего пастыря честию и славою удивляемый, помышляет, что таковой правитель есть второй государь, самодержцу равный, или больше его. И когда услышится некая между оными мираспря, все духовному паче, нежели мирскому последуют, и за него поборствовать дерзают, и льстят себя, окаянные, что по самом Боге поборствуют, и руки свои неоскверняют, но паче освящают, аще бы и на кровопролитие устремились. Изречь трудно, коликое отсюда бедствие бывает. Вникнуть только в историю Константинопольскую, ниже Иустиниановых времен - и много того покажется.

Да и папа не иным способом превозмог и не токмо государство римское пополам рассек и себе великую часть похитил, но и прочие государства едва не до крайнего разорения потряс. Да не вспомнутся подобные и у нас бывшие замахы! Таковому злу в соборном духовном правительстве нет места. Народ пребудет в кротости и весьма отложит надежду иметь помощь к бунтам своим от чина духовного. Наконец, в таком правительстве соборном будет аки некая школа правления духовного, где всякудобно может научиться духовной политике. И так, в России, помощью Божией, скоро и от

духовного чина грубость отпадет, и надеяться должно впредь всего лучшего...

Глядя прямо в глаза царю с усмешкою подобострастной, но, вместе с тем, такою хитрою, что она казалась почти дерзкою, заключил архиерей торжественно:

- Ты еси Петр, К-амень, и на сем камени созижду церковь Мою.

Наступило молчание. Только члены всепьянейшего собора галдели, да праведный князь Яков Долгорукий бормотал себе под нос, так что никто не слышал: - Воздадите Божия Богови и кесарева кесареви.

- А ты, отче, что скажешь? - обернулся царь к Стефану.

Пока говорил Прокопович, Стефан сидел, опустив голову, смежив глаза, как будто дремал, и старчески бескровное лицо его казалось мертвым. Но Петру чудилось в этом

лице то, чего боялся и что ненавидел он больше всего смиренный бунт. Услышав голос царя, старик вздрогнул, как будто очнулся, и произнес тихо:

- Куда уж мне говорить о толиком деле, ваше величество! Стар я да глуп. Пусть говорят молодые, а мы послушаем...

И опустил голову еще ниже, еще тише прибавил: - Против речного стремления нельзя плавать.

- Все-то ты, старик, хнычешь, все куксишься! - пожал царь плечами с досадою. - И чего тебе надо? Говорил бы прямо!

Стефан посмотрел на царя, вдруг съежился весь, и с таким видом, в котором было уже одно смирение, без всякого бунта, заговорил быстро-быстро и жадно, и жалобно, словно спеша и боясь, что царь не дослушает:

- Государь премилостивейший! Отпусти ты меня на покой, на безмолвие. Служба моя и трудишки единому Богу суть ведомы, а отчасти и вашему величеству, на которых силу, здравие, а близко того, и житие погубил. Зрение потемнело, ноги ослабли, в руках персты хирагмаскривила, камень замучил. Одначе, во всех сих бедствиях моих, единою токмо милостию царскою и благопризрением отеческим утешался, и все горести сахаром тем усладился. Ныне же вижу лицо твое от меня отвращенной милости не по-прежнему. Господи, откуда измена сия?..

Петр давно уже не слушал: он занят был пляской князь-игумены Ржевской, которая пустилась вприсядку, под песню пьяных шутов:

Заиграй, моя дубинка, Заваляй, моя волынка.

- Отпусти меня в Донской монастырь, либо где будет воля и произволение вашего величества,- продолжал "хныкать" Стефан.- А ежели имеешь об удалении моем какое сумнительство, кровь Христа да будет мне в погибель, аще помышляю что лукавое. Петербург ли, Москвали, Рязань - везде на мне власть самодержавия вашего, от нее же укрыться не можно, и нет для чего укрываться. Камо ' бо пойду от дцха Твоего и от лица Твоего камо бегу...

Куда (церковнослав.).

А песня заливалась.

Заиграй, моя волынка.

Свекор с печи свалился, За колоду завалился.

Кабы знала, возвестила, Я повыше б подмостила, Я повыше б подмостила, Свекру голову сломила.

И царь притоптывал, присвистывал: Ой, жги! Ой, жги!

Царевич взглянул на Стефана. Глаза их встретились.

Старик умолк, как будто вдруг опомнился и застыдился.

Он потупил взор, опустил голову, и две слезинки скатились вдоль дряхлых морщин. Опять лицо его стало, как мертвое.

А Феофан, румянорожий Силен, усмехался. Царевич сравнивал невольно эти два лица. В одном прошлое, в другом - будущее церкви.

В низеньких и тесных палатах было душно. Петр велел открыть окна.

На Неве, как это часто бывает во время ледохода, поднялся холодный ветер с Ладожского озера. Весна превратилась вдруг в осень. Тучки, которые казались ночью легкими, как крылья ангелов, стали тяжелыми, серыми и грубыми, как булыжники; солнце - жидким и белесоватым, словно чахоточным.

Из питейных домов и кружал, которых было множество по соседству с площадью, в Гостином дворе и далее за Кронверком, на Съестном и Толкучем рынке, доносился гул голосов, подобных звериному реву. Где-то шла драка, и кто-то вопил:

- Бей его гораздо, он, Фома, жирен!

И врывавшийся в окна, вместе с этим пьяным ревом, оглушительный трезвон колоколов казался тоже пьяным.

грубым и наглым.

Перед самым Сенатом среди площади, над грязноюлужею, по которой плавали скорлупы красных пасхальных яиц, стоял мужик, в одной рубахе - должно быть, все остальное платье пропил - шатался, как будто раздумывал, упасть, или не упасть в лужу, и непристойнобранился, и громко, на всю площадь, икал. Другой ужесвалился в канаву, и торчавшие оттуда босые ноги барахтались беспомощно. Как ни строга была полиция, но в этотдень ничего не могла поделаться с пьяными: они валялисьвсюду по улицам, как тела убитых на поле сражения. Весьгород был сплошной кабаком.

И Сенат, где разговлялся царь с министрами, былтот же кабак; здесь так же галдели, ругались идрались.

Шутовской хор князя-папы заспорил с архиерейскимипевчими, кто лучше поет. Одни запели: Христос воскреси из мертвых.

А другие продолжали петь:

Заиграй, моя дубинка, Заваляй, моя волынка.

Царевич вспомнил святую ночь, святую радость, умиление, ожидание чуда - и ему показалось, что он упалс неба в грязь, как этот пьяный в канаву. Стоилотак начинать, чтобы кончить так. Никакого чуда нет и небудет, а есть только мерзость запустения на месте святом, Петр любил Петергоф не меньше Парадиза. Бывая в немкаждое лето, сам наблюдал за устройством "плезирскихсадов, огородных линей, кашкад и фонтанов".

"Одну кашкаду,- приказывал царь,- сделать с брызганьем, а другую, дабы вода лилась к земле гладко, какстекло; пирамиду водяную сделать с малыми кашкадами;

перед большою, наверху, историю Еркулову, который дерется с гадом седмиглавым, называемым Гидрою, из которых голов будет идти вода; также телегу Нептунову с четырьмя морскими лошадьми, у которых изо ртовпойдет вода, и по уступам делать тритоны, яко бы игралив трубы морские, и действовали бы те тритоны водою, и образовали бы различные игры водяные. Велеть срисовать каждую фонтанну, и прочее хорошее место в першпективе, как французские и римские сады чертятся".

Была белая майская ночь над Петергофом. Взморье гладко, как стекло. На небе, зеленом, с розовым отливом перламутра, выступали черные ели и желтые стены дворцов. В их тусклых окнах, как в слепых глазах, мерцалуныый свет зари неугасающей. И все в этом свете казалось бледным, блеклым; зелень травы и деревьев серой, как пепел, цветы увядшими. В садах было тихо и пусто. Фонтаны спали. Только по мшистым ступеням кашкад, да с ноздревых камней, под сводами гротов, падали редкие капли, как слезы. Вставал туман, и в нем белели, как призраки, бесчисленные мраморные боги - целый Олимп воскресших богов. Здесь, на последних пределах земли, у Гиперборейского моря, в белую дневную ночь, подобную ночному дню Аида, в этих бледных тенях теней умершей Эллады была бесконечная грусть. Как будто, воскреснув, они опять умирали уже вторую смертью, от которой нет воскресения.

Над низеньким стриженным садом, у самого моря, стоял кирпичный голландский домик - государев дворец Монплеизир. Здесь также все было тихо и пусто. Только в одном окне свет: то горела свеча в царской конторке.

За письменным столом сидели друг против друга Петри Алексей. В двойном свете свечи и зари лица их, как в эту ночь, казались призрачно-бледными.

В первый раз, по возвращении в Петербург, царь допрашивал сына.

Царевич отвечал спокойно, как будто уже не чувствовал страха перед отцом, а только усталость и скуку.

- Кто из светских, или духовных ведал твое намерение противности, и какие слова бывали от тебя к ним, или от них к тебе?

- Больше ничего не знаю,- в сотый раз отвечал Алексей.

- Говорил ли такие слова, что я-де плюну на всех здорова бы мне чернь была?

- Может быть, и говаривал спяна. Всего не упомяну.

Я пьяный всегда врал всякие слова и рот имел незатворенный, не мог быть без противных разговоров в кумпаниях и такие слова с надежи на людей бреживал. Сам ведаешь, батюшка, пьян-де кто не живет... Да это все пустое!

Он посмотрел на отца с такою странною усмешкою, что тому стало жутко, как будто перед ним был сумасшедший.

Порывшись в бумагах, Петр достал одну из них и показал царевичу.

- Твоя рука?

- Моя.

То была черновая письма, писанного в Неаполе, к архиереям и сенаторам, с просьбой, чтоб его не оставили.

- Волей писал?

- Неволей. Принуждал секретарь графа, Шенборна, Кейль. "Понеже, говорил, есть ведомость, что ты умер, то горади, пиши, а буде не станешь писать, и мы тебя держать не станем" - и не вышел вон, покамест я не написал.

Петр указал пальцем на одно место в письме; то были слова:

"Прошу вас ныне меня не оставить ныне".

Слово ныне повторено было дважды и дважды зачеркнуто.

- Сие ныне в какую меру писано и зачем почеркнуто?

- Не упомяну,- ответил царевич и побледнел.

Он знал, что в этом зачеркнутом ныне - единственный ключ к самым тайным его мыслям о бунте, о смерти отца, о возможном убийстве его.

- Истинно ли писано неволею?

- Истинно.

Петр встал, вышел в соседнюю комнату, позвал денщика, что-то приказал, вернулся, опять сел за стол и начал записывать последние показания царевича.

За дверью слышались шаги. Дверь отворилась. Алексей слабо вскрикнул, как будто готов был лишиться чувств.

На пороге стояла Евфросинья.

Он ее не видел с Неаполя. Она уже не была беременна. Должно быть, родила в крепости, куда посадили ее, тотчас по приезде в Петербург, как узнал он от Якова Долгорукова.

"Где Селебень?" - подумал царевич и задрожал, потянулся к ней весь, но тотчас же замер под пристальным взором отца, только искал глазами глаз ее. Она не смотрела на него, как будто не видала вовсе.

Петр обратился к ней ласково:

- Правда Ли, Феодоровна, рассказывает царевич, что письмо к архиереям и сенаторам писано неволею, по принуждению цесарцев?

- Неправда,- отвечала она спокойно.- Писал один, и при том никого иностранцев не было, а были только яда он, царевич. И говорил мне, что пишет те письма, чтоб в Петербурхе подметывать, а иные архиереям подавать и сенаторам.

- Афрося, Афросьюшка, маменька!.. Что ты?..-залепетал царевич в ужасе.

- Не ведает она, забыла, чай спутала,- обернулся он к отцу опять с тою странною усмешкой, от которой становилось жутко.- Я тогда план Белгородской атаки отсылал секретарю вице-губернатору, а не то письмо...

- То самое, царевич. При мне и печатал. Ах забыл?

Я видела,- проговорила она все так же спокойно и вдруг посмотрела на него в упор тем самым взглядом, как три года назад, в доме Вяземских, когда он, пьяный, бросился на нее, чтоб изнасиловать, и замахнулся ножом.

По этому взгляду он понял, что она предала его.

- Сын,- сказал Петр,- сам, чай, видишь, что дело сие нарочитой важности. Когда письма те волею писал, то явно намерение к бунту не только в мыслях имел, но и в действие весьма произвести умышлял. И то все в прежних повинных своих утаил не беспамятством, а лукавством, знатно, для таких же впредь дел и намерения. Однако же, совесть нашу не хотим иметь пред Богом нечисту, дабы наносам без испытания верить. В последний спрашиваю, правда ль, что волею писал?

Царевич молчал.

- Жаль мне тебя, Феодоровна,- сказал Петр,- а делать нечего. Буду пытаться.

Алексей взглянул на отца, на Евфросинью и понял, что ей не миновать пытки, ежели он, царевич, запрется.

- Правда,- произнес он чуть слышно, и только что это произнес, страх опять исчез, опять ему стало все безразлично.

Глаза Петра блеснули радостью.

- В какую же меру ныне писал?

- В ту меру, чтоб за меня больше вступились в народе, применяясь к ведомостям печатным о бунте войск в Мекленбургии. А потом

подумал, что дурно, ивымарал...

- Так значит бунту радовался?

Царевич не ответил.

-А когда радовался,-продолжал Петр, как будтоуслышав неслышный ответ,- то, чаю, не без намерения;

ежели б впрямь то было, к бунтовщикам пристал бы?

- Буде прислали б за мной, то поехал бы. А чаялбыть присылке по смерти вашей, для того...

Остановился, еще больше побледнел и кончил с усилием: - Для того, что хотели тебя убить, а чтоб живогоотлучили от царства, не чаял...

- А когда бы при живом? - спросил Петр поспешно и тихо, глядя сыну прямо в глаза.

- Ежели б сильны были, то мог бы и при живом,ответил Алексей так же тихо.

- Объяви все, что знаешь,- опять обратился Петрк Евфросинье.

- Царевич наследства всегда желал прилежно,- заговорила она быстро и твердо, как будто повторяла то, что заучила наизусть.- А ушел оттого, будто ты, государь, искал всячески, чтоб ему живу не быть. И как услышал, .что у тебя меньшей сын царерич Петр Петровичболен, говорил мне: "Вот, видишь, батюшка делает свое, а Бог-свое!" И надежду имел на сенаторей: "Я-де старых всех переведу, а изберу себе новых, по своей воле".

И когда слышал о каких видениях, или читал в курантах, что в Питербурхе тихо, говаривал, что видение и тишинанедаром: "либо-де отец мой умрет, либо бунт будет"...

Она говорила еще долго, припоминала такие слова его, которых он сам не помнил, обнажала такие тайны сердцаего, которых он сам не видел.

- А когда господин Толстой приехал в Неаполь, царевич хотел из цесарской протекции к папе римскому, и я его удержала,- заключила Евфросинья.

- Все ли то правда? - спросил Петр сына.

- Правда,- ответил царевич.

- Ну, ступай, Феодоровна. Спасибо тебе!

Царь подал ей руку. Она поцеловала ее и повернулась, чтобы выйти.

- Маменька! Маменька! - опять вдруг весь потянувсяк ней царевич и залепетал, как в бреду, сам не помня, что говорит.-Прощай, Афросьюшка!.. Ведь, может быть, больше не свидимся. Господь с тобой!..

Она ничего не ответила и не оглянулась.

- За что ты меня так?..- прибавил он тихо, безупрека, только с бесконечным удивлением, закрыл лицоруками и услышал, как за нею затворилась дверь.

Петр, делая вид, что просматривает бумаги, поглядывална сына исподлобья, украдкой, как будто ждал чего-то.

Был самый тихий час ночи, и тишина казалась ещеглубже, потому что было светло, как днем.

Вдруг царевич отнял руки от лица. Оно было страшно.

- Где ребеночек?.. Ребеночек где?..-заговорил он, уставившись на отца недвижным и горящим взором.Что вы с ним сделали?..

- Какой ребенок? - не сразу понял Петр.

Царевич указал на дверь, в которую вышла Евфросинья.

- Умер,- сказал Петр, не глядя на сына.- Родиламертвым.

- Врешь! - закричал Алексей и поднял руки, словногрозя отцу.- Убили, убили!.. Задавили, аль в воду какщенька выбросили!.. Его-то за что, младенца невинного?..

Мальчик, что ль?

- Мальчик.

- Когда б судил мне Бог на царстве быть,- продолжал Алексей задумчиво, как будто про себя,- наследником бы сделал... Иваном назвать хотел... Царь ИоаннАлексеевич... Трупик, трупик-то где?.. Куда девали?..

Говори!..

Царь молчал.

Царевич схватился за голову. Лицо его исказилось, побагровело.

Он вспомнил обыкновение царя сажать в спирт мертворожденных детей, вместе с прочими "монстрами", для сохранения в кунсткамере.

- В банку, в банку со спиртом!.. Наследник царей всероссийских в спирту, как лягушонок, плавает! - захохотал он вдруг таким диким хохотом, что дрожь пробежала по телу Петра. Он подумал опять: "Сумасшедший!" - и почувствовал то омерзение, подобное нездешнему ужасу, которое всегда испытывал к паукам, тараканам и прочим гадам.

Но в то же мгновение ужас превратился в ярость: ему показалось, что сын смеется над ним, нарочно "дурака ломает", чтоб запереться и скрыть свои злодеяния.

- Что еще больше есть в тебе? - приступил он снова к допросу, как будто не замечая того, что происходит с царевичем.

Тот перестал хохотать так же внезапно, как начал, откинулся головой на спинку кресла, и лицо его побледнело, осунулось, как у мертвого. Он молча смотрел на отца бессмысленным взглядом.

- Когда имел надежду на чернь,- продолжал Петр, возвышая голос и стараясь сделать его спокойным,- неподсылал ли кого к черни о том возмущении говорить, или не слыхал ли от кого, что чернь хочет бунтовать?

Алексей молчал.

- Отвечай! - крикнул Петр, и лицо его передернуло судорогой.

Что-то дрогнуло и в лице Алексея. Он разжал губы с усилием и произнес: - Все сказал. Больше говорить не буду.

Петр ударил кулаком по столу и вскочил.

- Как ты смеешь!..

Царевич тоже встал и посмотрел на отца в упор. Опять они стали похожи друг на друга мгновенным и как будто призрачным сходством.

- Что грозишь, батюшка?- проговорил Алексей тихо.- Не боюсь я тебя, ничего не боюсь. Все ты взял у меня, все погубил, и душу, и тело. Больше взять нечего.

Разве убить. Ну что ж. убей! Мне все равно.

И медленная, тихая усмешка искривила губы его. Петру почудилось в этой усмешке бесконечное презрение.

Он заревел, как раненый зверь, бросился на сына, схватил его за горло, повалил и начал душить, топтать ногами, бить палкою, все с тем же нечеловеческим ревом.

Во дворце проснулись, засуетились, забегали, но никтоне смел войти к царю. Только бледнели да крестились, подходя к дверям и прислушиваясь к страшным звукам, которые доносились оттуда: казалось, там грызет человеказверь.

Государыня спала в Верхнем дворце. Ее разбудили.

Она прибежала, полуодетая, но тоже не посмела войти.

Только когда все уже затихло, приотворила дверь, заглянула и вошла на цыпочках, крадучись за спиною мужа.

Царевич лежал на полу без чувств, царь - в креслах, тоже почти в обмороке..

Послали за лейб-медиком Блюментростом. Он успокоилгосударыню, которая боялась, что царь убил сына. Царевич был избит жестоко, но опасных ран и переломовне было. Он скоро пришел в себя и казался спокойным.

Царю было хуже, чем сыну. Когда его перевели, почти перенесли на руках в спальню, с ним сделалисьтакие судороги, что Блюментрост опасался паралича.

Но к утру полегчало, а вечером он уже встал и, несмотря на мольбы Катеньки и предостережения лейбмедика, велел подать шлюпку и поехал в Петербург.

Царевича везли рядом в другой закрытой шлюпке.

На следующий день, 14-го мая, объявлен был народувторой манифест о царевиче, в котором сказано, что государь изволил обещать сыну прощение, "ежели он истинноево всем принесет покаяние, и ничего не утаит; но понежеон, презрев такое отцово милосердие, о намерении своем получить наследство, чрез чужестранную помощь, или чрезбунтовщиков силою, утаил, то прощение не в прощение".

В тот же день назначен был над царевичем, как надгосударственным изменником, Верховный суд.

Через месяц, 14-го июня, привезли его в гварнизонПетропавловской крепости и посадили за караул в Трубецкой раскат.

"Преосвященным митрополитам, и архиепископам, иепископам, и прочим духовным. Понеже вы ныне уже довольно слышали о малослыханном в свете преступлениисына моего против нас, яко

отца и государя своего, и, хотя я довольно власти над оным, по божественными гражданским правам, имею, а особливо, по правам Российским (которые суд между отца и детей, и у партикулярных людей, весьма отменяют), учинить за пре

ступление по воле моей, без совета других, а однако ж, боюсь Бога, дабы не погрешить: ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в их; тако ж и врачи: хотя б и всех искуснее который был, то не отважится свою болезнь сам лечить, но призывает других; - подобным образом и мы сию болезнь свою вручаем вам, прося лечения оной, боясь вечной смерти. Ежели б один сам оную лечил, иногда бы не познал силы в своей болезни, а наипаче в том, что я, с клятвою суда Божия, письменно обещал оному своему сыну прощение и потом словесно подтвердил, - ежели истинно вины свои скажет. Но, хотя он сие и нарушил утайкою наиважнейших дел и особливо замысла своего бунтовного противу нас, яко родителя и государя своего, однако ж, мы, вспоминая слово Божие, где увещевает в таковых делах вопрошать и чина священного, как написано во главе 17 Второзакония, желаем от вас архиереев и всего духовного чина, яко учителей слова Божия, - не издадите каковой о сем декрет, но да взыщете и покажете от Священного Писания нам истинное наставление и рассуждение, какого наказания сие богомерзкое и Авессаломову прикладу уподобляющееся намерение сына нашего по божественным заповедям и прочим святого Писания прикладам и по законам, достойно. И то нам дать за подписанием рук своих на письме, дабы мы, из того усмотря, неотягченную совесть в сем деле имели. В чем мы на вас, яко по достоинству блюстителей заповедей Божиих и верных пастырей Христова стада и доброжелательных отечества, надеемся и судом Божиим и священством вашим заклиная, да без всякого лицемерства и пристрастия в том поступите.

Петр"

Архиереи ответили:

"Сие дело весьма есть гражданского суда, а не духовного, и власть превысочайшая суждению подданных своих не подлежит, но творит, что хочет, по своему усмотрению, без всякого совета степеней низших, однако ж, понеже велено нам, приискали мы от Священных

Писаний то, что возмнилось быть сему ужасному и бесприкладному делу общно".

Следовали выписки из Ветхого и Нового Завета, а в заключение повторялось:

"Сие дело не нашего суда; ибо кто нас поставил судьями над тем, кто нами обладает? Как могут главы наставлять члены, которые сами от нее наставляемы и обладаемы? К тому же суд наш духовный по духу должен быть, а не по плоти и крови; ниже вручена есть духовному чину власть меча железного, но власть духовного меча.

Все же сие превысочайшему монаршескому рассуждению должным покорением подлагаем, да сотворит Государь, что есть благоугодно пред очами его: ежели, по делам по мере вины, хочет наказать падшего, имеет образцы Ветхого Завета; ежели благоизволит помиловать, имеет образ самого Христа, который блудного сына принял и милость паче жертвы превознес. Кратко сказав: сердце Царево в руке Божией. Да изберет ту часть, куда Божия рука его преклоняет".

Подписались:

"Смиренный Стефан, митрополит Рязанский.

Смиренный Феофан, епископ Псковский".

Еще четыре епископа, два митрополита греческих, Ставропольский и Фифандский, четыре архимандрита, в том числе Федос, и два иеромонаха - все будущие члены Святейшего Правительствующего Синода.

На главный вопрос государя - о клятве, данной сыну, простить его, во всяком случае - отцы не, ответили все.

Петр, когда читал это рассуждение, испытывал жуткое чувство: словно то, на что он хотел опереться, провалилось под ним, как истлевшее дерево.

Он достиг того, чего сам желал, но, может быть, слишком хорошо достиг: церковь покорилась царю так, что ее как бы не стало вовсе; вся церковь - он сам.

А царевич об этом рассуждении сказал с горькой усмешкой:

- Хитрее-де черта смиренные! Еще духовной коллегии нет, а уже научились духовной политике.

Еще раз почувствовал он, что церковь для него перестала быть церковью, и вспомнил слово Господне тому, о ком сказано: "Ты - Петр, Камень, и на сем камнесозижду Церковь Мою".

Когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил куда хотел; а когда состареешься, то прострешь руки твои и другой препояшет тебя и поведет, куда нехочешь.

Первое заседание Верховного суда назначено было 17-го июня в аудиенц-зале Сената.

В числе судей были министры, сенаторы, генералы, губернаторы, гвардии и флота капитаны, майоры, поручики, подпоручики, прапорщики, обер-кригс-комиссары, чины новых коллегий, и старые бояре, стольники, окольныхчи-всего гражданского и воинского чина 127 человек - с борка, да с сосенки, жаловались знатные. Иные даже не умели грамоте, так что не могли подписаться под приговором.

Отслужив обедню Духу Святому у Троицы, для испрошения помощи Божией в столь трудном деле, судьи перешли из собора в Сенат.

В палате открыли окна и двери, не только для свежего воздуха - день был знойный, предгрозный,- но и для того, чтобы суд имел вид всенародный. Загородили, однако, рогатками, заперли шлагбаумами соседние улицы, и целый батальон лейб-гвардии стоял под ружьем на площади, не пропуская "подлого народа".

Царевича привели из крепости как арестанта, под караулом четырех офицеров со шпагами наголо.

В аудиенц-зале находился трон. Но не на трон, а на простое кресло, в верхнем конце открытого четырехугольника, образуемого рядами длинных, крытых алымисукнами, столов, за которыми сидели судьи, сел царь прямо против сына, как истец против ответчика.

Когда заседание объявили открытым, Петр встал и произнес:

- Господа Сенат и прочие судьи! Прошу вас, дабы истинною сие дело вершили, чему достойно, не флатируя и не похлебствуя, и отнюдь не опасаясь того, что, ежели дело сие легкого наказания достойно, и вы так учините, мне противно было б,- в чем клянусь самым Богом и судом Его! Также не рассуждайте того, что суд надлежит вам учинить на моего, яко государя вашего, сына; но, несмотря на лицо, сделайте правду и не погубите душ своих и моей, чтоб совести наши

остались чисты в день страшного испытания, и отечество наше безбедно.

Вице-канцлер, Шафиров прочел длинный перечень всех преступлений царевича, как старых, уже объявленных в прежних повинных, так и новых, которые он, будто бы, скрыл на первом розыске.

- Признаешь ли себя виновным? - спросил царевича князь Меншиков, назначенный президентом собрания.

Все ждали того, что, так же, как в Москве, в Столовой палате, царевич упадет на колени, будет плакать и молить о помиловании. Но по тому, как он встал и оглянул собрание спокойным взором, поняли, что теперь будет не то.

- Виновен я, иль нет, не вам судить меня, а Богу единому, - начал он и сразу наступила тишина; все слушали, притаив дыхание. - И как судить по правде, без вольного голоса? А ваша воля где? Рабы государевы - в рот ему смотрите: что велит, то и скажете. Одно звание суда, а делом - беззаконие и тиранству лютое! Знаете басню, как с волком ягненок судился? И ваш суд волчий. Какова ни будь правда моя, все равно засудите. Но если бы не вы, а весь народ Российский судил меня с батюшкой, то было бы на том суде не то, что здесь. Я народ пожалел. Велик, велик, да тяжеленек Петр - и невздохнуть под ним. Сколько душ загублено, сколько крови пролито! Стоном стонет земля. Аль не видите, не слышите?.. Да что говорить! Какой вы Сенат - холопы царские, хамы, хамы все до единого!..

Ропот возмущения заглушил последние слова царевича.

Но никто не смел остановить его. Все смотрели на царя, ждали, что он скажет. А царь молчал. На застывшем, как будто окаменелом лице его ни один мускул не двигался. Только взор горящих, широко раскрытых глаз уставился в глаза царевичу.

- Что молчишь, батюшка? - вдруг обернулся он котцу с беспощадной усмешкою. - Аль правду слушать в диковину? Отрубить бы велел мне голову попросту, я б слова не молвил. А вздумал судиться, так любо, не любо, слушай! Когда манил меня к себе из протекции цесарской, не клялся ли Богом и судом Его, что все простишь?

Где ж клятва та? Опозорил себя перед всею Европою! Самодержец Российский - клятвоверитель и лжец!

- Сего слушать не можно! Оскорбление величества!

Помешался в уме! Вывести, вывести вон! - слышался гулголосов.

К царю подбежал Меншиков и что-то сказал ему на ухо. Но царь молчал, как будто ничего не видел и не слышал в своем оцепенении, подобном столбняку, и мертвое лицо его было как лицо изваяния.

- Кровь сына, кровь русских царей на плаху ты первый прольешь! - опять заговорил царевич, и казалось, что он уже не от себя говорит: слова его звучали, как пророчество. - И падет сия кровь от главы на главу, до последних царей, и погибнет весь род наш в крови. За тебя накажет Бог Россию!..

Петр зашевелился медленно, грузно, с невероятным усилием, как будто стараясь приподняться из-под страшной тяжести; наконец, поднялся, лицо исказилось неистовым судорогой - точно лицо изваяния ожило - губы разжались, и вылетел из горла сдавленный хрип: - Молчи, молчи... прокляну!

- Проклянешь? - крикнул царевич в исступлении, бросился к царю и поднял над ним руки.

Все замерли в ужасе. Казалось, что он ударит отца или плюнет ему в лицо.

- Проклянешь?.. Да я тебя сам... Злодей, убийца, зверь. Антихрист!.. Будь проклят! проклят! проклят!..

Петр повалился навзничь в кресло и выставил руки вперед, как будто защищаясь от сына.

Все вскочили. Произошло такое смятение, как во время пожара или убийства. Одни закрывали окна и двери; другие выбегали вон из палаты; иные окружили царевича и тащили прочь от отца; иные спешили на помощь к царю.

Ему было дурно. С ним сделался такой же припадок, как месяц назад, в Петергофе. Заседание объявили закрытым.

Но в ту же ночь Верховный суд опять собрался и приговорил царевича пытать.

"Обряд, како обвиненный пытается.

Для пытки приличившихся в злодействах сделано особое место, называемое застенок, огорожен палисадником и покрыт, для того, что при пытках бывают судьи и секретарь и для записки пыточных речей подъячий.

В застенке же для пытки сделана дыба, состоящая из трех столбов, из которых два вкопаны в землю, а третий сверху, поперек.

И когда назначено будет время, то кат или палач явиться должен в застенок с инструментами; а оные суть: хомут шерстяной, к нему пришта веревка долгая; кнутъ и ремень.

По приходе судей в застенок, долгую веревку палач перекинет через поперечный в дыбе столб и взяв подлежащего к пытке, руки назад заворотит, и положа их в хомут, через приставленных для того людей втягиает, дабы пытанный на земле не стоял, у которого руки и выворотит совсем назад, и он на них висит; потом свяжет ремнем ноги и привязывает к сделанному нарочно впереди дыбы столбу; и растянувши сим образом, бьет кнутом, где и спрашивается о злодействах и все записывается, что таковой сказывать станет".

Когда утром 19 июня привели царевича в застенок, он еще не знал о приговоре суда.

Палач Кондрашка Тютюн подошел к нему и сказал: - Раздевайся!

Он все еще не понимал.

Кондрашка положил ему руку на плечо. Царевич оглянулся на него и понял, но как будто не испугался. Пустота была в душе его. Он чувствовал себя как во сне; и в ушах его звенела песенка давнего вещего сна: Огни горят горючие, Котлы кипят кипучие, Точат ножи булатные, Хотят тебя зарезати.

- Подымай! - сказал Петр палачу.

Царевича подняли на дыбу. Дано 25 ударов.

Через три дня царь послал Толстого к царевичу: - Сегодня, после обеда, съезди, спроси и запиши не для розыску, но для ведения:

1. Что есть причина, что не слушал меня и нимало ни в чем не хотел угодное делать; а ведал, что сие в людях не водится, также грех и стыд?

2. Отчего так бесстрашен был и не опасался наказания?

3. Для чего иною дорогою, а не послушанием, хотел наследства?

Когда Толстой вошел в тюремный каземат Трубецкого раската, где заключен был царевич, он лежал на койке. Блюментрост делал ему перевязку, осматривал на спинерубцы от кнута, снимал старые бинты и накладывал новые, с освежительными примочками. Лейб-медику велено было вылечить его, как можно скорее, дабы приготовить следующую пытку.

Царевич был в жару и бредил:

- Федор Францович! Федор Францович! Да прогонитесь вы, прогони, ради Христа... Вишь, мурлычит, проклятая, ластится, а потом как выскочит на грудь, станет душить, сердце когтями царапать...

Вдруг очнулся и посмотрел на Толстого: - Чего тебе?

- От батюшки.

- Опять пытаться?..

- Нет, нет, Петрович! Не бойся. Не для розыска, а только для ведения...

- Ничего, ничего, ничего я больше не знаю! - застонал и заметался царевич.- Оставьте меня! Убейте, только не мучьте! А если убить не хотите, дайте яду, альбриту,- я сам... Только скорее, скорее, скорее!..

- Что ты, царевич! Господь с тобою,-глядя на негонежным бархатным взором, заговорил Толстой тихим бархатным голосом.

- Даст Бог, все обойдется. Перемелется, мука будет.

Полегоньку, да потихоньку. Ладком, да мирком. Мало личного на свете не бывает. Дело житейское. Бог терпел и нам велел. Аль думаешь, мне тебя не жаль, родимый?..

Он вынул свою неизменную табакерку с аркадскимпастушком и пастушкой, понюхал и смахнул слезинку.

- Ох, жаль, болезный ты наш, так тебя жаль, что, кажись, душу бы отдал!..

И, наклонившись к нему, прибавил быстрым шепотом: - Верь, не верь, а я тебе всегда добра желал и теперь желаю...

Вдруг запнулся, не кончил под взором широко открытых недвижных глаз царевича, который медленно приподымался с подушек:

- Иуда Предатель! Вот тебе за твое добро! - плюнул Толстой в лицо и с глухим стоном - должно быть, повязка слезла - повалился навзничь.

Лейб-медик бросился к нему на помощь и крикнул Толстому:

- Уходите, оставьте его в покое, или я ни за что не отвечаю!

Царевич опять начал бредить:

- Вишь, уставилась... Глазища, как свечи, а усы торчком, совсем как у батюшки... Брысь, брысь!.. Федор Францович, Федор Францович, да прогони ты ее, ради Христа!..

Блюментрост давал ему нюхать спирт и клал лед на голову.

Наконец, он опять пришел в себя и посмотрел на Толстого, уже без всякой злобы, видимо, забыв об оскорблении.

- Петр Андреич, я ведь знаю, сердце у тебя доброе.

Будь же другом, заставь за себя Бога молить! Выпроси у батюшки, чтоб с Афросей мне видеться...

Толстой припал осторожно губами к перевязанной руке его и проговорил голосом, дрожавшим от искренних слез: - Выпрошу, выпрошу, миленький, все для тебя сделаю! Только бы вот как-нибудь нам по вопросным-то пунктам ответить. Немного их, всего три пунктика...

Он прочел вслух вопросы, писанные рукою царя.

Царевич закрыл глаза в изнеможении.

- Да ведь что ж отвечать-то, Андреич? Я все сказал, видит Бог, все. И слов нет, мыслей нет в голове. Совсем одурел...

- Ничего, ничего, батюшка?! - заторопился Толстой, придвигая стол, доставая бумагу, перо и чернильницу. Я тебе говорить буду, а ты только пиши...

- Писать-то сможет? - обратился он к лейб-медику и посмотрел на него так, что тот увидел в этом взоре непреклонный взор царя.

Блюментрост пожал плечами, проворчал себе под нос: "Варвары!" и снял повязку с правой руки царевича.

Толстой начал диктовать. Царевич писал с трудом, кривыми буквами, несколько раз останавливался; голова кружилась от слабости, перо выпадало из пальцев. Тогда Блюментрост давал ему возбуждающих капель. Но лучше капель действовали слова Толстого:

- С Афросьюшкой свидись. А может, и совсем простит, жениться позволит! Пиши, пиши, миленький!

И царевич опять принимался писать.

"1718 года, июня в 22 день, по пунктам, по которым спрашивал меня господин Толстой, отвечаю:

1. Моего к отцу непослушания причина та, что с младенчества моего жил с мамой и с девками, где ничему иному не обучился, кроме избных забав, а также научился ханжить, к чему я и от природы склонен. И отец мой, имея о мне попечение, чтоб я обучался делам, которые пристойны царскому сыну, велел мне учиться немецкому языку и другим наукам, что мне было зело противно, и учил то с великою леностью, только чтоб время проходило, а охоты к тому не имел. А понеже отец мой часто тогда был в воинских походах и от меня отлучался, то горади те люди, которые при мне были, видя мою склонность ни к чему иному, только чтоб ханжить и конвєрсацию иметь с попами и чернецами и к ним часто ездить и подпивать, в том во всем не токмо мне не претили, но и сами то ж со мною делали. И отводили меня от отца моего, и мало-помалу, не токмо воинские и прочие отца моего дела, но и самая его особа зело мне омерзела.

2. А что я был бесстрашен и не боялся за непослушание от отца своего наказания, - и то происходило ни от чего иного, токмо от моего злонравия, как сам истинно признаю, - понеже, хотя имел страх от него, но не сыновский.

3. А для чего я иною дорогою, а не послушанием хотел наследства, то может всяк легко рассудить, что, когда уже от прямой дороги вовсе отбился и не хотел ни в чемотцу моему последовать, то каким же было иным образомискать наследства, кроме того, как я делал, хотя своеполучить через чужую помощь? И ежели б до того дошло, и цесарь бы начал то производить в дело, как мне обещал, дабы вооруженною рукою доставать мне короны Российской, то б я тогда, не жалея ничего, достигал наследства, а именно: ежели бы цесарь за то пожелал войск Российских в помощь себе против какого-нибудь своего неприятели, или бы пожелал великой суммы денег, то б я все по его воле учинил, также и министрам его и генералам дал бы великие подарки. А войска его, которые бы мне он дал в помощь, чем бы достигать короны Российской, взял бы я на свое иждивение и, одним словом сказать, ничего бы не пожалел, только чтобы исполнить в том свою волю.

Алексей"

Подписав, он вдруг опомнился, как будто очнулся от бреда, и с ужасом понял, что делает. Хотел закричать, что все это ложь, схватить и разорвать бумагу. Но языки все члены отнялись, как у погребаемых заживо, которые все слышат, все чувствуют и не могут пошевелиться, в оцепенении смертного сна. Без движения, без голоса, смотрел он, как Толстой складывал и прятал бумагу в карман.

На основании этого последнего показания, прочитанного в присутствии Сената, 24 июня. Верховный суд постановил:

"Мы, нижеподписавшиеся, министры, сенаторы, и воинского, и гражданского stanu чины, по здравому рассуждению и по христианской совести, по заповедям Божиим Ветхого и Нового Заветов, по священным писаниям святого Евангелия и Апостол, канонов и правил соборов святых отец и церковных учителей, по статьям римских и греческих цесарей и прочих государей христианских, також по правам всероссийским, единогласно и без всякого прекословия, согласились и приговорили, что он, царевич Алексей, за умысел бунтовный против отца и государя своего и намеренный из давних лет подыск и произыскивание к престолу отеческому, при животе государя отца своего не токмо чрез бунтовщиков, но и чрез чужестранную цесарскую помощь и войска иноземные, с разорением всего государства,- достоин смерти".

В тот же день его опять пытали. Дали 15 ударов и, не кончив пытки, сняли с дыбы, потому что Блюментрост объявил, что царевич плох и может умереть подкнутом.

Ночью сделалось ему так дурно, что караульный офицер испугался, побежал и доложил коменданту крепости, что царевич помирает,- как бы не помер без покаяния. Комендант послал к нему гварнизонного попа, о. Матфея. Тот сначала не хотел идти и молил коменданта:

- Увольте, ваше благородие! Я к таковым делам необычен. Дело сие страшное, царственное. Попадешь в ответе - не открутишься. У меня жена, дети... Смилуйтесь!

Комендант обещал все взять на себя, и о. Матфей, скрепя сердце, пошел.

Царевич лежал без памяти, никого не узнавал и бредил.

Вдруг открыл глаза и уставился на о. Матфея.

- Ты кто?

- Гварнизонный священник, отец Матфей. Исповедывать тебя прислали.

- Исповедывать?.. А почему у тебя, батька, голователячья?.. Вот и лицо в шерсти, и рога на лбу...

О. Матфей молчал, потупив глаза.

- Так как же, государь царевич, угодно исповедаться? - наконец, проговорил он с робкою надеждой, что тот откажется.

- А знаешь ли, поп, царский указ, коим об открытойна исповеди измене, или бунте вам, духовным отцам, втайную канцелярию доносить повелевается?

- Знаю, ваше высочество.

- И буде я тебе что на духу открою, донесешь?

- Как же быть, царевич? Мы люди подневольные...

Жена, дети...- пролепетал о. Матфей и подумал: "Ну вот, начинается!"

- Так прочь, прочь, прочь от меня, телячья твоя голова! - крикнул царевич яростно.- Холоп царя Российского! Хамы, хамы вы все до единого! Были орлы, а стали волы подъяремные! Церковь Антихристу продали! Умру без покаяния, а Даров твоих не причащусь!.. Кровьзмеина, тело сатанино...

О. Матфей отшатнулся в ужасе. Руки у него так задрожали, что он едва не выронил чаши с Дарами.

Царевич взглянул на нее и повторил слова раскольникчьею старца:

- Знаешь ли, чему подобен Агнец ваш? Подобен псумерту, повержену на стогнах града! Как причастился только и жития тому человеку: таково-то Причастие нашеемко - что мышьяк, аль сулема; во все кости и мозги пробежит скоро, до самой души лукавой промчит - отдыхай-ка после в геенне огненной и в пламени адском стони, яко Каин, необратный грешник... Отравить меня хотите, да не дамся вам!

О. Матфей убежал.

Черный кот-оборотень вспрыгнул на шею царевичу и начал душить его, царапать ему сердце когтями.

- Боже мой. Боже мой, для чего Ты меня оставил? - стонал и метался он в смертной тоске.

Вдруг почувствовал, что у постели, на том самом месте, где только что сидел о. Матфей, теперь сидит кто-то другой. Открыл глаза и взглянул.

Это был маленький, седенький старичок. Он опустил голову так, что царевич неясно видел лицо его. Старичок похож был не то на о. Ивана, ключаря Благовещенского, не то на столетнего дед-пасечника, которого Алексей встретил однажды в глуши Новгородских лесов, и который все, бывало, сидел в своем пчельнике, среди ульев, грелся на солнце, весь белый, как лунь, пропахший насквозь медом и воском; его тоже звали Иваном.

- Отец Иван? аль дедушка? - спросил царевич.

- Иван, Иван - я самый и есть! - молвил старичок ласково, с тихой улыбкой, и голос у него был тихий, как жужжание пчел или далекий благовест. От этого голоса царевичу стало страшно и сладко. Он все старался увидеть лицо старичка и не мог.

- Не бойся, не бойся, дитячко, не бойся, родненький, - проговорил он еще тише и ласковей. - Господь послал меня к тебе, а за мной и Сам будет скоро.

Старичок поднял голову. Царевич увидел лицо юное, вечное и узнал Иоанна, сына Громова.

- Христос воскрес, Алешенька!

- Воистину воскрес! - ответил царевич, и великая радость наполнила душу его, как тогда, у Троицы, на Светлой Христовой заутрене.

Иоанн держал в руках своих как бы солнце: то была чаша с плотью и кровью.

- Во имя Отца и Сына, и Духа Святого.

Он причастил царевича. И солнце вошло в него, и он почувствовал, что нет ни скорби, ни страха, ни боли, ни смерти, а есть только вечная жизнь, вечное солнце - Христос.

Утром, осматривая больного, Блюментрост удивился: лихорадка прошла, раны затягивались; улучшение было так внезапно, что казалось чудом.

- Ну, слава Богу, слава Богу,- радовался немец, теперь все до свадьбы заживет!

Весь день чувствовал себя царевич хорошо; с лица его не сходило выражение тихой радости.

В полдень объявили ему смертный приговор.

Он выслушал его спокойно, перекрестился и спросил, в какой день казнь. Ему ответили, что день еще не назначен.

Приносили обед. Он ел охотно. "Потом попросил открыть окно.

День был свежий и солнечный, как будто весенний.

Ветер приносил запах воды и травы. Под самым окном, из щелей крепостной стены росли желтые одуванчики.

Он долго смотрел в окно; там пролетали ласточки с веселыми криками; сквозь тюремные решетки небо казалось таким голубым и глубоким, как никогда на воле.

К вечеру солнце осветило белую стену у изголовья царевича. И почудился ему в этом луче белый как лунь старичок с юным лицом, с тихой улыбкой и чашей в руках, подобный солнцу. Глядя на него, заснул он так тихо и сладко, как уже давно не спал.

На следующий день, в четверг, 26 июня, в 8 часов утра, опять собрались в гварнизонном застенке Царь, Меншиков, Толстой, Долгорукий, , Шафиров, Апраксини прочие министры. Царевич был так слаб, что его перенесли на руках из каземата в застенок.

Опять спрашивали: "Что еще больше есть в тебе?"

Не поклепал ли, не утаил ли кого?" - но он уже ничего не отвечал.

Подняли на дыбу. Сколько дано было плетей, никто не знал - били без счета.

После первых ударов он вдруг затих, перестал стонать и охать, только все члены напряглись и вытянулись, как будто окоченели. Но сознание, должно быть, не покидало его. Взор был ясен, лицо спокойно, хотя что-то было в этом спокойствии, от чего и самым привычным видом страданий становилось жутко.

- Нельзя больше бить, ваше величество! - говорил Блюментрост на ухо царю.- Умереть может. И бесполезно. Он уже ничего не чувствует: каталепсия...

- Что?- посмотрел на лейб-медика царь с удивлением.

- Каталепсия - это такое состояние...- начал тот объяснять по-немецки.

- Сам ты каталепсия, дурак!-оборвал его Петр и ротвернулся.

Чтобы перевести дух, палач остановился на минуту.

- Чего зеваешь? Бей!-крикнул царь.

Палач опять принялся бить. Но царю казалось, что он уменьшает силу ударов нарочно, жалея царевича. Жалость и возмущение чудилось Петру на лицах всех окружающих.

- Бей же, бей! - вскочил он и топнул ногою в ярости; все посмотрели на него с ужасом: казалось, что он сошел с ума.- Бей во всю, говорят! Аль разучился?

- Да я и то бью. Как еще бить-то? - проворчал себе под нос Кондрашка и опять остановился.- По-русски бьем, у немцев не учились. Мы люди православные.

Долго ли греха взять на душу? Немудрено забить и до смерти. Вишь, чуть дышит, сердечный. Не скотиначай,-тоже душа христианская!

Царь подбежал к палачу.

- погоди, чертов сын, уж самого отдеру, так научишься!

- Ну что ж, государь, поучи - воля твоя! - посмотрел тот на царя исподлобья угрюмо.

Петр выхватил плетъ из рук палача. Все бросились к царю, хотели удержать его, но было поздно. Он замахнулся и ударил сына изо всей силы. Удары были неумелые, но такие страшные, что могли переломить кости.

Царевич обернулся к отцу, посмотрел на него, как будто хотел что-то сказать, и этот взор напомнил Петру взор темного Лица в терновом венце на древней иконе, перед которой он когда-то молился Отцу мимо Сына и думал, содрогаясь от ужаса: "Что это значит-Сын и Отец?"

И опять, как тогда, словно бездна разверзлась у ног его, и оттуда повеяло холодом, от которого на голове его зашевелились волосы.

Преодолевая ужас, поднял он плетъ еще раз, но почувствовал на пальцах липкость крови, которой была смочена плетъ, и отбросил ее с омерзением.

Все окружили царевича, сняли с дыбы и положили на пол.

Петр подошел к сыну.

Царевич лежал, закинув голову; губы полуоткрылись, как будто с улыбкою, и лицо было светлое, чистое, юное, как у пятнадцатилетнего мальчика. Он смотрел на отца по-прежнему, словно хотел ему что-то сказать.

Петр стал на колени, склонился к сыну и обнял голову его.

- Ничего, ничего, родимый! - прошептал царевич. Мне хорошо, все хорошо. Буди воля Господня во всем.

Отец припал устами к устам его. Но он уже ослабели поник на руках его; глаза помутнились, взор потух.

Петр встал, шатаясь.

- Умрет? - спросил он лейб-медика.

- Может быть, до ночи выживет,- ответил тот. Всепоdbeжали к царю и повлекли его вон из палаты.

Петр вдруг весь опустился, ослабел, присмирел и стал послушен, как ребенок: шел, куда вели, делал, что хотели.

В сенях застенка Толстой, заметив, что у царя руки в крови, велел подать рукомойник. Он стал покорно умываться. Вода порозовела.

Его вывели из крепости, усадили в шлюпку и отвезли во дворец.

Толстой и Меншиков не отходили от царя. Чтобы занять и развлечь, говорили о посторонних делах. Он слушал спокойно, отвечал разумно. Давал резолюции, подписывал бумаги. Но потом не мог вспомнить того, что делал тогда, как будто провел все это время во сне или в обмороке.

О сыне сам не заговаривал, точно забыл о нем вовсе.

Наконец, в шестом часу вечера, когда донесли Толстому и Меншикову, что царевич при смерти, они должны были напомнить о нем государю. Тот выслушал рассеянно, как будто не понимал, о чем говорят. Однако селопять в шлюпку и поехал в крепость.

Царевича перенесли из пыточной палаты в каземат напрежнее место. Он уже не приходил в себя.

Государь и министры пошли в комнату умирающего.

Когда узнали, что он не причащался, то захлопотали, забежали с растерянным видом. Послали за соборным протопопом, о. Георгием. Он прибежал, запыхавшись, с таким же испуганным видом, как у всех, торопливо вынули дароносицы запасные Дары, совершил глухую

исповедь, пробормотал разрешительные молитвы, велел приподнять голову умирающего, поднес потир и лжицу к самым губам его. Но губы были сжаты; зубы крепко стиснуты. Золотая лжица ударялась о них и звенела в трепетной руке о. Георгия. На плат спадали капли крови. Налицах у всех был ужас.

Вдруг в бесчувственном лице Петра промелькнула чуждая мысль.

Он подошел к священнику и сказал: - Оставь! Не надо.

И царю показалось, или только почудилось, что умирающий улыбнулся ему последнею улыбкою.

В тот же самый час, как вчера, на том же самом месте, у изголовья царевича, солнце осветило белую стену. Белый

как лунь старичок держал в руках чашу, подобную солнцу.

Солнце потухло. Царевич вздохнул, как вздыхают засыпающие дети.

Лейб-медик пощупал руку его и сказал что-то на ухо Меншикову. Тот перекрестился и объявил торжественно:

- Его высочество, государь царевич Алексей Петрович преставился.

Все опустились на колени, кроме царя. Он был неподвижен. Лицо его казалось мертвее, чем лицо умершего.

"В России когда-нибудь кончится все ужасным бунтом, и самодержавие падет, ибо миллионы вопиют к Богу против царя",- писал ганноверский резидент Вебер из Петербурга, извещая о смерти царевича.

"Кронпринц скончался не от удара, как здесь утверждают, а от меча или топора,- доносил резидент императорский, Плейер.- В день его смерти никого не пускали в крепость, и перед вечером заперли ее. Голландский плотник, работавший на новой башне собора и оставшийся там на ночь незамеченным, вечером видел сверху, близ пыточного каземата, головы каких-то людей и рассказало том своей теще, повивальной бабке голландского резидента. Тело кронпринца положено в простой гроб из плохих досок; голова несколько прикрыта, а шея обвязана платком со складками, как бы для бритья".

Голландский резидент Яков де Би послал донесение Генеральным, Штатам, что царевич умер от растворения жил, и что в Петербурге

опасаются бунта.

Письма резидентов, вскрываемые в почтовой конторе, представлялись царю. Якова де Би схватили, привели в посольскую канцелярию и допрашивали "с пристрастием".

Взяли за караул и голландского плотника, работавшего на Петропавловском шпиге, и тещу его, повивальную бабку.

В опровержении этих слухов, послано от имени царя русским резидентам при чужеземных дворах составленное Шафировым, Толстым и Меншиковым известие о кончине царевича: "По объявлении сентенции суда сыну нашему, мы, яко отец, боримы были натуральным милосердием подвигом содвигая стороны, попечением же должным о целости и впродолжающей безопасности государства нашего с другой, - и не могли еще взять в сем многотрудном и важном деле своей резолюции. Но всемогущий Бог, восхотев чрез Собственную волю и праведным Своим судом, по милости Своей, нас от такого сумнения и дом наш, и государство от опасности и стыда освободити, пресек вчерашнего дня (писано июня в 27 день) его, сына нашего Алексея, живот, поприключившейся ему, при объявлении оной сентенции и обличении его столь великих против нас и всего государства преступлений, жестокой болезни, которая вначале была подобна апоплексии. Но, хотя пото[^] он и паки вчистую память пришел и, по должности христианской, исповедался и причастился Св. Тайн, и нас к себе просил, к которому мы, презрев все досады его, со всеминашими здесь сущими министры и сенаторы пришли, и он чистое исповедание и признание тех всех своих преступлений против нас, со многими покаятельными слезами и раскаянием, нам принес и от нас в том прощении просил, которое мы, по христианской и родительской должности, и дали. И тако, он сего июня 26, около 6 часов пополудни, жизнь свою христиански скончал".

Следующий за смертью царевича день, 27 июня, девятую годовщину Полтавы, праздновали, как всегда: на крепости подняли желтый, с черным орлом, триумфальный штандарт, служили обедню у Троицы, палили из пушек, пировали на почтовом дворе, а ночью - в Летнем саду, на открытой галерее над Невою, у подножия петербургской Венус, как сказано было в реляции,

довольно веселились, под звуки нежной музыки, подобной вздохам любви из царства Венус:

Покинь, Купидо, стрелы: Уже мы все не целы...

В ту же ночь тело царевича положено в гроб и перенесено из тюремного каземата в пустые деревянные хоромы близ комендантского дома в крепости.

Утром вынесено к Троице, и "дозволено всякого чина людям, кто желал, приходить ко гробу его, царевича и видеть тело его, и со оным прощаться".

В воскресенье, 29 июня, опять был праздник - тезоименитство царя. Опять служили обедню, палили из пушек, звонили во все колокола, обедали в Летнем дворце; вечером прибыли в адмиралтейство, где спущен был

новый фрегат "Старый Дуб"; на корабле происходила обычная попойка; ночью сожжен фейерверк, и опять веселились довольно.

В понедельник, 30 июня, назначены похороны царевича. Отпевание было торжественное. Служили митрополит Рязанский, Стефан, епископ Псковский, Феофан, еще шесть архиереев, два митрополита палестинских, архимандриты, протопопы, иеромонахи, иеродиаконы и восемнадцать приходских священников. Присутствовали государь, государыня, министры, сенаторы, весь воинский и гражданский стан. Несметные толпы народа окружали церковь.

Гроб, обитый черным бархатом, стоял на высоком катафалке, под золотою белою парчою, охраняемый почетным караулом четырех лейб-гвардии Преображенского полка сержантов, со шпагами наголо.

У многих сановников головы болели от вчерашней попойки: в ушах звенели песни шутов: Меня матушка плясамши родила, А крестили во царевом кабаке.

И в этот ясный летний день казались особенно мрачными тусклое пламя надгробных свечей, тихие звуки надгробного пения: Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже чешет болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.

И заунывно повторяющийся возглас диакона: Аще молимся о упокоении души усопшаго раба Божия Алексия, и о еже проститися

ему всякому прегрешениювольному же и невольному.

И глухо замирающий вопль хора: Надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа!

Кто-то в толпе вдруг заплакал громко, и дроганиепронеслось по всей церкви, когда запели последнюю песнь:

Зряще мя безгласна и бездыханна, приидите, еси любящие мя, и целуйте мя последним целованием.

Первым подошел прощаться митрополит Стефан. Старик едва держался на ногах. Его вели под руки два протодиакона. Он поцеловал царевича в руку и в голову, потом наклонился и долго смотрел ему в лицо. Стефанхоронил в нем все, что любил - всю старину Московскую, патриаршество, свободу и величие древней церкви, свою последнюю надежду - "надежду Российскую".

После духовных по ступеням катафалка взошел царь.

Лицо его было такое же мертвое, как все последние дни.

Он взглянул в лицо сына.

Оно было светло и молодо, как будто еще просветлелои помолодело после смерти. На губах улыбка говорила: все хорошо, буди воля Господня во всем.

И в неподвижном лице Петра что-то задрожало, задвигалось, как будто открывалось с медленным, страшным усилием - наконец, открылось - и мертвое лицо ожило, просветлело, точно озаренное светом от лица усопшего.

Петр склонился к сыну и прижал губы к холоднымгубам его. Потом поднял глаза к небу - все увидели, чтоон плачет - перекрестился и сказал: - Буди воля Господня во всем.

Он теперь знал, что сын оправдает его перед ВечнымСудом и там объяснит ему то, чего не мог понять онздесь: что значит - Сын и Отец? '*

Народу объявили так же, как чужеземным дворам, что царевич умер от удара.

Но народ не поверил. Одни говорили, что он умерот побоев отца. Другие покачивали головами сомнительно: "Скоро-де это дело сделалось!", а иные утверждалипрямо, что, вместо царевича, положено в гроб тело какого-то лейб-гвардии сержанта, который лицом похож на него, а сам царевич, будто бы, жив, от отца убежал не

то вскиты за Волгу, не то в степные станицы, "на вольныереки", и там скрывается.

Через несколько лет, в Яменской казачьей станице, нареке Бузулук, появился некий Тимофей Труженик, повиду нищий бродяга, который на вопросы: кто он и откуда? - отвечал явно:

- С облака, с воздуха. Отец мой - костыль, сума матушка. Зовут меня Труженик, понеже тружусь Богуна дело великое.

А тайно говорил о себе:

- Я не мужик и не мужичий сын; я орел, орлов сын, мне орлу и быть! Я - царевич Алексей Петрович. ЕСТЬУ меня на спине крест, а на лядвееНа бедре (церковнослав.).

шпага родимая...

И другие говорили о нем:

- Не простой он человек, и быть ему такому человеку, что потрясется вся земля!..

И в ярлыках подметных, которые рассылались от негопо казачьим станицам, было сказано: "Благословен еси Боже наш! Мы, царевич АлексейПетрович, идем искать своих законов отчих и дедовских, и на вас, казаков, как на каменную стену покладаемся, дабыпостояли вы за старую веру и за чернь, как было приотцах и дедах наших. И вы, голытьба, бурлаки, босякибесприютные, где нашего гласа не слышите, идите донас денно и ночью!"

Труженик ходил по степям и собирал вольницу, обещая "открыть Городище, в коем есть знамение ПресвятыяБогородицы, и Евангелие, и Крест, и знамена царя Александра Македонского; и он, царевич Алексей Петрович, будет по тем знаменам царствовать; и тогда придет конецвека и наступит Антихрист; и сразится он, царевич, всею силой вражьей и с самим Антихристом".

Труженика схватили, пытали и отрубили ему головукак самозванцу.

Но народ продолжал верить, что истинный царевичАлексей Петрович, когда придет час его,- явится, сядетна отчий престол, бояр переказнит, а чернь помилует.

Так для народа остался он и после смерти своей "надеждой Российской".

Окончив розыск о царевице, Петр 8 августа выехал из Петербурга в Ревель морем, во главе флота из 22 военных судов. Царский корабль был новый, недавно спущенный с Адмиралтейской верфи, девяностопушечный фрегат "Старый Дуб" - первый корабль, построенный по чертежам царя, без помощи иностранцев, весь из русского леса, одними русскими мастерами.

Однажды вечером, при выходе из Финского залива в Балтийское море, Петр стоял на корме у руля и правил.

Вечер был ненастный. Тяжкие, черные, словно железные, тучи громоздились низко над тяжелыми, черными, тоже словно железными гребнями волн. Была сильная качка. Бледные клочья пены мелькали, как бледные рукияростно грозящих призраков. Порою волны перехлестывали за борт и дождем соленых брызг окачивали всех, стоявших на палубе, и больше всех царя-кормчего. Платье не вымокло; ледяная сырость пронизывала; ледяной ветер бил в лицо. Но, как всегда на море, он чувствовал себя бодрым, сильным и радостным. Смотрел пристально в темную даль и твердою рукою правил. Все исполинское тело фрегата дрожало от натиска волн, но крепок был "Старый Дуб" и слушался руля, как добрый конь - узды, прыгал с волны на волну, иногда опускался, как будто нырял, в седые пучины - казалось, не вынырнет, - но каждый раз вылетал, торжествующий.

Петр думал о сыне. В первый раз думал обо всем, како прошлом - с великою грустью, но без страха, без муки и раскаяния, чувствуя и здесь, как во всей своей жизни, волю Вышних Судеб. "Велик, велик, да тяжеленек Петр и не вздохнуть под ним. Стоном стонет земля!" - вспомнились ему слова сына перед Сенатом.

"Как же быть? - думал Петр. - Стонет, небось, наковальня под молотом. Он, царь, и был в руке Господней молотом, который ковал Россию. Он разбудил ее страшным ударом.

Но если бы не он, спала бы она и доныне сном смертным".

И что случилось бы, останься царевиц в живых?

Рано или поздно, воцарился бы, возвратил бы власть попам, да старцам, длинным бородам, а те повернули бы назад от Европы в Азию, угасили бы свет просвещения и погибла бы Россия.

- Будет шторм! - молвил старый голландский шкипер, подходя к царю.

Тот ничего не ответил и продолжал смотреть пристально вдаль.

Быстро темнело. Черные тучи спускались все ниже и ниже к черным волнам.

Вдруг, на самом краю неба, сквозь узкую щель из-под туч, сверкнуло солнце, как будто из раны брызнула кровь.

И железные тучи, железные волны обагрились кровью.

И чудно, и страшно было это кровавое море.

"Кровь! Кровь!" - подумал Петр и вспомнил пророчество сына:

"Кровь сына, кровь русских царей ты, первый, на плаху прольешь - и падет сия кровь от главы на главу допоследних царей, и погибнет весь род наш в крови. Затебя накажет Бог Россию!"

- Нет, Господи! - опять, как тогда, перед старой иконой с темным Ликом в терновом венце, молился Петр, мимо Сына Отцу, который жертвует Сыном.- Накажimeня. Боже,- помилуй Россию!

- Будет шторм! - повторил старый шкипер, думая, что царь не расслышал его.-Говорил я давеча вашему величеству - лучше бы вернуться назад...

- Не бойся,- ответил Петр с улыбкою.- Крепок наш новый корабль: выдержит бурю. С нами Бог!

И твердою рукою правил Кормчий по железным и кровавым волнам в неизвестную даль.

Солнце зашло, наступил мрак, и завывала буря.

ЭПИЛОГ

ХРИСТОС ГРЯДУЩИЙ

- Не истинна вера наша - и постоять не за что. О, еслибы нашел я самую истинную веру, то отдал бы за нее плоть свою на мелкие части раздробить!

Эти слова одного странника, который прошел все веры и ни одной не принял, часто вспоминал Тихон в своих долгих скитаниях, после бегства из лесов Ветлужских, от Красной Смерти.

Однажды, позднею осенью, в Нижегородской Печерской обители, где остановился он для отдыха и служил книгописцем, один из монахов, о. Никодим, беседуя с ним наедине о вере, сказал:

- Знаю, чего тебе надо, сынок. Живут на Москвелюди умные. Есть у них вода живая. Той воды напившись, жаждать не будешь вовек. Ступай к ним. Ежели сподобишься, откроют они тебе тайну великую...

- Какую тайну? - спросил Тихон жадно.

- А ты не спеши, голубок,- возразил монах строго и ласково,- поспешишь, людей насмешишь. Ежели и впрямь хочешь тайне той приобщиться, искус молчания прими. Что ни увидишь, ни услышишь,- знай, молчи, да помалкивай. Не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзание Ти дам, яко Иуда. Разумеешь?

- Разумею, отче! Как мертвец, безгласен буду...

- Ну, ладно,- продолжал о. Никодим.- Дам я тебе грамотку к Парфену Парамонычу, купцу Сафьянникову, мукой на Москве торгует. Отвезешь ему поклон мой, да гостинчик махонький, морошки керженской моченой кадушку. Кумовья мы с ним старые. Он тебя примет. Ты по счетной части горазд, а ему такого молодца в лавку надобно... Сейчас пойдешь, что ль, аль до весны погодишь? Время-то скоро зимнее. А у тебя одежишка плохенькая. Как бы не замерз?

- Сейчас, отче, сейчас!

- Ну, с Богом, сынок!

О. Никодим благословил Тихона в путь и дал ему обещанную грамотку, которую позволил прочесть:

"Возлюбленному брату во Христе, Парфену Парамонычу - радоваться.

Се - отрок Тихон.. Черствым хлебом не сыт, пирожков хочет мягоньких. Накорми голодного. Мир вам всем и радость о Господе.

Смиренный о. Никодим"

По зимнему первопутку, с Макарьевским рыбнымобозом, отправился Тихон в Москву.

Мучные лавки Сафьянникова находились на углу Третьей Мещанской и Малой Сухаревой площади.

Здесь приняли Тихона, несмотря на письмо о. Никодима, подозрительно. Назначили на испытание подручным дворнику для черной работы. Но видя, что он малый трезвый, усердный и хорошо умеет считать, перевели в лавку и посадили за счетные книги.

Лавка была как лавка. Покупали, продавали, говорили об убытках и прибылях. Иногда только шептались о чем-то по углам.

Однажды Митька крючник, простодушный, косолапый великан, весь обсыпанный белой мучною пылью, таская на спине кули, запел при Тихоне странную песню:

Как у нас было на святой Руси, В славной матушке, каменной
Москве, Во Мещанской Третьей улице Не два солнышка сокатились,
Тут два гостя ликовались: Поклоняется гость Иван
Тимофеевич Дорогому гостю богатому, Даниле Филипповичу: Ты
добро, сударь, пожаловал В мою царскую палатушку Хлеба с солью
покушати, И я рад тебя послушати, Про твоё время последнее, И про
твой Божий страшный суд.

- Митя, а Митя, кто такие Данило Филиппович да Иван Тимофеевич? - спросил Тихон.

Застигнутый врасплох, Митька остановился, согнувшись под тяжестью огромного куля и выпучил глаза от удивления: - Аль Бога Саваофа да Христа не знаешь?

- Как же так Бог Саваоф, да Христос на Третьей Мещанской улице?..
- посмотрел на него Тихон с ещё большим удивлением.

Но тот уже спохватился и, уходя, проворчал угрюмо: - Много будешь знать, рано состаришься...

Вскоре после того у Митьки сделалась ломота в пояснице - должно быть, надорвался, таскавши кули. Целые дни лежал он в своей подвальной каморке, стонал и охал.

Тихон посещал больного, поил шалфейной настойкой, натирал камфарным духом и другими зельями от знакомого немца-аптекаря и, так как в подвале было сыро, то перевел Митьку в свою теплую светелку во втором жильё над главным амбаром. У Митьки сердце было доброе.

Он привязался к Тихону и стал беседовать с ним откровеннее.

Из этих бесед, а также из песен, которые певал он при нем, узнал Тихон, что в начале царствования Алексея Михайловича, в Муромском уезде, в Стародубской волости, в приходе Егорьевском, близ деревень Михайлицы и Бобынина, на гору Городину, перед великим собранием людей, "сокотил" на колеснице огненной, с ангелами и архангелами, херувимами и серафимами, сам Господь Бог

Саваоф. Ангелы взлетели на небо, а Господь остался на земле, вселился в пречистую плоть Даниила Филипповича, беглого солдата, а мужика оброчного, Ивана Тимофеевича, объявил своим Сыном Единородным, Иисусом Христом. И пошли они ходить по земле в образах нищенских.

Бегая от гонителей, терпели холод и голод, укрывались в свином хлеву, в яме падежной, в стогах соломы. Однажды спрятала их баба в подполье скотной избы. На полустоял теленок и намочил - "мокро полилось под пол;

Данило Филиппович, увидев то, сказал Ивану Тимофеевичу: тебя замочит! - а тот отвечал: чтобы Царя-то незамочило!"

Последние годы жили они в Москве, на Третьей Мещанской, в особом доме, который назван Сионским. Тутоба скончались и вознеслись на небеса во славе.

После Ивана Тимофеевича так же, как до него, "открывались" многие христы. "ибо Господь нигде так любезно обитать не желает, как в пречистой плоти человеческой, по реченному: вы есте храм Бога живого. Бог тогда Христа рождает, когда все умирает. Христос во единой плоти подвиг свой кончил, а в других плотях начинает.

- Значит, много христов? - спросил Тихон.

- Дух един, плотей много,- отвечал Митька.

- И ныне есть? - продолжал Тихон, у которого сердце вдруг замерло от предчувствия тайны.

Митька молча кивнул головою.

- Где же Он?

- Не пытай. Сказать не можно. Сам увидишь, ежели подобисься...

И Митька замолчал, как воды в рот набрал.

Не бо врагом Твоим тайну повем - вспомнил Тихон.

Несколько дней спустя, сидел он вечером в лавке надсчетными книгами.

Вечер был субботний. Торговля уже кончилась. Но подъехал новый обоз, и крючники таскали кули с подвод. В отворяющуюся дверь врывались клубы морозного пара, скрип шагов по снегу и вечерний благовест. Снежные белые крыши черных бревенчатых домиков Третьей Мещанской светились долгим и ровным, розовым светом на ясном, золотисто-лиловом небе. В лавке было темно;

только в глубине ее, среди наваленных до потолка мучных кулей, перед образом Николы Чудотворца теплилась лампадка.

Парфен Парамоныч Сафьянников, толстый, белобородый, красноносый старик, похожий на дедушку-Мороза, и старший приказчик Емельян Ретивой, сутулый, рыжий, лысый, с безобразным и умным лицом, напоминая древнюю маску Фавна, пили горячий сбитень и слушали рассказы Тихона про житие старцев заволжских.

- А ты, Емельян Иваныч, как мыслишь, по старым, аль новым книгам спастись надлежит? - спросил Тихон.

- Жил-был человек на Руси, Данилой Филипповичем звать,- произнес Емельян, усмехаясь,- читал книги, читал, все прочел, а толку, видит, мало - собрал их в куль, да бросил в Волгу. Ни в старых-де книгах, ни в новых нет спасения,- а нужна единая

Книга золотая, Книга животная, Книга голубиная Сам Сударь Дух Святой!

Последние слова он спел на тот же лад, как Митька пел свои странные песни.

- Где ж эта книга? - допытывался Тихон робко и жадно.

- А вон, гляди!

Он указал ему в открытую дверь на небо.

- Вот тебе и книга! Солнышком, что перышком златым, сам Господь Бог пишет в ней словеса жизни вечной. Как прочтешь их,- постигнешь всю тайну небесную и тайну земную...

Емельян посмотрел на него пристально, и от этого взора стало вдруг Тихону жутко, как будто заглянул он в бездонно-прозрачную темную воду.

А Емельян, перемигнувшись с хозяином, внезапно умолк.

- Так значит ни в старой, ни в новой церкви нет спасения? - заговорил поспешно Тихон, боясь, чтобы он совсем не замолчал, как давеча Митька.

- Что ваши церкви? - пожал Емельян плечами презрительно.- Мурашьи гнезда, синагоги ветхие, толкучки жидовские! Воры рубили, волы возили. Благодать-то вся у вас окаменела. Духом была и огнем, стала дорогим камнем, да золотом на иконах ваших, да ризах поповских. Очерствело слово Божие, сухарями стало черствыми - не сжуешь, только зубы обломаешь!

И наклонившись к Тихону, прибавил шепотом: - Есть церковь истинная, новая, тайная, светлица светлая, из кипариса, барбариса и аниса срубленная, горница Сионская! Не сухарей тех черствых, а пирожков горяченьких, да мягоньких, прямо из печи там кушают слов живых из уст пророческих; там веселие райское, небесное, пиво духовное, о нем же церковь поет; приидите, пиво паем новое, нетления источник, из гроба одождивша Христа.

- То-то пивушко! .Человек устами не пьет, а пьян живет,- воскликнул Парфен Парамоныч и, вдруг закатив глаза к потолку, фистулою неожиданно тонкой запел вполголоса:

Варил пивушко-то Бог, Затирал Святой Дух...

И Ретивой, и Митька подпевали, подтягивали, притопывали в лад ногами, подергивали плечами, словно подмывало их пуститься в пляс. И у всех троих глаза стали пьяные.

Варил пивушко-то Бог, Затирал Святой Дух, Сама Матушка сливала, Вкупе с Богом пребывала;

Святы ангелы носили, Херувимы разносили.

Тихону казалось, что до него доносится топот бесчисленных ног, отзвук стремительной пляски, и было в этой песне что-то пьяное, дикое, страшное, от чего захватывало дух и хотелось слушать, слушать без конца.

Но сразу, так же внезапно как начали, умолкли все трое.

Емельян стал просматривать счетные книги. Митька поднял сброшенный куль и понес дальше, а Парфен Парамоныч провел рукою по лицу, как будто стирая с него что-то, встал, зевнул, лениво потягиваясь, перекрестил роти проговорил обыкновенным хозяйским голосом, каким, бывало, каждый вечер говаривал:

- Ну, молодцы, ступай ужинать! Щи да каша простынут.

И опять лавка стала, как лавка - словно ничего и не было.

Тихон очнулся, тоже встал, но вдруг, точно какая-то сила бросила его на пол - весь дрожащий, бледный, упал на колени, протянул руки и воскликнул:

- Батюшки родимые! Сжальтесь, помилуйте! Мочимоей больше нет, истомилась душа моя, желая во дворы Господни! Примите в общение святое, откройте мне тайну вашу великую!..

- Вишь, какой прыткий! - посмотрел на него Емельян со своей хитрой усмешкой.- Скоро, брат, сказка сказывается, да не скоро дело делается. Надо сперва спросить Батюшку. Может, и сподобишься. А пока ешь пирог с грибами, да держи язык за зубами - знай, молчи да помалкивай.

И все пошли ужинать, как ни в чем не бывало.

Ни в этот день, ни в следующий не было речи ни о каких тайнах. Когда Тихон сам заговаривал, все молчали и глядели на него подозрительно. Словно какая-то завеса приподнялась перед ним и тотчас вновь опустилась.

Но он уже не мог забыть того, что видел.

Был сам не свой, ходил, как потерянный, слушал и непонимал, отвечал невпопад, путал счета. Хозяин бранил его. Тихон боялся, что его совсем прогонят из лавки.

Но в субботу, ровно через неделю, поздно вечером, когда он сидел у себя в светелке один, вошел Митька.

- Едем! - объявил он поспешно и радостно.

- Куда?

- К Батюшке в гости.

Не смея спрашивать, Тихон торопливо оделся, сошел вниз и увидел у крыльца хозяйские сани.

В них сидел Емельян и Парфен Парамоныч, закутанный в шубу.

Тихон примостился у ног их, Митька сел на облучок, и они понеслись по ночным пустынным улицам. Ночь была тихая, светлая. Луна - в чешуе перламутровых тучек. Переехали по льду через Москву-реку и долго кружили по глухим переулкам Замоскворечья. Наконец, мелькнули в лунной мгле, среди снежного поля, мутно-розовые, с белыми зубцами и башнями, стены Донского монастыря.

На углу Донской и Шабельской слезли с саней. Митька въехал во двор и, оставив там сани с лошадьми, вернулся. Пошли дальше пешком вдоль длинных, покривившихся, занесенных снегом, заборов. Завернули в тупик, где по колено увязли в снегу. Подойдя к воротам с двухщитками с железными петлями, постучались в калитку.

Им отворили не сразу, сперва окликнули, кто и откуда.

За калиткой был большой двор со многими службами.

Но, кроме старика-привратника, кругом ни души - ниогня, ни лая собаки-точно все вымерло. Двор кончился, и они стали пробираться узенькою, хорошо протоптанною тропинкою, между высокими сугробами снега, по каким-то задворкам, не то пустырям, не то огородам. Пройдя вторые ворота, уже с незапертою калиткою, вошли в плодовый сад, где яблони и вишни белели в снегу, как в весеннем цвету. Была такая тишина, словно за тысячи верстот жилья. В конце сада виделся большой, деревянный дом. Взошли на крыльцо, опять постучались, опять изнутри окликнули. Отворил угрюмый малый в скуфейке и долгополом кафтане, похожий на монастырского служку.

В просторных сенях висело по стенам, лежало на сундуках и лавках много верхнего платья, мужского и женского, простые тулупы, богатые шубы, старинные русские шапки, новые немецкие трехуголки и монашеские клобуки.

Когда вошедшие сняли шубы, Ретивой спросил Тихона трижды:

- Хочешь ли, сыне, причаститься тайне Божьей?

И Тихон трижды ответил: - Хочу.

Емельян завязал ему глаза платком и повел за руку.

Долго шли по бесконечным переходам, то спускались, то подымались по лестницам.

Наконец, остановившись, Емельян велел Тихону раздеться донага и надел на него длинную, полотняную рубаху, на ноги нитяные чулки без сапог, произнося слова Откровения: - Побеждаяй, той облечется в ризы белыя.

Потом пошли дальше. Последняя лестница была такая крутая, что Тихон должен был держаться обеими руками за плечи Митьки, шедшего впереди, чтоб не оступиться и сослепу.

Пахнуло земляною сыростью, точно из погреба, или подполья. Последняя дверь отворилась, и они вошли в жарко натопленную горницу, где, судя по шепоту и шелесту шагов, было много народу. Емельян велел Тихону стать на колени, трижды поклониться в землю и произносить за ним слова, которые говорил ему на ухо:

- Клянусь душою моею, Богом и страшным судом Его претерпеть кнут и огонь, и топор, и плаху, и всякую муку и смерть, а от веры святой не отречься, и о том, что увижу, или услышу, "и кому не

сказывать, ни отцу родному, ниотцу духовному. Не бо врагам Твоим тайну повем, нилобзание Ти дам, яко Иуда. Аминь.

Когда он кончил, усадили его на лавку и сняли с глазповязку.

Он увидел большую низкую комнату; в углу образа;

перед ними множество горящих свечей; на белой штукатурке стен - темные пятна сырости; кое-где даже струйкиводы, которая стекала с потолка, просачиваясь в щели межчерных просмоленных досок. Было душно, как в бане.

Пар стоял в воздухе, окружая пламя свечей туманноюрадугой. На лавках по стенам сидели мужчины с однойстороны, с другой - женщины, все в одинаковых длинных белых рубахах, видимо, надетых прямо на голое телои в нитяных чулках без сапог.

- Царица! Царица! - пронеслось благоговейным шепотом.

Открылась дверь и вошла высокая стройная женщина в черном платье и с белым платком на голове. Все всталии поклонились ей в пояс.

- Акулина Мокеевна, Матушка, Царица Небесная! шепнул Тихону Митька.

Женщина прошла к образам и села под ними, самакак образ. Все стали подходить к ней, по очереди, кланяться в ноги и целовать в колено, как будто прикладывались к образу.

Емельян подвел Тихона и сказал: - Изволь крестить. Матушка! Новенький...

Тихон стал на колени и поднял на нее глаза: онабыла смугла, уже не молода, лет под сорок, с тонкимиморщинками около темных, словно углем подведенных век, густыми, почти сросшимися, черными бровями, с чернымпушком над верхней губой - "точно цыганка, аль черкешенка", подумал он. Но когда она глянула на него своимибольшими тускло-черными глазами, он вдруг понял, какона хороша.

Трижды перекрестила его Матушка свечою, почти касаясь пламенем лба, груди и плеч.

- Во имя Отца и Сына и Духа Святого, крещаетсяраб Божий Тихон Духом Святым и огнем!

Потом легким и быстрым, видимо, давно привычнымдвижением, распахнула на себе платье, и он увидел всеее прекрасное, юное, как у

семнадцатилетней девушки, золотисто-смуглое, точно из слоновой кости точеное, тело.

Ретивой подталкивал его сзади и шептал ему на ухо: - Целуй во чрево пресвятое, да в сосцы пречистые!

Тихон потупил глаза в смущеньи.

- Не бойся, дитяtko! - проговорила Акулина с такоюласкою, что ему почудилось, будто бы слышит он голосматери и сестры, и возлюбленной вместе.

И вспомнилось, как в дремучем лесу у Круглого озера, целовал он землю и глядел на небо, и чувствовал, чтоземля и небо - одно, и плакал, и молился:

Чудная Царица Богородица, Земля, земля, Мати сырая!

С благоговением, как образ, поцеловал он триждыэто прекрасное тело. На него повеяло страшным запахом; лукавая усмешка промелькнула на губах ее-и отэтого запаха и от этой усмешки ему стало жутко.

Но платье запахлолось - и опять сидела она передним, величавая, строгая, святая - икона среди икон.

Когда Тихон с Емельяном вернулись на прежнее место, все запели хором, по-церковному, уныло и протяжно:

Дай нам. Господи, Исуса Христа, Дай нам. Сударь, Сына Божия, И Святого Духа Утешителя!

Умолкли на минуту; потом начали снова, но уже другим, веселым, быстрым, словно плясовым, напевом, притопывая ногами, прихлопывая в ладоши - и у всех глаза

стали пьяные.

Как у нас на ДонуСам Спаситель во дому, И со ангелами, Со архангелами, С херувимами. Сударь, С серафимамиИ со всею Силою Небесною.

Вдруг вскочил с лавки старик благообразного постноговида, каких пишут на иконах св. Сергия Радонежского, выбежал на середину горницы и начал кружиться.

Потом девушка, лет четырнадцати, почти ребенок, ноуже беременная, тоненькая как тростинка, с шеей длинной, как стебель цветка, тоже вскочила и пошла кругом, плавно, как лебедь.

- Марьюшка-дурочка,- указал на нее Емельян Тихону,- немая, говорить не умеет, только мычит, а как Духнакатит, поет что твой соловушко!

Девушка пела детским, как серебро звенящим голосом:

Полно, пташечки, сидеть, Нам пришла пора лететьИз острогов, из затворов, Из темничных запоров.

И махала рукавами рубахи, как белыми крыльями.

Парфен Парамоныч сорвался с лавки, словно вихремподхваченный, подбежал к Марьюшке, взял ее за рукии завертелся с нею, как белый медведь со Снегурочкой.

Никогда не поверил бы Тихон, чтоб эта грузная тушамогла плясать с такою воздушною легкостью. Кружась, как волчок, заливался он, пел своею тонкой фистулою:

На седьмом на небесиСам Спаситель закатал.

Ай, душки, душки, душки!

У Христа-то башмачки, Ведь сафьяненькие, Мелкостроченные!

Все новые и новые начинали кружиться.

Плясал, и не хуже других, человек с деревяшкойвместо ноги - как узнал впоследствии Тихон - отставнойкапитан Смурыгин, раненный при штурме Азова.

Низенькая, кругленькая тетка, с почтенными седымибуклями, княжна Хованская вертелась, как шар. А рядомс нею долговязый сапожный мастер, Яшка Бурдаев прыгал, высоко вскидывая руки и ноги, кривляясь и корчась, как тот огромный вялый комар, с ломающимися ногами, которого зовут караморой, и выкрикивал:

Поплясахом, погорахомНа Сионскую гору!..

Теперь уже почти все плясали, не только в "одиночку"

и "всхватку" - вдвоем, но и целыми рядами - "стеночкой", "уголышком", "крестиком", "кораблем Давидовым", "цветочками и ленточками".

- Сими различными круженьями,- объяснял Емельян Тихону,- изображаются пляски небесные ангелов иархангелов, парящих вкруг престола Божия, маханьем жерук,- мановенье крыл ангельских. Небо и земля единосуть: что на небеси горе, то и на земле низу.

Пляска становилась все стремительней, так что вихрьнаполнял горницу, и, казалось, не сами они пляшут, акакая-то сила кружит их с

такой быстротою, что не видно было лиц, на голове вставали дыбом волосы, рубахираздувались, как трубы, и человек превращался в белыйвертящийся столб.

Во время кружения, одни свистели, шипели, другиегоготали, кричали неистово, и казалось тоже, что не самиони, а кто-то за них кричит:

Накатил! Накатил!

Дух, Свят, Дух, Кати, кати! Ух!

И падали на пол, в судорогах, с пеною у рта, какбесноватые, и пророчествовали, большею частью, впрочем, невразумительно. Иные в изнеможении останавливались, с лицами красными как кумач, или белыми как полотно;

пот лил с них ручьями; его вытирали полотенцами, выжимали мокрые насквозь рубахи, так что на полу стоялилужи; это потение называлось "банею пакибытия". И едвауспев отдышаться, опять пускались в пляс.

Вдруг все сразу остановились, пали ниц. Наступилатишина мертвая, и, так же как давеча при входе Царицы, пронеслось благоговейнейшим шепотом: - Царь! Царь!

Вошел человек лет тридцати в белой длинной одеждеиз ткани полупрозрачной, так что сквозило тело, с женоподобным лицом, таким же нерусским, как у АкулиныМокеевны, но еще более чуждой и необычайной прелести.

- Кто это? - спросил Тихон рядом с ним лежавшегоМитьку.

- Христос Батюшка! - ответил тот.

Тихон узнал потом, что это беглый казак, АверьянкаБеспалый, сын запорожца и пленной гречанки.

Батюшка подошел к Матушке, которая встала передним почтительно, и "поликовался" с нею, обнял и поцеловал трижды в уста.

Потом вышел на середину горницы и стал на небольшоекруглое возвышение из досок, вроде тех крышек, которыми закрываются устья колодцев.

Все запели громогласно и торжественно:

Растворилися седьмые небеса, Сокатилися золотые колеса, Золотые, еще огненные Сударь Дух Святой покатывает.

Под ним белый конь не прост, У коня жемчужный хвост, Из ноздрей огонь горит, Очи камень Маргарит.

Накатил! Накатил!

Дух, Свят, Дух, Кати, кати! Ух!

Батюшка благословил детушек - и опять началось кружение, еще более неистовое, между двумя недвижимыми пределами - Матушкой на самом краю и Батюшкой в самом средоточии вертящихся кругов. Батюшка изредка медленно взмахивал руками, и при каждом взмахе ускорялась пляска. Слышались нечеловеческие крики: - Эва-эво! Эва-эво!

Тихону вспомнилось, что в старинных латинских комментариях к Павсанию читал он, будто бы древние вакхиянцы приветствовали бога Диониса почти однозвучными криками: "Эван-Эво!" Каким чудом проникли, словно просочились вместе с подземными водами, эти тайны умершего бога с вершин Киферона в подполья Замоскворецких задворков?

Он смотрел на крутящийся белый смерч пляски и минутами терял сознание. Время остановилось. Все исчезло.

Все цвета слились в одну белизну - казалось, в белую бездну белые птицы летят. И ничего нет - его самого нет. Есть только белая бездна, белая смерть.

Он очнулся, когда Емельян взял его за руку и сказал: - Пойдем!

Хотя свет дневной не проникал в подполье, Тихон чувствовал утро. Догоревшие свечи коптели. Духота была нестерпимая, смрадная. Лужи пота на полу подтирали ветошками. Радение кончилось. Царь и царица ушли. Одни, пробираясь к выходу, шатались и держась за стены, ползли, как сонные мухи. Другие, свалившись на пол, спали мертвым сном, похожим на обморок. Иные сидели на лавках, понутив головы, с такими лицами, как у пьяных, которых тошнит. Словно белые птицы упали на землю и расшиблись до смерти.

С этого дня Тихон стал ходить на все радения. Митька научил его плясать. Сначала было стыдно, но потом он привык и так пристрастился к пляске, что не мог без нее жить.

Все новые и новые тайны открывались ему на радениях.

Но порой казалось, что самую главную и страшную тайну от него скрывают. По тому, что видел и слышал, догадывался он, что братья и сестры живут в плотском общении.

- Мы - херувимы неженемые, в чистоте живем огненной,- говорили они.- То не блуд, когда брат с сестрой в любви живут Христовой, истинной, а блуд искверна - брак церковный. Он пред Богом мерзость, пред людьми дерзость. Муж да жена - одна сатана, проклятые гнезники; а дети - осколки, щенята поганые!

Детей, рожденных от мужей неверных, матери подкидывали в бани торговые, или убивали собственными руками.

Однажды Митька простодушно объявил Тихону, что живет с двумя родными сестрами, монашками из монастыря Новодевичьего; а Емельян Иванович, пророк и учитель, с тринадцатью женами и девками.

- Которая у него на духу побывает, та с ним и живет.

Тихон был смущен этим признанием и после того несколько дней избегал Ретивого, не смел глядеть ему в глаза.

Тот, заметив это смущение, заговорил с ним наедине ласково:

- Слушай-ка, дитяtko, открою тебе тайну великую!

Ежели хочешь быть жив, умертви. Господа ради, не токсмо плоть свою, но и душу, и разум, и самую совесть. Обнажись всех уставов и правил, всех добродетелей, поста, воздержания, девства. Обнажись самой святости. Сойдив себя, как в могилу. Тогда, мертвец таинственный, воскреснешь, и вселится в тебя Дух Святой, и уже не лишишься Его, как бы ни жил и что бы ни делал...

Безобразное лицо Ретивого - маска фавна - светилось таким дерзновением и такою хитростью, что Тихону стало страшно: не мог он решить, кто перед ним - пророкили бесноватый?

- Аль о том соблазняешься,- продолжал тот еще ласковей.- что творим блуд, как люди о нас говорят? Знаем, что несходны дела наши многие с праведностью вашей человеческой. Да как нам быть? Нет у нас воли своей.

Дух нами действует, и самые неистовства жизни нашей суть непостижный путь Промысла Божия. Скажу о себе: когда с девами и женами имею соитие,- совесть меня в том отнюдь не обличает, но

паче радость и сладость в сердце кипят несказанные. Сойди с небес ангел тогда искажи: не так-де живешь, Емельян!-и то не послушаю.

Бог мой меня оправдал, а вы кто судите? Грех мой знаете, а милости Божией со мною не знаете. Вы скажете: кайся,- а я скажу, не в чем. Кто пришел, тому не нужно, что прошел. На что нам ваша праведность? Пошли нас в ад - и там спасемся; всели в рай - и там радости больше не встретим. В пучине Духа, яко камень в море, утопаем.

Но от внешних таимся: сего ради, инде и подуриваем, дабы все-то не узнали... Так-то, миленький!

Емельян смотрел в глаза Тихону, усмехаясь двусмысленно, а тот испытывал от этих слов учителя такое чувство, как от кружения пляски: точно летел и не знал, куда летит, вверх или вниз, к Богу или к черту.

Однажды Матушка в конце радения, на Вербной неделе, раздала всем пучки вербы и святые жгутики, свернутые из узких полотенец. Братья спустили рубахи по пояс, сестры - сзади тоже по пояс, а спереди по груди, и пошли кругом, ударяя себя розгами и святыми жгутиками, одни с громкой песней: Богу порадейте, Плотей не жалейте!

Богу послужите, Марфу не щадите!

Другие с тихим свистом: Хлыщу, хлыщу, Христа ищу!

Били себя также завернутыми в тряпки железными ядрами, подобием пращей; резались ножами, так что кровь текла, и, глядя на Батюшку, кликали: - Эва-эво! Эва-эво!

Тихон ударял себя жгутиком, и, под ласковым взглядом Акулины Мокеевны, которая, казалось ему, глядит на него, на него одного, боль от ударов была чем острее, тем слаще. Все тело истаяло от сладости, как воск от огня, и он хотел бы истаять, сгореть до конца перед Матушкой, как свеча перед образом.

Вдруг свечи стали гаснуть, одна за другой, как будто потушенные вихрем пляски. Погасли все, наступила тьма и так же, как некогда в срубе самосожженцев, в ночь перед Красною Смертью, слышались шепоты, шорохи, шелесты, поцелуи и вздохи любви. Тела с телами сплетались, как будто во тьме шевелилось одно исполинское тело со

многими членами. Чьи-то жадные цепкие руки протянулись к Тихону, схватили, повалили его.

- Тишенька, Тишенька, миленький, женишок мой, Христосик возлюбленный! - услышал он страстный шепот и узнал Матушку.

Ему казалось, что какие-то огромные насекомые, пауки и паучихи, свившись клубом, пожирают друг друга в чудовищной похоти.

Он оттолкнул Матушку, вскочил, хотел бежать. Но с каждым шагом наступал на голые тела, давил их, скользил, спотыкался, падал, опять вскакивал. А жадные цепкие руки хватали, ловили, ласкали бесстыдными ласками.

И он слабел и чувствовал, что сейчас ослабеет совсем, упадет в это страшное общее тело, как в теплую темноту - и вдруг перевернется все, верхнее делается нижним, нижнее - верхним - и в последнем ужасе будет последний восторг.

С отчаянным усилием рванулся, добрался до двери, схватился за ручку замка, но не мог отпереть: дверь была заперта на ключ. Упал на пол в изнеможении. Тут было меньше тел, чем на середине горницы, и его на минуту оставили в покое.

Вдруг опять чьи-то худенькие, маленькие, точно детские, руки прикоснулись к нему. Послышался косноязычный лепет Марьюшки-дурочки, которая старалась что-то сказать и не могла. Наконец он понял несколько слов:

- Пойдем, пойдем... Выведу... - лепетала она и тащила его за руку. Он почувствовал в руке ее ключ и пошел за нею.

Вдоль стен, где было свободнее, она провела его к углым образам. Здесь наклонилась и его заставила нагнуться, приподняла висевшую перед образом Еммануила парчовую пелену, нащупала дверцу, вроде люка в погреб, отперла, шмыгнула в щель проворно, как ящерица, и ему помогла пролезть. Подземным ходом вышли они на знакомую Тихону лестницу. Поднявшись по ней, вошли в большую горницу, которая служила для переодевания. Луна глядела в окна. По стенам висели белые радельные рубахи, похожие, в лунном свете, на призраки.

Когда Тихон вздохнул свежим воздухом, увидел в окне голубой искрящийся снег и звезды, - такая радость наполнила душу его, что он

долго не мог прийти в себя, только пожимал худенькие детские руки Марьюшки.

Теперь только заметил он, что она уже не беременна, и вспомнил, что на днях ему сказывал Митька, будто быродила она мальчика, который объявлен Христосиком, потому что зачат от самого Батюшки, по наитию Духа: "Не от крови-де, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родился".

Марьюшка усадила на лавку Тихона, сама села рядом с ним и опять с невероятным усилием начала ему говорить что-то. Но, вместо слов, выходило бормотание, мычание, в котором он, сколько ни вслушивался, ничего немог понять. Наконец, убедившись, что он ее не поймет, умолкла и заплакала. Он обнял ее, положил голову ее себе на грудь и стал тихонько гладить волосы, мягкие и светлые, как лен в лунном луче. Она вся дрожала, и ему казалось, что в руках его бьется пойманная птичка.

Наконец, подняла на него свои большие влажные глаза, темно-голубые, как васильки под росой, улыбнулась сквозь слезы, чутко насторожилась, как будто прислушиваясь, вытянула шею, длинную, тонкую, как стебель цветка, и вдруг детским, ясным как серебро, голосом, каким певала на радениях, не то зашептала, не то запела ему на ухо - и тотчас перестала заикаться слова сделались внятными в этом полупении, полупешоте:

- Ох, Тишенька, ох, Тишенька, спаси меня от лишенька! Убьют они, убьют Иванушку!..

- Какого Иванушку!..

- А сыночек-то мой, мальчик мой бедненький...

- Зачем убивать? - усумнился Тихон, которому слова ее казались бредом.

- Чтобы кровью живой причаститься,- шепнула Марьюшка, прижимаясь к нему с беспредельным ужасом. Для того-де, говорят. Христосик и рождается. Агнец пренепорочный, чтоб заклатися и датися в снесь верным.

Не живой, будто, младенец, а только видение, иконка святая, плоть нетленная - ни страдать, ни умереть не может... Да врут они все, окаянные! Я знаю, Тишенька: мальчик мой - живенький. И не Христосик он, а Иванушка... Родненький мой! Никому не отдам, сама

пропаду, а его не отдам... Тишенька, ох, Тишенька, спаси меня от лишенька!..

Опять речь ее стала невнятной. Наконец она умолкла, склонилась головой на плечо его и не то забылась, не то задремала.

Наступило утро. За дверью слышались шаги. Марьюшка встрепелась, готовясь бежать. Они попрощались, перекрестились друг друга, и Тихон обещал ей, что защитит Иванушку.

- Дурочка! - успокаивал он себя. - Сама не знает, что говорит. Должно быть, померещилось.

На Страстной Четверг назначено было радение. Понятым намекам Тихон догадывался, что на этом радении совершится великое таинство - уж не то ли, о котором говорила Марьюшка? - думал он с ужасом. Искал ее, хотел посоветоваться, что делать, но она пропала. Может быть, ее нарочно спрятали. На него нашло оцепенение бреда. Он почти не мог думать о том, что будет. Если бы не Марьюшка, бежал бы тотчас.

В Страстной Четверг, около полуночи, как всегда, поехали на радение.

Когда Тихон вошел в Сионскую горницу и оглянул собрание, ему показалось, что все в таком же ужасе и оцепенении бреда, как он. Словно не по своей воле делали то, что делали.

Матушки не было.

Вошел Батюшка. Лицо его было мертвенно-бледное, необычайно-прекрасное, напомнило Тихону виденное им в собрании древностей у Якова Брюса на резных камнях и камнях изображение бога Вакха-Диониса.

Началось радение. Никогда еще не кружился так бешено белый смерч пляски. Как будто летели, гонимые ужасом, белые птицы в белую бездну.

Чтобы не внушить подозрений, Тихон тоже плясал.

Но старался не поддаваться опьянению пляски. Часто выходил из круга, присаживался на лавку, как будто для отдыха, следил за всеми и думал об Иванушке.

Уже приходили в исступление, уже не своими голосами вскрикивали: "Накатил!"

Тихон, как ни боролся, чувствовал, что слабеет, теряет над собою власть. Сидя на лавке, судорожно хватался за нее руками, чтобы не сорваться и не улететь в этом бешеном смерче, который кружился быстрее, быстрее, быстрее. Вдруг также вскрикнул не своим голосом - и на него накатило, подняло, понесло, закружило.

Последний страшный общий вопль: - Эва-эво!

И вдруг все остановились, пали ниц, как громом пораженные, закрыв лица руками. Белые рубахи покрыли пол, как белые крылья.

- Се, Агнец непорочный приходит заклатися и датися в снедь верным,- в тишине раздался из подполья голос Матушки, глухой и таинственный, как будто говорила сама "Земля-Земля, Мати сырая".

Царица вышла оттуда, держа в руках серебряную чашу, вроде небольшой купели, с лежавшим в ней на свитых белых пеленах голым младенцем. Он спал: должно быть, напоили сонным зельем. Множество горящих восковых свечей стояло на тонком деревянном обруче, прикрепленном спицами к подножию купели, так что огни приходились почти в уровень с краями чаши и озаряли младенца ярким светом. Казалось, он лежит внутри купавы с огненным венчиком.

Царица поднесла купель к Царю, возглашая: - Твоя от Твоих Тебе приносяща за всех и за вся.

Царь осенил младенца трижды крестным знаменiem.

- Во имя Отца, и Сына, и Духа Святого.

Потом взял его на руки и занес над ним нож.

Тихон лежал, как все, ничком, закрыв лицо руками.

Но глядел одним глазом сквозь пальцы украдкой и видел все. Ему казалось, что тело Младенца сияет, как солнце, что это не Иванушка, а таинственный Агнец, закланный от начала мира, и что лицо того, кто занес над ним нож, как лицо Бога. И ждал он с непомерным ужасом и желанием, чтоб вонзился нож в белое тело, и пролилась алая кровь. Тогда все исполнится, перевернется все-и в последнем ужасе будет последний восторг.

Вдруг младенец заплакал. Батюшка усмехнулся - и от этой усмешки лицо бога превратилось в лицо зверя.

"Зверь, дьявол, Антихрист!"...- блеснуло в уме Тихона. И внезапная, страшная, нездешняя тоска сжала ему сердце. Но в то же мгновение-

словно кто-то разОудил его-он очнулся от бреда. Вскочил, бросился на Аверьянку Беспалого, схватил его за руку и остановил удар.

Все вскочили, устремились на Тихона и растерзалибы его, если бы не послышался громовой стук в дверь.

Ее ломали снаружи. Обе половинки зашатались, рухнули, и в горницу вбежала Марьюшка, а за нею люди в зеленыхкафтах и треуголках, со шпагами наголо: это были солдаты. Тихону казались они ангелами Божьими.

В глазах его потемнело. Он почувствовал тяжесть в плече, поднял к нему руку и нащупал что-то теплое, липкое: то была кровь; должно быть, в свалке ранили его ножом.

Он закрыл глаза и увидел красное пламя горящегосруба, красную смерть. Белые птицы летели в красномпламени. Он подумал: "Страшнее, чем красная, белаясмерть" - и лишился сознания.

Дело о еретиках разбиралось в новоучрежденномСв. Синоде.

По приговору суда, беглого казака Аверьянку Беспалого и родную сестру его, Акулину, колесовали. Остальных били плетьюми, рвали им ноздри, мужчин сослали накаторгу, баб - на прядильные дворы и в монастырскиетюрьмы.

Тихона, который едва не умер от раны в острожнойбольнице, спас прежний покровитель, генерал Яков Вилимович Брюс. Он взял его к себе в дом, вылечил и ходатайствовал за него у Новгородского архиерея, ФеофанаПрокоповича. Феофан принял участие в Тихоне, желаяпоказать на нем пастырское милосердие к заблудшим овцам, которое всегда проповедовал: "С противниками церкви поступать надлежит с кротостью и разумом, а не так, как ныне, жестокими словами и отчуждением". Хотелтакже, чтобы отречение Тихона от ереси и принятие его в лоно православной церкви послужили примером дляпрочих еретиков и раскольников.

Феофан избавил его от плетей и от ссылки, взял ксебе на покаяние и увез в Петербург.

В Петербурге архиерейское подворье находилось наАптекарском острове, на речке Карповке, среди густоголеса. В нижнем жилье дома помещалась библиотека. Заметив любовь Тихона к книгам, Феофан поручил ему привести в порядок библиотеку. Окна ее, выходявшие прямо влес, часто бывали открыты, потому что стояли жаркие летние

дни, и тишина леса сливалась с тишиною книгохранилища, шелест листьев - с шелестом страниц. Слышался стук дятла, кукованье кукушки. Видно было, как на лесную прогалину выходит чета круторогих лосей, которых пригнали сюда с Петровского, тогда еще совсем дикого, острова.

Зеленоватый сумрак наполнял комнату. Было свежо и уютно. Тихон проводил здесь целые дни, роясь в книгах.

Ему казалось, что он вернулся в библиотеку Якова Брюса и что все эти четыре года скитаний - только сон.

Феофан был к нему добр. Не торопил возвращением в лоно православной церкви, только указал для прочтения, за недостатком русского катехизиса, на нескольких немецких богословов и на досуге беседовал с ним о прочитанном, исправляя ошибки протестантов, согласно с учением церкви греко-российской. В остальное время давал ему свободу заниматься чем угодно.

Тихон опять принялся за математику. В холоде разума отдыхал он от огня безумия, от бреда Красной и Белой смерти.

Перечитывал также философов - Декарта, Лейбница, Спинозу. Вспоминал слова пастора Глюка: "Истинная философия, если отвесть ее слегка, уводит от Бога; если же глубоко зачерпнуть, приводит к Нему".

Бог для Декарта был Первый Двигатель первой материи. Вселенная - машина. Ни любви, ни тайны, ни жизни-ничего, кроме разума, который отражается во всех мирах, как свет в прозрачных ледяных кристаллах. Тихону было страшно от этого мертвого Бога.

"Природа полна жизни,- утверждал Лейбниц в своей "Монадологии".- Я докажу, что причина всякого движения - дух, а дух - живая монада, которая состоит из идей, как центр из углов". Монады соединены предустановленной Богом гармонией в единое целое. "Мир - Божьи часы, *horologium Dei*". Опять, вместо жизни-машина, вместо Бога - механика,- подумал Тихон, и опять ему стало страшно. Но всех страшнее, потому что всех яснее, был Спиноза. Он договаривал то, что другие не смели сказать.

"Утверждать воплощение Бога в человеке - так же нелепо, как утверждать, что круг принял природу треугольника, или квадрата. Слово стало плотью - восточный оборот речи, который не может

иметь никакого значения для разума. Христианство отличается от других исповеданий не верою, не любовью, не какими-либо иными дарами Духа Святого, а лишь тем, что своим основанием делает чудо, то есть невежество, которое есть источник всякого зла, и таким образом, самую веру превращает в суеверие". Спиноза обнаружил тайную мысль всех новых философов: или со Христом - против разума; или с разумом - против Христа.

Однажды Тихон заговорил о Спинозе с Феофаном.

- Оной философии основание глупейшее показуется, объявил архиерей с презрительной усмешкою,- понеже Спиноза свои умствования из единых скаредных контрадикций сплел и только словами прелестными и чвановатыми ту свою глупость покрыл...

Тихона эти ругательства не убедили и не успокоили.

Не нашел он помощи и в сочинениях иностранных богословов, которые опровергали всех древних и новых философов с такою же легкостью, как русский архиерей Спинозу.

Иногда Феофан давал Тихону переписывать бумаги по делам Св. Синода. В присяге Духовного Регламента его поразили слова: "Исповедую с клятвою крайнего Судию духовные сея коллегии быти Самого Всероссийского Монарха, Государя нашего Всемилостивейшего". Государь глава церкви; государь - вместо Христа.

"Magnus ille Leviathan, quae Civitas appellatur, officium artis est et Homo artificialis. Великий оный Левиафан, государством именуемый, есть произведение искусства и Человек искусственный",- вспомнил он слова из книги "Левиафан" английского философа Гоббса, который также утверждал, что церковь должна быть частью государства, членом великого Левиафана, исполинского Автомата - не той ли Иконы зверя, созданной по образу и подобию самого бога-зверя, о которой сказано в Апокалипсисе?

Холод разума, которым веяло на Тихона от этой мертвой церкви мертвого Бога, становился для него таким же убийственным, как огонь безумия, огонь Красной и Белой смерти.

Уже назначили день, когда должен был совершиться торжественно в Троицком соборе обряд

миропомазания над Тихоном в знак его возвращения в лоно православной церкви.

Накануне этого дня собрались на Карповском подворье к ужину гости.

Это было одно из тех собраний, которые Феофан в своих латинских письмах называл *noctes atticae* - аттическиеночи. Запивая соленую и копченую архиерейскую снедь знаменитым пивом о. эконома Герасима, беседовали о философии, о "делах естества" и "уставах натуры", большею частью в вольном, а по мнению некоторых, даже "афейском" духе.

Тихон, стоя в стеклянной галерее, соединявшей библиотеку со столовой, слушал издали эту беседу.

- Распри о вере между людьми умными произойти не могут, понеже умному до веры другого ничто касается и ему все равно - лютер ли, кальвин ли, или язычник, либо не смотрит на веру, но на поступки и нрав,- говорил Брюс.

- *Uti boni vini non est quaerenda regio, sic nec boni viri religio et patria.* Как о происхождении доброго вина, так о вере и отечестве доброго мужа пытаться не следует, подтвердил Феофан.

- Запрещающие философию суть либо самые невежды, либо попы злоковерные,- заметил Василий Никитич Татищев, президент берг-коллегии.

Ученый иеромонах о. Маркелл доказывал, что многие жития святых в истине оскудевают.

- Много наплутано, много наплутано! - повторял он знаменитое слово Федоски.

- В наше время чудес не бывает,- согласился с иеромонахом доктор Блюментрост.

- На сих днях,- с тонкой усмешкой заговорил Петр Андреевич Толстой,- случилось мне быть у одного приятеля, где видел я двух гвардии унтер-офицеров. Они имели между собою большое прение: один утверждал, другой отрицал бытие Божие. Отрицающий кричал: "Нечего пустяки молоть, а Бога нет!" Я вступился и спросил: "Да кто тебе сказал, что Бога нет?" - "Подпоручик Иванов вчера на Гостином дворе!" - "Нашел и место!"

Все смеялись, всем было весело.

А Тихону - жутко.

Он чувствовал, что люди эти начали путь, который нельзя не пройти до конца, и что, рано или поздно, дойдут они до того же в России, до чего уже дошли в Европе: или со Христом - против разума, или с разумом против Христа.

Он вернулся в библиотеку, сел у окна, рядом со стеною, уставленной ровными рядами книг в одинаковых кожаных и пергаментных переплетах, взглянул на ночное, белое, над черными елями, пустое, мертвое, страшное небо, и вспомнил слова Спинозы:

Между Богом и человеком так же мало общего, как между созвездием Пса и псом, лающим животным. Человек может любить Бога, но Бог не может любить человека.

Казалось, что там, в этом мертвом небе - мертвый Бог, который не может любить. Уж лучше бы знать, что совсем нет Бога. А может быть и нет? - подумал он и почувствовал тот же самый ужас, как тогда, когда Иванушка заплакал, а поднявший над ним нож Аверьян усмехнулся.

Тихон упал на колени и начал молиться, глядя на небо, повторяя одно только слово: - Господи! Господи! Господи!

Но молчание было в небе, молчание в сердце. Беспредельное молчание, беспредельный ужас.

Вдруг, из последней глубины молчания Кто-то ответил - сказал, что надо делать.

Тихон встал, пошел в свою келью, вытащил из-под кровати укладку, вынул из нее свой страннический старый подрясник, кожаный пояс, четки, скуфейку, образок св. Софии Премудрости Божией, подаренный Софьей; снял с себя кафтан и все остальное немецкое платье, надел вынутое из укладки, навязал на плечи котомку, взял в руки палку, перекрестился и никем не замеченный вышел из дома в лес.

На следующее утро, когда пора было идти в церковь для совершения обряда миропомазания, Тихона стали искать. Долго искали, но не нашли. Он пропал бесследно, точно в воду канул.

По преданию, апостол Андрей Первозванный, прибывший из Киева в Новгород, приплыл в ладье к острову Валааму на Ладожском озере и водрузил здесь каменный крест. Задолго до крещения Руси,

два инок, преподобные Сергей и Герман, придя на Русь от стран восточных, устроили на Валааме свяую обитель.

С той поры теплилась вера Христова на диком севере, как лампада в полуночной тьме.

Шведы, овладев Ладожским озером, разоряли Валаамскую обитель много раз. В 1611 году разорили ее так, что не осталось камня на камне. Целое столетие остров был в запустении. Но в 1715 году царь Петр дал указо возобновлению древней обители. Построена была маленькая деревянная церковь, во имя Преображения Господня, над мощами св. чудотворцев Сергия и Германа, инесколько убогих келий, в которые переведены были иноки из Кирилло-Белозерской пустыни. Лампада веры Христовой затеплилась вновь и было пророчество, что уже не угаснет она до второго пришествия.

Тихон бежал из Петербурга с одним старцем из толка бегунов.

Бегуны учили, что православным, дабы спастись от Антихриста, подобает бегать из града в град, из веси в весь, до последних пределов земли. Старец звал Тихона в какое-то неизвестное Опоньское царство на семидесяти островах Беловодья, где в 179 церквах Ассирского языка сохраняется, будто бы, нерушимо старая вера; царство то находится за Гогом и Магогом, на самом краю света, откуда солнце всходит. "Ежели сподобит Бог, то лет вдесять дойдем", - утешал старец.

Тихон мало верил в Опоньское царство, но пошел с бегуном, потому что ему было все равно куда и с кем идти.

На плотях доехали до Ладоги. Здесь пересели в сойму - утлое озерное суденышко, которое шло в Сердоболь.

На озере застигла буря. Долго носились по волнам и едва не погибли. Наконец, вошли в Скитскую гавань Валаамской обители. К утру буря утихла, но надо было чинить сойму.

Тихон пошел бродить по острову.

Остров был весь гранитный. Берега над водой поднимались отвесными скалами. Корни деревьев не могли укрепиться в тонком слое земли на граните, и лес был низкий. Зато мох рос пышно, заволакивал ели, как паутиною, висел на стволах сосен длинными космами.

День был жаркий, мглистый. Небо - молочно-белое, с едва сквозившею туманною голубизною. Воды зеркально-гладкого озера сливались с небом, так что нельзя было отличить, где кончается вода и где начинается воздух;

небо казалось озером, озеро - небом. Тишина - бездыханная, даже птицы Молчали. И тишину нездешнюю, успокоение вечное навевала на душу эта святая пустыня, суровый и нежный полуночный рай.

Тихону вспомнилась песня, которую певал он в лесах Долгомшинских:

Прекрасная мати-пустыня!

Пойду по лесам, по болотам, Пойду по горам, по вертепам...

Вспоминалось и то, что говорил ему один из Валаамских иноков:

- Благодать у нас! Хоть три дня оставайся в лесу, ни дикого зверя, ни злого человека не встретишь - Богда ты, ты да Бог!

Он долго ходил, далеко отошел от обители, наконец заблудился. Наступил вечер. Он боялся, что сойма уйдет без него.

Чтоб оглядеться, взошел на высокую гору. Склоны поросли частыми елями. На вершине была круглая поляна с цветущим лилово-розовым вереском. Посередине столпообразный черный камень.

Тихон устал. Увидел на краю поляны, между елками, углубление скалы, как бы колыбель из мягкого мха, прилег и заснул.

Проснулся ночью. Было почти так же светло, как днем. Но еще тише. Берега острова отражались в зеркале озера четко, до последнего крестика острых еловых верхушек, так что казалось, там внизу - другой остров.

совершенно подобный верхнему, только опрокинутый и эти два острова висят между двумя небесами. На камне среди поляны стоял коленопреклоненный старец, незнакомый Тихону - должно быть, схимник, живший в пустыне. Черный облик его в золотисто-розовом небе был неподвижен, словно изваян из того же камня, на котором он стоял. И в лице - такой восторг молитвы, какого никогда не видал Тихон в лице человеческого. Ему казалось, что такая тишина кругом - от этой молитвы, и для нее возносится благоухание лилово-розового вереска к золотисто-розовому небу, подобно дыму кадильному.

Не смея ни дохнуть, ни шевельнуться, он долго смотрел на молящегося, молился вместе с ним и в бесконечной сладости молитвы как будто потерял сознание опять уснул.

Проснулся на восходе солнечном.

Никого уже не было на камне. Тихон подошел к нему, увидел в густом вереске едва заметную тропинку и пустился по ней в долину, окруженную скалами. Внизу была березовая роща. В середине рощи - лужайка с высокой травой. Невидимый ручей лепетал в ней детским лепетом.

На лужайке стоял схимник, тот самый, которого Тихон видел ночью, - и кормил из рук хлебом лосиху маленьким смешным сосунком.

Тихон глядел и не верил глазам. Он знал, как пугливы Лоси, особенно самки, недавно отелившиеся. Ему казалось, что он подглядел вещь тайну тех дней, когда человек извери жили вместе в раю.

Съев хлеб, лосиха начала лизать руку старца. Он осенил ее крестным знамением, поцеловал в косматый лоб и проговорил с тихою ласкою: - Господь с тобою, матушка!

Вдруг она оглянулась дико, шарахнулась и пустилась бежать, вместе с детенышем, в глубину ущелья - только треск и гул пошел по лесу - должно быть, учуяла Тихона.

Он приблизился к старцу: - Благослови, отче!

Старец осенил его крестным знамением с такою жетихою ласкою, как только что зверя.

- Господь с тобою, дитяtko. Звать-то как?

- Тихоном.

- Тишенька - имечко тихое. Откуда Бог принес? Место тут лесное, пустынное, чади мирской маловходное редко странничков Божьих видим.

- В Сердоболь плыли из Ладogi,- отвечал Тихон, сойма бурей прибило к острову. Вчера пошел в лес, да заблудился.

- В лесу и ночевал?

- В лесу.

- Хлебушка-то есть ли? Голоден, чай?

Ломоть хлеба, который взял с собою Тихон, доел он вчера вечером и теперь чувствовал голод.

- Ну, пойдем-ка в келью, Тишенька. Чем Бог послал, накормлю.

О. Сергию - так звали схимника,- судя по сильной проседи в черных волосах, было лет за пятьдесят; но походка и все движения его были так быстры и легки, как у двадцатилетнего юноши; лицо - сухое, постное, но тожеющее; карие, немного близорукие глаза постоянно щурились, как будто усмехались неудержимой, почти шаловливой и чуть-чуть лукавой усмешкой: похоже было на то, что он знает про себя что-то веселое, чего другие не знают, и вот скажет сейчас, и будет всем весело. Но, вместе с тем, в этом веселье была та тишина, которую видел в лице его Тихон во время ночной молитвы.

Они подошли к отвесной гранитной скале. За ветхим покосившимся плетнем были огородные грядки. В расщелине скалы - самородная келья: три стены - каменные;

четвертая - сруб с оконцем и дверью; над нею - почерневшая иконка валаамских чудотворцев св. Сергия и Германа, кровля - земляная, крытая мохом и берестой, с деревянным осмиконечным крестом. Устье долины, выходившее к озеру, кончалось мелью, нанесенной ручьем, который протекал на дне долины и здесь вливался в озеро. На берегу сушились мережки и сети, растянутые на кольях. Тут же другой старец, в заплатанной сермяжной рясе, похожей на рубище, с босыми ногами, по колени в воде, коренастый, широкоплечий, с обветренным лицом, остатками седых волос вокруг лысого черепа,- "настоящий рыбарь Петр", подумал Тихон,- чинил и смолил дно опрокинутой лодки.

Пахло еловыми стружками, водою, рыбой и дегтем.

- Ларивонушка! - окликнул его о. Сергей.

Старик оглянулся, бросил тотчас работу, подошел к ним и молча поклонился Тихону в ноги.

- Небось, дитяtko,- со своей шаловливой усмешкой успокоил о. Сергей смущенного Тихона,- не тебе одному, он всем в ноги кланяется - и малым ребяткам. Такой уж смиренький! Приготовь-ка, Ларивонушка, трапезу, накормить странничка Божьего.

Поднявшись на ноги, о. Иларион посмотрел на Тихона смиренным и суровым взглядом. Всех люби и всех бегай было в этом взгляде

слово великого отшельника Фиваотец (евр.).

идского, преподобного аввы Арсения.

Келья состояла из двух половин - крошечной курной избенки и пещеры в каменной толще скалы, с образами по стенам, такими же веселыми, как сам о. Сергей - Богородица Взыграния, Милостивая, Благоуханный Ивст, Блаженное Чрево, Живодательница, Нечаянная Радость; перед этою последнею, особенно любимую о. Сергием, теплилась лампада. В пещере, темной и тесной, как могила, стояли два гроба с камнями вместо изголовий. В этих гробах почивали старцы.

Сели за трапезу - голую доску на мшистом обрубке сосны. О. Иларион подал хлеб, соль, деревянные чаши срубленной кислой капустой, солеными огурцами, грибною похлебкою и взваром из каких-то лесных душистых трав.

О. Сергей с Тихоном вкушали в безмолвии. О. Иларион читал псалом:

Вся к Тебе, Господи, чают, дати пищу им во благовремя.

После трапезы о. Иларион пошел опять смолить лодку. А о. Сергей с Тихоном сели на каменные ступеньки у входа в келью. Перед ними расстилалось озеро, все такое же тихое, гладкое, бледно-голубое, с отраженными белыми круглыми большими облаками - как бы другое, нижнее небо, совершенно подобное верхнему.

- По обету, что ль, странствуешь, чадушко? - спросил о. Сергей.

Тихон взглянул на него, и ему захотелось сказать всю правду.

- По обету великому, отче: истинной Церкви ищу...

И рассказал ему всю свою жизнь, начиная с первого бегства от страха антихристового, кончая последним отречением от мертвой церкви.

Когда он кончил, о. Сергей долго сидел молча, закрыв лицо руками; потом встал, положил руку на голову Тихона и произнес:

- Рече Господь: Грядущаго ко Мне не изжену. Гряди же ко Господу, чадо, с миром. Небось, небось, миленький: будешь в Церкви, будешь в Церкви, будешь в Церкви истинной!

Такая вещая сила и власть была в этих словах о. Сергия, что казалось, он говорит не от себя.

- Будь милостив, отче! - воскликнул Тихон, припадая к ногам его.- Прими меня в свое послушание, благослови в пустыне с вами жить!

- Живи, дитяtko, живи с Богом! - обнял и поцеловал его о. Сергей.- Тишенька - тихонькой, жития нашего тихого не разорит,- прибавил он уже со своею обычною веселою улыбкою.

Так Тихон остался в пустыне и зажил с обоими старцами.

О. Сергию - так звали схимника,- судя по сильнойпроседи в черных волосах, было лет за пятьдесят; но походка и все движения его были так быстры и легки, как у двадцатилетнего юноши; лицо - сухое, постное, но тожеюное; карие, немного близорукие глаза постоянно щурились. как будто усмехались неудержимою, почти шаловливою и чуть-чуть лукавою усмешкою: похоже было нато, что он знает про себя что-то веселое, чего другие не знают, и вот скажет сейчас, и будет всем весело. Но, вместе с тем, в этом веселье была та тишина, которую видел влице его Тихон во время ночной молитвы.

Они подошли к отвесной гранитной скале. За ветхимпокосившимся плетнем были огородные грядки. В расщелине скалы - самородная келья: три стены - каменные;

четвертая - сруб с оконцем и дверью; над нею - почерневшая иконка валаамских чудотворцев св. Сергия и Германа, кровля - земляная, крытая мохом и берестою, с деревянным осмиконечным крестом. Устье долины, выходившее к озеру, кончалось мелью, нанесенной ручьем, которыйпротекал на дне долины и здесь вливался в озеро. На берегу сушились мережки и сети, растянутые на кольях. Тутже другой старец, в заплатанной сермяжной рясе, похожейна рубище, с босыми ногами, по колено в воде, коренастый, широкоплечий, с обветренным лицом, остатками седых волос вкруг лысого черепа,- "настоящий рыбарь Петр",подумал Тихон,- чинил и смолил дно опрокинутой лодки.

Пахло еловыми стружками, водою, рыбой' и дегтем.

- Ларивонушка! - окликнул его о. Сергей.

Старик оглянулся, бросил тотчас работу, подошел кним и молча поклонился Тихону в ноги.

- Небось, дитяtko,- со своей шаловливой усмешкоюуспокоил о. Сергей смущенного Тихона,- не тебе одному, он всем в ноги

кланяется - и малым ребятам. Такой уж смиренный! Приготовь-ка, Ларивонушка, трапезу, накормить странничка Божьего.

Поднявшись на ноги, о. Иларион посмотрел на Тихона смиренным и суровым взглядом. Всех люби и всех бегай было в этом взгляде слово великого отшельника Фиваидского, преподобного аввы ' Арсения.

Келья состояла из двух половин - крошечной курной избенки и пещеры в каменной толще скалы, с образами по стенам, такими же веселыми, как сам о. Сергей - Богородица Взыгания, Милостивая, Благоуханный

А в в а- отец (евр.).

Цвет, Блаженное Чрево, Живодательница, Нечаянная Радость; перед этою последнею, особенно любимую о. Сергием, теплилась лампада. В пещере, темной и тесной, как могила, стояли два гроба с камнями вместо изголовий. В этих гробах почивали старцы.

Сели за трапезу - голую доску на мшистом обрубокесосны. О. Иларион подал хлеб, соль, деревянные чаши срубленной кислой капустой, солеными огурцами, грибнопохлебкою и взваром из каких-то лесных душистых трав.

О. Сергей с Тихоном вкушали в безмолвии. О. Иларион читал псалом:

Вся к Тебе, Господи, чают, дати пищу, у им во благовремя.

После трапезы о. Иларион пошел опять смолить лодку. А о. Сергей с Тихоном сели на каменные ступеньки у входа в келью. Перед ними расстилалось озеро, всетакое же тихое, гладкое, бледно-голубое, с отраженными белыми круглыми большими облаками - как бы другое, нижнее небо, совершенно подобное верхнему.

- По обету, что ль, странствуешь, чадушко? - спросил о. Сергей.

Тихон взглянул на него, и ему захотелось сказать всю правду.

- По обету великому, отче: истинной Церкви ищу...

И рассказал ему всю свою жизнь, начиная с первого бегства от страха антихристового, кончая последним отречением от мертвой церкви.

Когда он кончил, о. Сергей долго сидел молча, закрыв лицо руками; потом встал, положил руку на голову Тихона и произнес:

- Рече Господь: Грядущаго ко Мне не изжену. Гряди же ко Господу, чадо, с миром. Небось, небось, миленький: будешь в Церкви, будешь в Церкви, будешь в Церкви истинной!

Такая вещая сила и власть была в этих словах о. Сергия, что казалось, он говорит не от себя.

- Будь милостив, отче! - воскликнул Тихон, припадая к ногам его.- Прими меня в свое послушание, благослови в пустыне с вами жить!

- Живи, дитятко, живи с Богом! - обнял и поцеловал его о. Сергий.- Тишенька - тихонькой, жития нашего тихого не разорит,- прибавил он уже со своею обычною веселою улыбкою.

Так Тихон остался в пустыне и зажил с обоими старцами.

О. Иларион был великий постник. Иногда целыми неделями не вкушал хлеба. Драл с больших сосен кору, сушил, толоч в ступе и с мукой пек, то и ел, а пил воду, нарочно из луж, теплую, ржавую. Зимой молился, поколело в снегу. Летом стоял, голый, в болоте, отдавая тело на съедение комарам. Никогда не мылся, приводя слова преподобного Исаака Сирина: "да не обнажиши что от уд твоих и еще нужда тебе будет от свербения, обвей руку твою срачицею, или портищем и так почешешь - никогда же не простирай руки твоей нагому телу, ни на тайные уды смотри никакоже, еще и изгнут". О. Иларион рассказывал Тихону о своем бывшем учителе, иноке Кирилло-Белозерской пустыни, некоем о. Трифоне, нарицаемом Похабный, "иже блаженным похабством прозревать будущее сподобился".- "Сей Трифон воды на главу и на ноги не полагал во всю свою жизнь, а вшей у себя не имел, о чем вельми плакал, что в том-де веке будут мне вши, акимыши. Он же, Трифон, денно и нощно молитву Иисусову творил, и в таковом обыкновении молитвенном уста его устроились до того, что сами двигались на всякое время не удержимо, на челе от крестного знамени синевая была и язва; часы ли, утреню ль, вечерню пел,- столько плакал, что в забытие приходил от многого хлипанья. Перед смертью лежал семь ночей не спав, вельми тяжело, а не постонув, не охнув и пить не просил, и ежели кто приходил посетить и спрашивал: "батюшка, не можешь гораздо?" отвечал: "все хорошо".- Раз отец Иларион подошел к нему тихо, чтоб тот не слышал,- и увидел, что он "устами маленько почавкал, а сам тихонько шепчет: "напиться бы досыта!"-"Хочешь, батюшка, пить?"-спросило. Иларион, а

о. Трифон: "нет, говорит, не хочу". И посему уразумел о. Иларион, что великою жаждой мучится. Трифон, но терпит - постится последним постом.

Несмотря на все эти посты, труды и подвиги, человеку, как видно было из слов о. Илариона, почти невозможно спастись. По видению некоего святого, из тридцати тысячу душ умерших всего две пошли в рай, а все остальные в ад.

- Силен черт, ох, силен! - иногда вздыхал он с таким сокрушением, что казалось еще неизвестно, кто кого сильнее и кто победит - Бог или черт?

Порой казалось также Тихону, что, если бы о. Иларион довел мысли свои до конца, то пришел бы к тому же, к чему пришли учителя Красной Смерти.

О. Сергей противоположен был о. Илариону во всем.

"Безмерное и нерассудное воздержание,- учил он,- большой вред приносит, нежели до сытости ядение. Мерупищи пусть каждый сам для себя устанавливает. От всяких яств, хотя бы и сладких, подобает принимать помалу, ибо все чисто чистым, всякое создание Божие - добро, и ничто же отменно".

Не в наружных подвигах телесных полагал он спасение, а во внутреннем "умном делании". Каждую ночь молился на камне, стоя недвижно, как изваяние. Но Тихону чудился в этой неподвижности более стремительный полет, чем в бешеной пляске хлыстов.

- Как надо молиться? - однажды спросил он о. Сергия.

- Молчи мыслью,- ответил тот,- и зри всегда во глубину свою сердечную и говори: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя! - и так молись, аще стоя, и сидя, лежа, и ум в сердце затворяя, и дыхание держа, сколько можно, да не часто дышешь. И сначала найдешь ты в себе большой мрак, жесткость, и в молитве внешней познаешь преграждение некое, аки стену медяну, между тобой и Богом. Но не унывай, молись прилежнее, и стена медяна падет. И увидишь внутри сердца Свет несказанный. Тогда слова умолкнут и прекратятся молитвы и воздыхания, и коленопреклонения, и сердечные прошения, и вопли сладчайшие. Тогда - тишина великая. Тогда исступление великое, и человек уже знает, в теле он, или без тела. Тогда - ужасание и видение Бога. Тогда

человек и Бог - одно. Тогда совершается слово пророческое: Бог богом соединяем же и познаваем. То есть молитваумная, чад ушко!

Тихон заметил, что у о. Сергия, когда он говорилэто, глаза были такие же пьяные, как у "детушек Божьих": только там краткое, буйное,- а здесь вечное, тихое, как бы трезвое, пьянство.

О. Иларион и о. Сергей были столь разного духа, что, казалось, не могли согласиться ни в чем, а между темсоглашались.

- Отец Сергей - сосуд избранный! - говорил о. Иларион.- Бог избрал его для употребления честного, аменя - для низкого; он - кости беленькой, а я - черненькой; ему все простится, а с меня все взыщется; онорлом летает, а я муравьем ползаю. Он спасен уже ведомо, а я спасусь ли, нет ли. Бог весть. Но ежели погибать буду, ухвачу отца Сергия за поду,- он меня и вытащит!

- Отец Иларион,- камешек крепенький, столп православия, стена нерушимая,- говорил о. Сергей.- Я же лист, ветром колеблемый. Без него бы давно я пропал, отступил от преданий отеческих. Только им и держусь.

Покойно мне за ним, как у Христа за пазушкой!

О первой беседе своей с Тихоном о. Сергей ничегоне говорил о. Илариону, но тот обо всем догадался, учуялеретика, как овца чует волка. Однажды подслушал нечаянно Тихон разговор его с о. Сергием:

- Потерпи, Ларивонушка! - умолял о. Сергей.- Потерпи на нем, ради Христа! Сотвори мир и любовь...

- С еретиком какой мир? - возражал о. Иларион.Бранися с ним до смерти, не повинуйся уму его развращенному. Своего врага люби, а не Божия! Беги от еретика и не говори ему ничего о правоверии, токмо плюйна него. Ей, собаки и свиньи хуже еретик! Будь он проклят. Анафема!

- Потерпи, Ларивонушка!..- повторял о. Сергей смольбой бесконечной, но бессильной, как будто и самвтайне сомневался в правоте своей.

Тихон отошел прочь. Он вдруг понял, что напраснождет помощи от о. Сергия, и что этот великий святой, пред Господом сильный, как ангел, пред людьми - слаб, как дитя.

Спустя несколько дней опять сидел Тихон с о. Сергием на каменных ступеньках у входа в келью, точно также, как в первый день. Они были одни. О. Иларион поехал в лодке рыбу ловить.

Была знойная белая, но от грозовых облаков темная ночь. В последние дни все собиралась гроза, но не могла собраться. На земле - тишина мертвая. А на небе неслись бурные, быстрые, но тоже безмолвные тучи - словно немые великаны бежали на бой. Изредка слышался тихий, далекий, точно подземный, гром, похожий на ворчание сонного зверя. Вспыхивали бледные зарницы, как будто ночь содрогалась от ужаса. И, при каждой вспышке, явственно, четко, до последнего крестика острых еловых вершин, выступали на зареве белого пламени все очертания острова и отражались в воде, точно там, внизу, был другой остров, совершенно подобный верхнему, только опрокинутый, и эти два острова висели между двумя небесами. Зарница потухала - и все опять погружалось во мрак, в тишину -- слышалось только ворчание сонного зверя.

Тихон молчал, а о. Сергей, глядя в темную грозную даль, пел акафист Иисусу Сладчайшему. И тихие слова молитвы сливались со звуками грома:

сило непобедимая, милосте бесконечная, красото пресветлая, любви неизреченная, Сыне Бога Живаго, помилуй мя грешного.

Иисусе, Иисусе, Иисусе, Иисусе, Иисусе, Иисусе, Тихон чувствовал, что о. Сергей хочет ему что-то сказать, но не решается. Лица его во мраке не видно было Тихону, но когда он взглядывал на него в кратком блеске зарниц, оно казалось ему таким скорбным, как еще никогда.

- Отче,- наконец заговорил Тихон, первый,- скоро уйду от вас...

- Куда пойдешь, дитяtko?

- Не знаю, отче. Все равно. Пойду, куда глаза глядят...

О. Сергей взял его за руку, и Тихон услышал трепетный ласковый шепот: - Вернись, вернись, чадушко!..

- Куда? - спросил Тихон, и вдруг стало ему страшно, он сам не знал отчего.

- В церковку, в церковку! - шептал о. Сергей все ласковей, все трепетней.

- В какую церковь, отче?

- Ох, искушение, искушение! - вздохнул о. Сергей, и кончил с усилием:

- Во единую святую соборную апостольскую...

Но такая мертвая тяжесть и косность была в этих словах, как будто говорил их не сам он, а кто-то другой заставлял его говорить.

- Да где же церковь та? - простонал Тихон с невыразимой мукою.

- Ох, бедненький, бедненький! Как же без церквита?..-опять зашептал о. Сергей с ответною и равною мукою, по которой Тихон почувствовал, что он понимает все.

Вспыхнула зарница - он увидел лицо старика, дрожащие губы с беспомощною улыбкою, широко открытые глаза, полные слезами - и понял, отчего так страшно: страшно то, что это лицо могло быть жалким.

Тихон упал на колени и протянул к о. Сергию руки с последнею надеждою, с последним отчаянием.

- Спаси, помоги, заступись! Разве не видишь? Погибает церковь, погибает вера, погибает все христианство! Уже тайна беззакония деется, уже мерзость запустения стала на месте святом, уже антихрист хочет быть.

Восстань, отче, на подвиг великий, гряди в мир на брань с Антихристом!..

- Что ты, что ты, дитячко? Куда мне, грешному?..залепетал о. Сергей со смиренным ужасом.

И Тихон понял, что все его мольбы напрасны, и что о. Сергей навеки отошел от мира, как от живых отходят мертвые. Всех люби и всех бегай,- вспомнилось Тихону страшное слово.- А что, если так? - подумал он с тоскою смертною.- ^Что, если надо выбрать одно из двух: или Бог без мира, или мир без Бога?

Он упал ничком на землю и долго лежал, не двигаясь, не слыша, как старец обнимал и утешал его.

Когда пришел в себя, о. Сергия уже не было с ним: должно быть, пошел молиться на гору.

Тихон встал, вошел в келью, надел дорожное платье, навязал на плечи котомку, на шею образ св. Софии Премудрости Божией, взял в руки палку, перекрестился и вышел в лес, чтобы продолжать свое вечное странствие.

Хотел уйти, не прощаясь, потому что чувствовал, что прощание будет для обоих слишком тягостно.

Но, чтобы взглянуть на о. Сергия в последний раз, хоть издали, пошел на гору.

Там, среди поляны, старец, как всегда, молился на камне.

Тихон отыскал углубление в скале, как бы колыбель измятого мха, где провел первую ночь,- лег и долго глядел на недвижный черный облик молящегося, на ослепительно белое пламя зарницы и безмолвно летящие, бурые тучи.

Наконец, уснул тем сном, которым ученики Господни спали тогда, как Учитель молился на вержении камня и, придя к ним, нашел их спящими от печали.

Когда проснулся, солнце уже встало, и о. Сергия не было на камне. Тихон подошел к нему, поцеловал то место, где стояли ноги старца. Потом спустился с горы.

и по глухим тропинкам через лесные дебри пошел к Валаамской обители.

После тяжелого сна он чувствовал себя разбитым и слабым, как после обморока. Казалось, все еще спит, хочет и не может проснуться. Была та страшная тоска, которая бывала у него всегда перед припадками падучей.

Голова кружилась. Мысли путались. В уме проносились обрывки далеких воспоминаний. То пастор Глюк, повторяющий слова Ньютона о кончине мира. "Комета упадет на солнце и от этого падения солнечный жар возрастет до того, что все на земле истребится огнем. Hypotheses non fungo! Я не сочиняю гипотез!" То унылая песня гробополагателей:

Гробы вы, гробы, колоды дубовые!

Всем есте, гробы, домовища вечные.

То в пылающем срубе последний вопль насмертников: Се, жених грядет во полунощи! То бешеный белый смерч пляски и пронзительный крик: Эва-эво! Эва-эво!

И тихий плач Иванушки, Непорочного агнца, под ножом Аверьянки Беспалого. И тихие слова Спинозы о "разумной любви к Богу" - amor Dei intellectualis: "Человек может любить Бога, но Бог не может любить человека". И присяга Духовного Регламента

самодержцу Российскому, как самому Христу Господню. И суровое смирение о. Илариона: "Всех люби и всех бегай!" И ласковый шепот о. Сергия: "В церковку, в церковку, дитятко!"

На минуту пришел в себя. Оглянулся. Увидел, что сбился с пути.

Долго отыскивал тропинку, пропавшую в вереске. Наконец, совсем заблудился и пошел наугад.

Гроза опять ушла. Тучи рассеялись. Солнце жгло.

Томила жажда. Но не было ни капли влаги в этой гранитной и хвойной пустыне - только сухие серые паучьи мхи, лишай, ягели, тощие серые сосенки, затканые мохом, как паутиною; слишком тонкие, часто надломленные стволы их тянулись вверх, как исхудалые больные ноги и руки с красноватой, воспаленной и шелушащейся кожей. Между ними воздух дрожал и струился от зноя.

А над всем - беспощадное небо, как раскаленная добела медь. Тишина мертвая. И беспредельный ужас в этой ослепительно-сверкающей полдневной тишине.

Опять оглянулся и узнал место, на котором бывал часто и где проходил еще сегодня утром. В самом конце длинной просеки, может быть, лесной дороги, проложенной некогда шведами, но давно покинутой и заросшей вереском, блестело озеро. Это место было недалеко от кельи о. Сергия. Верно, блуждая, сделал круг и вернулся туда, откуда вышел. Почувствовал смертельную усталость, как будто прошел тысячи верст, шел и будет идти так всегда. Подумал, куда идет и зачем? В неведомое Опоньское царство, или невидимый Китеж-град, в которые уж сам не верит?

Опустился в изнеможении на корни сухой сосны, одиноко возвышавшейся над мелкою порослью. Все равно, идти некуда. Лежать бы так, закрыв глаза, не двигаясь, пока смерть не придет.

Вспомнил то, что говорил ему один из учителей новой веры, которых называли нетовцами, потому что навсякое церковное да они отвечали нет: "нет церкви, нет священства, нет благодати, нет таинств - все взято на небо". Ничего нет, ничего не было, ничего не будет, - думал Тихон. Нет Бога, нет мира. Все погибло, все кончено. И даже конца нет. А есть бесконечность ничтожества.

Долго лежал в забытии. Вдруг очнулся, открыл глаза и увидел, что с востока надвинулась и уже охватила полнеба огромная синяя,

черная туча с белесоватыми пятнами, словно гнойными нарывами на посиневшем и распухшем теле. Медленно, медленно, как исполинский паук отвислым жирным брюхом, с косматыми косыми лапами, подползла она к солнцу, точно подкралась, протянула одну лапу - и солнце задрожало, померкло. По земле побежали быстрые-быстрые серые паучьи тени, и воздух сделался мутным, липким, как паутина. И пахло удушливым зноем, как из открытой пасти зверя.

Тихон задышался; кровь стучала в виски; в глазах темнело; холодный пот выступал на теле от страшной истомы, подобной тошноте смертной. Хотел встать, чтоб как-нибудь дотащиться до кельи о. Сергия и умереть при нем но не было сил: хотел крикнуть-но не было голоса.

Вдруг далеко, далеко, в самом конце просеки, на черно-синей туче забелело что-то, зареяло, как освещенный солнцем белый голубь. Стало расти, приближаться. Тихон глядывался пристально и, наконец, увидел, что это старичок беленький идет по просеке шажками быстрыми, легкими, как будто несется по воздуху - прямо к нему.

Подошел и сел рядом на корни сосны. Тихону казалось, что он уже видел его, только не помнит, где и когда. Старичок был самый обыкновенный, как будто один из тех странничков, которые ходят с иконами по городам и селеньям, по церквам и обителям, собирая подаяния на построение нового храма.

- Радуйся, Тишенька, радуйся! - молвил он с тихой улыбкой, и голос у него был тихий, как жужжание пчелили дальний благовест.

- Кто ты? - спросил Тихон.

- Иванушка я, Иванушка. Аль не узнал? Господь послал меня к тебе, а за мной и Сам будет скоро.

Старичок положил руки на голову Тихона, и ему стало покойно, как ребенку на руках матери.

- Устал, бедненький? Много вас у меня, много детушек. Ходите по миру, нищие, сырые, терпите холод и голод, и скорбь, и тесноту, и гонение лютое. Да не бойтесь, миленькие. Погодите, уж соберу я вас всех в новую Церковь Грядущего Господа. Была древняя Церковь Петра, Камня стоящего, будет новая Церковь Иоанна, Громалетящего. Ударит в камень гром, и потечет вода живая.

Первый завет Ветхий - Царство Отца, второй завет Новый - Царство Сына, третий завет Последний - Царство Духа. Едино - Три, и Три - едино. Верен Господьобещающий, Который есть, и был, и грядет!

Лицо у старичка стало вдруг юное, вечное. И Тихон узнал Иоанна, сына Громова.

А старичок беленький поднял руки свои к черному небу и воскликнул громким голосом:

- И Дух, и Невеста говорят: Прииди! И слышавший да скажет: Прииди! И Свидетельствующий сие говорит: ей, гряди скоро! Аминь. Ей, гряди. Господи Иисусе!

- Ей, гряди. Господи! - повторил Тихон и тоже поднял руки к небу с великою радостью, подобной великому ужасу.

И засверкала молния, белая в черном небе - как будто небо разверзлось.

И Тихон увидел Подобного Сыну Человеческому. Глаза его и волосы были белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи; и лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей.

И семь громов проговорили:

- Свят, свят, свят. Господь Бог Вседержитель, Который есть, и был, и грядет.

И громы умолкли, и наступила тишина великая, и в тишине послышался голос, более тихий, чем сама тишина:

- Я семь альфа и омега, начало и конец, первый и последний. И живой. И был мертв. И се, жив вовеки веков. Аминь.

- Аминь! - повторил Иоанн сын Громов.

- Аминь! - повторил Тихон, первый сын Церкви Громовой. И пал на лицо свое, как мертвый, и онемел навеки

Очнулся в келье о. Сергия.

Весь день тосковал старец о Тихоне, томимый предчувствием, что с ним случилось недоброе. Часто выходил из кельи, блуждал по лесу, искал и кликал: "Тишень

ка! Тишенька!" - но только пустынный отзвук отвечал ему в предгрозной тишине.

Когда надвинулась туча, в келье стало темно, какночью. Лампада теплилась в глубине пещеры, где обастарца молились.

О. Иларион пел псалом:

Глас Господень над водами. Бог славы возгремел. Господь над водами многими.

Глас Господа силен, глас Господа величествен.

Вдруг ослепительно белое пламя наполнило келью, ираздался такой оглушающий треск, что казалось, гранитные стены, в которых построена келья, рушатся.

Оба старца выбежали вон из кельи, и увидели, чтосухая сосна, которая возвышалась одиноко на краю просеки, над мелкою порослью, горит, как свеча, ярким огнемна черном небе, должно быть, зажженная молнией.

О. Сергей пустился бежать с громким криком: "Тишенька! Тишенька!" О. Иларион - за о. Сергием. Подбежав к сосне, нашли они Тихона, лежавшего без чувств, у самого подножия горящего дерева. Подняли его, перенесли в келью, и так как не было другой постели, тоуложили в один из гробов, в которых сами спали. Думалисперва, что он убит громом. О. Иларион хотел уже читать отходную. Но о. Сергей запретил ему и стал читатьЕвангелие. Когда прочел слова:

Истинно, истинно говорю вам: наступает время и наступило уже, когда все, находящиеся в гробах, услышатглас Сына Божьего и, услышавши, оживут - Тихоночнулся и открыл глаза. О. Иларион упал на пол от ужаса: ему казалось, что о. Сергей воскресил мертвого.

Скоро Тихон совсем пришел в себя, встал и сел налавку. Он узнавал о. Сергия и о. Илариона, понималвсе, что ему говорили, но сам не говорил и отвечал только знаками. Наконец, они поняли, что он онемел - должно быть, от страха язык отнялся. Но лицо у него былосветлое; только в этой светлости-что-то страшное, какбудто, в самом деле, воскрес он из мертвых.

Сели за трапезу. Тихон пил и ел. После трапезыстали на молитву. О. Иларион в первый раз молилсяс Тихоном, как будто забыл, что он - еретик, и, видимо, чувствовал к нему благоговение, смешанное с ужасом.

Потом легли спать, старцы, как всегда, в свои гробыв пещере, а Тихон в избе на полати над печкою.

Гроза бушевала, выл ветер, лил дождь, шумели волны озера, гром гремел, не умолкая, и в оконце светил почти

непрерывный белый свет молний, сливаясь с красным светом лампы, которая теплилась в пещере перед образом Нечаянной Радости. Но Тихону казалось, что это не молнии, а старичок беленький склоняется над ним, говорит ему о Церкви Иоанна, сына Громова, и ласкает его, и баюкает. Под шум грозы заснул он, как ребенок под колыбельную песенку матери.

Проснулся рано, задолго до восхода солнечного. Поспешно оделся, собрался в путь, подошел к о. Сергию, который почивал еще в гробу своем, так же, как о. Иларион, стал на колени и тихонько, стараясь не разбудить спящего, поцеловал его в лоб. О. Сергей открыл на мгновение глаза, поднял голову и проговорил: "Тишенька!" но тотчас опять опустил ее на камень, который служил ему изголовьем, закрыл глаза и заснул еще глубже.

Тихон вышел из кельи.

Гроза миновала. Снова наступила тишина великая.

Только с мокрых веток падали капли. Пахло смолисто-хвойной. Над черными острыми елями в золотисто-розовом небе светил тонкий серп юного месяца.

Тихон шел, бодрый и легкий, как бы окрыленный великою радостью, подобной великому ужасу, и знал, что будет так идти, в немоте своей вечной, пока не пройдет всех путей земных, не вступит в Церковь Иоаннову и не воскликнет осанну Грядущему Господу.

Чтоб не заблудиться, как вчера, он шел высокими скалистыми краями, откуда видны были берег и озеро.

Там, на краю небес, лежала грозная туча, все еще синяя, черная, страшная, и заслоняла восход солнечный.

Вдруг первые лучи, как острые мечи, пронзили ее, их хлынули в ней потоки огня, потоки крови, как будто уж совершалась там, в небесных знамениях, последняя битва, которою кончится мир: Михаил и Ангелы его воевали против Дракона, и Дракон и Ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий Дракон, древний Змий.

Солнце выходило из-за тучи, сияя в силе и славе своей, подобное лику Грядущего Господа.

И небеса, и земля, и вся тварь пели безмолвную песньвосходящему солнцу: - Осанна! Тьму победит Свет.

И Тихон, спускавшийся с горы, как бы летевший навстречу солнцу, сам был весь, в немоте своей вечной, вечная песнь Грядущему Господу: - Осанна! Антихриста победит Христос.

Дмитрий Сергеевич Мережковский.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Воскресшие боги

ПЕРВАЯ КНИГА. БЕЛАЯ ДЬЯВОЛИЦА

Во Флоренции, рядом с каноникой Орсанмикеле, находились товарные склады цеха красильщиков.

Неуклюжие пристройки, клетки, неровные выступы на косых деревянных подпорах лепились к домам, сходясь вверху черепичными кровлями так близко, что от неба оставалась лишь узкая щель, и на улице, даже днем, было темно. У входа в лавки висели на перекладинах образчики тканей заграничной шерсти, крашенной во Флоренции. В канаве посередине улицы, мощенной плоскими камнями, струились разноцветные жидкости, выливаемые из красильных чанов. Над дверями главных складов - фондаков виднелись щиты с гербом Калималы, цеха красильщиков: в аллом поле золотой орел на круглом тюке белой шерсти.

В одном из фондаков сидел, окруженный торговыми записями и толстыми счетными книгами, богатый флорентийский купец, консул благородного искусства Калималы- мессер Чиприано Буонаккорзи.

В холодном свете мартовского дня, в дыхании сырости, веявшей из подвалов, загроможденных товарами, старик зяб и кутался в облезлую беличью шубу с истертыми локтями. Гусиное перо торчало у него за ухом, и слабыми, близорукими, но всевидящими глазами он просматривал, как будто небрежно, на самом деле внимательно, пергаментные листки громадной счетной книги, страницы, разделенные продольными и поперечными графами; справа "дать", слева - "иметь". Записи товаров сделаны были ровным круглым почерком, без прописных букв, без точек и запятых, с цифрами

римскими, отнюдь не арабскими, считавшимися легкомысленным новшеством, непристойным для деловых книг. На первой странице было написано большими буквами: "Во имя Господа нашего Иисуса Христа и Приснодевы Марии счетная книга сия начинается лета от Рождества Христова тысяча четыреста девяносто четвертого".

Окончив просмотр последних записей и тщательно исправив ошибку в числе принятых под залог шерстяного товара латтов продолговатого стручкового перцу, меккского имбирю и вязок корицы, мессер Чиприано с усталым видом откинулся на спинку стула, закрыл глаза и начал обдумывать деловое письмо, которое предстояло ему послать главному приказчику на суконную ярмарку во Франции, в Монпелье.

Кто-то вошел в лавку. Старик открыл глаза и увидел своего мызника, поселянина Грилло, который снимал у него пахотную землю и виноградники на подгорной вилле Сан-Джервазио, в долине Муньоне.

Грилло кланялся, держа в руках корзину с яйцами, старательно переложенными соломой. У пояса его болтались два живых молоденьких петушка на связанных лапках, хохолками вниз.

- А, Грилло! - молвил Буонаккорзи со свойственной ему любезностью, одинаковой в обращении с малыми и великими.-Как Господь милует? Кажется, нынче весна дружная?

- Нам, старикам, мессере Чиприано, и весна не в радость: кости ноют-в могилу просятся.

- Вот к Светлому празднику,-прибавил он, помолчав,- яичек да петушков вашей милости принес.

Грилло с хитрой ласковостью щурил свои зеленоватые глазки, собирая вокруг них мелкие загорелые морщины, какие бывают у людей, привыкших к солнцу и ветру.

Буонаккорзи, поблагодарив старика, начал расспрашивать о делах.

- Ну, что, готовы ли работники на мызе? Успеем ли кончить до свету?

Грилло тяжело вздохнул и задумался, опираясь на палку, которую держал в руках.

- Все готово, и работников довольно. Только вот что я вам доложу, мессере: не лучше ли подождать?

- Ты же сам, старик, намедни говорил, что ждать нельзя,- может кто-нибудь раньше догадаться.

- Так-то оно так, а все-таки страшно. Грех! Дни нынче святые, постные, а дело наше неладное...

- Ну, грех я на свою душу беру. Не бойся, я тебя не выдам.-Только найдем ли что-нибудь?

- Как не найти! На то приметы есть. Отцы и деды знали о холме за мельницей у Мокрой Лощины. По ночам на Сан-Джиованни огоньки бегают. И то сказать: у нас этой дряни всюду много. Вот, говорят, недавно, как рыли колодец в винограднике у Мариньолы, целого черта вытащили из глины... - Что ты говоришь? Какого черта?

- Медного, с рогами. Ноги шершавые, козлиные,- на концах копыта. А рыльце забавное,-точно смеется; на одной ноге пляшет, пальцами прищелкивает. От старости весь позеленел, замшился. - Что же с ним сделали?

- Колокол отлили для новой часовни Архангела Михаила.

Мессер Чиприано едва не рассердился; - Зачем же ты об этом раньше не сказал мне, Грилло?

- Вы в Сиену по делам уезжали.

- Ну, написал бы. Я бы прислал кого-нибудь. Сам приехал бы, никаких денег не пожалел бы, десять колоколов отлил бы им. Дураки! Колокол-из пляшущего Фавна,- быть может, древнего эллинского ваятеля Скопаса...

- Да, уж подлинно - дураки. Только не извольте гневаться, мессер Чиприано. Они и так наказаны: с тех пор, как новый колокол повесили, два года червь в садах яблоки и вишни ест, да на оливы неурожай. И голос у колокола нехороший. - Почему же нехороший?

- Как вам сказать? Настоящего звука нет. Сердца христианского не радует. Так что-то болтает без толку. Дело известное: какой же из черта колокол! Не во гнев будь сказано вашей милости, мессере, священник-то, пожалуй, прав: из всей этой нечисти, что выкапывают, ничего доброго не выходит. Тут надо вести дело с осторожностью, с оглядкой. Крестом и молитвою ограждаться, ибо силен дьявол и хитер, собачий сын,- в одно ухо влезет, в Другое вылезет! Вот хотя бы

с этой мраморной рукой, что в прошлом году Дзакелло у Мельничного Холма вырыл,- попутал нас нечистый, нажили мы с ней беды, не дай Бог,- и вспомнить страшно. - Расскажи-ка, Грилло, как ты нашел ее? - Дело было осенью, накануне св. Мартина. Сели мы ужинать, и только что хозяйка поставила на стол тюрю из хлеба,- вбегает в горницу работник, кумов племянник, его оставил, у Мельничного Холма, оливковую корчагу выворачивать,- коноплею то место хотел засеять. "Хозяин, а, хозяин!"-лопочет Дзакелло, и лица на нем нет: весь трясется, зуб на зуб не попадает. "Господь с тобой, малый!"-"Недоброе,-говорит,-в поле творится: покойник из-под корчаги вылезает. Если не верите, пойдите, сами посмотрите". Взяли мы фонари и пошли.

Стемнело. Месяц встал из-за рощи. Видим - корчага; рядом земля разрыта, и что-то в ней белеет. Наклонился, смотрю - рука из земли торчит, белая и пальцы красивые, тонкие, как у девушек городских. "Ах, пострел тебя возьми,-думаю,-это что за чертовщина?" Опустил фонарь в яму, чтобы лучше рассмотреть, а рука-то зашевелилась, пальчиками манит. Тут уж я не стерпел, закричал, ноги подкосились. А мона Бонда, бабушка,-она у нас знахарка и повитуха, бодрая, хоть и древняя старушка: "Чего вы все испугались, дураки,- говорит,- разве не видите-рука не живая и не мертвая, а каменная". Ухватилась, дернула и вытащила из земли, как репу. Повыше кисти в суставе рука была сломана. "Бабушка,-кричу,- ой, бабушка, оставь, не тронь, зароем поскорее в землю, а то как бы беды не нажить".- "Нет,- говорит,- так не ладно, а надо сначала в церковь священнику отнести, пусть он заклятие прочтет". Обманула меня старуха: священнику руки не отнесла, а в свой ларь в углу спрятала, где у нее всякая рухлядь - тряпочки, мази, травы и ладанки. Я бранился, чтобы руку отдала, но мона Бонда заупрямилась. И стала с тех пор бабушка чудесные творить исцеления. Заболят ли у кого зубы-идольской рукой прикоснется к щеке, и опухоль опадет. От лихорадки, от живота, от падучей помогала. Ежели корова мучится, не может отелиться, бабушка ей на брюхо каменную руку положит, корова замычит, и смотришь - теленок уже в соломе копошится.

Молва по окрестным селениям пошла. Много денег в то время набрала старуха. Только проку не вышло. Священник, отец Фаустино,

не давал мне спуска: в церковь пойду-он меня на проповеди при всех укоряет. Сыном погибели называл, слугою дьявола, епископу грозил пожаловаться, Св. Причастия лишить. Мальчишки за мною по улице бегали, пальцами указывали: "Вот идет Грилло, сам Грилло колдун, а бабушка у него ведьма, оба душу черту продали". Верите ли, даже по ночам не было покоя: все мраморная рука мерещится,будтобы подбирается, тихонько за шею берет, точно ласкает, пальцы холодные, длинные, а потом как вдруг схватит, стиснет горло, начнет душить,-хочу крикнуть и не могу.

Э, думаю, шутки-то плохи. Встал я раз до свету, и как бабушка на лугу по росе пошла травы собирать, выломал замок у ларя, взял руку и вам отнес. Хотя старьевщик Лотто десять сольдов давал, а от вас получил я только восемь, ну, да для вашей милости мы не то что двух сольди, а живота своего не пожалеем,- пошли вам Господь всякого благовремения, и мадонне Анжелике, и деткам, и внукам вашим.

- Да, судя по всему, что ты рассказываешь, Грилло, мы что-нибудь найдем в Мельничном Холме,- произнес мессер Чиприано в раздумьи.

- Найти-то найдем,- продолжал старик, опять тяжело вздохнув,- только вот как бы отец Фаустино не пронюхал. Ежели узнает - расчешет он мне голову без гребня так, что не поздоровится, да и вам помешает: народ взбунтует, работы кончить не даст. Ну, да Бог милостив. Только уж и вы меня не оставьте, благодетель, замолвите словечко у судьи.

- Это насчет того куска земли, который у тебя мельник хочет оттягать?

- Точно так, мессере. Мельник - жила и пройдоха. Знает, где у черта хвост. Я, видите ли, телку судье подарил, и он ему - телку, да стельную. Во время тяжбы она возьми и отелись. Перехитрил меня, плут. Вот я и боюсь, как бы судья не решил в его пользу, потому что телка-то бычком отелилась на грех. Уж заступитесь, отец родной! Я ведь это только для вашей милости - Мельничным Холмом стараюсь,- ни для кого такого греха на душу не взял бы...

- Будь покоен, Грилло. Судья - мой приятель, и я за тебя похлопочу. А теперь ступай. На кухне тебя накормят и вином угостят. Сегодня ночью мы вместе едем в СанДжервазио.

Старик, низко кланяясь, поблагодарил и ушел, а мессер Чиприано удалился в свою маленькую рабочую комнату, рядом с лавкой, куда никто не имел позволения входить.

Здесь, как в музее, расставлены и развешаны были по стенам мраморы и бронзы. Древние монеты и медали красовались на досках, обшитых сукном. Обломки статуй, еще не разобранные, лежали в ящиках. Через свои многочисленные торговые конторы выписывал он древности отовсюду, где можно было их найти: из Афин, Смирны и Галикарнасса, с Кипра, Левкозии и Родоса, из глубины Египта и Малой Азии.

Оглянув сокровища свои, консул Калималы снова погрузился в строгие, важные мысли о таможенном налоге на шерсть и, все окончательно обдумав, стал сочинять письмо доверенному в Монпелье.

В это время, в глубине склада, где тюки товара, наваленные до потолка, и днем освещались только лампадою, мерцавшею перед Мадонной, беседовали трое молодых людей: Доффо, Антонио и Джованни. Доффо, приказчик мессера Буонаккорзи, с рыжими волосами, курносый и добродушно-веселый, записывал в книгу число локтей смиренного сукна. Антонио да Винчи, старообразный юноша, со стеклянными рыбьими глазами, с упрямо торчавшими космами жидких черных волос, проворно мерил ткань флорентийскою мерою - канною. Джованни Бельтраффио, ученик живописи, приехавший из Милана, юноша лет девятнадцати, робкий и застенчивый, с большими, невинными и печальными, серыми глазами, с нерешительным выражением лица, сидел на готовом тюке, закинув ногу на ногу и внимательно слушал.

- Вот до чего, братцы, дожили,- говорил Антонио тихо и злобно: - языческих богов из земли стали выкапывать!

- Шотландской шерсти с ворсом, коричневого - тридцать два локтя, шесть пяденей, восемь ончий,- прибавил он, обращаясь к Доффо, и тот записал в товарную книгу. Потом, свернув смиренный кусок, Антонио бросил его сердито, но ловко, так что он попал как раз туда, куда нужно, и, подняв указательный палец с пророческим видом, подражая брату Джироламо Савонароле, воскликнул: - *Gladius Dei super terrain cito et velociter!* Меч Господень на земле

действует быстро и скоро! (лат.) Св. Иоанну на Патмосе было видение: ангел взял дракона, змия древнего, который есть дьявол, и сковал его на тысячу лет, и низверг в бездну, и заключил, и положил над ним печать, дабы не прельщал народы, доколе не кончится тысяча лет, время и полвремени. Ныне сатана освобождается из темницы. Окончилась тысяча лет. Ложные боги, предтечи и слуги Антихриста, выходят из земли, из-под печати ангела, дабы обольщать народы. Горе живущим на земле и на море!.. - Желтого, брабантской шерсти, гладкого-семнадцать локтей, четыре пядени, девять ончий. - Как же вы разумеете, Антонио,- произнес Джованни с боязливым и жадным любопытством,- все эти знамения свидетельствуют?..

- Да, да. Не иначе. Бодрствуйте! Время близко. И теперь уже не только древних богов выкапывают, но и новых творят наподобие древних. Нынешние ваятели и живописцы служат Молоху, то есть дьяволу. Из церкви Господней делают храм сатаны. На иконах, под видом мучеников и святых, нечистых богов изображают, коим ПОКЛОНЯЮТСЯ: вместо Иоанна Предтечи-Вакха, вместо Матери Божьей -блудницу Венеру. Сжечь бы такие картины и по ветру пепел развеять!

В тусклых глазах благочестивого приказчика вспыхнул зловещий огонь.

Джованни молчал, не смея возражать, с беспомощным усилием мысли сжимая свои тонкие детские брови. - Антонио,-молвил он, наконец,-слышал я, будто бы ваш двоюродный брат, мессер Леонардо да Винчи, принимает иногда учеников в свою мастерскую. Я давно хотел...

- Если хочешь,- перебил его Антонио, нахмурившись,-если хочешь, Джованни, погубить душу свою-ступай к мессеру Леонардо. - Как? Почему?

- Хотя он и брат мне, и старше меня на двадцать лет, но в Писании сказано: еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся. Мессер Леонардо - еретик и безбожник. Ум его омрачен сатанинской гордостью. Посредством математики и черной магии мыслит он проникнуть в тайны природы...

И, подняв глаза к небу, привел он слова Савонаролы из последней проповеди:

- "Мудрость века сего - безумие пред Господом. Знаем мы этих ученых: все грядут в жилище сатаны!"

- А слышали вы, Антонио,- продолжал Джованни еще более робко,- мессер Леонардо теперь здесь, во Флоренции? Только что приехал из Милана. - Зачем?

- Герцог прислал, чтобы разведать, нельзя ли купить некоторые из картин, принадлежавших покойному Лоренцо Великолепному.

- Здесь, так здесь. Мне все равно,- перебил Антонио, еще усерднее принимаясь отмеривать на канне сукно. В церквах зазвонили к повечерию. Доффо радостно потянулся и захлопнул книгу. Работа была кончена. Лавки запирались Джованни вышел на улицу. Между мокрыми крышами было серое небо с едва уловимым розовым оттенком репера. В безветренном воздухе сеял мелкий дождь.

Вдруг из открытого окна в соседнем переулке послышалась песня: *O, vaghe montanine e pastorelle*. О, девы гор, о, милые пастушки.

Голос был молодой и звонкий. Джованни догадался, по равномерному звуку подножки, что поет ткачиха за станком.

вспомнил, что теперь весна, и почувствовал как сердце бьется от беспричинного умиления и грусти. - Нанна! Нанна! Да где же ты, чертова девка? Оглохла что ли? Ужинать ступай! Лапша простынет.

Деревянные башмаки - цокколи - бойко застучали по кирпичному полу - и все умолкло.

Джованни стоял еще долго, смотрел на пустое окно, в ушах его звучал весенний напев, подобный переливам далекой свирели - *O, vaghe montanine e pastorelle*.

потом тихо вздохнул, вошел в дом консула Калималы по крутой лестнице с гнилыми, шаткими перилами, изъеденными червоточиной, поднялся в большую комнату, служившую библиотекой, где сидел, согнувшись за письменным поставцом, Джордже Мерула, придворный летописец миланского герцога.

Мерула приехал во Флоренцию, по поручению государя для покупки редких сочинений из книгохранилища Лоренцо Медичи и, как всегда, остановился в доме друга своего такого же, как он, любителя древностей, мессера Чиприано Буонаккорзи. С Джованни Бельтраффио ученый историк познакомился случайно на постоялом

дворе, по пути из Милана, и, под тем предлогом, что ему, Меруле нужен хороший писец, а у Джованни почерк красивый и четкий, взял его с собой в дом Чиприано.

Когда Джованни входил в комнату, Мерула тщательно рассматривал истрепанную книгу, похожую на церковный требник или псалтырь. Осторожно проводил влажною губкою по тонкому пергаменту, самому нежному, из кожи мертворожденного ирландского ягненка,- некоторые строки стирал пемзою, выглаживал лезвием ножа и лоцилом, потом опять рассматривал, подымая к свету.

- Миленькие! - бормотал он себе под нос, захлебываясь от умиления.-Ну-ка, выходите, бедные, выходите на свет Божий... Да какие же вы длинные, красивые!

Он прищелкнул двумя пальцами и поднял от работы плешивую голову, с одутловатым лицом, с мягкими, подвижными морщинами, с багрово-сизым носом, с маленькими свинцовыми глазками, полными жизни и неугомонной веселости. Рядом, на подоконнике, стоял глиняный кувшин и кружка. Ученый налил себе вина, выпил, крикнул и хотел опять погрузиться в работу, когда увидел Джованни.

- Здравствуй, монашек! - приветствовал его старик шутливо: монашком называл он Джованни за скромность.- Я по тебе соскучился. Думаю, где пропадает? Уж не влюбился ли, чего доброго? Девочки-то во Флоренции славные. Влюбиться не грех. А я тоже времени даром не теряю. Ты этакой забавной штуки от роду, пожалуй, не видывал. Хочешь покажу? Или нет-еще разболтаешь. Я ведь у жида, старьевщика, за грош купил,- среди хлама нашел. Ну, да уж куда ни шло, тебе одному покажу! Он поманил его пальцем: - Сюда, сюда, поближе к свету!

И указал на страницу, покрытую тесными, остроугольными буквами церковного письма. Это были акафисты, молитвы, псалмы с громадными, неуклюжими нотами для пения.

Потом взял у него книгу, открыл на другом месте, поднял к свету, почти в уровень с его глазами,- и Джованни заметил, как там, где Мерула соскоблил церковные буквы, появились иные, почти неуловимые строки, бесцветные отпечатки древнего письма,

углубления в пергаменте - не буквы, а только призраки давно исчезнувших букв, бледные и нежные.

- Что? Видишь, видишь?-повторял Мерула с торжеством.- Вот они, голубчики. Говорил я тебе, монашек, веселая штучка!

- Что это? Откуда?-спросил Джованни. - Сам еще не знаю. Кажется, отрывки из древней антологии. Может быть, и новые, неведомые миру сокровища эллинской музыки. А ведь если бы не я, так бы и не увидеть им света Божьего! Прележали бы до скончания веков под антифонами и покаянными псалмами... И Мерула объяснил ему, что какой-нибудь средневековый монах-переписчик, желая воспользоваться драгоценным пергаментом, соскоблил древние языческие строки и написал по ним новые.

Солнце, не разрывая дождливой пелены, а только просвечивая, наполнило комнату угасающим розовым отблеском, и в нем углубленные отпечатки, тени древних букв, выступили еще яснее.

- Видишь, видишь, покойники выходят из могил! -" повторял Мерула с восторгом.-Кажется, гимн олимпийцам. Вот, смотри, можно прочесть первые строки. И он перевел ему с греческого:

Слава любезному, пышно-венчанному гроздьями Вакху, Слава тебе, дальномечущий Феб, сребролукий, ужасный Бог лепокудрый, убийца сынов Ниобеи.

- А вот и гимн Венере, которой ты так боишься, монашек! Только трудно разобрать...

Слава тебе, златоногая мать Афродита, Радость богов и людей...

Стих обрывался, исчезая под церковным письмом. Джованни опустил книгу, и отпечатки букв побледнели, углубления стерлись, утонули в гладкой желтизне пергамента,-тени скрылись. Видны были только ясные, жирные, черные буквы монастырского требника и громадные, крючковатые, неуклюжие ноты покаянного псалма:

"Услышь, Боже, молитву мою, внимли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь: сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня".

Розовый отблеск потух, и в комнате стало темнеть. Мерула налил вина из глиняного кувшина, выпил и предложил собеседнику.

- Ну-ка, братец, за мое здоровье. Vinum super omnia bonum diligamus! ' Возлюбим вино превыше всякого блага! (лат.) Джованни

отказался.

- Ну - Бог с тобой. Так я за тебя выпью.- Да что это ты, монашек, какой сегодня скучный, точно в воду опущенный? Или опять этот святоша Антонио пророчествами напугал? Плюнь ты на них, Джованни, право, плюнь? И чего каркают, ханжи, чтоб им пусто было! - Признавайся, говорил ты с Антонио? - Говорил. - О чем? - Об Антихристе и мессере Леонардо да Винчи... - Ну, вот! Да ты только и бредишь Леонардо. Околдовал он тебя, что ли? Слушай, брат, выкинь дурь из головы. Оставайся-ка моим секретарем - я тебя живо в люди выведу: латыни научу, законоведом сделаю, оратором или придворным стихотворцем,- разбогатеешь, славы достигнешь. Ну, что такое живопись? Еще философ Сенека называл ее ремеслом, недостойным свободного человека. Посмотри на художников-все люди невежественные, грубые...

- Я слышал,- возразил Джованни,- что мессер Леонардо - великий ученый.

- Ученый? Как бы не так! Да он и по-латыни читать не умеет, Цицерона с Квинтиналием смешивает, а греческого и не нюхал. Вот так ученый! Курам на смех.

- Говорят,- не унимался Бельтраффио,- что он изобретает чудесные машины и что его наблюдения над природою...

- Машины, наблюдения! Ну, брат, с этим далеко не уйдешь. В моих "Красотах латинского языка" собрано более двух тысяч новых изящнейших оборотов речи. Так знаешь ли ты, чего мне это стоило?.. А хитрые колесики в машинках прилаживать, посматривать, как птицы в небе летают, травы в поле растут - это не наука, а забава, игра для детей!..

Старик помолчал; лицо его сделалось строже. Взяв собеседника за руку, он промолвил с тихою важностью:

- Слушай, Джованни, и намотай себе на ус. Учителя наши - древние греки и римляне. Они сделали все, что люди могут сделать на земле. Нам же остается только следовать за ними и подражать. Ибо сказано: ученик не выше своего учителя.

Он отхлебнул вина, заглянул прямо в глаза Джованни с веселым лукавством, и вдруг мягкие морщины его расплылись в широкую улыбку:

- Эх, молодость, молодость! Гляжу я на тебя, монашек, и завидую. Распуколка весенняя - вот ты кто! Вина не пьет, от женщин бегают. Тихоня, смиренник. А внутри - бес. Я ведь тебя насквозь вижу. Подожди, голубчик, выйдет наружу бес. Сам ты скучный, а с тобой весело. Ты теперь, Джованни, вот как эта книга. Видишь,- сверху псалмы покаянные, а под ними гимн Афродите!

- Стемнело, мессер Джордже. Не пора ли огонь зажигать?

- Подожди,- ничего. Я в сумерках люблю поболтать, молодость вспомнить...

Язык его тяжелел, речь становилась бессвязной. - Знаю, друг любезный,- продолжал он,- ты вот смотришь на меня и думаешь: напился, старый хрыч, вздор мелет. А ведь у меня здесь тоже кое-что есть!

Он самодовольно указал пальцем на свой плешивый лоб.

- Хвастать не люблю - ну, а спроси первого школяра: он тебе скажет, превзошел ли кто Мерулу в изяществах латинской речи. Кто открыл Мартиала? - продолжал он, все более увлекаясь,- кто прочел знаменитую надпись на развалинах Тибуртинских ворот? Залезешь, бывало, так высоко, что голова кружится, камень сорвется из-под ноги - едва успеешь за куст уцепиться, чтобы самому не слететь. Целые дни мучишься на припеке, разбираешь древние надписи и списываешь. Пройдут хорошенькие поселянки, хохочут: "Посмотрите-ка, девушки, какой сидит перепелвон куда забрался, дурак, должно быть, клада ищет!" Полюбезничаешь с ними, пройдут - и опять за работу. Где камни осыпались, под плющом и терновником - там только два слова: *gloria Romanorum*.

И, как будто вслушиваясь в звуки давно умолкших, великих слов, повторил он глухо и торжественно:

- *Gloria Romanorum*! Слава римлян! Э, да что вспоминать,- все равно не воротишь,-махнул он рукой и, подышколяров:

Не обмолвлюсь натошак Ни единой строчкой. Я всю жизнь ходил в кабак И умру за бочкой. Как вино, я песнь люблю И латинских граций,- Если ж пью, то и пою Лучше, чем Гораций. В сердце буйный хмель шумит, *Dum vinum potamus* - Упиваясь вином (лат.). Братья, Вакху пропоем: *Te Deum laudamus!*" Тебя, Бога, хвалим. (лит.)

Закашлялся и не кончил.

В комнате уже было темно. Джованни с трудом различал лицо собеседника.

Дождь пошел сильнее, и слышно было, как частые капли из водосточной трубы падают в лужу.

- Так вот как, монашек,-бормотал Мерула заплетающимся языком.- Что, бишь, я говорил? Жена у меня красавица...

Нет, не то. погоди. Да, да... Помнишь стих: *Tu regere imperio populos, Romae, memento!* Римлянин, помни, что ты управляешь народом (лат.). Слушай, это были исполинские люди. Повелители вселенной!..

Голос его дрогнул, и Джованни показалось, что на глазах мессера Джордже блеснули слезы.

- Да, исполинские люди! А теперь - стыдно сказать... Хоть бы этот наш герцог миланский, Лодовико Моро. Конечно, я у него на жалованье, историю пишу наподобие Тита Ливия, с Помпеем и Цезарем сравниваю зайца трусливого, выскочку. Но в душе, Джованни, в душе у меня...

По привычке старого придворного он подозрительно оглянулся на дверь, не подслушивает ли кто-нибудь,- и, наклонившись к собеседнику, прошептал ему на ухо:

- В душе старого Мерулы не угасла и никогда не угаснет любовь к свободе. Только ты об этом никому не говори. Времена нынче скверные. Хуже не бывало. И что за людишки-смотреть тошно: плесень, от земли не видать. А ведь тоже нос задирают, с древними равняются! И чем, подумаешь, взяли, чему радуются? Вот, мне один приятель из Греции пишет: недавно на острове Хиосе монастырские прачки по заре, как белье полоскали, на морском берегу настоящего древнего бога нашли, тритона с рыбьим хвостом, с плавниками, в чешуе. Испугались дуры. Подумали - черт, убежали. А потом видят - старый он, слабый, должно быть, больной, лежит ничком на песке, зябнет и спину зеленую чешуйчатую на солнце греет. Голова седая, глаза мутные, как у грудных детей. Расхрабрились, подлые, обступили его с христианскими молитвами, да ну колотить вальками. До смерти избили, как собаку, древнего бога, последнего из могучих богов океана, может быть, внука Посейдонова!..

Старик замолчал, уныло понутив голову, и по щекам его скатились две пьяные слезы от жалости к морскому чуду.

Слуга принес огонь и закрыл ставни. Языческие призраки отлетели.

Позвали ужинать. Но Мерула так отяжелел от вина, что его должны были отвести под руки в постель.

Бельтраффио долго не мог заснуть в ту ночь и, прислушиваясь к безмятежному храпу мессера Джордже, думал о том, что в последнее время его больше всего занимало, - о Леонардо да Винчи.

Во Флоренцию приехал Джованни из Милана, по поручению дяди своего, Освальда Ингрима, стекольщика, чтобы купить красок, особенно ярких и прозрачных, каких нельзя было достать нигде, кроме Флоренции.

Стекольщик-живописец, родом из Граца, ученик знаменитого страсбургского мастера Иоганна Кирхгейма, Освальд Ингрим, работал над окнами северной ризницы Миланского собора. Джованни, сирота, незаконный сын его брата, каменщика Рейнольда Ингрима, получил имя Бельтраффио от матери своей, уроженки Ломбардии, которая, по словам дяди, была распутной женщиной и вовлекла в погибель отца его.

В доме угрюмого дяди рос он одиноким ребенком. Душу его омрачали бесконечные рассказы Освальда Ингрима о всяких нечистых силах, бесах, ведьмах, колдунах и оборотнях. Особенный ужас внушало мальчику предание, сложенное северными людьми в языческой Италии, о женообразном демоне - так называемой Белобрысой Матери или Белой Дьяволице.

Еще в раннем детстве, когда Джованни плакал ночью в постели, дядя Ингрим пугал его Белой Дьяволицей, и ребенок тотчас утихал, прятал голову под подушку; но сквозь трепет ужаса чувствовал любопытство, желание когда-нибудь увидеть Белобрысу лицом к лицу.

Освальд отдал племянника на выучку монаху-иконописцу, фра Бенедетто.

Это был простодушный и добрый старик. Он учил, приступая к живописи, призывать на помощь всемогущего Бога, возлюбленную заступницу грешных. Деву Марию, св. евангелиста Луку, первого

христианского живописца, и всех святых рая; затем украшаться одеянием любви, страха, послушания и терпения; наконец, заправлять темперу для красок на яичном желтке и молочном соку молодых веток смоковницы с водой и вином, готовить дощечки для картин из старого фигового или букового дерева, протирая их порошком из жженой кости, причем предпочтительнее употреблять кости из ребер и крыльев кур и каплунов, или ребер и плеч барана.

Это были неисчерпаемые наставления. Джованни знал заранее, с каким пренебрежительным видом фра Бенедетто подымет брови, когда речь пойдет о краске, именуемой драконовой кровью, и непременно скажет: "Оставь ее и не очень печалься о ней; она не может принести тебе много чести". Он угадывал, что те же слова говорил и учитель фра Бенедетто, и учитель его учителя. Столь же неизменной была улыбка тихой гордости, когда фра Бенедетто поверял ему тайны мастерства, которые казались монаху пределом всех человеческих художеств и хитростей: как, например, для состава промазки при изображении молодых лиц должно брать яйца городских кур, потому что желтки у них светлее, нежели у сельских, которые, вследствие своего красноватого цвета, идут более для изображения старого смуглого тела.

Несмотря на все эти тонкости, фра Бенедетто оставался художником бесхитростным, как младенец. К работе готовился постами и бдениями. Приступая к ней, падал ниц и молился, испрашивая у Господа силы и разума. Каждый раз, как изображал Распятие, лицо его обливалось слезами.

Джованни любил учителя и почитал его величайшим из мастеров. Но в последнее время находило на ученика смущение, когда, объясняя свое единственное правило из анатомии,- что длину мужского тела должно полагать в восемь лиц и две трети лица,- фра Бенедетто прибавлял с тем же пренебрежительным видом, как о драконовой крови,- "что касается до тела женщины, лучше оставить его в стороне, ибо оно не имеет в себе ничего соразмерного". Он был убежден в этом так же непоколебимо, как в том, что у рыб и вообще у всех неразумных животных сверху темный цвет, а снизу светлый; или в том, что у мужчины одним ребром меньше, чем у женщины, так как Бог вынул ребро Адама, чтобы создать Еву.

Однажды понадобилось ему представить четыре стихии посредством аллегорий, обозначив каждую каким-нибудь животным. Фра Бенедетто выбрал крота для земли, рыбу для воды, саламандру для огня и хамелеона для воздуха. Но, полагая, что слово хамелеон есть увеличительное от *camelo*, которое значит верблюд,-монах в простоте сердца представил стихию воздуха в виде верблюда, который открывает пасть, чтобы лучше дышать. Когда же молодые художники стали смеяться над ним, указывая на ошибку, он терпел насмешки с христианскою кротостью, оставаясь при убеждении, что между верблюдом и хамелеоном нет разницы.

Таковы были и остальные познания благочестивого мастера о природе.

Давно уже в сердце Джованни проникли сомнения, новый мятежный дух, "бес мирского любомудрия", по выражению монаха. Когда же ученику фра Бенедетто, незадолго до поездки во Флоренцию, случилось увидеть некоторые из рисунков Леонардо да Винчи, эти сомнения нахлынули в душу его с такою силою, что он не мог им противиться.

В ту ночь, лежа рядом с мирно храпевшим мессером Джордже, в тысячный раз перебирал он в уме своем эти мысли, но чем более углублялся в них, тем более запутывался.

Наконец, решил прибегнуть к помощи небесной и, устремляя взор, полный надежды, в темноту ночи, стал молиться так:

- Господи, помоги мне и не оставь меня! Если мессер Леонардо - человек в самом деле безбожный, и в науке его - грех и соблазн, сделай так, чтобы я о нем больше не думал и о рисунках его позабыл. Избавь меня от искушения, ибо я не хочу согрешить перед Тобою. Но, если можно, угождая Тебе и прославляя имя Твое в благодарном искусстве живописи, знать все, чего фра Бенедетто не знает, и что мне так сильно хочется знать,- и анатомию, и перспективу, и прекраснейшие законы света и тени,- тогда, о Господи, дай мне твердую волю, просвети мою душу, чтобы я уже более не сомневался; сделай так, чтобы и мессер Леонардо принял меня в свою мастерскую, и чтобы фра Бенедетто - он такой добрый - простил меня и понял, что я ни в чем перед Тобою не виновен.

После молитвы Джованни почувствовал отраду и успокоился. Мысли его сделались неясными: он вспомнил, как в руках стекольщика раскаленное добела железное острие наждака впивается и, с приятным шипящим звоном, режет стекло; увидел, как из-под струга выходят, извиваясь, гибкие свинцовые полосы, которыми соединяют в рамках отдельные куски раскрашенных стекол. Чей-то голос, похожий на голос дяди, сказал: "зазубрин, побольше зазубрин по краям, тогда стекло крепче держится",- и все исчезло. Он повернулся на другой бок и заснул.

Джованни увидел сон, который впоследствии часто вспоминал: ему казалось, что он стоит в сумраке громадного собора перед окном с разноцветными стеклами. На них изображена была виноградная жатва таинственной лозы, о которой сказано в Евангелии: "Я семь истинная виноградная лоза, а Отец Мой виноградарь". Нагое тело Распятого лежит в точиле, и кровь льется из ран. Папы, кардиналы, императоры собирают ее, наполняют и катят бочки. Апостолы приносят гроздьи; св. Петр топчет их. В глубине пророки, патриархи окапывают лозы или срезают виноград. И с чаном вина проезжает колесница, в которую запряжены евангельские звери - лев, бык, орел; правит же ею ангел св. Матфея. Стекла с подобными изображениями Джованни встречал в мастерской своего дяди. Но нигде не видал таких красок - темных и в то же время ярких, как драгоценные камни. Всего больше наслаждался он алым цветом крови Господней. А из глубины собора долетали слабые, нежные звуки его любимой песни:

O, fior di castitate, Odorifero giglio, Con grain soavitate Sei di color vermiglio, Цветок целомудрия, Душистая лилия, О, полная негою, Багровая лилия!

Песнь умолкла, стекло потемнело - голос приказчика Антонио да Винчи сказал ему на ухо: "беги, Джованни, беги! Она-здесь!" Он хотел спросить "кто?", но понял, что Белобрысая у него за спиной. Повеяло холодом, и вдруг тяжелая рука схватила его за шею сзади и стала душить. Ему казалось, что он умирает.

Он вскрикнул, проснулся и увидел мессера Джордже, который стоял над ним и стаскивал с него одеяло: - Вставай, вставай, а то без нас уедут. Давно пора! - Куда? Что такое? - бормотал Джованни впросонках.

- Разве забыл? На виллу в Сан-Джервазио, раскапывать Мельничный Холм. - Я не поеду...

- Как не поедешь? Даром я тебя будил, что ли? Нарочно велел черного мула оседлать, чтобы удобнее было ехать вдвоем. Да ну же, вставай, сделай милость, не упрямься! Чего ты боишься, монашек? - Я не боюсь, но мне просто не хочется... - Послушай, Джованни: там будет этот твой хваленый мастер, Леонардо да Винчи.

Джованни вскочил и, не возражая более, стал одеваться. Они вышли на двор.

Все уже было готово к отъезду. Расторопный Грилло давал советы, бегал и суетился. Тронулись в путь. Несколько человек, знакомых мессера Чиприано, в том числе Леонардо да Винчи, должны были приехать позже другой дорогой, прямо в Сан-Джервазио.

Дождь перестал. Северный ветер разогнал тучи. В безлунном небе звезды мигали, как лампадные огни, задуваемые ветром. Смоляные факелы дымились и трещали, разбрасывая искры.

По улице Рикасоли, мимо Сан-Марко, подъехали к зубчатой башне ворот Сан-Галло. Сторожа долго спорили, ругались, не понимая спросонья, в чем дело, и только, благодаря хорошей взятке, согласились выпустить их из города.

Дорога шла узкою, глубокою долиною потока Муньоне. Миновав несколько бедных селений, с такими же тесными улицами, как во Флоренции, с высокими домами, похожими на крепости, сложенными из грубо отесанных камней, путники въехали в оливковую рощу, принадлежавшую поселянам Сан-Джервазио, спешили на перекрестке двух дорог и по винограднику мессера Чиприано подошли к Мельничному Холму.

Здесь ожидали их работники с лопатами и заступами. За холмом, по ту сторону болота, называвшегося Мокрой Лощиной, неясно белели в темноте между деревьями стены виллы Буонаккорзи. Внизу, на Муньоне, была водяная мельница. Стройные кипарисы чернели на вершине холма.

Грилло указал, где, по его мнению, следует копать. Мерула указывал на другое место, у подошвы холма, где нашли мраморную руку. А старший работник, садовник Строкко, утверждал, что следует

рыть внизу, у Мокрой Лощины, так как, по его словам: "всегда нечисть ближе к болоту водится".

Мессер Чиприано велел копать там, где советовал Грилло.

Застучали лопаты. Запахло разрытою землею. Летучая мышь едва не задела крылом лицо Джованни. Он вздрогнул.

- Не бойся, монашек, не бойся!-ободряя, похлопал его Мерула по плечу.-Никакого черта не найдем! Если бы еще не этот осел Грилло... Слава Богу, мы не на таких раскопках бывали! Вот, например, в Риме, в четыреста пятидесятую олимпиаду,-Мерула, пренебрегая христианским летосчислением, употреблял древнегреческое,- при

папе Иннокентии VIII, на Аппиевой дороге, близ памятника Цецилии Метеллы, в древнем римском саркофаге с надписью: Юлия, дочь Клавдия, ломбардские землекопы нашли тело, покрытое воском, девушки лет пятнадцати, как будто спящей. Румянец жизни не сошел с лица. Казалось, что она дышит. Несметная толпа не отходила от гроба. Из далеких стран приезжали взглянуть на нее, ибо Юлия была так прекрасна, что если бы можно было описать прелесть ее, то невидевшие не поверили бы. Папа испугался, узнав, что народ поклоняется мертвой язычнице, и велел ночью тайно похоронить ее у ворот Пинчианских.- Так вот, братец, какие раскопки бывают!

Мерула с презрением взглянул на яму, которая быстро углублялась.

Вдруг лопата одного из работников зазвенела. Все наклонились.

- Кости!-проговорил садовник.-Кладбище сюда в старину доходило.

В Сан-Джервазио послышался унылый, протяжный вой собаки.

"Могилу осквернили,-подумал Джованни.-Ну их совсем! Уйти от греха..."

- Остов лошадиный,- прибавил Строкко злорадно и вышвырнул из ямы полусгнивший продолговатый череп.

- В самом деле, Грилло, ты, кажется, ошибся,- сказал мессер Чиприано.- Не попытаться ли в другом месте?

- Еще бы! Охота дурака слушать,- произнес Мерула и, взяв двух работников, пошел копать внизу, у подошвы холма. Строкко, также назло упрямому Грилло, увел нескольких людей, желая начать поиски в Мокрой Лощине.

Через некоторое время мессер Джордже воскликнул, торжествуя:
- Вот, вот смотрите! Я знал, где надо рыть! Все бросились к нему. Но находка оказалась нелюбопытною: осколок мрамора был диким камнем.

Тем не менее никто не возвращался к Грилло, и, чувствуя себя опозоренным, стоя на дне ямы, он, при свете разбитого фонаря, продолжал упорно и безнадежно ковырять землю.

Ветер стих. В воздухе потеплело. Туман поднялся над Мокрою Лощиною. Пахло стоячею водою, желтыми весендами цветами и фиалками. Небо сделалось прозрачнее. Пропели вторые петухи. Ночь была на исходе.

Вдруг из глубины ямы, где находился Грилло, послышался отчаянный вопль:

- Ой, ой, держите, падаю!

Сперва ничего не могли разобрать в темноте, так как фонарь Грилло потух. Только слышно было, как он барахтается, охает и стонет.

Принесли другие фонари и увидели полузасыпанный землей кирпичный свод, как бы крышу тщательно выведенного подземного погреба, которая не выдержала тяжести Грилло и провалилась.

Два молодых сильных работника осторожно слезли в яму.

- Где же ты, Грилло? Давай руку! Или совсем тебя пришибло, бедняга?

Грилло замер, притих и, забыв сильную боль в руке,- он считал ее сломанной, но она была только вывихнута, что-то делал, щупал, ползал и странно копошился в погребе.

Наконец, закричал радостно:

- Идол! Идол! Мессере Чиприано, чудеснейший идол! - Ну, ну, чего кричишь? - проворчал недоверчиво Строкко.- Опять какой-нибудь череп ослиный.

- Нет, нет! Только рука отбита... А ноги, туловище, грудь - все целехонько,- бормотал Грилло, задыхаясь от восторга.

Подвязав себя веревками под мышки и вокруг стана, чтобы свод не провалился, работники опустились в яму и стали бережно разбирать хрупкие, осыпавшиеся кирпичи, покрытые плесенью.

Джованни, полулежа на земле, смотрел между согнутыми спинами рабочих в глубину погреба, откуда веяло спертой сыростью и могильным холодом. Когда свод почти разобрали, мессер Чиприано сказал: - Посторонитесь, дайте взглянуть.

И Джованни увидел на дне ямы, между кирпичными стенами, белое голое тело, Оно лежало, как мертвое в гробу, но казалось не мертвым, а розовым, живым и теплым в колеблющемся отблеске факелов.

- Венера! - прошептал мессер Джордже благоговейно.-Венера Праксителя! Ну, поздравляю вас, мессере Чиприано. Если бы вам подарили герцогство Миланское да в придачу Геную, вы не могли бы считать себя счастливее!..

Грилло вылез с усилием, и хотя по лицу его, запачканному землею, текла кровь из ссадины на лбу, и он не мог шевельнуть вывихнутой рукой,- в глазах сияла гордость победителя.

Мерула подбежал к нему.

- Грилло, друг ты мой люОезный, благодетель! А я-то тебя бранил, дураком называл,-умнейшего из людей! И, заключив в объятия, поцеловал с нежностью. - Некогда флорентийский зодчий, Филиппе Брунеллески,- продолжал Мерула,- под своим домом, в таком же точно погребе, нашел мраморную статую бога Меркурия: должно быть, в то время, когда христиане, победив язычников, истребляли идолов, последние поклонники богов, видя совершенства древних статуй и желая спасти их от гибели, прятали изваяния в кирпичные подземелья.

Грилло слушал, блаженно улыбался и не замечал, как пастушья свирель играла в поле, овцы на выгоне блеяли, небо светлело между холмами водянистым светом, и вдалеке, над Флоренцией, нежными голосами перекликались утренние колокола.

- Тише, тише! Правее, вот так. От стены подальше,- приказывал работникам Чиприано.- По пяти серебряных гроссо каждому, если вытащите, не сломав. Богиня медленно подымалась.

С той же ясною улыбкою, как некогда из пены волн морских, выходила она из мрака земли, из тысячелетней могилы.

Слава тебе, златоногая мать АфродитаРадость богов и людей! - приветствовал ее Мерула.

Звезды потухли все, кроме звезды Венеры, игравшей, как алмаз, в сиянии зари. И навстречу ей голова богини поднялась над краем могилы.

Джованни взглянул ей в лицо, освещенное утром, и прошептал, бледнея от ужаса: - Белая Дьяволица!

Вскочил и хотел бежать. Но любопытство победило страх. И если бы ему сказали, что он совершает смертный грех, за который будет осужден на вечную гибель,- не мог бы он оторвать взоров от голого невинного тела, от прекрасного лица ее.

В те времена, когда Афродита была владычицей мира, никто не смотрел на нее с таким благоговейным трепетом.

На маленькой сельской церкви Сан-Джервазио ударили в колокол. Все невольно оглянулись и замерли. Этот звук в затишьи утра похож был на гневный и жалобный крик. Порой тонкий, дребезжащий колокол замирал, как будто надорвавшись, но тотчас заливался еще громче порывистым, отчаянным звоном.

- Иисусе, помилуй нас! - воскликнул Грилло, хватаясь за голову.- Ведь это священник, отец Фаустино! Смотрите,- толпа на дороге, кричат, увидели нас, руками машут. Сюда бегут... Пропал я, горемычный!..

К Мельничному Холму подъехали новые всадники. То были остальные приглашенные на раскопки. Они опоздали, потому что заблудились.

Бельтраффио мельком взглянул, и как ни был поглощен созерцанием богини, заметил лицо одного из них. Выражение холодного, спокойного внимания и проникновенного любопытства, с которым незнакомец рассматривал Венеру и которое было так противоположно тревоге и смущению самого Джованни,- поразило его. Не подымая глаз, прикованных к статуе, все время чувствовал он за спиной своей человека с необыкновенным лицом.

- Вот что,- произнес мессер Чиприано после некоторого раздумья,- вила в двух шагах. Ворота крепкие, какую угодно осаду выдержат...

- И то правда!-воскликнул обрадованный Грилло,- ну-ка, братцы, живее, подымайте!

Он заботился об сохранении идола с отеческой нежностью.

Статую благополучно перенесли через Мокрую Лощину.

Едва переступили за порог дома, как на вершине Мельничного Холма появился грозный облик отца Фаустино с поднятыми к небу руками.

Нижняя часть виллы была необитаема. Громадный зал, с выбеленными стенами и сводами, служил складом земледельческих орудий и больших глиняных сосудов для оливкового масла. Пшеничная солома, сваленная в углу, золотистой копной громоздилась до потолка.

На ту солому, смиренное сельское ложе, бережно положили богиню.

Только что все успели войти и запереть ворота, как послышались крики, ругательства и громкий стук в ворота.

- Отоприте, отоприте!- кричал тонким, надтреснутым голосом отец Фаустино.- Именем Бога живого заклинаю, отоприте!..

Мессер Чиприано по внутренней каменной лестнице поднялся к узкому решетчатому окну, находившемуся очень высоко над полом, оглянул толпу, убедился, что она

не велика, и с улыбкой свойственной ему утонченной вежливости начал переговоры.

Священник не унимался и требовал, чтобы отдали идола, которого, по словам его, откопали на кладбищенской земле.

Консул Калималы, решив прибегнуть к военной хитрости, произнес твердо и спокойно:

- Берегитесь! Нарочный послан во Флоренцию к начальнику стражи, и через два часа будет здесь отряд кавалерии: силой никто не войдет в мой дом безнаказанно.

- Ломайте ворота,- воскликнул священник,- не бойтесь! С нами Бог! Рубите!

И, выхватив топор из рук подслеповатого рябого старичка с унылым, кротким лицом и подвязанной щекой, ударил в ворота со всего размаха. Толпа не последовала за ним.

- Дом Фаустино, а дом Фаустино,- шепелявил кроткий старичок, тихонько трогая его за локоть,- люди мы бедные, денег мотыгой из земли не выкапываем. Засудят - разорят!.. Дом (от лат. dominus - господин) - обращение к членам некоторых монашеских орденов.

Многие в толпе, заслышав о городских стражниках, думали о том, как бы улизнуть незаметно.

- Конечно, если бы на своей земле, на приходской,- другое дело,- рассуждали одни.

- А где межа-то проходит? Ведь по закону, братцы... - Что закон? Паутина: муха застрянет, шершень вылетит. Закон для господ не писан,- возражали другие. - И то правда! Каждый в земле своей владыка. В то время Джованни по-прежнему глядел на спасенную Венеру.

Луч раннего солнца проник в боковое окно. Мраморное тело, еще не совсем очищенное от земли, искрилось на солнце, словно нежилось и грелось после долгого подземного мрака и холода. Тонкие желтые стебли пшеничной соломы загорались, окружая богиню смиренным и пышным золотым ореолом.

И опять Джованни обратил внимание на незнакомца. Стоя на коленях, рядом с Венерой, вынул он циркуль, угломер, полукруглую медную дугу, наподобие тех, какие употреблялись в математических приборах, и, с выражением того же упорного, спокойного и проникновенного любопытства в холодных, светло-голубых глазах и тонких, плотно сжатых губах, начал мерить различные части прекрасного тела, наклоняя голову, так что длинная белокурая борода касалась мрамора.

- Что он делает? Кто это?-думал Джованни с возрастающим удивлением, почти страхом, следя за быстрыми, дерзкими пальцами, которые скользили по членам богини, проникая во все тайны прелести, ощупывая, исследуя неуловимые для глаза выпуклости мрамора.

У ворот виллы толпа поселян с каждым мгновением редела и таяла,

- Стойте, стойте, бездельники, хриstopродавцы! Стражи городской испугались, а власти антихристовой не боятесь!-вопил священник, простирая к ним руки.-Ipse vero Antichristus opes malorum effodiet et exponet.-Так говорил великий учитель Ансельм Кентерберийский. Effodietслышите? -Антихрист выроет древних богов из земли и снова явит их миру... Но никто уже не слушал.

- И бедовый же у нас отец Фаустино! - покачивал головой благоразумный мельник.-В чем душа держится, а на, поди ты, как расхорохорился! Добро бы клад нашли... - Идолище-то, говорят, серебряное. - Какой серебряное! Сам видел: мраморная, вся голая, бесстыдница...

- С такой паскудою, прости Господи, и рук-то марать не стоит! - Ты куда, Закелло? - В поле пора.

- Ну, с богом, а я на виноградник. Вся ярость священника обратилась на прихожан: - А, вот вы как, псы неверные, хамово отродье! Пастыря покинули! Да знаете ли вы, исчадие сатанинское, что если бы я за вас денно и ночью не молился, не бил себя в грудь, не рыдал и не постился,-давно бы уже все ваше селение окаянное сквозь землю провалилось? Кончено! Уйду от вас, и прах от ног моих отряхну. Проклятье на землю сию! Проклятье на хлеб и воду, и стада, и детей, и внуков ваших! Не отец я вам больше, не пастырь! Анафема!

В тихой глубине виллы, где богиня лежала на золотом соломенном ложе, Джордже Мерула подошел к незнакомцу, измерявшему статую.

- Божественной пропорции ищите? - молвил ученый с покровительственной усмешкой.- Красоту желаете к математике свести?

Тот молча посмотрел на него, как будто не расслышал вопроса, и опять углубился в работу.

Ножки циркуля складывались и раздвигались, описывая правильные геометрические фигуры. Спокойным, твердым движением приставил он угломер к прекрасным губам Афродиты,-сердце Джованни улыбка этих губ наполняла ужасом,- сосчитал деления и записал в книгу.

- Позвольте полюбопытствовать,- приставал Мерула,- тут сколько делений?

- Прибор неточный,-ответил незнакомец нехотя.- Обыкновенно для измерения пропорций я разделяю человеческое лицо на градусы, доли, секунды и терции. Каждое деление - двенадцатая часть предыдущего.

- Однако!-произнес Мерула.-Мне кажется, что последнее деление - меньше, чем ширина тончайшего волоса. Пять раз двенадцатая

часть...

- Терция,- так же нехотя объяснил ему собеседник,-одна сорок восемь тысяч восемьсот двадцать третья часть всего лица. Мерула поднял брови и усмехнулся:

- Век живи - век учись. Никогда не думал я, что можно дойти до такой точности! - Чем точнее, тем лучше,- заметил собеседник. - О, конечно!.. Хотя, знаете ли, в искусстве, в красоте, все эти математические расчеты - градусы, секунды... Я, признаться, не могу поверить, чтобы художник, в порыве восторга, пламенного вдохновения, так сказать, под наитием Бога...

- Да, да, вы правы,- со скучающим видом согласился незнакомец,- а все же любопытно знать...

И, наклонившись, сосчитал по угломеру число делений между началом волос и подбородком.

- Знать!-подумал Джованни.-Разве тут можно знать и мерить? Какое безумие! Или он не чувствует, не понимает?..

Мерула, очевидно желая задеть противника за живое и вызвать на спор, начал говорить о совершенстве древних, о том, что следует им подражать. Но собеседник молчал, и когда Мерула кончил,- произнес с тонкой усмешкой в свою длинную бороду:

- Кто может пить из родника - не станет пить из сосуда.

- Позвольте!-воскликнул ученый.-Если вы и древних считаете водою в сосуде, то где же родник? - Природа,- ответил незнакомец просто. И когда Мерула опять заговорил напыщенно и раздражительно,- он уже не спорил и соглашался с уклончивой любезностью. Только скучающий взор холодных глаз становился все равнодушнее.

Наконец, Джордже умолк, истощив свои доводы. Тогда собеседник указал на некоторые углубления в мраморе: ни в каком свете, ни слабом, ни сильном, нельзя было видеть их глазом,- только ощупью, проводя рукою по гладкой поверхности, можно было чувствовать эти бесконечные тонкости работы. И одним глубоким, чуждым восторга, пытливым взором окинул незнакомец все тело богини.

- А я думал, что он не чувствует!-удивился Джованни.- Но, если чувствует, то как можно мерить, испытывать, разлагать на числа? Кто

это?

- Мессере,- прошептал Джованни на ухо старику,- послушайте, мессере Джордже,- как имя этого человека?

- А, ты здесь, монашек,- произнес Мерула, обернувшись,-я и забыл о тебе. Да ведь это и есть твой любимец. Как же ты не узнал? Это мессер Леонардо да Винчи. И Мерула познакомил Джованни с художником.

Они возвращались во Флоренцию.

Леонардо ехал шагом на коне. Бельтраффио шел рядом пешком. Они были одни.

Между отволглыми черными корнями олив зеленела трава с голубыми ирисами, неподвижными на тонких стеблях. Было так тихо, как бывает только ранним утром раннею весною.

- Неужели это он?-думал Джованни, наблюдая и находя в нем каждую мелочь любопытной.

Ему было лет за сорок. Когда он молчал и думал - острые, светло-голубые глаза под нахмуренными бровями смотрели холодно и пронизательно. Но во время разговора становились добрыми. Длинная белокурая борода и такие же светлые, густые, вьющиеся волосы придавали ему вид величавый. Лицо полно было тонкою, почти женственною прелестью, и голос, несмотря на большой рост и могучее телосложение, был тонкий, странно высокий,

очень приятный, но не мужественный. Красивая рука,- по тому, как он правил конем, Джованни угадывал, что в ней большая сила,- была нежная, с длинными тонкими пальцами, точно у женщины.

Они подъезжали к стенам города. Сквозь дымку утреннего солнца виднелся купол Собора и башня Палаццо Веккьо.

- Теперь или никогда,- думал Бельтраффио.- Надо решить и сказать, что я хочу поступить к нему в мастерскую.

В это время Леонардо, остановив коня, наблюдал за полетом молодого кречета, который, выслеживая добычу,- утку или цаплю в болотных камышах Муньоне,- кружился в небе плавно и медленно; потом упал стремглав, точно камень, брошенный с высоты, с коротким хищным криком, и скрылся за верхушками деревьев. Леонардо проводил его глазами, не упуская ни одного поворота, движения и взмаха крыльев, открыл привязанную к поясу памятную

книжку и стал записывать,- должно быть, наблюдения над полетом птицы.

Бельтраффио, заметив, что карандаш он держал не в правой, а в левой руке, подумал: "левша"-и вспомнил странные слухи, ходившие о нем,- будто бы Леонардо пишет свои сочинения обратным письмом, которое можно прочесть только в зеркале,- не слева направо, как все, а справа налево, как пишут на Востоке. Говорили, что он это делает для того, чтобы скрыть преступные, еретические мысли свои о природе и Боге.

- Теперь или никогда! - снова сказал себе Джованни и вдруг вспомнил суровые слова Антонио да Винчи:

"Ступай к нему, если хочешь погубить душу свою: он еретик и безбожник".

Леонардо с улыбкой указал ему на миндальное деревцо: маленькое, слабое, одинокое, росло оно на вершине пригорка и, еще почти голое, зябкое, уже доверчиво и празднично оделось бело-розовым цветом, который сиял, насквозь пронизанный солнцем, и нежился в голубых небесах.

Но Бельтраффио не мог любоваться. На сердце его было тяжело и смутно.

Тогда Леонардо, как будто угадав печаль его, с добрым тихим взглядом сказал слова, которые Джованни часто вспоминал впоследствии:

- Если хочешь быть художником, оставь всякую печаль и заботу, кроме искусства. Пусть душа твоя будет,

как зеркало, которое отражает все предметы, все движения и цвета, само оставаясь неподвижным и ясным. Они въехали в городские ворота Флоренции.

Бельтраффио пошел в Собор, где в это утро должен был проповедовать брат Джироламо Савонарола.

Последние звуки органа замирали под гулкими сводами Мариа дель Фьоре. Толпа наполняла церковь душной теплотой, тихим шелестом. Дети, женщины и мужчины отделены были одни от других завесами. Под стрельчатыми арками, уходившими ввысь, было темно и таинственно, как в дремучем лесу. А внизу кое-где лучи солнца, дробясь в темно-ярких стеклах, падали дождем радужных отблесков

на живые волны толпы, на серый камень столбов. Над алтарем во мраке краснели огни семисвещников.

Обедня отошла. Толпа ожидала проповедника. Взоры обращены были на высокую деревянную кафедру с витой лестницею, прислоненную к одной из колонн в среднем корабле собора.

Джованни, стоя в толпе, прислушивался к тихим разговорам соседей:

- Скоро ли? - тоскливым голосом спрашивал низкорослый, задыхавшийся в тесноте, человек с бледным, потным лицом и прилипшими ко лбу волосами, перевязанными тонким ремнем,- должно быть, столяр.

- Одному Богу известно,-отвечал котельщик, широкоскулый, краснолицый великан с одышкой.- Есть у него в Сан-Марко некий монашек Маруффи, косноязычный и юродивый. Как тот скажет, что пора,- он и идет. Намедни четыре часа прождали, думали, совсем не будет проповеди, а тут и пришел.

- О, Господи, Господи!-вздыхнул столяр,-я ведь с полночи жду. Отощал, в глазах темнеет. Маковой росинки во рту не было. Хоть бы на корточки присесть.

- Говорил я тебе, Дамьяно, что надо загодя прийти. А теперь от кафедры вон как далеко. Ничего не услышим.

- Ну, брат, услышишь, не бойся. Как закричит, загремит,-тут тебе не только глухие, но и мертвые услышат! - Нынче, говорят, пророчествовать будет? - Нет,- пока Ноева ковчега не достроит... - Или не слышали? Кончено все до последней доски. И таинственное дано истолкование: длина ковчега - вера, ширина - любовь, высота - надежда. Поспешайте, сказано, поспешайте в Ковчег Спасения, пока еще двери отверзты! Се, время близко, закроются врата; и восплачут многие, что не покаялись, не вошли...

- Сегодня, братцы, о потопе,- семнадцатый стих шестой главы книги Бытия.

- Новое, говорят, было видение о гладе, море и войне. - Коновал из Валломброзы сказывал,- над селением ночью в небе несметные полчища сражались, слышен был стук мечей и броней...

- А правда ли, добрые люди, будто бы на лике Пресвятой Девы, что в Нунциате дей-Серви, кровавый пот выступил?

- Как же! И у Мадонны на мосту Рубаконте каждую ночь слезы каплют из глаз. Тетка Лучия сама видела.

- Не к добру это, ой, не к добру! Господи, помилуй нас грешных...

На половине женщин произошло смятение: упала в обморок старушка, стиснутая толпой. Старались поднять ее и привести в чувство.

- Скоро ли? Мочи моей больше нет! - чуть не плакал тщедушный столяр, вытирая пот с лица. И вся толпа изнывала в бесконечном ожидании. Вдруг море голов всколыхнулось. Послышался шепот. - Идет, идет, идет! - Нет, не он.- Фра Доменико да Пешия.- Он, он! - Идет!

Джованни увидел, как на кафедру медленно взошел и откинул куколь с головы человек в черной и белой доминиканской одежде, подпоясанный веревкой, с лицом исхудалым и желтым, как воск, с толстыми губами, крючковатым носом, низким лбом.

Левую руку, как бы в изнеможении, опустил на кафедру, правую поднял и протянул, сжимая Распятие. И молча, медленным взором горящих глаз обвел толпу.

Наступила такая тишина, что каждый мог слышать удары собственного сердца.

Неподвижные глаза монаха разгорались все ярче, как уголья. Он молчал,- и ожидание становилось невыносимым. Казалось - еще миг, и толпа не выдержит, закричит от ужаса.

Но сделалось еще тише, еще страшнее. И вдруг в этой мертвой тишине раздался оглушительный, раздирающий, нечеловеческий крик Савонаролы:

- Ессе его adduce aquas super terram! Се Аз низведу воды на землю!

Дыхание ужаса, от которого волосы дыбом встают на голове, пронеслось над толпой.

Джованни побледнел: ему почудилось, что земля шатается, своды собора сейчас рухнут и раздавят его. Рядом с ним толстый котельщик затрясся, как лист, и застучал зубами. Столяр весь съежился, вобрал голову в плечи, точно под ударом,-сморщил лицо и зажмурил глаза.

То была не проповедь, а бред, который вдруг охватил все эти тысячи народа, и помчал их, как мчит ураган сухие листья.

Джованни слушал, едва понимая. До него долетали отдельные слова:

"Смотрите, смотрите, вот уже небеса почернели. Солнце багрово, как запекшаяся кровь. Бегите! Будет дождь из огня и серы, будет град из раскаленных камней и целых утесов! Fuge, o, Sion, quae habitas apud filiam Babylonis!" Беги, о, Сион, живущий у дочери Вавилонской) (лат.)

"О, Италия, придут казни за казнями! Казнь войны - за голодом, казнь чумы - за войною! Казнь здесь и там - всюду казни!"

"У вас не хватит живых, чтобы хоронить мертвых! Их будет столько в домах, что могильщики пойдут по улицам и станут кричать: "У кого есть мертвые? и будут наваливать на телеги до самых лошадей, и, сложив их целыми горами, сжигать. И опять пойдут по улицам, крича: "у кого есть мертвые? У кого есть мертвые?" И выйдете вы к ним и скажете: "вот мой сын, вот мой брат, вот мой муж". И пойдут они далее и будут кричать: "нет ли еще мертвецов?"

"О, Флоренция, о, Рим, о, Италия! Прошло время песен и праздников. Вы больны, даже до смерти - Господи, ты свидетель, что я хотел поддержать моим словом эту развалину. Но не могу больше, нет моих сил! Я не хочу больше, я не знаю, что еще говорить. Мне остается только плакать, изойти слезами. Милосердия, милосердия. Господи!.. О, мой бедный народ, о, Флоренция!.."

Он раскрыл объятия и последние слова произнес чуть слышным шепотом. Они пронеслись над толпой и замерли, как шелест ветра в листьях, как вздох бесконечной жалости.

И прижимая помертвелые губы к Распятию, в изнеможении опустил он на колени и зарыдал.

Медленные, тяжкие звуки органа загудели, разрастаясь все шире и необъятнее, все торжественнее и грознее, подобно рокоту ночного океана.

Кто-то вскрикнул в толпе женщин пронзительным голосом:

- Misericordia! И тысячи голосов ответили, перекликаясь.словно колосья в поле под ветром,- волны за волнами, ряды за рядами,- теснясь, давя Друг друга, как под грозой овцы в испуганном стаде, они падали на колени. И сливаясь с многоголосым ревом и гулом органа, потрясая землю, каменные столбы и своды собора, вознесся

покаянный вопль народа, крик погибающих людей к Богу: - Misericordia! Misericordia!

Джованни упал, рыдая. Он чувствовал на спине своей тяжесть толстого котельщика, который в тесноте навалился на него, горячо дышал ему в шею и тоже рыдал. Рядом тщедушный столяр странно и беспомощно всхлипывал, точно икал, захлебываясь, как маленькие дети, и кричал пронзительно: - Милосердия! Милосердия!

Бельтраффио вспомнил свою гордыню и мирское любопытство, желание уйти от фра Бенедетто и предаться опасной, быть может, богопротивной науке Леонардо, вспомнил и последнюю страшную ночь на Мельничном Холме, воскресшую Венеру, свой грешный восторг перед красотой Белой Дьяволицы - и протягивая руки к небу, таким же отчаянным голосом, как все, возопил:

- Помилуй, Господи! Согрешил я пред Тобою, прости и помилуй!

И в то же мгновение, подняв лицо, мокрое от слез, увидел невдалеке Леонардо да Винчи. Художник стоял, опираясь плечом о колонну, в правой руке держал свою неизменную записную книжку, левой рисовал в ней, иногда вскидывая глаза на кафедру, должно быть, надеясь еще раз увидеть голову проповедника.

Чуждый всем, один в толпе, обуянный ужасом, Леонардо сохранял совершенное спокойствие. В холодных, бледноголубых глазах его, в тонких губах, плотно сжатых, как у человека, привыкшего к вниманию и точности, была не насмешка, а то самое любопытство, с которым он мерил математическими приборами тело Афродиты.

Слезы на глазах Джованни высохли; молитва замерла на губах.

Выйдя из церкви, он подошел к Леонардо и попросил позволения взглянуть на рисунок. Художник сперва не соглашался; но Джованни настаивал с умоляющим видом, и, наконец, Леонардо отвел его в сторону и подал ему записную книжку.

Джованни увидел страшную карикатуру. Это было лицо не Савонаролы, а старого безобразного дьявола в монашеской рясе, похожего на Савонаролу, изможденного самоистязаниями, но не победившего гордыни и похоти. Нижняя челюсть выдавалась вперед, морщины бороздили щеки и шею, отвислую, черную, как на высохшем трупе, вздернутые брови щетинились, и нечеловеческий взор, полный упрямой, почти злобной мольбы, устремлен был в небо.

Все темное, ужасное и безумное, что предавало брата Джироламо во власть юродивому, косноязычному ясновидцу Маруффи, было испытано в этом рисунке, обнажено без гнева и жалости, с невозмутимой ясностью знания.

И Джованни вспомнил слова Леонардо: "Душа художника должна быть подобной зеркалу, которое отражает все предметы, все движения и цвета, само оставаясь неподвижным и ясным".

Ученик фра Бенедетто поднял глаза на Леонардо и почувствовал, что хотя бы ему, Джованни, грозила вечная гибель, хотя бы он убедился, что Леонардо действительно слуга Антихриста,- не может он уйти от него, и неодолимая сила привлекает его к этому человеку: он должен узнать его до конца.

Немного времени спустя во Флоренцию пришла весть о том, что Карл VIII, христианнейший король Франции, во главе несметного войска, выступил в поход для завоевания Неаполя и Сицилии, быть может, Рима и Флоренции.

Граждане были в ужасе, ибо видели, что пророчества брата Джироламо Савонаролы совершаются - казни идут и меч Божий опускается на Италию.

Дня через два во Флоренцию, в дом мессера Чиприано Буонаккорзи, в это время занятого неожиданным стечением торговых дел и потому не успевшего перевезти Венеру в город,- прибежал Грилло с горестным известием: приходский священник, отец Фаустино, покинув Сан-Джервазио, отправился в соседнее горное селение Сан-Маурицио, запугал народ небесными карами, собрал ночью отряд поселян, осадил виллу Буонаккорзи, выломал двери, избил садовника Строкко, связал по рукам и ногам приставленных к Венере сторожей; над богиней была прочитана сложенная в древние времена молитва -*oratio super offigies vasaque in loco antique reperta*; в этой молитве над изваяниями и сосудами, находимыми в древних гробницах, служитель церкви просит Бога очистить вырытые из земли предметы от языческой скверны, обратив их на пользу душ христианских во славу Отца, Сына и Духа Святого,-*ut omni iiamunditia depulsa sint fidelibus tius utenda per Cristum Dominum nostrum*. Потом мраморное изваяние разбили,

осколки бросили в печь, обожгли, приготовили известь и обмазали ею недавно выведенную стену сельского кладбища.

При этом рассказе старого Грилло, который едва не плакал от жалости к идолу, Джованни почувствовал решимость. В тот же день пошел он к Леонардо и попросил, чтобы художник принял его учеником в свою мастерскую. И Леонардо принял его.

<h2>ВТОРАЯ КНИГА. ECCE DEUS-ECCE HOMO</h2>

Се Бог - се человек (лат.).

"Если тяжелый орел на крыльях держится в редком воздухе, если большие корабли на парусах движутся по морю,- почему не может и человек, рассекая воздух крыльями, овладеть ветром и подняться на высоту победителем?"

В одной из своих старых тетрадей прочел Леонардо эти слова, написанные пять лет назад. Рядом был рисунок: дышло, с прикрепленным к нему круглым железным стержнем, поддерживало крылья, приводимые в движение веревками.

Теперь машина эта казалась ему неуклюжей и безобразной.

Новый прибор напоминал летучую мышь. Остов крыла состоял из пяти пальцев, как на руке скелета, многоколенчатых, сгибающихся в суставах. Сухожилие из ремней дубленой кожи и шнурков сырого телка, с рычагом и шайбой, в виде мускула, соединяло пальцы. Крыло поднималось посредством подвижного стержня и шатуна. Накрахмаленная тафта, не пропускавшая воздуха, как перепонка на гусиной лапе, сжималась и распускалась. Четыре крыла ходили крест-накрест, как ноги лошади. Длина их - сорок локтей, высота подъема - восемь. Они откидывались назад, давая ход вперед, и опускались, подымая машину вверх. Человек, стоя, вдевал ноги в стремяна, приводившие в движение крылья посредством шнуров, блоков и рычагов. Голова управляла большим рулем с перьями, наподобие птичьего хвоста.

Птица, прежде чем вспорхнуть с земли, для первого размаха крыльев, должна приподняться на лапках: каменный стриж, у которого лапки короткие, положенный на землю, бьется и не может взлететь. Две тростниковые лесенки заменяли в приборе птичьи лапки.

Леонардо знал по опыту, что совершенное устройство машины сопровождается изяществом и соразмерностью всех частей: уродливый вид необходимых лесенок смущал изобретателя.

Он погрузился в математические выкладки: искал ошибку и не мог найти. Вдруг со злобой зачеркнул страницу, наполненную мелкими тесными рядами цифр, на полях написал: "неверно!" и сбоку прибавил ругательство большими, яростными буквами: "К черту!"

Вычисления становились все запутаннее; неуловимая ошибка разрасталась.

Пламя свечи неровно мигало, раздражая глаз. Кот, успевший выспаться, вспрыгнул на рабочий стол, потянулся, выгнул спину и начал играть лапкою с изъеденным молью чучелом птицы, подвешенным на бечевке к деревянной перекладине, прибором для определения центра тяжести при изучении полета. Леонардо толкнул кота, так что он едва не упал со стола и жалобно мяукнул.

- Ну, Бог с тобой, ложись, где хочешь, - только не мешай.

Ласково провел рукою по черной шерсти. В ней затрещали искры. Кот поджал бархатные лапки, важно улегся, замурлыкал и устремил на хозяина неподвижные зеленоватые зрачки, полные негой и тайною.

Опять потянулись цифры, скобки, дроби, уравнения, кубические и квадратные корни. Вторая бессонная ночь пролетала незаметно. Вернувшись из Флоренции в Милан, Леонардо провел целый месяц, почти никуда не выходя, в работе над летательной машиной.

В открытое окно заглядывали ветки белой акации, иногда роняя на стол нежные, сладко-пахучие цветы. Лунный свет, смягченный дымкой рыжеватых облаков с перламутровым отливом, падал в комнату, смешиваясь с красным светом заплывшей свечи.

Комната была загромождена машинами и приборами по астрономии, физике, химии, механике, анатомии. Колеса, рычаги, пружины, винты, трубы, стержни, дуги, поршни и другие части машин - медные, стальные, железные, стеклянные - как члены чудовищ или громадных насекомых, торчали из мрака, переплетаясь и путаясь. Виднелся водолазный колокол, мерцающий хрусталь оптического прибора, изображавшего глаз в больших размерах, скелет

лошади, чучело крокодила, банка с человеческим зародышем в спирту, похожим на бледную огромную личинку, острые лодкообразные лыжи для хождения по воде, и рядом, должно быть, случайно попавшая сюда из мастерской художника, глиняная головка девушки или ангела с лукавой и грустной улыбкой.

В глубине, в темном зеве плавильной печи с кузнечными мехами, розовели под пеплом угли.

И надо всем от полу до потолка распростирались крылья машины - одно еще голое, другое затянутое перепонкою. Между ними на полу, развалившись и закинув голову, лежал человек, должно быть, уснувший во время работы. В правой руке его была рукоять закоптелого медного черпака, откуда на пол вылилось олово. Одно из крыльев нижним концом тростникового легкого остова касалось груди спящего и от его дыхания тихонько вздрагивало, двигалось, как живое, шуршало о потолок острым верхним концом.

В неверном сиянии луны и свечи машина, с человеком между раскинутыми крыльями, имела вид гигантского нетопыря, готового вспорхнуть и улететь.

Луна закатилась. С огородов, окружавших дом Леонардо в предместьи Милана между крепостью и монастырем Мария делле Грацие, повеяло запахом овощей и трав - мяты, укропа. В гнезде над окном защебетали ласточки. В сажалке утки брызгались и весело кричали.

Пламя свечи померкло. Рядом, в мастерской, слышались голоса учеников.

Их было двое - Джованни Бельтраффио и Андреа Салаино. Джованни срисовывал анатомический слепок, сидя перед прибором для изучения перспективы - четырехугольной деревянной рамой с веревочной сеткой, которая соответствовала такой же сетке из пересекавшихся линий на бумаге рисовальщика.

Салаино накладывал алебастр на липовую доску для картины. Это был красивый мальчик с невинными глазами и белокурыми локонами, баловень учителя, который писал с него ангелов.

- Как вы думаете, Андреа,- спросил Бельтраффио,- скоро ли мессер Леонардо кончит машину?

- А Бог его знает,-ответил Салаино, насвистывая песенку и поправляя атласные, шитые серебром, отвороты

новых башмаков.- В прошлом году два месяца просидел, и ничего не вышло, кроме смеха. Этот косолапый медведь Зороастро пожелал лететь, во что бы то ни стало. Учитель его отговаривал, но тот заупрямился. И представь, взобрался-таки чудака на крышу, обмотал себя по всему телу связанными, как четки, бычачьими да свиными пузырями, чтобы не разбиться, если упадет,- поднял крылья и сначала вспорхнул, ветром его понесло, что ли, а потом сорвался, полетел вверх ногами - и прямо в навозную кучу. Мягко было, не расшибся, а только все пузыри на нем сразу лопнули, и такой был гром, как от пушечного выстрела,- даже галки на соседней колокольне испугались и улетели. А новый-то наш Икар ногами болтает в воздухе, вылезть не может из навозной кучи!

В мастерскую вошел третий ученик Чезаре да Сесто, человек уже немолодой, с болезненным желчным лицом, с умными и злыми глазами. В одной руке держал он кусок хлеба с ломтем ветчины, в другой - стакан вина.

- Тьфу, кислятина! - плюнул он, поморщившись.- И ветчина, как подошва. Удивляюсь: жалованья две тысячи дукатов в год-и кормит людей такую дрянью!

- Вы бы из другого бочонка, что под лестницей, в чулане,- молвил Салаино.

- Пробовал. Еще хуже. Что это у тебя, опять обновка?-посмотрел Чезаре на щегольской берет Салаино из пунцового бархата.- Ну и хозяйство у нас, нечего сказать. Собачья жизнь! На кухне второй месяц свежего окорока не могут купить. Марко божится, что у самого мастера ни гроша - все на эти крылья окаянные просаживает, в черном теле держит всех,- а деньги-то, вот они где! Любимчиков задаривает! Бархатные шапочки! И как тебе не стыдно, Андреа, от чужих людей подачки принимать? Ведь мессер Леонардо тебе не отец, не брат, и ты уже не маленький...

- Чезаре,- сказал Джованни, чтобы переменить разговор,- намерен вы обещали мне объяснить одно правило перспективы, помните? Учителя мы, видно, не дождемся. Он так занят машиною...

- Да, братцы, погодите,- ужо все в трубу вылетим с этой машиною, чтобы черт ее побрал! А, впрочем, не одно, так другое. Помню, однажды, среди работы над Тайной Вечерей, мастер вдруг увлекся изобретением новой машины для приготовления миланской червеллаты - белой колбасы из мозгов. И голова апостола Иакова Старшего так и осталась неоконченной, ожидая совершенства

колбасного крошила. Лучшую из своих Мадонн забросил он в угол, пока изобретал самовращающийся вертел, чтобы равномерно жарить каплунов и поросят. А это великое открытие щелока из куриного помета для стирки белья! Верите ли,- нет такой глупости, которой бы мессер Леонардо не предался с восторгом, только бы отделаться от живописи!

Лицо Чезаре передернулось судорогою, тонкие губы сложились в злую усмешку.

- И зачем только Бог дает таким людям талант! - прибавил он тихо и яростно.

А Леонардо все еще сидел, согнувшись над рабочим столом.

Ласточка влетела в открытое окно и закружилась в комнате, задевая о потолок и стены; наконец попала в крыло летательного прибора, как в западню, и запуталась в сетке веревочных сухожилий своими маленькими живыми крыльями.

Леонардо подошел, освободил пленницу, бережно, так, чтобы не причинить ей боли, взял в руку, поцеловал в шелковисто-черную головку и пустил в окно.

Ласточка взвилась и потонула в небе с радостным криком.

- Как легко, как просто! - подумал он, проводив ее завистливым, печальным взором. Потом с брезгливым чувством взглянул на свою машину, на мрачный остов исполинской летучей мыши. Человек, спавший на полу, проснулся. Это был помощник Леонардо, искусный флорентийский механик и кузнец, по имени Зороастро или Астро да Перетола.

Он вскочил, протирая свой единственный глаз: другой - вытек от искры, попавшей в него из пылающего горна во время работы. Неуклюжий великан, с детским простодушным лицом, вечно покрытым сажей и копотью, походил на одноглазого циклопа.

- Проспал!-воскликнул кузнец, в отчаянии хватаясь за голову.- Черт меня побери!-Эх, мастер, как же вы не разбудили? Торопился, думал, к вечеру и левое кончу, чтобы завтра утром лететь...

- Хорошо сделал, что выспался,- молвил Леонардо.- Все равно крылья не годятся.

- Как? Опять не годятся? Ну, нет, мессере, воля ваша, а я этой машины переделывать не стану. Сколько денег, сколько труда! И опять все прахом пойдет! Чего же еще? Чтоб на таких крыльях да не полететь! Не только человека-слона подымут! Вот увидите, мастер. Дозвольте разок попытаться-ну, хоть над водой,-если упаду, только выкупаюсь, я ведь плаваю, как рыба, ни за что не утону! i Он сложил руки с умоляющим видом.

Леонардо покачал головой. - Потерпи, друг. Все будет в свое время. Потом...

- Потом!-простонал кузнец, чуть не плача.-Отчего же не теперь? Право же, ну вот, как Бог свят,-полечу! - Не полетишь, Астро. Тут математика. - Так я и знал! Ну ее ко всем дьяволам, вашу математику! Только смущает. Сколько лет корпим! Душа изныла. Каждый глупый комар, моль, муха, прости Господи, поганая, навозная, и та летает, а люди, как черви, ползают. Разве это не обида? И чего ждать? Ведь вот они, крылья! Все готово,-кажется, взял бы, благословясь, взмахнул да и полетел,- только меня и видели! Вдруг он что-то вспомнил, и лицо его просияло. - Мастер, а, мастер? Что я тебе скажу. Сон-то я какой видел сегодня. Удивительный! - Опять летал?

- Да. И ведь как! Ты только послушай. Стою будто бы среди толпы в незнакомой горнице. Все на меня смотрят, пальцами указывают, смеются. Ну, думаю, если теперь не полечу - плохо. Подскочил, руками замахал изо всей мочи и стал подыматься. Сперва трудно, словно гора на плечах. А потом все легче да легче,- взвился, едва головой о потолок не стукнулся. И все кричат: смотрите, смотрите-полетел! Я прямо в окно, и все выше да выше, под самое небо,- только ветер в ушах свистит, и весело мне, смеюсь: почему, думаю, прежде не умел летать. Разучился, что ли? Ведь вот как просто! И никакой машины не надо!

Послышались вопли, ругательства, топот быстрых шагов по лестнице. Дверь распахнулась, и в нее вбежал человек с жесткой

щетиной огненно-рыжих волос, с красным лицом, покрытым веснушками. Это был ученик Леонардо - Марко д'Оджоне.

Он бранился, бил и тащил за ухо худенького мальчика лет десяти.

- Да пошлет тебе Господь злую Пасху, негодяй! Пятки я тебе сквозь глотку пропущу, мерзавец! - За что ты его. Марко? - спросил Леонардо. - Помилуйте, мессер! Две серебряные пряжки стибрил, флоринов десять каждая. Одну успел заложить и деньги в кости проиграл, другую зашил себе в платье, за подкладку - я там и нашел. Как следует хотел оттащить за вихры, а он мне же руку до крови укусил, чертенок! И с новой яростью схватил мальчика за волосы. Леонардо заступился и отнял у него ребенка. Тогда Марко выхватил из кармана связку ключей - он исполнял должность ключника в доме - и крикнул:

- Вот ключи, мессере! С меня довольно! С негодяями и ворами в одном доме я не живу. Или я, или он!

- Ну, успокойся, Марко, успокойся... Я накажу его, как следует.

Из двери мастерской выглядывали подмастерья. Между ними протеснилась толстая женщина - стряпуха Матурина. Только что вернулась она с рынка и держала в руке корзину с луком, рыбою, алыми жирными баклажанами и волокнистыми фэнокки. Увидев маленького преступника, замахала руками и затараторила - точно сухой горох посыпался из дырявого мешка.

Говорил и Чезаре, выражая удивление, что Леонардо терпит в доме этого "язычника", ибо нет такой бесцельной и жестокой шалости, на которую не способен Джакопо! камнем перешиб намерении ногу больному старому Фаджано, дворовому псу, разорил гнездо ласточек над конюшнею, и все знают, что его любимая забава - обрывать бабочкам крылья, любуясь их мучениями.

Джакопо не отходил от учителя, посматривая на врагов исподлобья, как затравленный волчонок. Красивое бледное лицо его было неподвижно. Он не плакал, но, встречая взгляд Леонардо, злые глаза выражали робкую мольбу.

Матурина вопила, требуя, чтобы выпороли, наконец, этого бесенка: иначе он всем на шею сядет, и житья от него не будет.

- Тише, тише! Замолчите, ради Бога,-произнес Леонардо, и на лице его появилось выражение странного малодушия, беспомощной

слабости перед семейным бунтом. Чезаре смеялся и шептал, злорадствуя. - Смотреть тошно! Мямля! С мальчишкой справиться не может... Когда наконец все накричались вдоволь и мало-помалу разошлись, Леонардо подозвал Бельтраффио, сказал ему ласково:

- Джованни, ты еще не видел Тайной Вечери. Я туда иду. Хочешь со мной? Ученик покраснел от радости.

Они вышли на маленький двор. Посередине был колодец. Леонардо умылся. Несмотря на две бессонные ночи, он чувствовал себя свежим и бодрым.

День был туманный, безветренный, с бледным, точно подводным, светом; такие дни художник любил для работы.

Пока они стояли у колодца, подошел Джакопо. В руках держал он самодельную коробочку из древесной коры.

- Мессере Леонардо,- произнес мальчик боязливо,- вот для вас...

Он осторожно приподнял крышку: на дне коробки был громадный паук.

- Едва поймал,-объяснил Джакопо.-В щель между камнями ушел. Три дня просидел. Ядовитый!

Лицо мальчика вдруг оживилось.

- А как мух-то ест!

Он поймал муху и бросил в коробку. Паук кинулся на добычу, схватил ее мохнатыми лапами, и жертва забилась, зажужжала все слабее, все тоньше.

- Сосет, сосет! Смотрите,- шептал мальчик, замирая от наслаждения. Глаза его горели жестоким любопытством, и на губах дрожала неясная улыбка.

Леонардо тоже наклонился, глядя на чудовищное насекомое.

И вдруг Джованни показалось, что у них у обоих в лицах мелькнуло общее выражение, как будто, несмотря на бездну, отделявшую ребенка от художника, они сходились в этом любопытстве к ужасному.

Когда муха была съедена, Джакопо бережно закрыл коробочку и сказал:

- Я к вам на стол отнесу, мессере Леонардо,-может быть, вы еще посмотрите. Он с другими пауками смешно дерется...

Мальчик хотел уйти, но остановился и поднял глаза с умоляющим видом. Углы губ его опустились и дрогнули. - Мессере,- произнес он тихо и важно,- вы на меня не сердитесь! Ну, что ж,- я и сам уйду, я давно думал, что надо уйти, только не для них - мне все равно, что они говорят,- а для вас. Ведь я знаю, что я вам надоел. Вы один добрый, а они злые, такие же, как я, только притворяются, а я не умею... Я уеду и буду один. Так лучше. Только вы меня все-таки простите...

Слезы заблестели на длинных ресницах мальчика. Он повторил еще тише, потупившись:

- Простите, мессере Леонардо!.. А коробочку я отнесу. Пусть останется вам на память. Паук проживет долго. Я попрошу Астро, чтобы он кормил его... Леонардо положил руку на голову ребенка. - Куда ты пойдешь, мальчик? Оставайся. Марко тебя простит, а я не сержусь. Ступай и вперед постарайся не делать зла никому.

Джакопо молча посмотрел на него большими недоумевающими глазами, в которых сияла не благодарность, а изумление, почти страх.

Леонардо ответил ему тихой, доброй улыбкой и погладил по голове с нежностью, как будто угадывая вечную тайну этого сердца, созданного природой злым и невинным во зле.

- Пора,-молвил учитель,-пойдем, Джованни. Они вышли в калитку и, по безлюдной улице, между заборами садов, огородов и виноградников, направились к монастырю Мария делле Грации.

Последнее время Бельтраффио был опечален тем, что не мог внести учителю условленной ежемесячной платы в шесть флоринов. Дядя поссорился с ним и не давал ни гроша. Джованни брал деньги у фра Бенедетто, чтобы заплатить за два месяца. Но у монаха больше не было: он отдал ему последние.

Джованни хотел извиниться перед учителем. - Мессере,- начал он робко, заикаясь и краснея,- сегодня четырнадцатое, а я плачу десятого по условию. Мне очень совестно... Но вот у меня всего только три флорина. Может быть, вы согласитесь подождать. Я скоро достану денег. Мерула обещал мне переписку... Леонардо посмотрел на него с изумлением: - Что ты, Джованни? Господь с тобой! Как тебе не стыдно говорить об этом?

По смущенному лицу ученика, по неискусным, жалобным и стыдливим заплатам на старых башмаках с протертыми веревочными швами, по изношенному платью он понял, что Джованни сильно нуждается. Леонардо нахмурился и заговорил о другом. Но через некоторое время, с небрежным и как бы рассеянным видом, пошарил в кармане, вынул золотую монету и сказал:

- Джованни, прошу тебя, зайди потом в лавку, купи мне голубой бумаги для рисования, листов двадцать, красного мела пачку да хорьковых кистей. Вот, возьми.

- Здесь дукат. На покупку десять сольди. Я принесу сдачи...

- Ничего не принесешь. Успеешь отдать. Больше о деньгах никогда и думать не смей, слышишь?

Он отвернулся и молвил, указывая на утренние туманные очертания лиственниц, уходивших вдаль длинным рядом по обоим берегам Навильо Гранде, канала, прямого, как стрела.

- Заметил ты, Джованни, как в легком тумане зелень деревьев становится воздушно-голубою, а в густом - бледно-серой.

Он сделал еще несколько замечаний о различии теней, бросаемых облаками на летние, покрытые листвою, и зимние, безлиственные горы. Потом опять обернулся к ученику и сказал: - А ведь я знаю, почему ты вообразил, что я скряга. Готов побиться об заклад, что верно угадал. Когда мы с тобой говорили о месячной плате, должно быть, ты заметил, как я расспросил и записал в памятную книжку все до последней мелочи, сколько, когда, от кого. Только, видишь ли? - надо тебе знать, друг мой, что у меня такая привычка, должно быть, от отца моего, нотариуса Пьетро да Винчи, самого точного и благоразумного из людей. Мне она впрок не пошла и в делах никакой пользы не приносит. Веришь ли, иногда самому смешно перечитывать - такие пустяки записываю! Могу сказать с точностью, сколько данари стоило перо и бархат для новой шляпы Андреа Салаино, а куда тысячи дукатов уходят, не знаю. Смотри же, - вперед, Джованни, не обращай внимания на эту глупую привычку. Если тебе нужны деньги, бери и верь, что я тебе даю, как отец сыну...

Леонардо взглянул на него с такою улыбкой, что на сердце ученика сразу сделалось легко и радостно.

Указывая спутнику на странную форму одного низкорослого шелковичного дерева в саду, мимо которого они проходили, учитель заметил, что не только у каждого дерева, но и у каждого из листьев - особенная, единственная, более нигде и никогда в природе не повторяющаяся, форма, как у каждого человека - свое лицо.

Джованни подумал, что он говорит о деревьях с той же самой добротой, с которою только что говорил об его горе, как будто это внимание ко всему живому, обращаясь на природу, давало взгляду учителя пронизательность ясновидящего.

На низменной, плодородной равнине из-за темнозеленых тутовых деревьев выступила церковь доминиканской обители Мария делле Грации, кирпичная, розовая, веселая на белом облачном небе, с широким ломбардским куполом, подобным шатру, с лепными украшениями из обожженной глины - создание молодого Браманте. Они вошли в монастырскую трапезную.

Это была простая длинная зала с голыми выбеленными стенами, с темными деревянными балками потолка, уходившими вглубь. Пахло теплою сыростью, ладаном и застарелым чадом постных блюд. У простенка, ближайшего ко входу, находился небольшой обеденный стол отца-игумена. По обеим сторонам его-длинные узкие столы монахов.

Было так тихо, что слышалось жужжание мухи в окне с пыльно-желтыми гранями стекла. Из монастырской кухни доносился говор, стук железных сковород и кастрюль.

В глубине трапезной, у стены, противоположной столу приора, затянутой серым грубым холстом, возвышались дощатые подмости.

Джованни догадался, что под этим холстом - произведение, над которым учитель работал уже более двенадцати лет,- Тайная Вечеря.

Леонардо взошел на подмости, отпер деревянный ящик, где хранились подготовительные рисунки, картоны, кисти и краски, достал маленькую, исчерченную заметками на полях, истрепанную латинскую книгу, подал ее ученику и сказал:

- Прочти тринадцатую главу от Иоанна. И откинул покрывало.

Когда Джованни взглянул, в первое мгновение ему показалось, что перед ним не живопись на стене, а действительная глубина воздуха, продолжение монастырской трапезной - точно другая

комната открылась за отдернутой завесою, так что продольные и поперечные балки потолка ушли в нее, суживаясь в отдалении, и свет дневной слился с тихим вечерним светом над голубыми вершинами Сиона, которые виднелись в трех окнах этой новой трапезной, почти такой же простой, как монашеская, тольк" обитой коврами, более уютной и таинственной. Длинный стол, изображенный на картине, похож был на те, за которыми обедали монахи: такая же скатерть с узорными, тонкими полосками, с концами, завязанными в узлы, и четырехугольными, нерасправленными складками, как будто еще немного сырая, только что взятая из монастырской кладовой, такие же стаканы, тарелки, ножи, стеклянные сосуды с вином. И он прочел в Евангелии:

"Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их.

И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Искариоту предать Его,- возмущился духом, и сказал: аминь, аминь, глаголю вам, один из вас предаст меня.

Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит.

"Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса.

Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит.

Он, припавши к груди Иисуса, сказал ему: "Господи, кто это?"

Иисус ответил: "тот, кому я, омочив хлеб, подам". И омочив хлеб, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана". Джованни поднял глаза на картину.

Лица апостолов дышали такою жизнью, что он как будто слышал их голоса, заглядывал в глубину их сердец, смущенных самым непонятным и страшным из всего, что когда-либо совершалось в мире,- рождением зла, от которого Бог должен умереть.

Особенно поразили Джованни Иуда, Иоанн и Петр. Голова Иуды не была еще написана, только тело, откинутае назад, слегка очерчено: сжимая в судорожных пальцах мошну со сребрениками,

нечаянным движением руки опрокинул он солонку - и соль просыпалась.

Петр, в порыве гнева, стремительно вскочил из-за него, правой рукой схватил нож, левую опустил на плечо Иоанна, как бы вопрошая любимого ученика Иисусова: "кто предатель?" - и старая, серебристо-седая, лучезарно гневная голова его сияла тою огненной ревностью, жаждою подвига, с которою некогда он должен был воскликнуть, поняв неизбежность страданий и смерти Учителя: "Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за Тебя".

Ближе всех ко Христу был Иоанн; мягкие как шелк, гладкие сверху, книзу вьющиеся волосы, опущенные веки, отягченные негою сна, покорно сложенные руки, лицо с продолговато-круглым очерком - все дышало в нем небесной тишиной и ясностью. Один из всех учеников, он больше не страдал, не боялся, не гневался. В нем исполнилось слово Учителя: "да будут все едино, как Ты, Отче, во мне и Я в Тебе". Джованни смотрел и думал:

"Так вот кто Леонардо! А я еще сомневался, едва не поверил клевете. Человек, который создал это,-безбожник? Да кто же из людей ближе ко Христу, чем он!".

Окончив нежными прикосновениями кисти лицо Иоанна и взяв из ящика кусок угля, учитель пытался сделать очерк головы Иисуса. Но ничего не выходило.

Обдумывая десять лет эту голову, он все еще не умел набросать даже первого очерка.

И теперь, как всегда, перед гладким белым местом в картине, где должен был и не мог явиться лик Господа, художник чувствовал свое бессилие и недоумение.

Отбросив уголь, стер губкою легкий след его и погрузился в одно из тех размышлений перед картиной, которые длились иногда целыми часами.

Джованни взошел на подмости, тихонько приблизился к нему и увидел, что мрачное, угрюмое, точно постаревшее, лицо Леонардо выражает упорное напряжение мысли, подобное отчаянию. Но, встретив взор ученика, он молвил приветливо: - Что скажешь, друг?

- Учитель, что я могу сказать? Это -прекрасно, прекраснее всего, что есть в мире. И этого никто из людей не понял, кроме вас. Но

лучше не говорить. Я не умею...

Слезы задрожали в голосе его. И он прибавил тихо, как будто с боязнью:

- И вот, что я еще думаю и не понимаю: каким должно быть лицо Иуды среди таких лиц?

" Учитель достал из ящика рисунок на клочке бумаги и показал ему.

Это было лицо страшное, но не отталкивающее, даже не злобное - только полное бесконечною скорбью и горечью познания.

Джованни сравнил его с лицом Иоанна. - Да,- произнес он шепотом,- это он! Тот, о ком сказано: "вошел в него сатана". Он, может быть, знал больше всех, но не принял этого слова: "да будут все едино". Он сам хотел быть один.

В трапезную вошел Чезаре да Сесто с человеком в одежде придворных истопников.

- Наконец-то нашли мы вас!-воскликнул Чезаре.- Всюду ищем... От герцогини по важному делу, мастер!..

- Не угодно ли будет вашей милости пожаловать во дворец? -добавил истопник почтительно. - Что случилось?

- Беда, мессер Леонардо! В банях трубы не действуют, да еще, как на грех, сегодня утром, только что герцогиня изволила в ванну сесть, а служанка за бельем вышла в соседнюю горницу, ручка на кране с горячей водою сломалась, так что их светлость никак не могли воду остановить. Хорошо, что успели выскочить из ванны. Едва кипятком не обожглись. Очень изволят, гневаться: мессер Амброджо да Феррари, управляющий, жалуются, говорят,-неоднократно предупреждали вашу милость о неисправности труб...

- Вздор! - молвил Леонардо.- Видишь, я занят. Ступай к Зороастро. Он в полчаса поправит. - Никак нет, мессере! Без вас приходить не велено... Не обращая на него внимания, Леонардо хотел опять приняться за работу. Но, взглянув на пустое место для головы Иисуса, поморщился с досадою, махнул рукой, как бы вдруг поняв, что и на этот раз ничего не выйдет, запер ящик с красками и сошел с подмосток.

- Ну, пойдем, все равно! Приходи за мной на большой двор замка, Джованни. Чезаре тебя проводит. Я буду ждать вас у Коня.

Этот Конь был памятник покойного герцога Франческо Сфорца.

И к изумлению Джованни, не оглянувшись на Тайную Вечерю, как будто радуясь предлогу уйти от работы, учитель пошел с истопником чинить трубы для спуска грязной воды в герцогских банях.

- Что? Насмотреться не можешь? - обратился Чезаре к Бельтраффио.- Пожалуй, оно и вправду удивительно, пока не раскусишь... - Что ты хочешь сказать?

- Нет, так... Я не буду разуберять тебя. Может быть, и сам увидишь. Ну, а пока - умиляйся...

- Прошу тебя, Чезаре, скажи прямо все, что ты думаешь.

- Изволь. Только, чур, потом не сердись и не пеняй за правду. Впрочем, я знаю все, что ты скажешь, и спорить не буду. Конечно, это - великое произведение. Ни у одного мастера не было такого знания анатомии, перспективы, законов света и тени. Еще бы! Все с природы списано - каждая морщинка в лицах, каждая складка на скатерти. Но духа живого нет. Бога нет и не будет. Все мертво - внутри, в сердце мертво! Ты только взглядишь, Джованни, какая геометрическая правильность, какие треугольники: два созерцательных, два деятельных, средоточие во Христе. Вон по правую сторону - созерцательный: совершенное добро-в Иоанне, совершенное злов Иуде, различие добра от зла, справедливость - в Петре. А рядом-треугольник деятельный: Андрей, Иаков Младший, Варфоломей. И по левую сторону от центра - опять созерцательный: любовь Филиппа, вера Иакова Старшего, разум Фомы - и снова треугольник деятельный. Геометрия вместо вдохновения, математика вместо красоты! Все обдуманно, рассчитано, изжевано разумом до тошноты, испытано до отвращения, взвешено на весах, измерено циркулем. Под святыней-кощунство!

- О, Чезаре! - произнес Джованни с тихим упреком,- как ты мало знаешь учителя! И за что ты так его... не любишь?..

- А ты знаешь и любишь? -быстро обернув к нему лицо, молвил Чезаре с язвительной усмешкой.

В глазах его сверкнула такая неожиданная злоба, что Джованни невольно потупился.

- Ты несправедлив, Чезаре,- прибавил он, помолчав.- Картина не кончена: Христа еще нет.

- Христа нет. А ты уверен, Джованни, что Он будет? Ну, что же, посмотрим! Только помяни мое слово: Тайной Вечери мессер Леонардо не кончит никогда, ни Христа, ни Иуды не напишет. Ибо, видишь ли, друг мой, математикой, знанием, опытом многого достигнешь, но не всего. Тут нужно другое. Тут предел, которого он со всей своей наукой не переступит!

Они вышли из монастыря и направились к замку Ка стелло-ди-Порта-Джовиа. - По крайней мере, в одном, Чезаре, ты наверное ошибаешься,-сказал Бельтраффио,-Иуда уже есть... - Есть? Где? - Я видел сам. - Когда?

- Только что, в монастыре. Он мне показывал рисунок. - Тебе? Вот как! Чезаре посмотрел на него и молвил медленно, как будто с усилием: - Ну и что же, хорошо?.. Джованни молча кивнул головою. Чезаре ничего не

ответил и во всю дорогу уже больше не заговаривал, погруженный в задумчивость.

Они подошли к воротам замка и через Баттипонте, подъемный мост, вступили в башню южной стены, Торреди-Филарете, со всех сторон окруженную водою глубоких рвов. Здесь было мрачно, душно, пахло казармою, хлебом и навозом. Эхо под гулками сводами повторяло разноязычный говор, смех и ругательства наемников.

Чезаре имел пропуск. Но Джованни, как незнакомого, осмотрели подозрительно и записали имя его в караульную книгу.

Через второй подъемный мост, где подвергли их новому осмотру, вступили они на пустынную внутреннюю площадь замка, Пьяцца д'Арме-Марсово Поле.

Прямо перед ними чернела зубчатая башня Бонны Савойской над Мертвым Рвом, Фоссато Морто. Справа был вход в почетный двор, Кorte Дукале, слева - в самую неприступную часть замка, крепость Рокетту, настоящее орлиное гнездо.

Посередине площади виднелись деревянные леса, окруженные небольшими пристройками, заборами и навесами из досок, сколоченных на скорую руку, но уже потемневших от старости, кое-где покрытых пятнами желто-серых лишайев.

Над этими заборами и лесами возвышалось глиняное изваяние, называвшееся Колоссом, в двенадцать локтей вышины, конная статуя

работы Леонардо.

Гигантский конь из темно-зеленой глины выделялся на облачном небе. он взвился на дыбы, попирая копытами воина; победитель простирает герцогский жезл. Это был великий кондотьер, Франческо Сфорца, искатель приключений, продавший кровь свою за деньги - полусолдат, полуразбойник. Сын бедного романьольского землепашца, вышел он из народа, сильный, как лев, хитрый, как лиса, достиг вершины власти злодеяниями, подвигами, мудростью-и умер на престоле миланских герцогов. Луч бледного влажного солнца упал на Колосса. Джованни прочел в этих жирных морщинах двойного подбородка, в страшных глазах. Полных хищною зоркостью, добродушное спокойствие сытого зверя. А на подножии памятника увидел запечатленной в мягкой глине рукой самого Леонардо двуступиши:

Expectant animi molemque futuram, Suspiciunt; fluat aes; vox erit: Ecce Deus! '

Предчувствуют души грядущее; Расплавится медь; и голос будет: се Бог! (лат.).

Его поразили два последние слова Ecce Deus!-Се Бог!

- Бог,- повторил Джованни, взглянув на глиняного Колосса и на человеческую жертву, попираемую конем триумфатора, Сфорца-Насильника, и вспомнил безмолвную трапезную в обители Марии Благодатной, голубые вершины Сиона, небесную прелесть лица Иоанна и тишину последней Вечери того Бога, о котором сказано: Ecce homo!-Се человек! К Джованни подошел Леонардо.

- Я кончил работу. Пойдем. А то опять позовут во дворец: там, кажется, кухонные трубы дымят. Надо улизнуть, пока не заметили.

Джованни стоял молча, потупив глаза; лицо его было бледно.

- Простите, учитель!.. Я думаю и не понимаю, как вы могли создать этого Колосса и Тайную Вечерю вместе, в одно и то же время?

Леонардо посмотрел на него с простодушным удивлением.

- Чего же ты не понимаешь?

- О, мессер Леонардо, разве вы не видите сами? Этого нельзя-вместе...

- Напротив, Джованни. Я думаю, что одно помогает другому: лучшие мысли о Тайной Вечере приходят мне именно здесь, когда я

работаю над Колоссом, и, наоборот, там, в монастыре, я люблю обдумывать памятник. Это два близнеца. Я их вместе начал. - вместе кончу.

- Вместе! Этот человек и Христос? Нет, учитель, не может быть!..- воскликнул Бельтраффио и, не умея лучше выразить своей мысли, но чувствуя, как сердце его возмущается нестерпимым противоречием, он повторял: - Этого не может быть!.. - Почему не может? - молвил учитель. Джованни хотел что-то сказать, но, встретив взор спокойных, недоумевающих глаз Леонардо, понял, что нельзя ничего сказать, что все равно - он не поймет.

- Когда я смотрел на Тайную Вечерю,- думал Бельтраффио,- мне казалось, что я узнал его. И вот опять я ничего не знаю. Кто он? Кому из двух сказал он в сердце своем: Се Бог? Или Чезаре прав, и в сердце Леонардо нет Бога?

Ночью, когда все в доме спали, Джованни вышел, мучимый бессонницей, на двор и сел у крыльца на скамью под навесом виноградных лоз.

Двор был четырехугольный, с колодцем посередине. Ту сторону, которая была за спиной Джованни, занимала стена дома; против него были конюшни; слева каменная ограда с калиткою, выходившею на большую дорогу к Порта Верчеллина, справа - стена маленького сада, и в ней дверца, всегда запиравшаяся на замок, потому что в глубине сада было отдельное здание, куда хозяин не пускал никого, кроме Астро, и где он часто работал в совершенном уединении.

Ночь была тихая, теплая и сырая; душный туман пропитан мутным лунным светом.

В запертую калитку стены, выходившей на большую дорогу, слышался стук.

Ставня одного из нижних окон открылась, высунулся человек и спросил: - Мона Кассандра? - Я. Отопри. Из дома вышел Астро и отпер.

Во двор вступила женщина, одетая в белое платье, казавшееся на луне зеленоватым, как туман.

Сначала они поговорили у калитки; потом прошли мимо Джованни, не заметив его, окутанного черной тенью от выступа крыльца и виноградных лоз. Девушка присела на невысокий край

колодца. Лицо у нее было странное, равнодушное и неподвижное, как у древних изваяний: низкий лоб, прямые брови, слишком маленький подбородок и глаза прозрачно-желтые,

как янтарь. Но больше всего поразили Джованни волосы: сухие, пушистые, легкие, точно обладавшие отдельною жизнью,- как змеи Медузы, окружали они голову черным ореолом, от которого лицо казалось еще бледнее, алые губы - ярче, желтые глаза - прозрачнее.

- Ты, значит, тоже слышал, Астро, о брате Анджело? - сказала девушка.

- Да, мона Кассандра. Говорят, он послан папою для искоренения колдовства и всяких ересей. Как послушаешь, что добрые люди рассказывают об отцах-инквизиторах, мороз по коже подирает. Не дай Бог попасть им в лапы! Будьте осторожнее. Предупредите вашу тетку... - Какая она мне тетка!

- Ну, все равно, эту мону Сидонию, у которой вы живете.

- А ты думаешь, кузнец, что мы ведьмы? - Ничего я не думаю! Мессер Леонардо подробно объяснил и доказал мне, что колдовства нет и быть не может, по законам природы. Мессер Леонардо все знает и ни во что не верит...

- Ни во что не верит,-повторила мона Кассандра,- в черта не верит? А в Бога? - Не смейтесь. Он человек праведный. - Я не смеюсь. А только, знаешь ли, Астро, какие бывают забавные случаи? Мне рассказывали, что у одного великого безбожника отцы-инквизиторы нашли договор с дьяволом, в котором этот человек обязывался отрицать, на основании логики и естественных законов, существование ведьм и силу черта, дабы, избавив слуг сатанинских от преследований Святейшей Инквизиции, тем самым укрепить и умножить царство дьявола на земле. Вот почему говорят: быть колдуном-ересь, а не верить в колдовстводважды ересь. Смотри же, кузнец, не выдавай учителя,- никому не рассказывай, что он не верит в черную магию.

Сначала Зороастро смутился от неожиданности, потом стал возражать, оправдывая Леонардо. Но девушка перебила его:

- А что, как у вас летательная машина? Скоро будет готова? Кузнец махнул рукой.

- Готова, как бы не так! Все сызнова переделывать будем.

- Ах, Астро, Астро! И охота тебе верить вздору! Разве ты не понимаешь, что все эти машины только для отвода глаз? Мессер Леонардо, я полагаю, давно уже летает...

- Как летает? - Да вот так же, как я. Он посмотрел на нее в раздумьи.

- Может быть, это вам только снится, мона Кассандра?

- А как же другие видят? Или ты об этом не слышал?

Кузнец в нерешительности почесал у себя за ухом. - Впрочем, я и забыла,- продолжала она с насмешкою,- вы ведь тут люди ученые, ни в какие чудеса не верите, у вас все механика!

- Ну ее к черту! Вот она мне где, эта механика! указал кузнец на свой затылок. Потом, сложив руки с мольбою, воскликнул: - Мона Кассандра! Вы знаете, я человек верный. Да мне и болтать невыгодно. Того и гляди, брат Анджело самих притянет. Скажите же, сделайте милость, скажите мне все в точности!. - Что сказать? - Как вы летаете?

- Вот чего захотел! Ну, нет,-этого я тебе не скажу. Много будешь знать, рано состаришься.

Она помолчала. Потом, заглянув ему прямо в глаза долгим взглядом, прибавила тихо: - Что тут говорить? Делать надо! - А что нужно? - спросил он дрогнувшим голосом, немного бледнея.

- Слово знать, и зелье такое есть, чтобы тело мазать. - У вас есть? - Есть.

- И слово знаете? Девушка кивнула головою. - И полечу? - Попробуй. Увидишь-это вернее механики!

Единственный глаз кузнеца загорелся огнем безумного желания.

- Мона Кассандра, дайте мне вашего зелья! Она засмеялась тихим, странным смехом. - И чудака же ты, Астро! Только что сам называл тайны магии глупыми бреднями, а теперь вдруг поверил... Астро потупился с унылым, упрямым выражением в лице.

- Я хочу попробовать. Мне ведь все равно - чудом или механикой, только бы лететь! Я больше ждать не могу...

Девушка положила ему руку на плечо. - Ну, Бог с тобой! Мне тебя жаль. В самом деле, чего доброго, с ума сойдешь, если не полетишь. Уж так и быть, дам я тебе зелья и слово скажу. Только и ты, Астро, сделай то, о чем я тебя попрошу. - Сделаю, мона Кассандра, сделаю

все[Говорите!.. Девушка указала на мокрую черепичную крышу, блестящую за стеной сада в лунном тумане. - Пусти меня туда. Астро нахмурился и покачал головой. - Нет, нет... Все, что хотите, только не это! - Почему?

- Я слово дал не пускать никого. - А сам был? " - Был. - Что же там такое?

- Да никаких тайн. Право же, мона Кассандра, ничего любопытного: машины, приборы, книги, рукописи, есть и редкие цветы, животные, насекомые-ему путешественники привозят из далеких стран. И еще одно дерево, ядовитое... - Как ядовитое?..

- Так, для опытов. Он отравил его, изучая действие ядов на растения.

- Прошу тебя, Астро, расскажи мне все, что ты знаешь об этом дереве.

- Да тут и рассказывать нечего. Ранней весной, когда оно было в соку, пробуравил отверстие в стволе до сердцевины и полою, длинною иглою вбрызгивал какую-то жидкость. - Странные опыты! Какое же это дерево? - Персиковое.

- Ну, и что же? Плоды налились ядом? - Нальются, когда созреют. - И видно, что они отравлены?

- Нет, не видно. Вот почему он и не впускает никого: МОЖНО соблазниться красотой плодов, съесть и умереть. - Ключ у тебя? - У меня. - Дай ключ, Астро!

- Что вы, что вы, мона Кассандра! Я поклялся ему... - Дай ключ!- повторила Кассандра.-Я сделаю так, что ты в эту же ночь полетишь, слышишь,- в эту же ночь! Смотри, вот зелье.

Она вынула из-за пазухи и показала ему стеклянный пузырек, наполненный темною жидкостью, слабо блеснув шей в лунном свете, и, приблизив к нему лицо, прошептала вкрадчиво:

- Чего ты боишься, глупый? Сам же говоришь, что нет никаких тайн. Мы только войдем и посмотрим... Ну же, дай ключ!

- Оставьте меня!-проговорил он.-Я все равно не пущу, и зелья мне вашего не надо. Уйдите!

- Трус!-молвила девушка с презрением.-Ты мог бы и не смеешь знать тайны. Теперь я вижу, что он колдун и обманывает тебя, как

ребенка... Он молчал угрюмо, отвернувшись. Девушка опять подошла к нему:

- Ну, хорошо, Астро, не надо. Я не войду. Только открой дверь и дай посмотреть... - Не войдете? - Нет, только открой и покажи. Он вынул ключ и отпер.

Джованни, тихонько привстав, увидел в глубине маленького сада, окруженного стенами, обыкновенное персиковое дерево. Но в бледном тумане, под мутно-зеленым лунным светом, оно показалось ему зловещим и призрачным.

Стоя у порога, девушка смотрела с жадным любопытством широко открытыми глазами; потом сделала шаг вперед, чтобы войти. Кузнец удержал ее. Она боролась, скользила между рук, как змея. Он оттолкнул ее так, что она едва не упала. Но тотчас выпрямилась и посмотрела на него в упор. Бледное, точно мертвое, лицо ее было злобно и страшно: в эту минуту она в самом деле была похожа на ведьму.

Кузнец запер дверь сада и, не прощаясь с моной Кассандрой, вошел в дом.

Она проводила его глазами. Потом быстро прошла мимо Джованни и выскользнула в калитку на большую дорогу к Порта-Верчеллина.

Наступила тишина. Туман еще сгустился. Все исчезало и таяло в нем.

Джованни закрыл глаза. Перед ним встало, как в видении, страшное дерево с тяжелыми каплями на мокрых листьях, с ядовитыми плодами в мутно-зеленом лунном свете- и вспомнились ему слова Писания:

"Заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть.

А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь". <h2>ТРЕТЬЯ КНИГА. ЯДОВИТЫЕ ПЛОДЫ</h2>

Герцогиня Беатриче каждую пятницу мыла голову и золотила волосы. После крашения надо было сушить их на солнце.

С этой целью устраивались вышки, окруженные перилами, на крышах домов.

Герцогиня сидела на такой вышке, над громадным загородным дворцом герцогской виллы Сфорцески, терпеливо вынося палящий зной, в то время, когда и работники с волами уходят в тень.

Ее облакала просторная, из белого шелка, накидка без рукавов. На голове была соломенная шляпа - солнцевик, для предохранения лица от загара. Позолоченные волосы, выпущенные из круглого отверстия шляпы, раскинуты были по широким полям. Желтолицая рабыня-черкешенка смачивала волосы губкою, насаженною на острие веретена. Татарка, с узкими косыми щелями глаз, чесала их гребнем из слоновой кости.

Жидкость для золочения готовилась из майского сока корней орешника, шафрана, бычачьей желчи, ласточкина помета, серой амбры, жженных медвежьих когтей и ящеричного масла.

Рядом, под наблюдением самой герцогини, на треножнике, с побледневшим от солнца, почти невидимым пламенем, в длинноносой реторте, наподобие тех, которые употреблялись алхимиками, кипела розовая мускатная вода с драгоценной виверрою, адрагантовой камедью и любистоком.

Обе служанки обливались потом. Даже комнатная собачка герцогини не находила себе места на знойной вышке, укоризненно щурилась на свою хозяйку, тяжело дышала, высунув язык, и не ворчала, по обыкновению, в ответ

на заигрывания вертлявой мартышки. Обезьяна была довольна жарою так же, как арапчонок, державший зеркало, оправленное в жемчуг и перламутр.

Несмотря на то, что Беатриче постоянно желала придать лицу своему строгость, движениям плавность, которые приличествовали ее сану, трудно было поверить, что ей девятнадцать лет, что у нее двое детей, и что она уже три года замужем. В ребяческой полноте смуглых щек, в невинной складке на тонкой шее под слишком круглым и пухлым подбородком, в толстых губах, сурово сжатых, точно всегда немного надутых и капризных, в узких плечах, в плоской груди, в угловатых, порывистых, иногда почти мальчишеских движениях видна была школьница, избалованная, своенравная, без удержу резвая и самолюбивая. А между тем, в твердых, ясных, как лед, коричневых глазах ее светился расчетливый ум. Самый

проницательный из тогдашних государственных людей, посол Венеции, Марине Сануто, в тайных письмах уверял синьорию, что эта девочка в политике - настоящий кремень, что она более себе на уме, чем герцог Лодовико, муж ее, который отлично делает, слушаясь своей жены во всем.

Комнатная собачка сердито и хрипло залаяла. По крутой лесенке, соединявшей вышку с уборными и гардеробными покоем, взошла, кряхтя и охая, старуха в темном вдовьем платье. Одной рукой перебирала она четки, в другой держала костыль. Морщины лица ее казались бы почтенными, если бы не приторная сладость улыбки, мышинное проворство глаз.

- О-хо-хо, старость не радость! Едва вползла. Господь да пошлет доброго здоровья вашей светлости.

Раболепно приподняв с полу край умывальной накидки, она приложилась к ней губами. - А, мона Сидония! Ну, что, готово? Старуха вынула из мешка тщательно завернутую и закупоренную склянку с мутною, белесоватою жидкостью - молоком ослицы и рыжей козы, настоящим на диком бадьяне, корнях спаржи и луковицах белых лилий.

- Денька два еще надо бы в теплом лошадином навозе продержать. Ну, да все равно - полагаю, и так поспело. Только перед тем, как умываться, велите сквозь войлочное cedило пропустить. Намочите мякоть сдобного хлеба и личико извольте вытирать столько времени, сколько нужно, чтобы три раза прочитать "Верую". Через пять недель всякую смуглоту снимет. И от прыщиков помогает. - Послушай, старуха,- молвила Беатриче,- может быть в этом умывании опять какая-нибудь гадость, которую ведьмы в черной магии употребляют, вроде змеиного сала, крови удода и порошка лягушек, сушеных на сковороде, как в той мази для вытравливания волос на родинках, которую ты мне намедни приносила. Тогда лучше скажи прямо.

- Нет, нет, ваша светлость! Не верьте тому, что люди болтают. Я работаю начистоту, без обмана. Как кто хочет. Ведь и то сказать, иногда без дряни не обойдешься: вот, например, досточтимая мадонна Анджелика целое прошлое лето псиною мочою голову мыла, чтобы не облысеть, и еще Бога благодарила, что Помогло.

Потом, наклонившись к уху герцогини, начала рассказывать последнюю городскую новость о том, как молоденькая жена главного консула соляного приказа, прелестная мадонна Филиберта изменяет мужу и забавляется с приезжим испанским рыцарем.

- Ах ты, старая сводня!-полушутливо пригрозила ей пальцем Беатриче, видимо наслаждаясь сплетнею.- Сама же соблазнила несчастную...

- И, полноте, ваша светлость, какая она несчастная! Поет словно птичка - радуется, каждый день меня благодарит. Воистину, говорит, я только теперь познала, сколь великая существует разница между поцелуями мужа и любовника.

- А грех? Неужели совесть ее не мучит? - Совесть? Видите ли, ваша светлость: хотя монахи и попы утверждают противное, но я так думаю, что любовный грех - самый естественный из грехов. Достаточно нескольких капель святой воды, чтобы смыть его. К тому же, изменяя супругу, мадонна Филиберта тем самым, как говорится, платит ему пирогом за ватрушку и, если не совершенно заглаживает, то, по крайней мере, весьма облегчает перед Богом его собственные грехи. - А разве и муж?..

- Наверное не знаю. Но все они на один лад, ибо полагаю, нет на свете такого мужа, который лучше не согласился бы иметь одну руку, чем одну жену. Герцогиня рассмеялась.

- Ах, мона Сидония, на тебя и сердиться нельзя! Откуда ты берешь такие словечки?

- Да уж верьте старухе-все, что говорю, святая правда! Я ведь тоже в делах совести соломинку от бревна отличить сумею... Всякому овощу свое время. Не утолившись в юности любовью, наша сестра на старости лет мучится таким раскаянием, что оно доводит ее до когтей дьявола.

- Ты рассуждаешь, как магистр богословия! - Я женщина неученая, но от всего сердца говорю, ваша светлость! Цветущая юность дается в жизни только раз, ибо какому черту, прости Господи, мы, бедные женщины, годны, состарившись? Разве на то, чтобы сторожить золу в камельках. Прогонять нас на кухню мурлыкать с кошками, пересчитывать горшки да противни. Сказано: молодежи покормиться, а старухам подавиться. Красота без любви - все равно,

что обедня без "Отче Наш", а ласки мужа унылы, как игры монахинь. Герцогиня опять рассмеялась. - Как? Как? Повтори!

Старуха посмотрела на нее внимательно, и, должно быть, рассчитав, что достаточно позабавила пустяками, опять наклонилась к уху ее и зашептала. Беатриче перестала смеяться.

Она сделала знак. Рабыни удалились. Только арапчонок остался на вышке: он не понимал по-итальянски.

Их окружало тихое небо, бледное, как будто помертвелое от зноя.

- Может быть, вздор? - сказала, наконец, герцогиня. - Мало ли что болтают...

- Нет, синьора! Я сама видела и слышала. Вам и другие скажут. - Много было народу?

- Тысяч десять: вся площадь перед Павийским замком полна.

- Что же ты слышала?

- Когда мадонна Изабелла вышла на балкон с маленьким Франческо, все замахали руками и шапками, многие плакали. "Да здравствует,-кричали,-Изабелла Арагонская, Джан-Галеаццо, законный государь Милана, и наследник Франческо! Смерть похитителям престола!"... Беатриче нахмурилась. - Этими самыми словами? - Да, и еще хуже... - Какие? Говори все, не бойся!..

- Кричали-у меня, синьора, язык не поворачивается-кричали: "Смерть вора!"

Беатриче вздрогнула, но, тотчас преодолев себя, спросила тихо: - Что же ты слышала еще?

- Право, не знаю, как и передать вашей милости... - Да ну же, скорее! Я хочу знать все! - Верите ли, синьора, в толпе говорили, что светлейший герцог Лодовико Моро, опекун и благодетель Джан-Галеаццо, заточил своего племянника в Павийскую крепость, окружив его наемными убийцами и шпионами. Потом стали вопить, требуя, чтобы к ним вышел сам герцог. Но мадонна Изабелла ответила, что он лежит больной...

И мона Сидония опять таинственно зашептала на ухо герцогине.

Сперва Беатриче слушала внимательно; потом обернулась гневно и крикнула:

- С ума ты сошла, старая ведьма! Как ты смеешь! Да я сейчас велю тебя сбросить с этой вышки, так что ворон костей твоих не соберет!..

Угроза не испугала мону Сидонию. Беатриче также скоро успокоилась.

- Я этому и не верю,- молвила она, посмотрев на старуху исподлобья. Та пожала плечами: - Воля ваша, а не верить нельзя...

- Изволите ли видеть, вот как это делается,- продолжала она вкрадчиво: - лепят маленькое изваяние из воска, вкладывают ему в правую сторону сердце, в левую - печень ласточки, прокалывают иглою, произнося заклинания, и тот, на кого изваяние похоже, умирает медленною смертью... Тут уж никакие врачи не помогут...

- Молчи,- перебила ее герцогиня,- никогда не смей мне говорить об этом!..

Старуха опять благоговейно поцеловала край умывальной одежды.

- Ваше великолепие! Солнышко вы мое ясное! Слишком люблю я вас - вот и весь мой грех! Верите ли, со слезами молю Господа за ваше здоровье каждый раз, как поют "Magnificat" на повечерии св. Франциска. "Величит душа моя Господа]" (лат.). Люди говорят, будто я ведьма, но, если бы я и продала душу мою дьяволу, то, видит Бог, только для того, чтобы хоть чем-нибудь угодить вашей светлости! И она прибавила задумчиво: - Можно и без колдовства.

Герцогиня посмотрела на нее молча, с любопытством. - Когда я сюда шла по дворцовому саду,- продолжала мона Сидония беспечным голосом,-садовник собирал в корзину отличные персики: должно быть, подарок мессеру Джан-Галеаццо? - И помолчав, прибавила:

- А в саду флорентийского мастера Леонардо да Винчи тоже, говорят, удивительной красоты персики, только ядовитые... - Как ядовитые? - Да, да. Мона Кассандра, племянница моя, видела...

Старуха снова зашушукала на ухо Беатриче.

Герцогиня ничего не ответила; выражение глаз ее осталось непроницаемым.

Волосы уже высохли. Она встала, сбросила с плеч накидку и спустилась в гардеробные покои.

Здесь стояли три громадных шкафа. В первом, похожем на великолепную ризницу, развешаны были по порядку восемьдесят четыре платья, которые успела она сшить себе за три года

замужества. Одни отличались, вследствие обилия золота и драгоценных камней, такую плотностью, что могли прямо, без поддержки, стоять на полу; другие были прозрачны и легки, как паутина. Во втором находились принадлежности соколиной охоты и лошадиная сбруя. В третьем - духи, воды, полосканья, притирания, зубные порошки из белого коралла и жемчуга, бесчисленные баночки, колбы, перегонные шлемы, горлянки - целая лаборатория женской алхимии. В комнате стояли также роскошные ящики, покрытые живописью, и кованые сундуки.

Когда служанка отперла один из них, чтобы вынуть свежую рубашку, повеяло благоуханием тонкого камбрейского белья, переложенного лавандовыми пучками и шелковыми подушками с порошком из левантских ирисов и дамасских роз, сушеных в тени.

Одеваясь, Беатриче беседовала со швеею о выкройке нового платья, только что полученной с гонцом от сестры, маркизы Мантуанской, Изабеллы д'Эсте, тоже великой модницы. Сестры соперничали в нарядах. Беатриче завидовала вкусу Изабеллы и подражала ей. Один из посланников герцогини Миланской тайно извещал ее о всех новинках мантуанского гардероба.

Беатриче надела платье с рисунком, особенно любимым ею за то, что он скрадывал ее маленький рост: ткань состояла из продольных перемежающихся полос зеленого бархата и золотой парчи. Рукава, перевязанные лентами серого шелка, были в обтяжку, с французскими модными прорезами - "окнами", через которые виднелось белоснежное полотно рубашки, все в мелких, пышных сбор

ках. Волосы украшены были редкой, легкой как дым, золотой сеткою и заплетены в косу. Голову окружала тонкая нить фероньеры с прикрепленным к ней маленьким рубиновым скорпионом.

Она привыкла одеваться так долго, что, по выражению герцога, можно было бы за это время снарядить целый торговый корабль в Индию.

Наконец, услышав вдалеке звук рогов и лай борзых, вспомнила, что заказала охоту, и заторопилась. Но, уже готовая, по дороге зашла в покои своих карликов, названные в шутку "жилищем гигантов" и

устроенные в подражание таким же игрушечным комнатам во дворце Изабеллы д'Эсте.

Стулья, кровати, утварь, лесенки с широкими низкими ступенями, даже часовня с кукольным алтарем, за которым служил обедню ученый карлик Янаки, в нарочно сшитых для него архиепископских ризах и митре,- все было рассчитано на рост пигмеев.

В "жилище гигантов" всегда был шум, смех, плач, крик разнообразных, порой страшных, голосов, как в зверинце или сумасшедшем доме, ибо здесь копошились, рождались, жили и умирали в душной неопрятной тесноте - мартышки, горбуны, попугаи, арапки, дуры, калмычки, шутихи, кролики, карлики и другие потешные твари, среди которых молодая герцогиня нередко проводила дни, забавляясь, как девочка.

На этот раз, спеша на охоту, зашла она сюда только на минутку, сведать о здоровье маленького арапчонка Наннино, недавно присланного из Венеции. Кожа у Наннино была такой черноты, что, по выражению прежнего владельца его, "лучшего и желать невозможно". Герцогиня играла им, как живую куклою. Арапчонок заболел. И хваленая чернота его оказалась не совсем природною, ибо краска, вроде лака, которая придавала телу его черный блестящий лоск, мало-помалу начала слезать, к великому горю Беатриче.

В последнюю ночь ему сделалось хуже; боялись, что он умрет. Узнав об этом, герцогиня весьма опечалилась, ибо любила его, по старой памяти, даже побледневшего. Она велела как можно скорее крестить арапчонка, чтобы он, по крайней мере, не умер язычником.

Спускаясь, на лестнице встретила она свою любимую Дурочку Моргантину, еще не старую, хорошенькую и такую забавную, что, по словам Беатриче, она могла бы рассмешить мертвеца.

Моргантина любила воровать: украдет что-нибудь, спрячет в угол, под сломанную половицу, в мышиную норку, и ходит, довольная; когда же спросят ее с лаской: "Будь доброю, скажи, куда спрятала?"- возьмет за руку, с лукавым видом, поведет и покажет. А если крикнуть: "Ну-ка, речку вброд",-Моргантина, не стыдясь, подымает платье так высоко, как только может.

Порой находила на нее Дурь; тогда по целым дням плакала она о несуществующем ребеночке,- никаких детей у нее не было,- и так всем надоедала, что ее запирали в чулан.

И теперь, сидя в углу лестницы, обняв колени руками и равномерно покачиваясь, Моргантина заливалась горькими слезами.

Беатриче подошла и погладила ее по голове. - Перестань, будь умницей!

Дурочка, подняв на нее свои голубые детские глаза, завывала еще жалобнее.

- Ой, ой, ой! Отняли у меня родненького! И за что, Господи? Никому он не делал зла. Я им тихо утешалась... Герцогиня сошла на двор, где ее ждали охотники.

Окруженная вершниками, сокольничими, псарями, стремянными, пажами и дамами, она держалась прямо и смело на караковом поджаром берберийском жеребце завода Гонзага не как женщина, а как опытный наездник. "Настоящая королева амазонок!" - с гордостью подумал герцог Моро, вошедший на крытый ход перед дворцом полюбоваться выездом супруги.

За седлом герцогини сидел охотничий леопард в ливрее, шитой золотом, с рыцарскими гербами. На левой руке - белый, как снег, кипрский сокол, подарок султана, сверкал усыпанным изумрудами золотым кlobучком. На лапах его звенели бубенцы разнозвучными, переливчатыми звонами, которые помогали находить птицу, когда терялась она в тумане или болотной траве.

Герцогине было весело, хотелось шалить, смеяться, скакать, сломя голову. Оглянувшись с улыбкой на мужа, который успел только крикнуть: "Берегись, лошадь горя

чая!"-она сделала знак своим спутницам и помчалась вперегонку с ними, сначала по дороге, потом в полечерез канавы, кочки, рвы и плетни.

Доезжающие отстали. Впереди всех неслась Беатриче со своим громадным волкодавом и рядом, на черной испанской кобыле, самая веселая и бесстрашная из фрейлин, мадонна Лукреция Кривелли.

Герцог был втайне неравнодушен к Лукреции. Теперь, любуясь на нее и Беатриче вместе, не мог решить, кто из них ему больше нравится. Но тревогу испытывал за жену. Когда лошади

перескакивали через ямы, жмурил глаза, чтобы не видеть; дух у него захватывало.

Он бранил герцогиню за эти шалости, но сердиться не мог: подозревая в себе недостаток телесной отваги, гордился втайне храбростью жены.

Охотники исчезли в лозняке и камышовых зарослях на низменном берегу Тичино, где водились гуси и цапли. Герцог вернулся в маленькую рабочую комнату - студиоло. Здесь ожидал его для продолжения прерванных занятий главный секретарь, сановник, заведовавший иностранными посольствами, мессер Бартоломео Калко.

Сидя в высоком кресле, Моро тихонько ласкал белой холеной рукой свои гладко бритые щеки и круглый подбородок.

Благообразное лицо его имело тот отпечаток прямодушной откровенности, который приобретают только лица совершенных в лукавстве политиков. Большой орлиный нос с горбинкой, выдающиеся вперед, как будто заостренные, тонко извилистые губы напоминали отца его, великого кондотьера Франческо Сфорца. Но если Франческо, по выражению поэтов, в одно и то же время был львом и лисицей, то сын его унаследовал от отца и приумножил только лисью хитрость без львиного мужества.

Моро носил простое изящное платье бледно-голубого шелка с разводами, модную прическу - гладкую, волосок к волоску, закрывавшую уши и лоб почти до бровей, похожую на густой парик. Золотая плоская цепь висела на груди его. В обращении была равная со всеми утонченная вежливость.

- Имеете ли вы какие-нибудь точные сведения, мессер Бартоломео, о выступлении французского войска из Лиона?

- Никаких, ваша светлость. Каждый вечер говорятзавтра, каждое утро откладывают. Король увлечен не воинственными забавами. - Как имя первой любовницы?

- Много имен. Вкусы его величества прихотливы и непостоянны.

- Напишите графу Бельджойозо,-молвил герцог,- что я высылаю тридцать... нет, мало, сорок...-пятьдесят тысяч дукатов для новых подарков. Пусть не жалеет. Мы вытащим короля из Лиона золотыми цепями) И знаете ли, Бартоломео,- конечно, это между нами,- не

мешало бы послать его величеству портреты некоторых здешних красавиц.-Кстати, письмо готово? - Готово, синьор. - Покажи.

Моро с удовольствием потирал мягкие, белые руки. Каждый раз, как он оглядывал громадную паутину своей политики,- испытывал он знакомое сладкое замирание сердца, как перед сложной и опасной игрой. По совести, не считал он себя виновным, призывая чужеземцев, северных варваров на Италию, ибо к этой крайности принуждали его враги, среди которых злейшим была Изабелла Арагонская, супруга Джан-Галеаццо, всенародно обвинившая герцога Лодовико в том, что он похитил престол у племянника. Только тогда, когда отец Изабеллы, король Неаполя, Альфонсо, в отмщение за обиду дочери и зятя, стал грозить Моро войною и низвержением с престола,- всеми покинутый, обратился он к помощи французского короля Карла VIII.

- Неисповедимы пути твои, Господи!-размышлял герцог, пока секретарь доставал из кипы бумаг черновой набросок письма.- Спасение моего государства, Италии, быть может, всей Европы в руках этого жалкого заморыша, сластолюбивого и слабоумного ребенка, христианнейшего короля Франции, перед которым мы, наследники великих Сфорца, должны пресмыкаться, ползать, чуть не сводничать! Но такова политика: с волками жить-по-волчьи выть.

Он перечел письмо: оно показалось ему красноречивым, в особенности ежели принять в расчет пятьдесят тысяч дукатов, высылаемых графу Бельджойозо для подкупа приближенных его величества, и соблазнительные портреты итальянских красавиц.

"Господь да благословит твое крестоносное воинство, Христианнейший,- говорилось, между прочим, в этом послании,- врата Авзонии открыты пред тобой. Не медли же, вступи в них триумфатором, о, новый Ганнибал! Народы Италии алчут приять твое иго сладчайшее, помазанник божий, ожидают тебя, как некогда, по воскресении Господа, патриархи ожидали Его сошествия во ад. С помощью Бога и твоей знаменитой артиллерии ты завоюешь не только Неаполь, Сицилию, но и земли великого Турка, обратишь неверных в христианство, проникнешь в недра Святой Земли, освободишь Иерусалим и Гроб Господень от нечестивых агарян и славным именем твоим наполнишь вселенную".

Горбатый плешивый старичок, с длинным красным носом, заглянул в дверь студиоло. герцог приветливо улыбнулся ему, приказывая знаком подождать. Дверь скромно притворилась, и голова исчезла. Секретарь завел было речь о другом государственном деле, но Моро слушал его рассеяннo, поглядывая на дверь.

Мессер Бартоломео понял, что герцог занят посторонними мыслями,- кончил доклад и ушел.

Осторожно оглядываясь, на цыпочках, герцог приблизился к двери.

- Бернарде, а, Бернарде? Это ты? - Я, ваша светлость!

И придворный стихотворец, Бернарде Беллинчони, с таинственным и подобоострастным видом, подскочил и хотел было встать на колени, чтобы поцеловать руку государя, но тот его удержал. - Ну, что, как? - Благополучно. - Родила?

- Сегодня ночью изволили разрешиться от бремени. - Здорова? Не послать ли врача? - В здравии совершенном обретаются. - Слава Богу! Герцог перекрестился. - Видел ребенка? - Как же! Прехорошенький. - Мальчик или девочка?

- Мальчик. Буян, крикун! Волосики светлые, как у матери, а глазенки так и горят, так и бегают - черные, умные, совсем как у вашей милости. Сейчас видно - Царственная кровь! Маленький Геркулес в колыбели. Мадонна Чечилия не нарадуется. Велели спросить, какое вам будет угодно имя.

- Я уже думал,- произнес герцог.- Знаешь, Бернарде, назовем-ка его Чезаре. Как тебе нравится?.

- Чезаре? А ведь в самом деле, прекрасное имя, благозвучное, древнее! Да, да, Чезаре Сфорца-имя, достойное героя! - А что, как муж?

- Яснейший граф Бергамини добр и мил как всегда. - Превосходный человек! - заметил герцог с убеждением.

- Превосходнейший! - подхватил Беллинчони.- Смею сказать, редких добродетелей человек! Таких людей нынче поискать. Ежели подагра не помешает, граф хотел приехать к ужину, чтоб засвидетельствовать свое почтение вашей светлости.

Графиня Чечилия Бергамини, о которой шла речь, была давнею любовницей Моро. Беатриче, только что выйдя замуж и узнав об этой связи герцога, ревновала его, грозила вернуться в дом отца, феррарского герцога, Эрколе д'Эсте, и Моро вынужден был поклясться торжественно, в присутствии послов, не нарушать супружеской верности, в подтверждение чего выдал Чечилию за старого разорившегося графа Бергамини, человека покладистого, готового на всякие услуги.

Беллинчони, вынув из кармана бумажку, подал ее герцогу.

То был сонет в честь новорожденного - маленький диалог, в котором поэт спрашивал бога солнца, почему он закрывается тучами; солнце отвечало с придворною любезностью, что прячется от стыда и зависти к новому солнцу - сыну Моро и Чечилии.

Герцог благосклонно принял сонет, вынул из кошелька червонец и подал стихотворцу.

- Кстати, Бернарде, ты не забыл, что в субботу день рождения герцогини?

Беллинчони торопливо порылся в прорехе своего платья, полупридворного, полунищенского, служившей ему карманом, извлек оттуда целую кипу грязных бумажек и, среди высокопарных од на смерть охотничьего сокола мадонны Анджелики, на болезнь серой в яблоках венгерской кобылы синьора Паллавичини, отыскал требуемые стихи.

- Целых три, ваша светлость,- на выбор. Клянусь Пегасом, довольны останетесь!

В те времена государи пользовались своими придворными поэтами, как музыкальными инструментами, чтобы петь серенады не только своим возлюбленным, но и своим женам, причем светская мода требовала, чтобы в этих стихах предполагалась между мужем и женой такая же неземная любовь, как между Лаурою и Петраркою.

Моро с любопытством просмотрел стихи: он считал себя тонким ценителем, поэтом в душе, хотя рифмы ему не давались. В первом сонете пришлось ему по вкусу три стиха; муж говорит жене:

И где на землю плюнешь ты, Там вдруг рождаются цветы, Как раннею весной - фиалки.

Во втором - поэт, сравнивая мадонну Беатриче с богиней Дианой, уверял, что кабаны и олени испытывают блаженство, умирая от руки такой прекрасной охотницы.

Но более всего понравился его высочеству третий сонет, в котором Данте обращался к Богу с просьбой отпустить его на землю, куда будто бы вернулась Беатриче в образе герцогини Миланской. "О, Юпитер! - восклицал Алигьери,- так как ты опять подарил ее миру, позволь и мне быть с нею, дабы видеть того, кому Беатриче дарует блаженство",- то есть герцога Лодовико.

Моро милостиво потрепал поэта по плечу и обещал ему сукна на шубу, причем Бернарде сумел выпросить и лисьего меха на воротник, уверяя с жалобными и шутовскими ужимками, что старая шуба его сделалась такою сквозною и прозрачною, "как вермишель, которая сушится на солнце".

- Прошлую зиму,- продолжал он клянчить,- за недостатком Дров, я готов был сжечь не только собственную лестницу, но и деревянные башмаки св. Франциска! Герцог рассмеялся и обещал ему дров. Тогда, в порыве благодарности, поэт мгновенно сочинил и прочел хвалебное четверостишие:

Когда рабам своим ты обещаешь хлеб, Небесную, как Бог, ты им даруешь манну,- Зато все девять муз и сладкозвучный Феб, О, благородный Мавр , поют тебе осанну! Мавр (итал. Моро) - прозвище герцога Лодовико Сфорца.

- Ты, кажется, в ударе, Бернарде? Послушай-ка, мне нужно еще одно стихотворение. - Любовное? - Да. И страстное. - Герцогине?

- Нет. Только смотри у меня, не проболтайся! - О, синьор, вы меня обижаете. Да разве я когданибуть?.. - Ну, то-то же. - Нет, нем, как рыба! Бернарде таинственно и почтительно заморгал глазами.

- Страстное? Ну, а как? С мольбой или с благодарностью? - С мольбой.

Поэт глубокомысленно сдвинул брови: - Замужняя? - Девушка. - Так. Надо бы имя. - Ну вот! Зачем имя?

- Если с мольбою, то не годится без имени. - Мадонна Лукреция. А готового нет? - Есть, да лучше бы свеженькое. Позвольте в соседний

покой на минутку. Уж чувствую, выйдет недурно: рифмы в голову так и лезут. Вошел паж и доложил: - Мессер Леонардо да Винчи.

Захватив перо и бумагу, Беллинчони юркнул в одну дверь, между тем как в другую входил Леонардо.

После первых приветствий герцог заговорил с художником о новом громадном канале, Навильо-Сфорцеско, который должен был соединить реку Сезию с Тичино и, разветвляясь в сеть меньших каналов, оросить луга, поля и пастбища Ломеллины.

Леонардо управлял работами по сооружению Навильо, хотя не имел чина герцогского строителя, ни даже придворного живописца, сохраняя, по старой памяти, за один давно уж изобретенный им музыкальный прибор, чин музыканта, что было немногим выше звания таких придворных поэтов, как Беллинчони.

Объяснив с точностью планы и счета, художник попросил сделать распоряжение о выдаче денег для дальнейших работ. - Сколько? - спросил герцог.

- За каждую милю по 566, всего 15.187 дукатов,- отвечал Леонардо.

Лодовико поморщился, вспомнив о 50.000, только что назначенных для взяток и подкупа французских вельмож. - Дорого, мессер Леонардо! Право же, ты разоряешь меня. Все хочешь невозможного. Ведь вот Браманте тоже строитель изрядный, а никогда таких денег не требует. Леонардо пожал плечами. - Воля ваша, синьор, поручите Браманте. - Ну, ну, не сердись. Ты знаешь, я тебя никому в обиду не дам! Начали торговаться.

- Хорошо, успеем завтра,- заключил герцог, стараясь, по своему обыкновению, затянуть решение дела, и начал перелистывать тетради Леонардо с неоконченными набросками, архитектурными чертежами и замыслами.

На одном рисунке изображена была исполинская гробница - целая искусственная гора, увенчанная многоколонным храмом с круглым отверстием в куполе, как в римском Пантеоне, чтобы озарять внутренние покои усыпальницы, превосходившей великолепием египетские пирамиды. Рядом были точные цифры и подробный план расположения лестниц, ходов, зал, рассчитанных на пятьсот могильных урн.

- Что это? -спросил герцог.-Когда и для кого ты задумал?

- Так, ни для кого. Мечты...

Моро с удивлением посмотрел на него и покачал головой.

- Странные мечты! Мавзолей для олимпийских богов или титанов. Точно во сне или в сказке... А ведь еще математик!

Он заглянул в другой рисунок, план города с двухъярусными улицами - верхними для господ, нижними для рабов, вьючных животных и нечистот, омываемых водой множества труб и каналов,- города, построенного согласно с точным знанием законов природы, но для таких существ, у которых совесть не смущается неравенством, разделением на избранных и отверженных.

- А ведь недурно! - молвил герцог.- И ты полагаешь, можно устроить?

- О, да!- отвечал Леонардо, и лицо его оживилось.- Я давно мечтаю о том, чтобы когда-нибудь вашей светлости угодно было сделать опыт, хотя бы только с одним из предместий Милана. Пять тысяч домов - на тридцать тысяч жителей. И рассеялось бы это множество людей, которые сидят друг у друга на плечах, теснятся в грязи, в духоте, распространяя семена заразы и смерти. Если бы вы исполнили мой план, синьор, это был бы прекраснейший город в мире!.. Художник остановился, заметив, что герцог смеется.

- Чудак ты, забавник, мессер Леонардо! Кажется, дай тебе волю, все бы вверх дном повернул, каких бы только в государстве бед не наделал! Неужели ты не видишь, что самые покорные из рабов взбунтовались бы против твоих двухъярусных улиц, плюнули бы на хваленую чистоту твою, на водосточные трубы и каналы прекраснейшего города в мире,-в старые города свои убежали бы: в грязи, мол, в тесноте, да не в обиде.

- Ну, а здесь что? - спросил он, указывая на другой чертеж.

Леонардо вынужден был объяснить и этот рисунок, оказавшийся планом дома терпимости. Отдельные комнаты, двери и ходы расположены были так, что посетители могли рассчитывать на тайну, не опасаясь встречи друг с другом.

- Вот это дело!-восхитился герцог.-Право, ты не поверишь, как надоели мне жалобы на грабежи и убийства в притонах. А при таком расположении комнат будет порядок и безопасность. Непременно устрою дом по твоему чертежу!

- Однако,- прибавил он, усмехаясь,- ты у меня, я вижу, на все руки мастер, ничем не брезгаешь: мавзолеей для богов рядом с домом терпимости!

- Кстати,- продолжал он,- читал я однажды в книге какого-то древнего историка о так называемом ухе тирана Дионисия - слуховой трубе, скрытой в толще стен и устроенной так, что государь может слышать из одного покоя все, что говорится в другом. Как ты полагаешь, нельзя ли устроить ухо Дионисия в моем дворце?

Герцогу сначала было немного совестно; но он тотчас оправился, почувствовал, что художника нечего стыдиться. Не смущаясь, даже не помышляя о том, хорошо или дурно Дионисиево ухо, Леонардо беседовал о нем, как о новом научном приборе, радуясь предложению исследовать при устройстве этих труб законы движения звуковых волн. Беллинчони с готовым сонетом заглянул в дверь. Леонардо простился. Моро пригласил его к ужину. Когда художник ушел, герцог подозвал поэта и велел читать стихи.

- Саламандра,- говорилось в сонете,- живет в огне, но не большее ли диво то, что в пламенном сердце моем

Холодная, как лед, мадонна обитает, И лед сей девственный в огне любви не тает?

Особенно нежными показались герцогу последние четыре стиха:

Я лебедем пою, пою и умираю; Амура я молю: о сжался, я сгораю!
Но раздувает бог огонь моей души И говорит, смеясь: слезами потуши!

Перед ужином, в ожидании супруги, которая должна была скоро вернуться с охоты, герцог пошел по хозяйству. Заглянул в конюшню, подобную греческому храму, с колоннадами и портиками; в новую великолепную сыроварню, где отведал джьюнкаты - свежего творожного сыру. Мимо бесконечных сеновалов и погребов прошел на мызу и скотный двор. Здесь каждая подробность радовала сердце хозяина: и звук молочной струи, цедившейся из вымени его любимицы, красно-пегой лангедокской коровы, и материнское хрюканье огромной, подобной горе жира, свиньи, только что опоросившейся, и желтая сливочная пена в ясеневых кадках маслобойни, и медовый запах в переполненных житницах.

На лице Моро появилась улыбка тихого счастья: воистину дом его был, как полная чаша. Он вернулся во дворец и присел отдохнуть в галерее.

Вечерело. Но до заката было еще далеко. С поемных лугов Тичино веяло пряною свежестью.

Герцог окинул взором свои владения: пастбища, нивы, поля, орошаемые сетью каналов и рвов, с правильными насаждениями яблонь, груш, шелковичных деревьев, соединенных висячими гирляндами лоз. От Мортары до Абиатеграссо и далее, до самого края неба, где в тумане белели снега Монте Розы,-великая равнина Ломбардии цвела, как Божий рай.

- Господи,-вздыхнул он с умилением и поднял глаза к небу,- благодарю Тебя за все! Чего еще надо? Некогда здесь была пустыня. Я с Леонардо провел эти каналы, оросил эту землю, и ныне каждый колос, каждая былинка благодарит меня, как я благодарю тебя, Господи!

Послышался лай борзых, крики охотников, и над кустами лозняка замелькало красное вабило - чучело с крыльями куропатки для приманки соколов.

Хозяин с главным дворецким обошел накрытый стол, осматривая, все ли в порядке. В залу вошли герцогиня и гости, приглашенные к ужину, среди которых был Леонардо, оставшийся ночевать на вилле.

Прочли молитву и сели за стол.

Подали свежие артишоки, присланные в плетенках ускоренной почтой прямо из Генуи, жирных угрей и карпов мантуанских садков, подарок Изабеллы д'Эсте, и студень из каплуновых грудинок.

Ели тремя пальцами и ножами, без вилок, считавшихся непозволительной роскошью; золотые, с черенками из горного хрусталя, подавались они только дамам для ягод и варенья.

Хлебосольный хозяин усердно потчевал. Ели и пили много, почти до отвала. Изящнейшие дамы и девицы не стыдились голода.

Беатриче сидела рядом с Лукрецией.

Герцог опять залюбовался на обеих: ему было приятно, что они вместе и что жена ухаживает за его возлюбленной, подкладывает ей на тарелку лакомые куски, что-то шепчет на ухо и пожимает руку с

порывом той внезапной нежности, похожей на влюбленность, которая иногда овладевает молодыми женщинами.

Говорили об охоте. Беатриче рассказала, как олень едва не выбил ее из седла, выскочив из леса и ударив лошадь рогами.

Смеялись над дурачком Диодом, хвастуном и забиякою, который только что убил вместо кабана домашнюю свинью, нарочно взятую охотниками в лес и пущенную под ноги шуту. Диода рассказывал о своем подвиге и гордился им так, как будто убил Калидонского вепря. Его дразнили и, чтобы уличить в хвастовстве, принесли тушу убитой свиньи. Он притворился взбешенным. На самом деле это был прехитрый плут, игравший выгодную роль дурака: своими рысьими глазками сумел бы он отличить не только домашнюю от дикой свиньи, но и глупую шутку от умной.

Хохот становился все громче. Лица оживлялись и краснели от обильных возлияний. После четвертого блюда молоденькие дамы украдкой, под столом, распустили туго стянутые шнуrowки.

Кравчие разносили легкое белое вино и красное, кипрское, густое, подогретое, заправленное фисташками, корицею и гвоздиком.

Когда его высочество требовал вина, стольники торжественно перекликались, как бы священнодействуя, брали кубок с поставца, и главный сенешаль трижды опускал в чашу единороговый талисман на золотой цепи: если вино отравлено, рог должен почернеть и ороситься кровью. Такие же предохранительные талисманы - жабный камень и змеиный язык - вставлены были в солонку.

Граф Бергамини, муж Чечилии, посаженный хозяином на почетное место, особенно веселый в этот вечер, даже как бы резвый, несмотря на свою старость и подагру, молвил, указывая на единорога:

- Полагаю, ваша светлость, что у самого короля французского нет такого рога. Величина изумительная!

- Ки-хи-ки! Ки-хи-ки! - закричал горбун Янаки, любимый шут герцога, гремя трещоткой - свиным пузырем, наполненным горохом, и позвякивая бубенчиками пестрого колпака с ослиными ушами.

- Батька, а, батька,-обратился он к Моро, указывая на графа Бергамини,- ты ему верь: он во всяких рогах толк разумеет, не только

в звериных, но и в человеческих. Ки-хи-ки, ки-хи-ки! У кого коза, у того рога! Герцог пальцем погрозил шуту.

На хорах грянули серебряные трубы, приветствуя жаркое - громадную кабанью голову, начиненную каштанами, павлина с особою машинкою внутри, распускавшего на блюде хвост и бывшего крыльями, и, наконец, величественный торт, в виде крепости, из которого сначала слышались звуки военного рога, а когда разрезали поджаристую корку, выскочил карлик в перьях попугая. Он забегал по столу, его поймали и посадили в золотую клетку, где, подражая знаменитому попугаю кардинала Асканио Сфорца, он стал уморительно выкрикивать "Отче наш".

- Мессере,- обратилась герцогиня к мужу,- какому радостному событию обязаны мы столь неожиданным и великолепным пиршеством?

Моро ничего не ответил, только украдкой любезно переглянулся с графом Бергамини: счастливый муж Чечилии понял, что пиршество устроено в честь новорожденного Чезаре.

Над кабаньей головой просидели без малого час; времени на еду не жалели, памятуя пословицу: за столом не состаришься.

Под конец ужина толстый монах, по имени ТаппонеКрыса, возбудил всеобщее веселье.

Не без хитростей и обманов удалось Миланскому герцогу переманить из Урбино этого знаменитого обжору, изза которого спорили государи и который будто бы однажды в Риме, к немалому удовольствию его святейшества, сожрал целую треть камлотового епископского подрясника, изрезанную на куски и пропитанную соусом.

По знаку герцога поставили перед фра Таппоне гробовидный сотейник с бузеккио - требухою, начиненною яблоками айвы. Перекрестившись и засучив рукава, монах принялся уписывать жирную снедь с быстротой и жадностью неимоверною.

- Если бы такой молодец присутствовал при насыщении народа пятью хлебами и двумя рыбами, остатков не хватило бы и на двух собак!-воскликнул Беллинчони.

Гости захохотали. Все эти люди заражены были смехом, который от каждой шутки, как от искры, готов был разразиться

оглушительным взрывом.

Только лицо одинокого и молчаливого Леонардо сохраняло выражение покорной скуки: он, впрочем, давно привык к забавам своих покровителей.

Когда на серебряных блюдах подали золоченые апельсины, наполненные душистой мальвазией, придворный поэт Антонио Камелли да Пистойя, соперник Беллинчони, прочел оду, в которой искусства и науки говорили герцогу: "мы были рабынями, ты пришел и освободил нас; да здравствует Моро!" Четыре стихии-земля, вода, огонь И воздух-пели: "да здравствует тот, кто первый после Бога правит рулем вселенной, колесом фортуны!" Прославлялись также семейная любовь и согласие между дядей Моро и племянником Джан-Галеаццо, причем поэт сравнивал великодушного опекуна с пеликаном, кормящим детей своей собственной плотью и кровью.

После ужина хозяева и гости перешли в сад, называвшийся Раем - Парадизо, правильный, наподобие геометрического чертежа, с подстриженными аллеями буксов, лавров и мирт, с крытыми ходами, лабиринтами, лоджиями и плющевыми беседками. На зеленый луг, обвеваемый свежестью фонтана, принесли ковры и шелковые подушки. Дамы и кавалеры расположились в непринужденной свободе перед маленьким домашним театром.

Сыграли одно действие "Miles Gloriosus" ' Плавта. "Хвастливый воин" (лат.). Латинские стихи наводили скуку, хотя слушатели из суеверного почтения к древности притворялись внимательными. Когда представление кончилось, молодые люди отправились на более просторный луг играть в мяч, лапту, жмурки, бегая, ловя друг друга, смеясь как дети, между кустами цветущих роз и апельсиновыми деревьями. Старшие играли в кости, в тавлею, в шахматы. Донзеллы, дамы и синьоры, не принимавшие участия в играх, собравшись в тесный круг на мраморных ступенях фонтана, рассказывали по очереди новеллы, как в "Декамероне" Боккаччо.

На соседней лужайке завели хоровод под любимую песню рано умершего Лоренцо Медичи: *Quant'e bella giovinezza, Ma si fugge tuttavia; Chi vuol esse' lieto, sia: Di donna' non c'e certezza.* О, как молодость прекрасна, Но мгновенна! Пой же, смейся,- Счастлив будь, кто счастья хочет, И на завтра не надейся.

После пляски дондзелла Диана с бледным и нежным лицом, под тихие звуки виолы, запела унылую жалобу, в которой говорилось о том, сколь великое горе любить, не будучи любимым.

Игры и смех прекратились. Все слушали в глубокой задумчивости. И когда она кончила, долго никто не хотел прерывать тишины. Только фонтан журчал. Последние лучи солнца облили розовым светом черные плоские вершины пиний и высоко взлетавшие брызги фонтана.

Потом опять начались говор, хохот, музыка, и до позднего вечера, пока в темных лаврах не загорелись лучиолысветляки и в темном небе тонкий серп молодого месяца,- над блаженным Парадизо, в бездыханном сумраке, пропитанном запахом апельсиновых цветов, не умолкали звуки хороводной песни:

Счастлив будь, кто счастья хочет, И на завтра не надейся.

На одной из четырех башен дворца Моро увидел огонек: главный придворный звездочет Миланского герцога, сенатор и член тайного совета, мессер Амброджо да Розате, засветил одинокую лампаду над своими астрономическими приборами, наблюдая предстоявшее в знаке Водолея соединение Марса, Юпитера и Сатурна, которое должно было иметь великое значение для дома Сфорца.

Герцог что-то вспомнил, простился с мадонной Лукрецией, с которой занят был нежным разговором в уютной беседке, вернулся во дворец, посмотрел на часы, дождался минуты и секунды, назначенной астрологом для приема ревенных пилюль, и, проглотив лекарство, заглянул в свой карманный календарь, в котором прочел следующую памятку: "5 августа, 10 часов вечера, 8 минут - усерднейшая молитва на коленях, со сложенными руками и взорами, поднятыми к небу".

Герцог поспешил в часовню, чтобы не пропустить мгновения, так как иначе астрологическая молитва утратила бы действие.

В полутемной часовне горела лампада перед образом; герцог любил эту икону, писанную Леонардо да Винчи, изображавшую Чечилию Бергамини под видом Мадонны, благословляющей столитвенную розу.

Моро отсчитал восемь минут по маленьким песочным часам, опустил на колени, сложил руки и прочел "Confiteor". "Какось" (лат.).

Молился он долго и сладко.

"О, Матерь Божия,- шептал, подняв умиленные взоры,- защити, спаси и помилуй меня, сына моего Максимилиана и новорожденного младенца Чезаре, мою супругу Беатриче и мадонну Чечилию,- а также моего племянника мессера Джан-Галеаццо, ибо,- ты видишь сердце мое, Дева Пречистая,- я не хочу зла моему племяннику, я молюсь за него, хотя, быть может, смерть его избавила бы не только мое государство, но и всю Италию от страшных и непоправимых бедствий".

Тут вспомнил он доказательство своего права на миланский престол, изобретенное законоведами; будто бы старший брат его, отец Джан-Галеаццо, был сыном не герцога, а только военачальника Франческо Сфорца, ибо родился прежде, чем Франческо вступил на престол, тогда как он, Лодовико, родился уже после того и, следовательно, был единственным полноправным наследником.

Но теперь, перед лицом Мадонны, это доказательство представилось ему сомнительным, и он заключил молитву свою так:

- Если же я в чем-нибудь согрешил или согрешу пред Тобою, Ты знаешь. Царица Небесная, что я это делаю не для себя, а для блага моего государства, для блага всей Италии. Будь же заступницей моей перед Богом - и я прослаблю имя Твое великолепную постройкою собора Миланского и Чертозы Павийской, и другими многими деяниями! Окончив молитву, взял свечу и направился в спальную по темным покоем спящего дворца. В одном из них встретился с Лукрецией.

- Сам бог любви благоприятствует мне,- подумал герцог.

- Государь!..-воскликнула девушка, подходя к нему. Но голос ее оборвался. Она хотела упасть перед ним на колени; он едва успел удержать ее. - Смилуйся, государь!..

Она рассказала ему, что брат ее, Маттео Кривелли, главный камерарий монетного двора, человек беспутный, но нежно ею любимый, проиграл в карты большие казенные деньги.

- Успокойтесь, мадонна! Я выручу из беды вашего брата...

Немного помолчав, прибавил с тяжелым вздохом: - Но согласитесь ли и вы не быть жестокой?.. Она посмотрела на него

робкими, детски-ясными и невинными глазами. - Я не понимаю, синьор?..

Целомудренное удивление сделало ее еще прекраснее. - Это значит, милая,- пролепетал он страстно и вдруг обнял ее стан сильным, почти грубым движением,-это значит... Да разве Ты не видишь, Лукреция, что я люблю тебя?..

- Пустите, пустите! О, синьор, что вы делаете! Мадонна Беатриче...

- Не бойся, она не узнает: я умею хранить тайну... - Нет, нет, государь,- она так великодушна, так добра ко мне... Ради бога, оставьте, оставьте меня!..

- Я спасу твоего брата, сделаю все, что ты хочешь, буду рабом твоим,- только сжался!..

И наполовину искренние слезы задрожали в голосе его, когда он зашептал стихи Беллинчони:

Я лебедем пою, пою и умираю, Амура я молю: о, сжался, я сгораю! Но раздувает бог огонь моей души И говорит, смеясь: слезами потуши!

- Пустите, пустите! - повторяла девушка с отчаянием. Он наклонился к ней, почувствовал свежесть ее дыхания, запах духов-фиалок с мускусом-и жадно поцеловал ее в губы.

На одно мгновение Лукреция замерла в его объятиях. Потом вскрикнула, вырвалась и убежала.

Войдя в спальную, он увидел, что Беатриче уже погасила огонь и легла в постель - громадное, подобно мавзолею, ложе, стоявшее на возвышении посреди комнаты под шелковым лазурным пологом и серебряными занавесами. Он разделся, приподнял край пышного, как церковная риза, тканного золотом и жемчугом, одеяла, свадебного подарка феррарского герцога,- и лег на свое место, рядом

с женой. - Биче,-произнес он ласковым шепотом,-Биче, ты спишь?

Он хотел ее обнять, но она оттолкнула его. - За что? - Оставьте! Я хочу спать...

- За что, скажи только, за что? Биче, дорогая! Если бы ты знала, как я люблю...

- Да, да, знаю, что вы нас любите всех вместе, и меня, и Цецилию, и даже, чего доброго, эту рабыню из Московии, рыжеволосую дуру,

которую намеренно обнимали в углу моего гардероба... - Я ведь только в шутку... - Благодарю за такие шутки!..

- Право же. Биче, последние дни ты со мной так холодна, так сурова! Конечно, я виноват, сознаюсь: это была недостойная прихоть... - Прихотей у вас много, мессере! Она повернулась к нему со злобою:

- И как тебе не стыдно! Ну, зачем, зачем ты лжешь? Разве я не знаю тебя, не вижу насквозь? Пожалуйста, не думай, что я ревную. Но я не хочу,- слышишь? - я не хочу быть одной из твоих любовниц!..

- Неправда, Биче, клянусь тебе спасением души моей-никогда никого на земле я так не любил, как тебя!

Она умолкла, с удивлением прислушиваясь не к словам, а к звуку его голоса.

Он, в самом деле, не лгал или, по крайней мере, не совсем лгал: чем больше он ее обманывал, тем больше любил; нежность его как будто разгоралась от стыда, от страха, от угрызения, от жалости и раскаяния.

- Прости, Биче, прости все за то, что я тебя так люблю!.. И они помирились.

Обнимая и не видя ее в темноте, он воображал себе робкие, невинные глаза, запах фиалок с мускусом; воображал, что обнимает другую, и любил обеих вместе: это было преступно и упоительно.

- А, ведь, в самом деле, ты сегодня, точно влюбленный,- прошептала она, уже с тайною гордостью.

- Да, Да. милая, веришь ли, я все еще влюблен в тебя, как в первые дни!..

- Что за вздор! -усмехнулась она.-Как тебе не совестно? Лучше бы подумал о деле; ведь он выздоравливает...

- Луиджи Марлиани намеренно сказывал мне, что умрет,-произнес герцог.-Ему теперь лучше, но это ненадолго: он умрет, наверное.

- Кто знает?-возразила Беатриче.-За ним так ухаживают... Послушай, Моро, я удивляюсь твоей беззаботности: ты переносишь обиды, как овца, ты говоришь: власть в наших руках. Да не лучше ли вовсе отречься от власти, чем дрожать за нее день и ночь, как вора, пресмыкаться перед этим ублюдком, королем французским, зависеть от великодушия наглеца Альфонсо, заискивать в злой ведьме

Арагонской! Говорят, она опять беременна. Новый змееныш в проклятое гнездо! И так всю жизнь, Моро, подумай только, всю жизнь! И ты называешь это: власть в наших руках!..

- Но врачи согласны,- молвил герцог,- что болезнь неисцелима: рано или поздно...

- Да, жди: вот уже десять лет, как он умирает! Они замолчали.

Вдруг она обвила его руками, прижалась к нему всем телом и что-то прошептала ему на ухо. Он вздрогнул.

- Биче!.. Да сохранит тебя Христос и Матерь Пречистая! Никогда-слышишь?-никогда не говори мне об этом...

- Если боишься,-хочешь, я сама?.. Он не ответил и, немного погодя, спросил: - О чем ты думаешь? - О персиках...

- Да. Я велел садовнику послать ему в подарок самых спелых...

- Нет, не о том. Я о персиках мессера Леонардо да Винчи. Ты разве не слышал? - А что? - Они - ядовитые... - Как ядовитые?

- Так. Он отравляет их. Для каких-то опытов. Может быть, колдовство. Мне мона Сидония сказывала. Персики, хоть и отравленные,- красоты удивительной...

Опять оба умолкли и долго лежали так, обнявшись, в тишине, во мраке, думая об одном и том же, каждый прислушиваясь, как сердце у другого бьется все чаще и чаще.

Наконец Моро с отеческою нежностью поцеловал ее в лоб и перекрестил: - Спи, милая, спи с Богом!

В ту ночь герцогиня видела во сне прекрасные персики на золотом блюде. Она соблазнилась их красотой, взяла один из них и отведала,- он был сочный и душистый. Вдруг чей-то голос прошептал: "яд, яд, яд!" Она испугалась, но уже не могла остановиться, продолжала есть плоды один за другим, и ей казалось, что она умирает, но на сердце у нее становилось все легче, все радостнее.

Герцогу тоже приснился странный сон: будто бы гуляет он по зеленой лужайке у фонтана в Парадизо и видит - вдалеке, в одинаковых белых одеждах, три женщины сидят, обнявшись, как сестры. Подходит к ним и узнает в одной мадонну Беатриче, в другой мадонну Лукрецию, в третьей мадонну Чечилию; и думает с глубоким успокоением: "Ну, слава Богу, наконец-то помирились-и давно бы так!"

Башенные часы пробили полночь. Все в доме спали. Только на высоте, над крышею, на деревянных подмостках для золочения волос, сидела карлица Моргантина, убежавшая из чулана, куда ее заперли, и плакала о своем несуществующем ребенке;

- Отняли родненького, убили деточку! И за что, за что. Господи? Никому не делал он зла. Я им тихо утешалась...

Ночь была ясная; воздух так прозрачен, что можно было различить на краю небес, подобные вечным кристаллам ледяные вершины Монте Роза.

И долго уснувшая вилла оглашалась пронзительным, жалобным воплем полоумной карлицы, словно криком зловещей птицы.

Вдруг она вздохнула, подняла голову, посмотрела в небо и сразу умолкла.

Наступила тишина.

Карлица улыбалась, и голубые звезды мерцали такие же непонятные и невинные, как ее глаза. <h2>ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА. ШАБАШ ВЕДЬМ</h2>

На пустынной окраине Милана, в предместьи Верчельских ворот, там, где на канале Катарана находилась плотина и речная таможня, стоял одинокий ветхий домик с большою, закоптелою и покривившейся трубой, из которой днем и ночью подымался дым.

Домик принадлежал повивальной бабке, моне Сидонии. Верхние покои сдавала она в наем алхимику, мессеру Галеотто Сакробоско; в нижних - жила сама вместе с Кассандрой, дочерью Галеоттова брата, купца Луиджи, знаменитого путешественника, изъездившего Грецию, острова Архипелага, Сирию, Малую Азию, Египет в неустанной погоне за древностями.

Он собирал все, что попадалось под руку: прекрасную статую и кусочек янтаря с мухою, застывшею в нем, и поддельную надпись с могилы Гомера, и подлинную трагедию Эврипида, и ключицу Демосфена.

Одни считали его помешанным, другие - хвастуном и обманщиком, третьи - великим человеком. Воображение его было так напитано язычеством, что, оставаясь до конца дней добрым христианином, Луиджи не на шутку молился "святейшему гению Меркурию" и верил в среду, посвященную крылатому вестнику

олимпийцев, как в день особенно счастливый для торговых оборотов. Ни перед какими лишениями и трудами не останавливался он в своих поисках: однажды, сев на корабль и уже отъехав по морю с десятков миль, узнал о любопытной греческой надписи, не прочитанной им, и тотчас вернулся на берег, чтобы списать. Потеряв во время кораблекрушения драгоценное собрание рукописей, поседел от горя. Когда спрашивали его, зачем он разоряет себя, терпит всю жизнь столь великие труды и опасности, отвечал всегда одними и теми же словами: - Я хочу воскресить мертвых. В Пелопоннесе, близ пустынных развалин Лакедемона, в окрестностях городка Мистры, встретил девушку, похожую на изваяние древней богини Артемиды, дочь бедного, пившего запоем, сельского дьякона, женился на ней и увез ее в Италию, вместе с новым списком Илиады, обломками мраморной Гекаты и черепками глиняных амфор. Дочери, родившейся у них, Луиджи дал имя Кассандры во славу великой Эсхиловой героини, пленницы Агамемнона, которой он тогда увлекался.

Жена его скоро умерла. Отправляясь в одно из своих многочисленных странствований, оставил он маленькую дочь-сиротку на попечение старому другу, ученому греку, из Коистантинополя, приглашенному в Милан герцогами Сфорца, философу Деметрию Халкондиле.

Семидесятилетний старик, двуличный, лукавый и скрытный, притворяясь пламенным ревнителем церкви христианской, на самом деле, как многие ученые греки в Италии с кардиналом Вессарионом во главе, был приверженцем последнего из учителей древней мудрости, неоплатоника Гемиста Плетена, умершего лет сорок назад в Пелопоннесе, в том самом городе Мистре на развалинах Лакедемона, откуда родом была мать Кассандры. Ученики его верили, что душа великого Платона для проповедования мудрости сошла на землю с Олимпа и воплотилась в Плетоне. Христианские учителя утверждали, что этот философ желает возродить антихристову ересь императора Юлиана Отступника - поклонение древним олимпийским богам, и что бороться с ним должно отнюдь не учеными доводами и словопрениями, а священный инквизицией и пламенем костров. Приводились точные слова Плетена; за три года

до смерти говорил он будто бы ученикам своим: "Немного лет спустя после кончины моей, надо всеми племенами и народами земными воссияет единая истина, и все люди обратятся единым духом в единую веру - *unam eandemque religionem universum orbem esse suscepturum*". Когда же его спрашивали; "в какую-в Христову или Магометову?"-он отвечал: "ни в ту, ни в другую, но в веру от древнего язычества не отличную-*neutram, sed a gentilitate non differentem*".

В доме Деметрия Халкондилы маленькую Кассандру воспитали в строгом, хотя и лицемерном, благочестии. Но из подслушанных разговоров ребенок, не понимая философских тонкостей платоновых идей, сплетал себе волшебную сказку о том, как умершие боги Олимпа воскреснут.

Девочка носила на груди подарок отца, талисман от лихорадки, резную печать с изображением бога Диониса. Порой, оставаясь одна, украдкой вынимала она древний камень, смотрела сквозь него на солнце - и в темно-лиловом сиянии прозрачного аметиста выступал перед нею, как видение, обнаженный юноша Вакх с тирсом в одной руке, с виноградной кистью в другой; скачущий барс хотел лизнуть эту кисть языком. И любовью к прекрасному богу полно было сердце ребенка.

Мессер Луиджи, разорившись на древности, умер в нищете, в лачуге пастуха, от гнилой горячки, среди только что открытых им развалин финикийского храма. В это время, после многолетних скитаний в погоне за тайною философского камня, вернулся в Милан алхимик Галеотто Сакробоско, дядя Кассандры, и, поселившись в домике у Верчельских ворот, взял к себе племянницу.

Джованни Бельтраффио помнил подслушанный им разговор моны Кассандры с механиком Зороастро о ядовитом дереве. Потом встречался с нею у Деметрия Халкондилы, где Мерула достал ему переписку. Он слышал от многих, что она - ведьма. Но загадочная прелесть молодой девушки влекла его к ней.

Почти каждый вечер, окончив работу в мастерской Леонардо, отправлялся Джовани к уединенному домику за Верчельскими воротами для свидания с Кассандрой. Они садились на пригорке над водой тихого и темного канала, недалеко от запруды, у полуразвалившейся стены монастыря св. Редегонды, и беседовали

подолгу. Чуть видная тропа, заросшая лопухом, бузиной и крапивою, вела на пригорок. Никто сюда не заглядывал.

Был душный вечер. Изредка налетал вихрь, подымал белую пыль на дороге, шелестел в дерьвьях, замирал - и становилось еще тише. Только слышалось глухое, точно подземное, ворчание далекого грома. На этом грозно-торжественном гуле выделялись визгливые звуки дребезжащей лютни, пьяных песен таможенных солдат в соседнем кабачке: было воскресенье.

Порою бледная зарница вспыхивала на небе, и тогда на мгновение выступал из мрака ветхий домик на том берегу, с кирпичною трубою, с клубами черного дыма, валившего из плавильной печи алхимика, долговязый, худощавый пономарь с удочкой на мшистой плотине, прямой как иал с двумя рядами лиственниц и ветл, уходившими вдаль, плоскодонные лагомаджорские барки с глыбами белого мрамора для собора, шедшие на ободранных клячах, и длинная бичева, ударявшая по воде; потом опять сразу все, как видение, исчезало во тьме. Лишь на том берегу краснел огонек алхимика, отражаясь в темных водах Катараны. От запруды веяло запахом теплой воды, увядших папоротников, дегтя и гнилого дерева. Джованни с Кассандрой сидели на обычном месте,

над каналом.

- Скучно! - молвила девушка, потянулась и заломила над головой тонкие белые пальцы. - Каждый день одно и то же. Сегодня, как вчера, завтра, как сегодня; так же глупый, долговязый пономарь удит рыбу на плотине и ничего не может выудить, так же дым валит из трубы лаборатории, где мессер Галеотто ищет золота и ничего не может найти, так же лодки тащатся на ободранных клячах, так же дребезжит заунывная лютня в кабачке. Хоть бы что-нибудь новое! Хоть бы французы пришли и разорили Милан, или пономарь выудил рыбу, или дядя нашел золото... Боже мой, какая скука!

- Да, я знаю,- возразил Джованни,- мне самому иногда бывает так скучно, что хочется умереть. Но фра Бенедетто научил меня прекрасной молитве об избавлении от беса уныния. Хотите, я вам скажу ее? Девушка покачала головой:

- Нет, Джованни. Я бы и желала порою, но давно уже не умею молиться вашему Богу.

- Нашему? Но разве есть другой Бог, кроме нашего, кроме единого?..

Быстрое пламя зарницы осветило лицо ее: никогда еще оно не казалось ему таким загадочным, унылым и прекрасным.

Она помолчала и провела рукою по черным пушистым волосам.

- Слушай, друг. Это было давно, там, в родной земле моей. Я была ребенком. Однажды отец взял меня с собою в путешествие. Мы посетили развалины древнего храма. Они возвышались на мысе. Кругом было море. Чайки стонали. Волны с шумом разбивались о черные камни, изглоданные соленой влагою, заостренные как иглы. Пена взлетала и падала, стекая по иглам камней шипящей струею. Отец мой читал полустертую надпись на обломке мрамора. Я долго сидела одна на ступенях перед храмом, слушала море и дышала свежестью, смешанной с горьким благоуха-

нием полыни. Потом вошла в покинутый храм. Колонны из пожелтевшего мрамора стояли, почти не тронутые временем, и между ними синее небо казалось темным; там, в высоте, из расщелин камней, росли маки. Было тихо. Только заглушеинный гул прибоя наполнял святилище как бы молитвенным пением. Я прислушалась к нему - и вдруг сердце мое дрогнуло. Я упала на колени и стала молиться некогда здесь обитавшему богу, неизвестному и поруганному. Я целовала мраморные плиты, плакала и любила его за то, что больше никто на земле не любит его и не молится ему - за то, что он умер. С тех пор я больше никому никогда уж так не молилась. То был храм Диониса.

- Что вы, что вы, Кассандра!-проговорил Джованни.- Это грех и кощунство! 'Никакого бога Диониса нет и не было...

- Не было? - повторила девушка с презрительной улыбкой.- А как же святые отцы, которым ты веришь, учат, что изгнанные боги в те времена, как Христос победил, превратились в могущественных демонов? Как же в книге знаменитого астролога Джордже да Новара есть прорицание, основанное на точных наблюдениях над светилами небесными: соединение планеты Юпитера с Сатурном породило учение Моисееве, с Марсом - халдейское, с солнцем - египетское, с

Венерой - Магометово, с Меркурием - Христово, а грядущее соединение с Луной должно породить учение Антихристово,- и тогда умершие боги воскреснут!

Раздался гул приближающегося грома. Зарницы вспыхивали все ярче, озаряя громадную тяжелую тучу, которая ползла медленно. Назойливые звуки лютни по-прежнему дребезжали в душной, грозной тишине.

- О, Кассандра! - воскликнул Бельтраффио, складывая руки с горестной мольбой.-Как же вы не видитеэто дьявол искушает вас, чтобы вовлечь в погибель. Будь он проклят, окаянный!..

Девушка быстро обернулась, положила ему обе руки на плечи и прошептала:

- А тебя он разве никогда не искушает? Если ты такой праведный, Джованни, то зачем ушел от учителя своего фра Бенедетто, зачем поступил в мастерскую безбожника Леонардо да Винчи? Зачем ходишь сюда, ко мне? Или ты не знаешь, что я ведьма, а ведьмы - злые, злее самого дьявола? Как же ты не боишься погубить со мной душу свою?.. - С нами сила Господня!..- пролепетал он, вздрогнув.

" Она молча приблизилась к нему, вперила в него глаза желтые и прозрачные, как янтарь. Уже не зарница, а молния разрежала тучу и осветила лицо ее, бледное, как лицо той мраморной богини, которая некогда на Мельничном Холме вышла перед Джованни из тысячелетней могилы. - Она! - подумал он с ужасом.- Белая Дьяволица! Он сделал усилие, чтобы вскочить, и не мог; чувствовал на щеке своей горячее дыхание и прислушивался к шепоту: - Хочешь, я скажу тебе все, все до конца, Джованни? Хочешь, милый, полетим со мной туда, где он? Там хорошо, там не скучно. И ничего не стыдно, как во сне, как в раю-там все позволено! Хочешь туда?..

Холодный пот выступил на лбу его; но с любопытством, которое преодолевало ужас, он спросил: - Куда?..

Почти касаясь его щеки губами, она ответила чуть слышно, как будто вздохнула страстно и томно: - На шабаш!

Удар уже близкого грома, потрясая небо и землю, загрохотал торжественным полным грозного веселья, подобным смеху невидимых подземных великанов, и медленно замер в бездыханной тишине.

Ни один лист не шелохнулся на деревьях. Звуки дребезжащей лютни оборвались.

И в то же мгновение раздался унылый, мерный звон монастырского колокола, вечерний "Angelus". "Ангел (Божий возвестил Марии)" (лат.). Джованни перекрестился. Девушка встала и молвила; - Пора домой. Поздно. Видишь, факелы? Это герцог Моро едет к мессеру Галеотто. Я и забыла, что сегодня дядя должен показывать опыт - превращение свинца в золото.

Послышался топот копыт. Всадники вдоль канала от Верчельских ворот направлялись к дому алхимика, который, в ожидании герцога, кончал в лаборатории последние приготовления для предстоящего опыта.

Мессер Галеотто всю жизнь провел в поисках философского камня.

Окончив медицинский факультет Болонского университета, поступил учеником - фамулусом к знаменитому в те времена адепту сокровенных знаний, графу Бернарде ТреВизано. Потом, в течение пятнадцати лет, искал превращающего Меркурия во всевозможных веществах - в поваренной соли и нашатыре, в различных металлах, самородном висмуте и мышьяке, в человеческой крови, желчи и волосах, в животных и растениях. Шесть тысяч дукатов отцовского наследия вылетели в трубу плавильной печи. Истратив собственные деньги, принялся за чужие. Заимодавцы посадили его в тюрьму. Он бежал и в течение следующих восьми лет делал опыты над яйцами, извел 20.000 штук. Затем работал с папским протонотарием, маэстро Генрико, над купоросами, заболел от ядовитых испарении, пролежал четырнадцать месяцев, всеми покинутый, и едва не умер. Терпя нищету, унижения, преследования, посетил странствующим лаборантом Испанию, Францию, Австрию, Голландию, северную Африку, Грецию, Палестину и Персию. У короля венгерского пытали его, надеясь вывести тайну превращения. Наконец, уже старый, утомленный, но не разочарованный, вернулся он в Италию, по приглашению герцога Моро, и получил звание придворного алхимика.

Середину лаборатории занимала неуклюжая печь из огнеупорной глины со множеством отделений, заслонок, плавильников и

раздувальных мехов. В одном углу, под слоем пыли, валялись закоптелые выгарки, подобные застывшей лаве.

Рабочий стол загромождали сложные приборы: кубы, перегонные шлемы, химические приемники, реторты, воронки, ступы, колбы со стеклянными пузырями, длинными горлами, змеевидные трубки, громадные бутылки и крошечные баночки. Острый запах отделялся от ядовитых солей, щелоков, кислот. Целый таинственный мир заключен был в металлах - семь богов Олимпа, семь планет небесных: в золоте - Солнце, Луна - в серебре, в меди - Венера, в железе-Марс, в свинце-Сатурн, в олове-Юпитер, и в живой, блистающей ртути - вечно подвижной Меркурий. Здесь были вещества с именами варварскими, внушавшими страх непосвященным: киноварный Месяц, волчье Молоко, медный Ахиллес, астерит, андроама, анагаллис, рапонтикум, аристолохия. Драгоценная капля многолетним трудом добытой Львиной Крови, которая исцеляет все недуги и дает вечную молодость,- алела, как рубин.

Алхимик сидел за рабочим столом. Худощавый, маленький, сморщенный, как старый гриб, но все еще неугомонно-бойкий, мессер Галеотто, подпирая голову обеими руками, внимательно смотрел на колбу, которая с тихим звоном закипала и бурлила на голубоватом жидком пламени спирта. То было Масло Венеры - *Oleum Veneris*, цвета прозрачно-зеленого, как смарагд. Свеча, горевшая рядом, кидала сквозь колбу изумрудный отблеск на пергамент открытого ветхого фолианта, сочинение арабского алхимика Джабира Абдаллы.

Услышав на лестнице шаги и голоса, Галеотто встал, оглянул лабораторию,-все ли в порядке,-сделал знак

слуге, молчаливому фамулусу, чтобы он подложил углей в плавильную печь, и пошел встречать гостей.

Общество было веселое, только что после ужина с мальвазией. В свите герцога - главный придворный врач Марлиани, человек с большими сведениями в алхимии, и Леонардо да Винчи.

Дамы вошли - и тихая келья ученого наполнилась запахом духов, шелковым шелестом платьев, легкомысленным женским говором и смехом - словно птичьим гомоном. Одна задела рукавом и уронила стеклянную реторту. - Ничего, синьора, не беспокойтесь!-молвил

Галеотто с любезностью.- Я подберу осколки, чтобы вы не обрезали ножку.

Другая взяла в руку закоптелый кусок железного выгарка, запачкала светлую, надушенную фиалками, перчатку, и ловкий кавалер, тихонько пожимая маленькую ручку, старался кружевным платком отчистить пятно.

Белокурая шаловливая дондзелла Диана, замирая от веселого страха, прикоснулась к чашке, наполненной ртутью, пролила две-три капли на стол и, когда они покатались блестящими шариками, вскрикнула:

- Смотрите, смотрите, синьоры, чудеса: жидкое серебро - само бежит, живое!

И чуть не прыгала от радости, хлопая в ладоши. - Правда ли, что мы увидим черта в алхимическом огне, когда свинец будет превращаться в золото? - спросила хорошенькая, плутоватая Филиберта, жена старого консула соляного приказа.- Как вы полагаете, мессер, не грех ли присутствовать при таких опытах?

Филиберта была очень набожной, и про нее рассказывали, что любовнику она позволяет все, кроме поцелуя в губы, полагая, что целомудрие не совсем нарушено, пока остаются невинными уста, которыми она клялась пред алтарем в супружеской верности. Алхимик подошел к Леонардо и шепнул ему на ухо:

- Мессере, верьте, я умею ценить посещение такого человека, как вы...

Он крепко пожал ему руку. Леонардо хотел возразить, но старик перебил его, закивав головой:

- О, разумеется!.. Тайна для них! Но мы-то ведь друг друга понимаем?..

Потом с приветливой улыбкой обратился к гостям: - С позволения моего покровителя, светлейшего герцога, так же, как этих дам, моих прелестных владычиц, приступаю к опыту божественной метаморфозы. Внимание, синьоры!

Для того, чтобы не могло возникнуть никаких сомнений в достоверности опыта, он показал тигель - плавильный сосуд с толстыми стенками из огнеупорной глины, попросил, чтобы каждый из присутствующих осмотрел его, ощупал, постучал пальцами в дно и

убедился, что в нем нет никакого обмана, причем объяснил, что алхимики иногда скрывают золото в плавильных сосудах с двойным дном, из которых верхнее от сильного жара трескается и обнажает золото. Куски олова, угля, раздувательные мехи, палки для размешивания застывающих окалин металла и остальные предметы, в которых могло или, по-видимому, даже вовсе не могло быть спрятано золото, были также тщательно осмотрены.

Потом нарезал олово на малые куски, положил его в тигель и поставил в устье печи на пылающие угли. Молчаливый, косоглазый фамулус, с таким бледным, мертвенным и угрюмым лицом, что одна дама чуть не упала в обморок, приняв его в темноте за дьявола, начал работать громадными раздувательными мехами. Угли разгорались под шумной струей ветра.

Галеотто занимал гостей разговором. Между прочим возбудил всеобщую веселость, назвав алхимию *casta teretrix*, целомудренной блудницею, которая имеет много поклонников, всех обманывает, всем кажется доступной, но до сих пор еще не бывала ни в чьих объятиях, *in nullos unquam pervenit amplexus*.

Придворный врач Марлиани, человек тучный и неуклюжий, с обрюзглым, умным и важным лицом, сердито морщился, внимая болтовне алхимика, потирал свой лоб, наконец не выдержал и произнес: - Мессере, не пора ли за дело? Олово кипит. Галеотто достал синюю бумажку и развернул ее бережно. В ней оказался порошок светло-желтого, лимонного цвета, жирный, блестящий, как стекло, натолченное крупно, ПАХнувший жженою морскою солью: то была заветная тинктура, неоценимое сокровище алхимиков, чудотворный камень мудрецов, *lapis philosophorum*.

Острием ножа отделил он едва заметную крупинку, не БОЛЕЕ репного семени, завернул в белый пчелиный воск, скатал Шарик и бросил в кипящее олово.

- Какую силу полагаете вы в тинктуре? - сказал марлиани.

- Одна часть на 2.820 частей превращаемого металла,- ответил Галеотто.-Конечно, тинктура еще несовершенна, но я думаю, что в скором времени достигну силы единицы на миллион. Довольно будет взять порошинку весом с просяное зерно, растворить в бочке воды, зачерпнуть скорлупой лесного ореха и брызнуть на виноградник,

чтобы уже в мае появились спелые гроздья! *Ma ga tingerem si Mercurius esset* - Я превратил бы в золото море, если бы ртути было достаточно!

Марлиани пожал плечами: хвастовство мессера Галеотто бесило его. Он стал доказывать невозможность превращения доводами схоластики и силлогизмами Аристотеля. Алхимик улыбнулся.

- Погодите, *domine magister*, сейчас я представлю силлогизм, который вам будет нелегко опровергнуть.

Он бросил на угли горсть белого порошка. Облака дыма наполнили лабораторию. С шипением и треском вспыхнуло пламя, разноцветное, как радуга, то голубое, то зеленое, то красное.

В толпе зритель произошёл смятение. Впоследствии мадонна Филиберта рассказывала, что в багровом пламени видела дьявольскую рожу. Алхимик длинным чугунным крючком приподнял крышу на тигеле, раскаленную добела: олово бурлило, пенилось и клокотало. Тигель снова закрыли. Мех засвистел, засопел - и когда минут десять спустя в олово погрузили тонкий железный прут, все увидели, что на конце его повисла желтая капля. - Готово!- произнес алхимик.

Глиняный плавильник достали из печи, дали ему остынуть, разбили и, звеня и сверкая, перед толпой, онемевшей от изумления, выпал слиток золота.

Алхимик указал на него и, обращаясь к Марлиани, произнес торжественно:

- *Solve mihi hunc syllogismum* Разрешите мне этот силлогизм!

- Неслыханно... невероятно... против всех законов Природы и логики! - пролепетал Марлиани, в смущении разводя руками. Лицо мессера Галеотто было бледно; глаза горели. Он поднял их к небу и воскликнул:

- *Laudetur Deus in aeternum, qui partem suae infinitae potentiae nobis, suis adjectissimis creaturis, communicavit. Amen!* - Слава Вышнему Богу, который нам, недостойнейшим тварям Своим, дарует часть бесконечного могущества Своего. Аминь!

При испытании золота на смоченном селитренной кислотой пробирном камне осталась желтая, блестящая полоска; оно оказалось чище самого тонкого венгерского и арабского.

Все окружили старика, поздравляли, пожимали ему руки.

Герцог Моро отвел его в сторону: - Будешь ли ты мне служить верой и правдой? - Я хотел бы иметь больше, чем одну жизнь, чтоб посвятить их все на служение вашей светлости! - отвечал алхимик.

- Смотри же, Галеотто, чтобы никто из других государей...

- Ваше высочество, если кто-нибудь узнает, велите повесить меня, как собаку!

И, помолчав, с подобострастным поклоном прибавил: - Если бы только я мог получить... - Как? Опять?

- О, последний раз, видит Бог, последний, - Сколько?

- Пять тысяч дукатов.

Герцог подумал, выторговал одну тысячу и согласился. Было поздно, мадонна Беатриче могла беспокоиться. Собрались уезжать. Хозяин

проводя гостей, каждому поднес на память кусочек нового золота. Леонардо остался.

Когда гости уехали, Галеотто подошел к нему и сказал: - Учитель, как вам понравился опыт? - Золото было в палках,- отвечал Леонардо спокойно. - В каких палках?.. Что вы хотите сказать, мессере? - В палках, которыми вы мешали олово: я видел все. - Вы сами осматривали их... - Нет, не те... - Как не те? Позвольте...

- Я же говорю вам, что видел все,- повторил Леонардо с улыбкой.- Не отпирайтесь, Галеотто. Золото спря тано было внутри выдолбленных палок, и когда деревянные концы их обгорели, оно выпало в тигель.

У старика подкосились ноги; на лице его было выражение покорное и жалкое, как у пойманного вора. Леонардо подошел и положил ему руку на плечо. - Не бойтесь, никто не узнает. Я не скажу. Галеотто схватил его руку и с усилием проговорил: - Правда, не скажете?..

- Нет. Я не желаю вам зла. Только зачем вы?.. - О, мессер Леонардо!-воскликнул Галеотто, и сразу после безмерного отчаяния такая же безмерная надежда вспыхнула в глазах его.-Клянусь Богом, если и вышло так, как будто я обманываю, то ведь это на время, на самое короткое время и для блага герцога, для торжества науки, потому что я ведь нашел, я в самом деле нашел камень мудрецов!

Пока-то еще у меня его нет, но можно сказать, что оно уже есть, все равно, что есть, ибо я путь нашел, а вы знаете, в этом деле главное - путь. Еще тричетыре опыта, и кончено! Что же было делать, учитель? Неужели такой маленькой лжи не стоит открытие величайшей истины?..

- Что это с вами, мессер Галеотто, точно в жмурки играем,- молвил Леонардо, пожимая плечами.- Вы знаете так же хорошо, как я, что превращение металлов - вздор, что камня мудрецов нет и быть не может. Алхимия, некромантия, черная магия так же как все прочие науки, не основанные на точном опыте и математике,- обман или безумие, раздуваемое ветром, знамя шарлатанов, за которым следует глупая чернь...

Алхимик продолжал смотреть на Леонардо ясными и удивленными глазами. Вдруг склонил голову набок, лукаво прищурил один глаз и засмеялся:

- А вот это уже и нехорошо, учитель, право нехорошо! Разве я не посвященный, что ли? Как будто мы не знаем, что вы - величайший алхимик, обладатель сокровеннейших тайн природы, новый Гермес Тресмегист и Прометей! - Я? - Ну да, вы, конечно. - Шутник вы, мессер Галеотто!

- Нет, это вы шутник, мессер Леонардо! Ай, ай, ай, какой же вы притворщик! Видал я на своем веку алхимиков, ревнивых к тайне науки, но такого еще никогда!

Леонардо внимательно посмотрел на него, хотел рассердиться и не мог. - Так, значит, вы в самом деле,- произнес он с невольной улыбкой,- вы, в самом деле, верите?..

- Верю ли!-воскликнул Галеотто.-Да знаете ли вы, мессере, что если бы сам Бог сошел ко мне сейчас и сказал: Галеотто, камня мудрецов нет,-я ответил бы ему: Господи, как то, что Ты создал меня,-истинно, что камень есть и что я его найду!

Леонардо более не возражал, не возмущался и слушал с любопытством.

Когда зашла речь о помощи дьявола в сокровенных науках, алхимик с презрительной усмешкой заметил, что дьявол есть самое бедное создание во всей природе и что нет ни единого существа в

мире более слабого, чем он. Старик верил только в могущество человеческого разума и утверждал, что для науки все возможно.

Потом вдруг, как будто вспомнил что-то забавное и милое, спросил, часто ли видит Леонардо стихийных духов; когда же собеседник признался, что он еще ни разу их не видел, Галеотто опять не поверил и с удовольствием подробно объяснил, что у Саламандры тело продолговатое, пальца полтора в длину, пятнистое, тонкое и жесткое, а у Сильфиды - прозрачно-голубое, как небо, и воздушное. Рассказал о нимфах, ундилах, живущих в воде, подземных гномах и пигмеях, растительных дурдалах и редких диемеях, обитателях драгоценных камней.

- Я вам и передать не могу,- заключил он свой рассказ,-какие они добрые!..

- Почему же стихийные духи являются не всем, а только избранным?

- Как можно всем? Они боятся грубых людей,-развратников. пьяниц, обжор. Любят детскую простоту и невинность. Они только там, где нет злобы и хитрости. Иначе становятся пугливыми, как лесные звери, и прячутся от взоров человека в родную стихию.

Лицо старика озарилось мечтательной, нежной улыбкой.

"Какой странный, жалкий и милый человек!"-подумал Леонардо, уже не чувствуя негодования на алхимические бредни, стараясь говорить с ним бережно, как с ребенком, готовый притвориться обладателем каких угодно тайн, только бы не огорчить мессера Галеотто. Они расстались друзьями.

Когда Леонардо уехал, алхимик погрузился в новый опыт с Маслом Венеры.

В то время перед громадным очагом, в нижней горнице находившейся под лабораторией, сидела хозяйка, мона Седония, и Кассандра.

Над вязанкой пылающего хвороста висел чугунный котел, в котором варилась похлебка с чесноком и репою на ужин. Однообразным движением сморщенных пальцев старуха вытягивала из кудели и сучила нить, то подымая, то опуская быстро вращавшееся веретено. Кассандра глядела на пряжу и думала: опять все то же, опять сегодня, как вчера, завтра, как сегодня; сверчок поет, скребется

мышь, жужжит веретено, трещат сухие стебли горицы, пахнет чесноком и репою; опять старуха теми же словами попрекает, точно пилит тупую пилою: она, мона Сидония, бедная женщина, хотя люди болтают, что кубышка с деньгами зарыта у нее в винограднике. Но это ввдор. Мессер Галеотто разоряет ее. Оба, дядя и племянница, сидят у нее на шее, прости Господи! Она держит и кормит их только по доброте сердца. Но Кассандра уже не маленькая: надо подумать о будущем. Дядя умрет и оставит ее нищею. Отчего бы ей не выйти замуж за богатого лошадиного барышника из Абиатеграссо, который давно сватается? Правда, он уже не молод, зато человек рассудительный, богобоязненный; у него лабаз, мельница, оливковый сад с новым точилом. Господь посылает ей счастье. За чем же дело стало? Какого ей рожна?

Мона Кассандра слушала, и тяжелая скука подкатывалась комом к горлу, душила, сжимала виски, так что хотелось плакать, кричать от скуки, как от боли.

Старуха вынула из котелка дымящуюся репу, проколола острой деревянной палочкой, очистила ножом, облила густым, алым виноградным морсом и начала есть, чавкая беззубым ртом.

Молодая девушка привычным движением, с видом покорного отчаяния, потянулась и заломила над головой тонкие, бледные пальцы.

Когда, после ужина, сонная пряха, как унылая парка, закивала головой, и глаза ее начали слипаться, скрипучий голос сделался ленивым, болтовня о лошадином барышнике бессвязной, - Кассандра вынула украдкой из-под одежды подарок отца, мессера Луиджи, талисман, висевший на тонком шнурке, драгоценный камень, согретый телом ее, подняла его перед глазами так, чтобы пламя очага просвечивало, и стала смотреть на изображение Вакха; в темно-лиловом сиянии аметиста выступал перед нею, как видение, обнаженный юноша Вакх с тирсом в одной руке, с виноградной кистью в другой; скачущий барс хотел лизнуть эту кисть языком. И любовью к прекрасному богу полно было сердце Кассандры.

Она тяжело вздохнула, спрятала талисман и молвила робко:

- Мона Сидония, сегодня ночью в Барко ди Феррара и в Беневенте собираются... Тетушка! Добрая, милая! Мы и плясать не будем - только

взглянем и сейчас назад. Я сделаю все, что хотите, подарок у барышника выманю - только полетим, полетим сегодня, сейчас!..

В глазах ее сверкнуло безумное желание. Старуха посмотрела на нее, и вдруг синеватые, морщинистые губы ее широко осклабились, открывая единственный, желтый зуб, похожий на клык; лицо сделалось страшным и веселым.

- Хочется?-молвила она,-очень, а? Во вкус вошла? Вишь, бедовая девка! Каждую бы ночь летала, не удержишь! Помни же, Кассандра: грех на твоей душе. У меня сегодня и в мыслях не было. Я только для тебя...

Не торопясь, обошла она горницу, закрыла наглухо ставни, заткнула щели тряпицами, заперла двери на ключ, залила водою золу в очаге, засветила огарок черного волшебного сала и вынула из железного рундучка глиняный горшок с остро пахучей мазью. Притворялась медлительной и благоразумной. Но руки у нее дрожали, как у пьяной, маленькие глазки то становились мутными и шалыми, то вспыхивали, как уголья, от вожделения. Кассандра вытащила на середину горницы два больших корыта, употребляемых для закваски хлебного теста.

Окончив приготовления, мона Сидония разделась донага, поставила горшок между корытами, села в одно из них верхом на помело и стала натирать себя по всему телу жирною, зеленоватою мазью из горшка. Пронзительный запах наполнил горницу. Это снадобье для полета ведьм Приготавливалось из ядовитого латука, болотного сельдерея, болиголова, паслена, корней мандрагоры, снотворного мака, белены, змеиной крови и жира некрещеных, колдуньями замученных детей.

Кассандра отвернулась, чтобы не видеть уродства голого тела старухи. В последнее мгновение, когда уже было близко и неминуемо то, чего ей так хотелось,- в глубине ее сердца поднялось омерзение.

- Ну, ну, чего копаешься?-проворчала старая ведьма сидя в корыте на корточках.-Сама же торопила, а теперь кочевряжишься. Я одна не полечу. Раздевайся! - Сейчас. Потушите огонь, мона Сидония. Я не могу при свете...

- Вишь, скромница! А на Горе-то, небось, не стыдишься?..

Она задула огарок, сотворив в угоду дьяволу принятое ведьмами кощунственное крестное знамение левою рукою. Молодая девушка разделась, только нижней сорочки не сняла; потом стала на колени в корыто и начала поспешно натираться мазью.

В темноте слышалось бормотание старухи - бессмысленные, отрывочные слова заклинаний:

- Emen Hetan, Emen Hetan, Палуд, Баальберит, Астарот, помогите! Agora, agora, Patrica-помогите!

Жадно вдыхала Кассандра крепкий запах волшебного зелья. Кожа на теле горела, голова кружилась. Сладостный холод пробежал по спине. Красные и зеленые круги, сливаясь, поплыли перед глазами, и, как будто издавека, вдруг донесся пронзительный, торжествующий крик моны Сидонии: - Гарр! Гарр! Снизу вверх, не задевая!

Из трубы очага вылетела Кассандра, сидя верхом на черном козле с мягкой шерстью, приятною для голых ног. Восторг наполнял ее душу, и, задыхаясь, она кричала, визжала, как ласточка, утопающая в небе:

- Гарр! Гарр! Снизу вверх, не задевая! Летим! Летим!

Нагая, простоволосая, безобразная тетка Сидония мчалась рядом, верхом на помеле.

Летели так быстро, что рассекаемый воздух свистел в ушах, как ураган.

- К северу! К северу! - кричала старуха, направляя свое помело, как послушного коня. Кассандра упивалась полетом.

"А механик-то наш, бедный Леонардо да Винчи со своими летательными машинами!"-вспомнила она вдруг ей сделалось еще веселее. То подымалась в высоту: черные тучи громоздились под нею, и в них трепетали голубые молнии. Вверху было ясное небо с полным месяцем, громадным, ослепительным,

круглым, как мельничный жернов, и таким близким, что казалось, можно было рукою прикоснуться к нему.

То она вниз направляла козла, ухватив его за крутые рога, и летела стремглав, как камень, сорвавшийся в бездну. - Куда? Куда? Шею сломаешь! Взбесилась ты, чертова девка?-вопила тетка Сидония, едва поспевая за ней. И оии уже мчались так близко к земле, что сонные травы в болоте шуршали, блуждающие огни освещали им

путь, голубые гнилушки мерцали, филин, выпь, козодой жалобно перекликались в дремучем лесу.

Перелетели через вершины Альп, сверкавшие на луне прозрачными глыбами льда, и опустились к поверхности моря. Кассандра, зачерпнув воды рукою, подбрасывала ее вверх и любовалась сапфирными брызгами.

С каждым мигом полет становился быстрее. Попадались все чаще попутчики: седой, косматый колдун в ушате, веселый каноник, толстобрюхий, румянорожий, как Силен, на кочерге, белокурая девочка лет десяти, с невинным лицом, с голубыми глазами, на венике, молодая, голая, рыжая ведьма-людоедка на хрюкающем борове, и множество других. - откуда, сестрицы?-крикнула тетка Сидоиня. - Из Эллады, с острова Кандии! Другие голоса отвечали: - Из Валенции. С Брокена. Из Салагуцци под Мирандолой. Из Беневента, из Норчии. - Куда? - В Битерн! В Битерн! Там празднует свадьбу Великий Козел - el Boch de Biterne. Летите, летите! Собирайтесь на вечерю!

Теперь уже целую стайей, как вороны, неслись они над печальной равниной.

В тумане луна казалась багровой. Вдали затеплился крест одинокого сельского храма. Рыжая, та, что скакала верхом на свинье, с визгом подлетела к церкви, сорвала большой колокол, швырнула его со всего размаха в болото и, когда он шлепнулся в лужу с жалобным звоном, захохотала, точно залаяла. Белокурая девочка на венике захлопала в ладоши с шаловливою резвостью.

Луна спряталась за тучи. При свете крученых из воска, зеленых факелов, с пламенем ярким и синим, как молния, на белоснежном, меловом плоскогории ползали, бегали, переплетались и расходились огромные, черные, как уголь, тени пляшущих ведьм. - Гарр! Гарр! Шабаш, шаба'ш! Справа налево, справа налево!

Вокруг Ночного Козла, Nyctus Nocturnus, восседавшего на скале, тысячи за тысячами проносились как черные гнилые листья осени-без конца, без начала.

- Гарр! Гарр! Славьте Ночного Козла! El Boch de Biterne! El Boch de Biterne! Кончились все наши бедствия! Радуйтесь!

Тонко и сипло пищали волынки из бычачьих мертвых костей; и барабан, натянутый кожей висельников, ударяемый волчьим хвостом, мерно и глухо гудел, рокотал: "туп, туп, туп". В исполинских котлах закипала ужасная снедь, несказанно-лакомая, хотя и не соленая, ибо здешний Хозяин ненавидел соль.

В укромных местечках заводились любовные шашни - дочерей с отцами, братьев с сестрами, черного кота-оборотня, жеманного, зеленоглазого, с маленькой, тонкой и бледной, как лилия, покорною девочкой,-безликого, серого, как паук, шершавого инкуба с бесстыдно оскалившей зубы монахиной. Всюду копошились мерзостные пары.

Белотелая, жирная ведьма великанша с глупым и добрым лицом, с материнской улыбкой кормила двух новорожденных бесенят: прожорливые сосунки жадно припали к ее отвислым грудям и, громко чмокая, глотали молоко.

Трехлетние дети, еще не принимающие участия в шабаше, скромно пасли на окраине поля стадо бугорчатых жаб с колокольчиками, одетых в пышные попонки из кардинальского пурпура, откормленных святым Причастием.

- Пойдем плясать,-нетерпеливо тащила Кассандру тетка Сидония.

- Лошадиный барышник увидит! - молвила девушка, смеясь.

- Пес его заешь, лошадиного барышника!-отвечала старуха. И обе пустились в пляску, которая закружила, понесла их, как буря, с гулом, воем, визгом, ревом и хохотом. - Гарр! Гарр! Справа налево! Справа налево!

Чьи-то длинные, мокрые, словно моржовые, усы сзади кололи шею Кассаядре; чей-то тонкий, твердый хвост щекотал ее спереди; кто-то ущипнул больно и бесстыдно; кто-то укусил, прошептал ей на ухо чудовищную ласку. Но она не противилась: чем хуже - тем лучше, чем страшнее тем упоительнее.

Вдруг все мгновенно остановились, как вкопанные, окаменели и замерли.

От черного престола, где восседал Неведомый, окруженный ужасом, послышался глухой голос, подобный гулу землетрясения:

- Примите дары мои,- кроткие силу мою, смиренные гордость мою, нищие духом знание мое, скорбные сердцем радость мою,-

примите!

Благолепный седобородый старик, один из верховных членов Святейшей Инквизиции патриарх колдунов, служивший черную мессу, торжественно провозгласил:

- Sanctificetur nomen tuum per universum mundum, et libera nos ab omni malo!.-Поклонитесь, поклонитесь, верные! Да святится имя твое во всем мире и избавь нас от всякого зла (лат.). Все пали ниц, и, подражая церковному пению, грянул кощунственный хор:

- Credo in Deum, patrem Luciferum qui creavit coelum et terram. Et in filium ejus Belzebul Верую в Бога- отца Люцифера, сотворившего небо и землю. И в сына его Вельзевула (лат.).

Когда последние звуки умолкли и опять наступила тишина, раздался тот же голос, подобный гулу землетрясения:

- Приведите невесту мою неневестную, голубицу мою непорочную! Первосвященник спросил:

- Как имя невесты твоей, голубицы твоей непорочной? - Мадонна Кассандра! Мадонна Кассандра! - прогудело в ответ.

Услышав имя свое, ведьма почувствовала, как в жилах ее леденеет кровь, волосы встают дыбом на голове.

- Мадонна Кассандра! Мадонна Кассандра! - пронеслось над толпой.-Где она? Где владычица наша? Ave, archisponsa Cassandra! Радуйся, владычица Кассандра! (лат.)

Она закрыла лицо руками, хотела бежать - но костяные пальцы, когти, щупальцы,, хоботы, шершавые паучьи лапы протянулись, схватили ее, сорвали рубашку и голую, дрожащую повлекли к престолу.

Козлиным смрадом и холодом смерти пахнуло ей в лицо. Она потупила глаза, чтобы не видеть. Тогда сидевший на престоле молвил: - Приди! Она еще ниже опустила голову и увидела у самых ног своих огненный крест, сиявший во мраке. Она сделала последнее усилие, победила омерзение, ступила шаг и подняла глаза свои на того, кто встал перед нею. И чудо совершилось. Козлиная шкура упала с него, как чешуя со змеи, и древний олимпийский бог Дионис предстал перед моной Кассандрой, с улыбкой вечного веселья на устах, с поднятым тирсом в одной руке, с виноградною кистью в другой; пантера прыгала, стараясь лизнуть эту кисть языком.

И в то же мгновение дьявольский шабаш превратился в божественную оргию Вакха: старые ведьмы-в юных менад, чудовищные демоны-в козлоногих сатиров; и там, где были мертвые глыбы меловых утесов, вознеслись колоннады из белого мрамора, освещенного солнцем; между ними вдали засверкало лазурное море, и Кассандра увидела в облаках весь лучезарный сонм богов Эллады.

Сатиры, вакханки, ударяя в тимпаны, поражая себя ножами в сосцы, выжимая алый сок винограда в золотые кратеры и смешивая его с собственной кровью, плясали, кружились и пели:

- Слава, слава Дионису! Воскресли великие боги! Слава воскресшим богам!

Обнаженный юноша Ва.кх открыл объятия Кассандре, и голос его подобен был грому, потрясаящему небо и землю:

- Приди, приди, невеста моя, голубица моя непорочная! Кассандра упала в объятия бога.

Послышался утренний крик петуха. Запахло туманом и едкой, дымною сыростью. Откуда-то, из бесконечной дали, донесся благовест колокола. От этого звука на горе произошло великое смятение; вакханки опять превратились в чудовищных ведьм, козлоногие фавны в уродливых дьяволов и бог Дионис в Ночного Козла-в смрадного *Hircus Nocturnus*.

- Домой, домой! Бегите, опасайтесь! - Кочергу мою украли! - с отчаянием вопил толстобрюхий каноник Силен и метался, как угорелый.

- Боров, боров, ко мне! - кликала рыжая голая, пожимаясь от утренней сырости, кашляя.

Заходящий месяц выплыл из-за туч, и в его багровом отблеске, взвиваясь рой за роем, перетрусившие ведьмы, как черные мухи, разлетались с Меловой Горы.

- Гарр! Гарр! Снизу вверх, не задевая! Спасайтесь, бегите!

Ночной Козел заблеял жалобно и провалился сквовь землю, распространяя зловоние удушливой серы. Гудел церковный благовест.

Кассандра очнулась на полу темной горницы в домике у Верчельских ворот,

Ее тошнило, как с похмелья. Голова была точно свинцом налита. Тело разбито усталостью.

Колокол св. Редегонды звенел уныло. Сквозь этот звон раздавался упорный, должно быть, уже давний стук в наружную дверь. Кассандра прислушалась и узнала голос жениха своего, лошадиного барышника из Абиатеграссо.

- Отоприте! Отоприте! Мона Сидония! Мона Кассандра! Оглохли вы, что ли? Как собака, промок. Не возвращаться же назад по этой чертовой слякоти!

Девушка встала с усилием, подошла к окну, наглухо закрытому ставнями, вынула паклю, которою тетка Сидония тщательно заткнула щели. Свет печального утра упал синеватой полоской, озаряя голую старую ведьму, спавшую мертвым сном на полу рядом с опрокинутой квашнею. Кассандра заглянула в щель.

День был ненастный. Дождь лил как из ведра. Перед дверями дома за мутной сеткой дождя виднелся влюбленный барышник; рядом стоял, низко понунив голову, вислоухий крошечный ослик, запряженный в повозку. Из нее выставил морду теленок со связанными ногами, издавая мычание.

Барышник, не унимаясь, стучал в дверь. Кассандра ждала, чем это кончится.

Наконец, ставня наверху, в одном из окон лаборатории стукнула. Выглянул старый алхимик, не выспавшийся, со взъерошенными волосами, с угрюмым и злым лицом, какое бывало у него в те мгновения, когда, пробуждаясь от грез, начинал он сознавать, что свинец не может превратиться в золото.

- Кто стучит? - молвил он, высовываясь из окна.- Чего тебе нужно? Рехнулся ты, что ли, старый хрыч? Да пошлет тебе Господь безвремения! Разве не видишь - все в доме спят. Убирайся! - Мессер Галеотто! Помилуйте, за что же вы ругаетесь? Я по важному делу, насчет племянницы вашей. Вот теленочка молочного в подарочек...

- К черту!-закричал Галеотто с яростью.-Убирайся, негодяй, со своим теленком к черту под хвост! И ставня захлопнулась. Озадаченный барышник на минуту притих. Но тотчас, опомнившись, с удвоенной силой Принялся стучать кулаками, как будто хотел выломать дверь.

Ослик еще ниже понурил голову. Дождевые струйки медленно стекали по его безнадежно висевшим мокрым ушам.

- Господи, какая скука!-прошептала мона Кассандра и закрыла глаза.

Ей припомнилось веселие шабаша, превращение Ночного Козла в Диониса, воскресение великих богов, и она подумала:

- Во сне это было или наяву? Должно быть, во сне. А вот то, что теперь - наяву. После воскресенья - понедельник...

- Отоприте! Отоприте!-вопил барышник уже осипшим, отчаянным голосом.

Тяжелые капли из водосточной трубы однозвучно шлепались в грязную лужу. Теленок жалобно мычал. Монастырский колокол звенел уныло. <h2>ПЯТАЯ КНИГА. ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ</h2>

Миланский граждаин башмачник Корболо, вернувшись ночью домой навеселе, получил от жены, по собственному выражению, больше ударов, чем нужно для того, чтобы ленивый осел дошел от Милана до Рима. Поутру, когда отправилась она к соседке своей, лоскутнице, отведать мильячки - студня из свиной крови, Корболо ощупал в мошне несколько утаенных от супруги монет, оставил лавчонку на попечение подмастерья и пошел опохмелиться.

Засунув руки в карманы истертых штанов, выступал он ленивой походкой по извилистому темному переулку, такому тесному, что всадник, встретившись с пешим, должен был задеть его носком или шпорой. Пахло чадом оливкового масла, тухлыми яйцами, кислым вином и плесенью погребов.

Насвистывая песенку, поглядывая вверх на узкую полосу темно-синего неба между высокими домами, на пронизанные утренним солнцем пестрые лохмотья, развешанные хозяйками на веревках через улицу, Корболо утешал себя мудрою пословицей, которой, впрочем, сам никогда не приводил в исполнение:

"Всякая женщина, злая и добрая, в палке нуждается". Для сокращения пути прошел он через собор. Здесь была вечная суeta, как на рынке. Из одной двери в другую, несмотря на пеню, проходило множество людей, даже с мулами и лошадьми.

Патеры служили молебны гнусливыми голосами; слышался шепот в исповедальнях; горели лампы на алтарях. А рядом уличные мальчишки играли в чехарду, собаки обнюхивались, толкались ободранные нищие.

Корболо остановился на минуту в толпе ротозеев, с лукавым и добродушным удовольствием прислушиваясь к перебранке двух монахов.

Брат Чипполо, босоногий францисканец, низенький, рыжий, с веселым лицом, круглым и масляным, как пышка, доказывал противнику своему, доминиканцу, брату Тимотео, что Франциск, будучи подобен Христу в сорока отношениях, занял место, оставшееся на небе свободным после падения Люцифера, и что сама Божья Мать не могла отличить его стигматов от крестных ран Иисусовых. Угрюмый, высокий и бледнолицый брат Тимотео противопоставлял язвам Серафимского угодника язвы св. Катерины, у которой на лбу был кровавый след тернового венца, чего у св. Франциска не было.

Корболо должен был прищурить глаза от солнца, выйдя из тени собора на площадь Аренго, самое бойкое место в Милане, загроможденное лавками мелких торговцев, рыбников, лоскутников и зеленщиц, таким множеством ящиков, навесов и лотков, что между ними едва оставался узкий проход. С незапамятных времен угнездились они на этой площади перед собором, и никакие законы и пени не могли прогнать их отсюда.

"Салат из Валтеллины, лимоны, померанцы, артишоки, спаржа, спаржа хорошая!" - зазывали покупателей зеленщицы. Лоскутницы торговались и кудахтали, как наседки.

Маленький упрямый ослик, исчезавший под горою желтого и синего винограда, апельсинов, баклажанов, свеклы, цветной капусты, фенноки и лука, ревел раздражающим голосом: ио, ио, ио! Сзади погонщик звонко хлопал его дубиной по облезлым бокам и понукал отрывистым гортанным криком: арри! арри!

Вереница слепых с посохами и поводырем пела жалобную "Intemerata".

Уличный шарлатан-зубодер, с ожерельем зубов на выдровой шапке, с быстрыми и ловкими движениями фокусника, стоя позади

человека, сидевшего на земле, и сжимая ему голову коленями, выдерживал зуб громадными щипцами.

Мальчишки показывали жиду свиное ухо и пускали траттолу-волчок под ноги прохожих. Самый отчаянный из шалунов, черномазый, курносый Фарфаниккио, принес мышеловку, выпустил мышь и начал охотиться за нею с метлою в руках, с пронзительным гиком и свистом: "Вот она, вот она!" Убегая от погони, мышь бросилась под широчайшие юбки мирно вязавшей чулок толстогрудой, дебелой зеленщицы Барбаччи. Она вскочила, завизжала, как ошпаренная, и, при общем хохоте, подняла платье, стараясь вытряхнуть мышь. - Погоди, возьму булыжник, разобью тебе обезьянью башку, негодяй! - кричала в бешенстве.

Фарфаниккио издали показывал язык и прыгал от восторга.

На шум обернулся носильщик с громадною свиною тушей на голове. Лошадь доктора, мессера Габбадео, испугалась, шарахнулась, понесла, задела и уронила целую грудку кухонной посуды в лавчонке торговца старым железом, Ополовники, сковороды, кастрюли, терки, котлы посыпались с оглушительным грохотом. Перетрусивший мессер Габбадео скакал, отпустив поводья и вопил: "Стой, стой. чертова перечница!"

Собаки лаяли. Любопытные лица высовывались из окон.

Хохот, ругань, визг, свист, человечески" крик и оглушительный рев стояли над площадью.

Любуясь на это зрелище, башмачник думал с кроткой улыбкой:

"А славно было бы жить на свете, если б не жены, которые едят мужей своих, как ржавчина ест железо!"

Заслонив глаза от солнца ладонью, взглянул он вверх на исполинское неоконченное строение, окруженное плотничьими лесами. То был собор, воздвигаемый народом во славу Рождества Богородицы.

Малые и великие принимали участие в созидании храма. Королева Кипрская прислала драгоценные воздухи, тканые золотом; бедная старушка-лоскутница Катерина положила на главный алтарь, как приношение Деве Марии, не думая о холоде предстоящей зимы, ветхую единственную шубенку свою, ценой в двадцать сольдов.

Корболо, с детства привыкший следить за постройкой, в это утро заметил новую башню и обрадовался ей.

Каменщики стучали молотками. С выгрузной пристани в Лагетто у Сан-Стефано, неподалеку от Оспедале Маджоре, где причаливали барки, подвозились огромные искрящиеся глыбы белого мрамора из Лагомаджорских каменоломен. Лебедки скрипели и скрежетали цепями. Железные пилы визжали, распиливая мрамор. Рабочие ползали по лесам, как муравьи. И великое здание росло, высилось бесчисленным

множеством сталактитоподобных стрельчатых игл, колоколен и башен из чистого белого мрамора, в голубых небесах,- вечная хвала народа Деве Марии Рождущейся.

Корболо спустился по крутым ступеням в прохладный, сводчатый, установленный винными бочками, погреб немца-харчевника Тибальдо.

Вежливо поздоровался с гостями, подсел к знакомому утильщику Скарабулло, спросил себе кружку вина и горячих миланских пирожков с тмином - офэлэтт, не спеша Хлебнул, закусил и сказал:

- Если хочешь быть умным, Скарабулло, никогда не женись! - Почему?

- Видишь ли, друг,-продолжал башмачник глубокомысленно,- жениться все равно, что запустить руку в мешок со змеями, чтобы вынуть угря. Лучше иметь подагру, чем жену, Скарабулло!

За столиком рядом, краснобай и балагур, златошвей Маскарелло рассказывал голодным оборванцам чудеса о неведомой земле Берлинцоне, блаженном крае, именуемом Живи-Лакомо, где виноградные лозы подвязываются сосисками, гусь идет за грош да еще с гусенком в придачу. Есть там гора из тертого сыру, на которой живут люди и ничем другим не занимаются, как только готовят макароны и клецки, варят их в отваре из каплунов и бросают вниз. Кто больше поймает, у того больше бывает. И поблизости течет река из верначчяо - лучшего вина никто не пивал, и нет в нем ни капли воды.

В погреб вбежал маленький человек, золотушный, с глазами подслеповатыми, как у щенка, не совсем прозревшего,- Горгольо, выдувальщик стекла, большой сплетник и любитель новостей.

- Синьоры,-приподымая запыленную дырявую шляпу и вытирая пот с лица, объявил он торжественно,- синьоры, я только что от французов!

- Что ты говоришь, Горгольо? Разве они уже здесь? - Как же,- в Павии... Фу, дайте дух перевести, запыхался. Бежал, сломя голову. Что, думаю, если кто-нибудь раньше меня поспеет...

- Вот тебе кружка, пей и рассказывай: что за народ французы?

- Бедовый, братцы, народ, не клади им пальца в рот. Люди буйные, дикие, иноплеменные, богопротивные, звероподобные-одно слово, варвары! Пищали и аркебузы восьмилуктевые, ужевицы медные, бомбарды чугунные с ядрами каменными, кони, как чудища морские,- лютые, с ушами, с хвостами обрезанными.

- А много ли их? - спросил Мазо. - Тьмы тем! Как саранча, всю равнину кругом обложили, конца краю не видать. Послал нам Господь за грехи черную немочь, северных дьяволов!

- Что же ты бранишь их, Горгольо,- заметил Маскарелло,-ведь они нам друзья и союзники?

- Союзники! Держи карман! Этакий друг хуже врага,- купит рога, а съест быка.

- Ну, ну, не растарабарывай, говори толком: чем французы нам враги? - допрашивал Мазо.

- А тем и враги, что нивы наши топчут, деревья рубят, скотину уводят, поселян грабят, женщин насилуют. Король-то фряцузский плюгавый - в чем душа держится, а на женщин лих. Есть у него книга с портретами голых итальянских красавиц. Ежели, говорят они, Бог нам поможет,- от Милана до Неаполя ни одной девушки невинной не оставим.

- Негодяи! - воскликнул Скарабулло, со всего размаха ударяя кулаком по столу так, что бутылки и стаканы зазвенели.

- Моро-то наш на задних лапках под французскую дудку пляшет,- продолжал Горгольо.- Они нас и за людей не считают.-Все вы, говорят, воры и убийцы. Собственного законного герцога ядом извели, отрока невинного уморили. Бог вас за это наказывает и землю вашу нам передает.- Мы-то их, братцы, от доброго сердца потчует, а они угощение наше лошадям отведать дают: нет ли, мол, в пище того яда, которым герцога отравили? - Врешь, Горгольо!

- Лопни глаза мои, отсохни язык! И послушайте-ка, мессеры, как они еще похваляются: завоюем, говорят, сначала все народы Италии, все моря и земли покорим, великого Турку полоним, Константинополь возьмем, на Масличной Горе в Иерусалиме крест водрузим, а потом опять к вам вернемся. И тогда суд Божий совершим над вами. И если вы нам не покоритесь, самое имя ваше сотрем с лица земли.

- Плохо, братцы,- молвил златошвей Маскарелло,- ой, плохо! Такого еще никогда не бывало... Все притихли.

Брат Тимотео, тот самый монах, что спорил в соборе с братом Чипполо, воскликнул торжественно, воздевая руки к небу:

- Слово великого пророка Божьего, Джироламо Савонаролы: се грядет муж, который завоюет Италию, не вы нима меча из ножен. О, Флоренция! о, Рим!, о, Милан! - время песен и праздников миновало. Покайтесь! Покайтесь! Кровь герцога Джан-Галеаццо, кровь Авеля, убитого Катом, вопиет о мщении к Господу!

- французы! Французы! Смотрите! - указывал Горгольо на двух солдат, входивших в погреб.

Один - гасконец, стройный молодой человек с рыжими усиками, с красивым и наглым лицом, был сержант французской конницы, по имени Бонивар. Товарищ его - пикардиец, пушкарь Гро-Гильош, толстый, приземистый старик с бычьей шеей, с лицом, налитым кровью, с выпуклыми рачьими глазами и медною серьгой в ухе. Оба навеселе.

- Найдем ли мы, наконец, в этом анафемском городе кружку доброго вина?-хлопая по плечу Гро-Гильоша, молвил сержант.- От ломбардской кислятины горло дерет, как от уксуса!

Бонивар с безгловым, скучающим видом развалился за одним из столиков, высокомерно поглядывая на прочих посетителей, постучал оловянной кружкой и крикнул на ломаном итальянском языке:

- Белого, сухого, самого старого! Соленой червеллаты на закуску.

- Да, братец,- вздохнул Гро-Гильош,- как вспомнишь родное бургонское или драгоценное бом, золотистое, точно волосы моей Лизон,- сердце от тоски защежит! И то сказать: каков народ, таково вино. Выпьем-ка, дружище, за милую Францию!

Du grand Dieu soit maudit a -utrance, Qui mal voudroit au royaume (ie France! ' Да будет беспощадно проклят Богом тот, кто пожелает зла французскому королевству! (франц.)

- О чем они? - шепнул Скарабулло на ухо Горгольо. - Привередничают, наши вина бранят, своя похваляют.

- Вишь, хорохорятся петухи французские! - проворчал, нахмурившись, лудильщик.- Зудит у меня рука, ой, зудит проучить их, как следует!

Тибальдо, хозяин-немец, с толстым брюхом, на тонких ножках, с громадной связкой ключей за широким кожаным поясом, нацедил из бочки полбренты и подал французам в запотевшем от холода глиняном кувшине, недоверчиво посматривая на чужеземных гостей. Бонивар одним духом выпил кружку вина, которое показалось ему превосходным, плюнул и выразил на лице своем отвращение.

Мимо него прошла дочь хозяина, Лотта, миловидная белокурая девушка, с такими же добрыми голубыми глазами, как у Тибальдо.

Гасконец лукаво подмигнул товарищу закрутил свой рыжий ус; потом выпив еще, с ухарством затянул солдатскую песенку о Карле VIII:

Charles fera si grandes batailles, Qu'il conquerra les Itailles,

En Jerusalem entreg Et mont des Oliviers montera В великих битвах Карл завоюет всю Италию, Войдет в Иерусалим И поднимется на Масличную гору (франц.).

Гро-Гильош подпевал сиплым голосом. Когда Лотта, возвращаясь, опять проходила мимо них, скромно потупив глаза, сержант обнял ее стан, желая посадить девушку к себе на колени.

Она оттолкнула его, вырвалась и убежала. Он вскочил, поймал ее и поцеловал в щеку губами, мокрыми от вина.

Девушка вскрикнула, уронила на пол глиняный кувшин, который разбился вдребезги, и, обернувшись, со всего размаха ударила француза по лицу так, что тот на мгновение опешил. Гости захохотали. - Ай да девка! - воскликнул златошвей, - клянусь святым Джервазио, от роду не видывал я такой здоровенной пощечины! Вот так утешила!

- Ну ее, брось, не связывайся!-удерживал ГроГильош Бонивара.

Гасконец не слушал. Хмель сразу ударил ему в голову. Он засмеялся насильственным смехом и крикнул:

- Подожди же, красавица,- теперь уж я не в щеку, а прямо в губы!

Бросился за нею, опрокинул стол, догнал и хотел поцеловать. Но могучая рука лудильщика Скарабулло схватила его сзади за шиворот.

- Ах ты, собачий сын, французская твоя рожа бесстыжая!-кричал Скарабулло, встряхивая Бонивара и сдавливая ему шею все крепче,- Погоди, намну я тебе бока, будешь помнить, как оскорблять миланских девушек!.. - Прочь, негодяй! Да здравствует Франция!-завопил в свою очередь рассвирепевший Гро-Гильош.

Он замахнулся шпагой и вонзил бы ее в спину лудильщику, если бы Маскарелло, Горгольо, Мазо и другие собутельники не подскочили и не удержали его за руки.

Между опрокинутыми столами, скамейками, бочонками, черепками разбитых кувшинов и лужами вина произошла свалка.

Увидев кровь, оголенные шпаги и ножи, испуганный Тибальдо выскочил из погреба и закричал на всю площадь:

- Смертоубийство! Французы грабят! Ударили в рыночный колокол. Ему ответил другой, на Бролетто. Осторожные купцы запирали лавки. Лоскутницы и овощницы уносили лотки с товарами.

- Святые угодники, заступники наши, Протавио, Джервазио!-голосила Барбачча. - Что там такое? Пожар, что ли? - Бейте, бейте французов!..

Маленький Фарфаниккио прыгал от восторга, свистел и визжал пронзительно: - Бейте, бейте французов!

Появились городские стражники - берровьеры с аркебузами и алебардами.

Они подоспели вовремя, чтобы предупредить убийство и вырвать из рук черни Бонивара и Гро-Гильоша. Забирая кого попало, схватили и башмачника Корболо.

Жена, прибежавшая на шум, всплеснула руками и завывала:

- Смилуйтесь, отпустите муженька моего, отдайте его мне! Я уж с ним расправлюсь по-свойски, вперед в уличную свалку не полезет! Право же синьоры, этот дурак и веревки не стоит, на которой его повесят!

Корболо печально и стыдливо потупил глаза, притворяясь, что не слышит угроз жены, и спрятался от нее за спину городских

стражников.

Над лесами неоконченного собора, по узкой веревочной лестнице влезал на одну из тонких колоколен, недалеко от главного купола, молодой каменщик с маленьким изваянием св. великомученицы Екатерины, которое надо было прикрепить на самом конце стрельчатой башни.

Кругом подымались, как будто реяли сталактитоподобные, остроконечные башни, иглы, ползучие арки, каменное кружево из небывалых цветов, побегов и листьев, бесчисленные пророки, мученики, ангелы, смеющиеся рожи дьяволов, чудовищные птицы, сирены, гарпии, драконы с колючими крыльями, с разинутыми пастьми, на концах водосточных труб. Все это - из чистого мрамора, ослепительно белого, с тенями голубыми, как дым,- походило на громадный зимний лес, покрытый сверкающим инеем.

Было тихо. Только ласточки с криком проносились над головой каменщика, из толпы на площади долетал к нему, как слабый шелест муравейника. На краю бесконечной зеленой Ломбардии сияли снежные громады Альп, такие же острые, белые, как вершины собора. Порой снизу чудились отзвуки органа, как бы молитвенные вздохи из внутренности храма, из глубины его каменного сердца - и тогда казалось, что все великое здание живет, дышит, растет и возносится к небу, как вечная хвала Марии Рождаящейся, как радостный гимн всех веков и народов Деве Пречистой, Жене, облеченной в солнце.

Вдруг шум на площади усилился. Послышался набат. Каменщик остановился, посмотрел вниз, и голова его закружилась, в глазах потемнело: ему казалось, что исполинское здание шатается под ним, тонкая башня, на которую он взлезал, гнется, как тростник.

- Кончено, падаю!-подумал он с ужасом.-Господи, прими душу мою!

С последним отчаянным усилием уцепился за веревочную ступень, закрыл глаза и прошептал: - Ave, dolce Maria, di grazia piena! Радуйся, благодатная Мария) (итал.) Ему стало легче.

С высоты повеяло прохладным дуновением. Он перевел дыхание, собрал силы и продолжал путь, не слушая более земных голосов,

подымаясь все выше и выше к тихому, чистому небу, повторяя с великою радостью: - Ave, dolce Maria, di grazia piena.

В это время по мраморной широкой почти плоской крыше собора проходили члены строительного совета, зодчие итальянские и чужеземные, приглашенные герцогом для совещания о тибурио - главной башне над куполом храма.

Среди них был Леонардо да Винчи. Он предложил свой замысел, но члены совета отвергли его, как слишком смелый, необычайный и вольнодумный, противоречащий преданиям церковного зодчества.

Спорили и не могли придти к соглашению. Одни доказывали, что внутренние столбы недостаточно прочны. "Если бы,- говорили они - тибурио и башни были окончены, то скоро здание рухнуло бы, так как постройка начата людьми невежественными". По мнению других, собор простоят вечность.

Леонардо по обыкновению, не принимая участия в споре, стоял, одинокий и молчаливый, в стороне. Один из рабочих подошел к нему и подал письмо. - Мессере, внизу на площади ожидает вашей милости верховой из Павии.

Художник распечатал писвмо и прочел: "Леонардо, приезжай поскорее. Мне нужно тебя видеть. Герцог Джан-Галеаццо. 14 октября".

Он извинился перед членами совета, сошел на площадь, сел на коня и отправился в Кастелло ди Павия, замок, который был в нескольких часах езды от Милана.

Каштаны, вязы и клены громадного парка сияли на солнце золотом и пурпуром осени. Порхая как бабочки, падали мертвые листья. В заросших травой фонтанах не била вода. В запущенных цветниках увядали астры.

Подходя к замку, Леонардо увидел карлика. Это был старый шут Джан-Галеаццо, оставшийся верным своему господину, когда все прочие слуги покинули умирающего герцога.

Узнав Леонардо, ковыляя и подпрыгивая, карлик побежал ему навстречу.

- Как здоровье герцога? - спросил художник. Тот ничего не ответил, только безнадежно махнул рукою.

Леонардо пошел было главной аллеей. - Нет, нет, не сюда!- остановил его карлик.-Тут могут увидеть. Их светлость просили,

чтобы тайно... А то, если герцогиня Изабелла узнает,- пожалуй не пусят. Мы лучше обходим, боковой дорожкой...

Войдя в угловую башню, поднялись по лестнице и миновали несколько мрачных покоев, должно быть, некогда великолепных, теперь необитаемых. Обои из кордуанской златотисненной кожи содраны были со стен; герцогское седалище под шелковым навесом заткано паутиною. Сквозь окна с разбитыми стеклами ветер осенних ночей занес из парка желтые листья.

- Злодеи, грабители!-ворчал себе под нос карлик, указывая спутнику на следы запустения.- Верите ли, глаза бы не смотрели на то, что здесь творится! Убежал бы на край света, если бы не герцог, за которым и ухаживать то некому, кроме меня, старого уроды... Сюда, сюда пожалуйте.

Притворив дверь, он впустил Леонардо в пропитанную запахом лекарств душную темную комнату.

Кровопускание, согласно с правилами врачебного искусства, делали при свечах и закрытых ставнях. Помощник цирюльника держал медный таз, в который стекала кровь. Сам брадобрей, скромный старичок, засучив рукава, производил надрез вены. Врач, растер физикий, с глубокомысленным лицом, в очках, в докторском наплечнике из темно-лилового бархата на беличьем меху, не принимая участия в работе цирюльника,- прикосновение к хирургическим орудиям считалось унижительным для достоинства врача,- только наблюдал.

- Перед ночью снова извольте пустить кровь,- сказал он повелительно, когда рука была перевязана, и больного уложили на подушки.

- Domine magister,- произнес брадобрей учтиво и робко,-не лучше ли подождать? Как бы чрезмерная потеря крови...

Врач посмотрел на него с презрительной усмешкой: - Постыдитесь, любезнейший! Пора бы вам знать, что из двадцати четырех фунтов крови, находящихся в человеческом теле, можно выпустить двадцать, без всякой опасности для жизни и здоровья. Чем больше берете испортившейся воды из колодца, тем больше остается свежей. Я пускал кровь грудным младенцам, не жалея, и, благодаря Богу, всегда помогало.

Леонардо, слушавший этот разговор внимательно, хотел возразить, но подумал, что спорить с врачами столь же бесполезно, как с алхимиками.

Доктор и цирюльник удалились. Карлик поправил подушки и укутал ноги больного одеялом.

Леонардо оглянул комнату. Над постелью висела клетка с маленьким зеленым попугаем. На круглом столике валялись карты, игральные кости, стоял стеклянный сосуд, наполненный водой, с золотыми рыбками. В ногах у герцога спала, свернувшись, белая собачка. Все это были последние забавы, которые верный слуга придумывал для развлечения своего господина.

- Отправил письмо?-проговорил герцог, не открывая глаз. - Да, ваша светлость,-заторопился карлик,-мы-то ждем, думаем, вы спите. Ведь мессер Леонардо здесь...

- Здесь? - Больной с радостной улыбкой сделал усилие, чтобы приподняться.

- Учитель, наконец-то! Я боялся, что ты не приедешь... Он взял художника за руку, и прекрасное, совсем молодое лицо Джан-Галеаццо.-ему было двадцать четыре года,- оживилось бледным румянцем. Карлик вышел из комнаты, чтобы сторожить у двери. - Друг мой,- продолжал больной,- ты конечно слышал?..

- О чем, ваша светлость?

- Не знаешь? Ну, если так, то и вспоминать не надо. А впрочем, все равно, скажу: вместе посмеемся. Они говорят..!

Он остановился, посмотрел ему прямо в глаза и dokonчил с тихой усмешкой:

- Они говорят, что ты - мой убийца. Леонардо подумал, что больной бредит.

- Да, да, не правда ли, какое безумие? Ты мой убийца!...- повторил герцог.- Недели три назад мой дядя Моро и Беатриче прислали мне в подарок корзину персиков. Мадонна Изабелла уверена, что с тех пор как я отведал этих плодов, мне сделалось хуже, что я умираю от медленного яда, и будто бы в саду твоём есть такое дерево...

- Правда,- молвил Леонардо,- у меня есть такое дерево.

- Что ты говоришь?.. Неужели? .

- Нет, Бог спас меня, если только плоды, в самом деле, из моего сада. Теперь я понимаю, откуда эти слухи: изучая действие ядов, я хотел отравить персиковое дерево. Я сказал моему ученику Зороастро да Перетолу, что персики отравлены. Но опыт не удался. Плоды безвредны. Должно быть, ученик поторопился и сообщил кому-нибудь...

- Я так и думал,- воскликнул герцог радостно,- никто не виноват в моей смерти! А между тем все они друг друга подозревают, ненавидят, боятся... О, если бы можно было сказать им все, как мы с тобой теперь говорим! Дядя считает себя моим убийцей, а я знаю, что он добрый, только слабый и робкий. Да и зачем бы ему убивать меня? Я сам готов отдать ему власть. Ничего мне не нужно... Я ушел бы от них, жил бы на свободе, в уединении, с друзьями. Сделался бы монахом или твоим учеником, Леонардо. Но никто не хотел поверить, что я в самом деле не жа лею власти... И зачем, Боже мой, зачем они теперь это сделали? Не меня, себя они отравили невинными плодами твоего невинного дерева, бедные, слепые... Я прежде думал что я несчастен, потому что должен умереть. Но теперь я понял все, учитель. Я больше ничего не хочу, ничего не боюсь. Мне хорошо, спокойно и так отрадно, как будто в знойный день я сбросил с себя пыльную одежду и вхожу в чистую, холодную воду. О, друг мой, я не умею сказать, но ты понимаешь, о чем я говорю? Ты ведь сам такой... Леонардо молча, с тихой улыбкою, пожал ему руку. - Я знал,- продолжал больной еще радостнее,- я знал, что ты поймешь меня... Помнишь, ты сказал мне однажды, что созерцание вечных законов механики, естественной необходимости учит людей великому смирению и спокойствию? Тогда я не понял. Но теперь, в болезни, в одиночестве, в бреду, как часто вспоминал я тебя, твое лицо, твой голос, каждое слово твое, учитель! Знаешь ли, мне иногда кажется: разными путями мы пришли с тобой к одному, ты - в жизни, я - в смерти...

Двери открылись, вбежал карлик с испуганным видом и объявил:
- Мона Друда!

Леонардо хотел уйти, но герцог его удержал. В комнату вошла старая няня Джан-Галеаццо, держа в руках небольшую склянку с желтоватой мутной жидкостью - скорпионовою мазью.

В середине лета, когда солнце-в созвездии Пса, ловили скорпионов, опускали их живыми в столетнее оливковое масло с крестовиком, матридатом и змеевиком, отстаивали на солнце в течение пятидесяти дней и каждый вечер мазали больному под мышками, виски, живот и грудь около сердца, знахарки утверждали, что нет лучшего лекарства не только против всех ядов, но и против колдовства, наваждения и порчи.

Старуха, увидев Леонардо, сидевшего на краю постели, остановилась, побледнела, и руки ее так затряслись, что она едва не выронила склянки.

- С нами сила Господня! Мать пресвятая Богородица!..

Крестясь, бормоча молитвы, пятилась она к двери и, выйдя из комнаты, побежала так поспешно, как только позволяли ей старые ноги, к своей госпоже, мадонне Изабелле, сообщить страшную весть.

Мона Друда была уверена, что злодей Моро и его приспешник Леонардо извели герцога, если не ядом, то

глазом, порчею, вынутым следом или какими-либо другими бесовскими чарами. Герцогиня молилась в часовне, стоя на коленях пред образом.

Когда мона Друда доложила ей, что у герцога-Леонардо, она вскочила и воскликнула: - Не может быть! Кто его пустил?.. - Кто пустил?-пробормотала старуха, покачав головой.- Верите ли, ваша светлость, и ума не приложу, откуда он взялся, окаянный! Точно из земли вырос или в трубу влетел, прости Господи! Дело, видно, нечистое. Я уже давно докладывала вашей светлости... В часовню вошел паж и почтительно преклонил колено; - Светлейшая мадонна, угодно ли будет вам и вашему супругу принять его величество, христианнейшего короля Франции?

Карл VIII остановился в нижних покоях Павийского замка, роскошно убранных для него герцогом Лодовико Моро.

Отдыхая после обеда, король слушал чтение только что по его заказу переведенной с латинского на французский язык, довольно безграмотной книги: "Чудеса Города Рима - Mirabilia Urbis Romae".

Одиноким, запуганным отцом своим, болезненным ребенком, Карл, проведя печальные годы в пустынном замке Амбуаз, воспитывался

на рыцарских романах, которые окончательно вскружили ему и без того уже слабую голову. Очутившись на престоле Франции и вообразив себя героем сказочных подвигов, во вкусе тех, какие повествуются о странствующих рыцарях Круглого Стола, Ланселоте и Тристане, двадцатилетний мальчик, неопытный и застенчивый, добрый и взбалмошный, задумал исполнить на деле то, что вычитал из книг. "Сын бога Марса, потомок Юлия Цезаря", по выражению придворных летописцев, спустился он в Ломбардию, во главе громадного войска, для завоевания Неаполя, Сицилии, Константинополя, Иерусалима, для низвержения Великого Турка, совершенного искоренения ереси Магометовой и освобождения Гроба Господня от ига неверных.

Слушая "Чудеса Рима" с простодушным доверием, король предвкушал славу, которую приобретет завоеванием столь великого города. Мысли его путались. Он чувствовал боль под ложечкой и тяжесть в голове от вчерашнего, слишком веселого ужина с миланскими дамами. Лицо одной из них, Лукреции Кривелли, всю ночь снилось ему.

Карл VIII ростом был мал и лицом уродлив. Ноги имел кривые, тонкие, как спицы, плечи узкие, одно выше другого, впалую грудь, непомерно большой крючковатый нос, волосы редкие, бледно-рыжие, странный желтоватый пух вместо усов и бороды. В руках и в лице судорожное подергивание. Вечно открытые, как у маленьких детей, толстые губы, вздернутые брови, громадные белесоватые и близорукие глаза навывкате придавали ему выражение унылое, рассеянное и, вместе с тем, напряженное, какое бывает у людей слабых умом. Речь была невнятной и отрывочной. Рассказывали, будто бы король родился шестипалым, и для того, чтобы это скрыть, ввел при дворе безобразную моду широких, закругленных, наподобие лошадиных копыт, мягких туфель из черного бархата.

- Тибо, а, Тибо,- обратился он к придворному валедешамбру, прерывая чтение, со своим обычным рассеянным видом, заикаясь и не находя нужных слов,- мне, братец, того... как будто пить хочется. А? Изжога, что ли? Принеси-ка вина, Тибо...

Вошел кардинал Бриссоне и доложил, что герцог ожидает короля.

- А? А? Что такое? Герцог?.. Ну, сейчас. Только выпью...

Карл взял кубок, поданный придворным. Бриссоне остановил короля и спросил Тибо: - Наше?

- Нет, монсиньор,- из здешнего погреба. У нас все вышло. Кардинал выплеснул вино.

- Простите, ваше величество. Здешние вина могут быть вредными для вашего здоровья. Тибо, вели кравчему сбегать в лагерь и принести бочонок из походного погреба.

- Почему? А? Что, что такое?..-бормотал король в недоумении,

Кардинал шепнул ему на ухо, что опасается отравы, ибо от людей, которые уморили законного государя своего, можно ожидать всякого предательства, и, хотя нет явных улик, осторожность не мешает.

- Э, вздор! Зачем? Хочется пить,-молвил Карл, подергивая плечом с досадой, но покорился. Герольды побежали вперед.

Четыре пажа подняли над королем великолепный балдахин из голубого шелка, затканый серебряными французскими лилиями, сенешаль накинул ему на плечи мантию с горностаевой оторочкой, с вышитыми по красному бархату золотыми пчелами и рыцарским девизом: "Король пчел не имеет жала-Le roi des abeilles n'a pas d'aiguillon",-и по мрачным запустелым покоем Павийского замка направилось шествие в комнаты умирающего.

Проходя мимо часовни. Карл увидел герцогиню Изабеллу. Почтительно снял берет, хотел подойти и, по старозаветному обычаю Франции, поцеловать даму в уста, назвав ее "милой сестрицей". Но герцогиня подошла к нему сама и бросилась к его ногам:

- Государь,- начала она заранее приготовленную речь,- сжался над нами! Бог тебя наградит. Защити невинных, рыцарь великодушный! Моро отнял у нас все, захваТИЛ престол, отравил супруга моего, законного герцога миланского, Джан-Галеаццо. В собственном доме своем окружены мы убийцами...

Карл плохо понимал и почти не слушал того, что она говорила.

- А? А? Что такое? - лепетал он, точно спросонок, судорожно подергивая плечом и заикаясь.- Ну, ну, не надо... Прошу вас... не надо же, сестрица... Встаньте, встаньте!

Но она не вставала, ловила его руки, целовала их, хотела обнять его колени и, наконец, заплавав, воскликнула с непритворным отчаянием:

- Если и вы меня покинете, государь, я наложу на себя руки!..

Король окончательно смутился, и лицо его болезненно сморщилось, как будто он сам готов был заплакать.

- Ну, вот, вот!.. Боже мой... я не могу... Бриссоне... пожалуйста... я не знаю... скажи ей...

Ему хотелось убежать; она не пробуждала в нем никакого сострадания, ибо в самом унижении, в отчаянии была слишком горда и прекрасна, похожа на величавую героиню трагедии.

- Яснейшая мадонна, успокойтесь. Его величество сделает все, что можно, для вас и для вашего супруга, мессира Жан-Галеасса,-молвил кардинал вежливо и холодно, с оттенком покровительства, произнося имя герцога пофранцузски.

Герцогиня оглянулась на Бриссоне, внимательно по смотрела в лицо королю и вдруг, как будто теперь только поняла, с кем говорит, умолкла.

Уродливый, смешной и жалкий, стоял он перед ней с открытыми, как у маленьких детей, толстыми губами, с бессмысленной, напряженной и растерянной улыбкой, выкатив огромные белесоватые глаза.

"Я - у ног этого заморыша, слабоумца, я - внучка Фердинанда Арагонского!"

Встала; бледные щеки ее вспыхнули. Король чувствовал, что необходимо сказать что-то, как-нибу-дь выйти из молчания. Он сделал отчаянное усилие, задергал плечом, заморгал глазами и, пролепетав только свое обычное: "А? А? Что такое?"-заикнулся, безнадежно махнул рукой и умолк.

Герцогиня смерила его глазами с нескрываемым презрением. Карл опустил голову, уничтоженный. - Бриссоне, пойдем, пойдем... что ли... А?... Пажи распахнули двери. Карл вошел в комнату герцога. Ставни были открыты. Тихий свет осеннего вечера падал в окно сквозь высокие золотые вершины парка.

Король подошел к постели больного, назвал его двоюродным братцем - *mon cousin* и спросил о здоровье.

Джан-Галеаццо ответил с такою приветливою улыбкою, что Карлу тотчас сделалось легче, смущение прошло, и он мало-помалу успокоился.

- Господь да пошлет победу вашему величеству, государь!-сказал, между прочим, герцог.-Когда вы будете в Иерусалиме, у Гроба Господня, помолитесь за мою бедную душу, ибо к тому времени я...

- нет, нет, братец, как можно, ЧТО ВЫ ЭТО? зачем?-перебил его король.-Бог милостив. Вы поправитесь... Мы еще вместе в поход пойдем, с нечестивыми турками повоюем, вот помяните слово мое! А? Что?.. Джан-Галеаццо покачал головой: - Нет, куда уж мне!

И, посмотрев прямо в глаза королю глубоким испытующим взглядом, прибавил:

- Когда я умру, государь, не покиньте моего мальчика, Франческо, а также Изабеллу; она несчастная,-нет у нее никого на свете...

- Ах ты. Господи, Господи!-воскликнул Карл в неожиданном, сильном волнении; толстые губы его дрогнули, углы их опустились, и, словно внезапным внутренним светом, лицо озарилось необычайной добротой.

Он быстро наклонился к больному и, обняв его с порывистой нежностью, пролепетал:

- Братец мой, миленький!.. Бедный ты мой, бедненький!- Оба улыбнулись друг другу, как жалкие больные дети. губы их соединились в братском поцелуе. Выйдя из комнаты герцога, король подозревал кардинала:

- Бриссоне, а, Бриссоне... знаешь, надо как-нибудь... того... а? заступиться... Нельзя так, нельзя... Я- рыцарь... Надо защитить... слышишь?

- Ваше величество,- ответил кардинал уклончиво,- он все равно умрет. Да и чем могли бы мы помочь? Только себе повредим: герцог Моро - наш союзник...

- Герцог Моро-злодей, вот что-да, человекоубийца! - воскликнул король, и глаза его сверкнули разумным гневом.

- Что же .делать?-молвил Бриссоне, пожимая плечами, с тонкой, снисходительной усмешкой.-Герцог Моро нехуже, не лучше других. Политика, государь! Все мы люди, все человеки...

Кравчий поднес королю кубок французского вина. Карл выпил его с жадностью. Вино оживило его и рассеяло мрачные мысли.

Вместе с кравчим вошел вельможа от герцога с приглашением на ужин. Король отказался. Посланный умолял; но, видя, что просьбы не

действуют, подошел к Тибо и шепнул ему что-то на ухо. Тот кивнул головой в знак согласия и, в свою очередь, шепнул королю: - Ваше величество, мадонна Лукреция... - А? Что?.. Что такое?.. Какая Лукреция? - Та, с которой вы изволили танцевать на вчерашнем балу.

- Ах, да, как же, как же... Пом"ю... Мадонна Лукреция... Прехорошенькая!.. Ты говоришь, будет на ужине? - Будет непременно и умоляет ваше величество... - Умоляет... Вот как! Ну что же, Тибо? А? Как ты полагаешь Я, пожалуй... Все равно... Куда ни шло!.. Завтра в поход... В последний раз... Поблагодарите герцога, мессир,- обратился он к посланному,- и скажите, что я того... а?.. пожалуй... Король отвел Тибо в сторону: - Послушай, кто такая эта мадонна Лукреция? - Любовница Моро, ваше величество. - Любовница Моро, вот как! Жаль... - Сир! только словечко,-и все мигом устроим. Если угодно, сегодня же. - Нет, нет! Как можно?.. Я гость... - Моро будет польщен, государь. Вы здешних людишек не знаете...

- Ну, все равно, все равно. Как хочешь. Твое дело... - Да уж будьте спокойны, ваше величество. Только словечко.

- Не спрашивай... Не люблю... Сказал Ничего не знаю... Как хочешь... Тибо молча и низко поклонился.

Сходя с лестницы, король опять нахмурился и с беспомощным усилием мысли потер себе лоб:

- Бриссоне, а, Бриссоне... Как ты думаешь?.. Что бишь я хотел сказать?.. Ах, да, да... Заступиться... Невинный... Обида... Так нельзя. Я-рыцарь!..

- Сир, оставьте эту заботу, право же: нам теперь не до него. Лучше потом, когда мы вернемся из похода, победив турок, завоевав Иерусалим.

- Да, да, Иерусалим!-пробормотал король, и глаза его расширились, на губах выступила бледная и неясная мечтательная улыбка.

- Рука Господня ведет ваше величество к победам,- продолжал Бриссоне,- перст Божий указывает путь крестоносному воинству.

- Перст Божий! Перст Божий! -повторил Карл VIII торжественно, подымая глаза к небу.

Восемь дней спустя молодой герцог скончался. Перед смертью он молил жену о свидании с Леонардо. Она отказала ему: мона Друда

уверила Изабеллу, что порченые всегда испытывают неодолимое и пагубное для них желание видеть того, кто навел на них порчу. Старуха усердно мазала больного скорпионовой мазью, врачи до конца мучили его кровопусканиями. Он умер тихо.

- Да будет воля Твоя!-было последними словами его. Моро велел перенести из Павии в Милан и выставить в соборе тело усопшего.

Вельможи собрались в Миланский замок, Лодовико, уверяя, что безвременная кончина племянника причиняет ему неимоверную скорбь, предложил объявить герцогом маленького Франческо, сына Джан-Галеаццо, законного наследника. Все воспротивились и, утверждая, что не следует доверять несовершеннолетнему столь великой власти, от имени народа упрашивали Моро принять герцогский жезл.

Он лицемерно отказывался; наконец, как бы поневоле уступил мольбам.

Принесли пышное одеяние из золотой парчи; новый герцог облекся в него, сел на коня и поехал в церковь СантДиброджо, окруженный толпою приверженцев, оглашавших воздух криками: "да здравствует Моро, да здравствует герцог!"-при звуке труб, пушечных выстрелах, звоне колоколов и безмолвии народа. На Торговой площади с лоджии дельи-Озии, на южной стороне дворца Ратуши, в присутствии старейшин, консулов, именитых граждан и синдиков, прочитана была герольдом "привилегия", дарованная герцогу Моро вечным Августом Священной Римской Империи, Максимилианом:

- "Maximilianus divina favente dementia Romanorum Rex per Augustus-все области, земли, города, селения, замки и крепости, горы, пастбища и равнины, леса, луга, пустоши, реки, озера, охоты, рыбные ловли, солончаки, руды, владения вассалов, маркизов, графов, баронов, монастыри, церкви, приходы - всех и все даруем тебе, Лодовико Сфорца, и наследникам твоим, утверждаем, назначаем, возвышаем, избираем тебя и сыновей твоих и внуков, и правнуков в самодержавные власти Ломбардии до скончания веков".

Через несколько дней объявлено было торжественное перенесение в собор величайшей святыни Милана, одного из тех гвоздей, коими распят был Господь на кресте. Моро надеялся угодить народу и укрепить свою власть этим празднеством.

Ночью, на площади Аренго, перед винным погребом Тибальдо, собралась толпа. Здесь был Скарабулло лудильщик, златошвей Маскарелло, скорняк Мазо, башмачник Корболо и выдувальщик стекла Горгольо. Посредине толпы, стоя на бочонке, доминиканец фра

Тимотео проповедовал:

- Братья, когда св. Елена под капищем богини Венеры обрела живоносное Древо Креста и прочие орудия страстей Господних, зарытые в землю язычниками,- император Константин, взяв единый от святейших и страшных гвоздей сих, велел кузнецам заделать его в удила боевого коня своего, да исполнится слово пророка Захарии: "будет сущее над конскою уздою святыня Господу". И сия неизреченная святыня даровала ему победу над врагами и супостатами Римской Империи. По смерти кесаря гвоздь был утрачен и через долгое время найден великим святителем, Амвросием Медиоланским в городе Риме, в лавке некоего Паолино, торговца старым железом, перевезен в Милан, и с той поры наш город обладает самым драгоценным и святейшим из гвоздей - тем, коим пронзена правая длань всемогущего Бога на Древе Спасения. Точная мера длины его - пять ончий с половиной. Будучи длиннее и толще римского, имеет он и острие, тогда как римский притушен. В течение трех часов находился наш гвоздь во длани Спасителя, как это доказывает ученый падре Алессио многими тончайшими силлогизмами.

Фра Тимотео остановился на мгновение, потом воскликнул громким голосом, воздевая руки к небу:

- Ныне же, возлюбленные мои, совершается великое непотребство: Моро, злодей, человекоубийца, похититель престола, соблазняя народ нечестивыми праздниками, святейшим гвоздем укрепляет свой шаткий престол! Толпа зашумела.

- И знаете ли вы, братья мои,- продолжал монах,- кому поручил он устройство машины для вознесения гвоздя в главном куполе собора над алтарем? - Кому?

- Флорентийцу Леонардо да Винчи! - Леонардо? Кто такой?- спрашивали одни. - Знаем,- отвечали другие,- тот самый, что молодого герцога плодами отравил... - Колдун, еретик, безбожник!

- А как же слышал я, братцы,- робко заступился Корболо,- будто бы этот мессер Леонардо человек добрый? Зла никому не делает, не только людей, но и всякую тварь милует...

- Молчи, Корболо! Чего вздор мелешь? - Разве может быть добрым колдун? - О, чада мои,- объяснил фра Тимотео,- некогда скажут люди и о великом Обольстителе, о Грядущем во тьме: "он добр, он благ, он совершенен",- ибо лик его подобен лику Христа, и дан ему будет голос уветливый, сладостный, как звук цевницы. И многих соблазнит милосердием лукавым. И созовет с четырех ветров неба племена и народы, как куропатка обманчивым криком созывает в гнездо свое чужой выводок. Бодрствуйте же, братья мои! Се ангел мрака князь мира сего, именуемый Антихристом, придет в образе человеческом: флорентинец Леонардо - слуга и предтеча Антихриста!

Выдувальщик Стекла Горгольо, который ничего не слыхивал о Леонардо, молвил с уверенностью: - Истинно так! Он душу дьяволу продал и собственной кровью договор подписал.

- Заступись, Матерь Пречистая, и помилуй! - верещала торговка Барбачча.-Намедни сказывала девка гаММа - в судомойках она у палача тюремного - будто бы мертвые тела этот самый Леонардо, не к ночи будь помянут, с виселиц ворует, ножами режет, потрошит, кишки выматывает...

- Ну, это не твоего ума дела, Барбачча,- заметил с важностью Корболо,-это наука, именуемая анатомией...

- Машину, говорят, изобрел, чтобы по воздуху летать на птичьих крыльях,- сообщил златошвей Маскарелло.

- Древний крылатый рМИЙ Велиар восстает на Бога,- пояснил опять фра Тимотео.- Симон Волхв тоже поднялся на воздух, но был низвержен апостолом Павлом.

- По морю ходит, как по суху,- объявил Скарабулло, - "Господь, мол, ходил по воде, и я пойду",- вот как богохульствует!

- В стеклянном колоколе на дно моря опускается,- добавил скорняк Мазо.

- И, братцы, не верьте! На что ему колокол? Обернется рыбой и плавает, обернется птицей и летает! - решил Горгольо.

- Вишь ты, оборотень окаянный, чтоб ему издохнуть! - И чего отцы инквизиторы смотрят? На костер бы! - Кол ему осиновый в горло!

- Увы, увy! Горе нам, возлюбленные!-возопил фра Тимотео.- Святейший гвоздь, святейший гвоздь - у Леонардо!

- Не быть тому! - закричал Скарабулло, сжимая кулаки,-умрем, а не дадим святыни на поругание. Отнимем гвоздь у безбожника!

- Отомстим за гвоздь! Отомстим за убитого герцога!

- Куда вы, братцы?-всплеснул руками башмачник.- Сейчас обход ночной стражи. Капитан Джустиции...

- К черту капитана Джустиции! Ступай под юбку к жене своей, Корболо, ежели трусишь!

Вооруженная палками, кольями, бердышами, камнями, с криком и бранью, двинулась толпа по улицам.

Впереди шел монах, держа распятие в руках, и пел псалмы: "Да воскреснет Бог и да расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его".

"Как исчезает дым, да исчезнут, как воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Господня".

Смоляные факелы дымились и трещали. В их багровом отблеске бледнел опрокинутый серп одинокого месяца. Меркли тихие звезды.

Леонардо работал в своей мастерской над машиной для подъема святейшего гвоздя. Зороastro делал круглый ящик со стеклами и золотыми лучами, в котором должна была храниться святыня. В темном углу мастерской сидел Джованни Бельтраффио, изредка поглядывая на учителя.

Погруженный в исследование вопроса о передаче силы посредством блоков и рычагов, Леонардо забыл машину.

Только что кончил он сложное вычисление. Внутренняя необходимость разума - закон математики оправдывал внешнюю необходимость природы-закон механики: две великие тайны сливались в одну, еще большую.

- Никогда не изобретут люди,- думал он с тихой улыбкой,- ничего столь простого и прекрасного, как явление природы. Божественная необходимость принуждает законами своими вытекать из причины следствие кратчайшим путем.

В душе его было знакомое чувство благоговейного изумления перед бездною, в которую он заглядывал,- чувство, не похожее ни на одно из других доступных людям чувств. На полях, рядом с чертежом

подъемной машины для святейшего гвоздя, рядом с цифрами и вычислениями, написал он слова, которые в сердце его звучали, как молитва.

"О дивная справедливость Твоя, первый Двигатель! Ты не пожелал лишить никакую силу порядка и качества необходимых действий, ибо, ежели должно ей подвинуть тело на сто локтей, и на пути встречается преграда. Ты повелел, чтобы сила удара произвела новое движение, получая замену непройденного пути, различными толчками и сотрясениями,- о, божественная необходимость Твоя, первый Двигатель!"

Раздался громкий стук в наружную дверь дома, пение псалмов, брань и вопль разъяренной толпы.

Джованни и Зороастро побежали узнать, что случилось.

Стряпуха Матурина, только что вскочившая, с постели, полуодетая, растрепанная, бросилась в комнату с криком:

- Разбойники! Разбойники! Помогите!. Мать Пресвятая, помилуй нас!..

Вошел Марко д'оджоне с аркебузом в руках и поспешно запер ставни на окнах.

- Что это. Марко?-спросил Леонардо. - Не знаю. Какие-то негодяи ломаются в дом. Должно быть, монахи взбунтовали чернь.

- Чего они хотят? - Черт их разберет, сволочь полоумную! Святейшего гвоздя требуют. - у меня его нет: он в ризнице у архиепископа Арнольдо.

- Я и то говорил. Не слушают, беснуются. Вашу милость - отравителем герцога Джан-Галеаццо называют, колдуноМ и безбожником. Крики на улице усиливались:

- Отоприте! Отоприте! Или гнездо ваше проклятое спалим! Подождите, доберемся до шкуры твоей, Леонардо, Антихрист окаянный!

- Да воскреснет Бог и да расточатся враги его! - возглашал фра Тимотео, и с пением его сливался пронзительный свист шалуна Фарфаниккио.

В мастерскую вбежал маленький слуга Джакопо, вскочил на подоконник, отворил ставню и хотел выпрыгнуть на двор, но Леонардо удержал его за край платья. - Куда ты?

- За боровьеррами: стража капитана Джустии в этот час неподалеку проходит.

- Что ты? Бог с тобою, Джакопо, тебя поймают и убьют.

- Не поймают! Я через стену к тетке Трулле в огород, потом в канаву с лопухом, и задворками... А если и убьют, лучше пусть меня, чем вас!

Оглянувшись на Леонардо с нежной и храброй улыбкой, мальчик вырвался из рук его, выскочил в окно, крикнул со двора: "выручу, не бойтесь!" - и захлопнул ставню.

- Шалун, бесенок,- покачала головой Матурина,- а вот в беде-то пригодился. И вправду, пожалуй, выручит... Зазвенели разбитые стекла в одном из верхних окон. Стряпуха жалобно вскрикнула, всплеснула руками, выбежала из комнаты, нащупала в темноте крутую лестницу погреба, скатилась по ней и, как потом сама рассказывала, залезла в пустую винную бочку, где и просидела бы до утра, если бы ее не вытащили. Марко побежал наверх запирать ставни. Джованни вернулся в мастерскую, хотел опять сесть в свой угол, с бледным, убитым и ко всему равнодушным лицом, но посмотрел на Леонардо, подошел и вдруг упал перед ним на колени.

- Что с тобой? О чем ты, Джованни? - Они говорят, учитель... Я знаю, это неправда... Я не верю... Но скажите... ради Бога, скажите мне сами!.. И не кончил, задыхаясь от волнения.

- Ты сомневаешься,-молвил Леонардо с печальной усмешкой,- правду ли они говорят, что я убийца? - Одно слово, только слово, учитель, из ваших уст!.. - Что я могу тебе сказать, друг мой? И зачем? Все равно ты не поверишь, если мог усомниться...

- О, мессер Леонардо!-воскликнул Джованни.- Я так измучился, я не знаю, что со мной... я с ума схожу, учитель... Помогите! Сжальтесь! Я больше не могу... Скажите, что это неправда!.. Леонардо молчал.

Потом, отвернувшись, молвил дрогнувшим голосом: - И ты с ними, и ты против меня!..

Послышались такие удары, что весь дом задрожал: лудильщик Скарабулло рубил дверь топором.

Леонардо прислушался к воплям черни, и сердце его сжалось от знакомой тихой грусти, от чувства беспредельного одиночества.

Он опустил голову; глаза его упали на строки, только что им написанные:

"О дивная справедливость твоя, первый Двигатель!" "Так,-подумал он,-все благо, все от Тебя!" Он улыбнулся и с великой покорностью повторил слова умирающего герцога Джан-Галеаццо: "Да будет воля Твоя на земле, как на небе".

<h2>ШЕСТАЯ КНИГА.
ДНЕВНИК ДЖОВАННИ БЕЛЬТРАФФИО</h2>

Я поступил в ученики к флорентийскому мастеру Леонардо да Винчи 25 марта 1494 года.

Вот порядок учения: перспектива, размеры и пропорции человеческого тела, по образцам хороших мастеров, рисование с натуры.

Сегодня товарищ мой Марко д'оджоне дал мне книгу о перспективе, записанную со слов учителя. Начинается так:

"Наибольшую радость телу дает свет солнца; наибольшую радость духу - ясность математической истины. Вот почему науку о перспективе, в которой созерцание светлой линии - величайшая отрада глаз - соединяется с ясностью математики - величайшею отрадой ума,- должно предпочитать всем остальным человеческим исследованиям и наукам. Да просветит же меня сказавший о Себе: "Я семь Свет истинный", и да поможет изложить науку о перспективе, науку о Свете. И я разделяю эту книгу на три части: первая - уменьшение вдали объема предметов, вторая - уменьшение ясности цвета, третья - уменьшение ясности очертаний".

Мастер заботится обо мне, как о родном: узнав, что я беден, не захотел принять условленной ежемесячной платы.

<h2>x x x</h2>

Учитель сказал:

- Когда ты овладеешь перспективой и будешь знать наизусть пропорции человеческого тела, наблюдай усердно во время прогулок движения людей - как стоят они, ходят, разговаривают и спорят, хохочут и дерутся, какие при этом лица у них и у тех зрителей, которые желают разнять их, и тех, которые молча наблюдают; все это отмечай и зарисовывай карандашом, как можно скорее, в маленькую книжку из цветной бумаги, которую неотлучно имей при себе, когда же наполнится она, заменяй другою, а старую откладывай и береги.

Помни, что не следует уничтожать и стирать эти рисунки, но хранить, ибо движения тел так бесконечны в природе, что никакая человеческая память не может их удержать. Вот почему смотри на эти наброски, как на своих Лучших наставников и учителей.

Я завел себе такую книжку и каждый вечер записываю слышанные в течение дня достопамятные слова учителя. <h2>x x x</h2>

Сегодня встретил в переулке лоскутниц, недалеко от собора, дядю моего, стекольного мастера Освальда Ингрима. Он сказал мне, что отрекается от меня, что я погубил душу свою, поселившись в доме безбожника и еретика Леонардо. Теперь я совсем один: нет у меня никого на свете - ни родных, ни друзей - кроме учителя. Я повторяю прекрасную молитву Леонардо: "да просветит меня Господь, Свет мира, и да поможет изучить перспективу, науку о свете Его". Неужели это слова безбожника? <h2>x x x</h2>

Как бы ни было мне тяжело, стоит взглянуть на лицо его, чтобы на душе сделалось легче и радостнее. Какие у него глаза - ясные, бледно-голубые и холодные, точно лед; какой тихий, приятный голос, какая улыбка! Самые злые, упрямые люди не могут противиться вкрадчивым словам его, если он желает склонить их на "да" или "нет". Я часто подолгу смотрю на него, как он сидит за рабочим столом, погруженный в задумчивость, и привычным медленным движением тонких пальцев перебирает, разглаживает длинную, вьющуюся и мягкую, как шелк девичьих кудрей, золотистую бороду. Ежели с кем-нибудь говорит, то обыкновенно прищуривает один глаз с немного лукавым, насмешливым и добрым выражением: кажется тогда, взор его из-под густых нависших бровей проникает в самую душу.

Одевается просто; не терпит пестроты в нарядах и новых мод. Не любит никаких духов. Но белье у него из тонкого рейнского полотна, всегда белое, как снег. Черный бархатный берет без всяких украшений, медалей и перьев. Поверх черного камзола - длинный до колен темно-красный плащ с прямыми складками, старинного покроя. Движения плавны и спокойны. Несмотря на скромное платье, всегда, где бы ни был он, среди вельмож или в толпе народа, у него такой вид, что нельзя не заметить его: не похож ни на кого.

j" * * Все умеет, знает все: отличный стрелок из лука и арбалета, наездник, пловец, мастер фехтования. Однажды видел я его в состязании с первыми силачами народа: игра состояла в том, что подбрасывали в церкви маленькую монету так, чтобы она коснулась самой середины купола. Мессер Леонардо победил всех ловкостью и силой.

Он левша. Но левою рукою, с виду нежной и тонкой, как у молодой женщины, сгибает железные подковы, перекручивает язык медного колокола и ею же, рисуя лицо прекрасной девушки, наводит прозрачные тени прикосновениями угля или карандаша, легкими, как трепетания крыльев бабочки. <h2>x x x</h2>

Сегодня после обеда кончил при мне рисунок, который изображает склоненную голову Девы Марии, внимающей благовестию Архангела. Из-под головной повязки, украшенной жемчугом и двумя голубиными крыльями, стыдливо играя с веянием ангельских крыл, выбиваются пряди волос, заплетенных, как у флорентийских девушек, в прическу, по виду небрежную, на самом деле,- искусную. Красота этих вьющихся кудрей пленяет, как странная музыка. И тайна глаз ее, которая как будто просвечивает сквозь опущенные веки с густой тенью ресниц, похожа на тайну подводных цветов, видимых сквозь прозрачные волны, но недостижимых.

Вдруг в мастерскую вбежал маленький слуга ДжакоПО и, прыгая, хлопая в ладоши, закричал:

- Уроды! Уроды! Мессер Леонардо, ступайте скорее на кухню! Я привел вам таких красавчиков, что останетесь довольны! - Откуда?- спросил учитель.

- С паперти у Сант-Амброджо. Нищие из Бергамо, Я сказал, что вы угостите их ужином, если они позволят снять с себя портреты.

- Пусть подождут. Я сейчас кончу рисунок. - Нет, мастер, они ждать не будут; назад в Бергамо до ночи торопятся. Да вы только взгляните - не пожалеете! Стоит, право же, стоит! Вы себе представить не можете, что за чудовища!

Покинув неоконченный рисунок Девы Марии, учитель пошел в кухню. Я за ним.

Мы увидели двух чинно сидевших на лавке братьев-стариков, толстых, точно водянкою раздутых, с отвратительными, отвислыми опухольями громадных зобов на шее - болезнью, обычною среди обитателей Бергамских гор,- и жену одного из них, сморщенную, худенькую старушонку, по имени Паучиха, вполне достойную этого имени.

Лицо Джакопо сияло гордостью:

- Ну, вот, видите,- шептал он,- я же говорил, что вам понравится! Я уж знаю, что нужно...

Леонардо подсел к уродам, велел подать вина, стал их потчевать, любезно расспрашивать, смешить глупыми побасенками. Сперва они дичились, поглядывали недоверчиво, должно быть, не понимая, зачем их сюда привели. Но когда он рассказал им площадную новеллу о мертвом жиде, изрезанном на мелкие куски своим соотечественником, чтобы избежать закона, воспрещавшего погребение жидов на земле города Болоньи, замаринованном в бочку с медом и ароматами, отправленном в Венецию с товарами на корабле и нечаянно съеденном одним флорентийским путешественником-христианином,- Паучиху стал разбирать смех. Скоро все трое, опьянев, захохотали с отвратительными ужимками. Я в смущении потупил глаза и отвернулся, чтобы не видеть. Но Леонардо смотрел на них с глубоким, жадным любопытством, как ученый, который делает опыт. Когда уродство их достигло высшей степени, взял бумагу и начал рисовать эти мерзостные рожи тем самым карандашом, с той же любовью, с которой только что рисовал божественную улыбку Девы Марии.

Вечером показывал мне множество карикатур не только людей, но и животных-страшные лица, похожие на те, что преследуют больных в бреду. В зверском мелькает человеческое, в человеческом зверское, одно переходит в другое легко и естественно, до ужаса. Я запомнил морду дикобраза с колючими ошестинившимися иглами, с отвислою нижнею губою, болтающеюся, мягкой и тонкою, как тряпка, обнажившею в гнусной человеческой улыбке продолговатые, как миндалины, белые зубы. Я также никогда не забуду лица старухи с волосами, вздернутыми кверху в дикую, безумную прическу, с жидкою косичкою сзади, с гигантским лысым лбом, расплюснутым

носом, крохотным, как бородавка, и чудовищно толстыми губами, напоминавшими те дряблые, осклизлые грибы, которые растут на гнилых пнях. И всего ужаснее то, что эти уроды кажутся знакомыми, как будто где-то уже видел их, и что-то есть в них соблазнительное, что отталкивает и в то же время притягивает, как бездна. Смотришь, ужасаешься - и нельзя оторвать от них глаз так же, как от божественной улыбки Девы Марии. И там, и здесь - удивление, как перед чудом.

Чезаре да Сесто рассказывает, что Леонардо, встретив где-нибудь в толпе на улице любопытного уродца, в течение целого дня может следовать за ним и наблюдать, стараясь запомнить лицо его. Великое уродство в людях, говорит учитель, так же редко и необычайно, как великая прелесть: только среднее - обычно.

Он изобрел странный способ запоминать человеческие лица. Полагает, что носы у людей бывают трех родов: или прямые, или с горбинкой, или с выемкой. Прямые могут быть или короткими, или длинными, с концами тупыми или острыми. Горбина находится или сверху носа, или внизу, или посередине - и так далее для каждой части лица. Все эти бесчисленные подразделения, роды и виды, отмеченные цифрами, заносятся в особую разграфленную книжку. Когда художник где-нибудь на прогулке встречается лицо, которое желает запомнить, ему стоит лишь отметить значком соответствующий род носа, лба, глаз, подбородка и, таким образом, посредством ряда цифр закрепляется в памяти как бы мгновенный снимок с живого лица. На свободе, вернувшись домой, соединяет эти части в один образ.

Придумал также маленькую ложечку для безукоризненно точного, математического измерения количества краски при изображении постепенных, глазом едва уловимых, переходов света в тень и тени в свет. Если, например, для того, чтобы получить определенную степень гу

стоты тени, нужно взять десять ложечек черной краски, то для получения следующей степени должно взять одиннадцать, потом двенадцать, тринадцать и так далее. Каждый раз, зачерпнув краски, срезавают горку, сравнивают ее стеклянным наугольником: так на

рынке равняют меру, насыпанную зерном.
<h2>x x x</h2>

Марко д'оджоне - самый прилежный и добросовестный из учеников Леонардо. Работает, как волк, выполняет с точностью все правила учителя; но, по-видимому, чем больше старается, тем меньше успевает. Марко упрям: что забрал себе в голову, и гвоздем не вышибешь. Убежден, что "терпение и труд все перетрут",- и не теряет надежды сделаться великим художником. Больше всех нас радуется изобретениям учителя, которые сводят искусство к механике. Намедни, захватив с собой книжечку с цифрами для запоминания лиц, отправился на площадь Бролетто, выбрал лица в толпе и отметил их значками в таблице. Но когда вернулся домой, сколько ни бился, никак не мог соединить отдельные части в живое лицо. Такое же горе вышло у него с ложечкой для измерения черной краски: несмотря на то, что он в своей работе соблюдает математическую точность, тени остаются непрозрачными и неестественными, так же, как лица деревянными и лишенными всякой прелести. Марко объясняет это тем, что не выполнил всех правил учителя, и удваивает усердие. А Чезаре да Сесто злорадствует.

- Добрейший Марко,- говорит он,- истинный мученик искусства! Пример его доказывает, что все эти хваленые правила, и ложечки, и таблицы для носов ни к черту не годятся. Мало знать, как рождаются дети, для того, чтобы родить. Леонардо только себя и других обманывает: говорит одно, делает другое. Когда пишет, не думает ни о каких правилах, а только следует вдохновению. Но ему недостаточно быть великим художником, он хочет быть и великим ученым, хочет примирить искусство и науку, вдохновение и математику. Я, впрочем, боюсь, что, погнавшись за двумя зайцами, ни одного не поймает!

Быть может, в словах Чезаре есть доля правды. Но за что он так не любит учителя? Леонардо прощает ему все, охотно выслушивает его злые, насмешливые речи, ценит ум его и никогда не сердится. Я наблюдаю, как он работает над Тайной Вечерей. Рано поутру, только что солнце встанет, уходит из дому, отправляется в монастырскую трапезную и в течение целого дня, пока не стемнеет, пишет, не

выпуская кисти из рук, забывая о пище и питье. А то проходит неделя, другая - не дотрагивается до кистей; но каждый день простаивает два, три часа на подмостках перед картиной, рассматривая и обсуждая то, что сделано; иногда в полдень, в самую жару, бросая начатое дело, по опустевшим улицам, не выбирая теневой стороны, как будто увлекаемый невидимой силой, бежит в монастырь, взлезает на подмостки, делает два, три мазка и тотчас уходит.

Все эти дни работал над головой апостола Иоанна. Сегодня должен был кончить. Но, к удивлению моему, остался дома и с утра, вместе с маленьким Джкопо, занялся наблюдением над полетом шмелей, ос и мух. Так погружен в изучение устройства их тела и крыльев, словно от этого зависят судьбы мира. Обрадовался, как Бог весть чему, когда нашел, что задние лапки служат мухам вместо руля. По мнению учителя, это чрезвычайно полезно и важно для изобретения летательной машины. Может быть. Но все же обидно, что голова апостола Иоанна покинута для исследования мушиных лапок.

Сегодня новое горе. Мухи забыты, как и Тайная Вечеря. Сочиняет сложный, тонкий узор для герба несуществующей, но предполагаемой герцогом, миланской академии живописи - четырехугольник из переплетенных, без конца, без начала, свивающихся веревочных узлов, которые окружают латинскую надпись: *Leonardi Vinci Academia*. Так поглощен отделкой узора, как будто ничего более в мире не существует, кроме этой трудной и бесполезной игры. Кажется, никакие силы не могли бы его оторвать от нее. Я не вытерпел и решился напомнить о неоконченной голове апостола Иоанна. Он пожал плечами и, не подымая глаз от веревочных узлов, процедил сквозь зубы: - Не уйдет, успеем. Я иногда понимаю злобу Цезаре.

Герцог Моро поручил ему устройство во дворце слуховых труб, скрытых в толще стен, так называемого Дионисиева уха, которое позволяет государю подслушивать из одного покоя то, что говорится в другом. Сначала мастер с большим увлечением принялся за проведение труб. Но скоро, по обыкновению, охладел и стал откладывать под разными предлогами. Герцог торопит и сердится.

Сегодня поутру несколько раз присылали из дворца. Но учитель занят новым делом, которое кажется ему не менее важным, чем устройство Дионисиева уха,- опытами над растениями: обрезав корни у тыквы и оставив один маленький корешок, обильно питает его водой. К немалой радости его, тыква не засохла, и мать, как он выражается, благополучно выкормила всех своих детей - около шестидесяти длинных тыкв. С каким терпением, с какой любовью следил он за жизнью этого растения! Сегодня до зари просидел на огородной грядке, наблюдая, как широкие листья пьют ночную росу. "Земля,- говорит он,- поит растения влагой, небо росой, а солнце дает им душу", ибо он полагает, что не только у человека, но и у животных, даже у растений есть душа - мнение, которое фра Бенедетто считает весьма еретическим.

Любит всех животных. Иногда целыми днями наблюдает и рисует кошек, изучает их нравы и привычки: как они играют, дерутся, спят, умывают морду лапками, ловят мышей, выгибают спину и ерошятся на собак. Или с таким же любопытством смотрит сквозь стенки большого стеклянного сосуда на рыб, слизняков, волосатиков, каракатиц и всяких других водяных животных. Лицо его выражает глубокое, тихое удовлетворение, когда они дерутся и пожирают друг друга.

Сразу тысячи дел. Не кончив одного, берется за другое. Впрочем, каждое из дел похоже на игру, каждая игра - на дело. Разнообразен и непостоянен. Чезаре говорит, что скорее потекут реки вспять, чем Леонардо сосредоточится на одном каком-нибудь замысле и доведет его до конца. Называет учителя самым великим из беспутных людей, уверяя, что из всех необъятных трудов его не выйдет никакого толку. Леонардо, будто бы, написал сто двадцать книг "О природе - Delie Cose NaturaH". Но все это случайные отрывки, отдельные заметки, разрозненные клочки бумаги - более пяти тысяч листов в таком страшном беспорядке, что сам он иногда не может разобраться, ищет какой-нибудь нужной заметки и не находит.

Какое у него неутолимое любопытство, какой добрый, вещий глаз для природы! Как он умеет замечать незаметное! Всюду удивляется радостно и жадно, как дети, как первые люди в раю.

Иногда о самом будничном такое слово скажет, что потом, хоть сто лет живи, не забудешь - прилипнет к памяти и не отвяжется.

Намедни, войдя в мою келью, учитель сказал: "Джованни, обратил ли ты внимание на то, что маленькие комнаты сосредоточивают ум, а большие - возбуждают его к деятельности?"

Или еще: "В тенистом дожде очертания предметов кажутся яснее, чем в солнечном".

А вот из вчерашнего делового разговора с литейным мастером о каких-то заказанных ему герцогом военных орудиях: "Взрыв пороха, сжатого между тарелью бомбарды и ядром, действует, как человек, который, упершись задом в стену, изо всей силы толкал бы перед собой руками тяжесть".

Говоря однажды об отвлеченной механике, сказал: "Сила всегда желает победить свою причину и, победив, умереть. Удар - сын Движения, внук Силы, а общий прадед - Вес".

В споре с одним архитектором воскликнул с нетерпением: "Как же вы не понимаете, мессере? Это ясно, как день. Ну, что такое арка? Арка не что иное, как сила, рождаемая двумя соединенными и противоположными слабостями". Архитектор даже рот разинул от удивления. А для меня все в их разговоре сразу сделалось ясным, как будто в темную комнату свечку внесли.

Опять два дня работы над головою апостола Иоанна. Но, увы, что-то потеряно в бесконечной возне с мушиными крыльями, тыквою, кошками, Дионисиевым ухом, узором из веревочных узлов и тому подобными важными делами. Опять не кончил, бросил и, по выражению Чезаре, весь ушел в геометрию, как улитка в свою раковину, полный отвращения к живописи. Говорит, будто бы самый запах красок, вид кистей и полотна ему противны.

Вот так мы и живем, по прихоти случая, изо дня в день, предавшись воле Божьей. Сидим у моря и ждем погоды. Хорошо, что еще до летательной машины не дошло, а то пиши пропало - так зароемся в механику, что только мы его и видали! <h2>x x x</h2>

Я заметил, что всякий раз, как после долгих отговорок, сомнений и колебаний он приступает, наконец, к работе, берет кисть в руки, - чувство, подобное страху, овладевает им. Всегда недоволен тем, что

сделал. В созданиях, которые кажутся другим пределом совершенства, замечает ошибки. Стремится все к высшему, к недостижимому, к тому, чего рука человеческая, как бы ни было искусство ее бесконечно, выразить не может. Вот почему почти никогда не кончает. * * *

Приходил сегодня жид-барышник продавать лошадей. Мастер хотел купить гнедого жеребца. Жид начал его уговаривать, чтобы купил вместе с жеребцом кобылу, и так умолял, настаивал, егозил и божился, что Леонардо, который любит лошадей и знает в них толк, наконец, рассмеялся, махнул рукою, взял кобылу и позволил себя обмануть, чтобы только от жида отделаться. Я смотрел, слушал и недоумевал.

- Чему ты удивляешься?-объяснил мне потом Чезаре.- Так всегда: первый встречный может сесть ему на шею. Ни в чем нельзя на него положиться. Ничего твердо решить не умеет. Все надвое-и нашим, и вашим, и да, и нет. Куда ветер подует. Никакой крепости, никакого мужества. Весь мягкий, зыбкий, податливый, точно без костей, точно расслабленный, несмотря на всю свою силу, Играя, железные подковы гнет, рычаги придумывает, чтобы крестильницу Сан-Джованни на воздух поднять, какворобьиное гнездо, а для настоящего дела, где воля нужна,- соломинки не подымет, божьей коровки обидеть не посмеет!..

Чезаре еще долго бранился, явно преувеличивал и даже клеветал. Но я чувствовал, что в словах его с ложью смешана правда.

Заболел Андреа Салаино. Учитель ухаживает за ним, ночей не спит, просиживая у изголовья. Но о лекарствах слушать не хочет. Марко д'оджоне тайно принес больному какИх-то пилюль. Леонардо нашел их и выбросил в окно. Когда же сам Андреа заикнулся, что хорошо бы пустить кровь,-он знает одного цирюльника, который отлично отискивает жилы,-учитель не на шутку рассердился, обругал всех докторов нехорошими словами и, между прочим, сказал: - Советую тебе думать не о том, как лечиться, а как сохранить здоровье, чего ты достигнешь тем лучше, чем более будешь остерегаться врачей, лекарства которых подобны нелепым составам алхимиков. И прибавил с веселой, простодушно-лукавой усмешкой:

- Еще бы им, обманщикам, не богатеть, когда всякий только для того и старается накопить побольше денег, чтобы отдать их врачам, разрушителям человеческой жизни!

Учитель забавляет больного смешными рассказами, баснями, загадками, до которых Салаино большой охотник. Я смотрю, слушаю и дивлюсь на учителя. Какой он веселый!

Вот для примера некоторые из этих загадок: "Люди будут жестко бить то, что есть причина их жизни.-Молотьба хлеба.

"Леса произведут на свет детей, которым суждено истреблять своих родителей.- Ручки топоров. "Шкуры звериные заставят людей выйти из молчания, клясться и кричать.- Игра в кожаные мячики".

После долгих часов, проведенных в изобретении военных орудий, в математических выкладках или работе над Тайною Вечерей, утешается этими загадками, как ребенок. Записывает их в рабочих тетрадях рядом с набросками великих будущих произведений или только что открытыми законами природы.

x x x

Сочинил и нарисовал в прославление щедрости герцога странную, сложную аллегорию, на которую потратил немало труда: в образе фортуны, Моро принимает под свою защиту отрока, убегающего от страшной Парки Бедности, с лицом Паучихи, покрывает его мантией и золотым ски петром грозит чудовищной богине. Герцог доволен рисунком и хочет, чтобы Леонардо исполнил его красками на одной из стен дворца, эти аллегории вошли в моду при дворе. Кажется, они имеют больший успех, чем все остальные произведения учителя. Дамы, рыцари, вельможи пристают к нему, добиваются какой-нибудь замысловатой аллегорической картинки.

Для одной из двух главных наложниц герцога, графини Чечилии Бергамини, сочинил аллегорию Зависти: дряхлая старуха с отвислыми сосцами, покрытая леопардовой шкурой, с колчаном ядовитых языков за плечами, едет верхом на человеческом остоле, держа в руке кубок, наполненный змеями.

Пришлось ему сочинить и другую аллегорию, тоже Зависти, для другой наложницы, Лукреции Кривелли, чтобы она не обиделась: ветвь орешника бьют палками и потрясают тогда именно, как

доводит она плоды свои до совершенной зрелости. Рядом надпись: за благодеяния.

Наконец, и для супруги герцога, светлейшей мадонны Беатриче, надо было выдумать аллегорию Неблагодарности: человек при восходящем солнце гасит свечу, которая служила ему ночью.

Теперь бедному мастеру ни днем, ни ночью нет покоя: заказы, просьбы, записочки дам сыплются на него; не знает, как отделаться.

Чезаре злится: "Все эти глупые рыцарские девизы, слащавые аллегории пристали разве какому-нибудь придворному блюдолизу, а не такому художнику, как Леонардо. Срам!" Я думаю, что он не прав. Учитель вовсе не помышляет о чести. Аллегориями забавляется он точно так же, как игрою в загадки и математическими истинами, божественной улыбкою Марии Девы и узором из веревочных узлов.

Он задумал и давно уже начал, но, по своему обыкновению, не кончил и Бог весть когда кончит "Книгу о живописи"-Trattato della Pittura. В последнее время много занимаясь со мною воздушною и линейной перспективою, светом и тенью, приводил из книги выдержки и отдельные мысли об искусстве. Я записываю здесь, что запомнил, Господь да наградит учителя за любовь и мудрость, с коими руководствует он меня на всех высоких путях благороднейшей науки! Пусть же те, кому попадутся в руки эти листки, помянут в молитве душу смиренного раба божьего, недостойного ученика, Джованни Бельтраффио, и душу великого мастера, флорентийца Леонардо да Винчи. Учитель говорит: "Все прекрасное умирает в человеке, но не в искусстве". "Тот, кто презирает живопись, презирает философское утонченное созерцание мира, ибо живопись есть законная дочь или, лучше сказать, внучка природы. Все, что есть, родилось от природы, и родило в свою очередь науку о живописи. Вот почему говорю я, что живопись внучка Природы и родственница Бога. Кто хулит живопись, тот хулит природу".

"Живописец должен быть всеобъемлющ. О, художник, твое разнообразие да будет столь же бесконечно, как явления природы. Продолжая то, что начал Бог, стремись умножить не дела рук человеческих; но вечные создания Бога. Никому никогда не подражай. Пусть будет каждое твое произведение как бы новым

явлением природы". "Для того, кто владеет первыми, общими законами естественных явлений, для того, кто знает,- легко быть всеобъемлющим, ибо, по строению своему, все тела, как человека, так и животных, сходятся". "Берегись, чтобы алчность к приобретению золота не заглушила в тебе любви к искусству. Помни, что приобретение славы есть нечто большее, чем слава приобретения. Память о богатых погибает вместе с ними; память о МУДРЫХ никогда не исчезнет, ибо мудрость и наука суть законные дети своих родителей, а не побочные, как деньги. Люби славу и не бойся бедности. Подумай, как много великих философов, рожденных в богатстве, обрекали себя на добровольную нищету, дабы не осквернить души своей богатством". "Наука молодит душу, уменьшает горечь старости. Собирай же мудрость, собирай сладкую пищу для старости". "Я знаю таких живописцев, которые бесстыдно, на потеху черни, размалевывают картины свои золотом и лазурью, утверждая с высокомерной наглостью, что могли бы работать не хуже других мастеров, если бы им больше платили. О, глупцы! Кто же мешает им сделать что-нибудь прекрасное и объявить: вот эта картина в такую-то цену, эта дешевле, а эта совсем рыночная,- доказав таким образом, что они умеют работать на всякую цену". <h2>х х</h2>

"Нередко алчность к деньгам унижает и хороших мастеров до ремесла. Так, мой земляк и товарищ, флорентинец Перуджино дошел до такой поспешности в исполнении заказов, что однажды ответил с подмостков жене своей, которая звала его обедать: "подавай суп, а Я пока напишу еще одного святого".

х х х "Малого достигает художник, не сомневающийся. Благо тебе, если твое произведение выше, плохо, если оно наравне, но величайшее бедствие, если оно ниже, чем ты его ценишь, что бывает с теми, кто удивляется, как это Бог им помог сделать так хорошо".

"Терпеливо выслушивай мнения всех о твоей картине, взвешивай и рассуждай, правы ли те, кто укоряет тебя и находят ошибки; если да-исправь, если нет-сделай вид, что не слышал, и только людям, достойным внимания, доказывай, что они ошибаются.

Суждение врага нередко правдивее и полезнее, чем суждение друга.. Ненависть в людях почти всегда глубже любви. Взор ненавидящего пронизательнее взора любящего. Истинный друг все равно, что ты сам. Враг не похож на тебя,-вот в чем сила его. Ненависть освещает многое, скрытое от любви. Помни это и не презирай хулы

врагов". * * *

"Яркие краски пленяют толпу. Но истинный художник не толпе угождает, а избранным. Гордость и цель его не в блистающих красках, а в том, чтобы совершилось в картине подобное чуду: чтобы тень и свет сделали в ней плоское выпуклым. Кто, презирая тень, жертвует ею для красок,-похож на болтуна, который жертвует смыслом для пустых и громких слов".

"Больше всего берегись грубых очертаний. Да будут края твоих теней на молодом и нежном теле не мертвыми, не каменными, но легкими, неуловимыми и прозрачными, как воздух, ибо само тело человеческое прозрачно, в чем можешь убедиться, если через пальцы посмотришь на солнце. Слишком яркий свет не дает прекрасных теней. Бойся яркого света. В сумерки, или в туманные дни, когда Солнце в облаках, заметь, какая нежность и прелесть на лицах Мужчин и женщин, проходящих по тенистым улицам между темными стенами домов. Это самый совершенный свет. Пусть же тень твоя, мало-помалу исчезая в свете, тает,, как дым, как звуки тихой музыки. Помни: между светом и мраком есть нечто среднее, двойственное, одинаково причастное и тому, и другому, как бы светлая тень или темный свет. Ищи его, художник: в нем тайна пленительной прелести!"

Так он сказал и, подняв руку, как бы желая запечатлеть эти слова в нашей памяти, повторил с неизъяснимым выражением:

- Берегитесь грубого и резкого. Пусть тени ваши тают, как дым, как звуки дальней музыки!

Чезаре, внимательно слушавший, усмехнулся, поднял глаза на Леонардо и что-то хотел возразить, но промолчал.

Спустя немного, говоря уже о другом, учитель сказал:

"Ложь так презренна, что, превознося величие Бога, унижает Его; истина так прекрасна, что, восхваляя самые малые вехи, облагораживает их. Между истиной и ложью такая же разница, как между мраком и светом.

Чезаре, что-то вспомнив, посмотрел на него испытующим взглядом.

- Такая же разница, как между мраком и светом?- повторил он.- Но не вы ли сами, учитель, только что утверждали, что между "траком и светом" есть нечто среднее, двойственное, одинаково причастное и тому, и другому, как бы светлая тень или темный свет? Значит,- и между истиной и ложью?.. но нет, этого быть не может... Право же, мастер, ваше сравнение порождает в уме моем великий соблазн, ибо художник, ищущий тайны пленительной прелести в слиянии тени и света, чего доброго, спросит, не сливается ли истина с ложью так же, как свет с тенью...

Леонардо сперва нахмурился, как будто был удивлен, даже разгневан словами ученика, но потом рассмеялся и ответил:

- Не искушай меня. Отыди, сатана! Я ожидал другого ответа, и думаю, что слова Чезаре достойны были большего, чем легкомысленная шутка. По крайней мере, во мне возбудили они много мучительных мыслей.

Сегодня вечером я видел, как, стоя под дождем в тесном, грязном и вонючем переулке, внимательно рассматривал он каменную, по-видимому, ничем не любопытную стену с пятнами сырости. Это продолжалось долго. Мальчишки указывали на него пальцами и смеялись. Я спросил, что он нашел в этой стене.

- Посмотри, Джованни, какое великолепное чудовище-химера с разинутой пастью; а вот рядом - ангел с нежным лицом и развевающимися локонами, который убегает от чудовища. Прихоть случая создала здесь образы, достойные великого мастера. Он обвел пальцем очертания пятен, к изумлению моему, я увидел в них и в самом деле, то, о чем он говорил.

- Может быть, многие сочтут это изображение нелепым,- продолжал учитель,- но я, по собственному опыту, знаю, как оно полезно для возбуждения ума к открытиям и замыслам. Нередко на стенах, в смешении разных камней, в трещинах, в узорах плесени на

стоячей воде, в потухающих углях, подернутых пеплом, в очертаниях облаков случалось мне находить подобие прекраснейших местностей с горами, скалами, реками, долинами и деревьями, также чудесные битвы, странные лица, полные неизъяснимой прелести, любопытных дьяволов, чудовищ и многие другие удивительные образы. Я выбирал из них то, что нужно, и доканчивал. Так, вслушиваясь в дальний звон колоколов, ты можешь в их смешанном гуле найти по желанию всякое имя и слово, о котором думаешь,

* *

Сравнивает морщины, образуемые мускулами лица, во время плача и смеха. В глазах, во рту, в щеках нет никакого различия. Только брови плачущий подымает вверх и соединяет, лоб собирается в складки, и углы рта опускаются; между тем, как смеющийся широко раздвигает брови и подымает углы рта. В заключение сказал:

- Старайся быть спокойным зрителем того, как люди смеются и плачут, ненавидят и любят, бледнеют от ужаса и кричат от боли; смотри, учись, исследуй, наблюдай, чтобы познать выражение всех человеческих чувств. Чезаре сказывал мне, что мастер любит провожать осужденных на смертную казнь, наблюдая в их лицах все степени муки и ужаса, возбуждая в самих палачах удивление своим любопытством, следя за последними содроганиями мускулов, когда несчастные умирают.

- Ты и представить себе не можешь, Джованни, что это за человек)-прибавил Чезаре с горькой усмешкой.- Червяка подымет с дороги и посадит на листок, чтобы не раздавить ногой,-а когда найдет на него такой стих,- кажется, если бы родная мать плакала, он только наблюдал бы, как сдвигаются брови, морщится кожа на лбу и опускаются углы рта. * * *

Учитель сказал: "учись у глухонемых выразительным движениям".

"Когда ты наблюдаешь людей, старайся, чтобы они не замечали, что ты смотришь на них: тогда их движения, их смех и плач естественнее".

"Разнообразие человеческих движений так же беспредельно, как разнообразие человеческих чувств. Высшая цель художника заключается в том, чтобы выразить в лице и в движениях тела страсть души".

"Помни,- в лицах, тобою изображенных, должна быть такая сила чувства, чтобы зрителю казалось, что картина твоя может заставить мертвых смеяться и плакать.

Когда художник изображает что-нибудь страшное, скорбное или смешное,- чувство, испытываемое зрителем, должно побуждать его к таким телодвижениям, чтобы казалось, будто бы он сам принимает участие в изображенных действиях; если же это не достигнуто,-знай, художник, что все твои усилия тщетны". <h2>x x</h2>

"Мастер, у которого руки узловатые, костлявые, охотно изображает людей с такими же узловатыми, костлявыми руками, и это повторяется для каждой части тела, ибо всякому человеку нравятся лица и тела, сходные с его собственным лицом и телом. Вот почему, если художник некрасив, он выбирает для своих изображений лица тоже некрасивые, и наоборот. Берегись, чтобы женщины и мужчины, тобой изображаемые, не казались сестрами и братьями-близнецами, ни по красоте, ни по уродству - недостаток, свойственный многим итальянским художникам. Ибо в живописи нет более опасной и предательской ошибки, как подражание собственному телу. Я думаю, что это происходит оттого, что душа есть художница своего тела: некогда создала она и вылепила его, по образу и подобию своему; и теперь, когда опять ей нужно, при помощи кисти и красок, создать новое тело, всего охотнее повторяет образ, в который уже раз воплотилась". <h2>x x</h2>

"Заботиться о том. Чтобы произведение твое не отталкивало зрителя, как человека, только что вставшего с постели, холодный зимний воздух, а привлекало бы и пленяло душу его, подобно тому, как спящего из постели выманивает приятная свежесть летнего утра". <h2>x x x</h2>

Вот история живописи, рассказанная учителем в немногих словах:

"После римлян, когда живописцы стали подражать друг другу, искусство пришло в упадок, длившийся много веков. Но явился Джотто флорентинец, который, не довольствуясь подражанием учителю своему, Чимабуэ, рожденный в горах и пустынях, обитаемых лишь козами и другими подобными животными, и будучи побуждаем

к искусству природой, начал рисовать на камнях движения коз, которых пас, и всех животных, которые обитали в стране его, и, наконец, посредством долгой науки, превзошел не только всех учителей своего времени, но и прошлых веков. После Джотто искусство живописи снова пришло в упадок, потому что каждый стал подражать готовым образцам. Это продолжалось целые столетия, пока Томмазо флорентинец, по прозвищу Мазаччо, не доказал своими совершенными созданиями, до какой степени даром тратят силы те, кто берет за образец что бы то ни было, кроме самой природы-учительницы всех учителей".

"Первым произведением живописи была черта, обведенная вокруг тени человека, брошенной солнцем на стену".- * * *

Говоря о том, как следует художнику сочинять замыслы картин, учитель рассказал нам для примера задуманное им изображение потопа.

- "Пучины и водовороты, озаренные молниями. Ветви громадных дубов, с людьми, прицепившимися к ним, уносимые смерчем: Воды, усеянные обломками домашней утвари, на которых спасаются Люди. Стада четвероногих, окруженные водою, на высоких плоскогорьях, одни кладут ноги на спины другим, давят и топчут друг друга. В толпе людей, защищающих, с оружием в руках, последний клочок земли от хищных зверей, одни ломают руки, грызут их, так что кровь течет, другие затыкают уши, чтобы не слышать грохота громов, или же, не довольствуясь тем, что закрыли глаза, кладут еще руку на руку, прижимая их к векам, чтобы не видеть грозящей смерти. Иные убивают себя, удушаясь, закалываясь мечами, бросаясь в пучину с утесов, и матери, проклиная Бога, хватают детей, чтобы размозжить им голову о камни. Разложившиеся трупы всплывают на поверхность, сталкиваясь и ударяя ДРУГ друга, как мячики, надутые воздухом, отскакивают. Птицы садятся на них или, в изнеможении падая, опускаются на живых людей и зверей, не находя другого места для отдыха".

От Салаино и Марко узнал я, что Леонардо в течение многих лет расспрашивал путешественников и всех, кто когда-либо видел смерчи, наводнения, ураганы, обвалы, землетрясения,- узнавая

точные подробности и терпеливо, как ученый, собирая черту за чертой, наблюдение за наблюдением, чтобы составить замысел картины, которой, быть может, никогда не исполнить. Помню, слушая рассказ о потопах, я испытывал то же, что бывало при виде дьявольских рож и чудовищ в рисунках его,-ужас, который притягивает.

И вот еще что меня удивило: рассказывая страшный замысел, художник казался спокойным и безучастным.

Говоря о блесках молний, отражаемых водою, заметил: "их должно быть больше на дальних, меньше - на ближних к зрителю волнах, как того требует закон отражения света на гладких поверхностях".

Говоря о мертвых телах, которые сталкиваются в водоворотах, прибавил: "изображая эти удары и столкновения, не забывай закона механики, по которому угол падения равен углу отражения".

Я невольно улыбнулся и подумал: "вот он весь - в этом напоминании!"

Учитель сказал:

- Не опыт, отец всех искусств и наук, обманывает людей, а воображение, которое обещает им то, чего опыт дать не может. Невинен опыт, но наши суетные и безумные желания преступны. Отличая ложь от истины, опыт учит стремиться к возможному и не надеяться, по незнанию, на то, чего достигнуть нельзя, чтобы не пришлось, обманувшись в надежде, предаться отчаянию.

Когда мы остались наедине, Чезаре напомнил мне эти слова и сказал, безглаголиво поморщившись: - Опять ложь и притворство!

- В чем же теперь-то солгал он, Чезаре? - спросил я с удивлением.- Мне кажется, что учитель...

- Не стремиться к невозможному, не желать недостижимого! - продолжал он, не слушая меня.- Чего доброго, кто-нибудь поверит ему на слово. Только, нет, не на таких дураков напал: не ему бы слушать! Я его насквозь вижу... - Что же ты видишь, Чезаре?

- А то, что сам он всю жизнь только и стремился к невозможному, только и желал недостижимого. Ну, скажи на милость: изобретать такие машины, чтобы люди как птицы летали по воздуху, как рыбы под водой плавали,- разве это не значит стремиться к

невозможному? А ужас потопа, а небывалые чудовища в пятнах сырости, в облаках, небывалая прелесть божественных лиц, подобных ангельским видениям,- откуда он все это берет,- ужели из опыта, из математической таблички носов и ложечки для измерения красок?.. Зачем же обманывает себя и других, зачем лжет? Механика нужна ему для чуда,- чтобы на крыльях взлететь к небесам, чтобы, владея силами естественными, устремить их к тому, что сверх и против естества человеческого, сверх и против закона природы - все равно к Богу или к дьяволу, только бы к неиспытанному, к невозможному! Ибо верить-то он, пожалуй, не верит, но любопытствует,- чем меньше верит, тем больше любопытствует: это в нем, как похоть неугасимая, как уголь раскаленный, которого нельзя ничем залить- никаким знанием, никаким опытом!..

Слова Чезаре наполнили душу мою смятением и страхом. Все эти последние дни думаю о них, хочу и не могу забыть.

Сегодня, как будто отвечая на мои сомнения, учитель сказал:

- Малое знание дает людям гордыню, великое - дает смирение: так пустые колосья поднимают к небу надменные головы, а полные зерном склоняют их долу, к земле, своей матери.

- Как же, учитель,- возразил Чезаре со своей обыкновенной язвительно-испытующей усмешкой,- как же говорят, будто бы великое знание, которым обладал светлейший из херувимов, Люцифер, внушило ему не смирение, а гордыню, за которую он и был низвергнут в преисподнюю?

Леонардо ничего не ответил, но, немного помолчав, рассказал нам басню:

"Однажды капля водяная задумала подняться к небу. При помощи огня взлетела она тонким паром. Но, достигнув высоты, встретила разреженный, холодный воздух, сжалась, отяжелела - и гордость ее превратилась в ужас. Капля упала дождем. Сухая земля выпила ее. И долго вода, заключенная в подземной темнице, должна была каяться в грехе своем".

Кажется, чем больше с ним живешь, тем меньше знаешь его.

Сегодня опять забавлялся, как мальчик. И что за шутки! Сидел я вечером у себя наверху, читал перед сном любимую свою книгу - "Цветочки св. Франциска". Вдруг по всему дому раздался вопль нашей

стряпухи Матурины: - Пожар! Пожар! Помогите! Горим!.. Я бросился вниз и перетрусил, увидев густой дым, наполнявший мастерскую. Озаряемый отблеском синего пламени, подобного молнии, учитель стоял в облаках дыма, как некий древний маг, и с веселой улыбкой смотрел на Матурину, бледную от ужаса, махавшую руками, и на Марко, который прибежал с двумя ведрами воды и вылил бы их на стол, не щадя ни рисунков, ни рукописей, если бы учитель не остановил его, крикнув, что все это шутка. Тогда мы увидели, что дым и пламя поднимаются от белого порошка с ладаном и колофонием на раскаленной медной сковородке,- состава, изобретенного им для устройства увеселительных пожаров. Не знаю, кто был в большем восторге от шалости - неизменный товарищ всех его игр, маленький плут Джакомо, или сам Леонардо. Как он смеялся над страхом Матурины и над спасательными ведрами Марко! Видит Бог, кто так смеется, не может быть злым человеком.

Но среди веселья и хохота, не преминул записать сделанное ИМ на лице Матурины наблюдение над складками кожи и морщинами, которые производит ужас в человеческих лицах.

Почти никогда не говорит о женщинах. Только раз сказал, что люди поступают с ними так же незаконно, как с животными. Впрочем, над модною платонической любовью смеется. Одному влюбленному юноше, который читал слезливый сонет во вкусе Петрарки,-ответил тремя, должно быть, единственными, сочиненными им, стихами, ибо он весьма плохой стихотворец:

S'el Petrarcha aino si forte il lauro,- E perche gli e bon fralla salsiccia e tordo. l'non posso di lor ciancie far tesauo.

"Ежели Петрарка так сильно любил лавр-Лауру, это, вероятно, потому, что лавровый лист хорошая приправа к сосискам и жареным дроздам. Я же не могу благоговеть перед такими глупостями".

Чезаре уверяет, будто бы в течение всей своей жизни Леонардо так занят был механикой и геометрией, что не имел времени любить, но, впрочем, он едва ли совершенный девственник, ибо, уж конечно, должен был, хотя бы раз, соединиться с женщиной, не для наслаждения, как обыкновенные смертные, а из любопытства, для научных наблюдений по анатомии, исследуя таинство любви так же:

бесстрастно, с математической точностью, как все Другие явления природы.

'Я W ! Мне кажется порою, что не следовало бы мне никогда говорить о нем с Чезаре. Мы точно подслушиваем, подсматриваем, как шпионы. Чезаре каждый раз испытывает злую радость, когда удается ему бросить новую тень на учителя- И что ему нужно от меня, зачем отравляет он душу мою? Мы теперь часто ходим в маленький скверный кабачок у речной Катаранской таможни, за Верчельской заставой. Целыми часами, за полбрентой дешевого белого вина беседуем под ругань лодочников, играющих в крапленные карты, и совещаемся, как предатели.

Сегодня Чезаре спросил меня, знаю ли я, что во Флоренции Леонардо был обвинен в содомии. Я ушам своим не поверил, подумал, что Чезаре пьян или бредит. Но он мне подробно и точно объяснил. В 1476 году,-Леонардо было в то время 24 года, а его учителю, знаменитому флорентийскому мастеру, Андреа Вероккьо, 40 лет,-безымянный донос на Леонардо и Вероккьо с обвинением в мужеложестве опущен был в один из тех круглых деревянных ящиков, называемых "барабанами" - tamburi, которые вывешиваются на колонках в главных флорентинских церквах, преимущественно в соборе Марии дель Фьоре. 9-го апреля того же года ночные и монастырские надзиратели-Ufficiali di notte e monasteripазобрали дело и оправдали обвиненных, но под условием, чтобы донос повторился - *assoluti cuiii conditione, ut retam*после нового обвинения, 9-го июня Леонардо и Вероккьо были окончательно оправданы. Более никому ничего неизвестно. Вскоре после того Леонардо, навсегда покинув мастерскую Вероккьо и Флоренцию, переселился в Милан.

- О, конечно, гнусная клевета! - прибавил Чезаре с насмешливой искрой в глазах.- Хотя ты еще не знаешь, друг мой Джованнн, какими противоречиями полно его сердце. Это, видишь ли, лабиринт, в котором сам черт ногу сломит. Загадок и тайн не оберешься! С одной стороны, пожалуй, как будто бы и девственник, ну, а с другой...

Я вдруг почувствовал, как вся кровь прилила к моему сердцу.- вскочил и крикнул: - Как ты смеешь, подлый человек?

- Что ты? Помилуй... Ну, ну, не буду! Успокойся. Я, право, не думал, что ты этому придаешь такое значение... - Чему придаю значение? Чему? Говори, говори все! Не лукавь, не виляй!..

- Э, вздор! Зачем горячишься? Стоит ли таким друзьям, как мы, ссориться из-за пустяков? Выпьем-ка за твое здоровье! In vino veritas... Истина в вине... (лат.). И мы пили, и продолжали разговор. Нет, нет, довольно! Забыть скорее! Кончено! Не буду больше никогда говорить с ним об учителе. Он враг не только ему, но и мне. Он злой человек.

Гадко мне-не знаю, от вина ли, выпитого в проклятом кабачке, или оттого, что мы там говорили. Стыдно подумать, какую подлую радость могут находить люди, унижая великого.

* * * Учитель сказал:

- Художник, сила твоя в одиночестве. Когда ты один, ты весь принадлежишь себе; когда же ты хотя бы с одним товарищем, ты себе принадлежишь только наполовину или еще менее, сообразно с нескромностью друга. Имея несколько друзей, ты еще глубже впадаешь в то же бедствие. А если ты скажешь: я отойду от вас и буду один, чтобы свободнее предаваться созерцанию природы,-я говорю тебе: это едва ли удастся, потому что ты не будешь в силах не развлекаться и не прислушиваться к болтовне. Ты будешь плохим товарищем и еще худшим работником, ибо никто не может служить двум господам. И если ты возразишь: я отойду так далеко, чтобы вовсе не слышать их разговора,- я скажу тебе: они сочтут тебя за сумасшедшего - и все-таки ты останешься один. Но, если непременно хочешь иметь друзей, пусть это будут живописцы и ученики твоей мастерской. Всякая иная дружба опасна. Помни, художник, сила твоя - в одиночестве.

Теперь я понимаю, почему Леонардо удаляется от женщин: для великого созерцания нужна ему великая свобода.

Андреа Салаино иногда горько жалуется на скуку, и нашу однообразную и уединенную жизнь, уверяя, будто бы ученики других мастеров живут куда веселее. Как молодая девушка, любит он обновки и горюет, что показывать их некому. Ему хотелось бы праздников, шума, блеска толпы и влюбленных взоров.

Сегодня учитель, выслушав упреки и жалобы своего овия, обычным движением руки начал гладить его длинные, мягкие кудри и ответил ему с доброй усмешкой: - Не горюй, мальчик: я обещаю тебя взять на следующий праздник в замок. А теперь, хочешь, расскажу

басенку? - Расскажите, учитель! - обрадовался Андреа и сел у ног Леонардо.

- На высоком месте, над большою дорогою, там, где кончался оградой сад, лежал камень, окруженный деревьями, мохом, цветами и травами. Однажды, когда он увидел множество камней внизу, на большой дороге, захотелось ему к ним, и он сказал себе: "какая мне радость в этих изнеженных недолговечных цветах и травах? Я желал бы жить среди ближних и братьев моих, среди себе подобных камней!" -и скатился на большую дорогу к тем, кого называл своими ближними и братьями. Но здесь колеса тяжелых повозок стали давить его, копыта ослов, мулов и гвоздями подкованные сапоги прохожих топтать. Когда же порою удавалось ему немного подняться, и он мечтал вздохнуть свободнее, липкая грязь или кал животных покрывали его. Печально смотрел он на прежнее место свое, уединенное убежище в саду, и оно казалось ему раем.- Так бывает с теми, Андреа, кто покидает тихое созерцание и погружается в страсти толпы, полные вечного зла. <h2>х х</h2>

Учитель не позволяет, чтобы причинялся какой-либо вред животным тварям, даже растениям. Механик Зороастро да Перетолла рассказывал мне, что Леонардо с юных лет не ест мяса и говорит, что придет время, когда все люди, подобно ему, будут довольствоваться растительной пищей, полагая убийство животных столь же преступным, как убийство человека.

Проходя однажды мимо мясной лавки на Меркато Нуово и с отвращением указывая на туши телят, овец, быков и свиней на распорках, он сказал мне:

- Да, воистину человек есть царь животных, или, лучше сказать, царь зверей, потому что зверство его величайшее. И помолчав, прибавил с тихою грустью:

- Мы делаем нашу жизнь из чужих смертей! Люди и звери суть вечные пристанища мертвецов, могилы один для другого...

- Таков закон природы, чью благость и мудрость вы же сами, учитель, так прославляете,- возразил Чезаре.-Я удивляюсь, зачем воздержанием от мяса нарушаете вы этот естественный закон, повелевающий всем тварям пожирать друг друга.

Леонардо посмотрел на него и ответил спокойно: - Природа, находя бесконечную радость в изобретении новых форм, в созидании новых жизней и производя их с большею скоростью, чем время может истребить, устроила так, чтобы одни твари, питаясь другими, очищали место для грядущих поколений. Вот почему нередко посылает она заразы и поветрия туда, где чрезмерно размножились, твари, в особенности люди, у которых избыток рождений не уравновешен смертями, ибо остальные звери не пожирают их.

Так Леонардо, хотя с великим спокойствием разума объясняет естественные законы, не возмущаясь и не сетуя, но сам поступает по иному закону, воздерживаясь от употребления в пищу всего, что имеет в себе жизнь.

Вчера ночью долго читал я книгу, с которой никогда не расстанусь - "Цветочки св. Франциска". Франциск, так же как Леонардо, миловал тварей. Иногда, вместо молитвы, прославляя мудрость Божью, целыми часами на пчельнике, среди ульев, наблюдал, как пчелы лепят восковые кельи и наполняют их медом. Однажды, на пустынной горе, проповедовал птицам слово Господне; они сидели у ног его рядами и слушали; когда же он кончил, вострепещулись, захлопали крыльями и, открывая клювы, начали ласкаться головками о ризы Франциска, как бы желая сказать ему, что поняли проповедь; он благословил их, и они улетели с радостными криками.

Долго читал я. Потом уснул. Казалось, этот сон был полон тихим веянием голубиных крыл.

Проснулся рано. Солнце только что встало. Все в доме еще спали. Я пошел на двор, чтобы умыться студеной водою из колодца. Было тихо. Звук дальних колоколов походил на жужжание пчел. Пахло дымной свежестью. Вдруг услышал я, как бы из сна моего, трепетание

бесчисленных крыл. Поднял глаза и увидел мессера Леонардо на лестнице высокой голубятни.

волосами, пронизанными солнцем, окружавшими голову его, как сияние, стоял он в небесах, одинокий и радостный. Стая белых голубей, воркуя, теснилась у ног его. порхали вокруг него, доверчиво садились ему на плечи, руки, на голову. Он ласкал их и кормил изо рта. Потом взмахнул руками, точно благословил, - и голуби взвились, зашелестели шелковым шелестом крыльев, полетели, как белые хлопья снега, тая в лазури небес. Он проводил их нежной улыбкой.

Я подумал, что Леонардо похож на св. Франциска, друга всех животных тварей, который называл ветер братом своим, воду - сестрою, землю - матерью,

- Да простит мне Бог, опять я не вытерпел: опять пошли мы с Чезаре в проклятый кабачок. Я заговорил о милосердии учителя.

- Уж не о том ли ты, Джованни, что мессер Леонардо мяса не вкушает. Божьими травками питается?

- А если бы и о том, Чезаре? Я знаю...

- и Ничего ты не знаешь] Мессер Леонардо делает это вовсе не от Доброты, а только забавляется, как и всем остальным, - юродствует... - Как юродствует? Что ты Говоришь?.. Он засмеялся С притворною веселостью: - Ну, ну, хорошо. Спорить не будем. А лучше погоди, уж, как придем домой, я покажу тебе некоторые любопытные рисуночки нашего мастера.

Вернувшись, мы потихоньку, точно воры, прокрались в мастерскую учителя. Его там небыло. Чезаре пошарил, вынул тетрадь из-под груды книг на рабочем столе и начал мне показывать рисунки. Я знал, что делаю нехорошо, но не имел силы противиться и смотрел с любопытством.

Это были изображения огромных бомбард, разрывных ядер, многоствольных пушек и других военных машин, исполненные с такою же воздушною нежностью теней и света, как лица самых прекрасных из его Мадонн. Помню одну бомбу величиною в половину локтя, называемую фрагиликою, устройство которой объяснил мне Чезаре: вылита она из бронзы, внутренняя полость набита пенькою с гипсом и рыбьим клеем, шерстяными пострижками, дегтем, серою, и, наподобие лабиринта, переплетаются

в ней медные трубы, обмотанные крепчайшими воловьими жилами, начиненными порохом и пулями. Устья труб расположены винтообразно на поверхности бомбы. Через них вылетает огонь при взрыве, и фрагилика вертится, прыгает с невероятной скоростью, как исполинский волчок, выхаркивая огненные снопы. Рядом, на полях, рукою Леонардо было написано: "это - бомба самого прекрасного и полезного устройства. Зажигается через столько времени после пушечного выстрела, сколько нужно, чтобы прочесть "Ave Maria".

- "Ave Maria"...повторил Чезаре.-Как тебе это нравится, друг? Неожиданное употребление христианской молитвы. И затейник же мессер Леонардо! "Ave Maria" - рядом с таким чудовищем! Чего только не придумает... А кстати, знаешь ли, как он войну называет? - Как?

- "Pazzia bestialissima - самая зверская глупость". Не правда ли, недурное словечко в устах изобретателя таких машин?

Он перевернул лист и показал мне изображение боевой колесницы с громадными железными косами. На всем скаку врежется она во вражье войско. Огромные стальные серпообразные острые, как бритвы лезвия, подобные лапам исполинского паука, вращаясь в воздухе, должно быть, с пронзительным свистом, визгом и скрипом зубчатых колес, разбрасывая клочья мяса и брызги крови, рассекают людей пополам. Кругом валяются отрезанные ноги, руки, головы, разрубленные туловища.

Помню также другой рисунок: на дворе арсенала рои нагих работников, похожих на демонов, поднимают громадную пушку с грозно зияющим жерлом, напрягая могучие мышцы в невероятном усилии, цепляясь, упираясь ногами и руками в рычаги исполинского ворота, соединенного канатами с подъемной машиной. Другие подкатывают ось на двух колесах. Ужасом веяло на меня от этих гроздий голых тел, висящих в воздухе. Это казалось оружейною палатою дьяволов, кузницею ада.

- Ну, что? Правду я тебе говорил, Джованни,- молвил Чезаре,- прелюбопытные рисуночки? Вот он, блаженный муж, который тварей милует, от мяса не вкушает, червяка с дороги подымает, чтобы прохожие ногой не растоптали! И то, и другое вместе. Сегодня

кромешник, завтра угодник. Янус двуликий: одно лицо к Христу, другое к Антихристу. Поди, разбери, какое истинное, какое ложное?. Или оба истинные?.. И ведь все это-с легким сердцем, с тайной пленительной прелести, как будто шутя да играя! Я слушал молча; холод, подобный холоду смерти, пробежал у меня по сердцу.

- Что с тобой, Джованни?-заметил Чезаре.-Лица на тебе нет, бедненький! Слишком ты все это к сердцу принимаешь, друг мой... Погоди, стерпится, слюбится. Привыкнешь,- ничему удивляться не будешь, как я.- А теперь вернемся-ка в погреб Золотой Черепахи да выпьем снова. Dum vivum, potamus, Богу Вакху пропоем: Te Delim faudamus!

Я ничего не ответил, закрыл лицо руками и убежал от него. * * *

Как? Один человек-и тот, кто благословляет голубей с невинной улыбкой, подобно св. Франциску,- и тот, в кузнице ада, изобретатель железного чудовища с окровавленными паучьими лапами,-один человек? Нет, быть этого не может, нельзя этого вынести! Лучше все, только не это! Лучше - безбожник, чем слуга Бога и дьявола вместе, лик Христа и Сфорцы Насильника вместе! <h2>x x x</h2>

Сегодня Марко д'Оджоне сказал:

- Мессер Леонардо, многие обвиняют тебя и нас, учеников твоих, в том, что мы слишком редко ходим в церковь и в праздники работаем, как в будни.

- Пусть ханжи говорят, что угодно,- отвечал Леонардо.- Да не смущается сердце ваше, друзья мои! Изучать явления природы есть Господу угодное дело. Это все равно, что молиться. Познавая законы естественные, мы тем самым прославляем первого Изобретателя, Художника вселенной и учимся любить Его, ибо великая любовь к Богу проистекает из великого познания. Кто мало знает, тот мало любит. Если же ты любишь Творца за временные милости, которых ждешь от Него, а не за вечную благодать и силу Его,- ты подобен псу, который виляет хвостом и лижет хозяину руку в надежде лакомой подачки. Подумай, насколько бы сильнее любил пес господина своего, постигнув душу и разум его. Помните же, дети мои: любовь есть дочь познания; любовь тем пламеннее, чем познание точнее. И в Евангелии сказано: будьте мудры как змеи и просты как голуби.

- Можно ли соединить мудрость змия с простотою голубя? - возразил Чезаре.- Мне кажется, надо выбрать одно из двух...

- Нет, вместе! - молвил Леонардо.- Вместе,- одно без другого невозможно: совершенное знание и совершенная любовь - одно и то же.

Что-то думает об этом Леонардо, который устраивал Дионисиево ухо, не помышляя о зле и добре, изучая любопытные законы, "шутя да играя", по выражению Чезаре - так же, как он делает все: изобретает чудовищные военные машины, разрывные бомбы, железных пауков, рассекающих одним взмахом громадных лап с полсотни людей?

Сегодня, читая апостола Павла, я нашел в восьмой главе "Первого Послания к Коринфянам" следующие слова: "Знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него". Апостол утверждает: познание из любви; а Леонардо - любовь из познания. Кто прав? Я этого не могу решить и не могу жить, не решив.

Кажется мне, что я заблудился в извилинах страшного лабиринта. Кричу, взываю - и нет мне отклика. Чем дальше иду, тем больше путаюсь. Где я? Что со мною будет, ежели и ты меня покинешь. Господи?

Апостол говорит: "от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос".

Из такого ли знания проистекает любовь? Или знание и любовь не одно и то же? * * *

Порою лицо учителя так ясно и невинно, полно такой голубиной чистотою, что я все готов простить, всему поверить,- и снова отдать ему душу мою. Но вдруг в непонятных изгибах тонких губ мелькает выражение, от которого мне становится страшно, как будто я заглядываю сквозь прозрачную глубину в подводные пропасти. И опять мне кажется, что есть в душе его тайна, и я вспоминаю одну из его загадок: "Величайшие реки текут под землею".

О, фра Бенедетто, как бы мне хотелось вернуться в тихую келью твою, рассказать тебе всю мою муку, припасть к твоей груди, чтобы ты пожалел меня, снял с души моей эту тяжесть, отче возлюбленный,

овечка моя смиренная, исполнившая Христову заповедь: блаженны нищие духом. Сегодня новое несчастье.

Придворный летописец, мессер Джордже Мерула, и старый друг его, поэт Бернарде Беллинчони, вели беседу наедине в пустынной зале дворца. Дело происходило после ужина. Мерула был навеселе и, по своему обыкновению, хвастая вольнолюбивыми мечтами, презрением к ничтожным государям нашего века, непочтительно отозвался о герцоге Моро и, разбирая один из сонетов Беллинчони, в котором прославляются благодеяния, будто бы оказанные герцогом Джан-Галеаццо, назвал Моро убийцей, отравителем законного герцога. Благодаря искусству, с которым устроены были трубы Дионисиева уха, герцог из дальнего покоя услышал разговор, велел схватить Мерулу и посадить в тюремный подвал под главным крепостным рвом Редефоссо, окружающим замок.

Умер герцог Джан-Галеаццо.

Говорят,- о, видит Бог, рука едва подымается написать это слово, и я ему не верю! - говорят, Леонардо - убийца; он, будто бы, отравил герцога плодами ядовитого дерева.

Помню, как механик Зороастро да Перетола показывал мне Кассандре это проклятое дерево. Лучше бы мне никогда не видеть его! Вот и теперь-оно чудится мне, каким было в ту ночь, в мутно-зеленом лунном тумане, с каплями яда на мокрых листьях, с тихо зреющими плодами, окруженное смертью и ужасом. И опять звучат в ушах моих слова Писания: "от Древа Познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь".

О, горе, горе мне, окаянному! Некогда в сладостной келье отца моего Бенедетто, в невинной простоте я был, как первый человек в раю. Но согрешил, предал душу мою искушениям мудрого Змия, вкусил от Древа Познания - и се открылись глаза мои, и увидел я добро и зло, свет и тень. Бога и дьявола; и еще увидел я, что семь наг и сир, и нищ-и смертью душа моя умирает.

Из преисподней вопию к Тебе, Господи, внимли гласу моления моего, услышь и помилуй меня! Как разбойник на кресте исповедую имя Твое: помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твое!

Леонардо снова начал лик Христа. * * *

Герцог поручил ему устройство машины для подъема Святейшего Гвоздя.

С математической точностью он взвесил на весах орудие Страстей Господних, как обломок старого железа - столько-то унций, столько-то гран - и святыня для него только цифра между цифрами, только часть между частями подъемной машины - веревками, колесами, рычагами и блоками! Апостол говорит: "Дети, наступает последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы познаем из того, что наступает последнее время".

А * *

Ночью толпа народа, окружив наш дом, требовала Святейшего Гвоздя и кричала: "Колдун, безбожник, отравитель герцога. Антихрист!"

Леонардо слушал вопли черни без гнева. Когда Марко хотел стрелять из аркебуза, запретил ему. Лицо учителя было спокойно и непроницаемо, как всегда.

Я упал к ногам его и молил сказать мне хотя бы одно слово, чтобы рассеять мои сомнения. Свидетельствуюсь Богом живым - я поверил бы! Но он не хотел или не мог мне сказать ничего.

Маленький Джакопо, выскользнув из дома, обежал толпу, через несколько улиц встретил обход стражи, всадников капитана Джустиции, привел их к дому -и в то самое мгновение, когда сломанные двери уже валились под напором толпы, солдаты ударили на нее с тылу. Бунтовщики разбежались. Джакопо ранен камнем в голову, едва не убит. <h2>x x x</h2>

Сегодня я был в соборе на празднике Святейшего Гвоздя.

Подняли его в мгновение, определенное астрологами. Машина Леонардо действовала как нельзя лучше. Ни веревок, ни блоков не было видно. Казалось, что круглый сосуд с хрустальными стенками и золотыми лучами, в который заключен Гвоздь, возносится сам собою, в облаках фимиама, подобно восходящему солнцу. Это было чудо механики. Грянул хор: *Confixa Clavic viscera, Tendens manus vestigia, Redemptionis gratia Hie immolata est Hostia*. Чрево рассечено, Ступня до руки достает - Жертву здесь принесли Искупления ради (лат-).

И ковчег остановился в темной арке над главным алтарем собора, окруженный пятью неугасимыми лампадами. Архиепископ возгласил:

- O, Crux benedicta, quae sola fuisti digna portare Regem coelorum et Dominum. Alleluia!

Народ упал на колени, повторяя за ним: Аллилуйя! И похититель престола, убийца Моро со слезами поднял руки к Святейшему Гвоздю.

Потом угощали народ вином, тушами быков, пятью тысячами мер гороха и двумястами пудов сала. Чернь, забыв убитого герцога, объедаясь и пьянствуя, вопила: "Да здравствует Моро! Да здравствует Гвоздь!"

Беллинчони сочинял гекзаметры, в которых говорится, что под кротким владычеством августа, богами любимого Моро, воссияет миру из древнего железного Гвоздя новый Век Золотой.

Выходя из собора, герцог подошел к Леонардо, обнял его, поцеловал, называя своим Архимедом, поблагодарил за дивное устройство подъемной машины и обещал ему пожаловать чистокровную берберийскую кобылу из собственного конного завода на вилле Сфорцеске, с двумя тысячами имперских дукатов; потом снисходительно потрепал по плечу, сказал, что теперь мастер может кончить на свободе лик Христа в Тайной Вечери.

Я понял слово Писания: "человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих".

Не могу я больше терпеть! Погибаю, с ума схожу от этих двоящихся мыслей, от лика Антихриста сквозь лик Христа. Зачем Ты покинул меня, Господи? Надо бежать, пока еще не поздно. * * *

Я встал ночью, связал платье, белье и книги в походный узел, взял дорожную палку, в темноте ощупью спустился вниз, в мастерскую, положил на стол тридцать флоринов, плату за последние шесть месяцев учения - чтобы выручить их, я продал кольцо с изумрудом, подарок матери,- и ни с кем не простившись - все еще спали,- ушел из дома Леонардо навеки. <h2>x x x</h2>

Фра Бенедетто сказал мне, что с тех пор, как я покинул его, он каждую ночь молится обо мне, и было ему видение о том, что Бог возвратит меня на путь спасения. Фра Бенедетто идет во Флоренцию для свидания с больным своим братом, доминиканцем в монастыре

Сан-Марко, где настоятелем Джироламо Савонарола. <h2>х х х</h2>

Хвала и благодарение Тебе, Господи! Ты извлек меня из тени смертной, из пасти адовой.

Ныне отрекаюсь от мудрости века сего, запечатленной печатью Змия Седмиглавого, Зверя, грядущего во тьме, именуемого Антихристом.

Отрекаюсь от плодов ядовитого Древа Познания, от гордыни суетного разума, от богопротивной науки, коей отец есть Дьявол.

Отрекаюсь от всякого соблазна языческой прелести. Отрекаюсь от всего, что не воля Твоя, не слава Твоя, не мудрость Твоя, Христе Боже мой!

Просвети душу мою светом единым Твоим, избавь от проклятых двоящихся мыслей, утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои, укрой меня под сенью крыл Твоих!

Хвали, душа моя. Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе семь! <h2>х х х</h2>

Через два дня мы с фра Бенедетто едем во Флоренцию. С благословения отца моего хочу быть послушником в обители Сан-Марко у великого избранника Господня, фра Джироламо Савонаролы.-Бог спас меня!..

Этимися словами кончался дневник Джованни Бельтраффио. <h2>СЕДЬМАЯ КНИГА. СОЖЖЕНИЕ СУЕТ</h2>

Прошло более года с тех пор, как Бельтраффио поступил послушником в обитель Сан-Марко.

Однажды, после полудня, в конце карнавала тысяча четыреста девяносто шестого года, Джироламо Савонарола, сидя за рабочим столом в своей келье, записывал недавно бывшее ему от Бога видение Двух Крестов над городом Римом: черного в смертоносном вихре, с надписью: Крест Гнева Господня, и сияющего в лазури, с надписью: Крест Милосердия Господня.

Он чувствовал усталость и лихорадочный озноб. Отложив перо, опустил голову на руки, закрыл глаза и стал припоминать то, что слышал в это утро о жизни папы Александра VI Борджа от

смирненного фра Паоло, монаха, посланного в Рим для разведок и только что вернувшегося во Флоренцию.

Как видения Апокалипсиса, проносились перед ним чудовищные образы: багряный Бык из родословного щита Борджа, подобие древнего египетского Аписа, Золотой Телец, предносимый римскому первосвященнику, вместо кроткого Агнца Господня; бесстыдные игрища ночью, после пира в залах Ватикана, перед Святейшим Отцом, его родною дочерью и толпой кардиналов; прекрасная Джулия Фарнезе, юная наложница шестидесятилетнего папы, изображаемая на иконах в образе Матери Божьей; двое старших сыновей Александра, дон-Чезаре, кардинал Валенсии, и дон-Джованни, знаменосец римской церкви, ненавидящие друг друга до каинова братоубийства из-за нечистой похоти к сестре своей Лукреции.

И Джироламо содрогнулся, вспомнив то, о чем фра Паоло едва осмелился шепнуть ему на ухо - кровосмесительную похоть отца к дочери, старого папы к мадонне Лукреции.

- Нет, нет, видит Бог, не верю-клевета... этого быть не может! - повторял он и втайне чувствовал, что все может быть в страшном гнезде Борджа.

Холодный пот выступил на лбу монаха. Он бросился на колени пред Распятием. Раздался тихий стук в дверь кельи. - Кто там? - Я, отче!

Джироламо узнал по голосу помощника и верного друга своего, брата Доминико Буонвичини.

- Достопочтенный Ричардо Бекки, доверенный папы, испрашивает позволения говорить с тобой.

- Хорошо, пусть подождет. Пошли ко мне брата Сильвестро.

Сильвестро Маруффи был слабоумный монах, страдавший падучей. Джироламо считал его избранным сосудом благодати Божьей, любил и боялся, толкуя видения Сильвестро, по всем правилам утонченной схоластики великого Ангела Школы, Фомы Аквината, при помощи хитроумных доводов, логических посылок, энтимем, апофтегм и силлогизмов и находя пророческий смысл в том, что казалось другим бессмысленным лепетанием юродивого. Маруффи не выказывал уважения к своему настоятелю: нередко

поносил его, ругал при всех, даже бил. Джироламо принимал обиды эти со смирением и слушался его во всем. Если народ флорентийский был во власти Джироламо, то он в свою очередь был в руках слабоумного Маруффи.

Войдя в келью, брат Сильвестро уселся на пол в углу и, почесывая красные голые ноги, замурлыкал однообразную песенку. Выражение тупое и унылое было на веснушчатом лице его с острым, как шило, носиком, отвислою нижнею губою и слезящимися глазами мутно-зеленого бутылочного цвета.

- Брат,- молвил Джироламо,- из Рима от папы приехал посол. Скажи, принять ли его и что ему ответить? Не было ли тебе какого видения или гласа?

Маруффи состроил шутовскую рожу, залаял собакою и захрюкал свиньею: он имел дар подражать в совершенстве голосам животных.

- Братец милый,- упрашивал его Савонарола,- будь добрым, молви словечко! Душа моя тоскует смертельно. Помолись Богу, да ниспошлет Он тебе духа пророческого...

Юродивый высунул язык; лицо его исказилось. - Ну, чего ты, чего лезешь ко мне, свистун окаянный, перепел безмозглый, баранья твоя голова! У, чтоб тебе крысы нос отъели!-крикнул он с неожиданною злобою.- Сам заварил, сам и расхлебывай. Я тебе не пророк, не советчик!

Потом взглянул на Савонаролу исподлобья, вздохнул и продолжал другим, более тихим, ласковым голосом.

- Жалко мне тебя, братец, ой, жалко глупенького!.. И почему ты знаешь, что видения мои от Бога, а не от Дьявола?

Умолк, смежил веки, и лицо его сделалось неподвижным, как бы мертвым. Савонарола, думая, что это видение,- замер в благоговейном ожидании. Но Маруффи открыл глаза, медленно повернул голову, точно прислушиваясь, посмотрел в окно и с доброй, светлой, почти разумной улыбкой проговорил:

- Птички, слышишь, птички! Небось теперь и травка в поле, и желтые цветики. Эх, брат Джироламо, довольно ты здесь намутил, гордыню свою потешил, беса порадовал,-будет! Надо же и о Боге подумать. Пойдем-ка мы с тобой от мира окаянного в пустыню любезную. И запел приятным тихим голосом, покачиваясь:

В леса пойдем зеленые, В неведомый приют, Где бьют ключи студеные Да иволги поют.

Вдруг вскочил - железные вериги звякнули - подбежал к Савонароле, схватил его за руку и прошептал, как будто задыхаясь от ярости:

- Видел, видел, видел. У, чертов сын, ослиная твоя голова, чтоб тебе крысы нос отъели,- видел!.. - Говори, братец, говори же скорей... - Огонь! огонь! - произнес Маруффи. - Ну, ну, что же далее?

- Огонь костра,- продолжал Сильвестро,- и в нем человека!..

- Кого?-спросил Джироламо.

Маруффи кивнул головой, но ответил не вдруг: сначала вперил в Савонаролу свои пронзительные зеленые глазки и засмеялся тихим смехом, как сумасшедший, потом наклонился и шепнул ему на ухо: - Тебя! Джироламо вздрогнул и отшатнулся.

Маруффи встал, вышел из кельи и удалился, позвякивая веригами, напевая песенку:

Пойдем в леса зеленые, В неведомый приют, Где бьют ключи студеные Да иволги поют.

Опомнившись, Джироламо велел позвать доверенного папы, Ричардо Бекки.

Шурша длинным, похожим на рясу, шелковым платьем модного цвета мартовской фиалки, с откидными венецианскими рукавами, с опушкой из черно-бурого лисьего меха, распространяя веяние мускусной амбры,- в келью Савонаролы вошел скриптор святейшей апостолической канцелярии. Мессер Ричардо Бекки обладал той елейностью в движениях, в умной и величаво-ласковой улыбке, в ясных, почти простодушных глазах, в любезных смеющихся ямочках свежих, гладко выбритых щек, которая свойственна вельможам римского двора.

Он попросил благословения, выгибая спину с полупридворною ловкостью, поцеловал исхудалую руку приора Сан-Марко и заговорил по-латыни, с изящными цicerоновскими оборотами речи, с длинными, плавно развивающимися предложениями.

Начав издавека, тем, что в правилах ораторского искусства называется исканием благоволения, упомянул о славе флорентийского проповедника; затем перешел к делу: святейший

отец, справедливо разгневанный упорными отказами брата Джироламо явиться в Рим, но пылая ревностью ко благу церкви, к совершенному единению верных во Христе, к миру всего мира и желая не смерти, а спасения грешника, изъявляет отеческую готовность, в случае раскаяния Савонаролы, вернуть ему свою милость. Монах поднял глаза и тихо сказал:

- Мессере, как вы полагаете, святейший отец верует в Бога?

Ричардо не ответил, как будто не расслышал или нарочно пропустил мимо ушей неприличный вопрос, и, опять Заговорив о деле, намекнул, что высший чин духовной иерархии - красная кардинальская шапка - ожидает брата Джироламо в случае покорности, и, быстро наклонившись к монаху, дотронувшись пальцем до руки его, прибавил с вкрадчивой улыбкой:

- Словечко, отец Джироламо, только словечко и красная шапка за вами!

Савонарола устремил на собеседника неподвижные глаза и проговорил:

- А что, ежели я, мессере, не покорюсь - не замолчу? Что, ежели безрассудный монах отвергнет честь римского пурпура, не польстится, на красную шапку, не перестанет лаять, охраняя дом Господа своего, как верный псе, КОТОрому рта не заткнешь никакой подачкой? Ричардо с любопытством посмотрел на него, слегка поморщился, поднял брови, задумчиво любовался на свои ногти, гладкие и продолговатые, как миндалины, и поправил перстни. Потом неторопливо вынул из кармана, развернул и подал приору готовое к подписи и приложению великой печати Рыбаря отлучение от церкви брата Джироламо Савонаролы, где, между прочим, папа называл его сыном погибели и презреннейшим насекомым - *nequissimus omnipedo*. - Ждете ответа?-молвил монах, прочитав. Скриптор молча склонил голову. Савонарола поднялся во весь рост и швырнул папскую буллу к ногам посла. - Вот мой ответ! Ступайте в Рим и скажите, что я принимаю вызов на поединок с папой Антихристом. Посмотрим-он меня или я его отлучу от церкви! Дверь кельи тихонько отворилась, и брат Доминико заглянул в нее. Услышав громкий голос приора, он прибежал узнать, что случилось. У входа столпились монахи.

Ричардо уже несколько раз оглядывался на дверь и, наконец, заметил вежливо:

- Смею напомнить, брат Джироламо: я уполномочен лишь к тайному свиданию...

Савонарола подошел к двери и открыл ее настежь. - Слушайте - воскликнул он.- Слушайте все, ибо не вам одним, братья, но всему народу Флоренции объявляю я об этом гнусном торге - о выборе между отлучением от церкви и кардинальским пурпуром!

Впалые глаза его под низким лбом горели, как уголья; безобразная нижняя челюсть, дрожа, выступала вперед. - Се, время настало! Пойду я на вас, кардиналы и прелаты римские, как на язычников! Поверну ключ в замке, отопру мерзостный ларчик - и выйдет такое зловоние из вашего Рима, что люди задохнутся. Скажу такие слова, от которых вы побледнеете, и мир содрогнется в своих основаниях, и церковь Божия, убитая вами, услышит мой голос. Лазарь, изыде! - и встанет и выйдет из гроба... Ни ваших митр, ни кардинальских шапок не надо мне! Единую красную шапку смерти, кровавый венец твоих мучеников даруй мне, Господи!

Он упал на колени, рыдая, протягивая бледные руки к Распятию.

Ричардо, пользуясь минутой смятения, ловко выскользнул из кельи и поспешно удалился.

В толпе монахов, внимавших брату Джироламо, был послушник Джованни Бельтраффио.

Когда братья стали расходиться, сошел и он по лестнице на главный монастырский двор и сел на свое любимое место, в длинном крытом ходе, где всегда в это время бывало тихо и пустынно.

Между белыми стенами обители росли лавры, кипарисы и куст дамасских роз, под тенью которого брат Джироламо любил проповедовать: предание гласило, что ангелы ночью поливают эти розы.

Послушник открыл "Послания апостола Павла к Коринфянам" и прочел:

"Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской".

Встал и начал ходить по галерее, припоминая все свои мысли и чувства за последний год, проведенный в обители Сан-Марко.

В первое время вкушал он великую сладость духовную среди учеников Савонаролы. Иногда поутру уводил их отец Джироламо за стены города. Крутою тропинкою, которая вела как будто прямо в небо, подымались они на высоты Фьезоле, откуда между холмами, в Долине Арно, видна была Флоренция. На зеленой лужайке, где было много фиалок, ландышей, ирисов и, разогретые солнцем, стволы молодых кипарисов точили смолу,- садился приор. Монахи ложились у ног его на траву, плели венки, вели беседы, плясали, резвились, как дети, пока другие играли на скрипках, альтых и виолах, похожих на те, с которыми фра Беато изображает хоры ангелов.

Савонарола не учил их, не проповедовал, только говорил им ласковые речи, сам играл и смеялся, как дитя. Джованни смотрел на улыбку, озарявшую лицо его,- и ему казалось, что в пустынной роще, полной музыки и пения, на вершине Фьезоле, окруженной голубыми небесами, подобны они Божьим ангелам в раю.

Савонарола подходил к обрыву и с любовью смотрел на Флоренцию, окутанную дымкой утра, как мать на спящего младенца. Снизу доносился первый звон колоколов, точно сонный детский лепет.

А в летние ночи, когда светляки летали, как тихие свечи невидимых ангелов, под благовонной кущей дамасских роз на дворе Сан-Марко, рассказывал он братьям о кровавых стигматах, язвах небесной любви на теле св. Катерины Сиенской, подобных ранам Господа, благоуханных, как розы.

Дай мне болью ран упиться, Крестной мукой насладиться-' Мукой Сына Твоего!

пели монахи, и Джованни хотелось, чтобы с ним повторилось чудо, о котором говорил Савонарола,- чтобы огненные лучи, выйдя из чаши со Святыми Дарами, выжгли в теле его, как раскаленное железо, крестные раны.

Gesu, Gesu, amore! Иисус, Иисус, любовь! (итал.). вздыхал он, изнемогая от неги.

Однажды Савонарола послал его, так же как он делал это с другими послушниками, ухаживать за тяжело больным на вилле Карреджи, находившейся в двух милях от Флоренции, на полуденном склоне холмов Учелатойо,- той самой вилле, где подолгу жилал и

умер Лоренцо Медичи. В одном из покоев дворца, пустынных и безмолвных, освещенных слабым, как бы могильным, светом сквозь щели запертых ставен, увидел Джованни картину Сандро Боттичелли - рождение богини Венеры. Вся голая, белая, словно водяная лилия-влажная, как будто пахнувшая соленой свежестью моря, скользила она по волнам, стоя на жемчужной раковине. Золотые тяжелые пряди волос вились, как змеи. Стыдливым движением руки прижимала их к чреслам, закрывая наготу свою, и прекрасное тело дышало соблазном греха, между тем как невинные губы, детские очи полны были святою грустью.

Лицо богини казалось Джованни знакомым. Он долго смотрел на нее и вдруг вспомнил, что такое же точно лицо, такие же детские очи, как будто заплаканные, такие же невинные губы, с выражением неземной печали, он видел на другой картине того же Сандро Боттичелли - у Матери Господа. Невыразимое смущение наполнило душу его. Он потупил глаза и ушел из виллы.

Спускаясь во Флоренцию по узкому переулку, заметил в углублении стены ветхое Распятие, встал перед ним на колени и начал молиться, чтобы отогнать искушение. За стеною в саду, должно быть, под сенью тех же роз, прозвучала мандолина; кто-то вскрикнул, чей-то голос произнес пугливым шепотом: - Нет, нет, оставь...

- Милая,- ответил другой голос,- любовь, любовь моя! Amore!

Лютня упала, струны зазвенели, и послышался звук поцелуя.

Джованни вскочил, повторяя: Gesu! Gesu!-и не смея прибавить - Amore.

- И здесь,- подумал он,- здесь - она. В лице Мадонны, в словах святого гимна, в благоухании роз, осеняющих Распятие!..

Закрыв лицо руками и стал уходить, как будто убегая от невидимой погони.

Вернувшись в обитель, пошел к Савонароле и рассказал ему все. Приор дал обычный совет бороться с дьяволом оружием поста и молитвы. Когда же послушник хотел объяснить, что не дьявол любострастия плотского искушает его, а демон духовной языческой прелести,- монах не понял, сперва удивился, потом заметил строго, что в ложных богах нет ничего, кроме нечистой похоти и гордыни,

которые всегда безобразны, ибо красота заключается только в христианских добродетелях.

Джованни ушел от него неутешенный. С того дня приступил к нему бес уныния и возмущения.

Однажды случилось ему слушать, как брат Джироламо, говоря о живописи, требовал, чтобы всякая картина приносила пользу, поучала и назидала людей в душеспасительных помыслах: истребив рукой палача соблазнительные изображения, флорентийцы совершили бы дело, угодное Богу.

Так же монах судил о науке. "Глупец тот,- говорил он,- кто воображает, будто бы логика и философия подтверждают истины веры. Разве сильный свет нуждается в слабом, мудрость Господня-в мудрости человеческой? Разве апостолы и мученики знали логику и философию? Неграмотная старуха, усердно молящаяся перед иконою,- ближе к познанию Бога, чем все мудрецы и ученые. Не спасет их логика и философия в день Страшного Суда! Гомер и Вергилий, Платон и Аристотель,-все идут в жилище сатаны! Подобно сиренам Пленяя коварными песнями уши, Ведут они к вечной гибели души. Наука дает людям вместо хлеба камень. Посмотрите на тех, кои следуют учениям мира сего: сердца у них каменные".

"Кто мало знает, тот мало любит. Великая любовь дочь великого познания",- только теперь чувствовал Джованни всю глубину этих слов и, слушая проклятия монаха соблазнам искусства и науки, вспоминал разумные слова Леонардо, спокойное лицо его, холодные как небо глаза, улыбку, полную пленительной мудрости. Он не забывал о страшных плодах ядовитого дерева, о железном пауке, о Дионисиевом ухе, о подъемной машине для Святейшего Гвоздя, о лике Антихриста под ликом Христа. Но ему казалось, что не понял он учителя до конца, не разгадал последней тайны сердца его, не распутал того первоначального узла, в котором сходятся все нити, разрешаются все противоречия.

Так вспоминал Джованни последний год своей жизни в обители Сан-Марко. И между тем как в глубоком раздумье ходил взад и вперед по стемневшей галерее,- наступил вечер, раздался тихий звон "Ave Maria", и черной вереницей прошли монахи в церковь.

Джованни не последовал за ними, сел на прежнее место, снова открыл книгу "Посланий" апостола Павла и, помраченный лукавыми наущениями дьявола, великого логика, переделал в уме своем слова Писания так:

"Не можете не пить из чаши Господней и чаши бесовской. Не можете не быть участниками в трапезе Господней и трапезе бесовской".

Горько усмехнувшись, поднял глаза к небу, где увидел вечернюю звезду, подобную светильнику прекраснейшего из ангелов тьмы, Люцифера - Светоносящего. И пришло ему на память предание, слышанное им от одного ученого монаха, принятое великим Оригеном, возобновленное флорентийцем Маттео Пальмьери в поэме "Город Жизни",- будто бы в те времена, когда дьявол боролся с Богом, среди небожителей были такие, которые, не желая примкнуть ни к воинству Бога, ни к воинству дьявола, остались чуждыми Тому и другому, одинокими зрителями поединка,- о них же Данте сказал:

Angeli che non furon ribelli, Ne por fideli a Dio, ma per se foro.
Ангелы, кои не были ни мятежными, Ни покорными Богу,- но были сами за себя. Свободные и печальные духи - ни злые, ни добрые, ни темные, ни светлые, причастные злу и добру, тени и свету - изгнаны были Верховным Правосудием в долину земную, среднюю между небом и адом, в долину сумерек, подобных им самим, где стали человеками.

- И как знать,- продолжал Джованни вслух свои грешные мысли,- как знать,-может быть, в этом нет зла. может быть, следует пить во славу Единого из обеих чаш вместе?

И почудилось ему, что это не он сказал, а кто-то другой, наклонившись и сзади дыша на него холодным ласковым дыханием, шепнул ему на ухо: "вместе, вместе!"

Он вскочил в ужасе, оглянулся и, хотя никого не было в пустынной галерее, затканной паутиною сумерек, начал креститься, дрожа и бледнея; потом бросился бежать вон из крытого хода через двор и только в церкви, где горели свечи и монахи пели вечерню, остановился, перевел дыхание, упал на каменные плиты и стал молиться:

- Господи, спаси меня, избавь от этих двоящихся мыслей! Не хочу я двух чаш! Единой чаши Твоей, единой истины Твоей жаждет душа моя, Господи!

Но Божья благодать, подобная росе, освежающей пыльные травы, не смягчила ему сердца. Вернувшись в келью, он лег.

К утру приснился ему сон: будто бы с моной Кассандрой, сидя верхом на черном козле, летят они по воздуху. "На шабаш! На шабаш!"-шепчет ведьма, обернув к нему лицо свое, бледное, как мрамор, с губами, алыми, как кровь, глазами прозрачными, как янтарь. И он узнает богиню земной любви с неземною печалью в глазах - Белую Дьяволицу. Полный месяц озаряет голое тело, от которого пахнет так сладко и страшно, что зубы стучат у него: он обнимает ее, прижимается к ней. "Amore! Amore!"-лепечет она и смеется,- и черный мех козла углубляется под ними, как мягкое знойное ложе. И кажется ему, что это - смерть.

Джованни проснулся от солнца, колокольного звона и детских голосов. Сошел на двор и увидел толпу людей в одинаковых белых одеждах, с масличными ветками и маленькими алыми крестами. То было Священное Воинство детей-инквизиторов, учрежденное Савонаролою для наблюдения за чистотою нравов во Флоренции. Джованни вошел в толпу и прислушался к разговорам.

- Донос, что ли? - с начальнической важностью спрашивал "капитан", худенький четырнадцатилетний мальчик другого, плутоватого, шустрого, рыжего и косоглазого, с оттопыренными ушами.

- Так точно, мессер Федериджи,-донос!-отвечал тот, вытягиваясь в струнку, как солдат, и почтительно поглядывая на капитана. - Знаю. Тетка в кости играла?

- Никак нет, ваша милость,- не тетка, а мачеха, и не в кости...

- Ах да,- поправился Федериджи,- это Липпина тетка в прошлую субботу кости метала и богохульствовала. Что же у тебя?

- У меня, мессере, мачеха... накажи ее Бог... - Не мямли, любезный! Некогда.хлопот полон рот...

- Слушаю, мессере. Так вот, изволите ли видеть,- мачеха с дружкой своим, монахом, заповедный бочонок красного вина из отцовского погреба выпили, когда отец на ярмарку в Мариньолю уезжал. И

посоветовал ей монах сходить к Мадонне, что на мосту Рубаконте, свечку поставить да помолиться, чтобы отец не вспомнил о заповедном бочонке. Она так и сделала, и когда отец, вернувшись, ничего не заметил,- на радостях подвесила к изваянию Девы Марии бочонок из воска, точь-в-точь такой, каким монаха учествовала,- в благодарность за то, что Матерь Божья помогла ей мужа обмануть.

- Грех, большой грех! - объявил Федериджи, нахмурившись.- А как же ты об этом узнал, Пиппо?

- У конюха выведал, а конюху рассказала мачехина девка татарка, а девке татарке... - Местоительство? - перебил капитан строго. - У Святой Аннунциаты шорная лавка Лоренцетто. - Хорошо,- заключил Федериджи.- Сегодня же следствие нарядим.

Хорошенький мальчик, совсем крошечный, лет шести, прислонившись к стене в углу двора, горько плакал. - О чем ты? - спросил его другой, постарше.

- Остригли!.. Остригли!.. Я бы не пошел, кабы знал, что стригут!..

Он провел рукой по своим белокурым волосам, изуродованным ножницами монастырского цирюльника, который стриг в скобку всех новобранцев, поступавших в Священное Воинство. - Лука, Лука,- укоризненно покачал головой старший мальчик,- какие у тебя грешные мысли! Хоть бы о святых мучениках вспомнил: когда язычники отсекали им руки и ноги, они славили Бога. А ты и волос пожалел.

Лука перестал плакать, пораженный примером святых мучеников. Но вдруг лицо его исказилось от ужаса, и он завыл еще громче, должно быть, вообразив, что и ему во славу Божью монахи обрежут ноги и руки.

- Послушайте,- обратилась к Джованни старая, толстая, красная от волнения горожанка,- не можете ли вы мне указать, где тут мальчик один, черненький с голубыми глазками? - Как его зовут? - Дино, Дино дель Гарбо... - В каком отряде?

- Ах, Боже мой, я право не знаю!.. Целый день ищу, бегаю, спрашиваю, толку не добьюсь. Голова кругом идет...

- Сын ваш? - Племянник. Мальчик тихий, скромный, прекрасно учился... И вдруг какие-то сорванцы сманили в это ужасное Воинство.

Подумайте только,- ребенок нежный, слабенький, а здесь, говорят, камнями дерутся... И тетка опять заохала, застонала.

- Сами виноваты!-обратился к ней пожилой почтенный гражданин в одежде старинного покроя.- Драли бы ребятишек, как следует,- дурь в головы не полезла бы! А то-виданное ли дело? -монахи да дети государством править вздумали. Яйца курицу учат. Воистину никогда еще на свете не бывало такой глупости!

- Именно, именно, яйца курицу учат!-подхватила тетка.- Монахи говорят - будет рай на земле. Я не знаю, что будет, но пока - ад кромешный. В каждом доме - слезы, ссоры, крики...

- Слышали?-продолжала она, с таинственным видом наклоняясь к уху собеседника: - намерен в соборе перед всем народом брат Джироламо,- отцы и матери,- говорит,-отсылайте ваших сыновей и дочерей хоть на край света, они ко мне отовсюду вернутся, они - мои... Старый гражданин кинулся в толпу детей. - А, дьяволенок, попался!-крикнул он, схватив одного мальчика за ухо.- Ну, погоди же, покажу я тебе, как из дому бегать, со сволочью связываться, отца не слушаться!..

- Отца небесного должны мы слушаться более, чем земного,- произнес мальчик тихим, твердым голосом. - Ой, берегись, Доффо! Лучше не выводи меня из терпения... Ступай, ступай домой-чего уперся! - Оставьте меня, батюшка. Я не пойду... - Не пойдешь? - Нет. - Так вот же тебе! Отец ударил его по лицу.

Доффо не двинулся - даже побледневшие губы его не дрогнули. Он только поднял глаза к небу. - Тише, тише, мессере! Детей обижать не дозволено,- подоспели городские стражи, назначенные Синьорие& для охраны Священного Воинства. - Прочь, негодяи! - кричал старик в ярости.

Солдаты отнимали у него сына; отец ругался и не пускал его.

- Дино! Дино!-взвизгнула тетка, увидав вдали своего племянника, и устремила к нему. Но стражи удержали ее.

- Пустите, пустите! Господи, да что же это такое! - вопила она.- Дино! Мальчик мой! Дино!

В это мгновение ряды Священного Воинства заколыхались. Бесчисленные маленькие руки замахали алыми крестами, оливковыми ветками, и, приветствуя выходившего на двор

Савонаролу, запели. звонкие детские голоса: "Lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis Israel". "Свет к просвещению языков, ко славе народа Израилева".

Девочки обступили монаха, бросали в него желтыми весенними цветами, розовыми подснежниками и темными фиалками; становясь на колени, обнимали и целовали ему ноги.

Облитый лучами солнца, молча, с нежной улыбкой, благословил он детей.

- Да здравствует Христос, король Флоренции! Да здравствует Мария Дева, наша королева! - кричали дети.

- Стройся! Вперед!-отдавали приказание маленькие военачальники.

Грянула музыка, зашелестели знамена, и полки сдвинулись.

На площади Синьории, перед Палаццо Веккьо, назначено было Сожжение сует, Bruciamento della vanita. Священное Воинство должно было в последний раз обойти дозором Флоренцию для сбора "сует и анафем".

Когда двор опустел, Джованни увидел мессера Чиприано Буонаккорзи, консула искусства Калималы, владельца товарных фондаков близ Орсанмикеле, любителя древностей, в земле которого у Сан-Джервазио, на Мельничном Холме, найдено было древнее изваяние богини Венеры.

Джованни подошел к нему. Они разговорились. Мессер Чиприано рассказал, что на днях во Флоренцию приехал из Милана Леонардо да Винчи с поручением от герцога скупать произведения художеств из дворцов, опустошаемых Священным Воинством. С этой же целью прибыл Джордже Мерула, просидевший в тюрьме два месяца, освобожденный и помилованный герцогом, отчасти по ходатайству Леонардо.

Купец попросил Джованни проводить его к настоятелю, и они вместе направились в келью Савонаролы.

Стоя в дверях, Бельтраффио слышал беседу консула Калималы с приором Сан-Марко.

Мессер Чиприано предложил купить за двадцать две тысячи флоринов все книги, картины, статуи и прочие сокровища искусств,

которые в этот день должны были погибнуть на костре. Приор отказал.

Купец подумал, подумал и накинул еще восемь тысяч. Монах на этот раз даже не ответил; лицо его было сурово и неподвижно.

Тогда Чиприано пожевал ввалившимся беззубым ртом, запахнул полы истертой лисьей шубейки на зябких коленях, вздохнул, прищурил слабые глаза и молвил своим приятным, всегда ровным и тихим голосом:

- Отец Джироламо, я разорю себя, отдам вам все, что есть у меня - сорок тысяч флоринов. Савонарола поднял на него глаза и спросил: - Если вы себя разоряете и нет вам корысти в этом деле, о чем вы хлопочете?

- Я родился во Флоренции и люблю эту землю,- отвечал купец с простотою,- не хотелось бы мне, чтобы чужеземцы могли сказать, что мы, подобно варварам, сжигаем невинные произведения мудрецов и художников. Монах посмотрел на него с удивлением и молвил; - О, сын мой, если бы любил ты свое отечество небесное так же, как земное!.. Но утешься: на костре погибнет достойное гибели, ибо злое и порочное не может быть прекрасным, по свидетельству ваших же хваленых мудрецов. - Уверены ли вы, отец,-сказал Чиприано,-что дети всегда без ошибки могут отличить доброе от злого в Произведениях искусства и науки? - Из уст младенцев правда исходит,- возразил монах.-Ежели не обратитесь и не станете как дети, не можете войти в царство небесное. Погублю мудрость мудрецов, разум разумных отвергну, говорит Господь. Денно и ночью молюсь я о малых сих, дабы то, чего умом не поймут они в суетах искусства и науки, открылось им свыше, благодатью Духа Святого. - Умоляю вас, подумайте,-заклучил консул, вставая.- Быть может, некоторая часть...

- Не тратьте даром слов, мессере!-остановил его брат Джироламо.- Решение мое неизменно. Чиприано снова, пожевав своими бледными старушечьими губами, пробормотал себе что-то под нос. Савонарола услышал только последнее слово; - Безумие...

- Безумие!-подхватил он, и глаза его вспыхнули.- - Ну, а разве Золотой Телец Борджа, предносимый в кощунственных празднествах папе,- не безумие? Разве Святейший Гвоздь, поднятый во славу Господа на дьявольской машине похитителем престола, убийцей

Моро,- не безумие? Вы пляшете вокруг Золотого Тельца, безумствуете во славу бога вашего Маммона. Дайте же и нам, худоумным, побезумствовать, поюродствовать во славу нашего Бога, Христа Распятого! Вы издеваетесь над монахами, плясавшими пред Крестом на площади. Погодите, то ли еще будет! Посмотрим, что скажете вы, разумники, когда заставлю я не только монахов, но весь народ флорентинский, детей и взрослых, стариков и женщин, в ярости Богу угодной, плясать вокруг таинственного Древа Спасения, как некогда Давид плясал перед Ковчегом Завета в древней Скинии Бога Всевышнего!

Джованни, выйдя из кельи Савонаролы, отправился на площадь Синьории.

На Виа Ларга встретил он Священное Воинство. Дети остановили двух черных невольников с паланкином, в котором лежала роскошно одетая женщина. Белая собачка спала у нее на коленях. Зеленый попугай и мартышка сидели на жердочке. За носилками следовали слуги и телохранители.

То была кортиджана, недавно приехавшая из Венеции, Лена Гриффа, из разряда тех, которых правители Яснейшей республики называли с почтительною вежливостью "puttana onesta", "meretrix onesta", "благородная, честная блудница", или с ласковою шутливостью-"mamola", "девушка". В знаменитом, изданном для удобства путешественников "Catalogo di tutte le puttane del bordello con il loro prezzo" - "Каталоге всех блудниц в домах терпимости с их ценами", против имени Лены Гриффы, напечатанного крупными буквами, отдельно от других, на самом почетном месте, стояла цена - четыре дуката, а за святые ночи, кануны праздников, цена двойная - "из почтения к Матери Господа".

Развалившись на подушках, с видом Клеопатры или царицы Савской, мона Лена читала записку влюбленного в нее молодого епископа, с приложенным сонетом, который кончался такими стихами:

Когда пленительным речам твоим я внемлю, О, Лена дивная, то, покидая землю, Возносится мой дух к божественным красам Платоновых идей и к вечным небесам.

Кортиджана обдумывала ответный сонет. Рифмами владела она в совершенстве и недаром говаривала, что если бы это зависело от нее, она, конечно, проводила бы все свое время "в академиях добродетельных мужей".

Священное Воинство окружило носилки. Предводитель одного из отрядов, Доффо, выступил, поднял над головой алый крест и воскликнул торжественно:

- Именем Иисуса, короля Флоренции, и Марии Девы, нашей королевы, повелеваем тебе снять сии греховные украшения, суеты и анафемы. Ежели ты этого не сделаешь, да поразит тебя болезнь!

Собачка проснулась и залаяла; мартышка зашипела; попугай захлопал крыльями, выкрикивая стих, которому научила его хозяйка: *Amore a nullo amato arnar perdona*. Любовь не полюбить никому не позволит (итал.).

Лена собиралась сделать знак телохранителям, чтобы разогнали они толпу,- когда взор ее упал на Доффо. Она поманила его пальцем. Мальчик подошел, потупив глаза. - Долой, долой наряды! - кричали дети.- Долой анафемы!

- Какой хорошенький! - тихо произнесла Лена, не обращая внимания на крики толпы.- Послушайте, мой маленький Адонис, я, конечно, с радостью отдала бы все эти штуки. чтобы сделать вам удовольствие,- но вот в чем беда: они не мои, а взяты напрокат у жида. Имущество этой неверной собаки едва ли может быть приношением, Иисусу и Деве Марии.

Доффо поднял на нее глаза. Мона Лена, с едва заметной усмешкой кивнув головой, как будто подтверждая тайную мысль, проговорила другим голосом, с певучим нежным венецианским говором:

- В переулке Бочаров у Санта Тринита. Спроси кортиджану Лену из Венеции. Буду ждать...

Доффо оглянулся и увидел, что товарищи, увлеченные бросанием камней и перебранкой с вышедшей из-за угла шайкой противников Савонаролы, так называемых "бешеных" - "аррабиати", не обращали более внимания на кортиджану. Он хотел им крикнуть, чтобы они напали на нее, но вдруг смутился и покраснел.

Лена засмеялась, показывая между красными губами острые белые зубы. Сквозь образ Клеопатры и царицы Савской мелькнула в

ней венецианская "маммола" - шаловливая и задорная уличная девочка. Негры подняли носилки, и кортиджана продолжала путь безмятежно. Собачка опять уснула на ее коленях, попугай нахохлился, и только неугомонная мачтышка, строя уморительные рожи, старалась лапкою поймать карандаш, которым вельможная блудница выводила первый стих ответного сонета епископу: Любовь моя чиста, как вздохи серафимов.

Доффо, уже без прежней удали, во главе своего отряда, всходил по лестнице чертогов Медичи.

В темных покоях, где все дышало величием прошлого, дети охвачены были робостью.

Но открыли ставни. Загремели трубы. Застучали барабаны. И с радостным криком, смехом и пением псалмов рассыпались маленькие инквизиторы по залам, творя суд Божий над соблазнами искусства и науки, отыскивая и хватая "суеты и анафемы", по наитию Духа Святого. Джованни следил за их работой.

Наморщив лоб, заложив руки за спину, с медлительною важностью, как судьи, расхаживали дети среди изваяний великих мужей, философов и героев языческой древности.

- Пифагор, Анаксимен, Гераклит, Платон, Марк Аврелий, Эпиктет,- читал по складам один из мальчиков латинские надписи на подножиях мраморных и медных изваяний.

- Эпиктет! - остановил его Федериджи, насупив брови с видом знатока.- Это и есть тот самый еретик, который утверждал, что все наслаждения позволены и что Бога нет. Вот кого бы сжечь! Жаль, мраморный...

- Ничего,- молвил бойкий, косоглазый Пиппо,- мы его все-таки попотчует!

- Это не тот! - воскликнул Джованни.- Вы смешали Эпиктета с Эпикуром...

Но было поздно: Пиппо размахнулся, ударил молотком и так ловко отбил нос мудрецу, что мальчики захохотали.

- Э, все равно, Эпиктет, Эпикур - два сапога пара: "Все пойдут в жилище дьявола!"-повторил он любимую поговорку Савонаролы.

Перед картиной Боттичелли заспорили: Доффо уверял, будто бы она соблазнительная, так как изображает голого юношу Вакха,

пронзенного стрелами бога любви; но Федериджи, соперничавший с Доффо в умении отличать "суеты и анафемы", подошел, взглянул и объявил, что это вовсе не Вакх.

- А кто же, по-твоему? -спросил Доффо. - Кто! Еще спрашивает! Как же вы, братцы, не видите? Св. Первомученик Стефан!

Дети в недоумении стояли перед загадочною картиной; если это был, в самом деле, святой, почему же голое тело его дышало такою языческою прелестью, почему выражение муки в лице было похоже на сладострастную негу?

- Не слушайте, братцы,- закричал Доффо,- это мерзостный Вакх!

- Врешь, богохульник!-воскликнул Федериджи, поднимая крест, как оружие.

Мальчики бросились друг на друга; товарищи едва успели их разнять. Картина осталась под сомнением.

В это время неугомонный Пиппо вместе с Лука, который давно уже утешился и перестал хныкать о своих остриженных кудрях,- ибо никогда еще, казалось ему, не участвовал он в таких веселых шалостях,- забрались в маленький темный покой. Здесь, у окна, на высокой подставке, стояла одна из тех ваз, которые изготавливаются венецианскими стекольными заводами Мурано. Задетая лучами сквозь щель закрытых ставень, вся она искрилась в темноте огнями разноцветных стекол, как драгоценными камнями, подобная волшебному огромному цветку.

Пиппо взобрался на стол, тихонько, на цыпочках,- словно ваза была живая и могла убежать,- подкрался, плутовато высунул кончик языка, поднял брови над косыми глазами и толкнул ее пальцем. Ваза качнулась, как нежный цветок, упала, засверкала, зазвенела жалобным звоном, разбилась - и потухла. Пиппо прыгал, как бесенок, ловко подкидывая вверх и подхватывая на лету алый венец. Лука, с широко открытыми глазами, горевшими восторгом разрушения, тоже скакал, визжал и хлопал в ладоши.

Услышав издали радостные крики товарищей, вернулись они в большую залу.

Здесь Федериджи нашел чулан со множеством ящиков, наполненных такими "суетами", каких даже самые опытные из детей никогда не видывали. То были маски и наряды для тех карнавальных

шествий, аллегорических триумфов, которые любил устраивать Лоренцо Медичи Великолепный. Дети столпились у входа в чулан. При свете сильного огарка выходили перед ними картонные чудовищные морды фавнов, стеклянный виноград вакханок, колчан и крылья Амура, кадуцей Меркурия, трезубец Нептуна и, наконец, при взрыве общего хохота, появились деревянные, позолоченные, покрытый паутиною, молнии Громовержца и жалкое, изъеденное молью, чучело олимпийского орла, с общипанным хвостом, с клочками войлока, торчавшего из продырявленного брюха.

Вдруг из пышного белокурого парика, вероятно, служившего Венере, выскочила крыса. Девочки завизжали. Самая маленькая, вспрыгнув на стул, брезгливо подняла платице выше колен.

Над толпой повеяло холодом ужаса и отвращения к этой языческой рухляди, к могильному праху умерших богов. Тени летучих мышей, испуганных шумом и светом, бившихся о потолок, казались нечистыми духами.

Прибежал Доффо и объявил, что наверху есть еще одна запертая комната: у дверей сторожит маленький, сердитый, красноносый и плешивый старичок, ругается и никого не пускает. Отправились на разведку. В старичке, охранявшем двери таинственной комнаты, Джованни узнал своего Друга, мессера Джордже Мерулу, великого книголюбца. - Давай ключ! - крикнул ему Доффо. - А кто вам сказал, что ключ у меня?. - Дворцовый сторож сказал. - Ступайте, ступайте с Богом!

- Ой, старик, берегись! Пovýдергаем мы тебе последние волосы!

Доффо подал знак. Мессер Джордже стал перед дверями, собираясь защитить их грудью. Дети напали на него, повалили, избili крестами, обшарили ему карманы, отыскиали ключ и отперли дверь. Это была маленькая рабочая комната с драгоценным книгохранилищем.

- Вот здесь, здесь,- указывал Мерула,- в этом углу все, что вам надо. На верхние полки не лазайте: там ничего нет.

Но инквизиторы не слушали его. Все, что попадалось им под руку - особенно книги в роскошных переплетах - швыряли они в кучу. Потом открыли настежь окна, чтобы выбрасывать толстые фолианты прямо на улицу, где стояла повозка, нагруженная "суетами и

анафемами". Тибулл, Гораций, Овидий, Апулей, Аристофан - редкие списки, единственные издания - мелькали перед глазами Мерулы.

Джованни заметил, что старик успел выудить из кучи и ловко спрятал за пазуху маленький томик: это была книга Марцеллина, с повествованием о жизни императора Юлиана Отступника.

Увидев на полу список трагедий Софокла на шелковистом пергаменте, с тончайшими заглавными рисунками, он бросился к ней с жадностью, схватил ее и взмолился жалобно:

- Деточки! Милые! Пощадите Софокла! Это самый невинный из поэтов! Не троньте, не троньте!..

С отчаянием прижимал он книгу к груди; но, чувствуя, как рвутся нежные, словно живые, листы, заплакал, застонал, точно от боли, - отпустил ее и закричал в бессильной ярости:

- Да знаете ли, подлые щенки, что каждый стих этого поэта большая святыня перед Богом, чем все пророчества вашего полоумного Джироламо!..

- Молчи, старик, ежели не хочешь, чтобы мы и тебя вместе с твоими поэтами за окно выбросили!

И снова напав на старика, взашей вытолкали его из книгохранилища. Мерула упал на грудь Джованни.

Уйдем, уйдем отсюда скорее! Не хочу я видеть этого действия!..

Они вышли из дворца и мимо Марии дель Фьоре направились на площадь Синьории.

перед темною, стройною башнею Палаццо Веккьо, рядом с лоджией Орканьи, готов был костер, в тридцать локтей вышины, сто двадцать ширины - восьмигранная пирамида, сколоченная из досок, с пятнадцатью ступенями. На первой нижней ступени собраны были шутовские наряды, парики, искусственные бороды и множество других принадлежностей карнавала; на следующих трех - вольнодумные книги, начиная от Анакреона и Овидия, кончая "Декамероном" Боккаччо и "Моргайте" Пульнад книгами-женские уборы: мази, духи, зеркала, пуговицы, напилки для ногтей, щипцы для подвивания, щипчики для выдергивания волос; еще выше - ноты, лютни, мандолины, карты, шахматы, кегли, мячики - все игры, которыми люди радуют беса; потом-соблазнительные картины, рисунки, портреты красивых женщин; наконец на самом верху

пирамиды - лики языческих богов, героев философов из крашеного воска и дерева. Надо всем возвышалось громадное чучело - изображение дьявола, родоначальника "суеверия и анафемы", начиненное серой и порохом, чудовищно размалеванное, мохнатое, козлоногое, похожее на древнего бога Пана.

Вечерело. Воздух был холоден, звонок и чист. В небе искрились первые звезды. Толпа на площади шелестела и вздыхала с благоговейным шепотом, как в церкви. Раздавались духовные гимны - *laudi spirituali* - учеников Савонаролы, так называемых "плакс". Рифмы, напев и размер остались прежними, карнавальными; но слова переделаны на новый лад. Джованни прислушивался, и диким казалось ему противоречие унылого смысла с веселым напевом.

Tre di fede e sei d'amore... Tre once almen di speme, Взяв три унции любви, Веры - три и шесть - надежды, Две - раскаянья, смешай И поставь в огонь молитвы; Три часа держи в огне, Прибавляй духовной скорби, Сокращения, смиренья, Сколько нужно, для того, Чтобы вышла мудрость Божья. Под Кровлю Пизанцев человек в железных очках с кожаным передником, с ремешком на жидких, прямых смазанных маслом, косицах волос, с корявыми, мозолистыми руками, проповедовал перед толпою ремесленников, по-видимому, таких же "плакс", как и он.

- Я - Руберто, ни сэр, ни мессер, а попросту портной флорентийский,- говорил он, ударяя себя в грудь кулаком,- объявляю вам, братья мои, что Иисус, король Флоренции, во многих видениях изъяснил мне с точностью новое, угодное Богу, правление и законодательство. Желаете ли вы, чтобы не было ни бедных, ни богатых, ни малых, ни великих,- чтобы все были равны? - Желаем, желаем! Говори, Руберто, как это сделать? - Если имеете веру, сделать легко. Раз, два - и готово! Первое,- он загнул большой палец левой руки указательным правой,- подоходный налог, именуемый лестничною десятиною. Второе,- он загнул еще один палец,- всенародный боговдохновенный Парламенте...

Потом остановился, снял очки, протер их, надел, неторопливо откашлялся и однообразным шепелявым голосом, с упрямым и смиренным самодовольством на тупом лице, начал изъяснять, в чем заключается лестничная десятина и боговдохновенный Парламенте.

Джованни слушал, слушал - и тоска взяла его. Он отошел на другой конец площади.

Здесь, в вечерних сумерках, монахи двигались, как тени, занятые последними приготовлениями. К брату Доминико Буонвиччини, главному распорядителю, подошел человек на костылях, еще нестарый, но, должно быть, разбитый параличом, с дрожащими руками и ногами, с неподымающимися веками; по лицу его пробежала судорога, подобная трепетанию крыльев подстреленной птицы. Он подал монаху большой сверток.

- Что это?-спросил Доминико.-Опять рисунки? - Анатомия. Я и забыл о них. Да вчера во сне слышу голос: у тебя над мастерскою, Сандро, на чердаке, в сундуках, есть еще "суеты и анафемы",-встал, пошел и отыскал вот эти рисунки голых тел.

Монах взял сверток и молвил с веселой, почти игривой улыбкой:

- А славный мы огонек запалим, мессер Филипеппи! Тот посмотрел на пирамиду "сует и анафем". - О, Господи, Господи, помилуй нас, грешных! - вздохнул он.- Если бы не брат Джироламо, так бы и померли без покаяния, не очистившись. Да и теперь еще кто знает, спасемся ли, успеем ли отмолить?.. Он перекрестился и забормотал молитвы, перебирая четки. - Кто это?-спросил Джованни стоявшего рядом' - Сандро Боттичелли, сын дубильщика Мариано Филеппи,- ответил тот.

Когда совсем стемнело, над толпой пронесся шепот:

- Идут, идут! В молчании, в сумраке, без гимнов, без факелов, в длинных белых одеждах, дети-инквизиторы шли, неся на руках изваяние Младенца Иисуса; одною рукою он указывал на терновый венец на своей голове, другою - благословлял народ. За ними шли монахи, клир, гонфалоньеры, Члены Совета Восьмидесяти, каноники, доктора и магистры богословия, рыцари Капитана Барджелло, трубачи и булавоносцы.

На площади сделалось тихо, как перед смертной казнью. На Рингьеру - каменный помост перед старым Дворцом-взошел Савонарола, высоко поднял Распятие и произнес торжественным громким голосом: - Во имя Отца и Сына и Духа Святого-зажигайте! Четыре монаха подошли к пирамиде, с горящими смоляными факелами, и подожгли ее с четырех концов.

Пламя затрещало; повалил сперва серый, потом черный дым. Трубачи затрубили. Монахи грянули: "Тебя Бога хвалим". Дети звонкими голосами подхватили: "Lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis Israel!". На башне Старого Дворца ударили в колокол, и могучему медному гулу его ответили колокола на всех церквах Флоренции.

Пламя разгоралось все ярче. Нежные, словно живые, листы древних пергаментных книг коробились и тлели. С нижней ступени, где лежали карнавальные маски, взвилась и полетела пылающим клубом накладная борода. Толпа радости ухнула и загоготала.

Одни молились, другие плакали; иные смеялись, прыгая, махая руками и шапками; иные пророчествовали.

- Пойте, пойте Господу новую песнь!-выкрикивал Хромой сапожник с полоумными глазами.-Рухнет все.

братья мои, сгорит, сгорит до тла, как эти суеты и анафемы в огне очистительном,- все, все, все - церковь, законы, правления, власти, искусства, науки,- не останется камня на камне-и будет новое небо, новая земля! И отрет Бог всякую слезу с очей наших, и смерти не будет,- ни плача, ни скорби, ни болезни! Ей, гряди. Господи Иисусе!

Молодая беременная женщина, с худым страдальческим лицом, должно быть, жена бедного ремесленника, упала на колени и, протягивая руки к пламени костра,- как будто видела в нем самого Христа,- надрываясь, всхлипывая, подобно кликуше, вопила: - Ей, гряди. Господи Иисусе! Аминь! Аминь! Гряди!

Джованни смотрел на озаренную, но еще не тронутую пламенем картину; то было создание Леонардо да Винчи.

Над вечерними водами горных озер стояла голая белая Леда; исполинский лебедь крылом охватил ее стан, выгибая длинную шею, наполняя пустынное небо и землю криком торжествующей любви; в ногах ее, среди водяных растений, животных и насекомых, среди прозябающих семян, личинок и зародышей, в теплом сумраке, в душной сырости, копошились новорожденные близнецы-полубогиполузвери - Кастор и Поллукс, только что вылупившись из разбитой скорлупы огромного яйца. И Леда, вся, до последних сокровенных складок тела, обнаженная, любовалась на

детей своих, обнимая шею лебедя с целомудренной и сладострастной улыбкой.

Джованни следил, как пламя подходит к ней все ближе и ближе,- и сердце его замирало от ужаса.

В это время монахи водрузили черный крест посередине площади, потом, взявшись за руки, образовали три круга во славу Троицы и, знаменуя духовное веселие верных о сожжении "сует и анафем", начали пляску, сперва медленно, потом все быстрее, быстрее, наконец, помчались вихрем, с песнею:

Ognlin' grida, com'io grido, Sempre pazzo, pazzo, pazzo! Пред Господом смиритесь, Пляшите, не стыдитесь. Как царь Давид плясал, Подыдем наши ряски,-

Всяк кричи, как я кричу, Вечно безумный, безумный, безумный! (итал.).

(Смотрите, чтоб в пляске Никто не отставал. Опьяненные любовью К истекающему кровью Сыну Бога на кресте, " Дики, радостны и шумны,- Мы безумны, мы безумцы, Мы безумны во Христе!

У тех, кто смотрел, голова кружилась, ноги и руки сами собою подергивались - и вдруг, сорвавшись с места, дети, старики, женщины пускались в пляску. Плешивый, рыжеватый и тощий монах, похожий на старого фавна, сделав неловкий прыжок, поскользнулся, упал и разбил себе голову до крови: едва успели его вытащить из толпы - иначе растоптали бы до смерти.

ГБагровый мерцающий отблеск огня озарял искаженные лица. Громадную тень кидало Распятие - неподвижное средоточие вертящихся кругов.

Мы крестиками машем И пляшем, пляшем, пляшем, Как царь Давид плясал. Несемся друг за другом Все кругом, кругом, кругом, Справляя карнавал. Попирая мудрость века И гордыню человека, Мы, как дети, в простоте Будем Божьими шутами, Дурачками, дурачками, Дурачками во Христе!

Пламя, охватывая Леду, лизало красным языком голое тело, которое сделалось розовым, точно живым - еще более таинственным и прекрасным.

Джованни смотрел на нее, дрожа и бледнея. Леда улыбнулась ему последней улыбкой, вспыхнула, растаяла в огне, как облако в лучах

зари,- и скрылась навеки.

Громадное чучело беса на вершине костра запылало.

БрЮХО его, начиненное порохом, лопнуло с оглушительным треком. Огненный столб взвился до небес. Чудовище медленно покачнулось на пламенном троне, поникло, рухнуло И рассыпалось тлеющим жаром углей. Снова грянули трубы и литавры. Ударили во все колОкола. И толпа завывала неистовым, победным воем, как будто сам дьявол погиб в огне священного костра с непРаВДОЙ, мукой и злом всего мира.

Джованни схватился за голову и хотел бежать. Чья-то рука опустилась на плечо его, и, оглянувшись, он увидел спокойное лицо учителя. Леонардо взял его за руку и вывел из толпы.

С площади, покрытой клубами смрадного дыма, освещенной заревом потухающего костра, вышли они через темный переулок на берег Арна.

Здесь было тихо и пустынно; только волны журчали. Лунный серп озарял спокойные вершины холмов, посеребренных инеем. Звезды мерцали строгими и нежными лучами.

- Зачем ты ушел от меня, Джованни? - произнес Леонардо.

Ученик поднял взор, хотел что-то сказать, но голос его пресекся, губы дрогнули, и он заплакал. - Простите, учитель!..

- Ты предо мною ни в чем не виноват,- возразил художник.

- Я сам не знал, что делаю,- продолжал Бельтраффио.- Как мог я, о. Господи, как мог уйти от вас?..

Он хотел было рассказать свое безумие, свою муку, свои страшные двоящиеся мысли о чаше Господней и чаше бесовской, о Христе и Антихристе, но почувствовал опять, как тогда, перед памятником Сфорца, что Леонардо не поймет его,- и только с безнадежною мольбою смотрел в глаза его, ясные, тихие и чуждые, как звезды.

Учитель не расспрашивал его, словно все угадал, и с улыбкой бесконечной жалости, положив ему руку на голову, сказал:

- Господь тебе да поможет, мальчик мой бедный! Ты знаешь, что я всегда любил тебя, как сына. Если хочешь снова быть учеником моим, я приму тебя с радостью.

И как будто про себя, с тою особою загадочною и стыдливою краткостью, с которою обыкновенно выражал свои тайные мысли,- прибавил чуть слышно:

- Чем больше чувства, тем больше муки. Великое мученичество!

Звон колоколов, песни монахов, крики безумной толпы слышались издали - но уже не нарушали безмолвия, которое окружало учителя и ученика. <h2>ВОСЬМАЯ КНИГА. ЗОЛОТОЙ ВЕК</h2>

В конце тысяча четыреста девяносто шестого года миланская герцогиня Беатриче писала сестре своей Изабелле, супруге маркиза Франческо Гонзаго, повелителя Мантуи:

"Яснейшая мадонна, сестрица наша возлюбленная, я и мой муж, синьор Лодовико, желаем здравствовать вам и знаменитейшему синьору Франческо.

Согласно просьбе вашей, посылаю портрет сына моего Массимильяно. Только, пожалуйста, не думайте, что он такой маленький. Хотели точную мерку снять, дабы послать вашей синьории, но побоялись: няня говорит, что это вредит росту. А растет он удивительно: ежели несколько дней не вижу его, потом, как взгляну, кажется, так вырос, что остаюсь чрезмерно довольной и утешенной. А у нас большое горе: умер дурачок Наннино. Вы его знали и тоже любили, а потому поймете, что, утратив всякую иную вещь, я надеялась бы заменить ее, но для замены нашего Наннино ничего бы не могла создать сама природа, которая истощила в нем все силы, соединив в одном существе для потехи государей редчайшую глупость с прелестнейшим уродством. Поэт Беллинчони в надгробных винсах говорит, что ежели душа его на небе, то он смешит весь рай, если же в аду, то Цербер "молчит и радуется. Мы похоронили его в нашем склепе в Мария делле Грации рядом с моим любимым охотничьим ястребом и незабвенною сукою Путтиною, дабы и после смерти нашей не расставаться с такою приятною вещью. Я плакала две ночи, а синьор Лодовико, чтобы утешить меня, обещал мне Подарить к Рождеству великолепное серебряное седалище Для облегчения желудка, с изображением битвы КентавРОВ и Лапитов. Внутри сосуд из чистого золота, а балдахин из кармазинного бархата с вышитыми герцогскими гербами, и все точь-

в-точь, как у великой герцогини Лорренской. Такого седалища нет, говорят, не только ни у одной из итальянских государынь, но даже у самого папы, императора и Великого Турка. Оно прекраснее, чем знаменитое седалище Базада, описанное в эпиграммах Марциала. Мерула сочинил гекзаметры, которые начинаются так:

Quis cameram hanc supero dignam esse tonate Principe. Трон сей достоин всевышнего, в небе гремящего бога.

Синьор Лодовико хотел, чтобы флорентийский художник Леонардо да Винчи устроил в этом седалище машину с музыкой наподобие маленького органа, но Леонардо отказался под тем предлогом, что слишком занят Колоссом и Тайной Вечерей.

Вы просите, милая сестрица, чтобы я прислала вам на время этого мастера. С удовольствием исполнила бы вашу просьбу и отослала бы его вам навсегда, не только на время. Но синьор Лодовико, не знаю почему, благоволит к нему чрезмерно и ни за что не желает расстаться с ним. Впрочем, не особенно жалеете о нем, ибо сей Леонардо предан алхимии, магии, механике и тому подобным бредням гораздо более, чем живописи, и отличается такой медленностью в исполнении заказов, что ангела может вывести из терпения. К тому же, как я слышала, он еретик и безбожник.

Недавно мы охотились на волков. Ездить верхом не позволяют мне, так как я уже пятый месяц беременна. Я смотрела на охоту, стоя на высоких запятках повозки, нарочно для меня устроенных, похожих на церковную кафедру. Впрочем, это была не забава, а мука: когда волк в лес убежал, я чуть не плакала. О, будь я сама на лошади, не упустила бы-шею сломала-бы, а догнала бы зверя!

Помните, сестрица, как мы с вами скакали? Еще дондзелла Пентезилая в ров упала, чуть себе голову до смерти не расшибла. А охота на вепрей в Куснаго, а мячик, а рыбная ловля... То-то было славное время!

Теперь утешаемся, как можем. В карты играем. Катаемся на коньках. Этому занятию выучил нас молодой вельможа из Фландрии. Зима стоит лютая: не только все пруды, даже реки замерзли. На катке дворцового парка Леонардо вылепил прекраснейшую Леду с лебедем из снега, белого и твердого как мрамор. Жаль, что растает весной.

Ну, а как поживаете вы, любезная сестрица? Удалась ли порода кошек с длинною шерстью? Если будет котенок рыжий с голубыми глазами, пришлите вместе с обещанною шапкою. А я вам щенят подарю от Шелковинки. Не забудьте, пожалуйста, не забудьте, мадонна, прислать выкройку голубой атласной душегрейки, что с кожаным воротом на собольей опушке. Я просила о ней в прошлОм письме. Отправьте как можно скорее, лучше всего завтра же на заре с верховым. Пришлите также склянку вашего превосходного умывания от прыщиков и заморского дерева для полировки ногтей.

Что - памятник Вергилия, сего сладкозвучного лебедя Мантуанских озер? Ежели бронзы не хватит, мы вам приШлем две старые бомбарды из отличной меди. Астрологи наши предсказывают войну и жаркое лето: Собаки будут беситься, а государи гневаться. Что говорит ваш астролог? Чужому всегда больше веришь, чем своему. Посылаю для славнейшего супруга вашего, синьора Франческо, рецепт от французской болезни, составленный нашим придворный врачом Луиджи Марлиани. Говорят, помогает. Ртутные втирания должно делать поутру, натошак, в нечетные дни месяца, после новолуния. Я слышала, что приключается сия болезнь ни от чего другого, как от зловредного соединения некоторых планет, особливо Меркурия с Венерою.

Я и синьор Лодовико поручаем себя милостивому вниманию вашему, возлюбленная сестрица, и вашего супруга, знаменитейшего маркиза Франческо.

Беатриче Сфорца". Несмотря на видимое простодушие, в этом послании было притворство и политика. Герцогиня скрывала от сестры свои домашние заботы. Мира и согласия, которые можно было предположить, судя по письму, не было между супругами. Леонардо ненавидела она не за ересь и безбожие, а за то, что некогда, по заказу герцога, написал он портрет Чечилии Бергамиии, ее злейшей соперницы, Знаменитой наложницы Моро. В последнее время подозревала еще другую любовную связь мужа-с одной из ее придворных дамиджелл-мадонною Лукрецией.

В те дни герцог Миланский достиг высоты могущества. Из Франческо Сфорца, отважного романьольского наемника,

полусолдата, полуразбойника, мечтал он сделаться самодержавным владыкой объединенной Италии.

"Папа - мой духовник, император - мой полководец город Венеция-мой казначей, король французский - мой гонец",- хвастал Моро.

Лодовико-Мария Сфорца, Англ, герцог Миланский (лат.), "Ludovicus Maria Sfortia, Anglus duxMediolani" ' - подписывался он, производя свой род от славного героя Энеева спутника, Англа Троянского. Колосс, изваянный Леонардо, памятник отца его, с надписью: Esse Deus! Се Бог!-свидетельствовал также о божественном величии Сфорца.

Но, вопреки наружному благополучию, тайная тревога и страх мучили герцога. Он знал, что народ не любит его и считает похитителем престола. Однажды, на площади Аренго, увидев издали вдову покойного герцога ДжанГалеаццо с ее первенцем Франческо, толпа закричала; "Да здравствует законный герцог Франческо!"

Ему было восемь лет. Он отличался умом и красотой. По словам венецианского посла Марине Савуто, "народ желал его себе в государи, как Бога".

Беатриче и Моро видели, что смерть Джан-Галеаццо обманула их - не сделала законными государями. И в этом ребенке вставала из гроба тень умершего герцога.

В Милане говорили о таинственных предзнаменованиях. Рассказывали, будто бы ночью над башнями замка являются огни, подобные зареву пожара, и в покоях дворца раздаются страшные стоны. Вспоминали, как у ДжанГалеаццо, когда он лежал в гробу, левый глаз не закрывался, что предвещало скорую кончину одного из его ближайших родственников. У мадонны дель Альбере трепетали веки. Корова, принадлежавшая одной старушке за Тичинскими воротами, отелилась двухговым теленком. Герцогиня упала в обморок в пустынной зале Рокетты, испуганная привидением, и потом не хотела об этом говорить ни с кем, даже с мужем.

С некоторых пор почти совершенно утратила она шаловливую резвость, которая так нравилась в ней герцогу, и с недобрыми предчувствиями ожидала родов.

Однажды, декабрьским вечером, когда снежные хлопья устилали улицы города, углубляя безмолвие сумерек, Моро сидел в маленьком палаццо, который подарил своей новой любовнице, мадонне Лукреции Кривелли. Огонь пылал в очаге, озаряя створы лакированных дверей с мозаичным набором, изображавшим перспективы Древних римских зданий,-лепной решетчатый переплет потолка, украшенный золотом, стены, покрытые кордуанскими кожаными златотисненными обоями, высокие кресла и рундуки из черного дерева, круглый стол с темнозеленою бархатною скатертью, с открытым романом Боярдо, свитками нот, перламутровой мандолиною и граненым кувшином Бальнеа Апонитана - целебной воды, входившей в моду у знатных дам. На стене висел портрет Лукреции, кисти Леонардо.

Над камином в глиняных изваяниях Карадоссо порхающие птицы клевали виноград, и крылатые голые дети-не то христианские ангелы, не то языческие амурсы - плясали, играя святейшими орудиями страстей Господних-гвоздями, копьем, тростью, губкою и терниями; они казались живыми в розовом отблеске пламени.

Вьюга выла в трубе очага. Но в изящном рабочем покое - студиоло все дышало уютною негою.

Мадонна Лукреция сидела на бархатной подушке у ног Моро. Лицо ее было печально. Он ласково пенял ей за то, что она давно не посещает герцогини Беатриче.

- Ваша светлость,- молвила девушка, потупив глаза,- умоляю вас, не принуждайте меня: я не умею лгать...

- Помилуй, да разве это значит лгать?-удивился Моро.- Мы только скрываем. Не хранил ли сам Громовержец любовных тайн своих от ревнивой супруги? А Тезей, а Федра и Медея - все герои, все боги древности? Можем ли мы, слабые смертные, противиться власти бога любви? К тому же тайное зло не лучше ли явного? Ибо, скрывая грех, мы избавляем ближних от соблазна, как того требует христианское милосердие. А если нет соблазна и есть милосердие, то нет зла, или почти нет...

Он усмехнулся своей хитрой усмешкой. Лукреция покачала головой и посмотрела ему прямо в глаза, немного исподлобья - строгими, важными, как у детей, и невинными глазами.

- Вы знаете, государь, как я счастлива вашей любовью. Но мне иногда хотелось бы лучше умереть, чем обманывать мадонну Беатриче, которая любит меня, как родную...

- Полно, полно, дитя мое!-молвил герцог и привлек ее к себе на колени, одной рукой обвив ее стан, другой лаская черные блестящие волосы с гладкими начесами на УШИ, с нитью фероньеры, на которой посередине лба блестела алмазная искра. Опустив длинные, пушистые ресницы - без упоения, без страсти, вся холодная и чистая - отдавалась она его ласкам.

- О, если бы ты знала, как я люблю тебя, мою тихую, смиренную-тебя одну!-шептал он, с жадностью вдыхая знакомый аромат фиалок и мускуса.

Дверь открылась, и, прежде чем герцог успел выпустить девушку из объятий, в комнату вбежала испуганная служанка.

- Мадонна, мадонна,- бормотала она, задыхаясь,- там, внизу, у ворот... о. Господи, помилуй нас, грешных... - Да ну же, говори толком-произнес герцог.- Кто у ворот?

- Герцогиня Беатриче! Моро побледнел. - Ключ! Ключ от других дверей! Я задним ходом через двор. Да где же ключ? Скорее!..

- Кавальеры яснейшей мадонны стоят и у заднего хода!-в отчаянии всплеснула руками служанка.-Весь дом окружен...

- Западня!-произнес герцог, хватаясь за голову. И откуда она узнала? Кто мог ей сказать?

- Никто, как мона Сидония!-подхватила служанка.- Недаром проклятая ведьма шляется к нам со своими снадобьями и притираниями. Говорила я вам, синьора берегитесь...

- Что делать. Боже мой,- лепетал герцог, бледнея.

С улицы слышался громкий стук в наружные двери дома. Служанка бросилась на лестницу. - Спрячь, спрячь меня, Лукреция!

- Ваша светлость,- возразила девушка,- мадонна Беатриче, если подозревает, велит весь дом обыскать. Не лучше ли вам прямо выйти к ней?

- Нет, нет. Боже сохрани, что ты говоришь, Лукреция! Выйти к ней! Ты не знаешь, что это за женщина! О, Господи, страшно подумать, что из всего этого может произойти... Ведь она беременна!.. Да спрячь же меня, спрячь!.. - Право, не знаю куда... - Все равно, куда хочешь,

только поскорее! Герцог дрожал и в это мгновение похож был скорее на пойманного вора, чем на потомка баснословного героя, Англа Троянского, Энеева спутника.

Лукреция провела его через спальню в уборную и спрятала в один из тех больших, вделанных в стену шкапов, белых, с тонкими, золотыми узорами в древнем вкусе, которые служили "гвардаробами" - одеждохранилищами знатных дам.

Он притаился в углу между платьями. - Как глупо!-думал.-Боже мой, как глупо! Точно в смешных побасенках Франке Сакетти или Боккаччо. Но ему было не до смеха. Он вынул из-за пазухи маленькую ладанку, с мощами св. Христофора, и другую, точно такую же, с модным в те времена талисманом - кусочком египетской мумии. Ладанки были так похожи, что в темноте и второпях не мог он отличить одну от Другой и, на всякий случай, стал целовать обе вместе, крестясь и творя молитву.

Вдруг, услышав голоса жены и любовницы, входивших в уборную, похолодел от ужаса. Они беседовали дружески, как ни в чем не бывало. Он догадался, что Лукреция показывает герцогине свой новый дом по ее настоянию. Должно быть, Беатриче не имела явных улик и не хотела обнаружить подозрений. То был поединок женской хитрости.

- Здесь тоже платья? -спросила Беатриче равнодушным голосом, подходя к шкапу, в котором стоял Моро ни жив, ни мертв.

- Домашние, старые. Угодно взглянуть вашей светлости? - молвила Лукреция. И приотворила дверцы.

- Послушайте, душечка,-продолжала герцогиня,- а где же то, которое, помните, мне так понравилось? Вы были в нем у Паллавичини на летнем балу. Все такие червячки, червячки, знаете-золотые по темно-синему морелло - блестят, как ночью светлячки. - Не помню что-то,-произнесла Лукреция спокойно.-Ах, да, да, здесь,-спохватилась она,-должно быть, вот в этом шкапу.

И, не притворив дверец шкапа, в котором находился Моро, отошла с герцогиней к соседней гвардаробе.

- А еще говорила, что лгать не умеет! - подумал он с восхищением.-Какое присутствие духа! Женщины-вот У кого бы нам,

государям, поучиться политике! Беатриче и Лукреция удалились из уборной.

Моро вздохнул свободнее, хотя все еще судорожно сжимал в руке обе ладанки-с мощами и мумией.

- Двести имперских дукатов в обитель Марии делле Грации, Пречистой Заступнице-на елей и на свечи, ежели обойдется благополучно!-шептал он с пламенной верою.

Прибежала служанка, открыла шкал, с почтительно лукавым видом выпустила герцога и объявила, что опасность миновала - светлейшая герцогиня изволила уехать, милостиво простившись с мадонною Лукрецией.

Он перекрестился на,божно, вернулся в студиоло, выпил для подкрепления стакан воды Бальнеа Апонитана, взглянул на Лукрецию, которая сидела, как прежде, у камина, опустив голову, закрыв лицо руками,-и улыбнулся.

Потом тихими, лисьими шагами подкрался к ней сзади, наклонился и обнял, Девушка вздрогнула.

- Оставьте меня, оставьте, уйдите! О, как вы можете после того, что было!..

Но герцог, не слушая, молча покрывал лицо ее, шею, волосы жадными поцелуями. Никогда еще не казалась она ему такой прекрасной: ка'к будто женская ложь, которую он тольжо что видел в ней, окружила ее новою прелестью. Она боролась, но слабела и, наконец, закрыв глаза, с беспомощной улыбкой, медленно отдала ему свои губы. Декабрьская вьюга выла в трубе очага, между тем как в розовом отблеске пламени вереница смеющихся голых детей под виноградной купчей Вакха плясала, играя святейшими орудиями Страстей Господних.

И первый день нового тысяча четыреста девяносто седьмого года назначен был в замке бал.

Три месяца длились приготовления, в которых участвовали Браманте, Карадоссо, Леонардо да Винчи.

К пяти часам после полудня гости начали съезжаться во дворец. Приглашенных было более двух тысяч.

Метель занесла все дороги и улицы. На мрачном небе белели под снежными сугробами зубчатые стены, бойницы, каменные выступы

для пушечных жерл. На дворе, у пылающих костров, грелись, весело гуторя, конюхи, скороходы, стремянные, вершники и носильщики паланкинов. У входа в Палаццо Дукале и далее, у железных опускных ворот во внутренний двор маленького замка окетты, разволоченные, неуклюжие повозки, рыдваны и колымаги, запряженные цугом, теснились, высаживая синьор и кавалеров, закутанных в драгоценные московские меха. Обледенелые окна сияли праздничными огнями. Вступая в прихожую, гости следовали между двумя длинными рядами герцогских телохранителей - турецких мамелюков, греческих страдиотов, шотландских арбалетчиков и швейцарских ландскнехтов, закованных в латы с тяжелыми алебардами. Впереди стояли стройные пажи, миловидные, как девушки, в одинаковых, отороченных лебяжьим пухом, двуцветных ливреях: правая половина - рОзового бархата, левая - голубого атласа, с вытканными на груди серебряными геральдическими знаками дома Сфорца Висконти; одежда прилегала к телу так плотно, что обозначала все его изгибы, и только спереди из-под пояса выступала короткими, тесными, трубчатыми складками. В руках держали они зажженные свечи, длинные, наподобие церковных, из красного и желтого воска. Когда гость входил в приемную, герольд с двумя трубачами выкликал имя.

Открывался ряд громадных ослепительно освещенных зал: "зала белых голубок по красному полю", "зала золотая" - с изображением герцогской охоты, "червчатая" - вся сверху донизу обтянутая атласом, с вышитыми золотом пламенеющими головнями и ведрами, обозначающими самодержавную власть миланских герцогов, которые, по своему желанию, могут раздувать огонь войны и гасить его водою мира. В изящной маленькой "черной зале", построенной Браманте, служившей дамскою уборной, на сводах и стенах виднелись неоконченные фрески Леонардо. Нарядная толпа гудела, подобно пчелиному рою. Одежды отличались многоцветною яркостью и безмерною, нередко безвкусною роскошью. В этой пестроте, в неуважительном к обычаям предков, порою шутовском и уродливом смешении разноречивых мод один сатирик видел предзнаменование нашествия иноплеменных - грядущего рабства Италии".

Ткани женских платьев, с прямыми, тяжелыми складками, не гнушимися, вследствие обилия золота и драгоценных камней, напоминали церковные ризы и были столь прочны, что передавались по наследству от прабабушек правнучкам. Глубокие вырезы обнажали плечи и грудь. Волосы, покрытые спереди золотой сеткою, заплетались, по ломбардскому обычаю, у замужних, так же как у девушек, в тугую косу, удлинненную до пола искусственными волосами и лентами. Мода требовала, чтобы брови были едва очерчены: женщины, обладавшие густыми бровями, выщипывали их особыми стальными щипчиками. Обходиться без румян и белил считалось непристойностью. Духи употреблялись крепкие, тяжелые - мускус, амбра, виверра, кипрский порошок с пронзительным одуряющим запахом.

В толпе попадались молодые девушки и женщины с особенною прелестью, которая нигде не встречается, кроме Ломбардии,- с теми воздушными тенями, тающими, как дым, на бледной матовой коже, на нежных, мягких округлостях лица, которые любил изображать Леонардо да Винчи.

Мадонну Виоланту Борроко, черноокою, чернокудрую, с понятною для всех побеждающею красотою, называли царицей бала. Мотыльки, обжигающие крылья о пламя свечи - предостережение влюбленным,- вытканы были золотом по темно-пунцовому бархату ее платья.

Но не мадонна Виоланта привлекала внимание избранных, а дондзелла Диана Паллавичини, с глазами холодными и прозрачными, как лед, волосами серыми, как пепел, с равнодушною улыбкой и говором медлительным, как звук виолы. Ее облекала простая одежда из белой струистой камки с длинными шелковыми лентами, тускло-зелеными, как водоросли. Окруженная блеском и шумом, казалась она чуждой всему, одинокою и печальною, как бледные водяные цветы, которые спят под луной в загложших прудах.

Грянули трубы, литавры,- и гости направились в большую "залу для игры в мяч", находившуюся в Рокетте. Под голубым, усеянным золотыми звездами, сводом крестообразные перекладины с восковыми свечами горели огненными гроздьями. С балкона,

служившего хорами, свешивались шелковые ковры с гирляндами лавров, плюща и можжевельника.

В час, минуту и секунду, назначенные астрологами,- ибо герцог шагу не делал, по выражению одного посла, рубашки не переменил, жены не целовал, не сообразуясь с положением звезд, в залу вошли Моро и в царственных мантиях из золотой парчи, подбитых горностаем, с длинными шлейфами, которые несли бароны, камерьеры, спендиторы и чамбеллалы. На груди герцога в пряжке сиял рубин неимоверной величины, похищенный им у Джан-Галеаццо.

Беатриче похудела и подурнела. Странно было видеть живот беременной женщины у этой девочки, казавшейся почти ребенком,- с плоскою грудью и резкими мальчишескими движениями.

Моро подал знак. Главный сенешаль поднял жезл, на хорах заиграла музыка - и гости стали садиться за пиршественные столы.

Произошло замешательство. Посол великого князя московского, Данило Мамыров, не пожелал сесть ниже посла светлейшей республики Сан-Марко. Мамырова стали уговаривать. Но упрямый старик, никого не слушая, стоял на своем: "не сяду - зазорно мне сие!" Любопытные и насмешливые взгляды обращались на него отовсюду.

- Что такое? Опять с москвитями неприятности? Экий народ! Леэут на первые места - знать ничего не хотят. Никуда их приглашать нельзя. Варвары! А языкслышите?-совсем турецкий. Зверское племя!.. Юркий и вертлявый мантуанец Вокалино, толмач, подскОчил к Мамырову:

- Мессер Даниеле, мессер Данииле,- залепетал он на ломаном русском языке, с подобострастными ужимками и поклонами,-не можно, не можно! Сесть наДо. Обычай в Милане. Спорить не хорошо. Дука сердится. Подошел к старику и молодой спутник его, Никита Карачаров, тоже дьяк посольского приказа. - Данило Кузьмич, батюшка, не изволь сердать! В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Люди иноземные, обычаев наших не ведают. Долго ли до греха? Еще выведут! Сраму наживем...

- Молчи, Никита, молчи! Млад ты учить меня, старика. Знаю, что делаю. Не быть тому вовеки! Не сяду ниже посла венецийского. Сие

для чести нашей посольской порука великая. Сказано: всякий посол лицо носит и речи говорит государя своего. А наш государь православный, самодержавный, всея Руси...

- Мессер Даниеле, о, мессер Даниеле! - егозил толмач Бокалино.

- Отстань! Чего латошишь, обезьянья твоя рожа басурманская? Сказано, не сяду - и не сяду! Под нахмуренными бровями маленькие медвежьи глазки Мамырова сверкали гневом, гордостью и непобедимым упрямством. Усыпанный изумрудами набалдашник посоха сверкал в крепко сжатых пальцах. Видно было, что никакие силы не принудят его уступить.

Моро подозвал к себе посла Венеции, с обаятельной любезностью, на которую был мастер, извинился, обещал ему свое благоволение и попросил, как о личном для себя одолжении пересесть на другое место. во избежание споров и пререканий, уверяя, что нелепому честолюбию этих варваров никто не придает значения. На самом деле, герцог весьма дорожил милостью "великого герцога Розийского" - "gran duca di Rosia", надеясь при помощи его заключить выгодный договор с турецким султаном.

Венецианец, взглянув на Мамырова с тонкой усмешкой и презрительно пожав плечами, заметил, что его высочество прав-подобные споры о местах недостойны людей, просвещенных светом "человечности" - humanite,- и сел на указанное место.

Данило Кузьмич не понял речи соперника. Но, если бы и понял, не смутился бы и продолжал считать правым себя, ибо знал, что десять лет назад, в 1487 году, на торжественном выходе папы Иннокентия VIII, московские послы Димитрий и Мануил Ралева, на ступенях апостольского трона, заняли места, наиболее почетные после римских сенаторов, представителей древнего миродержавного города. Недаром, в послании бывшего киевского митрополита Саввы Спиридона, великий князь московский уже объявлен был единственным наследником двуглавого орла Византии, объединившего под сенью крыл своих Восток и Запад, так как Господь Вседержитель,-сказано было в послании,- низвергнув за ереси оба Рима, ветхий и новый, воздвиг третий, таинственный Град, дабы излить на него всю славу, всю силу и благодать Свою. третий

полуночный Рим - православную Москву,- а четвертого Рима не будет веки.

Не обращая внимания на враждебные взоры, самодовольно поглаживая длинную седую бороду, поправляя пояс на толстом животе и соболью шубу пунцового бархата, грузно и важно кряхтя, опустился Данило Кузьмич на отвоеванное место. Чувство темное и пьяное, как хмель, наполняло ему душу.

Никита вместе с толмачом Бокалино сели на нижнем конце стола, рядом с Леонардо да Винчи.

Хвастливый мантуанец рассказывал о чудесах, виденных им в Московии, смешивая быль с небылицей. Художник, надеясь получить более точные сведения от самого Карачарова, обратился к нему через переводчика и стал расспрашивать о далекой стране, которая возбуждала любопытство Леонардо, как все безмерное и загадочное,- о ее бесконечных равнинах, лютых морозах, могучих реках и лесах, о приливе в Гиперборейском океане и Гирканийском море, о Северном сиянии, так же как о друзьях Своих, поселившихся в Москве: ломбардском художнике Пиетро Антонио Солари, который участвовал в постройке Грановитой Палаты, и зодчем Аристотеле Фиоравенти из Болоньи, украсившем площадь Кремля великолепными зданиями. - Мессере,-обратилась к толмачу сидевшая рядом любопытная и плутоватая дондзелла Эрмеллина,- == Я слышала, будто бы эту удивительную страну потому называют Розия, что там растет много роз. Правда ли это? Бокалино рассмеялся и уверил дондзеллу, что это вздор, что в Розии, несмотря на ее имя, меньше роз, чем в какойлибо иной стране, и в доказательство привел итальянскую новеллу о русском холоде.

Некоторые купцы из города Флоренции приехали в Польшу. Далее в Розию не пустили их, потому что в это время польский король вел войну с великим герцогом Московии. Флорентийцы, желая купить соболей, пригласили русских купцов на берег Борисфена, отделяющего обе страны. Опасаясь быть взятыми в плен, москвиты стали на одном берегу, итальянцы на другом, и начали громко перекликаться через реку, торгуясь. Но стужа была так сильна, что слова, не достигая противоположного берега, замерзали в воздухе. Тогда находчивые ляхи разлОЖИЛИ большой костер

посредине реки, в том месте, куда по расчету слова доходили еще не замерзшими. Лед, твердый, как мрамор, мог выдержать какое угодно пламя. И вот, когда зажгли огонь, слова, в продолжение целого часа остававшиеся в воздухе неподвижными, обледелыми, начали таять, струиться с тихим журчанием, подобно вешней капле, и, наконец, были услышаны флорентийцами явственно, несмотря на то, что московиты давно удалились с противоположного берега.

Рассказ всем пришелся по вкусу. Взоры дам, полные сострадательного любопытства, обратились на Никиту Карачарова, обитателя столь злополучной, Богом проклятой земли.

В это время сам Никита, остолбенев от удивления, смотрел на невиданное зрелище - громадное блюдо с голою Андромедой, из нежных каплуных груденок, прикованною к скале из творожного сыру, и освободителем ее, Крылатым Персеем, из телятины.

Во время мясной части пира все было червленое, золотое, во время рыбной-стало серебряным, соответственно водной стихии. Подали посеребренные хлеба, посеребренные салатные лимоны в чашках, и наконец, на блюде между гигантскими осетрами, миногами и стерлядями появилась Амфитрита из белого мяса угрей в перламутровой колеснице, влекомой дельфинами над голубовато-зеленым, как морские волны, трепетным студнем, изнутри освещенным огнями.

Затем потянулись нескончаемые сладости - изваяния из марципанов, фисташек, кедровых орехов, миндаля и жженого сахара, исполненные по рисункам Браманте, Карадоссо и Леонардо,- Геркулес, добывающий золотые яблоки Гесперид, басня Ипполита с Федрою, Вакха с Ариадною, Юпитера с Данаею - весь Олимп воскресших богов.

Никита с детским любопытством глядел на эти чудеса, между тем как Данило Кузьмин, теряя охоту к еде при виде голых бесстыдных богинь,- ворчал себе под нос; - Антихристова мерзость! Погань языческая!

Начался бал. Тогдашние пляски - Венера и Завр, Жестокая Участь, Купидон - отличались медлительностью, так как платья дам, длинные и тяжелые, не позволяли быстрых движений. Дамы и кавалеры сходились, расходились, с неторопливою важностью, с жеманными

поклонами, томными вздохами и сладкими улыбками. Женщины должны были выступать, как павы, плыть, как лебедки. И музыка была тихая, нежная, почти унылая, полная страстным томлением, как песни Петрарки.

Главный полководец Моро, молодой синьор Галеаццо Сансеварино, изысканный щеголь, весь в белом, с откидными рукавами на розовой подкладке, с алмазами на белых туфлях, с красивым, вялым, испитым и женоподобным лицом, очаровывал дам. Одобрительный шепот пробежал в толпе, когда во время танца Жестокая Участь, роняя, как будто нечаянно, на самом деле нарочно, туфлю с ноги или накидку с плеча, продолжал он скользить и кружиться по зале с той "скучающе небрежностью", которая считалась признаком высшего изящества. Данило Мамыров смотрел, смотрел на него и плюнул: - Ах, ты шут гороховый!

Герцогиня любила танцы. Но в тот вечер на сердце у нее было тяжело и смутно. Лишь давняя привычка к лицемерию помогала ей разыгрывать роль гостеприимной хозяйки - отвечать на поздравления с новым годом, на приторные любезности вельмож. Порою казалось ей, что она не вынесет - убежит или заплачет.

Не находя себе места, блуждая по многолюдным залам, зашла она в маленький дальний покой, где у весело пылавшего камина разговаривали в тесном кружке молодые дамы и синьоры. Спросила, о чем они беседуют.

- О платонической любви, ваша светлость,-отвечала одна из дам.- Мессер Антонниотто Фрегозо доказывает, что женщина может целовать в губы мужчину, не нарушая целомудрия, если он любит ее небесною любовью. - Как же вы это доказываете, мессер Антонниотто?-молвила герцогиня, рассеянно щуря глаза.

- С позволения вашей светлости я утверждаю, что уста - орудие речи - служат вратами души, и когда они соединяются в лобзании платоническом, души любовников устремляются к устам, как бы к естественному выходу своему. Вот почему Платон не возбраняет поцелуя, а царь Соломон в "Песни Песней", прообразуя таинственное слияние души человеческой с Богом, говорит: лобзай меня Лобзанием уст твоих.

- Извините, мессере,-перебил его один из слушателей, старый барон, сельский рыцарь с честным и грубым лицом,-может быть, я этих тонкостей не разумею, но Неужели полагаете вы, что муж, застав жену свою в объятиях любовника, должен терпеть?..

- Конечно,- возразил придворный философ,- сообразно с мудростью духовной любви...

- А как же брак?..

- Ах, Боже мой! Да мы о любви говорим, а не о браке!-перебила хорошенькая мадонна, Фиордализа, нетерпеливо пожимая ослепительными голыми плечами. - Но ведь и брак, мадонна, по всем законам человеческим...-начал было рыцарь.

- Законы!-презрительно сморщила Фиордализа свои алые губки.- Как можете вы, мессере, в такой возвышенной беседе упоминать о законах человеческих-жалких созданиях черни, превращающих святые имена любовника и возлюбленной в столь грубые слова, как муж и жена?

Барон только руками развел.

А мессер Фрегосо, не обращая на него внимания, продолжал свою речь о тайнах небесной любви. Беатриче знала, что при дворе в большой моде непристойнейший сонет этого самого мессера Антонниотто Фрегосо, посвященный красивому отроку и начинавшийся так: Ошибся царь богов, похитив Ганимеда... Герцогине сделалось скучно.

Она потихоньку удалилась и перешла в соседнюю залу. Здесь читал стихи приезжий из Рима знаменитый стихотворец Серафино д'Аквила, по прозвищу Единственный - Unico, маленький, худенький, тщательно вымытый, выбритый, завитой и надушенный человек с розовым младенческим личиком, томной улыбкой, скверными зубами и масляными глазками, в которых сквозь вечную слезу восторга мелькала порой плутоватая хитрость.

Увидев среди дам, окружавших поэта, Лукрецию, Беатриче смутилась, чуть-чуть побледнела, но тотчас оправилась, подошла к ней с обычной ласкою и поцеловала.

В это время появилась в дверях полная, пестро одетая, сильно нарумяненная, уже не молодая и некрасивая дама, державшая платок у носа.

- Что это, мадонна Диониджа? Не ушиблись ли вы?-спросила ее дондзелла Эрмеллина с лукавым участием.

Диониджа объяснила, что во время танцев, должно быть от жары и усталости, кровь пошла у нее из носу.

- Вот случай, на который даже мессер Унико едва ли сумел бы сочинить любовные стихи,-заметил один из придворных.

Унико вскочил, выставил одну ногу вперед, задумчиво провел рукой по волосам, закинул голову и поднял глаза к потолку.

- Тише, тише,- благоговейно зашушукали дамы,- мессер Унико сочиняет! Ваше высочество, пожалуйста сюда, здесь лучше слышно.

Дондзелла Эрмеллина, взяв лютню, потихоньку перебирала струны, и под эти звуки поэт торжественно глухим, замирающим голосом чревовещателя проговорил сонет. Амур, тронутый мольбами влюбленного, направил стрелу в сердце жестокой; но, так как на глазах бога повязка,- промахнулся; и вместо сердца -

Стрела пронзила носик нежный - И вот в платочек белоснежный Росой алой льется кровь.

Дамы захлопали в ладоши.

- Прелестно, прелестно, неподражаемо! Какая быстрота! Какая легкость! О, это не чета нашему Беллинчони, который целыми днями потеет над каждым сонетом, Ах, душечка, верите ли, когда он поднял глаза к небу, я почувствовала - точно ветер на лице, что-то сверхъестественное- даже страшно стало...

- Мессер Унико, не хотите ли рейнского? - суетилась одна.

- Мессер Унико, прохладительные лепешечки с мятой,- предлагала другая.

Его усаживали в кресло, обмахивали веерами. Он млел, таял и жмурил глаза, как сытый кот. Потом прочел другой сонет в честь герцогини, в котором говорилось, что снег, пристыженный белизной ее кожи, задумал коварную месть, превратился в лед, и потому-то недавно, выйдя прогуляться во двор замка, она поскользнулась и едва не упала.

Прочел также стихи, посвященные красавице, у которой не хватало переднего зуба: то была хитрость Амура, который, обитая во рту ее, пользуется этой щелкою, как бойницею, чтобы метать свои стрелы.

- Гений!-взвизгнула одна из дам.-Имя Унико в потомстве будет рядом с именем Данте! - Выше Данте! - подхватила другая.- Разве можно у Данте научиться таким любовным тонкостям, как у нашего Унико?

- Мадонны,- возразил поэт со скромностью,- вы преувеличиваете. Есть и у Даяте большие достоинства. Впрочем, каждому свое. Что касается меня, то за ваши рукоплескания я отдал бы свою славу Данте.

- Унико! Унико!-вздохали поклонницы, изнемогая от восторга.

Когда Серафино начал новый сонет, где описывалось, как, во время пожара в доме его возлюбленной, не могли потушить огонь, потому что сбежавшиеся люди должны были заливать водою пламя собственных сердец, зажженное взорами красавицы,-Беатриче, наконец, не вытерпела и ушла.

Она вернулась в главные залы, велела своему пажу Ричардетто, преданному и даже, как порой казалось ей, влюбленному в нее мальчику, идти наверх, ожидать с факелом у дверей спальни, и, поспешно пройдя несколько ярко освещенных многолюдных комнат, вступила в пустынную, отдаленную галерею, где только стражи дремали, склонившись на копьями; отперла железную дверцу, поднялась по темной витой лестнице в громадный сводчатый зал, служивший герцогскою спальнею, находившейся в четырехугольной северной башне замка; подошла со свечою к небольшому, вделанному в толщу каменной стены, дубовому ларцу, где хранились важные бумаги и тайные письма герцога, вложила ключ, украденный у мужа, в замочную скважину, хотела повернуть, но Почувствовала, что замок сломан, распахнула медные створы, увидела пустые полки и догадалась, что Моро, заметив пропажу ключа, спрятал письма в другое место. Остановилась в недоумении.

За окнами веяли снежные хлопья, как белые призраки. Ветер шумел - то выл, то плакал. И древнее, страшное, вечное, знакомое сердцу напоминали эти голоса ночного ветра.

Взоры герцогини упали на чугунную заслонку, закрывавшую круглое отверстие Дионисиева уха - слуховой трубы, проведенной Леонардо в герцогскую спальню из нижних покоев дворца. Она подошла к отверстию и, сняв с него тяжелую крышку, прислушалась:

волны звуков долетели до нее, подобные шуму далекого моря, который слышится в раковинах; с говором, с шелестом праздничной толпы, с нежными вздохами музыки сливался вой и свист ночного ветра.

Вдруг почудилось ей, что не там, внизу, а над самым ухом ее кто-то прошептал: "Беллинчони... Беллинчони"... Она вскрикнула и побледнела.

"Беллинчони!.. Как же я сама не догадалась? Да, да конечно! Вот от кого я узнаю все... К нему! Только как бы не заметили?.. Будут искать... Все равно! Я хочу знать, я больше не могу терпеть этой лжи!"

Она вспомнила, что Беллинчояи, отговорившись болезнью, не приехал на бал, сообразила, что в этот час он почти наверное дома, один, и кликнула пажа Ричардетто, который стоял у дверей.

- Вели двум скороходам с носилками ждать меня внизу, в парке, у потайных ворот замка. Только смотри, если хочешь угодить мне, чтобы никто об этом не знал - слышишь?-никто!

Дала ему поцеловать свою руку. Мальчик бросился исполнять приказание.

Беатриче вернулась в опочивальню, накинула на плечи шубу, надела черную шелковую маску и через несколько минут уже сидела в носилках, направлявшихся к Тичинским воротам, где жил Беллинчони.

Поэт называл свой ветхий, полуразвалившийся домик "лягушечьей норой". Он получал довольно много подарков, но вел беспутную жизнь, пропивал или проигрывал

что имел, и потому бедность, по собственному выражению Бернарде, преследовала его, "как нелюбимая, но верная жена".

Лежа на сломанной трехногой кровати, с поленом вместо четвертой ноги, с дырявым и тонким, как блин, тюфяком, допивая третий горшок дрянного кислого вина, сочинял он надгробную надпись для любимой собаки мадонны Чечилии. Поэт наблюдал, как потухают последние угли в камине, тщетно стараясь согреться, натягивал на свои тонкие журавлиные ноги изъеденную молью беличью шубейку, вместо одеяла, слушал завывание вьюги и думал о холоде предстоявшей ночи.

На придворный бал, где должны были представить сочиненную им в честь герцогини аллегория "Рай", не пошел он, вовсе не потому что был болен,- хотя, в самом деле, уже давно хворал и так был худ, что, по словам его, "можно было, рассматривая тело его, изучать анатомию человеческих мускулов, жил и костей". Но будь он даже при последнем издыхании, все-таки потащился бы на праздник. Действительной причиной его отсутствия была зависть: лучше согласился бы он замерзнуть в своей конуре, чем видеть торжество соперника, наглого плута и пройдохи, мессера Унико, который нелепыми виршами успел вскружить головы светским дурам. При одной мысли об Унико вся желчь прилиwała к сердцу Беллинчони. Он сжимал кулаки и вскакивал с постели. Но в комнате было так холодно, что тотчас же снова благоразумно ложился в постель, дрожал, кашлял и кутался.

- Негодяи! -ругался он.-Четыре сонета о дровах, да еще с какими рифмами-и ни щепки!.. Пожалуй, чернила замерзнут - нечем будет писать. Не затопить ли перилами от лестницы? Все равно, порядочные люди не ходят ко мне, а если жид-ростовщик свихнет себе шею - не велика беда.

Но лестницы он пожалел. Взоры его обратились на толстое полено, служившее четвертой ногой хромому ложу. остановился в минутном раздумьи: что лучше-дрожать всю ночь от холода или спать на шатающемся ложе? Вьюга завывала в оконную щель, заплакала, захохотала, как ведьма, в трубе очага. С отчаянной решимостью выхватил Бернарде полено из-под кровати, разрубил на щепки и стал бросать в камин. Пламя вспыхнуло, озаряя печальную келью. Он присел на корточки и протянул посиневшие руки к огню, последнему другу одиноких поэтов. - Собачья жизнь!-размышлял Беллинчони.- А ведь чем я, подумаешь, хуже других? Не о моем ли прапращуре, знаменитом флорентийце, в те времена, как о доме Сфорца и помину еще не было, божественный Данте сложил этот стих:

Bellincion' Berti vi'd'io andar cinto Di cuoio e d'osso? ' Я Беллинчони Бerti увидел В кожаном поясе с костями (итал.).

Небось, в Милане, когда я приехал, придворные лизоблюды страмботто от сонета отличить не умели. Кто, как не я, научил их

изяществам новой поэзии? Не с моей ли легкой руки ключ Гиппокрены разлился в целое море и грозит наводнением? Теперь, кажется, и в Большом Канале кастальские воды текут*... И вот награда! Подохну, как пес в конуре на соломе!.. Впавшего в бедность поэта никто не узнает, точно лицо его скрыто под маскою, изуродовано оспой... Он прочел стихи из своего послания к герцогу Моро: Иного я всю жизнь не слыхивал ответа, Как "с Богом прочь ступай, все заняты места" Что делать? Песенка моя, должно быть, спета. Уж я и не прошу о колпаке шута,- Но хоть на мельницу принять вели поэта, О, щедрый государь, как вьючного скота.

И с горькою усмешкою опустил свою лысую голову. Долговязый, тощий, с красным длинным носом, на корточках перед огнем, он походил на больную зябнущую птицу.

Внизу в двери дома послышался стук, потом сонная ругань сварливой, опухшей от водянки, старухи, его единственной прислужницы, и шлепанье деревянных башмаков ее по кирпичному полу.

- Кой черт? - удивился Бернарде.- Уж не жид ли опять за процентами? У, нехристи окаянные! И ночью не дадут покоя...

Скрипнули ступени лестницы. Дверь отворилась, и в комнату вошла женщина в собольей шубе, в шелковой черной маске.

Бернарде вскочил и уставился на нее. Она молча приблизилась к стулу.

- Осторожнее, мадонна,- предупредил хозяин,- спинка сломана.

И со светскою любезностью прибавил: - Какому доброму гению обязан я счастьем видеть знаменитейшую синьору в смиренном жилище моем?

"Должно быть, заказчица. Какой-нибудь любовный мадригалишко,-подумал он.-Ну, что ж, и то хлеб! Хоть да дрова. Только странно, как это одна, в такой час?.. но, впрочем, имя мое тоже, видно, что-нибудь да значит. Мало ли неведомых поклонниц!"

Он Оживился, подбежал к очагу и великодушно бросил в огонь последнюю щепку. Дама сняла маску. - Это я, Бернарде. Он вскрикнул, отступил и, чтобы не упасть, должен был схватиться рукой за дверную притолоку. - Иисусе, Дева Пречистая!-пролепетал, выпучив глаза.-Ваша светлость... яснейшая герцогиня... - Бернарде, ты можешь

сослужить мне великую службу,- сказала Беатриче и потом спросила, оглядываясь: - == никто не услышит?

- Будьте покойны, ваше высочество, никто,- кроме крыс да мышей!

- Послушай,- продолжала Беатриче медленно, устремив на него пронизательный взор,-я знаю, ты писал для мадонны Лукреции любовные стихи. У тебя должны быть письма герцога с поручениями и заказами.

Он побледнел и молча смотрел на нее, расширив глаза, в оцепенении.

- Не бойся,- прибавила она,- никто не узнает. Даю тебе слово, я сумею наградить тебя, если ты исполнишь просьбу мою. Я озолочу тебя, Бернарде!

- Ваше высочество,- с усилием произнес он коснеющим языком,- не верьте... это клевета... никаких писем.., как перед Богом...

Глаза ее сверкнули гневом; тонкие брови сдвинулись. Она встала и, не отводя от него тяжелого, пристального взора, подошла к нему.

- Не лги! Я знаю все. Отдай мне письма герцога, если жизнь тебе дорога,-слышишь, отдай! Берегись, Бернарде! Люди мои ждут внизу. Я с тобой не шутить пришла!.. Он упал перед нею на колени:

- Воля ваша, синьора! Нет у меня никаких писем... - Нет? - повторила она, наклонясь и заглядывая ему в глаза,-нет, говоришь ты?.. - Нет...

- Погоди же, сводник проклятый, заставлю я тебя всю правду сказать. Собственными руками задушу, мерзавец!..- крикнула она в бешенстве и, в самом деле, вцепилась ему в горло своими нежными пальцами с такою силою, что он задохся и жилы налились у него на лбу. Не сопротивляясь, опустив руки, только беспомощно моргая глазами, сделался он еще более похожим на жалкую, больную птицу.

"Убьет, как Бог свят, убьет,- думал Бернарде.- Ну, что же, пусть... А герцога я не выдам".

Беллинчони был всю жизнь придворным шутком, беспутным бродягою, продажным стихокропателем, но никогда не был изменником. В жилах его текла благородная кровь, более чистая, чем у романьольских наемников, выскочек Сфорца, и теперь он готов был это доказать:

Bellincion' Berti vid'io andar cinto Di cuoio e d'osso.'i

Герцогиня опомнилась; с отвращением¹ выпустила из рук своих горло поэта, оттолкнула его, подошла к столу и схватив маленькую, с продавленными боками, с нагоревшею светильнею, оловянную лампаду, направилась к двери соседней комнаты. Она уже раньше заметила ее и догадалась, что это студиоло - рабочая келья поэта.

Бернарде вскочил и, став перед дверью, хотел преградить ей путь. Но герцогиня молча смерила его таким взглядом, что он съежился, сгорбился и отступил.

Она вошла в обитель нищенской музыки. Здесь пахло плесенью книг. На голых стенах с облупленною штукатуркою темнели пятна сырости. Разбитое стекло заиндевелого окошка заткнуто было тряпьем. На письменном наклонном поставце, забрызганном чернилами, с гусиными перьями, общипанными и обглоданными во время искания рифм, валялись бумаги, должно быть, черновые наброски стихов.

Поставив лампаду на полку и не обращая внимания на хозяина, Беатриче стала рыться в листках.

Здесь было множество сонетов придворным казначеям, ключникам, стольникам, кравчим, с шутовскими жалобами, с мольбами о деньгах, дровах, вине, теплой одежде, съестных припасах. В одном из них выпрашивал поэт у мессера Паллавичини к празднику Всех Святых жареного гуся, начиненного айвою. В другом, озаглавленном "От Моро к Чечилии", сравнивая герцога с Юпитером, герцогиню с Юноною, рассказывал, как однажды Моро, отправившись на свидание с любовницей и по дороге застигнутый бурей, должен был вернуться домой, потому что "ревнивая Юнона, догадавшись об измене мужа, сорвала диадему с головы своей и рассыпала жемчуг с небес, подобно бурному дождю и граду".

Вдруг под кипю бумаг заметила она изящную шкатулку из черного дерева, открыла ее и увидела тщательно перевязанную пачку писем.

Бернарде, следивший за нею, всплеснул руками в ужасе. Герцогиня взглянула на него, потом на письма, прочла имя Лукреции, узнала почерк Моро и поняла, что это, наконец, то, чего она искала - письма герцога, черновые наброски любовных стихов, заказанных им для Лукреции; схватила пачку, сунула ее себе за платье на грудь

молча, бросив поэту, как подачку собаке, кошелек с червонцами, вышла.

Он слышал, как она сходила по лестнице, как захлопнулась дверь, и долго стоял среди комнаты, точно громом сраженный. Пол, казалось ему, шатается под ним, как палуба во время качки.

Наконец, в изнеможении, повалился на свое трехное хромящее ложе и заснул мертвым сном.

Герцогиня вернулась в замок.

Заметив ее отсутствие, гости перешептывались, спрашивали, что случилось. Герцог тревожился.

Войдя в залу, она приблизилась к нему с немного бледным лицом и сказала, что, почувствовав усталость после бала, удалилась во внутренние покои, чтобы отдохнуть. - Биче,-молвил герцог, взяв ее руку, холодную и лишь чуть задрожавшую в руке его,- если тебе нездоровится, скажи, ради Бога! Не забывай, что ты беременна. Хочешь, отложим до завтра вторую часть праздника? Я ведь и затеял-то все только для тебя, дорогая... - Нет, не надо,- возразила герцогиня.- Пожалуйста, не беспокойся, Вико. Я давно не чувствовала себя так хорошо, как сегодня... так весело... Я хочу видеть "Рай". и плясать еще буду!..

- Ну, слава Богу, милая, слава Богу! - успокоился Моро, целуя с почтительной нежностью руку жены. Гости снова перешли в большую "залу для игры в мяч", где для представления "Рая" Беллинчони воздвигнута была машина, изобретенная придворным механиком Леонардо да Винчи.

Когда уселись по местам и потушили огни, раздался голос Леонардо: - Готово!

Вспыхнула пороховая нить, и в темноте, как ледяные Прозрачные солнца, засияли хрустальные шары, расположенные кругообразно, наполненные водою и освещенные изнутри множеством ярких огней, переливавшихся радугой.

- Посмотрите,-указывала соседке на художника донзелла Эрмеллина,- посмотрите, какое лицо,- настоящий маг! Чего доброго, весь замок подымет на воздух, как в сказке!

- С огнем играть не следует! Долго ли до пожара,- молвила соседка.

В машине за хрустальными шарами спрятаны были черные круглые ящики. Из одного ящика появился ангел с белыми крыльями, возвестил начало представления и, произнося один из стихов пролога -

Великий Царь Свои вращает сферы,-
указал на герцога, давая понять, что Моро управляет подданными с такою же мудростью, как Бог небесными сферами.

И в то же мгновение шары стали двигаться, вращаясь вокруг оси машины под странные, тихие, необычайно приятные звуки, как будто хрустальные сферы, цепляясь одна за другую, звенели таинственной музыкой, о которой повествуют пифагорейцы. Особые, изобретенные Леонардо, стеклянные колокола, ударяемые клавишами, производили эти звуки.

Планеты остановились, и над каждой из них, по очереди, стали появляться соответственные боги - Юпитер, Аполлон, Меркурий, Марс, Диана, Венера, Сатурн, обращаясь с приветствием к Беатриче. Меркурий произнес:

О, ты, затмившая все древние светила, О, солнце для живых, о, зеркало небес! Ты красотой своей Отца богов пленила, Лампада из лампад и чудо из чудес!

Венера склонила колени пред герцогинею:

Все прелести мои ты обратила в прах, Уже назвать себя Венерою не смею, И, побежденная звезда в твоих лучах, О, солнце новое, от зависти бледнею!

Диана просила Юпитера:

Отдай меня, отец, отдай меня в рабыни Богине всех богинь, миланской герцогине!

Сатурн, ломая смертоносную косу, восклицал: И будет жизнь твоя блаженна и безбурна, И Век твой Золотой, как древний Век Сатурна.

В заключение Юпитер представил ее высочеству трех эллинских Граций, семь христианских Добродетелей, и весь этот Олимп, или рай, под сенью белых ангельских крыл и креста, униженного огнями зеленых лампад, символами надежды, снова начал вертеться, причем все боги и богини запели гимн во славу Беатриче, под музыку хрустальных сфер и рукоплескания зрителей. - Послушайте,- сказала герцогиня сидевшему рядом вельможе Гаспаре Висконти,- отчего же

нет здесь Юноны, ревнивой супруги Юпитера, "срывающей головную повязку с кудрей своих, чтобы рассыпать жемчуг на землю, подобно дождю и граду"? '

Услышав эти слова, герцог быстро обернулся и посмотрел на нее. Она засмеялась таким странным насильственным смехом, что мгновенный холод пробежал по сердцу Моро. Но, тотчас же овладев собою, заговорила о Другом, только крепче прижала под одеждой на груди своей пачку писем.

Предвкушаемая месть опьяняла ее, делала сильной, спокойной, почти веселой.

Гости перешли в другую залу, где ожидало их новое зрелище: запряженные неграми, леопардами, грифонами, кентаврами и драконами, триумфальные колесницы Нумы Помпилия, Цезаря, Августа, Траяна с аллегорическими Картинами и надписями, гласившими о том, что все эти герои - предтечи Моро; в заключение появилась колесница, влекомая единорогами, с огромным глобусом, подобием звездной сферы, на котором лежал воин в железных ржавых латах. Золотое голое дитя с ветвью шелковицы, по-итальянски моро, выходило из трещины в латах воина, что означало смерть старого. Железного, и рождение нового, Золотого Века, благодаря мудрому правлению Моро. К общему удивлению, золотое изваяние оказалось живым ребенком. Мальчик, вследствие густой позолоты, покрывавшей тело его, чувствовал себя нехорошо. В испуганных глазах его блеснули слезы.

Дрожащим, заунывным голосом начал он приветствие герцогу с постоянно возвращавшимся, однозвучным, почти зловещим припевом:

Скоро к вам, о люди, скоро, С обновленной красотой, Я вернусь по воле Моро, Беспечальный Век Златой.

вокруг колесницы Золотого Века возобновился бал. Нескончаемое приветствие надоело всем. Его перестали слушать. А мальчик, стоя на вышке, все еще лепетал золотыми коснеющими губами, с безнадежным и покорным видом:

Я вернусь по воле Моро, Беспечальный Век Златой. Беатриче танцевала с Гаспаре Висконти. Порой судорога смеха и рыданий

сжимала ей горло. С нестерпимой болью стучала кровь в виски. В глазах темнело. Но лицо казалось беспечным. Она улыбалась.

Окончив пляску, вышла из праздничной толпы и вновь незаметно удалилась.

Герцогиня прошла в уединенную башню Сокровищницы. Сюда никто не входил, кроме нее и герцога.

Взяв свечу у пажа Ричардетто, велела ему ожидать у входа и вступила в высокую залу, где было темно и холодно, как в погребке, села, вынула пачку писем, развязала, положила на стол и уже хотела читать, как вдруг, с пронзительным визгом, свистом и гулом, ветер ворвался в трубу очага, пронесся по всей башне, завыл, зашуршал и едва не задул свечу. Потом сразу наступила тишина, И ей казалось, что она различает звуки дальней бальной музыки и еще другие, чуть слышные голоса, звон железных оков - внизу, в подземелье, где была тюрьма.

И в то же мгновение почувствовала, что за нею, в темном углу, кто-то стоит. Знакомый ужас охватил ее. Она знала, что не надо смотреть, но не выдержала и оглянулась. В углу стоял тот, кого она видела уже раз,- длинный, черный, чернее мрака, закутанный, с поникшей головой, с монашеским куколом, опущенным так, что лица не было видно. Она хотела крикнуть, позвать Ричардетто, но голос ее замер. Вскочила, чтобы бежать,- ноги у нее подкосились. Упала на колени и прошептала: - Ты... ты опять... зачем?.. Он медленно поднял голову.

И она увидела не мертвое, не страшное лицо покойного герцога Джан-Галеаццо и услышала голос его: - Прости... бедная, бедная...

Он сделал к ней шаг, и в лицо ей пахнуло нездешним холодом.

Она закричала пронзительным, нечеловеческим криком и лишилась сознания.

Ричардетто, услышав этот крик, прибежал и увидел ее, лежавшую на полу, без чувств.

Он бросился бежать по темным галереям, кое-где освещенный тусклыми фонарями часовых, затем по ярким, многолюдным залам, отыскивая герцога, с воплем безумного ужаса:

- Помогите! Помогите!

Была полночь. На балу царствовала увлекательная веселость. Только что начали модную пляску, во время которой кавалеры и

дамы проходили вереницею под аркою верных любовников". Человек, изображавший Гения трубач, с длинною трубою, находился на вершине арки; у подножия стояли судьи. Когда приближались "верные любОВНИКИ", гений приветствовал их нежною музыкою, иН принимали с радостью. Неверные же тщетно старались пройти сквозь волшебную арку: труба оглушала их ратными звуками; судьи встречали бурю конфетти, несчастные под градом насмешек должны были обращаться в бегство.

Герцог только что прошел сквозь арку, сопровождаемый самыми тихими, сладостными звуками трубы, подобными пастушьей свирели или воркованию горлиц,-как вернейший из верных любовников.

В это мгновение толпа расступилась. В залу вбежал Ричардетто с отчаянным воплем: - Помогите! Помогите! Увидев герцога, он кинулся к нему:

- Ваше высочество, герцогине дурно... Скорее... Помогите! - Дурно?... Опять!.. Герцог схватился за голову. - Где? Где? Да говори же толком!.. - В башне Сокровищницы...

Моро пустился бежать так быстро, что золотая чешуйчатая цепь на груди его звякала, пышная гладкая лаццера - прическа, похожая на парик, странно подсаки вала на голове. Гений на арке "верных любовников", все еще продолжавший трубить, наконец заметил, что внизу неладно, и умолк.

Многие побежали за герцогом, и вдруг вся блестящая публика всколыхнулась, ринулась к дверям, как стадо баранов, обуянное ужасом. Арку повалили и растоптали. Тру

баЧ, едва успев соскочить, вывихнул себе ногу.

кТО-ТО крикнул: - Пожар!

- Ну, вот, говорила я, что с огнем играть не следует- всплеснув руками, воскликнула дама, не одобрявшая хрустальных шаров Леонардо. Другая взвизгнула, приготовляясь упасть в обморок.

- Успокойтесь, пожара нет,-уверяли одни. - Что же такое? - спрашивали другие. - Герцогиня больна!..

- Умирает! Отравили!-решил кто-то из придворных по внезапному наитию и тотчас же сам поверил своей выдумке.

- Не может быть! Герцогиня только что была здесь... танцевала...

- Разве вы не слышали? Вдова покойного герцога Джан-Галеаццо, Изабелла Арагонская, из мести за мужа... медленным ядом... " - С нами сила Господня! Из соседней залы долетали звуки музыки. Там ничего не знали. В танце "Венера и Завр" дамы с любезной улыбкой водили своих кавалеров на золотых цепях, как узников, и когда они с томными вздохами падали ниц,-ставили им ногу на спину, как победительницы.

Вбежал камерьерере, замахал руками и крикнул музыкантам:

- Тише, тише! Герцогиня больна...

Все обернулись на крик. Музыка стихла. Одна лишь виола, на которой играл тугой на ухо, подслеповатый старичок, долго еще заливалась в безмолвии жалобно-трепетным звуком.

Служители поспешно пронесли кровать, узкую, длинную, с жестким тюфяком, с двумя поперечными брусьями для головы, двумя колками по обеим сторонам для рук и перекладиною для ног родильницы, сохранявшуюся с незапамятных времен в гардеробных покоях дворца и служившую для родов всем государыням дома Сфорца. Странной и зловещей казалась среди бала, в блеске праздничных огней, над толпой разряженных дам, эта родильная кровать. Все переглянулись и поняли.

- Ежели от испуга или падения,- заметила пожилая дама,- следовало бы немедленно проглотить белок сырого яйца с мелко нарезанными кусочками алого шелка.

Другая уверяла, что красный шелк тут ни при чем, а надо съесть зародыши семи куриных яиц в желтке восьмого.

В это время Ричардетто, войдя в одну из верхних зал, услышал за дверями соседней комнаты такой страшный вопль, что остановился в недоумении и спросил, указывая на дверь, одну из женщин, проходивших с корзинами белья, грелками и сосудами горячей воды:

- Что это?

Она не ответила.

Другая, старая, должно быть, повивальная бабка, посмотрела на него строго и проговорила: - Ступай, ступай с Богом! Чего торчишь на дороге'только мешаешь. Не место здесь мальчишкам.

Дверь на мгновение приотворилась, и Ричардетто увидел в глубине комнаты, среди беспорядка сорванных одежд и белья, лицо

той, которую любил безнадежно детскою любовью,- красное, потное, с прядями волос, Прилипших ко лбу, с раскрытым ртом, откуда вылетал нескончаемый вопль. Мальчик побледнел и закрыл лицо руками.

Рядом с ним разговаривали шепотом разные кумушки, нянюшки, лекарки, знахарки, повитухи. У каждой было первое средство. Одна предлагала обернуть правую ногу родильницы змеиной кожей; другая - посадить ее на чугунный котел с кипятком; третья-подвязать к животу ее шапку супруга; четвертая - дать водки, настоенной на отростках оленьих рогов и кошенильном семени.

- Орлиный камень под правую мышку, магнитный - под левую,- шамкала древняя, сморщенная старушонка, хлопотавшая больше всех,-это, мать моя, первое дело! орлиный камень либо изумруд.

Из дверей выбежал герцог и упал на стул, сжимая голову руками, всхлипывая, как ребенок:

- Господи! Господи! Не могу больше... не могу... Биче, Биче... Из-за меня, окаянного!..

Он вспомнил, как только что, увидев его, герцогиня закричала с неистовой злобой: "Прочь! прочь! Ступай к своей Лукреции!.."

Хлопотливая старушонка подошла к нему с оловянную тарелочкой:

- Откушать извольте, ваше высочество... - Что это? - Волчье мясо. Примета есть: как волчьего мяса отведают муж, родильнице легче. Волчье мясо, отец ты мой, первое дело!

Герцог с покорным и бессмысленным видом старался проглотить кусочек жесткого, черного мяса, который застрял у него в горле. Старуха, наклонившись над ним, бормотала:

- Отче наш, иже еси. Семь волков, одна волчиха. На земли и небеси. Взвейся, ветер, наше лихо В чисто поле унеси.

"Свят, свят, свят - во имя Троицы единосущной и безначальной. Крапко слово наше. Аминь!"

Из комнаты больной вышел главный придворный медик Луиджи Марлиани в сопровождении других врачей. Герцог бросился к ним. - Ну, что? Как?.. ОНИ молчали.

- Ваша светлость,- произнес наконец Луиджи,- все меры приняты. Будем надеяться, что Господь в своем милосердии... Герцог схватил

его за руку.

- Нет, нет... Есть же какое-нибудь средство... Так нельзя... Ради Бога... Ну, сделайте же, сделайте что-нибудь!..

Врачи переглянулись, как авгуры, чувствуя, что надо его успокоить.

Марлиани, строго нахмутив брови, сказал по-латыни молодому врачу с румяным и наглым лицом:

- Три унции отвара из речных улиток с мушкатным орехом и красным толченым кораллом.

- Может быть, кровопускание?-заметил старичок с робким и добрым лицом.

- Кровопускание? Я уже думал,- продолжал Марлиани:-к несчастью, Марс-в созвездии Рака в четвертом доме Солнца. К тому же влияние нечетного дня... Старичок смиренно вздохнул и притих. - Как полагаете вы, учитель,- обратился к Марлиани другой врач, краснощекий, развязный, с непобедимо веселыми и равнодушными глазами,- не прибавить ли к отвару из улиток мартовского коровьего помета?

- Да,- задумчиво согласился Луиджи, потирая себе переносицу,- коровьего помета,- да, да, конечно! - О, Господи! Господи! - простонал герцог. - Ваше высочество,- обратился к нему Марлиани,- успокойтесь, могу вас уверить, что все, предписываемое наукой...

- К черту науку! - вдруг, не выдержав, накинулся на него герцог, с яростью сжимая кулаки,- Она умирает, умирает, слышите! А вы тут с отваром из улиток, с коровьим пометом!.. Негодяи!.. Вздернуть бы вас всех на виселицу!..

И в смертельной тоске заметался он по комнате, прислушиваясь к неумолкавшему воплю.

Вдруг взор его упал на Леонардо. Он отвел его в стооону:

- Послушай,- забормотал герцог, точно в бреду, видно сам едва помня, что говорит,-послушай, Леонардо, ты-стоишь больше, чем все они вместе. Я знаю, ты обладаешь великими тайнами... Нет, нет, не возражай... Я знаю... Ах, Боже мой, Боже мой, этот крик!.. Что я хотел сказать? Да, да,-помоги мне, друг мой, помоги, сделай что-нибудь!.. Я душу отдам, только бы помочь ей хоть ненадолго, только бы этого крика не слышать!.. Леонардо хотел ответить; но герцог, уже забыв о

нем, киНулСя навстречу капелланам и монахам, входившим в комнату.

- Наконец-то! Слава Богу! Что у вас? - Частицы мощей преподобного Амброджо, Пояс родоимости св. Маргариты, честнейший Зуб св. Христофора, Волос Девы Марии. - Хорошо, хорошо, ступайте, молитесь! Моро хотел войти с ними в комнату больной, но в это мгновение крик превратился в такой ужасающий визг и рев, что, заткнув уши, он бросился бежать. Миновав несколько темных зал, остановился в часовне, слабо освещенной лампадами, и упал на колени перед иконой. - Согрешил я. Матерь Божия, согрешил, окаянный, винного отрока погубил, законного государя моего Джан-Галеаццо! Но ты, Милосердная, Заступница единая, услышь молитву мою и помилуй! Все отдам, все отмолю, только спаси ее, возьми душу мою за нее! Обрывки нелепых мыслей теснились в голове его, мешая молиться: он вспомнил рассказ, над которым недавно смеялся,- о том, как один корабельщик, погибая во время бури, обещал Марии Деве свечу величиною с мачту корабля; когда же товарищ спросил его, откуда возьмет он воска для такой свечи, тот ответил: молчи, только бы спастись нам теперь, а потом будет время подумать; к тому же, я надеюсь, что Мадонна удовольствуется меньшею свечою.

- О чем это я, Боже мой!-опомнился герцог,- с ума схожу, что ли?..

Он сделал усилие, чтобы собрать мысли, и начал снова МОЛиться.

Будто яркие хрустальные шары, похожие на ледяные прозрачные солнца, поплыли, закружились перед ним, послышалась тихая музыка, вместе с назойливым припевом золотого мальчика: Скоро к вам, о люди, скоро я вернусь по воле Моро. Потом все исчезло.

Когда он проснулся, ему казалось, что прошло не более двух-трех минут; но, выйдя из часовни, увидел он в окнах, занесенных вьюгою, серый свет зимнего утра.

Моро вернулся в залы Рокетты. Здесь всюду была тишина. Навстречу ему попала женщина, несшая короб с пеленками. Она подошла и сказала:

- Разрешиться изволили. - Жива? -пролепетал он, бледнея. - Слава Богу! Но ребеночек умер. Очень ослабели. Желают вас видеть - пожалуйте.

Он вошел в комнату и увидел на подушках крошечное, как у маленькой девочки, с громадными впадинами глаз, точно затканными паутиной, спокойное, странно знакомое и чужое лицо. Он подошел к ней и наклонился.

- Пошли за Изабеллой... скорее,- произнесла она шепотом.

Герцог отдал приказание. Через несколько минут высокая стройная женщина с печальным суровым лицом, герцогиня Изабелла Арагонская, вдова Джан-Галеаццо, вошла в комнату и приблизилась к умирающей. Все удивились, кроме духовника и Моро, ставших поодаль.

Некоторое время обе женщины разговаривали шепотом. Потом Изабелла поцеловала Беатриче со словами последнего прощания и, опустившись на колени, закрыв лицо руками, стала молиться.

Беатриче снова подозвала к себе мужа.

- Вико, прости. Не плачь. Помни... я всегда с тобою... Я знаю, что ты меня одну...

Она не договорила. Но он понял, что она хотела сказать: ты меня одну любил.

Она посмотрела на него ясным, как будто бесконечно далеким взором и прошептала:

- Поцелуй.

Моро коснулся губами лба ее. Она хотела что-то сказать, не могла и только вздохнула чуть слышно: - В губы.

Монах стал читать отходную. Приближенные вернулись в комнату.

Герцог, не отрывая своих губ от прощального поцелуя,

чувствовал, как уста ее холодеют,- и в этом последнем Поцелуе принял последний вздох своей подруги. - Скончалась,- молвил Марлиани. Все перекрестились и стали на колени. Моро медленно приподнялся. Лицо его было неподвижно. Оно выражало не скорбь, а страшное, невероятное напряжение. Он дышал тяжело и часто, как будто через силу подымался на гору. Вдруг неестественно и странно взмахнул сразу обеими руками, вскрикнул: "Биче!" - и упал на мертвое тело. Из всех, кто там был, один Леонардо сохранил спокойствие. Глубоким испытующим взором следил он за герцогом. В такие минуты любопытство художника превозмогало в нем все. Выражение великого страдания в человеческих лицах, в движениях

тела наблюдал он как редкий необычайный опыт, как новое прекрасное явление природы. Ни одна морщина, ни один трепет мускула не ускользали от его бесстрастного всевидящего взора.

Ему хотелось как можно скорее зарисовать в памятную книжку лицо Моро, искаженное отчаянием. Он сошел в пустынные нижние покои дворца.

Здесь догорающие свечи коптили, роняя капли воска на пол. В одной из зал перешагнул он через опрокинутую, измятую арку "верных любовников". В холодном свете утра зловещими и жалкими казались пышные аллегии, прославлявшие Моро и Беатриче - триумфальные колесницы Нумы Помпилия, Августа, Траяна, Золотого Века. Он подошел к потухшему камину, оглянулся и, удостоверившись, что в зале нет никого, вынул записную книжку, карандаш и начал рисовать, как вдруг заметил в углу камина мальчика, служившего изваянием Золотого Века. Он спал, окоченелый от холода, скорчившись, съежившись, охватив руками колени, опустив на них голову. Последнее Дыхание стынувшего пепла не могло согреть его голого золотого тела.

Леонардо тихонько дотронулся до плеча его. Ребенок не поднял головы, только жалобно и глухо простонал. Художник взял его на руки.

Мальчик открыл большие, черно-синие как фиалки, испуганные глаза и заплакал:

- Домой, домой!..

- Где ты живешь? Как твое имя?-спросил Леонардо. - Липпи,- ответил мальчик.- Домой, домой! Ой,

тошно мне, холодно... Веки его сомкнулись; он залепетал в бреду:

Скоро к вам, о люди, скоро, С обновленной красотой, Я вернусь по воле Моро, Беспечальный Век Златой.

Сняв с плеч своих накидку, Леонардо завернул в нее ребенка, положил на кресло, вышел в переднюю, растолкал храпевших на полу, напившихся во время суматохи слуг и узнал от одного из них, что Липпи - сын бедного старого вдовца, пекаря на улице Бролетто Ново, который за двадцать скуди отдал ребенка для представления триумфа, хотя добрые люди предупреждали отца, что мальчик может умереть от позолоты.

Художник отыскал свой теплый зимний плащ, надел его, вернулся к Липпи, бережно закутал его в шубу и вышел из дворца, намереваясь зайти в аптеку купить нужных снадобий, отмыть позолоту с тела ребенка и отнести его домой.

Вдруг вспомнил о начатом рисунке, о любопытном выражении отчаяния в лице Моро.

"Ничего,- подумал,- не забуду. Главное - морщины над высоко поднятыми бровями и странная, светлая, как будто восторженная, улыбка на губах, та самая, которая делает сходным в человеческих лицах выражения величайшего страдания и величайшего блаженства - двух миров, по свидетельству Платона, разделенных в основаниях, вершинами сросшихся".

Он почувствовал, что мальчик дрожит от озноба. "Наш Век Золотой",- подумал художник с печальной усмешкой.

- Бедная ты моя птичка! - прошептал он с бесконечной жалостью и, закутав теплее, прижал к своей груди так нежно и ласково, что больному ребенку приснилось, что покойная мать ласкает его и баюкает.

Герцогиня Беатриче умерла во вторник, 2 января 1497 года, в 6 часов утра.

Более суток провел герцог у тела жены, не слушая никаких утешений, отказываясь от сна и пищи. Приближенные опасались, что он сойдет с ума.

Утром в четверг, потребовав бумаги и чернил, написал Изабелле д'Эсте, сестре покойной герцогини, письмо, в котором, извещая о смерти Беатриче, говорил между прочим: "Легче было бы нам самим умереть. Просим вас, не присылайте никого для утешения, дабы не возобновлять нашей скорби".

В тот же день, около полудня, уступая мольбам приближенных, согласился принять немного пищи; но сесть за стол не хотел и ел с голой доски, которую держал перед ним Ричардетто.

Сначала заботы о похоронах герцог предоставил главному секретарю, Бартоломео Калько. Но, назначая порядок шествия, чего никто не мог сделать, кроме него, малопомалу увлекся и с такою же любовью, как некогда великолепный новогодний праздник Золотого Века, начал устраивать похороны. Хлопотал, входил во все мелочи, с

точностью определял вес огромных свечей из белого и желтого воска, число локтей золотой парчи, черного и кармазинного бархата для каждого из алтарных покровов, количество мелкой монеты, гороху и сала для раздачи бедным на поминаение усопшей. Выбирая сукно для траурных одежд придворных служителей, не преминул пощупать ткань и приблизить к свету, дабы удостовериться в ее добротности. Заказал и для себя из грубого шероховатого сукна особое торжественное облачение "великого траура" с нарочитыми прорехами, которое имело вид одежды, разодранной в порыве отчаяния.

Похороны назначены были в пятницу, поздно вечером. Во главе погребального шествия выступали скороходы, булавоносцы, герольды, трубившие в длинные серебряные трубы с подвешенными к ним знаменами из черного шелка, барабанщики, бившие дробь похоронного марша, рыцари с опущенными забралами, с траурными хоругвями, на Конях, облеченных в попоны из черного бархата с белыми крестами, монахи всех монастырей и каноник Милана с горящими шестифунтовыми свечами, архиепископ Милана с причтом и клиром. За громадною колесницею с катафалком из серебряной парчи, с четырьмя серебряными ангелами и герцогскою короною, шел Моро в сопровождении брата своего, кардинала Асканио, послов цезарского величества, Испании, Неаполя, Венеции, Флоренции; далее-члены тайного совета, придворные, доктора и магистры Павийского университета, именитые купцы, по двенадцати выборных от каждого из Ворот Милана, и несметная толпа народа. Шествие было так длинно, что хвост его еще не выходил из крепости, когда голова уже вступала в церковь Марии делле Грации. Через несколько дней герцог украсил могилу мертворожденного младенца Леоне великолепной надписью. Он сочинил ее сам по-итальянски, Мерула перевел на латинский язык:

"Несчастное дитя, я умер прежде, чем увидел свет, еще несчастнее тем, что, умирая, отнял жизнь у матери, у отца - супругу. В столь горькой судьбе мне отрада лишь то, что произвели меня на свет родители богоподобные - Лудовикус и Беатрикс, медиоланские герцоги. 1497 год, третьи ноны января".

Долго любовался Моро этою Надписью, вырезанной золотыми буквами на плите черного мрамора, над маленькою гробницею Леоне, находившегося в том же монастыре Марии делле Грации, где покоилась Беатриче. Он разделял простодушное восхищение каменщика, который, кончив работу, отошел, посмотрел издали, склонив голову набок, и, закрыв один глаз, прищелкнул языком от удовольствия: - Не могила-игрушечка!

Было морозное солнечное утро. Снег на крышах домов сиял белизной в голубых небесах. В хрустальном воздухе веяло тою свежестью, подобной запаху ландышей, которая кажется благоуханием снега.

Прямо с мороза и солнца, точно в склеп, вошел Леонардо в темную душную комнату, обтянутую черною тафтою, с закрытыми ставнями и погребальными свечами. В первые дни после похорон герцог никуда не выходил из этой мрачной кельи.

Поговорив с художником о Тайной Вечере, которая должна была прославить место вечного упокоения Беатриче, он сказал ему:

- Я слышал, Леонардо, что ты взял на свое попечение мальчика, который представлял рождение Золотого Века на этом злополучном празднике. Как его здоровье?

- Ваше высочество, он умер в самый день похорон ее светлости.

- Умер! - удивился и в то же время как бы обрадовался герцог.- Умер... Как это странно!..

Он опустил голову и тяжело вздохнул. Потом вдруг обнял Леонардо:

- Да, да... Именно так и должно было случиться! Умер наш Век Золотой, умер вместе с моей ненаглядною! Похоронили мы его вместе с Беатриче, ибо не хотел и не мог он ее пережить! Не правда ли, друг мой, какое вещее совпадение, какая прекрасная аллегория!

Целый год прошел в глубоком трауре. Герцог не снимал черной одежды с нарочитыми прорехами и, не садясь за стол, ел с доски, которую перед ним держали придворные.

"После смерти герцогини,-писал в своих донесениях Марино Сануто, посол Венеции,-Моро сделался набожным, присутствует на всех церковных службах, постится, живет в целомудрии,-так, по крайней мере, говорят,- и в помыслах своих имеет страх Божий". Днем

в государственных делах герцог забывался порою, Вдруг и в этих занятиях недоставало ему Беатриче. Зато ночью тоска грызла его. Часто видел он ее во сне шестнадцатилетнею девочкою, какою вышла она замуж - своеНравною, резвою, как школьница, худенькою, смуглою, похожею на мальчика, столь дикою, что, бывало, пряталась в гвардаробные шкапы, чтобы не являться на торжественные выходы, столь девственной, что в течение трех месяцев после свадьбы все еще оборонялась от его любовных нападений ногтями и зубами, как амазонка. В ночь, за пять дней до первой годовщины смерти ее, Беатриче приснилась ему, какой он видел ее однажды во время рыбной ловли на берегу большого, тихого пруда, В ее любимом имении Куснаго. Улов был счастливый: ведра наполнились рыбой доверху. Она придумала забаву: засучив рукава, брала рыбу из влажных сетей и бросала пригоршнями в воду, смеясь и любуясь радостью освобожденных пленниц, их беглым чешуйчатым олеском в прозрачной волне. Скользкие окуни, язи, лещи трепетали в голых руках ее, брызги горели на солнце алмазами, горели глаза и смуглые щеки его милой девочки.

Проснувшись, почувствовал, что подушка смочена слезами.

Утром пошел в монастырь делле Грации, помолился над гробом жены, откушал с приором и долго беседовал с ним о вопросе, который в те времена волновал богословов Италии,- о непорочном зачатии Девы Марии. Когда стемнело, прямо из монастыря отправился к мадонне Лукреции.

Несмотря на печаль о жене и на "страх Божий", не только не покинул он своих любовниц, но привязался к ним еще более. В последнее время мадонна Лукреция и графиня Чечилия сблизились. Имея славу "ученой героини", "новой Сафо", Чечилия была простою и доброю женщиной, хотя несколько восторженной. После смерти Беатриче представился ей удобный случай для одного из тех вычитанных в рыцарских романах подвигов любви, о которых она давно мечтала. Она решила соединить любовь свою с любовью молодой соперницы, чтобы утешить герцога. Лукреция сперва дичилась и ревновала герцога, но "ученая героиня" обезоружила ее своим великодушием. Волей-неволей Лукреция должна была предаться этой странной женской дружбе.

Летом 1497 года родился у нее сын от Моро. Графиня Чечилия пожелала быть крестной матерью и с преувеличенной нежностью - хотя у нее были собственные дети от герцога - стала нянчиться с ребенком, "своим внучком", как она его называла. Так исполнилась заветная мечта Моро: любовницы его подружились. Он заказал придворному стихотворцу сонет, где Чечилия и Лукреция сравнивались с вечернею и утреннею зарею, а сам он, неутешный вдовец, между обеими лучезарными богинями,- с темною ночью, навеки далекой от солнца,-с Беатриче.

Войдя в знакомый уютный покой палаццо Кривелли, увидел он обеих женщин, сидевших рядом у очага. Так же как и все придворные дамы, они были в трауре. - Как здоровье вашего высочества? обратилась к нему Чечилия - "вечерняя заря", непохожая на "утреннюю", хотя столь же прекрасная, с матово-белою кожей, с огненно-рыжим цветом волос, с нежными, зелеными глазами, прозрачными, как тихие воды горных озер.

В последнее время герцог привык жаловаться на свое здоровье. В тот вечер чувствовал себя не хуже, чем всегда. Но, по обыкновению, принял томный вид, тяжело вздохнул и сказал:

- Сами посудите, мадонна, какое может быть мое здоровье? Только об одном и думаю, как бы поскорее лечь в могилу рядом с моей голубкой...

- Ах, нет, нет, ваша светлость, не говорите так? - воскликнула Чечилия, всплеснув руками.-Это большой грех. Как можно? Если бы мадонна Беатриче слышала вас?.. Всякое горе от Бога, и мы должны принимать с благодарностью...

- Конечно,- согласился Моро.- Я не ропщу. Боже меня сохрани? Я знаю, что Господь заботится о нас более, чем мы сами. Блаженны плачущие, ибо утешатся.

И крепко пожимая обеими руками ру-ки своих любовниц, он поднял глаза к потолку.

- Да наградит вас Господь, мои милые, за то, что вы не покинули несчастного вдовца? Вытер глаза платком и вынул из кармана траурного платья две бумаги. Одна из них была дарственная запись, в ней герцог жертвовал громадные земли виллы Сфорцески Вяджевано Павийскому монастырю делле Грации.

- Ваше высочество,- изумилась графиня,- кажется, вы так любили эту землю?

- Землю!-горько усмехнулся Моро.-Увы, мадонна, я разлюбил не только эту землю. Да и много ли надо человеку земли?..

Видя, что он опять хочет говорить о смерти, графиня с ласковым укором положила ему на губы свою розовую руку - А что же в другой? - спросила она с любопытством. Лицо его просветлело; прежняя, веселая и лукавая улыбка заиграла на губах.

Он прочел им другую грамоту, тоже дарственную запись с перечнем земель, лугов, рощ, селений, охот, садков, хозяйственных зданий и прочих угодий, коими жаловал герцог мадонну Лукрецию Кривелли и незаконного своего, Джан-Паоло. Здесь была упомянута и любимая покойной Беатриче вилла Куснаго, которая славилась рыбной ловлей.

Голосом, дрожавшим от умиления, прочел Моро последние слова грамоты:

"Женщина сия, в дивных и редких узах любви, явила нам совершенную преданность и выказала столь возвышенные чувства, что часто в приятном с нею общении безмерную обретали мы сладость и великое облегчение от наших забот".

Чечилия радостно захлопала в ладоши и кинулась на шею подруге со слезами материнской нежности. - Видишь, сестричка: говорила я тебе, что сердце У него золотое! Теперь мой маленький внучек Паоло богатейший из наследников Милана!

- Какое у нас число? - спросил Моро. - Двадцать восьмое декабря, ваша светлость,-ответила Чечилия. - Двадцать восьмое! -повторил он задумчиво. Это был тот самый день, тот самый час, в который ровно год назад покойная герцогиня явилась в палаццо Кривелли и чуть не застала врасплох мужа с любовницей. Он оглянулся. Все в этой комнате было по-прежнему: так же светло и уютно, так же зимний ветер выл в трубе; так же пылал веселый огонь в камине, и над ним плясала вереница голых глиняных амуров, играя орудиями Страстей Господних. И на круглом столике, крытом зеленою скатертью, стоял тот же граненый кувшин Бальнеа Апонитана, лежали те же ноты и мандолина. Двери были так же открыты в спальню и далее, в

уборную, где виднелся тот самый гвардаробный шкаф, в котором герцог спрятался от жены.

Чего бы, казалось ему, не дал он в это мгновение, чтобы вновь слышался внизу страшный стук молотка в двери дома, чтобы вбежала испуганная служанка с криком; "Мадонна Беатриче!"-чтобы хоть минутку постоять, как тогда, поджидать в гвардаробном шкафу, словно пойманному вору, слыша вдали грозный голос своей ненаглядной девочки. Увы, не быть, не быть тому вовеки!

Моро опустил голову на грудь, и слезы полились по щекам его.

- Ах, Боже мой! Вот видишь, опять плачет,- засуетилась графиня Чечилия.-Да ну же, приласкайся ты к нему как следует, поцелуй его, утешь. Как тебе не стыдно!

Она тихонько толкала соперницу в объятия своего любовника.

Лукреция давно уже испытывала от этой неестественной дружбы с графинею чувство, подобное тошноте, как от приторных духов. Ей хотелось встать и уйти. Она потупила глаза и покраснела. Тем не менее должна была взять герцога за руку. Он улыбнулся ей сквозь слезы и приложил ее руку к своему сердцу.

Чечилия взяла мандолину с круглого столика и, приняв то самое положение, в котором двенадцать лет назад изобразил ее Леонардо в знаменитом портрете новой Сафо,- запела песню Петрарки о небесном видении Лауры:

Levommi il mio pensier in parte ov'era Quella ch'io cereo e non ritrovo in terra. Я устремляю мои мысли к жилищу той, Кого ищу и найти не могу на земле. Среди блаженных, в третьем круге неба, Я увидел ее вновь более прекрасной и менее гордой. Взяв за руку меня, она сказала: "В этой сфере Ты будешь вновь со мной уже навеки. Я - та, что на земле с тобою враждовала И раньше вечера окончила мой день".

Герцог вынул платок и с мечтательною томностью закатил глаза. Несколько раз повторил он последнюю строчку, всхлипывая и простирая руки, как бы к пролетавшему видению: раньше вечера окончила мой день!

- Голубка моя!.. Да, да, раньше вечера!.. Знаете ли, мадонны, мне кажется, она смотрит с небес и благословляет нас троих... О, Биче, Биче!.. Он тихо склонился на плечо Лукреции, зарыдал и в то же время обнял ее стан и хотел привлечь к себе. Она противилась; ей

было стыдно. Он поцеловал ее украдкой в шею. Заметив это зорким материнским оком, Чечилия встала, указывая Лукреции на Моро, как сестра, поручающая подруге тяжело больного брата,- вышла на цыпочках не в спальню, а в противоположный покой и заперла за собою дверь. "Вечерняя заря" не ревновала к "утренней", ибо знала по давнему опыту, что очередь за нею то, что герцогу, после черных волос, покажутся еще прелестнее огненно-рыжие.

Моро оглянулся, обнял Лукрецию сильным, почти грубым движением и посадил к себе на колени. Слезы о покойной жене еще не высохли на глазах его, и на тонких, извилистых губах уже бродила шаловливая, откровенная улыбка.

- Точно монашенка -вся в черном! -смеялся он, покрывая ее шею поцелуями.- Ведь вот простенькое платьице, а как тебе к лицу. Это, должно быть, от черного кажется шейка такую белою?.. Он расстегивал агатовые пуговицы на ее груди, и вдруг блеснула нагота между складками траурного платья еще Наиболее ослепительная. Лукреция закрыла лицо руками. А над весело пылавшим камином в глиняных изваяниях Карадоссо голые амурсы или ангелы продолжали свою Вечную пляску, играя орудиями Страстей Господних - гвоздями, молотом, клещами, копьем,-и казалось, что в мерцающем розовом отблеске пламени они лукаво перемигиваются, перешептываются, выглядывая из-под виноградной кущи Вакха на герцога Моро с мадонной Лукрецией, и что толстые, круглые щеки их готовы лопнуть от смеха.

А издалека доносились томные вздохи мандолины и пение графини Чечилии:

Ivi fra lor, che Il terzo cerchio serra, La rivid), piu bella e meno altera. Там, среди блаженных, в третьем круге неба, Я увидел ее вновь более прекрасной и менее гордой.

И маленькие древние боги, слушая стихи Петрарки Месию новой небесной любви - хохотали, как безумные, <h2>ДЕВЯТАЯ КНИГА. ДВОЙНИКИ</h2>

- Изволите ли видеть, вот здесь, на карте, в Индейской океане, к западу от острова Таиробана,- надпись: морские чуда сирены. Кристофоро Колумбо рассказывал мне, что весьма удивился, доехав до этого места и не найдя сирен... Чему вы улыбаетесь? - Нет, ничего,

Гвидо. Продолжайте, я слушаю. - Да уж знаю, знаю... Вы полагаете, мессер Леонардо, что сирен вовсе нет. Ну, а что оказали бы вы о скиаподах, укрывающихся от солнца под тенью собственной ступни, как под зонтиком, или о пигмеях, с такими громадными ушами, что одно служит им подстилкою, другое одеялом? Или о дереве, приносящем вместо плодов яйца, из которых выходят птенцы в желтом пуху, наподобие утят - мясо их имеет рыбий вкус, так что и в постные дни может быть употребляемо? Или об острове, на котором корабельщики, высадившись, разложили костер, сварили ужин, а потом увидели, что это не остров, а кит, о чем передавал мне старый моряк в Лиссабоне, человек трезвый, клявшийся кровью и плотью Господней в истине слов своих?

Этот разговор происходил пять лет спустя после открытия Нового Света, на Вербной неделе, 6 апреля 1498 года во Флоренции, недалеко от Старого Рынка, на улице Мехащиков, в комнате над кладовыми торгового дома Помпео Берарди, который, имея товарные склады в Севилье, заведовал постройкой кораблей, отправлявшихся в земли, открытые Колумбом. Мессер Гвидо Берарди, племянник Помпео, с детства питал великую страсть к мореплаванию и намеревался принять участие в путешествии Васко да Гама, когда заболел появившеюся в те времена страшною болезнью, названной итальянцами французскою, французами-итальянскою, поляками-немецкою, московитами - польшою, а турками - христианскою. Тщетно лечился он у всех докторов и подвешивал восковые приапы ко всем чудотворным иконам. Разбитый параличом, осужденный на вечную неподвижность, он сохранял деятельную живость ума и, слушая рассказы моряков, просиживая ночи над книгами и картами, в мечтах переплывал океаны, открывал неведомые земли.

Мореходные снаряды - медные экваториальные круги, секстанты, астролябии, компасы, звездные сферы делали комнату похожей на каюту корабля. В дверях, открытых на балкон - флорентийскую лоджию, темнело прозрачное небо апрельского вечера. Пламя лампы порой качалось от ветра. Снизу из товарных складов поднимался запах чужеземных пряностей - индийского перца, имбиря, корицы, мускатного ореха и гвоздики. - Так-то, мессер

Леонардо!-заклучил Гвидо, потирая рукою больные закутанные ноги.- Недаром сказано: вера горами двигает. Если бы Колумбо сомневался, как вы, ничего бы он не сделал. А согласитесь, стоит поседеть тридцать лет от безмерных страданий, чтобы совершить такое открытие-местоположение рая земного! - Рая? - удивился Леонардо.- Что вы разумеете, Гвидо?

- Как? Вы и этого не знаете? Неужели же вы не слыхали о наблюдениях мессера Колумбо над Полярной звездой у Азорских островов, которыми доказал он, что земля имеет вид не шара, не яблока, как полагали доньше, а груши с отростком или припухлостью, наподобие сосца женской груди? На этом-то сосце - горе, столь высокой, что вершина ее упирается в лунную сферу небес"- находится рай...

- Но, Гвидо, это противоречит всем выводам науки... - Науки! - презрительно пожав плечами, перебил его собеседник.- Знаете ли, мессере, что говорит Колумбо о вере? Я приведу вам собственные слова его из "Книги пророчеств"-*"Libro de las profecias"*: "Отнюдь не математика или карты географов, не доводы разума помогли мне сделать то, что я сделал, а единственно - пророчество о новом небе и новой земле".

Гвидо умолк. У него начиналась обычная боль в суставах. По просьбе хозяина Леонардо кликнул слуг, которые отнесли больного в спальню.

Оставшись один, художник стал проверять математические выкладки Колумба в исследованиях движения Полярной звезды у Азорских островов и нашел в них столь грубые ошибки, что глазам своим не поверил.

- Какое невежество! - удивлялся он.- Точно в темноте нечаянно наткнулся на новый мир и сам не видит как слепой,- не знает, что открыл; думает - Китай, Офир Соломона, рай земной. Так и умрет, не узнав.

Он перечитал то первое письмо, от 29 апреля 1493 года, в котором Колумб возвещал Европе о своем открытии: "Письмо Христофора Колумба, коему век наш многим обязан, об островах Индейских над Гангом, недавно открытых".

Всю ночь просидел Леонардо над вычислениями и картами. Порой выходил на открытую лоджию, смотрел на звезды и, думая о пророке Новой Земли и Нового Неба - этом странном мечтателе, с умом и сердцем ребенка, невольно сравнивал судьбу его со своею:

- Как мало он знал, как много сделал! А я со всеми знаниями моими - неподвижен, точно этот Берарди, разбитый параличом: всю жизнь стремлюсь к неведомым мирам и шагу к ним не сделал. Вера, говорят они. Но разве совершенная вера и совершенное знание не одно и то же? Разве глаза мои не дальше видят, чем глаза Колумба, слепого пророка?.. Или таков удел человеческий: надо быть зрячим, чтобы знать, слепым, чтобы делать?

Леонардо не заметил, как ночь прошла. Звезды потухли. Розовый свет озарил черепичные выступы кровель и деревянные косые перекладыны в стенах ветхих кирпичных домов. На улице послышался шелест и говор толпы.

В дверь постучались. Он отпер. Вошел Джованни и напомнил учителю, что в этот день - Вербную Субботу - назначен "огненный поединок". - Что за поединок? - спросил Леонардо. - Фра Доминико за брата Джироламо Савонаролу и фра Джульяно Рондинелли за врагов его войдут в огонь костра, и тот, кто останется невредим, докажет свою правоту перед Богом,- объяснил Бельтраффио.

- Ну, что же... Ступай, Джованни. Желаю тебе любопытного зрелища. - А разве вы не пойдете? - Нет,- видишь, я занят.

Ученик хотел проститься, но, сделав над собой усилие, сказал:

- По дороге сюда встретил я мессера Паоло Соменци. обещал зайти за нами и провести нас на лучшее место, откуда видно все. Жаль, что вам некогда. А я Думал... может быть... Знаете, мастер?.. Поединок назначен на полдень. Если бы вы к тому времени кончили работу, то еще успели бы?.. Леонардо улыбнулся.

- А тебе так хочется, чтобы и я увидел это чудо? Джованни потупил глаза.

- Ну, да уж нечего делать-пойду. Бог с тобою! В назначенное время вернулся Бельтраффио к учителю вместе с Паоло Соменци, подвижным, вертлявым, точно ртутью налитым, человеком, главным флорентинским шпионом герцога Моро, злейшего врага Савонаролы.

- Что это, мессер Леонардо? Правда ли, будто бы вы желаете сопутствовать нам? - заговорил Паоло неприятным крикливым голосом, с шутовскими ужимками кривляниями.- Помилуйте! Кому же, как не вам, любителю естественных наук, присутствовать при этом физическом опыте?

- Неужели позволят им войти в огонь? - молвил Леонардо.

- Как вам сказать? Ежели дело дойдет до того,- конечно, фра Доминико и перед огнем не отступит. Да и не он один. Две с половиной тысячи граждан, богатых и бедных, ученых и невежд, женщин и детей, объявили вчера в обители Сан-Марко, что желают участвовать в поединке. Такая, доложу вам, бессмыслица, что и у разумных людей голова идет кругом. Философы-то наши, вольнодумцы, и те боятся: а ну, как один из монахов возьмет да и не сгорит? Нет, мессере, вы только представьте себе лица благочестивых "плакс", когда оба сгорят! - Не может быть, чтобы Савонарола верил,- произнес Леонардо в раздумьи, как будто про себя. - Он-то, пожалуй, и не верит,- возразил Соменци,- или, по крайней мере, не совсем верит. И рад бы на попятный двор, да поздно. На свою голову разлакомил чернь. У них, у всех теперь слюнки текут - подавай им чудо, и конец! Ибо тут, мессере, тоже математика, и не менее любопытная, чем ваша: ежели есть Бог, то отчего Им не сделать Ему чуда, так чтобы дважды два было не четыре, а пять, по молитве верных, к посрамлению безбожных вольнодумцев - таких, как мы с вами? - Ну, что же, пойдем, кажется, пора?-сказал Леонардо, с нескрываемым отвращением взглянув на Паоло. - Пора, пора!- засуетился тот.-Еще одно только словечко. Механику-то с чудом, думаете, кто подвел? Я! Вот мне и хочется, мессер Леонардо, чтобы вы ее оценили - ибо, если не вы, то кто же?..

- Почему именно я? - произнес художник с брезгливостью.

- Будто бы не понимаете? Я человек простой, сами видите, душа нараспашку. Ну и ведь тоже отчасти философ. Знаю, чего стоят бредни, которыми монахи нас пугают. Мы с вами, мессер Леонардо, в этом деле сообщники. Вот почему, говорю я, на нашей улице праздник. Да здравствует разум, да здравствует наука, ибо есть ли Бог или нет Его,- дважды два все-таки четыре!

Они вышли втроем. По улицам двигалась толпа. В лицах было выражение праздничного ожидания и любопытства, которое Леонардо уже заметил в лице Джованни.

На улице Чулочников, перед Орсанмикеле, там, где стояло в углублении стены бронзовое изваяние Андреа Вероккьо - апостол Фома, влагающий персты свои в язвы Господа,- была особенная давка. Одни читали по складам, другие слушали и толковали вывешенные на стене, отпечатанные большими красными буквами, восемь богословских тезисов, истину коих должен был подтвердить или опровергнуть огненный поединок:

I. Церковь Господня обновится.

II. Бог ее покарает.

III. Бог ее обновит.

IV. После кары Флоренция также обновится и возвеличится над всеми народами.

V. Неверные обратятся.

VI. Все это исполнится немедленно.

VII. Отлучение Савонаролы от Церкви папою Александром VI недействительно.

VIII. Не приемлющие отлучения сего не согрешают. Теснимые толпою, Леонардо, Джованни и Паоло остановились, прислушиваясь к разговорам.

- Так-то оно так, а все же, братцы, страшно,- говорил старый ремесленник,-"ак бы греха не вышло?

- Какой же может быть грех, Филиапо? - возразил молодой подмастерье, с легкомысленной и самонадеянной усмешкой.-Я полагаю, никакого греха тут быть не может...

- Соблазн, друг ты мой,- настаивал Филиппе.- Чуда просим', а достойны ли мы чуда? Сказано: Господа Бога твоего не искушай.

- Молчи, старик. Чего каркаешь? Кто веру имеет с горчичное зерно и велит горе сдвинуться,- будет по слову его. Не может Бог не сделать чуда, ежели веруем! - Не может! Не может! -подхватили голоса в толпе. - А кто, братцы, первый в огонь войдет, фра Доминико или фра Джироламо?

- Вместе.

- Нет, фра Джироламо только молиться будет, а сам не войдет.

- Как не войдет? Кому же и входить, если не ему? Сперва Доминико, а потом и Джироламо, ну, а за ними мы сподобимся, грешные,- все, кто в монастыре СанМарко записались.

- А правда ли, будто отец Джироламо воскресит мертвого?

- Правда! Сперва огненное чудо, а потом воскресение мертвого. Я сам читал письмо его к папе. Пусть, говорит, противника назначат: к могиле оба подойдем и скажем поочередно: встань! По чьему велению мертвый встанет из гроба, тот и есть пророк, а другой - обманщик.

- Погодите, братцы, то ли еще будет! Веру имейте в Сына Человеческого уврите во плоти, грядущего на облаках. Такие знамения пойдут, такие чудеса, каких и древне бывало!

- Амины! Амины!-раздавалось в толпе, и лица бледнели, глаза загорались безумным опием. Толпа сдвинулась, увлекая их. В последний раз оглянулся Джованни на изваяние Вероккьо. И ему почудилоСь в нежной, лукавой и бесстрашно любопытной улыбке Фомы Неверного, влагающего пальцы в явы Господа, сходство с улыбкой Леонардо.

Подходя к площади Синьории, попали они в такую давку, что Паоло вынужден был обратиться с просьбой к проезжавшему всаднику городского ополчения, чтобы он вывел их к Риягьере - каменному помосту перед Ратушей, где были места для послов и знатных граждан. Никогда, казалось Джованни, не видел он такой толпы. Не только вся площадь, но и лоджии, башни, окна, цоколи домов кишели народом. Цепляясь за вбитые в стену Железные подсвечники факелов, за решетки, кровельные выступы домов и водосточные трубы, люди висели, точно реяли, в головокружительной высоте. Дрались из-за мест. Кто-то упал и разбился до смерти.

Улицы заставлены были рогатками с цепями - кроме трех, где стояли городские стражники, пропускавшие поодиночке только мужчин, взрослых и безоружных.

Паоло, указав спутникам на костер, объяснил устройство "машины". От подножья Рингьеры, где находился Марцокко - геральдический бронзовый лев города Флоренции, по направлению к черепичному навесу - Крыше Пизанцев, разложен был костер, узкий, длинный, с проходом для испытуемых - тропинкой, мощенной

камнем, глиной и песком, между двумя стенами дров, обмазанных дегтем и обсыпанных порохом,

Из улицы Векереккиа вышли францисканцы, враги Савонаролы, потом-доминиканцы. Фра Джироламо в белой шелковой рясе с блистающей на солнце дароносицей в руках и фра Доминико в огненно-красной бархатной одежде заключали шествие.

"Воздайте славу Богу,- пели доминиканцы,- величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во Святилище Твоем".

И подхватывая песнь монахов, толпа ответила им потрясающим криком:

- Осанна! Осанна! Благословен Грядый во имя Господне!

Враги Савонаролы заняли соседнюю с Ратушей, ученики его - другую половину Лоджии Орканьи, разделенной для этого случая надвое дощатою перегородкою.

Все было готово; оставалось зажечь костер и войти в него.

Каждый раз, как из Палаццо Веккьо выходили комиссары, устроители поединка, толпа замирала. Но, подбежав к фра Доминико и о чем-то с ним пошептавшись, возвращались они во Дворец. Фра Джульяно Рондинелли скрылся.

Недоумение, напряжение становились невыносимыми. Иные приподымались на цыпочках, вытягивали шеи, чтобы лучше видеть; иные, крестясь и перебирая четки, молились простодушною, детскою молитвою, повторяя все одно и то же: "сделай чудо, сделай чудо, сделай чудо, Господи!"

Было тихо и душно. Раскаты грома, слышные с утра, приближались. Солнце жгло.

На Рингьеру из Палаццо Веккьо вышло несколько знатных граждан, членов Совета, в длинных одеждах из темно-красного сукна, похожих на древнеримские тоги.

Синьоры! Синьоры!-хлопотал старичок в круглых очках, с гусиным пером за ухом, должно быть, секретарь Совета.- Заседание не кончено. Пожалуйста, голоса собирают...

- Ну их к черту, провались они со своими голосами!-воскликнул один из граждан.-Довольно с меня! Уши вянут от глупостей.

- И чего ждут? -заметил другой.- Если они так желают сгореть, пустить их в огонь-и дело с концом! - Помилуйте, смертоубийство...

- Пустяки! Подумаешь, какое горе, что на свете Меньше будет двумя дураками!

- Вы говорите, сгорят. Но надо, чтобы по всем правилам Церкви, по канонам сгорели - вот в чем суть! Это дело тонкое, богословское...

- А если богословское, отправить к папе... - При чем тут папа и не папа, монахи и не монахи? О народе, синьоры, должны мы подумать. Ежели бы можно было восстановить спокойствие в городе этою мерою, то, конечно, следовало бы отправить не только в огонь, но и в воду, воздух, землю всех попов и монахов!

- Достаточно - в воду. Мой совет: приготовить чан с водой и окунуть в него обоих монахов. Кто выйдет сух из воды, тот и прав. По крайней мере, безопасно!

- Слышали, синьоры?-подобострастно хихикая, вмешался Паоло.- Бедняга-то наш, фра Джульяно Рондинелли так перетрусил, что заболел расстройством желудка. Кровь пустили, чтобы не умер от страха.

- Вы все шутите, мессеры,- молвил важный старик с умным и грустным лицом,- а я, когда слышу такие речи от первых людей моего народа, не знаю, что лучше - жить или умереть. Ибо воистину руки опустились бы у предков наших, основателей этого города, если бы могли они предвидеть, что потомки их дойдут до такого позора!..

Комиссары продолжали шмыгать из Ратуши в лоджию, из лоджии в Ратушу, и, казалось, переговорам конца не будет.

Францисканцы утверждали, что Савонарола заколдовал рясу Доминико. Он снял ее. Но чары могли быть и в нижнем платье. Тот пошел во дворец и, раздевшись донага, облекся в платье другого монаха. Ему запретили приближаться к брату Джироламо, чтобы тот не заколдовал его снова. Потребовали также, чтобы он оставил крест, который держал в руках. Доминико согласился, но сказал, что войдет в костер не иначе, как со Св. Дарами. Тогда

францисканцы объявили, что ученики Савонаролы хотят сжечь Плоть и Кровь Господню. Напрасно Доминико Джироламо доказывали, что Св. Причастие не может СГОРЕТЬ; ЧТО В огне погибнет только преходящий модус, а не вечная субстанция. Начался

схоластический спор. В толпе слышался ропот. В то же время небо покрывалось тучами. Вдруг из-за Палаццо Веккьо, из Львиной улицы Виа деи Леони, где содержались в каменном логове львы, геральдические звери Флоренции, раздалось протяжное голодное рыканье. Должно быть, в тот день, в суматохе приготовлений, забыли их накормить.

Казалось, что медный Марцокко, возмущенный позором своего народа, рычит от ярости.

И на звериный рев толпа откликнулась еще более страшным голодным, человеческим ревом:

- Скорее, скорее! В огонь! Фра Джироламо! Чуда! Чуда! Чуда!

Савонарола, молившийся перед Чашей с Дарами, как будто очнулся, подошел к самому краю ЛОДЖИИ и привычным властным движением поднял руки, повелевая народу молчать. Но народ не замолчал.

В задних рядах, под Крышей Пизанцев, среди шайки "бешеных", кто-то крикнул: - Струсил!

И по всей толпе пронесся этот крик.

На задние ряды напирала железная конница "аррабиати". Они хотели, протеснившись к лоджии, напасть на Савонаролу и убить его в свалке.

- Бей, бей, бей проклятых святош! слышались неистовые вопли.

Перед Джованни замелькали зверские лица. Он зажмурил глаза, чтобы не видеть, думая, что брата Джироламо сейчас схватят и растерзают.

Но в это мгновение грянул гром, небо вспыхнуло молнией, и хлынул дождь, такой, какого давно не видали во Флоренции.

Он длился недолго. Но когда стих, нечего было думать об огненном поединке: из прохода между двумя стенами дров, как из водосточного желоба, струился бурный поток. - Ай да монахи! - смеялись в толпе. - шли в огонь, попали в воду. Вот так чудо! Отряд воинов провожал Савонаролу сквозь разъяренную толпу. После бури наступило тихое ненастье. Сердце Бельтраффио сжалось, когда увидел он, как, ПОД медленным серым дождем, брат Джироламо шел торопливым, падающим шагом, сгорбившись, опустив куколь. На глаза, в белой одежде, забрызганной уличной грязью.

Леонардо взглянул на бледное лицо Джованни и, взяв его за руку, опять, как во время Сожжения Сует, вывел Из толпы.

На следующий день, в той же комнате в доме Берарди, похожей на каюту корабля, доказывал художник мессеру Гвидо нелепость мнения Колумба о местоположении Рая на сосце грушевидной земли.

Тот сначала слушал внимательно, возражал и спорил; потом вдруг затих и опечалился, как будто обиделся на Леонардо за истину.

Немного погодя, жалуясь на боль в ногах, Гвидо велел унести себя в спальню.

"Зачем я огорчил его. - подумал художник.- Не истина нужна ему, так же как ученикам Савонаролы, а чудо".

В одной из рабочих тетрадей, которые он перелистывал, на глаза ему попались строки, писанные в памятный день, когда чернь ломилась в дом его, требуя Святейшего Гвоздя:

"О, дивная справедливость Твоя, Первый Двигатель! Ты не пожелал лишить никакую силУ порядка и качества необходимых действий: ибо, если должно ей подвинуть тело на сто локтей и на пути встречается преграда, Ты повелел, чтобы сила удара произвела новое движение, получая замену непройденного пути различными толчками и сотрясениями. О, божественная необходимость Твоя, Первый Двигатель,-так принуждаешь Ты своими Законами все последствия вытекать кратчайшим путем из приЧины. Вот чудо!"

И вспомнив о Тайной Вечере, о лике Христа, которого он все еще искал и не находил, художник почувствовал, что между этими словами о Первом Двигателе, о божественной необходимости и совершенною мудростью Того, Кто сказал: "один из вас предаст Меня"-должна быть СВЯЗЬ.

Вечером пришел к нему Джованни и рассказал о событиях дня.

Синьория повелела брату Джироламо и Доминико покинуть город. Узнав, что они медлят, "бешеные", с оружием, с пушками и несметной толпой народа, окружили обитель Сан-Марко и ворвались в церковь, где монахи служили вечерню. Они защищались, нанося удары горячими свечами, подсвечниками, деревянными и медными распятиями. В клубах порохового дыма, в зареве пожара, казались они смешными, как разъяренные голуби, страшными, как дьяволы. Один взобрался на крышу церкви и бросал оттуда камни. Другой

вскочил на алтарь и, стоя под Распятием, стрелял из аркебузы, выкрикивая после каждого выстрела: "Слава Господу!"

Монастырь взяли приступом. Братья молили Савонаролу бежать. Но он предался в руки врагов вместе с Доминико. Их повели в тюрьму.

Стражи Синьории напрасно хотели или делали вид, что хотят охранить их от оскорблений толпы.

Одни ударяли брата Джироламо сзади по щекам и груди, подражая церковному пению "плакс";

- Прореки, прореки, ну-ка. Божий человек, кто ударил, прореки!

Другие ползали в ногах его, на четвереньках, как будто искали чего-то в грязи и хрюкали: "Ключика, ключика! Не видал ли кто Джироламова ключика?"-намекая на часто упоминавшийся в проповедях его "ключик", который грозил он отпереть тайники римских мерзостей.

Дети, бывшие солдаты Священного Воинства маленьких инквизиторов, кидали в него гнилыми яблоками, тухлыми яйцами.

Те, кому не удалось пробраться сквозь толлу, вопили издали, повторяя все одни и те же бранные слова, как будто не могли ими насытиться:

- Трус! Трус! Трус! Иуда! Предатель! Содомит! Колдун! Антихрист!

Джованни проводил его до дверей тюрьмы в Палаццо Веккьо. На прощание, когда брат Джироламо переступал порог темницы, из которой должен был выйти на смертную казнь, один весельчак поддал ему коленом в зад и крикнул:

- Вот откуда выходили у него пророчества! На следующее утро Леонардо с Джованни выехали из Флоренции.

Тотчас по приезде в Милан погрузился художник в работу, которую откладывал в течение восемнадцати лет,- над ликом Господним в Тайной Вечере.

В самый день неудавшегося огненного поединка, канун Вербного Воскресенья, 7-го апреля 1498 г. скоростижно умер король Франции Карл VIII.

Весть о его кончине ужаснула Моро, ибо на престол должен был вступить под именем Людовика XII злейший Недруг дома Сфорца, герцог Орлеанский. Внук Валентины Висконти, дочери первого

миланского герцога, считал он себя единственный законным наследником Ломбардии И намеревался отвоевать ее, разорив дотла "разбойничье Гнездо Сфорца".

Еще до смерти Карла VIII в Милане при дворе Моро происходил "ученый поединок", который так понравился герцогу, что через два месяца назначен был второй. Многие полагали, что он отменит это состязание ввиду предстоявшей войны, но ошиблись, ибо Моро, искушенный в притворстве, счел для себя выгодным показать врагам, что мало заботится о них, что под кроткою державою Сфорца более, чем когда-либо, процветают в Ломбардии возрожденные искусства и науки, "плоды золотого мира", что престол его охраняется не только оружием, но и славою просвещеннейшего из государей Италии, покровителя муз.

В Рокетте, в "большой зале для игры в мяч", собрались доктора, деканы, магистры Павийского университета, в красных четырехугольных шапках, в шелковых пунцовых наплечниках, подбитых горностаем, с фиолетовыми замшевыми перчатками и шитыми золотом мошнами у пояса. Придворные дамы - в роскошных бальных нарядах. В ногах у Моро, по обеим сторонам его трона, сидели мадонна Лукреция и графиня Чечилия.

Заседание открылось речью Джордже Мерулы, который, сравнивая герцога с Периклом, Эпаминондом, Сципионом, Катонем, Августом, Мecenатом, Траяном, Титом и множеством других великих людей, доказывал, что новые Афины - Милан превзошли древние.

Затем начался богословский спор о непорочном зачатии Девы Марии; медицинский - по вопросам:

"Красивые женщины плодороднее ли некрасивых? Естественно ли было исцеление Товия рыбною желчью? Есть ли женщина несовершенное соадание природы? В какой внутренней части тела образовалась вода, вытекшая из раны Господа, когда на кресте Он пронзен был копьем? Женщина сладострастнее ли мужчины?"

Следовало состязание философское о том, многообразна ли первично-первая материя или едина? - Что значит сия апофтегма?-спрашивал старичок с ядовитой беззубой усмешкой, с глазами мутными, как у грудных детей, великий доктор схоластики, сбивая с толку своих противников и устанавливая такое тонкое отличие

quidditas от habitus , сущности от внешнего (лат.). что никто не мог его понять.

- Первично-первая материя,- доказывал другой,- не есть ни субстанция, ни акцидент. Но поколику под всяким актом разумеется или акцидент, или субстанция, потолику первично-первая материя не есть акт.

- Я утверждаю,- восклицал . третий,- что всякая созданная субстанция, духовная или телесная, причастна материи. Старый доктор схоластики только покачивал головой, точно заранее знал все, что возразят ему противники, и мог разрушить софизмы их одним дуновением, как паутину.

- Скажем так,- объяснял четвертый,- мир есть дерево: корни-первая материя, листья-акцидент, ветвисубстанция, цвет - разумная душа, плод - ангельская природа, Бог - садовник.

- Первично-первая материя едина,- выкрикивал пятый, никого не слушая,- вторично-первая двойственна, третично-первая множественна. И все стремятся к единству. Omnia unitatem appetunt.

Леонардо слушал, как всегда, молчаливый и одинокий; порой тонкая усмешка скользила по его губам.

После перерыва математик, францисканский монах фра Лука Паччоли, показал хрустальные изображения многогранников - полиНдрОМОВ, излагая пифагорейское учение о пяти первообразных правильных телах, из коих будто бы возникла вселенная, и прочел стихи, которыми эти тела сами себя прославляют:

Науки плод сладчайший и прелестный Всех побуждал издревле мудрецов Искать причины нашей неизвестной, Мы красотой сияем бестелесной. Мы - первое начало всех миров, И нашею гармонией чудесной Платон пленялся, Пифагор, Евклид. Предвечную мы наполняем Сферу, Такой имея совершенный вид, Что всем телам даем закон и меру.

Графиня Чечилия, указывая на Леонардо, шепнула что-то герцогу. Тот подозвал его и просил принять участие в поединке. - Мессере,- приступила к нему сама графиня,- будьте любезны...

- Видишь, дамы просят,- молвил герцог.- Не скромНИчай. Ну, что тебе стоит? Расскажи нам что-нибудь поЗАНЯТНЕЕ. я ведь знаю, ум у тебя всегда полон чудеснейШИМИ химерами...

- Ваше высочество, увольте. Я бы рад, мадонна Чечилия, но, право же, не могу, не умею... Леонардо не притворялся. Он в самом деле не любил И Не умел говорить перед толпою. Между словом и мыслью еГо была вечная преграда. Ему казалось, что всякое слово преувеличивает или не договаривает, изменяет и лжет. Отмечая свои наблюдения в дневниках, он постоянно переделывал, перечеркивал и поправлял. Даже в разговоре запиНАЛСЯ, путался, обрывал - искал и не находил слов. Ораторов, писателей называл болтунами, щелкоперами, а между тем, втайне, завидовал иМ. Округленная плавность речи, ИНОгда у самых ничтожных людей, внушала ему досаду, смешанную С простодушным восхищением: "дает же Бог Людям такое искусство! - думал он. Но чем усерднее отказывался Леонардо, тем более настаивали дамы.

- Мессере,- щебетали они хором, окружив его,- пожалуйста! Мы все, видите, все умоляем вас. Ну раоскажите же, расскажите нам что-нибудь хорОШенькое!..

- О том, как люди будут летать,- предложила дондзелла Фиордализа.

- Лучше о магии,-подхватила дондзелла Эрмеллина,- о черной магии. Это так любопытно! Некромантия - КАК мертвецов из могил вызывают...

- Помилуйте, мадонна, могу вас уВерить, я никогда мертвецов не вызывал...

- Ну, все равно, о чем-нибудь другом. Только постраШнее-и без математики...

Леонардо не умел отказывать, кто и о чем бы его ни просил.

- Я, право, не знаю, мадонны...- проговорил он в смущении.

- Согласен! Согласен!-захлопала в ладоши ЭрмелЛИНа.-Мессер Леонардо будет говорить. Слушайте! - Что такое? А? Кто? - спрашивал выживший из УМА от старости, тугой На ухо, декан богословского факультета.

- Леонардо! - крикнул ему сосед, молодой магистр медицины.

- О Леонардо Пизано, математике, что ли? - Нет, сам Леонардо да Винчи. - Да Винчи? Доктор или магистр?

- Не доктор и не магистр, даже не бакалавр, а так, просто художник Леонардо, тот, что Тайную Вечерю написал.

- Художник? О живописи? - Кажется, по естественным наукам... - По естественным наукам? Да разве ныне художники учеными стали? Леонардо?.. Что-то не слыхал... Какие же у него сочинения? - Никаких. Он не издает. - Не издает?

- Говорят, все левою рукою пишет,- вмешался Другой сосед,- тайным письмом, так, чтобы нельзя было разобрать.

- Чтобы нельзя было разобрать? Левою рукою? - с возрастающим изумлением повторял декан.- Да это, мессеры, должно быть, что-нибудь смешное. А? Для отдыха от занятий, я так полагаю, для развлечения герцога и прекраснейших синьор? - Может быть, и смешное. Вот посмотрим... - Ну, то-то. Вы бы так и сказали... Конечно, люди придворные: нельзя не повеселиться. Ну, да и забавный народ эти художники-умеют потешить! Вот Буффальмако, шут, говорят, был тоже и весельчак хоть куда... Ну, послушаем, послушаем, какой такой Леонардо!

Он протер очки, чтобы лучше видеть предстоявшее зрелище.

С последней мольбой взглянул Леонардо на герцога. Тот, улыбаясь, хмурился. Графиня Чечилия грозила пальчиком.

- Пожалуй, рассердятся,- подумал художник.- Скоро надо просить о выдаче бронзы для Коня... Э, все равно, куда ни шло - расскажу им первое, что в голову взбредет,- только бы отвязаться!

С отчаянною решимостью он взошел на кафедру и оглянул ученое собрание.

- Я должен предупредить ваши милости,- начал он, заикаясь и краснея, как школьник.- Для меня неожиданно... Только по настоянию герцога... То есть, я хочу сказать... мне кажется... ну, словом - я буду говорить о раковинах.

Он стал рассказывать об окаменелых морских животных, отпечатках водорослей и кораллов, находимых в пещерах В горах, вдали от моря,- свидетелях того, как с незапамятной древности лицо земли изменялось - там, где нынче суша и горы, было дно океана. Вода, двигатель природы - ее возница - создает и разрушает горы. Приближаясь к середине морей, берега растут, и внутренние, средиземные моря постепенно обнажают дно, оставляя лишь Русло единой реки, впадающей в океан. Так По, высушив ломбардию, впоследствии сделает то же со всей Адриатикой. Нил, превратив

Средиземное море в песчаные холмы И равнины, подобные Египту и Ливии, будет впадать в океАН за Гибралтаром.

- Я уверен,- заключил Леонардо,- что исследование окаменелых животных и растений, которым доныне ученые пренебрегали, даст начало новой науке о земле, об ее прошлом и будущем.

Мысли его были так ясны, точны, полны, несмотря на Видимую скромность, непоколебимой верою в знание, так Не похожи на туманные пифагорейские бредни Паччоли, на мертвую схоластику ученых докторов, что, когда он умолк, На лицах выразилось недоумение: как быть? что делать? хвалить или смеяться? новая ли это наука, или самонадеянный лепет невежды?

- Мы очень бы желали, мой Леонардо,- сказал герцог со снисходительной улыбкой, как взрослые говорят с детьми,- мы очень бы желали, чтобы пророчество твое исполнилось, чтобы Адриатическое море высохло, и венецианцы, наши враги, остались на лагунах своих, как раки На мели!

Все почтительно и вместе с тем преувеличенно Засмеялись. Направление было дано - и придворные флюгера повернулись по ветру. Ректор Павийского УНИверситета, Габриеле Пировано, серебристо-седой, благообразный старик, С величественным и ничтожным лицом, произнес, отражая в учтиво-осторожной, плоской улыбке своей снисходительную шутовскую герцога:

- Сообщенные вами сведения очень любопытны, мессер Леонардо. Но я позволю себе заметить: не проще ли объяснить происхождение этих маленьких ракушек-случайной, забавной, можно сказать, очаровательной, но совершенно невинной игры природы, на коей вы желаете основать целую науку,-не проще ли, говорю я, объяснить Их происхождение, как и раньше это делали,- всемирным потопом?

- Да, да, потоп,-подхватил Леонардо, уже без всякого смущения, с непринужденностью, которая многим показалась чересчур вольной, даже дерзкой,-я знаю, все говорят: потоп. Только объяснение это никуда не годится. Посудите сами: уровень воды во время потопы, по словам того, кто измерял его, был на десять локтей выше высочайших гор. Следовательно, раковины, носимые бурными волнами, должны были бы опуститься сверху, непременно сверху,

мессер Габриеле, а не сбоку, не у подножия гор, но внутри подземных пещер, и притом - в беспорядке, по прихоти волн, а не на одном и том же уровне, не последовательными слоями, как мы это наблюдаем. И ведь заметьте,- вот что любопытно!- те животные, которые водятся стадами - слизизяки, каракатицы, устрицы - так и лежат вместе; а живущие в одиночку лежат порознь, точь-в-точь, как мы это можем видеть и ныне на морских берегах. Я сам много раз наблюдал расположение окаменелых раковин в Тоскане, в Ломбардии, в Пьемонте. Если же вы скажете, что они занесены не волнами потопа, а сами мало-помалу поднялись за водой, по мере того, как она прибывала, то и это возражение очень легко опровергнуть, ибо раковина - животное столь же или даже еще более медлительное, чем улитка. Никогда не плавает она, а только ползает по песку и камням посредством движения створ, и самое большее, что может сделать в день такого пути,- три, четыре локтя. Как же, скажите на милость, как же вы хотите, мессер Габриеле, чтобы в течение сорока дней, которые длился потоп, по свидетельству Моисея, проползла она 250 миль, отделяющих холмы Монферато от берегов Адриатики? Утверждать это посмеет лишь тот, кто, пренебрегая опытом и наблюдением, судит о природе по книгам, по измышлениям болтунов-словесников и ни разу не любопытствовал собственными глазами взглянуть на то, о чем говорит!

Наступило неловкое молчание. Все чувствовали, что возражение ректора слабо и что не он на Леонардо, а скорее Леонардо на него имеет право смотреть как учитель на ученика.

Наконец, придворный астролог, любимец Моро, мессер Амброджо да Розате, предложил, ссылаясь на Плиния Натуралиста, другое объяснение: окаменелости, имеющие только вид морских животных, образовались в недрах земли магическим действием звезд.

При слове "магический" покорная скучающая усмешка заиграла на губах Леонардо.

- Как же, мессер Амброджо,- возразил он,- объясните вы то, что влияние одних и тех же звезд, на одном

и том же месте образовало животных не только различных видов, но и различных возрастов, ибо я открыл, что по створам раковин, так

же, как по рогам быков и овец, по срубленным стволам деревьев, можно с точностью определить число не только лет, но и месяцев их жизни? Как объясните вы, что одни из них цельные, другие сломанные, или с песком, илом, клешнями крабов, с рыбьими костями и зубами, с крупным щебнем, подобным тому, какой встречается на морских берегах, из камешков, скругленных волнами? А нежные отпечатки листьев на скалах высочайших гор? А водоросли, прилипшие к раковинам, окаменелые, слитые в один комок? Откуда все это? От влияния звезд? Но ведь, ежели так рассуждать, мессере, то я полагаю, во всей природе не найдется ни одного явления, которого бы нельзя было объяснить магическим влиянием звезд-и тогда все науки, кроме астрологии, тщетны... Старый доктор схоластики попросил слова и, когда ему дали его, заметил, что спор ведется неправильно, ибо одно из двух: или вопрос об ископаемых животных принадлежит низшему, "механическому" знанию, чуждому метафизики, и тогда говорить о нем нечего, так как не затем они сюда собирались, чтобы состязаться о предметах нефилософских: или же относится он к истинному высшему знанию - к диалектике; в таком случае и рассуждать о нем должно по правилам диалектики, возвысив помыслы к чистОМу умозрению.

- Знаю,-проговорил Леонардо с еще более покорным и скучающим видом,- знаю, что вы хотите сказать, мессере. Я тоже много думал об этом. Только все это не то- Не так?-усмехнулся старик и весь точно налился краской.-А ежели не так, мессере, просветите нас, будьте добрым, научите, что же, по-вашему, так? - Ах нет, я вовсе не хотел... Уверяю вас... Я только о раковинах... Я, видите ли, думаю... Словом, нет высших и низших знаний, а есть одно, вытекающее из опыта... - Из опыта? Вот как! Ну, а как же, позвольте вас спросить, как же метафизика Аристотеля, Платона, Плотина- всех древних философов, которые рассуждали о Боге, о духе, о сущностях,- неужели все это?.. - Да, все это не наука,-возразил Леонардо спокойно.- Я признаю величие древних, но не в этом. В науке ШЛИ они ложным путем. Хотели познать недоступное знанию, а доступное презрели. Запутали себя и других на много веков. Ибо, рассуждая о предметах недоказуемых, не могут люди прийти к соглашению. Там, где разумных доводов нет, они заменяются криками. Но кто знает,

тому кричать не нужно. Слово истины едино, и когда оно сказано, все крики спорящих должны умолкнуть; если же они продолжаются, значит, нет еще истины. Разве в математике спорят о том, дважды три-шесть или пять? Равна ли сумма углов в треугольнике двум прямым или не равна? Не исчезает ли здесь всякое противоречие перед истиной, так что служители ее могут наслаждаться ею в мире, чего никогда не бывает в мнимых, софистических науках?..

Он хотел что-то прибавить, но, взглянув на лицо противника, умолк.

- Ну, вот мы и договорились, мессер Леонардо! - еще язвительнее усмехнулся доктор схоластики.- Я, впрочем, знал, что мы с вами пойдем друг друга. Одного я в толк не возьму,- вы уж меня, старика, извините. Как же так? Неужели все наши познания о душе, о Боге, о загробной жизни, естественному опыту не подлежащие, "недоказуемые", как вы сами извоили выразиться, но подтверждаемые непреложным свидетельством Священного Писания?..

- Я этого не говорю,- остановил его Леонардо, нахмурившись.-Я оставляю вне спора книги боговдохновенные, ибо они суть высшая истина...

Ему не дали кончить. Произошло смятение. Одни кричали, другие смеялись, третьи, вскакивая с мест, обращались к нему с гневными лицами, четвертые, презрительно пожимая плечами, отвертывались.

- Довольно! Довольно! - Дайте возразить, мессеры! - Да что же тут возражать, помилуйте! - Бессмыслица! - Я прошу слова! - Платон и Аристотель! - Все-то дело выеденного яйца не стоит! - Как же позволяют? Истины святой нашей матери церкви!-Ересь, ересь! Безбожие...

Леонардо молчал. Лицо его было тихо и грустно. Он видел свое одиночество среди этих людей, считавших себя служителями знания; видел непереступную бездну, отделявшую его от них, и чувствовал досаду не на противников, а на себя за то, что не сумел замолчать вовремя, уклониться от спора; за то, что еще раз, наперекор бесчисленным опытам, соблазнился надеждой, будто бы достаточно открыть людям истину, чтобы они ее приняли.

Герцог с вельможами и придворными дамами, давно уже ничего не понимая, все же следил за спором с большим удовольствием.

- Славно! - радовался он, потирая руки.- Настоящее сражение! Смотрите, мадонна Чечилия, сейчас подерутся! Вон старичок из кожи лезет, весь трясется, кулаками грозит, шапку сорвал и махает. А черненький-то, черненький за ним-пена у рта! И ведь из-за чего? Из-за каких-то окаменелых раковин. Удивительный народ эти ученые! Беда с ними, право. А наш-то Леонардо, каков! еще тихоней прикидывался...

И все смеялись, любуясь на поединок ученых, как на бой петухов.

- Пойду-ка я спасти моего Леонардо,-молвил герцог,-а то его красные колпаки совсем закроют!.. Он вошел в толпу ожесточенных противников, и они умолкли, расступились перед ним, как будто успокоительный елей пролился в бурное море: достаточно было одной улыбки Моро, чтобы примирить физику с метафизикой. Приглашая гостей ужинать, он прибавил с любезностью:

- Ну, синьоры, поспорили, погорячились и довольно! надо и силы подкрепить. Милости просим! Я полагаю, мои жареные животные из Адриатического моря,- благо оно еще не высохло,- возбуждают меньше споров, чем окаменелые животные мессера Леонардо.

За ужином Лука Паччоли, сидевший рядом с Леонардо, шепнул ему на ухо:

- Не сердитесь, друг Мой, что я промолчал, когда на вас напали: они не так поняли; а, в сущности, вы могли бы с ними сговориться, ибо одно другому не мешает - только крайностей не надо ни в чем, и все можно примирить, все соединить...

- Я с вами совершенно согласен, фра Лука,- сказал Леонардо.

- Ну, вот, вот. Так-то лучше! В мире да в согласии. А то, помилуйте, говорю я, зачем же ссориться? Хороша Метафизика, хороша и математика. Всем хватит места. Вы нам, а мы вам. Не так ли, дражайший? - Именно так, фра Лука.

- Ну и прекрасно, и прекрасно! Значит, никаких недоразумений быть не может? Вы нам, а мы вам...

"Ласковый теленок двух маток сосет",- подумал художник, глядя на хитрое, с мышинной юркостью в глазах, умное лицо монаха-математика, умевшего примирить Пифагора с Фомой Аквинатом.

- За ваше здоровье, учитель!-поднимая кубок и наклоняясь к нему, с видом сообщника, молвил другой сосед, алхимик Галеотто Сакробоско.- Ловко же вы их, черт побери, на удочку поддели! Тончайшая аллегория! - Какая аллегория?

- Ну, вот опять! Нехорошо, мессере! Со мной-то вам кажется, нечего хитрить. Слава Богу-посвященные! Друг друга не выдадим... Старик лукаво подмигнул. "

- Какая аллегория, спрашиваете вы, а вот какая: суша - сера, солнце - соль, воды океана, покрывавшие некогда вершины гор,- ртуть, живая влага Меркурия. Что? Разве не так?

- Так, мессер Галеотто, именно так! - рассмеялся Леонардо.- Вы удивительно верно поняли мою аллегию!

- Понял, видите? И мы, значит, кое-что разумеем! А раковины окаменелые-это и есть камень мудрецов, великая тайна алхимиков, образуемая соединением солнца - соли, суши-серы и влаги-Меркурия. Божественное превращение металлов!

Подняв указательный палец и облезлые брови, опаленные огнем алхимических горнов, старик залился своим добрым, детски-простодушным смехом:

- А ученые-то наши, красные колпаки, так ничего и не поняли! Ну, выпьемте же за ваше здоровье, мессер Леонардо, и за процветание матери нашей Алхимии!

- С удовольствием, мессер Галеотто! Я теперь вижу, что от вас, в самом деле, не спрячешься, и даю слово, что впредь уже никогда не буду хитрить.

После ужина гости разошлись. Только маленькое, избранное общество герцог пригласил в прохладный, уютный покой, куда принесли вина и плодов.

- Ах, прелесть, прелесть!-восхищалась дондзелла Эрмеллина.- Я бы никогда не поверила, что это так забавно. Признаться, думала - скука. А ведь вот лучше всяких балов! Я с удовольствием каждый день присутствовала бы на таких ученых поединках. Как они рассердились на Леонардо, как закричали! Жаль, не дали ему кончить. Мне так хотелось, чтобы он рассказал что-нибудь о своем колдовстве, о некромантии...

- Не знаю, правда ли, может быть, так только болтают,-произнес один старый вельможа,-будто бы Леонардо столь еретические мнения составил в уме своем, что в Бога не верует. Предавшись наукам естественным, полагает он, что куда лучше быть философом, чем христианином...

- Вздор! - решил герцог.- Я его знаю. Золотое сердце. Храбрится только на словах, а на деле блохи не обидит. Говорят, опасный человек. Помилуйте, нашли кого бояться! Отцы-инквизиторы могут кричать, сколько душе угодно, я никому моего Леонардо в обиду не дам!

- И потомство,- с почтительным поклоном молвил Бальдассаре Кастильоне, изящный вельможа Урбинского двора, приехавший гостить в Милан,- потомство будет благодарно вашему высочеству за то, что вы сохранили столь необычайного, можно сказать, единственного в мире художника. А все-таки жаль, что он пренебрегает искусством?, наполняя свой ум такими странными мечтаниями, такими чудовищными химерами...

- Ваша правда, мессер Бальдассаре,- согласился МОро.- Сколько раз говорил я ему: брось ты свою философию! Ну, да ведь знаете, такой уж народ художники. Ничего не поделаешь. С них и требовать нельзя. Чудаки!

- Совершенно верно изволили выразиться, ваша светлость! - подхватил другой вельможа, главный комиссар соляных налогов, которому давно уже хотелось что-то рассказать о Леонардо.-Именно чудаки! Такое, знаете ли, иной раз подумают, что только диву даешься. Прихожу я как-то намерен в его мастерскую - рисуночек нужен был аллегорический для свадебного ящика. Что, оворю, мастер дома? - Нет, ушел, очень занят и заказов не принимает.- чем же, спрашиваю, занят? - Измеряет тяжесть воздуха.-Я тогда подумал: смеются они надо мной. А потом встречаю самого Леонардо.- Что, правда, мессере, будто вы тяжесть воздуха измеряете? - Правда, говорит,- и на меня же, как на дурака, посмотрел. Тяжесть воздуха! Как это нравится, мадонны? Сколько фунтов, сколько гран в весеннем!..

- Это еще что!-заметил молодой камерьере с прилично тупым и самодовольным лицом.-А вот я слышал, он лодку такую изобрел, что

против течения ходит без весел!

- Без весел? Сама собою?... - Да, на колесах, силою пара.

- Лодка на колесах! Должно быть, вы это только что сами придумали... - Честью могу вас уверить, мадонна Чечилия, я слышал от фра Лука Паччоли, который видел рисунок машины. Леонардо полагает, что в паре такая сила, что можно ею двигать не только лодки, но и целые корабли.

- Ну, вот, вот видите, говорила я - это и есть черная магия, некромантия!-воскликнула дондзелла Эрмеллина. - Да уж чудак, чудак, нечего греха таить,- заключил герцог с добродушной усмешкою.- А все-таки люблю я его; с ним весело, никогда не соскучишься!

Возвращаясь домой, Леонардо шел тихою улицей предместья Верчельских ворот. По краям ее козы щипали траву. Загорелый мальчик в лохмотьях хворостиною гнал стадо гусей. Вечер был ясный. Только на севере, над невидимыми Альпами, громоздились тяжкие, точно каменные, тучи, окаймленные золотом, и между ними, в бледном небе, горела одинокая звезда.

Вспоминая два поединка, которых был он свидетелем,- поединок чуда во Флоренции, поединок знания в Милане,- Леонардо думал о том, как они различны и вместе с тем похожи - точно двойники.

На каменной лестнице, прилепленной снаружи к ветхому домику, девочка лет шести ела ржаную лепешку с печеною луковицей.

Он остановился и поманил ее. Она посмотрела на него со страхом; потом, видимо доверившись улыбке его, сама улыбнулась и сошла, тихонько ступая коричневыми босыми ножками по ступеням, облитым кухонными помоями с яичными и раковыми скорлупами. Он вынул из кармана тщательно завернутый в бумагу, обсахаренный и позолоченный померанец, одно из тех лакомств, какие подавались при дворе: часто брал он их со стола и носил в кармане, чтобы раздавать уличным детям во время прогулок. - Золотой!-прошептала девочка.-Золотой мячик! - Не мячик, а я'блоко. Вот попробуй: внутри сладкое. Не решаясь отведать, она разглядывала невиданное лакомство с безмолвным восхищением. - Как тебя зовут? - спросил Леонардо. - Майя.

- А знаешь ли, Майя, как петух, козел и осел пошли рыбу ловить? - Не знаю. - Хочешь расскажу?

Он гладил ее по спутанным мягким волосам своей нежной, точно у молодой девушки, длинной и тонкой рукой.

- Ну, пойдем, сядем. Постой-ка, были у меня еще анисовые лепешки. А то, я вижу, Майя, ты золотого яблока не будешь есть.

Он стал искать в кармане.

На крыльце показалась молодая женщина. Она посмотрела на Леонардо и Майю, кивнула приветливо головой и села за прялку. Вслед за ней вышла из дома сгорбленная старушка, с такими же ясными глазами, как у Майи,- верно, бабушка,

Она посмотрела тоже на Леонардо и вдруг, как будто узнав его, всплеснула руками, наклонилась к пряхе и что-то сказала ей на ухо; та вскочила и крикнула: - Майя, Майя! Иди скорее!.. Девочка медлила. - Да ступай же, негодница! Вот погоди, уж я тебя!.. Испуганная Майя взбежала по лестнице. Бабушка вырвала у нее золотое яблоко и швырнула его через стену на соседний двор, где хрюкали свиньи. Девочка заплакала. Но старуха что-то шепнула ей, указывая на Леонардо. Майя тотчас притихла и посмотрела на него широко открытыми глазами, полными ужаса.

Леонардо отвернулся, опустил голову и молча быстро пошел прочь.

Он понял, что старуха знала его в лицо, слышала, будто бы он колдун, и подумала, что он может сглазить Майю.

Он уходил от них, точно убегал, в таком смущении, что продолжал искать в кармане уже ненужных анисовых лепешек, улыбаясь растерянной, виноватую улыбкою.

Перед этими испуганными, невинными глазами ребенка он чувствовал себя более одиноким, чем перед толпой народа, желавшего убить его, как безбожника, чем перед собранием ученых, смеявшихся над истиной, как над лепетом безумца; он чувствовал себя таким же далеким от людей, как одинокая вечерняя звезда в безнадежно-ясном небе.

Вернувшись домой, вошел в рабочую комнату. Со своими пыльными книгами и научными приборами, она показалась ему мрачною, как тюрьма. Он сел за стол, зажег свечу, взял одну из

тетрадей и погрузился в недавно начатое исследование законов движения тел по наклонным плоскостям.

Математика, так же как музыка, имела власть успокаивать его. И в этот вечер дала она сердцу его знакомую отраду.

Окончив вычисление, вынул он дневник из потайного ящика в столе и левою рукою, обратным письмом, которое можно было прочесть только в зеркале, записал мысли, внушенные ему поединком ученых:

"Книжники и словесники, ученики Аристотеля, вороны в павлиньих перьях, глашатаи и повторители чужих дел, презирают меня, изобретателя. Но я мог бы им ответить, как Марий римским патрициям: украшаясь чужими делами, не хотите вы оставить мне плода, моих собственных.

Между испытателями природы и подражателями древних такая же разница, как между предметом и его отражением в зеркале.

Они думают, что, не будучи словесником подобно им, я не имею права писать и говорить о науке, ибо не могу выражать моих мыслей, как должно. Они не знают, что сила моя не в словах, а в опыте, учителя всех, кто хорошо писал.

Не желая и не умея, как они, ссылаться на книги древних, я сошлюсь на то, что правдивее книг,- на опыт, учителя всех учителей".

Свеча горела тускло. Единственный друг бессонных ночей его, кот, вскочив на стол, равнодушно ласкался, мурлыкая. Одинокaя звезда сквозь стекла пыльных окон казалась теперь еще дальше, еще безнадежнее. Он взглянул на нее и вспомнил глаза Майи, устремленные на него с бесконечным ужасом, но не опечалился: он снова был ясен и тверд в своем одиночестве.

Только в сокровенной глубине его сердца, которой он сам не знал, как теплый ключ под корою льда на дне замерзшей реки, кипела непонятная горечь, подобная угрызению, точно в самом деле он в чем-то виноват был перед Майей,- хотел себя простить и не мог.

На следующее утро собирался Леонардо в монастырь делле Грации для работы над ликом Господним.

Механик Астро ждал на крыльце с тетрадями, кистями и ящиками красок. Выйдя на двор, художник увидел конюха Настаджо, который, стоя под навесом, усердно чистил скребницей серую в яблоках

кобылу. - Что Джаннино? -спросил Леонардо. Джаннино было имя одной из его любимых лошадей. - Ничего,- небрежно ответил конюх.- Пегий хромает. - Пегий! - с досадой произнес Леонардо.- Давно? - Четвертый день.

Не глядя на хозяина, молча и сердито продолжал Настаджо тереть зад лошади с такой силой, что она переминалась с ноги на ногу.

Леонардо пожелал видеть пегого. Настаджо повел его в конюшню.

Когда Джованни Бельтраффио вышел на двор, чтобы умыться свежей водой из колодца, он услышал пронзительный, визгливый, точно женский, голос, каким Леонардо кричал в тех припадках мгновенного, сильного, но никому не страшного гнева, которые иногда бывали у него.

- Кто, кто, говори, болван, пьяная твоя рожа, кто просил тебя лошадей лечить у коновала?

- Помилуйте, мессере, разве можно больной лошади не лечить?

- Лечить! Ты думаешь, ослиная твоя голова, этим вонючим снадобьем?..

- Не снадобьем, а слово есть такое - заговор. Вы этого дела не понимаете - оттого и сердитесь...

- Убирайся ты к черту со своими заговорами! Ну куда ему, неучу, живодеру, лечить, когда он о строении тела, об анатомии не слыхивал?

Настаджо поднял свои заплывшие ленивые глаза, посмотрел исподлобья на хозяина и молвит с видом бесконечного презрения: - Анатомия!

- Негодяй!.. Вон, вон из дому моего!.. Конюх и бровью не повел: по давнему опыту знал он, что, когда вспышка минутного гнева пройдет, хозяин будет заискивать в нем, только бы он остался, ибо ценил в нем великого знатока и любителя лошадей.

- Я и то хотел просить расчета,- проговорил Настаджо.-Три месяца жалованья за вашей милостью. А что касается сена, вины моей нет. Марко на овес денег не выдает.

- Это еще что такое? Как он смеет не давать, когда я велел?

Конюх пожал плечами, отвернулся, показывая, что не желает более разговаривать, деловито крякнул и снова принялся чистить лошадь, с таким видом, как будто хотел выместить на ней свою злобу.

Джованни слушал, с любопытно-веселой улыбкой, вытирая полотенцем лицо, красное от холодной воды.

- Ну что же, мастер? Пойдем, что ли?-спросил Астро, которому надоело ждать.

- Погоди,- молвил Леонардо,- я должен спросить Марко об овсе. Правду ли говорит этот мошенник?.. Он вошел в дом. Джованни последовал за ним. Марко работал в мастерской. Как всегда, исполняя правила учителя с математической точностью, отмеривал он черную краску для теней крохотной, свинцовой ложечкой, то и дело справляясь с бумажкой, исписанной цифрами. Капли пота выступали на лбу его; жилы вздулись на шее. Он тяжело дышал, точно вскатывал камень на гору. Крепко сжатые губы, сгорбленная спина, упрямо торчавший рыжий хохол и красные руки, с корявыми, толстыми пальцами, как будто говорили: терпение и труд все перетрут.

- Ах, мессер Леонардо, вы еще не ушли. Пожалуйста, не можете ли проверить это вычисление? Я, кажется, запутался...

- Хорошо, Марко. Потом. А я вот о чем хотел тебя спросить. Правда ли, что ты денег не выдаешь на овес лошадям? - Не выдаю.

- Как же так, друг мой? Ведь я говорил тебе,- продолжал художник, все более робким и нерешительным взором поглядывая на строгое лицо домоправителя,- я говорил тебе. Марко, непременно выдавай на овес лошадям. Разве ты не помнишь?.. - Помню. Да денег нет.

- Ну вот, вот, я так и знал,- опять денег нет! Помилуй, Марко, сам посуди, разве могут быть лошади без овса?

Марко ничего не ответил, только сердито отбросил кисть.

Джованни следил, как изменяются выражения их лиц: теперь учитель похож был на ученика, ученик на учителя.

- Послушайте, мастер,- произнес Марко,- вы меня просили, чтобы я взял на себя хозяйство и не беспокоил вас. Зачем же вы снова начинаете об этом?

- Марко!-с упреком воскликнул Леонардо.-Марко, да ведь я еще на прошлой неделе дал тебе тридцать флоринов...

Тридцать флоринов! Из них, считайте-ка, четыре в долг Паччоли, два этому попрошайке, Галеотто Сакробоско, пять палачу, который трупы с виселиц ворует для вашей анатомии, три на починку стекол

да печей в теплице, где у вас гады и рыбы, целых шесть золотых дукатов за этого дьявола полосатого... - Ты хочешь сказать за жирафа?

- Ну да, за жирафа. Самим есть нечего, а эту проклятую тварь откармливаем! И ведь все равно, что вы с ним ни делаете, подойдет...

- Ничего, Марко, пусть подойдет,- кротко заметил Леонардо,- я его анатомировать буду. Шейные позвонки у него любопытные...

- Шейные позвонки! Эх, мастер, мастер, если бы не все эти прихоти-лошади, трупы, жирафы, рыбы и прочие гады,- жили бы мы припеваючи, никому не кланялись. Не лучше ли кусок насущного хлеба?

- Насущный хлеб! Да как будто я чего-нибудь требую для себя, кроме насущного хлеба? Впрочем, я знаю, Марко, ты бы очень рад был, если бы подошли все мои животные, которых я, с таким трудом, за такие деньги, приобретаю, которые мне так необходимы, что ты себе и вообразить не можешь. Тебе бы только на своем поставить!..

Беспомощная обида зазвучала в голосе учителя. Марко угрюмо молчал, потупив глаза. - И что же это такое?-продолжал Леонардо.- Что, говорю я, будет с нами. Марко? Овса нет] Шутка ли сказать? Вот до чего дошло! Никогда еще с нами такого не бывало!..

- Всегда было и будет,-возразил Марко.-И чего вы хотите? Вот уже более года, как мы ни гроша от герцога не получаем. Амброджо Феррари каждый день вам обещает - завтра да завтра, а видно, только смеется...

- Смеется!-воскликнул Леонардо.-Ну нет, погоди, я ему покажу, как надо мною смеяться! Я герцогу пожалуюсь, вот что! Я этого мерзавца Амброджо в бараний рог согну, да пошлет ему Господь злую Пасху!..

Марко только рукой махнул, как бы желая сказать, что уж если кто кого согнет в бараний рог, то, конечно, не Леонардо герцогского казначея.

- Бросьте, учитель, бросьте, право!-молвил он, и вдруг в жестких, угловатых чертах лица его мелькнуло выражение доброе, нежное и покровительственное.- Бог милостив, как-нибудь вывернемся. Если уж вы непременно хотите,-ну, я, пожалуй, устрою, чтобы и на овес лошадям хватало...

Он знал, что для этого ему придется брать часть собственных денег, которые посылал он своей больной старухематери.

- Какой тут овес? - воскликнул Леонардо и в изнеможении опустился на стул.

Глаза его замигали, сузились, как от сильного ХОЛОДНОГО ветра.

- Послушай, Марко. Я ведь тебе еще об ЭТОМ не говорил. Мне в будущем месяце непременно нужно восемьдесят дукатов, потому что я - видишь ли? - занял... Э, да не смотри ты на меня такими глазами... - У кого заняли? - У менялы Арнольдо.

Марко отчаянно всплеснул руками; рыжий хохол его так и затрясся.

- У менялы Арнольдо! Ну, поздравляю, нечего сказать, - удружили! Да знаете ли вы, что это такая бестия, что хуже всякого жида и мавра. Креста яа нем ист} Ах, учитель, учитель, что вы наделали! И как же вы мне не сказали?.. Леонардо опустил голову.

- Деньги, Марко, до зарезу нужны были. Уж ты на меня не сердись...

И немного помолчав, прибавил с боязливым и жалобным видом:

- Принеси-ка счета. Марко. Может быть, что-нибудь и придумаем?..

Марко был убежден, что ничего они не придумают, но так как иначе нельзя было успокоить учителя, как истощив до конца его внезапную и мимолетную тревогу, покорно пошел за счетами.

Увидав их издали, Леонардо болезненно сморщился и с таким выражением взглянул на знакомую толстую книгу в зеленом переплете, с каким человек смотрит на собственную зияющую рану.

Они погрузились в вычисления, в которых великий математик делал ошибки в сложении и вычитании. Порой вдруг вспоминал о потерянном счете нескольких тысяч дукатов, искал его, рылся в шкатулках, ящиках, пыльных кипах бумаг, но, вместо того, находил ненужные, грошовые, старательно, собственной рукою переписанные счета, например, за плащ Салаино:

Злобно рвал их и бросал клочки под стол, ругаясь. Джованни наблюдал за выражением человеческой слабости в лице учителя и, вспоминая слова одного из поклонников Леонардо: "новый бог Гермес Трисмегист соединился в нем с новым титаном Прометеем", - думал с улыбкою: "Вот он - не бог, не титан, а такой же, как все, человек, И чего я боялся его? О, бедный, милый!"

Прошло два дня, и случилось то, что предвидел Марко: Леонардо так забыл о деньгах, как будто никогда не думал о них. Уже на следующий день попросил три флорина для покупки допотопной окаменелости с таким беззаботным видом, что Марко не имел духу огорчить его отказом и дал ему три флорина из собственных денег, отложенных для матери.

Казначей, несмотря на просьбы Леонардо, все еще не заплатил жалованья: в это время сам герцог нуждался в деньгах для громадных приготовлений к войне с Францией.

Леонардо занимал у всех, у кого можно было занять, даже у собственных учеников.

И памятника Сфорца не давал ему окончить герцог. Глиняное изваяние, форма с железным остовом, запруда для жидкого металла, горн, плавильные печи - все было готово. Но когда художник представил счет за бронзу, Моро испугался, даже разгневался и отказал ему в свидуи.

В двадцатых числах ноября 1499 года, доведенный нуждою до последней крайности, написал он письмо герцогу. В бумагах Леонардо остался черновой набросок этого письма-отрывочного, бессвязного, похожего на лепет человека, одолеваемого стыдом, не умеющего просить:

"Синьор, зная, что ум Вашего Высочества поглощен более важными делами, но, вместе с тем, боясь, чтобы молчание мое не было причиной гнева Всемиловитейшего Покровителя моего, дерзаю напомнить о моих маленьких нуждах и об искусствах, осужденных на безмолвие... В течение двух лет не получаю жалованья ...Другие лица, находящиеся на службе Вашей Светлости, имея посторонние доходы, могут ждать, но я, с моим искусством, которое, впрочем, желал бы покинуть для более выгодного...

...Жизнь моя к услугам Вашего Высочества, и я нахожусь в постоянной готовности повиноваться... ..О памятнике ничего не говорю, ибо знаю времена... ..Прискорбно мне, что вследствие необходимости зарабатывать себе пропитание, я вынужден прерывать работу и заниматься пустяками. Я должен был кормить 6 человек в продолжение 56 месяцев, а у меня было только 50 дукатов...

...Недоумеваю, на что бы я мог употребить мои силы... ...Думать о славе или о хлебе насущном?.."

Однажды в ноябре, вечером, после дня, проведенного в хлопотах у щедрого вельможи Гаспаре Висконти, у менялы Арнольдо, у палача, который требовал денег за два трупа беременных женщин, грозя доносом Святейшей Инквизиции в случае неуплаты, Леонардо усталый вернулся домой и сначала прошел в кухню, чтобы высушить платье, потом, взяв ключ у Астро, направился в рабочую комнату; но подойдя к ней, услышал за дверями разговор.

"Двери заперты,- подумал он.- Что это значит? Уж не воры ли?"

Прислушался, узнал голоса учеников, Джованни, Чезаре, и догадался, что они рассматривают тайные бумаги его, которых он никому никогда не показывал. Хотел отпереть дверь, но вдруг представилось ему, какими глазами, застигнутые врасплох, они посмотрят на него, и ему сделалось стыдно за них. Крадучись на цыпочках, краснея и озираясь, как виноватый, отошел от двери и, пройдя мастерскую, с другого конца ее, притворным громким голосом, так, чтобы они не могли не услышать, крикнул:

- Астро! Астро! Дай свечу! Куда вы все запропалились? Андреа, Марко, Джованни, Чезаре!

Голоса в рабочей комнате умолкли. Что-то зазвенело, как будто упавшее стекло разбилось. Стукнула рама. Он все еще прислушивался, не решаясь войти. В душе его была не злоба, не горе, а скука и отвращение.

Он не ошибся: забравшись в комнату через окно со двора, Джованни и Чезаре рылись в ящиках рабочего стола его, рассматривая тайные бумаги, рисунки, дневники.

Бельтраффио с бледным лицом держал зеркало. Чезаре, наклонившись, читал по отражению в зеркале обратное письмо Леонардо:

"Laude del Sole"- "Хвала Солнцу".

- "Я не могу не упрекнуть Эпикура, утверждавшего, будто бы величина солнца в действительности такова, какой она кажется: удивляюсь Сократу, который, унижая столь великое светило, говорил, будто бы оно лишь раскаленный камень. И я хотел бы иметь слова достаточно сильные для порицания тех, кто обоготворение Человека

предпочитает обоготворению Солнца"... Пропустить? - спросил Чезаре. - Нет, прошу тебя,-молвил Джованни,-читай все до конца.

- "Поклоняющиеся богам в образах человеческих,- продолжал Чезаре,-весьма заблуждаются, ибо человек, даже если бы он был величиною с шар земной, казался бы менее самой ничтожной планеты, едва заметной точки во вселенной. К тому же все люди подвержены тлению"...

- Странно! - удивился Чезаре.- Как же так? Солнцу поклоняется, а Того, Кто смертью смерть победил, точно не бывало!.. Он перевернул страницу. - А вот еще,- слушай.

- "Во всех концах Европы будут плакать о смерти Человека, умершего в Азии".

- Понимаешь? - Нет,- прошептал Джованни. - Страстная Пятница,- объяснил Чезаре. - "О, математики,- читал он далее,- пролейте же свет на это безумие. Дух не может быть без тела, и там, где нет плоти, крови, костей, языка и мускулов,- не может быть ни голоса, ни движения".- Тут нельзя разобрать, зачеркнуто. А вот конец: - "Что же касается до всех других определений духа, я предоставляю их святым отцам, учителям народа, знающим по наитию свыше тайны природы".

- Гм, не поздоровилось бы мессеру Леонардо, если бы эти бумажки Попали в руки святых отцов-инквизиторов... А вот опять пророчество:

- "Ничего не делая, презирая бедность и работу, люди будут жить в роскоши в зданиях, подобных дворцам, приобретая сокровища видимые ценою невидимых и уверяя, что это лучший способ быть угодным Богу".

- Индульгенции!-разгадал Чезаре.-А ведь на Савонаролу похоже! Папе камень в огород... - "Умершие за тысячу лет будут кормить живых". - Вот уж этого не понимаю. Что-то мудрено... А впро чем,- да, да, конечно! "Умершие за тысячу лет" - мученики и святые, именем которых монахи собирают деньги.

- "Говорить будут с теми, кто, имея уши, не слышит, зажигать лампы перед теми, кто, имея очи, не видит".- Иконы.

- "Женщины станут признаваться мужчинам во всех своих похотях, в тайных постыдных делах".- Исповедь.- Как тебе нравится, Джованни? А? Удивительный человек! Ну, подумай только, для кого

измышляет он эти загадки? И ведь злобы настоящей нет в них. Так только - забава, игра в кощунство!.. Перевернув еще несколько листков, он прочел: - "Многие, торгуя мнимыми чудесами, обманывают бессмысленную чернь, и тех, кто разоблачает обманы их,- казнят". Это, должно быть, об огненном поединке брата Джироламо и о науке, которая разрушает веру в чудеса. Отложил тетрадь и взглянул на Джованни. - Будет, что ли? Каких еще доказательств? Кажется, ясно?..

Бельтраффио покачал головой.

- Нет, Чезаре, это все не то... О, если бы найти такое место, где он говорит прямо!..

- Прямо? Ну, нет, брат, этого не жди! Такая уж природа: все - надвое, все лукавит да виляет, как женщина. Недаром любит загадки. Поди-ка, слови его! Да он и сам себя не знает. Сам для себя - величайшая загадка!

"Чезаре прав,- подумал Джованни.- Лучше явное кощунство, чем эти насмешки, эта улыбка Фомы неверного, влагающего пальцы в язвы Господа"...

Чезаре указал ему на рисунок оранжевым карандашом на синей бумаге-маленький, затерянный среди машин и вычислений, изображавший Деву Марию с Младенцем в пустыне; сидя на камне, чертила Она пальцем на песке треугольники, круги и другие фигуры: Мать Господа учила Сына геометрии - источнику всякого знания.

Долго рассматривал Джованни странный рисунок. Ему захотелось прочесть надпись под ним. Он приблизил зеркало. Чезаре взглянул на отражение и едва успел разобрать три первые слова: "Необходимость - вечная наставница",- как из мастерской послышался голос Леонардо:

- Астро! Астро! Дай свечу! Куда вы все запропалились? Андреа, Марко, Джованни, Чезаре!

Джованни вздрогнул, побледнел и выронил зеркало. Оно разбилось.

- Дурная примета! - усмехнулся Чезаре. Как пойманные воры, заторопились они, сунули бумаги в ящик, подобрали осколки зеркала, открыли окно, вскочили на подоконник и слезли на двор, цепляясь за водосточные трубу и толстые ветви обвивавших стену

дома виноградных лоз. Чезаре сорвался, упал и едва не вывихнул ногу. В этот вечер Леонардо не находил обычной отрады в математике. То вставал и ходил по комнате, то садился, начинал рисунок и тотчас же бросал его; в душе его была неясная тревога, как будто он должен был что-то решить и не мог. Мысль упорно возвращалась к одному. Он думал о том, как Джованни Бельтраффио бежал к Савонароле, потом опять вернулся и на время как будто успокоился, всецело предавшись искусству. Но, после злополучного огненного поединка и особенно с того дня, как в Милан пришла весть о гибели пророка,- сделался еще более жалким, потеряннным.

Учитель видел, как он страдает, хочет и не может уйти от него, угадывал борьбу, происходившую в сердце ученика, слишком глубоко, чтобы не чувствовать,- слишком слабо, чтобы победить свои собственные противоречия. Иногда казалось Леонардо, что надо оттолкнуть Джованни от себя, прогнать, чтобы спасти, но сделать это не хватало духу.

- Если бы я знал, чем помочь ему,- чумал художник. Он усмехнулся горькой усмешкой.

- Сглазил я, испортил его! Должно быть, правду люди говорят: дурной глаз у меня...

Поднявшись по крутым ступеням темной лестницы, постучался в дверь и, когда ему не ответили, приотворил ее. В тесной келье был сумрак. Слышалось, как дождь стучит по крыше и шумит осенний ветер. Лампада мерцала в углу перед Мадонной. Черное Распятие висело на белой стене. Бельтраффио лежал на постели ничком, одетый, неудобно свернувшись, как больные дети, поджав колени и спрятав лицо в подушку. - Джованни, ты спишь?-сказал учитель. Бельтраффио вскочил, слабо вскрикнул и посмотрел на Леонардо безумными, широко открытыми глазами, выставив руки вперед, с выражением того бесконечного ужаса, который был в глазах Майи. - Что с тобой, Джованни? Это я... Бельтраффио как будто очнулся и медленно провел рукой по глазам:

- Ах, это вы, мессер Леонардо... А мне показалось... Я видел страшный сон...

- Так это вы,- посмотрел он на него исподлобья, пристально, словно все еще не доверяя.

Учитель присел на край постели и положил ему на лоб свою руку.

- У тебя жар. Ты болен. Зачем ты не сказал мне?.. Джованни отвернулся было, но вдруг опять посмотрел на Леонардо, углы губ его опустились, дрогнули, и, сложив руки с мольбой, он прошептал:

- Учитель, прогоните меня!.. А то я сам не уйду, а мне у вас оставаться нельзя, потому что я... да, да... я перед вами подлый человек... изменник!.. Леонардо обнял и привлек его к себе. - Что ты, мальчик мой? Господь с тобою! Разве я не вижу, как ты мучишься? Если ты думаешь, что в чем-нибудь виноват передо мною, я прощаю тебе все: может быть, и ты когда-нибудь простишь меня...

Джованни тихо поднял на него большие, удивленные глаза и вдруг, с неудержимым порывом, прижался к нему, спрятал лицо свое на груди его, в мягкой, как шелк, бороде.

- Если я когда-нибудь,- лепетал он сквозь рыдания, которые потрясали все его тело,- если я уйду от вас, учитель, не думайте, что я вас не люблю! Я и сам не знаю, что со мной... Такие у меня страшные мысли, точно я с ума схожу... Бог меня покинул... О, только не думайте,-нет, я люблю вас больше всего на свете, больше, чем отца моего фра Бенедетто! Никто не может вас так любить, как я!..

Леонардо, с тихой улыбкою, гладил его по голове, по щекам, мокрым от слез, и утешал, как ребенка:

- Ну, полно, полно, перестань! Разве я не знаю, что ты меня любишь, мальчик мой бедный, глупенький... А ведь это опять, должно быть, Чезаре наговорил тебе? - прибавил он.-И зачем ты слушаешь его? Он умный и тоже бедный - любит меня, хотя думает, что ненавидит. Он не понимает многого...

Джованни вдруг затих, перестал плакать, заглянул в глаза учителя странным, испытующим взором и покачал головой:

- Нет,- произнес он медленно, как бы с трудом, выговаривая слова,- нет, не Чезаре. Я сам... и не я, а Он...

- Кто он? - спросил учитель.

Джованни крепче прижался к нему; глаза его опять расширились от ужаса.

- Не надо,- проговорил он чуть слышно,- прошу вас... не надо о Нем...

Леонардо почувствовал, как он дрожит в его объятиях.

- Послушай, дитя мое,- произнес он тем строгим, ласКОВЫМ и немного притворным голосом, которым врачи говорят с больными,- я вижу, у тебя есть что-то на сердце. Ты должен сказать мне все. Я хочу знать все, Джованни, слышишь? Тогда и тебе будет легче. И, подумав, прибавил:

- Скажи мне, о ком ты сейчас говорил? Джованни боязливо оглянулся, приблизил губы свои к самому уху Леонардо и прошептал задыхающимся шепотом:

- О вашем двойнике.

- О моем двойнике? Что это значит? Ты видел во сне? - Нет, наяву...

Леонардо посмотрел на него пристально, и на одно мгновение показалось ему, что Джованни бредит.

- Ведь вы, мессер Леонардо, ко мне сюда не заходили третьего дня, во вторник, ночью? - Не заходил. Но разве ты сам не помнишь? - Нет, я-то помню... Ну, так вот, видите, учитель,- теперь значит, уже наверное, это был он!..

- Да откуда ты взял, что у меня ДРОЙНИК? Как это случилось?

Леонардо чувствовал, что самому Джованни хочется рассказать, и надеялся, что признание облегчит его.

- Как случилось? А вот как. Пришел он ко мне так же, как вы сегодня, в этот самый час, и тоже сел на край постели, как вы теперь сидите, и все говорил и делал, как вы, и лицо у него, как ваше лицо, только в зеркале. Он не левша. И сейчас же я подумал, что, может быть, это - новы; и он знал, что я это думаю, но виду не подал,- притворился, будто мы оба ничего не знаем. Только, уходя, обернулся ко мне и говорит: "А ты, Джованни, никогда не видел моего двойника? Если увидишь, не бойся". Тут я все понял...

- И ты до сих пор веришь, Джованни? - Как же не верить, когда я видел его, вот как вас теперь вижу?.. И он говорил со мной...

- О чем?

Джованни закрыл лицо руками.

- Лучше скажи,- произнес Леонардо,- а то будешь думать и мучиться.

- Нехорошее,- молвил Бельтраффио и с безнадежною мольбою взглянул на учителя,-ужасное говорил он/ Будто бы все в мире-одна

механика, будто бы все'как этот страшный паук, с вертящимися лапами, который он... то есть, нет, не он, а вы - изобрели...

- Какой паук? Ах, да, да, помню. Ты видел у меня рисунок военной машины?..

- И еще говорил он,- продолжал Джованни,- будто бы то самое, что люди называют Богом, есть вечная сила, которою движется страшный паук, со своими железными, окровавленными лапами, и что ему все равно - правда или неправда, добро или зло, жизнь или смерть. И нельзя его умолить, потому что он-как математика: дважды два не может быть пять...

- Ну, хорошо, хорошо. Не мучь себя. Довольно. Я уж знаю...

- Нет, мессер Леонардо, погодите, вы еще не знаете всего. Вы только послушайте, учитель! Он говорил, что и Христос напрасно пришел - умер и не воскрес, смертью смерть не победил - истлел в гробу. И когда он это сказал, я заплакал. Он меня пожалел и стал утешать: не плачь, говорит, мальчик мой бедный, глупенький,- нет Христа, но есть любовь; великая любовь-дочь великого познания; кто знает все, тот любит все.-Видите, вашими, все вашими словами! - Прежде, говорит, была любовь от слабости, чуда и незнания, а теперь - от силы, истины и познания, ибо змий не солгал: вкусите от древа познания и будете как боги. И после этих слов его я понял, что он - от дьявола, и проклял его, и он ушел, но сказал, что вернется...

Леонардо слушал с таким любопытством, как будто это был уже не бред больного. Он чувствовал, как взор Джованни, теперь почти спокойный, обличительный, проникает в самую тайную глубину сердца его.

- И всего страшнее,-прошептал ученик, медленным движением отстраняясь от учителя и глядя на него в упор остановившимся, пронзительным взором,- всего отвратительнее было то, что он улыбался, когда все это мне говорил, улыбался, ну да, да... совсем, как вы теперь... как вы!..

Лицо Джованни вдруг побелело, перекосилось, и, оттолкнув Леонардо, он закричал диким, сумасшедшим криком: - Ты... ты... обманул. Притворился... Именем Бога... сгинь, сгинь, пропади, окаянный!..

Учитель встал и молвил, посмотрев на него властным взором:

- Бог с тобою, Джованни! Я вижу, что, в самом деле, лучше тебе уйти от меня. Помнишь, сказано в Писании: боящийся в любви не совершен. Если бы ты любил меня совершенною любовью, то не боялся бы - понял бы, что все вто-бред и безумие, что я не такой, как думают люди, что нет у меня двойника, что я, может быть, верую во Христа моего и Спасителя более тех, кто называет меня слугою Антихриста. Прости, Джованни! Господь да сохранит тебя. Не бойся,- двойник Леонардо к тебе уже никогда не вернется...

Голос его дрогнул от бесконечной, безгневной печали, Он встал, чтобы уйти. "Так ли это? Правду ли я ему говорю?" -подумал он и в то же мгновение почувствовал, что, если ложь необходима, чтобы спасти то,- он готов солгать. Бельтраффио упал на колени, целуя руки учителя. - Нет, нет, я не буду!.. Я знаю, что это безумие... Я верю вам... Вот увидите, я прогоню от себя эти страшные мысли... только простите, простите, учитель, не покидайте меня!..

Леонардо взглянул на него с неизъяснимою жалостью и, наклонившись, поцеловал в голову.

- Ну, смотри же, помни, Джованни,- ты мне слово дал. - А теперь,- прибавил уже обычный спокойным

голосом,- пойдём скорее вниз. Здесь хол дно. Я больше не пущу тебя сюда, пока ты совсем не поправишься. Кстати, есть у меня спешная работа: ты мне поможешь.

Он повел его в спальню, рядом с мастерскою, раздул огонь в очаге и, когда пламя затрещало, озаряя комнату золотым светом, сказал, что ему нужно приготовить доску для картины.

Леонардо надеялся, что работа успокоит больного.

Так и случилось. Мало-помалу Джованни увлекся. С видом сосредоточенным, как будто это было самое любопытное и важное дело, помогал учителю пропитывать доску ядовитым раствором для предохранения от червоточин - водкою с двусернистым мышьяком и сулемою.

Потом стали они наводить первый слой паволоки, заделывая пазы и щели алебастром, кипарисовым лаком, мастикою, ровняя шероховатости плоским железным скребком. Дело, как всегда, спорилось, кипело и казалось игрою в руках Леонардо. В то же время давал он советы, учил, как вязать кисти, начиная от самых толстых,

жестких, из свиной щетины в свинцовой оправе, кончая самыми тонкими и мягкими, из беличьих волос, вставленных в гусиное перо; или, как для того, чтобы протрава скорее сохла, следует прибавлять к ней венецианской яри с красной железистой охрой.

По комнате распространился приятный, напоминавший о работе, летуче-свежий запах скипидара и мастики. Джованни изо всей силы втирал в доску замшевою тряпчочкою горячее льняное масло. Ему сделалось жарко. Озноб совсем прошел.

На минуту остановившись, чтобы перевести дух, с раскрасневшимся лицом, оглянулся на учителя.

- Ну, ну, скорее, не зевай! - торопил Леонардо.- Простынет, так не впитается.

И, выгнув спину, расставив ноги, плотно сжав губы, ' Джованни с новым усердием продолжал работу. - Что, как ты себя чувствуешь?- спросил Леонардо. - Хорошо,-ответил Джованни с веселой улыбкой, Собрались и другие ученики в этот теплый, светлый угол громадного кирпичного, покрытого бархатисто-черной сажей, ломбардского очага, откуда приятно было слушать вой ветра и шум дождя. Пришел озябший, но, как всегда, беспечный Андреа Салаино, одноглазый циклоп кузнец, Зороастро да Перетола, Джакопо и Марко д'Оджоне. Лишь Чезаре да Сесто, по обыкновению, не было в их дружеском кружке.

Отложив доску, чтобы дать ей просохнуть, Леонардо показал им лучший способ добывания чистого масла для красок. Принесли большое глиняное блюдо, где отстоявшееся тесто орехов, моченных в шести переменах воды, выделило белый сок, с густым, всплывшим на поверхности, слоем янтарного жира. Взяв хлопчатой бумаги и скрутив из нее длинные косицы, наподобие лампадных светилен, одним концом опустил он их в блюдо, другим - в жестяную воронку, вставленную в горлышко стеклянного сосуда. Впитываясь в хлопчатую бумагу, масло стекало в сосуд золотисто-прозрачными каплями.

- Смотрите, смотрите,- восхищался Марко,- какое чистое! А у меня всегда муть, сколько ни процеживаю! - Должно быть, ты верхней кожицы с орехов не снимаешь,- заметил Леонардо,- она потом на полотне выступает, и краски от нее чернеют. - Слышите?-

торжествовал Марко.-Величайшее произведение искусства от этой дряни - от ореховой шелухи погибнуть может! А вы еще смеетесь, когда я говорю, что правила должны соблюдать с математической точностью...

Ученики, внимательно следившие за приготовлением масла, в то же время болтали и шалили. Несмотря на поздний час, спать никому не хотелось, и, не слушая ворчания Марко, дрожавшего над каждым поленом, то и дело подбрасывали дров. Как иногда бывает в таких неурочных собраниях, всеми овладела безотчетная веселость.

- Давайте рассказывать сказки!-предложил Салаино и первый представил в лицах новеллу о священнике, который в Страстную субботу ходил по домам и, зайдя в мастерскую живописца, окропил святой водою картины. "Зачем ты это сделал?"-спросил его художник.-"Затем, что желаю тебе добра, ибо сказано: сторицею воздается вам свыше за доброе дело". Живописец промолчал; но когда патер ушел, подстерег его, вылил ему на голову из окна чан холодной воды и крикнул: "вот тебе сторицею свыше за добро, которое ты мне сделал, испортив мои картины!"

Посыпались новеллы за новеллами, выдумки за выдумками - одна нелепее другой. Все утешались несказанно, но более всех Леонардо.

Джованни любил наблюдать, как он смеется: в это время глаза его суживались, делались как щелки, лицо принимало выражение детски-простодушное, и, мотая головою, вытирая слезы, проступавшие на глазах, заливался он странным для его большого роста и могущественного телосложения, тонким смехом, в котором звучали те же визгливые женские ноты, как и в гневных криках его.

Около полуночи почувствовали голод. Нельзя было Лечь, не закусив, тем более, что и поужинали впроголодь, ибо Марко держал их в черном теле.

Астро принес все, что было в кладовой: скудные остатки окорока, сыра, десятка четыре маслин и краюху черствого пшеничного хлеба; вина не было.

- Наклонял ли ты бочку, как следует? -спрашивали его товарищи.

- Да уж наклонял, небось, во все стороны поворачивал: ни капли. -
Ах, Марко, Марко, что же ты с нами делаешь! Как же быть без вина?

- Ну, вот, наладили - Марко да Марко. Я-то чем виноват, коли денег нет?

- Деньги есть, и вино будет! - крикнул Джакопо, подбросив на ладони золотую монету.

- Откуда у тебя, чертенок? Опять украл! погоди, выдеру я тебя за уши! - погрозил ему пальцем Леонардо.

- Да нет же, мастер, не украл, ей-Богу. Чтоб мне на этом месте провалиться, отсохни язык моя, если я в кости не выиграл! - Ну, смотри, коли воровским вином нас угостишь... Сбежав в соседний логребок Зеленого Орла, еще не запертый, так как всю ночь гуляли в нем швейцарские наемники, Джакопо вернулся с двумя оловянными кружками.

От вина сделалось еще веселее. Мальчик разливал его, подобно Ганимеду, высоко держа сосуд, так что красное пенилось розовою, белое - золотистою пеною, и в восхищении при мысли, что он угощает на свои деньги, шалил, дурачился, прыгал, неестественно хриплым голосом, в подражание пьяным гулякам, напевал то удалую песенку монаха-расстратя:

К черту рясу. куколь, четки! Хи-хи-хи, да у-ха-ха! Ой, вы девушки красотки, Долго ль с вами до греха!

то важный гимн из латинской шутовской Обедни Вакху, сочиненной школярами-бродягами:

Те, кто воду пьет с вином, Вымокнут, - и верьте, В пасти ада над огнем Высушат их черти.

Никогда, казалось Джованни, не едал и не пивал он так вкусно, как за этой нищенской трапезой Леонардо, с окаменелым сыром, черствым хлебом и подозрительным, быть может, воровским вином Джакопо.

Пили за здоровье учителя, за славу его мастерской, за избавление от бедности и друг за друга.

В заключение Леонардо, оглянув учеников, сказал с улыбкой:

- Я слышал, друзья мои, что св. Франциск Ассизский называл уныние худшим из пороков и утверждал, что, если кто желает угодить Богу, тот должен быть всегда веселым. Выпьемте же за мудрость Франциска - за вечное веселье в Боге.

Все немного удивились, но Джованни понял, что хочет сказать учитель.

- Эх, мастер,-укоризненно покачал головою Астро,-веселье, говорите вы;-да какое же может быть веселье, пока мы по земле козявками ползаем, как черви мобильные? Пусть другие пьют за что угодно, а я-за крылья человеческие, за летательную машину! Как взовьются крылатые люди под облака - тут только и начнется веселье. И чтоб черт побрал всякую тяжесть - законы механики, которые мешают нам...

- Ну, нет, брат, без механики далеко не улетишь!- остановил его учитель, смеясь.

Когда все разошлись, Леонардо не отпустил Джованни наверх; помог ему устроить постель у себя в спальне, поближе к потухающим ласковым углям камина, и, отыскав небольшой рисунок, сделанный цветными карандашами, подал ученику.

Лицо юноши, изображенное на рисунке, казалось Джованни таким знакомым, что он сначала принял его за портрет: было сходство и с братом Джироламо Савонаролой,- только, должно быть, в ранние годы юности, и с шестнадцатилетним сыном богатого миланского ростовщика, ненавидимого всеми, старого жида Барукко - болезненным, мечтательным отроком, погруженным в тайную мудрость Кабалы, воспитанником раввинов, по словам их, будущим светилом Синагоги.

Но, когда Бельтраффио внимательнее взгляделся в этого еврейского мальчика, с густыми рыжеватыми волосами, низким лбом, толстыми губами,- он узнал Христа, не так, как узнают Его на иконах, а как будто сам видел, забыл и теперь вдруг вспомнил Его.

В голове, склоненной, как цветок на слишком слабом стебле, в младенчески-невинном взоре опущенных глаз было предчувствие той последней скорби на горе Елеонской, когда Он, ужасаясь и тоскуя, сказал ученикам своим: "душа моя скорбит смертельно",- и отошел на вержение камня, пал на лицо Свое и говорил: "Авва отче! все возможно Тебе. Пронеси чашу сию мимо Меня. Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет". И еще второй и третий раз говорил: "Отче Мой, если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее,

да будет воля Твоя". И находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его подобен каплям крови, падающим на землю.

"О чем Он молился?-подумал Джованни.-Как же просил, чтобы не было того, что не могло не быть, что было Его собственной волею,- для чего Он в мир пришел? Неужели и Он изнемогал, как я, и Он до кровавого пота боролся с теми же страшными двоящимися мыслями?"

- Ну, что? - спросил Леонардо, вернувшись в комнату, из которой вышел ненадолго.- Да ты, кажется, опять?..

- Нет, нет, учитель! О, если бы вы знали, как мне хорошо и спокойно... Теперь все прошло...

- И слава Богу, Джованни! Я ведь говорил, что пройдет. Смотри же, чтобы больше никогда не возвращалось...

- Не вернется, не бойтесь! Теперь я вижу,- он указал на рисунок,- я вижу, что вы так его любите, как никто из людей...

- И если ваш двойник,- прибавил он,- опять придет ко мне, я знаю, чем прогнать его: я только напомню ему об этом рисунке.

Джованни слышал от Чезаре, что Леонардо оканчивает лик Господень в Тайной Вечере, и ему хотелось увидеть его. Много раз просил он об этом учителя; тот все обещал, но откладывал.

Наконец, однажды утром, повел его в трапезную Марии делле Грации и на месте, столь ему знакомом, которое оставалось пустым в течение шестнадцати лет, между Иоанном и Иаковом Заведеевым, в четырехугольнике открытого окна, на тихой дали вечеряющего неба и холмов Сиона, увидел он лик Господа.

Спустя несколько дней, вечером, глухими пустырями, по берегу Кантаранского канала, возвращался Джованни домой от алхимика Галеотто Сакробоско: учитель послал его к нему за редкой книгой, сочинением по математике.

После ветра и оттепели сделалось тихо и морозно. Лужи в грязных колеях дороги подернулись иглами хрупкого льда. Низкие тучи как будто цеплялись за голые лиловые верхушки лиственниц с растрепанными галочьими гнездами. Быстро темнело. Только по самому краю неба тянулась длинная медно-желтая полоса унылого заката. Вода в незамерзшем канале, тихая, тяжелая, черная, как чугун, казалась бездонно-глубокою.

Джованни, хотя самому себе не признавался в этих мыслях и гнал их прочь с последним усилием разума, думал о двух Леонардовых изображениях лика Господня. Стоило ему закрыть глаза, чтобы оба они вместе стали перед ним, как живые: один - родной, полный человеческою немощью, лик Того, Кто на горе Елеонской скорбел до кровавого пота и молился детскою молитвою о чуде; другой - нечеловечески спокойный, мудрый, чуждый и страшный.

И Джованни думал о том, что, может быть, в своем неразрешимом противоречии - оба они истинны.

Мысли его путались, как в бреду. Голова горела. Он сел на камень над водой узкого черного канала, в изнеможении склонился и опустил голову на руки.

- Что ты здесь делаешь? Точно тень влюбленного на берегу Ахерона,- молвил насмешливый голос. Он почувствовал руку на плече своем, вздрогнул, обернулся и увидел Чезаре.

В зимних сумерках, пыльно-серых, как паутина, под голыми лилово-черными лиственницами с растрепанными галочьими гнездами,- длинный, тощий, с длинным бледно-серым больным лицом, закутанный в серый плащ, сам Чезаре казался похожим на зловещий призрак.

Джованни встал, и они молча продолжали путь; только сухие листья шуршали под ногами.

- Знает он, что мы намерены рылись в его бумагах? - спросил, наконец, Чезаре. - Знает,- ответил Джованни.

- И, конечно, не сердится. Я так и думал. Всепрощение! - рассмеялся Чезаре злобным, насильственным смехом.

Опять замолчали. Ворон, хрипло каркнув, перелетел через канал.

- Чезаре,- произнес Джованни тихо,- видел ты лик Господень в Тайной Вечере? - Видел.

- Ну, что?..как?

Чезаре быстро обернулся к нему. - А тебе как? - спросил он. - Я не знаю... Мне, видишь ли, кажется... - Говори прямо: не нравится, что ли?.. - Нет. Но я не знаю. Мне приходит на ум, что, может быть, это - не Христос... - Не Христос? А кто же? Джованни не ответил, только замедлил шаг и опустил

голову.

Послушай,-продолжал он в глубоком раздумье,- видел ли ты другой рисунок, тоже для головы Христа, цветными карандашами, где Он изображен почти ребенком?

- Знаю, еврейским мальчиком, рыжим, с толстыми губами, с низким лбом - лицо как у этого жиденка, сына старого Барукко. Ну, так что же? Тебе Тот больше нравится?

- Нет... А только я думаю, как Они непохожи друг на друга, эти два Христа!

- Непохожи? -удивился Чезаре.-Помилуй, да это одно лицо! В Тайной Вечере Он старше лст на пятнадцать...

- А впрочем,- прибавил он,- может быть, ты и прав. Но если это даже два Христа, все-таки Они похожи друг на друга, как двойники.

- Двойники! - повторил Джованини, вздрогнув, и остановился.-Как ты это сказал, Чезаре,-двойники?

- Ну, да. Чего же ты так испугался? Разве ты сам этого не заметил? Опять пошли, молча.

- Чезаре! - воскликнул вдруг Бельтраффио, с неудержимым порывом,-как же ты не видишь? Неужели Тот, всемогущий и всезнающий. Кого изобразил учитель в Тайной Вечере, неужели мог Он тосковать на горе Елеонской, на вержении камня, до кровавого пота, и молиться нашей человеческою молитвою, как молятся дети,- о чуде: "пусть не будет того, для чего Я в мир пришел,- чего, Я знаю, не может не быть. Авва Отче, пронеси чашу сию мимо Меня". Но ведь в этой молитве-все, все, слышишь, Чезаре? - и нет без нее Христа, и я не отдам ее ни за какую мудрость! Кто не молился этою молитвою, тот не был человеком, тот не страдал, не умирал, как мы!..

- Так вот ты о чем,- медленно произнес Чезаре.- А ведь и в самом деле... Да, да, я понимаю тебя! О, конечно, тот Христос, в Тайной Вечере, так молиться не мог,..

Совсем стемнело. Джованини с трудом различал лицо своего спутника: ему казалось, что оно странно изменилось. Вдруг Чезаре остановился, поднял руку и произнес глухим, торжественным голосом: - Ты хочешь знать,, кого изобразил он, ежели не Того, Кто молился на горе Елеонской,- не твоего Христа? Слушай: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не

начало быть, что начало быть. И Слово стало плотию". Слышишь,- разум Бога - Слово стало плотию. Среди учеников Своих, которые, слыша из уст Его: "один из вас предаст Меня",- скорбят, негодуют, ужасаются,- Он спокоен, Он всем равно близок и чужд - Иоанну, возлежащему на груди его, Иуде, предающему Его,- потому что нет для Него более зла и добра, жизни и смерти, любви и ненависти, а есть только воля Отца - вечная необходимость: "не Моя, но твоя да будет воля",- ведь это сказал и Твой, и Тот, Кто молился на горе Елеонской, на вержении камня о невозможном чуде. Вот почему говорю я: Они двойники. "Чувства принадлежат земле; разум - вне чувств, когда созерцает", ты помнишь? -это слова Леонардо. В лицах и движениях апостолов, величайших людей, изобразил он все чувства земные; но Тот, Кто сказал: "Я победил мир", "Я и Отец - одно",- разум созерцающий - вне чувств. Помнишь и эти другие слова Леонардо о законах механики: "О, дивная справедливость Твоя, Первый Двигатель!" Христос его есть Первый Двигатель, который, будучи началом и средоточием всякого движения,-сам неподвижен; Христос его есть вечная необходимость, сама себя в человеке познавшая и возлюбившая, как божественную справедливость, как волю Отца: "Отче праведный! и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя. И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет". Слышишь: любовь-от познания. "Великая любовь есть дочь великого познания". Леонардо, один из людей, понял это слово Господа и воплоти.. его во Христе своем, который "любит все, потому что знает все".

Чезаре умолк, и долго шли они в бездыханной тишине сгущавшихся морозных сумерек.

- Помнишь, Чезаре,- произнес, наконец, Джованни,- три года назад шли мы с тобой, точно так же как теперь, предместьем Верчельских ворот и спорили о Тайной Вечере? Ты тогда смеялся над учителем, говорил, что никогда не кончить ему лика Господня, а я возражал. Теперь ты за него - против меня. Знаешь ли, я бы ни за что не поверил, что ты, именно ты, можешь так говорить о нем!..

Джованни хотел заглянуть в лицо спутнику, но Чезаре поспешно отвернулся. - Я рад,-заклучил Бельтраффио,-что ты любишь его, да,

любишь, Чезаре, может быть, сильнее, чем я,- хочешь ненавидеть - и любишь!..

Товарищ медленно обернул к нему лицо свое, бледное, искаженное. да! Люблю! А ты что думал? Люблю! Мне ли не любить его? ХОЧУ ненавидеть- должен любить, ибо ТО, ЧТО ОН СДЕЛАЛ в Тайной Вечере, никто, быть может он и сам, не понимает, как я - я, злейший враг его!.. И опять засмеялся он своим насильственным смехом: - А ведь вот, подумай, не странно ли сердце человеческое создано? Если уж нашло, я, пожалуй, скажу тебе правду, Джованни: я все-таки не люблю его, еще более не люблю его, чем тогда!.. - За что?

- А хотя бы за то, что я желаю быть самим собою,-слышишь? -последним из последних, но все же не ухом, не глазом, не пальцем от ноги его! Ученики Леонардо - цыплята в орлином гнезде! Правила науки, ложечки для измерения красок, таблички для носов - пусть этим утешается Марко! Посмотрел бы я, как сам Леонардо со всеми своими правилами создал бы лик Господень! О, конечно, он учит нас, цыплят своих, летать по-орлиному - от доброго сердца, ибо жалеет нас, так же, как слепых щенят дворовой суки, и хромую клячу, и преступника, которого провожает на смертную казнь, чтобы наблюдать за содроганиями мускулов в лице его, и стрекозку осеннюю с крылышками окоченелыми. Избыток благости своей, как солнце, на все изливает... Только видишь ли, друг, у каждого свой вкус: одному приятно быть замерзшей стрекозкой или червяком, которого учитель, подобно Св. Франциску, с дороги подняв, на зеленый лист кладет, чтобы прохожие ногой не раздавили. Ну, а другому... знаешь, Джованни, лучше бы уж он меня попросту, не мудрствуя, раздавил!..

- Чезаре,- произнес Джованни,- если это так, зачем же ты не уходишь от него?..

- А ты зачем не уходишь? Крылья опалил, как мотылек на свече, а вьешься - лезешь в огонь. Ну, так вот, может быть, и я в том же огне хочу сгореть. А впрочем, кто знает? Есть у меня и надежда... - Какая?

- О, самая пустая, пожалуй, безумная! А все-таки, нетнет, да и подумай: что если придет другой, на него непохожий и равный ему, не Перуджино, не Боргоньоне, не Боттичелли, ни даже великий Мантенья,- я знаю цену учителю: никто из них ему не страшен,-но еще

неведомый? Мне бы только взглянуть на славу другого, только бы напомнить мессеру Леонардо, что и такие насекомые, из милости не раздавленные, как я, могут ему предпочесть другого и уязвить, ибо, несмотря на овечью шкуру, несмотря на жалость и всепрощение, гордыня-то в нем всетаки дьявольская!..

Чезаре не кончил, оборвал, и Джованни почувствовал, что он схватил его за руку дрожащею рукою. - Я знаю,- произнес Чезаре уже другим, почти робким и молящим, голосом,- я знаю, никогда бы тебе самому это в голову не пришло. Кто сказал тебе, что я люблю Его?..

- Он сам,-ответил Бельтраффио. - Сам? Вот что! - произнес Чезаре в невыразимом смущении.-Так, значит, он думает... Голос его пресекся.

Они посмотрели друг другу в глаза и вдруг оба поняли, что им более не о чем говорить, что каждый слишком Погружен в свои собственные мысли и муки.

Молча, не простившись, расстались они на ближайшем перекрестке.

Джованни продолжал свой путь неверным шагом, опустив голову, ничего не видя, не помня, куда идет, глухими пустырями, между голых лиственниц, по берегу прямого, длинного канала, с тихою, тяжкою, чугуно-черною водою, где ни одна звезда не отражалась,- повторяя с безумным остановившимся взором: - Двойники... двойники...

В начале марта 1499 года Леонардо неожиданно получил из герцогского казначейства задержанное за два года жалованье.

В это время ходили слухи, будто бы Моро, пораженный известием о заключении против него тройственного союза Венеции, папы и короля, намеревался, при первом появлении французского войска в Ломбардии, бежать в Германию к императору. Желая упрочить за собой верность подданных во время своего отсутствия, герцог облегчал налоги и подати, расплачивался с должниками, осыпал приближенных подарками.

Немного Времени спустя удостоился леонардо нового знака герцогской милости:

"Иудовик Мариа Сфорца, герцог Медиолана, Леонардуса Квинтинья флорентинца, художника знаменитейшего, шестнадцатого ему земли с виноградником, приобретенным у монастыря Св. Виктора,

именуемым Подгородным, что у Верчельских ворот, жалует",-сказано было в дарственной записи.

Художник пошел благодарить герцога. Свидание назначено было вечером. Но ждать пришлось до Поздней ночи, так как Моро завален был делами. Весь день провел он в скучных разговорах с казначеями и секретарями, в проверке счетов за военные припасы, ядра, Пушки, порох, в распутывании старых, в изобретении новых узлов той бесконечной сети обманов и предательств, которая нравилась ему, когда он был в ней хозяином, как Паук в паутине, и в которой теперь он чувствовал себя, как пойманная муха.

Окончив дела, пошел в галерею Браманте, над одним из рвов Миланского замка.

Ночь была тихая. Порой лишь слышались звуки трубы, протяжный оклик часовых, железный скрежет ржавой цепи подъемного моста.

Паж Ричардетто принес два факела, вставил их в чугунные подсвечники, вбитые в стену, и подал герцогу золотое блюдо с мелко Нарезанным хлебом. Из-за угла, во рву, по черному зеркалу вод, привлекаемые светом факелов, выплыли белые лебеди. Облокотившись на перила, он бросал кусочки хлеба в воду и любовался, как они ловили их, беззвучно рассекая грудью водное стекло.

Маркиза Изабелла д'Эсге, сестра покойной Беатриче, прислала в подарок этих лебедей из Мантуи, с тихих плоскобережных заводей Минчо, обильных камышами и плакучими ивами,- давнишнего приюта лебединых стай.

Моро всегда любил их: но в последнее время еще больше пристрастился к ним и каждый вечер кормил их из собственных рук, что было для него единственным отдыхом от мучительных дум о делах, о войне, о политике, о своих и чужих Предательствах. лебеди напоминали ему детство, когда он так же кормил их, бывало, на сонных, поросших зеленой ряской, прудах Виджеваны.

Но Здесь, во рву Миланского замка, меж грозными бойницами, башнями, пороховыми складами, пирамидами ядер и жерлами пушек-тихие, чистые, белые, в голубовато-серебряном лунном тумане - казались они еще прекраснее. Гладь воды, отразившая небо, Под ними была почти темной, и, качаясь, скользили они, как

видения, со СтороНы окруженные звездами, полные тайны, между Двумя небесами-небом вверху и небом внизу-одинаково чуждые и близкие обоим.

За спиною герцога маленькая дверца скриПнула, и выСУнулАсь голова камерьере Пустерла. Почтительно сОгнувШИСь, подоШел оН к Моро и подал бумагу. - Что Это? - спросил герцог.

- От главного казначея, мессера Бортонцо Ботто, СЧет За военные припасы, порох и ядра. Очень изВияЮТтСЯ, что принуждены беспокоить. Но обоз в Мортару выЕЗЖает на рассветЕ...

Моро схватил бумагу, скомкал и швырнул ее прочь: - Сколько раз говорил я тебе, чтобы ни с какими делАми Не лезть ко мне После ужиНа! О, Господи, кажется, ЧТо И ночью в постели не дадут Покоя1.. Камерьере, НЕ разГибая спины, пятась к двери задом, ПРоизнес шепотом так, чтобы герцог мог не расслышать, ЕСЛИ Не захочет: - Мессер леонардо.

- Ах, да, Леонардо. Зачем ты давно не НаПомнил? Проси.

И, снова обернуВШись к лебедям, подумал: - Леонардо не помеШАет.

На желтом, обрюзгшем лице Моро, с тонкими, хитрыми хищными губами, выступила добрая улыбка.

Когда в галерею вошел художник, герцог, продолжая Кидать кусочки хлеба, перевел на него ту самую улыбку, С КОТОРОЙ смотрел На лебедей.

Леонардо хотел преклонить колено, Но геРцог удержал ЕГО И поцеловал в голову.

- Здравствуй. Давно мы с тобой не видались. Как поЖИВАЕшь, друг?

- Я должен благодарить вашу светлость... - Э, ПолНо! Таких ли даров ты достоин? Вот уж дай СроК, я сумЕЮ наградить тебя по заслугам. Вступив в беседу с художником, он расспраШИвал его О ПОследних работах, изобретениях и замыслах, нарочно О ТАКИХ, которые казались Герцогу самыми невозможными, - о подводном колоколе, лыжах для хоЖдениЯ ПО морю, как Посуху, о человеческих крыльях. Когда же лЕОНАрдо наводил речь На дела укрепления замка, КаНА Мартезану. отливку памятника,-тотчас уКлонялся ОТ разговора с брезгливым скучаюнрм видом.

Вдруг, о чем-то задумавшись, как это последнее время с ним часто бывало, умолк и понурил голову с таким отчужденным, сосредоточенным выражением, точно забыл о собеседнике. Леонардо стал прощаться.

- Ну, с Богом, с Богом! - кивнул ему головою герцог рассеянно. Но когда художник был уже в дверях, окликнул его, подошел, положил ему обе руки на плечи и заглянул в глаза печальным долгим взглядом.

- Прощай,- молвил он, и голос его дрогнул,- прощай, мой Леонардо! Кто знает, свидимся ли еще наедине?.. - Ваше высочество покидаете нас? Моро тяжело вздохнул и ничего не ответил. - Так-то, друг,- продолжал он, помолчав.- Вот ведь шестнадцать лет прожили вместе, и ничего я от тебя, кроме хорошего, ну, да и ты от меня, кажется, дурного не видал. Пусть люди говорят, что угодно,- а в будущих веках, кто назовет Леонардо, тот и герцога Моро помянет добром!

Художник, не любивший чувствительных излияний, проговорил единственные слова, которые хранил в своей памяти для тех случаев, когда требовалось от него придворное красноречие:

- Синьор, я бы хотел иметь больше, чем одну жизнь, чтобы отдать их все на служение вашей светлости.

- Верю,- произнес Моро.- Когда-нибудь и ты вспомнишь обо мне и пожалеешь...

Не кончил, всхлипнул, крепко обнял и поцеловал его. - Ну, дай тебе Бог, дай тебе Бог!..

Когда Леонардо удалился, Моро долго еще сидел в галерее Браманте, любясь лебедями, и в душе его было чувство, которого не сумел бы он выразить словами. Ему казалось, что, в темной, может быть, преступной жизни его, Леонардо был подобен этим белым лебедям, в черной воде, во рву Миланской Крепости, меж грязными бойницами, башнями, пороховыми складами, пирамидами ядер и жерлами пушек,-такой же бесполезный и прекрасный, такой же чистый и девственный.

В безмолвии ночи слышалось только падение медленных капель смолы с догорающих факелов. В их розовом свете, сливавшемся со светом голубой луны, плавно качаясь, дремали, полные тайны, окруженные звездами, как видения, между двумя небесами - небом

вверху и небом внизу, одинаково чуждые и близкие обоим, лебеди со своими двойниками в темном зеркале вод.

От герцога, несмотря на поздний час ночи, Леонардо вошел в монастырь Сан-Франческо, где находился больной ученик его, Джованни Бельтраффио. Четыре месяца назад, вскоре после разговора с Чезаре о двух изображениях Лика Господня, заболел он горячкою.

То было в двадцатых числах декабря 1498 года. Однажды, навестив прежнего учителя своего, фра Бенедетто, Джованни застал у него гостя из Флоренции, доминиканского монаха фра Паоло. По просьбе Бенедетто и Джованни он рассказал им о смерти Савонаролы. Казнь была назначена на 23 мая 1498 года, в девять Часов утра, на площади Синьории, перед палаццо Веккио, Там же, где происходили сожжение сует и огненный поединок.

В конце длинных мостков был разложен костер; над ним стояла виселица - толстое бревно, вбитое в землю, с поперечною перекладиною, с тремя петлями и железными цепями. Вопреки усилиям плотников, долго возившихся с поперечной перекладиною, то укорачивавших, то удлинявших ее, виселица имела вид Креста. Такая же несметная толпа, как в день поединка, кишела на площади, в окнах, лоджиях и на крышах домов. Из дверей палаццо вышли осужденные: Джироламо Савонарола, Доминико Буонвиничи и Сильвестро Маруффи. Сделав несколько шагов по мосткам, остановились перед трибуной епископа Вазонского, посланника папы Александра VI. Епископ встал, взял брата Джироламо за руку и проговорил слова отлучения нетвердым Голосом, не подымая глаз на Савонаролу, который смотрел ему прямо в лицо. Последние слова произнес неверно: - *Separo te ab Ecclesia militante atque triumphante*. Отлучаю тебя от Церкви воинствующей и торжествующей.

- *Militante, Non triumphante, hoc enim turn Non est*. От воинствующей, не торжествующей, сие не во власти твоей,- поправил его Савонарола.

С отлученных сорвали одежды, оставили их полунагими, в исподних рубашках,- и они продолжали путь, еще дважды останавливаясь перед трибуною апостолических комиссаров, которые прочли решение церковного суда, и перед Трибуною

Восьми Мужей Флорентийской республики, обьявивших смертный приговор от лица народа.

Во время Этого последнего пути фра Сильвестро едва НЕ упал, оступившись; Доминико и Савонарола тоже споткнулись: впоследствии оказалось, что уличные шалуны солдаты бывшего Священного Воинства маленьких инквизиторов, забравшись под мостки, просунули колья между досками, чтобы ранить ноги шедшим на смертную казнь.

Фра Сильвестро Маруффи, юродивый, первый должен был взойти на виселицу. Сохраняя бессмысленный вид, как будто не сознавая, что с ним происходит, взобрался он по ступеням. Но когда палач накинул ему петлю на шею, уцепился за лестницу, поднял глаза к небу и воскликнул: - В руки Твои, Господи, предаю дух мой! Потом сам, без помощи палача, разумным, бесстрашным движением соскочил с лестницы. "

Фра Доминико, ожидая очереди, переминался с ноги на ногу, в радостном нетерпении, и, когда ему подали знак, устремился к виселице, с такою улыбкою, как будто шел прямо в рай.

Труп Сильвестро висел на одном конце перекладины, на другом - Доминико. Среднее место ожидало Савонаролу.

Взойдя по лестнице, остановился он, опустил глаза и взглянул на толпу.

Наступила тишина, точно такая же, как бывало в соборе Марии дель Фьоре перед проповедью. Но когда продел он голову в петлю, кто-то крикнул: - Сделай чудо, пророк!

Никто не понял, была ли это насмешка, или крик безумной веры. Палач толкнул его с лестницы.

Старичок-ремесленник, с кротким, набожным лицом, в течение нескольких часов стороживший у костра,- только что брат Джироламо повис, поспешно перекрестился и сунул горящий факел в дрова, с теми самыми словами, с которыми некогда Савонарола зажег костер сует и анафем: - Во имя Отца, и Сына, и Духа Святого! Пламя вспыхнуло. Но ветер отклонил его в сторону. Толпа всколыхнулась. Давя друг друга, люди побежали, объятые ужасом. Послышались крики: - Чудо! Чудо! Чудо! Не горят!

Ветер стих. Пламя вновь поднялось и охватило трупы. Веревка, которой связаны были руки брата Джироламо, истлела,- они развязались, упали, как будто зашевелились в огне, и многим почудилось, что он в последний раз благословил народ.

Когда костер потух и остались только обугленные кости да клочья мяса на железных цепях, ученики Савонаролы протеснились к виселице, желая собрать останки мучеников. Стражи отогнали их, свалили пепел на телегу и отвезли на Понте Веккьо, чтобы бросить в реку. Но по дороге "плаксы" успели похитить щепотки пепла и частицы будто бы не сгоревшего сердца Савонаролы. Окончив рассказ, фра Паоло показал своим слушателям ладанку с пеплом. Фра Бенедетто долго целовал ее и обливал слезами.

Оба монаха пошли ко всенощной. Джованни остался один.

Вернувшись, они нашли его лежащим в беспамятстве на полу перед Распятием; в окоченелых пальцах сжимал он ладанку.

В течение трех месяцев Джованни был между жизнью и смертью. Фра Бенедетто ни на минуту не отходил от него.

Часто, в безмолвии ночей, сидя у изголовья больного и прислушиваясь к бреду его, ужасался.

Джованни бредил Савонаролою, Леонардо да Винчи ілі Божьей Матерью, которая, чертя пальцем на песке пустыни геометрические фигуры, учит Младенца Христа законам вечной необходимости.

"О чем Ты молишься? - повторял больной с невыразимой тоской.- Или не знаешь, что нет чуда, не может чаша сия пройти мимо Тебя, так же как не может не быть Прямая кратчайшим расстоянием между двумя точками!" Его мучило также другое видение - два лика Господня, противоположные и подобные, как двойники: один, полный Человеческим страданием и немощью,- лик Того, Кто на вержении камня молился о чуде; другой лик страшного, Чуждого, всемогущего и всезнающего. Слова, ставшего плотью,-Первого Двигателя. Они обращены были друг к другу, как в поединке два вечных противника. И между тем, как Джованни вглядывался в них,- лик смиренного, Скорбного темнел, искажался, превращаясь в демона, которого некогда Леонардо изобразил в карикатуре на Савонаролу, и, обличая Двойника своего, называл его Антихристом

.....

Фра Бенедетто спас жизнь Бельтраффио. В начале июня 1499 года, когда он поправился настолько, что мог ходить,- несмотря на все мольбы и увещания монаха, вернулся Джованни в мастерскую Леонардо. В конце июля того же года войско французского короля Людовика XII, под начальством сеньоров Обиньи, Луи Люксембурга и Джан-Джакомо Тривульцио, перевалив через Альпы, вступило в Ломбардию.

<h2>ДЕСЯТАЯ КНИГА. ТИХИЕ ВОЛНЫ</h2>

Обитая железом маленькая дверь в северо-западной башне Рокетты вела в подвал,, уставленный дубовыми сундуками,- казнохранилище герцога Моро. Над этой дверью, в неоконченных фресках Леонардо, изображен был бог Меркурий, подобный грозному ангелу. Ночью, первого сентября 1499 года придворный казначей Амброджо да Феррари и управитель герцогских доходов Боргонцио Ботто с помощниками вынимали из этого подвала деньги, жемчуг, который, как зерно, черпали ковшами, и другие драгоценности, складывали в кожаные мешки и запечатывали; слуги выносили их в сад и навьючивали на мулов. Двести сорок мешков были наполнены; тридцать мулов навьючены - а заплывшие огарки все еще озаряли в глубине сундуков груды червонцев.

Моро сидел у входа в казнохранилище за письменным поставцом, заваленным счетными книгами, и, не обращая внимания на работу казначеев, бессмысленным взглядом смотрел на пламя свечи.

С того дня, как получил весть о бегстве главного полководца своего, синьора Галеаццо Сансеверино, и о приближении французов к Милану, погрузился он в это странное оцепенение.

Когда все драгоценности были вынесены из подвалов, казначей спросил его, желает ли он взять с собою или оставить золотую и серебряную посуду. Моро посмотрел на него, нахмурившись, как бы напрягая мысль, чтобы понять, о чем он говорит; он тотчас отвернулся, махнул рукой и снова устремил неподвижный взгляд на пламя свечи. Когда мессер Амброджо повторил вопрос, герцог уже не расслышал вовсе. Казначей ушли, так и не добившись ответа. Моро остался один.

Старый камерьер Мариоло Пустерло доложил о приходе нового начальника крепости, Бернардино да Корте. Моро провел рукой по

лицу, встал и проговорил: - Да, да, конечно, прими!

Питая недоверие к потомкам знатных родов, любил он создавать людей из ничего, первых делать последними, последних - первыми. Среди вельмож его были дети истопников, огородников, поваров, погонщиков мулов. Бернардино, сын придворного лакея, впоследствии кухонного счетовода, в молодости сам носил ливрею. Моро возвысил его до первых должностей государственных и теперь оказывал ему величайшее доверие, поручал защиту миланского замка, последней твердыни своего могущества в Ломбардии.

Герцог милостиво принял нового префекта, усадил, развернул перед ним планы замка и начал объяснять военные знаки для переговоров крепостного отряда с жителями города: необходимость скорой помощи обозначали: днем - кривой садовый нож, ночью - три зажженные факела, показанные с главной башни замка; измену солдат - белая простыня, вывешенная на башне Боны Савойской; недостаток пороха - стул, спущенный на веревке из бойницы; недостаток вина - женская юбка; хлеба - мужские штаны из черной фустаньи; врача - глиняный ночной горшок.

Моро сам изобрел эти знаки и простодушно утешался ими, как будто в них заключалась теперь вся надежда на спасение.

- Помни, Бернардино,- заключил он,- все предусмотрено, всего у тебя вдоволь: денег, пороха, съестных припасов, огнестрельных орудий; трем тысячам наемников заплачено вперед; в руках твоих крепость, которая могла бы выдержать осаду в течение трех лет, но я прошу только о трех месяцах, и если не вернусь к тебе на выручку,- делай, что знаешь.- Ну, теперь, кажется, все. Прощай. Господь да сохранит тебя, сын мой! Он обнял его на прощание. Когда префект ушел, Моро велел пажу постлать походную постель, помолился, лег, но не мог уснуть. Опять зажег свечу, вынул из дорожной сумки пачку бумаг и отыскал стихотворение соперника Беллинчони, некоего Антонио Камелли да Пистойя, изменившего герцогу, своему благодетелю, и бежавшего к французам. В стихотворении изображалась война Моро с Францией под видом борьбы крылатой Змеи Сфорца с древним галльским Петухом:

Борьбу я вижу Петуха и змея: Вцепились друг в друга, выются клубом; Уж выщербил Петух Дракону глаз, Змей хочет взвиться и не

может. Когтями рот ему зажал Петух, И корчится Змея от боли. Издохнет гад, и воцарится Галл; И тем, кто мнил себя превыше неба, Побрезгают не только люди - звери И падалью питающийся ворон.

Всегда он трусом был, но лишь в раздорах наших Казалось мужественным сердце труса. За то, что ты врагов в отечество призвал, Похитил власть, племянника ограбив, О Моро, Бог тебя бедою поразил, Для коей нет врача иного, кроме смерти; И если своего ты счастья не забыл, Теперь ты знаешь, Лодовико, Как тех страдание велико, Кто говорит: я счастлив был!

Грустное и в то же время почти сладостное чувство обиды было в сердце Моро. Он вспомнил недавние раболепные гимны того же самого Антонио Камелли да Пистойя:

Кто видит славу Моро, каменеет В священном ужасе, как от лица Медузы. Владыка мира и войны, Одной ногой ты попираешь небо, Другою - землю.

Тебе, о герцог наш, поднять довольно палец, Чтоб повернуть весь мир; Ты первый, после Бога, правишь Рулем вселенной, колесом Фортуны.

Было за полночь. Пламя догоревшей свечи трепетало, потухая, когда герцог все еще ходил взад и вперед по сумрачной башне Сокровищницы. Он думал о своих страданиях, о несправедливости судьбы, о неблагодарности людей.

"Что я им сделал? За что они возненавидели меня? Говорят: злодей, убийца. Но ведь тогда и Ромул, умертвивший брата, и Цезарь, и Александр, все герои древности - только убийцы и злодеи! Я хотел им дать новый век золотой, какого народы не видели со времени Августа, Траяна и Антонина. Еще бы немного - и под моею державою в объединенной Италии расцвели бы древние лавры Аполлона, оливы Паллады, наступило бы царство вечного мира, царство божественных Муз. Первый из государей, я искал величия не в кровавых подвигах, а в плодах золотого мира - в просвещении. Браманте, Пачили, Карадоссо, Леонардо и сколько других! В отдаленнейшем потомстве, когда суетный шум оружия умолкнет, имена их будут звучать вместе с именем Сфорца. И то ли бы еще я сделал, на такую ли высоту вознес бы, новый Перикл, мои новые

Афины, если бы не это дикое полчище северных варваров!.. За что, за что же, Господи?" Опустив голову на грудь, он повторил стихи поэта:

Теперь ты знаешь, Лодовико, Как тех страдание велико, Кто говорит: я счастлив был!

Пламя в последний раз вспыхнуло, озарило своды башни, бога Меркурия над дверью казнохранилища - и потухло. Герцог вздрогнул, ибо угасание догоревшей свечи было дурною приметой. В темноте, ощупью, чтобы не будить Ричардетто, он подошел к постели, разделся, лег и на этот раз тотчас уснул.

Ему приснилось, будто бы стоит он на коленях перед мадонною Беатриче, которая, только что узнав о любовном свидании мужа с Лукрецией, ругает и бьет его по щекам. Ему больно, но не обидно; он рад, что она опять жива и здорова. Покорно подставляя лицо свое под удары, ловит он ее маленькие смуглые ручки, чтобы припасть к ним губами, и плачет от любви, от жалости к ней. Но вдруг перед ним - уже не Беатриче, а бог Меркурий, тот самый, что изображен на фреске Леонардо над железной дверью, подобный грозному ангелу. Бог схватил его за волосы и кричит: "Глупый! глупый! на что ты надеешься? Думаешь, помогут тебе твои хитрости, спасут от кары Господней, убийца!"

Когда он проснулся, свет утра брезжил в окнах. Рыцари, вельможи, ратные люди, немецкие наемники, которые должны были сопровождать его в Германию,- всего около трех тысяч всадников - ожидали выхода герцога на главной аллее парка и на большой дороге к северу - к Альпам.

Моро сел на коня и поехал в монастырь делле Грации последний раз помолиться над гробом жены.

С первыми лучами солнца печальный поезд тронулся в путь.

Вследствие осенней непогоды, испортившей дороги, путешествие затянулось более чем на две недели.

Восемнадцатого сентября, поздно вечером, на одном из последних переходов, герцог, больной и усталый, решил переночевать на высоте в пещере, служившей приютом пастухов. Не трудно было найти более спокойное и удобное убежище, но он выбрал нарочно это дикое место Для свидания с отправленным к нему послом императора Максимилиана.

Костер озарял сталактиты в нависших сводах пещеры. На походном вертеле жарились фазаны для ужина. Герцог сидел на походном ременчатом стуле, закутанный, с грелкой в ногах. Рядом, ясная и тихая, как всегда, с домашним хозяйственным видом, мадонна Лукреция приготавливала полоскание от зубной боли, собственного изобретения, из вина, перца, гвоздики и других крепких пряностей: у герцога болели зубы.

- Так-то, мессер Одоардо,- говорил он послу императора, не без тайного самодовольства утешаясь величию собственных бедствий,- вы можете передать государю, где и как встретили вы законного герцога Ломбардии!

Он был в одном из тех припадков внезапной болтливости, которые теперь иногда овладевали им после долгого молчания и оцепенения.

- Лисицы имеют норы, птицы - гнезда, я же не имею Места, где приклонить голову!

- Корио,- обратился он к придворному летописцу,- когда будешь составлять хронику, упомяни и об этом ночлеге в пастушьем вертепе - последнем убежище потомка великих Сфорца, из рода троянского героя Англа, Энеева спутника!

- Синьор, ваши несчастья достойны пера нового Тацита! - заметил Одоардо.

Лукреция подала герцогу зубное полоскание. Он взглянул на нее и залюбовался. Бледная, свежая, в розовом отблеске пламени, с черными гладкими начесами волос на ушах, с бриллиантом на тонкой нити фероньеры посредине лба, смотрела она на него с улыбкой материнской нежности, немного исподлобья, своими внимательными, строгими и важными, как у детей, невинными глазами.

"О милая! Вот кто не предаст, не изменит",- подумал герцог и, окончив полоскание, молвил:

- Корио, запиши: в горниле великих страданий познается истинная дружба, как золото в огне. Карлик-шут Янакки подошел к Моро. - Куманек, а, куманек!-заговорил он, усаживаясь в ногах его и дружески хлопая герцога по колену.- Чего ты нос повесил, как мышь на крупу надулся? Брось, право, брось! От всякого горя, кроме

смерти, есть лекарство. И то сказать: лучше быть живым ослом, чем мертвым государем.- Седла! - закричал он вдруг, указывая на кучу сбруи, лежавшей на полу.- Куманек, посмотрика: ослиные седла! - Чему же ты обрадовался? - спросил герцог. - Старая басенка, Моро! Не мешало бы и тебе напомнить. Хочешь, расскажу? - Расскажи, пожалуй!..

Карлик привскочил, так что все бубенчики на нем зазвенели, и помахал шутовской палкой, на конце которой висел пузырь, наполненный сухим горохом.

- Жил да был у короля неаполитанского Альфонсо живописец Джотто. Однажды приказал ему государь изобразить свое королевство на стене дворца. Джотто написал осла, который, имея на спине седло с государственным гербом - золотой короной и скипетром, обнюхивает другое, новое седло, лежащее у ног его, с таким же точно гербом.- Что это значит? - спросил Альфонсо.- Это ваш народ, государь, который, что ни день, то желает себе нового правителя,- ответил художник.- Вот тебе и вся моя сказочка, куманек. Хоть я и дурак, а слово мое верно: французское седло, что нынче миланцы обнюхивают, скоро им спину натрет,-дай только ослику вволю натешиться, и старое опять покажется новым, новое-старым.

- *Stulti aliquando sapientes.*- Глупые иногда мудры,- с грустной усмешкой молвил герцог.- Корио, запиши...

Но на этот раз не суждено ему было произнести достопамятного изречения: у входа в пещеру послышалось фыркание лошади, топот копыт, заглушенные голоса. Вбежал камерьере Мариоло Пустерло с испуганным лицом и что-то прошептал на ухо главному секретарю, Бартоломео Кальке. - Что случилось? - спросил Моро. Все притихли.

- Ваше высочество...- молвил секретарь, но голос его дрогнул, и, не кончив, он отвернулся.

- Синьоре,- произнес Луиджи Марлиани, подходя к Моро,- Господь да сохранит вашу светлость! Будьте готовы ко всему: недобрые вести...

- Говорите, говорите скорее! - воскликнул Моро и вдруг побледнел.

У входа в пещеру, среди солдат и придворных, увидел он человека в кожаных высоких сапогах, забрызганного Грязью. Все

расступились молча. Герцог оттолкнул от себя мессера Луиджи, бросился к вестнику, вырвал у него из рук письмо, распечатал, пробежал, вскрикнул и повалился навзничь. Пустерло и Марлиани едва успели его поддержать. Боргонцо Ботто извещал Моро о том, что семнадцатого сентября, в день св. Сатира, изменник Бернардино да Кортес сдал миланский замок маршалу французского короля, Джан-Джакомо Тривульцио.

Герцог любил и умел падать в обморок. Он иногда пользовался этим средством, как дипломатической хитростью. Но на этот раз обморок был непритворный.

Долго не могли привести его в чувство. Наконец он открыл глаза, вздохнул, приподнялся, набожно перекрестился и проговорил:

- От Иуды до наших дней не было большего предателя, чем Бернардино да Кортес! И более в этот день не произнес ни слова. Несколько дней спустя, в городе Инсбруке, где император Максимилиан милостиво принял Моро, в поздний час ночи, наедине с главным секретарем Бартоломео Калько, расхаживая по одному из покоев во дворце кесаря, герцог сочинял, а мессер Бартоломео записывал доверительные грамоты двум послам, которых тайно отправлял Моро в Константинополь к турецкому султану.

Лицо старого секретаря ничего не выражало кроме внимания. Перо послушно бегало по бумаге, едва поспевая за быстрою речью герцога.

- "Пребывая постоянно твердыми и неизменными в добрых намерениях и расположении к вашему величеству, а ныне, особливо, для возвращения нашего государства, на великодушную помощь повелителя Оттоманской Империи уповая, решили мы послать трех гонцов тремя различными путями, дабы, по крайней мере, один из них исполнил наши поручения"...

Далее герцог жаловался султану на папу Александра VI:

- "Папа, будучи, по природе своей, коварным и злым"...

Бесстрастное перо секретаря остановилось. Он поднял брови, сморщил кожу на лбу и переспросил, думая, что ослышался: - Папа?

- Ну, да, да. Пиши скорее.

Секретарь еще ближе наклонил голову к бумаге, и снова перо закрипело.

- "Папа, будучи, как известно вашему величеству, по природе своей, коварным и злым, побудил французского короля к походу на Ломбардию". Описывались победы французов:

- "Получив об этом известие, объаты были мы страхом,- признавался Моро,- и почли за благо удалиться к императору Максимилиану в ожидании помощи вашего величества. Все предали и обманули нас, но более всех Бернардино"...

При этом имени голос его задрожал. - "Бернардино да Корте - змей, отогретый у сердца нашего, раб, осыпанный милостями и щедротами нашими, который продал нас, как Иуда"... Впрочем, нет, погоди, об Иуде не надо,- спохватился Моро, вспомнив, что пишет неверному турку.

Изобразив свои бедствия, умолял он султана напасть на Венецию с моря и суши, обещая верную победу и уничтожение исконного врага Оттоманской Империи, республики Сан-Марко.

- "И да будет вам известно,- заключал он послание,- что в сей войне, как во всяком ином предприятии, все, что мы имеем, принадлежит вашему величеству, которое едва ли найдет в Европе более сильного и верного союзника".

Он подошел к столу, что-то хотел прибавить, но махнул рукой и опустил в кресло.

Бартоломео сыпал из песочницы последнюю невысохшую страницу. Вдруг поднял глаза и посмотрел на государя: герцог, закрыв лицо руками, плакал. Спина, плечи, пухлый двойной подбородок, синеватые бритые щеки, гладкая прическа - цаккера беспомощно вздрагивали от рыданий.

- За что, за что? Где же правда Твоя, Господи? Обратив к секретарю сморщенное лицо, напоминавшее в это мгновение лицо слезливой старой бабы, он пролепетал:

- Бартоломео, я тебе верю: ну, скажи, по совести, прав ли я или не прав?

- Ваша светлость понимает турецкое посольство? Моро кивнул головой. Старый политик задумчиво поднял брови, выпятил губы и сморщил кожу на лбу.

Конечно, с одной стороны, с волками жить, поволчьи выть, ну, а с другой... осмелюсь доложить вашему высочеству: если бы

подождать?..

- Ни за что! - воскликнул Моро.- Довольно я ждал! Я покажу им, что миланского герцога они из игры, как ненужную пешку, не вышвырнут, потому что,- видишь ли, друг мой,-когда правый обижен, как я, кто дерзнет судить его, ежели обратится он за помощью не только к Великому Турку, но к самому дьяволу?

- Ваше высочество,- вкрадчиво молвил секретарь,- не должно ли опасаться, что нашествие турок на Европу может иметь последствия неожиданные... например, для церкви христианской? - О, Бартоломео, неужели ты думаешь, что я этого не предвидел? Лучше согласился бы я тысячу раз умереть, чем причинить какой-либо вред святой нашей матери церкви. Сохрани меня Боже! - Ты еще не знаешь всех моих замыслов,- прибавил он с прежнею хитрою и хищною усмешкою.- Погоди, уж такую кашу заварим, такими сетями врагов оплетем, что свету Божьего не взвидят! Одно скажу тебе: Великий Турок - только орудие в руках моих. Придет пора - и мы уничтожим его, нечестивую секту Магомета истребим. Гроб Господень от ига неверных освободим!..

Ничего не ответив, Бартоломео уныло потупил глаза. "Плох,- подумал он,- совсем плох! Замечтался. Какая уж тут политика!"

Долго в эту ночь с горячею верою и надеждой на помощь Великого Турка молился герцог перед своей любимой иконой работы Леонардо да Винчи, где Мать Господа изображена была под видом прекрасной наложницы Моро, графини Чечилии Бергамини.

Дней за десять до сдачи Миланского замка, маршал Гривульцио, при радостных кликах народа: "Франция! Франция!" и звоне колоколов въехал в Милан как в завоеванный город.

Въезд короля назначен был на шестое октября. Граждане готовили торжественную встречу.

Для праздничного шествия торговые синдики извлекли Из соборной ризницы двух ангелов, которые, пятьдесят лет назад, еще во времена Амброзианской Республики, Изображали гениев народной свободы. Ветхие пружины,

приводившие в движение позолоченные крылья, ослабели. Синдики отдали их починить бывшему герцогскому механику Леонардо да Винчи.

В это время Леонардо занят был изобретением новой летательной машины. Однажды, ранним, еще темным, утром, сидел он за чертежами и математическими выкладками. Легкий камышовый остов крыльев, обтянутый тафтою, подобной перепонке, напоминал не летучую мышь, как прежняя машина, а исполинскую ласточку. Одно из крыльев было готово и, тонкое, острое, необычайно прекрасное, вздымалось от полу до потолка, а внизу, в тени его, Астро копошился, поправляя сломанные пружины у двух деревянных ангелов Миланской Коммуны.

На этот раз Леонардо решил как можно ближе следовать строению тел пернатых, в котором сама природа дает человеку образец летательной машины. Он все еще надеялся разложить чудо полета на законы механики. Повидимому, все, что можно было знать, - он знал и, однако, чувствовал, что есть в полете тайна, ни на какие законы механики не разложимая. Опять, как в прежних попытках, подходил к тому, что отделяет создание природы от дела рук человеческих, строение живого тела от мертвой машины, и ему казалось, что он стремится к невозможному.

- Ну, слава Богу, кончено! - воскликнул Астро, заводя пружины.

Ангелы замахали тяжелыми крыльями. В комнате пронеслось дуновение - и тонкое, легкое крыло исполинской ласточки зашевелилось, зашелестело, как живое. Кузнец взглянул на него с невыразимой нежностью.

- Времени-то сколько даром на этих болванов ушло! - проворчал он, указывая на ангелов.- Ну, да уж теперь, воля ваша, мастер, а я не выйду отсюда, пока не кончу крыльев.- Пожалуйста чертеж хвоста. - Не готов еще, Астро. Погоди, надо обдумать. - Как же, мессере? Вы третьего дня обещали... - Что делать, друг! Ты знаешь, хвост нашей птицы - вместо руля. Тут, ежели самая малая ошибка,- все пропало.

- Ну, ну, хорошо, вам лучше знать. Я подожду, а пока второе крыло...

- Астро,- молвил учитель,- ты бы подождал. А то я боюсь, как бы чего-нибудь опять изменить не пришлось... Кузнец не ответил. Бережно поднял он и стал поворачивать камышовый остов, затянутый переплетом бечевок из воловьих жил. Потом, вдруг обернувшись к Леонардо, произнес глухим, дрогнувшим голосом:

- Мастер, а мастер, вы на меня не сердитесь, но ежели вы опять вы с вашими вычислениями до того дойдете, что и на этой машине нельзя будет лететь,- я все-таки полечу, назло вашей механике полечу,- да, да, не могу я дольше терпеть, сил моих нет! Потому что я знаю: если и на этот раз... Не кончил и отвернулся. Леонардо внимательно посмотрел на его широкоскулое, тупое и упрямое лицо, на котором была неподвижность единой, безумной и всепоглощающей мысли.

- Мессере,- заключил Астро,- скажите лучше прямо, полетим мы или не полетим?

Такой страх и такая надежда была в словах его, что Леонардо не имел духа сказать правду. - Конечно,-ответил он, потупившись,-знать нельзя, пока не сделаем опыта; но думаю, Астро, что полетим... - Ну и довольно, довольно!-с восторгом замахал руками кузнец.- Слышать больше ничего не хочу! Если уж и вы говорите, что полетим,- значит полетим! Он, видимо, хотел удержаться, но не мог и рассмеялся счастливым, детским смехом. - Чего ты? - удивился Леонардо. - Простите, мессере. Я все мешаю вам. Ну, да уж в последний раз,- больше не буду... Верите ли, как вспомню о миланцах, о французах, о герцоге Моро, о короле, так вот меня разбирает,- и смешно, и жалко: копошатся, бедненькие, дерутся и ведь тоже. поди, думают,- великие дела творят,- черви ползучие, козявки бескрылые! И никто-то из них не ведает, какое чудо готовится. Вы только представьте себе, мастер, как выпучат они глаза, рты разинут, когда увидят крылатых, летящих по воздуху. Ведь это уже не деревянные ангелы, что крыльями машут на потеху черни! Увидят и не поверят. Боги,- подумают. Ну. то есть, меня-то, пожалуй, за бога не примут, скорее за черта, а вот вы с крыльями воистину будете, как бог. Или, может быть, скажут- Антихрист. И ужаснутся, падут и поклонятся вам. И сделаете вы с ними, что хотите. Я так полагаю, учитель, что тогда уже не будет ни войн, ни законов, ни господ, ни рабов,- все переменится, наступит все новое, такое, о чем мы теперь и подумать не Смеем. И соединятся народы, и, паря на крыльях, подобно ангельским хорам, воспоют единую осанну... О, мессер Леонардо! Господи! Господи!-Да неужели вправду!..

Он говорил точно в бреду.

"Бедный! - подумал Леонардо.- Как верит! Чего доброго, в самом деле, с ума сойдет. И что мне с ним делать? Как ему правду сказать?"

В это мгновение в наружную дверь дома раздался громкий стук, потом голоса, шаги и, наконец, такой же стук в запертые двери мастерской.

- Кого еще нелегкая несет? Нет на них погибели! - злобно проворчал кузнец.- Кто там? Мастера видеть нельзя. Уехал из Милана.

- Это я, Астро! - Я - Лука Пачоли. Ради Бога, отоприте скорее! Кузнец отпер и впустил монаха.

- Что с вами, фра Лука? - спросил художник, вглядываясь в испуганное лицо Пачоли.

- Не со мной, мессер Леонардо,- впрочем, да, и со мной, но об этом после, а теперь... О, мессер Леонардо!.. Ваш Колосс... гасконские арбалетки,- я только что из Кастелло, собственными глазами видел,- французы вашего Коня разрушают... Бежим, бежим скорее!

- Зачем? - спокойно возразил Леонардо, только лицо его слегка побледнело.- Что мы можем сделать?

- Как что? Помилуйте! Не будете же вы тут сидеть, сложа руки, пока величайшее произведение ваше погибает. У меня есть лазейка к сиру де ла Тремуилью. Надо хлопотать...

- Все равно, не успеем,- проговорил художник. - Успеем, успеем! Мы напрямик, огородами, через плетень. Только скорее!

Увлекаемый монахом, Леонардо вышел из дома, и они пустились почти бегом к Миланскому замку.

По дороге фра Лука рассказал ему о своем собственном горе: накануне ночью ландскнехты разграбили погреб каноника Сан-Симпличано, где жил Пачоли,- перепились, начали буйствовать и, между прочим, найдя в одной из келий хрустальные изображения геометрических тел, приняли их за дьявольские выдумки черной магии, за "кристаллы гадания", и разбили вдребезги.

- Ну, что им сделали,- сетовал Пачиоли,- что им сделали мои невинные хрусталики?

Вступив на площадь Замка, увидели они у главных Южных Ворот, на подъемном мосту Баттипонте, у башни Торре дель Филарете молодого французского щеголя, окруженного свитой.

- Мэтр Жиль! - воскликнул фра Лука и объяснил Леонардо, что этот мэтр Жиль птичник, так называемый "свистун рябчиков", учивший пению, говору и прочим хитростям чижей, сорок, попугаев, дроздов его христианнейшего величества, короля французского, - лицо при дворе немаловажное. Ходили слухи, что во Франции под дудку мэтра Жилья пляшут не одни сороки. Пачоли давно уже собирался преподнести ему свои сочинения - "Божественную Пропорцию" и "Сумму Арифметики" в роскошных переплетах.

- Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне, фра Лука,- сказал Леонардо.- Ступайте к мэтру Жилью: я и один сумею сделать все, что нужно. - Нет, к нему потом,- проговорил Пачоли в смущении.- Или вот что, знаете? Мигом слетаю к мэтру Жилью, только расспрошу, куда он едет,- и тотчас к вам. А вы пока прямо к сиру де ла Тремуйлю... Подбрав полы коричневой ряски, юркий монах засеменял босыми ножками в дробно стучающих цоколях и побежал вприпрыжку за свистуном королевских рябчиков. Через подъемные ворота Баттипонте вступил Леонардо На Марсово Поле - внутренний двор Миланского замка.

Утро было туманное. Огни костров догорали. Площадь и окрестные здания, загроможденные пушками, ядрами, лагерным скарбом, кулями овса, ворохами соломы, тучами навоза, превращены были в одну огромную казарму, конюшню и кабак. Вокруг походных лавок и кухонных вертелов, бочек, полных и пустых, опрокинутых, служивших игорными столами, слышались крики, хохот, клятвы, разноязычная брань, богохульства и пьяные песни. Порою все затихало, когда проходили начальники; трещал барабан, играли медные трубы рейнских и швабских ландскнехтов, заливались пастушьими унылыми звуками альпийские роги наемников из вольных кантонов Ури и Унтервальдена.

Пробравшись на средину площади, художник увидел своего Колосса почти нетронутым. Великий герцог, завоеватель Ломбардии, ФранческоАттендоло Сфорца, с лысой головой, похожей на голову римского императора, с выражением львиной мощи и лисьей хитрости, по-прежнему сидел на коне, который взвился на дыбы, попирая копытами павшего воина.

Швабские аркебузники, граубюндские стрелки, пикардийские пращники, гасконские арбалетчики толпились вокруг изваяния и кричали, плохо разумея друг друга, дополняя слова телодвижениями, по которым Леонардо понял, что речь идет о предстоявшем состязании двух стрелков, немца и француза. Они должны были стрелять по очереди на расстоянии пятидесяти шагов, выпив четыре кружки крепкого вина. Мишенью служила родинка на щеке Колосса.

Отмерили шаги и бросили жребий, кому стрелять первому. Маркитантка нацедила вина. Немец выпил, не переводя духу, одну за другой, четыре условленных кружки, отошел, прицелился, выстрелил и промахнулся. Стрела оцарапала щеку, отбила край левого уха, но родинки не задела.

Француз приложил к плечу арбалет, когда в толпе произошло движение. Солдаты расступились, пропуская поезд пышных герольдов, сопровождавших рыцаря. Он проехал, не обратив внимания на потеху стрелков.

- Кто это? - спросил Леонардо стоявшего рядом пращника. - Сир де ла Тремуиль.

"Еще не поздно! - подумал художник.- Бежать за ним, просить"...

Но он стоял, не двигаясь, чувствуя такую неспособность к действию, такое непреодолимое оцепенение, расслабление воли, что казалось, если бы в эту минуту дело шло о спасении жизни его,- не пошевелил бы пальцем. Страх, стыд, отвращение овладевали им при одной мысли о том, как надо протискиваться сквозь толпу лакеев, конюхов и бежать за вельможей, подобно Луке Пачоли.

Гасконец выстрелил. Стрела свистнула и вонзилась в родинку.

- Bigore! Bigore! Montjoie Saint-DenisЗдесь: так его! (франц.) Святой Денис, покровитель отечества! (франц.) -старинный боевой клич французов. (Здесь и далее-прим. ред.) махая беретами, кричали солдаты.- Франция победила! Стрелки окружили Колосса и продолжали состязание. Леонардо хотел уйти, но, прикованный к месту, точно в страшном и нелепом сне, покорно смотрел, как разрушается создание шестнадцати лучших лет его жизни,- быть может, величайшее произведение ваяния со времен Праксителя и Фидия.

Под градом пуль, стрел и камней глина осыпалась мелким песком, крупными глыбами и разлеталась пылью, обнажая скрепы, точно кости железного остова. Солнце вышло из-за туч. В радостно брызнувшем блеске казалась еще более жалкой развалина Колосса, с обезглавленным туловищем героя на безногом коне, с обломком царственного скипетра в уцелевшей руке и надписью внизу на Подножии: "Esse deus!"-"Се бог!"

В это время по площади проходил главный полководец французского короля, старый маршал Джан-Джакопо Тривульцио. Взглянув на Колосса, остановился он в недоумении, еще раз взглянул, заслонил глаза рукой от солнца, потом обернулся к сопровождавшим его и спросил: - Что это? - Монсеньор,- молвил подобострастно один из лейтенантов,- капитан Жорж Кокебурн разрешил арбалетчикам собственной властью...

- Памятник Сфорца,- воскликнул маршал,- произведение Леонардо да Винчи - мишень гасконских стрелков!..

Он подошел к толпе солдат, которые так увлеклись стрельбой, что ничего не видели, схватил за шиворот пикардийского пращника, повалил его на землю и разразился неистовой бранью. Лицо старого маршала побагровело, жилы вздулись на шее. - Монсеньор! - лепетал солдат, стоя на коленях и дрожа всем телом.- Монсеньор, мы не знали... Капитан Кокебурн... - Погодите, собачьи дети,- кричал Тривульцио,- покажу я вам капитана Кокебурна, за ноги всех перевешаю!..

Сверкнула шпага. Он замахнулся и ударил бы, но Леонардо левою рукою схватил его за руку, немного повыше кисти, с такою силою, что медный нарукавник сплюснулся.

Тщетно стараясь высвободить руку, маршал взглянул на Леонардо с изумлением. - Кто это? - спросил он.

- Леонардо да Винчи,- ответил тот спокойно. - Как ты смеешь!..- начал было старик в бешенстве, но, встретив ясный взор художника, умолк. - Так ты - Леонардо,- произнес он, вглядываясь в лицо его.- Руку-то, руку пусти. Наружник согнул. Вот так сила! Ну, брат, смелый же ты человек... - Монсеньор, умоляю вас, не гневайтесь, простите их! - молвил художник почтительно.

Маршал еще внимательнее посмотрел ему в лицо, усмехнулся и покачал головой:

- Чудак! Они лучшее твоё произведение уничтожили,- и ты за них просишь?

- Ваша светлость, если вы их всех перевешаете, какая польза мне и моему произведению? Они не знают, что делают.

Старик задумался. Вдруг лицо его прояснилось; в умных маленьких глазах засветилось доброе чувство.

- Послушай, мессер Леонардо, одного я в толк не возьму. Как же ты стоял тут и смотрел? Зачем не дал знать, не пожаловался мне или сиру де ла Тремуилью? Кстати, он, должно быть, только что здесь проезжал?

Леонардо потупил глаза и приговорил, запинаясь и краснея, как виноватый:

- Не успел... Сира де ла Тремуилья в лицо я не знаю...

- Жаль,- заключил старик, оглядываясь на развалину.- Сотню лучших людей моих отдал бы я за твоего Колосса!..

Возвращаясь домой и проходя через мост с изящной лоджией Браманте, где произошло последнее свидание Моро с Леонардо, художник увидел французских пажей и конюхов, забавлявшихся охотой на ручных лебедей, любимцев Миланского герцога. Шалуны стреляли из луков. В тесном рву, отовсюду закрытом высокими стенами, птицы металась в ужасе. Среди белого пуха и перьев на черной воде плавали, качаясь, окровавленные тела. Только что раненный лебедь, с пронзительно жалобным криком, выгнув длинную шею, трепетал слабеющими крыльями, как будто пытаясь взлететь перед смертью.

Леонардо отвернулся и поскорее прошел мимо. Ему казалось, что он сам похож на этого лебедя.

В воскресенье шестого октября король Франции Людовик XII въехал в Милан через Тичинские ворота. В сопровождавшем его поезде был Чезаре Борджа, герцог Валентине, сын папы. Во время шествия от Соборной площади к замку ангелы Миланской Коммуны исправно махали крыльями.

С того дня, как разрушен был Колосс, Леонардо более не возвращался к работе над летательной машиной. Астро один кончил

прибор. Художник не имел духа сказать ему, что и эти крылья не годятся. Видимо, избегая учителя, кузнец также не заговаривал о предстоящем полете, только иногда украдкой взглядывал на него с безмолвным укором своим единственным глазом, в котором горел унылый, безумный огонь.

Однажды утром, в двадцатых числах октября, Пачоли прибежал к Леонардо с известием, что король требует его во дворец. Художник пошел неохотно. Встревоженный исчезновением крыльев, он боялся, чтобы Астро, забрав себе в голову лететь во что бы то ни стало, не наделал беды.

Когда Леонардо вошел в столь памятные залы Рокетты, Людовик XII принимал старшин и синдигов Милана..

Художник взглянул на своего будущего повелителя, короля Франции.

Ничего царственного не было в его наружности: хилое, слабое тело, узкие плечи, вдавленная грудь, лицо с некрасивыми морщинами, страдальческое, но не облагороженное страданием,- плоское, будничное, с выражением мещанской добродетели.

На верхней ступени трона стоял молодой человек лет двадцати, в простом черном платье без украшений, кроме нескольких жемчужин на отворотах берета и золотой цепи из раковин ордена св. Архангела Михаила, с длинными белокурыми волосами, маленькою, слегка раздвоенною темно-русою бородою, ровною бледностью в лице и темно-синими, приветливо-умными глазами. - Скажите, фра Лука,- шепнул художник на ухо спутнику,- кто этот вельможа?

- Сын папы,- отвечал монах,- Чезаре Борджа, герцог Валентине.

Леонардо слышал о злодействах Чезаре. Хотя явных улик не было, никто не сомневался, что он убил брата Джованни Борджа, наскучив быть младшим, желая сбросить кардинальский пурпур и наследовать звание военачальника - гонфалоньера церкви. Ходили слухи еще более невероятные, будто бы причиной Каинова злодеяния было соперничество братьев не только из-за милостей отца, но также из-за кровосмесительной похоти к родной сестре, мадонне Лукреции.

"Не может быть!" - думал Леонардо, вглядываясь в спокойное лицо его, в невинные глаза.

Должно быть, почувствовав на себе пристальный взор, Чезаре оглянулся, потом, наклонившись к стоявшему рядом благообразному старику в длинной темной одежде, вероятно секретарю своему, что-то шепнул, указывая на Леонардо, и когда старик ответил,- посмотрел на художника пристально. Тонкая усмешка скользнула по губам Валентине. И в то же мгновение Леонардо почувствовал:

"Да, может быть, все может быть - и даже еще худшее, чем о нем говорят!"

Старшина синдигов, окончив унылое чтение, подошел к трону, стал на колени и поднес королю прошение. Людовик нечаянно уронил пергаментный свиток. Старшина засуетился, желая поднять. Но Чезаре, предупредив его, быстрым и ловким движением поднял свиток и подал королю с поклоном.

- Хам! - злобно прошептал кто-то за спиной Леонардо, в толпе французских вельмож.- Обрадовался, выскочил!

- Ваша правда, мессере,- подхватил другой.- Сын папы отлично исполняет должность лакея. Если бы только видели, как утром, когда король одевался, он ему прислуживает, рубашку греет. Я, чай, и конюшню чистить не побрезгал бы?

Художник заметил подобострастное движение Чезаре, но оно показалось ему скорее страшным, чем гнусным,- как предательская ласковость хищного зверя.

В это время Пачоли хлопотал, волновался, подталкивал спутника под локоть, но, видя, что Леонардо, со своей обычной застенчивостью, чего доброго, целый день простоит в толпе, не найдя случая привлечь внимание короля.- принял решительные меры, схватил его за руку и, весь изогнувшись, с быстрым непрерывным свистом и шипением превосходных степеней: stupendissimo, prestantissimo, invincibilissimo, - представил королю художника.

Людовик заговорил о Тайной Вечере; хвалил изображения апостолов, но более всего восхищался перспективой потолка.

Фра Лука ожидал с минуты на минуту, что его величество пригласит Леонардо к себе на службу. Но вошел паж и подал королю письмо, только что полученное из Франции.

Король узнал почерк жены, возлюбленной своей бретонки Анны: то было известие о разрешении королевы от бремени.

Вельможи начали поздравлять его. Толпа оттеснила Леонардо и Пачоли. Король взглянул было на них, вспомнил, хотел что-то сказать, но тотчас снова забыл, любезно пригласил дам поскорее выпить за здоровье новорожденной и вышел в другую залу.

Пачоли, ухватив за руку спутника, потащил его за собой.

- Скорее! Скорее!

- Нет, фра Лука,- спокойно возразил Леонардо.- Благодарю вас за хлопоты; но я напоминать о себе не буду: его величеству теперь не до меня. И он ушел из дворца.

На подъемном мосту Баттипонте, в южных воротах Кастелло, догнал его секретарь Чезаре Борджа, мессер Агапито. Он предложил ему от имени герцога место "главного строителя", ту самую должность, которую исполнял Леонардо у Моро.

Художник обещал дать ответ через несколько дней. Подходя к дому, еще издали, на улице, заметил он толпу народа и ускорил шаг. Джованни, Марко, Салаино, Чезаре несли, должно быть, за неимением носилок, в громадном, измятом, продранном и сломанном крыле летательной машины, подобном крылу исполинской ласточки, своего товарища, кузнеца Астро да Перетола, в разорванной, окровавленной одежде, с мертвенно-бледным лицом.

Случилось то, чего боялся учитель: кузнец решил испытать крылья, полетел, сделал два-три взмаха, упал и убился бы до смерти, если бы одно крыло машины не зацепилось за ветви рядом стоявшего дерева. Леонардо помог внести носилки в дом и бережно уложил больного в постель. Когда он наклонился к нему, чтобы осмотреть раны, Астро пришел в себя и прошептал, взглянув на Леонардо с бесконечной мольбою: - Простите, учитель!

В первых числах ноября, после великолепных торжеств в честь новорожденной, Людовик XII, приняв от миланцев присягу и назначив наместником Ломбардии маршала Тривульцио, уехал во Францию. В соборе отслужили благодарственную обедню Духу святому. В городе было восстановлено спокойствие, но только наружное: народ ненавидел Тривульцио за его жестокость и коварство. Приверженцы Моро бунтовали чернь, распространяли

подметные письма. Те, кто еще так недавно провожал его в изгнание насмешками и бранью, теперь вспоминали о нем, как о лучшем из государей.

В последних числах января толпа у Тичинских ворот разгромила прилавки французских сборщиков пошлин. В тот же день на вилле Лардираго, около Павии, французский солдат посягнул на честь молодой ломбардской поселанки. Защищаясь, ударила она обидчика метлою по лицу. Солдат пригрозил ей топором. На крик прибежал отец ее с палкою. Француз убил старика. Собралась толпа и умертвила солдата. Французы напали на ломбардцев, перебили множество народа и опустошили местечко. В Милане известие это было тем же, что искра, упавшая в порох. Народ запрудил площади, улицы, рынки с яростными воплями:

- Долой короля! Долой наместника! Бейте, бейте французов! Да здравствует Моро!

У Тривульцио было слишком мало людей, чтобы защищаться против населения трехсоттысячного города. Поставив пушки на башню, временно служившую колокольнею собора, направил он жерла в толпу, велел по первому знаку стрелять и, желая сделать последнюю попытку примирения, вышел к народу. Чернь едва не убила его, загнала в ратушу, и здесь бы он погиб, если бы на помощь не подоспел из крепости отряд швейцарских наемников с капитаном, сеньором Курсенжем, во главе.

Начались поджоги, убийства, грабежи, пытки, казни французов, попадавших в руки бунтовщиков, и граждан, подозреваемых в сочувствии французам.

В ночь на первое февраля Тривульцио тайно ушел из крепости, оставив ее под защитой капитана д'Эспи и Кодебекара. В ту же ночь возвратившийся из Германии Моро радостно принят был жителями города Комо. Граждане Милана ждали его, как избавителя.

Леонардо в последние дни мятежа, опасаясь пушечной пальбы, которая разрушила несколько соседних домов, переселился в свой погреб, искусно провел в него ночные трубы, устроил очаги и несколько жилых покоев. Как в маленькую крепость, перенесли сюда все, что было ценного в доме: картины, рисунки, рукописи, книги, научные приборы.

В это время окончательно решил он поступить на службу к Чезаре Борджа. Но прежде, чем отправиться в Романью, куда, по условиям заключенного с мессером Агапито договора, Леонардо должен был прибыть не позже летних месяцев 1500 года, намеревался он заехать к старому другу своему Джироламо Мельци, чтобы переждать опасное время войны и бунта на его уединенной вилле Ваприо близ Милана.

Утром 2 февраля, в день Сретения Господня, прибежал к художнику фра Лука Пачоли и объявил, что в замке - наводнение: миланец Луиджи да Порто, бывший на службе у французов, бежал к бунтовщикам и открыл ночью шлюзы каналов, наполнявших крепостные ямы. Вода разлилась, затопила мельницу в парке у стены Рокетты, проникла в подвалы, где хранился порох, масло, хлеб, вино и прочие припасы; так что, если бы французам не удалось с большим трудом спасти от воды некоторую часть их,- голод принудил бы их к сдаче крепости, на что и рассчитывал мессер Луиджи. Во время Наводнения соседние с крепостью каналы в низменном предместьи Верчельских ворот вышли из берегов и затопили болотистую местность, где находился монастырь делле Грацие. Фра Лука сообщил художнику свои опасения, как бы вода не повредила Тайной Вечери, и предложил пойти осмотреть, цела ли картина. С притворным равнодушием возразил Леонардо, что ему теперь некогда, и что он за Тайную Вечерю не боится,- картина, будто бы, на такой высоте, что сырость не может причинить ей вреда. Но только что Пачоли вышел, Леонардо побежал в монастырь.

Войдя в трапезную, увидел на кирпичном полу грязные лужи - следы наводнения. Пахло сыростью. Один из монахов сказал, что вода поднялась на четверть локтя. Леонардо подошел к стене, где была Тайная Вечеря. Краски оставались, по-видимому, ясными. Прозрачные, нежные, не водяные, как в обычной стенописи, а масляные, они были его собственным изобретением. Он приготовил и стену особенным способом: загрунтовал ее слоем глины с можжевельным лаком и олифою, на первый нижний грунт навел второй - из мастики, смолы и гипса. Опытные мастера предсказывали непрочность масляных красок на сырой стене, сложенной в болотистой низменности. Но Леонардо, со свойственным ему

пристрастием к новым опытам, к неведомым путям в искусстве, упорствовал, не обращая внимания на советы и предостережения. От стенописи водяными веками отвращало его и то, что работа на только что разведенной влажной извести требует быстроты и решительности, тех именно свойств, которые были ему чужды. "Малого достигает художник не сомневающийся", утверждал он. Эти необходимые для него сомнения, колебания, поправки, искания ощупью, бесконечная медлительность работы возможны были только в живописи масляными красками.

Наклонившись к стене, он рассматривал в увеличительное стекло поверхность картины. Вдруг, в левом нижнем углу, под скатертью стола, за которым сидели апостолы, у ног Варфоломея, увидел маленькую трещину и рядом, на чуть поблекших красках, бархатисто-белый, как иней, налет выступающей плесени.

Он побледнел. Но, тотчас же овладев собой, еще внимательнее продолжал осмотр.

Первый глиняный грунт покособился, вследствие сырости, и отстал от стены, приподнимая верхний слой гипса с тонкою корою красок и образуя в ней неуловимые для глаза трещинки, сквозь которые просачивалось выпотение селитренной сырости из ветхих ноздреватых кирпичей.

Участь Тайной Вечери была решена: если самому художнику не суждено было видеть увядания красок, которые могли сохраниться лет сорок, даже пятьдесят, то все же не было сомнения в страшной истине: величайшее из его произведений погибло.

Перед тем, чтобы выйти из трапезной, взглянул он в последний раз на лик Христа и,- словно теперь только увидев его впервые,- вдруг понял, как это произведение ему дорого.

С гибелью Тайной Вечери и Колосса порывались последние нити, которые связывали его с живыми людьми, если не с ближними, по крайней мере, с дальними, теперь одиночество его становилось еще безнадежнее.

Глиняная пыль Колосса развеется ветром; на стене, где был лик Господень, тусклую чешую облупившихся красок покроет плесень, и все, чем он жил, исчезнет как тень.

Он вернулся домой, сошел в подземелье и, проходя через комнату, где лежал Астро, остановился на минуту. Бельтраффио делал больному примочки из холодной воды. - Опять жар? - спросил учитель. - Да, бредит.

Леонардо наклонился, чтобы осмотреть перевязку, и прислушался к быстрому бессвязному лепету.

- Выше, выше! Прямо к солнцу. Не загорелись бы крылья. Маленький? Откуда? Как твое имя? Механика? Никогда я не слыхивал, чтобы черта звали Механикой. Чего зубы скалишь?.. Ну же, брось. Пошутил и довольно.

Тащит, тащит... Не могу, погоди,- дай вздохнуть... Ох, смерть моя!..

Крик ужаса вырвался из груди его. Ему казалось, что он падает в бездну. Потом опять забормотал поспешно:

- Нет, нет, не смейтесь над ним! Моя вина. Он говорил, что крылья не готовы. Кончено... Осрамил, осрамил я учителя!.. Слышите? Что это? Знаю, о нем же, о маленьком, о самом тяжелом из дьяволов-о Механике!..

- "И повел Его дьявол во Иерусалим,- продолжал больной нараспев, как читают в церкви,- и поставил на крыле храма и сказал Ему: если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано: ангелам своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею"... А вот и забыл, что ответил Он бесу Механики? Не помнишь, Джованни?

Он посмотрел на Бельтраффио почти сознательным взглядом.

Тот молчал, думая, что он все еще бредит. - Не помнишь? - настаивал Астро. Чтобы успокоить его, Джованни привел стих двенадцатой главы четвертой Евангелия от Луки:

- "Иисус Христос сказал ему в ответ: сказано, не искушай Господа Бога Твоего!"

- "Не искушай Господа Бога Твоего!"-повторил больной с невыразимым чувством,-но тотчас же опять начал бредить:

- Синее, синее, ни облачка... Солнца нет и не будет - и вверху, и внизу только синее небо. И крыльев не надо. О, если бы учитель знал, как хорошо, как мягко падать в небо!..

Леонардо смотрел и думал:

"Из-за меня, и он из-за меня погибает! Соблазнил единого от малых сих, сглазил я и его, как Джованни!.." Он положил руку на горячий лоб Астро. Больной Мало-помалу затих и задремал.

Леонардо вошел в свою подземную келью, зажег свечу и погрузился в вычисления.

Для избежания новых ошибок в устройстве крыльев изучал он механику ветра - течений воздуха, по механике волн - течений воды.

"Если ты бросишь два камня одинаковой величины в спокойную воду на некотором расстоянии один от другого,- писал он в дневнике,- то на поверхности образуются два расходящихся круга. Спрашивается: когда один круг, постепенно расширяясь, встретится с другим, соответственным, войдет ли он в него и разрежет, или удары волн отразятся в точках соприкосновения под равными углами?"

Простота, с которой природа решала эту задачу механики, так пленила его, что сбоку на полях он приписал:

"Questo e bellissimo, questo e sottile! - Вот прекраснейший вопрос и тонкий!"

"Отвечаю на основании опыта,- продолжал он.- Круги пересекутся, не сливаясь, не омешиваясь и сохраняя постоянными средоточиями оба места, где камни упали".

Сделав вычисление, убедился, что математика законами внутренней необходимости разума оправдывает естественную необходимость механики.

Часы за часами пролетали неслышно. Наступил вечер. Поужинав и отдохнув в беседе с учениками, Леонардо снова принялся за работу.

По знакомой остроте и ясности мыслей предчувствовал, что приближается к великому открытию.

"Посмотри, как ветер в поле гонит волны ржи, как они струятся, одна за другой, а стебли, склоняясь, остаются неподвижными. Так волны бегут по неподвижной воде; эту рябь от брошенного камня или ветра должно назвать скорее дрожью воды, чем движением,- в чем можешь убедиться, бросив соломинку на расходящиеся круги волн, и наблюдая, как она колеблется, не двигаясь".

Опыт с соломинкой напомнил ему другой, подобный же, который он уже делал, изучая законы движения звуков. Перевернув

несколько страниц, прочел в дневнике:

"Удару в колокол отвечает слабой дрожью и гулом другой, соседний колокол; струна, звучащая на лютне, заставляет звучать на соседней лютне струну того же звука, и если положишь на нее соломинку, увидишь, как она дрожит".

С невыразимым волнением чуял он связь между этими двумя, столь разными явлениями - целый неоткрытый мир познания между трепетными соломинками - одной на ряби волн, другой на ответно звенящей струне.

И вдруг внезапная, как молния, ослепляющая мысль сверкнула в уме его:

"Один закон механики и здесь, и там! Как волны по воде от брошенного камня, так волны звуков расходятся в воздухе, пересекаясь, не смешиваясь и храня средоточием место рождения каждого звука. - А свет? Как эхо есть отражение звука, так отражение света в зеркале есть эхо света. Единый закон механики во всех явлениях силы. Единая воля и справедливость Твоя, Первый Двигатель: Угол падения равен углу отражения!"

Лицо его было бледно, глаза горели. Он чувствовал, что снова, и на этот раз так страшно близко, как еще никогда, заглядывает в бездну, в которую никто из живых до него не заглядывал. Он знал, что это открытие, если будет оправдано опытом, есть величайшее в механике со времен Архимеда.

Два месяца назад, получив от мессера Гвидо Берарди письмо с только что пришедшим в Европу известием о путешествии Васко да Гама, который, переплыв через два океана и обогнув южный мыс Африки, открыл новый путь в Индию, Леонардо завидовал. И вот теперь он имел право сказать, что сделал большее открытие, чем Колумб и Васко да Гама, что увидел более таинственные дали нового неба и новой земли. За стеной раздался стон больного. Художник прислушался и сразу вспомнил свои неудачи - бессмысленное разрушение Колосса, бессмысленную гибель Тайной Вечери, глупое и страшное падение Астро. "Неужели,- думал он,- и это открытие погибнет так же бесследно, так же бесславно, как все, что я делаю? Неужели никто никогда не услышит голоса моего, и вечно буду я

один, как теперь,- во мраке, под землей, точно заживо погребенный,- с мечтою о крыльях?" Но эти мысли не заглушили в нем радости.

- Пусть - один. Пусть во мраке, в молчании, в забвении. Пусть никто никогда не узнает. Я знаю!

Такое чувство силы и победы наполнило душу его, как будто те крылья, которых он жаждал всю жизнь, были уже созданы и подымали его ввысь.

Ему стало тесно в подземелье, захотелось неба и простора. Выйдя из дому, направился он к Соборной площади.

Ночь была ясная, лунная. Над крышами домов вспыхивали дымно-багровые зарева пожаров. Чем ближе к середине города, к площади Бролетто, тем гуще становилась толпа. То в глубоком сиянии луны, то в красном свете факелов выступали искаженные яростью лица, мелькали белые, с алыми крестами, знамена Миланской Коммуны, тесты с подвешенными фонарями, аркебузы, мушкеты, пищали, булавы, палицы, копья, рогатины, косы, вилы, дреколья. Как муравьи, копошились люди, помогая волам тащить огромную старинную бомбарду из бочоночных досок, соединенных железными обручами. Гудел набат. Грохотали пушки. Французские наемники, засевшие в крепости, обстреливали улицы Милана. Осажденные хвастали, что, прежде чем сдадутся, в городе не останется камня на камне. И с гулом колоколов, с пушечным грохотом сливался бесконечный вопль народа:

- Бейте, бейте французов! Долой короля! Да здравствует Моро!

Все, что видел Леонардо, похоже было на страшный и нелепый сон.

У Восточных ворот, в Бролетто, на Рыбной площади вешали попавшего в плен пикардийского барабанщика, мальчика лет шестнадцати. Он стоял на лестнице, прислоненной к стене. Веселый балагур, златошвей Маскарелло исполнял должность палача. Накинув ему на шею веревку и слегка ударив по голове пальцами, произнес он с шутовской торжественностью:

- Раб Божий, французский пехотинец "ПерескочиКуст", прозвищем На-брюхе-шелк-а-в-брюхе-щелк в рыцари Пенькового Ожерелья посвящается. Во имя Отца и Сына и Духа Святого! - Амины! - ответила толпа.

Барабанщик, должно быть, плохо понимая, что с ним происходит, быстро и часто моргал глазами, как дети, готовые заплакать,- ежился и, крутя тонкою шеей, поправлял петлю. Странная улыбка не сходила с губ его. Вдруг в последнее мгновение, как будто очнувшись от столбняка, повернул он к толпе свое удивленное, сразу побледневшее, хорошенькое личико, попытался что-то сказать, о чем-то попросить. Но толпа заревела. Мальчик слабо и покорно махнул рукою, вынул из-за пазухи серебряный крестик, подарок сестры или матери, на голубой тесемке, и, торопливо поцеловав его, перекрестился. Маскарелло столкнул его с лестницы и весело крикнул:

- А ну-ка, рыцарь Пенькового Ожерелья, покажи, как пляшут французскую гальярду!

При общем смехе тело мальчика повисло на крюке подсвечника для факелов, задергалось в предсмертной судороге, точно в самом деле заплясало.

Пройдя несколько шагов, Леонардо увидел старуху, одетую в лохмотья, которая, стоя на улице перед ветхим домишком, только что развалившимся от пушечных ядер, среди нагроможденной кухонной посуды, домашней рухляди, пуховиков и подушек, протягивала голые, костлявые руки и вопила: - Ой, ой, ой! Помогите!

- Что с тобой, тетка? - спросил башмачник Корболо.

- Мальчика, мальчика задавило! В постельке лежал... Пол провалился... Может быть, жив еще... Ой, ой, ой! Помогите!..

Чугунное ядро, разрывая воздух с визгом и свистом, шлепнулось в покосившуюся кровлю домика. Балки треснули. Пыль взвилась столбом. Кровля рухнула, и женщина умолкла.

Леонардо подошел к Ратуше. Против Лоджии Озиев із Меняльного ряда школяр, должно быть, студент Павийского университета, стоя на скамье, служившей ему кафедрой, ораторствовал о величии народа, о равенстве бедных и богатых, о низвержении тиранов. Толпа слушала недоверчиво. - Граждане! - выкрикивал школяр, размахивая но жиком, который в обычное время служил ему для мирных надобностей - чинки гусиных перьев, разрезывания белой колбасы из мозгов - червеллаты, изображения пронзенных стрелами сердец с именами трактирных нимф на коре

вязов в подгородных рощах, и который теперь называл он "кинжалом Немезиды".- Граждане, умрем за свободу! Омочим кинжал Немезиды в крови тиранов! Да здравствует республика!

- Что он такое врет? - слышались голоса в толпе.- Знаем мы, какая у вас на уме свобода, предатели, шпионы французские! К черту республику! Да здравствует герцог! Бейте изменника!

Когда оратор стал пояснять свою мысль классическими примерами и ссылками на Цицерона, Тацита, Ливия,- его стащили со скамьи, повалили и начали бить, приговаривая:

- Вот тебе за свободу, вот тебе за республику! Так, так, братцы, в шею ему!, Шалишь, брат, дудки,- не обманешь! Будешь помнить, как народ бунтовать против законного герцога!

Выйдя на площадь Аренго, Леонардо увидел лес белых стрельчатых игл и башен собора, подобных сталактитам, в двойном освещении, голубом от луны, красном от зарева пожаров. Перед дворцом архиепископа из толпы, похожей на груды наваленных тел, слышались вопли.

- Что это?-спросил художник старика-ремесленника с испуганным, добрым и грустным лицом.

- Кто их разберет? Сами, поди, не знают., Шпион, говорят, подкупленный французами, рыночный викарий, мессер Джакопо Кротто. Отравленными припасами, будто бы, народ кормил. А может быть, и не он. Кто первый под руку попался, того и бьют. Страшное дело! О, Господи Иисусе Христе, помилуй нас, грешных!

Из груды тел выскочил Горгольо, выдувальщик стекла, махая, как трофеем, длинным шестом с воткнутой на конце окровавленной головой.

Уличный мальчишка Фарфаниккио бежал за ним, подпрыгивая, и визжал, указывая на голову: - Собаке собачья смерть! Смерть изменникам! Старик перекрестился набожно и проговорил слова молитвы:

- A furore populi libera nos, Domine!- От ярости народа избави нас. Боже!

Со стороны замка слышались трубные звуки, бой барабанов, треск аркебузной пальбы и крики солдат, шедших на приступ. В то же мгновение с бастионов крепости грянул выстрел, такой, что земля

задрожала и, казалось, весь город рушится. Это был выстрел знаменитой гигантской бомбарды, медного чудовища, называвшегося у французов Margot la Folle, у немцев die Tolle Crete - Бешеная Маргарита.

Ядро ударилось за Борго-Нуово в горевший дом. Огненный столб взвился к ночному небу. Площадь озарилась красным светом - и тихое сияние луны померкло.

Люди, как черные тени, сновали, бегали, метались, обуянные ужасом.

Леонардо смотрел на эти человеческие призраки. Каждый раз, как вспоминал он о своем открытии,- в блеске огня, в криках толпы, в гуле набата, в грохоте пушек чудились ему тихие волны звуков и света, которые, плавно колеблясь, как рябь по воде от упавшего камня, расходились в воздухе, пересекаясь, не сливаясь и храня средоточием место своего рождения. И великая радость наполняла душу его при мысли о том, что люди ничем никогда не могут нарушить этой бесцельной игры, этой гармонии бесконечных невидимых волн и царящего надо всем, как единая воля Творца, закона механики, закона справедливости - угол падения равен углу отражения.

Слова, которые некогда записал он в дневнике своем и потом столько раз повторял,- опять звучали в душе его, *mirabile giustizia di te, primo Motore!* - О, дивная справедливость Твоя, Первый Двигатель! Никакую силу не лишаешь Ты порядка и качества неминуемых действий. О, божественная необходимость! Ты принуждаешь все последствия вытекать кратчайшим путем из причины." Среди толпы обезумевшего народа - в сердце художника был вечный покой созерцания, подобный тихому свету луны над заревом пожаров.

Утром 4 февраля 1500 года Моро въехал в Милан через ворота Порто-Нуово.

Накануне этого дня Леонардо отправился на виллу Мельци, Ваприо.

Джироламо Мельци служил при дворе Сфорца. Когда лет десять назад, скончалась молодая жена его, он покинул двор, поселился в уединенной вилле, у подножия Альп, в пяти часах езды к северо-востоку от Милана и зажил здесь философом, вдали от тревог и волнений

света, собственными руками обрабатывая сад и предаваясь изучению сокровенных знаний и музыки, которой был страстным любителем. Рассказывали, будто бы мессер ДДжироламо занимается черной магией для того, чтобы вызывать из мира загробного тень покойной жены. Алхимик Галеотто Сакробоско и фра Лука Пачоли нередко гостили у него, проводя целые ночи в спорах о тайнах Платоновых Идей и о законах Пифагорейских чисел, управляющих музыкой сфер. Но наибольшую радость доставляли хозяину посещения Леонардо. Работая над сооружением канала Мартезаны, художник часто бывал в этих краях и полюбил прекрасную виллу.

Ваприо находилась на левом берегу реки Адды. Канал проложен был между рекой и садом. Здесь быстрое течение Адды преграждалось порогами. Слышен был непрерывный шум воды, напоминавший гул морского прибоя. В обрывистых берегах из выветренного желтого песчаника Адда стремилась холодные зеленые волны - бурная, вольная: а рядом зеркально гладкий, тихий канал, с такой же зеленою горною водою, как в Адде, но успокоенною, укрощенною, дремотно тяжелою, безмолвно скользил в прямых берегах. Эта противоположность казалась художнику полною вещего смысла: он сравнивал и не мог решить, что прекраснее - создание разума и воли человеческой, его собственное создание - канал Мартезана, или гордая, дикая сестра его, Адда; - сердцу его были одинаково близки и понятны оба течения.

С верхней площадки сада открывался вид на зеленую равнину Ломбардии между Бергамо, Тревильо, Кремоной и Брешей. Летом с необозримых поемных лугов пахло сеном. На тучных нивах буйная рожь и пшеница заслоняли до самых верхушек плодовые деревья, соединенные лозами так, что колосья целовались с грушами, яблоками, вишнями, сливами - и вся равнина казалась огромным садом.

К северу чернели горы Комо. Над ними возвышались полукругом первые отроги Альп, и еще выше, в облаках, сияли золотисто-розовые снежные вершины.

Между веселою равниною Ломбардии, где каждый уголок земли был возделан рукой человека, и дикими, пустынными громадами

Альп Леонардо чувствовал такую же противоположность, полную гармонии, как между тихой Мартезаной и грозно бушующей Аддою.

Вместе с ним на вилле гостил фра Лука Пачоли и алхимик Сакробоско, дом которого у Верчельских ворот разрушен был французами. Леонардо держался в стороне от них, предпочитая уединение. Но зато с маленьким сыном хозяина, Франческо он скоро сошелся.

Робкий, стыдливый, как девочка, мальчик долго дичился его. Но однажды, зайдя к нему в комнату по поручению отца, увидел разноцветные стекла, с помощью которых изучал художник законы дополнительных цветов. Леонардо предложил ему посмотреть сквозь них. Забава понравилась мальчику. Знакомые предметы принимали сказочный вид - то угрюмый, то радостный, то враждебный, то ласковый - смотря по тому, глядел ли он в желтое, голубое, красное, лиловое или зеленое стекло.

Понравилось ему и другое изобретение Леонардо - камера-обскура: когда на листе белой бумаги явилась живая картина, где можно было отчетливо видеть, как вертятся колеса мельницы, стая галок кружится над церковью, серый ослик дровосека Пеппо, навьюченный хворостом, перебирает ногами по грязной дороге, и верхушки тополей склоняются под ветром,- Франческо не выдержал - захлопал в ладоши от восторга.

Но более всего пленял его "дождемер", состоявший из медного кольца с делениями, палочки, подобной коромыслу весов, и двух подвешенных к ней шариков: одного - обернутого воском, другого - хлопчатой бумагой; когда воздух насыщался влагою, хлопок впитывал ее, обернутый им шарик тяжелел и, опускаясь, наклонял коромысло весов на несколько делений круга, по которым можно было с точностью измерить степень влажности, между тем как восковой - оставался для нее непроницаемым, по-прежнему легким. Таким образом, движения коромысла предвещали погоду за день или за два. Мальчик устроил свой собственный дождемер и радовался, когда, к удивлению домашних, исполнялись его предсказания.

В сельской школе старого аббата соседней каноники, дом Лоренцо, Франческо учился лениво: латинскую грамматику зубрил с отвращением; при виде замазанного чернилами зеленого корешка

арифметики лицо его вытягивалось. Не такова была наука Леонардо; она казалась ребенку любопытною, как сказка. Приборы механики, оптики, акустики, гидравлики манили его к себе, словно живые волшебные игрушки. С утра до вечера не уставал он слушать рассказы Леонардо. Со взрослыми художник был скрытен, ибо знал, что всякое неосторожное слово может навлечь на него подозрения или насмешку. С Франческо говорил обо всем доверчиво и просто. Не только учил, но и сам учился у него. И, вспоминая слово Господне: "истинно, истинно говорю вам, ежели не обратитесь и не станете, как дети, не можете войти в царствие небесное",- прибавлял: "не можете войти и в царствие познания".

В то время писал он "Книгу о звездах". В мартовские ночи, когда первое дыхание весны уже веяло в еще холодном воздухе, стоя на крыше виллы вместе с Франческо, наблюдал он течение звезд, срисовывал пятна луны, чтобы впоследствии, сравнив их, узнать, не меняют ли они своих очертаний. Однажды Мальчик спросил его, правда ли то, что говорит о звездах Пачоли, будто бы, как алмазы, вставлены они Богом в хрустальные сферы небес, которые, вращаясь, увлекают их в своем движении и производят музыку. Учитель объяснил, что, по закону трения, сферы, вращаясь в продолжение стольких тысяч лет с неимоверной быстротою, разрушились бы, хрустальные края их истерлись бы, музыка прекратилась бы, и "неугомонные плясуны" остановились бы в своем движении.

Проколов иголкою лист бумаги, он дал ему посмотреть сквозь отверстие. Франческо увидел звезды, лишенные лучей, похожие на светлые круглые бесконечно малые точки или шарики.

- Эти точки,- сказал Леонардо,- огромные, многие из них в сотни, в тысячи раз большие миры, чем наш, который, впрочем, отнюдь не хуже, не презреннее, чем все небесные тела. Законы механики, царящей на земле, открываемые разумом человеческим, управляют мирами и солнцами.

Так восстанавливал он "благородство нашего мира". - Такой же нетленную звездою,- говорил учитель,- такой же светлою пылинкою кажется земля обитателям других планет, как нам - эти миры.

Многого из слов его не понимал Франческо. Но когда, закинув голову, смотрел в звездное небо,- ему делалось страшно.

- Что же там, за звездами?-спрашивал он. - Другие миры, Франческо, другие звезды, которых мы не видим. - А за ними? - Еще другие. - Ну, а в конце, в самом конце? - Нет конца.

- Нет конца? - повторил мальчик, и Леонардо почувствовал, что в руке его рука Франческо дрогнула,- при свете недвижимого пламени лампы, горевшей на маленьком столике среди астрономических приборов, он увидел, что лицо ребенка покрылось внезапной бледностью.

- А где же,- медленно, с возрастающим недоумением произнес он,- где же рай, мессер Леонардо,- ангелы, угодники, Мадонна и Бог Отец, сидящий на престоле, и Сын, и Дух Святой?

Учитель хотел было возразить, что Бог - везде, во всех песчинках земли, так же как в солнцах и вселенных, но промолчал, жалея детскую веру.

Когда деревья стали распускаться, Леонардо и Франческо, проводя целые дни в саду виллы или в соседних рощах, наблюдали воскресающую жизнь растений. Порой художник срисовывал какое-нибудь дерево или цветок, стараясь уловить, как в портрете, живое сходство - то особенное, единственное лицо его, которое уже никогда нигде не повторится.

Он объяснял Франческо, как по числу кругов в стволе разрубленного дерева узнавать, сколько ему лет, и по толщине каждого из этих кругов степень влажности соответственного года, и в каком направлении росли ветви, ибо круги, обращенные к северу,- толще, а сердцевина ствола всегда находится к южной стороне дерева, нагреваемой солнцем, ближе, чем к северной. Рассказывал ему, как вешний сок, собираясь между внутренней зеленой кожицей ствола - "рубашечкою" - и наружною корою, уплотняет, распирает, морщит ее, образуя в прошлогодних трещинах новые, более глубокие, и таким образом увеличивает объем растения. Ежели срезать сук или содрать кору, врачующая сила жизни стягивает к больному месту большее обилие питательной влаги, чем во все другие места, так что впоследствии на залеченной язве кора утолщается. И столь могущественно стремление соков, что, достигнув поранения, не могут они остановиться с разбега, поднимаются выше больного места и проступают наружу разными

почкованиями-узловатыми наростами, "наподобие пузырей кипящей воды". Сдержанно, как будто холодно и сухо, заботясь только о научной ясности, говорил Леонардо о природе. Нежную подробность весенней жизни растения определял с бесстрастной точностью, словно речь шла о мертвой машине: "угол ветви и ствола тем острее, чем ветвь моложе и тоньше". К отвлеченной математике сводил таинственные законы кристаллически правильного, конусообразного расположения хвойных игл на пихтах, соснах и елях.

А между тем, под этим бесстрастием и холодом Франческо угадывал любовь его ко всему живому - и к жалобно сморщенному, как личико новорожденного, листику, который природа поместила под шестым верхним листом, нарочно так, чтобы первому было светло, чтобы ничем не задерживалась капля дождя, стекающая к нему по стеблю,- и к древним могучим ветвям, которые тянутся из тени к солнцу, как молящие руки, и к силе растительных соков, которые устремляются на помощь к раненому месту, как живая кипящая кровь. Порою в чаще леса останавливался он и долго с улыбкой глядел, как из-под увядших прошлогодних листьев пробивается зеленая былинка, как в чашечку нераспустившегося подснежника с трудом пролезает пчела, слабая от зимней спячки. Кругом было так тихо, что Франческо слышал удары собственного сердца. Робко подымал он глаза на учителя: солнце сквозь полупрозрачные ветви озаряло белокурые волосы, длинную бороду и густые нависшие брови Леонардо, окружая голову его сиянием; лицо было спокойно и прекрасно; - в эти минуты походил он на древнего Пана, который прислушивается, как трава растет, как подземные родники лепечут и таинственные силы жизни пробуждаются.

Все было для него живым: вселенная-одним великим телом, как тело человека - малою вселенною.

В капле росы видел он подобие водной сферы, объемлющей землю. На шлюзах, в местечке Треццо, близ Ваприо, где начинался канал Мартезана, изучал он водопады, водовороты реки, которые сравнивал с волнами женских кудрей.

- Заметь,-говорил он,-как волосы следуют по двум течениям: одному - прямому, главному, по которому влечет их собственная тяжесть, другому - возвратному, которое завивает их в кольца кудрей. Так и в движении воды одна часть устремляется вниз, а другая образует водовороты, извивы струй, подобные локонам.

Художника привлекали эти загадочные сходства, созвучия в явлениях природы, как бы из разных миров перекликающиеся голоса.

Исследуя происхождение радуги, заметил он, что те же переливы красок встречаются и в перьях птиц, и в стоячей воде около гнилых корней, и в драгоценных камнях, и в жире на поверхности воды, и в старых мутных стеклах. В узорах инея на деревьях, на замерзших окнах находил он сходство с живыми листьями, цветами и травами,- как будто уже в мире ледяных кристаллов природе снятся вещие сны о растительной жизни.

И порою чувствовал, что подходит к великому новому миру познания, который, может быть, откроется только грядущим векам. Так, о силе магнита и янтаря, натертого сукном, писал в дневнике: "я не вижу способа, которым бы ум человеческий мог объяснить это явление. Полагаю, что сила магнита есть одна из многих неизвестных людям сил. Мир полон бесчисленными возможностями, никогда не воплощенными".

Однажды приехал к ним в гости поэт, живший близ Ваприо, в Бергамо, Джудотто Престинари. За ужином, обидевшись на Леонардо, который недостаточно хвалил стихи его,-затеял он спор о преимуществах поэзии перед живописью. Художник молчал. Но, наконец, ожесточение стихотворца рассмешило его; он стал возражать ему полушутя. - Живопись,- сказал, между прочим, Леонардо,- выше поэзии уже потому, что изображает дела Бога, а не человеческие вымыслы, которыми довольствуются поэты, по крайней мере, наших дней: они не изображают, а только описывают, заимствуя у других все, что имеют, торгуя чужими товарами; они только сочиняют - собирают старый хлам различных наук; их можно бы сравнить с продавцами краденых вещей... Фра Лука, Мельци и Галеотто стали возражать, Леонардо мало-помалу увлекся и заговорил, уже без шуток:

- Глаз дает человеку более совершенное знание природы, чем ухо. Виденное достовернее слышанного. Вот почему живопись, немая поэзия, ближе к точной науке, чем Поэзия, слепая живопись. В словесном описании - только ряд отдельных образов, следующих один за другим; в картине же все образы, все краски являются вместе, сливаясь в одно, подобно звукам в созвучии, что делает в живописи, так же как в музыке, возможной большую степень гармонии, чем в поэзии. А там, где нет высшей гармонии, нет и высшей прелести.- Спросите любовника, ;много ему приятнее, портрет возлюбленной или описание, сДеланное хотя бы величайшим поэтом. Все невольно улыбнулись этому доводу.

- Вот какой случай был со мною,- продолжал Леонардо.- Одному флорентийскому юноше так понравилось женское лицо в моей картине, что он купил ее и хотел УНИЧТОЖИТЬ те признаки, по которым видно было, что Картина священная, дабы целовать без страха любимый образ. Но совесть преодолела желания любви. Он удалил картину из дома, так как иначе не было ему покоя. Ну-ка, стихотворцы, попробуйте, описывая прелесть женщины, возбудить в человеке такую силу страсти. Да, мессеры, скажу не о себе,- я знаю, сколь много недостает мне,- но о таком художнике, который достиг совершенства: воистину, по силе созерцания, он уже не человек. Захочет быть зрителем небесной прелести, или Образов чудовищных, смешных, плачевных, ужасных! Надо всем он владыка, как Бог!

Фра Лука пенял учителю за то, что он не собирает и не печатает сочинений своих. Монах предлагал найти издателя. Но Леонардо упорно отказывался. Он остался верен себе до конца: ни одна строка его не была напечатана при жизни. А между тем он писал свои заметки так, как будто вел беседу с читателем. В начале одного из дневников извинялся в беспорядке своих записок, в частых повторениях: "не брани меня за это, читатель, потому что предметы бесчисленны, и память моя не может вместить их, так чтобы знать, о чем было и о чем не было говорено в прежних заметках, тем более, что я пишу с большими перерывами, в разные годы жизни".

Однажды, желая представить развитие человеческого духа, нарисовал он ряд кубов: первый, падая, валит второй, второй -

третий, третий - четвертый, и так без конца. Внизу надпись: "один толкает другого". И еще прибавлено: "эти кубы обозначают поколения и познания человеческие".

На другом рисунке изобразил плуг, взрывающий землю, с надписью: "Упрямая суровость".

Он верил, что очередь и до него дойдет в ряду падающих кубов, - что когда-нибудь люди откликнутся и на его призыв.

Он подобен был человеку, проснувшемуся в темноте, слишком рано, когда все еще спят. Одиноким среди ближних, писал он свои дневники сокровенными письменами для дальнего брата, и для него, в предутренней мгле, пустынный пахарь вышел в поле пролагать таинственные борозды плугом, с "упрямой суровостью".

В последних числах марта на виллу Мельци стали приходить все более тревожные вести. Войско Людовика XII, под начальством сира де ла Тремуйля, перевалило через Альпы. Моро, подозревая измену солдат, уклонялся от битвы и, томимый суеверными предчувствиями, сделался "трусливее женщины".

Слухи о войне и политике доходили как слабый, заглушенный гул на виллу Ваприо.

Не думая ни о французском короле, ни о герцоге, Леонардо с Франческо блуждали по окрестным холмам, долинам и рощам. Иногда уходили вверх по течению реки в лесистые горы. Здесь нанимал он рабочих и делал раскопки, отыскивая допотопные раковины, окаменелых морских животных и водоросли.

Однажды, возвращаясь с прогулки, сели они отдохнуть под старую липу, на крутом берегу Адды, над обрывом. Бесконечная равнина, с рядами придорожных тополей и вязов, расстилалась у ног их. В свете вечернего солнца виднелись приветные белые домики Бергамо. Снежные громады Альп, казалось, реяли в воздухе. Все было ясно. Только вдали, почти на самом краю неба, между Тревилю, Кастель Роццоне и Бриньяно, клубилось дымное облачко.

- Что это? - спросил Франческо. - Не знаю,- ответил Леонардо.- Может быть, сражение... Вон, видишь, огоньки. Как будто пушечные выстрелы. Не стычка ли французов с нашими?

В последние дни такие случайные перестрелки все чаще виднелись то здесь, то там на равнине Ломбардии.

Несколько мгновений глядели они молча на облачко. Потом, забыв о нем, стали рассматривать добычу последних раскопок. Учитель взял в руки большую кость, острую, как игла, еще покрытую землею,- должно быть из плавника допотопной рыбы. - Сколько народов,- произнес он задумчиво, как про себя, и лицо его озарилось тихой улыбкою,- СКОЛЬКО царей уничтожило время с тех пор, как эта рыба с дивным строением тела уснула в глубоких извилинах пещеры, где мы нашли ее сегодня. Сколько тысячелетий пронеслось над миром, какие перевороты совершились в нем, пока лежала она в тайнике, отовсюду закрытом, подпирая тяжелые глыбы земли голыми костями остова, не Нарушенного терпеливым временем! "ДНО" обвел рукою расстилавшуюся перед ними равнину. - Все, что ты видишь здесь, Франческо, было некогда дном океана, покрывавшего большую часть Европы, Африки и Азии. Морские животные, которых мы находим в здешних горах, свидетельствуют о тех временах, когда вершины Апеннин были островами великого моря, равнинами Италии, где ныне реют птицы, плавали рыбы. Они взглянули опять на далекий дымок с искрами пушечных выстрелов. Теперь показался он им таким маленьким в бесконечной дали, таким безмятежным и розовым в лампадном сиянии вечернего солнца, что трудно было поверить, что там - сражение, и люди убивают друг друга.

стая птиц пролетела по небу. Следя за ними взором, Франческо старался вообразить себе рыб, некогда плававших здесь, в волнах великого моря, такого же глубокого и пустынного, как небо.

Они молчали. Но в это мгновение оба чувствовали одно и то же: не все ли равно, кто кого победит - французы ломбардцев или ломбардцы французов, король или герцог, свои или чужие? Отечество, политика, слава, война, падение царств, возмущение народов - все, что людям кажется великим и грозным, не похоже ли на это маленькое, в вечернем свете тающее облачко - среди вечной ясности природы?

На вилле Ваприо окончил Леонардо картину, которую начал много лет назад, еще во Флоренции.

Матерь Божия, среди скал, в пещере, обнимая правою рукою младенца Иоанна Крестителя, осеняет левою - Сына, как будто желая соединить обоих - человека и Бога - в одной любви. Иоанн, сложив

благоговейно руки, преклонил колено перед Иисусом, который благословляет его двуперстным знаменiem. По тому, как Спаситель-младенец, голый на голой земле, сидит, подогнув одну пухлую с ямочками ножку под другую, опираясь на толстую ручку, с растопыренными пальчиками, видно, что он еще не умеет ходить - только ползает. Но в лице Его - уже совершенная мудрость, которая есть в то же время и детская простота. Коленопреклоненный ангел, одной рукой поддерживая Господа, другой указывая на Предтечу, обращает к зрителю полное скорбным предчувствием лицо свое с нежной и странной улыбкой. Вдали, между скалами, влажное солнце сияет сквозь дымку дождя над туманно голубыми, тонкими и острыми горами, вида необычайного, неземного, похожими на сталактиты. Эти скалы, как будто изглоданные, источенные соленой волной, напоминают высохшее дно океана. И в пещере - глубокая тень, как под водой. Глаз едва различает подземный родник, круглые лапчатые листья водяных растений, слабые чашечки бледных ирисов. Кажется, слышно, как медленные капли сырости падают сверху, с нависшего свода черных слоистых скал доломита, прососавшись между корнями ползучих трав, хвощей и плаунов. Только лицо Мадонны, полудетское, полудевичье, светится во мраке, как тонкий алебастр с огнем внутри. Царица Небесная является людям впервые в сокровенном сумраке, в подземной пещере, быть может, убежище древнего Пана и нимф, у самого сердца природы, как тайна всех тайн,- Мать Богочеловека в недрах Матери Земли.

Это было создание великого художника и великого ученого вместе. Слияние тени и света, законы растительной жизни, строение человеческого тела, строение земли, механика складок, механика женских кудрей, которые выются, как струи водоворотов, так что угол падения равен углу отражения,- все, что ученый исследовал с "упрямою суровостью", пытал и мерил с бесстрастной точностью, Пресекал, как безжизненный труп,- художник вновь соединил в божественное целое, превратил в живую прелесть, в немую музыку, в таинственный гимн Пречистой Деве, матери Сущего. С равной любовью и знанием изобразил и тонкие жилки в лепестках ириса, и ямочку в пухлом лобике младенца, и тысячулетнюю морщину в доломитовом утесе, и трепет глубокой воды в подземном источнике,

и свет глубокой печали в улыбке ангела. Он знал все и все любил, потому что великая любовь есть дочь великого познания.

Алхимик Галеотто Сакробоско задумал сделать опыт с "Хитростью Меркурия". Так назывались палки из миртового, пирамидального, тамаринового или какого-либо иного "астрогического" дерева, имеющего, будто бы, сродство с металлами. Палки эти служили для указания в горах медных, золотых и серебряных жил.

С этой целью отправился он с мессером Джироламо на восточный берег озера Лекко, где было много приисков. Леонардо сопровождал их, хотя не верил в трость Меркурия и смеялся над нею так же, как над прочими бреднями алхимиков.

Недалеко от селения Манделло, у подножия горы Каммаионе, был железный рудник. Окрестные жители рассказывали, что несколько лет назад обвал похоронил в нем множество рабочих, что в самой глубине его серные пары взрываются из щели, и камень, брошенный в нее, летит с бесконечным, постепенно замирающим гулом, не достигая дна, ибо у пропасти нет дна.

Эти рассказы возбудили любопытство художника. Он решил, пока товарищи будут заняты опытами с тростью Меркурия, исследовать покинутый рудник. Но поселяне, полагая, что в нем обитает нечистая сила, отказывались Проводить его. Наконец, один старый рудокоп согласился. Крутой, темный, наподобие колодца, подземный ход, с полуразвалившимися скользкими ступенями, спускаясь по направлению к озеру, вел в шахты. Проводник с фонарем шел впереди; за ним - Леонардо, неся на руках Франческо. Мальчик, несмотря на просьбы отца и отговорки учителя, умолил взять его с собой.

Подземный ход становился все уже и круче. Насчитали более двухсот ступеней, а спуск продолжался, и казалось, конца ему не будет. Снизу веяло душной сыростью. Леонардо ударял заступом в стены, прислушиваясь к звуку, рассматривая камни, слои почвы, яркие слюдяные блестки в жилах гранита. "

- Страшно? - спросил он с ласковой улыбкой, чувствуя, как Франческо прижимается к нему. - Нет, ничего,- с вами я не боюсь. И помолчав, прибавил тихо:

- Правда ли, мессер Леонардо,- отец говорит, будто бы вы скоро уедете? - Да, Франческо. - Куда?

- В Романью, на службу к Чезаре, герцогу Валентине.

- В Романью? Это далеко? - В нескольких днях пути отсюда. - В нескольких днях1-повторил ФРАНческо.- Значит, мы больше не увидимся?

- Нет, отчего же? Я приеду к вам, как только можно будет.

Мальчик задумался; потом вдруг обеими руками с порывистой нежностью обнял шею Леонардо, прижался к нему еще крепче и прошептал:

- О, мессер Леонардо, возьмите, возьмите меня с собой. - Что ты, мальчик? Разве тебе можно? Там война... - Пусть война! Я же говорю, что с вами ничего Не боюсь!.. Вот ведь, как страшно здесь, а если и еще страшнее, я не боюсь!.. Я буду вашим слугою, платье буду чистить, комнаты мести, лошадям корм задавать, еще, вы знаете, я раковины умею находить и растения углем печатать на бумаге. Ведь вы же сами намеревались говорили, что я хорошо печатаю. Я все, все, как большой, буду делать, что вы прикажете... О, только возьмите меня, мессер Леонардо, не покидайте!..

- А как же мессер Джироламо? Или, ты думаешь, он тебя отпустит со мной?..

- Отпустит, отпустит! Я упрошу его. Он добрый. Не откажет, если буду плакать... Ну, а не отпустит, так я потихоньку уйду... Только скажите, что можно... Да? - Нет, Франческо,- я ведь знаю, ты только так говоришь, а сам не уйдешь от отца. Он старый, бедный, и ты его жалеешь...

- Жалею, конечно я жалею... Но ведь и вас. О, мессер Леонардо, вы не знаете, думаете, я маленький. А я все знаю! Тетка Бона говорит, что вы колдун, и школьный учитель дон Лоренцо тоже говорит, будто вы злой и с вами я душу могу погубить. Раз, когда он нехорошо говорил о вас, я ему такое ответил, что он меня чуть не высек. И все они боятся вас. А я не боюсь, потому что вы лучше всех, и я хочу всегда быть с вами!..

Леонардо молча гладил его по голове, и почему-то вспоминалось ему, как несколько лет назад также нес он в объятиях своих того

маленького мальчика, который изображал Золотой Век на празднике Моро.

Вдруг ясные глаза Франческо померкли, углы губ опустились, и он прошептал:

- Ну, что же? И пусть, пусть! Я ведь знаю, почему вы не хотите взять меня с собой. Вы не любите... А я... Он зарыдал неудержимо.

- Перестань, мальчик. Как тебе не стыдно? Лучше послушай, что я тебе скажу. Когда ты вырастешь, я возьму тебя в ученики, и славно проживем вместе и уже никогда не расстанемся.

Франческо поднял на него глаза, с еще блестящими на длинных ресницах слезами, и посмотрел пытливым, долгим взором.

- Правда, возьмете? Может быть, вы только так говорите, чтобы утешить меня, а потом забудете?.. - Нет, обещаю тебе, Франческо. - Обещаете? А через сколько лет? - Ну, через восемь-девять, когда тебе будет пятнадцать...

- Девять,- пересчитал он по пальцам.- И мы уж больше никогда не расстанемся?

- Никогда, до самой смерти.

- Ну, хорошо,- если наверное, только уж наверное - через восемь лет? - Да, будь спокоен.

Франческо улыбнулся ему счастливой улыбкой, ласкаясь особенной, им изобретенной, лаской, которая состояла в том, чтобы тереться, как это делают кошки, о лицо его щекою.

- А знаете, мессер Леонардо, как это удивительно! Мне снилось раз, будто я спускаюсь в темноте по длинным, длинным лестницам, вот так же точно, как теперь, и будто это всегда было и будет, и нет им конца. И кто-то несет меня на руках. Лица я не вижу. Но знаю, что это матушка. Ведь я ее не помню: она умерла, когда я был очень маленький. И вот теперь - этот сон наяву. Только - вы, а не матушка. Но с вами мне так же хорошо, как с нею. И не страшно... Леонардо взглянул на него с бесконечною нежностью. В темноте глаза ребенка сияли таинственным светом. Он протянул к нему свои губы доверчиво, точно в самом деле к матери. Учитель поцеловал их - и ему казалось, что в этом поцелуе Франческо отдает ему душу свою.

Чувствуя, как у сердца его бьется сердце ребенка,- твердым шагом, с неутолимою пытливостью, за тусклым фонарем, по

страшной лестнице железного рудника, Леонардо спускался все ниже и ниже в подземный мрак.

Возвратившись домой, обитатели Ваприо были встревожены вестью, что французские войска приближаются.

Разгневанный король в отмщение за измену и бунт отдавал Милан на разграбление наемникам. Кто мог, спасался в горы. По дорогам тянулись возы, нагруженные скарбом, с плачущими детьми и женщинами. Ночью из окон виллы виднелись на равнине "красные петухи" - зарево пожаров. Со дня на день ожидали сражения под стенами Новары, которое должно было решить участь Ломбардии.

Однажды фра Лука Пачоли, вернувшись на виллу из города, сообщил о последних страшных событиях.

10 апреля назначена была битва. Утром, когда герцог, выйдя из Новары, уже в виду неприятеля строил войска, главная сила его, швейцарские наемники, подкупленные маршалом Тривульцио, отказались идти в сражение. Герцог со слезами умолял их не губить его и клялся отдать им, в случае победы, часть своих владений. Они остались непреклонны. Моро переоделся монахом и хотел бежать. Но один швейцарец из Люцерна, по имени Шаттенхальб, указал на него французам. Герцога схватили и отвели к маршалу, который заплатил швейцарцам тридцать тысяч дукатов - "тридцать сребреников Иудыпредателя".

Людовик XII поручил сиру де ла Тремуилью доставить пленника во Францию. Того, кто, по выражению придворных поэтов, "первый после Бога правил колесом Фортуны, кормилом вселенной", повезли на телеге, в решетчатой клетке, как пойманного зверя. Рассказывали, будто бы герцог просил у тюремщиков, как особой милости, позволения взять с собой во Францию "Божественную Комедию" Данте.

Пребывание на вилле с каждым днем становилось опаснее. Французы опустошали Ломеллину, ландскнехты - Сеприо, венецианцы - область Мартезаны. Разбойничьи шайки бродили по окрестностям Ваприо. Мессер Джироламо с Франческо и теткою Боною собирался в Киавенну.

Леонардо проводил последнюю ночь на вилле Мельци. По обыкновению, отмечал он в дневнике все, что слышал и видел

любопытного в течение дня. "Когда хвост у птицы маленький,- писал он в ту ночь,- а крылья широкие,- она сильно взмахивает ими, развертываясь так, чтобы ветер дул ей прямо под крылья и подымал ее вверх, как я наблюдал это в полете молодого ястреба над каноникой Ваприо, слева от дороги в Бергамо, утром 14 апреля 1500 года". И рядом на той же странице:

"Моро потерял государство, имущество, свободу, и все дела его кончились ничем".

Более ни слова - как будто гибель человека, с которым провел он шестнадцать лет, низвержение великого Сфорца для него были менее важны и любопытны, чем пустынный полет хищной птицы. <h2>ОДИННАДЦАТАЯ КНИГА. БУДУТ КРЫЛЬЯ</h2>

В Тоскане, между Пизой и Флоренцией, недалеко от города Эмполи, на западном склоне Монте-Альбано находилось селение Винчи - родина Леонардо.

Устроив дела свои во Флоренции, художник пожелал, перед отъездом в Романью на службу к Чезаре Борджа, посетить это селение, где жил старый дядя его, сире Франческо да Винчи, брат отца, разбогатевший на шелковом промысле. Один из всей семьи любил он племянника. Художнику хотелось повидать его и, если возможно, поселить в доме сире Франческо ученика своего, механика Зороастро да Перетолла, который все еще не оправился от последствий страшного падения. Ему грозила опасность остаться на всю жизнь калекою. Горный воздух, сельская тишина и спокойствие, надеялся учитель, помогут больному лучше всякого лечения.

Леонардо выехал из Флоренции, один, верхом на муле, через ворота Аль-Прато, вниз по течению Арно. У города Эмполи, покинув долину реки с большою Пизанскою дорогою, свернул на узкую проселочную, извивавшуюся по невысоким однообразным холмам.

День был не жаркий, облачный. Мутно-белое, заходившее в тумане солнце, с жидким рассеянным светом, предвещало северный ветер.

Кругозор по обеим сторонам дороги ширился. Холмы незаметно и плавно, как волны, подымались. За ними чувствовались горы. На лужайках росла не густая и не яркая весенняя трава. И все кругом

было не яркое, тихое, зеленовато-серое, простое, почти бедное, напоминающее север,- поля с бледными колосьями, бесконечные виноградники с каменными стенами и, в равном расстоянии одна от другой, оливы с коленчатыми, крепкими стволами, бросавшие на землю тонкие, переплетенные, паукообразные тени. Кое-где, перед одинокою часовнею, пустынным загородным домом с гладкими желтыми стенами, с редкими, неправильно расположенными решетчатыми окнами и черепичными навесами для земледельческих орудий, на тихой ровной дали уже показавшихся, тоже сероватых гор, резко и стройно выделялись ряды угольно-черных, кругло-острых, как веретена, кипарисов, подобных тем, какие можно видеть на картинах старых флорентийских мастеров.

Горы вырастали. Чувствовался медленный, но непрерывный подъем. Дышалось легче. Путник миновал Сантузано, Калистри, Лукарди, капеллу Сан-Джованни. Темнело. Облака рассеялись. Замигали звезды. Ветер свежел. Это было начало пронзительно-холодного и звонко-ясного северного ветра - трамонтано.

Вдруг, за последним крутым поворотом, сразу открылось селение Винчи. Тут уже почти не было ровного места. Холмы перешли в горы, равнина - в холмы. И к одному из них, небольшому, острому, прилепилось каменное тесное селение. На сумеречном небе тонко и легко подымалась черная башня старой крепости. В окнах домов мерцали огни. У подножия горы, на перекрестке двух дорог, лампада освещала в углублении стены с детства знакомое художнику изваяние Божьей Матери из глины, покрытой глянцевитой белой и синей глазурью. Перед Мадонной стояла на коленях, согнувшись и закрыв лицо руками, женщина в бедном темном платье, должно быть, поселянка.

- Катарина,- прошептал Леонардо имя своей покойной матери, тоже простой поселянки из Винчи. Переехав через мост над быстрою горною речкою, взял вправо, узкою тропинкою между садовыми оградами. Здесь было уже совсем темно. Ветвь розового куста, свешивавшаяся через ограду, тихонько задела его по лицу, как будто поцеловав в темноте, и пахнула душистою свежестью.

Перед ветхими деревянными воротами в стене он спешился, поднял камень и ударил в железную скобу. Это был дом, некогда

принадлежавший деду его, Антонио да Винчи - ныне дяде Франческо, где Леонардо провел свои детские годы.

Никто не откликнулся. В тишине слышалось журчание потока Молине-ди-Гатте, на дне оврага. Наверху, в селении, разбуженные стуком, собаки залаяли. Им ответил на дворе хриплым, надтреснутым лаем, должно быть, очень дряхлый пес.

Наконец, вышел с фонарем седой сгорбленный старик. Он был туг на ухо и долго не мог понять, кто такой Леонардо. Но когда узнал его, то заплакал от радости, едва не выронил фонарь, кинулся целовать руки господина, которого лет сорок или более назад носил на собственных руках,- и все повторял сквозь слезы: "О, синьор, синьор, мой Леонардо!" Дворовый пес лениво, видимо только из угождения старому хозяину, вилял опущенным хвостом. Джан-Баттиста,- так звали старика садовника,- сообщил, что сире Франческо уехал в свой виноградник у Мадонны дель'Эрта. откуда хотел быть в Марчильяну, где знакомый монах лечил его от боли в пояснице златотысячной настойкой, и что вернется он дня через два. Леонардо решил подождать, тем более, что на следующий день утром должны были приехать из Флоренции Зороастро и Джованни Бельтраффио.

Старик повел его в дом, где в это время никого не было,- дети Франческо жили во Флоренции,- засуетился, позвал хорошенькую белокурую шестнадцатилетнюю внучку и начал заказывать ужин. Но Леонардо попросил только винчианского вина, хлеба и родниковой воды, которой славилось имение дяди. Сире Франческо, несмотря на достаток, жил так же, как отец его, дед и прадед, с простотою, которая могла бы казаться бедностью человеку, привыкшему к удобствам больших городов.

Художник вступил в столь ему знакомую нижнюю комнату, в одно и то же время приемную и кухню, с немногими неуклюжими стульями, скамьями и сундуками из потемневшего, зеркально гладкого от старости, точеного дерева, с поставцом для тяжелой оловянной посуды, с продольными закоптелыми балками потолка, с подвешенными к ним пучками сушеных лекарственных трав, с голыми белыми стенами, огромным закоптелым очагом и кирпичным полом. Единственной новизной были толстые, мутно-зеленые, с ячейкообразными круглыми гранями, стекла в окнах. Леонардо

помнил, что в детские годы его окна были затянуты, как и во всех домах тосканских поселян, навощенным холстом, так что в комнатах и днем был сумрак. А в верхних покоях, служивших спальнями, закрывались они лишь деревянными ставнями, и нередко по утрам в зимнюю стужу, которая в этих местах бывает суровою, вода в рукомойниках замерзала.

Садовник развел огонь из душистого горного вереска и можжевельника - джинебри, зажег маленькую, висевшую внутри камина на медной цепочке глиняную лампаду с длинным узким горлом и ручкою, подобною тем, какие находятся в древних этрусских гробницах. Ее изящный, нежный облик в простой, бедной комнате казался еще прелестнее. Здесь, в полудиком уголке Тосканы, в крови, в языке, в домашней утвари, в обычаях народа, сохранились отпечатки незапамятной древности - следы этрусского племени.

Пока молодая девушка хлопотала, ставя на стол круглый пресный хлеб, плоский, похожий на лепешку, блюдо с латуковым салатом в уксусе, кувшин с вином и сушеные фиги, Леонардо взошел по скрипучей лестнице в верхние покои. И здесь было все по-старому. Посередине просторной, низкой горницы - та же громадная четырехугольная кровать, где могло поместиться целое семейство, где добрая бабушка, мона Лучиа, жена Антонио да Винчи некогда спала вместе с маленьким Леонардо. Теперь семейное святохранимое ложе досталось по наследству дяде Франческо. Так же у изголовья на стене висело Распятие, образок Мадонны, раковина для святой воды, пучок серой сухой травы, называвшейся "туманом" - "неббиа", и ветхий листик с латинской молитвой. Он вернулся вниз, сел у огня, выпил воды с вином деревянной круглой чашки,- у нее был свежий запах заливы, который также напомнил ему самое далекое детство,- и, оставшись один, когда Джан-Баттиста с внучкой пошли спать, погрузился в ясные, тихие думы.

Он думал об отце своем, нотариусе Флорентийской Коммуны, сире Пьеро да Винчи, которого видел на днях во Флоренции, в его собственном благоприобретенном доме на бойкой улице Джибеллино,- семидесятилетнем, еще бодром старике с красным лицом и белыми курчаВЫМИ волосами. Леонардо не встречал во всю свою жизнь человека, который бы любил жизнь такой простодушной

любовью, как сире Пьеро. В былые годы нотариус питал отеческую нежность к своему незаконнорожденному первенцу. Но когда подросли двое младших законных сыновей, Антонио и Джульяно, опасаясь, как бы отец не выделил старшему часть наследства, они старались поссорить Леонардо с отцом. В последнее свидание он чувствовал себя чужим в семье. Особенное сокрушение по поводу распространявшихся в это время слухов об его безбожии выказал брат Лоренцо, почти мальчик по летам, но уже деловитый - ученик Савонаролы, "плакса", добродетельный и скопидомный лавочный сиделец цеха флорентийских шерстников. Нередко заговаривал он с художником при отце о христианской вере, о необходимости покаяния, смиренномудрия, о еретических мнениях некоторых нынешних философов и на прощание подарил ему душеспасительную книжку собственного сочинения.

Теперь, сидя у камина в старинной семейной комнате, вынул Леонардо эту книжку,, исписанную мелким, старательным лавочным почерком.

"Книга Исповедальная, сочиненная мною, Лоренцо ди сире Пьеро да Винчи, флорентийцем, посланная Наине, невестке моей, наиполезнейшая всем исповедаться в грехах своих желающим. Возьми книгу и читай: когда увидишь в перечне свой грех, записывай, а в чем неповинен, пропускай, оное будет для другого полезно, ибо о таковой материи, будь уверен, даже тысячи языков всего не могли бы пересказать".

Следовал подробный, составленный юным шерстником с истинною торговою щепетильностью, перечень грехов и восемь благочестивых размышлений, "кои должен иметь в душе своей каждый христианин, приступая к таинству исповеди".

С богословскою важностью рассуждал Лоренцо, грех или не грех носить сукна и другие шерстяные товары, за которые не уплачены пошлины. "Что касается души,- решал он,- то таковое ношение чужеземных тканей никакого вреда причинить не может, ежели пошлина несправедлива. А посему да не смущается совесть ваша, возлюбленные братья и сестры мои, но будьте благонадежны! А если кто скажет: Лоренцо, на чем ты утверждаешься, полагая так о заграничных сукнах? - я отвечу: в прошлом, 1499 году, находясь по

торговым делам в городе Пизе, слышал я в церкви Сан-Микеле проповедь монаха ордена Св. Доминика, некоего брата Дзаноби, с удивительным и почти невероятным обилием ученых доказательств, утверждавшего то самое о заграничных сукнах, что и я ныне".

В заключение, все с тем же унылым, тягучим многословием, рассказывал он, как дьявол долго удерживал его от написания душеполезной книги, между прочим, под предлогом будто бы он, Лоренцо, не обладает потребной к сему ученостью и красноречием, и что более приличествует ему, как доброму шерстнику, заботиться о делах своей лавки, нежели о писании духовных книг. Но, победив искушения дьявола и придя к заключению, что в этом деле не столь научные познания и красноречие, сколь христианское любомудрие и богомыслие потребны,- с помощью Господа и Приснодевы Марии, окончил он "книгу сию, посвящаемую невестке Наине, так же как всем братьям и сестрам во Христе".

Леонардо обратил внимание на изображения четырех добродетелей христианских, которые Лоренцо, быть может, не без тайной мысли о брате своем, знаменитом художнике, советовал живописцам представлять со следующими аллегориями: Благоразумие - с тремя лицами, в знак того, что оно созерцает настоящее, прошлое и будущее; Справедливость - с мечом и весами; Силу - облокотившейся на колонну; Умеренность - с циркулем в одной руке, с ножницами в другой, "коиными обрезает и предрекает она всякое излишество".

От книги этой веяло на Леонардо знакомым духом того мещанского благочестия, которое окружало детские годы его и царило в семье, передаваемое из поколения в поколение.

Уже за сто лет до его рождения родоначальники дома Винчи были такими же честными, скопидомными и богобоязненными чиновниками на службе Флорентинской Коммуны, как отец его сире Пьеро. В 1339 году в деловых записях впервые упоминался прапращур художника, нотариус Синьории, некий сире Гвидо ди сире Микеле да Винчи.

Как живой, вставал перед ним дед Антонио. Житейская мудрость деда была точь-в-точь такая же, как мудрость внука, Лоренцо. Он учил детей не стремиться ни к чему высокому - ни к славе, ни к

почестям, ни к должностям государственным и военным, ни к чрезмерному богатству, ни к чрезмерной учености.

"Держаться середины во всем,- говаривал он,- есть наиболее верный путь".

Леонардо помнил спокойный и важный старческий голос, которым преподавал он это краеугольное правило жизни-середину во всем:

- О, дети мои, берите пример с муравьев, которые заботятся сегодня о нуждах завтрашнего дня. Будьте бережливы, будьте умеренны. С кем сравню я доброго хозяина отца семейства? С пауком сравню его, в средоточии широко раскинутой паутины, который, чувствуя колебание тончайшей нити, спешит к ней на помощь.

Он требовал, чтобы каждый день к вечернему колоколу Ave Maria все члены семьи были в сборе. Сам обходил дом, запирали ворота, относил ключи в спальню и прятал под подушку. Никакая мелочь в хозяйстве не ускользала от недремлющего глаза его: сена ли мало задано волам, свечильня ли в лампаде чересчур припущена служанкою, так что лишнее масло сгорает,- все замечал, обо всем заботился. Но скарденности не было в нем. Он сам употреблял и детям советовал выбирать для платья лучшее сукно, не жалея денег, ибо оно праннее,- реже приходится менять, а потому одежда из доброго сукна не только почетнее, но и дешевле.

Семья, по мнению деда, должна жить, не разделяясь, под одной кровлей: "ибо,- говорил он,- когда все едят за одним столом,- одной скатерти, одной свечи хватает, а за двумя,- нужно две скатерти и два огня; когда греет всех один очаг, довольно одной вязанки дров, а для двух нужны две,- и так во всем".

На женщин смотрел свысока: "им следует заботиться о кухне и детях, не вмешиваясь в мужнины дела; глупец - кто верит в женский ум".

Мудрость сире Антонио не лишена была хитрости. - Дети мои,- повторял он,- будьте милосердны, как того требует святая мать наша Церковь; но все же друзей счастливых предпочитайте несчастным, богатых - бедным. В том и заключается высшее искусство жизни, чтобы, оставаясь добродетельным, перехитрить хитреца.

Он учил их сажать плодовые деревья на пограничной меже своего и чужого поля так, чтобы они кидали тень на ниву соседа; учил просящему займы отказывать с любезностью.

- Тут корысть двойная,- прибавлял он,- и деньги сохраните, и получите удовольствие посмеяться над тем, кто желал вас обмануть. И ежели проситель умный человек, он поймет вас и станет еще больше уважать за то, что вы сумели отказать ему с благопристойностью. Плут-кто берет, глуп - кто дает. Родным же и домашним помогайте не только деньгами, но и потом, кровью, честью,- всем, что имеете, не жалея самой жизни для благополучия рода, ибо, помните, возлюбленные мои: гораздо большая слава и прибыль человеку - делать благо своим, нежели чужим.

После тридцатилетнего отсутствия, сидя под кровлей отчего дома, слушая завывание ветра и следя, как потухают угли в очаге, художник думал о том, что вся его жизнь была великим нарушением этой скопидомной, древней, как мир, паучьей и муравьиной, дедовской мудрости - была тем буйным избытком, беззаконным излишеством, которое, по мнению брата Лоренцо, богиня Умеренности должна обрезать своими железными ножницами.

На следующий день рано утром вышел он из дома, разбудив садовника, и пройдя через бедное селение Винчи с высокими и узкими домиками, тесно лепившимися по склону холма вокруг крепости, стал подыматься в соседний поселок Анкиано крутой дорожкой, все время в гОРУ. Опять, как вчера, светило печальное белое, точно зимнее солнце, небеса были безоблачны и холодны, с мутнолиловыми краями, даже в это раннее утро. Трамонтано за ночь усилился. Но ветер не рвал и не мотал, как вчера, а дул ровно, прямо с севера, как будто падая с неба, однообразно свистя в ушах. Опять те же бледные сухие нивы с редкими колосьями - здесь, на этой высоте, еще более напоминавшие север, расположенные по склонам холмов полукруглыми ярусами - лунками, как выражались поселяне Винчи,- тощие виноградники, не густые не яркие травы, облетающие маки, пыльно-серые оливы, крепкие черные сучья которых коротко и болезненно вздрагивали от ветра.

Войдя в поселок Анкиано, Леонард" остановился, не узнавая мест. Он помнил, что некогда здесь были развалины замка Адимари и в

одной из уцелевших башен - маленькая сельская харчевня. Теперь на этом месте, на так Называемом Кампо делла Торрачча, виднелся новый, с гладко выбеленными стенами, дом среди виноградника. на низкой каменной оградой поселянин окапывал заступом лозы. Он объяснил художнику, что владелец харчевни умер, а наследники продали землю богатому овцеводу из Орбиньяно, который, очистив вершину холма, развел на нем виноградник и рощу олив. Недаром расспрашивал Леонардо об анкианском кабачке: он родился в нем.

Здесь, при самом въезде в бедный горный поселок, над большой дорогой, которая, переваливая через Монтеальбано, вела из долины Ньеволе в Прато и Пистойю, в мрачном остове рыцарской башни Адимари, лет пятьдесят назад, ютилась веселая сельская харчевня - остерия. Вывеска на скрипучих заржавленных петлях с надписью "Боттильерия" - распивочная, открытая дверь, с видневшимися рядами бочек, оловянных кружек и пузатых глиняных кувшинов, два подслеповатых, точно лукаво подмигивающих, решетчатых окошка без стекол, с почерневшими ставнями, и гладко вытертые ногами посетителей ступеньки крылечка выглядывали из-под свежего навеса виноградных лоз, сквозивших на солнце. Жители окрестных селений по пути на ярмарку в Сан-Миньято или Фучеккио, охотники за дикими козами, погонщики мулов, доганьеры - стражники флорентийской пограничной таможни и другой невзыскательный люд заходили сюда покалякать, распить фиаско дешевого терпкого вина, сыграть в шашки, карты, зернь, дзару или тарокку.

Служанкою в кабаке была девушка лет шестнадцати, круглая сирота, бедная контадина - поселянка из Винчи, по имени Катарина. '

Однажды весной, в 1451 году, молодой флорентийский нотариус Пьеро ди сире Антонио да Винчи, приехав погостить к отцу на виллу из Флоренции, где проводил он большую часть года в делах, был приглашен в Анкиано для заключения договора по долгосрочному найму шестой части каменного масличного точила. Скрепив условия законным порядком, поселяне пригласили нотариуса вспрыснуть договор в соседнем кабачке на Кампо делла Торрачча. Сире Пьеро, человек простой, любезный и обходительный даже с простыми людьми, охотно согласился. Им прислуживала Катарина. Молодой нотариус, как сам признавался впоследствии, с первого взгляда

влюбился в нее. Под предлогом охоты на перепелов отложил до осени отъезд во Флоренцию и, сделавшись завсегдатаем кабачка, стал ухаживать за Катариной, которая оказалась девушкой более недоступною, чем он предполагал. Но сире Пьеро недаром слыл победителем сердец. Ему было двадцать четыре года; он одевался щеголем; был красив, ловок, силен и обладал самонадеянным любовным красноречием, которое пленяет простых женщин. Катарина долго сопротивлялась, молила помощи у Пречистой Девы Марии, но, наконец, не устояла. К тому времени, когда тосканские перепела, разжиревшие на сочных осенних гроздьях, улетают из долины Ньеволе,- она забеременела.

Слух о связи сире Пьеро с бедной сиротой, служанкой анкианской харчевни дошел до сире Антонио да Винчи. Пригрозив сыну отцовским проклятием, снарядил он его немедленно во Флоренцию и в ту же зиму, чтобы, по его собственному выражению, "остепенить малого", женил на мадонне Альбьере да сире Джованни Амадори, девушке не молодой, не красивой, но из почтенного семейства, с хорошим приданым, а Катарину выдал замуж за поденщика своего, бедного поселянина из Винчи, некоего Аккаттабригу ди Пьеро дель Вакка, человека пожилого, угрюмого, с тяжелым нравом, который, рассказывали, заколотил в гроб побоями под пьяную руку первую жену. Позарившись на обещанные тридцать флоринов и маленький клочок оливковой рощи, Аккаттабрига не побрезгал покрыть чужой грех своею честью. Катарина покорилась безропотно. Но заболела от горя и еда не умерла после родов. Молока у нее не было. Чтобы кормить маленького Леонардо,- так назвали ребенка,- взяли козу с МонтеАльбано. Пьеро, несмотря на свою любовь и печаль о Катарине, тоже покорился, но упросил отца взять Леонардо в свой дом на воспитание. В те времена побочных детей не стыдились, почти всегда воспитывали наравне с незаконными и даже нередко оказывали им предпочтение. Дед согласился, тем более, что первый брак сына был бездетным, и поручил мальчика заботам жены своей, Доброй старой бабушки моны Лучии ди ПьероЗози да Бакаретто.

Так Леонардо, сын незаконной любви двадцатичетырехлетнего флорентийского нотариуса и соблазненной служанки анкианского

кабачка, вошел в добродетельное, богобоязненное семейство да Винчи. В государственном архиве города Флоренции в переписи-катаете, от 1457 года хранилась отметка, сделанная рукой деда, нотариуса Антонио да Винчи:

"Леонардо сын вышереченного Пьеро, незаконнорожденный, от его и от Катарины, ныне жены Аккаттабриги ди Пьеро дель Вакка да Винчи, пяти лет от роду".

Леонардо помнил мать, как сквозь сон, в особенности улыбку, нежную, неуловимо скользящую, полную тайны, как будто немного лукавую, странную в этом простом, печальном, строгом, почти сурово прекрасном лице. Однажды во Флоренции, в музее Медичейских садов Сан-Марко, увидел он изваяние, найденное в Ареццо, старинном городе Этрурии,-маленькую медную Кибелу, незапамятно древнюю Богиню Земли, с такою же странною улыбкою, как у молодой поселянки из Винчи, его матери. О Катарине думал художник, когда писал в своей "Книге о живописи":

"Не замечал ли ты, как женщины гор, одетые в грубые и бедные ткани, побеждают красотой тех, которые наряжены?"

Знавшие мать его в молодости уверяли, что Леонардо похож на нее. В особенности тонкие длинные руки, мягкие, как шелк, золотистые кудри и улыбка его напоминали Катарину. От отца унаследовал он могущественное телосложение, силу здоровья, любовь к жизни; от матери - женственную прелесть, которой все существо его было проникнуто.

Домик, где жила Катарина с мужем, находился неподалеку от виллы сире Антонио. В полдень, когда дед почивал, и Аккаттабрига уходил с волами в поле на работу, мальчик пробирался по винограднику, перелезал через стену и бежал к матери. Она поджидала, сидя на крыльце с веретеном в руках. Завидев его издали, протягивала руки. Он бросался к ней, и она покрывала поцелуями его лицо, глаза, губы, волосы.

Еще более нравились им ночные свидания. В праздничные вечера старый Аккаттабрига уходил в кабак или к кумовьям метать кости. Ночью Леонардо тихонько вставал с широкой семейной постели, где спал рядом с бабушкой Лучией; полуодевшись, неслышно отворял ставни, вылезал из окна, по сучьям развесистого фигового дерева

спускался на землю и бежал к дому Катарины. Сладки были ему холод росистой травы, крики ночных коростелей, ожоги крапивы, острые камни, резавшие босые ноги, и блеск далеких звезд, и страх, чтобы бабушка, проснувшись, не хватилась его, и тайна как будто преступных объятий, когда, забравшись в постель Катарины, во мраке, под одеялом, прижимался он к ней всем своим телом.

Мона Лучиа любила и баловала внука. Он помнил всегда одинаковое темно-коричневое платье бабушки, белый платок вокруг темного, покрытого морщинами, доброго лица ее, тихие колыбельные песни и лакомый запах сельского печения - берлингоццо, с поджаренной в сметане корочкой, которое она готовила.

Но с дедом они не ладили. Сначала сире Антонио сам учил внука. Мальчик слушал уроки неохотно. Когда ему исполнилось семь лет, поступил он в школу при церкви св. Петрониллы. рядом с Винчи. Латинская грамота также не шла ему впрок.

Нередко, выйдя поутру из дому, вместо школы забирался он в дикий овраг, поросший тростником, ложился на спину и, закинув голову, целыми часами следил за пролетавшими станицами журавлей, с мучительной завистью. Или, не срывая, а только бережно, так, чтобы не повредить, развертывая лепестки цветов, дивился их нежному строению, опушенным рыльцам, влажным от меда тычинкам и пыльникам. Когда сире Антонио уезжал в город по делам, маленький Нардо, пользуясь добротой бабушки, убегал на целые дни в горы и по каменным кручам, над пропастями, никому не ведомыми тропинками, где лазают лишь козы, взбирался на голые вершины МонтеАльбано, откуда видны необозримые луга, рощи, нивы, болотное озеро Фучеккио, Пистойя, Прато, Флоренция, снежные Апуанские Альпы и, в ясную погоду, узкая туманно-голубая полоса Средиземного моря. Возвращался домой исцарапанный, пыльный, загорелый, но такой веселый, что мона Лучиа не имела духу браниться и жаловаться дедушке.

Мальчик жил одиноко. С ласковым дядей Франческо и отцом, дарившим ему городские лакомства,- оба проводили большую часть года во Флоренции,- виделся редко, со школьными товарищами не сходилась вовсе. Их игры были ему чужды. Когда обрывали они

крылья бабочке, любуясь, как она ползает,- болезненно морщился, бледнел и уходил. Увидев раз, как на скотном дворе старая ключница резала к празднику откормленного молочного поросенка, который бился и пронзительно визжал,- долго и упорно, не объясняя причины, отказывался от мяса, к негодованию сире Антонио.

Однажды школьники, под предвод" ельством некоего Россо, смелого, умного и злого шалуна, поймали крота и, насладившись его мучениями, полуживого, привязали за лапку, чтобы отдать на растерзание овчаркам. Леонардо бросился в толпу детей, повалил трех мальчиков,- он был силен и ловок,- пользуясь остоленением школьников, которые не ожидали такой выходки от всегда тихого Нардо, схватил крота и во весь дух помчался в поле. Опомнившись, товарищи устремились за ним, с криком, Смехом, свистом и бранью, швыряя камнями. Долговязый Россо,- он был лет на пять старше Нардо,- вцепился ему в волосы, и началась драка. Если бы не подоспел дедушкин садовник Джан-Баттиста, они избили бы его жестоко. Но мальчик достиг своей цели. Во время свалки крот убежал и спасся. В пылу борьбы, защищаясь от нападавшего Россо, Леонардо подбил ему глаз. Отец шалуна, повар жившего на соседней вилле вельможи, пожаловался дедушке. Сире Антонио так рассердился, что хотел высечь внука. Заступничество бабушки отклонило казнь. Нардо был только заперт на несколько дней в чулан под лестницей.

Впоследствии, вспоминая об этой несправедливости, первой в бесконечном ряду других, которые суждено ему было испытать, он спрашивал себя в дневнике своем:

"Если уже в детстве тебя сажали в тюрьму, когда ты поступал как следует,- что же сделают с тобой теперь, взрослым?"

Сидя в темном чулане, мальчик смотрел, как паук в сердце паутины, отливавшей радугой в луче солнца, высасывал муху. Жертва билась в лапах его с тонким, постепенно замирающим жужжанием. Нардо мог бы спасти ее, как спас крота. Но смутное, непобедимое чувство остановило его: не мешая пауку пожирать добычу, наблюдал он алчность чудовищного насекомого с таким же бесстрастным и невинным любопытством, как тайны нежного строения цветов.

Неподалеку от Винчи строилась большая вилла для синьора Пандольфо Ручеллаи флорентийским зодчим Биаджо да Равенна,

учеником великого Альберти. Леонардо, часто бывая на месте постройки, смотрел, как рабочие выводят стены, ровняют кладку камней угломером, поднимают их машинами. Однажды сире Биаджо, заговорив с мальчиком, был удивлен его ясным умом. Сначала мимоходом, полусуто, потом мало-помалу увлекшись, стал он учить его первым основам арифметики, алгебры, геометрии, механики. Невеоятной, почти чудесной казалась учителю легкость, с которой ученик схватывал все на лету, как будто вспоминая то, что и прежде знал сам без него.

Дед смотрел косо на причуды внука. Не нравилось ему и то, что он левша: это считалось недобрый знаком. Полагали, что люди, заключающие договор с дьяволом, колдуны и чернокнижники рождаются левшами. Неприязненное чувство к ребенку усилилось в сире Антонио, когда опытная знахарка из Фальтуньяно уверила его, что старуха с Монте-Альбано, из глухого местечка Форнелло, которой принадлежала черная коза, кормилица Нардо,- была ведьмой. Легко могло статься, что колдунья, в угоду дьяволу, очаровала молоко Нардовой козы.

"Что правда, то правда,- думал дед.- Как волка ни корми, все в лес глядит. Ну, да видно, воля Господня! В семье не без урода".

С нетерпением ждал старик, чтобы любимый сын Пьеро осчастливил его рождением законного внука, достойного наследника, ибо Нардо был как бы случайный подкидыш, воистину "Незаконнорожденный" в этой семье.

Жители Монте-Альбано рассказывали об одной особенности тех мест, нигде более не встречающейся,- белой окраске многих растений и животных: тот, кто не видел собственными глазами, не поверил бы этим рассказам; путнику, бродившему по Альбанским рощам и лугам, хорошо известно, что в самом деле попадаются там нередко белые фиалки, белая земляника, белые воробьи даже в гнездах черных дроздов белые птенчики. Вот почему,- уверяют обитатели Винчи,- вся эта гора еще в незапамятной древности получила название Белой - Монте-Альбано.

Маленький Нардо был одним из чудес Белой горы, уродом в добродетельной и будничной семье флорентийских нотариусов - белым птенцом в гнезде черных дроздов.

Когда мальчику исполнилось тринадцать лет, отец взял его из Винчи в свой дом во Флоренцию. С тех пор Леонардо редко посещал родину.

От 1494 года- в это время был он на службе Миланского герцога - в одном из дневников художника сохранилась краткая и, по обыкновению, загадочная запись: "Катарина прибыла 16 июля 1493 года". Можно было подумать, что речь идет о служанке, принятой в дом по хозяйственной надобности. На самом деле это была мать Леонардо.

После кончины мужа, Аккаттабриги ди Пьеро да Вакка, Катарина, чувствуя, что и ей остается жить недолго, пожелала перед смертью увидеть сына. Присоединившись к странникам, которые отправлялись из Тосканы в Ломбардию для поклонения мощам Св. Амвросия и честнейшему Гвоздю Господню, пришла она в Милан. Леонардо принял ее с благоговейной нежностью.

Он по-прежнему чувствовал себя с нею маленьким Нардо, каким, бывало, тайно ночью с босыми ножками прибегал и, забравшись в постель, под одеяло, прижимался к ней.

Старушка после свидания с сыном хотела вернуться в родное селение, но он удержал ее, нанял ей и заботливо устроил покойную келью в соседнем девичьем монастыре Санта-Кьяра у Верчельских ворот. Она заболела, слегла, но упорно отказывалась перейти к нему в дом, чтобы не причинить беспокойства. Он поместил ее в лучшей, построенной герцогом Франческо Сфорца, похожей на великолепный дворец, больнице Милана - Оспедале Маджоре и навещал каждый день. В последние дни болезни не отходил от нее. А между тем никто из друзей, даже из учеников не знал о пребывании Катарини в Милане. В дневниках своих он почти не говорил о ней. Только раз упомянул, и то вскользь, по поводу любопытного, как он выражался, "сказочного" лица одной молодой девушки, измученной тяжким недугом, которую наблюдал в то самое время, в той самой больнице, где мать его умирала:

"Giovannina - viso fantastico - sta, asca Catarina, all'ospedale". - "Джованнина - сказочное лицо,- спроси Катарину в больнице". Когда в последний раз прикоснулся он губами к ее холодеющей руке, ему казалось, что этой бедной поселянке из Винчи, смиренной

обитательнице гор, обязан он всем, что есть у него. Он почтил ее великолепными похоронами, как будто Катарина была не скромной служанкой анкианского кабачка, а знатною женщиной. С такою же точностью, унаследованною от отца, нотариуса, с какою, бывало, без всякой нужды, записывал цены пуговиц, серебряных галунов и розового атласа для нового наряда Андреа Салаино, записал и счет похоронных издержек.

. Через шесть лет, в 1500 году, в Милане, уже после гибели Моро, укладывая вещи перед отъездом во Флоренцию, нашел он в одном из шкапов своих тщательно перевязанный, небольшой узелок. Это был сельский гостинец, принесенный ему из Винчи Катариною,- две рубахи грубого серого холста, тканого ее собственными руками, и три пары чулок из козьего пуха, тоже самодельных. Он не надевал их, потому что привык к тонкому белью. Но теперь, вдруг увидев этот узелок, забытый среди научных книг, математических приборов и машин, почувствовал, как сердце наполнилось жалостью. Впоследствии, во время долголетних, одиноких и унылых скитаний из края в край, из города в город, никогда не забывал он брать с собой ненужный, бедный узелок с чулками и рубахами, и каждый раз, пряча его от всех, стыдливо и старательно укладывал с теми вещами, которые были ему особенно дороги.

Эти воспоминания проносились в душе Леонардо, когда по крутой, знакомой с детства, тропинке он всходил на Монте-Альбано.

Под уступом скалы, где меньше было ветра, присел на камень отдохнуть и оглянулся: малорослые непадающие корявые дубы с прошлогодними сухими листьями, мелкие пахучие цветы тускло-зеленого вереска, который здешние поселяне называли "скопа" - "метелка", бледные дикие фиалки, и надо всем неуловимый свежий запах, не то полыни, не то весны, не то каких-то горных неведомых трав. Волнистые горизонты уходили, понижаясь к долине Арно. Направо возносились голые каменные горы с извилистыми тенями, змеевидными трещинами и серо-лиловыми пропастями. У самых ног его Анкиано белело на солнце. Глубже в долине, к заостренно-круглому холму лепилось маленькое, похожее на осиный улей, селение Винчи, с башнею крепости, такой же острою и черною, как два кипариса на Анкианской дороге.

Ничто не изменилось: казалось, вчера еще карабкался он по этим тропинкам; и теперь, как сорок лет назад, росла здесь обильная скопа и белые фиалки; сухо шелестели дубы сморщенными, темно-коричневыми листьями; сумрачно синело Монте-Альбано; и такое же все кругом было простое, тихое, бедное, бледное, напоминающее Север. А между тем сквозь эту тишину и бледность порой тонкая, едва уловимая прелесть благороднейшей в мире земли, некогда Этрурии, ныне Тосканы, вечно весенней земли Возрождения, сквозила, подобная странной и нежной улыбке в строгом, почти сурово-прекрасном лице молодой поселянки из Винчи, Леонардовой матери.

Он встал и пошел дальше круто подымавшеюся в ГОРУ тропинкою. Чем выше, тем холоднее и злее становился ветер.

Опять воспоминания обступили его - теперь о первых годах юности.

Дела нотариуса сире Пьеро да Винчи процветали. Ловкий, веселый и добродушный, один из тех, у которых в жизни все идет как по маслу, которые сами живут и другим жить не мешают,- умел он ладить со всеми. В особенности лица духовного звания благоволили к нему. Сделавшись доверенным богатого монастыря Святейшей Аннунциаты и многих других богоугодных учреждений, сире Пьеро округлял свое имущество, приобретал новые участки, дома, виноградники в окрестностях Винчи, не изменяя прежнего скромного образа жизни, согласно с житейской мудростью сире Антонио. Только на украшения церкви охотно жертвовал и, заботясь о чести рода, положил могильную плиту на семейную гробницу Винчи во Флорентийской Бадии.

Когда умерла первая жена его, Альбьера Амадори, быстро утешившись, тридцативосьмилетний вдовец женился на совсем молоденькой прелестной девушке, почти ребенке, Франческе ди сире Джованни Ланфредини. Детей и от второй жены у него не было. В это время Леонардо жил с отцом во Флоренции, в наняемом у некоего Микеле Брандолини доме, на площади Сан-Фиренце, близ Палаццо Веккьо. Сире Пьеро намеревался незаконнорожденному первенцу своему дать хорошее воспитание, не жалея денег, чтобы, может быть, впоследствии, за неимением законных детей, сделать

наследником - тоже, конечно, флорентийским нотариусом, как и все старшие сыновья в роде Винчи.

Во Флоренции жил тогда знаменитый естествоиспытатель, математик, физик и астроном Паоло дель Поццо Тосканелли. Он обратился к Христофору Колумбу с письмом, в котором вычислениями доказывал, что морской путь в Индию через страны антиподов не так далек, как предполагают, ободрял к путешествию и предрекал успех. Без помощи и напутствия Тосканелли Колумб не совершил бы своего открытия: великий мореплаватель был только послушным орудием в руках неподвижного созерцателя,- исполнил то, что было задумано и рассчитано в уединенной келье флорентийского ученого. В стороне от блестящего двора Лоренцо Медичи, от изящных и бесплодных болтунов-неоплатоников, подражателей древности, Тосканелли "жил, как святой", по выражению современников,- молчальник, бессребреник, постник, никогда не вкушавший от мяса, и совершенный девственник. Лицо и Мел безобразное, почти отталкивающее; только светлые, чистые и младенчески простые глаза его были прекрасны. Когда, однажды, ночью в 1470 году постучался в двери дома его у палаццо Питти молодой незнакомец, почти мальчик, Тосканелли принял его сурово и холодно, подозревая в госте обычное праздное любопытство. Но, вступив в беседу с Леонардо, он, так же как некогда прежде Биаджо да Равенна, поражен был математическим мышлением юноши. Сире Паоло сделался его учителем. В ясные летние ночи подымались они на один из холмов близ Флоренции, Поджо аль Пино, покрытый вереском, пахучим можжевельником и смолистыми черными соснами, где полуразвалившаяся от ветхости деревянная сторожка служила обсерваторией великому астроному. Он рассказывал ученику все, что знал сам о законах природы. В этих беседах Леонардо почерпнул веру в новое, еще неведомое людям, могущество знания. Отец не стеснял его, только советовал выбрать какое-либо доходное занятие. Видя, что он постоянно лепит Или рисует, сире Пьеро отнес некоторые из этих работ старому приятелю своему, золотых дел мастеру, живописцу и скульптору Андреа дель Вероккьо. Вскоре Леонардо поступил к нему в мастерскую на выучку.

Вероккьо, сын бедного кирпичника был старше Леонардо на семнадцать лет.

Когда с очками на носу и с лупой в руках сидел он за прилавком в полутемной мастерской - боттеге своей, недалеко от Понте Веккьо, в одном из тех старинных, покосившихся домиков, с гнилыми подпорками, стены которых купаются в мутно-зеленых водах Арно,- сире Андреа был скорее похож на обыкновенного флорентинского лавочника, чем на великого художника. Лицо имел неподвижное, плоское, белое, круглое и пухлое, с двойным подбородком; лишь в тонких, плотно сжатых губах и в пронзительно остром, как игла, взоре крошечных глаз виден был ум, холодный, точный и бесстрашно любопытный.

Учителем своим Андреа считал древнего мастера Паоло Учелло. Рассказывали, будто бы, занимаясь отвлеченной математикой, которую он применял к искусству, и головоломными задачами перспективы, презренный и покинутый всеми, Учелло впал в нищету и едва не сошел с ума; целые дни проводил без пищи, целые ночи без сна; порой, лежа в постели с открытыми глазами в темноте, будил жену восклицанием: - О, сколь сладостная вещь перспектива! Умер осмеянный и непонятый. Вероккьо, так же как Учелло, полагал математику общей основой искусства и науки, говорил, что геометрия, будучи частью математики,- "матери всех наук", есть в то же время "мать рисунка - отца всех искусств". Совершенное знание и совершенное наслаждение красотой было для него одно и то же. Когда встречал он редкое по уродству или прелести лицо или другую часть тела человеческого, то не отворачивался с брезгливостью, не забывался в мечтательной неге, подобно таким художникам, как Сандро Боттичелли, а изучал, делал анатомические слепки из гипса, чего никто из мастеров не делал до него. С бесконечным терпением сравнивал, мерил, испытывал, предчувствуя в законах красоты законы математической необходимости. Еще неутомимее, чем Сандро, искал новой прелести -но не в чуде, не в сказке, не в соблазнительных сумерках, где Олимп сливается с Голгофою, как Сандро, а в таком проникновении в тайны природы, на какое не дерзал еще никто, ибо не чудо было для Вероккьо истиной, а истина - чудом.

В тот день, как сире Пьеро да Винчи привел к нему в мастерскую своего восемнадцатилетнего сына, участь обоих была решена. Андреа сделался не только учителем, но и учеником ученика своего, Леонардо.

В картине, заказанной Вероккьо монахами Валломброзы, изображавшей крещение Спасителя, Леонардо написал коленопреклоненного ангела. Все, что Вероккьо смутно предчувствовал и чего искал ощупью, как слепой,- Леонардо увидел, нашел и воплотил в этом образе. Впоследствии рассказывали, будто бы учитель, приведенный в отчаяние тем, что мальчик превзошел его,- отказался от живописи. На самом деле вражды между ними не было. Они дополняли друг друга: ученик обладал тою легкостью, которой природа не одарила Вероккьо, учитель - тем сосредоточенным упорством, которого не доставало слишком разнообразному и непостоянному Леонардо. Не завидуя и не соперничая, они часто сами не знали, кто у кого заимствует.

В это время Вероккьо отливал из меди Христа с Фомою для Орсанмикеле.

На смену райским видениям фра Беато и сказочному бреду Боттичелли, впервые, в образе Фомы, влагающего пальцы в язвы Господа, явилось людям еще небывалое на земле дерзновение человека перед Богом - испытующего разума перед чудом.

Первым произведением Леонардо был рисунок для шелковой завесы, тканной золотом во Фландрии, подарка флорентинских граждан королю Португалии. Рисунок изображал грехопадение Адама и Евы. Коленчатый ствол одной из райских пальм изображен был с таким совершенством, что, по словам очевидца, "ум помрачался при мысли о том, как могло быть у человека столько терпения". Женоподобный лик демона-змея дышал соблазнительной прелестью, и, казалось, слышались слова его: "НеТ, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло". жена протягивала руку к дереву познания, с тою улыбкою дерзновенного любопытства, с которой в изваянии Вероккьо Фома Неверный влагал персты свои в язвы Распятого.

Однажды сире Пьеро, по поручению соседа своего, поселянина из Винчи, услугами которого пользовался для рыбной ловли и охоты, попросил Леонардо изобразить что-либо на круглом деревянном щите, так называемой "протелле". Подобные щиты с аллегорическими картинами и надписями употреблялись для украшения домов. Художник задумал изобразить чудовище, которое внушало бы зрителю ужас, подобно голове Медузы. В комнату, куда никто не входил, кроме него, собрал ящериц, змей, сверчков, пауков, сороконожек, ночных бабочек, скорпионов, летучих мышей и множество других безобразных животных. Выбирая, соединяя, увеличивая разные части их тел, образовал он сверхъестественное чудовище, не существующее и действительное,- постепенно вывел то, чего нет, из того, что есть, с такою ясностью, с какой Евклид или Пифагор выводят одну истину из другой.

Видно было, как животное выползает из расщелины утеса, и казалось, слышно, как шуршит по земле кольчатым черно-блестящим скользким брюхом. Зияющая пасть выхаркивала смрадное дыхание, очи - пламя, ноздри - дым. Но всего изумительнее было то, что ужас чудовища пленял и притягивал, подобно прелести.

Целые дни и ночи проводил Леонардо в запертой комнате, где невыносимое зловоние издохших гадов так заражало воздух, что трудно было дышать. Но в другое время чрезмерно, почти изнеженно-чувствительный ко всякому дурному запаху, теперь не замечал он его. Наконец, объявил отцу, что картина готова и что он может взять ее. Когда сире Пьеро пришел, Леонардо попросил его подождать в другой комнате, вернулся в мастерскую, поставил картину на деревянный постав, окружил ее черной тканью, притворил ставни так, что один лишь луч падал прямо на ротеллу, и позвал сире Пьеро. Тот вошел, взглянул, вскрикнул и отступил в испуге: ему показалось, что он видит перед собой живое чудовище. Пристальным взором следя, как страх на лице его сменяется удивлением, художник молвил с улыбкой:

- Картина достигает цели: действует именно так, как я того хотел. Возьмите ее - она готова.

В 1481 году от монахов Сан-Донато-а-Скопето получил Леонардо заказ написать запрестольную икону Поклонения Волхвов.

В наброске для этой иконы обнаружил он такое знание анатомии и выражения человеческих чувств в движениях тела, какого до него не было ни у одного из мастеров.

В глубине картины виднеются как бы образы древней эллинской жизни - веселые игры, единоборства наездников, голые тела прекрасных юношей, пустынные развалины храма с полуразрушенными арками и лестницами. В тени оливы на камне сидит Мать Божия с младенцем Иисусом и улыбается робкою детскою улыбкою, как будто удивляясь тому, что царственные пришельцы неведомых стран приносят сокровища - ладан, мирру и золото, все дары земного величия - в яслях Рожденному. Усталые, согбенные под бременем тысячелетней мудрости, склоняют они свои головы, заслоняя ладонями полуослепшие очи, смотрят на чудо, которое больше всех чудес,- на явление Бога в человеке, и падают ниц перед Тем, Кто скажет: "истинно, истинно говорю вам, ежели не обратитесь и не станете, как дети, не можете войти в царствие Божие".

В этих первых двух созданиях Леонардо как бы очертил весь круг своего созерцания: в Грехопадении - змеиную мудрость в дерзновении разума; в Поклонении Волхвов - голубиную простоту в смирении веры.

Он, впрочем, не кончил этой картины, как впоследствии не кончал почти ни одной из своих работ. В погоне за совершенством недостижимым создавал себе трудности, которых кисть не могла победить: "утолению, по слову Петрарки, мешала чрезмерность желания".

Вторая жена сире Пьеро, мадонна Франческа, умерла в юности. Он женился в третий раз на Маргерите, дочери сире Франческо ди Гульельмо, взяв на нею в приданое 365 флоринов. Мачеха невзлюбила Леонардо, особенно с тех пор, как осчастливила мужа рождением двух сыновей, Антонио и Джулиано.

Леонардо был расточителен. Сире Пьеро, хотя и не щедро, помогал ему. Мона Маргерита поедом ела мужа за то, что он отнимает имущество у законных наследников и "отдает подкидышу, пащенку, питомцу ведьминой козы", как называла Леонардо.

Среди товарищей в боттеге Вероккьо и в других мастерских было у него также много врагов. Один из них, ссылаясь на необычайную дружбу между учителем и учеником, составил безымянный донос, где обвинял их в содомии. Клевета приобретала подобие вероятия, благодаря тому, что молодой Леонардо, будучи прекраснейшим из юношей Флоренции, удалялся от женщин. "Во всей его наружности,- говорил современник,- было такое сияние красоты, что при виде его всякая печальная душа прояснялась".

В том же году, покинув мастерскую Вероккьо, он поселился один. Тогда уже ходили слухи и об "еретических мнениях", о "безбожии" Леонардо. Пребывание во Флоренции становилось для него все более тягостным.

Сире Пьеро доставил сыну выгодный заказ у Лоренцо Медичи. Но Леонардо не сумел ему угодить. От своих приближенных Лоренцо прежде всего требовал, хотя и высшего, утонченного, но все же подобоострастного поклонения. Слишком смелых и свободных людей недолюбливал.

Тоска бездействия овладевала Леонардо. Он даже вступил было в тайные переговоры с одним вельможей - диодарием Сирийским через посольство египетского султана Каит-бия, которое прибыло во Флоренцию,- чтобы поступить на службу к диодарию главным строителем, хотя знал, что для этого должен был отречься от Христа и перейти в мусульманскую веру.

Ему было все равно куда, только бы прочь из Флоренции. Он чувствовал, что погибнет, если останется в ней.

Случай спас его. Он изобрел многострунную серебряную лютню, наподобие лошадиного черепа. Лоренцо Великолепному, большому любителю музыки, понравился необычайный вид и звук этой лютни. Он предложил изобретателю поехать в Милан, чтобы поднести ее в дар герцогу Ломбардии, Лодовико Сфорца Моро.

В 1482 году, тридцати лет от роду, Леонардо покинул Флоренцию и отправился в Милан, не в качестве художника или ученого, а только придворного музыканта. Перед отъездом написал герцогу Моро:

"Изучив и обсудив. Синьор мой Славнейший, работы нынешних изобретателей военных машин, я нашел, что в них нет ничего такого, чем бы они отличались от находящихся во всеобщем употреблении.

А посему решаюсь обратиться к Вашей Светлости, дабы открыть ей тайны моего искусства".

И перечислил свои изобретения: мосты чрезвычайно легкие и несгораемые; новый способ разрушать, без помощи бомбард, всякую крепость или замок, ежели только основания их не высечены в камне; подземные ходы и подкопы, пролагаемые бесшумно и быстро под рвами и реками; крытые повозки, врезающиеся во вражий строй, так что никакие силы не могут им противиться; бомбарды, пушки, мортиры, пассаволанты нового "весьма прекрасного и полезного устройства"; осадные тараны, исполинские метательные снаряды и другие орудия "действия изумительного"; и для каждого отдельного случая изобретение новых машин; также для морских сражений всевозможное оборонительное и наступательное оружие, корабли, стены которых выдерживают каменные и чугунные ядра; никому не известные взрывчатые составы.

"В мирное время,- заключал он,- надеюсь удовлетворить Вашу Светлость в зодчестве, в сооружении частных и общественных зданий, в устройстве каналов и водопроводов.

Также в искусстве ваяния из мрамора, меди, глины, и в живописи могу исполнить какие угодно заказы не хуже всякого другого, кто бы ни был.

И еще могу принять на себя работу по отливке из бронзы Коня, долженствующего быть вечною славою блаженной памяти синьора Вашего отца и всего именитейшего дома Сфорца.

А ежели какие-либо из вышеозначенных изобретений покажутся невероятными, предлагаю сделать опыт в парке вашего замка или во всяком другом месте, которое угодно будет назначить вашей светлости, милостивому вниманию коей поручает себя Вашего Высочества всепокорнейший слуга Леонардо да Винчи".

Когда над зеленой равниной Ломбардии увидел он первые снежные вершины Альп, то почувствовал, что начинается новая жизнь, и что эта чужая земля будет для него родной.

Так, подымаясь на Монте-Альбано, вспоминал Леонардо полвека своей жизни.

Он уже близок был к вершине Белой горы - к перевалу. Теперь тропинка шла вверх прямо, без извилин, между сухим кустарником и

тощими корявыми дубами с прошлогодними листьями. Горы, мутно-лиловые под дыханием ветра, казались дикими, страшными и пустынными - точно не на земле, а на другой планете. Ветер бил в лицо, колот его льдистыми иглами, слепил глаза. Порой камень, сорвавшийся из-под ноги, катился с гулом в пропасть.

Он поднимался все выше и выше - и странная, знакомая с детства, отрада была в этом усилии подъема: Как будто побеждал он суровые, нахмуренные горы, облитые ветром, и с каждым шагом взор становился длиннее, острее, необъятнее, потому что с каждым шагом даль открывалась все шире и шире.

Весны уже не было: на деревьях - ни почки; даже трава едва зеленела. Пахло только пронзительно влажными мхами. А еще выше, там, куда он шел, были одни камни и бледное небо. Противоположной долины, где находилась Флоренция, не было видно. Но все необозримое пространство до Эмполи расстилалось перед глазами: сначала - горы, холодные, мутно-лиловые, с широкими тенями, уступами и провалами; потом - бесконечные волны холмов, от Ливорно через Кастелину-Маритиму и Вельтерано до Сан-Джиминьяно. И везде - пространство, пустота, воздушность, - как будто узкая тропинка уходила из-под ног, и медленно, с неощутимой плавностью, он летел над этими волнистыми, падающими далями на исполинских крыльях. Здесь крылья казались естественными, нужными, и то, что их нет, вызывало в душе удивление и страх, как у человека, сразу лишившегося их.

Он вспомнил, как, будучи ребенком, следил за полетом журавлей и, когда доносилось до него чуть слышное курлыканье, как будто призыв: полетим! полетим! - плакал от зависти. Вспомнил, как выпускал тайком скворцов и малиновок из дедушкиных клеток, любуясь радостью освобожденных пленниц; как однажды школьный учитель-монах рассказал ему о сыне Дедала, Икаре, который задумал лететь на крыльях, сделанных из воска, упал и погиб, и как впоследствии на вопрос учителя, кто самый великий из героев древности, он ответил без колебания: "Икар, сын Дедала!" Вспомнил также свое удивление и радость, когда в первый раз на Кампанилле - колокольне флорентийского собора Марии дель Фьоре, среди барельефов Джотто, изображавших все искусства и науки, увидел

смешного, неуклюжего человека, летящего механика Дедала, с головы до ног покрытого птичьими перьями. Было у него и еще одно воспоминание самого первого детства, из тех, которые кажутся другим нелепыми, а тому, кто хранит их в душе, полными тайною, как вещие сны.

"Должно быть, подробно писать о Коршуне - судьба моя,- говорил он об этом воспоминании в одном из дневников,- ибо, помню однажды, в раннем детстве, снилось мне, что я лежу в колыбели, и некий Коршун прилетел ко мне, и открыл мне уста, и много раз провел по ним перьями, как бы в знак того, что всю жизнь я буду говорить о Крыльях".

Пророчество исполнилось: Человеческие Крылья стали последнею целью всей его жизни.

И теперь опять, на том же склоне Белой горы, как ребенку сорок лет назад, нестерпимую обиду и невозможностью казалось ему то, что люди бескрылы.

"Кто знает все, тот может все,- думал он.- Только бы знать - и Крылья будут!"

На одном из последних поворотов тропинки почувствовал, что кто-то схватил его сзади за край одежды,- обернулся и увидел ученика своего, Джованни Бельтраффио. Зажмурив глаза, наклонив голову, придерживая рукой шляпу, Джованни боролся с ветром. Видно было, что давно уже кричал и звал, но ветром относил голос. Когда же учитель обернулся,- на этой пустынной мертвой высоте, с развевающимися длинными волосами, с длинной

бородой, откинутой ветром за плечи, с выражением непреклонной, как бы беспощадной, воли и мысли в глазах, в глубоких морщинах лба, в сурово сдвинутых бровях,- лицо его показалось таким чужим и страшным, что ученик едва узнал его.. Широкие, бившиеся по ветру, складки темнокрасного плаща походили на крылья исполинской птицы.

- Только что из Флоренции,- кричал Джованни, но в шуме ветра крик его казался шепотом, и можно было разобрать только отдельные слова: "письмо - важное - велено передать - сейчас -".

Леонардо понял, что получено письмо от Чезаре Борджа.

Джованни передал его учителю. Художник узнал почерк мессера Агапито, секретаря герцога.

- Ступай вниз! - крикнул он, взглянув на посинелое от холода лицо Джованни. Я сейчас...

Бельтраффио начал спускаться по круче, цепляясь за ветви кустарников, скользя по камням, согнувшись, съежившись,- такой маленький, хилый и слабый, что вот-вот, казалось, буря подымет и умчит его, как былинку.

Леонардо смотрел ему вслед, и жалобный вид ученика напомнил учителю собственную слабость его-проклятье бессилья, тяготевшее над всей его жизнью,-бесконечный ряд неудач: бессмысленную гибель Колосса, Тайной Вечери, падение механика Астро, несчастья всех, кто любил его, ненависть Чезаре, болезнь Джованни, суеверный ужас в глазах Майи и страшное, вечное одиночество.

- "Крылья! - подумал он.- Неужели и это погибнет, как все, что я делаю?"

И ему пришли на память слова, которые больной механик Астро шептал в бреду,-ответ Сына Человеческого тому, кто соблазнял его ужасом бездны и восторгом полета: "Не искушай Господа Бога твоего".

Он поднял голову, еще суровее сжал тонкие губы, сдвинул брови и снова стал подниматься, побеждая ветер и гору.

Тропинка исчезла; он шел теперь без дороги, по голому камню, где, может быть, никто никогда не ходил до него. Еще одно усилие, один последний шаг - и он остановился на краю обрыва. Дальше идти было некуда, можно было только лететь. Скала окончилась, оборвалась, и по ту сторону открылась доселе невидимая, противоположная бездна. Воздушная, мгlistая, мутно-лиловая, зияла она, как будто внизу, под ногами, была не земля, а такое же небо, пустота, бесконечность, как вверху, над головою.

Ветер превратился в ураган, гудел и грохотал в ушах, подобно оглушающему грому,- точно невидимые, быстрые, злые птицы пролетали мимо, рой за роем, трепеща и свистя исполинскими крыльями.

Леонардо наклонился, заглянул в бездну, и вдруг опять, но с такою силою, как еще никогда, знакомое с детства чувство

естественной необходимости, неизбежности полета охватило его.

- Будут,- прошептал он,- будут крылья! Не я, так другой, все равно - человек полетит. Дух не солгал: познавшие, крылатые будут, как боги!

И ему представился царь воздуха, победитель всех пределов и тяжестей, сын человеческий, во славе и силе своей. Великий Лебедь, летящий на крыльях, исполинских, белых, сверкающих, как снег, в лазури неба. И душу его наполнила радость, подобная ужасу.

Когда он спустился с Монте-Альбано, солнце уже близко было к закату. Кипарисы, под густыми желтыми лучами, казались черными, как уголь, удалявшиеся горы - нежными и прозрачными, как аметист. Ветер слабел.

Он подошел к Анкиано. Вдруг из-за поворота, внизу, в глубокой, уютной долине, похожей на колыбель, открылось маленькое темное селение Винчи - осиный улей, с острой, как черные кипарисы, башней крепости. Остановился, вынул памятную книжку и записал: "С Горы, которая получила имя свое от Победителя",- Vinci-vincere значит побеждать,- "предпримет свой первый полет Великая Птица - человек на спине большого Лебедя, наполняя мир изумлением, наполняя все книги своим бессмертным именем.- И вечная слава гнезду, где он родился!"

Взглянув на родное селение у подножия Белой горы, он повторил: - Вечная слава гнезду, где родился Великий Лебедь!

Письмо Агапито требовало немедленного прибытия нового герцогского механика в лагерь Чезаре для сооружения осадных машин к предстоящему приступу Фаэнцы. Через два дня Леонардо выехал из Флоренции в Романью к Чезаре Борджа.
<h2>ДВЕНАДЦАТАЯ КНИГА. ИЛИ ЦЕЗАРЬ - ИЛИ НИЧТО</h2>

"Мы, Чезаре Борджа де Франча, Божьей милостью герцог Романьи, князь Андрии, повелитель Пиомбино и прочее, и прочее. Святейшей Римской Церкви Знаменосец и главный Капитан.

Всем наместникам, кастелланам, военачальникам, Кондотьерам, Оффициалам, солдатам и подданным нашим повелеваем: подателя сего, именитейшего и возлюбленнейшего, главного при особе нашей Строителя и Зодчего, Леонардо Винчи, дружественно принимать, ему и всем, кто с ним, пропуск чинить беспошлинный,- мерить,

осматривать и всякую по желанию виденную вещь в крепостях и замках наших обсуждать дозволяя, потребных людей

немедленно наряжая, всякую помощь и содействие усердно оказывая. С волей же вышереченного Леонардо, кому надзор за крепостями и замками во владениях наших поручаем, остальным строителям нашим по всякому делу в соглашение входить приказываем. Дано в Павии, августа 18 дня, года от Рождества Христова 1502, правления же нашего в Романье лета второго. Чезаре, Герцог Романьи. *Cesar Dux Romandiolae*". Таков был пропуск Леонардо для предстоявшего осмотра крепостей.

В это время, при помощи обманов и злодеяний, совершаемых под верховным покровительством римского первосвященника и христианнейшего короля Франции, Чезаре Борджа завоевывал древнюю Церковную Область, полученную, будто бы, папами в подарок от императора Константина Равноапостольного. Отняв город Фаэнцу у законного государя, восемнадцатилетнего Асторре Мандрреди, город Форли у Катарины Сфорца,- обоих, ре бенка и женщину, доверившихся рыцарской чести его, бросил он в римскую тюрьму Св. Ангела. С герцогом Урбино заключил союз для того, чтобы, обезоружив его, предательски напасть, как нападают разбойники на больших дорогах, и ограбить.

Осенью 1502 года задумал поход на Бентиволио, правителя Болоньи, дабы, овладев этим городом, сделать его столицей нового государства. Ужас напал на соседних правителей, которые поняли, что каждый из них, в свою очередь, рано или поздно будет жертвой Чезаре, и что он мечтает,- уничтожив соперников, Объявить себя единым самодержавным повелителем Италии.

28 сентября враги Валентине, кардинал Паоло, герцог Гравина Орсини, Вителоццо Вителли, Оливеротто да Фермо, Джан Паоло Бальони, правитель Перуджи, и Антонио Джордани да Венафро, посол правителя Сиены, Пандольфо Петруччи собрались в городе Маджоне, на равнине Карпийской, и заключили тайный союз против Чезаре. Между прочим, на этом собрании Вителоццо Вителли поклялся клятвой Ганнибала - в течение года умертвить, заточить или выгнать из Италии общего врага.

Только что распространилась весть о маджонском заговоре - к нему присоединились бесчисленные государи, обиженные Цезаре. Герцогство Урбино возмутилось и отпало. Собственные войска изменяли ему. Король Франции медлил помощью. Цезаре был на краю гибели. Но, преданный и покинутый, почти безоружный, он был все еще страшен. Пропустив в малодушных перекорах и колебаниях самое выгодное время, чтобы уничтожить его, враги вступили с ним в переговоры и согласились на перемирие. Хитростями, угрозами и обещаниями обольстил он их, опутал и разъединил. Со свойственным ему глубоким искусством лицемерия, очаровывая любезностями новых друзей, звал их в только что сдавшийся город Синигаллию, будто бы для того, чтобы уже не на словах, а на деле, в общем походе, доказать свою преданность.

Леонардо был одним из главных приближенных Цезаре Борджа.

По поручению герцога украшал завоеванные города великолепными зданиями, дворцами, школами, книгохранилищами, строил обширные казармы для цезаревых войск на месте разрушенной крепости Кастель-Болоньезе, вырыл гавань Порто-Чезенатико, лучшую на всем западном берегу Адриатического моря, и соединил ее каналом

с Чезеною; заложил могущественную крепость в Пиомбинио; сооружал боевые машины, рисовал военные карты и, следуя всюду за герцогом, присутствуя во всех местах, где совершались кровавые подвиги Цезаре - в Урбино, Пезаро, Имоле, Фаэнце, Чезене, Форли, по обыкновению, вел краткий, точный дневник. Но ни единым словом не упоминал в этих заметках о Цезаре, как будто не видя или не желая видеть того, что совершалось вокруг. Записывал каждую мелочь, встречавшуюся на пути: способ, которым земледельцы Чезены соединяли плодовые деревья висячими лозами, устройство рычагов, приводивших в движение соборные колокола в Сиене, странную, тихую музыку в звуках падающих струй городского фонтана Римини. Срисовывал голубятню и башню с витой лестницей в замке Урбино, откуда только что бежал злополучный герцог Гвидобальдо, ограбленный Цезаре, по выражению современников, "в одной нижней сорочке". Наблюдал, как в Романье, у подножия Апеннин, пастухи, чтобы усилить звучность рога, вставляют его

широким Концом в узкое отверстие глубоких пещер - и громоподобный звук, наполняющий долину, повторяемый эхом, становится так силен, что стада, пасущиеся на самых далеких горах, слышат его. Один на берегу пустынного моря в Пиомбино, целыми днями следил, как набегают волна на волну, то выбрасывая, то всасывая щебень, щепки, камни и водоросли. "Так сражаются волны из-за добычи, которая достается победителю",- писал Леонардо. между тем как вокруг него нарушались все законы справедливости человеческой - не осуждая, не оправдывая, созерцал он в движении волн, по виду, случайном неторопливом, на самом деле, неизменном и правильном, ненарушимые законы справедливости божественной механики, установленной Первым Двигателем. 9-го июня 1502 года, близ Рима, в Тибре, найдены были мертвые тела юного государя Фаэнцы, Асторре и брата его, удушенных, с веревками и камнями на шее, и брошенных в реку из тюрьмы Св. Ангела. Тела эти, по словам современников, столь прекрасные, что "подобных им не нашлось бы среди тысячи", хранили знаки противоестественного насилия. Народной молвой злодеяние было приписано Чезаре.

В это время Леонардо отметил в своем дневнике: "В Романье употребляются повозки на четырех колесах; два передних - маленькие, два задних - большие; устройство нелепое, ибо, по законам физики - смотри пятый параграф моих Элементов - вся тяжесть упирается в передние колеса".

Так, умалчивая о величайших нарушениях законов духовного равновесия, возмущался он нарушением законов механики в устройстве романьольских телег.

Во второй половине декабря 1502 года герцог Валентине со всем своим двором и войском переехал из Чезены в город Фано, на берегу Адриатического моря, на речке Арцилле, милях в двадцати от Синигаллии, где назначено было свидание с бывшими заговорщиками, Оливератто да Фермо, Орсини и Вителли. В конце этого же месяца к Чезаре выехал Леонардо из Пезаро.

Отправившись утром, он думал быть на месте к сумеркам. Но поднялась вьюга. Горы покрыты были непроходимыми снегами. Мулы то и дело спотыкались. Копыта скользили по обледенелым камням. Внизу, слева от узкой, над самой кручей, горной тропинки,

шумели волны Адриатики, черные, разбивавшиеся о белый снежный берег. К ужасу проводника, мул его шарахнулся, почуяв тело висельника, качавшееся на суке осины.

Стемнело. Поехали наудачу, отпустив поводья, доверившись умным животным. Вдали замерцал огонек. Проводник узнал большой постоянный двор под Новиларою, местечком в горах, как раз на полпути между Фано и Пезаро.

Долго пришлось им стучаться в громадные двери, обитые железными гвоздями, похожие на ворота крепости. Наконец, вышел заспанный конюх с фонарем, потом хозяин гостиницы. Он отказал в ночлеге, объявив, что не только все комнаты, но и конюшни битком набиты - нет, будто бы, ни одной постели, на которой не спало бы в эту ночь человека по три, по четыре, и все люди знатные - военные и придворные из свиты герцога.

Когда Леонардо назвал ему себя и показал пропуск с печатью и подписью герцога, хозяин рассыпался в извинениях, предложил свою собственную комнату, занятую пока лишь тремя начальниками ратных людей из французского союзного отряда Ив-д'Аллегра, которые, напившись, спали мертвым сном, а сам с женой вызвался лечь в каморке, рядом с кузницей.

Леонардо вошел в комнату, служившую столовой и кухней, точно такую же, как во всех гостиницах Романьи,- закоптелую, грязную, с пятнами сырости на голых облупленных стенах, с курами и цесарками, дремавшими тут же на шесте, поросятами, визжавшими в решетчатой закуте, рядами золотистых луковиц, кровяных колбас и окороков, подвешенных к почернелым брусьям потолка. В огромном очаге с нависшей кирпичной трубой пылал огонь, и на вертеле шипела свиная туша. В красном отблеске пламени, за длинными столами, гости ели, пили, кричали, спорили, играли в зернь, шашки и карты. Леонардо присел к огню в ожидании заказанного ужина. За соседним столом, где среди слушателей художник узнал старого капитана герцогских копейщиков Бальдассаре Шипионе, главного придворного казначея, Алессандро Спаноккия и Феррарского посла, Пандольфо Колену, неизвестный человек, размахивая руками, с необыкновенным одушевлением, говорил тонким, визгливым голосом:

- Примерами из новой и древней истории могу я это доказать, синьоры, с точностью математической! Вспомните только государства, которые приобрели военную славу,- римлян, лакедемонян, афинян, этолийцев, ахейан и множество племен по ту сторону Альп. Все великие завоеватели набирали войска из граждан собственного народа: Нин - из ассирийцев, Кир - из персов, Александр - из македонян... Правда, Пирр и Ганнибал одерживали победы с наемниками; но тут уже все дело в необычайном искусстве вождей, сумевших вдохнуть в чужеземных солдат мужество и доблесть народного ополчения. К тому же, не забывайте явного положения, краеугольного камня военной науки: в пехоте, говорю я, и только в пехоте решающая сила войска, а не в коннице, не в огнестрельных орудиях и порохе-этой нелепой выдумке новых времен!..

- Увлекаетесь, мессер Никколо,- с вежливой улыбкой возразил капитан копейщиков,-огнестрельные орудия приобретают с каждым днем все большее значение. Что бы вы ни говорили о спартанцах и римлянах, смею думать, что нынешние войска гораздо лучше вооружены, чем древние. Не в обиду будь сказано вашей милости, эскадрон французских рыцарей или артиллерии с тридцатью бомбардами опрокинул бы скалу, а не только отряд вашей римской пехоты!

- Софизмы! Софизмы!- горячился мессер Никколо - я узнаю в словах ваших, синьоре, пагубное заблуждение, которым лучшие военные люди нашего века извращают истину. Погодите, когда-нибудь полчища северных варваров протрут итальянцам глаза, и увидят они жалкое бессилие наемников, убедятся в том, что конница и артиллерия выеденного яйца не стоят перед твердыней правильной пехоты,- но будет поздно... И как только люди спорят против очевидности? Хоть бы о том подумали, что с ничтожным отрядом пехоты Лукулл разбил сто пятьдесят тысяч конницы Тиграна, среди которой были когорты всадников точь-в-точь такие же, как эскадроны нынешних французских рыцарей!..

С любопытством посмотрел Леонардо на этого человека, говорившего о победах Лукулла так, как будто видел их собственными глазами.

На незнакомце было длинное платье из темно-красного сукна, величавого покроя, с прямыми складками, какое носили почтенные государственные люди Флорентийской Республики, между прочим, секретари посольства. Но платье имело вид поношенный: кое-где, правда, на местах не очень заметных, были пятна; рукава лоснились. Судя по краю рубашки, которая обыкновенно выставлялась наружу тонкой полоской на шее из-под плотно застегнутого ворота, белье было сомнительной свежести. Большие узловатые руки с мозолью на среднем пальце, как у людей, которые много пишут, замараны чернилами. Представительного, внушающего людям почтение мало было в наружности этого человека, еще не старого, лет сорока, худощавого, узкоплечего, с поразительно живыми, резкими, угловатыми чертами лица, странными до необычайности. Иногда, во время разговора, подняв вверх плоский и длинный, точно утиный нос, закинув маленькую голову назад, прищулив глаза и задумчиво выставив вперед оттопыренную нижнюю губу, смотрел он поверх головы собеседника, как будто вдаль, делаясь похожим на зоркую птицу, которая вглядывается в очень далекий предмет, вся насторожившись и вытянув тонкую, длинную шею. В беспокойных движениях, в лихорадочном румянце на выдающихся, широких скулах над смуглыми и впалыми бритыми щеками, и особенно в больших серых тяжко-пристальных глазах угадывался внутренний огонь. Эти глаза хотели быть злыми; но порой сквозь выражение холодной горечи, едкой насмешки мелькало в них что-то робкое и жалобное.

Мессер Никколо продолжал развивать свою мысль о военной силе пехоты, и Леонардо удивлялся смешению правды и лжи, безграничной смелости и рабского подражания древним в словах этого человека. Доказывая бесполезность огнестрельного оружия, упомянул он, между прочим, о том, как труден прицел пушек большого размера, ядра которых проносятся или чересчур высоко над головами врагов, или чересчур низко, не долетая до них. Художник оценил остроту и меткость этого наблюдения, зная сам по опыту несовершенства тогдашних бомбард. тотчас же затем, высказав мнение, что крепости не могут защитить государства, сослался Никколо на римлян, не строивших крепостей, и жителей

Лакедемона, не позволявших укреплять Спарту, дабы иметь оплотом лишь мужество граждан, и, как будто все, что делали и думали древние, было истиной непререкаемой, привел знаменитое в школах изречение спартанца о стенах Афин: "Они были бы полезны, если бы в городе обитали только жеНЩИНЫ".

Окончания спора Леонардо не слышал, потому что хозяин повел его наверх в комнату, приготовленную для ночлега.

К утру вьюга разыгралась. Проводник отказывался идти, уверяя, что в такую погоду добрый человек и собаки из дома не выгонит. Художник должен был остаться еще на день.

От нечего делать он стал прилаживать в кухонном лаге самовращающийся вертел собственного изобретения - большое колесо с наискось расположенными лопастями, приводимое в движение тягой нагретого воздуха в трубе и, в свою очередь, двигавшее вертел. - С такую машиною,- объяснил Леонардо удивленным зрителям,- повару нечего бояться, что жаркое пригорит, ибо степень жара остается равномерной: когда он Увеличивается, вертел ускоряет, когда уменьшается - замедляет движение.

Совершенный кухонный вертел устраивал художник с такою же любовью и вдохновением, как человеческие крылья.

В той же комнате мессер Никколо объяснял молодым французским сержантам артиллерии, отчаянным игрокам, найденное, будто бы, им в законах отвлеченной математики, правило выигрывать в кости наверняка, побеждая прихоти "фартуны-блудницы", как он выражался. Умно и красноречиво излагал он это правило, но каждый раз, как пытался доказать его на деле,- проигрывал, к немалому удивлению своему и злорадству слушателей, утешаясь, впрочем, тем, что допустил ошибку в применении верного правила. Игра кончилась объяснением, неприятным для мессера Никколо: когда наступило время расплачиваться, оказалось, что кошелек его пуст, и что он играл в долг.

Поздно вечером приехала с огромным количеством тюков и ящиков, с многочисленными слугами, пажами, конюхами, шутами, арапками и разными потешными животными вельможная венецианская кортиджана, "великолепная блудница" Лена Гриффа, та

самая, которая некогда во Флоренции едва не подверглась нападению Священного Воинства маленьких инквизиторов брата Джироламо Савонаролы.

Года два назад, по примеру многих подруг своих, мона Лена покинула свет, превратилась в кающуюся Магдалину и постриглась в монахини, для того, чтобы впоследствии возвысить себе цену в знаменитом "Тарифе кортиджан, или Рассуждении для знатного иностранца, в коем обозначены цены и качества всех кортиджан Венеции с именами их сведен". Из темной монашеской куколки выпорхнула блестящая бабочка. Лена Гриффа быстро пошла в гору: по обыкновению кортиджан высшего полета, уличная венецианская "маммола" - "душка" сочинила себе пышное родословное древо, из коего явствовало, что она, ни более, ни менее, как незаконная дочь брата миланского герцога, кардинала Асканио Сфорца. В то же время сделалась главной наложницей одного дряхлого, наполовину выжившего из ума и несметно богатого кардинала. К нему-то Лена Гриффа и ехала теперь из Венеции в город Фано, где монсиньор ожидал ее при дворе Чезаре Борджа.

Хозяин был в затруднении: отказать в ночлеге такой знатной особе - "ее преподобию", наложнице кардинала, не смел, а свободных комнат не было. Наконец удалось ему войти в соглашение с анконскими купцами, которые за обещанную скидку в счете перешли ночевать в кузниЦУ, уступив свою спальню свите вельможной блудницы. Для самой госпожи потребовал он комнату у мессера Никколо и его сожителей, французских рыцарей Ив-д'Аллегра, предложив им лечь тоже в кузнице, вместе с купцами.

Никколо рассердился и начал было горячиться, спрашивая хозяина, в своем ли он уме, понимает ли, с кем имеет дело, позволяя себе такие дерзости с порядочными людьми из-за первой встречной потаскухи. Но тут вступилась хозяйка, женщина словоохотливая и воинственная, которая "жиду языка не закладывала". Она заметила мессеру Никколо, что, прежде чем браниться и буянить, следовало бы заплатить по счету за свой собственный ужин, слугу и трех лошадей, кстати отдать и четыре дуката, которые муж ее ссудил ему по доброте сердечной еще в прошлую пятницу. И как будто про себя, но достаточно громко, чтобы все присутствовавшие могли ее

слышать, пожелала злую Пасху тем шаромыжникам, прощелыгам, что шляются по большим дорогам, выдают себя весть за каких важных господ, а живут на даровщинку а туда же, нос еще задирают перед честными людьми. Должно быть, в словах этой женщины была доля правды; по крайней мере, Никколо неожиданно притих, потупил глаза под ее обличительным взором и, видимо, размышлял, как бы отступить поприличнее. Слуги уже выносили вещи его из комнаты, и безобразная мартышка, любимица мадонны Лены, полузамерзшая во время путешествия, корчила жалобные рожи, вскочив на стол с бумагами, перьями и книгами мессера Никколо, среди которых были "Декады" Тита Ливия и "Жизни знаменитых людей" Плутарха.

- Мессере,- обратился к нему Леонардо с любезной улыбкой,- если бы вам угодно было разделить со мной ночлег, я счел бы за большую честь для себя оказать вашей милости эту незначительную услугу. Никколо обернулся к нему с некоторым удивлением и еще более смутился, но тотчас оправится и поблагодарил с достоинством.

Они перешли в комнату Леонардо, где художник позаботился отвести своему новому сожителю лучшее место. Чем больше наблюдал он его, тем привлекательнее и Любопытнее казался ему этот странный человек. Он сообщил ему свое имя и звание - Никколо Макиавелли, секретарь Совета Десяти Флорентийской республики.

Месяца три назад, лукавая и осторожная Синьория направила Макиавелли для переговоров к Чезаре Борджа, которого надеялась перехитрить, отвечая на все его предложения оборонительного союза против общих врагов, волио, Орсини и Вителли, платоническими и двусмысленными изъявлениями дружбы. На самом деле Республика, опасаясь герцога, не желала иметь его ни врагом, ни другом. Мессеру Никколо Макиавелли, лишенному всяких действительных полномочий, поручено было выхлопотать только пропуск флорентийским купцам через владения герцога по берегу Адриатического моря - дело, впрочем, немаловажное для торговли, "этой кормилицы Республики", как выражалась напутственная грамота Синьоров.

Леонардо также назвал ему себя и свой чин при дворе Валентине. Они разговорились с естественной легкостью и доверием,

свойственным людям противоположным, одиноким и созерцательным.

- Мессере,- тотчас признался Никколо, и эта откровенность понравилась художнику,- я слышал, конечно, что вы великий мастер. Но должен вас предупредить, в живописи я ничего не смыслю и даже не люблю ее, хотя полагаю, что искусство это могло бы мне ответить то же, что Данте некогда ответил зубоскалу, который на улице показал ему фигу: одной моей я не дам тебе за сто твоих. Но я слышал также, что герцог Валентине считает вас глубоким знатоком военной науки, и вот о чем хотелось бы мне когда-нибудь побеседовать с вашей милостью. Всегда казалось мне, что это - предмет, тем более важный и достойный внимания, что гражданское величие народов зиждется на могуществе военном, на количестве и качестве постоянного войска, как я докажу в моей книге о монархиях и республиках, где естественные законы, управляющие жизнью, ростом, упадком и смертью всякого государства, будут определены с такою же точностью, с какой математик определяет законы чисел, естествоиспытатель - законы физики и механики. Ибо надо вам сказать, до сих пор все, кто писал о государстве...

Но тут он остановился и перебил себя с добродушной улыбкою:

- Виноват, мессере! Я, кажется, злоупотребляю вашей любезностью: может быть, политика вас так же мало занимает, как живопись меня?..

- Нет, нет, напротив,- молвил художник,- или вот что: скажу вам так же откровенно, как вы, мессер Никколо. Я, в самом деле, не люблю обычных толков людей о войне и делах государственных, потому что эти разговоры лживы и суетны. Но ваши мнения так непохожи на мнения большинства, так новы и необычайны, что, поверьте, я слушаю вас с большим удовольствием.

- Ой, берегитесь, мессере Леонардо! - рассмеялся Никколо еще добродушнее.- Как бы не пришлось вам раскаяться: вы меня еще не знаете; ведь это мой конек - сяду на него и уж не слезу, пока вы сами не прикажете мне

замолчать! Хлебом не корми меня, только с умным человеком дай поговорить о политике! Но вот беда, где их возьмешь, умных людей? Наши великолепные синьоры знать ничего не хотят, кроме рыночных

цен на шерсть да на шелк,- прибавил он с гордой и горькой усмешкой,- я, видно, уж таким уродился по воле судеб, что, не умея рассуждать ни об убытках, ни о прибылях, ни о шерстяном, ни о шелковом промысле, должен выбрать одно из двух: или молчать, или говорить о делах государственных.

Художник еще раз успокоил его и, чтобы возобновить беседу, которая в самом деле казалась ему любопытною, спросил:

- Вы только что сказали, мессере, что политика должна быть точным знанием, таким же, как науки естественные, основанные на математике, почерпающие свою достоверность из опыта и наблюдения над природой. Так ли я вас понял?

- Так, так! - произнес Макиавелли, сдвинув брови, прищулив глаза, смотря поверх головы Леонардо, весь насторожившись и сделавшись похожим на зоркую птицу, которая вглядывается в очень далекий предмет, вытянув тонкую длинную шею.

- Может быть, я не сумею этого сделать,- продолжал он,- но я хочу сказать людям то, чего никто никогда еще не говорил о делах человеческих. Платон в своей "Республике", Аристотель в "Политике", св. Августин в "Граде Господнем" - все, кто писал о государстве, не видели самого главного - законов естественных, управляющих жизнью всякого народа и находящихся вне человеческой воли, вне зла и добра. Все говорили о том, что кажется добрым и злым, благородным и низким, воображая себе такие правления, какие должны быть, но каких нет и не может быть в действительности. Я же хочу не того, что должно быть, и не того, что кажется, а лишь того, что есть на самом деле. Я хочу исследовать природу великих тел, именуемых республиками и монархиями,- без любви и ненависти, без хвалы и порицания, как математик исследует природу чисел, анатом - строение тела. Знаю, что это трудно и опасно, ибо люди нигде так не боятся истины и не мстят за нее, как в политике, но я все-таки скажу им истину, хотя бы потом они и сожгли меня на костре, как брата Джироламо! С невольной улыбкой следил Леонардо за выражением пророческой и в то же время легкомысленной, словно раскольнической, дерзости в лице Макиавелли, в глазах

его, блескующих странным, почти безумным, блеском,- и думал:

"С каким волнением говорит он о спокойствии, с какой страстью-о бесстрастии!"

- Мессер Никколо,- молвил художник,- ежели вам удастся исполнить этот замысел, открытия ваши будут иметь не менее великое значение, чем Евклидова геометрия или исследования Архимеда в механике.

Леонардо, в самом деле, был удивлен новизной того, что слышал от мессере Никколо. Он вспомнил, как, еще тринадцать лет назад, окончив книгу с рисунками, изображавшими внутренние органы человеческого тела, приписал сбоку на полях:

"Да поможет мне Всевышний изучить природу людей, их нравов и обычаев, так же, как я изучаю внутреннее строение человеческого тела".

Они беседовали долго. Леонардо, между прочим, спросил его, как мог он во вчерашнем разговоре с капитаном копейщиков отрицать всякое боевое значение крепостей, пороха, огнестрельного оружия; не было ли это простой шуткою?

- Древние спартанцы и римляне,- возразил Никколо,- непогрешимые учителя военного искусства, не имели понятия о порохе.

- Но разве опыт и познание природы,- воскликнул художник,- не открыли нам многого, и каждый день не открывает еще большего, о чем и помышлять не смели древние?

Макиавелли упрямо стоял на своем: - Я думаю,- твердил он,- в делах военных и государственных новые народы впадают в ошибки, уклоняясь от подражания древним.

- Возможно ли такое подражание, мессер Никколо? - Отчего же нет? Разве люди и стихии, небо и солнце изменили движение, порядок и силы свои, стали иными, чем в древности?

И никакие доводы не могли его разубедить. Леонардо видел, как смелый до дерзости во всем остальном, становился он вдруг суеверным и робким, словно школьный педант, только что речь заходила о древности.

"У него великие замыслы, но как-то исполнит он их?"-подумал художник, невольно вспомнив игру в кости, во время которой

Макиавелли так остроумно излагал отвлеченные правила, но каждый раз, как пытался доказать их на деле - проигрывал.

- А знаете ли, мессере? - воскликнул Никколо среди спора с искрою неудержимой веселости в глазах,- чем больше я слушаю вас, тем больше удивляюсь - ушам своим не верю!.. Ну, подумайте только, какое нужно было редкое соединение звезд, чтобы мы с вами встретились! Умы человеческие, говорю я, бывают трех родов: первые - те, кто сам все видит и угадывает; вторые видят, когда им другие указывают, последние сами не видят и того, на что им указывают, не понимают. Первые-лучшие и наиболее редкие; вторые-хорошие, средние; последние обычные и никуда не годные. Вашу милость... ну, да, пожалуй, и себя, чтобы не быть заподозренным в чрезмерной скромности, я причисляю к первому роду людей. Чему вы смеетесь? Разве не правда? Воля ваша-думайте, что хотите, а я верю, что это недаром, что тут воля верховных судеб совершается, и для меня не скоро в жизни повторится такая встреча, как сегодня с вами, ибо я знаю, как мало на свете умных людей. А чтобы достойно увенчать нашу беседу, позвольте мне прочесть одно прекраснейшее место из Ливия и послушайте мое объяснение. Он взял со стола книгу, придвинул заплывший сальный огарок, надел железные, сломанные и тщательно перевязанные ниткою очки с большими круглыми стеклами и придал лицу своему выражение строгое, благоговейное, как во время молитвы или священнодействия.

Но только что поднял он брови и указательный палец, готовясь искать ту главу, из коей явствует, что победы и завоевания ведут государства неблагоустроенные скорее к гибели, чем к величию, и произнес первые, звуки, сладкие, как мед, слова торжественного Ливия,- дверь тихонько отворилась, и в комнату, крадучись, вошла маленькая, сгорбленная и сморщенная старушка.

- Синьоры мои,- прошамкала она, кланяясь низко,-извините за беспокойство. Госпожи моей, яснейшей мадонны Лены Гриффы любимый зверек сбежал - кролик с голубою ленточкой на шейке. Ищем, ищем, весь доМ обшарили, с ног сбились, ума не приложим, куда он запропастился...

- Никакого здесь кролика нет,-сердито прервал ее Мессер Никколо,- ступайте прочь! И встал, чтобы выпроводить старуху, но

вдруг посмотрел на нее внимательно сквозь очки, потом, опустив их на кончик носа, посмотрел еще раз поверх стекол, всплеснул руками и воскликнул:

- Мона Альвиджа! Ты ли это, старая хрычовка? А я-то думал, что давно уже черти крючьями стащили падаль твою в пекло!..

Старуха прищурила подслеповатые, хитрые глаза и осклабилась, отвечая на ласковые ругательства беззубой улыбкой, от которой сделалась еще безобразнее:

- Мессере Никколо! Сколько лет, сколько зим! Вот не гадала, не чаяла, что Бог приведет еще встретиться...

Макиавелли извинился перед заложником и пригласил мону Альвиджу в кухню покалякать, вспомнить доброе старое время. Но Леонардо уверил его, что они ему не мешают, взял книгу и сел в стороне. Никколо подозвал слугу и велел подать вина с таким видом, точно был в доме почтеннейшим гостем.

- Скажи-ка, братец, этому мошеннику-хозяину, чтобы не смел угощать нас той кислятиной, что подал мне намедни, ибо мы с моной Альвиджей не любим скверного вина, так же как священник Арлотто, который, говорят, и перед Святыми Дарами из плохого вина ни за что бы не стал на колени, полагая, что оно не может претвориться в кровь Господню!..

Мона Альвиджа забыла кролика, мессер Никколо - Тита Ливия, и за кувшином вина разговорились они, как старые друзья.

Из беседы этой Леонардо понял, что старуха некогда сама была кортиджаной, потом содержательницей дома терпимости во Флоренции, сводней в Венеции и теперь служила главной ключницей, заведующей гуардаробою мадонны Лены Гриффы. Макиавелли расспрашивал ее об общих знакомых, о пятнадцатилетней голубоглазой Аталанте, которая однажды, говоря о любовном грехе, воскликнула с невинною улыбкою: "разве это хула на Духа Святого? Монахи и священники могут проповедывать, что им угодно,- никогда не поверю я, будто бы доставлять бедным людям удовольствие-смертный грех!"-о прелестной мадонне Риччеи, муж которой замечал с равнодушием философа, когда ему сообщали об изменах супруги: жена в доме, что огонь в очаге - давай соседям, сколько хочешь, не убудет. Вспомнили и толстую рыжую Мармилию,

которая каждый раз, бывало, склоняясь на мольбы своих поклонников, набожно опускала завесу перед иконою, "чтобы Мадонна не увидала".

Никколо в этих сплетнях и непристойностях по-видимому чувствовал себя, как рыба в воде. Леонардо удивлялся превращению государственного мужа, секретаря Флорентийской Республики, тихого и мудрого собеседника в беспутного гуляку, завсегдатая притонов. Впрочем, истинной веселости не было в Макиавелли, и художник угадывал тайную горечь в его циническом смехе.

- Так-то, государь мой! Молодое растет, старое старится,- заключила Альвиджа, впадая в чувствительность и качая головой, как дряхлая парка любви.- Времена уже нынче не те...

- Врешь, старая ведьма, чертова угодница! - лукаво подмигнул ей Никколо.- Не гневи-ка ты Бога, кума. Кому другому, а вашей сестре нынче масленица. Теперь у хорошеньких женщин ревнивых и бедных мужей не бывает вовсе, и, вступив в дружбу с такими мастерицами, как ты, живут они припеваючи. Самые гордые синьоры охотно сдаются за деньги - по всей Италии свальный грех да непотребство. Распутную женщину от честной только разве и отличишь, что по желтому знаку... Упомянутый желтый знак был особою, шафранного цвета, головною повязкою, которую закон обязывал носить блудниц, с тою целью, чтобы не смешивали их в толпе с честными женщинами.

- Ох, не говорите, мессере! - сокрушенно вздохнула старуха.- Куда же нынешнему веку против прежнего? Да хоть бы то взять: не так давно еще в Италии о французской болезни никто не слыхивал - жили мы, как у Христа за пазухой. Или опять же насчет этого желтого знака - Боже ты мой, просто беда! Верите ли, в прошлый карнавал госпожу мою едва в тюрьму не упрятали. Ну, посудите сами, статочное ли дело мадонне Лене желтый знак носить?

- А почему бы ей не носить? - Что вы, что вы, как можно, помилуйте! Разве яснейшая мадонна какая-нибудь уличная девчонка из тех, что со всякой сволочью шлятся? Да известно ли милости вашей, что одеяло на ее постели великолепнее папских облачений в день св. Пасхи? Что же касается до ума и учености, тут уж она, полагаю, и самих докторов Болонского университета за пояс заткнет. Послушали бы вы только, как рассуждает она о Петрарке, о Лауре, о

бесконечности небесной любви!.. - Еще бы,- усмехнулся Никколо,- кому же и знать бесконечность любви, как не ей!.. - Да уж смейтесь, смейтесь, мессере, а ведь вот, ей Богу, чтобы мне с этого места не встать: намереди, как читала она свое послание в стихах одному бедному юноше, которому советует обратиться к упражнению в добродетелях, слушала я, слушала, да и расплакалась, ну так за душу и хватает, точь-в-точь как бывало в Санта-Мария дель Фьоре на проповедях брата Джироламо, царствие ему небесное. Воистину новый Туллий Цицерон! И то сказать, недаром же знатнейшие господа платят ей за один разговор о тайнах платонической любви разве что на два или на три дуката менее, чем другим за целую ночь. А вы говорите - желтый знак!

В заключение мона Альвиджа рассказала про собственную молодость: и она была прекрасна, и за нею ухаживали; все ее прихоти исполнялись; и чего только она, бывало, не выделявала. Однажды в городе Падуе, в соборной ризнице сняла митру с епископа и надела на свою рабыню. Но с годами красота поблекла, поклонники рассеялись, и пришлось ей жить сдачей комнат внаймы да стиркою белья. А тут еще заболела и дошла до такой нищеты, что хотела на церковной паперти просить подаяния, чтобы купить яду и отравиться. Только Пречистая Дева спасла ее от смерти: с легкой руки одного старого аббата, влюбленного в ее соседку, жену кузнеца, вступила мона Альвиджа на торный путь, занявшись более выгодным промыслом, чем стирка белья.

Рассказ о чудесной помощи Матери Господа, ее особой Заступницы, прерван был служанкою мадонны Лены, прибежавшей сказать, что госпожа требует у ключницы баночки с мазью для мартышки, отморожившей лапу, и "Декамерона" Боккаччо, которого вельможная блудница читала перед сном и прятала под подушку, вместе с молитвенником.

По уходе старухи Никколо вынул бумагу, очинил перо и стал сочинять донесение великолепным синьорам Флоренции о замыслах и действиях герцога Валентине - послание, полное государственной мудрости, несмотря на легкий, полушутливый слог.

- Мессере,- молвил он вдруг, поднимая глаза от работы и взглядывая на художника,- а признайтесь-ка, удивились вы, что я так

внезапно перешел от беседы о самых великих и важных предметах, о добродетелях древних спартанцев и римлян к болтовне о девчонках со сводней? Но не осуждайте меня слишком строго и вспомните, государь мой, что этому разнообразию нас учит сама

природа в своих вечных противоположностях и превращениях. А ведь главное - бесстрашно следовать природе во всем! Да и к чему притворяться? Все мы люди, все человеки. Знаете старую басню о том, как философ Аристотель в присутствии ученика своего Александра Великого, по прихоти распутной женщины, в которую влюблен был без памяти, стал на четвереньки и взял ее к себе на спину, и бесстыдная, голая, поехала верхом на мудреце, как на муле? Конечно, это только басня, но смысл ее глубок. Уж если сам Аристотель решился на такую глупость из-за смазливой девчонки, где же нам, грешным, устоять?..

Час был поздний. Все давно спали. Было тихо. Только сверчок пел в углу, и слышалось, как за деревянной перегородкой в соседней комнате мона Альвиджа что-то лепечет, бормочет, натирая лекарственной мазью отмороженную лапку обезьяны.

Леонардо лег, но долго не мог заснуть и смотрел на Макиавелли, прилежно склоненного над работою с обгрызенным гусиным пером в руках. Пламя огарка бросало на голую белую стену огромную тень от головы его с угловатыми резкими очертаниями, с оттопыренною нижнею губою, непомерно длинною, тонкою шеей и длинным птичьим носом. Кончив донесения о политике Цезаре, запечатав обертку сургучом и сделав обычную на спешных посылках надпись - cito, citissime, celerrime - скорее, самое скорое, наискорейшее! - открыл он книгу Тита Ливия и погрузился в любимый многолетний труд-составление объяснительных примечаний к Декадам.

"Юний Брут, притворившись дураком,- писал он,- приобрел больше славы, чем самые умные люди. Рассматривая всю его жизнь, прихожу я к тому заключению, что он действовал так, дабы избежать подозрений и тем легче низвергнуть тирана,- пример, достойный подражания для всех цареубийц. Ежели могут они восстать открыто, то, конечно, это благороднее. Но когда сил не хватает для явной борьбы, следует действовать тайно, вкрадываясь в милость государя и не брезгая ничем, чтобы ее заслужить, деля с монархом все его

пороки и будучи ему сообщником в распутстве, ибо такое сближение, во-первых, спасет жизнь мятежника, во-вторых, позволит ему, при удобном случае, погубить государя. Итак, говорю я, должно притворяться дураком, подобно Юнию Бруту - хваля, порицая и утверждая обратное тому, что думаешь, дабы вовлечь тирана в погибель и возвратить свободу отечеству". Леонардо следил, как при свете потухающего огарка странная черная тень на белой стене плясала и корчила бесстыдные рожи, между тем как лицо секретаря Флорентинской Республики хранило торжественное спокойствие, словно отблеск величия Древнего Рима. Только в самой глубине глаз да в углах извилистых губ сквозило порой выражение двусмысленное, лукавое и горько-насмешливое, почти такое же циничское, как во время беседы о девочках со своднею.

На следующее утро выюга утихла. Солнце искрилось в заиндевелых мутно-зеленых стеклах маленьких окошек постоянного двора, как в бледных изумрудах. Снежные поля и холмы сияли, мягкие, как пух, ослепительно белые под голубыми небесами.

Когда Леонардо проснулся, сожителя уже не было в комнате. Художник сошел вниз, в кухню. Здесь в очаге пылал большой огонь, и на новом самовращающемся вертеле шипело жаркое. Хозяин не мог налюбоваться машиною Леонардо, а дряхлая старушка, пришедшая из глухого горного селения, смотрела, выпучив глаза, в суеверном ужасе, на баранью тушу, которая сама себя подрумянивала, ходила, как живая, повертывая бока так, чтобы не пригореть.

Леонардо велел проводнику седлать мулов и присел к столу, чтобы закусить на дорогу. Рядом мессер Никколо в чрезвычайном волнении разговаривал с двумя новыми приезжими. Один из них был гонец из Флоренции, другой - молодой человек безукоризненной светской наружности, с лицом, как у всех, не глупым, не умным, не злым и не добрым, незапоминаемым лицом толпы,- некий мессер Лучо, как впоследствии узнал Леонардо, двоюродный племянник Франческо Веттори, знатного гражданина, имевшего большие связи и дружески расположенного к Макиавелли, родственник самого гонфалоньера. Пьеро Содерини. Отправляясь по семейным делам в Анкону, Лучо взялся отыскать Никколо в Романье и передать ему письма флорентийских друзей. Приехал он вместе с гонцом.

- Напрасно изволите беспокоиться, мессер Никколо,- говорил Лучо.- Дядя Франческо уверяет, что деньги скоро будут высланы. Еще в прошлый четверг синьоры обещали ему...

- У меня, государь мой,- злобно перебил его Макиавелли,- двое слуг да три лошади, которых обещаниями великолепных синьоров не накормишь! В Имоле получил я 60 дукатов, а долгов заплатил на 70. Если бы не сострадание добрых людей, секретарь Флорентийской Республики умер бы с голоду. Нечего сказать, хорошо заботятся синьоры о чести города, принуждая доверенное лицо свое при чужом дворе выпрашивать по три, по четыре дуката на бедность!..

Он знал, что жалобы тщетны. Но ему было все равно, только бы излить накипевшую горечь. В кухне почти никого не было: они могли говорить свободно.

- Наш соотечественник, мессер Леонардо да Винчи,- гонфалоньер должен его знать,- продолжал Макиавелли, указывая на художника, и Лучо вежливо поклонился ему,- мессер Леонардо вчера еще был свидетелем оскорблений, которым я подвергаюсь...

- Я требую, слышите, не прошу, а требую отставки! - закончил он, все более горячась и видимо воображая в лице молодого флорентийца всю Великолепную Синьорию.- Я человек бедный. Дела мои в расстройстве. Я, наконец, болен. Если так будет продолжаться, меня привезут домой в гробу! К тому же все, что можно было сделать с данными мне полномочиями, я здесь уже сделал. А затягивать переговоры, ходить вокруг да около, шаг вперед, шаг назад, и хочется, и колется - слуга покорный! Я считаю герцога слишком умным для такой ребяческой политики. Я, впрочем, писал вашему дяде...

- Дядя,- возразил Лучо,- конечно, сделает для вас, мессере, все, что в силах,-но во беда: Совет Десяти считает донесения ваши столь необходимыми для блага Республики, проливающими такой свет на здешние дела, что никто и слышать не хочет о вашей отставке. Мы бы-де и рады, да заменить его некем. Единственный, говорят, золотой человек, ухо и око нашей Республики. Могу вас уверить, мессер Никколо,- письма ваши имеют такой успех во Флоренции, что большего вы сами не могли бы желать. Все восхищаются неподражаемым изяществом и легкостью вашего слога. Дядя мне

говорил, что намерен в зале Совета, когда читали одно из шуточных ваших посланий, синьоры так и покатывались со смеху...

- А, так вот оно что! - воскликнул Макиавелли, и лицо его вдруг передернулось.- Ну, теперь я все понимаю: синьорам письма мои по вкусу пришлись. Слава Богу, хоть на что-нибудь да пригодился мессер Никколо! Они там, изволите ли видеть, со смеху покатываются, изящество слога моего оценивают, пока я здесь живу, как собака, мерзну, голодаю, дрожу в лихорадке, терплю унижение, бьюсь, как рыба об лед - все для блага Республики, черт бы ее побрал вместе с гонфалоньером, этой слезливой старой бабой. Чтоб вам всем ни гроба, ни савана...

Он разразился площадною бранью. Привычное бессильное негодование наполняло его при мысли об этих вождях народа, которых он презирал, и у которых был на посылках.

Желая переменить разговор, Лучо подал Никколо письмо от молодой жены его, моны Мариетты.

Макиавелли пробежал несколько строк, нацарапанных детским крупным почерком на серой бумаге.

"Я слышала,- писала, между прочим, Мариетта,- что в тех краях, где вы находитесь, свирепствуют лихорадки и другие болезни. Можете себе представить, каково у меня на душе. Мысли о вас ни днем, ни ночью не дают мне покоя. Мальчик, слава Богу, здоров. Он становится удивительно похож на вас. Личико белое, как снег, а головка в густых черных-пречерных волосиках, точь-вточь как у вашей милости. Он кажется мне красивым, потому что похож на вас. И такой живой, веселый, как будто ему уже год. Верите ли, только что родился, открыл глазенки и закричал на весь дом.- А вы не забываете нас, и очень, очень прошу, приезжайте скорее, потому что я более ждать не могу и не буду. Ради Бога, приезжайте! А пока да сохранит вас Господь, Приснодева Мария и великомощный мессер Антонно, коему непрестанно о здравии вашей милости молюсь".

Леонардо заметил, что во время чтения этого письма лицо Макиавелли озарилось доброю улыбкой, неожиданной для резких, угловатых черт его, как будто из-за них выглянуло лицо другого человека. Но оно тотчас же скрылось. Презрительно пожав плечами, скомкал он письмо, сунул в карман и проворчал сердито:

- И кому только понадобилось сплетничать о моей болезни?

- Невозможно было скрыть,- возразил Лучо.- Каждый день мона Мариетта приходит к одному из ваших друзей или членов Совета Десяти, расспрашивает, выпытывает, где вы и что с вами... - Да уж знаю, знаю, не говорите - беда мне с ней!

Он нетерпеливо махнул рукой и прибавил: - Дела государственные должно поручать людям холостым. Одно из двух - или жена, или политика!

И, немного отвернувшись, резким, крикливым голосом продолжал:

- Не имеете ли намерения жениться, молодой человек?

- Пока нет, мессер Никколо,- ответил Лучо. - И никогда, слышите, никогда не делайте этой глупости. Сохрани вас Бог. Жениться, государь мой, это все равно, что искать угря в мешке со змеями! Супружеская жизнь - бремя для спины Атласа, а не обыкновенного смертного. Не так ли, мессер Леонардо?

Леонардо смотрел на него и угадывал, что Макиавелли любит мону Мариетту с глубокою нежностью, но, стыдясь этой любви, скрывает ее под маскою бесстыдства.

Гостиница опустела. Постояльцы, вставшие спозаранку, разъехались. Собрался в путь и Леонардо. Он пригласил Макиавелли ехать вместе. Но тот грустно покачал головою и ответил, что ему придется ждать из Флоренции денег, чтобы расплатиться с хозяином и нанять лошадей. От недавней напускной развязности в нем и следа не оставалось. Он весь вдруг поник, опустился, казался несчастным и больным. Скука неподвижности, слишком долгого пребывания на одном и том же месте была для него убийственна. Недаром в одном письме члены Совета Десяти упрекали его за слишком частые, беспричинные переезды, которые производили путаницу в делах: "видишь, Никколо, до чего доводит нас этот твой непоседливый дух. столь жадный к перемене мест".

Леонардо взял его за руку, отвел в сторону и предложил денег взаймы. Никколо отказался...

- Не обижайте меня, друг мой,- молвил художник.- Вспомните то, что сами вчера говорили: какое нужно редкое соединение звезд, чтобы встретились такие люди, как мы. Зачем же лишаете вы меня и

себя этого благодеяния судьбы? И разве вы не чувствуете, что не я вам, а вы мне оказали бы сердечную услугу?.. В лице и голосе художника была такая доброта, что Никколо не имел духу огорчить его и взял тридцать дукатов, которые обещал возвратить, как только получит Деньги из Флоренции. Тотчас расплатился он в гостинице с щедростью вельможи.

Выехали. Утро было тихое, нежное, с почти весеннею теплотою и капелью на солнце, с душисто-морозною свежестью в тени. Глубокий снег с голубыми тенями хрустел под копытами. Между белыми холмами сверкало бледнозеленое зимнее море, и желтые косые паруса, подобные крыльям золотистых бабочек, кое-где мелькали на нем.

Никколо болтал, шутил и смеялся. Каждая мелочь вызывала его на неожиданно забавные или печальные мысли.

Проезжая бедное селение рыбаков на берегу моря и горной речки Арциллы, увидели путники на маленькой церковной площади жирных веселых монахов в толпе молодых поселянок, которые покупали у них крестики, четки, кусочки мощей, камешки от дома Лореттской Богоматери и перышки из крыльев Архангела Михаила.

- Чего зеваете? - крикнул Никколо мужьям и братьям поселянок, стоявшим тут же на площади.- Не подпускайте монахов к женщинам! Разве вы не знаете, как жир легко зажигается огнем, и как любят святые отцы, чтобы красавицы не только называли их, но и делали отцами?

Заговорив со спутником о римской церкви, он стал доказывать, что она погубила Италию.

- Клянусь Вакхом,- воскликнул он, и глаза его загорелись негодованием,- я полюбил бы, как себя самого, того, кто принудил бы всю эту сволочь - попов и монахов, отречься или от власти, или от распутства!

Леонардо спросил его, что думает он о Савонароле, Никколо признался, что одно время был пламенным его приверженцем, надеялся, что он спасет Италию, но скоро понял бессилие пророка.

- Опротивела мне до тошноты вся эта ханжеская лавочка. И вспоминать не хочется. Ну их к черту! - заключил он брезгливо.

Около полудня въехали они в ворота города Фано. Все дома переполнены были солдатами, военачальниками и свитой Чезаре. Леонардо, как придворному зодчему, отвели две комнаты близ дворца на площади. Одну из них предложил он спутнику, так как достать другое помещение было трудно.

Макиавелли пошел во дворец и вернулся с важною новостью: главный герцогский наместник дон Рамиро де Лорка был казнен. Утром в день Рождества, 25-го декабря, народ увидел на Пьяцетте между Замком и Роккою Чезены обезглавленный труп, валявшийся в луже крови, рядом-топор, и на копье, воткнутом в землю, отрубленную голову Рамиро.

- Причины казни никто не знает,-заклучил Никколо.- Но теперь об этом только и говорят по всему городу. И мнения прелюбопытные! Я нарочно зашел за вами. Пойдемте-ка на площадь, послушаем. Право же, грешно пренебрегать таким случаем изучения на опыте естественных законов политики!

Перед древним собором Санто-Фортунато толпа ожидала выхода герцога. Он должен был проехать в лагерь для смотра войск. Разговаривали о казни наместника. Леонардо и Макиавелли вмешались в толпу.

- Как же, братцы? Я в толк не возьму,-допытывался молодой ремесленник с добродушным и глуповатым лицом,- как же сказывали, будто бы более всех вельмож любил он и жаловал наместника?

- Потому-то и взыскал, что любил,- наставительно молвил кузнец благообразной, почтенной наружности, в беличьей шубе.- Дон Рамиро обманывал герцога. Именем его народ угнетал, в тюрьмах и пытках морил, лихоимствовал. А перед государем овечкой прикидывался. Думал, шито да крыто. Не тут-то было! Час пришел, исполнилась мера долготерпения государева, и первого вельможу своего не пощадил он для блага народа, приговора не дождавшись, голову на плахе отрубил, как последнему злодею, чтобы другим не повадно было. Теперь, небось, все, у кого рыльце в пуху, хвосты поджали - видят, страшен гнев его, праведен суд. Смиренного милует, гордого сокрушает! - *Regas eos in virga ferrea*,- привел монах слова Откровения: "Будешь пасти их жезлом железным". - Да, да, жезлом бы

их всех железным, собачьих детей, мучителей народа! - Умеет казнить - умеет миловать! - Лучшего государя не надо! - Истинно так! - молвил поселянин.- Сжалился, видно. Господь над Романьей. Прежде, бывало, с живого и с мертвого шкуру дерут, поборами разоряют. И такто есть нечего, а тут за недоимки последнюю пару волов со двора уводят. Только и вздохнули при герцоге Валентино - пошли ему Господь здоровья! Лучо, который, продолжая путь в Анкону, остановился отдохнуть в городе Фано и должен был выехать утром, пришел к ним пооститься. Никколо заговорил о казни Рамиро де Лорка. Лучо спросил его, что думает он о действительной причине этой казни.

- Угадывать причины действий такого государя, как Чезаре, трудно, почти невозможно,-возразил Макиавелли.- Но ежели угодно вам знать, что я думаю,- извольте. До завоевания герцогом Романья, как вам известно, находясь под игом множества отдельных ничтожных тиранов, полна была буйствами, грабежами и насилиями. Чезаре, чтобы положить им сразу конец, назначил главным наместником умного и верного слугу своего, дона Рамиро де Лорка. Лютыми казнями, пробудившими в народе спасительный страх перед законом, в короткое время прекратил он беспорядок и водворил совершенное спокойствие в стране. Когда же государь увидел, что цель достигнута, то решил истребить орудие жестокости своей: велел схватить наместника под предлогом лихоимства, казнить и выставить на площади труп. Это ужасное зрелище в одно и то же время удовлетворило и оглушило народ. А герцог извлек три выгоды из действия, полного глубокою и достойною подражания мудростью: во-первых, с корнем вырвал плевелы раздоров, посеянные в Романье прежними слабыми тиранами; во-вторых, уверив народ, будто бы жестокости совершены были без ведома государя, умыв руки во всем и свалив бремя ответственности на голову наместника, воспользовался добрыми плодами его свирепости; в-третьих, принося в жертву народу своего любимого слугу, явил образец высокой и неподкупной справедливости.

Он говорил спокойным, тихим голосом, сохраняя бесстрастную неподвижность в лице, как будто излагал выводы отвлеченной математики; только в самой глубине глаз дрожала, то потухая, то

вспыхивая, искра шаловливой, дерзкой, почти школьнически задорной веселости.

- Хороша справедливость, нечего сказать! - воскликнул Лучо.- Да ведь из ваших слов, мессере Никколо, выходит, что это мнимое правосудие - величайшая гнусность!

Секретарь Флоренции опустил глаза, стараясь потушить их резвый огонь.

- Может быть,- прибавил он холодно,- очень может быть, мессере; но что же из того?

- Как, что из того? Неужели гнусность считаете вы достойною подражания, государственною мудростью?

Макиавелли пожал плечами. - Молодой человек, когда вы приобретете некоторую опытность в политике, то сами увидите, что между тем, как люди поступают, и тем, как должно поступать, такая разница, что забывать ее значит обрекать себя на верную гибель, ибо все люди по природе своей злы и порочны, ежели выгода или страх не принуждают их к добродетели. Вот почему, говорю я, государь, чтобы избежать гибели, должен прежде всего научиться искусству казаться добродетельным, но быть или не быть им, смотря по нужде, не страшась укоров совести за те тайные пороки, без коих сохранение власти невозможно, ибо, с точностью исследуя природу зла и добра, приходишь к заключению, что многое кажущееся доблестью уничтожает, а кажущееся пороком возвеличивает власть государей.

- Помилуйте, мессере Никколо!- возмутился, наконец, Лучо - Да ведь если так рассуждать, то все позволено, нет такого злодейства и низости, которых бы нельзя оправдать...

- Да, все позволено,-еще холоднее и тише произнес Никколо и, как бы углубляя значение этих слов, поднял руку и повторил: - все позволено тому, кто хочет и может властвовать!

- Итак,- продолжал он,- возвращаясь к тому, с чего мы начали, я заключаю, что герцог Валентине, объединивший Романью при помощи дона Рамиро, прекративший в ней грабежи и насилия - не только разумнее, но и милосерднее в своей жестокости, чем, например, флорентийцы, допускающие постоянные мятежи и буйства в подчиненных им землях, ибо лучше жестокость,

поражающая немногих, чем милосердие, от которого гибнут в мятежах народы.

- Позвольте, однако,- видимо запутанный и ошеломленный, спохватился Лучо.- Как же так? Разве не было великих государей, чуждых всякой жестокости? Ну, хотя бы император Антонин или Марк Аврелий -да мало ли других в летописях древних и новых народов?..

- Не забывают, мессере,- возразил Никколо,- что я пока имел в виду не столько наследственные, сколько завоеванные монархии, не столько сохранение, сколько приобретение власти. Конечно, императоры Антонин и Марк Аврелий могли быть милосердными без особенного вреда для государства, потому что в прошлые века совершенно было достаточно свирепых и кровавых деяний. Вспомните только, что при основании Рима один из братьев, вскормленных волчицею, умертвил другого - злодеяние ужасное,- но, с другой стороны, как знать, если бы не совершилось братоубийство, необходимое для установления единодержавия - существовал ли бы Рим, не погиб ли бы он среди неизбежных раздоров двоевластия? И кто посмеет решить, какая чаша весов перевесит, если на одну положить братоубийство, на другую - все добродетели и мудрость Вечного Города? Конечно, следует предпочитать самую темную долю величию царей, основанному на подобных злодеяниях. Но тот, кто раз покинул путь добра, должен, если не хочет погибнуть, вступить на эту роковую стезю без возврата, чтобы идти по ней до конца, ибо люди мстят только за малые и средние обиды, тогда как великие отнимают у них силы для мщения. Вот почему государь может причинять своим подданным только безмерные обиды, воздерживаясь от малых и средних. Но большею частью, выбирая именно этот средний путь между злом и добром, самый пагубный, люди не смеют быть ни добрыми, ни злыми до конца. Когда злодейство требует величия духа, они отступают перед ним и с естественною легкостью совершают только обычные подлости.

- Волосы дыбом встают от того, что вы говорите. мессере Никколо!- ужаснулся Лучо. и так как светское чувство подсказывало ему, что всего приличнее отделаться шуткой, прибавил, стараясь улыбнуться:

- Впрочем, воля ваша, я все-таки представить себе не могу, чтобы вы в самом деле думали так. Мне кажется невероятным...

- Совершенная истина почти всегда кажется невероятною,- прервал его Макиавелли сухо.

Леонардо, внимательно слушавший, давно уже заметил, что, притворяясь равнодушным, Никколо бросал на собеседника украдкой испытующие взоры, как бы желая измерить силу впечатления, которое производят мысли его,- удивляет ли, пугает ли новизна их и необычайность? В этих косвенных, неуверенных взорах было тщеславие. Художник чувствовал, что Макиавелли не владеет собой, и что ум его, при всей своей остроте и тонкости, не обладает спокойною побеждающей силой. Из нежелания думать, как все, из ненависти к общим местам, впадал он в противоположную крайность - в преувеличение, в погоню за редкими, хотя бы неполными, но, во что бы то ни стало, поражающими истинами. Он играл неслыханными сочетаниями противоречивых слов - например, добродетель и свирепость, как фокусник играет обнаженными шпагами, с бесстрашною ловкостью. У него была целая оружейная палата этих отточенных, блестящих, соблазнительных и страшных полуистин, которыми он метал, словно ядовитыми стрелами, во врагов своих, подобных мессеру Лучо,- людей толпы, мещански благопристойных и здравомыслящих. Он мстил им за их торжествующую пошлость, за свое непонятное превосходство, колол, язвил - но не убивал, даже не ранил.

И художнику вспомнилось вдруг его собственное чудовище, которое некогда изобразил он на деревянном щите-ротелле, по заказу сире Пьеро да Винчи, создав его из разных частей отвратительных гадюк. Не образовал ли и мессер Никколо так же бесцельно и бескорыстно своего богоподобного изверга, не существующего и невозможного Государя, противоестественное и пленительное чудовище, голову Медузы - на страх толпе? Но, вместе с тем, под этой беспечною прихотью и шалостью воображения, под бесстрашием художника Леонардо угадывал в нем действительно великое страдание - как будто фокусник, играя мечами, нарочно резал себя до крови: в прославлении чужих жестокостей была жестокость к самому себе.

"Не из тех ли он жалких больных, которые ищут утolenия боли, растрavляя собственные раны?"- думал Леонардо.

И все-таки последней тайны этого темного, сложного, столь близкого и чуждого сердца он еще не знал.

В то время, как он смотрел на Макиавелли с глубоким любопытством, мессер Лучо беспомощно, как в нелепом сне, боролся с призрачною головою Медузы.

- Что ж? Я спорить не буду,-отступал он в последнюю твердыню здравого смысла.- Может быть, есть некоторая доля правды в том, что говорите вы о необходимой жестокости государей, если применить это к великим людям прошедших веков. Им простится многое, потому что добродетель и подвиги их выше всякой меры. Но помилуйте, мессере Никколо, при чем же тут герцог Романьи? *Quod licet Jovi, non licet bovi.* Что позволено Александру Великому и Юлию Цезарю, позволено ли Александру VI и Чезаре Борджа, о котором пока ведь еще неизвестно, что он такое - Цезарь или ничто? Я, по крайней мере, думаю и со мною все согласятся... "*Aut Caesar [император, царь], aut nihil*" (лат.)-девиз Чезаре

- О, конечно, с вами все согласятся! - уже явно теряя самообладание, перебил Никколо.-Только это еще не доказательство, мессере Лучо. Истина обитает не на больших дорогах, по которым ходят все. А чтобы кончить спор, вот вам последнее слово мое: наблюдая действия Чезаре, я нахожу их совершенными и полагаю, что тем, кто приобретает власть оружием и удачей, можно указать на него, как на лучший образец для подражания. Такая свирепость с такою добродетелью соединились в нем, он так умеет ласкать и уничтожать людей, так прочны основания власти, заложенные им в столь короткое время, что уже и теперь это - самодержец, единственный в Италии, может быть, в Европе, а что ожидает его в будущем, и представить себе трудно...

Голос его дрожал. Красные пятна выступили на впалых щеках. Глаза горели, как в лихорадке. Он был похож на ясновидящего. Из-под насмешливой маски циника выглядывало лицо бывшего ученика Савонаролы.

Но только что Лучо, утомленный спором, предложил заключить мировую двумя, тремя бутылками в соседнем погребе,- ясновидец

исчез.

- Знаете ли что? - возразил Никколо,- пойдете-ка лучше в другое местечко. У меня на это нюх собачий! Здесь нынче, полагаю, должны быть прехорошенькие девочки...

- Ну какие могут быть девочки в этом дрянном городишке?- усомнился Лучо.

- Послушайте, молодой человек,- остановил его секретарь Флоренции с важностью,- никогда не брезгайте дрянными городишками. Боже вас упаси! В этих самых грязненьких предместьях, в темненьких переулочках можно иногда такое откопать, что пальчики оближешь!..

Лучо развязно потрепал Макиавелли по плечу и назвал его шалуном.

- Темно,- отнекивался он,- да и холодно, замерзнем... - Фонари возьмем,- настаивал Никколо,- шубы наденем, каппы на лицо. По крайней мере никто не узнает. Капюшоны (от итал. сарра). В таких похождениях, чем таинственнее, тем приятнее.- Мессере Леонардо, вы с нами? Художник отказался.

Он не любил обычных грубых мужских разговоров о женщинах, избегал их с чувством непреодолимой стыдливости. Этот пятидесятилетний человек, бестрепетный испытатель тайн природы, провожавший людей на смертную казнь, чтобы следить за выражением последнего ужаса в лицах, иногда терялся от легкомысленной шутки, не знал, куда девать глаза и краснел, как мальчик. Никколо увлек мессера Лучо. На следующий день рано утром пришел из дворца камерьере узнать, доволен ли главный герцогский строитель отведенным ему помещением, не терпит ли недостатка в городе, переполненном таким множеством иностранцев, и передал ему с приветствием герцога подарок, состоявший, по гостеприимному обычаю тех времен, из хозяйственных припасов - куля с мукой, бочонка с вином, бараньей туши, восьми пар каплунов и кур, двух больших факелов, трех пачек восковых свечей и двух ящичков конфетти. Видя внимание Чезаре к Леонардо, Никколо попросил его замолвить за него словечко у герцога - выхлопотать ему свидание.

В одиннадцать часов ночи, обычное время приема у Чезаре, отправились они во дворец.

Образ жизни герцога был странен. Когда однажды феррарские послы жаловались папе на то, что не могут добиться приема у Чезаре, его святейшество ответил им, что он и сам недоволен поведением сына, который обращает день в ночь, и по два, по три месяца откладывает деловые свидания.

Время его распределялось так: летом и зимою ложился он спать в четыре или пять часов утра, в три пополудни для него только что брезжила утренняя заря, в четыре вставало солнце, в пять вечера он одевался, тотчас обедал, иногда лежал в постели, во время обеда и после занимался делами. Всю свою жизнь окружал тайной непроницаемой, не только по естественной скрытности, но и по расчету. Из дворца выезжал редко, почти всегда в маске. Народу показывался во все дни великих торжеств, войску - во время сражения, в минуты крайней опасности. Зато каждое из его явлений было поражающим, как явление полубога: он любил и умел удивлять.

О щедрости его ходили слухи невероятные. На содержание Главного Капитана Церкви не хватало золота, Непрерывно стекавшегося в казну св. Петра со всего христианского мира. Послы уверяли государей, будто бы он тратит не менее тысячи восьмисот дукатов в день. Когда Чезаре проезжал по улицам городов, толпа бежала за ним, зная, что он подковывает лошадей своих особыми, легко спадающими серебряными подковами, чтобы нарочно терять их по пути, в подарок народу.

Чудеса рассказывали и о телесной силе его: однажды будто бы, в Риме, во время боя быков, юный Чезаре

бывший тогда кардиналом Валенсии, разрубил череп быку ударом палаша. В последние годы французская болезнь только потрясла, но не сокрушила его здоровья. Пальцами прекрасной, женственной тонкой руки гнул он лошадиные подковы, скручивал железные прутья, разрывал корабельные канаты. Недоступного собственным вельможам и послам великих держав, можно было видеть его на холмах в окрестностях Чезены, присутствующим на кулачных боях полудиких горных пастухов Романьи. Порой и сам принимал он участие в этих играх.

В то же время - совершенный кавалере, законодатель светских мод. Однажды, ночью, в день свадьбы сестры своей, мадонны Лукреции, покинув осаду крепости, прямо из лагеря прискакал во дворец жениха, Альфонсо д'Эсте, герцога Феррарского; никем не узнанный, весь в черном бархате, в черной маске, прошел толпу гостей, поклонился, и, когда они расступились перед ним, один, под звуки музыки, начал пляску и сделал несколько кругов по зале с таким изяществом, что тотчас все его узнали. "Чезаре! Чезаре! Единственный Чезаре!"-пронесся восторженный шепот в толпе. Не обращая внимания на гостей и хозяина, он отвел невесту в сторону и, наклонившись, стал что-то шептать ей на ухо. Лукреция потупила глаза, вспыхнула, потом побледнела, как полотно, и сделалась еще прекраснее, вся нежная, бледная, как жемчужина, быть может, невинная, но слабая, бесконечно покорная страшной воле брата, покорная, как уверяли, даже до кровосмешения.

Он заботился об одном: чтобы не было явных улик. Может быть, молва преувеличивала злодеяния герцога, может быть, действительность была еще ужаснее молвы. Во всяком случае, он умел прятать концы в воду.

Дворцом его высочеству служила старинная готическая ратуша Фано.

Пройдя через большую, унылую и холодную залу, общую приемную для менее знатных посетителей, Леонардо и Макиавелли вступили в маленький внутренний покой, должно быть, некогда часовню, с цветными стеклами в стрельчатых окнах, высокими седалищами церковного хора, где в тонкой дубовой резьбе изображены были двенадцать апостолов и учителя первых веков христианства. В увядшей фреске на потолке, среди облаков и ангелов, реял голубь Духа Святого. Здесь находились приближенные. Разговаривали полупшепотом: близость государя чувствовалась через стену.

Плешивый старичок, злополучный посол Римини, уже третий месяц дожидавшийся свидания с герцогом, видимо усталый от многих бессонных ночей, дремал в углу на церковном седалище.

Иногда дверь приотворялась, секретарь Агапито, с озабоченным видом, с очками на носу и пером за ухом, просовывал голову и

приглашал к его высочеству когонибудь из присутствовавших.

При каждом его появлении посол Римини болезненно вздрагивал, приподымался, но видя, что очередь не за ним, тяжело вздыхал и опять погружался в дремоту, под звук аптекарского пестика в медной ступе.

За неимением других удобных комнат в тесной ратуше, часовня превращена была в походную аптеку. Перед окном, где было место алтаря, на столе, загроможденном бутылками, колбами и банками врачебной лаборатории, епископ Санта-Джуста, Гаспаре Торелла, главный врач - архиатрос его святейшества папы и Чезаре, приготавливал недавно вошедшее в моду лекарство от "французской болезни" - сифилиса, настойку из так называемого "святого дерева"- гуайяко, привозимого с новооткрытых КолумбоМ полуденных островов. Растирая в красивых руках остропахучую шафранно-желтую сердцевину гуайяко. слипавшуюся в жирные комки, врач-епископ объяснял с любезной улыбкой природу и свойства целительного дерева. Все слушали с любопытством: многие из присутствовавших знали по опыту страшную болезнь. - И откуда только взялась она? - в горестном недоумении покачивал головой кардинал Санта-Бальбина. - Испанские жиды и мавры, говорят, занесли,- молвил епископ Эльна.- Теперь, как издали законы против богохульников,- еще, слава Богу, поутихла. А лет пять, шесть назад - не только люди, но и животные, лошади, свиньи, собаки заболели, даже деревья и хлеба на полях. Врач выразил сомнение в том, чтобы французскою болезнью могли заболеть пшеница и овес.

- Покарал Господь,-сокрушенно вздохнул епископ Трани,-за грехи послал нам бич гнева Своего!

Собеседники умолкли. Раздавался лишь мерный звон пестика в ступе, и казалось, что учителя первых веков христианства, изображенные в хорах по стенам, с удивлением внимают этой странной беседе новых пастырей

церкви Господней. В часовне, озаренной мерцающим светом аптекарской лампочки, где удушливый камфарный запах лекарственного дерева смешивался с едва уловимым благоуханием прежнего ладана, собрание римских прелатов как будто совершало тайное священнодействие.

- Монсиньоре,- обратился к врачу герцогский астролог Вальгулио,- правда ли, будто бы эта болезнь передается через воздух? Врач сомнительно пожал плечами.

- Конечно, через воздух!-подтвердил Макиавелли с лукавой усмешкой.- Как же иначе могла бы она распространиться не только в мужних, но и в женских обителях. Все усмехнулись.

Один из придворных поэтов, Баттисто Орфино, торжественно, как молитву, прочел посвящение герцогу новой книги епископа Тореллы о французской болезни, где он, между прочим, уверяя, будто бы Чезаре добродетелями своими затмил великих древних мужей: Брута - справедливостью, Деция - постоянством, Сципиона - воздержанием. Марка Регула - верностью и Павла Эмилия - великодушием,- прославлял Знаменосца Римской Церкви как основателя ртутного лечения.

Во время этой беседы секретарь Флоренции, отводя то одного, то другого придворного в сторону, ловко расспрашивал их о предстоящей политике Чезаре, пытался, выслеживал и нюхал воздух, как ищейка. Подошел и к Леонардо и, опустив голову на грудь, приложив указательный палец к губам, поглядывая на него исподлобья, проговорил несколько раз в глубокой задумчивости: - Съем артишок... съем артишок... - Какой артишок? - удивился художник. - В том-то и штука-какой артишок?.. Недавно герцог загадал загадку посланнику Феррары, Пандольфо Коленуччо: я, говорит, съем артишок, лист за листом. Может быть, это означает союз врагов его, которых он, разделив, уничтожит, а может быть, и что-нибудь совсем другое. Вот уже целый час ломаю голову! И наклонившись к уху Леонардо, прошептал: - Тут все загадки да ловушки! О всяком вздоре болтают, а только что заговоришь о деле - немеют, как рыбы или монахи за едою. Ну, да меня не проведешь! Я чую - что-то у них готовится. Но что именно? Что? Верите ли, мессере,- душу заложил бы дьяволу, только бы знать, что именно!

И глаза у него заблестели, как у отчаянного игрока. Из приотворенной двери высунулась голова Агапито. Он сделал знак художнику.

Через длинный, полутемный ход, занятый телохранителями - албанскими страдиотами, вступил Леонардо в опочивальню герцога,

уютный покой с шелковыми коврами по стенам, на которых выткана была охота за единорогом, с лепною работою на потолке, изображавшею басню о любви царицы Пазифаи к быку. Этот бык, багряный или золотой телец, геральдический зверь дома Борджа, повторялся во всех украшениях комнаты, вместе с папскими трехвенечными тиарами и ключами св. Петра.

В комнате было жарко натоплено: врачи советовали больным после ртутного втирания беречься сквозняка, греясь на солнце или у огня. В мраморном очаге пылал благовонный можжевельник; в лампадах горело масло с примесью фиалковых духов: Чезаре любил ароматы. По обыкновению, лежал он, одетый, на низком ложе без полога, посередине комнаты. Только два положения тела были ему свойственны: или в постели, или верхом. Неподвижный, бесстрастный, облокотившись на подушки, следил он, как двое придворных играют в шахматы рядом с постелью на яшмовом столике, и слушал доклад севкретаря: Чезаре обладал способностью разделять внимание на несколько предметов сразу. Погруженный в Задумчивость, медленным, однообразным движением перекачивал он из одной руки в другую золотой шар, наполненный благоуханиями, с которым никогда не расставался, Так же как со своим дамасским кинжалом.

Он принял Леонардо со свойственной ему очаровательной любезностью. Не позволяя преклонить колено, Дружески пожал художнику руку и усадил его в кресло. Пригласил его, чтобы посоветоваться о планах Браманте для нового монастыря в городе Имоле, так называемой Валентины, с богатою часовнею, больницею и странноприимным домом. Чезаре желал сделать эти благотворительные учреждения памятником своего христианского милосердия.

После чертежей Браманте показал ему новые, только что вырезанные образчики букв для печатного станка Джеронимо Сончино, в городе Фано, которому покрови тельствовал, заботясь о процветании искусств и наук в Романье.

Агапито представил государю собрание хвалебных гимнов придворного поэта Франческо Уберти. Его высочество благосклонно принял их и велел щедро наградить поэта.

Затем, так как он требовал, чтобы ему представляли не только хвалебные гимны, но и сатиры, секретарь подал ему эпиграмму неаполитанского поэта Манчони, схваченного в Риме и посаженного в тюрьму Св. Ангела - сонет, полный жестокою бранью, где Чезаре назывался лошаком, отродьем блудницы и папы, восседающего на престоле, которым некогда владел Христос, ныне же владеет сатана,- турком, обрезанцем, кардиналом-расстригою, кровосмесителем, братоубийцей и богоотступником.

"Чего ты ждешь, о Боже терпеливый,- восклицал поэт,- или не видишь, что святую церковь он в стойло мулов обратил и в непотребный дом?"

- Как прикажете поступить с негодяем, ваше высочество?-спросил Агапито.

- Оставь до моего возвращения,-тихо молвил герцог.- Я с ним сам расправлюсь. Потом прибавил еще тише: - Я сумею научить писателей вежливости. Известен был способ, которым Чезаре "учил писателей вежливости": за менее тяжкие обиды отрубал им руки и прокалывал языки раскаленным железом. Кончив доклад, секретарь удалился.

К Чезаре подошел главный придворный астролог Вальгулио с новым гороскопом. Герцог выслушал его внимательно, почти благоговейно, ибо верил в неизбежность рока, в могущество звезд. Между прочим, объяснил Вальгулио, что последний припадок французской болезни у герцога зависел от дурного действия сухой планеты Марс, вступившей в знак влажного Скорпиона; но только что соединится Марс с Венерою, при восходящем Тельце,- болезнь пройдет сама собою. Затем посоветовал, в случае, если его высочество намерен предпринять какое-либо важное действие, выбрать 31 число декабря, после полудня, так как соединение светил в этот день знаменует счастье Чезаре. И, подняв указательный палец, наклонившись к уху герцога, молвил он трижды таинственным шепотом:

- Сделай так! Сделай так! Сделай так! Чезаре потупил глаза и ничего не ответил. Но художнику показалось, что по лицу его промелькнула тень.

Движением руки отпустив звездочета, обратился он снова к придворному строителю.

Леонардо разложил перед ним военные чертежи и карты. Это были не только исследования ученого, объяснявшие строение почвы, течение воды, преграды, образуемые горными цепями, исходы рек, открываемые долинами, но и произведения великого художника - картины местностей, как бы снятые с высоты птичьего полета. Море обозначено было синею краскою, горы - коричневою, реки-голубою, города-темно-алою, луга-бледно-зелеНОЮ; и с бесконечным совершенством исполнена каждая подробность - площади, улицы, башни городов, так что их сразу можно было узнать, не читая названий, приписанных сбоку. Казалось, будто бы летишь над землей и с головокружительной высоты видишь у ног своих необозримую даль. С особенным вниманием рассматривал Чезаре карту местности, ограниченной с юга озером Бельсенским, с севера - долиною речки, впадающей в Арно, Валь д'Эмою, с запада - Ареццо и Перуджей, с востока Сиеною и приморскою областью. Это было сердце Италии, родина Леонардо, земля Флоренции, о которой герцог давно уже мечтал, как о самой лакомой добыче.

Углубленный в созерцание, наслаждался Чезаре этим чувством полета. Словами не сумел бы он выразить того, что испытывал, но ему казалось, что он и Леонардо понимают друг друга, что они - сообщники. Он смутно угадывал великую новую власть над людьми, которую может дать наука, и хотел для себя этой власти, этих крыльев для победоносного полета. Наконец, поднял глаза на художника и пожал ему руку с обворожительно-любезной улыбкой:

- Благодарю тебя, мой Леонардо! Служи мне, как до сих пор служил, и я сумею тебя наградить. - Хорошо ли тебе? - прибавил заботливо.- Доволен ли жалованьем? Может быть, есть у тебя какое-либо Желание? Ты знаешь, я рад исполнить всякую просьбу твою.

Леонардо, пользуясь случаем, замолвил слово за мессера Никколо - попросил для него свидания у герцога. Чезаре пожал плечами с добродушною усмешкою.

- Станный человек этот мессер Никколо! Добивается свиданий, а когда принимаю его, говорить нам не о чем. И зачем только прислали

мне этого чудака? Помолчав, спросил, какого мнения Леонардо о Макиавелли.

- Я полагаю, ваше высочество, что это один из самых умных людей, каких я когда-либо встречал в моей жизни.

- Да, умен,- согласился герцог,- пожалуй, кое-что и в делах разумеет. А все-таки... нельзя на него положиться. Мечтатель, ветреник. Меры не знает ни в чем. Я, впрочем, всегда ему желал добра, а теперь, когда узнал, что он твой друг,- тем более. Он ведь добряк! Нет в нем никакого лукавства, хотя он и воображает себя коварнейшим из людей и старается меня обмануть, как будто я враг вашей Республики. Я, впрочем, не сержусь: понимаю, что он это делает потому, что любит отечество больше, чем душу свою.- Ну, что же, пусть придет ко мне, ежели ему так хочется... Скажи, что я рад. А кстати, от кого это намерение я слышал, будто бы мессер Никколо задумал книгу о политике или о военной науке что ли?

Чезаре опять усмехнулся своею тихою усмешкою, как будто вспомнил вдруг что-то веселое.

- Говорил он тебе о своей македонской фаланге? Нет? Так слушай. Однажды из этой самой книги о военной науке объяснял Никколо моему начальнику лагеря, Бартоломео Капраника и другим капитанам правило для расположения войск в порядке, подобном древней македонской фаланге, с таким красноречием, что всем захотелось увидеть ее на опыте. Вышли в поле перед лагерем, и Никколо начал командовать. Бился, бился с двумя тысячами солдат, часа три продержал их на холоде, под ветром и дождем, а хваленой фаланги не выстроил. Наконец Бартоломео потерял терпение, вышел тоже к войску, и хотя отроду ни одной книги о военной науке не читывал - во мгновение ока, под звук тамбурина, расположил пехоту в прекрасный боевой порядок. И тогда-то все еще раз убедились, сколь великая разница между делом и словом.- Только смотри, Леонардо, ему ты об этом не сказывай: Никколо не любит, чтобы ему напоминали македонскую фалангу!

Было поздно, около трех часов утра. Герцогу принесли легкий ужин - блюдо овощей, форель, немного белого вина: как настоящий испанец, отличался он умеренностью в пище.

Художник простился. Чезаре еще раз с пленительной любезностью поблагодарил его за военные карты и велел трем пажам проводить с факелами, в знак почета. Леонардо рассказал Макиавелли о свидании с герцогом. Узнав о картах, снятых им для Чезаре с окрестностей Флоренции, Никколо ужаснулся. - Как? Вы - гражданин Республики - для злейшего врага отечества?..

- Я полагал,- возразил художник,- что Чезаре считается нашим союзником...

- Считается!-воскликнул секретарь Флоренции, и в глазах его блеснуло негодование.- Да знаете ли вы, мессере, что, если только это дойдет до сведения великолепных синьоров, вас могут обвинить в измене?.. - Неужели?-простодушно удивился Леонардо.- Вы, впрочем, не думайте, Никколо,-я в самом деле ничего не смыслю в политике-точно слепой... Они молча посмотрели друг другу в глаза и вдруг почувствовали, что в этом они до последней глубины сеердца навеки различны, чужды друг другу и никогда не сговорятся: для одного как будто вовсе не было родины, Другой любил ее, по выражению Чезаре, "больше, чем душу свою".

В ту ночь уехал Никколо, не сказав, куда и зачем. Вернулся на следующий день после полудня, усталый, озябший, вошел в комнату Леонардо, тщательно запер двери, объявил, что давно уже хотелось ему поговорить с ним о деле, которое требует глубокой тайны, и повел речь издалека. Однажды, три года назад, в сумерки, в пустынной местности Романьи, между городами Червией и ПортоЧезенатико, вооруженные всадники в масках напали на конный отряд, провожавший из Урбино в Венецию жену Баттисто Карачоло, капитана пехоты Яснейшей республИКИ, мадонну Доротею, отбили ее и ехавшую с ней двоюродную сестру ее, Марию, пятнадцатилетнюю послушницУ Урбинского девичьего монастыря, усадили на коней и ускакали. С того дня Доротея и Мария пропали без вести. Совет и Сенат Венеции почли оскорбленной Республику в лице своего капитана и обратились к Людовику XII, к испанскому королю и папе с жалобами на герцога Романьи. обвиняя его в похищении Доротеи. Но улики не было, и Чезаре ответил с насмешкою, что, не имея недостатка в женщинах, не имеет нужды отбивать их по большим дорогам. Ходили слухи, будто бы мадонна

Доротея быстро утешилась, следуя за герцогом во всех его походах и не слишком горюя о муже. У Марии был брат, мессер Диониджо, молодой капитан на службе Флоренции, в Пизанском лагере. Когда все ходатайства флорентийских синьоров оказались столь же бесполезными, как жалобы Яснейшей Республики, Диониджо решил сам попытать счастья, приехал в Романью под чужим именем, представился герцогу, заслужил его доверие, проник в башню Чезенской крепости и бежал с Марией, переодетой мальчиком. Но на границе Перуджи настигла их погоня. Брата убили. Марию вернули в крепость.

Макиавелли, как секретарь Флорентийской Республики, принимал участие в этом деле. Мессер Диониджо подружился с ним, доверил ему тайну отважного замысла, рассказал все, что мог узнать о сестре своей от тюремщиков, которые считали ее святой и уверяли, будто бы она творит исцеления, пророчествует, будто бы руки и ноги ее запечатлены кровавыми крестными язвами, подобными "стигматам" святой Екатерины Сиенской.

Когда Чезаре наскучила Доротея, он обратил свое внимание на Марию. Знаменитый обольститель женщин, зная за собой очарование, которому самые чистые не могли противиться, был уверен, что, рано или поздно, Мария окажется такой же покорной, как все. Но ошибся. Воля его встретила в сердце этого ребенка непобедимое сопротивление. Молва гласила, что в последнее время герцог часто бывал в ее тюремной келье, подолгу оставался с ней наедине, но то, что происходило на этих свиданиях, для всех было тайною.

В заключение Никколо объявил, что намерен освободить Марию.

- Если бы вы, мессере Леонардо,- прибавил он,- согласились помочь мне, я повел бы это дело так, что никто ничего не узнал бы о вашем участии. Я, впрочем, хотел просить у вас лишь некоторых сведений о внутреннем расположении и устройстве крепости Сан-Микеле, где находится Мария. Вам, как придворному строителю, было бы легче проникнуть туда и все разузнать.

Леонардо смотрел на него молча, с удивлением, и под этим испытующим взглядом Никколо рассмеялся вдруг неестественным, резким, почти злобным смехом.

- Смею надеяться,- воскликнул он,- в излишней чувствительности и в рыцарском великодушии вы меня не заподозрите! Соблазнит ли герцог эту девочку, или нет, мне, конечно, все равно. Из-за чего же хлопочу я, угодно вам знать? Да хотя бы из-за того, чтобы доказать великолепным синьорам, что и я могу на что-нибудь пригодиться, кроме шутовства. А главное, надо же чем-нибудь позабавиться. Человеческая жизнь такова, что если не позволять себе изредка глупостей, околеешь от скуки. Надоело мне болтать, играть в кости, ходить в непотребные дома и писать ненужные донесения флорентийским верстникам! Вот и придумал я это дело - все-таки не забава ведь, а дело!.. Да и жаль пропустить случай. Весь план готов с чудеснейшими хитростями!..

Он говорил поспешно, как бы в чем-то оправдываясь. Но Леонардо уже понял, что Никколо мучительно стыдится доброты своей и, по обыкновению, скрывает ее под цинической маской.

- Мессере,-остановил его художник,-прошу вас, рассчитывайте на меня, как на себя, в этом деле - с одним уСловием, чтобы, в случае неудачи, ответил я так же, как вы.

Никколо, видимо, тронутый, ответил на пожатие руки и тотчас изложил ему свой план.

Леонардо не возражал, хотя в глубине души сомневался, чтобы столь же легким оказался на деле, как на словах, этот план, в котором было что-то слишком тонкое и хитрое, непохожее на действительность.

Освобождение Марии назначили на 30-е декабря - день отъезда герцога из Фано.

Дня за два перед тем прибежал к ним поздно вечером один из подкупленных тюремщиков предупредить о грозящем доносе. Никколо не было дома. Леонардо отправился искать его по городу.

И После долгих поисков нашел он секретаря Флоренции в игорном вертепе, где шайка негодяев, большею частью испанцев, служивших в войске Чезаре, обирала неопытных игроков.

В кружке молодых кутил и развратников объяснял Макиавелли знаменитый сонет Петрарки:

Ferito in mezzo di core di Laura - Пораженный Лаурою в самое сердце -

Открывая непристойное значение в каждом слове и доказывая, что Лаура заразила Петрарку французскою болезнью. Слушатели хохотали до упаду.

Из соседней комнаты слышались крики мужчин, визги женщин, стук опрокинутых столов, звон шпаг, разбитых бутылок и рассыпанных денег: поймали шулера. Собеседники Никколо бросились на шум. Леонардо шепнул ему, что имеет сообщить важную новость по делу Марии. Они вышли.

Ночь была тихая, звездная. Девственный, только что выпавший снег хрустел под ногами. После духоты игорного дома Леонардо с наслаждением вдыхал морозный воздух, казавшийся душистым.

Узнав о доносе, Никколо решил с неожиданной беспечностью, что пока еще беспокоиться не о чем.

- Удивились вы, найдя меня в этом притоне? - обратился он к спутнику.- Секретарь Флорентийской Республики - чуть не в должности шута придворной сволочи! Что же делать? Нужда скачут, нужда пляшет, нужда песенки поет. Они, хоть и мерзавцы, а щедрее наших великолепных синьоров!..

Такая жестокость к самому себе была в этих словах Никколо, что Леонардо не выдержал, остановил его.

- Неправда! Зачем вы так о себе говорите, Никколо? Разве не знаете, что я ваш друг и сужу не как все?..

Макиавелли отвернулся и, немного помолчав, продолжал тихим изменившимся голосом:

- Знаю... Не сердитесь на меня, Леонардо! Порой, когда на сердце слишком тяжело - я шучу и смеюсь, вместо того, чтобы плакать...

Голос его оборвался, и, опустив голову, проговорил он еще тише:

- Такова судьба моя! Я родился под несчастною звездою. Между тем как сверстники мои, ничтожнейшие люди, преуспевают во всем, живут в довольстве, в почестях, приобретают деньги и власть,- я один остаюсь позади всех, затертый глупцами. Они считают меня человеком легкомысленным. Может быть, они правы. Да, я не боюсь великих трудов, лишений, опасностей. Но терпеть всю жизнь мелкие и подлые оскорбления, сводить концы с концами, дрожать над каждым грошом - я, в самом деле, не умею. Э, да что говорить!..- безнадежно махнул он рукою, и в голосе его задрожали слезы.

- Проклятая жизнь! Ежели Бог надо мной не сжадется, я, кажется, скоро брошу все, дела, мону Мариетту, мальчика,- ведь я им только в тягость, пусть думают, что я умер,- убегу на край света, спрячусь в какую-нибудь дыру, где никто меня не знает, к подеста в письмоводители, что ли, наймусь, или детей буду учить азбуке в сельской школе, чтобы не околеть с голоду, пока не отупею, не потеряю сознания,- ибо всего ужаснее, друг мой, сознавать, что силы есть, что мог бы что-нибудь сделать и что никогда ничего не сделаешь - погибнешь бессмысленно!..

Время шло, и по мере того, как приближался день освобождения Марии, Леонардо замечал, что Никколо, несмотря на самоуверенность, слабеет, теряет присутствие духа, то медлит неосторожно, то суетится без толку. По собственному опыту художник угадывал то, что происходило в душе Макиавелли. Это была не трусость, а та непонятная слабость, нерешительность людей, не созданных для действия, та мгновенная измена воли в последнюю минуту, когда нужно решать не сомневаясь и не колеблясь, которые ему самому, Леонардо, были так знакомы. Накануне рокового дня Никколо отправился в местечко по соседству с башней Сан-Микеле, чтобы все окончательно приготовить к побегу Марии. Леонардо должен был утром приехать туда же.

Оставшись один, ожидал он с минуты на минуту плачевных известий, теперь уже не сомневаясь, что дело кончится глупой неудачей, как шалость школьников. Тусклое зимнее утро брезжило в окнах. Постучали в дверь. Художник отпер. Вошел Никколо, бледный и растерянный.

- Кончено!-произнес он, в изнеможении опускаясь на стул.

- Так я и знал,- без удивления молвил Леонардо.- Я говорил вам, Никколо, что попадемся. Макиавелли посмотрел на него рассеянно. - Нет, не то,- продолжал он.- Мы-то не попались, птичка из клетки улетела. Опоздали. - Как улетела? - Да так. Сегодня перед рассветом нашли Марию на полу тюрьмы с перерезанным горлом. - Кто убийца? -спросил художник. - Неизвестно, но, судя по виду ран, едва ли герцог. на что другое, а на это Чезаре и его палачи - мастера: сумели бы перерезать горло ребенку. Говорят, умерла девственницей. Я думаю, сама...

- Не может быть! Такая, как Мария-ее ведь считали святою?..

- Все может быть! - продолжал Никколо,- вы их не знаете! Этот изверг...

Он остановился и побледнел, но кончил с неудержимым порывом:

- Этот изверг на все способен! Должно быть, и святую сумели довести до того, что сама на себя наложила руки...

- В прежнее время,- прибавил он,- когда еще ее не так стерегли, я видел ее раза два. Худенькая, тоненькая, как былинка. Личико детское. Волосы редкие, светлые, как лен, точно у Мадонны Филиппино Липпи в Бадии Флорентийской, что является св. Бернарду. И красоты в ней особенной не было. Чем только герцог прельстился... О, мессере Леонардо, если бы вы знали, какой это был жалкий и милый ребенок!..

Никколо отвернулся, и художнику показалось, что на ресницах его заблестели слезы.

Но тотчас спохватившись, докончил он резким, крикливым голосом:

- Я всегда говорил: честный человек при дворе все равно, что рыба на сковороде. Довольно с меня! Я не создан быть слугою тиранов. Добьюсь наконец, чтобы Синьория отозвала меня в другое посольство - все равно куда, лишь бы подальше отсюда!

Леонардо жалел Марию, и ему казалось, что он не остановился бы ни перед какой жертвой, чтобы спасти ее, но в то же время в самой тайной глубине сердца его было чувство облегчения, освобождения при мысли о том, что не надо больше действовать. И он угадывал, что Никколо испытывает то же самое.

Тридцатого декабря, с рассветом, главные боевые силы Валентине, около десяти, тысяч пехоты и двух тысяч конницы, выступили из города Фано и расположились лагерем по дороге в Синигаллию, на берегу речки Метавр, в ожидании герцога, который должен был выехать на следующий день, назначенный астрологом Вальгулио - 31 декабря.

Заклучив мир с Чезаре, маджонские заговорщики, по соглашению с ним, предприняли общий поход на Синигаллию. Город сдался, но кастеллан объявил, что не откроет ворот никому, кроме

герцога. Бывшие враги его, теперешние союзники, в последнюю минуту, предчувствуя недоброе, уклонялись от свидания. Но Чезаре обманул их еще раз и успокоил, как впоследствии выразился Макиавелли,- "чаруя ласками подобно василиску, который манит жертву сладким пением".

Сгоравший любопытством Никколо не захотел дожидаться Леонардо и отправился тотчас вслед за герцогом. Через несколько часов художник выехал один. Дорога шла на юг, так же, как от Пезаро, по самому берегу моря. Справа были горы. Их подножия иногда так близко подступали к берегу, что едва оставалось узкое пространство для дороги.

День был серый, тихий. Море такое же серое, ровное, как небо. Бездыханный воздух окован дремотой. Карканье ворон предвещало оттепель. Вместе с каплями едва моросившего дождя или талого снега падали ранние сумерки. Показались черно-красные кирпичные башни Синигаллии.

Город, стиснутый между двумя преградами - водой И горами, как настоящая западня, находился на расстоянии мили от плоского взморья и арбалетного выстрела от подножия Апеннин. Достигнув речки Мизы, дорога круто заворачивала влево. Здесь был мост, построенный наискось через реку, и против него городские ворота. Перед ними небольшая площадь с низкими домиками предместья - большей частью кладовыми венецианских купцов.

В то время Синигаллия была обширным полуазиатским рынком, где купцы Италии обменивались товарами с турками, армянами, греками, персами, славянами из Черногории и Албании. Но теперь даже самые многолюдные улицы - Кипра, Занте, Кандии, Кефалонии - были пусты. Леонардо никого не встречал, кроме солдат.

Кое-где в бесконечно длинных, однообразно тянувшихся по обеим сторонам улиц, сводчатых навесах торговых рядов с кладовыми и фундаками, заметил он следы грабежа - разбитые стекла в окнах, сорванные замки и запоры, выломанные двери, разбросанные тюки товаров. Пахло гарью. Полуобгоревшие здания еще дымились, и по углам старинных кирпичных дворцов, на толстых кольцах чугунных факельных подсвечников, виднелись трупы висельников. Темнело, когда на главной площади города, между

Палаццо Дукале и круглою, приземистою, с грозными зубцами, синигальскою крепостью, окруженною глубоким рвом, среди войска, при свете факелов, увидел Леонардо Чезаре.

Герцог казнил солдат, виноватых в грабеже. Мессер Агапито читал приговор. По знаку Чезаре осужденных повели на виселицу. В то время, как художник искал глазами в толпе придворных, кого бы расспросить о том, что здесь произошло, увидел он секретаря Флоренции. - Знаете? Слышали?-обратился к нему Никколо. - Нет, ничего не знаю и рад, что встретил вас. Расскажите.

Макиавелли повел его в соседнюю улицу, потом, через несколько тесных и темных переулков, занесенных снежными сугробами, в глухое предместье на взморье, около верфи, где в одинокой покривившейся лачуге, у вдовы корабельного мастера, удалось ему в это утро, после долгих поисков, найти единственное свободное помещение в городе - две маленькие каморки, одну для себя, другую для Леонардо.

Безмолвно и поспешно засветил Никколо свечу, вынул из походного погребка бутылку вина, раздул головни в очаге и уселся против собеседника, вперив в него горящий взор:

- Так вы еще не знаете? - произнес торжественно.- Слушайте. Событие необычайное и достопамятное! Чезаре отомстил врагам. Заговорщики схвачены. Оливеротто, Орсини и Вителли ожидают смерти.

Он откинулся на спинку стула и посмотрел на Леонардо молча, наслаждаясь его изумлением. Потом, делая над собой усилие, чтобы казаться спокойным и бесстрастным, как летописец, излагающий события давних времен, как ученый, описывающий явление природы, начал рассказ о знаменитой "Синигальской западне".

Приехав рано поутру в лагерь на реке Метавре, Чезаре отправил вперед двести всадников, двинул пехоту и следом за ней выехал сам с остальною конницей. Он знал, что союзники встретят его и что главные силы их удалены в соседние с городом крепости, чтобы очистить место для новых войск.

Подъезжая к воротам Синигаллии, там, где дорога, заворачивая влево, идет по берегу Мизы, велел коннице остановиться и выстроил ее в два ряда-один - задом к реке, другой задом к полю, оставив

между ними проход для пехоты, которая, не останавливаясь, переходила через мост и вступала в ворота Синигаллии.

Союзники - Вителоццо, Вителли, Гравина и Паоло Орсини - выехали ему навстречу верхом на мулах, в сопровождении многочисленных всадников.

Как будто предчувствуя гибель, Вителоццо казался таким печальным, что на него дивились те, кто знал его прошлое счастье и храбрость. Впоследствии рассказывали, что перед отъездом в Синигаллию он простился с домашними, как будто предвидел, что идет на смерть.

Союзники спешили, сняли береты и приветствовали герцога. Он также сошел с коня, сначала подал руку по очереди каждому, потом обнял и поцеловал их, называя милыми братьями.

В это время военачальники Чезаре, как заранее было условлено, окружили Орсини и Вителли так, что каждый из них оказался между двумя приближенными герцога, который, заметив отсутствие Оливеротто, подал знак своему капитану, дону Микеле Корелла. Тот поскакал вперед и нашел его в Борго. Оливеротто присоединился к поезду и, все вместе, дружески беседуя о военных делах, направились во дворец перед крепостью.

В сенях союзники хотели было проститься, но герцог, все с той же пленительной любезностью, удержал их и пригласил войти во дворец.

Только что вступили в приемную, как двери заперлись, восемь вооруженных людей бросились на четырех, по двое на каждого, схватили их, обезоружили и связали. Таково было изумление несчастных, что они почти не сопротивлялись.

Ходили слухи, будто бы герцог намерен покончить с врагами в ту же ночь, удавив их в тайниках дворца.

- О, мессер Леонардо,-заклучил Макиавелли свой рассказ,-если бы вы только видели, как он обнимал их, как целовал! Один неверный взгляд, одно движение могли его погубить. Но такая искренность была в лице его И в голосе, что-верите ли?-до последней минуты я не подозревал ничего - отдал бы руку на отсечение, что он не притворяется. Я полагаю, что из всех обманов, какие совершались

в мире с тех пор, как существует политика, это прекраснейший! Леонардо усмехнулся.

- Конечно,-молвил он,-нельзя отказать герцогу в отваге и хитрости, но все же, признаюсь, Никколо, я так мало посвящен в политику, что не понимаю, чем собственно вы так восхищаетесь в этом предательстве?

- Предательстве?-остановил его Макиавелли.- Когда дело, мессере, идет о спасении отечества, не может быть речи о предательстве и верности, о зле и добре, о милосердии и жестокости,- но все средства равны, только бы цель была достигнута.

- При чем же тут спасение отечества, Никколо? Мне кажется, герцог думал только о собственной выгоде...

- Как? И вы, и вы не понимаете? Но ведь это же ясно, как день! Чезаре - будущий объединитель и самодержец Италии. Разве вы не видите?.. Никогда еще не было столь благоприятного времени для пришествия героя, как теперь. Ежели нужно было Израилю томиться в египетском рабстве, дабы восстал Моисей, персам - под игом мидийским, дабы возвеличился Кир, афинянам погибать в междоусобиях, дабы прославился Тезей,- то так же точно и в наши дни нужно было, чтобы Италия дошла до такого позора, в котором находится ныне, испытала худшее рабство, чем евреи, тягчайшее иго, чем персы, большие раздоры, чем афиняне,- без главы, без вождя, без правления, опустошенная, растоптанная варварами, претерпевшая все бедствия, какие только может претерпеть народ,- дабы явился новый герой, спаситель отечества! И хотя в былые времена как будто мелькала для нее надежда в людях, казавшихся избранниками Божьими, но каждый раз судьба изменяла им, на самой высоте величия, перед совершением подвига. И полумертвая, почти бездыханная, все еще ожидает она того, кто уврачуеет ее раны - прекратит насилия в Ломбардии, грабежи и лихоимства в Тоскане и Неаполе, исцелит эти смрадные, от времени гноящиеся язвы. И днем, и ночью взывает к Богу, молит об Избавителе...

Голос его зазвенел, как слишком натянутая струна - и оборвался. Он был бледен; весь дрожал; глаза горели. Но, вместе с тем, в этом внезапном порыве было что-то судорожное и бессильное, похожее на припадок.

Леонардо вспомнил, как несколько дней назад, по поводу смерти Марии, называл он Чезаре "извергом".

Художник не указал ему на это противоречие, зная, что он теперь отречется от жалости к Марии, как от постыдной слабости.

- Поживем - увидим, Никколо,- молвил Леонардо.- А только вот о чем я хотел бы спросить вас: почему именно сегодня вы как будто окончательно уверились в божественном избрании Чезаре? Или "западня Синигалльская" с большею ясностью, чем все его прочие действия, убедила вас в том, что он герой?

- Да,- ответил Никколо, уже овладев собой и опять притворяясь бесстрастным.- Совершенство этого обмана больше, чем прочие действия герцога, показывает в нем столь редкое в людях соединение великих и противоположных качеств. Заметьте, я не хвалю, не порицаю - я только исследую. И вот моя мысль: для достижения

каких бы то ни было целей существуют два способа действия - законный или насильственный. Первый - человеческий, второй - зверский. Желаящий властвовать должен обладать обоими способами - умением быть по произволу человеком и зверем. Таков сокровенный смысл древней басни о том, как царь Ахиллес и другие герои вскормлены были кентавром Хироном, полубогом, полузверем. Государи, питомцы кентавра, так же, как он, соединяют в себе обе природы - зверскую и божескую. Обыкновенные люди не выносят свободы, боятся ее больше, чем смерти, и совершив преступление, падают под бременем раскаяния. Только герой, избранник судьбы, имеет силу вынести свободу - переступает закон без страха, без угрызения, оставаясь невинным во зле, как звери и боги. Сегодня в первый раз увидел я в Чезаре эту последнюю свободу-печать избрания! - Да. Теперь я вас понимаю, Никколо,- в глубокой задумчивости проговорил художник.- Только мне кажется, не тот свободен, кто, подобно Чезаре, смеет все, потому что не знает и не любит ничего, а тот, кто смеет, потому что знает и любит. Только такой свободой люди победят зло и добро, верх и низ, все преграды и пределы земные, все тяжести, станут, как боги, и - полетят... - Полетят? - изумился Макиавелли. - Когда у них,- пояснил Леонардо,- будет совершенное знание, они создадут крылья, изобретут такую

машину, чтобы летать. Я много думал об этом. Может быть, ничего не выйдет - все равно, не я, так - ДРУГОЙ, но человеческие крылья будут.

- Ну, поздравляю! - рассмеялся Никколо.- Договорились мы до крылатых людей. Хорошо будет мой государь, полубог, полужверь - с птичьими крыльями. Вот уж подлинно химера!

Прислушавшись к бою часов на соседней башне, он вскочил и заторопился. Ему надо было поспеть во дворец, чтобы узнать о предстоявшей казни заговорщиков.

Итальянские государи поздравляли Чезаре с "прекраснейшим обманом". Людовик XII, узнав о "западне Синигалльской". назвал ее "подвигом, достойным древнего римлянина". Маркиза Мантуанская, Изабелла Гонзага, прислала в подарок Чезаре к предстоявшему карнавалу сотню разноцветных шелковых масок. "Знаменитейшая Синьора, досточтимая кума и сестрица наша,-отвечал ей герцог,-присланную Вашею Светлостью в дар сотню масок мы получили, и они весьма для нас приятны, по причине редкого изящества и разнообразия, особливо же потому, что прибыли ко времени и месту, лучше коих нельзя было выбрать - точно Синьория ваша заранее предугадала значение и порядок наших действий, ибо милостью Божьей мы в течение одного дня городом и страню Синигаллии со всеми крепостями овладели, праведною казнью коварных изменников, супостатов наших казнили, Кастелло, Фермо, Чистерну, Монтоне и Перуджу от ига тиранов освободили и в должное повиновение Святейшему Отцу, Наместнику Христову привели. Всего же более сердцу нашему личины сии любезны, как нелицемерное свидетельство братского к нам благоволения Вашей Светлости".

Никколо, смеясь, уверял, что нельзя себе представить лучшего дара мастеру всех притворств и личин - лисице Борджа от лисицы Гонзага, чем эта сотня масок.

В начале марта 1503 года Чезаре вернулся в Рим. Папа предложил кардиналам наградить героя знаком высшего отличия, даруемым церковью ее защитникам - Золотою Розою. Кардиналы согласились, и через два дня назначен был обряд.

В первом ярусе Ватикана, в зале Первосвященников, выходящей окнами на двор Бельведера, собралась Римская Курия и послы великих держав.

Сияя драгоценными камнями плувиала, в трехвенечной тиаре, обвеваемый павлиньими опахалами, по ступеням трона взошел тучный бодрый семидесятилетний старик с добродушно-величавым и благообразным лицом - папа Александр VI.

Прозвучали трубы герольдов, и по знаку главного церемониере, немца Иоганна Бурхарда, в залу вступили оруженосцы, пажи, скороходы, телохранители герцога и начальник лагеря, мессер Бартоломео Капраника, державший поднятый вверх острием, обнаженный меч Знаменосца Римской Церкви.

Третья нижняя часть меча была вызолочена, и по ней вырезаны тонкие рисунки: богиня Верности на престоле с надписью: Верность сильнее оружия', Юлий Цезарь триумфатор на колеснице с надписью: Или цезарь, или ни что. Переход через Рубикон со словами: "Жребий брошен" и. наконец, жертвоприношение Быку, или Апису, рода Борджа, с нагими юными жрицами, которые жгут фимиам над только что заколотой человеческой жертвой; на алтаре надпись: "Deo Optimo Maximo Hostia" - Богу Всеблагому, Всемогущему Жертва. И внизу другая: "In nomine Caesaris omen"-Имя Цезаря - счастье Цезаря. Человеческая жертва богу-зверю приобретала тем более ужасный смысл, что эти рисунки и надписи были заказаны в то время, когда Чезаре замышлял убийство брата своего, Джованни Борджа, чтобы получить в наследство меч Капитана и Знаменосца Римской Церкви.

За мечом шел герой. На голове его был высокий герцогский берет, осененный жемчужным голубем Духа Святого.

Он приблизился к папе, снял берет, стал на колени и поцеловал рубиновый крест на туфле первосвященника.

Кардинал Монреале подал его святейшеству Золотую Розу, чудо ювелирного искусства, со спрятанным в главном среднем цветке, внутри золотых лепестков, маленьким сосудцем, из которого сочилось миро, распространяя как бы дыхание бесчисленных роз.

Папа встал и произнес дрожащим от умиления голосом: - Прими, возлюбленное чадо мое. Розу сию, знаменующую радость обоих Иерусалимов, земного и небесного, Церкви воинствующей и торжествующей, цвет неизглаголаный, блаженство праведных, красу нетленных венцов, дабы и твоя добродетель цвела во Христе, подобно Розе на берегу многих вод прозябающей. Аминь.

Чезаре принял из рук отца таинственную Розу. Папа не выдержал; по выражению очевидца - "плоть одолела его": к негодованию чопорного Бурхарда, нарушая чин обряда, склонился он, протянул трепещущие руки к сыну, и лицо его сморщилось, все тучное тело заколыхалось. Выпятив толстые губы и старчески захлебываясь, он пролепетал:

- Дитя мое... Чезаре... Чезаре!.. Герцог должен был передать Розу стоявшему рядом кардиналу Климента. Папа порывисто обнял сына и прижал к своей груди, смеясь и плача. Снова прозвучали трубы герольдов, загудел колокол на соборе Петра - и ему ответили колокола со всех церквей Рима и с крепости Святого Ангела грохот пушечной пальбы.

- Да здравствует Чезаре!- кричала романьольская гвардия на дворе Бельведера. Герцог вышел к войску на балкон.

Под голубыми небесами, в блеске утреннего солнца, в пурпуре и золоте царственных одежд, с жемчужным голубем Духа Святого над головою, с таинственной Розой в руках - радостью обоих Иерусалимов - казался он толпе не человеком, а богом.

<h2>ТРИНАДЦАТАЯ КНИГА. БАГРЯНЫЙ ЗВЕРЬ</h2>

Ночью устроено было великолепное шествие в масках, по рисунку на мече Валентине - Триумф Юлия Цезаря.

На колеснице с надписью Божественный Цезарь восседал герцог Романьи, с пальмовой ветвью в руках, с головой, обвитой лаврами. Колесницу окружали солдаты, переодетые в древнеримских легионеров, с железными орлами и связками копий. Все исполнено было с точностью по книгам, памятникам, барельефам и медалям.

Перед колесницею шел человек в длинной белой одежде египетского иерофанта, держа в руках священную хоругвь с геральдическим, позолоченным червлёным золотом, багряным быком рода Борджа, Аписом, богом-покровителем папы Александра VI. Отроки в серебряных туниках, с тимпанами, пели:

Vivat fliii Bos! Vivat diu Bos! Borgia vivat! Слава Быку! Слава Быку! Борджа слава!

И высоко над толпою в звездном небе, озаренный мерцанием факелов, колебался идол зверя, огненно-красный, как восходящее

солнце.

В толпе был ученик Леонардо, Джованни Бельтраффио, только что приехавший к учителю в Рим из Флоренции. Он смотрел на багряного зверя и вспоминал слова Апокалипсиса:

"И поклонились Зверю, говоря: кто подобен Зверю сему? И кто может сразиться с ним?"

И я увидел Жену, сидящую на Звере Багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами.

И на челе ее написано имя: Тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным".

И так же, как некогда писавший эти слова, Джованни, глядя на Зверя, "дивился удивлением великим".

У Леонардо был виноградник близ Флоренции, на холме Фьезоле. Сосед, желая отнять кусок земли, затеял с ним тяжбу. Будучи в Романье, художник поручил это дело Джованни Бельтраффио и в конце марта 1503 года вызвал его к себе в Рим.

По дороге заехал Джованни в Орвьетто взглянуть на знаменитые, недавно оконченные фрески Луки Синьорелли, в соборе. Одна из фресок изображала пришествие Антихриста.

Лицо Антихриста поразило Джованни. Сначала показалось ему злым, но когда он вгляделся, то увидел, что оно не злое, а только бесконечно страдальческое. В ясных глазах с тяжелым, кротким взором отражалось последнее отчаяние мудрости, отрекшейся от Бога. Несмотря на уродливые острые уши сатира, искривленные пальцы, напоминавшие когти зверя, - он был прекрасен. И перед Джованни из-под этого лица выступало точно так же, как некогда в горячечном бреду, иное, до ужаса сходное, Божественное Лицо, которое он хотел и не смел узнать.

Слева, на той же картине, изображена была гибель Антихриста. Взлетев к небесам на невидимых крыльях, чтобы доказать людям, что он Сын Человеческий, грядущий на облаках судить живых и мертвых, враг Господень падал в бездну, пораженный Ангелом. Этот неудавшийся полет, эти человеческие крылья пробудили в Джованни знакомые страшные мысли о Леонардо.

Вместе с Бельтраффио рассматривали фрески тучный, откормленный монах лет пятидесяти и спутник его, долговязый

человек неопределенных лет, с голодным и веселым лицом, в платье кочующего клерка, из тех, которых в старину звали бродячими школярами, вагантами и голиардами.

Они познакомились с Джованни и поехали вместе. Монах был немец из Нюрнберга, ученый библиотекарь августинского монастыря, по имени Томас Швейниц. В Рим ехал он хлопотать о спорных бенефициях и пребендах. Спутник его, тоже немец, из города Зальцбурга, Ганс Плалер, служил ему не то секретарем, не то шутом и конюхом.

По дороге беседовали о делах Церкви. Спокойно, с научной ясностью, доказывал Швейниц бессмыслицу догмата папской непогрешимости, уверяя, будто бы двадцати лет не пройдет, как вся Германия восстанет и свергнет иго Римской церкви.

"Этот не умрет за веру,- думал Джованни, глядя на сытое, круглое лицо нюрнбергского монаха,- не пойдет в огонь, как Савонарола. Но, как знать, может быть, он опаснее для церкви".

Однажды вечером, вскоре по приезде в Рим, Джованни встретился на площади Сан-Пьетро с Гансом Плалером. Школяр повел его в соседний переулок Синибальди, где было множество немецких постоянных дворов для чужеземных богомольцев - в маленький винный погреб под вывеской Серебряного Ежа, принадлежавший чеху гуситу, Яну Хромому, который охотно принимал и угощал отборными винами своих единомышленников - тайных врагов папы, с каждым днем размножавшихся вольнодумцев, чаявших великого обновления церкви.

За первую общую комнату была у Яна другая, заветная, куда допускались лишь избранные. Здесь собралось целое общество. Томас Швейниц сидел на верхнем почетном конце стола, прислонившись к бочке спиной, сложив толстые руки на толстом животе. Пухлое лицо его с двойным подбородком было неподвижно; крохотные осовелые глазки слипались: он, должно быть, выпил лишнее. Изредка подымал он стакан в уровень с пламенем свечи, любясь бледным золотом рейнского в граненом хрустале.

Захожий монашек, фра Мартино изливал свое негодование на лихоимство Курии в однообразных жалобах: - Ну, возьми раз, возьми два, но ведь и честь, говорю, надо знать, а то, помилуйте, что же это

такое? Лучше разбойникам в руки попасть, чем здешним прелатам. Дневной грабеж! Пенитенциарию дай, протонотарию дай и кубикularyю, и остиарию, и конюху, и повару, и тому, кто ведро с помоями выносит у ее преподобия, кардинальской наложницы, прости Господи! Как в песне поется:

Продают они Христа, Новые Иуды.

Ганс Платер встал, принял торжественный вид и, когда все умолкли, обратив на него взоры,- возгласил протяжным голосом, подражая церковному чтению:

- Приступили к папе ученики его, кардиналы и спросили: что нам делать, чтобы спастись. И сказал Александр: что спрашиваете меня? в законе написано, и я говорю вам: любите золото и серебро всем сердцем твоим и всею душой твоею, и любите богатого, как самого себя. Сие творите и живы будете. И воссел папа на престоле своем и сказал: блаженны имущие, ибо узрят лицо мое, блаженны приносящие, ибо нарекутся сынами моими, блаженны грядущие во имя серебра и золота, ибо тех есть Курия папская. Горе бедным, приходящим с пустыми руками, лучше было бы им, если бы навесили им жернов на шею и ввергли в море. Кардиналы ответили: сие исполним. И сказал папа: дети, пример вам даю, чтобы, как я грабил, так и вы грабили с живого и мертвого.

Все рассмеялись. Органный мастер Отто Марпург, седенький, благообразный старичок с детской улыбкою, до сих пор сидевший молча в углу, вынул из кармана сложенные тщательно листочки и предложил прочесть только что полученную в Риме и ходившую по рукам во множестве списков сатиру на Александра VI, в виде безымянного письма одному вельможе, Паоло Савелли, бежавшему от преследования папы к императору Максимилиану. Здесь, в длинном перечне, обличались злодейства и мерзости, происходившие в доме римского первосвященника, начиная от симонии, кончая братоубийством Цезаря и кровосмешением папы с Лукрецией, собственной дочерью. Послание заключалось ко всем государям и правителям Европы увещанием соединиться, дабы уничтожить "этих извергов, зверей в человеческом образе":

"Антихрист пришел, ибо воистину у веры и церкви Божьей никогда еще не было таких врагов, как папа Александр VI и сын его,

Чезаре".

После чтения все заговорили, обсуждая, действительно ли папа Антихрист.

Мнения были различные. Органщик Отто Марпург признался, что давно уже мысли эти не дают ему покоя и что он полагает, что не папа настоящий Антихрист, а его сын, Чезаре, который, как думают многие, после смерти отца сделается папою. Фра Martino доказывал, ссылаясь на одно место из книги "Восхождение Иесеево", что Антихрист, имея образ человеческий, в действительности будет не человеком, а только бесплотным призраком, ибо, по словам святого Кирилла Александрийского,- "сын погибели, грядущий во тьме, именуемый Антихристом, есть не что иное, как сам Сатана, великий Змий, ангел Велиар, князь мира сего, пришедший в мир".

Томас Швейниц покачал головой:

- Ошибаетесь, фра Martino, Иоанн Златоуст прямо говорит: "кто сей? не сатана ли? - Отнюдь. Но человек, всю силу его приявший, ибо два естества в нем, одно дьявольское, другое человеческое". Впрочем, ни папа, ни Чезаре не могут быть Антихристом: сыном Девы надлежит ему быть...

Швейниц привел выдержку из Ипполитовой книги "О кончине мира". слова Ефрема Сирина: "Дьявол осенит деву из колена Данова и внидет во чрево ее Змей похотливый - и зачнет, и родит".

Все приступили к Швейницу с вопросами и недоумениями. Ссылаясь на св. Иеронима, Киприана, Иренея и многих других отцов церкви, монах рассказал им о пришествии Антихриста.

- Одни утверждают, что родится он в Галилее, как Христос, другие - в великом граде, именуемом духовно Вавилон или Содом и Гоморра. Лицо у него будет, как лицо оборотня, и многим будет казаться похожим на лицо Христа. И сотворит он великие знамения. Скажет морю,- утихнет, скажет солнцу,- померкнет; и горы сдвинутся, и камни обратятся в хлебы, и насытит голодных, и больных исцелит, и немых и слепых, и расслабленных. Воскресит ли мертвых, не знаю, ибо в третьей книге Сибилловой сказано: воскресит; но святые отцы сомневаются. "Над духами, говорит Ефрем, власти не имеет,- *non habet potestatem in spiritus*". И притекут к нему все племена и народы с четырех ветров неба - Гог и Магог, так что земля убедится

палатками, море - парусами. И соберет их, и воссядет во Иерусалиме, во храме Бога Всевышнего и скажет: я семь Сущий, я - Сын и Отец.

- Ах ты, пес окаянный! - воскликнул фра Martino, не выдержав, и ударил кулаком по столу.- Кто же поверит

ему? Я так полагаю, фра Томас, младенцев неразумных и тех не обманет? Швейниц опять покачал головой:

- Поверят, многие поверят, фра Martino, и соблазнятся личиною святости, ибо плоть свою умертвит, чистоту соблюдет, с женами не осквернится, от мяса не вкусит, и не Только людей, но и всякую живую тварь, всякое дыхание будет миловать. Как лесная куропатка, созовет чужой выводок обманчивым голосом: придите ко мне, скажет, все Трудящиеся и обремененные, и я успокою вас...

- Если так,- проговорил Джованни,- кто же узнает его, кто обличит?

Монах посмотрел на него глубоким, проникновенным взглядом и ответил:

- Человеку сие невозможно-разве Богу. Великие праведники, и те не узнают, ибо разум их помутится, и мысли раздвоются, так что не увидят, где свет и тьма. И будет на земле уныние народов и недоумение, каких еще не было от начала мира. И скажут люди горам: падите и скройте нас. И будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда сидящий на престоле во храме Бога Всевышнего скажет: "О чем смущаетесь и чего хотите? Овцы ли не узнали голоса Пастыря. О, род неверный и лукавый! Знаменья хотите-и будет вам знамение. Се узрите Сына Человеческого, грядущего на облаках судить живых и мертвых". И возьмет великие крылья, устроенные хитростью бесовской, и вознесется на небо в громах и молниях, окруженный учениками своими, в образе ангелов - и полетит...

Джованни слушал, бледнея, с неподвижными глазами, полными ужаса: ему вспоминались широкие складки в одежде Антихриста, низвергаемого ангелом в бездну, на картине Луки Синьорелли и точно такие же складки, бившиеся по ветру, похожие на крылья исполинской птицы, за плечами Леонардо да Винчи, стоявшего у края пропасти, на пустынной вершине Монте-Альбано.

В это время за дверью, в соседней общей комнате, куда скрылся школяр, потому что не любил слишком долгих ученых бесед, слышались крики, девичий смех, беготня, стук падающих стульев, звон разбитого стакана: то подвыпивший Ганс шалил с хорошенькой трактирной служанкою.

Вдруг все затихло,-должно быть, он поймал ее, поцеловал и усадил к себе на колени. Под рокот струн зазвучала старинная песня:

Дева винных погребов, Сладостная роза, Ave, ave, я пою, *Virgo gloriosa!*" Радуйся, радуйся (лаг.). Славная дева! (лат.).

Наш трактирщик трезвый плут, С хитрой лисьей рожей,- Все же погреб твой люблю

Больше Церкви Божьей. От Кипридиных сетей И от стрел Амура Не спасают клобуки, Четки и тонзура. За единый поцелуй Я пойду на плаху. Нацеди же мне вина, Доброму монаху. Не боюсь святых отцов; Знаем мы законы: В Риме золотом звучат,- И молчат каноны. Рим - разбойничий вертеп, Путь в геенну торный. Папа - Божьей Церкви столп, Только столп позорный, Ну же, дева, поцелуй! *Dum vinum potamus* - Упиваясь вином (лат.). Богу Вакху пропоем: *Te deum laudamus!* Тебя, бога, хвалим! (лат.). Томас Швейниц прислушался, и жирное лицо его расплылось в блаженную улыбку. Он поднял стакан, в котором искрилось бледное золото рейнского, и тонким дребезжащим голосом ответил на старую песню бродячих школяров, вагантов и голиардов, первых мятежников, восставших на Римскую церковь:

Богу Вакху пропоем: *Te deum laudamus!*

Леонардо занимался анатомией в больнице Сан-Спирито. Бельтраффио помогал ему.

Однажды, заметив постоянную грусть Джованни и желая чем-нибудь развлечь его, учитель предложил ему пойти вместе с ним во дворец папы.

В это время испанцы и португальцы обратились к Александру VI за разрешением спорных вопросов о владении новыми землями и островами, которые были недавно открыты Христофором Колумбом. Папа должен был окончательно освятить пограничную черту, разделявшую шар земной, проведенную им десять лет назад, при

первом известии об открытии Америки. Леонардо приглашен был вместе с другими учеными, с которыми папа желал посоветоваться.

Джованни сперва отказался, но потом любопытство превозмогло: ему хотелось увидеть того, о ком он так много слышал.

На следующее утро отправились они в Ватикан и, пройдя большую залу Первосвященников, ту самую, где Александр VI вручил Чезаре Золотую Розу, вступили во внутренние покои - в приемную, так называемую залу Христа и Божьей Матери, потом - в рабочую комнату папы. Своды и полукруги - простеночные лунки между арками, украшены были фресками Пинтуриккьо, картинами из Нового Завета и житиями святых.

Рядом, на тех же сводах, изобразил художник языческие таинства. Сын Юпитера - Озирис, бог солнца, сходит с неба и обручается с богиней земли Изидою. Учит людей возделывать землю, собирать плоды, насаждать лозу. Люди убивают его. Он воскресает, выходит из земли и снова является под видом белого быка, непорочного Аписа.

Как ни странно было здесь, в покоях римского первосвященника, соседство картин из Нового Завета с обожествлением золотого быка рода Борджа, под видом Аписа,- единая всепроникающая радость жизни примиряла оба таинства - сына Иеговы и сына Юпитера: тонкие молодые кипарисы гнулись под ветром между уютными холмами, подобными холмам пустынной Умбрии, и в небе реявшие птицы играли в весенние игры любви; рядом со св. Елизаветой, обнимавшей Мать Божию с приветствием: "Благословен плод чрева Твоего",- крошечный паж учил собачку стоять на задних лапках; а в Обручении Озириса с Изидою такой же точно шалун ехал голый верхом на жертвенном гусе: все дышало единою радостью; во всех украшениях, между цветочными гирляндами, ангелами с крестами и кадилницами, козлоногими пляшущими фавнами с тирсами и корзинами плодов, являлся таинственный бык, златобагрый зверь - и от него-то, казалось, как свет от солнца, изливалась эта радость.

"Что это? - думал Джованни.- Кошунство или детская невинность? Не то же ли святое умиление - в лице Елизаветы, у которой младенец взыграл во чреве, и в лице Изиды, плачущей над растерзанными членами бога Озириса? Не тот же ли молитвенный восторг-в лице Александра VI, склонившего колена перед Господом, выходящим из

гроба, и в лице египетских жрецов, принимающих бога солнца, убитого людьми и воскресшего под видом Аписа?"

И тот бог, перед которым люди падают ниц, поют славословия, жгут фимиам на алтарях, геральдический бык рода Борджа, преображенный золотой телец был не кто иной, как сам римский первосвященник, обожествленный поэтами: *Caesare magna fuit, nunc Roma est maxima: Sextus*

Regnat Alexander, ille vir, iste deus.

Рим был великим при Цезаре, ныне же стал величайшим: Царствует в нем Александр: тот - человек, этот - бог.

И страшнее всякого противоречия казалось Джованни это беззаботное примирение Бога и зверя.

Рассматривая живопись, в то же время прислушивался он к разговорам вельмож и прелатов, наполнявших залы в ожидании папы.

- Откуда вы, Бельтрандо?- спрашивал феррарского посланника кардинал Арбореа. - Из собора, монсиньоре.

- Ну, что? Как его святейшество? Не утомился ли? - Нисколько. Так пропел обедню, что лучшего желать нельзя. Величие, святость, благолепие ангелоподобное! Мне казалось, что я не на земле, а на небе, среди святых Божьих угодников. И не я один, многие плакали, когда папа возносил чашу с Дарами...

- От какой болезни умер кардинал Микеле? - любопытствовал недавно приехавший французский посланник.

- От пищи или питья, которые оказались вредными его желудку,- ответил вполголоса датарий, дон Хуан Лопес, родом испанец, как большинство приближенных Александра VI.

- Говорят,- молвил Бельтрандо,- будто бы в пятницу, как раз на следующий день после смерти Микеле, его святейшество отказал в приеме испанскому послу, которого ожидал с таким нетерпением,- извиняясь горем и заботой, причиненными ему смертью кардинала.

В этой беседе, кроме явного, был тайный смысл: так, недосуг и забота, причиненные папе смертью кардинала Микеле, заключались в том, что он весь день пересчитывал деньги покойного; пища, вредная для желудка

его преподобия, был знаменитый яд Борджа - сладкий белый порошок, убивавший постепенно, в какие угодно заранее назначаемые сроки, или же настойка из высушенных, протертых сквозь сито шпанских мух. Папа изобрел этот быстрый и легкий способ доставать деньги: в точности следя за доходами всех кардиналов, в случае надобности, первого, кто казался ему достаточно разбогатевшим, отправлял на тот свет и объявлял себя наследником. Говорили, что он откармливает их, как свиней на убой. Немец Иоганн Бурхард, церемониймейстер, то и дело отмечал в дневнике своем среди описаний церковных торжеств внезапную смерть того или другого прелата с невозмутимой краткостью: "Испил чашу.- Biberat calicern". - А правда ли, монсеньоры,- спросил камерарий, тоже испанец Педро Каранса,- правда ли, будто бы сегодня ночью заболел кардинал Монреале?

- Неужели? - воскликнул Арбореа.- Что же с ним такое?

- Не знаю наверное. Тошнота, говорят, рвота... - О, Господи, Господи! - тяжело вздохнул Арбореа и пересчитал по пальцам: - кардиналы Орсини, Феррари, Микеле, Монреале...

- Не здешний ли воздух, или, может быть, тибрская вода имеют столь вредные свойства для здоровья ваших преподобий? - лукаво заметил Бельтрандо.

- Один за другим! Один за другим! - шептал Арбореа, бледнея.- Сегодня жив человек, а завтра... Все притихли.

Новая толпа вельмож, рыцарей, телохранителей, под начальством внучатого племянника папы, дона Родригеса Борджа, камерариев, кубикюляриев, датариев и других сановников Апостолической Курии хлынули в покои из обширных соседних зал Папагалло.

"Святой отец, святой отец!" - прошелестел и замер почтительный шепот.

Толпа заволновалась, раздвинулась, двери распахнулись - и в приемную вступил папа Александр VI Борджа.

В молодости он был хорош собою. Уверяли, что ему достаточно взглянуть на женщину, чтобы воспламенить ее страстью, как будто в глазах его сила, которая притягивает к нему женщин, как магнит - железо. До сих пор черты его, хотя расплылись в чрезмерной тучности, сохранили величавое благообразие: смуглый цвет лица,

череп голый, с остатками седых волос на затылке, большой орлиный нос, отвислый подбородок, маленькие, быстрые глазки, полные живостью необыкновенною, мясистые, мягкие губы, выдававшиеся вперед, с выражением сластолюбивым, лукавым и в то же время почти детски-простодушным.

Напрасно Джованни искал в наружности этого человека чего-либо страшного или жестокого. Александр Борджа обладал в высшей степени даром светских приличий - врожденным изяществом. Что бы ни говорил и ни делал, казалось, что так именно следует сказать и сделать - нельзя иначе.

"Папе семьдесят лет,- писал один посланник,- но с каждым днем он молодеет; самые тяжкие горести его длятся не более суток; природа у него веселая; все, за что он берется, служит к пользе его, да он, впрочем, и не думает ни о чем, кроме славы и счастья детей своих".

Борджа выводили свой род от кастильских мавров, выходцев из Африки, и, в самом деле, судя по смуглому цвету кожи, толстым губам, огненному взору Александра VI, в жилах его текла африканская кровь.

"Нельзя себе представить,-думал Джованни,-лучшего ореола для него, чем эти фрески Пинтуриккьо, изображающие славу древнего Аписа, рожденного солнцем быка".

Сам старый Борджа, несмотря на семьдесят лет, здоровый и могучий, как матерый бык, казался потомком своего геральдического зверя, златобагряного быка, бога солнца, веселья, сладострастия и плодородия.

Александр VI вошел в залу, разговаривая с евреем, золотых дел мастером Саломоне да Сессо, тем самым, который изобразил триумф Юлия Цезаря на мече Валентине. Особой милости его святейшества заслужил он, вырезав на плоском, большом изумруде, в подражание древним камням, Венеру Каллипигу; она так понравилась папе, что этот камень он велел вставить в крест, которым благословлял народ во время торжественных служб в соборе Петра, и таким образом, целуя Распятие, целовал прекрасную богиню.

Он, впрочем, не был безбожником: не только исполнял все внешние обряды церкви, но и в тайне сердца своего был набожен;

особливо же чтит Пречистую Деву Марию и полагал ее своей нарочитою Заступницей, всегдашнею теплою Молитвенницей перед Богом.

Лампада, которую теперь заказывал он жиду Саломоне, была даром, обещанным Марии дель Пополо за исцеление мадонны Лукреции.

Сидя у окна, рассматривал папа драгоценные камни. Он любил их до страсти. Длинными, тонкими пальцами красивой руки тихонько трогал их, перебирал, выпятив толстые губы, с выражением лакомым и сластолюбивым.

Особенно понравился ему большой хризопраз, более темный, чем изумруд, с таинственными искрами золота и пурпура.

Он велел принести из собственной сокровищницы шкатулку с жемчугом.

Каждый раз, как открывал ее, вспоминалась ему возлюбленная дочь его, Лукреция, похожая на бледную жемчужину. Отыскав глазами в толпе вельмож посланника феррарского герцога Альфонсо д'Эсте, своего зятя, подозвал его к себе.

- Смотри же, Бельтрандо, не забудь гостинчика для мадонны Лукреции. Не добро тебе к ней возвращаться с пустыми руками от дядюшки.

Он называл себя "дядюшкой", потому что в деловых бумагах именовалась мадонна Лукреция не дочерью, а племянницей его святейшества: римский первосвященник не мог иметь законных детей.

Он порылся в шкатулке, вынул огромную, в лесной орех, продолговатую, розовую индийскую жемчужину, которой не было цены, поднял к свету и залюбовался: она представилась ему в глубоком вырезе черного платья на матово-белой груди мадонны Лукреции, и он почувствовал нерешимость, кому отдать ее - герцогине Феррарской или Деве Марии? Но тотчас, подумав, что грешно отнимать у Царицы Небесной обещанный дар, передал жемчужину еврею и приказал вставить в лампаду на самое видное место, между хризопразом и карбункулом, подарком султана.

- Бельтрандо,- снова обратился он к посланнику,- когда увидишь герцогиню, скажи ей от меня, чтоб здорова была и усерднее

молилась Царице Небесной. Мы же, как видишь, милостью Господа и Приснодевы Марии, всегдашней Заступницы нашей, в здравии совершенном обретаемся и ей апостольское шлем благословение. А гостинчик доставим тебе на дом сегодня же вечером.

Испанский посол, подойдя к шкатулке, воскликнул почтительно:

- Никогда не видывал я такого множества жемчуга! По крайней мере, семь пшеничных мер?

- Восемь с половиною! - поправил папа с гордостью.- Да, можно чести приписать жемчужок изрядный! Двадцать лет коплю. У меня ведь дочка до перлов охотница...

И, прищурив левый глаз, рассмеялся тихим странным смехом.

- Знает, плутовка, что ей к лицу. Я хочу,- прибавил торжественно,- чтобы после смерти моей у Лукреции были лучшие перлы в Италии!

Погружая обе руки в жемчуг, забирал он его пригоршнями и сыпал между пальцами, любясь, как тусклые нежные зерна струятся с шуршанием и матовым блеском.

- Все, все для нее, дочки нашей возлюбленной! - повторял, захлебываясь.

И вдруг в горящих глазах его что-то промелькнуло, от чего холод ужаса пробежал по сердцу Джованни - и вспомнились ему слухи о чудовищной похоти старого Борджа к собственной дочери.

Его святейшеству доложили о Чезаре. Папа пригласил его по важному делу: французский король, выражая через своего посланника при дворе Ватикана неудовольствие на враждебные замыслы герцога Валентине против Республики Флорентийской, находившейся под верховным покровительством Франции, обвинял Александра VI в том, что он поддерживает сына в этих замыслах.

Когда доложили о приходе сына, папа взглянул украдкой на французского посланника, подошел к нему, взял его под руку и говоря что-то на ухо, подвел как бы нечаянно к двери той комнаты, где ожидал Чезаре; потом, войдя в нее, оставил дверь, должно быть, тоже нечаянно, непритворенной, так что сказанное в соседнем покое могло быть услышано стоявшими у двери, в том числе французским посланником.

Скоро послышались оттуда яростные крики папы. Чезаре начал было возражать ему спокойно и почтительно. Но старик затопал на

него ногами и закричал неистово:

- Прочь с глаз моих! Чтоб тебе удавиться, собачьему сыну, блудницыну пащенку!..

- Ах, Боже мой! Слышите?-шепнул французский посланник своему соседу, венецианскому ораторе Антонио Джустиниани.- Они подерутся, он прибьет его!

Джустиниани только пожал плечами: он знал, что, если кто кого побьет, то скорее сын отца, чем отец сына. Со времени убийства Чезарева брата, герцога Гандии, папа трепетал перед Чезаре, хотя полюбил его еще с большею нежностью, в которой суеверный ужас соединялся с гордостью. Все помнили, как молоденького камерария Перотто, спрятавшегося от разгневанного герцога под одежду папы, Чезаре заколол на груди его, так что в лицо ему брызнула кровь.

Джустиниани догадывался также, что теперешняя ссора их - обман: они хотят окончательно сбить с толку французского посланника, доказав ему, что, если бы даже у герцога были какие-либо замыслы против Республики, папа в них не участвует. Джустиниани говаривал, что они всегда помогают друг другу: отец никогда не делает того, что говорит; сын никогда не говорит того, что делает.

Погрозив вдогонку уходившему герцогу отцовским проклятьем и отлучением от церкви, папа вернулся в приемную, весь дрожа от бешенства, задыхаясь и вытирая пот с побагровевшего лица. Только в самой глубине его глаз блеснула веселая искра.

Подойдя к французскому посланнику, снова отвел его в сторону, на этот раз в углубление двери, выходявшей на двор Бельведера.

- Ваше святейшество,- начал было извиняться вежливый француз,- мне бы не хотелось быть причиной гнева...

- А разве вы слышали? - простодушно изумился папа и, не давая опомниться, отечески ласковым движением взял его за подбородок двумя пальцами - знак особого внимания - и быстро, плавно, с неудержимым порывом заговорил о своей преданности королю и о чистоте намерений герцога.

Посланник слушал, отуманенный, ошеломленный, и, Хотя имел почти неопровержимые доказательства обмана, готов был скорее не

верить собственным глазам, чем выражению глаз, лица, голоса папы.

Старый Борджа лгал естественно, никогда не обдумывал заранее лжи, которая слагалась на устах его сама собой, так же невинно, почти произвольно, как в любви у женщин. Всю жизнь развивал он в себе упражнением эту способность и, наконец, достиг такого совершенства, что, хотя все знали, что он лжет, и что, по выражению Макиавелли, "чем менее было у папы желания что-либо исполнить, тем более давал он клятв",- все ему однако верили, ибо тайна этой лжи заключалась в том, что он и сам себе верил, как художник, увлекаясь вымыслом.

Кончив беседу с посланником, Александр VI обратился к своему главному секретарю, Франческо Ремолино да Илерда, кардиналу Перуджи, который некогда присутствовал на суде и казни брата Джироламо Савонаролы. Он ожидал с готовой к подписи буллой об учреждении духовной цензуры. Папа сам обдумывал и составлял ее.

"Признавая,- говорилось в ней, между прочим,- пользу печатного станка, изобретения, которое увековечивает истину и делает ее доступной всем, но желая предотвратить могущее произойти для Церкви зло от сочинений вольнодумных и соблазнительных, сим возбраняем печатать какую бы то ни было книгу без разрешения начальства духовного - окружного викария или епископа".

Выслушав буллу, папа обвел взором кардиналов с обычным вопросом: - Quod videtur? - Как полагаете?

- Помимо книг печатных,- возразил Арбореа,- не должно ли принять какие-либо меры и против таких сочинений рукописных, как безымянное письмо к Паоло Савелли?

- Знаю,- перебил папа.- Илерда показывал мне. - Если вашему святейшеству уже известно... Папа посмотрел кардиналу прямо в глаза. Тот смутился.

- Ты хочешь сказать: как же не начал я розыска, не постарался уличить виновного? О, сын мой, за что же я стал преследовать моего обвинителя, когда в словах его нет ничего кроме истины? - Отче святой! - ужаснулся Арбореа. - Да,- продолжал Александр VI голосом торжественным и проникновенным,- прав обвинитель мой! Последний из грешников есмь аз - и тать, и лихоимец, и прелюбодей, и человекоубийца! Трепещу и не знаю, куда скрыть лицо мое на суде

человеческом - что же будет на страшном судилище Христовом, когда и праведный едва оправдается?.. Но жив Господь, жива душа моя! за меня окаянного венчан был тернием, бит по ланитам распят и умер Бог мой на кресте! Довольно капли крови Его, дабы убелить и такого, как я, паче снега. Кто же, кто из вас, обличители - братья мои, испытал глубины милосердия Божьего так, чтобы сказать о грешнике: осужден? Пусть же праведные судом оправдаются, мы же, грешные - только смирением и покаянием, ибо знаем, что нет без греха покаяния, без покаяния нет спасения. И согрешу, и покаюсь, и паки согрешу, и паки восплачу о грехах моих, как мытарь и блудница. Ей, Господи, как разбойник на кресте, исповедую имя Твое! И ежели не только люди, может быть, столь же грешные, как я, но и ангелы, силы, начала и власти небесные осудят и отвергнут меня,- не умолкну, не престану вопить к Заступнице моей. Деве Пречистой - и знаю. Она меня помилует, помилует!..

С глухим рыданием, потрясшим все тучное тело его, протянул он руки к Божьей Матери в картине Пинтуриккьо над дверью залы. Многие думали, что в этой фреске, по желанию самого папы, художник придал Мадонне сходство с прекрасной римлянкой Джулией Фарнезе, наложницей его святейшества, матерью Цезаре и Лукреции.

Джованни глядел, слушал и недоумевал: что это - шутовство или вера? а может быть, и то, и другое вместе?

- Одно еще скажу, друзья мои,- продолжал папа,- не себе в оправдание, а во славу Господа. Писавший послание к Паоло Савелли называет меня еретиком. Свидетельствуюсь Богом живым - в сем неповинен! Вы сами... или нет, вы в лицо мне правды не скажете,- но хоть ты, Илерда, я знаю, ты один меня любишь и видишь сердце мое, ты не льстец,- скажи ж"- мне, Франческо, скажи, как перед Богом, повинен ли я в ереси?

- Отче святой,- произнес кардинал с глубоким чувством,- мне ли тебя судить? Злейшие враги твои, если читали творение папы Александра VI "Щит Святой Римской Церкви", должны признать, что в ереси ты неповинен. - Слышите, слышите? - воскликнул папа, указывая на Илерду и торжествуя, как ребенок.- Если уж он меня оправдал, значит и Бог оправдает. В чем другом, а в вольнодумстве, в

мятежном любомудрии века сего, в ереси неповинен! Ни единым помыслом, ниже сомнением Матерью Чезаре и Лукреции Борджа была римлянка Ваноща Катанеи. богопротивным не осквернил я души моей. Чиста и непоколебима вера наша. Да будет же булла сия о цензуре духовной новым щитом адамантовым Церкви Господней!

Он взял перо и крупным, детски-неуклюжим, но величественным почерком вывел на пергаменте:

"Fiat. Быть по сему.- Alexander Sextus episcopus servus servorum Dei.-Александр Шестый, епископ, раб рабов Господних".

Два монаха цистерцианца из апостолической коллегии "печатников" - пиомбаторе, подвесили к булле на шелковом шнуре, продетом сквозь отверстия в толще пергамент, свинцовый шар и расплющили его железными щипцами в плоскую печать с оттиснутым именем папы и крестом.

- Ныне отпускаеши раба Твоего! - прошептал Илерда, подымая к небу впалые глаза, горевшие огнем безумной ревности.

Он, в самом деле, верил, что, если бы положить на одну чашу весов все злодеяния Борджа, а на другую эту буллу о духовной цензуре,- она перевесила бы.

Тайный кубикularioй приблизился к папе и что-то сказал ему на ухо. Борджа, с озабоченным видом, прошел в соседнюю комнату и далее, через маленькую дверь, спрятанную коврами обоями, в узкий сводчатый проход, озаренный висячим фонарем, где ожидал его повар отравленного кардинала Монреале. До Александра VI дошли слухи, будто бы количество яда оказалось недостаточным и больной выздоравливает.

Расспросив повара с точностью, папа убедился, что, несмотря на временное улучшение, он умрет через два, три месяца. Это было еще выгоднее, так как отклоняло подозрения.

"А все-таки,- подумал он,- жаль старика! Веселый был, обходительный человек и добрый сын Церкви".

Сокрушенно вздохнул, понутив голову и добродушно выпятив пухлые, мягкие губы.

Папа не лгал: он, в самом деле, жалел кардинала, и если бы можно было отнять у него деньги, не причинив ему вреда,- был бы счастлив.

Возвращаясь в приемную, увидел в зале Свободных Искусств, иногда служившей трапезною для маленьких дружеских полдников, накрытый стол и почувствовал голод.

Деление земного шара отложено было на послеобеденное время. Его святейшество пригласил гостей в трапезную.

Стол украшен был живыми белыми лилиями в хрустальных сосудах, цветами Благовещения, которые папа особенно любил, потому что девственная прелесть их напоминала ему Лукрецию.

Блюда не были роскошными: Александр VI в пище и питье отличался умеренностью.

Стоя в толпе камерариев, Джованни прислушивался к застольной беседе.

Датарий, дон Хуан Лопес, навел речь на сегодняшнюю ссору его святейшества с Чезаре и, как будто не подозревая, что она притворная, начал усердно оправдывать герцога.

Все присоединились к нему, превознося добродетели Чезаре.

- Ах, нет, нет, не говорите! - качал головой папа с ворчливою нежностью.- Не знаете вы, друзья мои, что это за человек. Каждый день я жду, какую еще штуку выкинет. Помяните слово мое, доведет он нас всех до беды, да и сам себе шею сломает... Глаза его блеснули отеческою гордостью.

- И в кого только уродился, подумаешь? Вы ведь меня знаете: я человек простой, бесхитростный. Что на уме, то и на языке. А Чезаре, Господь его ведает,- все-то он молчит, все-то прячется. Верите ли, мессеры, иногда кричу на него, ругаюсь, а сам боюсь, да, да, собственного сына боюсь, потому что вежлив он, даже слишком вежлив, а как вдруг поглядит-точно нож в сердце... Гости принялись еще усерднее защищать герцога. - Ну, да уж знаю, знаю,- молвил папа с хитрою усмешкою,- вы его любите, как родного, и нам в обиду не дадите...

Все притихли, недоумевая, каких еще похвал ему нужно.

- Вот вы все говорите: такой он, сякой,- продолжал старик, и глаза его загорелись уже неудержимым восторгом,- а я вам прямо скажу: никому из вас и не снилось, что такое Чезаре! О, дети мои, слушайте - я открою вам тайну сердца моего. Не себя ведь я в нем прославляю, а некий высший Промысел.- Два было Рима. Первый собрал племена и

народы земные под властью меча. Но взявший меч от меча погибнет. И Рим погиб. Не стало в мире власти единой, и рассеялись народы, как овцы без пастыря. Но миру нельзя быть без Рима.

И новый Рим хотел собрать языки под властью Духа, и не пошли к нему, ибо сказано: будешь пасти их жезлом железным. Единый же духовный жезл над миром власти не имеет. Я, первый из пап, дал церкви Господней сей меч, сей жезл железный, коим пасутся народы и собираются в стадо единое. Чезаре - мой меч. И се. оба Рима, оба меча соединяются, да будет папа Кесарем и Кесарь папою, царство Духа на царстве Меча в последнем вечном Риме!

Старик умолк и поднял глаза к потолку, где золотыми лучами, как солнце, сиял багряный зверь.

- Амины! Амины! Да будет! - вторили сановники и кардиналы Римской церкви.

В зале становилось душно. У папы немного кружилась голова не столько от вина, сколько от опьяняющих грез о величии сына.

Вышли на балкон - рингиеру, выходившую на двор Бельведера.

Внизу папские конюхи выводили кобыл и жеребцов из конюшен.

- Алонсо, ну-ка, припусти!- крикнул папа старшему конюху.

Тот понял и отдал приказ: случка жеребцов с кобылами была одной из любимых потех его святейшества.

Ворота конюшни распахнулись; бичи захлопали; послышалось веселое ржание, и целый табун рассыпался по двору; жеребцы преследовали и покрывали кобыл.

Окруженный кардиналами и вельможами церкви, долго любовался папа этим зрелищем.

Но мало-помалу лицо его омрачилось: он вспомнил, как несколько лет назад любовался этой же самой потехой вместе с мадонной Лукрецией. Образ дочери встал перед ним, как живой: белокурая, голубоглазая, с немного толстыми чувственными губами - в отца, вся свежая, нежная, как жемчужина, бесконечно покорная, тихая, во зле не знающая зла, в последнем ужасе греха непорочная и бесстрастная. Вспомнил он также с возмущением и ненавистью теперешнего мужа ее, феррарского герцога Альфоонсо д'Эсте. Зачем он отдал ее. зачем согласился на брак?

Тяжело вздохнув и понутив голову, как будто вдруг почувствовав на плечах своих бремя старости, вернулся папа в приемную.

Здесь уже приготовлены были сферы, карты, циркули, компасы для проведения великого меридиана, который должен был пройти в трехстах семидесяти португальских "легуах" к западу от островов Азорских и Зеленого Мыса. Место это выбрано было потому, что именно здесь, как утверждал Колумб, находился "пуп земли", отросток грушевидного глобуса, подобный сосцу женской груди - гора, достигающая лунной сферы небес, в существовании коей убедился он по отклонению магнитной стрелки компаса во время своего первого путешествия.

От крайней западной точки Португалии с одной стороны и берегов Бразилии - с другой отметили равные расстояния до меридиана. Впоследствии кормчие и астрономы должны были с большею точностью определить эти расстояния днями морского пути.

Папа сотворил молитву, благословил земную сферу тем самым крестом, в который вставлен был изумруд с Венерой Каллипигою, и, обмакнув кисточку в красные чернила, провел по Атлантическому океану от северного полюса к южному великую миротворную черту: все острова и земли, открытые или имевшие быть открытыми к востоку от этой черты, принадлежали Испании, к западу - Португалии,

Так, одним движением руки разрезал он шар земли пополам, как яблоко, и разделил его между христианскими народами.

В это мгновение, казалось Джованни, Александр VI, благолепный и торжественный, полный сознанием своего могущества, походил на предсказанного им миродержавного Кесаря-Папу, объединителя двух царств - земного и небесного, от мира и не от мира сего.

В тот же день вечером, в своих покоях в Ватикане, Чезаре давал его святейшеству и кардиналам пир, на котором присутствовало пятьдесят прекраснейших римских "благородных блудниц" - *meretrices honestae*.

После ужина закрыли окна ставнями, двери заперли, со столов сняли огромные серебряные подсвечники и поставили их на пол. Чезаре, папа и гости кидали жареные каштаны блудницам, и они

подбирали их, ползая на четвереньках, совершенно голые, между бесчисленным множеством восковых свечей: дрались, смеялись, визжали, падали; скоро на полу, у ног его святейшества, зашевелилась голая груда смуглых, белых и розовых тел в ярком, падавшем снизу, блеске догоравших свечей.

Семидесятилетний папа забавлялся, как ребенок, бросал каштаны пригоршнями и хлопал в ладоши, называя кортиджан своими "птичками-трясогузочками".

Но мало-помалу лицо его омрачилось точно такою же тенью, как после полдника на рингиере Бельведера: он вспомнил, как в 1501 году, в ночь кануна Всех Святых, любовался вместе с мадонной Лукрецией, возлюбленную дочерью, этой же самую игру с каштанами.

В заключение праздника гости спустились в собственные покои его святейшества, в залу Господа и Божьей Матери. Здесь устроено было любовное состязание между кортиджанами и сильнейшими из романьольских телохранителей герцога; победителям раздавались награды.

Так отпраздновали в Ватикане достопамятный день Римской церкви, ознаменованный двумя великими событиями - разделением шара земного и учреждением духовной цензуры.

Леонардо присутствовал на этом ужине и видел все. Приглашение на подобные празднества считалось величайшею милостью, от которой невозможно было отказаться.

В ту же ночь, вернувшись домой, писал он в дневнике:

"Правду говорит Сенека: в каждом человеке есть бог и зверь, скованные вместе". И далее, рядом с анатомическим рисунком: "Мне кажется, что люди с низкими душами, с презренными страстями, недостойны такого прекрасного и сложного строения тела, как люди великого разума и созерцания: довольно с них было бы мешка с двумя отверстиями, одним - чтобы принимать, другим - чтобы выбрасывать пищу, ибо воистину они не более, как проход для пищи, как наполнители выгребных ям. Только лицом и голосом похожи на людей, а во всем остальном хуже скотов".

Утром Джованни застал учителя в мастерской за работой над св. Иеронимом.

В пещере, подобной львиному логову, отшельник, стоя на коленях и глядя на Распятие, бьет себя камнем в грудь с такою силою, что прирученный лев, лежащий у ног его, смотрит ему в глаза, открыв пасть, должно быть, с протяжным, унылым рыканием, как будто зверю жаль человека.

Бельтраффио вспомнил другую картину Леонардо - белую Леду с белым лебедем, богиню сладострастия, объятую пламенем на костре Савонаролы. И опять, как уже столько раз, спрашивал себя Джованни: какая из этих двух противоположных бездн ближе сердцу учителя? И обе ему одинаково близки?

Наступило лето. В городе свирепствовала гнилая лихорадка Понтийских болот - малярия. В конце июля и в начале августа не проходило дня, чтобы не умирал кто-либо из приближенных папы.

В последние дни казался он тревожным и печальным. Но не страх смерти, а иная, давнишняя тоска грызла его,- тоска по мадонне Лукреции. У него и прежде бывали такие припадки неистовых желаний, слепых и глухих, подобных безумию, и он боялся их: ему казалось, что, если ОН не утолит их тотчас, они задушат его. Он писал ей, умоляя приехать, хотя бы на несколько дней, надеясь потом удержать ее силою. Она ответила, что муж не пускает ее. Ни перед каким злодеянием не остановился бы старый Борджа, чтобы истребить этого последнего, ненавистнейшего зятя своего, так же как уже истребил он всех остальных мужей Лукреции. Но с герцога М Феррары шуточки были плохи: у него была артиллерия лучшая во всей Италии. 5 августа отправился папа на загородную виллу кардинала Адриана. За ужином, несмотря на предостережение врачей, ел свои любимые пряные блюда запивал их тяжелым сицилийским вином и долго наслаждался опасною свежестью римского вечера. На следующее утро почувствовал недомогание. Впоследствии рассказывали, будто бы, подойдя к открытому окну, папа увидел сразу два похоронных шествия - одного из своих камерлингов и мессера Гульельмо Раймондо. Оба покойника были тучными.

- Опасное время года для нашего брата, тучных людей,- молвил будто бы папа.

И только что он это сказал, горlinka влетела в окно, ударилась об стену и, оглушенная, упала к ногам его святейшества.

- Дурная примета! Дурная примета!-прошептал он, бледнея, и тотчас удалился в опочивальню. Ночью сделалась с ним тошнота и рвота. Врачи определяли болезнь различно: одни называли ее терцианой, третичною лихорадкой, другие - разлитием желчи, третьи - "кровяным ударом". По городу ходили слухи об отравлении папы.

С каждым часом он ослабевал. 16 августа решили прибегнуть к последнему средству - лекарству из толченых драгоценных камней. От него больному сделалось еще хуже.

Однажды ночью, очнувшись от забытья, стал шарить на груди, под рубашкою. В течение многих лет Александр VI носил на себе маленький золотой ковчежец, нательную дароносицу, в виде шарика, с частицами Крови и Тела Господня. Астрологи предсказали ему, что он не умрет, пока будет ее иметь при себе. Сам ли он потерял ее, или украл кто-либо из бывших при нем, желая ему смерти,- осталось тайною. Узнав, что нигде не могут отыскать ее, смежил глаза с безнадежною покорностью и произнес:

- Значит, умру. Кончено!

Утром 17 августа, почувствовав смертельную слабость, велел выйти всем и, подзвав к себе любимого врача своего, епископа Ванозы, напомнил ему о способе лечения, изобретенном одним евреем, врачом Иннокентия VIII, перелившим будто бы в жилы умирающего папы кровь трех младенцев.

- Ваше святейшество,- возразил епископ,- вам известно, чем кончился опыт?

- Знаю, знаю,- пролепетал папа.- Но, может быть, не удалось потому, что дети были семи, восьми лет, а нужно, говорят, самых маленьких, грудных...

Епископ ничего не ответил. Глаза больного померкли. Он уже бредил:

- Да, да, самых маленьких... беленьких... Кровь у них чистая, алая... Я деток люблю... *Sinite parvulos ad me venire.*- Не возбраняйте малым приходить ко мне...

От этого бреда в устах умирающего наместника Христова покорило даже невозмутимого, ко всему привыкшего епископа.

Однообразным, беспомощным, словно утопающий, судорожно-торопливым движением руки папа все еще шарил, щупал, искал на груди своей пропавшей дароносицы с Телом и Кровью Господнею.

Во время болезни ни разу не вспомнил о детях. Узнав, что Чезаре тоже при смерти, остался равнодушен. Когда же спросили, не желает ли, чтобы сыну или дочери была передана его последняя воля,- отвернулся молча, как будто для него уже не было тех, кого всю жизнь любил он такой неистовой любовью.

18 августа, в пятницу, утром, исповедался духовнику своему, епископу Каринола, Пьеро Гамбоа и приобщился. К повечерию стали читать отходную. Несколько раз умирающий усиливался что-то сказать или сделать знаком рукою. Кардинал Илерда наклонился к нему и по слабым звукам, выходившим из уст его, понял, что папа говорит: - Скорей... скорей... читай молитву Заступнице...

Хотя по церковному чину над умирающими молитву эту читать не полагалось, Илерда исполнил последнюю волю друга и прочел: Stabat Mater Dolorosa. У Креста стояла скорбящая Матерь Божия (лат.) На Голгофе, Матерь Божья, Ты стояла у подножья Древа Крестного, где был Распят Сын Твой,- и, разящий, Душу Матери Скорбящей Смертной муки меч пронзил. Как Он умер. Сын Твой нежный, Одинокий, безнадежный, Очи видели Твои.

Не отринь меня, о Дева, Дай и мне стоять у Древа Обагреного,- в крови,- Ибо, видишь, сердце жаждет, Пострадать, как Сын Твой страждет. Дева дев, родник любви, Дай мне болью ран упиться, Крестной мукой насладиться, Мукой Сына Твоего, Чтоб огнем любви сгорая И томясь, и умирая, Мне увидеть- славу рая В смерти Бога моего!

Невыразимое чувство блеснуло в глазах Александра VI, как будто он уже видел пред собою Заступницу. С последним усилием протянул он руки, весь вострепнулся, приподнялся, повторил коснеющим языком:

- "Не отринь меня, о Дева!" - упал на подушки - и его не стало. В это время Чезаре также был между жизнью и смертью.

Врач, епископ Гаспаре Торелла подверг его необычайному способу лечения: велел распороть брюхо мулу и погрузить больного, потрясаемого ознобом, в окровавленные дымящиеся внутренности;

потом окунули его в ледяную воду. Не столько лечением, сколько невероятным усилием воли Чезаре победил болезнь.

В эти страшные дни сохранял он совершенное спокойствие; следил за происходившими событиями, выслушивал доклады, диктовал письма, отдавал приказания. Когда пришла весть о кончине папы, велел перенести себя через потайной ход из Ватикана в крепость Св. Ангела.

По городу распространялись целые сказания о смерти Александра VI. Венецианский посланник Марине Сануто доносил Республике, будто бы умирающий видел обезьяну, которая дразнила его, прыгая по комнате, и когда один из кардиналов предложил поймать ее, воскликнул в ужасе: "Оставь ее, оставь; это - дьявол!" Другие рассказывали, что он повторял: "Иду, иду, только погоди еще немного!" и объясняли это тем, что, находясь в конклаве, избравшем папу после кончины Иннокентия VIII,- Родриго Борджа, будущий Александр VI, заключил договор с дьяволом, продав ему душу свою за двенадцать лет папства. Уверяли также, будто бы, за минуту до смерти, у изголовья его появилось семь бесов; только что он умер, тело его начало разлагаться, кипеть, выбрасывая пену изо рта, точно котел на огне, стало поперек себя толще, вздулось горой, утратив всякий человеческий образ, и почернело, "как уголь или самое черное сукно, а лицо сделалось, как лицо эфиопа".

По обычаю, перед погребением римского первосвященника, следовало служить заупокойные обедни в соборе св. Петра в течение десяти дней. Но таков был ужас, внушаемый останками папы, что никто не хотел служить. Вокруг тела не было ни свечей, ни ладана, ни чтецов, ни стражей, ни молящихся. Долго не могли найти гробовщиков. Наконец отыскалось шесть негодяев, готовых на все за стакан вина. Гроб оказался не впору. Тогда с головы папы сняли трехвенечную тиару, набросили на него, вместо покрова, дырявый ковер и кое-как пинками втиснули тело в слишком короткий и узкий ящик. Другие уверяли, будто бы, не удостоив гроба, сволокли его в яму за ноги, привязав к ним веревку, как падаль или труп зачумленного.

Но и после того, как тело зарыли, не было ему покоя: суеверный ужас в народе все увеличивался. Казалось, что в самом воздухе Рима

к смертоносному дыханию малярии присоединился новый, неведомый, еще более отвратительный и зловещий смрад. В соборе св. Петра стала появляться черная собака, которая бегала с невероятной скоростью, правильными расходящимися кругами. Жители Борго не смели выходить из домов с наступлением сумерек. И многие были твердо уверены в том, что папа Александр VI умер не настоящей смертью - воскреснет, сядет снова на престол - и тогда начнется царство АнтиХриста.

Обо всех этих событиях и слухах Джованни подробно узнавал в переулке Синибальди, в погребке чеха-гусита Яна Хромого.

В это время Леонардо, вдали от всех, безмятежно работал над картиной, которую начал давно по заказу монахов-сервитов для церкви их, Санта-Мария дель Аннунциата во Флоренции, и потом, будучи на службе Чезаре Борджа, продолжал со своей обычной медлительностью. Картина изображала св. Анну и Деву Марию. Среди пустынного горного пастбища, на высоте, откуда виднеются голубые вершины дальних гор и тихие озера, Дева Мария, по старой привычке, сидя на коленях матери, удерживает Иисуса Младенца, который схватил ягненка за уши, пригнул его к земле и поднял ножку с шаловливою резвостью, чтобы вскочить верхом. Св. Анна подобна вечно юной Сибилле. Улыбка опущенных глаз и тонких, извилистых губ, неуловимо скользкая, полная тайны и соблазна, как прозрачно-глубокая вода,- улыбка змеиной мудрости, напоминала Джованни улыбку самого Леонардо. Рядом с ней младенчески ясный лик Марии дышал простотою голубиною. Мария была совершенная любовь, Анна - совершенное знание. Мария знает, потому что любит, Анна любит, потому что знает. И Джованни казалось, что, глядя на эту картину, он понял впервые слово учителя: великая любовь есть дочь великого познания.

В то же время Леонардо исполнял рисунки разнообразных машин, гигантских подъемных лебедок, водокачальных насосов, приборов для вытягивания проволоки, пил для самого твердого камня, станков сверлящих для выделки железных прутьев,- ткацких, суконострижных, канатопрядильных, гончарных.

Джованни удивлялся тому, что учитель соединяет эти две работы - над машинами и над св. Анной. Но соединение не было случайным.

"Я утверждаю,- писал он в Началах Механики,- что сила есть нечто духовное, незримое; духовное, потому что в ней жизнь бестелесная; незримое, потому что тело, в котором рождается сила, не меняет ни веса, ни вида".

С одинаковой радостью созерцал он, как по членам прекрасных машин - колесам, рычагам, пружинам, дугам, приводным ремням, бесконечным винтам, шурупам, стержням, могучим железным валам и маленьким зубчикам, спицам, тончайшим калевкам - ходит сила, переливается: и точно так же - любовь, сила Духа, которою движутся миры, течет, переливается от неба к земле, от матери к дочери, от дочери к внуку, таинственному Агнцу, чтобы, совершая вечный круг, вернуться вновь к Началу Своему.

Участь Леонардо решалась вместе с участью Цезаре. Несмотря на спокойствие и отвагу, которые сохранял Цезаре,- "великий знаток судьбы", по выражению Макиавелли, чувствовал, что счастье от него отвернулось. Узнав о смерти папы и болезни герцога, враги его соединились и захватили земли Римской Кампании. Просперо Колонна подступал к воротам города; Вителли двигался на Читта ди Кастелло; Джан-Паоло Бальони - на Перуджу; Урбино возмутилось; Камерино, Кальи, Пиомбино, одно за другим, отпадали; конклав, открытый для избрания нового папы, требовал удаления герцога из Рима. Все изменяло, все рушилось.

И те, кто недавно трепетали перед ним, теперь издевались и приветствовали гибель его - лягали издыхающего льва ослиным копытом. Поэты слагали эпиграммы:

"Или ничто, или Цезарь!"- А если и то, и другое? Цезарем ты уже был, будешь ты скоро ничем.

Однажды, во дворце Ватикана, беседуя с венецианским посланником Антонио Джустиниани, тем самым, который, во дни величия герцога, предсказывал, что он "сгорит, как соломенный огонь", Леонардо завел речь о мессере Никколо Макиавелли.

- Говорил ли он вам про свое сочинение о государственной науке?

- Как же, беседовали не раз. Мессер Никколо, конечно, изволит шутить. Никогда не выпустит он в свет этой книги. Разве о таких предметах пишут? Давать советы правителям, разоблачать перед народом тайны власти, доказывать, что всякое государство есть не

что иное, как насилие, прикрытое личиной правосудия - да ведь это все равно, что кур учить лисьим хитростям, вставлять овцам волчьи зубы. Сохрани нас Боже от такой политики! - Вы полагаете, что мессер Никколо заблуждается и переменит мысли?

- Ничуть. Я с ним совершенно согласен. Так надо делать, как он говорит, но не говорить. Впрочем, если он и выпустит в свет эту книгу, никто не пострадает, кроме него самого. Бог милостив, овцы и куры поверят, как верили доньше своим законным повелителям, волкам и лисицам, которые обвинят его в дьявольской политике - лисьей хитрости, в волчьей лютости. И все останется по-прежнему. По крайней мере, на наш век хватит!

Осенью 1503 года пожизненный гонфалоньер Флорентийской Республики, Пьеро Содерини пригласил к себе Леонардо на службу, намереваясь послать его в качестве военного механика в Пизанский лагерь для устройства осадных машин.

Художник проводил в Риме последние дни. Однажды вечером бродил он на холме Палатинском. Там, где возвышались некогда дворцы императоров - Августа, Калигулы, Септимия Севера,- теперь только ветер шумел в развалинах, и между серыми оливами слышалось блеяние пасущихся овец да стрекотание кузнечиков. Судя по множеству обломков белого мрамора, изваяния богов неведомой прелести почивали в земле, как мертвецы, ожидающие воскресения.

Вечер был ясный. Кирпичные остовы арок, сводов и стен, озаренные солнцем, горячо алели в темно-синем Небе. И царственнее, чем пурпур и золото, которые некогда украшали чертоги римских императоров, были пурпур и золото осенних листьев.

На северном склоне холма, недалеко от садов Капроника, Леонардо, стоя на коленях, раздвигал травы и внимательно рассматривал осколок древнего мрамора с тонким узором.

По узкой тропинке из кустов вышел человек. Леонардо взглянул на него, встал, взглянул еще раз, подошел и воскликнул:

- Вы ли это, мессер Никколо? - и, не дожидаясь ответа, обнял и поцеловал как родного. Одежда секретаря Флоренции казалась еще старше и беднее, чем в Романье: видно было, что правители республики по-прежнему не баловали его - держали в черном теле.

Он похудел; бритые щеки осунулись; длинная, тонкая шея вытянулась; плоский утиный нос выдавался вперед еще острее, и ярче горели глаза лихорадочным блеском.

Леонардо стал расспрашивать его, надолго ли он в Рим и с какими поручениями. Когда художник упомянул о Чезаре, Никколо отвернулся, избегая взоров его и пожимая плечами, возразил холодно, с напускною небрежностью:

- По воле судеб я был в моей жизни свидетелем таких событий, что давно уже не удивляюсь ничему...

И, видимо желая переменить разговор, спросил, в свою очередь, Леонардо, что он поделывает. Узнав, что художник поступил на службу Флорентийской Республики, Макиавелли только махнул рукой:

- Не обрадуетесь! Бог знает, что лучше - злодеяния такого героя, как Чезаре, или добродетели такого муравейника, как наша Республика. Впрочем, одно стоит другого. Меня спросите: я ведь кое-что знаю о прелестях народного правления! - усмехнулся он своею горькою усмешкою.

Леонардо сообщил ему слова Антония Джустиниани о лисьей хитрости, которой, будто бы, он, Макиавелли, собирается учить кур, о волчьих зубах, которые он хочет вставить овцам.

- Что правда, то правда!-добродушно рассмеялся Никколо.- Раздразню я гусей - отсюда вижу, как честные люди готовы будут сжечь меня на костре за то, что я первый заговорил о том, что делают все. Тираны объявят меня бунтовщиком народа, народ - приспешником тиранов, святоши - безбожником, добрые - злым, а злые возненавидят меня больше всех, потому что я буду им казаться злее, чем сами они. И прибавил с тихою грустью: - Помните наши беседы в Романье, мессер Леонардо? Я часто думаю о них, и мне кажется иногда, что у нас с вами общая судьба. Открытие новых истин всегда было и будет столь же опасно, как открытие новых земель. У тиранов и толпы, у малых и великих - мы с вами везде чужие, лишние - бездомные бродяги, вечные изгнанники. Кто не похож на всех, тот один против всех, ибо мир создан для черни, и нет в нем никого, кроме черни.- Так-то, друг мой,- продолжал он еще тише и задумчивее,- скучно, говорю я, жить на свете, и, пожалуй, самое

скверное в жизни не заботы, не болезни, не бедность, не горе - а скука...

Молча спустились они по западному склону Палатина и тесной грязной улицей вышли к подножию Капитолия, к развалинам храма Сатурна - месту, где некогда был Римский Форум.

По обеим сторонам древней Священной Улицы, СакраВиа, от арки Септимия Севера до амфитеатра Флавиев, лепились жалкие, ветхие домишки. Рассказывали, будто бы основания многих из них сложены из обломков драгоценных изваяний, из членов олимпийских богов: в течение столетий Форум служил каменоломней. В развалинах языческих капищ уныло и робко ютились христианские церкви. Наслоения уличного мусора, пыли, навоза возвысили уровень почвы больше, чем на десять локтей. Но все еще кое-где возносились древние колонны с частями архитравов, грозивших падением.

Никколо указал спутнику место Римского Сената, Курии, народного Собрания, теперь называвшееся Коровьим Полем. Здесь был скотный рынок. Пары белых круторогих быков и черных буйволов лежали на земле; свиньи хрюкали в лужах, поросята визжали. И упавшие мраморные колонны, плиты с полустертыми надписями, облепленные скотским пометом, утопали в черной жидкой грязи. К триумфальной арке Тита Веспасиана прислонилась старая рыцарская башня, некогда разбойничье гнездо баронов Франджипани. Тут же, перед аркою, была харчевня для земледельцев, приезжавших на скотный рынок. Из окон слышались крики ругавшихся женщин, и вылетал клубами чад прогорклого масла и жареной рыбы. На веревке сушились лохмотья. Старый нищий с лицом, изможденным лихорадкой, сидя на камне, завертывал в рубище больную распухшую ногу.

Внутри, по обеим сторонам победной арки, были два барельефа: на одном-император Тит Веспасиан, завоеватель Иерусалима, в триумфальном шествии, на колеснице, запряженной квадригою; на другой - еврейские пленники в оковах, с трофеями победителя - жертвенною трапезой Иеговы, хлебами предложения и седмисвещниками Соломонова храма; вверху, посередине свода - ширококрылый орел, возносящий на Олимп обожествленного Кесаря. На челе ворот Никколо прочел уцелевшую надпись: "Senatus

populusque Romanus divo Tito divi Vespasiani filio Vespasiano Augusto".
"Весь народ - божественному Титу, божественного Веспасиана сыну,
Веспасиану Августу [императору] (лат.).

Солнце, проникая под арку со стороны Капитолия, озарило триумф императора последними багровыми лучами сквозь голубоватые, подобные облакам фимиама, смрадные волны кухонного чада.

И сердце Никколо болезненно сжалось, когда, в последний раз оглянувшись на Форум, увидел он розовый отблеск вечернего света на трех одиноких колоннах из белого мрамора перед церковью Мария Либератриче, Унылый, дряхло-лепечущий звон колоколов, вечерний благовест Ave Maria казался похоронит жалобой над Римским Форумом. Они вошли в Колизей.

- Да,- проговорил Никколо, глядя на исполинские глыбы камня в стенах амфитеатра,- те, кто умели строить такие здания, не нам чета. Только здесь, в Риме, чувствуешь, какая разница между нами и древними. Куда уж нам соперничать с ними! Мы и представить себе не можем, что это были за люди...

- Мне кажется,- возразил Леонардо медленно, как будто с усилием, выходя из задумчивости,- мне кажется. Никколо, вы неправы. Есть и у нынешних людей сила не меньшая, чем у древних, только иная... - Уж не христианское ли смирение? - Да, между прочим, и смирение... - Может быть,- произнес Макиавелли холодно. Они присели отдохнуть на нижнюю, полуразрушенную ступень амфитеатра.

- Я полагаю,- продолжал Никколо с внезапным порывом,- я полагаю, что людям следовало бы или принять, или отвергнуть Христа. Мы же не сделали ни того, ни другого. Мы не христиане и не язычники. От одного отстали, к другому не пристали. Быть добрыми силы не имеем, быть злыми страшимся. Мы ни черные, ни белые - только серые; ни холодные, ни горячие - только теплые. Так изолгались, измалодушествовались, виляя, хромая на обе ноги между Христом и Велиаром, что нынче уж и сами, кажется, не знаем, чего хотим, куда идем. Древние, те по крайней мере, знали и делали все до конца - не лицемерили, не подставляли правой щеки тому, кто ударял их по левой. Ну, а с тех пор, как люди поверили, что ради

блаженства на небе должно терпеть всякую неправду на земле, негодьям открылось великое и безопасное поприще. И что же в самом деле, как не это новое учение, обессилило мир и отдало его в жертву мерзавцам?..

Голос его дрожал, глаза горели почти безумною ненавистью, лицо исказилось, как бы от нестерпимой боли.

Леонардо молчал. В душе его проходили ясные, детские мысли, такие простые, что он не сумел бы их выразить: он смотрел на голубое небо, сиявшее сквозь трещины стен Колизея, и думал о том, что нигде не кажется лазурь небес такой вечно юной и радостной, как в щелях полуразрушенных зданий.

Некогда завоеватели Рима, северные варвары, не умевшие добывать руду из земли, вынули железные скрепы, соединявшие камни в стенах Колизея, чтобы древнее римское железо перековать на новые мечи; и птицы свили себе гнезда в отверстиях вынутых скреп. Леонардо следил, как черные галки, слетаясь на ночлег с веселыми криками, прятались в гнезда, и думал о том, что миродержавные кесари, воздвигавшие это здание, варвары, разрушавшие его, не подозревали, что трудятся для тех, о которых сказано: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец Небесный питает их.

Он не возражал Макиавелли, чувствуя, что тот не поймет, ибо все, что для него, Леонардо, было радостью, для Никколо было скорбью; мед его был желчью Никколо; великая ненависть - дочерью великого познания.

- А знаете ли, мессер Леонардо,- произнес Макиавелли, желая, по обыкновению, кончить разговор шуткою,- я теперь только вижу, как ошибаются те, кто считает вас еретиком и безбожником. Попомните слово мое: в день Страшного суда, как разделят нас на овец и на козлиц, быть вам со смиренными овечками Христовыми, быть вам в раю со святыми угодниками!

- И с вами, мессер Никколо! - подхватил художник, смеясь.-Если уж я попаду в рай, то и вам не миновать. - Ну, нет, слуга покорный! Заранее уступаю место мое всем желающим. Довольно с меня скуки земной... И лицо его вдруг озарилось добродушной веселостью. - Послушайте, друг мой, вот какой вещий сон приснился мне однажды:

привели меня, будто бы, в собрание голодных и грязных оборванцев, монахов, блудниц, рабов, калек слабоумных и объявили, что это те самые, о коих сказано: блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Потом привели меня в другое место, где увидел я сонм величавых мужей, подобный древнему Сенату; здесь были полководцы, императоры, папы, законодатели, философы - Гомер, Александр Великий, Платон, Марк Аврелий; они беседовали о науке, искусстве, делах государственных. И мне сказали, что это ад и души грешников, отвергнутых Богом за то, что возлюбили они мудрость века сего, которая есть безумие пред Господом. И спросили, куда я желаю, в ад или в рай? "В ад,- воскликнул я,- конечно, в ад к мудрецам и героям!"

- Да, если все это в действительности так, как вам приснилось,- возразил Леонардо,- то ведь и я, пожалуй, не прочь...

- Ну, нет, поздно! Теперь вы не отвертитесь. Насильно потащат. За христианские добродетели наградят вас и раем христианским.

Когда они вышли из Колизея, стемнело. Огромный желтый месяц выплыл из-за черных сводов базилики Константина, разрезая слои облаков, прозрачных, как перламутр. Сквозь дымную, сизую мглу, расстилавшуюся от Арки Тита Веспасиана до Капитолия, три одинокие, бледные колонны перед церковью Мария Либератриче, подобные призракам, в сиянии луны казались еще прекраснее. И дряхло-лепечущий колокол, сумеречный Angelus еще заунывнее звучал, как похоронный плач, над Римским Форумом. "Ангел [Божий возвестил Марии]" (лег.)-католическая молитва <h2>ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ КНИГА. МОНА ЛИЗА ДЖОКОНДА</h2>

Леонардо писал в Книге о живописи: "Для портретов имей особую мастерскую - двор продолговатый, четырехугольный, шириной в десять, длиной в двадцать локтей, со стенами, крашенными в черную краску, с кровельным выступом по стенам и полотняным навесом, устроенным так, чтобы, собираясь или распускаясь, смотря по надобности, служил он защитой от солнца. Не натянув полотна, пиши только перед сумерками, или когда облачно и туманно. Это - свет совершенный".

Такой двор для писания портретов устроил он в доме хозяина своего, знатного флорентийского гражданина, комисария Синьории, сире Пьеро ди Барто Мартелли, любителя математики, человека умного и дружески расположенного к Леонардо,- во втором доме по левой стороне улицы Мартелли, ежели идти от площади Сан-Джованни к Палаццо Медичи.

Однажды, в конце весны 1505 года, был тихий, теплый и туманный день. Солнце просвечивало сквозь влажную дымку облаков тусклым, точно подводным, светом, с тенями нежными, тающими, как дым - любимым светом Леонардо, дающим, как он утверждал, особенную прелесть женским лицам.

"Неужели не придет?"-думал он о той, чей портрет писал почти три года, с небывалым для него постоянством И усердием.

: Он приготовил мастерскую для ее приема. Джованни Бельтраффио украдкой следил за ним и удивлялся тревоге ожидания, почти нетерпению, которые были несвойственны всегда спокойному учителю.

Леонардо привел в порядок на полке разнообразные кисти, палитры, горшочки с красками, которые, застыв, подернулись, как будто льдом, светлою корою клея; снял

полотняный покров с портрета, стоявшего на выдвижном трехномом постапе - леджо; пустил фонтан посередине двора, устроенный им для ее забавы, в котором ниспадавшие струи, ударяясь о стеклянные полушария, вращали их и производили странную тихую музыку; - вокруг фонтана росли его рукой посаженные и взлелеянные ее любимые цветы - ирисы; принес нарезанного хлеба в корзине для ручной лани, которая бродила тут же по двору, и которую она кормила из собственных рук; поправил пушистый ковер перед креслом из гладкого темного дуба с решетчатой спинкой и налокотниками. На этом ковре, привычном месте своем, уже свернулся и мурлыкал белый кот редкой породы, привезенные из Азии, купленный тоже для ее забавы, с разноцветными глазами, правым - желтым, как топаз, левым - голубым, как сапфир.

Андреа Салаино принес ноты и начал настраивать виолу. Пришел и другой музыкант, Аталанте. Леонардо знал его еще в Милане при

дворе герцога Моро. Особенно хорошо играл он на изобретенной художником серебряной лютне, имевшей сходство с лошадиным черепом.

Лучших музыкантов, певцов, рассказчиков, поэтов, самых остроумных собеседников приглашал Леонардо в свою мастерскую, чтобы они развлекали ее, во избежание скуки, свойственной лицам тех, с кого пишут портреты. Он изучал в ее лице игру мыслей и чувств, возбуждаемых беседами, повествованиями и музыкой.

Впоследствии собрания эти сделались реже: он знал, что они больше не нужны, что она и без них не соскучится. Не прекращалась только музыка, которая помогала обоим работать, потому что и она принимала участие в работе над своим портретом.

Все было готово, а она еще не приходила. "Неужели не придет? - думал он.- Сегодня свет и тени как будто нарочно для нее. Не послать ли? Но она ведь знает, как я жду. Должна прийти".

И Джованни видел, как нетерпеливая тревога его увеличивалась.

Вдруг легкое дыхание ветра отклонило струю фонтана; стекло зазвенело, лепестки белых ирисов под водяной пылью вздрогнули. Чуткая лань, вытянув шею, насторожилась. Леонардо прислушался. И Джованни, хотя сам ничего еще не слышал, по лицу его понял, что это - она. Сначала, со смиренным поклоном, вошла сестра Камилла, монахиня-конвертита, которая жила у нее в доме и каждый раз сопровождала ее в мастерскую художника, Имея свойство стираться и делаться невидимой, скромно усевшись в углу с молитвенником в руках, не подымая глаз и не произнося ни слова, так что за три года их посещений Леонардо почти не слышал ее голоса. Вслед за Камиллою вошла та, которую здесь ожидали все,- женщина лет тридцати, в простом темном платье, с прозрачно-темной дымкой, опущенной до середины лба,- Мона Лиза Джоконда.

Бельтраффио знал, что она неаполитанка из древнего рода, дочь некогда богатого, но во время французского нашествия в 1495 году разорившегося вельможи Антонио Джерардини, жена флорентийского гражданина, Франческо дель Джокондо. В 1481 году вышла за него дочь Мариано Ручеллаи. Через два года она умерла. Он женился на Томмазе Виллани и после смерти ее уже в третий раз - на моне Лизе. Когда Леонардо писал с нее портрет, художнику было

за пятьдесят лет, а супругу моны Лизы, мессеру Джокондо, сорок пять. Он был выбран одним из XII буономини и скоро должен был сделаться приором. Это был человек обыкновенный, каких много всегда и везде,- ни очень дурной, ни очень хороший, деловитый, расчетливый, погруженный в службу и сельское хозяйство. Изящная молодая женщина казалась ему самым пристойным украшением в доме. Но прелесть моны Лизы была для него менее понятной, чем достоинство новой породы сицилийских быков или выгода таможенной пошлины на сырые овечьи шкуры. Рассказывали, что замуж вышла она не по любви, а только по воле отца, и что первый жених ее нашел добровольную смерть на поле сражения. Ходили также слухи, может быть, только сплетни, и о других ее страстных, упорных, но всегда безнадежных поклонниках. Впрочем, злые языки таких во Флоренции было не мало - не могли сказать ничего дурного о Джоконде. Тихая, скромная, благочестивая, строго соблюдавшая обряды церкви, милосердная к бедным, была она доброю хозяйкою, верною женою и не столько мачехой для своей двенадцатилетней падчерицы Дианоры, сколько нежною матерью. Вот все, что знал о ней Джованни. Но мона Лиза, приходившая в мастерскую Леонардо, казалась ему совсем другою женщиною.

В течение трех лет - время не истощало, а напротив, углубляло это странное чувство - при каждом ее появлении он испытывал удивление, подобное страху, как перед чем-то призрачным. Иногда объяснял он чувство это тем, что до такой степени привык видеть лицо ее на портрете, и столь велико искусство учителя, что живая мона Лиза кажется ему менее действительной, чем изображенная на полотне. Но тут еще было и что-то другое, более таинственное.

Он знал, что Леонардо имеет случай видеть ее только во время работы, в присутствии других, порой многих приглашенных, порой одной, неразлучной с нею сестры Камиллы - и никогда наедине, а между тем Джованни чувствовал, что есть у них тайна, которая сближает и уединяет их. Он также знал, что это - не тайна любви, или, по крайней мере, не того, что люди называют любовью.

Он слышал от Леонардо, что все художники имеют склонность в изображаемых ими телах и лицах подражать собственному телу и лицу. Учитель видел причину этого в том, что человеческая душа,

будучи создательницей своего тела, каждый раз, как ей предстоит изобрести новое тело, стремится и в нем повторить то, что уже некогда было создано ею,- и так сильна эта склонность, что порой даже в портретах, сквозь внешнее сходство с изображаемым, мелькает, если не лицо, то, по крайней мере, душа самого художника.

Происходившее теперь в глазах Джованни было еще поразительнее: ему казалось, что не только изображенная на портрете, но и сама живая мона Лиза становится все более и более похожей на Леонардо, как это иногда бывает у людей, постоянно, долгие годы живущих вместе. Впрочем, главная сила возмраставшего сходства заключалась не столько в самих чертах - хотя и в них в последнее время она иногда изумляла его,- сколько в выражении глаз и в улыбке. Он вспоминал с неизъяснимым удивлением, что эту же самую улыбку видел у Фомы Неверного, влагающего руку в язвы Господа, в изваянии Вероккьо, для которого служил образцом молодой Леонардо, и у прародительницы Евы перед Древом Познания в первой картине учителя, и у ангела Девы в скалах, и у Леды с лебедем, и во многих других женских лицах, которые писал, рисовал и лепил учитель, еще не зная монаы Лизы,- как будто всю жизнь, во всех своих созданиях, искал он отражения собственной прелести и, наконец, нашел в лице Джоконды.

Порой, когда Джованни долго смотрел на эту общую улыбку их, становилось ему жутко, почти страшно, как перед чудом: явь казалась сном, сон явью, как будто мона Лиза была не живой человек, не супруга флорентийского гражданина, мессера Джоконда, обыкновеннейшего из людей, а существо, подобное призракам,- вызванное волей учителя,- оборотень, женский двойник самого Леонардо. Джоконда гладила свою любимицу, белую кошку, которая вскочила к ней на колени, и невидимые искры Перебегали по шерсти с чуть слышным треском под нежными тонкими пальцами.

Леонардо начал работу. Но вдруг оставил кисть, внимательно всматриваясь в лицо ее: от взоров его не ускользала малейшая тень или изменение в этом лице. - Мадонна,- проговорил он,- вы сегодня чем-нибудь встревожены?

Джованни также чувствовал, что она менее похожа на свой портрет, чем всегда.

Лиза подняла на Леонардо спокойный взор. - Да, немного,- ответила она.- Дианора не совсем здорова. Я всю ночь не спала.

- Может быть, устали, и вам теперь не до моего портрета? Не лучше ли отложить?..

- Нет, ничего. Разве вам не жаль такого дня? Посмотрите, какие нежные тени, какое влажное солнце: это мой день!

- Я знала,-прибавила она, помолчав,-что вы ждете меня. Пришла бы раньше, да задержали,- мадонна

Софонизба...

- Кто такая? Ах, да, знаю... Голос, как у площадной торговли, и пахнет, как из лавки продавца духов...

Джоконда усмехнулась.

- Мадонне Софонизбе,- продолжала она,- непременно нужно было рассказать мне о вчерашнем празднике в Палаццо Веккьо у яснейшей синьоры Арджентины, Жены гонфалоньера, и что именно подавали за ужином, да какие были наряды, и кто за кем ухаживал... - Ну, так и есть! Не болезнь Дианоры, а болтовня этой трещотки расстроила вас. Как странно! Замечали вы, мадонна, что иногда какой-нибудь вздор, который слышим от посторонних людей, и до которого нам дела нет,- обыкновенная человеческая глупость или пошлость - внезапно омрачает душу и расстраивает больше, чем сильное горе?

Она склонила молча голову: видно было, что давно уже привыкли они понимать друг друга, почти без слов, по одному намеку. Он снова попытался начать работу.

- Расскажите что-нибудь,- проговорила мона Лиза. - Что?

Немного подумав, она сказала: - О царстве Венеры.

У него было несколько любимых ею рассказов, большею частью из своих или чужих воспоминаний, путешествий, наблюдений над природою, замыслов картин. Он рассказывал их почти всегда одними и теми же словами, простыми, полудетскими, под звуки тихой музыки.

Леонардо сделал знак и, когда Андреа Салаино на виоле, Аталанте на серебряной лютне, подобной лошадиному черепу, заиграли то, что было заранее выбрано и неизменно сопровождало рассказ о

царстве Венеры, начал своим тонким женственным голосом, как старую сказку или колыбельную песню:

- Корабельщики, живущие на берегах Киликии, уверяют, будто бы тем, кому суждено погибнуть в волнах, иногда, во время самых страшных бурь, случается видеть остров Кипр - царство богини любви. Вокруг бушуют волны, вихри, смерчи, и многие мореходы, привлекаемые прелестью острова, сломали корабли свои об утесы, окруженные водоворотами. О, сколько их разбилось, сколько потонуло! Там, на берегу, еще виднеются их жалобные остовы, полузасыпанные песком, обвитые морскими травами: одни выставляют нос, другие - корму; одни - зияющие бревна боков, подобные ребрам полусгнивших трупов, другие - обломки руля. И так их много, что это похоже на день Воскресения, когда море отдаст все погибшие в нем корабли. А над самым островом - вечно голубое небо, сияние солнца на холмах, покрытых цветами, и в воздухе такая тишина, что длинное пламя курильниц на ступенях перед храмом тянется к небу столь же прямое, недвижимое, как белые колонны и черные кипарисы, отраженные в зеркально гладком озере. Только струи водометов, переливаясь через край и стекая из одной порфировой чаши в другую, сладко журчат. И утопающие в море видят это близкое тихое озеро; ветер приносит им благовоние миртовых рощ - и чем страшнее буря, тем глубже тишина в царстве Киприды.

Он умолк; струны лютни и виолы замерли, и наступила та тишина, которая прекраснее всяких звуков,- тишина после музыки. Только струи фонтана журчали, ударяясь о стеклянные полушария.

И как будто убаюканная музыкой, огражденная тишиной от действительной жизни - ясная, чуждая всему, кроме воли художника,- мона Лиза смотрела ему прямо в глаза с улыбкою, полною тайны, как тихая вода, совершенно прозрачная, но такая глубокая, что сколько бы взор ни погружался в нее, как бы ни испытывал, дна не увидит,- с его собственной улыбкою.

И Джованни казалось, что теперь Леонардо и мона Лиза подобны двум зеркалам, которые, отражаясь одно в другом, углубляются до бесконечности.

На следующий день утром художник работал в Палаццо Веккьо над Битвой при Ангиари. В 1503 году, приехав из Рима во Флоренцию, получил он заказ от пожизненного гонфалоньера, тогдашнего Верховного правителя Республики, Пьеро Содерини, изобразить какую-либо достопамятную битву на стене новой залы Совета, во дворце Синьории, в Палаццо Веккьо. Художник выбрал знаменитую победу флорентийцев при Ангиари, в 1440 году, над Никколо Пичинино, военачальником герцога Ломбардии, Филиппо-Мария Висконти.

На стене залы Совета была уже часть картины: четыре всадника сцепились и дерутся из-за боевого знамени; на конце длинной палки треплется лохмотье; древко сломано. Пять рук ухватились за него и с яростью тащат разные стороны. В воздухе скрещены сабли. По тому, как рты разинуты, видно, что неистовый крик вылетает из них. Искривленные человеческие лица не менее страшны, чем звериные морды баснословных чудовищ на медных панцирях. Люди заразили коней своим бешенством: они взвились на дыбы, сцепились передними ногами и с прижатыми ушами, сверкая дико скошенным зрачком, оскалив зубы, как хищные звери, грызутся. Внизу, в кровавой грязи, под копытами, один человек убивает другого, схватив его за волосы, ударяя головой о землю и не замечая, что тотчас они оба вместе будут раздавлены. Это война во всем своем ужасе, бессмысленная бойня, самая зверская из глупостей" - "pazzia bestialissima", по выражению Леонардо, которая "не оставляет ни одного фовного места на земле, где бы не было следов, наполненных кровью".

Только что начал он работу, по звонкому, кирпичному полу пустынной залы послышались шаги. Он узнал их и, не оборачиваясь, поморщился. То был Пьеро Содерини, один из тех людей, о которых Никколо Макиавелли говорил, что они - ни холодные, ни горячие - только теплые, ни черные, ни белые - только серые. Флорентийские граждане, потомки разбогатевших лавочников, вылезших в знать, избрали его в вожди Республики, как равного всем, как совершенную посредственность, безразличную и безопасную для всех, надеясь, что он будет их послушным орудием. Но ошиблись. Содерини оказался другом бедных, защитником народа. Этому, впрочем, никто не

придавал значения. Он был все-таки слишком ничтожен: вместо государственных способностей была у него чиновничья старательность, вместо ума - благоразумие, вместо добродетели - добродушие. Всем было известно, что его супруга, надменная и неприступная мадонна Арджентина, не скрывавшая своего презрения к мужу, иначе не называла его, как "моя крыса". И, в самом деле, мессер Пьеро напоминал старую, почтенную крысу канцелярского подполья. У него не было даже той ловкости, врожденной пошлости, которые необходимы правителям, как сало для колес машины. В республиканской честности своей он был сух, тверд, прям и плосок, как доска,- столь неподкупен и чист, что, по выражению Макиавелли, от него "пахло мылом, как от только что вымытого белья". Желая всех примирить, он только всех раздражал. Богатым не угодил, бедным не помог. Вечно садился между двумя стульями, попадал между двух огней. Был мученик золотой середины. Однажды Макиавелли, которому Содерини покровительствовал, сочинил на него эпиграмму в виде надгробной надписи:

В ту ночь, как умер Пьеро Содерини, Душа его толкнулась было в ад. "Куда ты, глупая? - Плутон ей крикнул,- Ступай-ка в средний круг для маленьких детей!"

Принимая заказ, Леонардо должен был подписать очень стеснительный договор, с неустойкою в случае малейшей просрочки. Великолепные синьоры отстаивали выгоды свои, как лавочники. Большой любитель канцелярской переписки, Содерини докучал ему требованиями отчетности во всяком гроше, выданном из казначейства, на постройку лесов, на покупку лака, соды, извести, красок, льняного масла и на другие мелочи. Никогда на службе "тиранов", как презрительно выражался гонфалоньер,- при дворе Моро и Чезаре, не испытывал Леонардо такого рабства, как на службе народа, в свободной Республике, в царстве мещанского равенства. И хуже всего было то, что, подобно большинству людей, в искусстве бездарных и невежественных, мессеер Пьеро имел страсть давать советы художникам. Содерини обратился к Леонардо с вопросом о деньгах, выданных на покупку тридцати пяти фунтов александрийских белил и не записанных в отчете. Художник

признался, что белил не покупал, забыл, на что истратил деньги, и предложил возвратить их в казну. - Что вы, что вы! Помилуйте, мессер Леонардо. Я ведь так только напоминаю, для порядка и точности. Вы уж с нас не взыщите. Сами видите: мы люди маленькие, скромные. Может быть, в сравнении с щедростью таких великолепных государей, как Сфорца и Борджа, бережливость наша кажется вам скупостью. Но что же делать? По одежке протягивай ножки. Мы ведь не самодержцы, а только слуги народа и обязаны ему отчетом в каждом сольди, ибо, сами знаете, казенные деньги дело святое, тут и лепта вдовицы, и капли пота честного труженика, и кровь солдата. Государь один - нас же много, и все мы равны перед законом. Так-то, мессер Леонардо! Тираны платили вам золотом, мы же медью; но не лучше ли медь свободы, чем золото рабства, и не выше ли всякой награды спокойная совесть?..

Художник слушал молча, делая вид, что соглашается. Он ждал, чтобы речь Содерини кончилась, с унылою попокорностью, как путник на большой дороге, застигнутый вихрем пыли, ждет, наклонив голову и зажмурив глаза. В этих обыкновенных мыслях обыкновенных людей чувствовал Леонардо силу слепую, глухую, неумолимую, подобную силам природы, с которыми спорить нельзя, и хотя на первый взгляд они казались только плоскими, но, глубже вдумываясь в них, испытывал он такое ощущение, как будто заглядывал в страшную пустоту, в головокружительную бездну.

Содерини увлекся. Ему хотелось вызвать противника на спор. Чтобы задеть его за живое, заговорил он о живописи.

Надев серебряные круглые очки, с важным видом знатока начал рассматривать оконченную часть картины. - Превосходно! Удивительно! Что за лепка мускулов, какое знание перспективы! А лошади, лошади - точно живые!

Потом взглянув на художника поверх очков, добродушно и строго, как учитель на способного, но недостаточно прилежного ученика:

- А все-таки, мессер Леонардо, я и теперь скажу, что уже много раз говорил: если вы кончите, как начали, действие картины будет слишком тяжелое, удручающее, и вы уж на меня не сердитесь,

почтеннейший, за мою откровенность, я ведь всегда говорю людям правду в глаза,- не на то мы надеялись...

- На что же вы надеялись? - спросил художник с робким любопытством.

- А на то, что вы увековечите в потомстве военную славу Республики, изобразите достопамятные подвиги наших героев,- что-нибудь такое, знаете, что, возвышая души людей, может им подать благой пример любви к отечеству и доблестей гражданских. Пусть война в действительности такова, как вы ее представили. Но почему же, спрошу я вас, мессер Леонардо, почему не облагородить, не украсить или, по крайней мере, не смягчить некоторых крайностей, ибо мера нужна во всем. Может быть, я ошибаюсь, но кажется мне, что истинное назначение художника состоит именно в том, чтобы, наставляя и поучая, приносить пользу народу...

Заговорив о пользе народа, он уже не мог остановиться. Глаза его сверкали вдохновением здравого смысла; в однообразном звуке слов было упорство капли, которая точит камень.

Художник слушал молча, в оцепенении, и только порой, когда, очнувшись, старался представить себе, что собственно думает этот добродетельный человек об искусстве,- ему делалось жутко, как будто входил он в тесную, темную комнату, переполненную людьми, с таким спертым воздухом, что нельзя в нем пробыть ни мгновения, не задохнувшись.

- Искусство, которое не приносит пользы народу,- говорил мессер Пьеро,- есть забава праздных людей, тщеславная прихоть богатых, или роскошь тиранов. Не так ли, почтеннейший?

- Конечно, так,- согласился Леонардо и прибавил с чуть заметной усмешкой в глазах:

- А знаете ли, синьоре? Вот что следовало бы сделать нам, дабы прекратить наш давний спор: пусть бы в этой самой зале Совета, на общем народном собрании, решили граждане Флорентийской Республики белыми и черными шарами, по большинству голосов - может ли моя картина принести пользу народу или не может? Тут двойная выгода: во-первых, достоверность математическая, ибо только стоит сосчитать голоса, чтобы знать истину. А во вторых, всякому сведущему и умному человеку, ежели он один, свойственно

заблуждаться, тогда как десять, двадцать тысяч невежд или глупцов, сошедшихся вместе, ошибиться не могут, ибо глас народа - глас Божий. Содерини сразу не понял. Он так благоговел перед священнодействием белых и черных шаров, что ему в голову не пришло, чтобы кто-нибудь мог себе позволить насмешку над этим таинством. Когда же понял, то уставился на художника с тупым удивлением, почти с испугом, и маленькие, подслеповатые, круглые глазки его запрыгали, забегали, как у крысы, почуявшей кошку. Он скоро, впрочем, оправился. По врожденной склонности ума своего смотрел гонфалоньер на всех вообще художников, как на людей, лишенных здравого смысла, и потому шуткой Леонардо не оскорбился. Но мессеру Пьеро стало грустно: он считал себя благодетелем этого человека, ибо, несмотря на слухи о государственной измене Леонардо, о военных картах с окрестностей Флоренции, которые он, будто бы, снимал для Чезаре Борджа, врага отечества, Содерини великодушно принял его на службу республики, надеясь на доброе влияние и на раскаяние художника.

Переменив разговор, мессер Пьеро, уже с деловым начальническим видом, объявил ему между прочим, что Микеланджело Буонарроти получил заказ написать военную картину на противоположной стене той же залы Coletta,- сухо простился и ушел.

Художник посмотрел ему вслед: серенький, седенький, с кривыми ногами, круглой спиной, издали он еще более напоминал крысу.

Выходя из Палаццо Веккьо, остановился Леонардо на площади, перед Давидом Микеланджело. Здесь, у ворот Флорентийской ратуши, как бы на страже, - стоял он, этот исполин из белого мрамора, выделяясь на темном камне строгой и стройной башни.

Голое отроческое тело худощаво. Правая рука с пращею свесилась, так что выступили жилы; левая, поднятая перед грудью, держит камень. Брови сдвинуты, и взор устремлен вдаль, как у человека, который целится. Над низким лбом кудри сплелись, как венец. И Леонардо вспомнил слова Первой Книги Царств. "Сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь, и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его, а если он бросался на

меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними.- И взял посох свой в руку свою и выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую суму, и с сумою, и с пращею в руке своей выступил против филистимлянина. И сказал филистимлянин Давиду: что ты идешь на меня с палкою и камнями - разве я собака? И сказал Давид: нет, но хуже собаки. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой и трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным - и узнает вся земля, что есть Бог во Израиле".

На площади, где был сожжен Савонарола, Давид Микеланджело казался тем Пророком, которого тщетно звал Джироламо, тем Героем, которого ждал Макиавелли.

В этом создании своего соперника Леонардо чувствовал душу, быть может, равную своей душе, но навеки противоположную, как действие противоположно созерцанию, страсть - бесстрастьем, буря - тишине. И эта чуждая сила влекла его к себе, возбуждала в нем любопытство и желание приблизиться к ней, чтобы познать ее до конца.

В строительных складах флорентийского собора Мария дель Фьоре лежала огромная глыба белого мрамора, испорченная неискусным ваятелем: лучшие мастера отказывались от нее, полагая, что она уже ни на что не годится.

Когда Леонардо приехал из Рима, ее предложили ему. Но пока, с обычною медлительностью, обдумывал он, вымеривал, высчитывал и колебался, другой художник, на двадцать три года моложе его, Микеланджело Буонарроти перехватил заказ и с неимоверною быстротою, работая не только днем, но и ночью при огне, кончил своего Исполина в течение двадцати пяти месяцев., Шестнадцать лет Леонардо работал над памятником Сфорца, глиняным Колоссом, а сколько времени понадобилось бы ему для мрамора такой величины, как Давид, он и подумать не смел.

Флорентийцы объявили Микеланджело в искусстве ваяния соперником Леонардо. И Буонарроти без колебания принял вызов.

Теперь, приступая к военной картине в зале Совета, хотя до тех пор почти не брал кистей в руки, с отвагою, которая могла казаться безрассудной, начинал он состязание с Леонардо и в живописи. Чем большую кротость и благоволение встречал Буонарроти в сопернике, тем беспощаднее становилась ненависть его. Спокойствие Леонардо казалось ему презрением. С болезненно мнительностью он прислушивался к сплетням, выискивал предлогов для ссор, пользовался каждым случаем, чтобы уязвить врага. Когда окончен был Давид, синьоры пригласили лучших флорентийских живописцев и ваятелей для совещания о том, куда его поставить. Леонардо присоединился к мнению зодчего Джульяно да Сан-Галло, что следует поместить Гиганта на площади Синьории, в глубине лоджии НОрканы, под среднюю арку. Узнав об этом, Микеланджело объявил, что Леонардо из зависти хочет спрятать Давида в самый темный угол так, чтобы солнце никогда не освещало мрамора, и чтобы никто не мог его видеть. Однажды в мастерской, во дворе с черными стенами, где писал Леонардо портрет Джоконды, на одном из обычных собраний, в присутствии многих мастеров, между прочим, братьев Поллайоли, старика Сандро Боттичелли, филиппино Липпи, Лоренцо ди Креди, ученика Перуджино, зашла речь о том, какое искусство выше, ваяние или живопись,- любимый в то время среди художников спор. Леонардо слушал молча. Когда же приступили к нему с вопросами, сказал: - Я полагаю, что искусство тем совершенное, чем дальше от ремесла.

И с двусмысленной скользящей улыбкой своей, так что трудно было решить, искренне ли он говорит или смеется, прибавил:

- Главное отличие этих двух искусств заключается в том, что живопись требует больших усилий духа, ваяние - тела. Образ, заключенный, как ядро, в грубом и твердом камне, ваятель медленно освобождает, высекая из мрамора ударами резца и молота, с напряжением всех телесных сил, с великою усталостью, как поденщик, обливаясь потом, который, смешиваясь с пылью, становится грязью; и лицо у него замарано, обсыпано мраморною белою мукою, как у пекаря, одежда покрыта осколками, точно снегом, дом наполнен камнями и пылью. Тогда как живописец в совершенном спокойствии, в изящной одежде, сидя в мастерской,

водит легкою кистью с приятными красками. И дом у него - светлый, чистый, наполненный прекрасными картинами; всегда в нем тишина, и работа его услаждается музыкою, или беседою, или чтением, которых не мешают ему слушать ни стук молотков, ни другие докучные звуки...

Слова Леонардо были переданы Микеланджело, который принял их на свой счет, но, заглушая злобу, только пожал плечами и возразил с ядовитой усмешкой:

- Пусть мессер да Винчи, незаконный сын трактирной служанки, корчит из себя белоручку и неженку. Я - потомок древнего рода, не стыжусь моей работы, не брезгаю потом и грязью, как простой поденщик. Что же касается до преимуществ ваяния или живописи, то это спор нелепый: искусства все равны, вытекая из одного источника и стремясь к одной цели. А ежели тот, кто утверждает, будто бы живопись благороднее ваяния, столь же сведущ и в других предметах, о которых берется судить, то едва ли он смыслит в них больше, чем моя судомойка.

С лихорадочною поспешностью принялся Микеланджело за картину в зале Совета, желая догнать соперника, что, впрочем, было не трудно.

Он выбрал случай из войны Пизанской: в жаркий летний день флорентийские солдаты купаются в Арно; забили тревогу - показались враги: солдаты торопятся на берег, вылезают из воды, где усталые тела их нежились в прохладе, и, покорные долгу, натягивают потное, пыльное платье, одеваются в медные, раскаленные солнцем, брони и панцири.

Так, возражая на картину Леонардо, изобразил Микеланджело войну не как бессмысленную бойню - "самую зверскую из глупостей", но как мужественный подвиг, совершение вечного долга - борьбу героев из-за славы и величия родины.

За этим поединком Леонардо и Микеланджело следили флорентийцы с любопытством, свойственным толпе при соблазнительных зрелищах. И так как все, в чем не было политики, казалось им пресным, как блюдо без перца и соли, поспешили объявить, что Микеланджело стоит за Республику против Медичи, Леонардо - за Медичи против Республики. И спор, сделавшись

понятным для всех, разгорелся с новой силой, перенесен был из домов на улицы, площади, и участие 'в нем приняли те, кому не было никакого дела до искусства. Произведения Леонардо и Микеланджело стали боевыми знаменами двух враждующих лагерей.

Дошло до того, что по ночам неизвестные люди стали швырять камнями в Давида. Знатные граждане обвиняли в этом народ, вожаки народа - знатных граждан, художники - учеников Перуджино, открывшего недавно мастерскую во Флоренции, а Буонарроти, в присутствии гонфалоньера, объявил, что негодяев, швырявших камнями в Давида, подкупил Леонардо. И многие этому поверили, или, по крайней мере, притворились, что верят.

Однажды, во время работы над портретом Джоконды в мастерской никого не было кроме Джованни и Салаино - когда зашла речь о Микеланджело, Леонардо сказал моне Лизе:

- Мне кажется иногда, что если бы я поговорил с ним с глазу на глаз, все объяснилось бы само собою, и не осталось бы следа от этой глупой ссоры: он понял бы, что я ему не враг и что нет человека, который бы мог полюбить его, как я...

- Полно, так ли, мессер Леонардо? Понял ли бы он? - Понял бы.- воскликнул художник,- не может такой человек не понять! Все горе в том, что он слишком робок и неуверен в себе. Мучится, ревнует и боится, потому что сам еще не знает себя. Это бред и безумие! Я сказал бы ему все, и он успокоился бы. Ему ли бояться меня? Знаете ли, мадонна,- намерен, когда я увидел его рисунок для "Купающихся воинов", я глазам своим не поверил. Никто и представить себе не может, кто он, и чем он будет. Я знаю, что он уже и теперь не только равен мне, но сильнее, да, да, я это чувствую, сильнее меня!..

Она посмотрела на него тем взором, который, казалось Джованни, отражал в себе взор Леонардо, как в зеркале, и улыбнулась тихой странной улыбкой. - Мессере,- молвила она,- помните то место в Священном Писании, где Бог говорит Илии пророку, бежавшему от нечестивого царя Ахава в пустыню, на гору Сорив: "выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой, и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы - пред Господом; но не в ветре Господь. После ветра - землетрясение; но не в землетрясении Господь; после

землетрясения - огонь; но не в огне Господь. После огня - веяние тихого ветра,- и там Господь". Может быть, мессер Буонарроти силен, как ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Но нет у, него тишины, в которой Господь. И он это знает и ненавидит вас за то, что вы сильнее его - как тишина сильнее бури.

В часовне Бранкаччи, в заречной старой церкви Мариа дель Кармине, где были знаменитые фрески Томмазо Мазаччо - школа всех великих мастеров Италии, по ним учился некогда и Леонардо, увидел он однажды незнакомого юношу, почти мальчика, который изучал и срисовывал эти фрески. На нем был замаранный красками, старый черный камзол, белье чистое, но грубое, должно быть, домашнего изделия. Он был строен, гибок, с тонкою шеей, необычайно белою, нежною и длинною, как у малокровных девушек, с немного жеманною и слащавою прелестью продолговато-круглого, как яичко, прозрачно-бледного лица, с большими черными глазами, как у поселянок Умбрии, с которых Перуджино писал своих Мадонн,- глазами, чуждыми мысли, глубокими и пустыми, как небо.

Через некоторое время Леонардо снова встретил этого юношу в монастыре Мариа Новелла, в зале Папы, где выставлен был картон Битвы при Ангиари. Он изучал и срисовывал его так же усердно, как фрески Мазаччо. Должно быть, теперь, уже зная Леонардо в лицо, юноша впился в него глазами, видимо, желая и не смея с ним заговорить.

Заметив это, Леонардо сам подошел к нему. Торопясь, волнуясь и краснея, с чуть-чуть навязчивой, но детски-невинною вкрадчивостью, молодой человек объявил ему, что считает его своим учителем, величайшим из мастеров Италии, и что Микеланджело недостойн развязать ремень обуви у творца Тайной Вечери.

Еще несколько раз встречался Леонардо с этим юношей, подолгу беседовал с ним, рассматривал его рисунки, и, чем больше узнавал его, тем больше убеждался, что это будущий великий мастер.

Чуткий и отзывчивый, как эхо, на все голоса, податливый на все влияния, как женщина,- подражал он и Перуджино, и Пийтуруиккьо, у которого недавно работал в Сиенском Книгохранилище, в особенности же Леонардо. Но под этою незрелостью учитель угадывал в нем такую свежесть чувства, какой еще ни в ком никогда

не встречал. Всего же больше удивляло его то, что этот мальчик проникал в глубочайшие тайны искусства и жизни как будто нечаянно, сам того не желая; побеждал величайшие трудности с легкостью, точно играя. Все ему давалось даром, как будто вовсе не было для него в художестве тех бесконечных поисков, трудов, усилий, колебаний, недоумений, которые были мукой и проклятием всей жизни Леонардо. И когда учитель говорил ему о необходимости медленного, терпеливого изучения природы, о математически точных правилах и законах живописи, юноша смотрел ему в глаза своими большими, удивленными бездумными глазами, видимо, скучая и внимательно слушая, только из уважения к учителю.

Однажды сорвалось у него слово, которое изумило, почти испугало Леонардо своей глубиной: - Я заметил, что когда пишешь, думать не надо: лучше выходит.

Как будто этот мальчик всем существом своим говорил ему, что того единства, той совершенной гармонии чувства и разума, любви и познания, которых он искал,- вовсе нет и быть не может.

И перед кроткою, безмятежною, бессмысленною ясностью его Леонардо испытывал большие сомнения, большой страх за грядущие судьбы искусства, за дело всей своей Жизни, чем перед возмущением и ненавистью Буонарроти. - Откуда ты, сын мой? -спросил он его в одно из первых свиданий.- Кто отец твой и как твое имя? - Я родом из Урбино,- ответил юноша со своею Ласковой, немного приторной улыбкой.- Отец мой - живописец Джованни Санти. Имя мое - Рафаэль.

В это время Леонардо принужден был покинуть Флоренцию по важному делу.

С незапамятных времен Республика вела войну с соседним городом Пизою - бесконечную, беспощадную, изнурительную для обоих городов.

Однажды в беседе с Макиавелли художник рассказал ему военный замысел: направить воды Арно из старого в новое русло, отвести их от Пизы в Ливурнское болото посредством каналов, дабы, отрезав осажденный город от сообщения с морем и прекратив подвоз съестных припасов, принудить к сдаче. Никколо, со свойственным ему пристрастием ко всему необычайному, пленился этим замыслом и сообщил его гонфалоньеру, отчасти убедил и увлек

его своим красноречием, ловко задев самолюбие мессера Пьеро, чьей бездарности в последнее время многие приписывали все неудачи Пизанской войны; отчасти обманул, скрыв действительные издержки и трудности замысла. Когда гонфалоньер предложил его Совету Десяти, едва не подняли его на смех. Содерини обиделся, решил доказать, что у него не меньше здравого смысла, чем у кого бы то ни было, и начал действовать с таким упорством, что добился своего, благодаря усердной помощи врагов своих, которые подали голоса за предложение, казавшееся им верхом нелепости,- чтобы погубить мессера Пьеро. От Леонардо Макиавелли, до поры до времени, скрыл свои хитрости, рассчитывая на то, что впоследствии, окончательно втянув в это дело гонфалоньера, станет вертеть им, как пешкою, и достигнет всего, что им нужно.

Начало работ казалось удачным. Уровень воды в реке понизился. Но скоро обнаружились трудности, которые требовали все больших и больших издержек, а бережливые синьоры торговались из-за каждого гроша.

Летом 1505 года река, вышедшая из берегов после сильного грозового ливня, разрушила часть плотины. Леонардо был вызван на место работ.

За день до отъезда, возвращаясь домой из-за Арно от Макиавелли, с которым беседовал по этому делу, и который ужаснул его своими признаниями, художник переходил через мост Санта-Тринита, по направлению к улице Торнабуони.

Время было позднее. Прохожих мало. Тишина нарушалась только шумом воды на мельничной плотине за Понте алла Карайя. День был жаркий. Но перед вечером прошел дождь и освежил воздух. На мосту пахло теплою летнею водою. Из-за черного холма Сан-Миньято подымался месяц. Справа, по набережной Понте Веккьо, маленькие ветхие домики, с неровными выступами на кривых деревянных подпорках, отражались, как в зеркале, в мутно-зеленой воде, углубленной и утишенной запрудой. Слева, над предгорьями Монте-Альбано, лиловыми и нежными, дрожала одинокая звезда.

Облик Флоренции вырезывался в чистом небе, подобно заглавному рисунку на тусклом золоте старинных книг,- облик единственный в мире, знакомый, как живое лицо человека: сначала к

северу древняя колокольня Санта-Кроче, потом прямая, стройная и строгая башня Палаццо Веккьо, белая мраморная кампанила Джотто и красноватый черепичный купол Мариа дель Фьоре, похожий на исполинский, не распустившийся цветок древней, геральдической Алой Лилии; вся Флоренция, в двойном вечернем и лунном свете, была как один огромный, серебристо-темный цветок.

Леонардо заметил, что у каждого города, точно так же, как у каждого человека,- свой запах: у Флоренции - запах влажной пыли, как у ирисов, смешанный с едва уловимым свежим запахом лака и красок очень старых картин. Он думал о Джоконде.

Почти так же мало знал он ее жизнь, как Джованни. его не оскорбляла, но удивляла мысль, что у нее есть муж, мессер Франческо, худой, высокий, с бородавкой на левой щеке и густыми бровями, положительный человек, который любит рассуждать о преимуществах сицилийской породы быков и о новой пошлине на бараньи шкуры. Бывали мгновения, когда Леонардо радовался ее призрачной прелести, чуждой, дальней, не существующей и более действительной, чем все, что есть; но бывали и другие минуты, когда он чувствовал ее живую красоту. Мона Лиза не была одной из тех женщин, которых в те времена называли "учеными героинями". Никогда не выказывала она своих книжных сведений. Только случайно он узнал, что она читает по-латыни и по-гречески.

держала себя и говорила так просто, что многие считали ее неумной. На самом деле, казалось ему, у нее было нечто глубже ума, особенно женского,- вещая мудрость. у нее были слова, которые вдруг делали ее родной ему, близкой, ближе всех, кого он знал, единственную, вечную подругою и сестрою. В эти мгновения хотелось ему переступить заколдованный круг, отделяющий созерцание от жизни. Но тотчас же он подавлял в себе это желание каждый раз, как умерщвлял живую прелесть моны Лизы, вызванный им призрачный образ ее на полотне картины становился все живее, все действительнее. И ему казалось, что она это знает и покоряется, и помогает ему приносить себя в жертву собственному призраку - отдает ему свою душу и радуется. Было ли то, что их соединяло, любовь? Ничего, кроме скуки или смеха, не возбуждали в нем тогдашние платонические бредни, томные вздохи небесных

любовников, слащавые сонеты во вкусе Петрарки. Не менее чуждо ему было и то, что большинство людей называет любовью. Так же, как не ел мяса, потому что оно казалось ему не запретным, но противным, он воздерживался и от женщин, потому что всякое телесное обладание - все равно, в супружестве или в прелюбодеянии - казалось ему не грешным, но грубым. "Действие совокупления,- писал он в своих анатомических заметках,- и члены, служащие ему, отличаются таким уродством, что если бы не прелесть лиц, не украшения действующих и не сила похоти, род человеческий прекратился бы". И он удалялся от этого "уродства", от сладострастной борьбы самцов и самок, точно так же, как от кровавой бойни пожирающих и пожираемых, не возмущаясь, не порицая и не оправдывая, признавая закон естественной необходимости в борьбе любви и голода, только сам не желая участвовать в ней, подчиняясь иному закону - любви и целомудрия.

Но если бы он и любил ее, мог ли бы желать более совершенного соединения с возлюбленной, чем в этих глубоких и таинственных ласках - в созидании бессмертного образа, нового существа, которое зачиналось, рождалось от них, как дитя рождается от отца и матери,- было он и она вместе?

А между тем он чувствовал, что и в этом, столь непорочном союзе есть опасность, быть может, большая, чем в союзе обычной плотской любви. Оба они шли по краю бездны, там, где еще никто никогда не ходил,- побеждая соблазн и притяжение бездны. Между ними были скользкие, прозрачные слова, в которых тайна сквозила, как солнце сквозь влажный туман. И порой он думал: что, если туман рассеется и блеснет ослепляющее солнце, в котором тайны и призраки умирают? Что, если он или она не выдержит, переступит черту - и созерцание сделается жизнью? Имеет ли он право испытывать, с таким же бесстрастным любопытством, как законы механики или математики, как жизнь растения, отравленного ядами, как строение рассеченного мертвого тела,- живую душу, единственно близкую душу вечной подруги и сестры своей? Не возмутится ли она, не оттолкнет ли его с ненавистью и презрением, как оттолкнула бы всякая другая женщина?

И ему казалось порой, что он казнит ее страшною, медленною казнью. И он ужасался ее покорности, которой так же не было предела, как его нежному и беспощадному любопытству.

Только в последнее время ощутил он в себе самом этот предел, понял, что, рано или поздно, должен будет решить, кто она для него - живой человек или только призрак - отражение собственной души в зеркале женственной прелести. У него была еще надежда, что разлука отдалит на время неизбежность решения, и он почти радовался, что покинет Флоренцию. Но теперь, когда разлука наступала, он понял, что ошибся, что она не только не отсрочит, но приблизит решение.

Погруженный в эти мысли, не заметил он, как вошел в глухой переулок и, когда оглянулся, не сразу узнал, где он. Судя по видневшейся над крышами домов мраморной колокольне Джотто, он был недалеко от собора.

Одна сторона узкой, длинной улицы вся была в непроницаемо черной тени, другая - в ярком, почти белом лунном свете. Вдали краснел огонек. Там, пред угловым балконом, с пологим черепичным навесом, с полукруглыми лунами на стройных столбах,- флорентийской лоджией,- юноши в черных масках и плащах под звуки лютни пели серенаду. Он прислушался.

Это была старая песня любви, сложенная Лоренцо Медичи Великолепным, сопровождавшая некогда карнавальное шествие бога Вакха и Ариадны,- бесконечно радостная и унылая песня любви, которую Леонардо любил, потому что часто слышал ее в юности:

Quant'e bella giovinezza, Che ai fugge tuttavia. Chi vuol'esser lieto, siaDi doman'non c'e certezzaО, как молодость прекрасна, Но мгновенна! Пой же, смейся, Счастлив будь, кто счастья хочет - И на завтра не надейся.

Последний стих отозвался в сердце его темным предчувствием.

Не посылала ли ему судьба теперь, на пороге старости, в его подземный мрак и одиночество родную, живую душу? Оттолкнет ли он ее, отречется ли, как уже столько раз отрекался, от жизни для созерцания, пожертвует ли снова ближним дальнему, действительным несуществующему и единственно прекрасному? Кого выберет - живую или бессмертную Джоконду? Он знал, что,

выбрав одну, потеряет другую, и обе были ему одинаково дороги; также знал, что надо выбрать, что нельзя больше медлить и длить эту казнь. Но воля его была бессильна. И не хотел, и не мог он решить, что лучше: умертвить живую для бессмертной или бессмертную для живой - ту, которая есть, или ту, которая будет всегда на полотне картины?

Пройдя еще две улицы, он подошел к дому своего хозяина, Мартелли. Двери были заперты, огни потушены. Он поднял молоток, висевший на цепи, и ударил в чугунную скобу. Привратник не ответил - должно быть, спал или ушел. Удары, повторенные гулками сводами каменной лестницы, замерли; наступила тишина; казалось, лунный свет углублял ее.

Вдруг раздались тяжкие, медленно-мерные медные звуки - бой часов на соседней башне. Их голос говорил о безмолвном и грозном полете времени, о темной одинокой старости, о невозвратимости прошлого.

И долго еще последний звук, то слабея, то усиливаясь, дрожал и колебался в лунной тишине расходящимися звучными волнами, как будто повторяя:

Di domanion c'e certezza - И на завтра не надейся.

На следующий день мона Лиза пришла к нему в мастерскую в обычное время, в первый раз одна, без всегдашней спутницы своей, сестры Камиллы. Джоконда знала, что это - их последнее свидание.

День был солнечный, ослепительно-яркий. Леонардо задернул полотняный полог - и во дворе с черными стенами воцарился тот нежный, сумеречный свет - прозрачная, как будто подводная, тень, которая лицу ее давала наибольшую прелесть. Они были одни.

Он работал молча, сосредоточенно, в совершенном спокойствии, забыв вчерашние мысли о предстоящей разлуке, о неизбежном выборе, как будто не было для него ни прошлого, ни будущего, и время остановилось,- как будто всегда она сидела так и будет сидеть перед ним, со своею тихою, странною улыбкою. И то, чего не мог сделать в жизни, он делал в созерцании: сливал два образа в один, соединял действительность и отражение - живую и бессмертную. И это давало ему радость великого освобождения. Он теперь не жалел ее и не боялся. Знал, что она ему будет покорна до конца - все

примет, все вытерпит, умрет и не возмутится. И порой он смотрел на нее с таким же любопытством, как на тех осужденных, которых провожал на казнь, чтобы следить за последними содроганиями боли в их лицах.

Вдруг почудилось ему, что чуждая тень живой, не им внушенной, ему не нужной, мысли мелькнула в лице ее, как туманный след живого дыхания на поверхности зеркала. Чтобы оградить ее - снова вовлечь в свой призрачный круг, прогнать эту живую тень, он стал ей рассказывать певучим и повелительным голосом, каким волшебник творит заклинания, одну из тех таинственных сказок, подобных загадкам, которые иногда записывал в дневниках своих.

- - "Не в силах будучи противостоять моему желанию увидеть новые, неведомые людям, образы, создаваемые искусством природы, и, в течение долгого времени, совершая путь среди голых, мрачных скал, достиг я наконец Пещеры и остановился у входа в недоумении. Но, решившись и наклонив голову, согнув спину, положив ладонь левой руки на колено правой ноги и правой рукой заслоняя глаза, чтобы привыкнуть к темноте, я вошел и сделал несколько шагов. Насупив брови и зажмурив глаза, напрягая зрение, часто изменял я мой путь и блуждал во мраке, ощупью, то туда, то сюда, стараясь что-нибудь увидеть. Но мрак был слишком глубок. И когда я некоторое время пробыл в нем, то во тьме пробудились и стали бороться два чувства - страх и любопытство,- страх перед исследованием темной Пещеры, и любопытство - неТ ли в ней какой-либо чудесной тайны?" Он умолк. С лица ее чуждая тень все еще не исчезала. - Какое же из двух чувств победило? - Любопытство. - И вы узнали тайну Пещеры? - Узнал то, что можно знать. - И скажете людям? - Всего нельзя, и я не сумею. Но я хотел бы внушить им такую силу любопытства, чтобы всегда оно побеждало в них страх. - А что, если мало одного любопытства, мессер Леонардо? - проговорила она с неожиданно блеснувшим взорОМ.- Что, если нужно другое, большее, чтобы проникНуть в последние, и может быть, самые чудесные тайны пещеры?

И она посмотрела ему в глаза с такою усмешкою, какой он никогда не видал у нее. - Что же нужно еще? -спросил он. Она молчала.

В это время тонкий и острый, ослепляющий луч солнца проник сквозь щель между двумя полотнищами полотна; Подводный сумрак озарился. И на лице ее очарование нежных, подобных дальней музыке, светлых теней и "темного света" было нарушено. - Вы уезжаете завтра? - проговорила Джоконда. - Нет, сегодня вечером. - Я тоже скоро уеду,- сказала она. Он взглянул на нее пристально, хотел что-то прибавить, но промолчал: догадался, что она уезжает. Чтобы не оставаться без него во Флоренции.

- Мессер Франческо,- продолжала мона Лиза,- едет по делам в Калабрию, месяца на три, до осени; я упросила его взять меня с собою.

Он обернулся и с досадою, нахмурившись, взглянул на острый, злой и правдивый луч солнца. Дотоле одноцветные, безжизненно и призрачно-белые брызги фонтана, теперь, в этом преломляющем, живом луче, вспыхнули противоположными и разнообразными цветами радуги - цветами жизни.

И вдруг он почувствовал, что возвращается в жизнь - робкий, слабый, жалкий и жалеющий.

- Ничего,- проговорила мона Лиза,- задерните полог. Еще не поздно. Я не устала.

- Нет, все равно. Довольно,- сказал он и бросил кисть. - Вы никогда не кончите портрета? - Отчего же? - возразил он поспешно, точно испугавшись.- Разве вы больше не придете ко мне, когда вернетесь?

- Приду. Но, может быть, через три месяца я буду уж совсем другая, и вы меня не узнаете. Вы же сами говорили, что лица людей, особенно женщин, быстро меняются...

- Я хотел бы кончить,- произнес он медленно, как будто про себя.- Но не знаю. Мне кажется иногда, что того, что я хочу, сделать нельзя...

- Нельзя?-удивилась она.-Я, впрочем, слышала, что вы никогда не кончаете, потому что стремитесь к невозможному...

В этих словах ее послышался ему, может быть, только почудился, бесконечно-кроткий, жалобный укор. "Вот оно",- подумал он, и ему сделалось страшно. Она встала и молвила просто, как всегда: - Ну, что же, пора. Прощайте, мессер Леонардо. - Счастливого пути.

Он поднял на нее глаза - и опять почудились ему в лице ее последний безнадежный упрек и мольба.

Он знал, что это мгновение для них обоих невосвратимо и вечно, как смерть. Знал, что нельзя молчать. Но чем больше напрягал волю, чтобы найти решение и слово, тем больше чувствовал свое бессилие и углублявшуюся между ними непереступную бездну. А мона Лиза улыбалась ему прежнею, тихою и ясною улыбкою. Но теперь ему казалось, что эта тишина и ясность подобны тем, какие бывают в улыбке мертвых.

Сердце его пронзила бесконечная, нестерпимая жалость и сделала его еще бессильнее.

Мона Лиза протянула руку, и он молча поцеловал эту руку, в первый раз с тех пор, как они друг друга знали,- и в то же мгновение почувствовал, как, быстро наклонившись, она коснулась губами волос его.

- Да сохранит вас Бог,- сказала она все так же просто.

Когда он пришел в себя, ее уже не было. Кругом была тишина мертвого летнего полдня, более грозная, чем тишина самой глухой, темной полночи.

И точно так же, как ночью, но еще грознее и торжественнее, слышались медленно мерные, медные звуки - бой часов на соседней башне. Они говорили о безмолвном и страшном полете времени, о темной, одинокой старости, о невосвратимости прошлого.

И долго еще дрожал, замирая, последний звук и, казалось, повторял:

Oi domannon c'e certezza - И на завтра не надейся.

Соглашаясь принять участие в работах по отводу Арно от Пизы, Леонардо был почти уверен, что это военное предприятие повлечет за собою, рано или поздно, другое, более мирное и более важное.

Еще в молодости мечтал он о сооружении канала, который сделал бы Арно судоходным от Флоренции до Пизанского моря и, оросив поля сетью водяных питательных жил и увеличив плодородие земли, превратил бы Тоскану в один цветущий сад. "Прато, Пистойя, Пиза, Лукка,- писал он в своих заметках,- приняв участие в ЭТОМ предприятии, возвысили бы свой ежегодный оборот на 200.000 дукатов. Кто сумеет управлять водами Арно в глубине и на поверхности, тот приобретет в каждой десяatine земли сокровище".

Леонардо казалось, что теперь, перед старостью, судьба дает ему, быть может, последний случай исполнить на службе народа то, что не удалось на службе государей,- показать людям власть науки над природою.

Когда Макиавелли признался ему, что обманул Содерини, скрыл действительные трудности замысла и уверил его, будто бы достаточно тридцати - сорока тысяч рабочих дней, Леонардо, не желая принимать на себя ответственности, решил объявить гонфалоньеру всю правду и представил расчет, в котором доказывал, что для сооружения двух отводных, до Ливорнского болота, каналов в 7 футов глубины, 20 и 30 ширины, представляющих площадь в 800.000 квадратных локтей, потребуется не менее 200.000 рабочих дней, а может быть, и более, смотря по свойствам почвы. Синьоры ужаснулись. Со всех сторон посыпались на Содерини обвинения: недоумевали, как могла подобная нелепость прийти ему" в голову.

А Никколо все еще надеялся, хлопотал, хитрил, обманывал, писал красноречивые послания, уверяя в несомненном успехе начатых работ. Но, несмотря на огромные, с каждым днем возрастающие, издержки, дело шло все хуже и хуже.

Точно зарок был положен на мессера Никколо: все, к чему ни прикасался он,- изменяло, рушилось, таяло в руках его, превращаясь в слова, в отвлеченные мысли, в злые шутки, которые больше всего вредили ему самому. И невольно вспоминал художник его постоянные проигрыши при объяснении правила выигрывать наверняка - неудачное освобождение Марии, злополучную македонскую фалангу.

В этом странном человеке, неутолимо жаждавшем действия и совершенно к нему не способном, могучем в мысли, бессильном в жизни, подобном лебедю на суше,- узнавал Леонардо себя самого.

В донесении гонфалоньеру и синьорам советовал он или тотчас отказаться от предприятия или кончить его, не останавливаясь ни перед какими расходами. Но правители Республики предпочли, по своему обыкновению, средний путь. Решили воспользоваться уже вырытыми каналами, как рвами, которые служили бы преградой движению пизанских войск, и, так как чересчур смелые замыслы Леонардо никому не внушали доверия, пригласили из Феррары

других водостроителей и землекопов. Но, пока во Флоренции спорили, обличали друг друга, обсуждали вопрос во всевозможных присутственных местах, собраниях и советах по большинству голосов, белыми и черными шарами,- враги, не дожидаясь, пушечными ядрами разрушили то, что было сделано.

Все это предприятие до того, наконец, опротивело художнику, что он не мог слышать о нем без отвращения.

Дела давно позволяли ему вернуться во Флоренцию. Но, узнав случайно, что мессер Джоконда возвращается из Калабрии в первых числах октября, Леонардо решил приехать на десять дней позже, чтобы уже наверное застать мону Лизу во Флоренции.

Он считал дни. Теперь, при мысли о том, что разлука может затянуться, такой суеверный страх и тоска сжимали сердце его, что он старался не думать об этом, не говорил ни с кем и не расспрашивал, из опасения, как бы ему не сказали, что она не вернется к сроку. Рано поутру приехал во Флоренцию. Осенняя, тусклая, сырая - казалась она ему особенно милой, родственной, напоминавшей Джоконду. И день был ее - туманный, тихий, с влажно-тусклым, как бы подводным, солнцем, которое давало женским лицам особую прелесть.

Он уже не спрашивал себя, как они встретятся, что он ей скажет, как сделает, чтобы больше никогда не расставаться с нею, чтобы супруга мессера Джокондо была ему единственной, вечной подругой. Знал, что все устроится само собой - трудное будет легким, невозможное возможным - только бы свидеться.

"Главное, не думать, тогда лучше выходит,- повторял он слова Рафаэля.- Я спрошу ее, и теперь она скажет мне то, что тогда не успела сказать: что нужно, кроме любопытства, чтобы проникнуть в последние, может быть, самые чудные тайны Пещеры?"

И такая радость наполняла душу его, как будто ему было не пятьдесят четыре, а шестнадцать лет, как будто вся жизнь была впереди. Только в самой глубине сердца, куда не досягал ни единый луч сознания, под этой радостью было грозное предчувствие.

Он пошел к Никколо, чтобы передать ему деловые бумаги и чертежи землекопных работ. К мессеру Джоконда предполагал зайти на следующее утро; но не вытерпел и решил в тот же вечер,

возвращаясь от Макиавелли и проходя мимо их дома на Лунгарно делле Грациие, спросить у конюха, слуги и привратника, вернулись ли хозяева, и все ли у них благополучно.

Леонардо спускался по улице Торнабуони к мосту Санта-Тринита - по тому же пути, только в обратном направлении, как в последнюю ночь перед отъездом.

Погода к вечеру изменилась внезапно, как это часто бывает во Флоренции осенью. Из ущелья Муньоне подул северный ветер, пронзительный, точно сквозной. И высо

ты Муджелло сразу побелели, точно поседали, от инея. Накрапывал дождь. Вдруг снизу, из-под полога туч, как будто отрезанного и оставлявшего над горизонтом узкую полосу чистого неба, брызнуло солнце и осветило грязные, мокрые улицы, глянцевиные крыши домов и лица людей медно-желтым, холодным и грубым светом. Дождь сделался похожим на медную пыль. И кое-где вдали засверкали оконные стекла, точно раскаленные уголья.

Против церкви Санта-Тринита, у моста, на углу набережной и улицы Торнабуони, возвышался огромный, из дикого коричнево-серого камня, с решетчатыми окнами и зубцами, напоминавший средневековую крепость, палаццо Спини. Внизу, по стенам его, как у многих старинных флорентийских дворцов, тянулись широкие каменные лавки, на которых сживали граждане всех возрастов и званий, играя в кости или шашки, слушая новости, беседуя о делах, зимою греясь на солнце, летом отдыхая в тени. С той стороны дворца, что выходила на Арно, над скамьей устроен был черепичный навес со столбиками, вроде лоджии.

Проходя мимо навеса, увидел Леонардо собрание полужнакомых людей. Одни сидели, другие стояли. Разговаривали так оживленно, что не замечали порывов резкого ветра с дождем.

- Мессер, мессер Леонардо! - окликнули его.- Пожалуйста сюда, разрешите-ка наш спор. Он остановился.

Спорили о нескольких загадочных стихах "Божественной Комедии" в тридцать четвертой песне "Ада", где поэт рассказывает о великане Дите, погруженном в лед до середины груди, на самом дне Проклятого Колодца. Это - главный вождь низвергнутых ангельских полчищ, "Император Скорбного Царства". Три лица его - черное,

красное, желтое - как бы дьявольское отражение божественных ипостасей Троицы. И в каждой из трех пастей - по грешнику, которого он вечно гложет: в черной - Иуда Предатель, в красной - Брут, в желтой - Кассий. Спорили о том, почему Алигьери казнит того, кто восстал на Человекобога, казнит убийцу Юлия Цезаря и величайшего из Отступников, того, кто восстал на Богочеловека, почти одинаковою казнью,- ибо вся разница лишь в том, что у Брута ноги внутри Дитовой пасти, голова - снаружи, тогда как ноги Иуды - снаружи, а голова - внутри. Одни объясняли это тем, что Данте, пламенный гибеллин, защитник власти императорской против земного владычества пап, считал Римскую монархию столь же, или почти столь же священной и нужною для спасения мира, как Римскую церковь. Другие возражали, что такое объяснение отзывается ересью и не соответствует христианскому духу благочестивейшего из поэтов. Чем больше спорили, тем неразгаданнее становилась тайна поэта.

Пока старый богатый шерстник подробно объяснял художнику предмет спора, Леонардо, немного прищурив глаза от ветра, смотрел вдаль, в ту сторону, откуда, по набережной Лунгарно Ачайоли, тяжелою, неуклюжею, точно медвежьей, поступью шел небрежно и бедно одетый человек, сутулый, костлявый, с большой головой, с черными, жесткими, курчавыми волосами, с жидкою и клочковатою козлиною бородкою, с оттопыренными ушами, с широкоскулым и плоским лицом. Это был Микеланджело Буонарроти. Особенное, почти отталкивающее уродство придавал ему нос, переломленный и расплющенный ударом кулака еще в ранней молодости, во время драки с одним ваятелем-соперником, которого злобными шутками довел он до бешенства. Зрачки маленьких желто-карих глаз отливали порою странным багровым блеском. Воспаленные веки, почти без ресниц, были красны, потому что, не довольствуясь днем, работал он и ночью, прикрепляя ко лбу круглый фонарик, что делало его похожим на Циклопа с огненным глазом посередине лба, который копошится в подземной темноте и с глухим медвежьим бормотаньем и лязгом железного молота яростно борется с камнем.

- Что скажете, мессере?-обратились к Леонардо спорившие.

Леонардо всегда надеялся, что ссора его с Буонарроти кончится миром. Он мало думал об этой ссоре во время своего отсутствия из Флоренции и почти забыл ее. Такая тишина и ясность были в сердце его в эту минуту и он готов был обратиться к сопернику с такими добрыми словами, что Микеланджело, казалось ему, не мог не понять.

- Мессер Буонарроти-великий знаток Алигьери,- молвил Леонардо с вежливой, спокойной улыбкой, указывая на Микеланджело.- Он лучше меня объяснит вам это место.

Микеланджело шел, по обыкновению, опустив голову, не глядя по сторонам, и не заметил, как наткнулся на собрание. Услышав имя свое из уст Леонардо, остановился и поднял глаза.

Застенчивому и робкому до дикости, были ему тягостны взоры людей, потому что никогда не забывал он о своем уродстве и мучительно стыдился его: ему казалось, что все над ним смеются.

Застигнутый врасплох, он в первую минуту растерялся: подозрительно поглядывал на всех исподлобья своими маленькими желто-кариими глазками, беспомощно моргая воспаленными веками, болезненно жмурясь от солнца и человеческих взоров.

Но когда увидел ясную улыбку соперника и проницательный взор его, устремленный невольно сверху вниз, потому что Леонардо был ростом выше Микеланджело,- робость, как это часто с ним бывало, мгновенно превратилась в ярость. Долго не мог он произнести ни слова. Лицо его то бледнело, то краснело неровными пятнами. Наконец, с усилием проговорил глухим, сдавленным голосом:

- Сам объясняй! Тебе и книги в руки, умнейший из людей, который доверился каплунам-ломбардцам, шестнадцать лет возился с глиняным Колоссом и не сумел отлить его из бронзы - должен был оставить все с позором!..

Он чувствовал, что говорит не то, что следует, искал и не находил достаточно обидных слов, чтобы унижить соперника.

Все притихли, обратив на них любопытные взоры. Леонардо молчал. И несколько мгновений оба молча смотрели друг другу в глаза - один с прежнею кроткою улыбкой, теперь удивленной и опечаленной, другой - с презрительной усмешкой, которая ему не

удавалась, только искажала лицо его судорогой, делая еще безобразнее.

Перед яростной силой Буонарроти тихая, женственная прелесть Леонардо казалась бесконечною слабостью.

У Леонардо был рисунок, изображавший борьбу двух чудовищ - Дракона и Льва: крылатый змей, царь воздуха, побеждал бескрылого царя земли.

То, что теперь помимо сознания и воли их происходило между ними, было похоже на эту борьбу.

И Леонардо почувствовал, что мона Лиза права: никогда соперник не простит ему "тишины, которая сильнее бури".

Микеланджело хотел что-то прибавить, но только махнул рукою, быстро отвернулся и пошел дальше своею неуклюжею, медвежьей поступью, с глухим, неясным бормотаньем, понутив голову, согнув спину, как будто неимоверная тяжесть давила ему плечи. И скоро скрылся, точно растаял, в мутной, огненно-медной пыли дождя и зловещего солнца.

Леонардо также продолжал свой путь. На мосту догнал его один из бывших в собрании у палаццо Спини - вертлявый и плюгавый человечек, похожий на еврея, хотя и чистокровный флорентинец. Художник не помнил, кто этот человечек, и как его имя, только знал, что он злой сплетник.

Ветер на мосту усилился; свистел в ушах, колол лицо ледяными иглами. Волны реки, уходившие вдаль к низкому солнцу, под низким и темным, точно каменным небом, казались подземным потоком расплавленной меди. Леонардо шел по узкому сухому месту, не обращая внимания на спутника, который поспевал за ним, шлепая по грязи, вприпрыжку, забегая вперед, как собачонка, заглядывая в глаза ему и заговаривая о Микеланджело. Он, видимо, желал подхватить какое-нибудь словцо Леонардо, чтобы тотчас передать сопернику и разнести по городу. Но Леонардо молчал.

- Скажите, мессере,- не отставал от него назойливый человечек,- ведь вы еще не кончили портрета Джоконды?

- Не кончил,- ответил художник и нахмурился.- А вам что?

- Нет, ничего, так. Вот ведь, подумаешь, целых три года бьетесь над одною картиною, и все еще не кончили. Нам, непосвященным,

она уже и теперь кажется таким совершенством, что большего мы и представить себе не можем!.. И усмехнулся подобострастно. Леонардо посмотрел на него с отвращением. Этот плюгавый человечек вдруг сделался ему так ненавистен, что, казалось, если бы только он дал себе волю, то схватил бы его за шиворот и бросил в реку.

- Что же однако будет с портретом?-продолжал неугомонный спутник.- Или вы еще не слышали, мессере Леонардо?..

Он, видимо, нарочно тянул и мямлил: у него было что-то на уме.

И вдруг художник, сквозь отвращение, почувствовал животный страх к своему собеседнику - словно тело его было скользким и коленчато-подвижным, как тело насекомого. Должно быть, и тот уже что-то почуял. Он еще более сделался похожим на жида; руки его затряслись, глазапрыгали. - Ах, Боже мой, а ведь и в самом деле, вы только сегодня утром приехали и еще не знаете. Представьте себе, какое несчастье. Бедный мессер Джокондо. Третий раз овдовел. Вот уже месяц, как мадонна Лиза волею Божьей преставилась...

У Леонардо в глазах потемнело. Одно мгновение казалось ему, что он упадет. Человечек так и впился в него своими колючими глазками.

Но художник сделал над собой неимоверное усилие - и лицо его, только слегка побледнев, осталось непроницаемым; по крайней мере, спутник ничего не заметил.

Окончательно разочаровавшись и увязнув по щиколотку в грязи на площади Фрескобальди, он отстал.

Первою мыслью Леонардо, когда он опомнился, было то, что сплетник солгал, нарочно выдумал это известие, чтобы увидеть, какое впечатление оно произведет на него, и потом всюду рассказывать, давая новую пищу давно уже ходившим слухам о любовной связи Леонардо с Джокондой.

Правда смерти, как это всегда бывает в первую минуту, казалась невероятною.

Но в тот же вечер узнал он все: на возвратном пути из Калабрии, где мессер Франческо выгодно устроил дела свои, между прочим, поставку сырых бараньих шкур во Флоренцию,- в маленьком глухом городке Лагонеро, мона Лиза Джоконда умерла, одни говорили, от болотной лихорадки, другие - от заразной горловой болезни.

Дело с каналом для отвода Арно от Пизы кончилось постыдною неудачею.

Во время осеннего разлива наводнение уничтожило начатые работы и превратило цветущую низменность в гнилую трясину, где рабочие умирали от заразы. Огромный труд, деньги, человеческие жизни - все пропало даром.

Феррарские водостроители сваливали вину на Содерини, Макиавелли и Леонардо. Знакомые на улицах отворачивались от них и не кланялись. Никколо заболел от стыда и горя.

Года два назад умер отец Леонардо: "9-го июля 1504 г., в среду, в седьмом часу ночи,- записал он с обычною краткостью,- скончался отец мой, сире Пьеро да Винчи, нотариус во дворце Подеста. Ему было восемьдесят лет. Он оставил десять человек детей мужского и двух женского пола".

Сире Пьеро неоднократно, при свидетелях, выражал намерение завещать своему незаконному первенцу Леонардо такую же долю имения, как остальным детям. Сам ли изменил он перед смертью это намерение, или сыновья не захотели исполнить волю покойного, но они объявили, что, в качестве побочного сына, Леонардо в разделе не участвует. Тогда один из ростовщиков, ловкий еврей, у которого художник брал деньги под обеспечение ожидаемого наследства, предложил ему купить права его в тяжбе с братьями. Как ни страшился Леонардо семейных и судебных дразг, денежные дела его в это время так запутались, что он согласился. Началась тяжба из-за 300 флоринов, которой суждено было длиться шесть лет. Братья, пользуясь всеобщим раздражением против Леонардо, подливали масла в огонь, обвиняли его в безбожии, в государственной измене во время службы у Чезаре Борджа, в колдовстве, в кощунстве над христианскими могилами при откапывании трупов для анатомических сечений, воскресили и двадцать пять лет назад похороненную сплетню о противоестественных пороках его, бесчестили память покойной матери его, Катарины Аккаттабрига.

Ко всем этим неприятностям присоединилась неудача с картиной в зале Совета.

Так сильна была привычка Леонардо к медлительности, допускаемой в стенописи масляными красками, и отвращение к

поспешности, требуемой водяными, что, несмотря на предостерегающий опыт с Тайной Вечерей, решил он и Битву при Ангиари писать, хотя другими, как он полагал, усовершенствованными, но все же масляными Красками. Когда половина работы была исполнена, развел большой огонь на железных жаровнях перед картиною, чтобы по новому, изобретенному им способу, ускорить впитывание красок в известь; но скоро убедился, что жар действует только на нижнюю часть картины, между тем как в верхней, удаленной от жара, лак и краски не сохнут.

После многих тщетных усилий понял он окончательно, что второй опыт с масляной стенописью будет столь же неудачен, как первый: Битва при Ангиари так же погибнет, как Тайная Вечеря;- и опять, по выражению Буонарроти, он "должен был оставить все с позором".

Картина в зале Совета опостылела ему еще больше, чем дело с Пизанским каналом и тяжба с братьями.

Содерини мучил его требованиями канцелярской точности в исполнении заказа, торопил окончанием работы к назначенному сроку, грозил неустойкою и, видя, что ничего не помогает, начал открыто обвинять в нечестности, в присвоении казенных денег. Когда же, заняв у друзей, Леонардо хотел отдать ему все, что получил из казны, мессер Пьеро отказался принять, а между тем во Флоренции ходило по рукам распространяемое друзьями Буонарроти письмо гонфалоньера к флорентийскому поверенному в Милане, который хлопотал об отпуске художника к наместнику французского короля в Ломбардии, сеньору, Шарлю д'Амбуазу:

"Действия Леонардо неблагоприятны,- говорилось, между прочим, в этом письме.- Забрав большие деньги вперед и едва начав работу, бросил он все и поступил в этом деле с Республикой, как изменник".

Однажды зимою ночью сидел Леонардо один в своей рабочей комнате.

Вьюга выла в трубе очага. Стены дома вздрагивали от ее порывов; пламя свечи колебалось; подвешенное к деревянной перекладине в приборе для изучения полета чучело птицы на крыльях, изъеденных молью, качалось, точно собираясь взлететь, и в углу, над полкою с томами Плиния Натуралиста, знакомый паук тревожно бегал в своей

паутине. Капли дождя или талого снега ударяли в оконные стекла, словно кто-то тихонько стучался.

После дня, проведенного в житейских заботах, Леонардо почувствовал себя усталым, разбитым, как после ночи, проведенной в бреду. Пытался было приняться за давнишнюю работу - изыскания о законах движения тел по наклонной плоскости; потом - за карикатуру старухи с маленьким, как бородавка, вздернутым носом, свиными глазками и гигантской, чудовищно оттянутой книзу, верхней губой; пробовал читать; - но все валялось из рук. А спать не хотелось, и целая ночь была впереди.

Он взглянул на груды старых, пыльных книг, на колбы, реторты, банки с бледными уродцами в спирту, на медные квадранты, глобусы, приборы механики, астрономии, физики, гидравлики, оптики, анатомии - и неизъяснимое отвращение наполнило ему душу.

Не был ли сам он - как этот старый паук в темном углу над пахнущими плесенью книгами, костями человеческих остовов и мертвыми членами мертвых машин? Что предстояло ему в жизни, что отделяло от смерти - кроме нескольких листов бумаги, которые покроет он значками никому не понятных писем?

И вспомнилось ему, как в детстве, на Монте-Альбано, слушая крики журавлиных станиц, вдыхая запах смолистых трав, глядя на Флоренцию, прозрачно-лиловую в солнечной дымке, словно аметист, такую маленькую, что вся она умещалась между двумя цветущими золотистыми ветками поросли, которая покрывает склоны этих гор весной,- он был счастлив, ничего не зная, ни о чем не думая.

Неужели весь труд его жизни - только обман, и великая любовь - не дочь великого познания?

Он прислушивался к вою, визгу, грохоту вьюги. И ему приходили на память слова Макиавелли: "самое страшное в жизни не заботы, не бедность, не горе, не болезнь, даже не смерть,- а скука".

Нечеловеческие голоса ночного ветра говорили о понятном человеческому сердцу, родном и неизбежном - о последнем одиночестве в страшной, слепой темноте, в лоне отца всего сущего, древнего Хаоса - о беспредельной скуке мира.

Он встал, взял свечу, отпер соседнюю комнату, вошел в нее, приблизился к стоявшей на треножном постае картине, завешанной

тканью с тяжелыми складками, подобной савану,- и откинул ее. Это был портрет моны Лизы Джоконды. Он не открывал его с тех пор, как работал над ним в последний раз, в последнее свидание. Теперь казалось ему, что он видит его впервые. И такую силу жизни почувствовал он в этом лице, что ему сделалось жутко перед собственным созданием. Вспомнил суеверные рассказы о волшебных портретах, которые, будучи проколоты иглою, причиняют смерть изображенному, здесь, подумал,- наоборот: у живой отнял он жизнь, чтобы дать ее мертвой. Все в ней было ясно, точно - до последней складки одежды, до крестиков тонкой узорчатой вышивки, обрамлявшей вырез темного платья на бледной груди. Казалось, что, всмотревшись пристальнее, можно видеть, как дышит грудь, как в ямочке под горлом бьется кровь, как выражение лица изменяется. И, вместе с тем, была она призрачная, дальняя, чуждая, более древняя в своей бессмертной юности, чем первозданные глыбы базальтовых скал, видневшиеся в глубине картины - воздушно-голубые, сталактитоподобные горы как будто нездешнего, давно угасшего мира. Извилины потоков между скалами напоминали извилины губ ее с вечной улыбкой. И волны волос падали из-под прозрачно-темной дымки по тем же законам божественной механики, как волны воды.

Только теперь - как будто смерть открыла ему глаза - понял он, что прелесть моны Лизы была все, чего искал он в природе с таким ненасытным любопытством,- понял, что тайна мира была тайной моны Лизы.

И уже не он ее, а она его испытывала. Что значил взор этих глаз, отражавших душу его, углублявшихся в ней, как в зеркале - до бесконечности?

Повторяла ли она то, чего не договорила в последнее свидание: нужно больше, чем любопытство, чтобы проникнуть в самые глубокие и, может быть, самые чудные тайны Пещеры?

Или это была равнодушная улыбка всеведения, с которой мертвые смотрят на живых?

Он знал, что смерть ее - не случайность: он мог бы спасти ее, если бы хотел. Никогда еще, казалось ему, не заглядывал он так прямо и

близко в лицо смерти. Под холодным и ласковым взором Джоконды невыносимый ужас леденил ему душу.

И первый раз в жизни отступил он перед бездною, не смея заглянуть в нее,- не захотел знать.

Торопливым, как будто воровским, движением опустил на лицо ее покров с тяжелыми складками, подобный савану.

Весною, по просьбе французского наместника Шарля д'Амбуаза, получил Леонардо отпуск из Флоренции на три месяца и отправился в Милан.

Он был так же рад покинуть родину и таким же бесприютным изгнанником увидел снежные громады Альп над зеленою равниною Ломбардии, как двадцать пять лет назад.

<h2>ПЯТНАДЦАТАЯ КНИГА. СВЯТЕЙШАЯ ИНКВИЗИЦИЯ</h2>

Во время первого пребывания в Милане, будучи на службе Моро, Леонардо занимался анатомией вместе с одним еще очень молодым, лет восемнадцати, но уже знаменитым ученым, Марко-Антонио, из древнего рода веронских патрициев делла Торре, у которых любовь к науке была наследственной. Отец Марко-Антонио преподавал медицину в Падуе, братья также были учеными. Сам он с отроческих лет посвятил себя служению науке, подобно тому, как некогда потомки славных родов посвящали себя рыцарскому служению даме сердца и Богу. Ни игры детства, ни страсти юности не отвлекали его от этого строгого служения. Он полюбил девушку; но, решив, что нельзя служить двум господам - любви и науке,- покинул невесту и окончательно отрекся от мира. Еще в детстве расстроил он свое здоровье чрезмерными занятиями. Худое, бледное, точно у сурового подвижника, но все еще прекрасное лицо его напоминало лицо Рафаэля, только с выражением более глубокой мысли и грусти.

Когда он был отроком, два знаменитых университета северной Италии, Падуанский и Павийский, спорили из-за него. Когда же Леонардо вернулся в Милан, двадцатилетний Марко-Антонио считался одним из первых ученых Европы.

Стремления в науке были у них, по-видимому, общие: оба заменяли схоластическую анатомию средневековых арабских толкователей Гиппократ и Галена опытом и наблюдением над

природою, исследованием строения живого тела; но под внешним сходством скрывалось и глубокое различие.

На последних пределах знания художник чувствовал тайну, которая сквозь все явления мира притягивала его к себе, как магнит и сквозь ткань притягивает железо. Описывая мускулы плеча, он говорил: "Эти мускулы концами тонких нитей прикреплены только к внешнему краю вместилищ своих: Великий Мастер устроил так, дабы имели они возможность свободно расширяться и суживаться, удлиняться и сокращаться, смотря по нужде". В примечаниях к рисунку, изображавшему связки бедренных мускулов, он писал: "Рассмотри эти прекрасные мускулы - и если кажется тебе, что их много, попробуй,- убавь, если мало - прибавь, а достаточно,- воздай хвалу первому Строителю столь дивной машины". Так, последнею целью всякого знания было для него великое удивление перед Непознаваемым, перед Божественной Необходимостью - волей Первого Двигателя в механике, Первого Строителя в анатомии.

Марко-Антонио также чувствовал тайну в явлениях природы, но не смирялся перед нею, и, не будучи в силах ни отвергнуть, ни победить ее, боролся с нею и страшился ее. Наука Леонардо шла к Богу; наука Марко-Антонио - против Бога, и утраченную веру хотел он заменить новою верою - в разум человеческий.

Он был милосерд. Нередко, отказывая богатым, ходил к беднякам, лечил их даром, помогал деньгами и готов был отдать им все, что имел. У него была доброта, свойственная людям не от мира сего, погруженным в созерцание. Но когда речь заходила о невежестве монахов и церковников, врагов науки, лицо его искажалось, глаза сверкали неукротимою злобою, и Леонардо чувствовал, что этот милосердный человек, если бы дали ему власть, посылал бы людей на костер во имя разума, точно так же, как враги его, монахи и церковники, сжигали их во имя Бога.

Леонардо в науке был столь же одинок, как в искусстве; Марко-Антонио окружен учениками. Он увлекал толпу, зажигал сердца, как пророк, творил чудеса, воскрешал больных не столько лекарствами, сколько верою. И юные слушатели, как все ученики, доводили до крайности мысли учителя. Они уже не боролись, а беспечно отрицали тайну мира, думали, что не сегодня, так завтра наука все

победит, все разрешит, не оставит камня на камне от ветхого здания веры. Хвастали безверием, как дети обновкою, буйствовали, как школьники - и победоносная резвость их напоминала визгливую резвость щенят.

Для художника изуверство мнимых служителей знания было столь же противно, как изуверство мнимых служителей Бога.

"Когда наука восторжествует,- думал он с грустью,- и чернь войдет в ее святилище, не осквернит ли она своим признанием и науку, точно так же, как осквернила церковь, и будет ли менее пошлым знание толпы, чем вера толпы?"

В те времена добывание мертвых тел для анатомических сечений, воспрещенных буллою папы Бонифация VIII Extravagantes, было делом трудным и опасным. Двести лет назад Мундини деи Луцци, первый из ученых, дерзнул произвести всенародное анатомическое сечение двух трупов в Болонском университете. Он выбрал женщин, как "более близких к животной природе". И тем не менее, совесть мучила его, по собственному признанию, так, что анатомировать голову, "обиталище духа и разума", он вовсе не посмел.

Времена изменились. Слушатели Марко-Антонио были менее робки. Не останавливаясь ни перед какими опасностями и даже преступлениями, добывали они свежие трупы: не только покупали за большие деньги у палачей и больничных гробовщиков, но и силой отнимали, крали с виселиц, вырывали из могил на кладбищах, и, если бы учитель позволил, убивали бы прохожих по ночам в глухих предместьях.

Обилие трупов делало работу делла Торре особенно важной и драгоценной для художника. Он готовил целый ряд анатомических рисунков пером и красным карандашом, с объяснениями и заметками на полях. Здесь, в приемах исследования, еще более сказывалась противоположность исследователей. Один был только ученый, другой - и ученый, и художник вместе. Марко-Антонио знал. Леонардо знал и люи любовь углубляла познание. Рисунки его были так точны и в то же время так прекрасны, что трудно было решить, где кончается искусство и начинается наука: одно входило в другое, одно сливалось с другим

в неразделимое целое.

"Тому, кто мне возразит,- писал он в этих заметках,- что лучше изучать анатомию на трупах, чем по моим рисункам, я отвечу: это было бы так, если бы ты мог видеть в одном сечении все, что изображает рисунок; но, какова бы ни была твоя проницательность, ты увидел и узнал бы лишь несколько вен. Я же, дабы иметь совершенное знание, произвел сечения более чем десяти человеческих тел различных возрастов, разрушая все члены, снимая до последних частиц все мясо, окружавшее вены,

не проливая крови, разве только чуть заметные капли из волосяных сосудов. И когда одного тела не хватало, потому что оно разлагалось во время исследования, я рассекал столько трупов, сколько требовало совершенное знание предмета, и дважды начинал одно и то же исследование, дабы видеть различия. Умножая рисунки, я даю изображения каждого члена и органа так, как будто ты имел их в руках и, повертывая, рассматривал со всех сторон, внутри и снаружи, сверху и снизу".

Ясновидение художника давало глазу и руке ученого точность математического прибора. Никому неизвестные разделения вен, скрытые в соединительных тканях или в слизистых оболочках, тончайшие кровеносные сосуды и нервы, разветвленные в мышцах и мускулах, ощупывала скальпелем, обнажала левая рука его - такая сильная, что гнула подковы, такая нежная, что улавливала тайну женственной прелести в улыбке Джоконды.

И Марко-Антонио, не желавший верить ни во что, кроме разума, испытывал порой смущение, почти страх перед этим вещим знанием, как перед чудом.

Иногда художник говорил себе: "так должно быть, так хорошо". И когда, исследуя, убеждался, что действительно, так есть, то воля Творящего как будто отвечала воле созерцающего: красота была истиной, истина - красотой.

Чувствуя, что Леонардо предается и науке, как всему, только на время и сохраняет свободу для новых увлечений, точно играя, Марко-Антонио, вместе с тем, видел, какого бесконечного терпения, какой "упрямой суровости" требует работа, казавшаяся в руках учителя игрой и забавой.

"И ежели ты имеешь любовь к науке,- обращался Леонардо в своих заметках к читателю,- не помешает ли тебе чувство брезгливости? И ежели ты преодолеешь брезгливость - не овладеет ли тобою страх в ночные часы перед мертвецами, истерзанными, окровавленными? И если победишь ужас, окажется ли у тебя совершенно ясный предварительный замысел, необходимый для такого изображения тел? И ежели есть у тебя замысел, обладаешь ли ты знанием перспективы? И ежели оно есть у тебя, владеешь ли ты приемами геометрических доказательств и потребными сведениями в механике для измерения сил и напряжения мускулов? И наконец, хватит ли у тебя самого главного - терпения и точности? Насколько я обладаю всеми этими качествами, покажут сто двадцать книг

анатомии, которые я сочинил. И причина того, что я не привел труда моего к желанному концу - не корысть или небрежность, а только недостаток времени". "Точно так же, как до меня Птоломей описывал мир в своей Космографии, я описываю человеческое тело - эту маленькую вселенную - мир в мире". Он предчувствовал, что труды его, если б были узнаны и поняты людьми, произвели бы величайший переворот в науке, ждал "последователей", "преемников", которые могли бы оценить в его рисунках "благодетяние, оказанное им человеческому роду".

"Пусть книга о началах механики,- писал он,- предшествует твоему исследованию законов движений и сил человека и других животных, дабы ты мог, ссылаясь на механику, доказывать всякое положение анатомии с ясностью геометрическою".

Он рассматривал члены людей и животных как живые рычаги. Корни всякого знания погружались для него в механику, которая была воплощением "дивной справедливости Первого Двигателя". И благая воля Первого Строителя вытекала из правосудной воли Первого Двигателя - тайны всех тайн.

Рядом с математической точностью у Леонардо были догадки, предчувствия, пророчества, которые пугали Маркоантонио своею смелостью, казались ему невероятными, подобно тому, как человеку, видящему горы в первый раз, далекие вершины кажутся облаками, висящими в воздухе, и трудно ему поверить, что у этих призраков - корни гранитные, уходящие к сердцу земли. Изучая на трупах

беременных женщин последовательно ступени развития зародыша в матке, Леонардо поражен был сходством в строении тел людей и животных, не только четвероногих, но и рыб и птиц. "Сравни человека,- писал он,- с обезьяною и многими другими животными почти той же породы. Сравни внутренности человека с внутренностями обезьяны, и льва, быка, и рыб, и птиц. Сравни пальцы человеческой руки с пальцами медвежьей лапы, с хрящами рыбьих плавников, с кистями птичьих крыльев и крыльев летучей мыши".

"Тому, кто обладает совершенным знанием строения человеческого тела, легко быть всеобъемлющим, ибо члены всех животных сходятся".

В многообразии телесных строений прозревал он единый закон развития, единый связующий замысел природы. Марко-Антонио спорил, горячился, называл догадки эти бреднями, не достойными ученого и противными духу точного знания; но иногда, побежденный, как бы очарованный, умолкал и слушал. В эти минуты детски-нежное и монашески-строгое лицо его было прекрасно. И, глядя в глубокие, всегда печальные глаза его, Леонардо чувствовал, что этот затворник науки - не только жрец ее, но и жертва: для него великая скорбь была "дочь великого познания".

По ходатайству наместника, Шарля д'Амбуаза и французского короля, художник получил от Флорентийской Синьории отпуск на неопределенное время, а в следующем 1507 году, перейдя окончательно на службу Людовика XII, поселился в Милане и только изредка по делам наезжал во Флоренцию. Прошло четыре года.

В конце 1511 Джованни Бельтраффио, в то время уже считавшийся искусным мастером, работал над стенописью в новой церкви Сан-Маурицио, принадлежавшей старинной, построенной на развалинах древнеримского цирка и храма Юпитера, женской обители Маджоре. Рядом, за высокой оградой, выходившей на улицу Делла Винья, находился запущенный сад и некогда великолепный, но давно покинутый и полуразвалившийся дворец владетельного рода Карманьола.

Монахини сдавали внаймы эту землю и дом алхимику Галеотто Сакробоско и его племяннице, дочери Галеоттова брата, мессера

Луиджи, знаменитого собирателя древностей, моне Кассандре, которые недавно вернулись в Милан.

Вскоре после первого нашествия французов и разграбления маленького домика повивальной бабки моны Сидонии у Катаранской плотины за Верчельскими воротами уехали они из Ломбардии и девять лет провели в скитаниях по Востоку, Греции, островам Архипелага, Малой Азии, Палестине, Сирии. Станные слухи ходили о них: одни уверяли, будто бы алхимик нашел камень мудрецов, превращающий олово в золото; другие - будто бы он выманил у диодария Сирийского для опытов огромные деньги, и, присвоив их, бежал; третьи - что мона Кассандра, по договору с дьяволом и по записи отца своего, откопала древний клад, зарытый на месте финикийского храма Астарты; четвертые, наконец, - что она ограбила в Константинополе старого, несметно богатого, смиренного купца, которого очаровала и опоила приворотными зельями. Как бы то ни было, уехав из Милана нищими, они вернулись богачами.

Бывшая ведьма, ученица Деметрия Халкондилы, воспитанница старой ведьмы Сидонии, Кассандра сделалась Или, по крайней мере, притворилась благочестивой дочерью церкви; строго соблюдала все обряды и посты, посещала церковные службы и щедрыми вкладами заслужила особое покровительство не только сестер монастыря Маджоре, приютивших ее на своей земле, но и самого владыки, архиепископа Миланского. Злые языки утверждали, впрочем (может быть, только из свойственной людям зависти к внезапному обогащению), будто бы она вернулась из своих далеких странствий еще большей язычницей, что ведьма с алхимиком должны были бежать из Рима, спасаясь от Святейшей Инквизиции, и что, рано или поздно, не миновать им костра.

Перед Леонардо мессер Галеотто все также благоговел и считал его своим учителем - обладателем "сокровенной мудрости трижды великого Гермеса". Алхимик привез с собой из путешествия много редких книг, большею частью александрийских ученых времен Птолемея, по математическим наукам. Художник брал у него эти книги, за которыми обыкновенно посылал Джованни, работавшего по соседству в церкви Сан-Маурицио. Через некоторое время Бельтраффио, по старой привычке, стал заходить к ним все чаще и

чаще под какимлибо предлогом, в действительности же только для того, чтобы видеть Кассандру.

Девушка была с ним в первые свидания настороже, притворялась кающейся грешницей, говорила о своем желании постричься; но, мало-помалу, убедившись, что бояться нечего, стала доверчивей.

Они вспоминали беседы свои десять лет назад, когда были почти детьми, на пустынном пригорке над Катаранской плотиной, у стен монастыря св. Редегонды; вспоминали вечер с бледными зарницами, с душным запахом летней воды из канала, с глухим, точно подземным, ворчанием грома, и то, как она предрекала ему воскресение олимпийских богов, и как звала на шабаш ведьм.

Теперь жила она отшельницей; была или казалась больною и почти все время, свободное от служб церков

ных, проводила в уединенной комнате, куда никого не пускала, в одном из немногих уцелевших покоев старого дворца - мрачной зале со стрельчатыми окнами, выходившими в заглохший сад, где безмолвной оградой возвышались кипарисы, и яркий влажный мох покрывал стволы дуплистых вязов. Убранство этой комнаты напоминало музей и книгохранилище. Здесь находились древности, привезенные ею с Востока,- обломки эллинских статуй, псоглавые боги Египта из гладкого черного гранита, резные камни гностиков с волшебным словом Абракас, изображающим триста шестьдесят пять горних небес, византийские пергаменты, твердые, как слоновая кость, с обрывками навеки утраченных произведений греческой поэзии, глиняные черепки с клинообразными ассирийскими надписями, книги персидских магов, закованные в железо, и прозрачно-тонкие, как лепестки цветов, мемфисские папирусы.

Она рассказывала ему о своих странствиях, о виденных чудесах, о пустынном величии храмов из белого мрамора на черных, изъеденных морем, утесах, среди вечно голубых, пахнущих солью, как будто свежестью голого тела Пенорожденной богини. Ионических волн,- о невероятных трудах своих, бедах, опасностях. И однажды, когда он спросил, чего она искала в этих странствиях, зачем собирала эти древности, претерпевая столько мучений,- ответила ему словами отца своего, мессера Луиджи Сакробоско:

- Чтобы воскресить мертвых!

И глаза ее загорелись огнем, по которому узнал он прежнюю ведьму Кассандру.

Она мало изменилась. У нее было все то же лицо, чуждое печали и радости, неподвижное, как у древних изваяний,- широкий, низкий лоб, прямые, тонкие брови, строго сжатые губы, на которых нельзя было представить себе улыбки,- и глаза, как янтарь, прозрачно-желтые. Но теперь, утонченное болезнью или единой, чрезмерно обострившейся, мыслью, лицо это, особенно нижняя часть, слишком узкая, маленькая, с нижнею губою, немного выдавшеюся вперед,- еще яснее выразило суровое спокойствие и в то же время детскую беспомощность. Сухие, пушистые волосы, живые, живее всего лица, точно обладавшие отдельной жизнью, как змеи Медузы, окружали бледное лицо черным ореолом, от которого казалось оно еще бледнее и неподвижнее, алые губы ярче, желтые глаза прозрачнее. И еще неотразимее, чем десять лет назад, влекла к себе Джованни прелесть этой девушки, возбуждавшая в нем любопытство, страх и жалость. Во время путешествия по Греции посетила Кассандра родину своей матери, унылый, маленький городок Мистру, близ развалин Лакедемона, меж пустынных, выжженных холмов Пелопоннеса, где полвека назад умер последний из учителей эллинской мудрости, Гемистос Плетон. Собрала неизданные отрывки его сочинений, письма, благоговейные предания учеников, которые верили, что душа Платона, еще раз сойдя с Олимпа, воплотилась в Плетоне. Рассказывая Джованни об этом посещении, повторила она пророчество, уже слышанное им от нее, в одну из их прошлых бесед у Катаранской плотины и с тех пор часто ему вспоминавшееся,- слова Платона, сказанные, будто бы, столетним старцем-философом за три года до смерти:

"Немного лет спустя после кончины моей, над всеми племенами и народами земными воссияет единая истина, обратятся все во единую веру". Когда же спрашивали его - в какую, во Христову или Магометову,- он отвечал: "Ни в ту, ни в другую, но в новую веру, от древнеязычества не отличную".

Прошло уже более полвека со смерти Платона,- возразил Джованни,- а пророчество не исполняется. Неужели вы все еще верите, мона Кассандра?.. - Истины совершенной,- молвила она

спокойно,- сие было у Плетона. Он во многом заблуждался, ибо многого не знал. - Чего? -спросил Джованни, и вдруг, под ее глубоким, пристальным взглядом, почувствовал, что сердце его падает.

Вместо ответа взяла она с полки старинный пергамент - это была трагедия Эсхила Скованный Прометей - и прочла ему несколько стихов. Джованни понимал немно

го по-гречески, а то, чего не понял, она объяснила ему. Перечислив дары свои людям - забвение смерти, надежду и огонь, похищенный с неба, которые рано или поздно сделают их равными богам - Титан предрекал падение Зевса:

В тот страшный день исполнится над ним Отцовское проклятие, что на сына Обрушил Кронос, падая с небес. И указать от этих бед спасенье Из всех богов могу лишь я один - Я знаю тайну.

Посланник олимпийцев, Гермес, возвещал Прометею:

До той поры не жди конца страданьям, Пока другой не примет мук твоих, Страдалец-бог и к мертвым в темный Тартар Во глубину Аида не сойдет.

- Как ты думаешь, Джованни,- молвила Кассандра, закрывая книгу,- кто этот "Страдалец-бог, сходящий в Тартар"?

Джованни ничего не ответил; ему казалось, что перед ним, точно при свете внезапно блеснувшей молнии, открывается бездна.

А мона Кассандра по-прежнему смотрела на него в упор своими ясными, прозрачными глазами; в это мгновение была она, действительно, похожа на злополучную пленницу Агамемнона, вещую деву Кассандру.

- Джованни,- прибавила она, немного помолчав,- слышал ли ты о человеке, который, более десяти веков назад, так же как философ Платон, мечтал воскресить умерших богов,- об императоре Флавии Клавдии Юлиане? - Об Юлиане Отступнике?

- Да, о том, кто врагам своим галилеянам и себе,- увы! - казался отступником, но не дерзнул им быть, ибо в новые мехи влил старое вино: эллины так же, как христиане, могли бы назвать его отступником...

Джованни рассказал ей, что видел однажды во Флоренции мистерию Лоренцо Медичи Великолепного, которая изображала

мученическую смерть Сан-Джованни и Паоло, двух юношей, казненных за веру Христову Юлианом Отступником. Он даже помнил несколько стихов из этой мистерии, особенно поразивших его,- между прочим, предсмертный крик Юлиана, пронзенного мечом св. Меркурия:

Ты победил. Галилеянин! O Cristo Galileo, tu hai pur vinto!

- Слушай, Джованни,- продолжала Кассандра,- в странной и плачевной судьбе этого человека есть великая тайна. Оба они, говорю я, и кесарь Юлиан, и мудрец Плетон были одинаково не правы, потому что обладали только половиной истины, которая, без другой половины, есть ложь: оба забыли пророчество Титана, что тогда лишь боги воскреснут, когда Светлые соединятся с Темными, небо вверху - с небом внизу, и то, что было Двумя, будет Едино. Этого не поняли они и тщетно отдали душу свою за богов Олимпийских...

Она остановилась, как будто не решалась договорить, потом прибавила тихо:

- Если бы ты знал, Джованни, если бы могла я сказать тебе все до конца!.. Но нет, теперь еще рано. Пока скажу одно: есть бог среди богов олимпийских, который ближе всех других к подземным братьям своим, бог светлый и темный, как утренние сумерки, беспощадный, как смерть, сошедший на землю и давший смертным забвение смерти - новый огонь от огня Прометеева - в собственной крови своей, в опьяняющем соке виноградных лоз. И кто из людей, брат мой, кто поймет и скажет миру, как мудрость венчанного гроздьями подобна мудрости Венчанного Терниями,-Того, Кто сказал: "Я семь длинная виноградная лоза", и так же, как бог Дионис, опьяняет мир Своею кровью? Понял ли ты, о чем я говорю, Джованни? Если не понял, молчи, не спрашивай, ибо здесь тайна, о которой еще нельзя говорить... В последнее время у Джованни явилось новое, дотоле неведомое, дерзновение мысли. Он ничего не боялся, потому что ему нечего было терять. Он чувствовал, что ни вера фра Бенедетто, ни знание Леонардо не утолят тоски его, не разрешат противоречий, от которых душа умирала. Только в темных пророчествах Кассандры чудился ему, быть может, самый страшный, но единственный путь к примирению, и по этому последнему пути

пошел за нею с отвагою отчаяния. и Они сходились все ближе и ближе.

Однажды он спросил ее, зачем она притворяется и скрывает от людей то, что ей кажется истиной? - Не все - для всех,- возразила Кассандра.- Исповедание мучеников, так же, как чудо и знамение, нужно для толпы, ибо лишь те, кто верит не до конца, умирают за веру, чтобы доказать ее другим и себе. Но совершенная вера есть совершенное знание. Разве ты думаешь, что смерть Пифагора подтвердила бы истины геометрии, скрытые им? Совершенная вера безмолвна, и тайна ее выше исповедания, как учитель сказал: "Вы знайте всех, вас же пусть никто не знает".

- Какой учитель?-спросил Джованни и подумал: "Это мог бы сказать Леонардо: он тоже знает всех, а его никто".

Египетский гностик Базилид,-отвечала Кассандра и объяснила, что гностиками - знающими называли себя некие учителя первых веков христианства, для которых совершенная вера и совершенное знание было одно и то же.

И она поведала ему их странные, иногда чудовищные, подобные бреду, сказания.

Особенно поразило его одно из них - учение Александрийских офитов, змеепоклонников о создании мира и человека.

"Надо всеми небесами есть Мрак безымянный, недвижный, нерождаемый, прекраснее всякого света. Отец Непознаваемый, Постер аууша, - Бездна и Молчание. Единородная дочь его. Премудрость божия, отделившись от отца, познала бытие и омрачилась, и восскорбела. И сын ее скорби был Иальдаваоф, созидаящий бог. Он захотел быть один и, отпав от матери, погрузился еще глубже, чем она, в бытие и создал мир плоти, искаженный образ мира духовного, и в нем человека, который должен был отразить величие создателя и свидетельствовать об его могуществе. Но помощники Иальдаваофа, стихийные духи, сумели вылепить из персти только бессмысленную громаду плоти, пресмыкавшуюся, как червь, в первозданной тине. И, когда привели ее к царю своему, Иальдаваофу, дабы вдохнул он в нее жизнь,- Премудрость божия, сжалившись над человеком, отомстила сыну свободы и скорби своей за то, что он отпал от нее, и, вместе с

дыханием плотской жизни через уста Иальдаваофовы вдохнула в человека искру божественной мудрости, полученной ею от отца Непознаваемого. И жалкое создание - перст от персти, прах от праха, на котором творец хотел показать свое всемогущество, стало вдруг неизмеримо выше своего создателя, сделалось образом и подобием не Иальдаваофа, а истинного бога, отца Непознаваемого. И поднял человек из праха лицо свое. И творец, при виде твари, вышедшей из-под власти его, исполнился гнева и ужаса. И устремил свои очи, горевшие огнем поедающей ревности, в самые недра вещества, в первобытную черную тину - и там их мрачный пламень и все лицо его, полное ярости, отразилось, как в зеркале, и этот образ сделался Ангелом Тьмы, Змеевидным. Офиоморфом, ползучим и лукавым. Сатаню - Проклятою Мудростью. И с помощью его создал Иальдаваоф все три царства природы и в самую глубину их, как в смрадную темницу, бросил человека и дал ему закон: делай то и то, не делай того и, ежели преступишь закон, смертью умрешь. Ибо все еще надеялся поработить свою тварь игом закона, страхом зла и смерти. Но Премудрость божия. Освободительница, не покинула человека и. возлюбив, возлюбила его до конца, и послала ему Утешителя. Духа Познания, Змеевидного, Крылатого, подобного утренней звезде. Ангела Денницы, того. о ком сказано: будьте мудры, как змеи". И сошел он к людям и сказал: вкусите и познаете, и откроются глаза ваши, и станете, как боги".

- Люди толпы, дети мира сего,- заключила Кассандра - суть рабы Иальдаваофа и Змея лукавого, живущие под страхом смерти, пресмыкающиеся под игом закона. дети Света, Знающие, гностики, избранники Софии, священные в тайны Премудрости, попирают все законы, поступают все пределы, как духи - неуловимы, как звери - свободны, крылаты, добром не возвышаются и остаются чистыми во зле, как золото в грязи. И Ангел денницы, подобный звезде, мерцающей в утренних сумерках, ведет их сквозь жизнь и смерть, сквозь зло и добро, сквозь все проклятия и ужасы Иальдаваофова мира к матери своей, Софии Премудрости, и через нее - в лоно мрака безымянного, царящего над всеми небесами и безднами, недвижимого, нерождаемого, который прекраснее всякого света, в лоно Отца Непознаваемого. Слушая это предание офитов, Джованни

сравнивал Ильдаваофа с Кронионом, божественную искру Софии с огнем Прометеевым, Змия благого. Ангела светоносного - Люцифера со скованным Титаном. Так, во всех веках и народах - в трагедии Эсхила, в сказаниях гностиков, в жизни императора Юлиана отступника, в учении мудреца Платона - находил он родные отголоски великого разлада и борьбы, наполяВШИХ его собственное сердце. Скорбь углублялась утишалась сознанием того, что за десять веков люди уже страдали, боролись с теми же "двоящимися мыслями", погибали от тех же противоречий и соблазнов, как он.

Бывали минуты, когда он просыпался от этих мыслей, как от тяжелого опьянения или горячечного бреда. И тогда казалось ему, что мона Кассандра притворяется сильной и вещей, посвященною в тайну, а в действительности так же ничего не знает, так же заблудилась, как он, оба они - еще более жалкие, потерянные и беспомощные дети, чем двенадцать лет назад, и этот новый шабаш полубожественной, полусатанинской мудрости - еще безумнее, чем шабаш ведьм, на который некогда звала она его, и который теперь презирала, как забаву черни. Ему сделалось страшно, хотелось бежать. Но было поздно. Сила любопытства, подобно наваждению, влекла его к ней, и он чувствовал, что не уйдет, пока не узнает всего до конца,- спасется или погибнет вместе с нею.

В это время приехал в Милан знаменитый доктор богословия, инквизитор фра Джордже да Казале. Папа Юлий II, встревоженный слухами о небывалом распространении колдовства в Ломбардии, отправил его с грозными буллами. Сестры монастыря Маджоре и покровители, бывшие у мона Кассандры во дворце архиепископа, предупреждали ее об опасности. Фра Джордже был тот самый член Инквизиции, от которого мона Кассандра и мессер Галеотто едва успели бежать из Рима. Они знали, что если бы еще раз попались ему в руки, то никакое покровительство не могло бы их выручить, и решили скрыться во Францию, а ежели надо будет,- дальше: в Англию,, Шотландию.

Утром, дня за два до отъезда, Джованни беседовал с моной Кассандрою, по обыкновению в рабочей комнате ее, уединенной зале дворца Карманьола.

Солнце, проникавшее в окна сквозь густые черные ветви кипарисов, казалось бледным, как лунный свет; лицо девушки-особенно прекрасным и неподвижным. Только теперь, перед разлукой, понял Джованни, как она ему близка.

Он спросил, увидятся ли они еще раз и откроет ли она ему ту последнюю тайну, о которой часто говорила.

Кассандра взглянула на него и молча вынула из шкатулки плоский четырехугольный прозрачно-зеленый камень. Это была знаменитая Tabula Smaragdina - изумрудная скрижаль, найденная, будто бы, в пещере близ города Мемфиса в руках мумии одного жреца, в которого, по преданию, воплотился Гермес Трисмегист, египетский Ор, бог пограничной межи, путеводитель мертвых в царство теней. На одной стороне изумруда вырезано было коптскими, на другой - древними эллинскими письменами четыре стиха: Небо - вверху, небо - внизу, Звезды - вверху, звезды - внизу. Все, что вверху, все и внизу,- Если поймешь, благо тебе.

- Что это значит? - сказал Джованни. - Приходи ко мне ночью сегодня,- проговорила она тихо и торжественно.- Я скажу тебе все, что знаю сама, услышишь,- все до конца. А теперь, по обычаю, перед разлукой, выпьем последнюю братскую чашу. Она достала маленький, круглый, запечатанный воском, глиняный сосуд, из тех, какие употребляются на Дальнем Востоке, налила густого, как масло, вина, странно пахучего, золотисто-розового, в древний кубок из хризолита, с резьбой по краям, изображавшей бога Диониса и вакханок, и, подойдя к окну, подняла чашу, как будто для жертвенного возлияния. В луче бледного солнца на прозрачных стенках оживились розовым вином, словно теплою кровью, голые тела вакханок, славивших пляской бога, увенчанного гроздьями.

- Было время, Джованни,- молвила она еще тише и торжественнее,- когда я думала, что учитель твой Леонардо обладает последнею тайною, ибо лицо его так прекрасно, как будто в нем соединился бог олимпийский с подземным Титаном. Но теперь вижу я, что он только стремится и не достигает, только ищет и не находит, только знает, но не сознает. Он предтеча того, кто идет за ним и кто больше, чем он.- Выпьем же вместе, брат мой, этот прощальный

кубок за Неведомого, которого оба знаем, за последнего Примирителя!

И благоговейно, как будто великое таинство, она выпила чашу до половины и подала ее Джованни. - Не бойся,- молвила,- здесь нет запретных чар. Это вино непорочно и свято: оно из лоз, растущих на холмах Назарета. Это - чистейшая кровь Диониса-Галилеянина.

Когда он выпил, она, положив ему на плечи обе руки с доверчивою ласкою, прошептала быстрым, вкрадчивым шепотом:

- Приходи же, если хочешь знать все, приходи, я скажу тебе тайну, которой никому никогда не говорила,- Мою последнюю муку и радость, в которой мы будем вместе навеки, как брат и сестра, как жених и невеста! И в луче солнца, проникавшем сквозь густые ветви кипарисов, бледном, точно лунном,- так же как в памятную грозовую ночь у Катаранской плотины, в блеске бледных зарниц,- приблизила к лицу его неподвижное, грозное лицо свое, белое, как мрамор изваяний, в ореоле черных пушистых волос, живых, как змеи Медузы, с губами алыми, как кровь, глазами желтыми, как янтарь. Холод знакомого ужаса пробежал по сердцу Бельтраффио, и он подумал: "Белая Дьяволица!"

В условленный час стоял он у калитки в пустынном переулке Делла Винья, перед стеной сада, окружавшего дворец Карманьола.

Дверь была заперта. Он долго стучался. Не отворяли. Подошел с другой стороны, с улицы Сант-Аньезе к воротам соседнего монастыря Маджоре и узнал от привратницы страшную новость: инквизитор папы Юлия II, фра Джордже да Казале появился в Милане внезапно и велел тотчас схватить Галеотто Сакробоско, алхимика, и племянницу его, мону Кассандру, как лиц, наиболее подозреваемых в черной магии.

Галеотто успел бежать. Мона" Кассандра была в застенках Святейшей Инквизиции.

Узнав об этом, Леонардо обратился с просьбами и ходатайствами за несчастную к доброжелателям своим, главному казначею Людовика XII, Флоримонду Роберте и к наместнику французского короля в Милане, Шарлю д'Амбуазу.

Джованни также хлопотал, бегал, носил письма учителя и ходил для разведок в Судилище Инквизиции, которое помещалось около

собора, в Архиепископском дворце.

Здесь познакомился он с главным письмоводителем фра Джордже, фра Микеле да Вальверда, магистром теологии, написавшим книгу о черной магии: "Новейший Молот Ведьм", где, между прочим, доказывалось, что так называемый Ночной Козел - *Hyrcus Nocturnus*, председатель шабаша, есть ближайший родственник козлу, которого некогда эллины приносили в жертву богу Дионису, среди сладострастных плясок и хоров, из коих впоследствии вышла трагедия. Фра Микеле был вкрадчиво любезен с Бельтраффио. Он принял, или делает вид, что принимает живое участие в судьбе Кассандры, верит в ее невинность, и, в то же время, притворяясь поклонником Леонардо, "величайшего из христианских мастеров", как он выражался, расспрашивал ученика о жизни, привычках, занятиях и мыслях учителя. Но, только что речь заходила о Леонардо, Джованни настораживался и скорее умер бы, чем выдал единым словом учителя. Убедившись, что хитрости бесполезны, фра Микеле объявил однажды, что, несмотря на краткий срок знакомства, успел полюбить его, Джованни, как брата, и считает долгом предупредить об опасности, грозящей ему от мессера да Винчи, подозреваемого в колдовстве и черной магии.

- Ложь! - воскликнул Джованни.- Никогда не занимался он черной магией и даже...

Бельтраффио не кончил. Инквизитор посмотрел на него Олгим взором.

- Что хотели вы сказать, мессер Джованни? - Нет, ничего.

- Вы не желаете быть со мной откровенным, друг мой. Я ведь знаю, вы хотели сказать: мессер Леонардо даже не верит в возможность черной магии. - Я этого не хотел сказать,- спохватился Джованни.- Впрочем, если он и не верил, неужели это доказательство виновности?

- Дьявол,- возразил монах с тихой усмешкой,- превосходный логик. Порой самых опытных врагов своих ставит он в тупик. От одной ведьмы узнали мы недавно речь его на шабаше. "Дети мои,- сказал он,- радуйтесь и возродитесь, ибо с помощью новых союзников наших, учеков, которые, отрицая могущество дьявола, тем самым притупляют меч Святейшей Инквизиции, мы в скором

времени одержим совершенную победу и распространим наше царство по всей вселенной".

Спокойно и уверенно говорил фра Микеле о самых невероятных действиях Силы Нечистой, например, о признаках, по которым можно отличить младенцев-оборотней, рожденных от бесов и ведьм: всегда оставаясь маленькими, они гораздо тяжелее обыкновенных грудных детей, весят от 80 до 100 фунтов, постоянно кричат и высасывают молоко пяти-шести кормилиц.

С математической точностью знал число главных властителей Ада - 572, и подданных, младших бесов различного звания - 7.405.926.

Но особенно поразило Джованни учение об инкубах и сукубах, демонах двуполых, принимающих по произволу вид то мужчины, то женщины, дабы, соблазняя людей, вступать с ними в плотское соединение. Монах объяснял ему, как бесы, то уплотняя воздух, то похищая трупы с виселиц, образуют тела для блуда, которые, впрочем, в самых пламенных любовных ласках остаются холодными, точно мертвые. Он приводил слова св. Августина, отрицавшего существование антиподов как богохульную ересь и не сомневавшегося в инкубах и суккубах, некогда, будто бы, чтимых язычниками под именем фавнов, сатиров, нимф, гамадриад и других божеств, обитающих в деревьях, воде и воздухе. - Как в древности,- прибавлял уже от себя фра Микеле,- нечистые боги и богини сходили к людям для скверного смешения, так точно и ныне нетолько младшие, но и старшие, самые могущественные демоны, например, Аполлон и Вакх, могут являться инкубами, Диана или Венера - суккубами.

Из этих слов Джованни мог заключить, что Белая Дьяволица, которая преследовала его всю жизнь, была суккубою - Афродитою.

Иногда приглашал его фра Микеле в судилище, во время делопроизводства: должно быть, все еще надеясь, рано или поздно, найти в нем сообщника и доносчика, зная по опыту, как ужасы инквизиции втягивают. Преодолевая страх и отвращение, Джованни не отказывался присутствовать на допросах и пытках, потому что, в свою очередь, надеялся если не облегчить судьбу Кассандры, то, по крайней мере, что-нибудь узнать о ней.

Отчасти в самом судилище, отчасти, из рассказов инквизитора узнавал Джованни почти невероятные случаи, в которых смешное соединялось с ужасным.

Одна ведьма, еще совсем молоденькая девушка, раскаявшись и вернувшись в лоно Церкви, благословляла истязателей своих за то, что они спасли ее от когтей сатаны, переносила все муки с бесконечным терпением и кротостью, радостно и тихо шла на смерть, веруя, что временное пламя избавит ее от вечного; только умоляла судей, чтобы перед смертью вырезали у нее черта из руки, который, будто бы, вошел в нее в виде острого веретена. Святые отцы пригласили опытного хирурга. Но, несмотря на большие деньги, которые предлагали ему, врач отказался вырезать черта, боясь, чтобы во время операции бес не свернул ему шеи.

Другую ведьму, вдову хлебопека, женщину здоровую и красивую, обвиняли в том, что прижила она, в восемнадцатилетней связи с дьяволом, нескольких оборотней. Эта несчастная во время страшных пыток то молилась, то лаяла собакой, то коченела от боли, немея, и делалась бесчувственной, так что должны были насильно открывать ей рот особым деревянным снарядом, чтобы заставить говорить; наконец, вырвавшись из рук палачей, бросилась на судей, с неистовым воплем: "Я отдала душу мою дьяволу и буду принадлежать ему вовеки!" - и пала бездыханною.

Нареченная тетка Кассандры, мона Сидония, также схваченная, после долгих мучений, однажды ночью, чтобы избежать пыток, подожгла в тюрьме соломенную подстилку, на которой лежала, и задохлась в дыму.

Полоумную старушку-лоскутницу уличили в том, что каждую ночь она ездит на шабаш верхом на своей собственной дочери, с искалеченными руками и ногами, которую, будто бы, черти подковывают. Добродушно и лукаво подмигивая судьям, как будто они были ее сообщниками в заранее условленной шутке, старушка охотно соглашалась со всеми обвинениями, которые взводили на нее. Она была очень зябкою. "Огонек! Огонек! - пролепетала она радостно, захлебываясь от смеха, как очень маленькие дети, и потирая руки, когда подвели ее к пылавшему костру, чтобы сжечь,- дай вам Бог здоровья, миленькие: наконец-то я погреюсь!" Девочка

лет десяти без стыда и страха рассказывала судьям, как однажды вечером, на скотном дворе, хозяйка коровница, дала ей кусок хлеба с маслом, посыпанный чем-то кисло-сладким, очень вкусным. Это был черт. Когда она съела хлеб, подбежал к ней черный кот с глазами, горевшими, как уголья, и начал ластиться, мурлыкая и выгибая спину колесом. Она вошла с ним в ригу и здесь на соломе отдалась ему и много раз, шая, не думая, что это дурно, позволяла ему все, что он хотел. Коровница сказала ей: "Видишь, какой у тебя жених!" - И потом родился у нее большой, величиной с грудное дитя, белый червь с черной головой. Она зарыла его в навоз. Но кот явился к ней, исцарапал ее И человеческим голосом велел кормить ребенка, прожорливого червяка, парным молоком.- Все это рассказывала девочка так точно и подробно, глядя на инквизиторов такими невинными глазами, что трудно было решить, лжет ли она странной, бесцельной ложью, иногда свойственной детям, или бредит. Но особенный, незабываемый ужас возбудила в Джованни шестнадцатилетняя ведьма необычайной красоты, которая на все вопросы и увещевания судей отвечала одним и тем же упорным, непреклонно умоляющим криком: "Сожгите! сожгите меня!" Она уверяла, будто бы дьявол "прохаживается в теле ее, как в собственном доме", когда "он бегают, катаются внутри ее спины, словно крыса в подполье", на сердце у нее становится так жутко, так темно, что, если бы в это время ее не держали за руки или не связывали веревками, она разможила бы себе голову об стену. О покаянии и прощении не хотела слышать, потому что считала себя беременной от дьявола, невозвратно погибшею, осужденною еще при жизни вечным судом и молила, чтобы сожгли ее прежде, чем родится чудовище. Она была сирота и очень богата. После смерти ее огромное имение должно было перейти в руки дальнего родственника, скупого старика. Святые отцы знали, что если бы несчастная осталась в живых, то пожертвовала бы свои богатства на дело Инквизиции, и потому старались ее спасти, но тщетно. Наконец, послали ей духовника, который славился искусством умягчать сердце закоренелых грешников. Когда начал он уверять ее, что нет и быть не может такого греха, которого бы Господь не искупил Своею Кровью, и что Он все пустит, она отвечала своим страшным криком:

"Не простит, не простит,- я знаю. Сожгите меня, или я сама наложу на себя руки!" По выражению фра Микеле, "душа ее алкала святого огня, как раненый олень - источника водного".

Главный инквизитор, фра Джордже да Казале был старичок, сгорбленный, с худеньким, бледным личиком, добрым, тихим и простым, напоминавшим лицо св. Франциска. По словам близко знавших его, это был "кротчайший из людей на земле", великий бессребреник, постник, молчальник и девственник. Порою, когда Джованни вглядывался в это лицо, ему казалось, что, в самом деле, нет в нем злобы и хитрости, что он страдает больше своих жертв и мучит, и сжигает их из жалости, потому что верит, что нельзя иначе спасти их от вечного пламени.

Но иногда, особенно во время самых утонченных пыток и чудовищных признаний, в глазах фра Джордже мелькало вдруг такое выражение, что Джованни не мог бы решить, кто страшнее, кто безумнее - судьи или подсудимые?

Однажды старая колдунья, повивальная бабка, рассказывала инквизиторам, как, нажимая большим пальцем, продавливала темя новорожденным и умертвила этим способом более двухсот младенцев, без всякой цели, только потому, что ей нравилось, как мягкие детские черепа хрустят, подобно яичной скорлупе. Описывая эту забаву, она смеялась таким смехом, от которого мороз пробежал по спине Джованни.- И вдруг почудилось ему, что у старого инквизитора глаза горят точно таким же сладострастным огнем, как у ведьмы. И хотя в следующее мгновение подумал, что ему только померещилось, но в душе его осталось впечатление невысказанного ужаса.

В другой раз, со смиренным сокрушением, признался фра Джордже, что больше всех грехов мучит совесть его то, что много лет назад велел он, "из преступного милосердия, внушенного дьяволом", семилетних детей, заподозренных в блудном смешении с инкубами и суккубами, вместо того, чтобы сжечь, только бить плетью на площади перед кострами, где горели отцы их и матери.

Безумие, которое царствовало в застенках Инквизиции среди жертв и палачей, распространялось по городу. Здравомыслящие люди верили тому, над чем в обыкновенное время смеялись как над

глупыми баснями. Доносы умножались. Слуги показывали на господ своих, жены на мужей, дети на родителей. Одну старуху сожгли только, за то, что она сказала: "Да поможет мне черт, если не Бог!" Другую объявили ведьмой, потому что корова ее, по мнению соседок, давала втрое больше молока, чем следует. В женский монастырь Санта-Мария делла Скала чуть не каждый день после Ave Maria повадился черт под видом собаки и осквернял по очереди всех монахинь, от шестнадцатилетней послушницы до дряхлой игуменьи, не только в кельях, но и в церкви, во время службы. Сестры Санта-Мария так привыкли к черту, что уже не боялись и не стыдились его. И длилось это в течение восьми лет. В горных селениях около Бергамо нашли сорок одну ведьму-людоедку, сосавших кровь и пожиравших мясо некрещеных младенцев. В самом Милане уличили тридцать священников, крестивших детей "не во имя Отца, Сына и Духа Святого, а во имя дьявола"; женщин, которые нерожденных детей своих обрекали сатане; девочек и мальчиков от шести до трех лет, соблазненных дьяволом, продавшихся с ним несказанному блуду: опытные инквизиторы узнавали этих детей по особенному блеску глаз, по темной улыбке и влажным, очень красным губам. Спасти их нельзя было ничем, кроме огня.

И всего страшнее казалось то, что, по мере возраставшей ревности отцов-инквизиторов, бесы не только не прекращали, а напротив, умножали козни свои, как будто входили во вкус и резвились.

В покинутой лаборатории мессера Галеотто Сакробоско нашли необычайно толстого, мохнатого черта, одни уверяли-живого, другие-только что издохшего, но отлично сохранившегося, заключенного, будто бы, в хрустальную чечевицу, и хотя, по исследовании, оказалось, что это был не черт, а блоха, которую алхимик рассматривал сквозь увеличительное стекло, многие все-таки остались при убеждении, что это был подлинный черт, но превратившийся в блоху в руках инквизиторов, дабы надругаться на ними.

Все казалось возможным: исчезла граница между явью и бредом. Ходили слухи о том, что фра Джордже открыл в Ломбардии заговор 12.000 ведьм и колдунов, поклявшихся произвести в течение трех лет

такие неурожаи по всей Италии, что люди принуждены будут пожирать друг друга, как звери.

Сам главный инквизитор, опытный полководец войска Христова, изучивший козни древнего Врага, испытывал недоумение, почти страх перед этим небывалым, возрастающим натиском сатанинского полчища.

- Я не знаю, чем это кончится,- сказал однажды фра Микеле в откровенной беседе с Джованни.- Чем больше мы сжигаем их, тем больше из пепла рождается новых.

Обычные пытки - испанские сапоги, железные колодки, постепенно сжимаемые винтами, так что кости жертв хрустели, вырывание ногтей раскаленными добела клещами - казались игрою в сравнении с новыми утонченными муками, изобретаемыми "кротчайшим из людей", фра Джордже,- например, пыткой бессоницей - *tormentum insomniae*, состоявшею в том, что подсудимых, не давая им уснуть, в течение нескольких дней и ночей гоняли по переходам тюрьмы, так что ноги их покрывались язвами, и несчастные впадали в умоисступление.- Но и над этими муками Враг смеялся, ибо он был настолько сильнее голода, сна, жажды, железа и огня, насколько дух сильнее плоти.

Тщетно прибегали судьи к хитростям: вводили ведьм в застенки задом, чтобы взгляд их не очаровал судью и не внушил ему преступной жалости; перед пыткой женщин и девушек раздевали донага и брили, не оставляя на теле ни волоса, дабы удобнее было отыскивать "дьявольскую печать" - *stigma diabolicum*, которая, скрываясь под кожей или в волосах, делала ведьму бесчувственной; поили и кропили их святою водою; окуривали ладаном орудия пытки, освящали их частицами Проскомидийного Агнца и мощей; опоясывали подсудимых полотняною лентою, длиной тела Господня, подвешивали им бумажки, на которых начертаны были слова, произнесенные на кресте Спасителем.

Ничто не помогало: враг торжествовал над всеми святынями.

Монахини, каявшиеся в блудном сожителстве с дьяволом, уверяли, будто бы он входит в них между двумя Ave Maria, и даже имея Святое Причастие во рту, чувствовали они, как проклятый любовник оскверняет их бесстыднейшими ласками. Рыдая,

сознавались несчастные, что тело их принадлежит ему вместе с душою". Устами ведьм в судилище издевался Лукавый над инквизиторами, изрыгал такие богохульства, что у самых бестрепетных вставляли дыбом волосы, и смущал докторов и магистров теологии хитросплетенными софизмами, тончайшими богословскими противоречиями или же обличал их вопросами, полными такого сердцеведения, что судьи превращались в подсудимых, обвиненные - в обвинителей. Уныние граждан достигло крайней степени, когда распространилась молва о полученном, будто бы, папою доносе, с неопровержимыми доказательствами того, что волк в шкуре овечьей, проникший в ограду Пастыря, слуга дьявола, притворившийся гонителем его, дабы вернее побить стадо Христово, глава сатанинского полчища есть не кто иной, как сам великий инквизитор Юлия II - фра Джордже да Кааале.

По словам и действиям судей Бельтраффио мог заключить, что сила дьявола кажется им равной силе Бога и что вовсе еще неизвестно, кто кого одолеет в этом поединке. Он удивлялся тому, как эти два учения - инквизитора фра Джордже и ведьмы Кассандры - сходятся в своих крайностях, ибо для обоих верхнее небо равно нижнему, смысл человеческой жизни заключался в борьбе двух бездн в человеческом сердце - с тою лишь разницею, что ведьма все еще искала, может быть, недостижимого примирения, тогда как инквизитор раздувал огонь этой вражды и углублял ее безнадежность.

И в образе дьявола, с которым так беспомощно боролся фра Джордже, в образе змееподобного, пресмыкающегося, лукавого, узнавал Джованни помраченный, словно в муутном искажающем зеркале, образ Благого Змия, Крылатого, Офиоморфа, Сына верховной освобождающей мудрости, Светоносного, подобного утренней звезде, Люцифера, или титана Прометея. Бессильная независимость врагов его, жалких слуг Иальдаваофовых, была как бы новой песнью победною Непобедимому. В это время фра Джордже объявил народу назначенное через несколько дней на страх врагам, на радость верным чадам Церкви Христовой, великолепно-празднество- сожжение на площади Бролетто ста тридцати девяти колдунов и ведьм.

Услышав об этом от фра Микеле, Джованни произнес, бледнея: - А мона Кассандра?

Несмотря на притворную общительность монаха, Джованни до сих пор еще не узнал о ней ничего.

- Мона Кассандра,- отвечал доминиканец,- осуждена вместе с другими, хотя достойна злейшей казни. Фра Джордже полагает, что это - самая сильная ведьма из всех, каких он когда-либо видел. Столь непобедимы чары бесчувственности, которые ограждают ее во время пыток, что, не говоря уже о признании или раскаянии, мы так и не добились от нее ни слова, ни стога - даже звука голоса ее не слышали.

И сказав это, посмотрел в глаза Джованни глубоким взором, как бы чего-то ожидая. У Бельтраффио мелькнула мысль покончить сразу - донести на себя, сознаться, что он сообщник моны Кассандры, чтобы погибнуть с нею. Он этого не сделал не из страха, а из равнодушия - странного оцепенения, которое все более овладевало им в последние дни и было похоже на "чары бесчувственности", ограждавшие ведьму от пыток. Он был спокоен, как спокойны мертвые.

Поздно вечером, накануне дня, назначенного для сожжения ведьм и колдунов, сидел Бельтраффио в рабочей комнате учителя. Леонардо кончил рисунок, изображавший сухожилия, мускулы верхней части руки и плеча, тем более для него любопытные, что ими должны были приводиться в движение рычаги летательной машины. Лицо его в этот вечер казалось Джованни особенно прекрасным. Несмотря на первые, недавно, после смерти моны Лизы, углубившиеся морщины, в нем была совершенная тишина и ясность созерцания.

Иногда, подымая глаза от работы, он взглядывал на ученика. Оба молчали. Джованни давно уже ничего не ждал от учителя и ни на что не надеялся.

Для него не могло быть сомнения в том, что Леонардо знает об ужасах Инквизиции, о предстоящей казни моны Кассандры и других несчастных, об его, Джованни, собственной гибели.. Часто спрашивал он себя, что обо всем этом думает учитель.

Окончив рисунок, сбоку на том же листе, над изображением мышц и мускулов плеча, Леонардо сделал надпись: "И ты, человек, в этих рисунках созерцающий дивные создания природы, если считаешь преступным уничтожить мой труд,- подумай, насколько преступнее отнять у человека жизнь, подумай также, что телесное строение, кажущееся тебе таким совершенным, ничто в сравнении с душою, обитающей в этом строении, ибо она, чем бы ни была, есть все-таки нечто божественное. И, судя по тому, как неохотно расстается она с телом, плач и скорбь ее не без причины. Не мешай же ей обитать в созданном теле, сколько сама она пожелает, и пусть коварство или твое злоба не разрушают этой жизни, столь прекрасной, что воистину - кто ее не ценит, тот ее не стоит". Пока учитель писал, ученик с такой же безнадежною отрадою смотрел на тихое лицо его, как заблудившийся в пустыне, умирающий от зноя и жажды путник смотрит на снежные горы.

На следующий день Бельтраффио не выходил из комнаты. Ему с утра недомогалось, болела голова. До вечера пролежал в постели, в полузабытьи, ни о чем не думая.

Когда стемнело, слышался над городом необычайный, не то похоронный, не то праздничный, перезвон колоколов, и в воздухе распространился слабый, но упорный и отвратительный запах гари. От этого запаха у него еще сильнее разболелась голова и стало тошнить. Он вышел на улицу.

День был душный, с воздухом сырым и теплым как в бане, один из тех дней, какие бывают в Ломбардии во время сирокко, поздним летом и ранней осенью. Дождя не было. Но с крыш и с деревьев капало. Кирпичная Мостовая лоснилась. И под открытым небом, в мутно-желтом липком тумане еще сильнее пахло зловонною гарью. Несмотря на позднее время, на улицах былолюдно. шли с одной стороны - с площади Бролетто. Когда вглядывался в лица, ему казалось, что встречные в таком же полузабытьи, как он,- хотят и не могут проснуться.

Толпа гудела смутным тихим гулом. Вдруг, по случайно долетевшим до него отрывочным словам о только что сожженных ста тридцати девяти колдунах и ведьмах, о моне Кассандре, он понял

причину страшного запаха, который его преследовал: это был смрад обгорелых человеческих тел.

Ускорил шаг, почти побежал, сам не зная куда, натываясь на людей, шатаясь, как пьяный, дрожа от озноба И чувствуя, как зловонная гарь, в мутно-желтом, липком тумане, гонится за ним, окутывает, душит, проникает в легкие, сжимает виски тупо-ноющей болью и тошнотой.

Не помнил, как доплелся до обители Сан-Франческо и вошел в келью фра Бенедетто. Монахи пустили, но фра Бенедетто не было - уехал в Бергамо.

Джованни запер дверь, зажег свечу и в изнеможении упал на постель.

В этой смиренной обители, столь ему знакомой, все по-прежнему дышало тишиной и святостью. Он вздохнул свободнее: не было страшного зловония, а был особенный монастырский запах постной оливы, церковного ладана, воска, старых кожаных книг, свежего лаку и тех легких, нежных красок, которыми фра Бенедетто, в простоте сердечной, пренебрегая суетным знанием перспективы и анатомии, писал своих Мадонн с детскими лицами, праведников, осиянных горнею славою, ангелов с радужными крыльями, с кудрями, золотыми как солнце, в туниках голубых как небо. Над изголовьем постели, на гладкой белой стене, висело черное Распятие и над ним подарок Джованни, засохший венчик из алых маков и темных фиалок, собранных в памятное утро в кипарисовой роще, на высотах Фьезоле, у ног Савонаролы, в то время, как братья Сан-Марко пели, играли на виолах и плясали вокруг учителя, как маленькие дети или ангелы.

Он поднял глаза на Распятие. Спаситель все так же распростирал пригвожденные руки, как будто призывая мир в Свои объятия: "придите ко мне, все труждающиеся и обремененные".- Не единая ли это, не совершенная ли истина? - подумал Джованни.- Не упасть ли к ногам Его, не воскликнуть ли: Ей, Господи, верую, помоги моему неверию!

Но молитва замерла на губах его. И он почувствовал, что если бы вечная гибель грозила ему, он не мог бы солгать, не знать того, что

знал,- ни отвергнуть, ни примирить двух истин, которые спорили в сердце его.

В прежнем тихом отчаянии отвернулся он от Распятia -и в то же мгновение почудилось ему, что смрадный туман, страшный запах гари проникает и сюда, в последнее убежище. Закрыв лицо руками.

И ему представилось то, что он видел недавно, хотя не мог бы сказать, было ли то во сне или наяву: в глубине застенка, в отблеске красного пламени, среди орудий пытки и палачей, среди окровавленных человеческих тел - обнаженное тело Кассандры, охраняемое чарами Благого Змия, Освободителя, бесчувственное под орудиями пытки, под железом, огнем и взорами мучителей - нетленное, неуязвимое, как девственно-чистый и твердый мрамор изваяний.

Очнувшись, понял по догорающей свече и числу колокольных ударов на монастырской башне, что несколько часов прошло в забытии и что теперь уже за полночь. Было тихо. Туман, должно быть, рассеялся. Смрадного запаха не было; но сделалось еще жарче. В окне мелькали бледно-голубые зарницы, и, как в памятную грозовую ночь у Катаранской плотины, слышалось глухое, точно подземное, ворчание грома.

У него кружилась голова; во рту пересохло: мучила жажда. Вспомнил, что в углу стоит кувшин с водой. Встал, держась рукой за стену, дотащился, выпил несколько глотков, помочил голову и уже хотел вернуться

на постель, как вдруг почувствовал, что в келье кто-то есть,- обернулся и увидел, что под черным Распятием кто-то сидит на постели фра Бенедетто, в длинной до земли, темной, точно монашеской, одежде с остроконечным куколем, как у братьев "баттути", закрывающим лицо. Джованни удивился, потому что знал, что дверь заперта на ключ,- но не испугался. Испытывал скорее облегчение, как будто только теперь, после долгих усилий, проснулся. Голова сразу перестала болеть.

Подошел к сидевшему и начал всматриваться. Тот встал. Куколь откинулся. И Джованни увидел лицо, недвижимое, белое, как мрамор изваяний, с губами алыми, как кровь, глазами желтыми, как янтарь, окруженное ореолом черных волос, живых, живее самого лица,

словно обладавших отдельною жизнью, как змеи Медузы. И торжественно, и медленно, как бы для заклатья, подняла Кассандра - это была она - руки вверх. Послышались раскаты грома, уже близкого, и ему казалось, что голос грома вторит словам ее:

- Небо - вверху, небо - внизу, Звезды - вверху, звезды - внизу, Все, что вверху, все и внизу,- Если поймешь, благо тебе.

Черные одежды, свившись, упали к ногам ее-и он увидел сияющую белизну тела, непорочного, как у Афродиты, вышедшей из тысячелетней могилы,- как у пенорожденной богини Сандро Боттичелли с лицом Пречистой Девы Марии, с неземною грустью в глазах,- как у сладострастной Леды на пылающем костре Савонаролы. В последний раз взглянул Джованни на Распятие, последняя мысль блеснула в уме его, полная ужасом: "Белая Дьяволица!" - и как будто завеса жизни разорвалась перед ним, открывая последнюю тайну последнего соединения.

Она приблизилась к нему, охватила его руками и сжала в объятиях. Ослепляющая молния соединила небо и землю.

Они опустились на бедное ложе монаха. И всем своим телом Джованни почувствовал девственный холод тела ее, который был ему сладок и страшен, как смерть.

Зороастро да Перетола не умер, но и не выздоровел от последствий своего падения при неудачном опыте с крыльями: на всю жизнь остался он калекою. Говорить разучился, только бормотал невнятные слова, так что никто, кроме учителя, не разумел его. То бродил по дому, не находя себе места, хромая на костылях, огромный, неуклюжий, взъерошенный, как большая птица; то вслушивался в речи людей, как будто стараясь что-то понять; то, сидя в углу, поджав под себя ноги и не обращая ни на кого внимания, быстро наматывал длинную полотняную ленту на круглый брусок - занятие, придуманное для него учителем, так как в руках механика оставалась прежняя ловкость и потребность движения; - строгал деревянные палочки, выпиливал чурки для городков, вырезывал волчки; или целыми часами, в полузабытьи, с бессмысленной улыбкой, раскачиваясь и махая руками, точно крыльями, мурлыкал себе под нос все одну и ту же песенку:

Курлы, курлы, Журавли, орлы Среди солнечной мглы, Где не видно земли, Журавли, журавли... Курлы, курлы.

Потом, глядя на учителя своим единственным глазом, начинал вдруг тихо плакать.

В эти минуты он был так жалок, что Леонардо поскорее отворачивался или уходил. Но совсем удалить больного не имел духу. Никогда, во всех скитаниях, не покидал его, заботился о нем, посылал ему деньги и только что поселялся где-нибудь, брал в свой дом.

Так проходили годы, и этот калека был как бы живым укором, вечною насмешкою над усилиями всей жизни Леонардо - созданием крыльев человеческих.

Не менее жалел он и другого ученика своего, может быть, самого близкого сердцу его - Чезаре да Сесто. Не довольствуясь подражанием, Чезаре хотел быть самим собою. Но учитель уничтожал его, поглощал, претворял в себя. Недостаточно слабый, чтобы покориться, и недостаточно сильный, чтобы победить, Чезаре только безысходно мучился, озлоблялся и не мог до конца ни спастись, ни погибнуть. Подобно Джованни и Астро, был калекою - ни живым, ни мертвым, одним из тех, которых Леонардо "сглазил", "испортил".

Андреа Салаино сообщал учителю о тайной переписке Чезаре с учениками Рафаэля Санти, работавшего в Риме у папы Юлия II над фресками в покоях Ватикана. Многие предсказывали, что в лучах этого нового светила суждено померкнуть славе Леонардо.- Иногда учителю казалось, что Чезаре замышляет измену.

Но едва ли не хуже измены врагов была верность друзей.

Под именем Леопардовой Академии образовалась в Милане школа молодых ломбардских живописцев, отчасти прежних учеников его, отчасти новых пришельцев, бесчисленных, которые плодились, теснились к нему, сами воображая и других уверяя, будто бы идут по следам его. Издали следил он за суетою этих невинных предателей, которые не знали сами что творят. И порой подымалось в нем чувство безгливости, когда он видел, как все, что было в жизни его святого и великого, становится достоянием черни: лик Господень в Тайной Вечери передадутся потомству в снимках, примиряющих его с церковною пошлостью; улыбка Джоконды

бесстыдно обнажается, делаясь похотливой, или же, претворяясь в грезах платонической любви, добрее и глупеет.

Зимой 1512 года, в местечке Рива ди Тренто, на берегу Гардского озера умер Марко-Антонио делла Торре, тридцати лет от роду, заразившись гнилой горячкой от бедняков, которых лечил.

и, Леонардо терял в нем последнего из тех, кто был ему, если не близок, то менее чужд, чем другие, ибо, по мере того, как на жизнь его сходили тени старости,- нить за нитью порывались связи его с миром живых, все большая пустыня и молчание окружали его, так что иногда казалось ему, что он спускается в подземный мрак по узкой темной лестнице, пролагая путь железным заступом сквозь каменные глыбы, "с упрямою суровостью" и с, может быть, безумною надеждою, что там, под землею, есть выход в другое небо. <h2>ШЕСТНАДЦАТАЯ КНИГА. ЛЕОНАРДО, МИКЕЛАНДЖЕЛО и РАФАЭЛЬ</h2>

И папа Лев X, верный преданиям рода Медичи, сумел прослыть великим покровителем искусств и наук. Узнав о своем избрании, он сказал брату своему, Джулиано Медичи:

- Насладимся папскою властью, так как Бог нам ее даровал!

А любимый шут его, монах фра Мариано, с философической важностью прибавил:

- Заживем, святой отче, в свое удовольствие, ибо все прочее вздор!

И папа окружил себя поэтами, музыкантами, художниками, учеными. Всякий, кто умел сочинять в изобилии, хотя бы посредственные, но гладкие стихи, мог рассчитывать на жирную пребенду, на теплое местечко у его святейшества. Наступил золотой век подражателей-словесников, у которых была одна незыблемая вера - в недостижимое совершенство прозы Цицерона и стихов Вергилия.

"Мысль о том,- говорили они,- что новые поэты могут превзойти древних, есть корень всяческого нечестия".

Пастыри душ христианских избегали в проповедях называть Христа по имени, так как этого слова нет в речах Цицерона, монахинь звали весталками. Святой Дух - дыханием верховного Юпитера и просили у папы разрешения причислить Платона к лику святых.

Сочинитель Азолани, диалога о неземной любви, и неимоверно цинической поэмы Приап, будущий кардинал, Пьетро Бембо, признался, что не читает посланий апостола Павла, "дабы не испортить себе слога".

Когда Франциск I, после победы над папою, требовал у него в подарок недавно открытого Лаокоона, Лев X объявил, что скорее расстанется с головой Апостола, мощи коей хранилось в Риме, чем с Лаокооном.

Папа любил своих ученых и художников, но едва ли не больше любил своих шутов. Знаменитого стихокропателя, обжору и пьяницу, Куерно, получившего звание архипоэта, венчал в торжественном триумфе лавро-капустным венком и осыпал его такими же щедротами, как Рафаэля Санти. На роскошные пиры ученых тратил огромные доходы с Анконской Марки, Сполетто, Романьи; но сам отличался умеренностью, ибо желудок его святейшества плохо варил. Этот эпикуреец страдал неизлечимой болезнью - гнойной фистулой. И душу его, так же как тело, разъедала тайная язва - скука. Он выписывал в зверинец свой редких животных из далеких стран, в свое собрание шутов - забавных калек, уродов и помешанных из больниц. Но развлечь его не могли ни звери,

ни люди. На праздниках и пиршествах, среди самых веселых шутов, с лица его не исчезало выражение скуки и безразличности.

Только в политике выказывал он свою истинную природу: был столь же холодно жесток и клятвопреступен, как Борджа. Когда Лев X лежал при смерти, всеми покинутый, монах фра Мариано, любимый шут его, едва ли не единственный из друзей, оставшийся верным ему до конца, человек добрый и благочестивый, видя, что он умирает как язычник, умолял его со слезами: "Вспомните о Боге, оутче святой, вспомните о Боге!" Это была невольная, но самая злая насмешка над вечным насмешником. Несколько дней после приезда в Рим, в приемной папы, во дворце Ватикана, Леонардо ожидал очереди, уже не в первый раз, так как добиться свидания с его святейшеством даже для тех, кого сам он выразил желание видеть, было очень трудно.

Леонардо слушал беседу придворных о предполагаемом триумфе папского любимца, чудовищного карлика Барабалло, которого

должны были возить по улицам на слоне, недавно присланном из Индии. Рассказывали также о новых подвигах фра Мариано, о том, как намерен за ужином, в присутствии папы, вскочив на стол, начал он бегать, при общем хохоте, ударяя кардиналов и епископов по головам и перекидываясь с ними жареными каплунами с одного конца стола на другой, так что струи подливок текли по одеждам и лицам их преподобий.

Пока Леонардо слушал рассказ, из-за дверей приемной слышалась музыка и пение. На лицах, истомленных ожиданием, выразилось еще большее уныние.

Папа был плохим, но страстным музыкантом. Концерты, в которых он всегда сам участвовал, длились бесконечно, так что приходившие к нему по делам, при звуках музыки, впадали в отчаяние.

- Знаете ли, мессере,- проговорил на ухо Леонардо сидевший рядом непризнанный поэт с голодным лицом, тщетно ожидавший очереди в течение двух месяцев,- знаете, какое есть средство добиться свидания с его святейшеством?- Объявить себя шутом. Мой старый друг, знаменитый ученый Марко Мазуро, видя, что ученостью тут ничего не поделаешь, велел папскому камерьеру доложить о себе, как о новом Барабалло - и тотчас приняли его, и он получил все, чего желал.

Леонардо не последовал доброму совету, не объявил себя шутом и снова, не дождавшись, ушел.

В последнее время испытывал он странные предчувствия. Они казались ему беспричинными. Житейские заботы, неудачи при дворе Льва X и Джулиано Медичи не беспокоили его: он давно к ним привык. А между тем зловещая тревога увеличивалась. И особенно в этот лучезарный осенний вечер, когда возвращался он домой от дворца, сердце его ныло, как перед близкой бедой.

Во второй приезд жил он там же, где и в первый, при Александре VI,- в нескольких шагах от Ватикана, позади собора Св. Петра, в узком переулке, в одном из маленьких, отдельных зданий папского Монетного Двора. Здание было ветхое и мрачное. После отъезда Леонардо во Флоренцию оставалось оно в течение нескольких лет необитаемым, отсырело и приняло еще более мрачный вид.

Он вошел в обширный сводчатый покой, с паукообразными трещинами на облупившихся стенах, с окнами, упиравшимися в стену соседнего дома, так что, несмотря на ранний ясный вечер, здесь уже стемнело.

В углу, поджав ноги, сидел больной механик Астро, строгал какие-то палочки и, по обыкновению, раскачиваясь, мурлыкал себе под нос унылую песенку:

Курлы, курлы, Журавли да орлы, Среди солнечной мглы. Где не видно земли - Журавли, журавли... Курлы, курлы.

Сердце Леонардо еще сильнее заняло от вещей тоски. - Что ты, Астро?- спросил он ласково, положив ему руку на голову.

- Ничего,- ответил тот и посмотрел на учителя пристально, почти разумно, даже лукаво.- Я ничего. вот Джованни... Ну, да ведь и ему так лучше. Полетел... - Что ты говоришь, Астро? Где Джованни?- произнес Леонардо и понял вдруг, что вещая тоска, которой ныло сердце его, была о нем, о Джованни. Не обращая более внимания на учителя, больной начал снова строгать.

- Астро,- приступил к нему Леонардо и взял его за руку,- прошу тебя, друг мой, вспомни, что ты хотел сказать. Где Джованни? Слышишь, Астро, мне очень нужно видеть его сейчас!.. Где он? Что с ним?

- Да разве вы еще не знаете?- произнес больной.- Он там, наверху. Утомился... удалился... Он видимо искал и не находил нужного звука, ускользаавшего из памяти. Это бывало с ним часто. Он путал отдельные звуки и даже целые слова, употребляя одно вместо другого.

- Не знаете?- прибавил спокойно.- Ну, пойдем. Я покажу. Только не бойтесь. Так лучше... Встал и, неуклюже переваливаясь на костылях, повел его по скрипучей лестнице. Взошли на чердак.

Здесь было душно от нагретой солнцем черепичной кровли; пахло птичьим пометом и соломой. Из слухового окна проникал косой, пыльный красный луч солнца. Когда они вошли, испуганная стая голубей с шелестом крыльев вспорхнула и улетела.

- Вот,-по-прежнему спокойно молвил Астро, указывая в глубину чердака, где было темно. И Леонардо увидел под одной из поперечных толстых балок Джованни, стоявшего прямо,

неподвижно, странно вытянувшегося и как будто глядевшего на него в упор широко раскрытыми глазами.

- Джованни!- вскрикнул учитель и вдруг побледнел, голос пресекся.

Он бросился к нему, увидел страшно искаженное лицо, прикоснулся к руке его, она была холодна. Тело качнулось: оно висело на крепком шелковом шнурке, одном из тех, какие употреблял учитель для своих летательных машин, привязанном к новому железному крюку, видимо, недавно ввинченному в балку. Тут же лежал кусок мыла, которым самоубийца, должно быть, намылил петлю. Астро, снова забывшись, подошел к слуховому окну и заглянул в него.

Здание стояло на пригорке. С вышины открывался вид на черепичные крыши, башни, колокольни Рима, на волнистую, как море, мутно-зеленую равнину Кампаньи в лучах заходящего солнца, с длинными, черными, коегде обрывавшимися нитями римских акведуков, на горы Альбано, Фраскати, Рокка-ди-Папа, на чистое небо, где реяли ласточки.

Он смотрел, полузакрыв глаза, и, с блаженной улыбкой, раскачиваясь, махал руками, точно крыльями:

Курлы, курлы, Журавли да орлы...

Леонардо хотел бежать, звать на помощь, но не мог пошевелиться и стоял, в оцепенении ужаса, между двумя учениками своими - мертвым и безумным.

Через несколько дней, разбирая бумаги покойного, учитель нашел среди них дневник. Он прочел его внимательно.

Тех противоречий, от которых Джованни погиб, Леонардо не понял, только почувствовал еще яснее, чем когда-либо, что был причиной этой гибели - "сглазил", "испортил" его, отравил плодами Древа Познания.

Особенно поразили его последние строки дневника, писанные, судя по разнице в цвете чернил и почерке, после многолетнего перерыва:

"Намедни, в обители фра Бенедетто, монах, приехавший с Афона, показывал мне в древнем пергаментном свитке, в раскрашенном заставном рисунке, Иоанна Предтечу Крылатого. Таких изображений

в Италии нет; взято с греческих икон.- Члены тонки и длинны. Лик странен и страшен. Тело, покрытое мохнатой одеждой верблюжьего волоса, кажется пернатым, как у птицы.- "Вот, Я посылаю Ангела Моего и он приготовит путь предо Мною, и внезапно пройдет во храм Свой Господь, Которого вы ждете, и Ангел завета. Которого вы желаете. Вот Он идет". Пророк Малахия III, -Но это не ангел, не дух, а человек с исполинскими крыльями.

В 1503 году, в последний год царствования Багряного Зверя, папы Александра VI Борджа, августинский монах Томас Швейниц в Риме говорил о полете Антихриста: "И тогда сидящий на престоле во храме Сионском Бога Всевышнего, Зверь, похитивший с неба огонь, скажет людям: "Зачем смущаетесь и чего хотите? О, род неверный и лукавый, знаменья хотите - и будет вам знамение: се, узрите Сына Человеческого, грядущего на облаках судить живых и мертвых". Так скажет Он и возьмет великие огненные крылья, устроенные хитростью бесовскою, и вознесется в громах и молниях, окруженный учениками своими в образе ангелов,- и полетит". Следовали отрывочные, писанные, видимо, дрожавшею рукою, во многих местах зачеркнутые слова: "Подобие Христа и Антихриста - совершенное подобие. Лик Антихриста в лице Христа, лик Христа в лице Антихриста. Кто отличит? Кто не соблазнится? Последняя тайна - последняя скорбь, какой не было в мире". "В Орвьетском соборе, в картине Лука Синьорелли - развеваемые ветром, складки в одежде Антихриста, летящего в бездну. И точно такие же складки, похожие на крылья исполинской птицы,- за плечами Леонардо, когда стоял он у края пропасти, на вершине Монте-Альбано, над селением Винчи".

На последней странице, в самом низу, опять другим почерком, должно быть, снова после долгого перерыва, было написано:

"Белая Дьяволица - всегда, везде. Будь она проклята! Последняя тайна: два-едино. Христос и Антихристедино. Небо вверху и небо внизу.- Да не будет, да не будет сего! Лучше смерть. Предаю душу мою в руки Твои, Боже мой! Суди меня".

Дневник кончился этими словами. И Леонардо понял, что они были написаны накануне или в самый день самоубийства.

В одном из приемных покоев Ватикана, в так называемой Станца делла Сеньятура, с недавно оконченной стенописью Рафаэля, под

фрескою, изображавшею бога Аполлона среди муз на Парнасе, сидел папа Лев X, окруженный сановниками Римской церкви, учеными, поэтами, фокусниками, карликами, шутами. Огромное тело его, белое, пухлое, как у старых женщин, страдающих водянкою, лицо толстое, круглое, бледное, с белесоватыми лягушачьими глазами навывкате, были безобразны; одним глазом он почти совсем не видел, другим видел плохо, и когда ему надо было что-нибудь рассмотреть, употреблял, вместо приближающего стекла, гра

ненный берилловый очек - "окиале"; в зрячем глазу светился ум, холодный, ясный и безнадежно скупающий. Гордостью папы были руки его, действительно красивые: при каждом удобном случае он выставлял их напоказ и хвастал ими, так же как своим приятным голосом.

После делового приема святой отец отдыхал, беседуя с приближенными о двух новых поэмах.

Обе написаны были безукоризненно изящными латинскими стихами в подражание "Энеиде" Вергилия. Одна под заглавием "Христиада" - переложение Евангелия, с модным в те времена смешением христианских и языческих образов: так. Святое Причастие называлось "божественною пищею, скрытою для слабого Прения людей под видом Цереры и Вакха", то есть хлеба и вина; Диана, Фетида, Эол оказывали услуги Божией Матери; когда архангел Гавриил благовествовал в Назарете, Меркурий подслушивал у двери и передавал эту весть собранию олимпийцев, советуя принять решительные меры.

Другая поэма Фракастора, озаглавленная "Siphilis", посвященная будущему кардиналу Пьетро Бембо, тому самому, который избегал читать послания апостола Павла, дабы "не испортить себе слога", воспевала столь же безупречными стихами во вкусе Вергилия французскую болезнь и способы лечения серными ваннами и ртутной мазью. Происхождение болезни объяснялось, между прочим, тем, что однажды, в древние времена, некий пастух, по имени Siphilis, своими насмешками прогневил бога Солнца, который наказал его недугом, не уступавшим никакому лечению, пока нимфа Америка не посвятила его в свои таинства и не привела к роще целебных гвайяковых деревьев, серному источнику и ртутному

озеру. Впоследствии испанские путешественники, переплыв океан и открыв Новые Земли, где обитала нимфа Америка, также оскорбили бога Солнца, застрелив на охоте посвященных ему птиц, из коих одна провещала человеческим голосом, что за это святотатство Аполлон пошлет им французскую болезнь.

Папа прочел наизусть несколько отрывков из обеих поэм. Особенно удалась ему речь Меркурия перед богами Олимпа о благовестии Архангела и любовная жалоба пастуха Сифила, обращенная к нимфе Америке.

Когда при шепоте восторженных похвал и почтительно сдержанных, как бы нечаянно сорвавшихся, рукоплесканиях он кончил, ему доложили о Микеланджело, недавно приехавшем из Флоренции.. Папа немного нахмурился, но тотчас же велел его принять.

Сумрачный Буонарроти внушал Льву х чувство, подобное страху. Он предпочитал веселого, готового на все, покладистого "доброго малого", Рафаэля. Папа принял Микеланджело со своею неизменною скупающею любезностью. Но, когда художник заговорил о деле, в котором считал себя смертельно обиженным, им данным ему и внезапно отнятом заказе нового мраморного фасада флорентийской церкви Сан-Лоренцо, святой Отец замял разговор и, привычным движением вставив в свой зрячий глаз берилловый очек, посмотрел на него с добродушием, под которым скрывалось насмешливое лукавство, и молвил: - Мессер Микеланджело, есть у нас одно дельце, о котором мы хотели бы знать твое мнение: брат наш, герцог Джулиано, советует нам воспользоваться для какойлибо работы твоим земляком, флорентийцем Леонардо да Винчи. Скажи, сделай милость, что ты думаешь о нем, и какую работу было бы всего пристойнее поручить этому художнику?

Угрюмо потупив глаза и, по обыкновению, мучаясь под устремленными на него любопытными взорами, от непреодолимой робости и сознания своего уродства, Микеланджело молчал. Но папа смотрел на него пристально в берилловый очек, ожидая ответа.

- Вашему святейшество,- произнес, наконец, Буонарроти,- может быть, неизвестно, что многие считают меня врагом мессера да Винчи. Правда это, или нет,- я полагаю, что мне всего менее прилично быть

судьею в этом деле и высказывать какое бы то ни было мнение, дурное или хорошее.

- Клянусь Вакхом,-оживляясь и, видимо, готовя что-то забавное, воскликнул папа,-если бы даже это было действительно так, тем более желали бы мы знать твое мнение о мессере Леонардо, ибо другого кого, а тебя не считаем способным к пристрастию и не сомневаемся, что в суждении о враге сумеешь ты выказать благородство, не меньшее, чем в суждении о друге. Но никогда, впрочем, я не верил и не поверю тому, что вы в самом деле - враги. Полно! Такие художники, как ты и он, не могут не быть выше всякого тщеславия. И что вам делить, из-за чего соперничать? А если и было между вами чтонибудь,- зачем об этом вспоминать? Не лучше ли жить в мире? Говорят, в согласии малое растет, в раздоре умаля

ется великое. И неужели, сын мой, если бы я, твой отец, пожелал соединить ваши руки, неужели ты отказал бы мне, не подал бы ему руки своей?

Глаза Буонарроти блеснули; как это часто бывало с ним, робость мгновенно превратилась в ярость.

- Я не подаю руки изменникам!- проговорил он глухо и отрывисто, едва владея собой.

- Изменникам?- подхватил папа, еще более оживляясь.- Тяжкое обвинение, Микеланджело, тяжкое, и мы уверены, что ты не решился бы высказать его, не имея доказательств...

- Никаких доказательств нет у меня, да их и не надо! Я говорю то, что знают все. Пятнадцать лет был он прихвостнем герцога Моро, того, кто первый призвал на Италию варваров и предал им отечество. Когда же Господь наказал тирана заслуженною казнью и он погиб, Леонардо перешел на службу к еще большему негодяю - Чезаре Борджа, и, будучи гражданином Флоренции, снимал военные карты с Тосканы, дабы облегчить врагу завоевание собственной родины.

- Не судите, да не судимы будете,- молвил папа с тихою усмешкою.- Ты забываешь, друг мой, что мессер Леонардо - не воин, не государственный муж, а только художник. Служители вольных Камен не имеют ли права на большую свободу, чем прочие смертные? Какое дело до политики, до вражды народов и государей - вам, художникам, обитателям области высшей, где нет ни рабов, ни

свободных, ни иудея, ни эллина, ни варвара, ни скифа, но всяческая и во всех-Аполлон? Подобно древним философам, не могли бы ли и вы назвать себя гражданами вселенной, для коих, где хорошо - там и отечество?

- Извините меня, ваше святейшество,- прервал его Микеланджело почти с грубостью.- Я человек простой, не словесный, тонкостей философических не разумею. Белое привык называть белым, черное - черным. И презреннейшим из негодяев кажется мне тот, кто не чтит своей матери, отрекается от родины. Я знаю, мессер Леонардо считает себя выше всех законов человеческих. Но по какому праву? Он все обещает, собирается мир удивить чудесами. Не пора ли и за дело? Где они, чудеса его и знамения? Уж не эти ли шутовские крылья, на которых вздумал лететь один из учеников его, и как дурак, сломал себе шею? Доколе же нам верить ему на слово? Не вправе ли и мы, простые смертные, усомниться и полюбопытствовать, что же такое скрывается, наконец, под всеми загадками его и тайнами?.. Э, да что говорить! В старину, бывало, проходимцев так и величали проходимцами, негодяев негодяями, а нынче зовут их мудрецами, граждаами вселенной, и скоро, кажется, не будет такого плута и бездельника, который бы не корчил из себя бога Гермеса Триждывеликого и титана Прометея!.. Папа, уставившись на Микеланджело своими светлыми лягушачьими глазами, спокойно и холодно наблюдал его, размышляя о тщете всего земного, о суете суетствий, созерцал унижение гордого, ничтожество великого. Он уже мечтал о том, как бы свести обоих соперников, натравить их друг на друга, устроить зрелище невиданное, вроде петушиного боя в исполинских размерах - философскую потеху, которой бы он, любитель всего редкого и чудовищного, наслаждался с таким же эпикурейским, немного брезгливым и скучающим любопытством, как шутов своих, калек, юродивых, обезьян и карликов.

- Сын мой,- произнес, наконец, с тихим, грустным вздохом,- я вижу теперь, что вражда, которой до сей поры не хотелось нам верить, действительно есть между ваМИ, и удивлен, да, признаюсь, удивлен и опечален суждением твоим о мессере Леонардо. Как же так, Микеланджело, помилуй! Мы слышали о нем столько хорошего; не говоря уже о великом искусстве и учености,- сердце, Оворят, у него

такое доброе, что не только людей, но и зверей бессловесных, даже растения жалеет он, не позволяет, чтобы люди причиняли им какой-либо вред,- подобно мудрецам индийским, именуемы" гимнософистами, о коих путешественники рассказывают нам столько чудесного? Микеланджело молчал, отвернувшись. Лицо его порой искажалось злобною судорогой. Он чувствовал, что папа над ним издевается. Стоявший рядом и внимательно следивший за беседою Пьетро Бембо понял, что шутка МОжеТ плохо кончиться: Буонарроти неудобен для игры, затееянной папою. Ловкий царедворец вступился тем охотнее, что и сам недолюбливал Леонардо, по слухам, за его насмешки над словесниками, "подражателями древних", воронами в чужих перьях".

- Ваше святейшество,-произнес он,-может быть, в словах мессера Микеланджело есть доля правды; по крайней мере, о Леонардо ходят слухи столь противоречивые, что, в самом деле, не знаешь порой, чему верить. Тварей, говорят, милует, от мяса не вкушает; а вместе с тем изобретает смертоносные орудия для истребления рода человеческого и любит провожать преступников на казнь, наблюдая в их лицах выражение последнего ужаса. Я слышал также, что ученики его и Марко-Антонио для анатомических сечений не только воровали трупы из больниц, но откапывали их из земли на христианских кладбищах.- Кажется, впрочем, во все времена великим ученым свойственны были необычайные странности: так древние повествуют о знаменитых александрийских естествоиспытателях Эразистрате и Герофиле, которые, будто бы, производили свои анатомические сечения над живыми людьми, преступниками, осужденными на казнь, оправдывая жестокость к людям любовью к знанию, о чем свидетельствует Цельзий: *Herophylus homine odit ut nosset*. Герофил людей ненавидел, чтобы знать...

- Молчи, молчи, Пьетро! С нами сила Господня!- остановил его папа уже в непритворном смятении.- Живых людей резать - славная наука, нечего сказать!.. Никогда не смей нам говорить об этих мерзостях. И ежели мы только узнаем, что Леонардо...

Не кончил и набожно перекрестился. Все толстое, пухлое тело его заколыхалось.

Будучи скептиком. Лев х в то же время был суеверен, как старая женщина. В особенности же боялся черной магии. Одной рукой награждая сочинителей таких поэм, как "Сифилис" и "Приап", другой скреплял полномочия великого инквизитора, фра Джордже да Казале для борьбы с колдунами и ведьмами.

Услышав о краже мертвых тел из могил, вспомнил только что полученный донос, на который сперва не обратил внимания,- одного из людей Джулиано Медичи, немецкого зеркальщика Иоганна, жившего в доме Леонардо и обвинявшего мастера в том, что, под предлогом анатомии, на самом деле, для черной магии, он вырезывает зародыши из трупов беременных женщин.

Ужас папы длился впрочем не долго: по уходе Микеланджело устроен был концерт, в котором особенно удалась его святейшеству трудная ария, что всегда приводило его в доброе расположение духа; затем, во время полдника, учреждая в шутовском совете порядок триумфального шествия карлика Барабалло на слоне, он окончательно развлекся и забыл о Леонардо.

Но на следующий день настоятель Сан-Спирито, где в монастырской больнице художник занимался анатомией, получил строжайшее внушение - не давать ему трупов, не пускать в больничные покои, вместе с напоминанием буллы Бонифация VIII De sepulchris, запрещающей, под страхом церковного отлучения, вскрытие человеческих тел, без ведома Апостолической Курии.

После смерти Джованни Леонардо стал тяготиться пребыванием в Риме.

Неизвестность, ожидание, вынужденное бездействие утомили его. Обычные занятия - книги, машины, опыты, живопись - опротивели.

В долгие осенние вечера, когда в доме, теперь еще более мрачном, наедине с безумным Астро и тенью Джованни, становилось ему слишком жутко, уходил он в гости к мессеру Франческо Веттора, флорентийскому посланнику, который переписывался с Никколо Макиавелли, рассказывал о нем и давал читать его письма художнику.

Судьба по-прежнему преследовала Никколо. Мечта всей жизни его - созданное им народное ополчение, от которого ждал он

спасения Италии, оказалось никуда не годным: при осаде Прато в 1512 году под первыми исланскими ядрами разбежалось оно на глазах его, как стадо баранов. Когда вернулись Медичи, Макиавелли отставили ОТ должности, "низложили, удалили и лишили всего". Вскоре затем открыт был заговор для восстановления Республики и низвержения тиранов. Никколо в нем участвовал. Его схватили, судили, пытали четыре раза подымали на виску. пытки вынес он с мужеством, которого, по собственному признанию, "не ожидал от себя". Отпустив на поруки, оставили под надзором и запретили в течение года переезжать границу Тосканы. Он впал в такую нищету, что должен был покинуть Флоренцию и поселиться на маленьком наследственном клочке земли в горном селении, близ Сан-Кашьяно, милях в десяти от города, по Римской дороге. Но и здесь, после всех испытанных бедствий, не уgomонился: из пламенного республиканца обернулся вдруг столь же пламенным другом тиранов, с искренностью, свойственной ему в этих внезапных превращениях, переходах от одной крайности к другой. Еще сидя в тюрьме, обращался к Медичи с покаянными и хвалебными посланиями в стихах. В книге "О Государе", посвященной Лоренцо Великолепному, племяннику Джулиано, предлагал, как высший образец государственной

мудрости, Чезаре Борджа, тогда уже умершего в изгнании, некогда им же самым столь жестоко развенчанного и теперь снова окруженного ореолом почти сверхчеловеческого величия, сопричисленного к лику бессмертных героев. Втайне чувствовал Макиавелли, что сам себя обманывает: мещанское самодержавие Медичи столь же противно ему, как мещанская республика Содерини; но, уже не в силах будучи отказаться от этой последней мечты, он хватался за нее, как утопающий за соломинку. Больной, одинокий, с незажившими на руках и ногах рубцами от веревок, которыми вздергивали его на дыбу, молил Веттори похлопотать за него у папы. у Джулиано, достать ему "хоть какое-нибудь местечко, потому что бездействие для него страшнее смерти: только бы приняли его опять на службу - он готов на всякую работу, хоть камни ворочать".

Чтобы не надоесть покровителю вечными просьбами и жалобами, Никколо старался иногда позабавить его шутками и рассказами о своих любовных похождениях. В пятьдесят лет, отец голодной семьи, он был или притворялся влюбленным, как школьник. "Я отложил в сторону все умные, важные мысли: ни повествования о подвигах древности, ни разговоры о современной политике не занимают меня: я люблю".

Когда Леонардо читал эти игривые послания, ему приходили на память слова Никколо, однажды сказанные в Романье, при выходе из игорного притона, где кривлялся он, как шут, перед испанскою сволочью: "Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет". Порой и в этих письмах, среди эпикурейских советов, любовных излияний и бесстыдно-цинического смеха над самим собою вырывался крик отчаяния:

"Неужели ни одна живая душа не вспомнит обо мне? Если вы еще любите меня, мессер Франческо, как любили когда-то, то не могли бы видеть без негодования ту бесславную жизнь, которой я теперь живу". В другом письме описывал так свою жизнь: "Охота на дроздов была доселе главным моим развлечением. Я вставал до света, собственноручно прилаживал силки и выходил из дому, нагруженный клетками, уподобляясь Гэте вольноотпущеннику, который с книгами Амфитриона возвращается из гавани. Обыкновенно я брал не меньше двух, не более шести дроздов.- Так провел я сентябрь. Потом и этой забавы не стало, и, сколь ни была она глупа, я пожалел о ней.

Теперь встаю несколько позже, отправляюсь в рощу в ту, которую рубят, остаюсь в ней часа два, осматривая вчерашнюю работу и болтая с дровосеками. Затем иду к колодцу; оттуда в лес, где прежде охотился. Со мной всегда какая-нибудь книга - Данте, Петрарка, Тибулл или Овидий. Читая их страстные жалобы, думаю о собственных делах сердечных и нахожу недолгое, но сладкое забвение в этих грезах. Потом иду в гостиницу на большой Дороге, беседую с проезжими, слушаю новости, наблюдая человеческие вкусы, привычки и прихоти. Когда наступает обеденный час, возвращаюсь домой, сажусь за стол с домашними, утоляю голод теми скромными блюдами, которые позволяют скудные доходы с имения.

После обеда опять бреду в гостиницу. Тут уже в сборе целое общество: Хозяин, мельник, мясник, двое пекарей. Всю остальную часть дня провожу с ними, играя в шашки, кости, крикку. Спорим, горячимся, бранимся, большею частью из-за Пороша, и так шумим, что слышно в Сан-Кашьяно. Вот в какой грязи я утопаю, заботясь об одном, как не заплесневеть окончательно или с ума не сойти от скуки, предоставляя, впрочем, судьбе топтать меня ногами, делать со мной все, что ей угодно, дабы знать наконец, есть ли предел ее бесстыдству.

Вечером иду домой. Но перед тем, чтобы запереться в комнате, снимаю с себя грязное, будничное платье, надеваю придворные или сенаторские одежды и в этом пристойном наряде вступаю в чертоги древности, где великие мудрецы и герои встречают меня с благосклонностью, где питаюсь я пищею, для которой рожден,- не смущаясь, беседую с ними, спрашиваю, узнаю причины их действий, и, по доброте своей, они отвечают мне, как равному. В течение нескольких часов не скучаю, не боюсь ни бедности, ни смерти, забываю все мои страдания и весь живу в прошлом. Потом записываю все, что узнал от них, и сочиняю таким образом книгу "О Государе".

Читая эти письма, Леонардо чувствовал, как Никколо, несмотря на всю противоположность ему, близок. Он вспомнил его пророчество, что судьба у них общая: оба они останутся навеки бездомными скитальцами в этом мире, где "нет никого, кроме черни". В самом деле, жизнь Леонардо в Риме была такая же бесславная, как жизнь Макиавелли в захолустье Сан-Кашьяно - та же скука, то же одиночество, вынужденное бездействие, которое страшнее всякой пытки, то же сознание силы своей и ненужности людям. Так же как Никколо, предоставлял он судьбе топтать его ногами, делать с ним все, что ей угодно, только с большею покорностью, не желая даже знать, есть ли предел ее бесстыдству, ибо давно уже уверился, что этого предела нет.

Лев X, занятый триумфом шута Барабалло, все еще не удосужился принять Леонардо и, чтобы отделаться от него, поручил ему усовершенствовать чеканный станок на папском Монетном Дворе. По обыкновению не брезгая никакой работой, даже самую скучную,

художник исполнил заказ в совершенстве - изобрел такую машину, что монеты, прежде с неровными, зазубренными краями, теперь выходили безукоризненно круглые.

В это время дела его, вследствие прежних долгов, были в таком расстройстве, что большая часть жалованья уходила на уплату процентов. Если бы не помощь Франческо Мельци, который получил от отца наследство, Леонардо терпел бы крайнюю нужду.

Летом 1514 года заболел он римской малярией. Это была первая трудная болезнь во всю его жизнь. Лекарств не принимал, врачей не допускал к себе. Один Франческо ухаживал за ним, и с каждым днем Леонардо привязывался к нему все более и более, ценил простую любовь его, и порой казалось учителю, что Бог послал ему в нем последнего друга, ангела-хранителя, посох бездомной старости.

Художник чувствовал, что о нем забывают, и делал иногда напрасные попытки напомнить о себе. Больной, писал он своему покровителю, Джулиано Медичи, приветственные письма, с обычной в те времена, плохо удававшейся, придворною любезностью:

"Когда узнал я о вашем столь желанном выздоровлении, знаменитейший государь мой, радость моя была столь велика, что она меня самого исцелила, как бы чудом воскресила из мертвых".

К осени малярия прошла. Но все еще оставалось недомогание и слабость. В течение нескольких месяцев после смерти Джованни Леонардо опустился и постарел, как будто за долгие годы.

Странное малодушие, тоска, подобная смертельной усталости, овладевали им все чаще.

По-видимому с жаром принимался иногда за какоенибудь прежде любимое дело - математику, анатомию, живопись, летательную машину - но тотчас бросал; начинал другое, чтобы и его покинуть с отвращением.

В самые черные дни свои вдруг увлекался детскими забавами.

Тщательно вымытые и высушенные бараньи кишки, такие мягкие и тонкие, что могли бы уместиться в горсти руки, соединял через стену с кузнечными мехами, спрятанными в соседней комнате, и, когда они раздувались исполинскими пузырями, так что испуганный зритель должен был отступать и жаться в угол,- сравнивал их с

добродетелью, которая тоже вначале кажется малою, презренною, но, постепенно разрастаясь, наполняет мир.

Огромную ящерицу, найденную в саду Бельведера, облепил красивыми рыбьими и змеиными чешуями, приделал ей рога, бороду, глаза, крылья, наполненные ртутью, трепетавшие при каждом движении зверя, посадил его в ящик, приручил и стал показывать гостям, которые, принимая это чудовище за дьявола, отпрядывали в ужасе.

Или из воска лепил маленьких сверхъестественных животных с крыльями, наполнял теплым воздухом, отчего они делались такими легкими, что подымались и реяли. А Леонардо, наслаждаясь удивлением или суеверным страхом зрителей, торжествовал и в суровых морщинах лица его, в тусклых, печальных глазах мелькало вдруг что-то простодушное, детски веселое, но вместе с тем такое жалкое в этом старом, усталом лице, что сердце у Франческо обливалося кровью.

Однажды нечаянно услышал он, как Чезаре да Сесто говорил, провожая гостей, как учитель вышел из комнаты:

- Так-то, мессеры. Вот какими игрушками нынче мы занимаемся. Что греха таить? Старичок-то наш из ума выжил, в детство впал, бедненький. Начал с крыльев человеческих, кончил летающими восковыми куколками. Гора мышь родила!

И прибавил, рассмеявшись своим злобным, принужденным смехом:

- Удивляюсь я папе: ведь в чем другом, а в шутах да юродивых знает, кажется, толк. Мессер Леонардо истинный клад для него. Они точно созданы друг для друга. Право же, синьоры, похлопочите-ка за мастера, чтобы святой отец принял его на службу. Не бойтесь, останется доволен: старик наш сумеет его утешить лучше самого фра Мариано и даже карлика Барабалло! Шутка эта была ближе к истине, чем можно было думать: когда слухи о фокусах Леонардо, о бараньих кишках, раздуваемых кузнечными мехами, о крылатой ящерице и летающих восковых изваяниях дошли до Льва X, ему так захотелось видеть их, что даже страх, внушаемый колдовством и безбожием Леонардо, папа готов был забыть. Ловкие царедворцы давали понять художнику, что наступило время действовать: судьба посылает ему

случай сделаться соперником не только Рафаэля, но и самого Барабалло в милостях его святейшества. Но Леонардо снова, как уже столько раз в жизни, не внял совету мудрости житейской - не сумел воспользоваться случаем и ухватиться вовремя за колесо Фортуны.

Угадывая чутьем, что Чезаре-враг Леонардо, Франческо предостерегал учителя; но тот не верил.

- Оставь его, не трогай,-заступался он за Чезаре.- Ты не знаешь, как он любит меня, хотя и желал бы ненавидеть. Он такой же несчастный, даже несчастнее, чем...

Леонардо не кончил. Но Мельци понял, что он хотел сказать: несчастнее, чем Джованни Бельтраффио.

- И мне ли судить его?- продолжал учитель.- Я, может быть, сам виноват перед ним... - Вы - перед Чезаре?- изумился Франческо. - Да, друг мой. Ты этого не поймешь. Но мне кажется иногда, что я сглазил, испортил его, потому что, видишь ли, мальчик мой, у меня, должно быть, в самом деле дурной глаз...

И, немного подумав, прибавил с тихою, доброю улыбкою:

- Оставь его, Франческо, и не бойся: он не сделает мне зла и никуда не уйдет от меня, никогда не изменит. А что возмутился он и борется со мной, то ведь это - за душу свою, за свободу, потому что он ищет себя, хочет быть самим собою. И пусть! Помоги ему Господь,- ибо, я знаю, когда он победит, то вернется ко мне, простит меня, поймет, как я его люблю, и тогда я дам ему все, что имею,- открою все тайны искусства и знания, чтобы он, после смерти моей, проповедовал их людям. Потому что, если не он, то кто же?..

Еще летом, во время болезни Леонардо, Чезаре целыми неделями пропадал из дому. Осенью исчез окончательно и более не возвращался.

Заметив его отсутствие, Леонардо спросил о нем Франческо. Тот потупил глаза в смущении и ответил, что Чезаре уехал в Сиену для исполнения спешного заказа. Франческо боялся, что Леонардо станет расспрашивать, почему уехал он, не простившись. Но, поверив или притворяясь, что верит неискусной лжи, учитель заговорил о другом. Только углы губ его дрогнули и опустились с тем выражением горькой брезгливости, которое все чаще в последнее время стало появляться на лице его.

Осень была дождливая. Но в конце ноября наступили солнечные дни, лучезарно-тихие, которые нигде не бывают так прекрасны, как в Риме: пышное увядание осени родственно пустынной великолепию Вечного Города. Леонардо давно уже собирался в Сикстинскую часовню, чтобы видеть фрески Микеланджело. Но все откладывал, словно боялся. Наконец однажды утром вышел из дому вместе с Франческо и направился в часовню. Это было узкое, длинное, очень высокое здание, с голыми стенами и стрельчатыми окнами. На потолке и на сводах были только что оконченные фрески Микеланджело.

Леонардо взглянул на них и замер. Как ни боялся, все-таки не ожидал того, что увидел.

Перед исполинскими образами, как будто видениями - перед Богом Саваофом, отделяющим тьму от света в лоне хаоса, благословляющим воды и растения, творящим Адама из персти, Еву из ребра Адамова; перед грехопадением, жертвой Авеля и Каина, потопом, насмешки Сима и Хама над наготою спящего родителя; перед голыми прекрасными юношами, стихийными демонами, сопровождающими вечную игрою и пляскою трагедию вселенной, борьбу человека и Бога; перед сивиллами и Пророками, страшными гигантами, как будто отягченными сверхчеловеческою скорбью и мудростью; перед Иисусовыми предками, рядом темных поколений, передающих друг Другу бесцельное бремя жизни, томящихся в муках рождения, питания, смерти, ожидающих пришествия Неведомого Искупителя,- перед всеми этими созданиями своего соперника Леонардо не судил, не мерил, не сравнивал, только чувствовал себя уничтоженным. Перебирал в уме свои собственные произведения: погибающая Тайная Вечеря, погибший Колосс, Битва при Ангиари, бесчисленное множество других неоконченных работ - ряд тщетных усилий, смешных неудач, бесславных поражений. Всю жизнь только начинал, собирался, готовился, но доселе ничего не сделал - и к чему себя обманывать?- теперь уже поздно,- никогда ничего не сделает. Несмотря на весь неимоверный труд своей жизни, не был ли он подобен лукавому рабу, зарывшему талант свой в землю?

И в то же время сознавал, что стремился к большему, к высшему, чем Буонарроти,- к тому соединению, к той последней гармонии,

которых тот не знал и знать не хотел в своем бесконечном разладе, возмущении, буйстве и хаосе. Леонардо вспомнил слова моны Лизы о Микеланджело - о том, что сила его подобна бурному ветру, раздирающему горы, сокрушающему скалы пред Господом, и что он, Леонардо, сильнее Микеланджело, как тишина сильнее бури, потому что в тишине, а не в буре - Господь. Теперь ему было яснее, чем когда-либо, что это так: мона Лиза не ошиблась, рано или поздно дух человеческий вернется на путь, указанный им, Леонардо, от хаоса к гармонии, от раздвоения к единству, от бури к тишине. Но все-таки, как знать, на сколько времени останется победа за Буонарроти, сколько поколений увлечет он за собою?

И сознание правоты своей в созерцании делало для него еще более мучительным сознание своего бессилия в действии.

Молча вышли они из часовни.

Франческо угадывал то, что происходило в сердце учителя, и не смел спрашивать. Но, когда заглянул в лицо его, ему показалось, что Леонардо еще больше опустился, как будто сразу постарел, одряхлел на многие годы за тот час, который пробыли они в Сикстинской Капелле.

Перейдя через площадь Сан-Пьетро, они направились по улице Борго-Нуовок мосту Сант-Анжело.

Теперь учитель думал о другом сопернике, быть может, не менее страшном для него, чем Буонарроти - о Рафаэле Санти.

Леонардо видел недавно оконченные фрески Рафаэля, в верхних приемных покоях Ватикана, так называемых Станцах, и не мог решить, чего в них больше,- величия в исполнении, или ничтожества в замысле, неподражаемого совершенства, напоминавшего самые легкие и светлые создания древних, или раболепного заискивания в сильных мира сего? Папа Юлий II мечтал об изгнании французов из Италии: Рафаэль представил его взирающим на изгнание силами небесными оскорбителя святыни, сирийского вождя Элиодора из храма Бога Всевышнего:

Папа Лев X воображал себя великим оратором: Рафаэль прославил его в образе Льва и Великого, увещающего варвара Атиллу отступить от Рима; попавшись в плен французам во время Равеннской битвы. Лев X благополучно спасся: Рафаэль увековечил

это событие под видом чудесного избавления апостола Петра из темницы.

Так превращал он искусство в необходимую часть папского двора, в приторный фимиам царедворческой лести. Этот пришелец из Урбино, мечтательный отрок, с лицом непорочной Мадонны, казавшийся ангелом, слетевшим на землю, как нельзя лучше устраивал свои земные дела: расписывал конюшни римскому банкиру Агостино Киджи, готовил рисунки для его посуды, золотых блюд и тарелок, которые тот, после угощения папы, бросал в Тибр, дабы они больше никому не служили. "Счастливым мальчик" - *fortunato garzon*, как называл его Франчия, достигал славы, богатства, почестей точно играя. Злейших врагов и завистников обезоруживал любезностью. Не притворялся, а был действительно другом всех. И все удавалось ему; дары фортуны как будто сами шли ему в руки: Получил выгодное место покойного зодчего Браманте при постройке нового собора; доходы его росли с каждым днем; кардинал Библиена сватал за него свою племянницу, но он выжидал, так как ему самому обещали кардинальский пурпур. Выстроил себе изящный дворец в Ворго и зажил в нем с царственной пышностью. С утра до ночи толпились у него в передней сановные лица, посланники иностранных государей, желавших иметь свой портрет или, по крайней мере, какую-нибудь картину, рисунок на память. Заваленный работой, отказывал всем. Но просители не унимались, осаждали его. Давно уже не имел он времени кончать своих произведений; только начинал, делал два, три мазка и тотчас передавал ученикам, которые подхватывали и кончали как бы на лету. Мастерская Рафаэля сделалась огромною фабрикою, где ловкие дельцы, как Джулио Романо, превращали холст и краски в звонкую монету с невероятною быстротою, рыночною наглостью. Сам он уже не заботился о совершенстве, довольствуясь посредственным. Служил черни, А она ему служила, принимала его с восторгом, как своего избранника, свое любимое детище, плоть от плоти, кость от кости, порождение собственного духа. Молва объявила его величайшим художником всех веков и народов: Рафаэль стал богом живописи.

И хуже всего было то, что в своем падении он все еще был велик, обольстительно прекрасен, не только для толпы, но и для избранных.

Принимая блестящие игрушки из рук богини счастья, с простодушною беспечностью, оставался чистым и невинным, как дитя. "Счастливый мальчик" сам не ведал, что творит.

И пагубнее для грядущего искусства, чем разлад и хаос Микеланджело, была эта легкая гармония Санти, академически-мертвое, лживое примирение.

Леонардо предчувствовал, что за этими двумя вершинами, за Микеланджело и Рафаэлем, нет путей к будущему - далее обрыв, пустота. И в то же время сознавал, сколь многим оба обязаны ему: они взяли у него науку о тени и свете, анатомию, перспективу, познание природы, человека - и, выйдя из него, уничтожали его.

Погруженный в эти мысли, шел он по-прежнему, словно в забытии, потупив глаза, опустив голову.

Франческо пытался заговорить с ним, но слова замирали каждый раз, как, вглядываясь в лицо учителя, видел на бледных старческих губах выражение тихой бесконечной безразличности.

Подходя к мосту Сант-Анжело, должны они были посторониться, уступая дорогу толпе человек в шестьдесят, пеших и всадников в роскошных нарядах, которая двигалась навстречу по тесной улице Борго-Нуово.

Леонардо взглянул сначала рассеянно, думая, что это поезд какого-нибудь римского вельможи, кардинала или посланника. Но его поразило лицо молодого человека, одетого роскошнее других, ехавшего на белой арабской лошади с позолоченной сбруей, усыпанной драгоценными камнями. Где-то, казалось ему, он уже видел это лицо. Вдруг вспомнил тщедушного, бледного мальчика в черном камзоле, запачканном красками, с истертыми локтями, который лет восемь назад во Флоренции говорил ему с робким восторгом: "Микеланджело недостоин развязать ремень вашей обуви, мессер Леонардо!" - Это был он, теперешний соперник Леонардо и Микеланджело, "бог живописи" - Рафаэль Санти.

Лицо его, хотя все такое же детское, невинное и бессмысленное, уже несколько менее, чем прежде, походило на лицо херувима - едва заметно пополнилось, отяжелело и обрюзгло.

Он ехал из своего палаццо в Борго на свидание к папе в Ватикан, сопровождаемый, по обыкновению, друзьями, учениками и

поклонниками: никогда не случилось ему уезжать из дома, не имея при себе почетной свиты человек в пятьдесят, так что каждый из этих выездов напоминал триумфальное шествие.

Рафаэль узнал Леонардо, чуть-чуть покраснел и, с поспешною, преувеличенную почтительностью, сняв берет, поклонился. Некоторые из учеников его, не знавшие в лицо Леонардо, с удивлением оглянулись на этого старика, которому "божественный" так низко кланяется,- скромно, почти бедно одетого, прижавшегося к стене, чтобы дать им дорогу.

Не обращая ни на кого внимания, Леонардо вперил взор в человека, шедшего рядом с Рафаэлем, среди ближайших учеников его, и вглядывался в него с недоумением, как будто глазам своим не верил: это был Чезаре да Сесто.

И вдруг понял все - отсутствие Чезаре, свою вещую тревогу, неискусный обман Франческо: последний ученик предал его.

Чезаре выдержал взор Леонардо и посмотрел ему в глаза с усмешкою дерзкою и в то же время жалкою, от которой лицо его болезненно исказилось, сделалось страшным, как лицо сумасшедшего.

И не он, а Леонардо, в невыразимом смущении, потупил глаза, точно виноватый. Поезд миновал. Они продолжали путь. Леонардо опирался на руку спутника. Лицо его было бледно и спокойно. Перейдя через мост Сант-Анжело, по улице Деи Коронари, вышли на площадь Навоне, где был птичий рынок.

Леонардо накупил множество птиц - сорок, чижей, малиновок, голубей, охотничьего ястреба и молодого дикого лебедя. Отдал все деньги, которые были при нем, и еще занял у Франческо.

С головы до ног увешанные клетками, в которых щебетали птицы, эти два человека, старик и юноша, обращали на себя внимание. Прохожие с любопытством оглядывались; уличные мальчишки бежали за ними.

Пройдя весь Рим, мимо Пантеона и Траянова Форума, вышли на Эсквилинский холм и через ворота Маджоре - за город, по древней римской дороге. Виа-Лабикана. Потом свернули на узкую пустынную тропинку - в поле.

Перед ними расстилалась необозримая, тихая и бледная Кампанья.

Сквозь пролеты полуразрушенного, увитого плющом акведука, построенного императорами Клавдием, Титом и Веспасианом, виднелись холмы, однообразные, серо

зеленые, как волны вечернего моря; кое-где одинокая черная башня - разоренное гнездо хищных рыцарей; и далее, на краю неба, воздушно-голубые горы, окружавшие равнину, подобные ступеням исполинского амфитеатра. Над Римом лучи заходящего солнца из-за круглых белых облаков сияли длинными широкими снопами. Круторогие быки, с лоснящейся белою шерстью, с умными, добрыми глазами, лениво оборачивая головы на звук шагов, жевали медленную жвачку, и слюна стекала с их черных влажных морд на колючие листья пыльного терновника. Стрекотание кузнечиков в жесткой выжженной траве, шорох ветра в мертвых стеблях чернобыльника над камнями развалин и гул колоколов из далекого Рима как будто углубляли тишину. Казалось,- что здесь, над этой равниною, в ее торжественном и чудном запустении, уже совершилось пророчество Ангела, который "клялся Живущим вовеки, что времени больше не будет".

Выбрали место на одном из пригорков, сняли с себя клетки, поставили их на землю, и Леонардо начал выпускать птиц на свободу.

Это была его любимая с детства забава. Между тем как они улетали с радостным трепетанием и шелестом крыльев, провожал он их ласковым взглядом. Лицо его озарилось тихой улыбкою. В эту минуту, забыв все свои горести, казался он счастливым, как ребенок.

В клетках оставался только охотничий ястреб и дикий лебедь; учитель берег их напоследок.

Присел отдохнуть и вынул из дорожной сумки сверток со скромным ужином - хлебом, печеными каштанами, сухими винными ягодами, фляжку красного орвьетского вина в соломенной плетенке и два рода сыра: козий для себя, сливочный для спутника; зная, что Франческо не любит козьего, нарочно взял для него сливочного.

Учитель пригласил ученика разделить с ним трапезу и начал закусывать, с удовольствием поглядывая на птиц, которые в клетках, предчувствуя свободу, бились крыльями: такими маленькими

пиршествами в поле под открытым небом любил он праздновать освобождение крылатых пленниц.

Они ели молча. Франческо взглядывал на него изредка, украдкой. В первый раз после болезни видел он лицо Леонардо в ярком свете дня, на воздухе, и никогда еще оно ему не казалось таким утомленным и старым. Волосы, уже седеющие, с желтоватым отливом сквозь седину, поредевшие сверху, обнажали крутой, огромный

лоб, изрытый упрямыми, суровыми морщинами, а книзу - все еще густые, пышные - сливались с начинавшейся под самыми скулами, длинною, до середины груди, тоже седеющею, волнистою бородою. Бледно-голубые глаза из глубоких темных впадин под густыми, нависшими бровями глядели с прежнею зоркостью, бесстрашною пытливостью. Но этому выражению как бы сверхчеловеческой силы мысли, воли познания противоречило выражение человеческой слабости, смертельной усталости в болезненных складках ввалившихся щек, в тяжелых старческих мешках под глазами, в немного выдававшейся нижней губе и углах тонкого рта, опущенных с презрительною горечью, с неизъяснимою брезгливостью: это было лицо покорившегося, старого, почти дряхлого титана Прометея.

Франческо смотрел на него, и знакомое чувство жалости овладевало им.

Он заметил, что порой достаточно ничтожной мелочи, чтобы выражение человеческих лиц мгновенно изменилось и открыло неведомую глубину свою: так, во время дороги, когда спутники, ему неизвестные и безразличные, вынимали узелок или сверточек с домашними припасами, садились в стороне и закусывали, немного отвернувшись, с тою стыдливостью, которая свойственна людям за едою, в месте непривычном, среди незнакомых, вдруг, без всякого повода, начинал он испытывать к ним непонятную, странную жалость: они казались ему одинокими и несчастными. Особенно часто бывало это в детстве, но и потом возвращалось. Ничем не сумел бы он объяснить этой жалости, корни которой были глубже сознания. Он почти не думал о ней, но когда она приходила, тотчас узнавал ее и не мог ей противиться.

Так теперь, наблюдая, как учитель, сидя на траве, среди пустых клеток, и поглядывая на оставшихся птиц, режет старым складным

ножом со сломанною костяною ручкою хлеб и тонкие ломтики сыру, кладет их в рот и тщательно, с усилием жует, как жуют старики ослабевшими деснами, так что кожа на скулах движется,- он почувствовал вдруг, что в сердце его подымается эта знакомая жгучая жалость. И она была еще невыносимее, потому что соединялась с благоговением. Ему хотелось упасть к ногам Леонардо, обнять их, рыдая, сказать ему, что, если он отвержен и презрен людьми, то в этом бесСлавии все-таки больше славы, чем в торжестве Рафаэля и Микеланджело.

Но он не сделал этого - не посмел и продолжал смотреть на учителя молча, удерживая слезы, которые сжимали ему горло, и с трудом глотая кусочки сливочного сыра и хлеба.

Окончив ужин, Леонардо встал, выпустил ястреба, потом открыл последнюю, самую большую клетку с лебедем.

Огромная белая птица выпорхнула, шумно и радостно взмахнула порозовевшими в лучах заката крыльями и полетела прямо к солнцу.

Леонардо следил за нею долгим взором, полным бесконечною скорбью и завистью.

Франческо понял, что эта скорбь учителя - о мечте всей жизни его, о человеческих крыльях, о "Великой Птице", которую некогда предсказывал он в дневнике своем: "Человек предпримет свой первый полет на спине огромного Лебедея".

Папа, уступая просьбам брата своего, Джулиано Медичи, заказал Леонардо небольшую картину.

По обыкновению, мешкая и со дня на день откладывая начало работы, художник занялся предварительными опытами, усовершенствованием красок, изобретением нового лака для будущей картины.

Узнав об этом, Лев х воскликнул с притворным отчаянием:

- Этот чудака никогда ничего не сделает, ибо думает о конце, не приступая к началу!

Придворные подхватили шутку и разнесли ее по городу. Участь Леонардо была решена. Лев X, величайший знаток и ценитель искусства, произнес над ним приговор: отныне Пьетро Бембо и Рафаэль, карлик Барабалло и Микеланджело могли спокойно почивать на лаврах: соперник их был уничтожен.

И все сразу, точно сговорившись, отвернулись от него: забыли о нем, как забывают о мертвых. Но отзыв папы все-таки передали. Леонардо выслушал его так равнодушно, как будто давно предвидел и ничего иного не ожидал.

В тот же день ночью, оставшись один, писал он в дневнике своем:

"Терпение для оскорбляемых то же, что платье для зябнувших. По мере того, как холод усиливается, одевайся теплее и ты не почувствуешь холода. Точно так же во время великих обид умножай терпение - и обида не коснется души твоей".

1 января 1515 года скончался король Франции, Людовик XII. Так как сыновей у него не было, ему наследовал ближайший родственник, муж дочери его, Клод де Франс, сын Луизы Савойской, герцог Ангулемский, Франсуа де Валуа, под именем Франциска I.

Тотчас по восшествии на престол юный король предпринял поход для отвоевания Ломбардии; с неимоверною быстротою перевалил через Альпы, прошел сквозь теснины д'Аржантьер, внезапно явился в Италии, одержал победу при Мариньяно, низложил Моретто и вступил в Милан триумфатором.

В это время Джулиано Медичи уехал в Савойю. Видя, что в Риме делать ему нечего, Леонардо решил искать счастья у нового государя и осенью того же года травился в Павию, ко двору Франциска I. Здесь побежденные давали праздники в честь победителей. К устройству их приглашен был Леонардо в качестве механика, по старой памяти, сохранившейся о нем в Ломбардии со времени Моро.

Он устроил самодвижущегося льва: лев этот на одном из праздников прошел всю залу, остановился перед королем, встал на задние лапы и открыл свою грудь, из которой посыпались к ногам его величества белые лилии Франции.

Игрушка эта послужила славе Леонардо более, чем все его остальные произведения, изобретения и открытия.

Франциск и приглашал к себе на службу итальянских ученых и художников. Рафаэля и Микеланджело папа не отпускал. Король пригласил Леонардо, предложив ему 300 экю годового жалованья и маленький замок под Клу в Турене, близ города Амбуаза, между Туром и Блуа. Художник согласился и на шестьдесят четвертом году жизни, вечный изгнанник, без надежды и без сожаления покидая

родину, со старым слугою Вилланисом, служанкою Матуриною, Франческо Мельчи и Зороастро да Перетола в начале 1516 года выехал из Милана во Францию. ' ' " Дорога, особенно в это время года, была трудная - через Пьемонт на Турин, долиной притока По, ДориаРипария, потом сквозь горный проход Коль-де-Фрейус на перевал между Мон-Табором и Мон-Сенисом.

Из местечка Бордонекия выехали ранним, еще темным утром, чтобы добраться до перевала засветло.

Верховые и вьючные мулы, стуча копытами и позвякивая бубенчиками, взбирались узкою тропинкою по краю пропасти.

Внизу, в долинах, обращенных к полдню, уже пахло весною, а на высоте была еще зима. Но в сухом и редком безветренном воздухе холод был мало чувствителен. Утро чуть брезжило. В пропастях, где призрачно белели, как сталактиты, струи замерзших водопадов, и черные верхушки елей по ребрам стремнин торчали из-под снега шершавою щетиною,- лежали тени ночи. А вверху, на бледном небе, снежные громады Альп уже яснили, как будто изнутри освещенные.

На одном из поворотов Леонардо спешил: ему хотелось поближе взглянуть на горы. Узнав от проводников, что боковая пешеходная тропинка, еще более узкая и трудная, ведет к тому же месту, как и проезжая для мулов, он стал взбираться вместе с Франческо на соседнюю кручу, откуда видны были горы.

Когда умолкли бубенчики, сделалось так тихо, как бывает только на самых высоких горах. Путникам слышались удары собственного сердца да изредка протяжный гул обвала, подобный гулу грома, повторяемый многоголосыми откликами.

Они карабкались все выше и выше.

Леонардо опирался на руку Франческо.- И вспомнилось ученику, как много лет назад, в селении Манделло, у подножия горы Кампионе, вдвоем спускались они в железный рудник по скользкой страшной лестнице в подземную бездну: тогда Леонардо нес его на руках своих; теперь Франческо поддерживал учителя. И там, под землею, было так же тихо, как здесь, на высоте.

- Смотрите, смотрите, мессер Леонардо,- воскликнул Франческо, указывая на внезапно у самых ног их открывшуюся пропасть,-опять долина Дориа-Рипария! Уж это, должно быть, в последний раз. Сейчас

перевал, и больше мы ее не увидим. - Вон там Ломбардия, Италия,- прибавил он тихо,

Глаза его блеснули радостью и грустью. Он повторил еще тише: - В последний раз...

Учитель посмотрел в ту сторону, куда указывал Франческо, где была родина,- и лицо его осталось безучастным. Молча отвернулся он и снова пошел вперед, туда, где яснили вечные снега и ледники Мон-Табора, МонСениса, Роччо-Мелоне.

Не замечая усталости, он шел теперь так быстро, что Франческо, который замешкался внизу, у края обрыва, прощаясь с Италией,- отстал от него.

- Куда вы, куда вы, учитель?-кричал ему издали.- Разве не видите - тропинка кончилась! Выше нельзя. Там пропасть. Берегитесь!

Но Леонардо, не слушая, поднимался все выше и выше, твердым, юношески легким, словно окрыленным, шагом, над головокружительными безднами.

И в бледных небесах ледяные громады яснили, вздымаясь, точно исполинская, воздвигнутая Богом, стена между двумя мирами. Они манили к себе и притягивали, как будто за ними была последняя тайна, единственная, которая могла утолить его любопытство. Родные, желанные, хотя от них отделяли его неприступные бездны, казались близкими, как будто довольно было протянуть руку, чтобы прикоснуться к ним, и смотрели на него, как на живого смотрят мертвые - с вечною улыбкою, подобною улыбке Джоконды.

Бледное лицо Леонардо освещалось их бледным отблеском. Он улыбался так же, как они. И, глядя на эти громады ясного льда на ясном, как лед, холодном небе, думал о Джоконде и о смерти, как об одном и том же.

<h2>СЕМНАДЦАТАЯ КНИГА. СМЕРТЬ - КРЫЛАТЫЙ ПРЕДТЕЧА</h2>

В середине Франции, над рекою Луарою, находился королевский замок Амбуаз. Вечером, когда закат угасал, отражаясь в пустынной реке, желтовато-белый туренский камень, из которого построен замок, озаряясь бледнозеленым, точно подводным, светом, казался призрачно легким, как облако.

С угловой башни открывался вид на заповедный лес, луга и нивы по обоим берегам Луары, где весной поля алых маков сливаются с

полями лазурного льняного цвета. Эта равнина, подернутая влажною дымкою, с рядами темных тополей и серебристых ив, напоминала равнины Ломбардии, так же, как зеленые воды Луары напоминали Адду, только та горная, бурная, юная, а эта - тихая, медленная, с мелями, словно усталая, старая.

У подножия замка теснились острые кровли Амбуаза, крытые аспидными плитками, черными, гладкими, блестящими на солнце, с высокими кирпичными трубами. В извилистых улицах, тесных и темных, все дышало Средними Веками, под карнизами, водосточными трубами, в углах окон, дверных косяков и притолок лепились маленькие человечки из того же белого камня, как замок: портреты смеющихся толстых монахов с флягами, четками, с поджатыми ногами в деревянных башмаках, судебных клерков, важных докторов богословия в наплечниках, озабоченных и скопидомных горожан, с туго набитыми мошнами, прижатыми к груди. Точно такие же лица, как у этих изваяний, мелькали по улицам города: все здесь было мещански зажиточно, опрятно, скупорасчетливо, холодно и набожно.

Когда король приезжал в Амбуаз для охоты, городок оживлялся: улицы оглашались лаем собак, топотом коней, звуком рогов; пестрели наряды придворных; по ночам

из дворца слышалась музыка, и белые, словно облачные, стены замка озарялись красным блеском факелов.

Но король уезжал-и снова городок погружался в безмолвие; только по воскресным дням шли к обедне горожанки в белых чепцах из кружева, которое плетут соломенными длинными спицами; но в будни весь город точно вымирал: ни человеческого шага, ни голоса; лишь крики ласточек, реющих между белыми башнями замка, или в темной лавке шелест вертящегося колеса в токарном станке; да в весенние вечера, когда веяло свежестью тополей Из пригородных садов, мальчики и девочки, играя чинно, как взрослые, становились в кружок, брались за руки, плясали и пели старинную песенку о Сен Дени, святителе Франции. И в прозрачных сумерках яблони из-за каменных стен роняли бело-розовые лепестки свои на головы детей. Когда же песня умолкала, наступала вновь такая тишина, что по всему городу слышался лишь мерный медный бой часов над воротами

башни Орлож, да крики диких лебедей на отмелях Луары, гладкой, как зер кало, отражавшей бледно-зеленое небо. К юго-востоку от замка, минутах в десяти ходьбы, ПО дороге к мельнице Сен-Томе, находился другой маленький замок, Дю Клу, принадлежавший некогда дворецкому и оруженосцу короля Людовика XI.

Высокая ограда с одной стороны, речка Амас, приток Луары, с другой,- окружали эту землю. Прямо перед домом влажный луг спускался к речке, справа возвышалась голубятня; ивы, вербы, орешник переплетались ветвями, и вода в их тени, несмотря на быстрое течение, казалась неподвижною, стоячею, как в колодце или в пруде. В темной зелени каштанов, ильм и вязов выделялись розовые стены кирпичного замка с белою зубчатою каймою из туренского камня, обрамлявшею углы стен, стрельчатые окна и двери. Небольшое здание с остроконечной аспидною крышею, с крохотной часовенкой справа от главного входа, с восьмигранною башенкою, в которой была деревянная витая лестница, соединявшая восемь нижних покоев с таким же числом верхних, напоминало виллу или загородный дом. Перестроенное лет сорок назад, снаружи казалось оно еще новым, веселым и приветливым.

В этом замке Франциск 1 поселил Леонардо да Винчи.

Король принял художника ласково, долго беседовал с ним о прежних и будущих работах его, почтительно называл своим "отцом" и "учителем".

Леонардо предложил перестроить замок Амбуаз и соорудить огромный канал, который должен был превратить соседнюю болотистую местность Солонь, бесплодную пустыню, зараженную лихорадками, в цветущий сад, связать Луару с руслом Соны у Макона, соединить через область Лиона сердце Франции - Турень с Италией и открыть таким образом новый путь из Северной Европы к берегам Средиземного моря. Так мечтал Леонардо облагодетельствовать чужую страну теми дарами знания, от которых отказалась его родина.

Король дал согласие на устройство канала, и почти тотчас по приезде в Амбуаз художник отправился исследовать местность. Пока Франциск охотился, Леонардо изучал строение почвы в Солони у Роморантена, течение притоков Луары и, Шерры, измерял уровень вод, составлял чертежи и карты.

Странствуя по этой местности, заехал он однажды в Лош, небольшой городок к югу от Амбуаза, на берегу реки Эндр, среди привольных туренских лугов и лесов. Здесь был старый королевский замок с тюремною башнею, где восемь лет томился в заточении и умер герцог Ломбардии Лодовико Моро.

Старый тюремщик рассказал Леонардо, как Моро пытался бежать, спрятавшись в телеге под ржаною соломой; но, не зная дорог, заблудился в соседнем лесу; на следующее утро настигла погоня, и охотничьи собаки нашли его в кустах.

Последние годы провел Миланский герцог в благочестивых размышлениях, молитвах и чтении Данте, единственной книги, которую позволили ему взять из Италии. В пятьдесят лет он казался уже дряхлым стариком. Только изредка, когда приходили слухи о переворотах политики, глаза его вспыхивали прежним огнем, 17-го мая 1508 года, после недолгой болезни, он тихо скончался.

По словам тюремщика, за несколько месяцев до смерти, Моро изобрел себе странную забаву: выпросил кистей, красок и начал расписывать стены и своды темницы. На облупившейся от сырости известке Леонардо нашел кое-где следы этой живописи - сложные узоры, полосы, палочки, крестики, звезды, красные по белому, желтые по голубому полю, и среди них большую голову римского воина в шлеме, должно быть, неудачный портрет самого герцога, с надписью на ломаном французском языке: "Девиз мой в плену и страданиях: мое оружие - мое терпение".

Другая, еще более безграмотная, надпись шла по всему потолку, сначала огромными трехлопастными желтыми буквами старинного уставного письма: *Celui qui -*

Затем, так как места не хватило, мелкими, тесными: - *n'est pas content*. "Тот, кто - несчастен". Читая эти жалобные надписи, рассматривая неуклюжие рисунки, напоминавшие те каракули, которыми школьники марают тетради, художник вспоминал, как, много лет назад, любовался Моро, с доброю улыбкою, лебедями во рву Миланской крепости. "Как знать,-думал Леонардо,-не было ли в душе этого человека любви к прекрасному, которая оправдывает его перед Верховным Судом?"

Размышляя о судьбе злополучного герцога, вспомнил он и то, что слышал некогда от путешественника, приехавшего из Испании, о гибели другого покровителя своего, Чезаре Борджа.

Преемник Александра VI, папа Юлий II изменнически выдал Чезаре врагам. Его отвезли в Кастилью и заточили в башне Медина дель Кампо. Он бежал с ловкостью и отвагою неимоверною, спустившись по веревке из окна темницы, с головокружительной высоты. Тюремщики успели перерезать веревку. Он упал, расшибся, но сохранил достаточно присутствия духа, чтобы, очнувшись, доползти до лошадей, приготовленных сообщниками, и ускакать. Явился в Памплону ко двору зятя своего, короля Наваррского, и поступил к нему на службу кондотьером. При вести о побеге Чезаре ужас распространился в Италии. Папа трепетал. За голову герцога назначили десять тысяч дукатов. Однажды зимним вечером 1507 года в стычке с французскими наемниками Бомона, под стенами Вианы, врезавшись во вражий строй, Чезаре был покинут своими, загнан в овраг, русло высохшей реки, и здесь, как затравленный зверь, обороняясь до конца с отчаянною храбростью, пал, наконец, пронзенный больше чем двадцатью ударами. Наемники Бомона, прельстившись пышностью доспехов и платья, сорвали их с убитого и оставили голый труп на дне оврага. Ночью, выйдя из крепости, наваррцы нашли его и долго не могли признать. Наконец, маленький паж Джуанико узнал господина своего, бросился на мертвое тело, обнял его и зарыдал, потому что любил Чезаре.

Лицо умершего, обращенное к небу, было прекрасно: казалось, он умер так же, как жил,- без страха и без раскаяния.

Герцогиня Феррарская, мадонна Лукреция Борджа всю жизнь оплакивала брата. Когда она умерла, нашли на теле ее власяницу.

Молодая вдова Валентине, французская принцесса Шарлотта д'Альбре, которая в немного дней, проведенных с Чезаре, полюбила его, подобно Гризельде, любовью верною до гроба, узнав о смерти мужа, поселилась вечною затворницей в замке Ла-Мотт-Фельи, в глубине пустынного парка, где ветер шелестел сухими листьями, и выходила из покоев, обитых черным бархатом, только для того, чтобы раздавать милостыню в окрестных селениях, прося бедняков помолиться за душу Чезаре.

Подданные герцога в Романье, полудикие пастухи и земледельцы в ущельях Апеннин, также сохранили о нем благодарную память. Долго не хотели они верить, что он умер, ждали его, как избавителя, как бога, и надеялись, что рано или поздно вернется он к ним, восстановит на земле правосудие, низвергнет тиранов и защитит народ. Нищие певцы по городам и селам распевали "слезную жалобу о герцоге Валентине", в которой был стих:

Fe cose extreme, ta senza misura.- Дела его были преступны, но безмерно велики.

Сравнивая с жизнью этих двух людей, Моро и Чезаре, полной великого действия и промелькнувшей, как тень, без следа, свою собственную жизнь, полную великого созерцания, Леонардо находил ее менее бесплодной и не роптал на судьбу.

Перестройка замка в Амбуазе, сооружение канала в Солони кончились так же, как почти все его предприятия - ничем.

Убеждаемый благоразумными советниками в невыполнимости слишком смелых замыслов Леонардо, король, мало-помалу, охладел к ним, разочаровался и скоро забыл о них вовсе. Художник понял, что от Франциска, несмотря на всю его любезность, не следует ждать большего, чем от Моро, Чезаре, Содерини, Медичи, Льва X. Последняя надежда быть понятым, дать людям хоть малую часть того, что он копил для них всю жизнь, изменила ему, и он решил уйти, теперь уже безвозвратно, в свое одиночество-отречься от всякого действия.

Весною 1517 года вернулся в замок Дю Клу, больной, изнуренный лихорадкой, схваченной в болотах СолОНИ. К лету стало ему легче. Но совершенное здоровье никогда уже не возвращалось.

Заповедный лес Амбуаза начинался почти у самых стен Дю Клу, за речкой Амасом.

Каждый день после полдника выходил Леонардо из дому, опираясь на руку Франческо Мельци, так как все еще был слаб, пустынную тропинкою углублялся в чащу леса и садился на камень. Ученик ложился на траве, у ног его и читал ему Данте, Библию, какого-либо древнего философа.

Кругом было темно; лишь там, где луч солнца пронизывал тень, на далекой прогалине, пышный, дотоле невидимый, цветок вспыхивал

вдруг, как свеча, лиловым или красным пламенем, и мох в дупле поваленного бурей, полусгнившего дерева, загорался изумрудом.

Лето стояло жаркое, грозное; но тучи бродили по небу, не проливаясь дождем.

Когда, прерывая чтение, Франческо умолкал, в лесу наступала тишина, как в самую глухую полночь. Одна лишь птица, должно быть, мать, потерявшая птенца, повторяла унылую жалобу, точно плакала. Но и она умолкала, наконец. Делалось еще тише. Парило. От запаха прелых листьев, грибов, душной сырости, гнили дыхание спиралось. Чуть слышался гул отдаленного, словно подземного, грома.

Ученик подымал глаза на учителя: тот сидел неподвижно, точно в оцепенении, и, прислушиваясь к тишине, смотрел на небо, листья, камни, травы, мхи прощальным взором, как будто в последний раз перед вечною разлукою.

Мало-помалу оцепенение, обаяние тишины овладевало и Франческо. Он видел, как сквозь сон, лицо учителя, и ему казалось, что лицо это уходит от него все дальше, погружается все глубже в тишину, как в темный омут. Хотел очнуться и не мог. Становилось жутко, как будто приближалось что-то роковое, неизбежное, как будто должен был раздаться в этой тишине оглушающий крик бога Пана, от которого все живое бежит в сверхъестественном ужасе. Когда же, наконец, усилием воли преодолевал он оцепенение,- тоска предчувствия, непонятная жалость к учителю сжимали ему сердце. Робко и молча припадал он губами к руке его.

И Леонардо смотрел на него и тихо гладил по голове, как испуганного ребенка, с такою печальною ласкою, что сердце Франческо сжималось еще безнадежнее. В эти дни художник начал странную картину. Под выступом нависших скал, во влажной тени, среди зреющих трав, в тиши бездыханного полдня, полного большею тайною, чем самая глухая полночь, бог, венчанный гроздьями, длинноволосый, женоподобный, с бледным и томным лицом, с пятнистою шкурою лани на чреслах, с тирсом в руке, сидел, закинув ногу на ногу, и как будто прислушивался, наклонив голову, весь - любопытство, весь - ожидание, с неизъяснимою улыбкою указывая пальцем туда, откуда доносился звук,- может быть, песня менад, или

гул отдаленного грома, или голос великого Пана, оглушающий крик, от которого все живое бежит в сверхъестественном ужасе.

В шкатулке покойного Бельтраффио нашел Леонардо резной аметист, должно быть, подарок моны Кассандры, с изображением Вакха.

В том же ящике были отдельные листки со стихами из Вакханок Еврипида, переведенными с греческого и списанными рукою Джованни. Леонардо несколько раз перечитывал эти отрывки.

В трагедии Вакх, самый юный из богов Олимпа, сын Громовержца и Семелы, является людям в образе женоподобного, обольстительно прекрасного отрока, пришельца из Индии. Царь Фив, Пентей, велит схватить его, дабы предать казни за то, что под видом новой вакхической мудрости проповедует он людям варварские таинства, безумие кровавых и сладострастных жертв.

"О, чужеземец,- говорит с насмешкою Пентей неузнанному богу,- ты прекрасен и обладаешь всем, что нужно для соблазна женщин: твои длинные волосы падают по щекам твоим, полные негою; ты прячешься от солнца, как девушка, и сохраняешь в тени белизну лица твоего, дабы пленять Афродиту".

Хор Вакханок, наперекор нечестивому царю, прославляет Вакха - "самого страшного и милосердного из богов, дающего смертным в опьянении радость совершенную". На тех же листах, рядом со стихами Еврипида, сделаны были рукой Джованни Бельтраффио выписки из Священного Писания. Из Песни Песней: "Пейте и опьянимся, возлюбленные". Из Евангелия:

"Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в царствии Божием.

Я семь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - виноградарь.

Кровь Моя истинно есть питье. Пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную. Кто жаждет, иди ко Мне и пей".

Оставив неконченным Вакха, Леонардо начал другую картину, еще более странную - Иоанна Предтечу.

С таким для него небывалым упорством и с такой поспешностью работал он над ней, как будто предчувствовал, что дни его сочтены, сил уже немного, с каждым днем все меньше и меньше, и торопился высказать в этом Последнем создании самую заветную тайну свою -

ту, о которой молчал всю жизнь не только перед людьми, но и перед самим собою.

Через несколько месяцев работа подвинулась настолько, что виден был замысел художника. Глубина картины напоминала мрак той Пещеры, возбуждавшей страх и любопытство, о которой некогда рассказывал он моне Лизе Джоконде. Но мрак этот, казавшийся сперва непроницаемым,- по мере того, как взор погружался в него, делался прозрачным, так что самые черные тени, сохраняя всю свою тайну, сливались с самым белым светом, скользили и таяли в нем, как дым, звуки дальней музыки. И за тенью, за светом являлось то, что не свет и не тень, а как бы "светлая тень" или темный свет", по выражению Леонардо. И, подобно чуду, действительнее всего, что есть, подобно призраку, но живее самой жизни, выступало из этого светлого мрака лицо и голое тело женоподобного отрока, обольстительно Прекрасного, напоминавшего слова Пентея: "Длинные волосы твои падают по щекам твоим, полным негою; ты прячешься от солнца, как девушка, и сохраняешь в тени белизну лица твоего, дабы пленять Афродиту". Но, если это был Вахх, то почему же вместо небриды, пятнистой шкуры лани, чресла его облекала одежда верблюжьего волоса? Почему, вместо тирса вакхических оргии, держал он в руке своей крест из тростника пустыни, праобраз Креста на Голгофе, и, склоняя голову, точно прислушиваясь, весь - ожидание, весь - любопытство, указывал одной рукой на Крест, с не то печальной, не то насмешливой улыбкой, другой - на себя, как будто говорил: "Идет за мной сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его".

Весной 1517 года происходили в Амбуазе торжества по случаю рождения сына у Франциска 1. В крестные отцы приглашен был папа. Он прислал племянника своего, Джулианова брата, Лоренцо Медичи, герцога Урбинского, обрученного с французскою принцессою Мадлен, дочерью герцога Бурбонского.

Среди послов различных государств Европы на эти торжества ожидался и русский - Никита Карачаров из Рима, где находился при дворе его святейшества.

Лев х давно вступил в сношения с великим князем Московии, Василием Иоанновичем, рассчитывая на него, как на

могущественного союзника в Лиге европейских держав против султана Селима, который, усилившись после завоевания Египта, грозил нашествием Европе. Папа обольщал себя и другою надеждою - на воссоединение Церквей, и, хотя великий князь ничем не оправдывал этой надежды, Лев х отправил в Москву двух пронырливых доминиканцев, братьев, Шомбергов. Римский первосвященник клялся не нарушать обрядов и догматов Церкви восточной, только бы согласилась Москва признать духовное главенство Рима, обещал утвердить независимого русского патриарха, венчать великого князя королевскою короною и, в случае завоевания Константинополя, уступить ему этот город. Находя выгодными заискивания папы, великий князь отправил к нему двух послов, Дмитрия Герасимова и Никиту Карачарова - того самого, который двадцать лет назад, проездом через Милан, вместе с Даниилом Мамыровым, присутствовал на празднике Золотого Века и беседовал с Леонардо о Московии.

Дмитрий Герасимов, по прозвищу Митя Толмач, человек "искусный в священных книгах" и опытный в делах посольских, в молодости своей, по поручению владыки Новгородского, Геннадия, ездил в Италию, "провел два лета, неких ради нужных изысканий", в Венеции, Риме, Флоренции и привез оттуда в Новгород собранные им сведения по вопросу о трегубой и сугубой аллилуйе, пасхалию на восьмую тысячу лет и знаменитую "Повесть о Белом Клобуке". Впоследствии, уже в глубокой старости, тот самый Герасимов сообщал сведения о России итальянскому писателю Паоло Джовио. Главная цель русского посольства в Рим выражена была в наказе великого князя: "добывать в Москву рудопатцев, муролой (зодчих), также мастера хитрого, который бы умел к городам приступать, да другого мастера, который умел бы из пушек стрелять, да каменщика хитрого, который бы умел палаты ставить, да серебряного мастера, который бы умел большие сосуды делать, да чеканить, да писать на сосудах; также добывать лекаря органного жреца".

Старшим писцом у Карачарова служил подьячий ПоКого Двора, Илья Потапыч Копыла, старик лет шестидесяти. При нем было двое младших писцов: Евтихий Паисиевич Гагара и двоюродный

племянник Ильи Потапычаа, Федор Игнатьевич Рудометов, по прозвищу Федька жареный.

Всех троих сближала любовь к иконописному художеству: Федор и Евтихий сами были добрые мастера, а Илья Потапыч тонкий знаток и ценитель. Сын бедной вдовы, просвирни при церкви Благовещения в Угличе, Евтихий, после смерти матери, остался сиротой, принят был на воспитание пономарем той же церкви, Вассианом Елеазоровым, и в отроческих летах отдан в научение иконного воображения" некоему старцу прохору из Городца, человеку праведному, но мастеру искусному, о котором можно было сказать то же, что сказано в иконописном подлиннике о преподобном Аннисии Сийском: "не хитр был мудростью сею преподобный, но препросто иконописание его было, более в посте и в молитве упражнялся, восполняя сими недостаток хитрости".

От старца Прохора перешел Евтихий к иноку Даниле неверному, который расписывал церкви в Спасо-Андрониковом монастыре, ученику величайшего из древних веских мастеров, Андрея Рублева. Пройдя все ступени науки от услуг "ярыжного" - простого работника, носившего воду, и терщика красок до "знаменщика" - рисовальщика, Евтихий, благодаря природному дару, достиг такого мастерства, что приглашен был в Москву писать "Деисное тябло" в Мироварной палате патоаршего дома. Деисус- икона или фреска, на которой изображаются: в центре- Христос, справа от Него - Богоматерь, слева - Иоанн Креститель Тябло - ряд икон.

Здесь подружился он с Федором Игнатьевичем Рудометовым, Федькою Жареным, тоже молодым иконописцем и "преоспективного дела мастером добрым", который расписывал стены той же палаты "травным письмом по золоту".

Рудометов ввел товарища в дом боярина Федора Карпова, жившего у Николы на Болвановке. В хорах этого боярина Федька писал на потолке - "подволоке" столовой избы "звездочетное небесное движение, двенадцать месяцев и беги небесные", также "бытейские и преоспективные разные притчи" и "цветные и разметные травы", и "левчата", то есть ландшафты, наперекор завету старых мастеров, запрещавших иконописцам изображать какиелибо предметы и лица, кроме священных.

Федор Карпов находился в дружеских сношениях с немцем Николаем Булевым, любимым врачом великого князя Василия Ивановича. Этот Булев, "хульник и латынномудренник", по выражению Максима Грека, "писал развращенно на православную веру", проповедуя соединение церквей. Благочестивые московские люди утверждали, будто бы, под влиянием немчина Булева, и боярин Федор "залатынился", начал "прилежать звездозаконию, землемерию" - геометрии, "остроумии" - астрономии и чародейству, и чернокнижию, и "многим эллинским баснотворениям", стал держаться книг еретических, церковью отреченных, и "всяких иных составов и мудростей бесовских, которые прелести от Бога отлучают". Обвиняли его и в ереси жидовской. Боярин Федор полюбил молодых иконописцев, работавших в доме его, Федьку Рудометова и Тишу Гагару. Полагая, что странствие в чужие земли принесет большую пользу мастерству их, он выхлопотал им должности младших писцов при Посольском Дворе.

Уже в Москве, в доме Карпова, среди заморских диговин, отреченных книг и вольнодумных толков об учении жидовствующих, Федька пошатнулся в вере. А в чужой земле, среди чудес тогдашних итальянских городов, Венеции, Милана, Рима, Флоренции, окончательно сбился с толку, потерял голову и жил в непрестанном изумлении, "исступлении ума", как выражался Илья Потапыч. С одинаковым благоговением, посещал игорные вертепы, книгохранилища, древние соборы и притоны разврата. Кидался на все с любопытством ребенка, с жадностью варвара. Учился латинскому языку и мечтал нарядиться во фряжское платье, даже сбрить усы и бороду, что почиталось грехом смертным. "Ежели кто бороду сбреет и так умрет,- предостерегал племянника Илья Потапыч,- недостойт над ним служить, ни сорокоустия петь, ни просвиры, ни свечи по нем в церковь приносить. неверными да причтется, образ мужеский растлевающий, женам блудовидным уподобляющийся, или котам и псам, которые усы имеют простертые, брад же не имеют".

В разговорах начал Федька употреблять без нужды иноземные слова. Хвастал познаниями, "высокоумничал", рассуждал об "алхимии" - "как делать золото", о диалектике - "что есть

препинательное толкование, коим изыскивается истина", о "софистикии, открывающей едва постижное естеству человеческому".

- На Москве людей нет,- жаловался Евтихию,- а люд глупый, жить не с кем. Будучи навеселе, любил "пытать о вере и простираť вопросы недоуменные".

- Я учился философству, и на меня находит гордость,- признавался он,- я знаю все везде, где что ни делается!

И доходил до такого вольнодумства в этих пытаниях о вере, что, не довольствуясь "софистикией" чужеземною, проповедывал еще более крайние мнения собственных русских философов, последователей жидовской ереси, доказывавших, что Иисус Христос не родился, когда же родится, то Сыном Божиим наречется, "не по существу, по благодати",- "кого же называют христиане Иисусом Христом Богом, тот простой человек, а не Бог, умер и во гробе истлел";- утверждавших, что ни иконам, ни кресту, ни чаше поклоняться не подобает, "почитать достоин, поклоняться же не подобает ничему, разве единому Богу", и никаким земным властям повиноваться не следует. Федька приводил также слова о бессмертии души и о загробной жизни, которые приписывались соблазненному, будто бы, в ересь жидовствующих, московскому митрополиту Зосиме:

- "А что то царство небесное? а что то второе пришествие? А что то воскресение мертвых? Ничего того нет. Умер кто, так и умер - по-та-места и был". Но Дяди Ильи Потапыча, учившего племянника не только словом, но и посохом, Федька, несмотря на школьнический задор свой, все-таки крепко побаивался. Илья Потапыч Копыла был человек старого закала, до конца возлюбивший "твердое о благочестии стояние". Чудеса иноземных искусств и наук не прельщали его. "Вся сия суть знамения антихристова пришествия, начало болезням,- говаривал он.- Нас, овец Христовых, софистиками вашими не премудряйте: некогда нам философия вашего слушать - уже кончина века приходит, и суд Божий стоит при дверях. Какое приобщение света к тьме или какое соединение Велиару со Христом,- так же и поганому латынству с нашим православным христианством?"

"В Европии,- по словам Копылы,- третьей части земли, части Ноева сына, Яфета, люди живут величавые, гордые, обманчивые и храбрые во бранях, к похотям же телесным и ко всяким сластям слабые; все творят по своей воле; к учению искательны, к мудростям и всяким наукам тщательны; от благочестия же заблудились и, по наущению дьявольскому в различные ереси рассеялись, так что ныне во всей вселенной одна лишь русская земля в благочестии стоит неподвижно и, хотя к наукам словесным не очень прилежит, в высокоумных мудроплетениях софистических не изощряется, зато здравую веру содержит неблаженно. Люди же в ней сановиты, брадаты и платьем пристойным одеяны; Божий церкви святым именем украшаются; и подобной той земле и благолепнее во всей Европии не обретаётся".

В сыне углицкой просвирни, Евтихии Паисеевиче Гагаре, чужие земли возбуждали не меньшее любопытство, чем в Федьке Жареном. Вольнодумствам товарища, в которых чувствовал Евтихии больше хвастовства и удали, чем действительного безбожия, не придавал он значения. Но и спокойного презрения Ильи Потапыча ко всему иноземному не разделял. После всего, что видел и слышал он в чужих краях, не удовлетворяли его Измарагды, Златоструи, Торжественники, которые заключали весь круг человеческих знаний в таких вопросах и ответах: "Отгадай, философ, курица ли от яйца, или яйцо от курицы? - Кто родился прежде Адама с бородою? - Козел.- Какое есть первое ремесло?-, Швечество, ибо Адам и Ева сшили себе одежду из листьев древесных.- Что есть, четыре орла одно яйцо снесли?-. Четыре евангелиста написали св. Евангелие.-.Что держит землю?- Вода высокая.-.Что держит воду?-Камень великий.- Что держит камень?- Восемь больших золотых китов да тридцать меньших на озере Тивериадском".

Евтихии, впрочем, не верил и Федькиной ереси, будто бы "земное строение - не четвероугольное, не треугольное, ни круглое,"а наподобие яйца: во внутреннем' боку- желТОК, извне - белок и черепок; так же разумей о земле: земля есть желток посередине яйца, воздух же - белок, и как черепок окружает внутренность яйца, так небо окружает землю и воздух". Но, и не веря этому соблазнительному учению, все-таки чувствовал, что некогда

неподвижные киты, на коих утверждена земля, для него зашевелились, сдвинулись-и теперь уже не остановит их никакая сила.

Смутно чуялось ему, что в суеверном поклонении Федьки иноземным хитростям, несмотря на все его озорничество, что-то скрывается истинное, чего ни насмешки, ни угрозы, ни даже суковатая палка дяди Копылы опровергнуть не могут.

К Хорошему не стыдно навекать и со стороны, с призмы чужих земель.- Арифметика и преоспектива есть и полезное, меду сладчайшее и не богопротивное", говаривал Федька с глубоким чувством. И слово это находило отклик в сердце Евтихия.

Силы и разумения испрашивал он у Бога, дабы, не отсудившись от веры отцов, не "залатынившись", подобно Федьке, но и не отвергая без разбору всего чужеземного, подобно Илье Потапычу,- очистить пшеницу от плевел, доброе от злого, найти "истинный путь и образ любомудрия". И сколь ни казалось ему дело это Трудным, даже страшным, тайный голос говорил, что оно свяТО, и что Господь не оставит его Своею помощью.

В Амбуаз, на свадьбу герцога Урбинского и крестины новорожденного дофина отправился один из двух русских послов, находившихся в Риме - Никита Карачаров: он должен был представить королю "поминки", дары великого князя Московского - шубу на горностае, атласную, поНчатую, с травным золотым узором, другую шубу на бобровых пупках, третью на куньих черевах; сорок сороков соболей, да лисиц чернобурых и сиводушчатых, да сапогишпоры золоченые, да птиц охотничьих. Среди других посольских писцов и подьячих Никита взял с собою во Францию Илью Потапыча Копылу, Федьку жареного и Евтихия Гагару.

Однажды, в конце апреля 1517 года, ранним утром, на большой дороге через заповедный лес Амбуаза, лесник короля увидел всадников в таких необычайных нарядах, говоривших на таком странном языке, что остановился и долго провожал их глазами, недоумевая, турки ли это, послы ли Великого Могола, или самого Пресвитера Иоанна, живущего на краю света, там, где небо сходится с землею.

Но это были не турки, не послы Великого Могола или Пресвитера Иоанна, а люди "зверского племени", выходцы страны, считавшейся не менее варварской, чем сказочный Гог и Магог,- русские люди из посольства Никиты Карачарова.

Тяжелый обоз с посольской челядью и королевскими поминками отправлен был вперед; Никита ехал в свите герцога Урбинского. Всадники, повстречавшиеся лесничему, сопровождали персидских соколов, челиг и кречетов, посланных в подарок Франциску 1. Драгоценных птиц везли с большими предосторожностями, на особом возке, в лубяных коробах, внутри обитых овчинами.

Рядом с возком ехал на серой в яблоках, резвой кобыле Федька Жареный.

Ростом он был так высок, что прохожие на улицах чужеземных городов оглядывались на него с удивлением; лицо у него было широкоскулое, плоское, очень смуглое; черные как смоль волосы, за что он и прозван был Жареным; бледно-голубые, ленивые и в то же время жаднолюбопытные глаза, с тем противоречивым, разнообразным и непостоянным выражением, которое свойственно русским лицам - смесью робости и наглости, простодушия и лукавства, грусти и удали.

Федька слушал беседу двух товарищей, тоже слуг посольских, Мартына Ушака да Ивашки Труфанца, знатоков соколиной охоты, которым Никита поручил доставку птиц в Амбуаз. Ивашка рассказывал об охоте, устроенной для герцога Урбинского французским вельможею Анн де Монморанси в лесах, Шатильона. - Ну, и что же. хорошо, говоришь, летел Гамаюн? - И-и, братец ты мой!- воскликнул Ивашка.- Так безмерно хорошо, что и сказать не можно. А наутро в субботу, как ходили мы тешиться с челигами в Шатилове (Шатиловым называл он Шатильон), так погнал Гамаюн, да осадил в одном конце два гнезда шилохвостей да полтретья гнезда чирят; а вдругорядь погнал, так понеслось одно утя-шилохвост, побежало к роще наутек, увалиться хотело от славной кречета Гамаюна добычи, а он-то, сердечный, как ее мякнет по шее, так она десятью разами перекинулась, да ушла пеша в воду опять. Хотели по ней стрелять, чаяли, что худо заразил, а он ее так заразил, что кишки вон,- поплавала немножко, да побежала на берег, а Гамаюн-от и сел на ней!

Выразительными движениями, так что лошадь под ним шарахалась, показывал Ивашка, как он ее "мякнул" и как "заразил".

- Да,- молвил с важностью Ушак, любитель книжного витийства,- зело потеха сия полевая утешает сердца печальные; угодна и хвальна кречатья добыча, красносмотрителен же и радостен высокого сокола лет!

Впереди, в некотором расстоянии от возка, ехали, тоже верхом, Илья Копыла и Евтихий Гагара.

У Ильи Потапыча лицо было темное, строгое, борода белая как лунь и такие же белые волосы; все дышало в нем благообразною степенностью; только в маленьких, зеленоватых, слезящихся глазках светилась насмешливая хитрость и проницательство.

Евтихий был человек лет тридцати, такой тщедушный, что издали казался мальчиком, с острою, жидкою бородкою клином и незначительным лицом, одним из тех лиц, которые трудно запомнить. Лишь изредка, когда оживлялся он, в серых глазах его загоралось глубокое чувство.

Федьке надоело слушать о соколах и шилохвостях. Несмотря на раннее утро, не раз уже прикладывался он к дорожной сулее, и, как всегда в таких случаях, язык у него чесался от желания поспорить - "повысокоумничать". По отдельным, долетавшим до него словам, понял он, что ехавшие впереди Гагара и Копыла беседуют об иконном художнике,- пришпорил коня. догнал их и прислушался. - Ныне,- говорил Илья Потапыч,- икон святых изображения печатают на листах бумажных, и теми листами люди храмины свои украшают небрежно, не почитания, но пригожества ради, без страха Божия, которые листы, резав на досках, печатают немцы да фрязи-еретики, по своему проклятому мнению, развращенно и неистово, наподобие лиц страны своей и в одеждах чужестранных, фряжских, а не с древних православных подлинников. Еще Пресвятую Богородицу пишут иконники с латинских же образцов с непокровенною главою, с власами растрепанными... - Как же так, дядюшка?- отхлебнув из сулеи, вступился Федька с притворною почтительностью, с тайным вызовом,- неужели скажешь, что русским одним дано писать иконы? Отчего бы и мастерства иноземного не принять, ежели по подобию и свято и лепо?

- Не гораздо ты, Федька, о святых иконах мудрствуешь,- остановил его Копыла, нахмурившись.- Стропотное говоришь и развращенное!

- Почему же стропотное, дядюшка?- притворился Федька обиженным.

- А потому, что пределов вечных прелагать не подобает: кто возлюбит и похвалит веру чужую, тот своей поругался.

- Да ведь я не о вере, Потапыч, Я только говорю: преоспектива есть дело полезное и меду сладчайшее...

- Что ты мне преоспективу свою в глаза тычешь? Заладила сорока Якова... Сказано: кроме предания святых отцов, не дерзать. Слышишь? В преоспективе ли, в ином чем, своим замыслением ничего не претворяют. Где новизна, так и кривизна.

- Твоя правда, дядюшка,- опять увернулся Федька, с лицемерною покорностью.- Я и то говорю: много нынче иконники пишут без рассуждения, без разума, а надобно писать да вопросу ответ дать. Сказано: подлинно изыскивать подобает, как древние мастера писали. Да вот беда: древних-то много: и Новгородские, и Корсунские, и Московские - всяк на свой лад. Да и подлинники разные. В одних одно, в других другое. Ин старое кажется новым, ин новое старым. Вот и поди тут, разбери, где старина, где новизна. Нет, Потапыч, воля твоя, а без своего умышления, без разума, мастеру доброму быть нельзя!

Старик, озадаченный неожиданностью обхода, на минуту опешил.

- Опять же и то,- продолжал Федька, пользуясь его смущением, с еще большею смелостью,- где таковое указание нашли, будто бы единым обличем, смугло и темновидно святых иконы писать подобает? Весь ли род человеческий в однообличие создан? Все ли святые скорбны и тощи бывали? Кто не посмеется такому юродству, будто бы темноту более света чтить достоин? Мрак и очадение на единого дьявола возложил Господь, а сынам Своим, не только праведным, но и грешным, обещал светоподание: "яко снег, убелю вас и яко ярину, очищу". И в другой раз: "Аз семь свет истинный, ходяй по Мне не имать ходити во тьме". И у пророка сказано: "Господь воцарился, в лепоту облекся".

Федька говорил, хотя не без книжного витийства, но искренно.

Евтихий молчал; по горящим глазам его видно было, что он слушает с жадностью.

По преданию святых отцов,- начал было снова Илья Потапыч с важностью,- что у Бога свято, то и лепо... А что лепо, то и свято,- подхватил Федька,- о, дядюшка, все едино.

- Нет, не едино,- рассердился, наконец, старик.- Есть лепота и от дьявола!

Он обернулся к племяннику и посмотрел ему прямо в глаза, как бы соображая, не прибегнуть ли к обычному доводу, к суковатой палке. Но Федька выдержал взор его, не потупившись.

Тогда Копыла поднял правую руку и, как будто произнося заклятие на самого духа нечистого,- воскликнул торжественно:

- Сгинь, пропади, окаянный, со своими ухищрениями! Христос мне спаситель и свет, и веселие, и стена нерушимая!

Всадники были на опушке Амбуазского леса. Оставив слева ограду замка Дю Клу, въехали в городские ворота.

Русскому посольству отвели помещение в доме королевского нотариуса, мэтра Гильома Боро, недалеко от башни Орлож - единственном доме, оставшемся свободным в Огороде, переполненном приезжими. Евтихия с товарищами пришлось поселиться в маленькой комнате, похожей на чердак, под самую крышею. Здесь, в углублении слухового окна, устроил он крошечную мастерскую: прибил к стене полки, разместил на них гладкие дубовые и липовые дощечки для икон, муравленные горшочки с олифой, с прозрачным стерляжьим и севрюжьим клеем, глиняные черепки и раковины с твореным золотом, с яичными валами; поставил деревянный ящик, постланный войлоком, служивший ему постелью, и повесил над ним икону Углицкой Божьей Матери, подарок инок Данилы. Черного. В углу было тесно, но тихо, светло и уютно. Из окна, между крышами и трубами, открывался вид на зеленую Луару, на дальние луга и синие верхушки леса. Порой снизу, из небольшого садика, в открытое окно-дни стояли Жаркие-подымался дух черемухи, напоминавший Евтихию родину - знакомый огород на окраине Углича, с грядками укропа, хмеля, смородины, с полуразвалившимся тыном перед старым домиком благовещенского пономаря. Однажды вечером, несколько дней спустя по приезде в

Амбуаз, сидел он один в своей мастерской. Товарищи ушли в замок на турнир в честь герцога Урбинского.

Было тихо; только под окном слышалось воркование голубей, шелковый шелест их крыльев да порой мерный бой часов на соседней башне.

Он читал любимую книгу свою "Иконописный Подлинник", свод кратких указаний, расположенных по дням и месяцам,- как изображать святых. Всякий раз Евтихий, хотя знал эту книгу почти наизусть, перечитывал ее с новым любопытством, находил в ней новую отраду.

Но в последние дни слышанный в лесу по дороге в Амбуаз спор Ильи Потапыча с Федькой Жареным пробудил давно уже таившиеся в нем, навеянные всем, что видел он в чужих краях, тревожные мысли. И он искал им разрешения в "Подлиннике", единственно верном источнике "изящного познания истинных образов".

"Какова была телесные образом Богородица?- читал он одно из своих любимых в книге мест.- Росту среднего, вид лица ее, как вид зерна пшеничного; волоса желтого; острых очей, в них же зрачки, подобные плоду маслины; брови наклоненные, изрядночерные; нос не краток; уста, как цвет розы,- сладковесия исполнены; лицо ни кругло, ни остро, но мало продолжено; персты же богоприимных рук ее тонкостью источены были; весьма проста, никакой мягкости не имела, но смирение совершенное являла; одежду носила темную".

Читал также о великомученице Екатерине, за красоту и светлость лица своего получившей название от эллинов "тезоименитая луне"; о Филарете Милостивом, который "преставился, имея девяносто лет; но и в такой старости не изменилось лицо его, благолепно же и прекрасно было, как яблоко румяное".

И казалось Евтихию, что Федя прав: ликам святых должно быть светлыми и радостными, ибо Сам Господь в "лепоту облекся", и все, что прекрасно - от Бога.

Но, перевернув несколько страниц, прочел он в той же книге:

"9 Ноембрия, память преподобной Феоктистии Лезвиянины. Видел ее некий ловец в пустыне и дал ей с себя поняву прикрыть наготу телесную; и стояла она перед ним, страшная, только подобие человеческое имевшая; и не видно в ней было плоти живой: от поста

- одни кости да суставы, кожей прикрытые; волосы белые, как овечья волна, а лицо черно - мало нечто бледновато; очи глубоко западшие; и весь образ ее таков, как образ мертвеца, давно во гробе лежавшего. Едва дышала и тихо говорить могла. И не было на ней отнюдь лепоты человеческой".

"Значит,- подумал Евтихий,- не все, что свято - лепо: есть и в поругании всей лепоты человеческой у великих подвижников, в зверином образе - образ ангельский".

И вспомнился ему св. Христофор, часто изображавшийся на русских иконах, о котором сказано в "Подлиннике", под числом девятым месяца мая: "о сем прекрасном мученике некое чудное глаголется - яко песию главу имел".

Лик псоглавого святого наполнил сердце иконописца еще большим смятением. Все более смутные, жуткие мысли стали приходить ему в голову.

Отложил в сторону "Подлинник" и взял другую книгу, старую Псалтырь, писанную в Угличе в 1485 году. По ней учился он грамоте и тогда уже любовался простодушными заставными картинками, объяснявшими псалмы.

Случилось так, что, с самого отъезда из Москвы, книга эта не попадалась ему на глаза. Теперь, после множества виденных им во дворцах и музеях Венеции, Рима, Флоренции, древних изваяний, эти с младенчества знакомые образы получили для него внезапный новый смысл: он понял, что голубой человек с наклоненной чашей, из которой льется вода - к стиху Псалтыри: "как желает олень на источники водные, так желает душа моя к тебе, Боже",- есть бог речной; женщина, лежащая на земле среди злаков,- Церера, богиня земли; юноша в царском венце на колеснице, запряженной красными конями,- Аполлон; бородатый старик на зеленом чудовище с голою женщиною - к псалму: "благословите источники моря и реки",- Нептун с Нереидою.

Каким чудом, после каких скитаний и превращений, изгнанные боги Олимпа, через древнего русского мастера, из еще более древнего византийского подлинника, дошли до города Углича?

Обезобразенные рукою художника-варвара, казались они неуклюжими, робкими, словно стыдящимися наготы своей, среди

суровых пророков и схимников - полузамерзшими, как будто голые тела их окоченели от холода гиперборейской ночи. А между тем, кое-где, в изгибе локтя, в повороте шеи, в округлости бедра, мерцал последний отблеск вечной прелести. И страх, и удивление чувствовал Евтихий, узнавая в этих с детства привычных и любезных, казавшихся ему святыми, картинках Углицкой Псалтыри соблазнительную эллинскую нечисть.

В памяти его возникали и другие греховные образы, предания старых русских сборников - бледные тени языческой древности: "девица Горгонья, имеющая лицо, перси и руки человечески, ноги же и хвост лошадиные, а на голове ее змеи, вместо волос"; гиганты одноокие, живущие в земле Сицилийской, под горою Этню; царь Китоврас или Кентаврос, который "от главы человек, а от ног осел"; Исатары или Сатиры, обитающие в лесах со зверями, "хождением скорые - никто их не догонит - а ходят нагие, шерстью обросли, как еловою корою, не говорят, только блеют по-козлиному".

Евтихий вздрогнул, очнулся, набожно перекрестился и прошептал успокоительное изречение русских книжников, которые слышал от Ильи Потапыча:

"Все лгано: не бывало Китовраса, ни девицы Горгоньи, ни людей в шерсти, но эллинские философы ввели. Прелести же сии правилами апостолов и святых отцов отречены суть и прокляты". И тотчас подумал.

"Так ли, полно? Все ли лгано, все ли проклято? Как же в старых русских церквах, рядом со святыми угодниками, изображены языческие мудрецы, поэты и сибиллы, которые отчасти пророчествовали о Рождестве Христовом и, хотя неверные, сказано в "Подлиннике", но чистого ради жития, коснулись Духа Святого". Великая отрада чуялась Евтихию в этом слове о почти христианской святости языческих пророков.

Он встал и взял с полки дощечку с начатым рисунком, небольшую икону собственной работы - "Всякое дыхание да хвалит Господа"-многоличную, мелкописную, подробности которой можно было рассмотреть только в увеличительное стекло.

В небесах на престоле - Вседержитель; у ног Его, в семи небесных сферах - солнце, луна, звезды, с надписью: "хвалите Господа, небеса

небес, хвалите, солнце и луна, хвалите, все звезды и свет"; ниже-летящие птицы; "дух бурен", град, снег, деревья, горы, огонь, выходящий из земли; различные звери, гады; бездна в виде пещеры,- с надписью: "хвалите, все деревья плодоносные и все кедры, все звери и все холмы, хвалите Господа". По обеим сторонам - лики ангелов, преподобные, цари, судьи, толпы человеческие: "хвалите Его, все ангелы, хвалите, сыны Израилевы, все племена и народы земные". Принявшись за работу и не умея иначе выразить чувство, которое переполняло душу его, Евтихий прибавил уже от себя к этим обычным ликам - псоглавого мученика Христофора и бога-зверя Кентавра. Он знал, что нарушает предание "Подлинника"; но сомнения и соблазна не было в душе его: ему казалось, это рука невидимая водит рукой его. Вместе с небом и преисподнею, огнем и духом дурным, холмами и деревьями, зверями и гадами, людьми и силами бесплотными, псоглавым Христофором и во Христа обращенным Кентавром, душа его пела единую песнь: / "Всякое дыхание да хвалит Господа".

Франциск был великим женолюбцев. Во всех походах, вместе с главными сановниками, шутами, карликами, астрологами, поварами, неграми, миньонами, псарями и священниками, следовали за королем "веселые девочки" под покровительством "почтенной дамы" Иоайны Линьер. во всех торжествах и празднествах, даже в церковных шествиях, принимали они участие. Двор сливался с этим походным домом терпимости, так что трудно было решить, где кончается один, где начинается другой: "веселые девочки" были наполовину придворным. дамами; придворные дамы распутством заслуживали мужьям своим золотое ожерелье св. Архангела Михаила. Расточительность короля на женщин была беспредельной. Подати и налоги с каждым днем увеличивались, но все-таки денег не хватало. Когда с народа уже нечего было взять, Франциск стал отнимать у вельмож своих Драгоценную столовую посуду и однажды перечеканил на монету серебряную решетку с гроба великого святителя Франции, Мартина Турского, не из вольнодумства, впрочем, а из нужды, ибо считал себя верным сыном Римской Церкви и всякую ересь и безбожие преследовал как оскорбление своего собственного величества. Со времени Людовика Святого

сохранялось в народе Предание о врачующей силе, исходившей, будто бы, от королей дома Валуа: прикосновением руки исцеляли они шелудивых и золотушных; к Пасхе, Рождеству, Троице и другим праздникам чаявшие исцеления стекались не только со всех концов Франции, но также из Испании, Италии, Савойи.

Во время торжеств по случаю бракосочетания Лоренцо Медичи и крестин дофина собралось в Амбуазе множество больных. В назначенный день впустили их во двор королевского замка. Прежде, когда вера была сильнее, его величество, обходя больных, творя по очереди над каждым из них крестное знамение и прикасаясь к ним пальцем, произносил: "Король прикоснулся - Бог исцелит". Вера оскудела, исцеления становились реже, и теперь обрядные слова произносились в виде пожелания: "Да исцелит тебя Бог - король прикоснулся".

По окончании обряда подали умывальник с тремя полотенцами, намоченными уксусом, чистой водой и апельсиновыми духами. Король умылся и вытер руки, лицо, шею.

После зрелища человеческой бедности, уродства и болезни захотелось ему отвести душу и дать отдых глазам на чем-нибудь прекрасном. Вспомнил, что давно собирался в мастерскую Леонардо и с немногими приближенными отправился в замок Дю Клу.

Весь день, несмотря на слабость и недомогание, художник усердно работал над Иоанном Предтечею.

Косые лучи заходящего солнца проникали в полустрельчатые окна мастерской - большой холодной комнаты с кирпичным полом и потолком из дубовых брусьев. Пользуясь последним светом дня, торопился он кончить поднятую правую руку Предтечи, которая указывала на крест. Под окнами слышались шаги и голоса. - Никого,- обернувшись к Франческо Мельци, проговорил учитель,- слышишь, никого не принимай. Скажи: болен или дома нет.

Ученик вышел в сени, чтобы остановить непрошенных гостей, но, увидев короля, почтительно склонился и открыл перед ним двери.

Леонардо едва успел завесить портрет Джоконды, стоявший рядом с Иоанном: он делал это всегда, потому что не любил, чтобы видели ее чужие. Король вошел в мастерскую.

Он одет был с роскошью не совсем безупречного вкуса, с чрезмерною пестротой и яркостью тканей, обилием золота, вышивок, драгоценных камней: черные атласные штаны в обтяжку, короткий камзол с продольными, перемежающимися полосами черного бархата и золотой парчи, с огромными дутыми рукавами, с бесчисленными прорезами - "окнами"; черный плоский берет с белым страусовым пером; четырехугольный вырез на груди обнажал стройную, белую, словно из слоновой кости точеную, шею; он душился не в меру.

Ему было двадцать четыре года. Поклонники его уверяли, будто бы в наружности Франциска такое величие, что довольно взглянуть на него, даже не зная в лицо, чтобы сразу почувствовать: это король. И, в самом деле, он был строен, высок, ловок, необыкновенно силен; умел быть обаятельно любезным; но в лице его, узком и длинном, чрезвычайно белом, обрамленном черною, как смоль, Курчавою бородкою, с низким лбом, с непомерно длинным, тонким и острым, как шило, словно книзу оттянутым, носом, с хитрыми, холодными и блестящими, как только что надрезанное олово, глазками, с тонкими, очень красными и влажными губами, было выражение неприятное, чересчур откровенно, почти зверски похотливое - не то обезьянье, не то козлиное, напоминавшее фавна. Леонардо, по придворному обычаю, хотел склонить колена перед Франциском. Но тот удержал его, сам склонился и почтительно обнял.

- Давно мы с тобой не виделись, мэтр Леонар,- молвил он ласково.- Как здоровье? Много ли пишешь? Нет ли новых картин?

- Все хвораю, ваше величество,-ответил художник и взял портрет Джоконды, чтобы отставить его в сторону.

- Что это?-спросил король, указывая на картину. - Старый портрет, сир. Изволили видеть... - Все равно, покажи. Картины вои таковы, что, чем больше смотришь, тем больше нравятся. Видя, что художник медлит, один из придворных подошел и, отдернув полотно, открыл Джоконду. Леонардо нахмурился. Король опустил в кресло и долго смотрел на нее молча.

- Удивительно!- проговорил, наконец, как бы выходя из задумчивости.- Вот прекраснейшая женщина, которую я видел когда-либо! Кто это?

- Мадонна Лиза, супруга флорентийского гражданина Джокондо,- ответил Леонардо.

- Давно ли писал? - Десять лет назад. - Все так же хороша и теперь?

- Умерла, ваше величество. Мэтр Леонар-да-Вэнси,- молвил придворный Сен-Желе, коверкая имя художника на французский лад,- пять лет работал над этой картиною и не кончил, так, по крайней мере, он сам уверяет.

- Не кончил?-изумился король.-Чего же еще, помилуй? Как живая, только не говорит...

- Ну, признаюсь,- обратился он снова к художнику,- есть в чем тебе позавидовать, мэтр Леонар. Пять лет с такою женщиной! Ты на судьбу не можешь пожаловаться: ты был счастлив, старик. И чего только муж глядел? Если бы она не умерла, ты и доныне, пожалуй, не кончил бы!

И засмеялся, прищулив блестящие глазки, сделавшись еще более похожим на фавна: мысль, что мона Лиза могла остаться верною женою, не приходила ему в голову.

- Да, друг мой,- прибавил усмехнувшись,- ты знаешь толк в женщинах. Какие плечи, какая грудь! А то, чего не видно, должно быть еще прекраснее...

Он смотрел на нее тем откровенным мужским взором, который раздевает женщину, овладевает ею, как бесстыдная ласка.

Леонардо молчал, слегка побледнев и потупив глаза. - Чтобы написать такой портрет,- продолжал король,- мало быть великим художником, надо проникнуть во все тайны женского сердца - лабиринта Дедалова, клубка, которого сам черт не распутает! Вот ведь, кажется, тиха, скромна, смиренна, ручки сложила, как монахиня, воды не замутит, а поди-ка, доверься ей, попробуй угадать,- что у нее на душе! *Souvent femme vai-ie, Bien folest qui s,y fie*Женщина изменчива, Безумец тот, кто ей поверит (франц.)

привел он два стиха из собственной песенки, которую однажды, в минуту раздумья о женском коварстве, вырезал острием алмаза на оконном стекле в замке Шамбор.

Леонардо отошел в сторону, делая вид, что хочет передвинуть постав с другою картиною поближе к свету.

- Не знаю, правда ли, ваше величество,- произнес Сен-Желе полушепотом, наклонившись к уху короля так, чтобы Леонардо не

мог слышать,- меня уверяли, будто бы не только Лизы Джоконды, но и ни одной женщины во всю жизнь не любил этот чудака и будто бы он совершенный девственник...

И еще тише, с игривою улыбкою, прибавил что-то, должно быть, очень нескромное, о любви сократической, о необычайной красоте некоторых учеников Леонардо, о вольных нравах флорентийских мастеров. Франциск удивился, но пожал плечами со снисходительной усмешкой человека умного, светского, лишённого предрассудков, который сам живет и другим жить не мешает, понимая, что в этого рода делах на вкус и на цвет товарищей нет.

После Джоконды он обратил внимание на неоконченный картон, стоявший рядом. - А это что?

- Судя по виноградным гроздьям и тирсу, должно быть Вакх,- догадался поэт.

- А это?- указал король на стоявшую рядом картину. - Другой Вакх?- нерешительно молвил Сен-Желе.

- Странно!- удивился Франциск.- Волосы, грудь, лицо - совсем как у девушки. Похож на Лизу Джоконду: та же улыбка.

- Может быть, Андрогин?- заметил поэт, и когда король, не отличавшийся ученостью, спросил, что значит это слово, Сен-Желе напомнил ему древнюю басню Платона о двуполых существах, муже-женщинах, более совершенных и прекрасных, чем люди,- детях Солнца и Земли, соединивших оба начала, мужское и женское, столь сильных и гордых, что, подобно Титанам, задумали они воевать на богов и низвергнуть их с Олимпа. Зевс, усмиряя, но не желая истребить до конца мятежников, дабы не лишиться молитв и жертвоприношений, рассек их пополам своею молнией, "как поселянки, сказано у Платона, режут ниткою или волосом яйца для соления впрок". с той поры обе половины, мужчины и женщины, тоскуя, стремятся друг к другу, с желанием неутолимым, которое есть любовь, напоминающая людям первобытное равенство полов.

- Может быть,- заключил поэт,- мэтр Леонар, в ЭТОМ создании мечты своей, пытался воскресить то. чего уже нет в природе: хотел соединить разъединенные богами начала, мужское и женское. Слушая объяснение, Франциск смотрел и на эту картину тем же бесстыдным, обнажающим взором, как только что на мону Лизу.

- Разреши, учитель, наши сомнения,- обратился Он к Леонардо,- кто это, Вакх или Андрогин? - Ни тот, ни другой, ваше величество,- молвил Леонардо, краснея, как виноватый.- Это Иоанн Предтеча. - Предтеча? Не может быть! Что ты говоришь, поМилуй?.. Но, взглядевшись пристально, заметил в темной глубине картины тонкий тростниковый крест и в недоумении покачал головой.

Эта смесь священного и греховного казалась ему кощунственной и в то же время нравилась. Он, впрочем, тотчас решил, что придавать этому значение не стоит: мало ли что может взбрести в голову художникам?

- Мэтр Леонар, я покупаю обе картины: Вакха, то бишь Иоанна, и Лизу Джоконду. Сколько хочешь за них?

- Ваше величество,- начал было художник робко,- они еще не кончены. Я предполагал...

- Пустяки!- перебил Франциск.- Иоанна, пожалуй, кончай,- так и быть, подожду. А к Джоконде и прикасаться не смей. Все равно лучше не сделаешь. Я хочу иметь ее у себя тотчас, слышишь? Говори же цену, не бойся: торговаться не буду.

Леонардо чувствовал, что надо найти извинение, предлог для отказа. Но что мог он сказать этому человеку, который превращал все, к чему ни прикасался, в пошлость или непристойность? Как объяснил бы ему, чем для него был портрет Джоконды, и почему ни за какие деньги не согласился бы он расстаться с ним?

Франциск думал, что Леонардо молчит потому, что боится продешевить.

- Ну, делать нечего, если ты сам не хочешь, я назначу цену.

Взглянул на мону Лизу и сказал: - Три тысячи экю. Мало? Три с половиной? - Сир,- начал снова художник дрогнувшим голосом,- могу вас уверить... И остановился; лицо его опять слегка побледнело. - Ну, хорошо: четыре тысячи, мэтр Леонар. Кажется, довольно?

Шепот удивления пробежал среди придворных: никогда никакой покровитель искусств, даже сам Лоренцо Медичи, не назначал таких цен за картины.

Леонардо поднял глаза на Франциска в невыразимом смятении. Готов был упасть к ногам его, молить, как молят о пощаде жизни, чтобы он не отнимал у него Джоконды. Франциск принял это

смятение за порыв благодарности, встал, собираясь уходить, и на прощание снова обнял его.

- Ну, так, значит, по рукам? Четыре тысячи. Деньги можешь получить, когда угодно. Завтра пришло за Джокондою. Будь спокоен, я выберу такое место для нее, что останешься доволен. Я знаю цену ей и сумею сохранить ее для потомства.

Когда король ушел, Леонардо опустился в кресло. Он смотрел на Джоконду потерянным взором, все еще не веря тому, что случилось. Нелепые ребяческие планы приходили ему в голову: спрятать ее так, чтоб не могли отыскать, и не отдавать, хотя бы грозили ему смертной казнью; или отослать в Италию с Франческо Мельци: бежать самому с нею.

Наступили сумерки. Несколько раз заглядывал Франческо в мастерскую, но заговаривать с учителем не смел. Леонардо все еще сидел перед Джокондою; лицо его казалось в темноте бледным и неподвижным, как у мертвого. Ночью вошел в комнату Франческо, который уже лег, но не мог заснуть.

- Вставай. Пойдем в замок. Мне надо видеть короля. - Поздно, учитель. Вы сегодня устали. Опять заболеете. Вам ведь уже и теперь нездоровится. Право, не лучше ли завтра?..)

- Нет, сейчас. Зажги фонарь, проводи меня.- Впрочем, все равно, если не хочешь, я один. Не возражая более, Франческо встал, оделся, и они отправились в замок.

До замка было минут десять хотьбы; но дорога крутая, плохо мощенная. Леонардо шел медленно, опираясь на руку Франческо.

Ночь без звезд была душная, черная, словно подземная. Ветер дул порывами. Ветви деревьев вздрагивали испуганно и болезненно. Вверху, между ветвями, рдели освещенные окна замка. Оттуда слышалась музыка. Король ужинал в маленьком избранном обществе, забавляясь шуткою, которую особенно любил: из большого серебряного кубка, с искусною резьбою по краям и подножию, изображавшею непристойности, заставлял пить молоденьких придворных дам и девушек, в присутствии всех, наблюдая, как одни смеялись, другие краснели и плакали от стыда, третьи сердились, четвертые закрывали глаза, чтобы не видеть, пятые притворялись, что видят, но не понимают.

Среди дам была родная сестра короля, принцесса Маргарита - "Жемчужина жемчужин", как ее называли.

Искусство нравиться было для нее "привычнее хлеба насущного". Но, пленяя всех, была она равнодушна ко всем, только брата любила странною, чрезмерною любовью: слабости его казались ей совершенствами, пороки - доблестями, лицо фавна - лицом Аполлона. За него во всякую минуту жизни была она готова, как сама выражалась, "не только развеять по ветру прах тела своего, но отдать и бессмертную душу свою". Ходили слухи, будто бы она любит его более, чем позволено сестре любить брата. Во всяком случае, Франциск злоупотреблял этою любовью: пользовался услугами ее не только в трудах, болезнях, опасностях, но и во всех своих любовных похождениях.

В тот вечер должна была пить из непристойного кубка новая гостья, совсем еще молоденькая девушка, почти ребенок, наследница древнего рода, отысканная где-то в захолустье Бретани Маргаритою, представленная ко двору и уже начинавшая нравиться его величеству. Девушка не имела нужды притворяться: она, в самом деле, не понимала бесстыдных изображений; только чуть-чуть краснела от устремленных на нее любопытных и насмешливых взоров. Король был очень весел.

Доложили о приходе Леонардо. Франциск велел принять его и вместе с Маргаритою пошел к нему навстречу.

Когда художник в смущении, потупив глаза, проходил по освещенным залам сквозь ряды придворных дам и кавалеров,- не то удивленные, не то насмешливые взоры провожали его: от этого высокого старика, с длинными седыми волосами, с угрюмым лицом, с робким до дикости взглядом, на самых беспечных и легкомысленных веяло дыханием иного, чуждого мира, как веет холодом от человека, пришедшего в комнату со стужи.

- А, мэтр Леонар!- приветствовал его король и, по обыкновению, почтительно обнял.- Редкий гость! Чем потчевать? Знаю, мяса не ешь,- может быть, овощей или плодов?

- Благодарю, ваше величество... Простите, мне хотелось бы сказать вам два слова... Король посмотрел на него пристально. - Что с

тобой, друг? Уж не болен ли? Отвел его в сторону и спросил, указывая на сестру: - Не помешает?

- О, нет,- возразил художник, склонившись перед Маргаритою.- Смею надеяться, что ее высочество также будет за меня ходатайствовать... - Говори. Ты знаешь, я всегда рад.

- Я все о том же, сир;- о картине, которую вы пожелали купить, о портрете моны Лизы...

- Как? Опять? Зачем же ты мне сразу Не сказал? Чудак! Я думал - мы сошлись в цене. - Я не о деньгах, ваше величество... - О чем же?

И Леонардо снова почувствовал, под равнодушно-ласковым взглядом Франциска, невозможность говорить о Джоконде.

- Государь,- произнес, наконец, делая усилие,- Государь, будьте милостивы, не отнимайте у меня этого портрета! Он все равно ваш, и денег не надо мне: только на время оставьте его у меня - до моей смерти... Замялся, не кончил и с отчаянною мольбою взглянул на Маргариту. Король, пожав плечами, нахмурился. - Сир,- вступилась девушка,- исполните просьбу мэтра Леонара. Он заслужил того - будьте милостивы! - И вы за него, и вы? Да это целый заговор! Она положила руку на плечо брата и шепнула ему на ухо:

- Как же вы не видите? Он до сих пор любит ее... - Да ведь она умерла! - Что из того? Разве мертвых не любят? Вы же сами говорили, что она живая на портрете. Будьте добры, братец милый, оставьте ему последнюю память о прошлом, не огорчайте старика...

Что-то шевельнулось в уме Франциска, полузабытое, школьное, книжное - о вечном союзе душ, о неземной любви, о рыцарской верности: ему захотелось быть великодушным.

- Бог с тобой, мэтр Леонар,- молвил с немного насмешливой улыбкой,- видно, тебя не переупрямишь. Ты сумел выбрать себе ходатайницу. Будь спокоен, я исполню твое желание. Только помни: картина мне принадлежит, и деньги за нее ты получишь вперед. И потрепал его по плечу.

- Не бойся же, друг мой: даю тебе слово - никто не разлучит тебя с твоею Лизой!

У Маргариты навернулись слезы на глаза: с тихой улыбкой подала она руку художнику, и тот поцеловал ее молча. Заиграла музыка; начался бал; закружились пары. И уже никто не вспоминал о

странном, чуждом госте, который прошел между ними, как тень, и снова скрылся во мраке беззвездной, черной, словно подземной, ночи.

Франческо Мельци, чтобы вступить во владение небольшим наследством дальнего родственника, должен был получить бумаги от королевского нотариуса города Амбуаза, мэтра Гильома Боро. Это был человек любезный и дружески расположенный к Леонардо.

Однажды, беседуя с Франческо о последних работах учителя, заметил он с шуткою, что и в собственном доме его есть удивительный живописец из Гиперборейских стран. И, когда Франческо стал расспрашивать, повел его на чердак и здесь, в большой низкой комнате, рядом с голубятнею, в углублении слухового окна, показал крошечную иконописную мастерскую Евтихия Паисиевича Гагары.

Франческо, желая развеселить учителя, который в последние дни был особенно задумчив, рассказал ему о мастерской живописца-варвара как о любопытной диковинке, советуя, при случае, взглянуть на нее. Леонардо помнил разговор свой в Милане, во дворце Моро, на празднике Золотого Века, с русским послом Никитою Карачаровым о далекой Московии; ему захотелось видеть художника из этой полусказочной страны.

Однажды вечером, вскоре после покупки Франциском портрета Джоконды, пошли они к мэтру Гильому.

В тот вечер товарищи Евтихия отправились в замок, на маскарад и бал. Евтихий также собирался; но Илья Потапыч, который сам должен был присутствовать на празднике, отсоветовал ему:

- Когда в здешних поганных фряжских обычаях к питию пьянственному мужи и жены в гнусных личинах и машкерах сойдутся, тут же приходят и некие кощунники, имея гусли и скрипели, и сопели, и бубны, бесая и скача, и скверные песни припевая: каждый муж чужой жене питье подает с лобзанием, и тут будет рукам приятие и злотайным речам соплетение, и связь диавольская...

Не столько, впрочем, из боязни соблазнов, сколько потому, что хотел в уединении поработать над новою иконою "Всякое дыхание да хвалит Господа", Евтихий остался дома один, сел на свое обычное место у окна и принялся за работу.

Все ремесленные мелочи искусства были для него не менее святы и дороги, чем высшие правила. Он заботился не об одном изяществе, но и о прочности - писал икону так, чтобы века могли пройти, не испортив ее.

Дерево, обыкновенно липу или клен, выбирал самого ровного белого цвета, выросшее на месте высоком, сухом, потому не легко загнивающее; старательно заделывал пазы, проклеивал доску крепким стерляжьим клеем, накладывал паволоку из мягкой старой холстины, намазывал слоями жидкий левкас, отнюдь не меловой, который употреблялся мастерами, помышлявшими более о дешевизне, чем о долговечности своих произведений,- а самый дорогой, твердый и нежный алебастровый; давал ему просохнуть, выглаживал хвощом, потом "знаменил",- рисовал тонкою кисточкой с тушью "перевод" с древнего образца дабы впоследствии, во время раскрашивания, не сбиться, "графовал", обводил весь очерк узкими, выскребленными острием гвоздя, канавками - "графьями"; наконец, приготовлял краски - вапы: распускал их на яичном желтке, протирал в глиняных черепках и раковинах, а иные, самые нежные, на собственных ногтях, заменявших ему палитру; затем начинал писать, сперва "доличное" - все, кроме человеческих лиц: горы, в виде круглых, плоских шапок, деревья - грибами, травы - наподобие перистых черно-красных водорослей, с голубыми точками незабудок, облака - неправильными белыми кружками; одежды грунтовал сначала темно-коричневою краскою, потом обозначал по ним складки и в высоких местах пробеливал; золотые украшения в ризах ангелов и святителей, также зарубки и тончайшие усики трав золотил, при помощи спитом, "в проскребку", червонным золотом. - Вся доличная работа была уже исполнена. В тот вечер приступил он к последней, самой важной и трудной части - к писанию человеческих лиц: так же, как ризы, грунтовал их темною краскою, потом постепенно стал "Оживлять" тремя личными вохрами, из коих каждая последующая была светлее предыдущей, и, наконец, "подрумянивать щечку и уста, и бородку, и губки, и шейку". Не довольствуясь резкими белыми "движками" старого новгородского письма, он стремился к новому, рублевскому, сходному с древневизантийским, более совершенному, как тогдашние мастера выражались, плавкому,

Злачному, в котором розоватое вохрение пущено в тонкую светлую тень; особенно же заботился о благолепии мужей - бороде, то короткой, курчавой, то длинной, повившейся до земли, то широкой, распахнувшейся на оба плеча, то "рассохатой, с космочками", "продымленной", Или с "подрусинками", или "с подсединками"; о выражении лиц величаво-строгом, или "страдном" и нежном.

Он совсем погрузился в работу, как вдруг за окном послышался шелест и трепет голубиных крыльев. Евтихий знал, что это кормит птиц соседка, молодая жена старого пекаря. Он часто смотрел на нее украдкой. Над палисадником, между ветвями сирени, в темном четырехугольнике открытого окна, стояла она, с голою шеей, с вырезом платья, сквозь который сверху видно ему было разделение груди и теплая тень между ними,- с чуть заметными веснушками на белой коже и рыжими волосами, блестящими на солнце, как золото.

"Чад, на женскую красоту не зри,- вспоминались ему слова Ильи Потапыча,- ибо Та красота сладит сперва, как медвяная сыта, а после горше полыни и желчи бывает. Не возводи на нее очей своих, да не погибнешь. Чад, беги от красоты женской невозвратно, как Ной от потопа, как Лот от Содомы и Гоморры. Ибо что есть жена? Сеть, сотворенная бесом, прельщающая сластями,- проказливая на святых клеветница, сатанинский праздник, покоище змеиное, цвет дьявольский, без исцеления болезнь, коза неистовая, ветер северный, день ненастный, гостиница жидовская. Лучше лихорадкою болеть, нежели женою обладаему быть: лихорадка потрясет да и пустит, а жена до смерти иссушит. Жена подобна перечесу: сюда болит, а сюда свербит. Кротима - высится, биема - бесится. Всякого зла злее злая жена".

Евтихий продолжал смотреть на соседку и даже ответил на улыбку ее такую же невольною улыбкою. Потом, вернувшись к работе, написал одну из святых мучениц в иконе с волосами золотисто-рыжего цвета, как у хорошенькой пекарши.

На лестнице раздались голоса. Вошел Власий, старый посольский толмач, за ним хозяин дома мэтр Гильом Боро, Франческо Мельци и Леонардо.

Когда Власий объявил Евтихию, что гости желают взглянуть на его мастерскую, он застыдился, почти испугался и все время, пока они осматривали, стоял молча, потупившись, не зная, куда деть глаза, только изредка взглядывая на Леонардо: лицо его поразило Евтихия - он казался ему похожим на Илью пророка, как тот изображался в "Иконописном подлиннике".

Осмотрев принадлежности крошечной мастерской - невиданные кисти, пилки, дощечки, раковины с валами, горшочки с клеем и олифою,- обратил Леонардо внимание на икону "Всякое дыхание да хвалит Господа". Хотя Власий, который больше путал, чем объяснял, не умел втолковать значение надписей, художник понял замысел иконы и удивился тому, что этот варвар, сын "зверского племени", как называли итальянские путешественники русских людей,- коснулся предела всей человеческой мудрости: не был ли Сидящий на престоле над сферами семи планет, воспеваемый всеми голосами природы - неба и преисподней, огня и духа бурного, растений и животных, змеи и ангелов,- "Первым Двигателем" божественной эпикей - Primo Motore самого Леонардо? Учитель рассматривал также, с глубоким вниманием и любопытством, лицевой "Иконописный подлинник", большую тетрадь с изображением икон, слегка очерченных углем или красными чернилами. Здесь увидел он различных русских Богоматерей - Утоли моя печали, и Радость скорбящих, и Взыграния, и Умиления, и Живоносный Источник, где Пречистая стоит над водометом, утоляющим жажду всех тварей, и Страстную с Младенцем исусом, Который, как бы в ужасе, отвращается от подаваемого Ему скорбным Архангелом креста; и Спаса - серая брада" с прямыми, не вьющимися волосами, нерукотворного, запечатленного на убрусе, коим Господь отирал лицо Свое, орошенное потом, когда шел на Голгофу; Спаса Благое Молчание с руками, сложенными на груди. Леонардо чувствовал, что это - не живопись, или, по крайней мере, не то, чем казалась ему живопись: но, вопреки несовершенству рисунка, света и тени, перспективы и анатомии - здесь, как в старых византийских мозаиках Леонардо видел их в Равенне), была сила веры, более древняя и вместе с тем более юная, чем в самых ранних писаниях итальянских мастеров, Чимабу и Джотто; было чаяние великой, новой красоты,-

как бы таинственные сумерки, в которых последний луч эллинской прелести сливался с первым лучом еще неведомого утра. Действие этих образов, иногда неуклюжих, варварских, странных до дикости, и в то же время бесплотных, прозрачных и нежных, как сновидения ребенка, подобно было действию музыки; в самом нарушении законов естественных досягали они мира сверхъестественного.

Особенно поразили художника два лика Иоанна Предтечи Крылатого: у одного в левой руке была золотая чаша с вечным Младенцем, на Которого указывал он правой рукой: "Се Агнец Божий, вземляй грехи мира"; другой - "с усекновением", вопреки законам природы, имел две головы: одну, живую, на плечах, другую, мертвую, Взявший [на Себя] (церковнослав.). в сосуде, который держал в руках, как бы в знак того, что человек, только умертвив в себе все человеческое, достигает окрыления сверхчеловеческого; лик у обоих был странен и страшен: взор широко открытых глаз похож на взор орла, вперенный в солнце; борода и волосы развевались, как бы от сильного ветра; косматая верблюжья риза напоминала перья птицы; кости исхудалых, непомерно длинных, тонких рук и ног, едва покрытые кожей, казались легкими, преображенными для полета, точно пустыми, полыми внутри, как хрящи и кости пернатых; за плечами два исполинские крыла подобны были крыльям лебедя или той Великой Птицы, о которой всю жизнь мечтал Леонардо.

И вспомнились художнику слова пророка Малахии, приведенные в дневнике Джованни Бельтраффио:

"Вот Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета. Которого вы желаете. Вот Он идет".

Только что уехал король, воцарилась в Амбуазе обычная тишина и пустынность. Раздавался лишь мерный медный бой часов на башне Орлож, да по вечерам крики диких лебедей на песчаных отмелях, среди гладкой, как зеркало, отражающей бледно-зеленое небо, Луары.

Леонардо по-прежнему работал над Иоанном Предтечею. Но работа, по мере того, как шла вперед, становилась она все труднее, все медленнее. Иногда казалось Франческо, что учитель хочет невозможного. С таким же дерзновением, как некогда тайну жизни в

моне Лизе, теперь, в этом Иоанне, который указывал на крест Голгофы, испытывал он то, в чем жизнь и смерть сливаются в одну, еще большую тайну.

Порою, в сумерки, Леонардо, сняв покров с Джоконды, подолгу смотрел на нее и на стоявшего рядом Иоанна, как будто сравнивал их. И тогда ученику казалось, может быть, от игры неверного света и тени, что выражение лиц у обоих, у Отрока и Женщины, меняется, что они выступают из полотна, как призраки, под пристальным взором художника, оживляясь жизнью сверхъестественною, и что Иоанн становится похожим на мону Лизу и на самого Леонардо в юности, как сын похож на отца и на мать.

Здоровье учителя слабело. Напрасно Мельци умолял его отдохнуть, оставить работу, Леонардо слышать не хотел об отдыхе. Однажды, осенью 1518 года, особенно недомогалось ему. Но, преодолевая болезнь и усталость, проработал он целый день; кончил только раньше, чем всегда, и попросил франческо проводить его наверх, в спальню: витая деревянная лестница была крута; вследствие частых головокружений не решался он в последние дни подниматься по ней без чьей-либо помощи.

И на этот раз Франческо поддерживал учителя. Леонардо шел медленно, с трудом, останавливаясь через каждые две, три ступени, чтобы перевести дух. Вдруг покачнулся, опираясь на ученика всею тяжестью тела. Тот понял, что ему дурно, и боясь, что один не сможет поддержать его, кликнул старого слугу, Баттисту Вилланиса. Вдвоем подхватили они Леонардо, который опустился к ним на руки, стали звать на помощь, и когда подросли еще двое слуг, перенесли больного в спальню.

Отказываясь, по обыкновению, от всякого лечения, шесть недель пролежал он в постели. Правая сторона тела была разбита параличом, правая рука отнялась. К началу зимы ему сделалось лучше. Но поправлялся он трудно и медленно.

В течение всей своей жизни Леонардо владел обеими руками - левой, как и правой - одинаково, и обе были ему нужны для работы: левою рисовал, писал картины правою; то, что делала одна, не могла бы сделать другая; в этом соединении двух противоположных сил заключалось, как он утверждал, преимущество его перед другими

художниками. Но теперь, когда, вследствие паралича, онемели пальцы на правой руке, так что он лишился или почти лишился ее употребления, Леонардо боялся, что живопись сделается для него невозможною. В первых числах декабря встал с постели, сперва начал ходить по верхним pokojам, потом спускаться в мастерскую. Но к работе не возвращался.

Однажды, в самый тихий час дня, когда все в доме спали после полдника, Франческо, желая о чем-то спросИТЬ учителя и, не найдя его в верхних pokojах, сошел вниз, в мастерскую, осторожно приотворил дверь и заглянул. В последнее время Леонардо, более угрюмый и нелюдимый, чем когда-либо, любил подолгу оставаться один, не позволяя, чтобы к нему входили без спроса, точно боялся, что за ним подсматривают.

В приотворенную дверь Франческо увидел, что он стоит перед Иоанном и пробует писать больною рукою; лицо его искажено было судорогою отчаянного усилия; углы крепко сжатых губ опущены; брови сдвинуты; седые пряди волос прилипли ко лбу, смоченному потом. Окоченелые пальцы не слушались: кисть дрожала в руке великого мастера, как в руке неопытного ученика.

В ужасе, не смея шевельнуться, затаив дыхание, смотрел Франческо на эту последнюю борьбу живого духа с умирающей плотью.

В тот год зима была суровая; Ледоход разрушил мосты на Луаре; люди замерзали на дорогах; волки забегали в предместье города; старый садовник уверял, будто бы видел их в саду, под окнами замка Дю Клу: ночью нельзя было без оружия выйти из дому; перелетные птицы падали мертвыми. Однажды утром, выйдя на крыльцо, Франческо нашел на снегу и принес учителю полузамерзшую ласточку. Тот отогрел ее дыханием и устроил ей гнездо в теплом углу за очагом, чтобы весной выпустить на волю.

Работать он уже не пытался: неоконченного Иоанна, вместе с прочими картинами, рисунками, кистями и красками, спрятал в самый дальний угол мастерской. Дни проходили в праздности. Иногда посещал их нотариус, мэтр Гильом; он беседовал о предстоящем урожае, о дороговизне соли, о том, что у лангедокских овец шерсть длиннее, зато мясо лучше у беррийских и лимузенских;

или давал советы стряпухе Матурине, как отличать молодых зайцев от старых по легкоподвижной косточке в передних лапках. Заходил к ним также францисканский монах, духовник Франческо Мельци, брат Гульельмо, родом из Италии, давно поселившийся в Амбуазе - старичок простой, веселый и ласковый; он отлично рассказывал старинные новеллы о флорентийских шалунах и проказниках. Леонардо, слушая его, смеялся таким же добрым смехом, как он. В долгие зимние вечера играли они в шашки, бирюльки и карты.

Наступали ранние сумерки; свинцовый свет лился сквозь окна; гости уходили. Тогда целыми часами расхаживал Леонардо взад и вперед по комнате, изредка поглядывая на механика Зороастро да Перетолу. Теперь, более, чем когда-либо, этот калека был живым укором, насмешкой над усилием всей жизни учителя - созданием человеческих крыльев. По обыкновению, сидя в углу, поджав ноги, наматывал Астро длинную полотняную ленту на круглый шесток; выпиливал чурки для городков; вырезывал волчки; или, зажмурив глаза и раскачиваясь медленно, с бессмысленной улыбкой, махал руками, точно крыльями, и, в полузабытьи, мурлыкал себе под нос все одну и ту же песенку:

Курлы, курлы, Журавли да орлы, Среди солнечной мглы, Где не видно земли. Журавли, журавли.

И от этой унылой песенки делалось еще скучнее, холодный свет сумерек казался еще безнадежнее.

Наконец совсем темнело. В доме наступала тишина. А за окнами выла вьюга, шумели голые сучья старых деревьев, и шум этот похож был на беседу злых великанов. К вою ветра присоединился другой, еще более жалобный, должно быть, вой волков на опушке леса. Франческо разводил огонь в очаге, и Леонардо присаживался.

Мельци хорошо играл на лютне, и у него был приятный голос. Иногда старался он рассеять мрачные мысли учителя музыкой. Однажды спел ему старинную песню, сложенную Лоренцо Медичи, сопровождавшую так называемый трионфо - карнавальное шествие Вакха и Ариадны - бесконечно радостную и унылую песню любви, которую Леонардо любил, потому что слышал ее часто в юности:

О, как молодость прекрасна, Но мгновенна! Пой же, смейся, Счастлив будь, кто счастья хочет, И на завтра не надейся.

Учитель слушал, опустив голову: ему вспоминалась летняя ночь, черные, как уголь, тени, яркий, почти белый, свет луны в пустынной улице, звуки лютни перед мраморной лоджией, эта же самая песня любви - и мысли о Джоконде.

Последний звук дрожал, замирая, сливаясь с гулом и грохотом вьюги. Франческо, сидевший у ног учителя, поднял глаза на него и увидел, что по лицу старика текут слезы.

Иногда, перечитывая дневники свои, Леонардо записывал новые мысли о том, что теперь занимало его больше всего,- о смерти.

"Теперь ты видишь, что твоя надежда и желание вернуться на родину, к первому бытию - подобно стремлению бабочки в огонь, и что человек, который в беспрерывных

желаниях, в радостном нетерпении, ждет всегда новой весны, нового лета, новых месяцев и новых годов, думая, что ожидаемое опаздывает,- не замечает того, что желает собственного разрушения и конца. Но желание это есть сущность природы - душа стихий, которая, чувствуя себя заключенною в душе человеческой, вечно желает вернуться из тела к Пославшему ее.

В природе нет ничего, кроме силы и движения; сила же есть воля счастья - вечное стремление мира к последнему равновесию, к Первому Двигателю.

Когда желаемое соединяется с желающим, происходит утоление желания и радость: любящий, когда соединился с любимой,- покоится; тяжесть, когда упала,- покоится.

Часть всегда желает соединиться с целым, дабы избежать несовершенства: душа всегда желает быть в теле, потому что, без органов тела, не может ни действовать, ни чувствовать. Но с разрушением тела душа не разрушается; она действует в теле, подобно ветру в трубах органа: ежели одна из труб испорчена, ветер не производит верного звука.

Как день, хорошо употребленный, дает радостный сон, так жизнь, хорошо прожитая, дает радостную смерть. Всякая жизнь, хорошо прожитая, есть долгая жизнь. Всякое зло оставляет горечь в памяти, кроме величайшего - смерти, которая разрушает память вместе с жизнью.

Когда я думал, что учусь жить, я только учился умирать.

Внешняя необходимость природы соответствует внутренней необходимости разума: все разумно, все хорошо, потому что все необходимо.

Да будет воля Твоя, Отче наш, и на земле, как на небе".

Так разумом оправдывал он в смерти божественную необходимость - волю Первого Двигателя. А между тем, в глубине сердца что-то возмущалось, не могло и не хотело покориться разуму.

Однажды приснилось ему, что он очнулся в гробу, под землей, заживо погребенный, и с отчаянным усилием, задыхаясь, уперся руками в крышку гроба.- На следующее утро напомнил он Франческо свое желание, чтобы не хоронили его, пока не явятся первые признаки тления.

В зимние ночи, под стоны вьюги, глядя на подернутые пеплом угли очага, он вспоминал свои детские годы в

селении Винчи - бесконечно далекий и радостный, точно призывный, крик журавлей: "полетим! полетим!", смолистый горный запах вереска, вид на Флоренцию в солнечной долине, прозрачно-лиловую, как аметист, такую маленькую, что вся она умещалась между двумя золотистыми ветками поросли, покрывающей склоны Альбанской горы. И тогда чувствовал, что все еще любит жизнь, все еще, полумертвый, цепляется за нее и боится смерти, как черной ямы, куда, не сегодня, так завтра, провалится с криком последнего ужаса. И такая тоска сжимала сердце, что хотелось плакать, как плачут маленькие дети. Все утешения разума, все слова о божественной необходимости, о воле Первого Двигателя казались лживыми, разлетались, как дым, перед этим бессмысленным ужасом. Темную вечность, тайны неземного мира он отдал бы за один луч солнца, за одно дуновение весеннего ветра, полного благоуханием распускающихся листьев, за одну ветку с золотисто-желтыми цветами альбанской поросли.

Ночью, когда они оставались одни, а спать не хотелось - в последнее время страдал Леонардо бессонницей,- читал ему Франческо Евангелие.

Никогда не казалась ему эта книга такою новою, необычайною, непонятою людьми. Некоторые слова, по мере того, как он вдумывался в них, углублялись, как бездны. Одно из таких слов было

в четвертой главе Евангелия от Луки. Когда Господь победил два первые искушения - хлебом и властью,- дьявол искушает его крыльями:

"И повел его в Иерусалим и поставил Его на крыле храма и сказал ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя, и на руках понесет Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай Господа Бога Твоего".

Слово это казалось теперь Леонардо ответом на вопрос всей жизни его: будут ли крылья человеческие?

"И окончив все искушение, диавол отошел от Него до времени". "До времени? Что это значит?-думал Леонардо.- Когда же дьявол приступит к Нему снова?"

Слова, которые могли бы казаться ему полными величайшего соблазна, наиболее противными опыту и познанию законов естественной необходимости, не смущали его:

"Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: переиди туда,- она перейдет".

297

желаниях, в радостном нетерпении, ждет всегда новой весны, нового лета, новых месяцев и новых годов, думая, что ожидаемое опаздывает,- не замечает того, что желает собственного разрушения и конца. Но желание это есть сущность природы - душа стихий, которая, чувствуя себя заключенною в душе человеческой, вечно желает вернуться из тела к Пославшему ее.

В природе нет ничего, кроме силы и движения; сила же есть воля счастья - вечное стремление мира к последнему равновесию, к Первому Двигателю.

Когда желаемое соединяется с желающим, происходит утоление желания и радость: любящий, когда соединился с любимой,- покоится; тяжесть, тогда упала,- покоится.

Часть всегда желает соединиться с целым, дабы избежать несовершенства: душа всегда желает быть в теле, потому что, без органов тела, не может ни действовать, ни чувствовать. Но с разрушением тела душа не разрушается; она действует в теле,

подобно ветру в трубах органа: ежели одна из труб испорчена, ветер не производит верного звука.

Как день, хорошо употребленный, дает радостный сон, так жизнь, хорошо прожитая, дает радостную смерть. Всякая жизнь, хорошо прожитая, есть долгая жизнь. Всякое зло оставляет горечь в памяти, кроме величайшего - смерти, которая разрушает память вместе с жизнью.

Когда я думал, что учусь жить, я только учился умирать.

Внешняя необходимость природы соответствует внутренней необходимости разума: все разумно, все хорошо, потому что все необходимо.

Да будет воля Твоя, Отче наш, и на земле, как на небе".

Так разумом оправдывал он в смерти божественную необходимость - волю Первого Двигателя. А между тем, в глубине сердца что-то возмущалось, не могло и не хотело покориться разуму.

Однажды приснилось ему, что он очнулся в гробу, под землею, заживо погребенный, и с отчаянным усилием, задыхаясь, уперся руками в крышку гроба.- На следующее утро напомнил он Франческо свое желание, чтобы не хоронили его, пока не явятся первые признаки тления.

В зимние ночи, под стоны вьюги, глядя на подернутые пеплом угли очага, он вспоминал свои детские годы в

селении Винчи - бесконечно далекий и радостный, точно призывный, крик журавлей: "полетим! полетим!", смолистый горный запах вереска, вид на Флоренцию в солнечной долине, прозрачно-лиловую, как аметист, такую маленькую, что вся она умещалась между двумя золотистыми ветками поросли, покрывающей склоны Альбанской горы. И тогда чувствовал, что все еще любит жизнь, все еще, полумертвый, цепляется за нее и боится смерти, как черной ямы, куда, не сегодня, так завтра, провалится с криком последнего ужаса. И такая тоска сжимала сердце, что хотелось плакать, как плачут маленькие дети. Все утешения разума, все слова о божественной необходимости, о воле Первого Двигателя казались лживыми, разлетались, как дым, перед этим бессмысленным ужасом. Темную вечность, тайны неземного мира он отдал бы за один луч солнца, за одно дуновение весеннего ветра, полного благоуханием

распускающихся листьев, за одну ветку с золотисто-желтыми цветами альбанской поросли.

Ночью, когда они оставались одни, а спать не хотелось - в последнее время страдал Леонардо бессонницей,- читал ему Франческо Евангелие.

Никогда не казалась ему эта книга такою новою, необычайною, непонятою людьми. Некоторые слова, по мере того, как он вдумывался в них, углублялись, как бездны. Одно из таких слов было в четвертой главе Евангелия от Луки. Когда Господь победил два первые искушения - хлебом и властью,- дьявол искушает его крыльями:

"И повел его в Иерусалим и поставил Его на крыле храма и сказал ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя, и на руках понесу ~ Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай Господа Бога Твоего".

Слово это казалось теперь Леонардо ответом на вопрос всей жизни его: будут ли крылья человеческие?

"И окончив все искушение, диавол отошел от Него до времени".

"До времени? Что это значит?-думал Леонардо.- Когда же дьявол приступит к Нему снова?"

Слова, которые могли бы казаться ему полными величайшего соблазна, наиболее противными опыту и познанию законов естественной необходимости, не смущали его:

"Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди туда,- она перейдет". Ему всегда казалось, что последнее, может быть, недоступное людям, знание и последняя, столь же недоступная, вера привели бы разными путями к одному - к слиянию внутренней и внешней необходимости, воли человека и воли Бога. Кто с истинною верою скажет горе: подымись и ввергнись в море,- тот уже знает, что не может не быть по слову его; для того уже сверхъестественное - естественно. Но уязвляющее жало этих слов не заключалось ли в том, что веру, хотя бы с горчичное зерно, иметь труднее, чем сказать горе: подымись и ввергнись в море?

Тщетно старался он постигнуть и другое, еще более загадочное слово Учителя:

"Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение".

Ежели есть у Бога тайна, которую Он открывает младенцам, ежели совершенная простота не есть совершенная мудрость,- почему же сказано в той же книге: "Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби". Между этими двумя словами опять открывалась бездна.

И еще сказано: "посмотрите на полевые лилии,- как они растут? И так, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что нам пить? или во что одеться? Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Это все приложится вам".

Леонардо вспоминал свои открытия, изобретения, машины, которые должны были дать человеку власть над природою, и думал: "Неужели все это только забота о теле,- что есть? что пить? во что одеться? - только служение Маммону? Или в труде человеческом нет ничего, кроме пользы? И если Любовь есть Мария, которая, избрав благую часть, сидит у ног Учителя и внемлет словам Его, то неужели Мудрость - только Марфа, которая печется о многом, когда нужно одно?"

Он, впрочем, знал, по собственному опыту, что в глубочайшей мудрости, так же как на скользком краю пропасти, находятся самые страшные, непреодолимые соблазны. Он вспоминал о малых сих, собственных учениках, может быть, из-за него погибших, им соблазненных - Чезаре, Астро, Джованни,-когда слышал эти слова:

"Кто соблазнит одного из малых сих. тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов; ибо надобно придти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит". И, однако, в той же книге не было ли сказано: "Блажен, кто не соблазнится о Мне.- Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение".

Всего же более ужасал его рассказ Матфея и Марка о смерти Иисуса:

"В шестом часу наступила тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким

голосом: Элои! Элои! ламма савахфани! Боже мой! Боже мой! для чего Ты меня оставил? И опять возопив, испустил дух".

"Для чего Ты оставил Меня? - думал Леонардо; - одним ли врагам Его казался этот предсмертный крик Сына к Отцу, Того, Кто сказал: "Я и Отец одно",- криком последнего отчаяния? И если все учение Его положить на одну чашу весов, а на другую - эти четыре слова, то какая перевесит?"

И между тем, как он думал об этом, ему казалось, что уже видит он лицом к лицу ту страшную черную яму, куда, не сегодня, так завтра, споткнувшись, провалится с криком последнего ужаса: Боже мой. Боже мой, для чего Ты меня оставил?

Иногда поутру, вставая, глядел он сквозь замерзшие стекла на снежные сугробы, на серые небо, на деревья, покрытые инеем - и ему казалось, что зима никогда не кончится.

Но в начале февраля повеяло теплом; на солнечной стороне домов, с висячих льдинок закапали звонкие светлые капли; воробьи зачирикали; стволы деревьев окружились темными кругами тающего снега; почки разбухли, и сквозь редящий пар облаков засквозило бледно-голубое небо.

Утром, когда солнце проникало в мастерскую косыми лучами, Франческо ставил в них кресло учителя, и целыми часами старик сидел неподвижно, греясь, опустив голову, положив на колени исхудалые руки. И в руках этих, и в лице с полузакрытыми веками было выражение бесконечной усталости.

Ласточка, зимовавшая в мастерской, прирученная Леонардо, теперь летала, кружилась по комнате, садилась к нему на плечо или на руку, позволяла брать себя и целовать в головку; потом, опять вспорхнув, реяла, с нетерпеливыми криками, как будто чуя весну. Внимательным взором следил он за каждым поворотом ее маленького тела, за каждым движением крыльев - и мысль о человеческих крыльях снова пробуждалась в нем.

Однажды, отперев большой сундук, стоявший в углу мастерской, начал рыться в кипах бумаг, тетрадей и бесчисленных отдельных листков, с чертежами машин, с отрывочными заметками из двухсот сочиненных им книг О Природе.

Всю жизнь собирался он привести в порядок этот хаос, связать общею мыслью отрывки, соединить их в стройное целое, в одну великую Книгу о Море, но все откладывал. Он знал, что здесь были открытия, которые на несколько веков сократили бы труд познания, изменили бы судьбы человечества и повели бы его новыми путями. И, вместе с тем, знал, что этого не будет: теперь уже поздно, все погибнет так же бесплодно, так же бессмысленно, как Тайная Вечеря, памятник Сфорцы, Битва при Ангиари, потому что и в науке он только желал бескрылым желанием, только начинал и не оканчивал, ничего не сделал и не сделает, как будто насмешливый рок наказывал его за безмерность желаний ничтожеством действия. Предвидел, что люди будут искать того, что он уже нашел, открывать то, что он уже открыл,- пойдут его путем, по следам его, но мимо него, забыв о нем, как будто его вовсе не было.

Отыскав небольшую, пожелтевшую от старости тетрадку, озаглавленную Птицы, отложил ее в сторону.

В последние годы он почти не занимался летательной машиной, но думал о ней всегда. Наблюдая полет прирученной ласточки и чувствуя, что новый замысел созрел в нем окончательно, решил приступить к последнему опыту, с последнею, может быть, безумною надеждою, что созданием крыльев человеческих будет спасен и оправдан весь труд его жизни.

Он принялся за эту новую работу с таким же упорством, с такой же лихорадочною торопливостью, как за Иоанна Предтечу: не думая о смерти, побеждая слабость и болезнь, забывая сон и пищу, просиживал целые дни и ночи над чертежами и вычислениями. Иногда казалось Франческо, что это не работа, а бред сумасшедшего. С возрастающей тоской и страхом смотрел ученик на лицо учителя, искаженное судорогой отчаянного, как бы яро стного, усилия воли - желанием невозможного, того, чего людям не дано желать безнаказанно.

Прошли недели. Мельчи не отходил от него, не спал ночей. Однажды, после третьей ночи, смертельная усталость одолела Франческо. Он прикорнул в кресле у потухшего очага и задремал.

Утро серело в окнах. Проснувшаяся ласточка щебетала. Леонардо сидел за маленьким рабочим столиком, с пером в руках, согнувшись,

опустив голову над бумагой, испещренной цифрами.

Вдруг тихо и странно покачнулся; перо выпало из пальцев; голова стала склоняться все ниже и ниже. Сделал усилие, чтобы встать, хотел позвать Франческо; но чуть слышный крик замер на губах его; и неуклюже и грузно навалившись всею тяжестью тела на стол, опрокинул его. Заплавшая свеча упала. Мельци, разбуженный стуком, вскочил. В сумеречном свете утра, рядом с опрокинутым столом, потухшею свечою и разбросанными листками он увидел учителя, лежавшего на полу. Испуганная ласточка кружилась по комнате, задевая потолок и стены шуршащими крыльями. Франческо понял, что это - второй удар. Несколько дней пролежал больной без памяти, продолжая в бреду математические выкладки. Очнувшись, тотчас потребовал чертежи летательной машины.

- Ну нет, учитель, воля ваша! - воскликнул Франческо.- Я скорее умру, чем позволю вам приняться за работу, пока совсем не поправитесь... - Куда положил их? - спрашивал больной с досадою. - Куда бы ни положил, не бойтесь - будут в сохранности. Все возвращу, когда встан-те... - Куда положил их? - повторил Леонардо. - На чердак отнес и запер. - Где ключ? - У меня. - Дай- Помилуйте, мессере, на что же вам?

- Давай, давай скорее!

Франческо медлил. Глаза больного вспыхнули гневом. Чтобы не раздражать его, Мельци отдал ключ. Леонардо спрятал под подушку и успокоился. Он стал поправляться скорее, чем думал Франческо. Однажды, в начале апреля, провел день спокойно; играл в шашки с фра Гульельмо. Вечером Франческо, утомленный многими бессонными ночами, задремал, сидя на

скамье в ногах учителя, прислонившись головой к постели. Вдруг проснулся, как бы от внезапного толчка. Прислушался и не услышал дыхания спящего. Ночник потух. Он зажег его и увидел, что постель пуста: обошел все верхние покои дома, разбудил Баттисту Вилланиса.- и тот не видел Леонардо.

Франческо хотел уже спуститься вниз, в мастерскую, но вспомнил о бумагах, спрятанных на чердаке. Побежал туда, приотворил незапертую дверь и увидел Леонардо, полуодетого, сидевшего на полу перед опрокинутым старым ящиком, который служил ему

столом, при свете сального огарка он писал - должно быть, делал вычисления для машины, что-то тихо и быстро бормоча, как в бреду. И это бормотание, и горящие глаза, и седые всклокоченные волосы, и щетинистые брови, сдвинутые как бы сверхчеловеческим усилием мысли, и углы ввалившегося рта, опущенные с выражением старческой немощи, и все лицо, которое казалось чужим, незнакомым, словно раньше никогда не видел он его, были так страшны, что Франческо остановился в дверях, не смея войти.

Вдруг Леонардо схватил карандаш и зачеркнул страницу, исписанную цифрами, так что острие карандаша сломалось, потом оглянулся, увидел ученика и встал, бледный, шатаясь.

Франческо бросился к нему, чтобы поддержать его. - Говорил я тебе,- с тихой, странной усмешкой молвил учитель,- говорил, Франческо, что скоро кончу. Ну вот и кончил, кончил все. Теперь уж не бойся, не буду. Довольно! Стар я стал и глуп, глупее Астро. Ничего не знаю. Что и знал, то забыл. Куда уж мне с крыльями... К черту все, к черту!..

И хватая со стола листки, яростно комкал и рвал. С того дня опять ему сделалось хуже. Мельци предчувствовал, что он уже на этот раз не встанет. Иногда на целые дни впадал больной в забытие, подобное обмороку.

Франческо был набожен. Во все, чему учит Церковь, верил с простотой. Он один не подвергся влиянию тех губительных чар - "дурному глазу" Леонардо, которые испытывали почти все, кто приближался к нему. Зная, что учитель не исполняет церковных обрядов, все-таки угадывал чутьем любви, что Леонардо - не безбожник. И далее не углублялся, не любопытствовал.

Но теперь мысль о том, что он может умереть без покаяния, ужаснула его. Он отдал бы душу свою, чтобы спасти учителя; но заговорить с ним об этом не смел.

Однажды вечером, сидя у изголовья больного, смотрел на него все с тою же страшною мыслью. - О чем ты думаешь? - спросил Леонардо. - Фра Гульельмо заходил сегодня утром,- ответил Франческо, немного замямшись,- хотел вас видеть. Я сказал, что нельзя...

Учитель заглянул ему прямо в глаза, полные мольбою, страхом и надеждою.

- Ты не о том, Франческо, думал. Зачем не хочешь сказать мне? Ученик молчал, потупившись.

И Леонардо понял все. Отвернулся и нахмурился. Всегда хотелось ему умереть так же, как он жил - в свободе и в истине. Но было жаль Франческо: неужели и теперь, в последние мгновения перед смертью, возмутит он смиренную веру, соблазнит единого от малых сих?

Опять взглянул на ученика, положил ему на руку исхудалую руку свою и молвил с тихою улыбкою:

- Сын мой, пошли к фра Гульельмо, попроси его придти завтра. Я хочу исповедаться и причаститься. Пригласи также мэтра Гильома.

Франческо ничего не ответил, только поцеловал руку Леонардо с бесконечною благодарностью.

На следующее утро, 23 апреля, в субботу на Страстной

неделе, когда пришел нотариус, мэтр Гильом, Леонардо сообщил ему свою последнюю волю: четыреста флоринов, отданные на сохранение камерлингу церкви Санта-Мариа Нуова в городе Флоренции, завещал братьям, с которыми вел тяжбу,- в знак совершенного примирения; ученику Франческо Мельци - книги, научные приборы, машины, рукописи и остаток жалованья, который должен был получить из королевской казны; слуге Баттисте Вилланису - домашнюю утварь в замке Дю Клу и половину виноградника за стенами города Милана, у Верчельских Ворот, а другую половину - ученику Андреа Салаино.

Что касается обряда похорон и прочего, просил нотариуса обратиться к Мельци, которого назначал своим душеприказчиком.

Франческо с мэтром Гильомом позаботились устроить такие похороны, из которых явствовало бы, что Леонардо, вопреки народной молве, умер, как верный сын католической церкви.

Больной одобрил все и, желая показать, что принимает участие в заботах Франческо о благолепии похорон, назначил, вместо предложенных восьми, десять фунтов свечей во время заупокойных обеден, вместо пятидесяти семьдесят туренских су для раздачи бедным.

Когда завещание было готово, и оставалось только скрепить его подписями свидетелей, Леонардо вспомнил о старой служанке своей, стряпухе Матурине. Мэтр Гильом должен был прибавить новую статью, по которой получала она платье доброго черного сукна, подбитый мехом головной убор, тоже суконный, и два дуката деньгами - за многолетнюю верную службу. Это внимание умирающего к бедной служанке наполнило сердце Франческо знакомым чувством нестерпимой жалости.

В комнату вошел фра Гульельмо со Святыми Дарами, и все удалились.

Выйдя от больного, монах успокоил Франческо, сообщив ему, что Леонардо исполнил обряды Церкви со смирением и преданностью воле Божьей.

- Что бы люди ни говорили о нем, сын мой,- заключил фра Гульельмо,- он оправдается, по слову Господа: "блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят".

Ночью у больного сделались припадки удушья. Мельци боялся, что он умрет на руках его.

К утру - это было 24 апреля, Светлое Христово Воскресенье - стало ему легче. Но, так как все еще он задыхался, а в комнате было жарко, Франческо открыл окно. В голубых небесах реяли белые голуби, и с трепетным шелестом крыльев сливался звон колоколов пасхальных. Но умирающий уже не видел и не слышал ничего.

Ему казалось, что невероятные тяжести, подобные каменным глыбам, падают, валятся, давят его; он хочет приподняться, сбросить их, не может - и вдруг, с последним усилием, освобождается, летит на исполинских крыльях вверх; но снова камни валятся, громоздятся, давят; снова он борется, побеждает, летит,- и так без конца. И с каждым разом тяжесть все страшнее, усилие невероятнее. Наконец, чувствует, что уже не может бороться, и с криком последнего отчаяния: Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня? - покоряется. И только что покорился,- понял, что камни и крылья, давление тяжести и стремление полета, верх и низ - одно и то же: все равно - лететь или падать. И он летит и падает, уже не зная, колеблют ли его тихие волны бесконечного движения, или мать качает на руках, баюкая.

Несколько дней еще тело его казалось живым для окружающих; но он уже не приходила себя. Наконец, однажды утром,- это было 2 мая, Франческо и фра Гульельмо заметили, что дыхание его ослабевает. Монах стал читать отходную.

Через некоторое время ученик, приложив руку к сердцу учителя, почувствовал, что оно не бьется. Он закрыл ему глаза.

Лицо умершего мало изменилось. На нем было выражение, которое часто бывало при жизни - глубокого и тихого внимания.

Пока Франческо с Баттистой Вилланисом и старой служанкой Матуриною обмывали тело,- окна и двери открыты были настежь.

В это время, снизу, из мастерской, прирученная ласточка, о которой, забыли в последние дни, почуяв свободу, через лестницу и верхние покои, влетела в комнату, где лежал покойник. Покружившись над ним, среди погребальных свечей, горевших мутным пламенем в сиянии солнечного утра, опустилась, должно быть, по старой привычке, на сложенные руки Леонардо. Потом вдруг встрепенулась, взвилась и через открытое окно улетела в небо, с веселым криком. И Франческо подумал, что в последний раз учитель сделал то, что так любил,- отпустил на волю крылатую пленницу.

Согласно с желанием покойного, тело его пролежало три дня, но не в мертвецкой - этого не захотел Франческо,- а в той же комнате, где он умер.

При совершении похорон, все, сказанное в завещании, соблюдено в точности: капелланы, каноники, викарии, монахи сопровождали гроб; шестьдесят н"-цих несли шестьдесят свечей; в четырех церквах Амбуаза отслужены три большие и тридцать малых обеден, причем горели десять фунтов толстых восковых свечей; семьдесят туренских су розданы бедным при городской больнице Сен-Лазар. По этим признакам благочестивые люди могли убедиться, что хоронят верного сына святой католической Церкви.

Он был погребен в монастыре Сен-Флорентен. Но так как скоро забытая могила сровнялась с землею, и память о нем в Амбуазе исчезла бесследно, то для грядущих поколений место, где покоился прах Леонардо, осталось неизвестным.

Сообщая о смерти учителя братьям его во Флоренции, Франческо писал:

"Горя, причиненного мне смертью того, кто был для меня больше, чем отец, выразить я не умею. Но, пока жив, буду скорбеть о нем, потому что он любил меня великою и нежною любовью. Да и всякий, полагаю, должен скорбеть об утрате такого человека, которому другого подобного природа не может создать.- Ныне, всемогущий Боже, даруй ему вечный покой".

В день смерти Леонардо Франциск 1 охотился в лесу Сен-Жерменском. Узнав о кончине художника, велел запечатать его мастерскую до своего прибытия в Амбуаз, так как желал сам выбрать для себя лучшие картины.

Впрочем, у Франциска в это время были заботы, более важные для него, чем искусство. Пять месяцев назад, 12 января 1519 года, скончался император Максимилиан 1. Три короля - Англии, Испании, Франции - спорили из-за короны Священной Империи, действуя обманами и происками. Франциск уже мечтал - соединив в руках своих скипетр французских королей со скипетром римских императоров, основать небывалую в Европе монархию. На подкупы намеревался истратить три миллиона; искал союза с папою и обещал ему крестовый поход на турок для отвоевания Гроба Господня; клялся, что, через три года после своего избрания, вступит победителем в Константинополь и водрузит крест на Святой Софии. Больше, чем других соперников, ненавидел юного Карла, короля испанского, уверяя, что скорее согласится на избрание ничтожного курфюрста Бранденбургского или даже короля Польши Сигизмунда, чем Карла.

Лев X, по обыкновению, лукавил и вилял между обоими соперниками, не отвечая ни да, ни нет; в то же время продолжал переговоры, через доминиканца Дитриха, Шомберга, с великим князем московским Василием Иоанновичем и, добиваясь его участия в Священной Лиге против турок, предлагал ему посредничество для заключения мира с королем Сигизмундом.

В это время один из двух, бывших в Италии русских послов, Дмитрий Герасимов, уже вернулся в Москву; другой, Никита Карачаров, остался в Риме. Узнав о предстоящем избрании кесаря и о

переговорах по этому поводу Франциска с злейшим врагом своего государя, королем Сигизмундом - для более подробных и точных разведок Никита, вместе с папским легатом, поехал во Францию и, так же как в первую поездку, взял с собою старого подьячего. Илью Потапыча Копылу, толмача Власия и двух младших писцов, Федора Игнатьевича Рудометова- Федьку Жареного и Евтихия Паисиевича Гагару.

Евтихий, по обычаю многих тогдашних русских странников, вел краткую путевую запись, где отмечал все особенно любопытное из виденного и слышанного. В этом дневнике, между прочим, описывал он так Флоренцию:

"Град, зовомый Флоренза, велик вельми, и такового не обрели мы в преждеписанных. Есть же прекраснейший и предобрейший сущих в Италии градов, их же сам видел. выжницы вельми красны, палаты из белого камня, вельми высоки и хитры. И есть во граде том божница великая, камень мрамор бел да черен. И у божницы той устроен столп-колокольница, так же белый камень-мрамор. И хитрости ее недоумеает ум наш. И ходили мы во столп тот наверх и сосчитали ступени: четыреста и пятьдесят. Что могли своим малоумием вместити, то и написали, как видели, иного же не мощно исписати, зане пречудно есть отнюдь и несказанно",- заключал он рассказ, и действительно, то, что больше всего поразило его, не сумел он выразить: среди мраморных шестигранных барельефов Джотто, которыми украшен нижний ярус исполинской "кожольницы" - Кампанилы собора Санта-Мария дель фьоре и которые изображают последовательные ступени человеческого развития - скотоводство, земледелие, укрощение коня, изобретение кораблестроения, ткацкого станка, обработки металлов, живописи, музыки, астрономии,- заметил он хитрого механика Дедала, который испытывал изобретенные им, огромные восковые крылья: тело облеплено птичьими перьями; крылья привязаны ремнями к туловищу; обеими руками ухватился он за внутренние перекладки и, приводя ими в движение крылья, пытается взлететь.

Этот самый барельеф некогда внушил отроку Леонардо, только что приехавшему во Флоренцию из родного селения Винчи, первую мысль о летательной машине - Великой Птице.

Загадочный образ Крылатого Человека тем более поразил Евтихия, что в те дни он работал над иконою Предтечи Крылатого. С неясною и вещью тревогою он почувствовал противоположность вещественных, устроенных, может быть, хитростью бесовскою, крыльев механика Дедала и духовных, "прообразующих парение девственников к богу", крыльев "ангела во плоти" - Иоанна Предтечи. Франциск 1 из Сен-Жермена переехал в охотничий замок Фонтенбло, затем в Амбуаз. Сюда же, в первых числах июня 1519 года, прибыл русский посол Никита Карачаров и остановился, так же как в первый приезд, в доме нотариуса мэтра Гильома Боро, на главной улице города, у Часовой Башни.

Тотчас по приезде осмотрел король мастерскую Леонардо. В тот же день, вечером, принцесса Маргарита, с послом курфюрста Бранденбургского и другими чужеземными вельможами, в том числе Никитой Карачаровым, отправились в замок Дю Клу.

Проведав об этом, Федька Жареный посоветовал дяде, Илье Потапычу Копыле и Евтихию Гагаре также отправиться в "Дюклов", уверяя, что они могут увидеть много любопытного в доме "сего достохвального мастера Лионардуса, мужа чудного рассуждения, благосердного, в науке книжного поучения довольного, в словесной премудрости риторы, естествославного и смышлением быстрого".

Илья Потапыч и Евтихий с толмачом Власием последовали за ним в замок Дю Клу.

Когда они пришли, Маргарита и прочие гости, уже кончив осмотр, собирались уходить. Тем не менее, Франческо принял новых гостей с тою же любезностью, с какою принимал всех чужеземцев, посещавших дом учителя, не справляясь о чинах и звании; повел их в мастерскую и стал показывать все, что в ней было.

С боязливым удивлением они разглядывали невиданные машины, астрономические сферы, глобусы, квадранты, стеклянные колбы, перегонные шлемы, огромный, сделанный из хрусталя, человеческий глаз для изучения законов света, музыкальные приборы для изучения законов звука, маленькое изображение водолазного колокола, острые, лодкообразные лыжи для хождения по морю, как посуху, анатомические рисунки и чертежи страшных военных

снарядов. Федьку все это пленяло, казалось ему "астроложскою премудростью и высшей алхимеей". Но Илья Потапыч то и дело, хмурился, отворачивался и набожно крестился. Евтихия особенно поразил старый, сломанный остов крыла, похожего на крыло исполинской ласточки. Когда кое-как, через толмача Власия, Мельци объяснил ему, что это часть летательной машины, над которой учитель работал всю жизнь, Евтихию вспомнился крылатый человек Дедал на флорентийской мраморной колокольнице - и странные, жуткие мысли пробудились в нем с новою силою.

Осматривая картины, он остановился в недоумении перед Иоанном Предтечею; сначала принял его за женщину и не поверил, когда Власий, со слов Франческо, сказал, что это Креститель; но, взглядываясь пристальнее, увидел тростниковый крест - "посох кресчатый", такой же точно, с каким и русские иконники писали Иоанна Предтечу, Заметил также одежду из верблюжьего волоса. Смутился. Но, несмотря на всю противоположность этого Бескрылого тому Крылатому, с которым свyksя Евтихий,- чем больше смотрел, тем больше пленяла чуждая прелесть женоподобного Отрока, полная тайны, улыбка, с которой он указывал на крест Голгофы. В оцепенении, как очарованный, стоял он перед картиною, ни о чем не думая, только чувствуя, что сердце бьется все чаще и чаще от неизъяснимого волнения. Илья Потапыч не выдержал, яростно плюнул и выругался:

- Дьявольская нечисть! Невежество студодейное! Сей непотребный, аки блудница оголенный, ни брады, ни усов не имущий - Предтеча? Ежели Предтеча, то не Христа, а паче Антихриста... Пойдем, Евтихий, пойдем скорее, чадо мое, не оскверняй очей своих: нам православным взирать не достоин на таковые иконы их, неистовые, бесоугодные - будь они прокляты!

И взяв Евтихия за руку, почти насильно оттащил от картины и долго еще, выйдя из дома Леонардо, не мог успокоиться.

- Видите ли ныне,- предостерегал своих спутников,- сколь мерзостен перед Богом всяк, любящий гиометрию, чародейство, алхимию, звездочетие и прочее такое? Ибо разуму верующий легко впадает в прелести различные. Любите же, дети мои, простоту паче мудрости; высочайшего не изыскивайте, глубочайшего не испытуйте,

Какое вам предано готовое от Бога учение, то и содержитее неблаженно. И ежели кто тебя спросит: знаешь ли ты философию? - ты ему отвечай со смирением: грамоте учился, еллинских же борзостей не проходил, римских астрономов не читал, философию и в глаза не видел - учуся книгам благодатного закона, дабы грешную душу спасти...

Евтихий слушал, не понимая. Он думал о другом - о "беспогодной иконе", хотел забыть ее и не мог: таинственный лик Женоподобного, Бескрылого носился перед ним, пугал и пленял его, преследуя, как наваждение.

Так как в этот второй приезд Карачарова наплыв чужеземцев в Амбуаз был меньше, хозяин отвел для русского посольства помещение в нижних покоях дома, более просторное и удобное. Но Евтихий, предпочитая уединение, поселился в той же комнате, где жил два года назад - под самою крышею дома, рядом с голубятнею, и попрежнему устроил свою крошечную мастерскую в углублении слухового окна.

Вернувшись домой из замка Дю Клу и желая отогнать искушение, принялся за работу над новым, почти уже конченным, образом: Иоанн Предтеча Крылатый стоял в голубых небесах, на желтой песчаной, словно выжженной солнцем, горе, полукруглой, как бы на краю земного шара, окруженной темно-синим, почти черным, океаном. Он имел две головы - одну, живую - на плечах, другую, мертвую - в сосуде, который держал в руке своей, как бы в знак того, что человек, только умертвив в себе все человеческое, достигает окрыления сверхчеловеческого; лик был странен и страшен, взор широкооткрытых глаз похож на взор орла, вперенный в солнце; верблюжья мохнатая риза напоминала перья птицы; борода и волосы развевались, как бы от сильного ветра в полете; едва покрытые кожей кости тонких, исхудалых рук и ног, непомерно длинных, как у журавля, казались сверхъестественно легкими, точно полыми внутри, как хрящи и кости пернатых; за плечами висели два исполинские крыла, распростерты в лазурном небе, над желтою землею и черным океаном, снаружи белые, как снег, внутри багряно-золотистые, как пламя, подобные крыльям огромного лебедя.

Евтихию предстояло кончить позолоту на внутренней стороне крыльев.

Взяв несколько тонких, как бумага, листов червонного золота, он смял их в ладони и растер пальцем в раковине со свежеею камедью; налил сверху воды, теплой, "в стутерп руки", и, как пало золото на дно, и вода устоялась, воду слил и острой хорьковою кисточкой начал писать перья в крыльях Предтечи золотыми черточками, тщательно, перышко к перышку, и в каждой бородке пера, усик к усику; закрепляя золото яичным белком, гладил его заячьей лапкою, вылащивал медвежьим зубом. Крылья становились все живее, все лучезарнее.

Но работа не дала ему обычного забвения: крылья Предтечи напоминали то крылья механика Дедала, то крыло летательной машины Леонардо. И лик таинственного Отрока-Девы, лик Бескрылого вставал перед ним, заслоня Крылатого, манил и пугал, преследуя, как наваждение.

На сердце Евтихия было тяжело и смутно. Кисть выпала из рук его. Почувствовал, что больше не в силах работать, вышел из дома и долго бродил сначала по улицам города, потом по берегу пустынной Луары.

Солнце зашло. Бледно-зеленое небо с вечернею звездою отражалось в зеркальной глади реки. А с другой стороны двигалась туча. Зарницы трепетали в ней, как судорожно бьющиеся исполинские огненные крылья. Было душно тихо. И в этой тишине сердце Евтихия сжималось все томительнее, все тревожнее.

Снова вернулся домой, зажег лампаду пред иконою УГлицкой Божией Матери; справляя келейное правило, прочел каноны, икосы и кондаки; постлал на узкий деревянный ящик, служивший ему постелью, дорожный войлок, разделся и лег - но тщетно старался уснуть.

Часы проходили за часами. Его бросало то в жар, то в озноб. Во мраке, озаряемом вспышками бледных зарниц, он лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к тишине, в которой чудились ему странные шелесты, шепоты, шорохи, вещие звуки, приметы старых русских книжников: "ухозвон, стенотреск, мышеписк". Подобные бреду, бессвязные мысли проносились в уме его;

вспоминались прения о всяких сказочных дивах и нежитях: о страшном адрике-звере, что "ходит под землей, как солнце по небу, пропускает реки и кладязи"; о чудовищной птице Куратиме, что "живет на краю океана, колышет волны и топит корабли"; о брате царя Соломона, Китоврасе, что царствует днем над людьми, а ночью, обернувшись зверем, рыщет по земле; о людях, что носятся над бездною, с негасимым огнем, не пьют, не едят - таких длинных и тонких, что, куда ветер повеет, туда и летят, как паутина - и смерти им нет. И ему казалось, что сам он, как человекпаутина, носится в вечном вихре над бездною.

Вторые петухи пропели: и вспомнил он древнее сказание о том, как в середине ночи, когда ангелы, взяв от божьего престола солнце, несут его на восток, херувимы ныряют в крылья свои, и на земле всякая птица трепещет от радости, и петух, открыв главу свою, пробуждается и плещет крыльями, пророчествуя миру свет.

И снова, и снова, подобные бреду, бессвязные мысли тянулись, обрывались, как гнилые нити, и путались. Напрасно творил он молитву, удерживая дыхание, по уставу Нила Сорского: ничто не помогало - видения становились все ярче, все неотступнее.

Вдруг из мрака выплыл и встал перед ним, как живой, полный дьявольской прелестью, лик Женоподобного, Отрока-Девы, который, указывая на крест Голгофы, с нежной и насмешливой улыбкою смотрел Евтихию прямо в глаза таким пристальным, ласковым взором, что сердце его замерло от ужаса, и холодный пот выступил на лбу.

Зажег свечу, решив провести остаток ночи без сна, взял с полки книгу и начал читать. Это была древняя русская повесть О Вавилонском Царстве.

Во время царя Навуходоносора и его преемников город Вавилон опустел и сделался приютом бесчисленных змей. Через много веков император византийский Лев, во святом крещении Василий, послал трех мужей взять из Вавилона венец и порфиру царя Навуходоносора. Долго шли они, потому что путь был тесен и труден, наконец, дошли до града Вавилона, но ничего не увидели: ни стен, ни домов, ибо на шестнадцать поприщ вокруг запустевшего города выросло былие пустынное, "аки есть волчец, трава безугодная; а

против сих трав гады, змеи, жабы огромные, им же числа нет, свившись, как великие копны сенные, вздымались и свистели, и шипели, и несло от них зимнею стужею". На третий день пришли посланники к Великому Змию, что лежал вокруг Вавилона и хобот свой пригнул с другой стороны к тем же вратам, где глава его. И лестница из древа кипариса положена была на стену города. По этой лестнице взошли они, вступили в город и в одной из царевых палат нашли венец Навуходоносора и ларец сердоликовый с порфирую и скипетром. Когда вернулись послы к императору с найденною царскою утварью, патриарх Константинопольский во храме Софии Премудрости Божией возложил на благоверного царя Василия порфиру и венец Навуходоносора, царя вавилонского и всей вселенной.- Впоследствии император Константин Мономах послал этот самый венец великому князю Владимиру Всеволодовичу, как знак всемирного владычества, уготованного Богом русской земле.

Отложив повесть "О Вавилонском Царстве", взял Евтихий другую книгу - сказание "О Белом Клобуке", посланное несколько лет назад из Рима новгородскому архиепископу Геннадию Дмитрием Герасимовым, Митей Толмачом, тем самым, который сопровождал Никиту Карачарова и у которого служил Евтихий.

В древние лета император Константин Равноапостольный, рассказывалось в этой повести, приняв христианскую веру и получив исцеление от папы Сильвестра, пожелал наградить его царским венцом. Но ангел велел ему дать венец не земного, а небесного всемирного владычества - Белый Клобук, устроенный по образцу монашеского чина, прообразующий "светлое тридневное Воскресение Христово". Православные папы долго чтили Белый Клобук, пока царь Карул с папою Формозом не впали в латинскую ересь, в признание не только небесного, но и земного владычества Церкви. Тогда ангел в новом видении одному из пап велел послать Клобук в Византию патриарху Филофею. Тот принял святыню с великою честью и пожелал удержать ее, но император Константин и папа Сильвестр, явившись ему в сновидении, велели послать Клобук еще далее - в русскую землю, в Великий Новгород. "Ибо ветхий Рим,- так сказал папа Сильвестр патриарху,- отпал от славы и веры Христовой гордостью и волею своею в прелесть латинскую, а в новом

Риме, Константинополе, также погибнет вера насилием безбожных агарян. На третьем же Риме, на Русской земле, благодать Святого Духа воссияет. И ведай, Филофей, что все христианские земли приидут в конец и сникнут в единое Русское царство, православия ради. Ибо в древние лета, изволением земного царя Константина Мономаха, от царствующего града сего венец Навуходоносора дан был русскому царю; Белый же сей Клобук, изволением Царя небесного Христа, ныне дан будет архиепископу Великого Новгорода. И кольми сей - честнее оного. И воля святая предана будет от Бога Русской земле, и Русского царя возвеличит Господь над многими языками, и страна наречется Светлая Русь, по изволению Божьему, да сия третьего нового Рима святая соборная апостольская Церковь православною христианскою верою по всей вселенной паче солнца светится".

Так и совершилось. Архиепископ Новгородский принял Белый Клобук и положил его в церковь святой Софии Премудрости Божией. И благодатью Господа Иисуса Христа утвердился он отныне и во веки веков на главах русских святителей.

Повесть о Вавилонском Царстве предвещала земное - повесть о "Белом Клобуке" - небесное величие русской земли.

Каждый раз, как Евтихий читал эти сказания, душу его наполняло смутное чувство, ему самому непонятное,

подобное беспредельной надежде, от которого сердце его билось и захватывало дух, как над бездною.

Сколь ни казалась ему скудной и убогой родная земля в сравнении с чужими краями, он верил в эти пророчества о грядущем величии Третьего Рима, о "граде Иерусалиме начальном", о луче восходящего солнца на золотых семидесяти главах всемирного русского храма Софии Премудрости Божией.

Только в самой глубине души его было сомнение, чувство неразрешимого противоречия: не сказано ли, думал он, что царь Навуходоносор был царем неправосудным, "злейшим на всей земле", и что, желая, чтобы все народы служили ему одному и все языки и все племена призывали его, как Бога, объявил через глашатая: падите и поклонитесь золотому истукану царя Навуходоносора. Но истинный Бог покарал его: отнял сердце человеческое и дал ему сердце

звериное, и был он отлучен от людей и ел траву, как вол, и орошалось тело его росой небесною, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти, как у птицы. И в Откровении не было ли сказано: "Пал, пал Вавилон - великая блудница, ибо яростным вином блудодеяния своего напоила все народы. Горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру!" - А если так, спрашивал себя Евтихий, как же в третьем Риме, в русском царстве. Белый Клобук соединится с мерзостным венцом Навуходоносора царя, проклятого Богом - венец Христа с венцом Антихриста?

Он чувствовал, что здесь - великая тайна, и что если он углубится в нее, то видения, более страшные, чем те, что отошли от него, снова приступят к нему. Стараясь не думать, погасил свечу и лег в постель.

Приснился ему сон: с огненным лицом, огненными крыльями, в блистающих ризах. Жена на серповидной луне среди облаков, под седмистолпным киворием с надписью: Премудрость созда себе дом, пророки, святители, праотцы, дориносящие ангелы, архангелы. Силы, Престолы, Господствия, Власти окружали Ее, и в сонме пророков, у самого подножия Премудрости - Иоанн Предтеча, с такими же тонкими руками и ногами, длинными, как у журавля, с такими же белыми исполинскими крыльями, как на иконе, но с другим лицом: по оголенному лбу с упрямыми морщинами, по щетинистым бровям, длинной седой бороде и седым волосам, узнал Евтихий запечатлевшееся в памяти его лицо старика, похожего на Илью пророка, который два года назад приходил к нему в мастерскую - лицо Леонардо да Винчи, изобретателя человеческих крыльев.- Внизу, под облаками, на которых стояла Жена, горели, как жар, в голубых небесах, золотые купола и маковки церквей; виднелись черные, только что взрытые плугом, поля, синие рощи, светлые реки и бесконечная даль, в которой узнал он Русскую землю.

Колокола загудели торжественным гулом; многоочитые запели победную песнь: аллилуйя, шестикрылатые, закрывая в ужасе лица свои крыльями, возопили: да молчит всякая плоть человека и да стоит со страхом и трепетом; и семь архангелов ударили в крылья свои; и семь громов проговорили. И над Женою огнезračною. Святой Софией Премудростью Божией, небо разверзлось, и нечто явилось в

нем, белое, солнцу подобное, страшное. И понял Евтихий, что это есть Белый Клобук, венец Христа над Русскою землею.

Свиток, который держал в руке Предтеча Крылатый, развернулся, и Евтихий прочел:

"Вот Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет во храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета. Которого вы желаете. Вот Он идет".

Голоса громов, плески ангельских крыл, победная песнь аллилуйя и звон колоколов слились в одну хвалебную песнь Святой Софии Премудрости Божией.

И песни этой ответили нивы, рощи, реки, горы и все бесконечные дали Русской земли. Евтихий проснулся.

Было раннее, серое утро. Он встал и открыл окно. На него пахнуло душистою свежестью листьев и трав, омытых дождем: ночью прошла гроза. Солнце еще не всходило. Но на краю неба, над темными лесами, за рекою, там, где оно должно было взойти, столпившиеся тучи рдели пурпуром и золотом. Улицы города спали в сумерках; лишь тонкая белая колокольня св. Губерта освещалась бледно-зеленым, как будто подводным, светом. Тишина была совершенная, полная великого ожидания; только на песчаных отмелях пустынной Луары дикие лебеди перекликались.

Иконописец сел у окна за маленький столик, с наклонной доской для писания, с прикрепленною сбоку роговой чернильницей и выдвижным для перьев ящиком, очинил

гусиное перо и открыл большую тетрадь. Это был многолетний труд его, завещанный ему учителем, смиренным старцем Прохором, новый исправленный "Иконописный подлинник".

"Откуда же начало есть икон? Не от человеков, но сам Бог-Отец, первый, родил Сына, Слово Свое, живую Свою Икону",- то были последние слова, написанные Евтихием. Он обмакнул перо и продолжал писать:

"Аз, грешный, имея от Господа талант, моей худости врученный, не хотел его в земле сокрыть, да не приму за то осуждения, но потщился алфавит художества сего, еже есть все члены тела человеческого, мастерству иконному во употребление приходящие, написать во образ и пользу всем люботщателям честной сей хитрости.- Всех вас,

братья мои, их же ради положил труды сии, прилежно молю о теплой молитве ко Господу, дабы мне, образы Его и слуг святых на земле писавшему, само Лицо Его божественное и всех Его угодников узреть во царствии небесном, где честь Его и слава воспевается ото всех бесплотных. ныне и присно, и во веки веков. Аминь".

Пока он писал, из-за темного леса, как раскаленный уголь, показался край солнца, и что-то пронеслось по земле и по небу, подобное музыке.

Белые голуби вспорхнули из-под кровельного выступа и зашелестели крыльями.

Луч проник сквозь окно в мастерскую Евтихия, упал на икону Иоанна Предтечи, и позлащенные крылья, внутри багряно-золотистые, как пламя, снаружи белые, как снег, широко распростерты в лазурном небе над желтой землей и черным океаном, подобные крыльям исполинского лебедя, вдруг заблестели, заискрились в пурпуре солнца, словно оживившись сверхъестественною жизнью.

Евтихий вспомнил свой сон, взял кисть, обмакнул ее в алую черлень и написал на белом свитке Предтечи Крылатого:

Вот Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет во храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, которого вы желаете. Вот Он идет.

[Город Творцов](#)